Русская историческая библиотека



А.Н. Попов

Отечественная война 1812 года

II



А.Н. Попов

Отечественная война 1812 года





Развертывание сил сторон к началу войны:
наполеоновские войска
русские войска
Укрепленный лагерь русских войск у нас.п. Дрисса
Направления ударов наполеоновских войск
Направления отходов русских армий
Направления контрударов русских войск
Положение войск сторон в ходе войны:
наполеоновских
русских
17.8
Принятие М.И. Кутузовым командова
русскими войсками
Тарутинский маневр русской армии 2
сентября
Районы и направления действий арме
сних и крестьянских партизанских о
рядов
Развертывание войск ополчения вокр
Москвы
Подход резервов к русской армии
Сокращение: Кр. П.-Красная Пахра
1:7 000 000
70
0
70
140
НАПОЛЕОН
МОСКВА
КУТУЗОВ
Тарутинский лагерь Кутузова
ВИТГЕНШТЕЙН
ВИТЕБСК
СМОЛЕНСК
1-я ЗАПАДНАЯ АРМИЯ
БАРКЛАЙ-де-ТОЛЛИ
2-я ЗАПАДНАЯ АРМИЯ
БАГРАТИОН
3-я ЗАПАДНАЯ АРМИЯ
ТОРМАСОВ
ДУНАЙСКАЯ АРМИЯ
ЖЕРОМ БОНАПАРТ
МАКДОНАЛЬД
ЭССЕН
РИГА
МИТАВА
ВИЛЬНО
МИНСК
МОГИЛЕВ
ГРОДНО
БЕЛОСТОК
ВАРШАВА
КЕНИГСБЕРГ
ДАНЦИГ
КИЕВ
ЖИТОМИР
ЧЕРНИГОВ
КУРСК
ВОРОНЕЖ
ОРЕЛ
КАЛУГА
ТУЛА
РЯЗАНЬ
ВЛАДИМИР
ТВЕРЬ
МИЛОРАДОВИЧ
МЕЛЛЕР-ЗАКОМЕЛЬСКИЙ
ЭРТЕЛЬ
ШВАРЦЕНБЕРГ
КРАКОВ
ЛЕМБЕРГ
КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСКИЙ
Варшавское
(вассал Фр.)
А В С Т Р И Й С К А Я
И М П Е Р И Я

Русская
ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА



К 200-летию
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 ГОДА



Русская
ИСТОРИЧЕСКАЯ
БИБЛИОТЕКА



Ответственный редактор
Станислав Никитин

Москва
2009

А.Н. Попов

Отечественная война 1812 года

II

Нашествие Наполеона на Россию

«Минувшее»
2009

ББК 63.3(2)47
П 94

Издано при финансовой поддержке Федерального агентства по печати
и массовым коммуникациям в рамках Федеральной целевой программы
«Культура России»

Составление, предисловие, подготовка текста,
примечания, указатель имён, подбор иллюстраций
С.А. Никитина

Художественное оформление
А.А. Зубченко
К.А. Зубченко

На форзаце:
Переход французской армии через Неман 12 июня 1812 года.
С гравюры И. Клауберга по рис. Д. Бажетти
На нахзаце:
Карта военных действий в 1812 году.
Первый период войны (река Неман — Москва).

ISBN 978-5-902073-70-3

Предисловие редактора

Том монографии, который держит в своих руках читатель выпускается ***впервые*** – в виде отдельной ***книги*** II-том «Отечественной войны 1812 года» А. Н. Попова никогда не издавался. При жизни, т. е. до своей преждевременной кончины в 1877 году, историку удалось выпустить в законченном виде I-й том монографии – «Сношения России с иностранными державами перед Отечественной войной 1812 года», а также опубликовать в журналах несколько крупных частей, очевидно, относящихся ко II и III томам монографии.

I

После смерти А. Н. Попова архив историка, в том числе рукописи исследования о войне 1812 года, его вдовой М. П. Поповой (рожд. Мосоловой, во втором браке Соломкою) был вывезен в деревню, а после её кончины перешёл в собственность её двоюродного брата Павла Николаевича Цурикова, который предложил отдельные главы монографии редакциям журналов *Русский Архив* и *Русская Старина*, опубликовавшим в 1892–1913 годах ряд эпизодов из истории Двенадцатого года под различными (часто весьма невразумительными) заголовками. Большая часть этих эпизодов относится к начальному периоду войны, а также в продолжение I-го тома к дипломатическим перипетиям и баталиям накануне войны – к марту – июню 1812 года. В 1815 году бумаги А. Н. Попова поступили в Военно-исторический (Лефортовский) архив в Москве, где, как оказалось, находились и неопубликованные главы, посвящённые событиям и эпизодам заключительного периода войны 1812 года (от Березины до Немана, тогдашней границы Российской империи), а также восстановлению Москвы, после ухода французских войск (подробнее об этих главах – в нашем предисловии к III тому монографии).

Весь материал II тома сочтено целесообразным разбить на четыре части, при этом за основу и, в известной мере, за образец были

взяты два больших раздела, опубликованных ещё при жизни автора — «Москва в 1812 году» и «Французы в Москве в 1812 году»; они составили соответственно части III и IV настоящего тома.

В первую часть вошли главы и отрывки, описывающие события до вторжения Наполеоновских корпусов в Россию. Представленные здесь события и факты прямо и непосредственно примыкают к I тому монографии, являются его логическим продолжением, а в некоторых моментах и повторяют коллизии и эпизоды из I тома. Стержнем этой части является описание пребывания императора Александра I в Вильно и происходивших вокруг событий, вопросы стратегии военных действий, выбора плана кампании, мобилизационных мероприятий и т.д. Отметим, что некоторые главы или отрывки из этой части возможно следовало бы поместить в приложении ко II тому, поскольку описываемые в них события и факты выходят далеко за рамки Отечественной войны 1812 года (например, глава 3, которая в публикации *Русского Архива* названа «Граф Местр и иезуиты в России»), другие логичнее было бы видеть в I томе (например, главу 7, где рассмотрены сношения с Швецией и Турцией в последние месяцы перед началом военных действий); однако мы взяли на себя смелость поместить эти главы в основном тексте тома потому, в частности, что I том монографии был подготовлен к печати самим автором и дважды опубликован в неизменном виде (в журнале и отдельным изданием) при его жизни.

Глава 1-я этой части, как нам кажется, является отрывком из раздела «Петербург в 1812 году», рукопись которого, как утверждается в редакционном предисловии к переизданию I тома монографии в 1905 году, «пропала без вести непосредственно после его (т.е. автора) смерти», иными словами, считается безвозвратно утраченной.

Вторая часть II тома представляет собой описание событий, эпизодов, фактов, уже непосредственно относящихся к боевым действиям после перехода Великой армии (Grand Armée) через Неман, и заканчивается приездом нового главнокомандующего русскими армиями М.И. Кутузова к отступающим русским войскам в Царёво-Займище.

Третья и четвертая части тома практически в неизменном виде соответствуют двум разделам, опубликованным, как выше отмечалось, ещё при жизни А. Н. Попова — «Москва в 1812 году» и «Французы в Москве в 1812 году».

Следует подчеркнуть, что редактор несёт полную ответственность за название II тома монографии и названия частей I и II, за отбор материала (эпизодов) в состав этого тома, распределение материала по частям и главам, а также за развёрнутые заголовки

(содержание) к каждой главе в частях I и II (развёрнутые заголовки к главам частей III и IV в основном взяты из публикаций в *Русском Архиве*, где они приведены на обложках журнала). Насколько удачно удалось это сделать — судить читателю.

Из этого краткого предисловия нетрудно убедиться, что редактор при подготовке II тома исследования А.Н. Попова о войне 1812 года столкнулся с многочисленными трудностями и проблемами — они носили как принципиальный, концептуальный (состав тома, распределение материала по частям и главам, заголовки и т.п.), так и сугубо технический характер.

Подготовка текста частей I и II этого тома на основе опубликованных журналами *Русский Архив* и *Русская Старина* в 1892–1893 годах отрывков из монографии, извлечённых из архива историка, явно обнаружила сыроватость и исходного архивного материала, и журнальных публикаций, слабую его обработанность, отделанность, отсутствие, например, библиографических ссылок при цитировании, что было сделано последовательно и аккуратно в тех частях, которые были опубликованы при жизни А. Н. Попова, наличие непрочитанных в рукописи слов, а главное, повторяемость некоторых текстов, эпизодов, документов и т.п. Учитывая наше стремление как можно быстрее донести до широкого читателя по возможности полный текст замечательной монографии А.Н. Попова об Отечественной войне 1812 года, мы сочли целесообразным не проводить потребовавшую бы долгого времени текстологическую работу по устранению встретившихся повторов в надежде на то, что научное издание монографии впереди, будущие публикаторы тщательно сверят текст, в том числе с сохранившимися в архивах частями, и опубликуют научно выверенный текст монографии. Труд А.Н. Попова того стоит.

С другой стороны, в опубликованных после смерти историка отрывках из архива наблюдаются очевидные лакуны, в результате не полностью «закрываются» пространственно-временные (или событийные) рамки истории войны 1812 года. Так, при чтении тома нетрудно заметить, что между 2-й и 3-й главами II части существуют очевидные пробелы: 2-я глава заканчивается решением Александра I оставить, не защищая, Дрисский лагерь, а в 3-й главе описываются события, последовавшие уже после соединения двух Западных армий в Смоленске, иными словами, пути, пройденные 1-й и 2-й Западными армиями после решения не защищать Дрисский укреплённый лагерь, в корне изменившего план кампании, остались вне рамок монографии. Нам остаётся только сожалеть, что столь важный в стра-

тегическом отношении отрезок времени остался не освещённым, и гадать — либо этот отрывок безвозвратно утрачен или затерялся в ходе непростых перипетий с архивом историка, либо А.Н. Попов не успел написать его, либо, наконец, он вообще не счёл необходимым освещать этот период.

II

Уже по I и II томам, ныне представленным на суд читателей, нетрудно убедиться в том, что монография А.Н. Попова об Отечественной войне 1812 года не только талантливо написана, *сделана*, но сделана ***оригинально, свежо, своеобразно***: в ней нет описания таких сражений как Смоленское, Бородинское, под Малоярославцем, Красным и других, как нет и подробных описаний менее значительных военных действий, стычек, боевых эпизодов и т.п., что хорошо известно по многочисленным трудам как русских историков — его предшественников (А.И. Михайловский-Данилевский, М.И. Богданович и др.), так и писавших о 1812 годе после него, а также и по обильной зарубежной военно-исторической литературе. Основной стержень, основная идея, сверхзадача, если хотите, нерв монографии в другом. Используя огромную переписку — известную к тому времени и опубликованную, а также хранившуюся в ряде государственных и многочисленных семейных архивах, — ключевых для того периода исторических лиц (Александра I, М.И. Кутузова, Барклая де Толли, П.И. Багратиона, А.П. Ермолова и многих других государственных деятелей и военачальников), привлекая не использованные до того времени историками официальные документы, мемуары, устные и письменные свидетельства современников, в том числе огромный массив зарубежных материалов на французском, английском и немецком языках, в основном ещё не введённых в научный оборот, — А.Н. Попов попытался отыскать смысл событий, скрытые пружины действий и поступков тех или иных исторических персонажей, в первую очередь, объяснить постоянно возникавшие в ту лихую годину, часто очень непростые, ситуации — возникавшие как объективно, в силу внешних обстоятельств, так и по причинам сугубо субъективным — в результате столкновений крупных военачальников, их личных неприязненных взаимоотношений, амбиций, если хотите. Подобные коллизии, как правило, выносятся за скобки серьёзных исторических трудов, становясь добычей исторических анекдотов, популярных изданий, беллетристики. В Отечественной войне 1812 года эти обстоятельства играли немаловажную роль, о чём А.Н. Попов по сути дела первым высказался наиболее ясно, отчётливо, без обычных в таких случаях обиняков.

Автор поэтому сознательно не обходит острые вопросы, связанные с взаимоотношениями Барклая де Толли и Багратиона, Кутузова с Беннигсеном, Ермоловым, Чичаговым, английским генералом Вильсоном, теми или иными решениями Кутузова, которые зачастую резко критиковались его соратниками — генералами и современниками событий, не избегает освещения сложных и напряжённых ситуаций, которые постоянно возникали в Главной квартире объединённой русской армии и т. п. Эти вопросы, как правило, замалчивались (или не акцентировались) многими историками войны 1812 года, как русскими дореволюционными, так и практически всеми советскими, которые избегали затрагивать «колючие» моменты, старались не касаться острых углов, рисовали упрощённую, прямолинейную картину событий. Особенно это касалось фельдмаршала Кутузова, которого советские историки возвели в ранг непререкаемого авторитета, не просто в гениального полководца, а полководца, который никогда не ошибался и все шаги и решения которого изначально не подлежат никакому обсуждению, а тем более критике. Совершенно очевидно, что М. И. Кутузов вовсе не нуждался в таком подходе ни с точки зрения оценки его действий как главнокомандующего русскими армиями в 1812 году, ни при оценке его исторической роли. В монографии А. Н. Попова война представлена — и в этом огромная заслуга автора,— как сложная, пёстрая канва событий, определяемых не всегда объективными причинами, как сшибка многих мнений и интересов, полная противоречий и генеральских амбиций, а выписанная им фигура фельдмаршала Кутузова при всём её величии предстаёт противоречивой, сложной, отнюдь неодномерной.

Наконец, заслуга автора монографии бесспорна и значительна также в том, что он сумел с привлечением документальных свидетельств показать — война 1812 года была войной ***народной***, в неё были вовлечены все сословия России, при этом патриотический настрой в русском обществе, народный характер войны, всесословность отпора врагу возникли не вопреки царским властям (или при их равнодушии и безразличии), как об этом много лет упорно писали советские историки, а были инициированы в том числе лично императором Александром I, быстро осознавшим грозившую и России, и династии страшную опасность.

Более того, в изложении ряда ключевых эпизодов историк достигает высокого драматического накала (например, при описании совета в Филях и принятия решения оставить Москву без сражения, сцен оставления Москвы жителями и войсками, пожара

Москвы) — при этом взволнованность и ощущение сопричастности событиям, в общем, несвойственных историческим исследованиям, невольно передаются читателю. Поразительное впечатление производит подробный рассказ о бесчинствах наполеоновских войск (французов, поляков, немцев, итальянцев и др.) в занятой неприятелем Москве — рассказ, невольно вызывающий ассоциации с тем, как вели себя русские войска в завоёванном в марте 1814 года Париже.

III

Текст II тома монографии печатается по первым и единственным публикациям и включает следующие отрывки, главы и части:

Часть I:

Глава 1 — *Русский Архив*, 1892, кн. 2, № 8, с. 399–418 (Журнальный заголовок: «Эпизоды из истории 1812 года»).

Глава 2 — *Русский Архив*, 1892, кн. 1, № 2, с. 145–184 («Эпизоды из истории Двенадцатого года — Император Александр Павлович в Вильне»).

Глава 3 — *Русский Архив*, 1892, кн. 2, № 6, с. 159–196 («Граф Местр и иезуиты в России. — Эпизод из посмертного сочинения А. Н. Попова об истории Двенадцатого года»).

Глава 4 — *Русский Архив*, 1892, кн. 1, № 3, с. 341–370 («Эпизоды из истории Двенадцатого года. Император Александр Павлович в Вильно»).

Глава 5 — *Русская Старина*, 1893, Т. 77, № 2, с. 383–404 («Барон Штейн в России в 1812 году»).

Глава 6 — *Русский Архив*, 1892, кн. 2, № 5, с. 5–34 («Эпизоды из истории Двенадцатого года»).

Глава 7 — *Русская Старина*, 1892, Т. 76, № 12, с. 617–642; 1893, Т. 77, № 1, с. 87–99 («Славянская заря в 1812 году»).

Часть II:

Глава 1 — *Русский Архив*, 1892, кн. 1, № 3, с. 370–378 («Эпизоды из истории Двенадцатого года»); *Русская Старина*, 1893, Т. 77, № 1, с. 99–111 («Славянская заря в 1812 году»).

Глава 2 — *Русская Старина*, 1893, Т. 77, № 1, с. 111–120 («Славянская заря в 1812 году»); *Русский Архив*, 1892, кн. 1, № 4, с. 417–445 («Эпизоды из истории Двенадцатого года»).

Глава 3 — *Русская Старина*, 1893, Т. 80, № 11, с. 341–371 («От Смоленска до приезда Кутузова в армию»).

Глава 4 — *Русская Старина*, 1893, Т. 80, № 12, с. 497–527 («От Смоленска до приезда Кутузова в армию»).

Часть III:

Главы 1–7: *Русский Архив*, 1875, кн. 2, № 7, с. 269–324; № 8, с. 369–402; кн. 3, № 9, с. 5–46; № 10, с. 129–197; № 11, с. 257–288.

Часть IV:

Главы 1–7: *Русский Архив*, 1876, кн.1, № 1, с. 223–247; № 3, с. 316–345; № 4, с. 440– 463; кн. 2, № 5, с. 53–80; № 6, с. 161–199; № 7, с. 285–301; № 8, с. 369–387.

Как выше отмечалось, подготовка текста II тома к печати была сопряжена с немалыми трудностями, в том числе и чисто технического характера. При этом дополнительные сложности возникли в связи с тем, что отрывки из монографии печатались в двух журналах – *Русском Архиве* и *Русской Старине*, каждый из которых имел свою специфику при публикации документов, воспоминаний, исторических исследований, статей, свою систему оформления примечаний и библиографических ссылок, свои представления о написании тех или иных фамилий и т.п. (Для *Русской Старины*, как это ясно будет видно из материалов, вошедших в III том монографии, это усугублялось ещё и тем, что отрывки из монографии А.Н. Попова печатались без малого в течение 40 лет, во время которых в журнале сменилось несколько главных редакторов, да и сами правила русского правописания существенно изменялись и уточнялись за этот период). Это потребовало кропотливой работы по унификации и согласованию имён, дат, географических названий и библиографических ссылок.

Текст печатается по новой орфографии, при этом по возможности сохранены особенности авторского правописания. Опечатки, мелкие ошибки и неточности в именах, датах, географических названиях и т.п. исправлены без специальных оговорок. Подстрочные примечания и библиографические ссылки автора обозначены арабскими цифрами с отдельной нумерацией для каждой главы. Библиографические ссылки, в частности, при цитировании, выполненные автором в правилах и традициях своего времени, модернизированы и осовременены, насколько это было возможно. В ряде случаев (их довольно много), когда при цитировании ссылка на источник отсутствует (напомним, что материалы, составляющие первые две части этого тома, публиковались после кончины автора, при этом отрывки из монографии передавались из архива историка его наследниками по-видимому в достаточно сыром, необработанном виде) редактор старался восстановить ссылки, что специально оговаривается.

Практически все цитаты из писем, воспоминаний, документов (автор их обильно цитирует – это одна из особенностей его исследования) сверены по первоисточникам или публикациям, заслуживающим доверия, и при необходимости исправлены. Об этом следует сказать несколько подробнее.

При цитировании официальных документов – законов, указов, рескриптов – автор стремился делать это строго и тщательно. Увы, это правило не соблюдалось, когда он цитирует письма, дневники, мемуары, исторические исследования. В какой-то степени можно было бы сделать скидку на присущую историкам в те времена, как бы сказать помягче, вольготность, небрежность при цитировании. Однако часто такие вольности заходили, на наш взгляд, слишком далеко, что ставило редактора порой в очень трудное положение. Так, нередки случаи, когда автор, открывая кавычки и как бы цитируя, даёт вольное изложение исходного материала, объединяя произвольно слова, целые фразы и даже куски текста из разных мест, осовременивая язык, стиль и правописание первоисточника. Как правило, смысл при этом не искажался, но с точки зрения строгости исторического исследования современная наука такую практику считает недопустимой. Во всех таких случаях редактор сверял цитируемый А.Н. Поповым текст с первоисточником и, по возможности, восстанавливал цитату в первозданном виде. Когда же это сделать было затруднительно, поскольку вело бы к переработке целых абзацев или даже страниц монографии, всё оставлялось неизменным, но такие случаи оговаривались в примечаниях.

Подавляющее большинство материалов на французском, немецком и английском языках автор цитирует в собственном переводе. Не всегда эти переводы удачны, поэтому редактор, как правило, выполнил сверку их с более поздними и более качественными, на наш взгляд, изданиями этих переводов, а в случае серьёзных расхождений отметил это в примечаниях; в ряде таких случаев мы отсылаем читателя к более современным изданиям зарубежных материалов, цитируемых А.Н. Поповым.

Примечания редактора настоящего тома, редактора Русского Архива П.И. Бартенева и редакционные примечания *Русского Архива* и *Русской Старины* обозначены (*), авторство примечания специально указывается; курсив, как правило, автора, в иных случаях это особо оговаривается*.

---

* Первоначально предполагалось, как в исходном тексте А.Н. Попова, примечания и библиографические ссылки (обозначенные арабскими цифрами) и примечания

Текст А. Н. Попова подвергнут минимальной стилистической правке, а в тех редких случаях, когда выявлялся либо явный пропуск слова или нескольких слов, либо очевидная стилистическая корявость или несообразность, делались вставки в квадратных скобках.

Все даты указываются по старому стилю, в ряде случаев автором в круглых скобках приводятся даты по новому стилю.

Как и предыдущий I-й, настоящий том снабжён указателем имён, по возможности подробно аннотированным, что позволит читателю лучше ориентироваться в сотнях имён персонажей, упоминаемых автором.

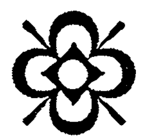
Несколько слов об иллюстрациях в предлагаемом издании монографии. Как известно, ни одна война в уже далёком прошлом нашей страны, ни одно событие в истории России не нашли столь богатого отображения в изобразительном искусстве, как Отечественная война 1812 года. Достаточно напомнить о Военной галерее Зимнего дворца — грандиозном живописном мемориале, содержащем около 340 портретов русских военачальников, написанных в 1819–1828 годах английским художником Дж. Доу и его русскими помощниками А. В. Поляковым и В. А. Голике. К сожалению, большой объём текстового материала не позволил редактору без оглядки, «от души» проиллюстрировать книгу портретами и картинами батальных сцен. Поэтому потребовался жёсткий отбор, при котором учитывались и значимость исторической фигуры, чей портрет помещается, и стремление отразить ключевые сражения и боевые схватки, не нашедшие описания в тексте монографии, а также — и это в известной мере главное при отборе — частота упоминания того или иного военного или исторического деятеля в тексте, что, в сущности, соответствовало и роли этого персонажа в описываемых событиях в представлении автора.

Редактор осознаёт сложность стоявших перед ним задач, уверен в том, что не все принятые им решения и эдиционные правила при подготовке этого тома монографии одобрят читатели, особенно историки, и будет благодарен за любые критические замечания и пожелания, которые будут внимательно и благожелательно рассмотрены и по возможности учтены при подготовке к изданию заключительного, III тома исследования А. Н. Попова об Отечественной войне 1812 года.

редакторов *Русского Архива, Русской Старины* и редактора настоящего издания (обозначенные звездочками *) сделать всюду *подстрочными*. Но по техническим причинам пришлось примечания автора, а также частично примечания редактора, перенести в конец тома *(прим. ред.)*

В заключение мне остаётся выразить свою глубокую благодарность всем, кто тем или иным способом оказал содействие в работе редактора над этим томом монографии; моя особая благодарность Главному хранителю книжных фондов Государственного музея Л. Н. Толстого на Пречистенке Валентине Степановне Бастрыкиной, чья неизменно доброжелательная реакция на постоянные просьбы о помощи достойна восхищения.

Станислав Никитин
Ноябрь 2001, сентябрь 2008



Часть I



Перед вторжением (Император Александр I в Вильно)

Император Александр I

Художник Луи де Сент-Обен

Глава 1

Граф Ростопчин и его назначение Московским генерал-губернатором. – М. М. Сперанский. – Его отставка и ссылка. – А. С. Шишков.

Петербург в первые месяцы 1812 года находился в необычном положении. Наполненный обыкновенно военными, составлявшими большую часть его населения и главную долю (притом передовую) образованного общества, он начал пустеть. Гвардия уже находилась на западных границах империи, в Вильне была учреждена Главная квартира, куда в скором времени должен был отправиться сам Государь. Барклай де Толли и князь Багратион назначены были главнокомандующими 1-ю и 2-й Западными армиями[1]; должность военного министра поручено исправлять князю Горчакову[2]; генерал от инфантерии Вязмитинов назначен Петербургским главнокомандующим[3]; перемещения и новые назначения, особенно военных, усилились, и награды сыпались в значительном количестве. Народ уверен был, что будет война, хотя газеты и в марте месяце сообщали известия от февраля о стуже в Неаполе, карнавале в Париже, маскараде в Тюильри, разливе Рейна, дозволении из Швеции в Норвегию вывозить сырые кожи и т. п., и ни слова не говорили о военных приготовлениях[4].

В образованном обществе мнения колебались из стороны в сторону при каждом новом известии, случайно до него доходившем. Этому колебанию более всего подавало повод то обстоятельство, что отъезд Государя постоянно назначался и постоянно откладывался в продолжении почти месяца. Не зная действительной причины постоянных отсрочек государева отъезда в Главную квартиру, общество связывало её с вопросом: продолжится ли мир или будет война.

«При современном положении дел, — говорит граф Ростопчин, — накануне такой войны, которая могла или возвеличить или ввергнуть в оковы, я решился ехать в Петербург и предложить мою службу Императору. Не избирая наперёд никакого назначения или места, но чтобы находиться при его особе. Единственный мой сын достиг 17-летнего возраста. Император, в бытность свою в Москве в 1809 году, был так милостив, что пожаловал его в камер-пажи. Я не хотел лишать его счастья служить Отечеству и защищать его, и потом, если мы будем победителями, гордиться этим во всю жизнь, или, если мы будем

побеждены и покорены, то погибнуть вместе с ним. Император принял меня с особенною милостию и в первое наше свидание долго говорил о своей решимости вести насмерть войну с Наполеоном, выражая надежду на храбрость войск и верность своих подданных. Он принял моё предложение состоять при его особе. Мой сын был определён прапорщиком в гусары. Я пробыл четыре недели в Петербурге и часто видал Государя, будучи приглашаем на обеды и в кабинет»*.

Без сомнения, графу Ростопчину тяжело было оставаться вне всякой государственной деятельности; но нет нужды предполагать, что он решился вновь предложить свои услуги Государю только из личных и частных побуждений, пользуясь благоприятными обстоятельствами. Напротив, он был вероятно увлечен общим порывом, овладевшим почти всеми Русскими. Считая войну с Наполеоном роковою и неизбежною, нетерпеливо ожидали окончательного разрыва и начала военных действий, хотя в то же время чувствовали, что война не будет похожа на прежние, что это война за существование, война на жизнь и смерть. Поэтому, лишь только обстоятельства выяснились, и война представилась неминуемою, все наперерыв, не только отставные военные, но и служившие в гражданской, спешили вступить в ряды действующих армий, так что впоследствии в состав ополчений невозможно было набрать достаточно офицеров из отставных военных. Но, конечно, граф Ростопчин был слишком горд для того, чтобы не прикрыть своего поступка каким-либо предлогом, не воспользоваться каким-нибудь случаем. Таким предлогом и было определение на службу его сына.

Мы указываем на это обстоятельство и должны остановиться на нём потому что распространено мнение, что Государь не благово-

---

* Во II-м томе монографии об Отечественной войне 1812 года А.Н. Попов обильно цитирует в собственном переводе с французского *Записки* графа Ф.В. Ростопчина и его переписку. Полностью эти *Записки* были опубликованы в журнале *Русская Старина* (1889, № 12, с. 643–725) в переводе И.И. Ореуса, сделанного, как сказано в редакционном предисловии, с подлинной французской рукописи и весьма точно. Сравнение двух переводов свидетельствует о достаточно большом количестве разночтений, более или менее существенных. Так, в цитируемом выше отрывке говорится об определении сына Ростопчина *прапорщиком* в гусары, а в тексте *Русской Старины* речь идет о производстве его в *поручики* (1889, № 12, с. 647). Сохраняя всюду перевод автора монографии, в дальнейшем мы отметим наиболее существенные разночтения. Подробнее о *Записках* графа Ростопчина А.Н. Попов пишет в примечании 1 главы первой части III «Москва в 1812 году» *(прим. ред.)*.

лил к графу Ростопчину и даже просто не любил его. Удаление его от дел государственных до самого 1812 года может служить подтверждением этого мнения. Не имея оснований устранить это мнение, мы считаем необходимым объяснить его. Граф Ростопчин был не менее графа Аракчеева предан императору Павлу; оба в одинаковом положении находились во время кончины этого государя, в опале и вне Петербурга. Граф Аракчеев с первых дней царствования Александра I стал у престола Государя, любившего просвещение и не любившего лести и ласкательства. Граф Ростопчин, в противоположность Аракчееву, был человек просвещённый и прямой; но его образ мыслей, его взгляды на государственное устройство и управление были совершенно не согласны с образом мыслей и взглядами Государя. В этом отношении и Аракчеев скорее принадлежал к тому же разряду лиц, как и граф Ростопчин; но он не выражал прямо своих мнений и считал их своею домашнею собственностью, а в жизни государственной беспрекословно исполнял то, что *повелевал*[5] Государь. Но благодушный Александр никогда не соединял личного неудовольствия с противным ему образом мыслей и понятиями, не отвечавшими его собственным взглядам. Взгляды и образ мыслей графа Ростопчина были почти одинаковы с Н.М. Карамзиным (последний выражал их последовательнее и умереннее). При восшествии на престол Александра Павловича граф Ростопчин не приехал в Петербург и не предложил своих услуг. Императору ли было вызывать на поприще государственной деятельности человека, который вовсе не разделял его взглядов? К этому нельзя не присовокупить ещё и того обстоятельства, что предание сохранило воспоминание о многочисленных остротах и насмешках, часто весьма злых, которыми граф Ростопчин осыпал правительство того времени, не щадя подчас и самого Государя. Всё это вместе, конечно, не могло внушить Александру Павловичу расположения к графу Ростопчину. Но, по словам одного из иностранцев, хорошо знакомых с нашим обществом и правительством того времени, если «император Александр и не мог побеждать своих предубеждений, то был весьма способен действовать на основании разумных причин и вопреки своих сочувствий. Он даже способен был побеждать личное отвращение, и это прекрасная черта его характера»[6]. Но тот же самый писатель, вместе с этою высокою чертою характера, подметил и другое свойство. Он рассказывает, что однажды в конце 1811 года Государь обедал у графа Строганова, и когда хозяин, распоряжавшийся построением Казанского собора, в порыве радости сказал: «Наконец-то, Государь, мы не нуждаемся в иностранных дарованиях, у нас всё есть своё»... «Если так, – сказал Александр Павлович, – то налейте-ка

мне мадеры», — и он подал свой бокал. Этот Государь очень искренно насмехается над всеми национальными глупостями и, может быть, даже плохо, что он недостаточно Русский»[7]. К этому верному замечанию мы прибавим только, что Александр Павлович, как по самому своему положению, так и вследствие неограниченной преданности, которая питала к нему Россия, был гораздо более Русский, нежели то Русское общество, в котором вращался граф де Местр, автор приведённых нами слов, и те Русские, которые преимущественно его окружали.

Накануне войны со всею почти Европою, предводимою Наполеоном, Государь естественно понимал, что услуги лиц так называемой тогда русской партии или «старых Русских» могут быть полезны государству. Граф Ростопчин был одним из самых видных её представителей; общественное мнение Москвы давно указывало на него, как и многие из Петербургских его друзей. Государь уступил в этом случае требованию обстоятельств и общественного мнения, которое поддерживалось весьма сильным влиянием великой княгини Екатерина Павловны, благоволившей к графу Ростопчину, современники именно её влиянию на Государя и приписывали сближение его с графом Ростопчиным.

Оно началось с 1809 года, когда опека Наполеона уже сильно начинала тяготить не только Россию, но и Государя, в лице его посланника, графа Коленкура, который прямо ему заявлял, что ему не дозволено отлучаться от него долее как на 24 часа. В этом году, в исходе ноября, Государь выехал из Петербурга, объявив, что едет в Тверь для свидания с великою княгинею Екатериной Павловной. Пробыв у неё несколько дней, 4 декабря он был уже в Москве. «Эта поездка,— писал один из иностранных посланников своему государю,— казалась неожиданною и случайною; но мне кажется, она была давно задумана ввиду глубоких соображений. Если я не очень ошибаюсь, то полагаю, что Государь захотел переговорить с некоторыми лицами, которых желалось ему не призывать сюда. Он имел продолжительную беседу с графом Ростопчиным, очень известным Вашему Величеству; если эта личность выступит на поприще государственное, что представляется мне вероятным, то без сомнения она повлечёт за собою многих других»[8]. При этом-то свидании Государь назначил камер-пажом его сына, а сам он в следующем году получил звание обер-камергера и члена Государственного Совета с правом оставаться в Москве.

После коронования это было первое посещение Москвы Государем. Народ встретил его с восторгом, дворянство и купечество давали

балы, которыми Государь остался доволен, и сам дал большой бал-маскарад. Уезжая он изъявил сожаление, что мало времени мог пробыть в Москве и выразил желание посещать её ежегодно и праздновать в ней день своего рождения (12 декабря). В это время Александр, по причинам политическим, считал нужным сблизиться с Россиею, в лице её первопрестольной столицы, средоточии лиц так называвшегося старорусского направления. Самое видное и влиятельное значение в их среде принадлежало графу Ростопчину. Очевидно, Государь должен был обратить на него внимание, несмотря на своё личное сочувствие или несочувствие; но что касается до назначения его при своей особе, то едва ли это могло быть приятно Государю.

Вот рассказ самого графа Ростопчина.

«По окончании обеда Государь позвал меня к себе в кабинет. После нескольких лестных выражений, он предложил назначить меня Московским главнокомандующим, указывая особенно на важность этого места при настоящих обстоятельствах и на пользу, какую может принести в этом случае моя служба. Так как я вовсе не ожидал такого предложения, то говорил только о трудностях, соединённых с этою должностью, и окончил просьбою дать мне один день на размышление, прежде нежели решусь принять эту должность. В тот же вечер я видел великого князя Константина и принца Ольденбургского*; они мне сообщили, что Государь провёл у них вечер и сказал, что находится в крайнем затруднении, кого бы назначить на место графа Гудовича, который так стар и слаб, что не может далее оставаться на своём месте. Великий князь, который всегда оказывал мне благосклонность и даже дружбу, назвал меня. Государь немедленно решился, благодаря его за эту мысль, которую назвал счастливою. Когда я сказал, что отказываюсь от этого назначения, великий князь и принц начали настаивать, чтобы я принял это место, которое

---

* В тексте *Русской Старины* эти два имени зашифрованы инициалами В. К. К. и О., при этом в редакционном примечании высказано осторожное предположение, что речь идёт о великой княгине Екатерине Павловне (*Русская Старина*, 1889, № 12, с. 648). Эта расшифровка представляется более убедительной, чем у А. Н. Попова (если только не предположить, что он делал перевод с рукописи, где прямо указывалось, о ком идёт речь). Тем более, что в следующем цитируемом отрывке из *Записок* Ростопчина (см. с. 11 настоящего издания), говорится уже о великой княгине Екатерине Павловне, хотя в тексте *Русской Старины* снова имена зашифрованы аналогичным образом (1889, № 12, с. 647). Наконец, логично предположить, что фраза «Государь провёл у них вечер» относится к супругам — принцу Ольденбургскому и великой княгине Екатерине Павловне *(прим. ред.)*.

во время войны становится наиболее важным в России. Великий князь со свойственною ему живостью даже рассердился несколько, когда я сказал, что предпочёл бы в настоящее время находиться при лице Императора, когда все честные люди должны быть при нём. На другой день я отправился к Императору, чтобы представить ему мои извинения и причины, по которым я позволяю себе отказаться от этого назначения. Император настаивал, осыпая меня похвалами, и обращался ко всевозможным ласкательствам, как делают люди, которые в ком-нибудь нуждаются или чего непременно желают и видя, что я с трудом поддаюсь его убеждениям, заключил наконец словами: «Я этого желаю». Это уже было приказание, и я уступил покорно. Так как в это время большая часть из тех лиц, в которых действительно нуждались или предполагали, что они могут быть полезны, обыкновенно выражали разные затруднения, оценивали, ничего не сделав, свои будущие заслуги и требовали денежных наград, лент, чинов и т.п., то я решился потребовать от Государя, чтобы он мне лично не делал никаких наград, желая заслужить те, которыми осыпал меня августейший его родитель в продолжение его царствования. Но вместе с тем просил его обращать внимание на мои представления к наградам тех чиновников, которые будут состоять под моим начальством. Нет нужды говорить, что эта моя просьба была милостиво принята. Ведь так легко ничего не давать, избавляя себя от затруднений придумывать, что могло бы удовлетворить того или другого, и не оказаться неблагодарным!

В последние дни, которые я пробыл в Петербурге, я два раза работал с Государем. Я предлагал много перемен, взглядов, проектов: он всё одобрял и не хотел мне давать особой инструкции. Должность Московского главнокомандующего почти совершенно независимая. Она не имеет иного руководства, как общее учреждение о губерниях. В царствование императрицы Екатерины Московский главнокомандующий ничем не отличался от других генерал-губернаторов. Только князь Волконский, занимавший это место во время Пугачевского бунта, пользовался неограниченною властью по особым обстоятельствам, но это преимущество не перешло к его преемникам... Между Государем и мною было условлено, что моё назначение останется в тайне до отставки графа Гудовича, которому уже нашепнули об этом. Государь позволил только сообщить о моём назначении министру полиции Балашёву. Я должен был условиться с ним в способе наших сношений».

Выдвинув вперёд всех графа Ростопчина, Москва сама напросилась на его генерал-губернаторство, и Государь, давая ему это назна-

чение вполне удовлетворял общественному мнению, а вместе с тем избавлял себя от непосредственных личных и постоянных сношений с человеком, службу которого считал весьма полезною при тех обстоятельствах, в каких находилась Россия, но к которому он не питал особенного сочувствия. Колеблясь между личными чувствами и разумными требованиями долга, недоумевая, какое дать назначение графу Ростопчину, он, конечно, очень был доволен, когда великий князь Константин Павлович помог ему решить задачу и, несмотря на свою снисходительность в этих случаях, настоял на своём решении. Граф Ростопчин также, несмотря на свою независимость, которую постоянно он выставлял на вид, и на резкость характера, покорился этому решению: так желал он выступить на поприще государственной деятельности.

Во время пребывания графа Ростопчина в Петербурге совершились два важных события во внутренней политике России: ссылка Сперанского и торжество иезуитов по случаю возведения их Полоцкого училища в Академию*.

Первое событие общественная молва того времени тесно связывала с именем графа Ростопчина. Ходило по рукам письмо нижеследующего содержания, которое ему приписывали. В начале письма он говорит, что является в Петербург, как уполномоченный Московским дворянством депутат, дабы представить Государю *гибельное зрелище всего государства* и опасность, грозящую собственной его особе, открыть ему *будку, пред ним закрытую, в которую желали его ввергнуть*.

Кто же были эти враги Государя и государства и в какую будку их стремились ввергнуть?

«Осыпанный милостями Вашего Императорского Величества и возведенный из праха в течении краткого времени, секретарь ваш Сперанский с Магницким суть первые лица, которые, обольстив и приняв к себе неистовых соумышленников: гр. Румянцева, Молчанова, Прозоровского, Голубцова, губернатора Вейдемейера, Яблоновского, Бижевича и прочих к ним присвоенных, о коих по важности донесу лично, продали вас с общниками своими мнимому вашему союзнику. Подкупленный ими Сперанский увеличением налогов желал возбудить народ против правительства, а удалением к Польским границам войск из Финляндии и Петербурга открыть столицу для занятия неприятелем. В это время в Стральзунде уже собрана Наполеонова *разбойничья* шайка из 12 тысяч. Там производят пота-

* Подробнее об этом см. главу 3 части I настоящего издания *(прим. ред.)*.

ённо разного рода гребных судов постройки, по окончании коих намерен, нимало не мешкав, перебраться через заливы, моря и реки на твёрдую землю. Трофеи его из Шведской Померании развеваются, куда уже привезена ему богато убранная карета, в которой он намерен с своею императрицею проехать через Ригу прямо в Петербург».

В письме говорится, что имеются сведения, где хранится тайная переписка, которая и обличит измену, и письмо заключается следующею угрозою: «Письмо сие последнее, если останется недействительным, тогда силы Отечества необходимостью себе поставят двинуться в столицу и настоятельно требовать как открытия сего злодейства, так и перемены правления».

Мы привели эти выдержки, чтобы показать, что как по слогу, так и по изложенным в нём обстоятельствам письмо не могло принадлежать графу Ростопчину. Не так он писал по-русски, и современные политические обстоятельства во всяком случае были ему известны более, нежели невежественным составителям этого письма.

В этом не сомневалось и правительство того времени. Император находился уже в Вильне, когда это письмо начало распространяться по Петербургу. Посылая его к графу Н.И. Салтыкову, Государь писал ему 13 мая: «Прилагаю здесь записку, присланную от С.К. Вязмитинова со вложением в оной письма довольно дерзкого. Нужно подробно добраться, кто сочинитель подобных бумаг. Сие письмо уже дошло до меня и другим путём, равно и другое здесь приложенное, от имени сенатора Теплова. Оно не новое и несколько лет уже ходило под подписью Маркова. Желательно весьма обратить на сии предметы должное внимание». Произведённое исследование не открыло сочинителя, а доказало только, что это письмо распространилось в низших слоях чиновничьего круга. Хотя на некоторых из списков к подписи имени графа Ростопчина прибавлено «и Москвитяне»; но оно составлено было в Петербурге и помечено на разных списках различными числами марта (5, 14 и 17), т.е. временем, когда граф Ростопчин находился уже в Петербурге, между тем как, по самому смыслу его, оно должно было бы предшествовать его приезду.

Но, несмотря на очевидный подлог, это письмо очень важно, как признак времени, как свидетельство того, какие нелепые слухи могут распространяться в обществе, лишённом всякой гласности, всяких сведений о ходе государственных дел. Оно свидетельствует, до какой степени дошло в это время возбуждение общественного мнения против Сперанского и до какой степени тёмными происками можно было сбить с толку здравый смысл общества, поставленного в положение полного неведения о делах своего Отечества.

Но почему составитель этого пасквиля считал нужным прикрыться именем графа Ростопчина?

Кроме того, что граф Ростопчин был действительно одним из наиболее резко выдающихся лиц той партии, которая восставала против всех перемен первых лет царствования императора Александра Павловича, его необычное появление в Петербурге, ласковый приём при дворе, таинственность его нового служебного назначения естественно подали повод общественной молве соединять это событие с последовавшей в то же время ссылкою Сперанского. Так и предполагали в то время, и такое предположение послужило поводом к составлению этого письма.

Граф Ростопчин без сомнения принадлежал к числу врагов Сперанского; но принимал ли он непосредственное участие в действиях, против него направленных в это время и окончившихся его ссылкою без суда?

«Пять дней спустя после моего приезда в Петербург,— говорит в своих *Записках* о 1812 годе граф Ростопчин,— совершилась ссылка Сперанского, поразившая удивлением всех и каждого. Он пал жертвою таинственных происков, так и оставшихся не раскрытыми. Поэтому его внезапное удаление дало повод предполагать открытие измены. Сперанский был сын сельского священника, учился в семинарии, был одарён большим умом и создал особый слог, по которому его и заметили. Проходя службу секретарём при нескольких из министров юстиции в царствование Александра, он сделался государственным секретарём, удостоился доверенности Государя, получил назначение составить новый свод законов и вообще писать все законы, постановления и рескрипты, выходящие из кабинета Государя. Когда его сослали в Нижний Новгород, он был уже тайным советником и кавалером ордена св. Александра Невского. Общество, которым он себя окружал, и покровительство лицам из своего сословия возбудили к нему ненависть в дворянах, которые с удовольствием узнали о его падении. Это приписывали влиянию великой княгини Екатерины Павловны* и говорили, будто бы я играл роль в этом деле, я, который более всех был удивлён, когда узнал о его ссылке из Петербурга на следующий день. Я до сих пор убеждён, что Сперанский был сослан по внушениям Балашёва и Армфельта, принёсших его в жертву мнимому общественному мнению. Эти господа пользовались в то время

* В тексте *Записок* в журнале *Русская Старина* здесь снова два инициала — О.К. К. и О. (1889, № 12, с. 647), т.е. очевидно, что речь идёт о великой княгине Екатерине Павловне и ее супруге, принце Г. Ольденбургском *(прим. ред.)*.

особенным доверием и желали упрочить его ещё более удалением соперника, опасного как по своим дарованиям, так и по привычке Государя к его работам. Таково, однако же, действие клеветы, к несчастью обыкновенной, что Сперанский прослыл злодеем, изменившим своему Государю и Отечеству и что народ поставил его имя рядом с изменником Мазепою».

Мы не имеем никаких поводов заподозревать правдивость показаний самого графа Ростопчина, как делают некоторые из иностранных писателей*; но приведённые нами строки написаны им много лет спустя после самого происшествия, когда страсти уже несколько утихли и миновалось то настроение нашего общества, которое господствовало перед 1812 годом. Он приписывает падение Сперанского исключительно интриге нескольких лиц, которым удалось обмануть и напугать Государя, как это и было действительно; но во всяком случае в то время граф Ростопчин считал Сперанского действительно опасным человеком.

В письме от 30 июня 1812 года он сообщал Государю: «Народ снова возмутился против Сперанского, когда пришло известие об объявлении войны, и я не смею скрыть от вас, Государь, что все от первого до последнего по всей России считают его изменником. Между купцами стало известно, что он находится в Нижнем и что это недалеко от Макарьева, куда многие отправляются на ярмарку, то поговаривают, что можно его там убить. Я сейчас же написал об этом Нижегородскому губернатору для сведения. В сущности я считаю это ничтожным слухом: но если бы осуществилось это намерение, то первым виноватым оказался бы я, а вторым Нижегородский губернатор». Действительно, исправлявшему должность губернатора Крюкову он писал: «За отсутствием г-на губернатора я препровождаю к вам извещение, по коему вы соблаговолите принять нужные меры единственно к предосторожности. При начале вновь военных действий с Французами злоба здешней черни опять обратилась на бывшего государственного секретаря г. Сперанского, и по некоторым известиям пронёсся слух, что будто некоторые из них, которые едут на Макарьевскую ярмарку, намерены убить Сперанского».

Это известие, хотя может быть оно и клонилось лишь к обеспечению безопасности самого Сперанского, напоминало Государю о настроении общественного мнения и как будто бы указывало на то, что место ссылки Сперанского недостаточно отдалено от средоточия события и может послужить причиною народных смут. Но вслед

---

* Шнитцлер *(прим. ред. Русского Архива).*

за тем, как бы в пояснение к этому известию, 23 июля граф Ростопчин писал: «Не скрою от вас, Государь, что Сперанский очень опасен там, где он теперь находится; он очень сблизился с архиепископом Моисеем, известным почитателем Бонапарта и хулителем ваших действий. Сверх того, Сперанский, по своей известности и лицемерному образу действий, прикидываясь богомольным, приобрёл расположение жителей Нижнего. Он успел их убедить, что он жертва его любви к народу, которому он старался доставить свободу и что Вы им пожертвовали своим министрам и дворянам. В настоящее время необходимо тщательно наблюдать, чтобы поддержать спокойствие народа, когда враг принимает все меры, чтобы возмутить его и тем лишить вас тех огромных средств, которыми Вы обладаете». Не находя никакого ответа в письмах Государя по поводу его известий о Сперанском, 23 августа он снова писал: «Я сообщил, Государь, сведения об этом презренном Сперанском (ce misérable) графу Толстому. Он заставляет действовать Столыпина и Злобина в губерниях Пензенской и Саратовской. Чрезвычайно нужно страхом ослабить их ревность. Но надо пособить делу как можно скорее и помешать действию опасных замыслов, против вас направленных».

Какими путями получал граф Ростопчин сведения о Сперанском, архиепископе Моисее, Злобине и Столыпине из Нижегородской, Пензенской и Саратовской губерний? К сожалению, мы не имеем данных, чтобы отвечать на этот вопрос. Очевидно только, что ненависть графа Ростопчина к Сперанскому заставляла его не только верить во всякие нелепые слухи, но и смущать ими Государя, т. е. прибегать к тому самому способу действия врагов Сперанского, который прошёл бы без последствий; но Государь получил это письмо в одно время с донесением Нижегородского вице-губернатора Крюкова от 22 августа: «6 числа настоящего месяца, в день Преображения Господня, когда я был на Макарьевской ярмарке, здешний преосвященный епископ Моисей, по случаю храмового праздника в кафедральном соборе, давал обеденный стол, к коему были приглашены и некоторые из губернских чиновников. После обедни тут был и тайный советник Сперанский, обедать, однако же, не оставался; но между закускою, занимаясь он с преосвященным обоюдными разговорами, кои доведя до нынешних военных действий, говорил о Наполеоне и об успехах его предприятий; к чему г. Сперанский дополнил, что в прошедшие кампании в Немецких областях, при завоевании их, он, Наполеон, щадил духовенство, оказывал ему уважение и храмов не допускал до разграбления, но ещё для сбережения их приставлял караул, что слышали бывшие там чиновники, от которых о том на сих днях

я узнал». Это извещение трудно заподозрить во лжи, потому что таков был действительно взгляд Сперанского, как одного из поклонников гения Наполеона, которых было весьма много в среде тогдашнего образованного [общества] и которые, несмотря на то, готовы были жертвовать имуществом и жизнью для спасения Отечества. Около того же времени, 14 сентября, к своему зятю, протоиерею села Черкутина Владимирской губернии, который хотел, спасаясь от французов, приехать с его матерью в Нижний Новгород, Сперанский писал: «Не слушайте бабьих басен, будто на духовный чин нападают – совсем нет. Какой стыд бежать от пустого страху и как вам после к своим прихожанам показаться!»

Это совпадение двух известий, полученных с разных сторон, и было, как полагают, причиною того, что Государь решился удалить Сперанского из Нижнего Новгорода в Пермь.

За три дня до письма к Государю, 21 августа, граф Ростопчин писал, секретно, графу Толстому в Нижний Новгород: «Отправляю к вам нарочный эстафет с приложенными письмами, в подтверждение коих могу уверить вас, что намерениям Сперанского и Столыпина я верю по действию мартинистов здесь; я уверен, что вы примете нужные меры для примечания замыслов скаредов, посягающих на Отечество. Если же заблагорассудите, то отправьте и Сперанского, и Столыпина сюда». Нельзя не обратить на последнее предложение графа Ростопчина. Конечно, граф Толстой не исполнил и не мог исполнить его желания прислать Сперанского и Столыпина в Москву без особого высочайшего повеления; но и сам граф Ростопчин не мог бы не понимать, что он не имел права предлагать такую меру, которой должно предшествовать особое высочайшее повеление. Такое предложение доказывает только, до какой крайности мог увлекаться граф Ростопчин в своих действиях.

Письмо Государя к графу П.А. Толстому, в котором он поручает ему отправить Сперанского в Пермь, помечено 8 сентября, и в нём Государь упоминает, что получил уже письмо к нему графа Ростопчина от 1-го сентября. Это показывает, что донесение Крюкова 22 августа и письмо графа Ростопчина 23 числа того же месяца уже давно были известны Государю, и он не решался приступить к какой-нибудь мере, которая бы ещё более отягчила судьбу его бывшего любимца.

После отступления наших войск к Москве Государь долго не получал известий от главнокомандующего и, конечно, ожидал их с нетерпением. В это-то время пришло к нему письмо графа Ростопчина, от 1-го сентября, в котором он извещал его о предстоявшем оставлении Москвы войсками и занятии [её] французами. Эта неожиданная

весть произвела потрясающее действие на Государя, которым, конечно, не преминули воспользоваться враги Сперанского. Письмо Государя, исполненное тревоги, к графу Толстому о занятии неприятелем Москвы оканчивалось следующими словами: «При сём прилагаю вам рапорт губернатора Нижегородского о тайном советнике Сперанском. Если он справедлив, то отправьте сего вредного человека под караулом в Пермь, с предписанием губернатору от моего имени иметь его под гласным присмотром и отвечать за все его шаги и поведение».

Граф Толстой немедленно исполнил возложенное на него поручение и 17 сентября писал Государю: «Получив высочайшее Вашего Императорского Величества повеление от 8 сентября, в ту же ночь отправил тайного советника Сперанского в Пермь, под присмотром полицейского офицера и с должным предписанием к тамошнему гражданскому губернатору. Выпровождавший его из города полицеймейстер доставил мне от него конверт на высочайшее Ваше имя, который у сего подношу, в недоумении, однако ж, должен ли я был сие сделать или нет и не прогневаю ли тем Ваше Императорское Величество».

Особого указа об удалении Сперанского не было. Лежавшие на нём служебные обязанности, соединённые с местами, которые он занимал в разных установлениях, распределить было не трудно. Старшему из его помощников* по Государственной Канцелярии поручено было исполнять его обязанности по Государственному Совету, исключая только обязанностей, определённых в § 27 «Образование Государственного Совета, касающихся до комиссии законов»[9]. Эта комиссия осталась в прежнем её составе с бароном Розенкампфом, врагом Сперанского, во главе и поступила под высшее начальство князя Лопухина, председателя департаментов Государственного Совета. Другой враг Сперанского граф Армфельт занял его место канцлера Абовского университета и подчинил исключительно своему ведомству все дела по Финляндии.

Но Сперанский своим возвышением по службе, конечно, не исключительно, но в значительной, однако же, степени, был обязан своей редакторской способности. И друзья его, и враги в одинаковой мере отдавали ему справедливость в этом отношении и считали, что способ изложения и слог деловых бумаг Сперанского далеко оставил за собою господствовавшие в то время канцелярские приёмы. В отношении к деловому языку Сперанский был таким же преобразователем,

---

* Исправлявшему должность статс-секретаря А.Н. Оленину *(прим. ред. Русского Архива).*

как Карамзин к литературному. И в этом отношении весьма дорожил им Государь. Почти все рескрипты и манифесты его с 1805 года были писаны Сперанским. Поэтому вопрос, кем заменить его в этом отношении, когда обстоятельства времени придавали особенно важное значение такой деятельности, не мог не озабочивать Государя. По свидетельствам лиц, заслуживающих доверия, его выбор останавливался на Карамзине. Ничего не было естественнее этого выбора: несмотря на несогласие с политическими взглядами Карамзина, Государь, однако же, лично благоволил к нему, а его литературные заслуги уже достаточно ценились всеми. Но не менее достоверные свидетельства говорят, что министр полиции Балашёв, получивший, видно, сильное влияние на Государя в это время, указал ему на адмирала Шишкова, к которому Государь не был расположен вследствие наговоров Чичагова, вероятно, насмешливо относясь к странностям его личного характера и крайностям его литературного направления. Несмотря на то, он пожертвовал своим личным сочувствием к Карамзину и назначил Шишкова Государственным секретарём или, лучше сказать, своим личным секретарём для составления манифестов и других бумаг своей канцелярии. С его стороны это была такая же уступка общественному мнению, как и назначение графа Ростопчина Московским генерал-губернатором. В этом случае он полагал по собственному убеждению, что русские люди могут принести наибольшую пользу в это время, известность же Шишкова в этом отношении не подлежала сомнению.

А.С. Шишков считал себя в опале в это время и имел основание, потому что, когда в 1810 году при новом составлении Государственного Совета, ходатайствовали о назначении его членом Совета, Государь отвечал, что лучше согласится не царствовать, чем назначить его членом[10]. Эти слова уже показывают, до какой степени сильно было укорено предубеждение против Шишкова и объясняют, почему Шишков держал себя в стороне от всякой государственной деятельности в это время, и «предаваясь любимым занятиям по словесности,— говорит он,— я был спокоен и доволен. Сим образом провождая время, которого от начала царствования Государя Императора протекло уже более десяти лет, не помышлял я ни о каких занятиях и должностях. Происходившие вокруг меня перемены нимало не оскорбляли моего честолюбия. Мне казалось, что я из положения моего никогда не выйду, и к сей мысли я так привык, что она вместо огорчения приносила мне удовольствие». Если бы эта мысль приходила в голову Шишкову, то непременно бы его огорчила; доказательством могут служить оставленные им *Записки.* Старания Чичагова отодвинуть

его назад и внушить недоверие к нему Императора, лишение личного доклада Государю в некоторых случаях, права присутствовать при дворцовых увеселениях, отказ Государя назначить его членом Государственного Совета — всё это огорчало и не могло не огорчать Шишкова; но всё это относилось ко времени, далеко предшествовавшему 1812 году. В это же время, напротив, «предаваясь любимым занятиям по словесности», посвящая все дни изучению красот Славянского языка и «старого слога», воюя постоянно против «нового» в ежедневных разговорах, в сочиняемых им книгах и статьях, роясь во всевозможных словарях и исписывая целые стопы бумаги, он вовсе забыл, что находится в опале. Эта мысль не приходила ему и в голову, потому огорчать не могла, и он радовался, что мог без помехи предаваться своим занятиям словесностью. Такие занятия получили для него в это время ещё большую привлекательность, потому что ему удалось в доме Державина устроить открытие *Беседы Любителей Русского Слова*, занятиям которой он заботился придать значение, и для того писал рассуждения, речи и т. п.

С точки зрения филологии (впрочем, ещё не существовавшей в то время в виде науки) споры о словах и их корнях, о старом и новом слоге, конечно, не имеют никакого значения. Шишков, его защитники и их противники стоят совершенно на одной и той же почве. Самый этот спор представляется каким-то недоумением. Против кого ратовал Шишков и его сообщники? Против Карамзина? Но Карамзин-то именно остался неуязвим для его стрел, которые, впрочем, очень метко попадали в его плохих подражателей, искажавших русский язык, прилаживаясь к французскому. Употребления без нужды иностранных слов не одобрял и Карамзин и, конечно, не думал щеголять ими, как его бездарные подражатели. Обороты, несвойственные русскому языку, особенно галлицизмы, попадались в его первых произведениях; но едва ли не в той же мере, как у самого Шишкова. В среде, проникнутой иностранным влиянием, в обществе, образованном на иностранный лад, гордившемся более или менее удачным подражанием иностранцам, говорившем на французском языке, литература не могла быть иною как подражательною, и язык не мог не исказиться чуждыми ему словами и оборотами. Сущность дела лежала гораздо глубже; она касалась всего просвещения, всего склада русского образованного общества. Почему же придрались только к словам и оборотам речи, и в разгаре споров доходили до таких крайностей, что с одной стороны уничтожали русский язык в пользу славянского, живой в пользу мёртвого, а с другой глумились над преданием и стариною? В этом-то и состоит особенное историческое значение этого

спора, определяющее свойства самого времени. Народное сознание ещё мало и почти вовсе не было развито, общественная мысль запугана, литература могла свободно, и то не всегда, рассуждать лишь о слоге. Лучшие умы не могли, конечно, удовлетвориться такою литературою и обращались к иностранной, не могли замкнуться в этом тесном круге мысли; они выражали свои взгляды в тех частных беседах, и в записках и в рассуждениях, которые, однако же, сами считали невозможными для печати и о которых общество ничего не знало. Мог ли бы, например, Шишков считать себя противником Карамзина, если бы ему была известна его *Записка о Древней и Новой России*?

Но гроза неприятельского нашествия на Россию, приближавшаяся всё более и более, невольно вызывала и нашу словесность на более широкий круг действия; невольно она выступила нетвёрдыми шагами на непривычное поприще, смело в лице графа Ростопчина и С.Н. Глинки и робко в лице Шишкова. Увлечённый однако же общим потоком, Шишков написал для *Беседы* «Рассуждение о любви к Отечеству и народной гордости», где мысль о вреде слепого подражания иностранному выражена с полною ясностью. Но написав, — говорит он, — «не смел оного читать. Времена казались мне такие, что я, наслышась о преобладании над нами французского двора и чванстве посланника его Коленкура, а притом зная и неблаговоление ко мне Государя Императора, опасался, чтоб не поставили мне этого в какое-нибудь смелое покушение, без воли правительства возбуждать гордость народную, или бы иными какими толками не умножили на меня ещё более гнев царский. В сём страхе потребовал я, чтоб чтение определено было согласием всех четырёх разрядов (отделений) *Беседы*. Все согласились подписать. День настал. Собрание было многолюдно. Я старался читать вразумительно, ясно. Хотя за множество отвечать нельзя, может быть иные и были тут и не совсем довольны собою, однако же, казалось, возвышаемая мною добродетель над всеми вообще сильно подействовала»*.

Шишкову не верилось ещё, что о любви к Отечеству можно говорить свободно, что такая речь привлечёт многочисленных слушателей и произведёт на них действие. «За новое вам скажу, — писал он к одному из своих приятелей, — что на сих днях была у нас *Беседа*, в которой читал я *Рассуждение о любви к отечеству*. Собрание было многочисленное. Более 400 посетителей едва вместились в залу. Духовенство и знатнейшие особы обоего пола украшали оную. Признаюсь, что я приступил к чтению с некоторою робостью; казалось

---

* А.С. Шишков. Записки, мнения и переписка. Т. I, Berlin, 1870, с. 117–118.

мне, что не все разделяют со мною мои чувствования и, может быть, многим некоторые истины покажутся слишком смелыми; однако же я обманулся. Успех превзошёл моё чаяние, и тут увидел я, что как бы нравы ни были повреждены, однако ж правда не перестаёт жить в сердцах человеческих. Кто даже и не идёт путём её, тот самый, при гласе её, просыпается и отворяет ему душу свою, по крайней мере, на некоторое время»[11].

Многочисленность слушателей, собравшихся на русское чтение, удивляла Шишкова. Но и прежние собрания-беседы также посещались весьма многими и даже, как он говорит, «имели добрый успех, многие присутствовавшие в ней госпожи почувствовали, что непохвально свой язык презирать и многих прекрасных на нём сочинений не читать и не знать. На другой день после одного из собраний *Беседы*, приезжаю я к графине Строгановой и в первый раз нахожу у ней Крылова, читающего басни свои посреди окружающих его слушателей и слушательниц. В это время приезжает к ней Сардинский посланник граф Местр. После короткого ему приветствия, чтение продолжается по-прежнему. Он помедлил несколько и, видя, что все слушают и никто им не занимается, обратился ко мне и сказал по-французски: «Я вижу нечто новоё, никогда не бывалое — читают по-русски, язык, которого я не разумею и редко слышу, чтоб в знатных домах на нём говорили. Нечего мне делать здесь. Прощайте! Сказав это, потихоньку вышел и уехал». С 1802 года, находясь в России и стараясь изучить страну, граф де Местр, вращавшийся в высшем обществе Петербурга, и не нуждался изучать язык, которым в нём не говорили, и на русскую литературу не обращал внимания. Перемена, начинавшая выражаться перед 1812 годом, конечно, должна была показаться чем-то странным и небывалым. Ей ещё не верил и Шишков. После приведённых нами слов, он восклицает: «О, когда бы первое внушение сие могло усилиться и навсегда остаться! Но трудно преодолеть долговременный навык, с самых детских лет воспитанием укореняемый». Этот разумный и многоучёный муж, ревнитель целости языка и русской самобытности, твёрдый и смелый обличитель торжествующей новизны и почитатель благочестивой старины, этот открытый враг слепого подражания иностранному, был *совершенное* дитя в житейском быту, жил самым невзыскательным гостем в своём доме, предоставя всё управлению жены и не обращая ни малейшего внимания на то, что вокруг него происходило. Он знал только Учёный Совет в адмиралтействе и свой кабинет, в котором коптел над словарями разных славянских наречий, над старинными рукописными и церковными книгами, занимаясь корнесловием и сравнительным словопроизвод-

ством. Не имея детей и взяв на воспитание двух родных племянников, он отдал их в полное распоряжение своей жене (она была лютеранкой), которая, считая все убеждения супруга патриотическими бреднями, наняла к мальчикам француза-гувернёра и поместила его возле самого кабинета своего мужа. Родные его жены, часто у ней гостившие, сама она и племянники говорили при дяде по-французски[12].

Ещё более удивляло Шишкова, что мысли о вреде воспитания иностранцами, презрении всего русского и необходимости любви к Отечеству и даже народной гордости, мысли, которые и сам он почитал при направлении общества того времени *смелыми*, произвели сильное действие и возбудили сочувствие в слушателях. Действительно, это было нечто новое и необычное. Поворот общественного мнения, уже окрепшего в это время в Москве, начал выражаться и в Петербурге.

Удивлённый и несколько оробевший от этих неожиданных для него явлений, Шишков был вслед за тем поражён ещё более. «Вскоре после сего (т.е. чтения в *Беседе* его «Рассуждения о любви к Отечеству и народной гордости»), — говорит он, — случилось неожиданное приключение, которое многих, в том числе и меня, не знавшего ни о каких придворных делах и таинствах, крайне удивило, а именно: вдруг слышу я, что велено все бумаги государственного секретаря Сперанского опечатать и его, в двадцать четыре часа, под стражею выслать из города. В то же время Мордвинов стал просить об увольнении его из службы. Оба сии случая были нечто необычайное, наводящее некий страх. Заключая из того о каких-нибудь великих переменах, я уселся дома, дабы не показать себя любопытствующим». Волнуемый страхом и неизвестностью, Шишков сидел в кабинете, когда ему доложили, что пришёл какой-то человек с письмом к нему. Шишков поручил спросить, от кого письмо? Но лишь только был предложен этот вопрос, как человек, принёсший письмо, бросился бежать из дому и скрылся. Это обстоятельство ещё более взволновало Шишкова и усилило его страх. Весь день он думал о том, ночью не мог скоро заснуть и на другой день проснулся с сильною головною болью. Неизвестный человек, приносивший какое-то письмо, снова представился его напуганному воображению. В это время входит человек и говорит, что приехал фельдъегерь от Государя! «Едва мог я тому поверить, — рассказывает Шишков. — Удивлённый до чрезвычайности, выхожу к нему и спрашиваю о причине его присылки. Он отвечает: «Государь приказал вас просить к себе»*.

---

* А. С. Шишков. Записки, мнения и переписка. Т. I, Berlin, 1870, с. 119–120 *(прим. ред.)*.

Тревога Шишкова возросла до последней степени. Больной, едучи во дворец, он придумывал причины, которые могли бы подать повод Государю пригласить его для личного свидания и ничего не мог придумать. «Хотя по совершенному удалению моему,— говорит он,— от всяких дел, казалось, ничто не могло до меня касаться, однако ж, высылка Сперанского, отставка Мордвинова, какое-то ко мне тайное письмо и, наконец, явное неблаговоление ко мне Государя Императора— приводили меня в великое беспокойство. Я уверен был в моей невинности; но чего не может сплести клевета!» В приёмной комнате перед кабинетом Государя находилось несколько военных генералов, которые с удивлением поглядывали на Шишкова, которого давно уже не только не видали в приёмной у Государя, но и вообще во дворце. Из кабинета вышел докладывавший Государю дела статс-секретарь по Кабинету Министров Молчанов и, увидав Шишкова, спросил: «Зачем он здесь?» Ответ мой был: — «Не знаю, Государь за мною присылал». «Как! — вскричал он,— Государь за тобою присылал? О, так я от тебя скорее уйду!» — «И ушёл,— рассказывает Шишков.— Слова его ещё более меня встревожили. Однако ж, что такое ни было, я приготовился отвечать с твёрдостью».

Вслед за тем Шишкова позвали в кабинет Государя, который встретил его следующими словами: «Я читал рассуждение ваше о любви к Отечеству. Имея таковые чувства, вы можете быть ему полезны. Кажется, у нас не обойдётся без войны с Французами. Нужно сделать рекрутский набор; я бы желал, чтоб вы написали о том манифест».— «Государь! Я никогда не писывал подобных бумаг,— отвечал Шишков.— Это будет первый мой опыт, а потому не знаю, могу ли достойным образом исполнить сие поручение. Попытаюсь. Но притом осмелюсь спросить: как скоро это надобно?» Этот вопрос Шишков предложил из опасения, что сильная головная боль не позволит тотчас исполнить поручение Государя. «Сегодня или завтра»,— отвечал Государь; но узнав причину этого вопроса, прибавил: «если не можете скоро, то хотя дня через два или три».

Ласковый приём Государя и поручение, ему данное, совершенно успокоили Шишкова. Тревога его прошла, а вместе и головная боль. В тот же день он написал манифест и на другой отвёз Государю. «Вы ранее исполнили, нежели обещали»,— сказал ему Государь и остался доволен составленным им манифестом*.

Это был манифест 23 марта 1812 года, первый акт, указывавший

---

* А. С. Ш и ш к о в. Записки, мнения и переписка. Т. I, Berlin, 1870, с. 121 *(прим. ред.)*.

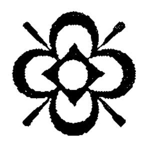
народу на близость войны, которую давно уже считали неминуемою[13]. «Настоящее состояние дел в Европе требует решительных и твёрдых мер, неусыпного бодрствования и сильного ополчения, которое могло бы верным и надёжным образом оградить Великую Империю Нашу от всех могущих против нас быть неприязненных покушений. Издавна сильный и храбрый народ Российский любил со всеми окрестными народами пребывать в мире и тишине, соблюдая свой и других покой; но когда бурное дыхание возрастающей на него вражды понуждало его поднять меч свой на защиту Веры и Отечества, тогда не было времён, в которые бы рвение и усердие верных сынов России, во всех чинах и званиях, не оказалось во всей своей силе и славе. Ныне настаёт необходимая надобность увеличить число войск Наших новыми запасными войсками. Крепкие о Господе воинские силы Наши уже ополчены и устроены к Обороне Царства. Мужество и храбрость их всему свету известны. Надежда престола и державы твёрдо на них лежат. Но, жаркий дух их и любовь к Нам и Отечеству да не встретят превосходного против себя числа сил неприятельских».

Мы выписали всю первую часть этого манифеста (за которою уже следуют правила, как производить набор) для того, чтобы показать, что этот манифест действительно не был похож на прежние. В нём нет и следов канцелярского слога. Хотя он отличается некоторою торжественностью, но она-то как нельзя более соответствовала тому настроению, которое принимала Россия, готовясь встретить грозного врага. Он исполнен искренности и не даёт поводов подозревать, что за выраженным в нём таится ещё кое-что, чего всем и каждому ведать не надлежит. Таковы были и все манифесты и бумаги того времени, писанные Шишковым, и потому-то они производили сильное впечатление на всю Россию. Один из современников эпохи, ещё очень молодой человек в то время и даровитейший писатель впоследствии, говорит: «Наступила вечно памятная эпоха 1812 года, и с удивлением узнал я, что Александр Семёныч был сделан государственным секретарём на место Михаила Михайловича Сперанского. Нисколько не позволяя себе судить, *на своём ли он был месте*, я скажу только, что в Москве и в других внутренних губерниях России, в которых мне случилось в то время быть, все были обрадованы назначением Шишкова и что писанные им манифесты действовали электрически на всю Русь. Несмотря на книжные, иногда несколько напыщенные выражения, Русское чувство, которым они были проникнуты, сильно отзывалось в сердцах Русских людей».

На том *месте*, которое он получил случайно, Шишков в сущности никогда и не был и никогда не управлял государственною канцеля-

риею; но, находясь при Государе и составляя манифесты, он был вполне на своём месте. «История будет беспристрастнее, справедливее нас», — говорит тот же писатель, слова которого мы только что привели, — имя Шишкова как литератора, как общественного и нравственного писателя, как государственного человека, как двигателя своей эпохи — займёт почётное место на её страницах, и потомство с большим сочувствием, чем мы, станет повторять стихи Пушкина:

Сей старец дорог нам: он блещет средь народа
Священной памятью двенадцатого года[14].



Глава 2

*Отношения к полякам. – Смотры войск. –
Переписка с князем Чарторыйским. – Положение герцогства Варшавского. – Настроение поляков. –
Предложения об образовании Литовского княжества. –
Открытие Иезуитского университета в Полоцке.*

Выехав из Петербурга 9 апреля*, император Александр прибыл в Вильну 14 числа того же месяца произвести смотр войскам, расположенным на Западных границах империи. Таков был повод, явно заявленный; но никто не сомневался в иной цели этой поездки. Если бы Государь покидал столицу на *неопределённое* время, а не для того только, чтоб посмотреть свои войска, сопутствовать ему вызвались бы состоявшие при его лице представители иностранных держав. 30 марта граф Лористон был приглашён к императорскому столу. В обществе он заявлял желание нанять дачу на предстоявшее летнее время и даже приобрести её в собственность[1]. Нигде в Европейской печати (конечно, кроме английской) не было и речи о разрыве между Франциею и Россиею и о близкой войне. Обе стороны одинаково не желали ещё заявлять о действительном положении дел: Наполеон потому, что предпринятые им приготовления, с целью врасплох напасть на Россию и быстро покончить войну, не были приведены к окончанию; Александр, чтобы не дать повода обвинять его, как нарушителя Европейского мира и зачинщика войны. Но все считали войну неизбежною, все её ожидали, и сам Государь не скрывал своего взгляда, по крайней мере, перед приближёнными к нему людьми. Решившись назначить на место Сперанского Государственным секретарём Шишкова, он призвал его к себе (20 марта) и, поручая написать манифест о рекрутском наборе, сказал: «Кажется, у нас не обойдётся без войны с Французами»[2]. В это же время, после одного из обедов,

---

* Ту же дату отъезда Александра Павловича из Петербурга указывает Н. К. Шильдер («Император Александр Первый. Его жизнь и царствование». Т. III. СПб., 1897, с. 75). Но великий князь Николай Михайлович, тщательно выверявший в своих исторических трудах даты событий и пользовавшийся камер-фурьерским журналом, приводит иную дату отъезда – 8 (20) апреля 1812 года («Император Александр I. Опыт исторического исследования». Т. I. СПб., 1912, с. 111) *(прим. ред.).*

к которому было приглашено много военных, Государь говорил им: «Мы участвовали в двух войнах против Французов, как союзники и, кажется, исполняли свой долг, как следовало; теперь пришло время защищать свои собственные права, а не посторонние, а потому, надеюсь и уповаю на Бога, что всякий из нас исполнит свою обязанность и что мы не помрачим военную славу, нами приобретённую»[3]. В это время состоялось уже постановление «об учреждении Комитета министров с *особою властью*» по случаю отъезда Государя из столицы[4]. Хотя известие о нём было обнародовано позже, но о нём все знали. Вслед за тем состоялось другое, расширявшее власть Государственного Совета и Департамента экономии, который, соединённо с Департаментом законов, мог решать дела по финансовым вопросам окончательно, не внося в общее собрание Совета. Эти меры, конечно, свидетельствовали, что Государь оставляет столицу на *неопределённое* время и намерен находиться при войсках[5].

Торжественный въезд Государя в Вильну состоялся 14-го апреля, в день Вербного Воскресения. В 6 часов утра этого дня он был в Свенцянах. В Подрорже, на второй станции от Вильны, приготовлен был почётный караул из роты егерей, на Неменчинской станции рота артиллерии. За 6 вёрст от города, у первой полевой рогатки, собрались генерал-адъютанты Государя; в небольшом от них расстоянии находился главнокомандующий 1-ю Западною армиею Барклай де Толли, окружённый генералами, и выстроены были конные полки. Во втором часу показался Государь верхом, со свитою, и встречен главнокомандующим и войсками с военными почестями. Отдав честь, конница последовала за свитою Государя к городу. Когда Государь приблизился ко второй рогатке, началась пальба из пушек, расставленных по окрестным возвышениям, и заиграла музыка. За этою рогаткою встретило Государя с хлебом и солью еврейское общество при радостных восклицаниях и звуках своей музыки. Император въезжал в Вильну чрез предместье Антоколь. «Вершины гор между предместьем и городом, крыши домов покрыты были толпами народа различного звания. Все окна находящихся на этом пути зданий были растворены и наполнены зрителями», — говорит свидетель-очевидец. У заставы встретили Государя купечество и цехи, у соборной церкви духовенство, у дворца губернатор с чиновниками и губернский маршал с дворянами. По всем улицам от Замковых ворот, по которым проезжал Государь, выстраивались войска. На улице Св. Яна стояли воспитанники университета и гимназии с своими наставниками; во всё время поезда раздавался колокольный звон и восторженные восклицания народа, толпившегося повсюду[6].

К прибытию Государя съехалось много польских помещиков и стеклось народу из окрестных деревень. «Число приехавших и приезжающих сюда так велико (писали оттуда в Петербург), что мы здесь никогда такого многолюдства и не запомним». Но ещё кончался великий пост, и нельзя было давать балов. На другой день утром Государь принимал чиновников, которых представлял ему губернатор Лавинский, и знатнейших дворян, по представлению губернского маршала; потом он ездил верхом осматривать город и пригласил к своему обеду многих из почётных лиц, в том числе генерала Беннигсена[7].

Барон Беннигсен, Ганноверский подданный в русской службе, с самого начала царствования Александра I не мог пользоваться его расположением. Оставаясь в стороне до Прусской войны 1807 года, когда он случайно* сделался главнокомандующим русскими войсками в это время. Но после заключения Тильзитского мира Беннигсен находился в отставке, даже в опале, и жил частным человеком в своём поместье Закрет, в трёх вёрстах от Вильны. Считая нужным пользоваться всеми средствами, какими можно было располагать против грозного своего противника, Государь, естественно, встретив в Вильне Беннигсена, ласково обошёлся с ним и не только пригласил к своему столу, но посетил его в Закрете. Беннигсен воспользовался благосклонностью Императора и тем, что ему понравилось живописное местоположение этого имения: он продал Закрет Государю, с условием заплатить ему золотою монетою[8].

На другой день по приезде Государь принимал представителей духовенства, членов Магистрата, Университета и Еврейского кагала. В Латинской церкви существует обычай — в некоторые определённые дни года и преимущественно на Страстной неделе собирать пожертвования для благотворительных заведений и вообще для помощи бедным. С этою целью несколько женщин и девиц, большею частью из высшего общества, собирают подаяния как в церквах, так и по домам жителей города. Александр Павлович пожелал принять Виленских сборщиц подаяний, и они были представлены ему в Великий Четверг (18 апреля) паном Вавржецким. То были г-жа Багговут, супруга Гродненского вице-губернатора, Боблишинская, Залесская и девицы княжна Гедройц, Абрамович и Волович. Все они получили из рук Государя по сто червонцев.

21-го апреля православная пасхальная служба отправлена в походной полковой церкви, устроенной в генерал-губернаторском доме,

* Вследствие внезапного отъезда из армии графа Каменского *(прим. П.И. Бартенева).*

где поместился Государь, и в первый день праздника был парад всем находившимся войскам на особо избранном поле близ города – «блистательный и наверное первый со времени существования Вильны, какой видели её жители всех состояний, во множестве собравшиеся на это зрелище». Как в этот день, так и в последующие на поляков сыпались высочайшие награды. Многие получили ордена, молодые люди придворного звания камер-юнкеров, а девицы фрейлин. В четверг на Святой (25 апреля) Виленское дворянство давало блестящий бал, на котором присутствовали Александр Павлович, цесаревич и герцоги Ольденбургские. Дом Паца был великолепно иллюминован; лестница, ведущая в зал, покрыта коврами и установлена растениями. В зале находился транспарант, на котором изображён сидящим в кресле Император, а перед ним Благоговеющий гений. Под изображением была подпись из нескольких стихов кантаты, которая была пропета хором, лишь только Император вошёл в залу. «Мы прославляем и прославит потомство в тебе божественную благость. Свет никогда не забудет о Тите и о тебе».

На другой день после бала Император предпринял поездки для обзора войск[9]. Первая поездка была в Вилькомир и Шавли, где стояли войска под начальством графа Витгенштейна. Путь лежал на знаменитые Товяны, где несколько раз уже Император бывал прежде у князя Чарторыйского. В это время в Товянах жил больной старик граф Морикони с женою (ур. Радзивилл) и двумя молодыми девицами-племянницами графинею Морикони и Грабовскою, к которым граф Тизенгауз привёз погостить также их племянницу, свою дочь, 18-летнюю красавицу графиню Софью, впоследствии графиню Шуазёль-Гуфье.

Приехав в Товяны (27 апреля) к вечернему чаю, Государь не ожидал встретить такое общество и смутился, потому что был в мундирном сюртуке. Всегда тщательно наблюдавший за изяществом своего наряда, он считал, что в таком виде не совсем прилично появиться в женском обществе. Поэтому, когда он ехал назад, то не доезжая Товян, в одной из ферм, принадлежавших к этому имению, он переоделся и прибыл в мундире, при шарфе и орденах. В оба приезда он одинаково очаровал всех присутствовавших милостивым и ласковым обхождением. Относясь с одинаковою благосклонностью ко всем, он оказал, однако же, особенное внимание графине Тизенгауз. С этого времени началась её известность. По возвращении в Вильну Император назначил её фрейлиною к Императрице вместе с графинями Морикони, Грабовскою, Виельгорскою и княжной Гедройц. Так *очаровывал* он своим обхождением всех и каждого, к кому обращался.

Во всё пребывание его в Вильне постоянно ходили рассказы о разных встречах его с лицами всех сословий, не знавших его в лицо и не узнавших, с кем они беседовали, и каждый подобный случай выставлял на вид прекрасные качества его души. Полковник Чернышёв*, находившийся в свите Государя в Товянах, известный уже своими поездками к Наполеону и успехами в Парижском обществе, разговаривая с графинею Тизенгауз, иначе не называл Императора как *очарователь* (le séduisant). «Императору Александру в это время,— писала потом графиня Шуазёль-Гуфье,— было 35 лет; но он казался гораздо моложе. Помню, я заметила тогда графу Толстому, что такие продолжительные и утомительные поездки, которые предпринимает Император, производят влияние на его здоровье.— «Посмотрите на него,— отвечал граф,— и вы перестанете удивляться»».

«... Не только правильные, тонкие черты и свежесть цвета лица, но и выражение благоволения пленяло все сердца и возбуждало доверие. В его фигуре было что-то благородное, возвышенное, величественное. Принимая иногда наклонённые положения, он напоминал собою изваяния древнего искусства. Хотя он уже становился полон, но был чрезвычайно хорошо сложён. Глаза, в которых как бы светилось безоблачное небо, были у него живые и умные. Хотя он был несколько близорук, но владел улыбкою глаз, если можно так выразиться о его взгляде, благорасположенном и добром. Нос у него был прямой и прекрасный, рот небольшой и приятный, овал лица и профиль напоминали его прекрасную, августейшую мать. Начинавшаяся лысина над лбом придавала его лицу что-то открытое и светлое. Русые волосы, тщательно причёсанные, как на красивых головах камей и древних медалях, казалось, должны были украшаться тремя венками: из лавров, мирт и олив. В его голосе и манерах было чрезвычайно много разнообразия. Когда он обращал речь к людям высокопоставленным, он говорил с большим достоинством и в то же время приветливо; с лицами своей свиты он говорил просто и добродушно; с пожилыми женщинами почтительно, с молодыми грациозно, бросая тонкие, выразительные и чарующие взгляды. В молодости его слух был как-то поражён сильным громом артиллерии, и он был несколько глух на левое ухо, и потому слушая склонялся на правую сторону. Но что особенно было странно, он слышал лучше, когда вокруг него более шумело. Ни одному живописцу без исключения не удалось

---

* А. И. Чернышёв (впоследствии князь), вероятно, тогда познакомился с первою своею супругою, урождённою княжною Радзивилл, которая вскоре его покинула *(прим. П. И. Бартенева).*

верно изобразить черты его лица и особенно выражение. Ваяние в этом случае брало верх над живописью, и его бюст, сделанный одним берлинским художником, очень хорош»[10].

Это описание императора Александра, хотя и восторженное, в сущности, совершенно верно. Все его современники, имевшие личные с ним сношения, единогласно свидетельствуют о том чарующем действии, которое производил он на них. Силу этого влияния испытал и сам Наполеон, который говорил, что русский Государь очаровывает его посланников и что его слуги-французы делаются русскими и слугами Александра. Это природное свойство могло получить особенную силу, когда он считал нужным действовать так, чтобы привлечь к себе людей, с которыми находился в сношениях, именно в Вильне и во время своих разъездов по губерниям, присоединённым от бывшего Польского королевства. Он желал привлечь к себе поляков, которые составляли ещё единственную силу в этом крае. Политические обстоятельства, сложившиеся в это время, вынуждали его действовать именно так.

Но личные качества Императора, несмотря на всю их обаятельную силу, не могли бы иметь прочного влияния, если бы полякам не были известны его политические виды, его общий взгляд на так называвшийся Польский вопрос. Ещё в царствование Павла пробудились их надежды: освобождение Костюшки и его сотоварищей из заточения, возвращение на родину многих удалённых из неё поляков, значение, которое получили иезуиты,— все эти обстоятельства возбуждали их надежды. Но эти надежды были бы так же кратковременны, как и самое царствование Павла, если бы вслед за тем, по всем областям бывшего Польского королевства, между поляками не распространилось известие, которое передавалось сначала за тайну, а потом сделалось предметом гласных рассуждений о том, что новый Государь считает раздел Польши не только несправедливостью, но и важною политическою ошибкою. Источником этих рассказов была, по преимуществу, семья князей Чарторыйских.

В конце 1810 года Александр, уверенный, что в следующем 1811 году непременно начнётся война с Наполеоном, писал к князю Адаму: «Настоящие обстоятельства мне представляются весьма важными. Кажется, настало время доказать полякам, что Россия не враг их, но скорее истинный и естественный их друг; что, несмотря на то, что им указывают на Россию как на главное препятствие восстановления Польши, нет ничего невероятного в том что она-то именно и осуществит его на деле. То, что я говорю, может быть, удивит вас; но повторяю, это очень вероятно, и обстоятельства мне представля-

ются весьма благоприятными для того, чтобы осуществить мысль, которая прежде была моею любимою мыслью, которую два раза я должен был отложить, вынуждаемый силою обстоятельств, но которая тем не менее сохранилась в глубине моей души. Никогда не было времени, более для неё благоприятного, как теперь; но, прежде нежели войду в подробное изложение моих соображений, я желал бы, чтобы вы мне отвечали со всею подробностию на каждый из вопросов, которые я считаю нужным предложить вам, ещё не приступая к исполнению моего предположения:

1) Имеете ли вы достаточно верные сведения о настроении умов в герцогстве Варшавском, и в этом случае

2) Имеете ли вы основание предполагать, что жители Варшавского герцогства схватятся с жадностию за всякую *уверенность* (не говорю *вероятность*) их возрождения?

3) Схватятся ли они за неё, откуда бы она ни пришла, и присоединятся ли они ко всякой державе без различия, которая вошла бы в их виды с искренним участием и сочувствием? Само собою разумеется, что провозглашение восстановления их будет предшествовать их присоединению и засвидетельствует искренность принятого в отношении к ним образа действия, или

4) Вы скорее имеете основание предполагать, что существуют разные партии, и поэтому

5) Нельзя рассчитывать, чтобы все единодушно и поспешно схватились за первый случай, который им представится к возрождению Польши?

6) Каковы эти партии? Одинаково ли они сильны, и кто те лица, которые ими предводительствуют?

7) Существуют ли эти партии также и в войсках, или они держатся одних взглядов и питают общие чувства?

8) Кто из военных лиц имеет наибольшее влияние на мнение войск?

Таковы важнейшие вопросы, которые я считаю нужным предложить вам теперь; но как только получу ваш ответ, я ещё более открою вам мои виды».

Предлагая князю Чарторыйскому отпуск, если он для собрания более точных сведений захочет отправиться в Варшаву, Государь обращал его внимание на то, что это письмо написано им не с целью *подействовать на умы* и чтобы оно было *распространяемо* его рукою; напротив, он поручал ему сохранить его содержание в *ненарушимой* тайне. «Вот что я имел вам сказать. Обдумайте хладнокровно всю важность моих сообщений. Подобная минута может не повториться. Вся-

кие иные расчёты приведут только к борьбе на жизнь и смерть между Россиею и Франциею, и поприщем борьбы сделается ваша несчастная родина. Иная поддержка, на которую могут рассчитывать поляки, соединена исключительно с личностью Наполеона, который, однако, не вечен, и потому в случае перемены личности могут произойти гибельные последствия для Польши, между тем как существование вашего отечества будет поставлено на твёрдое основание, если совокупно с Россиею и державами, которые неминуемо с нею соединятся, нравственная сила Франции будет уничтожена, и Европа освобождена от её ига... Вот минута, в которую вы в первый раз можете сослужить вашей родине действительную службу. Ожидаю вашего ответа с живейшим нетерпением».

Расчёты Александра основывались на мысли, выраженной в этом же письме, в следующих словах: «Если вы мне поможете и если сведения, которые вы мне сообщите будут таковы, что дадут мне надежду на единодушное содействие жителей Варшавского герцогства и особенно войск к восстановлению их родины, *откуда бы ни пришла помощь*, то в этом случае, с помощью Божиею, я надеюсь, что успех не подлежит сомнению; потому что он основан не на предположении найти соперника дарованиям Наполеона, но на недостатке его сил, которыми он будет располагать, и на ожесточении против него, господствующем во всей Германии»*.

О силах, с которыми Наполеон мог начать войну с Россиею в это время, император Александр имел самые неверные сведения, как доказывает приложенная им к этому письму записка. Он полагал, что у Наполеона будет под рукою не более 155 тысяч, из которых только 60 тысяч французов, остальная же часть будет состоять из войск Рейнского союза; между тем как Россия может выставить 100 тысяч своего войска, с готовым для него резервом такого же количества. Рассчитывая на 50 тысяч поляков, 50 тысяч пруссаков и 30 тысяч датчан, он полагал иметь в своём распоряжении до 230 тысяч человек, кроме 100 тысяч резерва, который мог подкрепить их впоследствии. Но более чем вероятно, говорилось в этой записке, что примеру, поданному поляками, последуют немцы, и тогда останется у Наполеона лишь 60 тысяч французов. И если Австрия, в виду выгод, которые ей будут предложены, также обратится против Франции, то будет ещё

* Переписка имп. Александра I с князем Адамом Чарторыйским была впоследствии опубликована в России: «Мемуары князя Адама Чарторыйского и его переписка с императором Александром I». Пер. с фр. А.Д. Дмитриевой. Ред. и вступ. ст. А. Кизеветтера. Т. II, М., 1913 *(прим. ред.)*.

200 тысяч человек, лишних против Наполеона. Таким образом, предполагалась новая коалиция, основанная на том расчёте, что польский народ и войско будут действовать заодно с Россиею. Хотя расчёт военных сил Наполеона и был не верен, но, конечно, присоединение войск Варшавского герцогства к русским и сочувствие поляков, обнадёженных восстановлением бывшего королевства, могли бы оказать весьма сильное влияние на дальнейший ход событий. Но возможно ли было рассчитывать на это обстоятельство, и особенно в данное время?

Князь Чарторыйский, доселе во всю жизнь державшийся мысли о восстановлении Польши, как особого королевства, но под властью Русского императора, должен был крепко задуматься, получив это письмо. «Позвольте, Государь,— отвечал он немедленно,— прежде всего повергнуть к вашим стопам глубочайшую мою благодарность за благодетельные ваши намерения в отношении к моей родине, за то, что Вы благосклонно вспомнили о ней в общем плане ваших политических соображений и за особый знак доверия, которым Вы благоволили меня удостоить при этом случае. Постараюсь заслужить его, исполняя приказания Вашего Императорского Величества со всем усердием, со всею осмотрительностью по мере моих способностей и так хорошо, как только позволят обстоятельства. Сознаю, Государь, всю важность настоящего времени и особенно то, что предположения, которые, как кажется, занимают Ваше Величество, будут иметь для России и для всей Европы величайшие и решительные последствия, ещё более важные относительно злополучной моей родины, всех её жителей вообще и каждого из них, в частности».

Не останавливаясь на общем вопросе, который, по его словам, так *мудро* разобран в письме Императора, *столь же хорошо написанном, как и обдуманном*, князь Адам прямо переходит к ответам на заданные ему вопросы. Он жил в это время в Вильне; но поляки наших губерний, присоединённых от бывшего Польского королевства, находились в таких тесных и постоянных сношениях с жителями Варшавского герцогства, что он мог положительно уверять Государя, что «по наблюдениям, которые он мог произвести в этих местностях над общественным настроением, как между обитателями герцогства, так и в его войсках» господствует полное единодушие в намерениях и целях. Единственное желание, единственная цель их заключается — в восстановлении Польши, полном соединении всех её областей под своим народным и конституционным правительством. Что касается до различных взглядов, до степени доверия к тому или другому из военачальников или государственных людей, до их дарований и любви к родине, то эти различия не могут быть названы

партиями. Эти оттенки во взглядах совершенно бы уничтожились или имели бы неважное значение, когда «дело коснулось бы важных вопросов для отечества». «Единодушие существует между поляками, — писал он, — но задача состоит в том, чтобы убедить их, что спасение страны, достижение выгод более значительных, более прочных и более обеспеченных требуют совершенного изменения в образе действий и отказа от единственной поддержки, которую имело до сих пор герцогство. За уверенность в восстановлении Польши, по моему мнению, схватились бы все с благодарностью, откуда бы она ни пришла, если бы только эта уверенность была вполне действительною, если бы только способ, коим она была бы предложена и подготовлена, осуществил надежды более обширные, внушил более доверия и обеспечения в успехе, нежели представляет их союз с Франциею (по крайней мере, по мнению обитателей герцогства Варшавского)». В этом-то обстоятельстве и усматривал князь Чарторыйский великое затруднение для приведения в исполнение предположений Русского императора. «Как бы ни были справедливы жалобы, — продолжает он, — которые заявляют поляки на Наполеона, он, однако же, успел их уверить, что, безусловная лишь невозможность, а не отсутствие доброй воли воспрепятствовали ему далее повести дело возрождения их отечества; что гласные и дипломатические заявления, противные их ожиданиям, были сделаны им для того, чтобы лучше скрыть свою игру, но что при первом разрыве с Россиею Польша непременно будет восстановлена. К этой уверенности присоединяется ещё и чувство благодарности за то, что Наполеон до сих пор сделал для Польши, за существование, которое он ей даровал, которое хотя и непрочно, если не будет развито и обеспечено дальнейшими мерами, но тем не менее составляет первый и весьма важный шаг. Поэтому возможно ожидать, что руководимые чувством чести и благодарности, люди самые благомыслящие и порядочные не согласятся обратить против Наполеона те средства, которыми они ему самому обязаны и покинуть его в то время, когда он наиболее рассчитывает на содействие герцогства Варшавского. Притом нельзя не обратить внимания на братство по оружию, которое установилось между французскими и польскими войсками, и на то мнение, что французы — друзья поляков, а русские, напротив — злейшие их враги, как вследствие политических соображений, так и по личной ненависти. Это мнение слишком распространено, слишком укрепилось, чтобы не проникнуть в войска и не возбудить в них тех же чувств, которые ещё более усилились вследствие происшествий последней войны и последовавших за ней событий. Представляется ещё затруднение: гвардия и 20 тысяч

польского войска находятся в Испании; там у каждого из поляков есть друзья или родственники, которых они побоятся принести в жертву гневу Наполеона. Постоянно ожидая войны с Россиею, многие лица, даже из знатных семейств, решились отправить своих детей для воспитания в Париж, как самое безопасное место во всей Европе, где воспитание молодого человека всего менее может подвергаться перерывам. Наконец, последнее и самое сильное затруднение заключается в высоких дарованиях Наполеона и в том понятии, которое о нём составилось. До сих пор он постоянно находил средства в своём гении победоносно выходить из самых затруднительных положений, в которые он сам себя ставил. Поэтому все убеждены, что так будет продолжаться всегда, и как бы ни казались несчастны для него обстоятельства, он всё-таки кончит тем, что выйдет победителем. Вот главные затруднения, которые, как мне кажется, должно встретить осуществление предположений Вашего Величества»[11].

Затруднения были поняты князем Чарторыйским и представлены совершенно верно. Потому возникал сам собою вопрос, принадлежат ли эти затруднения к числу таких, которые можно побороть, или всякая борьба с ними не могла привести ни к каким благоприятным последствиям и, следовательно, только усложнить и запутать ход дел, и без того уже крайне затруднительных?

Положение, в каком находилось в это время герцогство Варшавское,— это средоточие, к которому направлялись все сочувствия и пожелания поляков всех областей, составлявших некогда Польское королевство, может служить основанием для ответа на этот вопрос.

После того, как переговоры о заключении конвенции между Россиею и Франциею по вопросу о Польше были прерваны, во всё продолжение 1811 года и до вторжения войск Наполеона в пределы Русской империи, его отношения к полякам находились в зависимости от политики, которой он считал нужным держаться в отношении к нашему кабинету. Решившись воевать с Россиею, но желая выиграть время для военных приготовлений, усыпляя бдительность России постоянными предложениями разрешить недоразумения между двумя империями посредством мирных переговоров, Наполеон постоянно повторял нашим дипломатическим агентам, что мысль о восстановлении Польши вовсе не входит в его виды. Ту же мысль повторяли и лица к нему приближённые в обществе поляков, находившихся в Париже, конечно, в тех случаях, когда предполагали, что их речи могут дойти до слуха Русского императора. Дюрок, герцог Фриульский, встретив на вечере у Валевской русского сенатора-поляка, графа Огинского, выразил ему удивление, что он принял это звание

у Русского императора, не последовав примеру других своих соотечественников, преданных Наполеону и осыпанных его милостями.

Что Наполеон расположен к полякам, прибавил Дюрок, доказательством может служить созданное им герцогство Варшавское.

«Это – не Польша независимая,– отвечал ему граф Огинский.– Восстановление Польши составляет мою заветную мысль; но пока её нет, я хочу быть полезным моим соотечественникам в качестве русского сенатора».– «Восстановление Польши – это химера, мечта, которая не может осуществиться,– возразил ему Дюрок,– притом Польша никогда не была независимою: она постоянно страдала под игом анархии; её мнимая свобода состояла только в праве панов произносить заносчивые речи в собраниях. Рабство крестьян служило постоянным препятствием к устройству хорошего правительства и, наконец, поляки так разъединены между собою в своих взглядах и убеждениях, дворянство так дорожит ещё своими преимуществами, что нельзя надеяться, чтобы Польша когда-нибудь вошла в число Европейских держав».– «Подобные речи,– замечает граф Огинский,– отклоняли многих поляков от Франции и привлекли, может быть, к императору Александру», именно поляков, находившихся в губерниях, присоединённых к России, где оставались ещё следы воспоминаний о Литовском княжестве и притом очарованных личными отношениями к ним императора Александра. К их числу принадлежал и граф Огинский. Но эти лица составляли ничтожное меньшинство, всегда при удаче готовое по необходимости примкнуть к большинству. Притом, после всякого заявления своего или правительственных лиц его империи, Наполеон немедленно распускал слух между поляками, что это делается только для успокоения Русского кабинета, а его благосклонность к полякам остаётся неизменною, и справедливость этого слуха в их глазах он доказывал ласковым обращением с теми из них, которые имели случай ему представляться[12].

Были так называемые недовольные новым порядком дел и в самом герцогстве, но их недовольство не имело прочных оснований. Панам тяжело было потерять право на крестьянскую личность; но они чувствовали, что через несколько лет после освобождения крестьян невозможно было возвратиться к прежним порядкам или, лучше сказать, беспорядкам и беззакониям. Расстройство финансов, всеобщая нужда, усиленные налоги тяжёлым гнётом падали на жителей герцогства; но они почитали их временными обстоятельствами, порождёнными континентальною системою и необходимостью, в виду предстоявшей войны, содержать не соответствовавшее средствам страны количество войск. Эти тяготы настоящего положения,

как временные, возбуждали в них желание выйти скорее из такого положения, которое могло окончиться только восстановлением Польского королевства в прежних его пределах, а единственным к тому средством представлялась война Наполеона против России. Разгром Пруссии в 1806 году послужил поводом к образованию герцогства Варшавского; победы над Австриею в 1809 году дали возможность присоединить к этому герцогству значительную часть Галиции. Поляки, конечно, знали, что Австрия готова была уступить своему победителю и всю Галицию взамен других своих потерь, но что политические отношения Франции к России помешали ему не только отнять всю Галицию у Австрии, но даже из отнятой части одну долю, хотя и ничтожную, отдать России. Из трёх держав, совершавших раздел Польши, Наполеон покончил дело с двумя и не встретил бы важных препятствий для окончательных расчётов с ними по этому делу; но оставалась Россия, с которой не только не были окончены эти счёты на деле, но даже не начаты. Мысль о восстановлении Польского королевства в соображениях Наполеона была, с одной стороны, угрозою России, с другой – средством привлечь на свою сторону поляков и располагать ими как послушным ему орудием для общей цели порабощения всей Европы. В виду этой цели война с Россиею представлялась Наполеону необходимою и роковою; а поляки поощряли его к войне с Россиею, последней из держав, участвовавших в разделе старой Польши. Не победив России, нельзя было и думать о восстановлении Польши в прежних пределах. Какая бы ни была дальнейшая судьба восстановленной Польши, но в то время, о котором идёт речь, прежде всего являлось необходимым захватить и связать в одно целое раздробленные её части; а это могло быть неизбежным последствием удачной войны Наполеона с Россиею.

Таково было общее мнение всех поляков Варшавского герцогства и его правительства, которое увлекало за собою и остальных поляков, незначительных по количеству в оставшейся у Австрии части Галиции и многочисленных и господствовавших в русских губерниях, присоединённых к империи от бывшего Польского королевства. Все их сочувствия стремились к Наполеону, все их надежды основывались на нём. Поляки всех областей бывшего королевства сходились в одной мысли о восстановлении Польши как независимого государства. Герцогство Варшавское они считали только началом этого дела, которое, как они предполагали, совершит Франция. «Поэтому их взоры устремлены были на неё», – говорит Биньон[13], назначенный французским резидентом в Варшаву в начале 1811 года. По его уверению, он не получал никаких тайных наставлений от своего прави-

тельства; явное же было выражено самим Наполеоном в присутствии Чернышёва, в один и тот же день, когда Биньон прощался с Наполеоном (14 февраля), отправляясь в Варшаву, а Чернышёв в Петербург с письмом Наполеона к Александру. «Не следует полякам,— сказал он ему,— увлекаться несбыточными мечтами. Они составляют уже государство с 4 млн. населением. Надо, чтобы они посвящали свои занятия на внутренние улучшения; это будет лучше, нежели гоняться за мечтами, которые могут повредить их безопасности»[14]. Но эти слова, как замечает и сам Биньон, «очевидно были сказаны с тою целью, что они будут доведены до сведения императора Александра». Самая смена, без всякого повода, прежнего резидента и назначение из посланников на низшее место человека, известного по сочувствию к мысли о необходимости восстановления Польши, уже служила достаточным признаком того направления, которое приняла в это время политика Наполеона в отношении к полякам. Назначение министром иностранных дел герцога Бассано, тоже приверженца этой мысли, участвовавшего в составлении конституции для Варшавского герцогства, ещё более то подтверждало. По приезде в Варшаву Биньон, сблизившись со всеми представителями общества и особенно с князем Понятовским, любимцем поляков, блестящим воином, военным министром в это время и начальником всех войск герцогства, совершенно вошёл в их виды и все сведения, которые он сообщал генералу Раппу, начальнику французского гарнизона в Данциге, маршалу Даву, начальнику французских войск в северной Германии, и министерству иностранных дел Франции, клонились к тому, чтобы испрашивать пособий герцогству для военных приготовлений и предупредить своё правительство о грозящей ему опасности со стороны России. Биньон уведомлял, что император Александр, решившись воевать с Франциею, намерен действовать наступательно, занять герцогство Варшавское и восточную Пруссию и перенести поприще войны на Одер, что в запечатанных пакетах уже разосланы наставления начальникам русских войск с повелением не распечатывать до особого приказания. Эти известия, совершенно, впрочем, справедливые, сильно тревожили Наполеона, который не приготовился ещё к войне, хотя и решился на неё, и желал выиграть время. Они возбуждали его негодование против Коленкура, постоянно уверявшего, что Россия не будет действовать наступательно. Но кто же мог эту важную государственную тайну о решениях, предположенных не окончательно, а на случай возможных событий не в виде вполне одобренной меры, но только возможной при известных условиях, сообщить резиденту французского правительства в Варшаве? Биньон сам свидетельствует, что

узнал о ней от князя Понятовского и придаёт ей такую достоверность «как бы сообщил её сам император Александр», потому что это известие идёт от князя Адама Чарторыйского![15] Отношения сего последнего к Русскому императору, конечно, должны были придать такому известию значение достоверности. Но это предположение Русского императора так же было кратковременно, как и предположение о бывшей Польше. Оно зависело от союза с Пруссиею и утверждения королём конвенции, заключённой генералом Шарнгорстом. Но король не утвердил этой конвенции, поставляя свой союз с Россиею в зависимость от союза России с Австриею и Турциею.

Запечатанные пакеты, разосланные русским военачальникам, так и остались не распечатанными. События приняли независимый от всех предположений оборот; но, тем не менее, сообщения Биньона своему кабинету имели решительное влияние на отношения Наполеона к герцогству Варшавскому. С этого времени император Франции явно выразился действительным государем герцогства, а его резидент – главным орудием всех правительственных распоряжений и действий. Все же эти распоряжения и действия исключительно склонились к тому, чтобы приготовить средства на случай войны против России. По распоряжениям Наполеона увеличивались войска герцогства на счёт Франции и приводились в военное положение; учреждена народная гвардия, возвращена большая часть польских полков из Испании, крепости приводились в оборонительное положение, уланские полки достигли полного совершенства, так что могли доставлять учителей (des instructeurs) французским полкам этого рода. Для артиллерии и инженерной части недоставало людей, потому что это требовало особой подготовки, которой были лишены поляки после раздела королевства. Однако и эти части были приведены в порядок. Франция могла доставить хороших наставников. Артиллериею заведовали генерал Пелетье и полковник Бонтон, инженерною частью полковник Молле. Все трое, не отказываясь от Франции, ревностно служили своему новому отчеству. Пелетье устроил пороховой магазин и мастерские для приготовления и исправления оружия. Молле заведовал тремя крепостями герцогства, Торном, Модлином и Замосцьем, где надо было произвести много работ. В продолжении 1811 года Наполеон призывал его в Париж, сам распорядился работами и приказал ускорить их; потом он посылал генералов Гаксо (Нахо) и Аллакса осмотреть эти работы, которые были найдены вполне удовлетворительными[16]. Правительство герцогства, кроме конскрипций, пользовалось особым способом пополнять войска. Несмотря на договор о выдаче военных перебежчиков, существовавший между

Россиею и Саксониею, оно принимало охотно всех перебежчиков из русских войск. «Передвижение одной русской дивизии близ границ герцогства,— говорит Биньон,— доставило нам до 150 солдат: поляки бежали из русских войск и вступали в войска герцогства, а дворяне из присоединённых к России областей прежней Польши не только сами являлись на службу герцогства, но и составляли целые полки, как князь Доминик Радзивилл, которого все имения находились в пределах русской империи»[17].

Содержание войск поглощало две трети всех доходов герцогства. Все другие части управления, лишённые средств существования, находились в крайнем беспорядке. Новых налогов установить было невозможно, потому что народ находился в совершенном разорении. Саксонский король отказался от доходов своих имений в герцогстве, но ничего не давал из доходов своего королевства в помощь полякам. Наполеон помогал, но не в размерах, соответственных потребностям. Такое положение, естественно, вызывало бурные споры и речи на сейме, который, на основании конституции герцогства, в этом году был открыт в Варшаве. «Стоило только пустить в ход сабли,— говорит Биньон,— чтобы этот сейм совершенно походил на прежние Польские сеймы». Но, несмотря на горячую борьбу партий, поляки сходились в одном. «Что скажет император Наполеон, когда узнает, что созданное им государство управляется беспорядочно?» — «Что подумает император Наполеон, отвечали им другие, когда узнает, что вы отказываете в средствах для содержания войск?» Внимание и надежды всех были устремлены на Францию и её гениального представителя. Во главе этого направления стоял предводитель войск Варшавского герцогства и военный министр, князь Понятовский, одарённый действительно блистательными качествами, как воин и человек; а главным руководителем был французский резидент, ловко примирявший разные лица между собою как в гражданском, так и в военном управлении и направлявший разные партии к одной только цели.

По случаю собравшегося сейма, приезда Саксонского короля, а ещё более ожиданий близкой войны, в Варшаве собралось многочисленное общество из всех областей бывшего королевства. Шумно и весело, в многочисленных балах и собраниях проходила зима с 1811 на 1812 год. Рождение Римского короля с таким восторгом праздновалось в Варшаве, как не праздновалось даже в Париже. «Всё народонаселение герцогства и особенно Варшавы,— говорит Биньон,— находилось в восторженном, возвышенном настроении; все с жаром призывали войну. Другие Европейские народы благословляли короткие сроки покоя, дававшие им возможность отдохнуть

от беспрерывных войн; но для герцогства такой мир был бы только продолжением неопределённого и необеспеченного существования, из которого оно могло выйти только посредством войны. Оно было утомлено миром и ожидало войны, которая могла удовлетворять всем страстям, и великодушным, и личным. Все стремились к восстановлению отечества: военных увлекала слава, честолюбцев увеличение значения государства и их собственного, земледельцев возможность сбыта сельских произведений на более обширном рынке; женщины желали блестящего двора и восстановления их господства в обществе. Даже крестьяне, взяв оружие в руки, делались достойными полученной ими свободы. Слово отечество слышалось постоянно и составляло задушевную мысль». В честь дня рождения Саксонского короля, французский резидент дал бал, и на этом балу полячки говорили ему: «Хорошо, на этот год, пожалуй, в честь Саксонского короля; но на будущий год необходимо давать бал уже в честь Польского короля». Они жаловались, что Саксонский король, три месяца живший в Варшаве, не дал ни одного бала. «Только Франция хорошо с нами обходится, говорили они. Её министр даёт нам балы зимою, а император весною даст нам Польшу». Желание повеселиться омрачалось, однако, заботами о бедствиях войны. У каждой из этих женщин был муж, брат, родственник или близкий сердцу человек. Войска герцогства сосредоточивали в себе весь цвет польского общества. «В каждом семействе в Варшаве можно было застать общество женщин, сидевших вокруг стола и приготовлявших корпию и перевязки для каждого даже солдата, чтобы у всякого в сумке находились в запасе средства для первой перевязки ран». Семейство князей Чарторыйских, весьма влиятельное между поляками, шло за общим направлением: князь Константин, младший брат князя Адама, командовал полком в польских войсках, и только князь Адам не принимал видимого участия в общем одушевлении по своим личным отношениям к императору Александру. Его мать, пользовавшаяся большим уважением и называвшаяся «матерью Польши» (matka Polska), несколько раз в разговорах с Биньоном старалась оправдать перед французами такой образ действий своего старшего сына, уверяя, что, тем не менее, он истинный поляк по чувству и образу мыслей.

Поляки герцогства Варшавского находились в постоянных сношениях с Франциею. Не говоря уже о 10 тысячах польских войск, служивших в начале года в Испании и постоянно выводимых оттуда во Францию и потом в герцогство Варшавское, в Париж приезжало на более или менее продолжительные сроки и постоянно там находилось весьма много поляков. «Число поляков, состоящих на службе

во Франции, не только в уланских полках, в гвардии и польских легионах, — писал Чернышёв к графу Румянцеву, — но и во французских полках, весьма значительно. Я изыскивал случаи разговаривать со многими из них так, чтоб они не знали кто я, и все они прямо выражали, что в скором времени Польша будет восстановлена в прежнем виде. Все говорят, что положение жителей Варшавского герцогства гораздо хуже, нежели оно было при господстве над ними пруссаков и австрийцев; но надеются выйти из этого положения, когда будет восстановлена Польша. Наиболее их поддерживает и покровительствует перед Наполеоном статс-секретарь Маре́ (герцог Бассано), который вместе с г. Батовским, резидентом Варшавского герцогства в Париже, работал над составлением для него конституции. Этот Батовский чрезвычайно тонкий и ловкий человек. Он несколько времени был в близких отношениях к герцогине Курляндской и теперь назначен Саксонским посланником в Испанию, что не мешает ему оставаться в Париже. Замойский, отправленный поздравить императора с бракосочетанием, оставляет Париж через несколько дней. Он приехал сюда до возвращения императора из последнего путешествия и чрезвычайно волновался в Париже. Здесь находятся также сенаторы Дзялынский и Яблоновский, говорят, большие заговорщики, особенно последний. Женщины также служат общему делу поляков; графиня Тышкевич, сестра князя Понятовского, говорят, исполняет должность его поверенного и получает от него пособия для пребывания здесь, так как её собственные средства были бы для этого недостаточны. За нею следуют княгиня Сапега, сестра графини Замойской, Потоцкая, Мнишек и другие»[18]. Графиня Тышкевич именно пользовалась такою известностью в Париже. Князь Куракин в это же время доносил нашему правительству, что «она имела частный разговор с Наполеоном, продолжавшийся несколько часов; по поручению брата своего, князя Понятовского, она говорила о тяжёлом положении Варшавского герцогства, о недостатке там денег и что дела дойдут в нём до крайности, если Франция не принудит Саксонского короля помочь герцогству; что этот государь не соглашается тратить на него доходы своего королевства и настаивает на том, чтобы оно довольствовалось своими собственными средствами. Требуя такого влияния Франции на Саксонского короля, она говорила императору, что войска герцогства давно уже не получают жалованья, что её брат жертвует на это большую часть своего имущества и аренду в 156 тыс. злотых, которую в прошлом году пожаловал ему император Наполеон. Правда, по её словам, в герцогстве много недовольных положением дел; но, без сомнения, это недовольство скоро исчезнет, лишь явится снова возможность

открыто действовать в пользу восстановления бывшего Польского королевства»[19].

Внимание, которое оказывал Наполеон полякам изменялось по мере того, как он выражал свои отношения к России. В начале 1811 года, когда он надеялся ещё на успешный ход Испанских дел и негодовал на новый наш тариф, он явно оказывал им преимущество перед русскими. Чрезвычайно ласкавший Чернышёва, после получения известия о тарифе, на первом затем представлении дипломатического корпуса, он два раза прошёл мимо него, не говоря с ним ни слова и долго разговаривал с лицами, стоявшими возле него. «Он и поклонился мне, – писал Чернышёв к канцлеру, – не без некоторого колебания. Он также повёртывался спиною к Шведскому посланнику всякий раз, как проходил мимо него, и с особенною любезностью и много разговаривал с Поляками. Наполеон до такой степени не владел собою, что, возвратясь к себе в покои после этого представления, в сопровождении только князя Невшательского и герцога Фриульского, сказал им: «Чернышёв нарочно выступил вперёд, чтобы я имел честь говорить с ним; но я не нашёл этого нужным; вместо России я сегодня много беседовал с Польшею». Я позволяю себе заметить по случаю этой странности (о которой никто здесь не знает, а я был извещён через несколько часов спустя), что и в этот раз, как и всегда, на таких аудиенциях я поместился в хвосте его дипломатического корпуса».

Всякий подобный поступок со стороны Наполеона возбуждал надежды поляков и усиливал их деятельность. Они принимали его за признак разрыва с Россиею и за предвестие скорой войны. «Поляки, – продолжал Чернышёв, – которых теперь весьма много в Париже, нисколько не стесняются выражать свои мысли о том, что обещает им война Франции с Россиею. Они действуют с усиленною ревностью, которою особенно отличаются Батовский, Дзялынский, Белинский, Клаповские, отец и сын, и множество молодых людей. Женщины имеют также важное значение в этом случае, особенно с приезда сюда г-жи Валевской, с которой Наполеон был хорошо знаком в Варшаве во время последней войны. Она и теперь пользуется его благосклонностью и имеет доступ в домашние собрания при дворе, почёт, которым не пользовалась до сих пор ни одна иностранка. Она привезла с собою маленького ребёнка, который, как говорят, есть последствие частых её поездок из Вены в Шёнбрунн. За ним ухаживают с бесконечным вниманием. Но г-жа Валевская, по своим личным свойствам, вовсе не принадлежит к разряду женщин политических, и потому ею руководят графиня Тышкевич и Яблоновская, особенно

последняя, вокруг которой по преимуществу сосредоточиваются все поляки. Никто из иностранцев, и особенно русских, не принимается в их общество. Недавно у г-жи Валевской был вечер в честь Костюшки, на котором торжественно праздновали этого старика. Все поляки были ему представляемы; в его лице они желали почтить одного из прежних своих храбрых воинов, несмотря на то, что они не рассчитывают на его содействие в их замыслах: его лета и образ мыслей об отношениях Наполеона к Польше составляют большое препятствие в этом случае. Здесь уверяют, что войска герцогства Варшавского будут усилены на 10 тысяч и снабжены 300 пушками, которые большею частью взяты из Глогау, Штеттина, Кюстрина и Данцига. Я скоро буду иметь возможность проверить справедливость этих слухов».

Эти слухи в общих чертах были верны. Наполеон употреблял все средства, чтоб усилить и привести в порядок артиллерию в войсках герцогства, рассчитывая преимущественно как на этот род оружия в предстоявшей войне, так и на лёгкую польскую конницу. Он надеялся противопоставить её нашим казакам, которых значение в войне он очень хорошо понял и оценил в 1807 году. Сделавшись императором и связав судьбу своей семьи со старейшим из царственных домов в Западной Европе, свои военные соображения он рассчитывал, руководясь совершено иными началами, нежели прежде. Веру в свою гениальность как военачальника и в свою звезду, в беззаветную к нему преданность и храбрость войск, он для большего успеха считал нужным подкрепить количеством войск и увеличением числа наиболее смертоносных орудий. В это время он назначил полковника Лабенского (его отец был министр юстиции Варшавского герцогства), начальником эскадрона польской гвардии, находившейся при его особе, эскадрона, которого ещё не существовало на деле, но который ему же поручалось составить. С этою целью Лабенский поехал в Варшаву выбирать для своего эскадрона лучших людей и лучших лошадей из всех польских конных полков[20]. Без сомнения, такое самовластное распоряжение войсками Саксонского королевства объяснялось покорностью этого короля воле Наполеона и безусловною преданностью ему поляков.

Таково было настроение поляков в то время, когда князь Адам Чарторыйский получил приведённое выше письмо императора Александра. Естественно, что возлагаемое на него поручение показалось ему, знакомому с видами и расположением своих соплеменников, чрезвычайно затруднительным. Для того, чтобы достигнуть предположенной цели, нужно было прибегнуть к мерам чрезвычайным. «Простое сохранение тех преимуществ, которыми уже пользуется герцогство, — писал он императору Александру, — было бы недоста-

точно для того, чтобы побудить его правительство и военачальников, за которыми следуют народ и войско, оставить теперешнего их союзника и покровителя, которому они обязаны своим существованием, который один до сих пор протянул им руку и воскресил их из гроба. Необходимо, по-видимому, чтобы они могли оправдать себя, как перед самими собой, так и перед Отечеством, от упрека в легкомыслии и непостоянстве, в вероломстве и неблагодарности; государственная необходимость должна выразиться так решительно, чтобы благо отечества представилось им непосредственно и несомненно. Конституция, законы, независимое управление, все должностные лица из соплеменников и своё войско: вот, по моему мнению, необходимые условия как предварительные, потому что этими преимуществами уже пользуется герцогство и ими дорожит вся нация. Мысль об иностранном управлении, которое не имеет ни привязанности, ни благорасположения к управляемым, постоянно обращаясь с ними как победитель с побеждёнными, которое в силу самого своего положения надменно и угнетательно, эта мысль наиболее невыносима и для всякого другого народа». Поэтому князь Чарторыйский полагал, что Русский император, в добавление к этим предварительным условиям, должен обещать полякам:

1) Восстановление конституции 3 мая 1791 года, к которой питают привязанность все поляки.

2) Соединение под одною властью всех областей бывшего Польского королевства, «для того, чтобы положить конец тому печальному положению дел, когда родственники, братья, люди, которые не могут не считать себя согражданами и даже одно и то же лицо, если имеет поместья в разных владениях, отчуждаются друг от друга и от самих себя, должны повиноваться разным государям, исполнять противуречивые обязанности и, принадлежа к одному народу, к одному семейству, находиться в большем разлучении, нежели бы их разделяли моря и горы. Поверьте, что дать надежду полякам, принадлежащим другим государствам, на соединение и общее обеспечение их участи, может послужить могучим средством действия и на настроение поляков герцогства».

3) Открыть и обеспечить пути для торговли, без которой эта страна, при теперешнем её истощении никогда подняться не может.

Соединение в одно целое всех разделённых областей бывшей Польши, конечно, представлялось князю Чарторыйскому главнейшим условием. Предлагая эти условия, он выражает сожаление, что Император не сообщил ему более подробных сведений о своих предначертаниях. В таком случае и он мог бы с большею определен-

ностью выразить свои воззрения. «Если такие комбинации, которые Вы могли бы предложить, Государь,— говорит он,— и в отношении которых я наперёд мог бы сказать Вам, что их не следует и предлагать, потому что можно сказать наверное, что предложение не будет принято. Ваше Величество, между прочим, говорите неопределённо о державе, которая предложит Польше её восстановление, не выражая положительно, что эта держава — Россия. Благоволите, Государь, объяснить Вашу мысль в этом отношении; но обратите внимание на то, что соединение всех частей Польши составляет необходимейшее условие для того, чтобы покорить общественное мнение в герцогстве, и при этом следует в своё время вспомнить и об остальной Галиции, т. е. принадлежащей ещё Австрии».

Но кроме этих условий, необходимых для того, чтобы привлечь поляков на свою сторону, князь Чарторыйский считал необходимым вселить в них уверенность в вероятном успехе предприятия. На чём можно было основать эту уверенность? Гениальным способностям Наполеона как военачальника трудно было противупоставить подобные. Единственным условием могло быть только то, чтобы иметь возможность располагать большим количеством войск в сравнении с его силами. Но исчисление этих войск, которое сообщил ему Государь, возбуждало его сомнения. «Признаюсь,— писал он,— мне трудно поверить, чтобы если в Северной Германии находятся уже 16 тысяч французских войск, из всей Франции вместе с Голландиею можно было вывести ещё только 15 тысяч. В этом отношении Вашему Величеству необходимо употребить все способы, чтобы приобрести верные сведения. Если Вы получаете их через Берлинский кабинет, то я советовал бы проверять их более надёжным путём. Вам самим известно по многим опытам, что Прусские известия не всегда точны, и притом сами французы нередко скрывают свои силы. Куда девалось, например, 115 тысяч конскриптов этого года? Вашему Величеству также известно искусство Франции образовывать почти мгновенно новые войска... Совершенно ли Вы уверены в том, что с самого начала войны в вашем распоряжении будет 100 тысяч войска? Мне часто случалось видать в России 100 тысяч человек, написанных на бумаге, но в действительности составлявших по общим отзывам не более 60 тысяч. Вполне ли Вы уверены в том, что немедленно затем можете выставить ещё 100 тысяч? В точности ли исчислены время переходов и возможность передвигать войска с одних мест на другие в определённое время? Вы будете иметь дело с человеком, в борьбе с которым нельзя ошибаться безнаказанно». Он обращал также внимание и на следующее обстоятельство, относительно таблицы войск обеих

сторон, сообщённой ему Государем. «Благоволите заметить, Государь, что 50 тысяч поляков, составляющих действующую силу герцогства, именно и дают нашей стороне перевес. Если Вы у одной стороны отнимете эти 50 тысяч и присоедините их другой, то у Вас с союзниками будет только в начале 180 тысяч, а у французов будет 205 тысяч. Надо сверх того заметить, что Силезские крепости заняты польскими войсками». Без сомнения, 50 тысяч хорошо обученных войск имели значение, но едва ли такое решительное, какое желал придать им князь Чарторыйский, чтобы выставить Государю всю важность задуманного им предприятия, для осуществления которого не следовало останавливаться ни перед какими пожертвованиями.

На третий день после получения этого письма Государь поспешил отвечать другу своей юности. Признавая все трудности предприятия, на которые он ему указывал, Александр Павлович однако не оставлял своего намерения и полагал, что в этом случае «всего хуже останавливаться на полпути». Затруднения, выведенные князем Чарторыйским из наблюдений над поляками присоединённых к России областей бывшей Польши, может быть, он считал ещё недостаточными и ожидал тех известий, которые он сообщит ему из самого средоточия Польши, из герцогства Варшавского. «Вдумавшись в содержание вашего письма, – писал он, – я вывожу из него следующие заключения:

1) Неуверенность с вашей стороны, какая держава возьмётся за дело восстановления Польши.

2) Такая же неуверенность в способе этого восстановления и опасение, все ли области бывшего королевства будут соединены вместе.

3) Необходимость, чтобы привлечь поляков на свою сторону, предложить им условия, более выгодные в сравнении с теми, в каких они находятся в настоящее время.

4) Опасение, что силы, которые предполагается выставлять против Наполеона, не оказались бы недостаточными.

1) Держава, о которой я говорил и которая примет на себя восстановление Польши, есть Россия.

2) Под восстановлением я разумею соединение вместе всех областей, называвшихся Польшею, не исключая и присоединённых к России, однако, кроме Белоруссии, так, чтобы границы определялись реками Днепром, Березиною и Двиною.

3) Чины правительственные, власти гражданские, а равно и войска, должны быть исключительно народные, польские.

4) Я не припоминаю хорошо конституции 3 мая, потому ничего не могу решить, не видав её и прошу её мне прислать. Но, во всяком случае, предложится конституция либеральная, которая могла бы

удовлетворить желаниям жителей.

5) Для того чтобы доказать искренность моих предложений, прежде всего будет провозглашено восстановление Польши, и это будет первым шагом к осуществлению задуманных предположений.

6) Но всё, что я предлагаю находится в зависимости от необходимых условий — sine qua non:

1) Чтобы Польское королевство было на вечные времена присоединено к России, и её император носил бы титул Русского императора и короля Польского.

2) Положительное и формальное удостоверение в единодушии жителей герцогства, без которого невозможно и достигнуть предположенной цели. Это удостоверение должно быть скреплено подписями лиц наиболее влиятельных».

Государь подробно перечислил князю Чарторыйскому состав войск, которые действительно могут быть употреблены в дело. Из этого перечисления оказывается, что 1-ю Западную армию он полагал из 106 тысяч человек, 2-ю из 134 тысяч, 3-ю из 125 тысяч. В помощь этим войскам можно было ещё рассчитывать если не на всю, то на часть Молдавской армии. Что касается до вознаграждения Саксонского короля за Варшавское герцогство, то Государь считал себя обязанным его вознаграждать в том лишь случае, если он будет действовать заодно против Наполеона. Но Австрию он считал необходимым щадить и ни в чём с нею не сталкиваться. «В этих видах,— говорит он,— я решился предложить ей Валахию и Молдавию до Серета в обмен за Галицию. Но необходимо бы отсрочить присоединение Галиции до получения согласия со стороны Австрии, чтобы доказать ей, что против неё не имеется никаких враждебных видов. Поэтому Польское королевство первоначально будет составлено из герцогства Варшавского и русских областей».

Мысль о восстановлении Польши особенно занимала Александра Павловича в это время, потому что он считал его благоприятным для достижения своей цели и потому что мысль эта согласовалась с общими его политическими видами. «Не подлежит сомнению,— писал он,— что Наполеон желает вызвать Россию на разрыв с ним в надежде, что я сделаю ошибку и нападу на него. Это действительно была бы ошибка с моей стороны при настоящих обстоятельствах, и потому я твёрдо решился не впадать в неё. Но если поляки выразят желание присоединиться ко мне, тогда всё примет иной оборот. Подкреплённый 50 тысячами человек их войска и при поддержке также 50 тысяч пруссаков, которые тогда без опасений могут присоединиться к нам, и нравственным переворотом, который неминуемо произойдёт отто-

го в Европе, я могу достигнуть Одера, не обнажив меча». Император подробно объяснил, какие произойдут последствия для поляков как в том случае, если они соединятся с французами, так и в том, если примкнут к России. В первом случае представлялись ему два предположения.

1) Так как Россия не будет действовать наступательно, то может быть и Наполеон будет выжидать, по крайней мере, до тех пор, пока дела в Испании не будут поглощать большей части его средств. Тогда обстоятельства останутся в том положении, в каком теперь находятся, и мысль о восстановлении Польши отдалится на более или менее продолжительное время.

2) Если же он решится немедленно начать войну с Россиею, то поприщем войны будут именно польские области, на них падут все бедствия, и несчастная страна надолго останется опустошённою.

При втором случае, т.е. если поляки соединятся с Россиею, неминуемым последствием будет немедленное заявление о восстановлении Польши, в состав которой войдут Варшавское герцогство и русские губернии, и будет почти верная надежда присоединить к ним впоследствии Австрийскую Галицию. Поприще войны перенесётся на берега Одера. Но к этим неизбежным последствиям могут быть присоединены ещё вероятные:

1) Совершенный переворот в общественном мнении Европы.

2) Значительное уменьшение сил Наполеона, а оттого и вероятность успеха. Ему трудно будет вывести все свои силы из Испании, где он имеет дело с народом, ожесточённым против него, считающим до 300 тысяч сражающихся, и который не удовлетворится только его отступлением, но постарается и сам проникнуть во Францию, пользуясь войною Наполеона на Севере.

3) Избавление от ига, под которым томится Европа.

4) Польша сделается королевством и, соединённая с могущественною империею, найдёт в ней всегда защиту, которую она должна будет ей оказывать из собственных выгод.

5) Восстановление торговли, либеральная конституция, налоги, сообразные с нуждами страны, а не так, как теперь, вынуждаемые у народа единственно для содержания войск, по количеству, слишком многочисленных в сравнении с средствами страны и единственно нужных для того, чтобы служить честолюбивым замыслам Наполеона.

6) Наконец, Государь обращал внимание и на польские полки, находившиеся в Испании и Франции и вообще на множество поляков, находящихся там, говоря, что самое худшее, что может с ними

случиться, это то, что в продолжение войны они будут оставаться во Франции в качестве военнопленных.

«Ко всем этим соображениям, – заключал он, – не следует ли прибавить, что успехи Франции соединены исключительно с личностью Наполеона? Когда его не станет, вместе с ним исчезнет и участие Франции к Польше. Между тем войны с Россиею, если бы Польша была восстановлена Франциею, сделались бы нескончаемыми и по смерти Наполеона повторялись бы с новою силою. Какой источник бедствий для бедного человечества, для потомства! Пока я не буду уверен в содействии поляков, я не решусь начинать войны с Франциею; но если решатся они содействовать, то необходимо, чтобы я получил о том несомненные удостоверения и доказательства»[21].

Этих-то несомненных доказательств и не получил Александр Павлович и не мог получить при тогдашнем настроении поляков. Последствием поездки князя Чарторыйского в Варшавское герцогство было то, что немедленно узнали, с какими целями он туда приехал. Некоторые сообщения Анштетта, приезжавшего в отпуск в Варшаву, для свидания с родными его жены, и графа Огинского подкрепляли эти слухи, немедленно доведённые до французского резидента[22], который поспешил сообщить о них своему двору. После непродолжительного времени о том говорили уже в Париже, и сам Наполеон заявлял нашим дипломатическим агентам, которые, конечно, довели об этом до сведения императора Александра. Это обстоятельство вынудило его прервать переписку с князем Чарторыйским, который не решился даже побывать в Варшаве, но прожив несколько времени в Пулавах, отправился потом в Галицию, в Сенявы, вместе с своими родителями. В это время, напротив, Государь получил несомненные доказательства преданности поляков Наполеону и желания их вызвать его на войну с Россиею.

Уже в апреле месяце Государь, рассуждая с графом Огинским о возможности войны с Франциею, говорил про поляков: «Наполеон слишком вскружил им головы; с ними нельзя теперь говорить благоразумно; я должен ограничиться только тем, чтобы мои польские подданные считали себя счастливыми и довольными. Если вы имеете какие-нибудь предположения, которые могли бы служить к осуществлению этого моего желания, то я готов заняться их рассмотрением». Увлекаясь мыслью о восстановлении Польши, каждый раз испытывая на деле невозможность её осуществления, Александр Павлович теперь обращался к мысли о том, чтобы привязать к себе своих польских подданных. Но возможно ли было достигнуть даже этой благой цели и какими путями?

Восстановление Польши в видах Русского императора, конечно, не могло совершиться в ущерб России. В приведённых письмах к князю Чарторыйскому, как и постоянно, мысль об её восстановлении он соединял с непременным условием, чтобы это королевство оставалось неразрывно соединено с Россиею, и Русский император и его приемники были бы в то же время и королями Польскими. Беседуя по этому вопросу с графом Огинским в конце 1811 года, Государь говорил ему: «Восстановление Польши не может быть противно выгодам России; оно состоит не в том, чтобы отделить от неё завоёванные области, но напротив, чтобы составить для неё могущественную ограду от внешних нападений и привязать к выгодам России миллионы обитателей, которые не забыли ещё прежнего своего существования. Польша поэтому не может отторгнуться от Русской империи, а её обитатели будут счастливы и довольны, если получат желаемое ими устройство. Что касается до титула, то почему же мне не принять титула Польского короля, если это будет им приятно? Но (прибавлял он уже в это время) надо подождать хода событий». Действительно, мысль о восстановлении Польши в конце 1811 года вновь отходила в неопределённое будущее, как находившаяся в зависимости от хода исторических происшествий, и попечения Государя должны были ограничиться заботами дня.

Разделение Польского королевства между тремя державами представляло значительные затруднения для них по вопросу о так называемых *обоюдных* подданных; этот вопрос постоянно оставался нерешённым окончательно, и представлял в случае войны большие опасности: поляки под знамёнами одной державы должны бы драться со своими соплеменниками, состоявшими под знамёнами другой. Возможность измены с какой-либо стороны представлялась естественною. Неудобства этого раздела, когда Наполеон после Тильзитского мира образовал почти независимое герцогство Варшавское, дошли до высшей степени. Их испытала Австрия в войну с Франциею в 1809 году, после которой она и потеряла большую часть Галиции и готова была уступить и всю, чтобы избавиться от новых затруднений в будущем. Эта война доказала и России возможность величайших для неё затруднений со стороны её польских подданных при первом разрыве с Франциею. В эту войну русские войска, предназначенные в союзе с Наполеоном действовать против Австрии вместе с войсками герцогства Варшавского, были поставлены в такое положение, что едва не вступали с ними в бой, и из союзников Наполеона не делались союзниками Австрии. Герцогство Варшавское, как средоточие Польской государственной и общественной жизни, в это время при-

тягивало к себе сочувствие поляков наших губерний и поддерживали в них постоянное волнение, опасное для империи. Необходимо было выйти из этого положения; но какими способами? Главнейшим способом в мыслях Александра было восстановление Польши, но неразрывно соединённой с Россиею. Этот способ каждый раз оказывался невозможным, нарушая выгоды его прежних союзников, Пруссии и Австрии; а затем решительно не соответствовал видам нового его союзника, императора Наполеона. Мысль о том, что народонаселение большей части областей прежней Польши, присоединённой к России, было русское, православное или насильственно обращённое в унию, от которой при первом удобном случае готово отказаться, в то время ещё не приходила в голову правящим лицам. Наполеон, переделывая карту Европы, так же, как и потом Венский конгресс, обращал внимание исключительно на число квадратных миль и количество населявших их душ, вовсе не принимая в расчёт народности. Что касается до уступки прежних русских областей, завоёванных поляками и вновь потом отнятых у них силою оружия, то это возмещалось неразрывным соединением всего будущего Польского королевства с Русскою империею. Невозможность восстановления Польши посредством России вызвала со стороны её мысль лишить этой возможности и Францию, потому что восстановленная ею Польша была бы враждебна России, и это восстановление не могло совершиться иначе, как посредством завоевания у России тех областей прежнего Польского королевства, которые находились в её обладании. Добровольно, посредством торжественно заключённого договора, отказавшись от мысли о восстановлении Польши, Наполеон лишил бы надежд Варшавское герцогство на будущее и дал бы возможность успокоить волнения в наших губерниях, не прибегая к строгим мерам. Но после того, как не удалось в 1810 году заключить такой договор, конечно, единственным средством для нашего правительства оставалось принять меры, которые, удовлетворив желанию поляков – русских подданных, отклонили бы их сочувствия от герцогства Варшавского и Наполеона, создавшего невыносимо тяжёлое положение для образованного им полунезависимого Польского государства.

Именно такие мысли и занимали Александра Павловича в 1812 году. Пригласив к себе князя Чарторыйского, когда тот завёл речь об амнистии всем полякам русских губерний, которые были замешаны в беспорядках во время войны с Австриею, он не отказывал ему исполнить его просьбу, но прибавил: «даровать всепрощение – значит, однако же, дозволить возвратиться в эти губернии таким лицам, на которых я не могу полагаться. Я всегда желал приобрести

расположение жителей этих губерний; но трудность заключалась в том, какими средствами возможно было этого достигнуть; что ни делай, легкомыслие их таково, что ни на что нельзя положиться».

«Это не легкомыслие,— отвечал князь Чарторыйский,— но постоянство в привязанности к своему отечеству и в желании его восстановления в полном составе».

Не входя в спор, Государь заговорил о предположении соединить под отдельным управлением присоединённые к России от бывшей Польши губернии и спросил его, будут ли этим они удовлетворены? Конечно, такое предположение всего менее могло встретить сочувствие в князе Чарторыйском, ревностном поборнике восстановления прежней, единой Польши; оно действительно сделалось бы восстановлением Польши, но в том виде, когда Литовское княжество было отдельным и независимым от королевства, до Люблинской унии, когда оба эти государства находились почти в постоянной вражде между собою. Под разными предлогами он хотел было уклониться от ответа; но Государь поручил ему подумать и, отпуская его спросил, когда он может дать ему ответ на предложенный вопрос? «Дело поистине было нелёгкое,— говорит князь Чарторыйский.— С одной стороны, какие надежды можно было подать Императору, что средства, которые пришлось бы пустить в ход для достижения этой цели, оказались бы действительными? С другой стороны, сколько неудобств и опасностей для самого себя в содействии таким предположениям! Это значило бы воздвигать алтарь против алтаря, может быть, вызывать междоусобную войну в своей стране. Выказывать только для вида сочувствие этим поздним заботам Императора, значило бы идти навстречу всевозможным затруднениям и препятствиям, без малейшей надежды. Однако же, необходимо было отвечать как из приличия, так и потому, что ввиду всё-таки сомнительного будущего, не следовало совершенно обрывать нить, которая, при изменившихся обстоятельствах, могла бы оказаться ещё драгоценною».

При таком неискреннем отношении к этому вопросу, ответная записка князя Чарторыйского, через несколько недель прочтённая Государю, должна была выражать хитрую уловку, с тем, чтобы, как бы отвечая сочувственно на вопрос Государя, отклонить его от такого намерения и свести всё дело к частным мерам в отношении к отдельным лицам или местным учреждениям. Прочитав эту записку и предполагая, конечно, что Государь может понять её значение, князь Чарторыйский поспешил извиниться, что мог представить только общие неопределённые мысли и без заключений. «Я не мог в настоящее время выразиться определительнее,— говорил он,— потому что

нахожусь в совершенном неведении, что делается и не знаю о настроении, господствующем в Польских областях. Только там, на местах, можно бы понять, как будет принято предложение России, и судить о способах противодействия всесильному влиянию Наполеона».

Государь, конечно, поняв значение прочитанной ему записки, отвечал на последние замечания князя Чарторыйского: «И не будучи на местах, нетрудно знать, что думают в польских областях и в герцогстве; это может быть выражено в немногих словах. Поляки пойдут за самим чёртом, если он поведёт к восстановлению их отечества. Впрочем, я доволен тем, что вы написали; это поможет моим размышлениям о предмете, который так давно меня занимает. Я придумываю разные средства для осуществления моих желаний и не дошёл ни до чего удовлетворительного»[23]. Во всё продолжение этого разговора князь Чарторыйский постоянно замечал, что Государь от одного предположения переходил к другому: решившись на одно, колебался в исполнении, оставлял первое предположение и обращался к новому. В этом отношении князь был совершенно прав, но он несправедливо приписывал это обстоятельство только нерешительности характера. Напротив, причина колебаний заключалась в сущности самого дела: Государь стоял на почве действительной жизни и понимал силу и значение *совершившихся* происшествий, которые находились в *совершенном* противоречии с мечтой его молодости о восстановлении бывшей Польши. Она ещё сохранялась в нём, он верил в неё, может быть так же, как и князь Чарторыйский; но для сего последнего существовала лишь *прежняя* Польша и *будущее* её восстановление. Происшествие настоящего времени ускользали от его понимания.

Предположение Александра Павловича о соединении под одним управлением губерний, присоединённых к России от Польши, так испугавшее князя Чарторыйского, находило сочувствие во многих из поляков этих областей. Одни из них, по личной преданности ему, только от него и ожидали улучшений в положении своей родины. «Поляки, находившиеся в русской службе, Любомирские, Браницкие, Потоцкие, Грабовские говорили: он наше Отечество»[24]. Другие, соединяя с этою преданностью и знание характера Наполеона, уверены были, что он вовсе не желает восстановления свободной и независимой Польши, а пользуется этою мыслью, как угрозою против России, и поляками, как даровым орудием для достижения своей цели господства над всею Европою, а потому считали единственно возможным начать восстановление Литвы, к которой впоследствии, при благоприятных обстоятельствах, могло быть присоединено герцогство Варшавское и, может быть, и Австрийская Галиция. Эта мысль

постоянно занимала графа Огинского. После долгого пребывания в Париже, возвращаясь в Россию в начале 1811 года, он составлял уже записку в этом смысле для представления Государю. В апреле месяце этого года, беседуя с ним об отношениях России к Франции, Государь заявил, что в настоящее время нельзя думать о восстановлении Польши и что его заботы направлены лишь к тому, чтобы успокоить и сделать довольными своих подданных-поляков и выразил желание, чтобы он сообщил ему по этому вопросу свои соображения. Огинский немедленно воспользовался этим случаем и предложил восемь западных губерний соединить в одно управление. «Конечно, — говорит он, — я знал, что это мера не произведёт того впечатления, какое произвёл бы манифест о восстановлении Польши; но об этом единственно я мог ходатайствовать и надеялся, что достигнув первого, я достигну и второго, лишь только начнётся война; между тем я уже много выиграл бы, избавив своих соотечественников от чиновничьих придирок, облегчив их участь, обеспечив правосудие, и дал бы надежду на политическое существование под благодетельным покровительством Александра. Если бы Император решился соединить в одно целое области, составлявшие в прежней Польше Литовское княжество и если бы он даровал те права литовцам, о которых я ходатайствовал, то несомненно Польша была бы восстановлена, когда с началом войны, уже неизбежной, он присоединил бы к нему и Варшавское герцогство».

Встретив сочувствие к занимавшей уже его мысли, Государь не без удовольствия отвечал Огинскому: «Я очень рад, что мы сошлись в наших мнениях. Я уже шесть месяцев занимаюсь работою в том же смысле, как вы предлагаете. Как только она будет окончена, я вам её сообщу, и вы можете быть уверены, что я вас буду приглашать на совещания по вопросу, о котором мы говорим, и я не постановлю по этому случаю никаких решений без вашего ведома». Но Государь предложил ему несколько замечаний о том, не будет ли слишком обширна область из восьми губерний, чтобы состоять под управлением одного лица, и захотят ли добровольно жители Волыни, Подолья и Киевской губерний присоединиться к Литовскому княжеству и называться литовцами?

Эти важные замечания не обратили на себя особого внимания графа Огинского; он не догадался даже, какую мысль выражал в них Государь, и в следующем же месяце (мае 1811) представил Государю подробную записку по этому вопросу. «Если бы дело шло уже о войне с Франциею, оборонительной или наступательной, то я полагаю, уже поздно было бы думать об особом устройстве восьми губер-

ний, чтобы составлять из них могущественную защиту, как против военных замыслов Наполеона, так и против его влияния. В этом случае лучше всего провозгласить себя Польским королём, потому, что только этим способом можно привлечь к себе жителей Варшавского герцогства. Но теперь ещё есть время воспользоваться обстоятельствами, чтобы привязать к себе жителей этих губерний и дать почувствовать герцогству различие между правительством, угнетающим народ для своих выгод, заманивая обещаниями, которых не намерено оно исполнять, и правительством благодетельным. Часть прежней Польши, присоединённая к России, составляла княжество Литовское, только соединённое с нею. Его жители, воинственные, предприимчивые, дорожившие своими правами, верные своим государям, отличались храбростью и любовью к родине. Гордые своим литовским происхождением, несмотря на соединение с Польшею, они сохранили свои законы гражданские, своих чиновников, и до последнего раздела сеймы собирались в Варшаве и Гродно, существовали войска польские и литовские. Литва имела свой верховный суд, свои канцелярии, своих министров, своих государственных чиновников. Она так твёрдо держалась за свои преимущества, что несмотря на требования многих государственных людей, Польское правительство никогда не могло решиться отнять их у неё. Я убеждён, что если бы во время присоединения к России из Литвы была бы образована отдельная область, с сохранением названия и своих прав, с отдельным управлением, но соединённая с Россиею, то с трудом могло бы проникнуть в неё иностранное влияние. Несмотря на то, что приняты были иные меры, литовцы никогда не изменяли Русским государям и теперь всего ожидают от вас. Теперь настало время, Государь, испытать верность литовцев и разрушить мнение, что Польша может быть восстановлена только Наполеоном, показать, что вы принимаете участие в их судьбе и, ценя их преданность, принимаете меры, которые привяжут к вам сердца почти восьми миллионов людей!» С этою целью он предлагал, соединив восемь губерний в одно целое, назвав их Литовским княжеством, вверить его управление одному лицу с блестящим окружением, восстановить силу Литовского Статута, дать особый сенат или верховный безапелляционный суд и сравнять в податях и налогах с другими губерниями. «Таким образом, один почерк пера возвратит Литовцам их имя и Отечество; а жители герцогства будут ожидать этого и не могут приобрести иначе, как ценою своей крови. Литовцы, составляя часть великого целого, будут гордиться тем, что принадлежат к числу подданных Александра, которому искренно преданы, и будут знать, что 400-тысячное русское войско готово защитить их

от всякого нападения. Жители герцогства суть подданные короля, подвластного Наполеону, в гражданском отношении находящиеся под властью Саксонского короля, в военном под приказаниями Французского императора, не уверенные в своей судьбе, но убеждённые, что во всяком случае их отечество будет поприщем военных действий, что они составят авангард многочисленной и разноплеменной армии, которая двинется вперёд не с тою целью, чтобы защищать их Отечество, расширять его пределы и восстановить Польшу, но чтобы их самих направить как орудие туда, куда потребуют выгоды Наполеона и его гигантские предприятия».

Выслушав с большим вниманием записку Огинского, Государь взял её к себе и сказал, что будет иметь случай часто беседовать с ним об этом предмете. Но приезд Лористона, постоянные заявления Наполеона о желании поддержать союз с Россиею и посредством мирных переговоров разрешить все спорные вопросы, возникшие между двумя империями, с одной стороны, а с другой, желание императора Александра не приступать ни к каким мерам, которые могли бы ускорить войну с Франциею, было причиною, что на некоторое время замолкла речь о преобразовании польских губерний. Между тем, возобновление княжества Литовского было бы именно одною из таких мер. В сентябре месяце граф Огинский отъезжал в короткий отпуск и, отпуская его, Император поручал ему сказать его соотечественникам, что он занят мыслью об их судьбе. «Я буду стараться,— отвечал граф Огинский,— уверить моих соотечественников в покровительстве Вашего Величества, не подавая им, однако же, никаких определённых надежд, потому что Ваше Величество в этом отношении ещё, кажется, находитесь в нерешимости».— «Как в нерешимости? — возразил с живостью Государь.— Должно последовать одно из двух: в случае войны я восстановлю Польшу, которая будет соединена с Русскою империею, как Венгрия или Богемия соединены с Австриею; если же войны не будет, я приведу в исполнение наши предположения в отношении к Литве».

Возвратившись из отпуска и желая ускорить решение Императора по этому вопросу, граф Огинский в конце октября написал к нему письмо, при котором приложил даже проект указа. «Новые соображения, которыми я обязан Вашему Величеству,— писал он,— побуждают меня сделать изменения в моём предположении, не отступая, однако же, от главных начал. Читая новые постановления о Петербургском Сенате и получив сведения об устройстве Финляндии, я прихожу к простейшим предположениям, которыми устраняются многие затруднения. Нет необходимости начальника Литовского княжества

избирать из членов императорского семейства: это место может занимать генерал-губернатор. Никакой Европейский кабинет не может обращать внимания на простую меру внутреннего управления, которая не выражает никаких враждебных намерений. Все жители восьми губерний Литвы будут довольны исполнением их желаний, и Ваше Величество устроите сильную защиту вашей империи с Запада, сделав для этих губерний то же, что уже сделали вы для Финляндии; вы увеличите ваши военные способы сравнительно с тем, что доставляют вам теперь эти губернии и доходы империи». В проекте указа предписывалось, однако же, соединить в одно целое губернии Гродненскую, Виленскую, Минскую, Киевскую, Подольскую, Волынскую, области Белостокскую и Тарнопольскую под названием *Великого княжества Литовского*, что, конечно, представляло значительное различие с простым генерал-губернаторством. Точно также генерал-губернатор этого княжества должен был наименоваться *наместником* Государя, пользоваться титулом *высочества* (altesse) и частью государственных имуществ для своего содержания. В Петербурге должна быть устроена Литовская канцелярия при Императоре, по примеру Финляндской, под управлением статс-секретаря. Что касается до внутреннего управления предположенного Литовского Великого княжества, то оно должно было состоять из Совета Управления под председательством наместника, разделённого на несколько департаментов, каждый под начальством особого директора и нескольких советников, определяемых верховною властью. Для этого управления должен быть особою комиссиею составлен устав. В Вильне должен быть учреждён Верховный суд, и Литовский Статут действовать по-прежнему.

В то время, как Огинский сообщил Государю свои предположения, он узнал, что Армфельту и Розенкампфу поручено начертать положение об образовании Литвы; а графу Витту и Любомирскому об устройстве литовских войск, по совещании с ними.

Но между тем оканчивался 1811 год. Уверенность в войне укреплялась более и более. Император, исключительно заботясь об увеличении средств обороны, поручил Огинскому (который по болезни не выходил из дома), какие могут быть наиболее сообразные с целью употреблены меры для успешного и скорого увеличения литовских войск и особенно кавалерии. В ответ на этот вопрос Огинский написал письмо, в котором извещал, что эта работа уже составлена князем Любомирским; а сам он как не военный, не считает себя способным выразить своё мнение. Но при этом он представил особую записку, сущность которой заключалась в том, что этой мере должно бы предшествовать устройство Литвы, которое возбудило бы

восторг жителей этих губерний и подвигло бы их ко всевозможным пожертвованиям. Но в настоящее время ещё представляется вопрос: будут ли поляки драться против поляков? Возвращаясь снова к необходимости образования Литовского Великого княжества, он замечал, однако же, что эта мера, при уверенности, что мир будет сохранён, была бы простою мерою внутреннего управления и не возбудила бы подозрений; но «в случае войны она представляется уже мерою политическою, и тогда гораздо выгоднее для России,— писал он Государю,— восстановить Польское королевство и объявить Вашему Величеству себя Польским королём. Такое действие совершенно расстроит все предположения Наполеона. Если даже нельзя избегнуть войны, то во всяком случае это замедлит её начало, даст время России приготовиться к ней, а может быть и вовсе избегнуть»[25].

В конце января 1812 года Государь призвал его к себе и сказал, что он не доволен представленным ему проектом устройства Литвы и намерен ему поручить его составление. Огинский отвечал, что он уже занимается этим делом вместе с князем Любецким, Гродненским предводителем дворянства, и графом Казимиром Платером. «Но не забудьте про крестьян,— заметил ему Государь,— это самое полезное сословие, а у вас всегда относились к ним, как к илотам».

Отправившись в Вильну, Государь велел графу Огинскому следовать за ним; но болезнь задержала его в Петербурге до 6 июня.

Между тем в Вильне следовали одни за другими праздники, представления, смотры войск. Приехали и обитательницы Товян благодарить Государя за шифры*. Он сам посетил их, и после каждого его посещения, после каждой встречи с кем бы то ни было ходили рассказы о его любезности и добром расположении к своим польским подданным. Мысль о возможности войны, хотя и смущала, но представлялась лишь в будущем, быть может, отдалённом, которое возможно даже отклонить. Император со своей стороны прямо заявлял, что употребляет все способы для того, чтобы поддержать мир. В Товянах, разговаривая с графиней Морикони, он спросил, «имеет ли она обычай проводить зиму в городе со своим семейством».— «Прежде я постоянно проводила там зиму, но теперь обстоятельства таковы,— отвечала графиня, намекая на континентальную систему,— что надо сокращать расходы».— «Да,— сказал Император,— и можно ожидать

* Т.е. за пожалование во фрейлины. Фрейлины носили особые знаки отличия — золотые, усыпанные бриллиантами *шифры* (вензеля императрицы или великой княгини, при которых они состояли), увенчанные короной. Шифр носился на андреевской голубой ленте на левой стороне корсажа *(прим. ред.)*.

ещё худших последствий». – «Поэтому-то я желала бы с своим семейством находиться где-нибудь во глубине Белоруссии». – «Конечно, подальше от границ, – заметил Государь, – но я надеюсь, что всё ещё может уладиться мирно». В Вильно, посетив графиню Тизенгауз и беседуя с её отцом, Император не упоминал о современных обстоятельствах, уверял, однако же, в своём желании поддержать мирные отношения, говорил, что им сделаны все возможные пожертвования, чтобы поддержать мир, что, во всяком случае, он решился сам не начинать войны, единственная его забота заключается в том, чтобы сделать счастливыми своих подданных, и его тяготят современные трудные обстоятельства. Литовцы, отвечал граф Тизенгауз, сожалеют, что эти печальные обстоятельства препятствуют им выразить вполне те чувства, которые они питают к Императору, которого желания, как им известно, заключаются в том, чтобы быть отцом своих подданных[26].

В половине мая Государь ездил в Гродно осматривать войска, входящие в состав корпуса графа Шувалова, где был встречен с таким же торжеством, как и в Вильне[27]. На всех дворян этих губерний и особенно на дворянство Виленское произвело приятное впечатление то, что в это время Государь, купив у барона Беннигсена подгородное имение Закрет, говорил, что он сделался теперь Виленским дворянином и может носить их мундир. В Закрете приготовлялся генерал-адъютантами Государя великолепный праздник и строилась большая галерея для танцев. Приезд графа Нарбонна дал повод предполагать, что и Наполеон желает отклонить войну. Все эти обстоятельства отдаляли мысль о грозившей опасности; никто не ожидал, что война так близка.

В то время, как в Вильне пировали, в Полоцке совершалось особого рода торжество.

Отъезжая из Петербурга в Главную квартиру, Государь поручил графу Жозефу де Местру, Сардинскому посланнику, следовать за ним с тою же целью, как и графу Огинскому. «По поручению Императора, – доносил граф де Местр своему королю, – я должен ехать в Полоцк», и вслед за тем он писал из Полоцка: «Император поручил мне составить проект узаконения о восстановлении Польши и манифеста по этому случаю, что и было мною исполнено. Но я не вижу, чтобы в настоящее время это привело к каким-либо последствиям»*. Место-

* Первая фраза содержится не в донесении королю, а в донесении министру иностранных дел Сардинского королевства де Росси от 27 апреля (9 мая) 1812 г., вторая – о поручении составить проект указа и манифеста – в донесении королю Виктору-Эммануилу I от 27 мая (8 июня) 1812 г. См. Граф Жозеф де Местр. Петербургские письма. СПб., 1995, с. 206, 207 *(прим. ред.)*.

пребывание не в Вильне, а в Полоцке, сосредоточии иезуитов, вероятно, было избрано личными сочувствиями графа де Местра; но оно могло совпасть и со взглядами Государя. Присутствие в Вильне одного из представителей враждебной Франции политики в то время, когда граф Лористон должен был оставаться в Петербурге и военные действия ещё не начинались, было бы неудобно; а вместе с тем, по уверениям самого графа де Местра, при исполнении своих намерений в отношении к Польше Император мог рассчитывать на преданность и содействие иезуитов[28]. Приготовлявшееся в Полоцке торжественное возведение Иезуитской Коллегии в высшее учебное заведение, в Академию, зависимую исключительно от генерала иезуитов, служило непосредственным поводом к поездке туда графа де Местра, как известного поклонника и защитника иезуитов. «10 июня,— писал он Сардинскому королю,— г. Полоцк удостоил своим приездом Витебский генерал-губернатор принц Александр Вюртембергский: он присутствовал при открытии новой академии или университета, вверенного управлению достопочтенных отцов иезуитов. Императорский указ нёс Минский епископ в торжественной процессии, которая из дома коллегии была совершена в церковь, находящуюся на другой стороне довольно обширной площади. Этот указ составляет небольшую книжку в пять листов и стоил в переплёте 2000 руб. Устав Царскосельского Лицея стоил 5000, но достопочтенные отцы бережливы. Торжество началось большою литургиею, на которой с необыкновенным благоприличием присутствовал принц, хотя он протестант. Во всё время этого продолжительного торжества я находился подле него. Есть, над чем задуматься. В то время, когда католические по преимуществу дворы вынудили у Климента XIV его пресловутую буллу, можно было с полною вероятностью предполагать, что ничто подобное не может совершиться в этой стране! Необыкновенная странность человеческих деяний, и кто знает, что ещё может случиться»[29].

Это письмо граф де Местр писал уже в то время, когда весть о переправе французов через Неман достигла до Полоцка. Может быть, не только гадания о будущих успехах иезуитов в России занимали графа де Местра, но и будущие судьбы страны, где удалось им на прочных, по-видимому, основаниях устроить своё существование.

Глава 3

Преобразование Полоцкого Иезуитского училища в Академию. – Жозеф де Местр о Сперанском. – Его мнение о масонах, мартинистах и иллюминатах. – Политические взгляды де Местра и книга Баррюэля. – Иезуиты в России. – Экспансия иезуитов в деле просвещения. – Защита де Местром иезуитов. – Рекомендации русскому правительству. – Записка графа де Местра, поданная Александру I, и его беседа с ним.

Важным происшествием во внутренней политике России во время пребывания графа Ростопчина в Петербурге в 1812 году было возведение Полоцкого Иезуитского училища в звание Академии с правами университетов в империи.

Император Александр и по благородству своего характера, и по своему образованию не мог ни благоволить к иезуитам, ни ценить их воспитание. Но они достались ему как наследство. В высшем обществе, в числе лиц, окружавших Государя или находившихся в близких сношениях с двором, было уже много учеников, защитников и покровителей иезуитов. Высшее общество было наполнено иностранцами, эмигрантами-легитимистами, из которых многие занимали важные места в государственной службе и пользовались общественным почётом. Стоустая речь, повторявшаяся повсюду и беспрерывно, проповедовала особое учение, строго и последовательно развитое, которое не могло не оказывать значительного влияния. Мы изложим это учение словами даровитейшего его представителя графа де Местра.

В конце 1809 года он уведомлял Сардинского короля об устройстве Государственного Совета в России и указывал, что важнейшею должностью становится должность Государственного секретаря. «Этот Государственный секретарь, г-н Сперанский – одно из случайных явлений, возможное только в этой стране. Он попович, т.е. самого низкого происхождения. Он умён, с головой, с познаниями и особенно хорошо знает свой язык, что здесь не очень обыкновенно. Мне однажды только удалось говорить с ним, и я заметил, что он последователь Канта. В доме обер-гофмаршала* и особенно перед его

* Графа Николая Александровича Толстого *(прим. П.И. Бартенева).*

женою он превозносит воспитание иезуитов; но в кабинете Государя, я уверен, вместе со многими знающими положение дел, он следует предписаниям великой секты, стремящейся к уничтожению всякой верховной власти» (souveraineté)[1]. Год спустя он же писал к министру Сардинского короля о приготовлявшемся преобразовании Сената: «Что такое Сперанский? Это великий вопрос. Он человек умный, трудолюбивый, изящный писатель, в этом не может быть никакого сомнения; но он сын священника, т.е. принадлежит к самому низшему разряду свободных состояний, из которого естественно выходят по преимуществу преобразователи. Он сопровождал Императора в Эрфурт, там он беседовал с Талейраном, и некоторые думают, что он до сих пор переписывается с ним. Из всех его служебных действий видно, что он проникнут новыми идеями и особенно сочувствует конституционным установлениям. Он был ревностным покровителем Фесслера. Один из важных сановников, в откровенном разговоре, сказал мне: в последние два года я не узнаю Императора, до такой степени он сделался философом! Это слово меня поразило. Не может быть никакого сомнения в том, что существует великая и страшная секта, которая издавна стремится ниспровергнуть все престолы, и для этой цели с адскою ловкостью она заставляет служить ей самих государей. Вот путь, по которому неизменно и с успехом она следовала. Христианство в Европе неразрывно соединено с верховной властью; пока не разлучат их между собой, успеха быть не может. Мы не можем прямо восстать против верховной власти, которая нас может повесить; поэтому начнём с религии и заставим её презирать. Но и это дело представляется невозможным до тех пор, пока религию защищает богатое и влиятельное духовенство; прежде всего нужно его объединить и унизить. Духовенство неустанно проповедует божественное происхождение верховной власти, безусловную покорность, неприкосновенность государей и пр., оно естественный союзник деспотизма. Как заподозрить его в глазах светской власти? Надо представить его врагом её и для этого при всяком случае вспоминать старую борьбу пап с государями... Это учение разрушило уже первую монархию мира. Если бы она одна пала! Но теперь только мы узнаём, что такое Франция: её не знали, пока она находилась под властью законных государей; их недостатки даже обращались в пользу мира... Я уверяю вас, что моим глазам представляется здесь то же самое, что мы видели, т.е. тайная сила, которая подрывает верховную власть и пользуется для этой цели ею самой, как орудием. Устроена ли эта секта и составляет в полном смысле общество, которое имеет своих вождей и свои законы, или она заключается в естественном согласии

множества людей, стремящихся к одной и той же цели, это для меня ещё вопрос; но её действия не подлежат никакому сомнению, хотя деятели и не вполне известны. Способность этой секты очаровывать правительства представляет собою одно из ужаснейших и чрезвычайных явлений, какие только видел мир»[2].

Ещё год спустя, граф де Местр сообщал своему правительству о падении Сперанского[3]. «29-го марта, в семь часов вечера, великий и всемогущий Сперанский, Государственный секретарь империи, а на деле первый министр и, быть может, единственный, был у Государя и полагал, что находится в том же положении, как и прежде. Кто-то из находившихся там остановил его, когда он хотел войти в кабинет: вы не можете войти, надо наперёд доложить про вас. Говорят, Сперанский был весьма удивлён. Доложили; он вошёл. Князь А.Н. Голицын, министр просвещения и духовных дел, также приехал с докладом; пробило восемь часов, девять, десять; Сперанский не выходит. Князь не понимал причину столь продолжительного свидания. Около 11 часов Сперанский, наконец, вышел. Князь, который ничего не подозревал и стоял у камина в то время, когда отворилась дверь государева кабинета, сказал ему: «Как вы долго сегодня заставили меня дожидаться!» Сперанский ничего не отвечал. Князь подошел к нему и заметил, что он был взволнован и до такой степени расстроен, что князь должен был помочь ему уложить бумаги в портфель. Сперанский подошёл к зеркалу, поправился, отёр слёзы и, подавая руку Голицыну, сказал: «Прощайте, князь!» — так что в звуках его голоса слышалось: «Прощайте навсегда!» Он вышел свободно из дворца и поехал к Магницкому, который был правителем его канцелярии, правою рукой и искренним другом. Ему объявили, что Магницкий взят, и бумаги его опечатаны. «Уже взят», — сказал Сперанский, и поехал домой. Там он нашёл генерала Балашёва, Петербургского военного губернатора и министра полиции, который опечатывал его бумаги и часть из них уже отправил к Императору в то время, когда Сперанский ещё был в его кабинете. Печатание продолжалось до трёх часов утра. Кибитка уже стояла у подъезда. Он поехал в ней в сопровождении полицейского офицера в Нижний Новгород, хороший губернский город на Волге, где у него есть земля и губернатор друг или был другом. Его встретили на дороге с двумя звёздами на груди, Анненскою и Александровскою. Чин тайного советника и жалованье, которое он получал, кажется, остались за ним.

На другой день пошёл говор по всему городу; обвиняли в государственном преступлении, измене, открытии каких-то тайн и т.п. Чего-чего не говорили! Не смотря на то, что последнее свидание Государя

с Сперанским было без свидетелей, однако же, кое-что вышло наружу. Я довольно верно знаю, что Государь показал ему какие-то ужасные бумаги и что он сказал ему: «Говорите прямо, без софизмов; я желаю, чтобы вы оправдались»; что потом он отдал ему на выбор, быть преданным суду или удалиться в ссылку, куда он хочет, и что Сперанский избрал последнее. Весть об этом происшествии разнесётся по всей империи... Теряются в догадках, как и должно быть в стране, где правильный уголовный суд не существует и составляет лишь одну из обязанностей полиции... Император опытом чужих стран достаточно был предупреждён о вреде новых систем и германской философии. Сперанский и Магницкий были пропитаны ими, но не в одинаковой степени. Один был вреден в политическом отношении как преобразователь (novateur), проникнутый конституционными идеями до мозга костей и враг всяких наследственных преимуществ. Государственный Совет, образованный по образцу французского, был его произведением, равно и все другие предположенные преобразования. Император, хотя и был расположен к этим нововведениям, однако же, не решался подписать. Inde irae!* Сперанский хотел его принудить. Мне кажется, что он в некоторых из своих бумаг слишком резко выражался об Императоре. Вот, если не ошибаюсь, какого рода его преступление (peccadille), как видите. Но действительно ли он, для достижения своих целей, вёл переписку с Парижем, этому я тогда бы только поверил, если бы это подтвердил Император или суд. Однако же, его преступление, хотя и в таких пределах, в каких я его полагаю, принадлежит к числу не подлежащих помилованию. Магницкий — иллюминат в полном смысле этого слова, и я имею основательные причины считать его на всё способным; однако же, трудно предположить, чтобы он был более или иначе виновен, нежели его начальник. Падение Сперанского было приятно особенно дворянству, которое он терпеть не мог, и даже простому народу, который роптал на него за налоги, возвышенные через меру. Вообще спрашивают: чего хотел ещё этот человек? Он был тайным советником, Государственным секретарем, Александровским кавалером, на деле первым министром, доверенным лицом Императора, у которого мог обедать всегда, когда хотел и пр. Те, которые предлагают подобные вопросы, решительно не знают характера того нового духа времени, который колеблет всю Европу. Пока существуют где-либо церковь и трон, до тех пор он не успокоится. С ловкостью, поистине сатанинской, люди, проникнутые этим духом, пользуются самими государями, как орудием для

* Именно в этом причина опалы! *(лат.)*

их же собственного уничтожения, и я мог бы в нескольких строках представить картину Европы с поражающей истиной. Но к чему бы это повело? Дай Бог, чтобы эта империя избегла жребия, который ей угрожает. Она представляет собой Парфян во времена Римлян. Не будет более равновесия на континенте. Если она падёт, страшно подумать, что может произойти».

Мы привели рассказ графа де Местра о падении Сперанского, как свидетельство иностранца, основанное на тех слухах, которые носились в это время в образованном Петербургском обществе. В общих чертах рассказ этот верен с действительностью и одинаково не показывает никакой вины Сперанского. По мнению графа де Местра, его виновность, а также и Магницкого, состояла в том, что они принадлежали или были орудиями той страшной секты, которая поклялась разрушить все алтари и престолы в Европе и которая угрожала гибелью даже и России. Но что же это за чудовищная секта? Какими она располагала сверхъестественными средствами для достижения своих разрушительных целей? Постараемся определить её поближе также словами графа де Местра.

«Со времени Реформации и даже начиная с Виклёфа, в Европе распространилось направление, постоянное и ужасное, которое безостановочно стремилось разрушить европейские монархии и христианство. Беспокойный и республиканский дух протестантства так известен, что нет нужды этого доказывать. Кальвинизм особенно замечателен в этом отношении: трагедии, которые он разыграл в Европе, всем известен. Можно бы подобрать множество любопытных об этом свидетельств самих протестантов. К этому-то разрушительному направлению XVII столетия примкнули все противообщественные и противохристианские системы нашего времени: кальвинизм, янсенизм, философизм, иллюминизм и др. В собственном смысле все они одно и то же и составляют одну секту, которая поклялась разрушить христианство и все престолы христианских монархий. Никто из государей не подвержен большей опасности, как Русский император. Ужасная секта, распространённая по всей Европе, может быть сравнена с ядовитым растением, которое становится всё ядовитее по мере распространения его из одной страны в другую. Рождённое в Англии в крови Карла I, оно заразило множество несчастных писателей. Вольтер пересадил его во Францию, где оно произвело всё то, что мы видели; затем оно перенеслось за Рейн и господствует теперь в Германии с такою силою, которая заставляет трепетать»[4]. С этой стороны оно может действовать на Россию самым опасным образом через её протестантские губернии Остзейского

края, под видом учёных, учителей и особенно масонов. «Франкмасонство, — писал де Местр ещё в 1810 году из Петербурга одному из своих друзей, — распространяется здесь с яростью (a furia), как всё, что ни делается в этой стране[5]. Я был приглашён посетить одну из новых лож; но, несмотря на всё желание знать, что там делается, я отказался после многих размышлений по важным причинам. Упомяну вам только о двух главнейших. Во-первых, я знал, что Император не без неудовольствия согласился на открытие лож: он уступил непобедимому для него отвращению, чем бы то ни было стеснять личную свободу своих подданных и мешать им устраивать свой быт, как они хотят. Это одна из самых замечательных черт его характера. Если же у Императора было некоторое нерасположение к ним, или он послал туда доверенных лиц для наблюдения, то, не будучи таким наблюдателем (что было бы не согласно с моим знанием посланника иностранного государя), я считал моё там присутствие неуместным. Во-вторых, я имел некоторые частные случаи убедиться, что весьма многие достойные люди дурно смотрят на эти общества и считают их революционными орудиями. Поэтому я решил, что не должно ничего делать такого, что может возмущать честных людей, не будучи принужден к тому необходимостью. Однако, мне очень досадно, что не могу поближе познакомиться с тем, что там делается. Здесь находится один француз, Мюссард, который принимал участие в революции и известен очень сильною поэмою под названием *Liberteide*. Он оратор в той ложе, в которую был принят Балашёв. Брат Мюссард ему сказал между прочим: «Брат Балашёв, ты имеешь теперь большую силу, окружён милостями; но если ты когда-нибудь впадёшь в немилость и принуждён будешь удалиться в уединение, может быть и ты будешь благословлять тот день, когда ты был принят в масоны. Я не знаю, что отвечал брат-министр. Но всё это мелочи в сравнении с тем зрелищем, которое представляют нам братья шведы, т.е. с избранием Бернадота»[6].

Масонов де Местр вовсе не считал в это время опасными и даже в 1812 году обращал на них внимание нашего правительства только потому, что во время волнений и брожений всякие общества должны внушать подозрения, Мартинистов и пиетистов он даже считал в некотором отношении полезными. «Конечно, они состоят из лиц, которые, не удовлетворяясь догматами своего исповедания, предаются странным воззрениям и исканию какого-то первоначального христианства внутренней церкви. Судить о них с этой стороны должно уже правительство, смотря по тому, какое значение оно придаёт национальным верованиям и обрядам. Но опасность от них неодинакова

для стран католических и – других. В первых они подрывают начала единства и власти (autorité), составляющие основы католического верования; в других они приводят к двум хорошим последствиям: с одной стороны, они стремятся примирить религиозные несогласия и соединить христиан, представляя неважными те разногласия, которые некогда смущали умы; с другой, они противодействуют общему безверию, угрожающему всем странам, приучая умы к догмам и духовным мнениям, отклоняют как от материализма значительно развивающегося в наше время и от протестантского холода, способного заморозить человеческое сердце. Что касается до Мартинистов, смешанных с пиетистами, которые ограничиваются ожиданием чудес, умствуют о божественной любви и о внутренней церкви, то эти люди не могут быть опасны Его Величеству в политическом отношении, хотя их множество в Москве и Петербурге, по крайней мере, до тех пор, пока они не образуют в собственном смысле общества. Но есть третий разряд иллюминатов, весьма вредный, весьма опасный и весьма деятельный и на который следует особенно обратить внимание правительства. Настоящий иллюминизм – это философизм нового времени, вытекающий из протестантизма, т. е. кальвинизма, который поглотил и слил с собою все другие секты. Состоит ли он из правильно устроенных обществ или составляет обширное и адское направление, одинаковое по своим взглядам, целям и средствам, не в этом сила, но в том, что он существует и что объявил войну насмерть всему тому, во что мы верили и что почитали до сих пор... Иллюминизм соединился со всеми сектами, потому что в каждой из них есть что-нибудь пригодное для него: так он пользуется янсенистами во Франции против папы, якобинцами против государей, евреями против христианства вообще. Это чудовище, сложившееся из всех чудовищ и, если мы его не убьём, то оно нас убьёт. Оно опасно именно по этим многочисленным отношениям и точкам соприкосновения с жизнью, почему оно заставляет служить себе множество лиц, которые даже его не знают... Эта проклятая секта, пользующаяся всем для достижения своих целей, обладает великим и гибельным даром пользоваться самими государями, как орудием для их же гибели... Приёмы, которыми они действуют, чрезвычайно любопытны. Они постоянно внушают государям, что духовенство и особенно иезуиты, которых иллюминаты ненавидят по многим основательным причинам, враждебны светской власти; а в то же время уверяют народы, что они самые верные союзники деспотизма. Казалось бы, такое грубое противоречие должно уничтожить само себя, но вышло наоборот. Вследствие какой-то странности, которая могла бы казаться забавною, если бы

что-нибудь могло быть забавным в таком грустном деле, оно удалось им как в отношении к одной, так и к другой стороне. Они представляют себя защитниками государей от священников, которых, конечно, ненавидят, но едва ли не менее, нежели государей. Очень ошибаются те, которые полагают, что учения этой секты менее опасны Его Императорскому Величеству, нежели западным властелинам, соединенным под духовным влиянием Римского престола. Напротив, оно опасно ему гораздо более: потому что наука у нас в некоторой степени как бы срослась с религиею, и из древнего соединения наших гражданских и духовных учреждений образовалось величественное и по-видимому несокрушимое здание. Однако же и оно пало! Что будет с Россиею, если новые учения проникнут в народ и если светской власти не на что будет опереться кроме себя самой?»[7]

Этот бред больного воображения, может быть, поразит своей странностью современного читателя и даже заставит подумать: да следует ли обращать на него столько внимания? Он может быть, конечно, объяснён, как явление случайное, порождённое чрезвычайными обстоятельствами того времени и лично судьбою его проповедника; но имел ли он значение в жизни России того времени? Дальнейший наш рассказ послужит ответом на этот вопрос.

Граф де Местр принадлежал к разряду старых европейских дворян, которых впоследствии называли легитимистами. Исторического значения революции, так же, как и реформации, в Западной Европе они не понимали, и они представлялись им или явлениями умышленно произведёнными шайкою дурных людей и безнравственных писателей, или чем-то сверхъестественным и даже сатанинским. Идеалом общественного строя они считали средневековую монархию, называя её исключительно христианской, с феодальным дворянством, богатым и самовольным духовенством и невежественным и угнетённым народом, с инквизициею, смертною казнью и виселицами, причем государи должны быть лишь простым орудием высшей власти, сосредоточенной в Римском первосвященнике, Божественном наместнике на земле, викарии Иисуса Христа. «Европейская монархия мне всегда представлялась, — писал граф де Местр одному из своих друзей из Петербурга[8], — верхом совершенства, до которого может только достигнуть наша бедная природа. Она умерла уже, и теперь кажется мне еще лучше». Он писал целые рассуждения, чтобы доказать, каким благодетельным учреждением была инквизиция. Советуя русскому правительству не освобождать крестьян и грозя бедственными последствиями, он говорил: «К довершению опасности, одна только Россия из всех древних и новых народов лишает общественное спо-

койствие охраны *смертною казнью*»[9]. В письме к министру своего короля, говоря, что преступление Сперанского, каково бы оно ни было, он считает таким, которое не может подлежать помилованию, он прибавляет: «очень жаль, что виселица составляет одну из необходимых мебелей государственного управления, однако же, это положительно так»[10].

Ужасы революции могли поразить страхом людей этого разряда и под влиянием этого страха развить в них мрачное воззрение вообще на человечество. Граф де Местр употребил все свои дарования и начитанность, чтобы доказать, что человечество постоянно обливается своей кровью, война не перестаёт на земном шаре и в той или другой его стране продолжается безостановочно со времён первых двух братьев, сыновей Адамовых. Граф де Местр сам жестоко страдал от революции: его имения были конфискованы Французским правительством в Пьемонте, на 20 лет он был разлучён со своею семьёй, 15 лет должен был оставаться в Петербурге в незавидном звании посланника короля, лишённого престола и изгнанного из своей страны. Но если последняя мысль о войне, как и некоторые другие, порождены мрачным настроением лично самого графа де Местра, то весь, изложенный нами его же словами, взгляд вовсе не принадлежал лично ему[11]. Он принадлежал иезуитам, и граф де Местр только был красноречивым и даровитым их проповедником перед русским правительством и образованным обществом. Держались ли так же искренно иезуиты, как держался граф де Местр? Это вопрос, на который мы готовы отвечать скорее отрицательно; но, во всяком случае, они распространяли его в это время всеми способами, считая его, конечно, полезным для своих целей: именно в этом направлении сочиняли рассуждения о масонах-иллюминатах, распространяли их в рукописях и печатали без имени или под чужими именами статьи о их замыслах разрушить церковь и государство. В это же время вышла книга иезуита Баррюэля «История Якобинства», из которой, главным образом, и почерпнуты все те воззрения, которые мы привели словами графа де Местра. После издания этого сочинения Баррюэль получил письмо от одного пьемонтского военного человека, которого имя он не хотел открыть, чтобы не подвергнуть его гонению врагов; но он сообщил немедленно это письмо иезуитам в Россию. Благодаря Баррюэля за издание сочинения против якобинцев и «других бесчестных сект, непримиримых врагов христианской веры, всякого богопочитания, общества и порядка», пьемонтец обращает его внимание на «злейшую и могущественную из всех секту иудейскую», о которой Баррюэль только мимоходом упомянул в своём сочинении.

Сочинитель этого письма считает всех евреев франкмасонами и уверяет, что самый орден масонов и иллюминатов, соединивший в себе все другие секты, происходит от евреев. Граф де Местр придавал большое значение этому сообщению[12].

Такие воззрения проповедовали 400 человек иезуитов, сосредоточенных в это время в России и ворвавшихся в семьи русского дворянства. Им вторило ещё большее число иностранных эмигрантов, большею частью их учеников и почитателей, соединивших тесными и даже родственными узами с русским образованным и влиятельным обществом. Могли ли и самые русские этого общества, воспитанные по большей части иностранцами, не поддаться этому влиянию и не распространить его действия на само правительство? Могли ли иезуиты проповедовать такие учения от избытка только убеждения в их справедливости, не имея в виду практических целей, выгодных для их общества? Конечно, нет; у них были практические цели и близкие и более отдалённые. Несмотря на терпимость нашего правительства не только ко всем вероисповеданиям, но даже к сектам, страшный удар был нанесён косвенным путём иезуитам.

Обстоятельства создали для иезуитов следующий вопрос: стремиться ли к тому, чтобы действие общего закона, изданного для всей империи, было отменено (конечно, законодательным путём) только для одних иезуитских учебных заведений или, подчиняясь по-видимому этому закону, возвести одно из своих учебных заведений в звание университета, которому бы и подчинялись все другие их учебные заведения и таким образом изъять их из-под надзора общих государственных учреждений? Стремясь составлять независимое и отдельное государство от государства, иезуиты без сомнения избрали бы первый способ; но они хорошо знали, как Государь дорожил всеми своими постановлениями, относившимися к народному просвещению и что он не был вовсе расположен к иезуитам. Поэтому поневоле они должны были решиться на последнее; но и в этом случае они могли ожидать успеха только в том случае, если бы удалось переменить взгляд на них Государя.

В 1806 году генерал ордена иезуитов Бржозовский обратился прямо к Государю с прошением, в котором, указывая, что вмешательство Виленского университета в дела их учебных заведений грозит «совершенным разрушением их ордена», просил избавить их от вмешательства университетов, дозволить им следовать их собственной методе воспитания и преподавания и принять их под непосредственное покровительство, каким они пользовались при его августейших бабке и родителе[13]. Но это прошение осталось в кабинете Государя

без всякого решения и не было даже им передано министру просвещения, графу Завадовскому, который, как воспитанник иезуитских школ, вероятно, благосклонно бы отнёсся к нему. Его преемник, граф А.К. Разумовский, воспитанный иностранцами, ещё более расположен был к иезуитам и вместе со многими их поклонниками старался обратить на них благосклонность Государя. Он был в близких отношениях с графом де Местром, и взгляды его вообще на современное положение Европы и особенно на Россию возбудили его внимание. «Однажды после нашей беседы, – доносил граф де Местр своему королю в 1811 году, – он попросил меня изложить письменно мои мысли и сообщить ему. Я написал довольно обширную записку, в которой рассматривал Россию с трёх сторон: в отношении к религии, науке и свободе; но я её не сообщил ещё. Один из знаменитых французских революционеров сказал, что революция во Франции была невозможна, пока существовал там орден иезуитов, и это вполне справедливо. По какой-то необъяснимой странности судьбы, этот орден удалился сюда и продолжает здесь своё существование; разрушители (les renverseurs) не преминули напасть на него. Сначала они употребили то же оружие, которое им удавалось в других странах: они представили его опасным для правительства. Император сначала вполне разделял это мнение; но некоторые из государственных людей старались убедить его, что, напротив, верховная, государственная власть *в настоящее время* не может найти лучшего орудия для своей защиты, как иезуиты, и он почти совершенно изменил свой прежний взгляд на них. Тогда иллюминаты напали на них с другой стороны и весьма ловко: они стремились подчинить иезуитские учебные заведения надзору университетов и преследовали эту задачу с неизменным постоянством. Император полагал себя стеснённым словами своего же закона (так, по крайней мере, он думал), который давал университетам высшее значение в отношении к преподаванию в общественных заведениях. *Покровительствуйте им*, говорил он, но не хотел разрешать вопроса, так что университеты, пользуясь этим молчанием, исполняли свои обязанности, посылали своих полномочных обозревать учебные заведения, оказывали влияние на преподавание, переменяли учебники и т.п. После долгой борьбы иезуиты потребовали, чтобы им были предоставлены те же права и чтобы им возвратили один из тех университетов, которые были в их распоряжении прежде в Польше. Это дело заведено было давно, и только теперь Император решился дозволить внести его в Комитет министров».

Со дня вступления графа Разумовского в управление Министерством Народного Просвещения, генерал ордена иезуитов не переста-

вал подавать ему записки, прося защитить их заведения от вмешательства университетов или о составлении отдельного учебного округа из этих заведений с главным надзором за ними Полоцкого училища, которое с этой целью и должно быть преобразовано в академию с правами, присвоенными университетам. «Не нужно доказывать, — говорит он в одной из таких записок, — что общественное воспитание должно состоять под особенным и непосредственным надзором правительства; но как ему было бы весьма трудно наблюдать за всеми школами нашего ордена, то мы предлагаем самое простое и естественное средство облегчить его в этом труде: подчинить все школы нашего ордена нашей главной Полоцкой школе, которая займёт в отношении к ним такое же место, какое имеют университеты к подведомственным им заведениям». Граф Разумовский, по собственному, конечно, к ним сочувствию, а потом и по приказанию Государя им покровительствовать, постоянно устранял их столкновения с университетами, а вместе с тем и ходатайствовал пред Государем о Полоцком училище. Без сомнения, он доводил до сведения Государя записки Бржозовского, в которых он доказывал, что, конечно, русскому Министру народного просвещения необходимо заботиться о том, чтобы «юношество империи воспитано было в правилах патриотизма, в чувствах повиновения, почтения и преданности Государю». «Но имеете ли ручательство в том, — говорил он далее, — что эти чувства заботливо внушаются в университетах, где большая часть профессоров привязаны к империи одним только получаемым ими от неё жалованьем, имеют интересы совершенно различные и не зависящие от интересов государства и потому, кажется, более способны погашать, чем воспламенять патриотизм в сердцах юношества». Очевидно, раздававшиеся в это время со всех сторон жалобы на воспитание в России в иностранном направлении иезуиты желали отклонить от своих заведений. «Интересы нашего общества, — говорил их генерал, — совершенно тождественны с интересами империи. Русскому правительству мы обязаны своим сохранением, а потому мы не можем иметь других целей, кроме блага государства. Если бы мы не были верными подданными по долгу и по религиозными убеждениям, то мы должны бы были ими сделаться по долгу признательности из-за выгод, по необходимости: потому что всё, что мы имеем дано по милости русского правительства, которое тем приобрело неотъемлемое право на беспредельную нашу ему преданность. Правда, в нашем ордене есть также несколько иностранцев; но иностранцы, вступив в наш орден, проникаются его духом, его интересами и правилами. Неразрывно связанные с обществом, принадлежащим империи, они по необходимости делаются русскими

верноподданными и не могут иметь видов противоположных государству». Упрёк, который иезуиты делали светским учебным заведениям и университетам по преимуществу, что они не могут внушать любви к отечеству и преданности к Государю, они основывали на том, что большая часть преподавателей были иностранцы. Иезуиты и их проповедники в обществе в это время стали на сторону русской партии в этом вопросе. «Одно из страшных неудобств этой мании к просвещению русского правительства состоит в том, – писал граф де Местр к русскому Министру народного просвещения, – что оно не может удовлетворить нуждам в преподавателях и должно поэтому прибегать к помощи иностранцев. Но люди действительно учёные и благонамеренные редко решаются оставлять своё отечество, где они пользуются уважением и выгодами; поэтому-то лишь посредственные люди и по преимуществу заражённые и испорченные стекаются под полюс, продавать за деньги свои мнимые познания. В настоящее время особенно Россия покрывается этой пеною, которую политические бури выбрасывают из чужих стран. Эти выходцы приносят сюда только наглость и пороки. Не имея ни любви, ни уважения к стране, без связей семейных, гражданских и религиозных, они насмехаются над теми доверчивыми русскими, которые вверяют их попечению самое для них дорогое, стараются только накопить побольше денег, чтобы где-либо на стороне устроить себе независимое положение, обманув общественное мнение своими познаниями, которые в глазах знатоков представляются образцами невежества, они возвращаются в отечество насмехаться над Россиею, сочиняя дрянные книжонки, которые Россия же и покупает у них, хотя и не переводит»[14].

Большая часть иностранных учителей и воспитателей, прокравшихся во все достаточные семейства русских в то время, были действительно таковы, как описывает граф де Местр; но в числе учителей в средних учебных заведениях и профессоров в университетах уже много было русских, между тем, ни одного в числе иезуитов. Бржозовский умышленно говорит, что в их ордене только несколько иностранцев, причисляя, таким образом, сюда всех поляков, которых уже много было в ордене в это время. Точно также не без умысла он умалчивает в своих письмах и записках к графу Разумовскому о вредной секте, якобинцах, масонах, иллюминатах и т. п., чтобы показать, что иезуиты не мешаются ни в какие вопросы, кроме религиозных и воспитательных, и предоставляя говорить о ней своим светским проповедникам.

В то время, когда Император решился передать прошения иезуитов на рассмотрение Комитета министров, граф де Местр предложил

графу Разумовскому: «Не хотите ли, я отделю от большой записки, которую пишу, всё, что относится до этого вопроса?» Он с удовольствием принял предложение. «В непродолжительном времени я сообщил ему мои мысли и спустя после того несколько дней он просил меня позволить ему представить их Императору. Я сделал ему несколько необходимых оговорок, что мне по моему положению не следует мешаться во внутренние дела России и т. п. На это он мне отвечал, что это его личное дело. Действительно, он говорил о моей записке Его Императорскому Величеству, который изъявил желание её прочесть. Тогда граф Разумовский сказал: «Государь, он писал её только для меня и по моей просьбе и боится дать повод думать, что он вмешивается не в свои дела»». – «Ему нечего бояться, – отвечал Император, – мне известен его хороший образ мыслей и что он нам предан».

Мы привели взгляды графа де Местра, выраженные им по случаю падения Сперанского. Те же самые взгляды выразил он и в письмах к графу Разумовскому в приложении к вопросу об иезуитах, но ещё с большей определённостью.

«Об ордене иезуитов в отношении к России можно сказать: много о нём говорили, но мало его знали, – пишет граф де Местр. – Хотя я открыто заявляю мою преданность этому ордену, но полагаю, что я могу избегнуть и тени даже страха быть обманутым моею ему преданностью, потому что есть безусловно верный способ судить об ордене так же, как и о частном человеке, это: замечать, кем он любим и кем ненавидим. Этим-то способом я и воспользуюсь». Приведя в пользу иезуитов свидетельства Бэкона, Гроция, Ришельё, Конде, Дюмурье, Лаланда и даже Фридриха Великого, который действительно некоторое время хвалил учебные их заведения в Силезии, граф де Местр говорит: «К этим похвалам можно прибавить ещё отзывы тех, которые удостаивают их своею ненавистью; это все враги церкви и государства, все революционеры, иллюминаты, одним словом, враги Европейского порядка жизни». Приведя в этом смысле свидетельства Кальвина и Рабо Сент-Этьена, он прибавляет: «Всякий наблюдательный человек согласится, что Европейская революция, которую называют также Французскою, была бы невозможна без предварительного уничтожения и изгнания иезуитов. Эта похвала велика, без сомнения; однако же, к ней можно ещё прибавить: протестант нашего времени, историк церкви, пропитанный всеми предрассудками секты, прямо утверждает, что если бы иезуиты существовали прежде Реформации, то никогда протестантизм не мог бы утвердиться и если бы они не появились, то реформа сделалась бы всемирной[15]. Приведенные свидетельства, выбранные из числа мно-

гих других, должны убедить всякого государственного человека, что в отношении к нововводителям, почти открыто работающим, чтобы разрушить последние остатки порядка и благоденствия в Европе, не представляется врача более смелого, разумного и драгоценного для государства, как иезуиты, и чтобы положить предел тем воззрениям, которые потрясли весь мир, нет лучшего средства, как вверить образование юношества этому обществу».

С целью в самых ярких чертах выставить значение так называемой им секты, против которой только и могут успешно действовать одни иезуиты, граф де Местр из сочинений кальвинистов и самых крайних революционеров выбирает места, наиболее резкие и направленные против Европейского государственного строя и Латинской церкви. «Кальвинизм, – говорит он, – старший сын гордости, объявил войну великой верховной власти (souveraineté), и все секты суть дочери кальвинизма. Наиболее опасная – янсенизм, потому что он прикрывается католическою маскою. Другие суть явные враги, которые прямо и открыто идут на приступ; та составляет часть взбунтовавшегося гарнизона, нападающая на нас сзади, тогда как мы храбро защищаемся на укреплениях. Но в конце концов все они – сёстры и дочери одного отца. Есть только одна секта, составленная из всех других, распущенная в кальвинизме; ибо все догматические между ними различия исчезли. У них один только догмат: не признавать никаких догматов. Весьма известен ответ Бейля кардиналу Полиньяку: «я протестант в полном смысле этого слова, потому что протестую против всякой истины». Вот догмат, сделавшийся всеобщим. Следовало бы только присовокупить: «и против всякой власти». Немецкий иллюминизм есть только последовательный кальвинизм, т.е. освобожденный от всяких догматов, которые он сохранял ещё без всякой разумной причины. Одним словом, существует только одна секта. Это должен знать и никогда не забывать всякий государственный человек. Эта секта, которая одна, и в то же время многие окружают Россию или лучше сказать проникают в неё со всех сторон и заражают её до самых глубоких корней. Ей нет нужды, как в XVII столетии, проповедовать с кафедр, составлять армию, открыто возмущать народы. Те способы, которые она употребляет в наше время, гораздо более удобны. Для неё теперь нужны только слух и внимание детей всех возрастов и терпение государей. Она и обладает тем, что ей нужно. Она даже проникает в ваше духовенство, и зло может быть гораздо значительнее, нежели полагают. При такой близкой опасности ничто не может быть полезнее для блага Его Императорского Величества, как общество людей, по существу своему врагов тому, чего более

всего должна опасаться Россия, особенно в отношении к воспитанию юношества. Я полагаю даже, что невозможно было бы его заменить чем-либо другим, потому что всякому обществу, и особенно тайному, может с успехом противодействовать только такое же общество. Это общество — собака-охранительница (chien de garde), которую бойтесь прогонять от себя. Если вы не хотите ей позволить кусать воров — это ваше дело; по крайней мере, не мешайте ей бегать вокруг дома и разбудить вас, когда окажется необходимым, прежде нежели ваши двери будут заперты и когда влезут к вам в окна. Какое ослепление, граф,— восклицает де Местр, обращаясь к русскому Министру просвещения,— какая непоследовательность ума человеческого! В продолжении трёх столетий существует общество, посвящающее свои труды по преимуществу воспитанию юношества, которое избавляет государство от страшной тягости оплачивать расходы по общественному образованию, которое предлагает науку юношеству и свои труды правительствам без всякой платы, из удовольствия только, что оно исполняет свои обязанности, которое постоянно повсюду провозглашает народам, а особенно этому юношеству, столь дорогому для государства: «верховная власть происходит не от народа; но если же первоначально и произошла от него, то с той минуты, как он уступил, он лишился уже права взять её обратно. Власть происходит от Бога и, повинуясь государю, повинуешься Богу. Ни в каком случае он не может быть судим, и никакая причина не может оправдать неповиновения ему, исключая преступления, а если он предписывает делать преступление, то следует предать себя казни; но особа государя священна, и ничто не может оправдать возмущения». Бесполезно говорить о вере. Общество иезуитов — конечно — ревностно исповедует свою, которая почти та же, что и ваша в отношении к догматам; но никогда не обвиняли и даже не подозревали иезуитов в малейших покушениях против законов страны, которые они уважают, как и следует. И это общество подозревают; говорят, что оно вмешивается в политику!»

Но вспомним, что же делал сам граф де Местр в продолжении своего 15-летнего пребывания в России? Как посланнику низвергнутого короля, ему мало было дела. С какой целью написаны все его сочинения, а они почти все написаны в России? Он постоянно проповедовал латинство, постоянно совращал из православия. В противоположность изложенному учению граф де Местр приводит несколько выдержек из сочинений Лютера, в которых он бранит Германского императора и других государей, из Руссо о том, что в народе заключается источник власти, и некоторые резкие суждения из революционных писателей о Боге и религии, и затем восклицает: «И этих учений

не боятся, граф; не обнаруживают недоверия к тем, кто их проповедует, не опасаются, что они могут вмешиваться в политику, нисколько не колеблясь вверяют им воспитание юношества, надежду отечества, т. е. одну из важнейших государственных обязанностей, и нисколько не сомневаются насчёт их; правительство даже приказывает, чтобы в институте, устроенном для приготовления преподавателей, метафизика читалась по методе Канта. Для того чтобы привлечь преподавателей, заражённых этим направлением, государство готово на всякие пожертвования: оно бросает деньги для них, для их жён и детей, для их нужд и для их удовольствий! Поистине, я сомневаюсь, чтобы во всеобщей истории можно было бы найти другой пример подобного ослепления!»

Граф де Местр старается опровергнуть те обвинения, которые делали против иезуитов, что они вмешиваются в политические дела, стремятся составить государство в государстве и что их преподавание уже не соответствует требованиям настоящего времени. В отношении к первому обвинению он приводит ответ на него Фридриха Великого: «Я знаю, — говорил он, — что они составляли заговоры, интриговали и вмешивались в дела; но в этом виновато правительство. Зачем оно попускало?» «Достаточно одного этого замечания, — прибавляет граф де Местр. — Если Государю вздумается поручить управление государством своим гвардейским офицерам, это его воля. Если случится им увлечься в исполнении власти и даже иногда злоупотреблять ею, то с ними случится то же самое, что всегда случалось, случается и будет случаться со всеми людьми. Можно ли после этого сказать: гвардейские офицеры составляли заговоры, они вмешивались в дела, надо уничтожить гвардию? Ничего не было бы страннее этого заключения, потому что следовало бы доказать наперёд, что другие действовали бы лучше, что довольно трудно, а потом пришлось бы повторить слова Фридерика II: это вина правительства, зачем оно попускало; я не виню гвардейских офицеров, а Государя».

Но с особенным презрением и насмешкою старается опровергнуть граф де Местр обвинение иезуитов в том, что они стремятся составлять государство в государстве. «Правосудие государя конечно бы оттолкнуло прямое предложение уничтожить иезуитов или их школы, — говорит он, — поэтому попытались косвенно достигнуть той же цели. Говорят, государственные пользы требуют единства в преподавании и поэтому предлагают подчинить иезуитов Виленскому университету, что совершенно равняется повелению уничтожить их. Если бы предложено было совершенно противное, т. е. подчинить университеты наблюдению иезуитов, то в этом предложении соблю-

ден бы был некоторый вид правосудия: можно было бы сказать, что новые, только что возникающие учреждения, ещё неиспытанные и известные только по недоверию, которое они внушают к себе, благоразумно бы подчинить обществу, известному в продолжении трёх веков блистательными успехами на этом поприще, которое воспитало почти всех великих людей Европы, живших в продолжении этого долгого времени. Но подчинить иезуитов университету — это всё равно что заставить ребёнка, знающего только азбуку, преподавать красноречие опытному оратору.

Говорят, иезуиты, стремятся образовать особое государство в государстве. Какая нелепость, граф! Однако же, этот софизм, старый и постоянно новый, пугает власть, обманывает её для её же собственной гибели. Весьма легко прежде всего обратить это обвинение на университет. Он в собственном смысле хочет образовать государство в государстве, потому что изъявляет притязание из публичного преподавания и народного воспитания сделать свою исключительную монополию, в которую никто вмешиваться не может, кроме него. Но, несмотря на это соображение, весьма впрочем важное, можно ещё многое сказать в пользу иезуитов. Но говорят ли некоторые, что иезуиты суть нечто в роде франкмасонов, которые с затворёнными дверьми совершают какие-то мистерии? Но разве их преподавание не открытое? Порядок наук, названия учебников и даже самые часы уроков разве не объявляются печатно? Упражнения, когда ученики отдают отчёт в их обучении, разве скрыты от критики и наблюдения всех? Где же государство в государстве? После этого можно сказать, что полк хочет быть государством в государстве, потому что не хочет ни от кого зависеть кроме своего полкового командира, что он считал бы себя уничтоженным и даже оскорблённым, если бы его подчинили надзору и наблюдению постороннего полкового командира. Если он дурно исполняет свои обязанности, то для того, чтобы наблюдать за ним, есть генерал-инспекторы, и сам Император. Но под предлогом единства лишить полк (который я предполагаю знаменитым и безукоризненным в продолжении трёхсот лет) права внутреннего своего устройства и подчинить его со всеми его начальниками какому-нибудь капитану гражданского ополчения, никогда не вынимавшему шпаги из ножен, это было бы крайне смешно, если бы не привело к чрезвычайно печальным последствиям. Вот, однако же, к чему сводится, граф, нелепое пугало: государство в государстве. Всем известно, что никакое общество, никакой союз людей не может существовать, если в нём нет сильной внутренней дисциплины. Поставить управителя (régulateur) вне его, значит окончательно его разрушить.

Иезуиты просят только того, что составляет основное право всякого общества, законно существующего. Государство в государстве есть государство, скрытое от государства и независимое от него; иезуиты, как и все другие законно существующие общества и даже более нежели другие, находятся под властью Императора: стоит ему пожелать и они не будут существовать. Но и тогда, граф, они будут молиться за него; они не позволят себе ни роптать, ни порицать правительство, и поступят, как они поступали во Франции, как поступали в Риме, в Парагвае, где их образ действия так обманул их врагов; одним словом, поступят так, как всегда поступают».

Кажется, нет нужды доказывать, что граф де Местр не мог не понимать, что между монашескими орденами Латинской церкви и между другими обществами и сословиями, существующими во всех государствах, нет ничего общего. Эти последние, вместе со всеми другими элементами, из которых слагается государство, составляют одну из составных его частей, между тем как Латинские монашеские ордена составляют неотъемлемую составную часть Римского церковного государства. Они в отношении к своему внутреннему устройству и управлению не подчиняются даже местной Латинской иерархии; а если в иных странах, как это было в России, и подчиняются отчасти, то не иначе, как с особого разрешения Папы, и то даваемого всегда на определённое время. Они зависят лишь от своих генералов, которые в свой черёд подчиняются Папе, как первосвященнику и государю. Не подлежит никакому сомнению, что верховная власть может удалить из пределов своего государства как всякого неблагонамеренного иностранца и какой-либо монашеский орден Латинской церкви; но эти действия всегда влекут за собою неприятную переписку с Римскою куриею, а иногда и разрыв. Граф де Местр, так же как и генерал ордена иезуитов, очень хорошо знал, что если бы орден, после его уничтожения Папою Климентом XIV, был восстановлен в прежнем виде, то сосредоточию его управления должно бы перенестись в Рим, как это и случилось впоследствии. Следовательно, иезуиты управлялись бы властью, вне пределов империи находящеюся, что было бы прямо противно коренным её законам, которые, по его словам, они так уважали. Но в это время иезуиты находились в исключительном положении. Помощью русской дипломатии им удалось вынудить у Римской курии признание законности их существования, но только в пределах Русской империи. Этим-то случайным обстоятельством и пользуется граф де Местр, чтобы выдать иезуитов за самых верных подданных Русского царя и приравнять их орден ко всяким обществам и союзам лиц, законно существующих в каждом государстве.

Что касается до теории о божественном происхождении верховной власти, то граф де Местр очень хорошо знал, что Латинская церковь смотрит на неё с особенной точки зрения.

Касательно до обвинения иезуитов в том, что их преподавание не соответствует требованиям времени, что они придерживаются устарелым и недостаточным методам, слишком много занимаются литературою и очень мало науками, граф де Местр справедливо замечает, что он имеет в виду лишь общий вопрос, именно о направлении преподавания. «Какой же государственный человек,— говорит он,— отважится решить его независимо от опыта? Старые и новые воспитатели представляются мне под видом двух обществ алхимиков, из которых одно славится тем, что умеет делать серебро и действительно его делает в продолжении трёх столетий на виду у всей Европы, так что почти вся наша посуда из него сделана. Вдруг является другая шайка, которая говорит, что умеет делать золото, что старые алхимики не удовлетворяют уже более потребностям государства; поэтому она хочет, чтоб ею заменили прежнее общество и отдали бы ей все его лаборатории и приборы. Очевидно, что следует отвечать им: «никакого не может быть препятствия, господа, если только вы умеете действительно делать золото; покажите нам обращик этого золота в вашем горне, и тогда мы заместим вами прежних алхимиков, потому что, конечно, золото ценнее серебра». Французы, охотники до великих предприятий, сделали подобный опыт в 1792 году. Но после нескольких лет труда вместо золота появились ядовитые испарения, которые и заразили всю Европу. Может быть, в России подобный опыт окажется более удачным, чего я и желаю; но, во всяком случае, граф, не должно спешить, и благоразумие требует наблюдения за горном. Всякая монополия есть зло. Государство добровольно установляет монополию, если даёт исключительную привилегию, которая равняется позволению делать дурно и брать дорого. Неужели ваше благоразумное правительство может рисковать в деле такой важности? Когда иезуиты явились некогда во Францию, Парижский университет всеми способами противился учреждению их заведений; но правительство остереглось последовать его внушениям и ещё менее решилось подчинить ему иезуитов; оно поддерживало оба учреждения в их независимости друг от друга, покровительствовало обоим и вместо одного дурного учреждения приобрело два хороших. Точно так должна поступить Россия, и правительству нет причины колебаться, особенно потому, что между двумя системами не представляется резких различий. Новые преподаватели не говорят, что не следует обращать большего внимания на религию, нравственную

философию, древние языки и литературу. Иезуиты с своей стороны не полагают, что не нужно учиться химии, естественной истории, ботанике и т. п. Обе стороны различаются только во взглядах на соотношение между собою различных знаний, на их относительную важность и время, посвящаемое их изучению. Правительство может оставаться спокойным зрителем взаимного соревнования двух систем, в полной уверенности, что оно ничего не потеряет, а, напротив, выиграет. Но будьте осторожны, граф: в этом-то именно отношении ваше министерство может принести большую пользу вашему Отечеству. Борьба двух корпораций из-за мнений в некоторых случаях действительно бывает очень похожа на дуэль между частными лицами. Удивляются, как два взбешенных человека стараются убить один другого из-за одного слова; но дело почти никогда не касается до одного слова, а заключается в глубокой ненависти, в чём-то тайном, о чём не говорят. Поверьте, что и между иезуитами и их ярыми противниками дело вовсе не в химии или ботанике: первые вовсе не ненавидят этих наук, а вторые относятся к ним слегка. Дело касается чего-то гораздо более важного, о чём не говорят. Церковь и государство должны быть настороже. Люди, знакомые достаточно с положением дел, их предостерегают. Дозволить учредить иезуитам академию в Полоцке, такую же какая была в Вильне, и даровать ей права равные университетам и особенно Виленскому, было бы мерою чрезвычайно мудрою и поистине государственною. Оба учреждения существовали бы рядом; соперничество между ними, если б и дошло даже до взаимной антипатии, не могло бы иметь вредных последствий, но, напротив, хорошие для государства, которое, конечно, должно сделать опыт, обещающий многое и не стоящий ничего... Будем надеяться, что отличному министру, которому сообщены эти мысли, суждено отчасти или вполне рассеять тот мрак, который покрывает самые очевидные и существенные истины. Какое зрелище, граф! С одной стороны монахи, степенные и учёные, которые в продолжении сорока лет делали добро и учили только доброму на глазах всей России, не упуская никогда из виду своих обязанностей в отношении к государству, постоянно помня свою присягу России, выставляя в своём преподавании, как основание, русский язык, которому давали равное место с латинским. С другой – Польская академия, в увлечении (хотя естественном и основательном, может быть) своим собственным языком, нападает на иезуитов за их приверженность к старым порядкам, хочет вырвать у них из рук грамматику, которая ей не нравится и навязать свою. И правительство, русское при *современных обстоятельствах*, ещё колеблется между двумя учреждениями и даже склоняется

в пользу *Польской* академии. Что за заблуждение, граф! И какая неизъяснимая судьба заставляет правительства любить то, что их губит и ненавидеть то, что может их спасти?»[16]

Мы подробно изложили сочинение графа де Местра, которое Русским министром просвещения было представлено Государю, произвело на него впечатление и достигло предположенной сочинителем цели, даже в гораздо большей степени, нежели он мог надеяться. Положение графа де Местра при Русском дворе было самое затруднительное, особенно с Тильзитского мира, когда Русское правительство поставлено было в необходимость поддерживать дружеские отношения к императору французов. Министр изгнанного и постоянно преследуемого Наполеоном короля, он играл такую же роль в Петербурге, как его друг, герцог де Блакас, поверенный в делах Людовика XVIII. Многие были уверены, что он утратил уже своё служебное значение и подписывали ему письма, как *бывшему* Сардинскому посланнику. Государь, хотя и был постоянно к нему благосклонен, но никогда не разговаривал с ним. «Никогда я не говорил с Императором с глазу на глаз, и часто он давал мне повод думать, что и никогда я не буду с ним говорить, – писал де Местр своему королю в 1812 году. – Иногда мне казалось, то я много делаю, иногда, что я не делаю ничего. Иногда находился в чрезвычайно приятном положении, потому что ничего и нет приятнее, как пользоваться всеобщим благоволением; но иногда я испытывал такую грусть, которая разрывала мне сердце. Иногда я думал, что я необходимо должен был сюда приехать, потом я возражал самому себе и убеждал себя в противном; но случалось что-нибудь такое, что снова возвращало меня к прежним мыслям. Когда я думаю о непонятной судьбе, забросившей меня сюда, когда вспоминаю об этом ужасном положении, в котором я здесь находился, не имея знакомства с большими господами, с народным характером, без рекомендательных писем, в положении самом безнадёжном, брошенный и как бы нарочно выставленный на позор сотням глаз, то по прошествии десяти лет ещё кровь стынет в моих жилах. Но когда я подумаю, что мне удалось выйти из этой пропасти, исполненной препятствий и унижений, не уронив ни своего личного достоинства, ни моего государя, то я начинаю замечать что-то чудесное в моей судьбе. Я и теперь ничего не понимаю, иду вперёд, не зная как; я доволен всеми и надеюсь, никто на меня не имеет поводов жаловаться»[17].

Письма графа де Местра к Министру народного просвещения произвели впечатление на Государя. Когда граф Разумовский сказал ему, что они составляют лишь отрывок, извлечённый из большой записки о России, которую составляет граф де Местр, то Государь поручил

ему сказать, чтобы он непременно окончил эту записку. Встретившись через несколько времени с самим графом де Местром, Государь ему сказал: «Вы дали мне возможность прочесть сочинение, которое доставило мне большое удовольствие».

Такие поощрения, без сомнения, были достаточны для того, чтобы граф де Местр ревностно принялся за окончание большой своей записки под названием: «Четыре главы о России»[18]. При нём не состояло ни секретарей, ни канцелярии, и потому переписать набело записку было затруднительно. Две главы из неё переписал по просьбе графа де Местра один из иезуитов, его приятелей; а остальные сам князь Александр Николаевич Голицын*.

Мы привели уже из этого сочинения несколько выдержек, в которых выражен взгляд графа де Местра на государственное устройство, какое он считал наилучшим и на те ужасные учения, которые иезуиты старались соединить в одну секту и покрыть общим названием иллюминатов. В дополнение к ним считаем нужным изложить его мысли о значении России в Европе и те советы, которые предлагал он её правительству для руководства.

«Почему, — говорит он, — до появления христианства, рабство почиталось необходимою принадлежностью правительства и политического устройства народов, как в республиках, так и в монархиях, так что ни одному философу не приходило в голову порицать рабство и ни одному законодателю отменять его? Потому что вообще человек, предоставленный самому себе, зол по своей природе и не может быть свободным. Число свободных людей в древних государствах было весьма незначительно в сравнении с рабами. Но лишь только появилось христианство на земле, как началась проповедь против рабства. Христианство, преобразив душу человека, предприняло дело, которое ни одна религия, ни один законодатель, ни один философ не только не предпринимали, но о котором даже не мечтали. Род человеческий становится способным к гражданской свободе по мере того, как он проникается христианством и руководится его началами. Повсюду, где господствует другая религия, рабство представляется явлением законным. Повсюду, с ослаблением христианства, народ становится менее и менее способным к гражданской свободе. Эта истина первостепенной важности, — говорит граф де Местр, — была доказана перед нашими глазами с ужасающей ясностью. В продолжении целого столетия проклятая секта восставала против христианства. Государи, ею

* Отличное занятие для друга царёва и обер-прокурора Св. Синода — переписывать сочинение заклятого врага православной церкви *(прим. П. И. Бартенева)*.

прельщённые, позволяли ей действовать и даже, к сожалению, иногда благоприятствовали её усилиям и таким образом сами способствовали ей разрушать подпоры здания, которое должно было упасть на них. Что же из этого вышло? Оказалось слишком много свободы в мире. Испорченная воля человека, ничем не сдержанная, могла делать всё, что ни вздумали разврат и гордость. Потомки освобождённых рабов ринулись на высшие сословия, и менее нежели в 20 лет было разрушено здание Европейского государства... В наше время два якоря, на которых держится всякое общество, рабство и религия, уничтожены оба; буря унесла корабль и — разбила».

Как же в виду этого опыта должна действовать Россия?

«Рабство существует в России, потому что оно в ней необходимо, — отвечает граф де Местр, — потому что без него Император не может царствовать. На Западе светская власть, освобождая рабов, вовсе не предоставляла им полной свободы действия: они находились под властью *духовенства*. Притом в то время и нравы были проще: наука ещё не воспламенила той гордости, которая подожгла и погубила уже одну половину мира и непременно погубит другую, если не положат ей границ. Никакая верховная власть недостаточно сильна, чтобы управлять миллионами людей без помощи или религии, или рабства, или обоих вместе. В государствах Западной Европы во время уничтожения рабства было сильное духовенство, обладавшее добродетелью, наукою, благородством и богатством. Оно помогало правительствам держать в должных пределах свободный народ, постоянно проповедуя повиновение государям. Но этой силы в России нет; в ней религия мало действует на ум, и ещё менее на сердце, источник всех пожеланий и преступлений. Правительство не может положиться на духовенство: оно лишено голоса в делах государственных, оно не смеет говорить, и с ним говорят как можно меньше. Поэтому Император, освободив рабов, не найдёт той опоры, которую находили государи в прежнее время в Западной Европе, и лишится той помощи в управлении, которую оказывали ему помещики, будучи вследствие рабства как бы его же чиновниками в отношении к народу. При таком положении опасно предоставлять свободу многочисленному народонаселению. Притом, следует обратить внимание, — говорит граф де Местр, — на то весьма важное обстоятельство, что начало просвещения в России совпадает с эпохою наибольшего развращения ума человеческого и что тысячи обстоятельств привели в соотношение и связали русский народ с тем, который был страшным орудием и грустною жертвою этого развращения. В грязи регентства прозябли и развились семена русского просвещения. Чудовищная литература XVIII-го

столетия вдруг, без всякого приготовления, хлынула в Россию... Этого обстоятельства не должно скрывать от правительства. В этом отношении Россия несчастливее всех других народов, и её властители должны принимать особенные меры, когда дело коснётся до освобождения значительнейшей части народонаселения, до сих пор не пользовавшегося свободой. Эти рабы, по мере освобождения, очутятся между учителями, более или менее подозрительными, и духовенством, бессильным и не пользующимся уважением. Поставленные в такое положение, без всяких предварительных мер, они непременно и быстро перейдут от суеверия к безбожию, от безответственного повиновения к необузданной деятельности».

Самая грозная революция предстояла России, по мнению её иностранного наставника, от освобождения крестьян, лишь только бы появился какой-нибудь *Пугачёв из университета.* Если суждено совершиться этому освобождению, то оно сделается постепенно и само собою. «Неужели никто из истинных друзей Его Величества никогда не представлял ему, что слава и благоденствие империи менее зависят от освобождения тех состояний, которые ещё не пользуются свободою, нежели от стремления к усовершенствованию уже свободных, и особенно дворянства. Страшное волнение умов, возбуждённое в XVIII столетии, не было прямо и непосредственно направлено против государей; оно собственно направлено было против дворянства. Государи пали, увлечённые падением дворянства, без которого и существовать не могут. Всякий раз, когда наука и богатство делаются достоянием многочисленных лиц, и когда религия, сильная, твёрдая, стойко и твёрдо покровительствуемая, не будет в состоянии предубеждать, возникает необузданная и всемогущая гордость, которая не захочет довольствоваться вторым местом. Она всеми силами будет действовать против дворянства, чтобы занять первое место, которое принадлежит повсюду и должно принадлежать дворянству. Дворянство, разумеется, будет сопротивляться, и следствием этой борьбы будет падение престола. Поэтому необходимо ограничивать освобождение крестьян, не поощрять его никаким законом, но в то же время употреблять все меры против злоупотреблений помещичьей властью, которые наиболее возбуждают в народе желание свободы. Никогда не вознаграждать за освобождение и не считать его делом нравственно хорошим или политически полезным со стороны дворян. Награждать дворянством только за заслуги тех лиц, которые владеют большою поземельною собственностью. Если же и пришлось бы за заслуги даровать дворянство, то непременно давать его вместе с богатством или предоставлять возможность обогатить-

ся законным путём. Но особенно не давать дворянства купцам, пока они торгуют: им нужно только золото, а скипетр государя — не аршин и престол — не товарный тюк». Науку вообще и особенно распространение её в народе граф де Местр считает весьма опасными и приводит при этом слова Тацита о драгоценных металлах: «Неизвестно, даровало ли нам их Небо по своей благости или во гневе своём».

Ему представляется вопрос: созданы ли Русские для наук? «Недостаточно,— говорит он,— обращают внимания на то, что наиболее славный и могущественный народ древности, блестящий по своей политике и успехам оружия, вовсе лишён был способности к наукам и даже искусствам. Никогда у Римлян не было ни живописца, ни скульптора, ни математика, ни астронома и т. п. Наилучший поэт Рима отказался торжественно для него от этой славы[19]. Несмотря на то, известность Римлян в мире кажется порядочная, и всякой народ мог бы ею удовлетвориться. Римляне обладали редким здравым смыслом покупать за деньги у Греков дарования, которых им недоставало. Они смеясь говорили: голодный Грек сделает всё, что вам угодно[20]. Если бы они захотели подражать им, то сделались бы смешны; но они были велики именно потому, что их презирали. Призваны ли Русские к тому, чтобы быть Греками или Римлянами?»

Граф де Местр благоразумно не решается отвечать на этот вопрос положительно; но, очевидно, что все его дальнейшие рассуждения клонятся к тому, чтобы убедить правительство, что нет нужды ни особенно покровительствовать просвещению и ещё менее распространять его на все сословия. «Всего страннее,— говорит он,— распространившийся от частого повторения предрассудок, будто наука необходима для управления государством, тогда как она-то и несостоятельна в этом отношении. Фридрих Великий совершенно верно заметил, что если бы захотеть погубить какую-нибудь страну, то следует поручить философам управлять ею. Он сам служит доказательством этой истины, потому что всё, что в нём было хорошего, принадлежит его личному характеру, а философия сделала из него врага человеческого рода. Если бы наука была необходима для управления, то что стали бы делать государи, которым нет времени заниматься науками, и которые изменили бы своему долгу, если бы предались их изучению. Первая наука есть наука управлять людьми и, слава Богу, ей нельзя выучиться ни в каких академиях. Наиболее замечательные государи как Генрих IV, Людовик XIV и др., отличались необыкновенным здравым смыслом и не занимались никакой особенно наукой, но покровительствовали всем, как и следует поступать: ибо наука составляет лучшее украшение общества. Её следует утвердить, почтить и покровитель-

ствовать, но на своём месте, т.е. на втором. Первое же место должно принадлежать дворянству, которое имеет право на все важные должности, за редкими только исключениями для лиц, отличившихся особенными заслугами. В XVII столетии во Франции дворянство привлекало учёных в свою среду и усвоивало в пользу государства; в XVIII оно само снизошло к ним, вместо того, чтобы их привлекать в свою среду. И что же из этого вышло? Дворянство упало, а вместе с ним и верховная власть. Русские государственные люди должны тщательно об этом подумать, пока ещё не ушло время. Никогда наука не может заменить дворянство и стать на его место, не подвергнув государство немедленно страшному волнению и не разрушив всей правительственной системы, что подвергнет, конечно, опасности и царствующий дом. Система чинов, принятая в России, конечно, уменьшает несколько опасность, но не уничтожает. Наука постоянно угрожает государству, вводя постоянно в среду правительственных лиц людей низкого происхождения, без имени и состояния. Наука, доступная всем, гордость низших состояний, заставит их ухватиться за эти орудия, чтобы возвыситься, а это-то и опасно: потому что одна наука, не соединенная с дворянством и поземельным богатством, заняв правительственные должности, немедленно поведёт государство к революции».

Для того, что бы участвовать в государственном управлении, по мнению графа де Местра, необходимо быть дворянином, богатым человеком и просвещённым *литературою и моральными науками.* Под этими выражениями он разумеет то, что в наше время называется *классическим* образованием. Оно сильно и отчасти справедливо восстаёт против системы образования, принятой в то время в Царскосельском Лицее и университетах, где так мало места было отведено древним языкам и сосредоточено такое множество наук, которых основательно изучить не было никакой возможности. От общего взгляда на значение науки в государстве граф де Местр, переходя к России, находит, что военная служба, в том виде, как она в ней устроена, исключает науку, как круг исключает квадрат. Образование, сколько-нибудь дельное, не может быть окончено ранее 18-летнего возраста; следовательно, не окончившие своего образования или вовсе не имеющие наклонности к наукам, и потому не учившиеся, вступая ранее этого возраста, будут обгонять тех, которые окончили своё образование, и запретить им служить отечеству едва ли возможно. Поэтому нет нужды распространять изучение наук. «Весьма справедливо кто-то сказал, что наука похожа на огонь, который очень хорош, пока он горит в печах и очагах, необходимых для потребностей человека, но он делается страшным разрушителем, если за ним

не смотреть. Наука сосредоточенная и ограниченная есть добро, но слишком распространённая есть яд. Им воспользуется страшная секта к величайшему вреду России... Русские способны всем шутить и играть, но игра с этою змеёю ни для какого народа так не опасна, как для Русских. Необходимо ограничить науку следующими, например, способами: не требовать её необходимости для занятия вообще военных и гражданских должностей, требуя только особых познаний для некоторых лишь видов служб (математики для инженеров и т. п.), уничтожить в публичных заведениях преподавание таких наук, которые могут быть предоставлены личным склонностям и средствам частных лиц, как история, география, метафизика, политика, коммерция и т. п.; не поощрять никаким образом распространения наук в низшие слои народа и даже тайно стеснять все подобные попытки; подвергнуть строгому надзору иностранцев (особенно немцев и протестантов), которые приезжают сюда обучать юношество чему бы то ни было, и твёрдо помнить, что из ста таких лиц приезжающих в Россию, по крайней мере, 99 составляют гибельное приобретение для России, потому что у кого есть имущество, семья, правила и известность, тот остаётся дома». Но более всего граф де Местр советует нашему правительству заботиться о поддержании веры, о религиозном образовании и в этом отношении предлагает ему готовую помощь. «То, что сейчас прочтут,— говорит он,— покажется парадоксом; но, между тем, это чистая истина: самый верный и самый могущественный союзник Его Императорского Величества для поддержания народной веры (т. е. православной церкви) есть Римско-католическая церковь, находящаяся в его владениях. Это такой предмет, где всего менее можно основываться на внешних явлениях. Оставим в стороне другие исповедания (это простые клубы), Греческая же церковь и Латинская, обе готовы служить государю и в этом отношении, молча и не зная этого, помогают одна другой, несмотря на их видимое враждебное отношение. Не будем преувеличивать: религиозная ненависть — чрезвычайно дурна, но соперничество — весьма хорошо. Очень верно заметил лорд Лейтон в своих письмах об истории Англии, что две великие церкви, поставленные рядом и взаимно наблюдающие одна за другою, не только не мешают, но приносят взаимную пользу друг другу. Католическая религия чрезвычайно важна и в другом отношении: она представляет образец, полезный всегда и повсюду и особенно в России в то время, в которое мы живём,— образец ума покорного и верующего. Везде наука убавила веру, как это случилось в протестантских странах, как это случится и в России, если ход развития жизни будет предоставлен

своему собственному течению. В каждом человеке науки государь лишается верующего подданного, и народный характер переменится к худшему; некоторого рода христианский фатализм, воодушевлявший Русского солдата и который делает его лучшим солдатом в свете, исчезнет: солдат начнёт рассуждать и, следовательно, будет более опасен своему Государю, нежели врагу. Чтобы предупредить это зло, ничего нет лучше, как зрелище науки верующей и покорной, и в этом-то отношении Католическая церковь полезна везде. В России же она не представляет иного затруднения, потому что она только терпимая вера, как иногда и неудачно о ней отзываются. Терпимою верою называется та, которая, войдя в государство тайно или насильственно, получила, наконец, право на законное существование, так сказать, вынудив его у государя. Таково значение кальвинизма во Франции, таково будет со временем значение многочисленных раскольников, если они получат, наконец, право законного существования в России. Но если народы разных вероисповеданий повинуются одному государю, то они одинаково свободны. Великие политические события подчинили скипетру Его Императорского Величества многие миллионы Римских католиков, и он оставляет их в покое в отношении к их вере, так же как Татар, Магометан, Ламаитов и даже идолопоклонников. Следовательно, со стороны этого исповедания не было употреблено ни насилия, ни хитрости, ни неповиновения, одним словом, ничего предосудительного, чтобы занять своё место в государстве, и потому оно не может возбуждать опасений. Его догматы в политическом отношении самые консервативные и везде, где оно будет иметь влияние на народ, оно воздержит его от волнений. Его существование рядом с народным вероисповеданием безопасно в силу закона, запрещающего Латинской церкви привлекать в своё лоно, тогда как Русское духовенство пользуется полною свободою обращать в православие Латинян. Что же касается до запрещения Латинской церкви обращать протестантов, то да позволено мне будет заметить, что оно основано на каком-нибудь старом предрассудке, а не на требованиях истинной политики. Нет нужды, конечно, постановлять об этом особый закон, но можно допускать эти обращения. Трудно понять, какие могут быть выгоды для Греческой церкви в охранении протестантизма и чего может опасаться Государь, приобретая наиболее покорных подданных и преданных в силу самых догматов их вероисповеданий. Впрочем, это говорится с почтением и без малейшего духа критики».

Сочинения графа де Местра, которых содержание мы изложили с подробностью, писаны в России и для России, для руководства и научения Русского правительства. В них со всей яркостью восстаёт

перед лицом страны, непричастной к средневековой жизни Западной Европы, фантом государственного устройства и управления, с королём, царствующим *милостью* Римского первосвященника, с феодальным дворянством, с независимым непосредственно от государственной власти того или другого народа духовенством, забравшим в свои руки и совесть королей, и богатство страны, и свободу жизни, мысли и слова граждан; фантом государственного устройства, владеющего и телом и душою подданных, вооружённого смертною казнью, инквизицией, церковными проклятиями и отлучениями. Это устройство и управление представляли России, как идеал, к которому она может стремиться, но достигнет лишь в отдалённом будущем, не разрушая, но, напротив, укрепляя рабство большей части своих подданных, усиливая и обогащая дворянство, отменив все законы, появившиеся в первую половину царствования императора Александра и которые граф де Местр называет конституционными, т.е. сделавшись наперёд Латинскою по исповеданию, для чего предлагалось и вполне благонадёжное средство в лице иезуитов, как самых опытных, надёжных воспитателей молодых поколений, прирождённых врагов страшной секты, разносящей повсюду революцию и безбожие. В настоящее время Россия только могла благоговеть перед этим идеалом и употребить все дарованные ей Провидением силы для того, чтобы восстановить его в Западной Европе, где он был уже разрушен окончательно Французскою революцией. Россия представлялась в глазах её иностранных друзей и советников только внешнею силою, единственной на Европейском материке, которая могла противоборствовать революции, предводимой военным гением Наполеона. Их старания клонились к тому, чтобы поддержать её лишь как внешнюю силу, завлекая её воображение славою древних Римлян, советуя не развивать у себя наук и просвещения, но великодушно предлагая пользоваться тем, что уже приготовлено новыми Греками, т.е. Западною Европою, и, следовательно, постоянно действовать по её указаниям.

Чем очевиднее и решительнее становился разрыв с Франциею, чем неизбежнее становилась война с нею, тем более и шире распространялся этот взгляд в русском обществе и находил сочувствие в правительстве. Деятельность иезуитов усиливалась, толпы детей Русских вельмож наполняли их школы, Министр народного просвещения защищал их от вмешательства университетов. В 1811 году иезуитам даровано право посылать миссии в окраины России, назначено щедрое вознаграждение за их дом, стоявший на месте, отошедшем под строившиеся укрепления, и пущено в ход дело о Полоцкой Академии[21].

В декабре месяце 1811 года графом де Местром была окончена[22] записка, которой содержание мы изложили. В начале 1812 года, вероятно, она была уже в руках Государя; а в письме от 9 февраля де Местр извещал своего короля, что «иезуитская Полоцкая коллегия возводится в академию с правами, присвоенными университетам и в совершенной от них независимости. Это недурные победы, одержанные над дурным направлением; потому что я не знаю учреждений более монархических и более славных, как иезуитские»[23].

Конечно, и успехам иезуитов способствовала в это время совершившаяся перемена как во внешней, так и во внутренней политике России, чем они сумели ловко воспользоваться; но, без сомнения, много помогли им и письма графа де Местра к графу Разумовскому, и записка, поданная им Государю. С этого времени переменились совершенно отношения к нему Государя: он не только оказывал ему благосклонное расположение, но даже приблизил его к себе и желал, чтоб он вступил в Русскую службу. 5 марта Государь встретился с графом де Местром у обер-гофмаршала графа Толстого и в первый раз долго беседовал. Главным предметом разговора была, конечно, предстоявшая война, исход которой имел роковое значение в глазах графа де Местра. Если победа останется за Россией, то Савойский дом, интересы которого постоянно поддерживала наша политика, мог надеяться получить вновь потерянный престол. Наоборот, победа Наполеона повлекла бы за собою окончательную гибель Пьемонта и его династии. Как посланник Сардинского короля, де Местр должен был желать войны с врагом его отечества и успеха России; как человек известного образа мыслей, который мы изложили, он должен был страстно желать падения *сатанинской* силы революции, олицетворенной в Наполеоне[24]. Его пугала не война, но возможность сохранения мира. «Я забыл заметить, – писал он королю 6 апреля 1812 года, – что последствием этих огромных приготовлений к войне может быть мир. Оба императора запугивают один другого. Но если состоится соглашение, то оно послужит средством ещё к какому-нибудь другому дьявольскому соглашению. С одной стороны, будет признан титул *Западного* императора, со всеми его последствиями, с другой – кто же этим двум господам помешает разделить Европу? Я совершенно убеждён, что Русский император не хочет никаких приобретений. Он не может ни избегнуть войны насмерть, ни установить прочный мир; но я ни за что не отвечаю и полагаю, что Наполеон попробует сделать подобное предложение, видя, что его намерение запугать не удалось». Желание Сардинского посланника в этом случае совершенно было согласно с общим почти желанием русских воевать, для того, чтобы

избавиться от унизительной и разорительной опеки французского императора. «В наше время, – писал граф де Местр, – война в Европе сделалась настоящею дуэлью между двумя дворянами; замечательная мягкость, с которою она ведётся, зависит от того, что сама верховная власть сделалась мягче, нежели было прежде. Но необходимо обратить внимание на два важные соображения: 1) что между придворными и военными существует естественная антипатия, может быть, большая даже, нежели между первыми и gens du robe, во всяком случае, более опасная, потому что первая выражается в насмешках и этим даже приносит пользу; но другая очень опасна и может быть даже смертельною во время войны на жизнь и смерть. Придворный одинаково почтенное и необходимое лицо, но на своём месте, как священник; но никогда придворный не имел успеха на войне; 2) интрига может быть названа *тенью* власти: никогда она её не оставляет. С того времени, как Государь приедет в военный стан, генералы будут заниматься гораздо более им, нежели неприятелем, будут соперничать между собою в искании его благорасположения, мнения будут сталкиваться, никто не посмеет возражать против его мнения и т.п. В обыкновенное время это не так важно, потому что одна сторона уравновешивается другою. Но в настоящее время это имеет великое значение. Единство в военных действиях, необходимое для успехов, будет разрушено или по крайней мере замедлено; со стороны же противника, наоборот, это единство выразится во всей силе; потому что похититель престола и существовать бы не мог, не обладая силою духа, способного задушить всякую интригу и направить действия всех к одной цели. Положение сторон мне кажется неодинаковым».

Из бесед своих с Государем граф де Местр заметил, что он не надеялся на победы в начале военных действий, но, однако же, твёрдо решился вести их до конца, присутствие же своё в Главной квартире объяснял тем, что в России нет генерала, способного стать во главе такого огромного войска, которое немедленно должно вступить в дело; Государь же, по самой силе сана своего, мог служить объединителем.

Желание Государя, чтобы граф де Местр вступил в Русскую службу, он отклонил, но взялся исполнять его поручения по составлению некоторых бумаг*. «Прошу, Государь, – заметил граф де Местр, – обратить внимание на очень важное обстоятельство: я не буду спи-

* Dans une note relative a ce mariage. Дело идёт о женитьбе Жозефова брата, графа Ксавье де Местра на фрейлине Софье Ивановне Загряжской, родственнице государева приятеля графа Павла Александровича Строганова *(прим. П.И. Бартенева)*.

сывать для себя ни одной бумаги; но что касается до содержания, то я не могу обещать вам, что сохраню его втайне от своего государя; иначе я сделался бы не его министром, а вашим. Если Вашему Величеству будет угодно сообщить мне что-нибудь такое, о чём никто не должен знать, то я могу внушить вам подозрение; об этом надо наперёд подумать, потому что я не могу никого обманывать». — «Ничего подобного не может и быть», — отвечал Государь. Продолжая разговор, граф де Местр выразил опасение по поводу отношений, в какие он может быть поставлен с канцлером графом Румянцевым. «О, он будет у ваших ног!» «Я рассмеялся, — говорит граф де Местр, не умея объяснить себе подобного положения». «Да, — был ему ответ, — он обрадуется тому, что над его делом потрудится другое лицо, которое, однако же, не может занять его место». «Преклоняюсь перед соображением, — отвечал граф де Местр, — какое и в сто лет не пришло бы мне в голову. Впрочем, я решился, как школьник, переносить все поправки, которые бы канцлер сделал в моих бумагах; но вдруг мне сообщают, что я непосредственно буду сноситься с Императором! Кажется, мой брат будет посредником между ним и мною. Конечно, судьба моя необычайна».

Такое восклицание весьма естественно вырвалось у графа де Местра. Пользуясь постепенным успехом в Петербургском обществе, он, однако же, стоял далеко от государственных дел, даже и в той области, в которой мог бы принимать участие как посланник иностранного государя. Вся его деятельность ограничивалась заявлениями канцлеру жалоб его короля и прошениями о покровительстве. Канцлер обыкновенно весьма ласково принимал графа де Местра, вежливо его выслушивал, и в том заключались их сношения. И вдруг он становился тайно как бы на его место, сохраняя в то же время звание иностранного посланника!

Но, конечно, граф де Местр преувеличивал значение того положения, в которое ставил его Государь, предупредивший графа Румянцева о своём желании воспользоваться для дипломатической переписки дарованиями графа де Местра. При свидании с графом де Местром 17 марта, канцлер, с обычною любезностью беседуя с ним, сказал, что он несколько раз говорил с Государем о том, как бы *приобрести его*, но что Государь всякий раз отвечал: *он не согласится*. «Его Величество вполне понял мои чувства, которым я никогда не изменю», — заметил граф де Местр. — «Но разумеется само собой, что это сделалось бы приличным образом, т. е. с согласия Сардинского короля». Граф де Местр отклонил это замечание канцлера, объявив, что он никогда не вступит в Русскую службу.

Чрез несколько дней после ссылки Сперанского и накануне отъезда Государя в Главную квартиру, графу де Местру опять назначено было свидание. «Меня уведомили сейчас,— писал он своему правительству,— о новом тайном свидании с Императором; я употреблю все доступные мне средства, чтобы воодушевить его, чтобы открыть ему глаза на мораль войны, предмет, которым я много и с успехом занимался и на который обыкновенно мало обращают внимания».

8-го апреля Государь принял его у себя в кабинете.

— Что вы думаете об иезуитах? — был его первый вопрос.

— В этом отношении не может быть никакого сомнения,— отвечал граф де Местр.— Я не только считаю их полезными *в настоящее время*, но даже необходимыми. В России, как и повсюду, необходимо бороться только с *великою сектою*, а с сектою успешно может бороться только *общество* (un corps). Силы каждого частного человека слишком для этого недостаточны, истинный же враг ненавистного иллюмината есть иезуит. Кто обладает противоядием, тот поступит неблагоразумно, если не воспользуется им, когда яд широко разливается вокруг него. Все неопределённые обвинения иезуитов в политических интригах не имеют никакого основания; их выражают только люди, которые или не умеют управлять или не хотят, чтобы управляли. Я ссылаюсь на Фридриха II: «Виноват не отец Летелье, но Людовик XIV; я бы сумел воспользоваться иезуитами и допустил бы их составлять заговоры». Не входя ни в какие исследования, можно допустить, что и у иезуитов есть недостатки, находящиеся в связи с их успехами; но кто останавливается перед неудобствами, тот не должен и вмешиваться в управление, потому что ничего нет в мире не сопряжённого с некоторыми неудобствами, начиная с самой верховной власти, которую конечно вы не захотите уничтожить, так же как и я. Заговорщики высказали свою тайну, когда в Париже торжественно объявили, что революция была невозможна, пока существовали иезуиты. Они твердили государям: иезуиты это *власть*, и, к несчастью, государи этому поверили. Но дело в том, что без *власти* в государстве, без общества, корпораций, без твёрдых установлений, хорошо устроенных и без духа общества (esprit de corps), государь не может управлять, потому что у него только одна голова и две руки. Он убьёт себя заботою и работою, он будет вмешиваться во всё, у него едва останется время для сна и — всё пойдет дурно. Для поддержания, распространения и защиты веры, для христианского и учёного воспитания юношества, необходимо *общество*, и я не знаю лучшего, как иезуитское. С тех пор как отняли у иезуитов дело воспитания, разве не образовалось целое поколение des vipéres [гадюк], которые погу-

били Европейскую монархию? Заговорщики поражали верховную власть, смеясь на нею, ибо прежде всего убедили её сбросить с себя её латы. Я не знаю ничего печальнее.

Близкий сердцу графа де Местра предмет вызвал поток слов, которого течение было прервано Государем.

— А знаете ли вы, что недавно… — начал он говорить; но увлечённый предметом своей речи, граф де Местр в своей черёд прервал его.

— Я знаю, Государь, что вы хотите мне сказать. Недавно одно лицо у министра полиции генерала Балашёва, расхваливая иезуитов, между прочим, сказало: их можно употребить с пользою; один из них был у меня и предлагал отравить ядом Бонапарта. Я знаю, что это происшествие дошло до Вас и Вас смутило; я знаю, как вы распорядились, чтобы удостовериться, действительно ли эти люди — и пр. Но как же не поняли сразу, что человек, который это сказал и не мог назвать имени иезуита, сделавшего ему такое предложение, стоит виселицы? Впрочем, этот человек — Магницкий, который через несколько дней после того объявлен государственным преступником; из этого уже можете видеть, какие негодяи ненавидят иезуитов и какими преступными способами они действуют против них.

— Думаете ли вы, что они способны были бы действовать в хорошем духе на общественное мнение в Польше?

— Они совершенно готовы и действуют уже в этом смысле всеми силами; я скоро увижусь там с ними и постараюсь возбудить их к тому ещё более; но я думаю, что этого не нужно. Их преподавание католическое, это известно…

— Какие предвещания возбуждает в вас это война?

— Император может опасаться только одного: слабости, которая вызывается иногда самим могуществом. Вы привезёте с собою в армию целый двор, т.е. происки, страсти и многовластие. Похититель же власти держится только железною волею и силою духа, граничащего с чем-то чудесным. Он подавляет все происки и все воли направляет к одной цели. И сверх того, чтобы успеть, он располагает двумя средствами, которых недостаёт Вашему Величеству: он может истреблять миллионы денег и людей.

Император рассмеялся.

— Многие государи видели в этом или могут видеть доказательство своей слабости в сравнении с похитителем; но это самая ложная и опасная мысль. Я вспоминаю, что когда-то имел честь сказать моему государю: золото не может перерезать железа, поэтому стоит ли оно менее? Напротив, именно потому оно стоит более[25].

— Это очень хорошо сказано, — прервал его государь.

– По крайней мере, это совершенно справедливо. Никакой человек не может всё сделать, и нет величия, нет сана, с которым бы не соединялось некоторых неудобств. Ваше Величество не можете не приложить этого замечания и к вам самим.

– Какие же следует принять предосторожности, чтобы установить равновесие?

– Если бы я смел предложить советы великому монарху, то я посоветовал бы ему действовать сходно с его врагом – мерами несколько крутыми и решительными. К несчастью, следует чаще наказывать и строже. Необходимо также награждать чаще и блистательнее. В военных действиях надо избегать рассуждений и особенно военных советов. «Кто соединяет людей, тот их возмущает», говорил кардинал Рец[26], а кто возмущает, тот поджигает страсти и заглушает мудрость. Только две власти в этом мире обладают правом противоречить, никого этим не смущая: красота и верховная власть (la beauté et la souveraineté)...

Государь рассмеялся.

– Если эти власти противоречат, то это значит только: *мне кажется, что я прав*; в отношении же к частным лицам, напротив, это значит: *мне кажется, что вы ошибаетесь*. Соберите людей, сейчас же они начнут спорить между собою, вмешиваются самые тёмные страсти не менее опасные, как и гордость. Полагаю, что Ваше Величество поступите превосходно, если будете советоваться с лучшими головами, но с каждым отдельно или, если бы оказалось нужным их собрать вместе и посоветоваться, то надо предоставить им совещательный только голос; а решать потом должны Вы сами с кем-нибудь одним, кого Вы сочтёте достойным вашего доверия и которого Вы всегда будете поддерживать, если даже он и ошибётся когда. Это важнейшее правило. Если бы вам случилось ошибиться, то Вы одни должны поправлять свои ошибки. Это кажется беспорядком, но только с первого взгляда. Следует принять и другие предосторожности, но прежде всего надо работать во Франции вокруг *него*, надо льстить французам, *особенно дворянству*, действуя способами, которые я постараюсь указать, и постоянно предлагая им государя.

– Но если бы до этого действительно дошло, как вы думаете, кого бы можно предложить?

– Может ли сомневаться в этом наследственный государь! – воскликнул граф де Местр и, сообщая об этом разговоре своему правительству, он изливается в сетованиях по поводу такого вопроса.

Граф де Местр, как легитимист, конечно, желал восстановления династии Бурбонов в лице её старшего представителя Людо-

вика XVIII; но сверх того, в этих Бурбонах он видел цвет Европейской верховной власти, как в лице Франции первую христианскую монархию Европы, призванную Провидением руководить её жизнью посредством своего влияния. Поэтому он говорил: Европейскую революцию неверно называют Французскою. Франция с Бурбонами во главе представлялась ему именно тем идеалом христианской монархии, который он постоянно проповедовал, падение которого горько оплакивал и которого восстановления так уверенно ожидал. Итальянец по происхождению, преданный подданный Савойского дома, он в сущности был совершенным французом, никогда не употреблял никакого языка, кроме французского, не только в своих сочинениях, но даже и в частной переписке, никогда не называл себя итальянцем, но иногда *Аллоброгом* (Савойцем), и то как бы в шутку. Он признавал одну народность, и к ней, по его мнению, принадлежит всё Европейское дворянство, особенно Римско-католических государств; она имеет прирождённое право на просвещение и управление другою народностью, которая для него состоит из прочих состояний всех народов, которой не должно предоставлять много свободы, которую просвещать не следует и которою управлять надо в ежовых рукавицах,– при помощи Латинского духовенства, также причисляемого им к высшей народности. Передовую дружину этой первой народности составляет в глазах его дворянство французское, которому все другие стремились уподобиться. Придавая такое значение Франции, граф де Местр полагал, что сатанинскую силу революции в лице её представителя, Бонапарта, победить никто не может без содействия самой Франции и поэтому советовал сеять в ней семена раздора и возбуждать мятеж.

Не знаем, какое действие советы графа де Местра произвели на Государя; ибо вместо ответа на них с его стороны, он приводит новый его вопрос:

– Как вы полагаете, какие могут быть последствия этой войны?

– Я не пророк,– отвечал граф де Местр,– но вполне уверен, что успех несомненно останется на стороне Вашего Величества. За основание такой моей уверенности многие назовут меня фанатиком, но я не робок в этом отношении. Я сомневаюсь, Государь, чтобы те лица, которые преподавали вам историю, обращали ваше внимание на то, что, со времени появления христианства, все государи, распространители этой веры, царствовали долго и славно; некоторые из них делали ошибки и даже преступления, но несмотря на то, их головы окружены какими-то лучами, которые никогда не померкают. Ничего нет возвышеннее имён Константина, Феодосия, Альфреда, Карла

Великого, Иоанна и Эммануила Португальского, Святого Людовика, Людовика XIV и т. п., и я не удивляюсь, что Бэкон и Лейбниц упрекали современных им государей, что они мало обращают на это внимания. Напротив, все государи, которые восставали против христианства и особенно налагали руки на Папу, были несчастливы, начиная с первых гонителей и оканчивая Иосифом II, нелепой памяти. Может случиться, что государь этого разряда умрёт по-видимому спокойно; но проклятие, которое он навлекает на себя, угрожает не только его лицу, но и его государству и всем делам его, и оно разразится каким-нибудь важным событием, которое ещё не созрело. Так случилось с Фридрихом II. Для него было бы счастьем, если бы удар разразился над ним, когда ему было 30 лет; но Пруссия не должна была так дёшево отделаться, и ей следует погибнуть, как соумышленнице своего государя. Воспользуются ли этою истиною или посмеются над нею, всё равно; тем не менее она существует, и я смело выражаю её вам, Государь, не осведомляясь наперёд, как вы на неё посмотрите. Но Вы подписали учреждение миссии в Сибири, Грузии, Крыму, Одессе и пр., и потому, повторяю, не будучи пророком, я смело предсказываю успех, так как не может для Вас быть исключения из общего закона. Я не могу не удивляться Вам в этом случае, потому что знаю, какие предубеждения Вы должны были победить в этом отношении, и потому что ваше решение проистекает из души любящей правоту и правосудие, а душа прямая и правосудная должна быть вознаграждена.

Итак, война, по мнению графа де Местра, должна была увенчаться успехом для императора Александра потому, что он дозволил учреждение иезуитских миссий в России! Государь поспешил прервать графа де Местра вопросом:

– А что вы думаете об этом великом, сатанинском человеке (grand diable d'homme)?

– Я уже выразил вам, Государь, моё мнение в скромных пределах, говоря о Фридрихе II, короле Прусском. В этом отношении может быть сомнение только в том, когда это случится.

Так кончилась эта замечательная беседа. Граф де Местр действительно, с первых дней величия Наполеона, предсказывал необходимость его падения и говорил, что убеждён в этом, но не может лишь определить *времени.*

Глава 4

Прибытие в Вильно государственных сановников. – Багратион и барон Беннигсен в Вильно. – Составление планов войны. – План полковника Толя. – Последние дипломатические переговоры с Францией. – Миссия графа Нарбонна и его отъезд из Вильно. – Наполеон в Дрездене. – Разрыв.

Государь приехал в Вильну только с обер-гофмаршалом графом Толстым и с военною свитою; но вскоре туда же начали прибывать государственный сановники. Через две недели по отъезде Государя было обнародовано, что вслед за ним, *между прочими*, выехали из Петербурга: граф Румянцев, адмирал Чичагов, граф Кочубей, барон Армфельт, вице-адмирал Шишков, министр полиции Балашёв и граф Аракчеев. В одно время прибыли с ними в Вильну принц Георгий Ольденбургский, Александр Вюртембергский, за два года перед тем поставленный генерал-губернатором Витебским и Могилевским, и великий князь Константин Павлович. За каждым из этих лиц следовали их сотрудники по тем ведомствам, которыми они управляли. Вместе с канцлером иностранных дел в Вильне находились граф Нессельроде и Анштетт (один недавно бывший советником нашего посольства в Париже и обративший на себя внимание Государя*, другой – его приятель, исполнявший тайные поручения в Варшавском герцогстве).

Очевидно, сосредоточие государственной деятельности, как по делам военным, так и по внутренней и внешней политике, перенеслось из Петербурга в Вильну. В чём же обнаружилась эта деятельность, какие государственные меры были приняты в это время?

Что касается до внутреннего управления, то оно сосредотачивалось в Государственном Совете и Комитете министров, получивших большие полномочия и особое устройство по случаю выезда Государя из Петербурга. Записки и соображения по немногим наибольшей важности делам посылались, однако же, к нему и особенно дела о финансах, которые находились в большом расстройстве в это время вследствие стеснения нашей торговли континентальною системою

---

* По устранении человека Русского и гораздо более способного, князя Григория Ивановича Гагарина, см. *Записки графини Эдлинг (прим. П. И. Бартенева).*

и падения вексельного курса; а между тем требовались расходы чрезвычайные и в огромных размерах. Налоги только что были значительно возвышены, и вновь возвышать их не представлялось возможности. «Важный предмет, на который я должен обратить внимание вашего сиятельства, – писал Государь графу Салтыкову, – есть отпуск сумм для потребностей армии. От сего происходит совершенный в оных недостаток в армии. Полки, нуждаясь, принуждены брать от земли без платы, что заводит разные беспорядки. Великую услугу окажете государству, войдя подробно в сей предмет с секретным Комитетом финансов. Те же суммы, но быв ранее высылаемы, отвратили бы совершенно весь недостаток и беспорядки, от оного происходящие». Конечно, при невозможности внешних займов представлялся лишь один способ, который и предложил Комитет – выпуск новых ассигнаций. Соглашаясь на эту меру, Государь писал, однако же, графу Салтыкову: «Касательно новых бумажек нельзя ли так учредить, чтобы их наделать единственно для того предмета, чтобы иметь наличные значительные суммы в казначействе прежде поступления податей; по мере же вступления сих последних, исподволь истреблять, чтобы число их не умножить и не нарушить оным данного слова?»

Но, если и немногие дела внутреннего управления приходили в Главную квартиру Государя, то дела военные и сношения с другими державами все сосредоточивались в ней. Хотя Александр Павлович требовал сохранения в глубокой тайне, как дипломатических сношений нашего кабинета, так особенно предположений о предстоявших (ещё в виде возможности) военных действиях против Наполеона; но, тем не менее, эта тайна нарушалась, как и всегда бывает, когда на совещания о таких вопросах призываются лица различных политических убеждений и с различных точек зрения смотрящие на пользу и значение России. Так, ещё в 1811 году, после одного из совещаний о плане военных действий, граф Армфельт немедленно рассказал графу Огинскому, что в случае вторжения неприятеля в пределы империи предположено, что русские войска будут отступать внутрь страны и оставлять без боя Литовские губернии. Так, князь А. Чарторыйский узнал про тайны наставления, сообщенные в запечатанных пакетах русским военачальникам о предполагавшихся наступательных действиях при некоторых обстоятельствах; а чрез него эта весть немедленно дошла до князя Понятовского и Французского резидента в Варшаве Биньона, сообщивших её Наполеону. Это сведение, вовремя им полученное, имело важное значение: оно определило характер его сношений с Россиею в 1811 году и образ действий

по отношению к Пруссии. Но в какой мере Наполеон желал усыпить Россию, отклонить её от наступательных действий, в такой же желали их русские войска, начиная с предводителей и кончая последним солдатом, в среду которых, хотя и не так определённо, проникли также эти сведения.

В конце марта 1812 года Барклай де Толи писал Государю из Вильны, испрашивая дозволение двинуть войска вперёд, потому что с приближением весны наступало удобное к тому время. Мало знакомый с политическими отношениями России, особенно с тех пор, как оставил Петербург, и находясь в Вильне, вращаясь лишь в заботах о внутреннем состоянии подчинённых ему войск, Барклай, конечно, был поражён, получив собственноручный ответ Государя, который ему писал: «Важные обстоятельства требуют зрелого рассмотрения того, что мы должны предпринять. Посылаю вам союзный договор Австрии с Наполеоном. Если наши войска сделают шаг за границу, то война неизбежна, и по этому договору Австрийцы окажутся позади левого крыла наших войск. Между тем Французский посланник положительно уверяет, что Кассель и Кёнигсберг не будут заняты и что он имеет предписание от императора Наполеона остановить движение войск к этим городам, если бы оно было предпринято кем-либо из Французских генералов. Он отправил адъютанта объявить о том маршалу Даву. Я не слишком полагаюсь на такие уверения; однако же, их следует принять в соображение. По приезде моём в Вильну окончательно определим дальнейшие действия. Между тем, примите меры к тому, чтобы всё было готово, и если мы решимся начать войну, чтобы не встретилось остановки».

Эти слова Александра Павловича не дают места сомнению о том, что вопрос о способе военных действий в это время ещё не был решён и что на это решение должно было иметь влияние с одной стороны вступление Австрии в союз с Наполеоном, а с другой – даже самые наши отношения к Франции. Барклай де Толли, Пфуль и постоянный посредник между ними, преданный обоим, флигель-адъютант Вольцоген, главные творцы планов военных действий, находились в Вильне; но кроме них в новых военных соображениях должны были принять участие и новые лица, появившиеся в Вильне в числе окружавших Государя. Старейший из них барон Беннигсен, опытный генерал, единственный из наличных (граф Кутузов находился ещё в Бухаресте), который предводительствовал уже русскими войсками в 1807 году, считал себя победителем, и не без некоторого основания: сражения при Пултуске и Прейсиш-Эйлау принадлежали к числу таких действий, которым подобного не встречалось в бое-

вой жизни главнокомандующего 1-ю Западною армиею; Барклай же находился в это, столь недавнее, время в числе малоизвестных, подчинённых ему, рядовых генералов. Хотя Беннигсен был точно так же, как и Барклай, защитником наступательных действий против Наполеона; но с тех пор, как он представлял Императору составленную записку в этом смысле, прошло уже более года, и обстоятельства изменились. Нельзя уже было рассчитывать на содействие Пруссии и Австрии. Уже одно это обстоятельство объясняло, что Беннигсен изменил свой взгляд, если устранить даже иные, личные соображения, которыми, к сожалению, он руководился во всё продолжение этой войны. При всём своём благодушии, он был высокого мнения о своих достоинствах и заслугах и своё участие в делах военных считал возможным не иначе, как в качестве главнокомандующего. Естественно, что на Барклая смотрел он не с сочувствием и не мог поддерживать его взглядов, с которыми впрочем не был согласен и по самой их сущности. Он «всемерно старался, — говорил Ермолов, — склонить на сближение армий так, чтобы от нас зависело или стать на прямейшей дороге, идущей к Смоленску, или избрать такое положение, которое бы препятствовало неприятелю отклонить нас от оной; но при всей настойчивости успел только согласить на перемещение 2-й армии из окрестностей Луцка, что на Волыни, в местечко Пружаны»*.

Когда Государь прибыл в Вильну, наши войска расположены были на западных границах на пространстве около 800 вёрст. Такое расположение объяснилось возможностью действовать наступательно: подвигаясь вперёд в герцогство Варшавское и в Восточную Пруссию, они постепенно могли сблизиться между собою и составить грозную силу, готовую встретить неприятеля. Но по приезде Государя в Вильну мысль о наступательных действиях была окончательно оставлена. После высочайшего смотра, произведённого войскам корпуса графа Витгенштейна, при отъезде Государя из Шавель, на вопрос офицеров, какие предстоят нам действия, начальник штаба Довре́ и его помощник полковник Дибич отвечали: «Мы будем отступать». — «Далеко ли?» — «Хотя бы и до Волги». В то же время, ту же мысль и в тех же выражениях сообщил своему правительству граф де Местр, находившийся в Полоцке. Намерение отступать перед неприятелем, без обозначения предела отступлению, не возбудило сочувствия в войсках, одушевлённых желанием померяться силою с гордым

---

* Записки А.П. Ермолова. 1798–1826. М., 1991, с. 125; А.Н. Попов цитирует эти *Записки* по-видимому по изданию: А.П. Е р м о л о в. Записки. 2 тт. М., 1865–1868 *(прим. ред.)*.

поработителем Европы. Особенно возмущён был князь Багратион, ученик Суворова, не признававшего существования слова *отступление* в Русском военном словаре. «От преданности доношу, — писал он Государю, — не отнимай Ты у воинов твоих дух. Прикажи ты нам собраться у Гродны, и нанести удар врагам. Всякое отступление ободряет неприятеля и даёт ему великие способы в краю здешнем, а у нас отнимет дух. Жаль истинно, и последствия будут самые пагубные. Чего нам бояться и маневрами методическими изнурять духом армию? Неприятель, собранный на разных пунктах (т. е. из разных народов) есть сущая сволочь; а мы твои, великий Государь. Чего опасаться? Ты с нами, а Россия за нами; прикажи, помолясь Богу, наступать. А если отступать станем, они во многих пунктах войдут и возмутят. Поляки тогда восстанут, и Австрийцы, и мир Турецкий не будет прочный. Хлеба у нас достанет, в том Вас уверяю; а до нового недалеко. Иначе они всем воспользуются, а мы потеряем и славу, и честь, для того что всякое отступление в *своём краю* есть ослабление души и сердца всех твоих верных детей. Мы тебя любим, ты нам дорог, Государь; прошу, яко Бога моего, пощадить нас и двинуться на врагов. Я присягал Тебе служить верою, и мы твои; иноверцы не могут так усердно служить; ибо они ничего не рискуют. Вся военная система по-моему та: кто рано встал и палку в руки взял, тот и капрал».

Но в этом-то и ошибся князь Багратион: «маленький капрал» раньше нашего встал, палку в руки взял и составил грозное ополчение, быстро двигавшееся на Россию и далеко превосходившее её боевые силы. Наступательные действия, возможные с надеждою на успех в 1811 году, оказывались уже совершенно невозможными в то время, когда Багратион писал это письмо. Чтобы доказать справедливость этого заключения, не нужно прибегать к другим свидетельствам, кроме самого князя Багратиона. Он не говорил уже о движении в герцогство Варшавское и в Пруссию, но предлагал собрать разбросанные войска и встретить неприятеля у Гродно. Сходное с этим предположением возникло и в Главной квартире Государя, и его приписывали Беннигсену. В мае месяце полковнику Толю поручено было осмотреть местность по левой стороне Вилии и Вилейки в направлении к Гродно с той целью, чтобы определить положения, на которых можно было бы принять бой. В записке, представленной князю П. М. Волконскому, Толь говорил, что не нашёл удобного для того местоположения и что вообще «с стратегической точки зрения выбор позиции под Вильною противоречит всем правилам военного искусства. Из того, что возникла эта мысль, следует предполагать, что операционная линия для 1-й армии избрана от Гродно, через Вильну, на Динабург

и Дриссу. В этом случае нельзя не опасаться, чтобы неприятель не избрал для своих действий средней линии между двумя армиями; при том отступление без боя от Гродно до Вильны значительно ослабит воинственный дух одушевляющий войска», а, наконец, в случае неудачи, придется отступать через Вильну, «город, которого жители готовы против нас поднять оружие». Поэтому Толь полагал, что 1-й армии не следует давать сражения неприятелю под Вильною, но «она должна стремиться к тому, чтобы сблизиться с 2-ю армиею и вместе с нею встретить неприятеля» в другой, более удобной для сражения местности. Мысль не оставлять Литовских губерний без боя могла прийти не только Беннигсену, много лет прожившему в Вильне, но и самому Государю по приезде его туда, ввиду тех чувств преданности, которые ему выражали поляки и в искренность которых ещё он верил. Но Толь выражал мысль уже другую, совершенно противоположную плану Пфуля и Барклая, о необходимости соединения обеих армий для совокупного действия против неприятеля, не прибегая к отступлению от Гродно до Вильны и, может быть, далее. Таким образом, его предложение сходилось с мыслью Багратиона, выраженною в приведённом письме к Государю. Ту же мысль выразил Толь и в общем плане военных действия, который был составлен им в то же время в Вильне. Оставя в стороне подробности этого плана, которые и получили изменения на деле, не можем не обратить внимания на общие выраженные в нём мысли. «Теперешнее расположение русских войск,— говорит он,— вдоль западной границы, начиная от окрестностей Шавель до окрестностей Луцка, на пространстве около 800 вёрст, и магазины, на этом же пространстве учреждённые, дают повод предполагать, что такое расположение наших войск сделано единственно с целью удобства их продовольствия, но не потому, чтобы имелись в виду выгоды для военных действий. Напротив, расстояния одной армии от другой, хотя между ними и находится обсервационный корпус генерала Эссена, так значительно, что неприятель, начав военные действия, сосредоточив силы близ Варшавы с двумя корпусами по флангам, мог бы принять направление между ними (внутреннюю операционную линию) и, прекратив всякое сношение между двумя армиями, разбить каждую порознь, располагая большими в сравнении с нами силами. Нет нужды говорить о тех выгодах, которые мы могли бы приобрести, действуя наступательно; но, к сожалению, время для наступательной войны для нас уже миновало».

Поэтому Толь предлагал на первое время «вести войну оборонительную, оспаривая каждый шаг неприятеля и прикрывая путь во внутренние губернии на Смоленск и Москву».

Мысль о необходимости соединения армий не могла не обратить на себя внимания в это время уже потому, что 2-я армия значительно была ослаблена и едва ли могла с успехом исполнить то предназначение, которое предполагалось для неё по первоначальному плану военных действий. Австрийскому корпусу, угрожавшему со стороны Галиции и Варшавского герцогства, следовало противопоставить достаточные силы. На Дунайскую армию рассчитывать было нельзя: ей предназначались в это время ещё иные действия. Необходимо было составить новую армию с целью охранять Волынь и Подолию. Предположенные резервные армии ещё не были составлены, и потому решено было (5 мая) отделить от неё четыре корпуса и составить из них 3-ю Западную или обсервационную армию под начальством генерала Тормасова, которого Главная квартира заняла прежнюю князя Багратиона в Луцке; а Главная квартира князя Багратиона, переведённая сначала в Пружаны, перешла потом в Волковыск. 2-я армия в новом своём составе простиралась едва до 48 тысяч и, конечно, не имела достаточно сил, чтобы действовать во фланг и тыл Наполеоновских войск. Полковник Толь, занимавший невидное место в канцелярии генерал-квартирмейстера, престарелого Мухина, в это время, в Вильне, выступил вперёд и вскоре после, когда уволен был от должности его начальник, занял его место.

Но кроме Беннигсена и Толя в Вильне появилось ещё новое лицо, которое смелыми нападками на предположения Пфуля сильно поколебало их значение. Это был маркиз Паулуччи. Он принадлежал к числу многочисленных лиц, выгнанных из Западной Европы революциею и завоеваниями Наполеона, и которым посчастливилось в нашей службе. Перед 1812 годом он занимал место главнокомандующего Грузиею, после генерала Тормасова. В этом году вызванный из Тифлиса для участия в войне против Наполеона, он на дороге в Петербург, откуда Государь уже выехал в Вильну, получил приказание следовать к войскам и занять место начальника главного штаба 3-й армии, которую предположено было образовать под начальством генерала Тормасова. Обиженный этим назначением, потому что считал себя равным Тормасову и даже *выше его по заслугам*, как сам он о себе отзывался, Паулуччи явился в Вильну и просил Государя уволить его от службы. Намереваясь вести войну против такого полководца как Наполеон, Государь всеми способами старался привлекать в свои войска способных людей и, будучи уверен в дарованиях, военных сведениях и опытности маркиза, конечно, не принял его прошения, но уговорил его занять место начальника главного штаба 1-й армии (при которой сам находился) по увольнению от этой [должности] генерала Лаврова, не отличав-

шегося особенными качествами. Его соотечественник, граф Жозеф де Местр, описывая Сардинскому королю лиц, окружавших Государя в Вильне, говорит о маркизе Паулуччи: «Он продолжает идти по служебному поприщу с изумительным счастием; смелость и дерзость с которыми он действует, постоянно удавались ему до настоящего времени. Мне известны различные случаи смелости из его жизни, рассказ о которых показался бы баснословным Вашему Величеству, а между тем совершенно верен. Я никогда не знал подобного характера. Мне неизвестны его мнения о плане предпринимаемых военных действий; но один человек, приехавший из армии, сообщил мне, что генерал Беннигсен невыгодно о нём отзывается»*. Вскоре графу де Местру сделались известными мнения Паулуччи о плане Пфуля и Барклая и его удаление из лагеря под Дриссою. Граф де Местр сообщал о том министру Сардинского короля. «Пришлось бы много писать, рассказывая несколько романтическую историю этого дворянина из Модены. Лет пять-шесть назад, как он сюда приехал и по приезде доставил мне множество хлопот по случаю столкновения с офицерами, которые здесь находятся. Я предупреждал их, что они имеют дело с заряженным ружьём, которое может легко выстрелить; но они мало обратили внимания на моё предостережение. Однако же, всё успокоилось. Выстрел всё же последовал, как я и предвидел. Ничто не может сравниться с быстротою и блеском военной службы маркиза Паулуччи. Он приехал сюда полковником, и мы видели быстро следовавшие ему награды, производство в генерал-лейтенанты, ордена Св. Анны, Владимира и Георгия, назначение генерал-губернатором в Грузию и главнокомандующим там войсками, генерал-адъютантство и, наконец, начальство в главном штабе 1-й армии. Приехав в Вильну, он начал с того, что объявил главнокомандующему Барклаю де Толли, что он по совести не может быть исполнителем плана военных действий, который он считает нелепым и гибельным, а поэтому или он должен выйти в отставку, или этот план должен быть изменён. Предложение, конечно, не понравилось такому робкому человеку, как Барклай, который, может быть, и не был против предположений маркиза, но он вообще гораздо ниже того назначения, которое получил. Это побудило маркиза кричать ещё громче; в частном разговоре он сказал Императору, что те, которые присоветовали устройство укреплённо-

---

* Письмо королю Виктору-Эммануилу I из Полоцка от 22 июня (3 июля) 1812; Joseph de Maistre. Correspondance diplomatique: 1811–1817. Paris, 1860, V. I, p. 107–116; см. также Граф Жозеф де Местр. Петербургские письма. СПб., 1995, с. 208–211 *(прим. ред.)*.

го лагеря при Дриссе, достойны одного из двух: или сумасшедшего дома, или виселицы»*.

Конечно, кроме маркиза Паулуччи никто не решился бы на подобные дерзкие выходки; но едва ли не все им сочувствовали, потому что кроме самих творцов первоначального плана военных действий на случай оборонительной войны, никто его не одобрял. Все эти обстоятельства, естественно, расшатывали целое здание Пфуля со товарищами и должны были поколебать в Государе уверенность в его военных познаниях и дарованиях. Именно это обстоятельство произвело неопределённость во взглядах и колебание в действиях.

В таком положении находились дела, когда неожиданно в конце апреля разнеслась весть, что приехал к Государю с письмом от Наполеона уполномоченный его, генерал-адъютант граф Нарбонн.

В самый день отъезда Государя из Петербурга в Вильну, к Французскому посланнику при нашем дворе прибыл нарочный из Парижа с депешами, которые, как писал граф Румянцев Государю, произвели большое впечатление на посольство: «оно приняло более озабоченный вид, если не более печальный». На другой же день граф Лористон приехал к канцлеру и объяснил ему содержание полученных им сообщений своего кабинета. Он не скрыл, что Наполеон «недоволен объяснениями нашего кабинета и особенно тем, что до сих пор не получил ответа на письмо к императору Александру, посланное с Чернышёвым и что он имеет уже достаточное количество готовых войск, чтобы начать войну, но желает отклонить её». В конце прошлого месяца (24 марта) уже послан был ответ Государя на это письмо с бароном Сердобиным к самому посланнику в Париж, вместе с окончательными предложениями тех условий, на основании которых могут последовать переговоры о взаимных соглашениях между Россиею и Франциею, и поэтому графу Румянцеву нетрудно было отвечать на заявление графа Лористона. Прощаясь с канцлером, граф Лористон сказал: «Я даю вам честное слова, что на основании всех сообщений, которые я получил до сих пор, я не имею поводов сомневаться, что войны *возможно избежатъ*. Прошу вас, постарайтесь с своей стороны употребить все меры для этой же цели». Граф Лористон, также как весьма многие из государственных людей Франции, как Талейран, убедившись, что единственная внешняя сила может поставить в пределы

---

* Письмо графу де Фрону от 26 июля (7 августа) 1812, Joseph de Maistre. Correspondance diplomatique, V. I, p. 125–147; а также Петербургские письма, с. 211–215 *(прим. ред.)*.

безграничное самолюбие и властолюбие их повелителя, просили Русского императора и его правительство принять к тому сообразные меры и давали советы, как надо им действовать. Отдавая отчёт Государю об этом свидании с Лористоном, граф Румянцев писал: «Я полагаю, Государь, что это странное выражение, вовсе не соответствует тому твёрдому убеждению, какое до сих пор выражал посланник, что войны положительно не будет. Впрочем, по-прежнему, он уверял меня, что ни из официальных известий, ни из писем своей супруги он не усматривает повода предполагать об отъезде императора из Парижа». Отъезд Наполеона действительно хранился в тайне, и граф Лористон мог не знать о том времени, когда он последует; но он, конечно, понимал уже, что никакие переговоры не могут предотвратить войну. Уверяя в противном, он исполнял предписания своего правительства; но эти уверения противоречили, конечно, его личному мнению, и это противоречие было замечено нашим канцлером. Именно в тех сообщениях, которые Лористон получил в это время, ему предписывалось употребить все способы убедить Русское правительство, что время для переговоров ещё не упущено; но выражалась уже прямо мысль, что это нужно для того, чтобы повременить и отклонить возможность перехода русских войск через границы. «Его Величество, – писал ему герцог Бассано, – ещё не решился начать войну, но решился воевать, и ничто не может воспрепятствовать ему привести в движение огромные собранные им силы и стать на Висле». Но в то время как происходило это свидание графа Лористона с нашим канцлером, барон Сердобин уже приближался к Парижу с ответом Государя на письмо Наполеона и с окончательными условиями нашего кабинета, при согласии на которые Французское правительство изъявляло готовность вступить в переговоры о мирном устранении пререканий, возникших между двумя империями. Прежде, нежели это письмо было официально представлено Наполеону нашим посланником, Наполеон, известясь от герцога Бассано о содержании наших условий по словесному сообщению князя Куракина, уже дал поручение графу Нарбонну ехать прямо к императору Александру, неприлично и презрительно устранив нашего посланника от участия в сношениях с нашим кабинетом и не уведомив даже об этой дипломатической проделке своего посланника при нашем дворе.

Граф Нарбонн принадлежал к старой французской аристократии; но после революции, во время владычества Наполеона, эта аристократия разделилась на два разряда: одни из них оставили Францию, большая часть из них вступила в службу других государств и дралась против революции и Наполеона под чужими знамёнами; о других

Наполеон говорил: «Я предлагал им назначения в моих войсках, они не захотели принять их; я им открыл места в управлении государством, они их отвергли; но когда я отворил им мои передние, они поспешили их наполнить». К числу сих последних принадлежал и граф Нарбонн. Он начал свою службу при дворе Людовика XVI камер-юнкером принцесс королевского дома, после революции оставил Францию вместе с другими эмигрантами, несколько лет странствовал по Европе и в 1809 году, возвратившись на родину, вступил в службу к Наполеону. После долгих исканий ему удалось получить место посланника в Мюнхене и заслужить расположение своего нового повелителя. Наполеон считал его одним из лучших своих дипломатических деятелей, «не по личным его достоинствам, не по уму, но гораздо более по нравам прежнего времени, по манерам. Когда приходится что-либо приказывать, то бывает годен первый попавшийся на глаза адъютант; но иное дело, когда надобно вести переговоры: в этом случае старинной аристократии Европейских дворов следует противопоставлять людей такого же рода. Аристократия есть нечто в роде масонского общества. Если в гостиные Вены войдёт Отто или Андреосси, откровенные разговоры прекращаются, обычные отношения изменяются: это – самозванцы, чужие люди; мистерии должны быть приостановлены. Напротив, если войдет Нарбонн, то этого не случится: он свой, родной и сочувственный человек. До назначения его посланником в Вену, мы не знали настоящих видов Австрийского кабинета; в две недели граф Нарбонн их понял, и его назначение было весьма не по вкусу графу Меттерниху». Посланником в Вену (на место Отто) граф Нарбонн был назначен перед самым началом войны с Россиею, а перед тем он послан был в Берлин сладкими речами утешать Прусского короля, который должен был свою столицу и государство отдать в руки французов и удалиться в Силезию; Нарбонну велено проведать, не думает ли Прусский король с отчаяния предать Россию. Прямо из Пруссии он послан был в Главную квартиру императора Александра, в Вильну. Это был светский человек, преданный удовольствиям, с умом блестящим, но ветреный, несколько стыдившийся своего прежнего поведения и той роли, которую теперь должен был разыгрывать. «Светский человек, любящий удовольствия, приятный, блестящий, но непостоянный ум, стыдившийся тех различных приёмов, которым он следовал, и самой роли, которую играл, чуждый того апломба, той важности взглядов, которые притом и несвойственны фальшивым положениям, – граф Нарбонн не годился для дипломатической миссии... Наполеон... остановил свой выбор на Нарбонне, так как среди этого двора, пропитанного военным

духом, быть может, он один сохранил прежний этикет и приёмы обращения и поэтому он один был достоин, чтобы его выслушал государь просвещённый и вежливый, каким был Александр», — говорит графиня Шуазёль-Гуфье*.

Хотя Наполеон и снабдил его собственноручным письмом к Русскому государю, а герцог Бассано большою нотою к графу Румянцеву, но Французский кабинет не счёл даже нужным поставить его в близкую известность о переговорах с Россиею за последние годы. «Ваше посольство, — писал ему герцог Бассано, — имеет двоякую цель: политическую и военную. Вы недостаточно знакомы с положением дел, чтобы вести переговоры с императором Александром, которому оно известно очень хорошо. Впрочем, в переговорах с Россиею важен только один вопрос: о нейтральной торговле. Англия не признаёт нейтральных морей, а мы не можем признавать её на сухой земле. Это вытекает из условий Тильзитского договора». Поэтому для выполнения первой цели его посольства ему предписывалось (и то в общих выражениях) уверять, что Наполеон исполнен миролюбивых чувств и все его желания клонятся к тому, чтобы избежать войны. Но ему прямо было выражено, что вторая главная цель его посольства, т. е. военная, состоит в том, чтобы высмотреть состояние русских войск, Главного штаба и вообще Императора и окружающих его лиц и общее всех настроение. Указание на возможность мирных переговоров должно быть одною приманкою; но дело вовсе не в мире, а в том, чтобы выиграть время для сосредоточения войск на русских границах и отклонить Императора Александра от наступательных действий. Сверх того, в Вильне носились слухи, что Нарбонн привёз с собою письма от поляков к их родственникам и знакомым, жителям Литовских губерний. Но, во всяком случае, особое посольство помимо нашего посланника в Париже и французского при нашем дворе для повторения того, что уже более года постоянно твердил Тюильрийский кабинет, не могло не показаться странным и подозрительным. Чтобы отклонить это подозрение, хотя и неудачно, всётаки отыскан был предлог. Наполеон перед каждою войною, которую начинал, имел обыкновение, как бы в насмешку, входить в сношения с Англиею, приглашая Сент-Джемский кабинет заключить мир с Франциею на таких условиях, которые он принять не мог. Каждая подобная попытка, конечно, оканчивалась неудачею. Графу Нарбонну поручалось уведомить Русского императора, что Наполеон и в настоя-

* Графиня София Шуазёль-Гуфье. Исторические мемуары об императоре Александре и его дворе//*Державный сфинкс.* М., 1999, с. 269–270 *(прим. ред.)*.

щее время вошёл в такие сношения с Великобританиею и просит его принять в них участие в качестве союзника Франции, «или Англии, если он заключил уже союз с нею».

Граф Нарбонн привёз следующее письмо Наполеона: «Государь, мой брат! Имея повод предполагать, что Ваше Величество выехали из Петербурга и граф Лористон не находится при Вашей особе, я поручаю моему генерал-адъютанту, графу Нарбонну, вручить Вам это письмо. Он передаст также важные сообщения графу Румянцеву, которые могут убедить Ваше Величество в моём желании избежать войны и сохранении тех чувств, которых Вы были свидетелем в Тильзите и Эрфурте. Во всяком случае, Ваше Величество, позвольте мне уверить Вас, что если, силою судьбы, война между нами сделается неизбежною, то она не переменит нисколько моих чувств к Вашему Величеству, которые не могут подвергнуться никакой перемене».

Какие же *важные* сообщения привёз граф Нарбонн нашему канцлеру, которые в определённых выражениях могли бы объяснить неопределённые мысли, выраженные в письме Наполеона?

В обширной ноте герцога Бассано перечислены те же самые вопросы, которые постоянно составляли предмет дипломатических совещаний между двумя империями в конце 1810 года; но каждый из них подвергнут рассмотрению с совершенно новой точки зрения. Выступил вперёд и занял первое место тот вопрос, который до сих пор Тюильрийский кабинет или совершенно обходил, или только ограничивался намёками или даже показывал вид, что не придаёт ему особенной важности, именно – вопрос о нейтральной торговле. О нём до этого времени он ни разу не высказывался с полною откровенностью в дипломатических сношениях с Россиею. Во время свиданий в Тильзите и Эрфурте этот вопрос далеко не достигал тех размеров, которые принял в последнее время. Несмотря на то, в ноте герцога Бассано с этой точки зрения рассматриваются те обязательства, которые принял на себя Русский император по Тильзитскому договору. «Его Величество Император Всероссийский, – писал французский министр иностранных дел, – признал в Тильзите, что современное поколение тогда только достигнет благоденствия, когда каждый народ будет иметь полную возможность предаваться промышленной своей деятельности. Но они тогда только могут предаваться ей свободно, когда их флаг будет неприкосновенным. Неприкосновенность флага составляет неотъемлемое право каждого народа и обязанность в их взаимных отношениях одного к другим. Неприкосновенность их флага имеет точно такое же значение, как и неприкосновенность их областей. Если нейтральное государство, не перестав быть нейтраль-

ным, не может дозволять одной из воюющих сторон захватывать собственность другой в своей территории, то также точно оно перестаёт быть нейтральным, если дозволяет одной из воюющих сторон захватывать собственность другой, находящуюся под её флагом. Поэтому всякое государство имеет право требовать, чтобы державы, желающие оставаться нейтральными, заставляли уважать их флаги точно так же, как их территории. До тех пор, пока Англия будет следовать той системе войны, которую она приняла, не признавая независимости на морях ничьего флага, ни одна держава, владеющая берегами, не может оставаться нейтральною в отношении к Англии. С проницательностью и возвышенностью чувств, которыми одарён император Александр, он понял, что не могут достигнуть благоденствия континентальные государства Европы до тех пор, пока не будут восстановлены их права заключением *морского* мира. Эта великая цель, заключение морского мира, составляет основную мысль Тильзитского договора; все другие его условия суть только выводы из неё». Но международные договоры объясняются точными выражениями постановленных в них условий. По Тильзитскому договору Россия обязалась принять на себя посредничество в заключении мира Англии с Франциею, а Франция приняла такое же посредничество в заключении мира между Россиею и Турциею. Положение Европейских дел в то время было далеко не то, каково оно сделалось в начале 1812 года. В то время Наполеон не говорил и не мог говорить от лица всей континентальной Европы, как выражено в ноте герцога Бассано при объяснении основной будто бы мысли Тильзитских договоров. Ещё многие государства, владевшие берегами, пользовались независимостью и находились в мирных отношениях к Англии. Поэтому на случай, если Англия не примет посредничества России и не заключит мира с Франциею на условии возвращения ей всех сделанных у неё с 1805 года завоеваний и не признет полной независимости на морях флагов всех держав, Россия обязывалась объявить ей войну и совокупно с Франциею потребовать, чтобы Швеция, Дания и Португалия также разорвали мирные отношения к Великобритании и объявили ей войну.

Исказив основную мысль Тильзитского договора, французский министр с тою же беззастенчивостью искажает и значение всех последовавших событий. Декреты Берлинский, Миланский и др. он выдаёт как необходимые последствия этой мысли, точно так же, как присоединение к Франции Голландии, Ганзейских городов и герцог-

ства Ольденбургского*. И в это время, говорит он, «когда для пользы своих городов и всей Европы Его Величество совершал эти великие перемены, Россия вдруг изменила тем началам, которым обязалась в Тильзите неуклонно следовать в союзе с Францией, которые выразила в своём объявлении войны Англии и которых последствиями были декреты Берлинский и Миланский. Они были устранены указом о торговле, который открывал все русские порты английским кораблям, нагруженным колониальными произведениями, принадлежавшими Англии, если б только эти корабли явились под чужим флагом. Этот неожиданный удар уничтожил Тильзитский договор в его главных основаниях, положивший конец войне между могущественнейшими в мире державами, обещавший Европе благодеяния морского мира. С этого времени уже началось предчувствие близкой войны. Поведение России с этого времени постоянно клонилось к этому гибельному последствию». В доказательство приводились протест России по Ольденбургскому делу и постоянно продолжавшиеся с тех пор вооружения. Но Берлинский декрет вовсе не был последствием основных начал Тильзитского договора, уже потому, что он ему предшествовал. Этот декрет был *варварским* ответом, по собственному выражению Наполеона, на *варварскую* меру, принятую английским правительством исключительно против Франции и государств, находившихся под её владычеством. Англия объявила блокаду французских портов; в ответ Наполеон объявил в блокаде Великобританские острова. Обе меры, по существу, были одинаковы и различались только тем, что Англия, имея огромный флот, могла привести её в исполнение; а мера, объявленная Наполеоном, оставалась бессильною угрозою, потому что французский флот не смел показаться в открытом море, не сделавшись верною добычею Англии. При таком значении Берлинского декрета о том не было и не могло быть речи при заключении Тильзитских договоров, в которых нет и намёка на то. Точно также не было речи об этом декрете и о Миланском при свидании в Эрфурте, и не упоминалось о них в заключённом там новом договоре между Россиею и Франциею. Объявив войну Англии и потом Швеции, Россия исполнила условия Тильзитского договора; она прекратила в ущерб себе торговлю с Англиею. Но торговлю с нейтральными государствами она продолжала во всё время

---

* Подробнее о Миланском, Берлинском декретах Наполеона, а также о дипломатической предыстории Отечественной войны 1812 года см. А. Н. Попов. Отечественная война 1812 года. Т. I. Сношения России с иностранными державами перед Отечественной войной 1812 года. М., «Минувшее», 2008 *(прим. ред.)*.

от заключения этого договора. До конца 1810 года французское правительство ни разу не заявляло никаких возражений как против способа исполнения нашим правительством условий Тильзитского договора, так и против торговли с нейтральными государствами. Правительство Наполеона было не из таких, которые могли бы терпеливо и молча сносить в продолжении многих лет нарушение условий договора со стороны своего союзника. Если Россия могла подчиниться постановлениям Берлинского и Миланского декретов, то не в силу условий Тильзитского договора, но вследствие особого договора, о котором, однако же, Французское правительство не заводило и речи до конца 1810 года. Это молчание служит явным доказательством, что взгляд Тюильрийского кабинета был одинаков со взглядом России на значение этих договоров.

Но этот взгляд Французского правительства изменился в 1811 году. Наполеон, ввиду несомненных доказательств понял, наконец, что придуманная им ко вреду Англии континентальная система неисполнима на деле, при решимости Англии поощрять тайную торговлю (контрабанду), которой содействовали повсюду в Европе торговые сословия в виду личных выгод и на которую должны были смотреть сквозь пальцы все правительства, не желавшие доводить до разорения своих подданных в угоду императора Франции. Вводя безнравственные начала в международную торговлю, эта система вредила только континентальной Европе; Англии же, напротив, доставляла выгоды, подавая ей благовидный предлог распространять своё владычество на морях в ущерб всем другим государствам и поощрением тайной торговли увеличивать свои доходы. Благосостояние частных лиц и целых сословий так же, как и государств Западной Европы, не входило в соображения Наполеона; но выгоды, которые доставляло Англии созданное им положение дел, без сомнения, не могли не обратить на себя его зоркого взгляда. Военное насилие, соединённое с грабежом, в отношении к слабым и с ложью и обманом в отношении к сильным, как основное начало политики Наполеона, должно было возбудить в нём желание вырвать из рук Англии те выгоды, которые он же доставил ей, понявшей его сразу и позволившей себе действовать на основании того же начала, которым он руководился.

Таково происхождение Трианонского тарифа, дозволившего продажу колониальных товаров, но с уплатою пошлины 50 на 100, и предписавшего захватывать и жечь повсюду товары английских мануфактур. Очевидно, что это новое постановление по существу своему должно было вести к отмене Берлинского и Миланского декретов, установивших континентальную систему. Но Наполеон не хотел пока-

зать, что придуманная им континентальная система оказалась неудачною и что он принуждён от неё отказаться. Он приказал своим таможенным чиновникам не обращать строгого внимания на то, на каких бы судах ни привозились колониальные товары, лишь бы уплачена была установленная за них пошлина; но от других Европейских держав строго требовал исполнения Берлинского и Миланского декретов в одно и то же время с подчинением Трианонскому тарифу. С таким требованием он обратился в конце октября 1810 года и к Русскому правительству, предлагая принять этот тариф и в то же время запретить торговлю с нейтральными государствами. На это требование, равносильное совершенному уничтожению внешней торговли, конечно, наш кабинет отвечал отказом и вместе с тем пришёл к убеждению, «что Французское правительство для того, чтобы нанести решительный удар Англии, предположило завоевать и разрушить наперёд все государства на материке Европы». Последовавшие затем захваты Голландии, Ганзейских городов, герцогства Ольденбургского и, наконец, Шведской Померании и насильственные меры в отношении ко всем другим государствам, только убеждали Россию более и более в этом предположении.

Ложные толкования условий Тильзитского договора перемешаны в ноте французского министра иностранных дел с дерзкими упрёками России и оканчиваются смешным предложением участвовать в мирных переговорах с Англиею, начатых Наполеоном, которого все действия клонились к тому, чтобы как можно более нанести вреда этой державе.

Но если нота французского министра иностранных дел искажала смысл Тильзитского договора и значение всех последовавших за ним событий, то она же выражала весьма верно тайные мысли и намерения, которыми Наполеон постоянно руководствовался в своих действиях. С целью подчинить своей власти всю Европу, он действовал или внешним насилием и завоеваниями или нравственным влиянием, запутывая правительства сетями своей политики, постоянно угрожавшей войною всякому государству, которое бы осмелилось не подчиниться его требованиям. Заключая Тильзитский трактат, он не столько рассчитывал на выраженные в нём условия, сколько на те последствия, которые предполагал извлечь из них, в надежде на влияние, которое думал приобрести на императора Александра. Едва заключён был этот договор, как он попытался поставить нас в такие же отношения, в каких находились к нему члены Рейнского союза. Но эта попытка не удалась, как и все другие, направленные к той же цели. В ноте герцога Бассано выражена мысль, что Русское

правительство, желая вступать в мирные отношения с Франциею, упорно отказывалось дать надлежащие полномочия своему посланнику или прислать особого поверенного для вступления в переговоры и заключения мирного соглашения. На эти требования наше правительство постоянно отвечало полною готовностью приступить к этим соглашениям и заявляло, что князь Куракин облечён достаточным полномочием, чтобы открыть переговоры, выслушать и обсудить условия, которые будут предложены Франциею, и заключить договор, но не утверждать его своею властью, не снесясь с Русским правительством. Со стороны независимой державы такое требование не только естественно, но оно опиралось на все предания международных отношений; потому что в противном случае заключённый договор не был бы договором между двумя равноправными сторонами, а предписанием условий одною стороною для исполнения другой. Но к этому именно стремились все помыслы Наполеона, которым без сомнения не мог удовлетворить Русский император. Он свято охранял свободу и независимость своей империи, несмотря на то, что некоторое время находился под обаянием гениальной личности Наполеона и почитал союз с Франциею самым естественным для России.

Нашему правительству нетрудно было отвечать на ноту герцога Бассано, на основании происшествий, совершившихся с 1810 года, не прибегая к искажению их смысла и значения. В то время, к которому приурочивает Французское правительство начало враждебных к нему отношений Петербургского кабинета, во всех Европейских государствах распространилась мысль, что, после стольких переворотов и войн, наконец, может водвориться прочный мир. Венский договор водворил мир в Германии. Деятельное вмешательство России отклонило Австрию от намерения продолжать войну и убедило её заключить мир, хотя и стоивший ей многих пожертвований. Фридрихсгамский договор умиротворил Север, и Швеция присоединилась к союзу Европейских держав. Женитьба Наполеона, упрочив его отношения к Австрии, укрепляла повсюду наступивший мир и уничтожала следы войны 1809 года. Неопределённые отношения к герцогству Варшавскому вследствие господствовавших в нём волнений во всё продолжение войны с Австрией, усиленных потом значительным расширением его области после заключения Венского мира, подали повод к особым переговорам между Россиею и Франциею. Конвенция, заключённая в Петербурге на основании начал, предложенных Тюильрийским кабинетом, давала надежду, что все недоразумения в этом отношении будут навсегда устранены. Все эти обстоя-

тельства, казалось, предвещали продолжительный и прочный мир; но едва окончились переговоры с Австриею о женитьбе Наполеона, как он отказался утвердить конвенцию о поляках; едва совершился брак, как Голландия присоединена к Франции, а французские войска, находившиеся на Юге Германии, подвинуты к Северу, 60 тысяч ружей отправлены в Варшавское герцогство, большой артиллерийский парк из Майнца переведён в Магдебург. Новые перевороты предшествовали требованию Французского правительства, чтобы Россия закрыла свои порты для внешней торговли. Они сопровождались враждебными против неё признаками, которые ещё более выразились в последовавших затем событиях. Повсюду декреты, изданные Франциею против нейтральной торговли, приводились в действие с неслыханным насилием; собственность дружеских народов не различалась от имущества неприятеля, так что эта мера казалась скорее налогом, взимаемым в пользу Франции с европейских народов, нежели возмездием Англии за её распоряжения. В это время, отправляя с письмом к императору Александру полковника Чернышёва, Наполеон положительно уверял его, что он, с целью не возбудить опасения со стороны России, не призовёт на службу конскриптов за тот год. Но Чернышёв не успел ещё доехать до Петербурга, как конскрипция была объявлена, а вместе с тем и образование значительной внутренней гвардии. В то же самое время Ганзейские города и герцогство Ольденбургское присоединены к Франции без всяких предварительных объяснений о таких действиях, прямо нарушавших выгоды России.

1810-й год начался отказом утвердить конвенцию, заключённую единственно с той целью, чтобы укрепить союз с Франциею, а кончился явным нарушением договора, установившего основание этого союза. Эти события вынудили Россию позаботиться о средствах для собственной обороны. В настоящее время французское правительство выдавало их, как главную причину войны, между тем, как они вызваны постоянными захватами Франции, всё более и более приближавшими её владычество к границам России. Действия Франции, до такой степени несогласные с выраженным желанием поддерживать мир, вынуждали Россию позаботиться о своей безопасности и утверждали её в том предположении, что Французское правительство намерено вооружённою рукою ввести в действие декреты Берлинский, Миланский и Трианонский с целью не столько нанести удар Англии, сколько подчинить Россию произвольным желаниям Франции. Спрашивается, не приняв мер для обороны с того времени, в каком бы положение находилась Россия теперь, когда у её границ сосредоточено было до 400 тысяч войска?

Во всё продолжение 1811 года военные приготовления продолжались с обеих сторон, а предметом переговоров был преимущественно Ольденбургский вопрос. Но мог ли бы этот вопрос получить такое значение, если бы Французское правительство приняло первоначальное предложение Русского императора и уполномоченных герцога, если бы тогдашний французский министр иностранных дел не дошёл до забвения приличий и уважения, которые обязан был соблюдать в отношении к представителю великой державы, до такой степени, что возвратил назад и сам привёз официальную ноту князю Куракину, представленную им от имени Государя? После тщетных переговоров в продолжении трёх месяцев, этот поступок вынудил Русское правительство обнародовать заявление всем Европейским державам. Это был протест союзника против союзника, державы против державы, нарушавшей договор, которым установлен был этот союз: в 12-й статье этого договора прямо постановлено, что герцогу Ольденбургскому возвращаются в полную и неприкосновенную собственность его владения. Трудно понять, каким образом присоединение этих владений к Франции могло быть согласно с духом Тильзитского договора, если не предположить существования такого способа толкования международных обязательств, которому история не представляла примера.

Между тем во всё это время Россия свято соблюдала возложенные на неё этим договором обязательства. Доказательством могут служить 70 английских кораблей, конфискованных в русских портах в продолжении лета 1810 года. Присоединение герцогства Ольденбургского было первым нарушением Тильзитского договора, и с того времени, отказываясь восстановить порядок дел, установленный этим договором, Французское правительство освобождало и Россию от обязательств, на неё возложенных. Договор уже не существовал более, и потому она могла восстановить свои отношения к Англии и придать своей торговле те размеры, которые считала необходимыми для выгод империи. Несмотря на то, в продолжении 1811 года, Россия так же строго соблюдала его условия, как и прежде. Тариф, введённый в действие с 1-го января этого года, не противоречит ни смыслу, ни букве этого договора. Его цель состояла в том, чтобы пожертвования, на которые он обязывал Россию в отношении к торговле, согласовать с потребностями России и обеспечить возможность продолжать войну с Англиею и поддерживать союз с Франциею. Лишившись главного места для своих произведений, каким всегда была Англия, естественно для нас было, чтобы не пасть совершенно под бременем перерыва торговли с нею, одно только средство: сохранить ввоз к нам сухопутьем таких товаров, за которые мы могли уплачивать нашими

произведениями. Вследствие того наш торговый баланс принял невыгодное положение, и наш курс упал до чрезвычайных размеров. Для Русского правительства предстояло избрать одну из двух мер: или возобновить сношения с Англиею (что было бы совершенно законно после присоединения Ольденбурга к Франции и что было бы гораздо для неё выгоднее), или установить новый тариф. Но, поддерживая союз с Франциею, Русское правительство прибегло к последней мере, и в том указе, который, по выражению ноты герцога Бассано, отворил все порты Англии, содержались, напротив, весьма строгие правила в отношении к торговле с нею. 50 конфискованных кораблей в продолжении лета 1811 года могут служить объяснением, в каком духе он был составлен. Что же касается до нейтральной торговли, то она постоянно производилась в России, которая никогда не принимала и не могла принять начал Берлинского и Миланского декретов. «Вопрос о судах, называемых лишившимися народности, принадлежит к таким, которые следует решить между собою нейтральным государствам. Россия тем более не считает нужным в него вмешиваться, что постановления Англии 17 ноября отменены постановлением 26 апреля 1809 года в отношении к Балтийским портам, и поэтому американские суда, которые приходят в Россию, не подвергаются тем стеснениям, против которых направлен Миланский декрет. Что касается до обвинения России в том, что она намеревалась присоединить герцогство Варшавское, то оно ни на чём не основано, кроме простых подозрений». Но если бы даже и действительно было с её стороны такое намерение, то оно оправдывалось бы весьма естественным желанием прекратить волнения поляков, её подданных, которые возбуждались влиянием герцогства. Притом, имел ли право упрекать в этом Россию Наполеон, который только и делал, что присоединял другие государства к Франции? Но и это подозрение было неосновательно: император Александр имел более великодушные виды в отношении к полякам, которых осуществление если бы и причинило вред, то более всего самой России.

Так намеревалось отвечать Русское правительство на ноту, привезённую графом Нарбонном. В этом роде был составлен проект ответа на неё, из которого заимствована большая часть изложенных соображений. Но это намерение вскоре было изменено, и графу Нарбонну сообщён иной ответ.

Нота герцога Бассано подписана в Париже 25 апреля н. ст., и в ней между прочим замечено: «Чернышёв 10 мая возвратился в Петербург с письмом императора Наполеона, и это письмо до сих пор остаётся без ответа». Между тем ответ императора Александра на это пись-

мо был отправлен 27 марта ст. ст. с бароном Сердобиным, который вместе с тем привёз князю Куракину окончательные условия нашего кабинета, по принятии которых Французским правительством, Государь изъявлял готовность вступить с ним в мирные переговоры. Барон Сердобин приехал в Париж 12 (24) апреля; в тот же день князь Куракин сообщил на словах герцогу Бассано содержание полученных им сообщений своего правительства и просил назначить свидание с императором для вручения ему ответного письма нашего Государя. Это свидание состоялось только через три дня (15 (27) апреля), и затем уже он мог официальною нотою сообщить французскому министерству полученные им сообщения. Итак, ответ императора Александра на письмо Наполеона, посланное с Чернышёвым, получен был в Париже прежде отправления графа Нарбонна. Поэтому заявление в ноте герцога Бассано, что ответ на это письмо до сих пор не получен, было преднамеренно ложно и обличало ту уловку, к которой прибегал Наполеон, когда получались заявления, противные его властолюбию и оскорблявшие его гордость. Он просто не хотел признавать их существования. С этою целью он отсрочивал свидание с Русским посланником и как бы предупреждал Русский ультиматум, как он называл условия, предложенные нашим кабинетом для вступления в мирные переговоры. Это обстоятельство сделалось известным из донесений князя Куракина, полученных в Вильне вслед за приездом туда графа Нарбонна и естественно должно было возбудить мысль: следует ли и согласно ли с достоинством России отвечать подробными соображениями и опровержениями на ноту герцога Бассано, исполненную лжи и не оставлявшую сомнения в том, что потеряна всякая надежда предотвратить грозившую войну.

Этот вопрос и составлял предмет дум императора Александра, и он разрешил его, приказав своему канцлеру послать такой ответ герцогу Бассано.

«Граф Нарбонн вручил мне ноту, которую вы ему поручили. Я немедленно представил её Императору. Его Величество, верно следуя постоянному образу своих действий, неизменно сохраняя оборонительное положение, постоянно соблюдая умеренность, несмотря на возрастание средств, которыми он мог бы отразить притязания, несогласные с выгодами его империи и достоинством его короны, ограничивается выражением согласия с желанием, которое высказали вы в заключении вашей любопытной ноты. Он желает избегнуть всего, что могло бы внести в отношения его к Франции вредный для них характер раздражительности и вражды. Поэтому он приказал мне не представлять опровержений против тех упрёков,

которые вы выражаете и не обличать заключений выводимых большею частью или из фактов, совершенно искажённых, или из подозрений, ни на чём не основанных. Депеши, отправленные к князю Куракину с бароном Сердобиным, отчасти уже наперёд отвечали на все заявленные обвинения и представили в надлежащем виде всегда согласный с справедливостью образ действий Императора в отношении к Франции. В них заключаются также объяснения цели наших вооружений, которые, как кажется, превзошли даже ожидания самого императора Наполеона: потому что, несмотря на вызывающие движения его войск за предел, у которого они должны были остановиться, не угрожая безопасности наших границ, у нас всё остаётся в том же положении, как было при отъезде этого нарочного. Действительно, ни один наш солдат не перешёл границ Пруссии и герцогства Варшавского, и с нашей стороны не имеется никакого препятствия для поддержания мира. Напротив, последние наставления, данные князю Куракину, предоставляют ему все способы покончить наши пререкания и начать переговоры, которых желал ваш кабинет. Нам приятно было бы узнать о том, как были приняты императором Наполеоном наши предложения. Официальный ответ на них со стороны вашего правительства, который будет сообщён нам князем Куракиным, разрешит окончательно великий вопрос о войне и мире. Умеренность предложений, с которыми я обращаюсь к вам в настоящее время, может служить доказательством, что Русское правительство воспользуется всяким обстоятельством, благоприятным миру. Поэтому Его Величество с удовольствием принял известие, что с этою целью Франция вошла в сношения с Великобританским правительством и благодарит за внимательность императора Наполеона, что он сообщил ему об этом. Он всегда готов оценить те пожертвования, на которые решится этот государь для достижения всеобщего мира. По его мнению, не может быть достаточно важных пожертвований для достижения такой высокой и прекрасной цели».

Эта нота, сдержанная и учтивая, вполне соответствовавшая достоинству России как великого государства, составляет совершенную противоположность с многоречивою, заносчивою и лживою французскою нотою. Но, при всей вежливости и умеренности выражений, она весьма ясно определяла взгляд Русского правительства на значение посольства графа Нарбонна и, сводя переговоры с Франциею, сбившиеся с пути, на настоящую дорогу указанием на данные уже наставления князю Куракину, она выражала мысль, что посольству графа Нарбонна не придано дипломатического значения. «Сообщения, которые привёз граф Нарбонн, – писал император

Александр Бернадоту в это время,— представляют ряд обвинений против России, или ложных или основанных на фактах, которых значение совершенно искажено. Они оканчиваются заявлением о попытке императора Наполеона войти в сношения с Англиею. Эти бумаги и мой ответ я сообщил графу Лёвенгельму. По всем приметам кажется, что война скоро должна начаться: французские войска уже почти подошли к моим границам. Этот нарочный везёт полномочие Сухтелену заключить мир с Англиею».

Тем не менее Государь принял графа Нарбонна с свойственною ему любезностью. Спокойно, с полным знанием дела, с готовностью действовать на основании твёрдо принятых решений, он более часа разговаривал с ним и заключил разговор, указывая на разложенную карту России: «Я не обманываю себя; я знаю, какой великий полководец император Наполеон; но, видите: на моей стороне пространство и время. Нет уголка на этой земле, который не был бы вам враждебен, и куда я не мог бы отступить; нет такого отдалённого места, которое бы я оставил без защиты прежде, нежели соглашусь на постыдный мир. Я не нападаю; но я не положу оружия до тех пор, пока будет находиться хотя один неприятельский солдат в России».

При первом же свидании с императором граф Нарбонн убедился в справедливости замечания французского министра иностранных дел, который советовал ему не входить в подробные рассуждения, а ограничиваться общими местами с таким собеседником, как император Александр, державший в своих руках все дипломатические переговоры того времени и знакомый со всеми вопросами более, нежели любой министр.

Несмотря на способность свою легко и остроумно вести разговор, граф Нарбонн, после первого свидания с Государем, отзывался удивлённо: «Император выказал такое знание всех политических вопросов, с такою силою и логическою последовательностью выражал свои мнения, что я не нашёлся ничего ему отвечать, кроме нескольких общих, придворных выражений». Но кроме обширных познаний императора Александра в делах политики, на графа Нарбонна произвело ещё большее впечатление настроение его духа. Он нашёл его совершенно спокойным, вследствие окончательного решения как на войну, так и на образ военных действий. Такое же спокойствие поразило его и в лицах, окружавших Русского государя, т.е. отсутствие всякого *страха* пред роковою силой Наполеона, проникавшей всё и всех в это время. Действительно, Россия отличалась от всей континентальной Европы совершенным незнанием этого страха, как и следовало самостоятельной державе. После этого свидания и раз-

решения повидаться только с его старинным другом, графом Шуазелем, который находился в это время в Вильне (но ни с кем из поляков), граф Нарбонн понял, конечно, что его посольство не достигло цели. Несмотря на ласковое обхождение, обеды у Государя, присутствие на смотру войск, на полученный им в подарок портрет Государя, осыпанный бриллиантами, он должен был скоро оставить Вильну. Сам Государь объявил ему об его отъезде. Граф Нарбонн выехал 7 мая и повёз следующее письмо императора Александра к Наполеону:

«Государь, мой брат! Граф Нарбонн вручил мне письмо Вашего Величества. Я с удовольствием вижу из него, что Вы ещё помните о Тильзите и Эрфурте. Мои чувства и моя политика остаются неизменными, и я ничего не желаю более, как избежать войны между нами. Для достижения этой цели я жертвовал в продолжении целого года военными выгодами, которые были на моей стороне. Вот самое убедительное доказательство, которое я могу представить Вашему Величеству, что никакие обстоятельства не могли изменить моих чувств лично к Вам и что Вы всегда найдёте меня таким же, каким я был в Тильзите и Эрфурте»*.

Император Наполеон находился в это время в Дрездене. В конце апреля (9 мая н. ст.) он выехал из Сен-Клу вместе с императрицею, окружённый многочисленною военною и гражданскою свитою, и через неделю прибыл в Дрезден (16 мая н. ст.) для свидания будто бы с своим тестем, Австрийским императором и его супругою, как объясняли значение этой поездки присяжные толкователи деяний своего повелителя. Конечно, удобнее было бы ехать в Вену; но этот город был отдалён от поприща предположенных военных действий, там он был бы гостем и по необходимости должен бы уступить права хозяина, первое место, своему тестю. Он хотел предстать Германии, как её властелин, и Дрезден не без цели был избран местом довольно продолжительного пребывания. Находясь на Эльбе, почти в средоточии своих военных сил, Наполеон мог наблюдать за движением корпусов, руководить ими и скоро явиться во главе их, лишь только настало бы время, когда он предположил открыть военные действия. В Дрездене он не чувствовал себя только гостем Саксонского короля; но, прибыв к нему, как герцогу Варшавскому, считал себя как бы дома,

---

* Переписка имп. Александра I с Наполеоном перед войной 1812 (за период с 16 мая 1810 по июнь 1812, включая последнее письмо Александра I, посланное с А.Д. Балашёвым) полностью приведена (франц. текст и русский перевод) в: М.И. Богданович. История Отечественной войны 1812 года, по достоверным источникам. Т. I, СПб., 1859, с. 436–465 *(прим. ред.)*.

произвольно распоряжаясь созданным им герцогством. Проезд его через Германию был торжественным шествием: при каждой остановке, при каждом ночлеге, с Майнца и до Дрездена, его встречали государи Германии с своими министрами и следовали за ним, умножая его свиту. Отовсюду стекался народ, хотя в глубине души ненавидевший угнетателя, но под обаянием его силы и величия преклонявшийся перед ним.

На другой день по приезде Наполеона в Дрезден, приехал туда Австрийский император с супругою, эрцгерцогами и свитою, в которой находился и граф Меттерних. Позднее прибыл и Прусский король с наследным принцем и канцлером бароном Гарденбергом. Он был крайне смущён тем, что, несмотря на заключённый им союз, французы без всяких предварительных сношений заняли ещё две крепости: Шпандау, господствовавшую над Берлином, и Пиллау над Кёнигсбергом. Французские войска приходили в Пруссию как во враждебную страну, забирая у жителей провиант и фураж и оставляя за собою нищету и разорение. Утешить его надеждою будущих благ послан был граф Нарбонн; но Прусский король желал лично говорить с Наполеоном и располагал ожидать его в Потсдаме. Приехав в Дрезден, Наполеон поручил ему сказать, что Потсдам не лежит на его пути и пригласил его прибыть в Дрезден. Все венценосцы Германии, все государственные её люди окружили Французского императора, преклоняясь пред его могуществом, превознося его гений, предсказывая ему новые успехи и верную гибель России, и удивлялись, как она могла решиться предъявить ему свои требования. Слух о последних предложениях России уже распространился при Германских дворах и даже, чрез Швецию, конечно, достиг до Англии и появился в её газетах. Упоённый могуществом, поощряемый местью, Наполеон всё более и более раздражался против России, не дозволявшей добровольно приковать себя к его победной колеснице. Это раздражение усилила последняя нота князя Куракина к герцогу Бассано, полученная им в Дрездене, в которой тот заявлял, что выехал из Парижа и настоятельно требовал своих паспортов, чтобы совершенно оставить Францию. Ещё не дождавшись приезда графа Нарбонна, Наполеон поручил Бассано написать графу Лористону, чтобы он немедленно потребовал паспортов от графа Салтыкова, управлявшего в отсутствие канцлера министерством иностранных дел, для проезда в Вильну, сказав, что имеет такие важные и нетерпящие отлагательства сообщения, которые может передать только одному канцлеру. Ему посланы были списки с нот князя Куракина; он должен был говорить, что Наполеон удивлён таким неожиданным поступком нашего посланника, против-

ным миролюбивым заявлениям императора Александра, и ещё более предложенным им условием очистить Пруссию, которое устраняло всякую возможность переговоров: «условие, подобного которому Его Величество никогда не предлагал даже после самых решительных побед. При том, заботою о независимости Пруссии нарушают именно эту независимость, требуя нарушения заключённого ею договора, на основании права, принадлежащего каждому государю». Лористону поручалось сказать, что Наполеон предполагает, что наш посланник превысил свои полномочия, обращаясь к его правительству с такими предложениями. Если же он действовал согласно с желаниями своего кабинета, то он принуждён будет лишиться всякой надежды мирными переговорами разрешить недоразумения, возникшие между двумя империями. Но ему, однако же, предписывалось не доводить дела до окончательного разрыва и оставить ещё надежду на возможность переговоров.

Чем ближе стягивались войска Наполеона к русским границам, тем более он старался усыпить Россию, отсрочить окончательные распоряжения со стороны нашего правительства на случай предстоявшей войны, напасть внезапно. В тот же день, когда было отправлено это письмо к графу Лористону, Наполеон отвечал на донесение герцога Бассано, что он исполнил его приказание: «Теперь Русские могут делать, что хотят. Никогда не был так верен успех войны, начинаемой против них. Все вероятности в мою пользу не потому только, что я двигаю громадные войска, собранные во Франции, Италии, Рейнском союзе и Польше; но ещё потому, что две Германские державы, которые всегда действовали против меня, в качестве союзниц России, Австрия и Пруссия, теперь помогают мне с такою готовностью, как бы мои старые друзья. Я могу даже рассчитывать на Турцию и Швецию. Турки вероятно возобновили теперь военные действия против русских; Бернадот колеблется, правда, но он француз и вспомнит об этом при первом пушечном выстреле. Он не упустит такого удобного случая для Швеции отмстить за поражения Карла XII. Никогда не могут представиться такие благоприятные обстоятельства... Я чувствую, что они меня увлекают, а император Александр отказывается принять мои предложения! Я перейду Неман».

Через неделю после отправления этого письма к графу Лористону, приехал в Дрезден из Вильны и граф Нарбонн (28 мая н. ст.). Представив письма нашего Государя и графа Румянцева, он подробно передал свой разговор с Государем и всё, что видел и слышал в Вильне. Слушая его, Наполеон большими шагами ходил по комнате. Когда он окончил, последовало долгое молчание. «Итак,— наконец

сказал Наполеон, — нет средств достигнуть соглашения! Направление Русского кабинета ведёт его к войне. Вы мне привезли только подтверждение тех предложений, которые были сделаны Куракиным; это последние условия России. Мне то же говорили и собравшиеся здесь государи. Каждый из них получил извещения. Всем известно, что от нас требуют, чтобы мы ушли за Рейн; Русские этим хвастаются, и эта гласность их требования делает их до последней степени оскорбительными. Нечего более терять времени в бесплодных переговорах». Впечатление, которое произвёл на графа Нарбонна император Александр и вообще положение русских, было неожиданно для Наполеона. Способ защиты обдуман и определён: русские будут избегать больших сражений и стараться всеми силами как можно более протянуть войну, и государь их не заключит мира, пока неприятельские войска будут находиться в пределах его империи. «Посмотрим, выдержит ли эта твёрдость те испытания, которым подвергнут его происшествия, — заметил Наполеон. — Внимая советам Англии, они хотят войны; я буду воевать».

На другой день Наполеон выехал из Дрездена и, приехав в Торн (2 июня н. ст.), объявил маршалам и вице-королю Итальянскому: «Наши военные действия начинаются, переход через Вислу обличил мои намерения; теперь я потребую от вас и ваших войск усиленных переходов». Сделав все распоряжения о движении корпусов к Неману и не дожидаясь ответа от графа Лористона, по приезде в Кёнигсберг, он поручил герцогу Бассано написать ему, чтобы он потребовал своих паспортов и оставил Россию. «Настоятельное требование князем Куракиным своих паспортов, — писал Бассано, — показалось императору поступком важным и решительным при настоящих обстоятельствах, до такой степени несогласным с постоянными миролюбивыми заявлениями самого посланника, что он с трудом мог предполагать, чтобы он так действовал по своему усмотрению. Потом нам сделалось известным, что Русское правительство известило разные кабинеты о своём предложении его величеству очистить Пруссию, как о необходимом предварительном условии всяких переговоров».

Едва ли нужно говорить, что предложению России придавалось совершенно неправильное значение. Никогда наше правительство не думало требовать, чтобы предварительно Наполеон вывел войска из Пруссии и очистил её крепости, и что после этого только оно готово начать переговоры. Напротив, оно изъявляло согласие заключить договор, но такой, непосредственным последствием которого было бы очищение Пруссии от французских войск и её крепостей по мере уплаты контрибуции, на основании договора, заключённого

между Франциею и Пруссиею в 1808 году (17 сентября). Предваряя наперёд об этом Французское правительство и желая знать его мнение, Государь выражал мысль, что договор, который не повлёк бы за собою такого последствия, он считает недостаточным для упрочения мира в Европе и, следовательно, всякие переговоры о том бесполезными. «Узнав, что предложение сделанное Россиею Франции уже огласилось, – продолжает герцог Бассано, – нельзя было сомневаться, что князь Куракин действовал согласно с полученными им наставлениями, представив ноту 30 апреля и требуя своих паспортов. Требования, предъявленные князем Куракиным, были поводом к тому, что его величество выехал из Парижа; гласность, приданная требованию России, принудила его оставить Дрезден и приблизиться к своим войскам. До последнего времени он ещё верил возможности открыть переговоры; но такая надежда должна была исчезнуть, когда он убедился, что представляемые ему требования не согласны с его честью. После Аустерлица, когда русские войска были разбиты и личность самого императора Александра подвергалась опасности, в Тильзите, когда он напрягал все средства империи и не мог продолжать войны, его величество не делал никаких предложений, которые могли бы оскорбить его честь. Теперь уже не подлежит сомнению, что Русское правительство решилось воевать, и потому вы не должны долее оставаться в Петербурге».

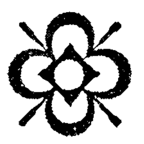
Прежде, нежели эта переписка с графом Лористоном сделалась известна нашему кабинету, император Александр знал уже о настоятельных требованиях паспортов князем Куракиным из его донесений, полученных в Вильне в одно время с последними отношениями его к канцлеру. Подробно объяснив образ действий Французского правительства в отношении к нему, князь Куракин писал Государю: «При обстоятельствах такой важности, доведённых до такой крайности как настоящая, подобные отсрочки отвечать мне на предложения, клонящиеся к поддержанию мира, наконец, убедили меня в том, что император Наполеон решился начать войну. При этой уверенности, подкреплённой известием об отъезде императора Наполеона на другой день в Германию, я счёл нужным говорить языком, соответствующим несомнительному положению, в какое Франция поставила себя в отношении к нам и определённо выразить, что в таком случае я буду считать моё пребывание в качестве посланника излишним. Я послал министру иностранных дел ноту, в которой повторял просьбу сообщить мне какой бы то ни было ответ на мои предложения, чтобы я мог дать отчёт об исполнении возложенного на меня поручения; я предварял его, что если в совещаниях, сегодня

назначенных, я не получу от него ответа о том, что предложенные мною условия приняты, то это молчание сочту за отказ их принять и за решение начать войну и в таком случае сочту себя вынужденным потребовать паспортов. Вот уже более 24 часов прошло, как я послал эту ноту, и она не только не произвела никакого действия, но герцог Бассано прислал мне сказать, что не может меня принять, потому что должен ехать в Сен-Клу. Это обстоятельство, которого, конечно, я не ожидал, подкрепило моё убеждение, что решились начать войну и хотят протянуть время».

Умышленное замедление со стороны французского министерства в выдаче паспорта для нарочного, которого намеревался отправить в Россию наш посланник, было причиною, что это донесение князя Куракина было им отправлено вслед с другим, написанным три дня после него. В этом последнем князь уведомлял об отъезде герцога Бассано, который накануне ещё уверял, что время его отъезда не определено и уведомлял о том запискою, которую князь Куракин получил уже после его отъезда. «После этого, — писал он Государю, — я счёл необходимым ещё с большей настойчивостью потребовать моих паспортов, и с этою целью написал ему письмо, которое и отправил в Дрезден. Я не считаю себя уже посланником, а частным человеком. Я поселюсь в деревне, где мне будет приличнее оставаться чем-то в роде пленного, в заточении, в какое меня поставили, и я прошу Ваше Величество вызвать меня, употребив тот же образ действий против графа Лористона, какой здесь употреблён в отношении ко мне. Между тем, предполагая, что война уже началась, конечно, Ваше Величество не сомневаетесь, что я приношу тёплые молитвы Всевышнему, испрашивая благословения вашему оружию, да будет оно так же счастливо, как справедливо дело, которое вы защищаете. Эта надежда служит мне некоторою поддержкою в том тревожном состоянии, в котором я нахожусь, сознавая всю важность угрожающих России опасностей. Я надеюсь, что не услышу о действительном поражении наших войск; но если бы и случилось это несчастье, я питаю твёрдое убеждение, что Ваше Величество, укрепившись неизменным могуществом, сильные любовью к вам вашего народа и бесконечными средствами, которые вам может доставить ваша империя, никогда не отчаетесь в успехе и не положите оружия до тех пор, пока не выйдете с честью из борьбы, которая увенчает славу вашего царствования, сохраните целость вашего государства и независимость России. Невозможно и предполагать, чтобы при такой грозной опасности для отечества русские оказали бы менее самопожертвования и твёрдости, нежели испанцы против их врагов».

Наш посланник иначе и поступить не мог. Образ его действий вызван был неприличным поведением в отношении к нему Французского правительства и соответствовал достоинству России, как самостоятельной и независимой державы, которой он был представителем при Наполеоне. Русское правительство не могло его не одобрить; но император Александр избегал всякого обстоятельства, которое могло бы послужить поводом его противнику придираться и утверждать, что не он, а Русское правительство вызвало войну. В этом смысле он поручил канцлеру отвечать на донесения князя Куракина. «Из ваших донесений Государь с величайшим удовольствием усмотрел то усердие, с которым вы исполняли возложенные на вас поручения и готов бы одобрить все ваши действия, если бы вы так настойчиво и несколько раз не требовали выдачи вам ваших паспортов, не только для вас лично, но для всего посольства и даже причта посольской церкви, не имея на то особого предписания. Его Величество, твёрдо следуя правилу не вызывать войны, но избегать всего, что могло бы подать малейшее подозрение, что он способствовал ускорить её гибельные последствия для Европы, и без того угнетённой, желал бы, чтобы вы лучше воспользовались тем простым способом, к которому и прибегли, т. е. уехали бы из Парижа, не требуя настоятельно паспортов как для вас, так и для всего посольства. Этого было бы достаточно, чтобы избавить вас, как посланника, от неприятностей быть в столице свидетелем явно враждебных приготовлений против вашего Государя».

Очевидно, эти соображения показывали, что Русское правительство хорошо понимало своего противника, способного придраться ко всякому обстоятельству. Требование посланником своих паспортов по собственному усмотрению, без уполномочия от своего государя, (о чём прямо заявлял князь Куракин) могло бы повлечь за собою смену этого посланника, а никак не войну с тем государем, которого он был представителем. Но тем не менее Наполеон выставил именно этот поступок нашего посланника, рядом с предложенными ему условиями для мирных переговоров, придав им ложное значение, как причину, вынудившую его на войну.



Глава 5

Барон Штейн в России. – Его предложения по борьбе с Наполеоном. – Особый комитет по делам Германии. – Воззвание к немцам.

Иностранцы принимали также участие в происшествиях этого времени. Те, которые были посмелее или опасались гонений Наполеона, давно уже искали убежища в России. Их наплыв особенно усилился в то время, когда император Александр приехал в Главную квартиру, в Вильну. Но из всех приехавших туда иностранцев, без сомнения, самым значительным лицом был знаменитый барон Штейн, бывший министр Прусского короля. Не одна ненависть к нему Наполеона, считавшего его своим личным врагом, как доказывают и его отзывы о нём генералу Балашёву, придали ему известность, но и его дарования, как государственного человека, и заслуги, оказанные им своему отечеству. Но Германия поняла и оценила его достоинства и заслуги гораздо позднее, нежели Русский император. Ещё перед заключением Тильзитского мира, он изъявил желание вступить в русскую службу и получил согласие со стороны Императора; но после этого мира и удаления от дел, по настоянию Наполеона, барона Гарденберга, он сделался главным сотрудником короля в управлении государством, обрезанным со всех сторон в своих владениях, обременённым громадною военною контрибуциею, не только с крепостями, занятыми французскими гарнизонами, но и со столицею, находившеюся в их власти. При таком, по-видимому, безвыходном положении, он нашёл возможность положить прочные начала будущему возрождению и развитию Пруссии. Но его преобразования создали ему врагов.

Кто же были его враги? Германские историки обыкновенно говорят, что [он] был жертвою ненависти к нему Наполеона, и как бы нехотя и мимоходом указывают как на враждебную ему французскую партию в Пруссии. Но кто же составляли эту партию? Все высшие и влиятельные сословия государства. Они говорили, что он может быть «хорошим министром народа, но не короля», за исключением весьма немногих лиц, разделявших взгляды Штейна и связанных с ним дружбою и которых эти историки не насчитывают и до десяти человек. Конечно, образ его мыслей не мог быть приятен Наполеону, но он и не мог бы его знать. После заключения Тильзитского мира,

требуя смены Гарденберга, он сам указывал на Штейна, как на человека, который с успехом мог исполнить его обязанности, и до Эрфуртского свидания с императором Александром не выражал никаких жалоб на Штейна.

Перед самым этим свиданием появилось в «Газете французской империи» («Journal de l'Empire») перехваченное французскими властями в Берлине его письмо к графу Витгенштейну, наделавшее столько шуму в то время. В этом письме, выражая сочувствие к народному восстанию в Испании, возлагая большие на него надежды, он говорил, что раздражение против французов в Германии усиливается и что надо его поддерживать ввиду неизбежной войны Франции с Австриею, от которой будет зависеть судьба Европы и, стало быть, Пруссии вместе с нею. Обнародовав это письмо, «Газета французской империи» присовокупила заметку, в которой пояснила, что подобные документы бывают поводом разрушения государств, что выраженные в ней взгляды обличают взгляды прусского министерства, которым руководит барон Штейн, и скорбела о том, что прусский король терпит «такого неспособного и неблагонамеренного министра». Все поняли, конечно, что обнародование в правительственной «Газете французской империи» письма барона Штейна могло совершиться не иначе, как по распоряжению её императора, а люди внимательные не могли не догадаться — перу какого сочинителя принадлежит сопровождавшая его заметка.

Этого одного обстоятельства достаточно уже было, чтобы усилить тот страх, который составлял одну из существенных сил, руководивших политическою жизнью Германии в это время.

Барон Штейн получил этот листок газеты в тот день (9/21 сентября), когда должен был выехать из Кёнигсберга в Эрфурт для переговоров с Французским правительством, опираясь на заступничество за Пруссию, принятое на себя Русским императором. Вместо поездки в Эрфурт, Штейн явился к королю с просьбою об отставке. Король не принял отставки до тех пор, пока не объяснится дело по возвращении из Эрфурта Русского императора, но для переговоров с Франциею отправил туда графа Гольца из членов так называемой французской партии. Возвращаясь в Россию, Император несколько времени провёл в Кёнигсберге и, несмотря на то, что постоянно говорил в смысле сохранения мирных отношений к Франции, принял любезно Штейна, советовал ему оставить управление делами внешней политики, на чём единственно и настаивал, по его мнению, Наполеон, но продолжать руководство внутренним управлением Пруссии. Но сообщения графа Гольца были совершенно иного свойства, он

считал необходимым совершенное удаление от дел барона Штейна, и его мнение поддерживали большая часть лиц, окружавших короля.

После некоторых колебаний король уступил давлению большинства, Штейн не только был принуждён оставить должность министра, но и самую Пруссию, и почти как изгнанник проживал в Праге, постоянно опасаясь преследований Наполеона.

В таком положении он находился до начала 1812 года, когда получил от императора Александра следующее письмо:

«Моё уважение к вам не изменилось вследствие происшествий, удаливших вас от дел. Вы его приобрели силою вашего характера и замечательными дарованиями. Решительные обстоятельства настоящего времени должны соединить всех людей благомыслящих, друзей человечества и либеральных идей. Дело идёт о спасении их от варварства и рабства, готовых их поглотить. Наполеон намеревается довершить порабощение Европы и, чтобы достигнуть этой цели, ему необходимо победить Россию. Давно уже она приготовляется к отпору и постепенно собраны сильные средства. Для всех друзей добродетели и вообще лиц, воодушевлённых чувствами независимости и любовью к человечеству, важен успех в этой борьбе, вы, барон, который занимаете такое видное место между ними, вы не можете питать других чувств, как содействовать усилиям Севера восторжествовать над алчным деспотизмом Наполеона. Я настоятельно приглашаю вас сообщить мне или письменно чрез верные руки, или словесно, приехав ко мне в Вильну. Граф Ливен даст вам для этого паспорт. Ваше присутствие в Богемии, конечно, могло бы иметь свою выгоду, ибо вы находились бы, так сказать, в тылу французской армии. Но слабость Австрии, которая, по всей вероятности, заставит её стать под знамёна Франции, может поставить вас в небезопасное положение, а особенно вашу переписку. Я приглашаю вас обдумать важность всех этих обстоятельств и избрать тот способ действий, который бы наиболее был полезен великому делу, для которого мы оба трудимся. Мне не нужно вам говорить, что в России вы будете приняты с распростёртыми объятиями. Моё истинное к вам расположение может служить в этом ручательством»[1].

По получении этого письма и паспорта на проезд от нашего посланника при Берлинском дворе Штейн немедленно известил Императора, что готов воспользоваться его приглашением, выехал из Праги и приехал в Вильну к началу июня месяца. Познакомившись с положением дел, убедивших его в том, что война неизбежна, он представил Императору 6 (18) июня записку, в которой предлагал средства воспользоваться *силами Германии в пользу России.* «В настоя-

щее время, – писал он, – эти силы находятся в распоряжении Наполеона, но следует изыскать средства, чтобы отвлечь их от него и против него направить, возбудив общественное мнение так, чтобы оно могло открыто выражаться против него. Всё народонаселение Германии недовольно настоящим положением дел и тем, кто его создал. Оно видит, что его независимость, жизнь и имущество приносятся в жертву выгодам государей, которые предают его для того только, чтобы на время уберечь своё существование. Оно угнетено чужеземными ордами, встревожено и оскорблено, его принуждают воевать с народами, которые должны быть или естественными его союзниками, или против которых он не питает никакой вражды; все учреждения, все древние обычаи уничтожены и не осталось и следов того благоденствия, в котором находился этот народ двадцать лет тому назад, дворянство лишилось своих преимуществ и блестящих мест, подверглось конскрипции, строжайшей, нежели во Франции; земледельцы обременены налогами и постоем войск; всякая торговля уничтожена или производится тайно запрещёнными товарами, фабричные города упали вследствие континентальной системы, разорвавшей вековые связи с Америкою. До сих пор смотрели на эту страну как на могущественный двигатель общественного развития, которое умножает благосостояние народов своими торговыми оборотами, и ослеплённое честолюбие одного человека, поощряемое малодушием государей, которых он угнетает, разрушает эти связи, повергает в бедность Европу и ведёт её к варварству. От этого насильственного положения дел по преимуществу страдает Германия. Её промышленные произведения главный сбыт имели в Америке, и теперь иссяк источник народного богатства. Беспокойная, подозрительная тирания полиции подавляет общественное мнение. Литература, переписка, преподавание – всё подвергнуто её давлению. Разорвано всякое общественное доверие, все связи дружбы, и в этой обширной стране можно встретить только или несчастных, потрясающих свои оковы, или презренных людей, которые ими гордятся».

В приведённых словах с полною откровенностью, которая наиболее делает чести тому Государю, для которого они были написаны, барон Штейн выразил свой взгляд на современное положение Германии. Он не возлагал никаких надежд ни на государей Германии, ни на приверженцев Франции, к которым принадлежали почти все влиятельные сословия. Но он верил в силы германского народа. Вся его политическая деятельность состояла в том, чтобы избавить его от тех оков, в которых держало его государственное устройство Германии, и от иноземного ига. Успех тех мер, которые были предприня-

ты им в Пруссии в его хотя и недолговременное управление её делами, и пример Испании, могущественно действовавший на всю Европу, укрепляли в нём веру в народные силы. Но какими же способами он думал пробудить эти силы, чтобы воспользоваться ими в пользу России?

«В народе, охотно читающем, как немцы, где писатели составляют некоторого рода силу и действуют на общественное мнение», он прежде всего считал нужным распространить сочинения, направленные против Наполеона. С этою целью он предлагал перепечатать вторую часть сочинений Арндта «Дух времени» и перевести на немецкий язык сочинение Фабра «О внутреннем состоянии Франции», распространить их в Германии и поощрять наградами и орденами известных немецких писателей, как Шлейермахера в Берлине, Стефенса и Бредова в Бреславле, Герена в Геттингене и Людера в Иене. Арндта он предлагал вызвать в Россию, чтобы поручить ему составление статей и известий.

«Лишь только начнутся военные действия,— писал Штейн,— Германия, без сомнения, будет наводнена ложными и хвастливыми известиями и воззваниями; необходимо, чтобы противодействовать их влиянию, тайно издавать в Германии особую газету». Барон Штейн подготовил средства для исполнения на деле своего предположения. Книги Арндта и Фабра он предлагал перепечатать в Швеции, перевезти чрез Россию к границам Галиции и, пользуясь путями тайной торговли, доставить их в Прагу — к Грунеру. Грунер был почитателем Штейна и ненавистником французов и занимал место начальника полиции в Берлине. После удаления Штейна, он оставил службу и Пруссию и удалился в Прагу. У него были подготовлены способы для распространения этих книг по Германии и типографские средства для издания газеты. Конечно, ему нужно было оказать денежное пособие.

В то время, когда это первое предложение будет приводиться в действие и окажет влияние на общественное мнение, «будет возможно,— говорит Штейн,— обратить внимание на то, чтобы затруднять все предприятия неприятеля». Одно из самых действительных в этом случае средств, ему казалось, состояло в том, чтобы по дорогам ловить французских курьеров, которые или из Главной квартиры перевозили известия в Париж, или поддерживали сообщения между различными отрядами войск. С этою целью он предполагал составить вооружённые отряды от 12 до 15 человек каждый, которые, рассыпаясь, переходили бы скрытными путями, подстерегая этих курьеров на дорогах Германии, и сосредоточивались бы в лесах или

вообще удобных местах, чтобы их перехватывать. Барон Штейн считал возможным образовать в Германии своего рода гверильясов, хотя в ограниченном размере и с частною целью, и надеялся, что ненависть к французам достигла таких размеров, что может победить тот страх, который обуял Германию. Он предлагал даже действовать на иностранные войска, находившиеся в армии Наполеона, особенно на кроатов*, тирольцев и иллирийцев. «В эти войска можно подослать для переговоров их же соотечественников, — писал он. — На немцев можно действовать чрез немецких же преданных офицеров, на тирольцев чрез их вождей, которые находятся теперь в Вене, например, чрез Спекбахера, сходного с храбрым Гофером, на кроатов чрез греческих и сербских монахов. Посредством воззваний можно их возбудить к тому, чтобы они оставляли войска Наполеона и стекались под знамёна Вашего Величества, чтобы освободить их от позорного рабства, в каком они находятся. Им можно обещать: 1) что из них будут составлены отдельные отряды, под начальством офицеров из единоплеменников и 2) при счастливом исходе войны обеспечить им возвращение на родину; в противном же случае сделать из них с особым управлением военные поселения по образцу казаков или австрийских граничар». Начальниками этих отрядов он предполагал назначить таких лиц, которых имена были бы известны и уважаемы в Германии, как герцогов Ольденбургского, Брауншвейгского, которые в это время предлагали свои услуги, и офицеров тоже известных, как полковник Гнейзенау, Шазо и т. п.; сборными местами для перебежчиков назначить ближайшие города к поприщу военных действий, как Киев и Рига, и учредить особый комитет для заведования устройством этих войск.

Подобные предположения совершенно не соответствовали личным качествам Императора и без сомнения в иное время были бы им отвергнуты. Опровергать явную ложь и клеветы Наполеоновской печати, вступать в пререкания с нею и подговаривать к перебегам воинов из-под его знамён он счёл бы недостойным себя, как лично, так и в качестве государя великой державы. Но в его характере была и другая черта: способность уступать обстоятельствам и требованиям, которые он считал выражением общего мнения, не отказываясь от своих взглядов и убеждений в глубине души, отсрочивать их исполнение и до поры до времени следовать по пути, не согласному с ними. Это свойство иные из его современников приписывали неуверенности в самом себе, другие — слабости характера и изменчивости взгля-

---

* Хорватов *(прим. ред.)*.

дов; но едва ли они были правы и верно угадывали действительную причину такого образа действий. С самого восшествия на престол император Александр постоянно испытывал, что его взгляды на внутреннюю политику государства были совершенно не согласны с значительным, преобладающим большинством русских образованных и власть имеющих людей, т.е. дворянства. Со времён Тильзитского договора ещё явнее ему выказалось их несогласие с внешнею политикою Петербургского кабинета, основанного на союзе и дружбе с Наполеоном. Но это мнение большинства, основанное на относительной, конечно, образованности и безусловном значении крепостного права, опиралось на Россию, в нём была *сила*, уступать которой требовала историческая необходимость. Но эта сила, гордая и самоуверенная, не подкрепила бы своим согласием предложений германского государственного человека: по гордости она также не сочла бы нужным входить в споры с Наполеоновской печатью; по самоуверенности она отвергла бы всякую чуждую помощь – и притом в таких ничтожных размерах и таким недостойным способам приобретённой. Но к этой силе прибегли – на помощь в это время, общее мнение всех тех иностранцев, которые отовсюду стеклись в Россию не столько водимые желанием служить ей, сколько ненавистью к Наполеону. Против врага, не пренебрегающего никакими средствами, должно действовать его же оружием. Не употреблял ли он все способы, чтобы возмутить против России её подданных польского происхождения, не грозит ли восстановить крепостных крестьян против помещиков, не обнародует ли множество клевет и ложных известий? – говорили они, – выставляя притом иностранные войска, находившиеся в армии Наполеона, как жертву насилия, увлечённую им против их желания. Доставить им возможность оставить ненавистные им знамёна, – значило бы освободить их от ига.

Император, выражая графу Огинскому в Вильне желание издавать при Главной квартире газету, для того чтобы противодействовать ложным известиям, распускаемым эмиссарами Наполеона, говорил ему, что никогда не любил прибегать к подобным средствам, считая их унизительными для себя (qu'il regardait comme bien au dessous de lui); но понял, что это необходимо, потому что Наполеон слишком пользуется такими средствами[2].

Получив записку барона Штейна, Император немедленно* отвечал ему: «Я прочёл вашу записку с большим вниманием и узнаю в ней тот гений, которым вы всегда отличались. Доброе наше дело

* В тот же день, 6 (18) июня 1812 года *(прим. ред. Русской Старины).*

выиграло чрезвычайно много, приобретя вас в число сотрудников. В настоящее время, как вы справедливо заметили, необходимо привести в исполнение те меры, которые вы предлагаете в вашей записке. Вы окажете мне большую услугу, если немедленно этим займётесь, а я, с своей стороны, готов оказать вам всякое от меня зависимое пособие. При первом нашем свидании мы переговорим о нужнейших мерах».

Существенная мысль, выраженная в записке графа Штейна, заключалась в том, чтобы образовать особые немецкие полки, которые, состоя под нашими знамёнами, действовали бы совокупно с нашими войсками против Наполеона. Эта мысль была давно известна Императору, и записка барона Штейна быть может подтвердила возможность привести её в исполнение, в чём вероятно он сомневался прежде или считал такое предприятие или невозможным по его сущности, или несвоевременным по политическим отношениям к Франции.

При том положении, в котором находилась в это время Германия, в ней было много военных лиц, остававшихся, так сказать, без употребления. Эти праздные силы образовались вследствие таких причин: во-первых, все те, которые, по личным убеждениям, согласны с убеждениями барона Штейна, не хотели служить в войсках Германских государств, преданных Франции, и потому вынуждены были оставить службу отечеству и разойтись по тем странам, где, как в Испании, дрались против Наполеона, или где не признавали его господства, как в Англии, России и отчасти Швеции. Но таких лиц не могло быть много, им нужно было иметь достаточные собственные средства для своего существования. Во-вторых, все те, которые были уволены из службы Пруссии и Австрии за неимением мест, когда сокращено было число войск этих государств по воле Наполеона. В-третьих, наконец, образование Рейнского союза и Вестфальского королевства имело большое влияние на военную службу немецких дворян. До того времени, как они, так особенно меньшие их сыновья, естественно, стремились в военную службу великих германских держав, Пруссии и Австрии; но в 1809 году Наполеон потребовал, чтобы все уроженцы Рейнского союза были уволены от службы в Австрии и Пруссии.

Эти праздные силы искали употребления и нуждались в деятельности. Двое из русских молодых чиновников, дипломаты граф Нессельроде и флигель-адъютант Чернышёв, были знакомы со многими из них и, находясь за границею, знали враждебное настроение населений Западной Европы к Наполеону. Им пришло на ум воспользоваться этими праздными силами в пользу России. Они, в начале 1811 года, написали соображения о составлении из них кадров для немецких полков в составе русской армии, сообщили их Вальмодену в Вену, и когда

барон Теттенборн привёз им в Париж эти соображения с одобрением Вальмодена, они решились представить их в виде особой записки на усмотрение Русского императора, как совокупный их обоих труд. Бедствия, которые пали на Германию,— говорят они в этой записке,— с начала Французской революции, возбудили в ней всеобщую ненависть к французам. В войне 1809 года Австрия возлагала большую надежду на эту ненависть, которую она ловко поддерживала и возбуждала; но последствия не оправдали её ожиданий, потому что в этом отношении не было единства в действии. Пруссия не только не действовала, но противодействовала, а одной Австрии не доверяли. После Венского мира недовольство в Германии усилилось и особенно в Северной. Немцы раздражены против насилий Франции, но они никогда не восстанут, как испанцы. Они будут думать и обдумывать и упустят удобное время; их надо подвинуть на народный подвиг.

Для достижения этой цели Чернышёв и граф Нессельроде предлагали составить особый корпус войск из немцев, с немецкими офицерами и под начальством какого-нибудь известного в Германии военачальника. Они указывали в этом случае на Вальмодена, который с своей стороны вызывался доставить сколько угодно офицеров, а Теттенборн — артиллеристов для 36 орудий. Вальмоден брался даже составить этот корпус в Австрии, когда начнётся война. Но с этим мнением не согласились составители записки потому, во-первых, что были уверены в том, что Австрия не в союзе с нами будет действовать, не против французов, а, напротив, в союзе с ними против нас, и во-вторых, потому, что, по их мнению, этот корпус тогда только может принести пользу, когда до открытия войны уже будут готовы кадры для 3 полков пехоты, 2 кавалерии и 3 рот артиллерии. «Ваше Величество,— писали они Государю,— можете немедленно приступить к осуществлению этой меры под предлогом, что желаете соединить в особые полки ваших лифляндских, курляндских и финляндских подданных, которым незнание русского языка часто служит препятствием к ревностной службе в русских войсках».

Эта записка была доставлена Императору в июне 1811 года; а на словах Чернышёв выражал ему эту мысль ещё в начале этого года. Но она не была приведена в исполнение и быть может послужила только поводом к тому, что в это время широко были растворены двери русской военной службы для иностранцев. Отправляя эту записку на имя Императора, Чернышёв в то же время писал графу Румянцеву:

«Я позволил себе, чрез посредство вашего сиятельства отправить Государю записку о предмете полезном и важном для службы

Его Величества. Без сомнения, Император сообщит её вам, и потому испрашиваю вашей защиты и покровительства. Чтобы воспользоваться временем мира, который не может быть продолжителен, необходимо увеличивать наши средства обороны. С этою целью я предлагаю устроить у нас корпус немецких войск, не давая им в то же время повода к жалобам на нас со стороны Французского правительства. Этот рассадник, приготовленный заранее, может впоследствии послужить для важных политических и военных целей. Предложение услуг со стороны многих известных офицеров германского народа даёт возможность привести в исполнение эту меру и поставить во главе этих войск лиц, пользующихся известностью в Германии, способных возбудить доверие и вызвать воодушевление, а это может служить ручательством за успех. Для нас тем более необходимо, не теряя времени, воспользоваться этими средствами, что грозная туча, которая собирается над нами, не разразилась до сих пор потому только, что это не соответствует видам Наполеона; но, тем не менее, опасность существует, и грозная туча разразится в непродолжительном времени. Чтобы уменьшить по возможности эту опасность, следует воспользоваться тем временем затишья, которым мы пользуемся по милости плохого оборота французских дел в Испании, увеличим свои силы и вообще все приготовления к войне, от которых единственно будет зависеть наше существование».

Ободрённый отзывом Императора и, может быть, после свидания с ним, через два дня барон Штейн представил новую записку[3], в которой указывал на способы привести в исполнение предложенные им меры. Он предлагал избрать нескольких лиц и поручить им главное управление всеми способами действий на Германию; снабдить тайными наставлениями и деньгами Грунера и уполномочить выбрать надёжных людей и разослать их в разные местности для образования вооружённых шаек. «Грунер,— писал он,— может располагать многими людьми, которые только ожидают подобной деятельности и которые составят эти шайки из недовольных прусских, гессенских и ганноверских солдат». Он должен выйти с производителями тайной торговли на богемской границе, чтобы распространить различные издания, направленные против французов, в Германии, и приготовить все средства для печатных известий о военных действиях, которых содержание будет ему сообщаемо отсюда. Чрез него же он советовал послать паспорт для Арндта, с которым бы он, под видом купца, мог проехать в Россию. Министру народного просвещения он предлагал дать поручение разослать награды тем писателям, которых он перечислил в первой записке. Развивая далее своё предложение,

он советовал присоединить к ним и таких, которые, «отличаясь учёными достоинствами, совершенно равнодушны к политическому положению Германии, как знаменитый филолог Вольф в Берлине, Гёте, Виланд, — даже можно наградить известного пражского учёного математика Герстнера». Что касается до призыва перебежчиков, то кроме назначения для них особых начальников и сборных мест барон Штейн предлагал составить воззвание к ним и распустить его в иностранных войсках Наполеона. «Это воззвание, — писал он Государю, — должно быть написано с достоинством, просто, и в нём ясно выразить, что Его Величество намерен освободить Германию от ига».

В первой записке он указывал, что и между французскими генералами есть много недовольных Наполеоном, в этой он предлагал уже «через графа Лёвенгельма просить наследного Шведского принца, чтобы он указал на средства, которыми возможно воспользоваться для привлечения их на свою сторону».

Доверяя способностям барона Штейна и его опытности в делах внутренней и внешней политики Германии, Император согласился с его предложениями, учредил особый комитет по делам Германии и поручил ему составить воззвание к немцам, служившим под знамёнами Наполеона. Комитет должен был состоять под председательством герцога Ольденбургского; но за его отсутствием временное председательство поручено было его сыну, принцу Георгу, супругу великой княгини Екатерины Павловны. Членами этого комитета были: барон Штейн, граф Ливен, бывший наш посол при Берлинском дворе, и граф Кочубей. На основании первых совещаний комитета составлена была инструкция для его действий и одобрена Императором. «Германия против её желания увлечена в настоящую войну, — говорилось в ней, — вызывает на чрезвычайные соображения, на которые должно обратить внимание» и которые сводятся к следующим пунктам:

1. Члены комитета знакомы с положением Германии, и потому на них возлагалась обязанность войти в сношения с лицами, которым вполне известны статистика и государственные права Германии с тем, чтобы можно было пользоваться в случае нужды собранными ими сведениями.

2. Всё, что ни совершается теперь в Германии, в высшей степени важно, и потому комитет должен изыскать способы для получения своевременных сведений о всех происшествиях.

3. Успеху происшествий для достижения предполагаемых целей очень часто способствует известность о них, и потому комитету поручалось руководить общественным мнением, обнародывая сведения об действиях наших войск и о всём том, что неприятель пожелал бы

скрывать, с тою целью, чтобы возбудить в угнетённых народах надежду на наши войска и приготовить их не только дружелюбно встретить их в своей стране, но и содействовать им.

4. Комитету поручалось призывать в нашу службу немцев; но действовать осторожно в этом случае, не возбуждая к внезапному восстанию народ и не подвергая опасности частных лиц. Что же касается до немцев, которые оставили своё Отечество, избегая чужеземного ига, и выразили желание вступить в нашу службу, то из них предполагалось немедленно составить особые корпуса в составе наших войск. «Те из немцев, которые убеждены, — сказано в инструкции, — что, служа под нашими знамёнами, они будут служить в пользу своего Отечества, несмотря на то, что их законные государи находятся в войне с нами, каким бы образом они ни оказались в России как перебежчики или пленные, будут соединены в отдельные корпуса пехоты, конницы и артиллерии».

Во время войны эти корпуса должны были действовать совокупно с нашими войсками. В случае успешного окончания войны и освобождения их Отечества от чужеземного ига, каждый мог свободно возвратиться на свою родину или оставаться в России. Для приведения в исполнение этой меры предполагалось назначить особых офицеров «немецкого легиона», на всех аванпостах наших войск для приёма пленных немцев и препровождения их в Ревель и Киев, где будут устроены *депо* для образований из них частей для предположенных немецких корпусов войск. В отношении к солдатам не сделано никакой оговорки; но что касается до офицеров, то им обещан приём в эти корпуса теми же чинами, но если только комитет убедится в «преданности, верности и способности к службе». К немцам высших сословий выражено явное недоверие, без сомнения потому, что большинство из них было поклонниками Наполеона, или, — как выражаются немецкие историки, принадлежали к «французской партии», в состав которой, за немногими исключениями, входили все образованные сословия Германии.

В немецкие корпуса дозволялось принимать и русских офицеров, для того чтобы помочь знанием русского языка своим не знавшим его товарищам и подчинённым сноситься с русскими военными властями. С этою целью дозволялось комитету приглашать в эти корпуса «наших дворян курляндских, лифляндских и эстляндских в качестве унтер-офицеров» и собственною властью производить их в офицеры. Эти иностранные войска во всё время службы должны были подчиняться, конечно, русским военным законам, и комитет обязывался о назначении офицеров давать знать военному министерству.

Инструкция немецкому комитету была обдуманно составлена, но её составители не могли не обратить внимания на то, что могут

возникнуть неожиданные обстоятельства, которых не разрешат выраженные в ней правила. Поэтому «во всех случаях, которые не предвидены в этой инструкции,— говорит последний её параграф,— председатель комитета лично должен докладывать Императору и вообще доводить до его сведения о всех действиях комитета». Проект этой инструкции, конечно, вследствие особенного расположения был сообщён Императором барону Штейну, хотя он участвовал как член в совещаниях комитета, на основании которых он был составлен. Барон Штейн представил Императору свои замечания. Войти в качестве члена в состав коллегиального учреждения, по делам которого будет докладывать Государю председатель, конечно, не соответствовало его видам. Заметив только, что вследствие враждебных отношений Австрии к России закрылись пути для тайной переписки с своими единомышленниками и что следует изыскать новые, он советовал «как можно упростить делопроизводство в этом комитете, устранив тяжёлые коллегиальные формы и приняв тот способ ведения дел, который употребляется в конторах, где каждый занимается отдельною частью и общему собранию докладывает только о последствиях своих действий и о делах особенно важных». «Военная часть составит наибольшее число дел и если о всех их докладывать комитету,— писал барон Штейн,— то это затруднит и замедлит ход других дел». Устраняя свою личную деятельность от соучастия других членов комитета, он желал также придать ей самостоятельное значение, сохранив за каждым из членов право личного доклада Государю. «До сих пор,— писал он,— каждый из членов пользовался честью непосредственного представления Государю. Было бы им тяжело лишиться этого важного преимущества».

В то же время, как был образован этот комитет, Император по совету барона Штейна поручил ему самому составить проект воззвания к немцам, служившим под знамёнами Наполеона. Рассмотрев этот проект, Государь зачеркнул или изменил все резкие и бранные выражения, относившиеся к императору Наполеону, и за подписью главнокомандующего Барклая де Толли велел напечатать и разослать начальникам передовых войск для распространения между неприятельскими войсками.

Это воззвание, о котором с таким негодованием говорил Балашёву император Наполеон, было напечатано в следующем виде:

«Немцы!

Зачем вы воюете с Россиею, перешли её границы, вражески относитесь к её народонаселению, тогда как в продолжение многих столетий она постоянно находилась в дружеских к вам отношениях,

принимала к себе тысячи ваших соотечественников, вознаграждала их дарования и поощряла их занятия торговлею и промыслами? Что побудило вас на это несправедливое нашествие, которое грозит гибелью вам самим и может окончиться или смертью ста тысяч вас самих или совершенным порабощением для вас? Впрочем, вы не по своему желанию решились на это нашествие, ваш здравый ум, ваше чувство справедливости не допустили бы вас до этого; вы – несчастное орудие в руках иноземного властолюбия, которое неуклонно стремится к порабощению всей Европы.

Немцы!

Жалкое и постыдное орудие чуждого властолюбия, образумьтесь, вспомните, что в продолжение столетий вы были великим народом в истории, отличавшимся успехами в науках и художествах во время мира и доблестью в войне, возьмите за образец Испанию и Португалию, где сила воли целого народа успешно противодействует иноземному порабощению. Вы угнетены, но не выродились и не унизились: многие из вас, принадлежащих к высшим сословиям, забыли свои обязанности в отношении к Отечеству; но большая часть из вашего народа честны, храбры, недовольны чужеземным порабощением, верны Богу и Отечеству.

Вы, которых завоеватель пригнал к границам России, оставьте знамёна рабства и соберитесь под знамёнами Отечества, свободы, народной чести, которые будут подняты под защитою Русского императора, моего милостивого повелителя. Он обещает вам помощь всех храбрых русских людей из 50 миллионов своих подданных, решившихся вести войну до последнего издыхания за свою независимость и народную честь.

Его Величество Император Александр поручил мне всех храбрых немецких солдат и офицеров, которые перейдут к нам, помещать в немецкий легион. Над вами будет начальником один из государей Германии, который делами и пожертвованиями доказал свою преданность делу Отечества, и ваше назначение будет состоять в том, чтобы снова завоевать свободу Германии. Когда великая цель будет достигнута, признательное Отечество вознаградит мужественных и верных своих сынов за спасение его от последней погибели.

Если же борьба и не увенчается полным успехом, то мой милостивый Государь обещает обеспечить ваше существование в южных областях России.

Немцы, избирайте одно из двух или последуйте за призывом Отечества и чести и потом наслаждайтесь наградами за мужество и подвиги, – или пригибайтесь более и более под то иго, которое вас

угнетает к стыду, унижению и насмешке иностранцев и проклятию ваших потомков».

В приведённом воззвании вполне выразился характер и образ мыслей барона Штейна; не осталось в нём только следов той злобы, которую внушал к себе «великий завоеватель» даже в людях, одарённых необыкновенными способностями: их истребил для истории карандаш Русского императора к чести России и своего высокого положения. Но этот образ мыслей разделяли весьма немногие из соотечественников барона Штейна. В первых же заседаниях комитета, после окончательного его образования, во время пребывания Главной квартиры в укреплённом лагере при Дриссе, произошло важное разногласие. Брат председателя комитета, принц Август Ольденбургский, представил записку, в которой доказывал, что, обращаясь к Германии, не следует возбуждать народ и пользоваться содействием тайных обществ, но обратиться к государям, лишившимся своих владений, и, обещая им, что они будут возвращены, употребить их орудием для своих целей.

Такое предложение, решительно противоположное взглядам барона Штейна, конечно, возмутило его и вынудило яснее выразить свой образ мыслей, не стесняясь придворными соображениями. «Главное основание, – писал он в своём возражении на эту записку*, – состоящее в том, чтобы действовать исключительно посредством изгнанных государей, приведёт: во-первых, к разъединению сил, которые необходимы для действия, во-вторых, отдаст эти силы в руки совершенно неспособных людей и, в-третьих, оставит без употребления средства тех областей, которые не принадлежали изгнанным государям. То предприятие, которое мы начинаем, неужели может быть вверено или ганноверскому правительству, которого глава – в Лондоне, или гессенскому, во главе которого находится ничтожный и корыстолюбивый старик, или правительству Фульды**, которой госу-

---

* Эта записка было вручена императору Александру 6 (18) сентября 1812 года *(прим. ред. Русской Старины)*.

** *Фульда* – город в провинции Гессен-Нассау; известен своим собором, сооружённом (1704–1712) по образцу храма Св. Петра в Риме, и несколькими монастырями, один из которых – бенедиктинский – основан в 744; с 1803 столица княжества Фульда, правитель – старший сын Нассау-Оранского принца Вильгельма V (Вильгельм, впоследствии король Нидерландский Вильгельм I); в 1806 Вильгельм отказался присоединиться к Рейнскому союзу, княжество было занято французами, а в 1810 и вовсе было отдано великому герцогству Франкфуртскому; решением Венского конгресса Фульдское княжество было ликвидировано, а его земли распределены между Пруссией, Баварией, Саксен-Веймаром и Гессен-Кассельским курфюршеством *(прим. ред.)*.

дарь имел бы своё собственное мнение, или брауншвейгскому, которого государем трудно руководить, или ольденбургскому, которое *по своей мудрости и нравственным началам заслуживает полного доверия*, но которое едва ли будет обладать достаточною силою, чтобы исчисленных выше своих сотоварищей, их кабинеты, министров, генералов, камердинеров и любовниц, включая сюда и госпожу Шлотгейм, подвигнуть на общее дело».

В этих замечаниях на записку принца Августа Ольденбургского, которые, конечно, не предназначались для обнародования, барон Штейн со всею откровенностью выразил свой взгляд на положение Германии. Но он не опасался этого обнародования. В составленном им проекте воззвания к немцам, служившим в войсках императора Наполеона, находились следующие строки: «Все угнетены, но не развращены, и не выродились, хотя почти все ваши государи изменили делу Отечества, вместо того, чтобы пролить за него свою кровь; хотя большая часть вашего дворянства и чиновников предложили свои услуги для погибели Отечества, вместо того, чтобы его защищать». Но эти строки под карандашом Русского императора превратились в обнародованном воззвании в следующее выражение: «многие из вас, принадлежащих к высшим сословиям, забыли свои обязанности в отношении к Отечеству». Русский император, по самому своему высокому положению, чувствовал тоньше значение и силу совершавшихся и грядущих событий и, не увлекаясь злобою дня, вычеркнул оскорбительные выражения в отношении к тем, которых желал привлечь к участию в общем деле.

Устраняя личный тяжёлый опыт участия барона Штейна в общих делах Германии и Пруссии, в особенности опыт, который не мог не иметь на него влияния, и предполагая, что сильная душа способна преодолеть личные впечатления, как бы глубоко ни врезались они в её существо, самый ход исторических событий мог убедить его, что Германия собственными своими силами спасена быть не может. Таков и был его образ мыслей.

На государей Германии, которых политика была основана на корыстных видах, он не возлагал никакой надежды, точно так же, как и на высшие сословия, воспитанные под сильным влиянием французской образованности и увлечённые необычайными успехами Наполеона. Оставалась одна надежда – на народ. Эта стихия, составлявшая необходимую основу всех государств, забытая дотоле, угнетённая и презираемая за необразованность, вдруг и неожиданно получила важное значение в соображениях государственных людей, противников Наполеона, с тех пор как народное восстание в Испании с успехом про-

тиводействовало нашествию великого завоевателя. Не было похвал, которыми не осыпали бы подвигов гверильясов. Но для народа необходимы руководители в его действиях. На Пиренейском полуострове, конечно, не Кадикское правительство, но английские войска, предводимые Веллингтоном, служили средоточием военных действий и придавали общее значение частным подвигам гверильясов. Но кто же в это время мог руководить восстанием германского народа?

Штейн смотрел на Россию как на единственное, достаточно сильное орудие для спасения Германии, а на Русского императора, как на единственного государя, чуждого своекорыстных видов и готового действовать для общего блага. Когда барон Штейн приехал в Вильну, Император поручил графу Нессельроде узнать, какое бы он желал занять место. «Я не имею намерения вступать в русскую службу; но в виду военных действий буду заботиться о благе Германии».

Но пока вопрос о войне ими ещё не был решён, его, так же, как и многих других врагов Наполеона, не могла не смущать мысль о возможности мирного исхода враждебных отношений между Россиею и Франциею. В неё долго верил граф Румянцев и постоянно выражал во всеуслышание, как дипломат старой школы, привыкший до конца скрывать настоящие виды своей политики. Это раздражало барона Штейна, и он осыпал незаслуженною бранью русского канцлера, отмщая на нём свой гнев за мысль о возможности мира с Наполеоном, который, без сомнения, мог быть заключён не иначе, как в ущерб Германии. Но мог ли даже в это время русский канцлер надеяться на мирный исход несогласий между Россиею и Франциею? Конечно, не мог. Именно в это время, когда уже прекратились обыкновенные наши дипломатические сношения с Европейскими дворами, ещё находился в Штутгарте наш посланник при Вюртембергском короле Алопеус. В частном к нему письме, отправленном с советником этого посольства Шрёдером, граф Румянцев писал ему: «Из Парижа продолжают приходить известия, что там предпочитают войне путь мирных переговоров. Я уверен, что там только и думают, что о войне; но может быть военные замыслы плохо соответствуют современному положению Франции».

Переход Наполеоновых войск через Неман положил конец сомнениям барона Штейна и усилил его деятельность. Едва Главная квартира Императора достигла Свенцян, как он представил 15 (27) июня новую записку Императору, в которой ещё яснее и определеннее выразил свой взгляд на положение Германии. «Война началась,— писал он,— а потому не следует медлить для принятия действительных мер, чтобы возбудить восстание в Германии». С трудом выдержи-

вал барон Штейн отсрочку враждебных действий против императора Наполеона, которые он предлагал и которые отсрочивал Русский император, пока ещё не началась война. С радостью он узнал, что война началась, и при этом важном событии счёл нужным заявить Русскому императору: «*Первый вопрос*, который возбуждает эта война, состоит в том: можно ли рассчитывать на добровольное, значительное восстание части германского народа или его следует вызвать и поддержать посредством войска? Если этот вопрос будет разрешён, тогда уже следует обратиться к соображениям о том, как должны действовать войска, чтобы возбудить восстание. Как не раздражены, однако же, немцы против иноземного ига, я не полагаю, однако же, чтобы они могли произвести добровольное восстание в значительных силах, на успех которого можно бы рассчитывать. Южная Германия, жители которой восприимчивее к впечатлению и способнее к воодушевлению, не могут рассчитывать ни на какую военную помощь с тех пор, как Австрия вступила в союз с французами. В Северной Германии народ раздражён угнетением и в некоторых областях существует глухое брожение, но он холоден и неподвижен. Его восстание будет задержано множеством богатых помещиков и чиновников и собственною его привычкою к существующему порядку дел. Нужно употребить иные средства, а не простые возбуждения и воззвания».

Хотя барон Штейн, разочарованный в правительствах и высших сословиях Германии, полагал, что единственная сила, которая могла бы противоборствовать завоевателю, заключалась в народе, но думал, однако же, что как по своему положению, так и его характеру, немецкий народ не способен к общему добровольному восстанию против насилия, как испанцы; к поголовному и добровольному восстанию испанцев присоединилась уже помощь и руководство Англии и Кадикского правительства. Немецкий народ находился в ином положении, его следовало, по мнению барона Штейна, принудить к восстанию и с этою целью сделать высадку значительного корпуса войск на северные берега Германии, который в то же время угрожал бы флангу и тылу Наполеоновых войск. Мысль о такой высадке, совокупно с шведами под главным предводительством Бернадота, входила в соображения Императора, вместе с действием на другой фланг неприятеля в Иллирии, Северной Италии и Тироле, для которого предназначалась Дунайская армия. Но в короткий промежуток времени от перехода неприятеля через Неман и до прибытия нашей Главной квартиры в Свенцяны совершилась важная перемена в военных соображениях. По всем известиям от передовых наших войск не подлежало уже никакому сомнению, что неприятель вторгся

в пределы России с таким числом войск, которым не могла противостоять 1-я Западная армия. Не раздроблять военные силы, не предпринимать отдалённые побочные действия, но всеми возможными способами усилить войска, действовавшие в средоточии войны — вот мысль, которая не давала покоя и напрягала все силы деятельности Русского императора. В это время он предписал 2-й Западной армии поспешить на соединение с 1-ю, недолго спустя после того он положил предел воинственным мечтаниям адмирала Чичагова и предписал ему идти в пределы империи и соединить Дунайскую армию с войсками генерала Тормасова; мысль о народном ополчении составляла уже предмет соображений. Возможно ли было в это время думать о том, чтобы послать значительный корпус русских войск на северные берега Германии и уменьшать способы защиты своего Отечества?

Барону Штейну, конечно, не были известны тайные мысли Императора и его военные распоряжения; он не имел с ним свидания после отъезда из Вильны до прибытия в Дрисский лагерь. Убеждённый в возможности этой экспедиции, так же как и в действиях на правом фланге неприятеля Дунайской армии, он написал и представил на одобрение Императору 18 (30) июня письмо к графу Мюнстеру в Лондон, которому сообщил эти соображения. Император одобрил письмо, может быть, ещё колеблясь в решениях о назначении Дунайской армии и корпуса войск, находившегося в Финляндии, и вероятнее потому, что не представлялось никакой нужды сообщать тайны русской политики ни барону Штейну, ни его другу, графу Мюнстеру. Но и барон Штейн с своей стороны начинал понимать положение дел.

«Действительным средством возбудить народное восстание в Германии,— писал он Императору в вышеупомянутой записке от 15 (27) июня,— будет высадка войск, которые заняли бы значительное пространство земли, сменили бы всё управление и привели бы в движение все перья, чтобы возбудить страсти толпы. Но одна Россия не может поставить этого войска. Она должна воспользоваться всеми своими военными средствами для того, чтобы противоборствовать неприятелю, вторгнувшемуся в её границы, затягивать это противодействие и воспользоваться потом своим успехом. Поэтому вторжение в Германию она должна возложить на своих союзников. Что касается до высадки, то её следует произвести в некотором отдалении от французских войск, чтобы им было трудно отделить часть своих сил для противодействия ей. Поэтому мне кажется наиболее удобною страна между Эльбою и Иселем, нежели между Одером и Вислою. Последняя составляет узкую полосу между берегом и Польшею, и настроение народонаселения не представляет тех удобств, как

в первой. Притом и французам туда легче будет отделить часть своих войск. Если избрать первую страну, то высадка может быть произведена в двух местах: шведское войско может высадиться у Любека, английское вместе с немецким легионом у Эмдена. Войска должны воспользоваться всеми военными средствами страны, где будут высажены, и усилиться из их народонаселения, употребив следующие к этому способы: после высадки в Любеке и Эмдене войска должны войти в сообщение одно с другими по Эльбе и всю страну между Эльбою и Одером считать поприщем для их военных действий, где как можно долее они должны задерживать войска, которые бы против них послал Наполеон. Между тем войска, высадившиеся в Эмдене, должны устроить опорные пункты в восточной Фрисландии и Бремене. Эта Фрисландия вообще мало доступна, она покрыта обширными болотами, через которые проложено немного дорог. Они могут быть защищены полезными укреплениями. Защиту этой страны можно вверить самому народонаселению, которое надо снабдить оружием. Оно очень недовольно новым порядком дел, лишившим его прежних вольностей, и тесно связано с англичанами вследствие торговых сношений.

Утвердившись на берегах Эльбы, соединённые войска могли бы в их тылу ввести военное устройство во всей Северной Германии между Эльбою, Рейном и Тюрингским лесом. Эта часть Германии состоит преимущественно из прежних прусских областей и из ганноверских и гессенских владений, населена мужественным народом и привыкшим к военному устройству».

Население этих стран, по расчёту барона Штейна, могло доставить до 75 тысяч воинов без ландвера и ландштурма.

75 тысяч строевых войск вместе с высадившимися шведскими и английскими войсками и немецким легионом, конечно, составили бы почтенную силу, точно так же, как и Дунайская армия, подкреплённая славянскими и недовольными Венгрии, Северной Италии, Тироля и Швейцарии, составили бы ещё более грозную. Эти две диверсии могли бы угрожать большою опасностью тылу и обоим флангам Наполеоновых ополчений и совершенно изменить ход событий. Но обе эти силы существовали только в воображении. Чтобы составить 75 тысяч войск в Северной Германии, прежде всего нужно было – время.

Время года значительно подвинулось вперёд, писал барон Штейн, а для исполнения этих предположений нужно иметь довольно времени, и потому бесконечно важно поспешить соглашениями с союзниками России, т.е. с Англиею и Швециею. Но соглашение России

с Англиею ещё не состоялось. Она отвергла те условия, которые обязывали её помогать и содействовать экспедиции адмирала Чичагова. Она торговалась о денежных пособиях и неохотно относилась к желанию наследного принца Шведского приобрести Норвегию в уплату за измену Франции; а между тем политика России поставлена была в такое положение, что её союз с Англиею мог совершиться не иначе, как вместе с Швециею. Император Наполеон верно понимал обстоятельства; действительно, России не нужно было более 24 часов времени, как говорил он, для того чтобы заключить союз с Англиею. Но шведские условия союза, с одной стороны, и условия России о содействии Англии предприятиям адмирала Чичагова*, с другой, — останавливали ход дел. Наследный принц Шведский охотно принимал начальство над войсками, которые должны были высадиться в Германии, но при таких условиях, чтобы Англия дала деньги и притом в том количестве, которое он назначал, а Россия — корпус своих войск в его распоряжение. Войска, находившиеся в Финляндии, и предназначались для этой цели. Но участие Швеции в общих действиях против Наполеона условливалось её частными видами на присоединение Норвегии. Это обстоятельство, естественно, усложняло общие действия войною против Дании. Это обстоятельство весьма смущало барона Штейна, занятого исключительно направлением общего хода дел к пользам Германии.

После того, как Император изъявил одобрение тем предположениям, которые он изложил в записке, составленной в Свенцянах, барон Штейн сообщил о них своим единомышленникам и с особою подробностью графу Мюнстеру в Лондоне, так как их успех зависел по преимуществу от содействия Англии. Представляя Императору проект этого письма[4], барон Штейн писал ему:

«Составляя это письмо и размышляя о том, что Ваше Величество благоволили сообщить мне о предположениях наследного Шведского принца, мне представились следующие соображения, которые осмеливаюсь представить на ваше воззрение. Наследный принц рассчитывает на то, что потеря Зеландии и столицы вынудит Датского короля уступить Норвегию. Я сомневаюсь, чтобы король, известный своею гордостью и упрямством, решился на эту уступку иначе, как при самых крайних обстоятельствах. Он удалится с остатками своих войск на полуостров и будет продолжать войну, которая не будет иметь никакого влияния на действия французской армии и не послужит диверсиею. В крайнем случае, он бросится в руки Наполеону,

* Подробнее об этом см. главы 6-7 ч. I настоящего издания *(прим. ред.)*.

которому в продолжение этого времени принуждена будет противодействовать исключительно одна Россия. Если же успех будет на его стороне, то очевидно, что Датскому королю будут возвращены его владения. Только одна прямая высадка на берега Германии может послужить диверсиею для французской армии, принудит её разделить свои силы, увеличит силы союзников, воспользовавшись вооружениями части Германии, и даже может способствовать видам наследного принца на увеличение своих владений».

Частные виды союзников России, без сомнения, усложняли общий ход дел, противоречили одни другим и затрудняли политику Русского кабинета; но только ценою этих видов и можно было приобрести союзников. По необходимости Император должен был принимать их в соображение. «Ваши рассуждения о том, как следовало бы действовать наследному принцу, – отвечал он барону Штейну, – конечно, основательны; но в этом надо убедить его самого. Но не должно ему слишком противоречить, иначе он может предаться в руки Франции, тем более, что не получая значительной помощи от англичан, ему трудно поддерживать политику, враждебную Франции, не имея английских войск в своём распоряжении, в такой бедной стране как Швеция. Во всяком случае, я постараюсь убедить его».

Торговые отношения сильно связывали Швецию с Англиею, но британское правительство с недоверием относилось к бывшему маршалу Франции, неохотно соглашалось на присоединение Норвегии к Швеции и торговалось о денежных пособиях. Ещё с большим недоверием относилось оно к предполагаемым действиям Дунайской нашей армии. Хотя Император и оставил в письме барону Штейну то место, в котором он выражает надежду, что Англия окажет содействие предприятиям Дунайской армии, но ему уже хорошо было известно, как относился к ним Великобританский кабинет. Надежда Императора убедить наследного Шведского принца изменить первоначальные свои предположения увенчалась успехом впоследствии, но самая высадка шведских войск в Германию состоялась только в следующем году.

При быстром отступлении наших войск и отъезде Императора из Дрисского лагеря в Москву, распался и сам комитет по делам Германии. Принц Георг Ольденбургский получил приказание Императора отправиться в Тверь для участия в образовании ополчения, и место председателя комитета временно поручено было его брату, принцу Августу. Кочубей уехал в Петербург, князь Ливен недолго спустя назначен был послом в Англию, а сам барон Штейн в свите Императора поехал за ним в Москву.

Глава 6

Сношения со Швецией и Турцией перед вторжением Наполеона. – Подложная нота Датского посланника. – Мирный договор с Турцией. – Отношения с Англией. – Неудача союза с Турцией. – Деятельность адмирала Чичагова. – Сношения Чичагова с Каннингом. – Отношения с Австрией.

В то время, когда русские войска, большая часть которых находилась у Западных границ империи, готовились встретить нашествие неприятеля, с Севера и Юга, из Швеции и Турции, приходили в Вильну хорошие известия. Император Наполеон до самого отъезда из Дрездена рассчитывал на содействие шведов и турок, которые, без сомнения, могли оказать ему важные услуги: одни, напав на только что взятую у них Финляндию и угрожая Петербургу, другие — отвлекая от главного поприща войны Молдавскую нашу армию. Но он ошибся в своих расчётах: столько раз обманутые им турки и угнетённые шведы уже не верили его обещаниям.

Какую пользу могли принести Наполеону своим содействием шведы и турки, такую же они могли принести России, даже простым бездействием, обеспечив безопасность с флангов и давая возможность сосредоточить все боевые силы и направить их против нашествия неприятеля. Поэтому отношения России к тем и другим составляли предмет постоянных забот императора Александра.

Союз с Шведским правительством уже был заключён. Император верил искренности чувств короля и наследного принца; но ему также известно было, что до избрания в наследники престола маршала Бернадота, общественное мнение в Швеции было крайне враждебно России. Влиянием Бернадота мало-помалу отклонилось внимание шведов от Финляндии (страны, отделённой морем, которую для шведов трудно оберегать) и обратилось на Норвегию, ближайшую соседку, которую не иначе можно было приобрести, как вступив в союз с Россиею, с её согласия и, может быть, при её помощи, коль скоро Дания, увлечённая Франциею, стала во враждебные к ней отношения. Но до какой степени окрепло общественное шведское мнение, приняв это новое направление, должен был показать сейм, только что собравшийся в Эребру: нужно было согласие сейма на предложение правительства и его одобрение принятых им мер.

Первое письмо от наследного Шведского принца, из Эребру, полученное Государем в Вильне, и известия, привезённые туда шведским посланником, графом Лёвенгельмом, рассеяли последние сомнения Государя: Швеция не только оставалась сама верна союзу с Россиею, но и употребляла все меры, чтобы помирить её с турками, и даже привлечь их к союзу с нами. С этою целью она отправила к турецкому правительству особого полномочного, генерала Таваста. Уведомляя об этом посольстве, наследный принц писал Государю: «Король искренно желает, чтобы Ваше Величество окончили войну, которую ведёте против турок. Мир с ними составлял предмет и моих постоянных желаний ещё прежде, нежели Франция приняла такое угрожающее положение, как теперь. В настоящее время оно ещё усилилось; потому что дело, которого вы, Государь, выступаете защитником, есть дело всех государей, дорожащих своим государственным существованием и личною безопасностию. Правда, что у Порты нет ни достаточных денег, ни оружия, ни продовольствия для продолжения войны, и в настоящее время она не может Вашему Величеству доставить больших беспокойств; но содействие её войск Австрийцам может иметь значение, и вы позволите мне выразить, до какой степени я не желаю, чтобы их силы соединились с Австрийскими. Мир с Турциею доставит Вашему Величеству возможность свободно располагать Молдавскою армиею, которая легко может удерживать Австрийцев возле их границ. Если же нам удастся, как я надеюсь, заключить союз с султаном, то Австрия будет вынуждена разорвать свой союз с Наполеоном, потому что она будет поставлена между двух огней: при недовольстве, господствующем в Венгрии, ей будут с двух сторон угрожать ваши и турецкие войска».

Ввиду военных соображений, для того, чтобы действовать во фланг неприятеля и разделить его силы, Бернадот постоянно советовал нашему правительству не только заключить мир с Турциею, но и привлечь её к союзу с нами. С тех пор как рушилась надежда на Австрию, не только на её содействие России, но даже на её нейтралитет в предстоявшей войне, союз с Турциею он считал ещё более необходимым. Постоянно изыскивая средства к тому, чтобы в конце концов победа осталась на стороне России, Бернадот был обрадован особенною доверенностью к нему императора Александра, когда тот сообщил ему подробную ведомость о числе и составе наших войск. Рассматривая эту ведомость, Бернадот писал: «Я уверен, что Ваше Величество не можете испытать неудачи. Стоя во главе своих войск, вы возбудите их мужество и то желание победить, которое составляет главную силу, решающую судьбу государств. Но, Государь, хотя я уве-

рен, что вам нельзя бояться поражений, позвольте вам заметить, что постоянство в исполнении принятого решения неминуемо приводит к счастливым последствиям. Дело, защищаемое Вашим Величеством, принадлежит всем народам; опираясь на 400 тысяч храброго войска, вы можете быть уверены, что защищаете дело всего человечества, и средоточие вашего стана составляет столицу Европы». Без сомнения, как наследник Шведского престола, Бернадот желал войны между Россиею и Франциею, потому что только вследствие этой войны он мог надеяться на присоединение Норвегии к Швеции и свободы её торговли. Но он желал, чтобы зачинщиком войны был Наполеон и, следовательно, не мог советовать, чтобы Александр отклонил предложения о мирных переговорах. Мир с Наполеоном он, зная его характер, считал только временным перемирием, которое сам же он нарушит при благоприятных для него обстоятельствах. Поэтому, не отклоняя императора Александра от мирных переговоров, если они будут предложены Наполеоном, он советовал не оставлять приготовлений к войне и желал, чтобы мирным договором обеспечивалась и участь Швеции. Между тем, в это время Бернадота встревожили два известия.

В первых числах июня он получил список с ноты, писанной будто бы из Петербурга французскому министру иностранных дел. В ноте говорилось, что за два дня до отъезда Государя в Вильну, граф Румянцев пригласил к себе на совещание Датского посланника при нашем дворе Блома и объявил ему, что Государь возмущён, узнав, что Датский король вошёл в союз с врагами России. «Дания, говорил-де он, не должна забывать, что Россия постоянно ей покровительствовала, что ей обязана она своим существованием. Этот слух давно уже доходил до Государя; но он не придавал ему веры, между тем теперь это не подлежит уже сомнению: Датские войска сосредоточиваются в Голштинии и заместят гарнизоны Гамбурга и Любека». К этим заявлениям будто бы наш канцлер присовокупил: «Я должен вам формально объявить, что такой поступок Государь сочтёт объявлением войны. В то время, как вы изменяете нам, мы счастливы тем, что имеем в Швеции дружественную державу, понимающую, что её выгоды тесно связаны с выгодами России, чтобы совокупно противодействовать властолюбию Франции. Следовательно, вы должны подумать о том, что если при настоящих обстоятельствах Швеция сочтёт нужным начать с вами войну и даже, не скрою от вас, отнять Норвегию, мы не будем отклонять её от этого намерения. Наши связи с ней таковы, что мы даже посоветуем ей так поступать. Вас обольстил император Наполеон, вовлекая в войну с нами государей, которые

должны бы быть нашими друзьями и которых он замышляет уничтожить. Последствия докажут, что их действия так же, как и ваши, столько же нерасчётливы, как и несправедливы». Блом уверял, говорилось в этой ноте, будто Швеция уже заключила договор с Россиею в таком смысле.

Сообщая это известие Государю, Бернадот прибавлял: «Весьма жаль, что граф Румянцев так скоро объявил о наших соглашениях и разоблачил дальнейшие наши предположения». Граф Румянцев был известен во всей Европе как защитник союза России с Францией и, конечно, употреблял все средства для того, чтобы предотвратить разрыв между этими державами, и потому, естественно, Бернадот мог поверить этому известию, особенно сообщённому в виде списка с ноты Датского посланника при нашем дворе. Притом Бернадоту, намеревавшемуся присоединить Норвегию к Швеции, и выгодно было этому поверить, чтобы рассорить нас с Даниею; но вместе с тем, он не желал, конечно, разглашения тайного договора, пока вопрос о мире и войне не был окончательно решён в пользу последней. Несмотря, однако же, на желание поддерживать союз с Франциею, граф Румянцев был во всяком случае русским министром и с этою целью не пожертвовал бы достоинством и выгодами России. Притом он умел хранить в непроницаемой тайне важные дипломатические переговоры и очень хорошо знал, что таковы были требования императора Александра.

В одно время с этим известием наследный Шведский принц получил и другое. «Меня уведомляют из Парижа, что граф Нарбонн получил приказание оставить Берлин и ехать к Вашему Величеству с мирными предложениями от императора Наполеона. Может быть, он желал выиграть время, чтобы оградить себя от грозящей ему опасности внутри самой Франции и чтобы более обеспечить исполнение своих предположений насчёт Востока. Поэтому он откладывает разгром России, пока будет в состоянии напасть на неё с достаточными силами, чтобы присоединить её ко всемирной монархии, составляющей цель его властолюбия. Если император Наполеон предлагает мир Вашему Величеству, этот мир не будет продолжителен, коль скоро он будет заключён не на таких условиях, которые могли бы обеспечить безопасность как в настоящем, так и в будущем. В этом случае, король и я, мы полагаемся на Ваше Величество и смеем надеяться, что при переговорах вы условитесь о присоединении Норвегии к Швеции. Только при таком увеличении территории Швеция может быть полезна России. Оставаясь в теперешнем положении, она должна привлечься к союзу с Франциею, которая в виде вознаграждения за её услуги

всегда будет указывать ей или на Норвегию, или на возвращение Финляндии. Но безопасность Севера требует, чтобы Швеция приобрела Норвегию не иначе, как при посредстве Вашего Величества: вследствие этого прекратятся враждебные отношения между этими двумя народами, и шведский народ, полагаясь на постоянную дружбу России, поймёт, что союз с нею единственно необходим для её благосостояния».

В то же время, как от имени короля, так и от своего, наследный Шведский принц просил Государя допустить некоторые перемены в условиях заключенного с Швецией союза относительно перевоза и продовольствия русских войск, которые предназначались действовать под его начальством, вместе с шведскими. «Генерал Сухтелен,— писал он,— поражённый нашей бедностью, согласился на то, что войска Вашего Величества будут содержаться на ваш счёт до вступления их в неприятельскую землю. Если бы Ваше Величество приняли на себя их содержание в продолжении двух месяцев, это не могло бы представить особого затруднения для России, а между тем было бы чрезвычайно важно для Швеции. Король охотно принимает на себя перевозку войск; но он желал бы, чтобы Ваше Величество эти издержки возместили хлебом, в котором всегда нуждается Швеция».

Выражая эти желания короля, Бернадот поспешил прибавить: «Какое бы ни последовало в этом отношении решение Вашего Величества, я прошу вас быть уверенными, что мы во всяком случае останемся неизменно преданными лично вам и вашей политике».

Получив эти письма, Государь поспешил успокоить тревоги наследного принца и просил его «верить, что у него нет более привязанного и искреннего друга, как он и что дело, которое он защищает, неразрывно связано с его собственным». Что касается до депеши Блома, то Государь писал ему, что известие о ней «доказало ему только козни наших врагов с целью разъединить нас, возбудив взаимное недоверие и подозрения. Надеюсь, что мой личный характер несколько известен Вашему Высочеству и вы поверите, конечно, моим заявлениям. Я положительно могу вам сказать, что ничего подобного канцлер граф Румянцев не говорил Блому. В совещании, которое он имел, по моему приказанию, с этим посланником, он выразил моё удивление, на которое я имел полное право, что Дания так охотно согласилась на требование Франции, отдала в её распоряжение корпус своих войск и тем предоставила ей возможность усилить её армию на Висле всеми теми войсками, которые будут замещены датскими. Подобное поведение Дании, если начнётся война, освобождает меня от всех условий, заключённых с нею договоров. Ничего более не было

при этом сказано; а чтобы доказать это Вашему Высочеству, я прилагаю при сём список с донесения моего посланника из Копенгагена, которого подлинник я поручил прочесть графу Лёвенгельму. В этом донесении изложен ответ Розенкранца (министра иностранных дел Дании) на донесение Блома о его разговоре с графом Румянцевым. Выражения этого ответа могут служить доказательством, что нота, которую вы получили из Парижа, была умышленно составлена для того, чтобы поссорить нас. Я повторяю вам снова уверение, что выгоды России неразрывно связаны с выгодами Швеции и что и вы имеете во мне честного друга».

Очевидно, список с ноты Блома был сочинён в канцелярии герцога Бассано. Такая проделка – не новость; к подобным ей прибегала не стесняясь политика императора Наполеона во многих случаях. По отношению к мирным предложениям со стороны Франции, Государь писал наследному принцу: «Наполеон постоянно говорит о желании сохранить мир, но его войска всё более и более приближаются к моим границам, и все его действия проникнуты враждебными намерениями. Согласно вашим желаниям я не отклоню никакого повода к мирным переговорам, если только их можно будет согласить с независимостью и безопасностью Севера Европы. Впрочем, я совершенно готов вступить в борьбу и силу буду отражать силою». Касательно посольства графа Нарбонна, которое так встревожило наследного Шведского принца, Государь уведомлял его, что нота, которую он привёз, «*сплетена* из жалоб на действия России, ложных и основанных на фактах, совершенно искажённых. Она оканчивается извещением, что Наполеон обратился с мирными предложениями к Англии. Эту ноту и мой ответ на неё читал граф Лёвенгельм. По всем сведениям кажется, что военные действия скоро должны начаться. Французские войска почти подошли к моим границам».

Эти известия успокоили Бернадота. Хотя он не решался прямо советовать начать войну и отклонить всякие мирные предложения Наполеона ввиду их неискренности; но он понимал, конечно что Норвегия может быть присоединена к Швеции не иначе, как вследствие войны. Если бы граф Нарбонн, вместо заносчивой ноты, привёз согласие Французского правительства на последние предложения России, то они и послужили бы основанием договора. В них, конечно, не было и быть не могло и речи о Норвегии, но предлагалось только очистить Шведскую Померанию, захваченную французами. Предлагая условия о Норвегии включить в переговоры нашего правительства с Франциею, Бернадот мог рассчитывать именно на неудачу этих переговоров, за которыми последует война. Не прошло и десяти дней

после получения им писем от Государя, как он сообщил ему о вторжении в пределы России войск императора Наполеона, без предварительного объявления войны.

В то время, как помышления Шведского наследного принца были направлены к войне, он употреблял все усилия к тому, чтобы эта война окончилась успешно для России. Он помогал ей советом и делом, заботился о заключении нашего мира с турками и о сближении с Англиею. Что касается до нашего мира с Турциею, то его опасения скоро были рассеяны известием императора Александра ещё из Вильны. За тайну он передавал ему сначала, что мирный договор подписан уполномоченными с обеих сторон и потом, что верховный визирь утвердил его. Но отношения к Англии вводили Бернадота в смущение. «Швеция скоро будет готова, – писал он Государю, – помогать Вашему Величеству, чтобы отстаивать независимость Севера; но, Государь, самый важный вопрос, о котором считаю долгом говорить с вами откровенно, это мир с Англиею. Союз с нею необходим: кроме пособий, которые она может нам оказать, её флот будет полезен теми диверсиями, которые он может произвести. Если Ваше Величество найдёте возможным начать переговоры с нею, то я уверен, что они скоро придут к благоприятному заключению. Я так думаю на основании соображений, которые сообщил мне находящийся здесь английский уполномоченный, что Его Королевское Высочество принц-регент с удовольствием немедленно готов вступить в эти переговоры. К прискорбию я должен заметить, что без предварительного заключения мира с Англиею наши действия могут встретить затруднения».

При разрыве союза с Франциею, без сомнения, первая забота нашего правительства должна была состоять в том, чтобы заключить мир с Англиею. Но мир с Англиею был бы объявлением войны Франции. Решившись не начинать войны и выжидать нападения со стороны императора Наполеона, Русский государь не мог вступать в непосредственные переговоры с Англиею, которая только того и ожидала, будучи готова немедленно вступить в союз с Россиею. Английский уполномоченный, тайно находившийся в Швеции, изъявлял это желание нашему посланнику барону Николаи и известил его письменно, что получил даже согласие своего правительства на заключение мирного договора. По приезде в Стокгольм генерала Сухтелена наследный Шведский принц старался познакомить его с Торнтоном и вести переговоры с ним. Но наши посланники не имели на то полномочия, а из частных разговоров узнали, что Англия не желала бы присоединения Норвегии к Швеции и Молдавии и Валахии к России. Затруднения, выставленные со стороны Англии, крайне смущали

наследного Шведского принца, и он полагал возможным удобнее устранить их, если в одно время с миром и союзом с Англиею, которые он решился заключить, будет заключён мирный и союзный договор с нею и со стороны России. С одной стороны он ожидал от России поддержки в переговорах с Англиею, с другой её мир с нею неминуемо повлёк бы к войне с Франциею.

Но кроме вопроса о присоединении Молдавии и Валахии, явились ещё новые поводы, которые могли затруднить переговоры с Англиею. Решившись с особыми поручениями отправить адмирала Чичагова главнокомандующим Дунайскою армиею, Государь, по его внушению, собственноручно написал следующую записку *о сообщениях, которые надо сделать Англии.*

1) О важном предположении соединить славян с целью сделать диверсию против Австрии и французских владений по Адриатическому морю.

2) Для успеха этого предприятия необходимо, чтобы Англия нам помогла, а) послав значительные флоты в Балтийское и Адриатическое моря, б) доставив нам ружей, патронташей и зарядов для немецких полков, которые мы можем образовать из перебежчиков, и для славян, в) снабдить адмиралов, которым будет вверено начальство над её эскадрами, значительными суммами для содержания как немецких, так и славянских полков.

3) В то время, когда французские войска находятся между Вильною и Неманом, воспользоваться этим случаем и помочь португальцам и испанцам нанести чувствительные там удары Наполеону.

4) Тревожить его прибрежные владения, где только окажется возможным.

5) Поручить Сицилийской армии начать наступательные действия и произвести диверсию в Италии.

6) Блокировать Корфу и Ионические острова.

7) Помочь шведской экспедиции в Зеландии и в Датских владениях.

8) Строго наблюдать за флотилиями, находящимися в Тексене и Еско.

9) Вообще принять за правило, что война, которая имеет открыться, будет войною за независимость всех народов, последнею войною, и потому для Англии она должна иметь такое же значение, как и для всех других народов, и она должна содействовать в ней всеми средствами. Всякое государство должно действовать по мере возможности и местного своего положения. Поэтому назначение Англии должно состоять в том, чтобы помогать морскими силами, снабжать воен-

ными принадлежностями и деньгами все государства, которые будут нуждаться для упорного продолжения войны.

10) Благоразумие требует избегать всяких придирок и затруднений. Только устранив их и помогая искренно всему, что может принести пользу общему делу, одним словом, поддерживая единодушие и соединение выгоды всех, возможно восторжествовать над таким грозным врагом.

11) Прошедшие опыты должны показать все несчастья, которые происходят от иного образа действий.

12) Наконец, я прошу Л., как человека, на которого я могу возложить полную доверенность и считаю, что он понимает настоящее положение дел.

Эту записку Государь, уезжая в Вильну, сообщил для руководства графу Румянцеву с дороги, из Царского Села. На третий день после его отъезда, канцлер писал ему, что «адмирал Чичагов передал ему записку о том, какого содействия желает он со стороны Англии. Эта жиденькая работа в сравнении с тем обширным планом, который вы начертали мне такою искусною рукою и который сегодня же я обращу в депешу к генералу Сухтелену».

Если желание России присоединить Молдавию и Валахию возбуждало несогласие со стороны Англии, то мысль о вооружении славянских племён внушила ей сильные подозрения. Между тем она проистекала из советов Бернадота вовлечь Турцию в союз с Россиею и в совокупные с нею действия против общего врага и из особого назначения, которое с этою целью получил адмирал Чичагов. Но на это назначение должны были оказать значительное влияние известия о направлении Венского кабинета, полученные в Вильне Государем, и о заключении мира с турками. Поэтому, не настаивая на этих условиях, лишь только Государь убедился, что война немедленно начнётся, он поручил генералу Сухтелену заключить мирный договор с Англиею. Извещая Бернадота о близости войны, он писал ему: «Этот же нарочный везёт полномочие генералу Сухтелену заключить мир с Англиею. Я предлагаю только одно условие, чтобы в то же время Англия заключила договор о субсидиях Швеции. Я полагаю, что при этом случае Англия удобнее на это согласится».

Между тем, пока происходила эта переписка, адмирал Чичагов приехал в Бухарест 6 мая. В тот же день, при свидании с графом Кутузовым, он узнал от него, что подписаны уполномоченными обеих держав предварительные условия мирного договора и вслед за тем отправлен уже нарочный известить Государя об этом важном событии. Это известие прежде всего поставило в затруднительное

отношение адмирала к графу Кутузову. Из двух рескриптов очевидно он уже не мог вручить ему того, который был написан на случай, если мир не был заключён и, конечно, заключал в себе отозвание Кутузова и приказание передать свою власть адмиралу Чичагову. Надо было вручить второй рескрипт; но в нём объявлялась благодарность по поводу заключения мирного договора. Как же можно было 7 апреля благодарить за мир, который был заключён 5 мая, и о котором даже в день свидания Чичагова с Кутузовым Государь не мог ещё знать, потому что нарочный был отправлен только накануне или даже в самый этот день! «Необходимо было,— писал Чичагов Государю,— вручить ему тот рескрипт, который был написан именно на этот случай. Хотя по естественным законам невозможно было, чтобы Ваше Величество узнали об этом происшествии, совершившимся в Бухаресте, через 24 часа в Петербурге; но я очень был рад употребить этот способ, чтобы избавить его от огорчения, которое немедленно было бы причинено ему при всяком другом способе. Ваше сердце, Государь, расположено к тому, чтобы щадить лица, заслуги и чувствительность, которые и должны быть почтены». Но, без сомнения, граф Кутузов был достаточно умён и опытен, чтобы понять настоящее значение милостивого рескрипта, подписанного 5 апреля, то есть ровно за месяц до подписания им и турецкими уполномоченными предварительных условий мира. Рескрипт был таков:

«Заключением мира с Оттоманскою Портою прерывая действия Молдавской армии, нахожу приличным, чтобы Вы прибыли в Петербург, где ожидают Вас награждения за все знаменитые заслуги, кои Вы оказали мне и отечеству. Армию, Вам вверенную, сдайте адмиралу Чичагову».

Сообщённое графом Кутузовым адмиралу Чичагову известие о подписании предварительных условий мира определяло уже образ его соображений и действий, поставив его на почву действительности. Уже не было нужды уноситься воображением до Константинополя, изгнания турок в Азию и изменения исторических судеб всей полуденной Европы. Заключённый мир должен был служить для него точкою исхода; а разорвать этот мир он не имел полномочий: он знал, как ожидала его Россия и сам Государь. Но, признавая мир, как уже совершившееся явление, Чичагов, однако же, считал его полезным только в том случае, если вместе с тем будет заключён союз с Портою.

«Я не буду говорить об условиях договора,— писал он в первом письме к Государю из Бухареста,— потому что они вам известны; но я уверен, что всякое примирение хорошо в настоящее время с условием, что оно повлечёт за собою полный союз, который необходимо

для обоих государств заключить между собою. Этим-то я и займусь без замедления». Вслед за тем, уведомляя, что ратификации мирного договора уже разменены между уполномоченными, он писал Государю: «Приношу искреннее моё поздравление. Всякий мир с турками очень хорош в настоящее время. Теперь нельзя избирать среднего пути: надо или сохранить Турецкую империю в её целости, чтобы иметь её в своём распоряжении, или надо быть достаточно сильным, чтобы вычеркнуть её название из географии. Но я считаю полезным, Государь, – говорит он далее, – выразить несколько подробнее мои мысли об этом мире. Когда я сюда приехал, предварительные условия уже были подписаны, и в то же время я узнал, что о заключении союза и речи не было, и что турецкие уполномоченные не имели даже достаточных полномочий, чтобы приступить к такого рода переговорам. Поэтому мне предстояло или уничтожить всё, что сделано, или постараться вступить в особые переговоры о союзе. По многим политическим и частным причинам я не желал употребить в дело первый способ. Что касается до второго, то зная, что ничего нет легче, как возобновить войну, он оставался в наших руках. Между тем хорошее впечатление, которое произведёт этот мир как на наших друзей, так и неприятелей, уже совершится. Но если Вашему Величеству решительно неугодно заключать этого мира без союза с Портою, то от вас зависит не утвердить договора. Во всяком случае, я прошу дозволения не объявлять об утверждении до тех пор, пока я не достигну того, чтобы турки или согласились, или только бы промолчали насчёт моих движений по их областям. Если эта война возобновится, то я буду в состоянии защищаться от них и в то же время предпринять предположенную диверсию в Иллирию; но у меня не останется уже войск, которыми я мог бы защищаться со стороны Буковины». Таким образом, деятельность адмирала направилась к тому, чтобы вступить в новые переговоры с турками для заключения наступательного и оборонительного союза, о котором будто бы и речи не было при только что окончившихся переговорах. Поэтому в первый же день по приезде в Бухарест он послал известить турецких уполномоченных о своём прибытии и на другой день разменялся с ними обычными посещениями.

Подписав предварительные условия мира, граф Кутузов должен был подписать и окончательный договор. Поэтому, исполняя выраженное ему в рескрипте приказание Государя, он немедленно сдал Чичагову начальство над войском, но оставался ещё несколько дней в Бухаресте в ожидании присылки договора с подписью верховного визиря. Вслед за тем переговоры уже оканчивались сами

собою, и турецкие уполномоченные должны были оставить Бухарест. Но сношения, в которые вошёл с ними (хотя и не делая никаких ещё предложений) адмирал Чичагов, показывали, однако же, что или эта негоциация со стороны России считалась неоконченною, или что она намеревается начать новую. Это обстоятельство, без сомнения, послужило поводом к разнообразным толкам и предположениям, тем более, что адмирал Чичагов давал повод предполагать своими действиями, что он снабжён обширными полномочиями и по мирным переговорам с турками.

«Чтобы доказать уполномоченным Оттоманской Порты,— писал он Государю,— что Ваше Величество желаете искренно примирения с Портою и уверить их в этом, я указывал именно на договор о союзе и согласился на изменение некоторых статей мирного договора по их желанию, например, статьи, относящейся до татар, переселившихся в Россию, до срока выхода войск в три месяца, вместо трёх с половиною. Наконец, когда договор привезён был с подписью верховного визиря, я предложил отпустить на честное слово Чапан-оглу в его отечество, дозволив ему взять с собою и Татарского султана. Это великодушие было с одной стороны основано на расчёте, потому что паша получал по 15, а султан по 10 дукатов в день: я нашёл их более опасными для наших финансов, нежели для наших войск. Это-то и заставило меня сделать им такое предложение, которое и было принято с признательностью, что доставляет нам приверженца в Турции, потому что Чапан-оглу имеет весьма благородные и возвышенные чувства и будет нам благодарен». Отпустив пленного пашу и султана и с ними несколько сот пленных, делая изменения в статьях мирного договора, Чичагов в то же время дал почувствовать турецким уполномоченным, что может быть исполнено давнишнее желание Порты, чтобы взятое нами в плен её войско считалось у нас как бы в залог, а не военнопленным, и чтобы возвращены были им пушки. Испрашивая на это дозволения у Государя, он писал, что «эта уступка может произвести чрезвычайно благоприятное впечатление на всех, потому что это общее желание. Я счёл нужным этим воспользоваться и дал почувствовать визирю, что их желание, может быть, исполнится». Чичагов согласился также возвратить часть взятых у них пушек и ввёл об этом статью в договор.

На другой день после приезда своего в Бухарест адмирал, желая немедленно вступить в переговоры с Портою о заключении оборонительного и наступательного союза, отправил в Варну к верховному визирю переводчика Бароцци просить у него фирманов для проезда в Константинополь в качестве нашего посланника Италин-

ского с помощниками и нарочного, которого он намеревался отправить с своим письмом к английскому посланнику в Константинополь лорду Каннингу. «Я не вхожу ни в какие подробные рассуждения с его светлостью (т.е. с визирем), — писал он Государю, — потому что он не имеет достаточных полномочий для наших видов. Об них я извещаю его неопределённо и представляю их совершенно независимыми от бывших переговоров, честь ведения которых может вполне оставаться за ним. Все, с кем я счёл нужным посоветоваться об этом, уверены, что заключение договора о наступательном и оборонительном союзе с Портою только и может быть предложено в Константинополе, если желаем избегнуть замедлений и потери времени. Инструкции, которые я дал г. Италинскому, будут совершенно согласны с теми, какие я сам получил, и я надеюсь во всяком случае на успех, чего я не только искренно желаю, но и употреблю для этого все средства, какие только будут в моей власти». Посылка адмирала к верховному визирю была неудачна: он не только отклонил все его предложения, хотя и неопределённо выраженные, но отказал в выдаче фирманов на проезд в Константинополь нашему посольству и особому нарочному к лорду Каннингу. «Верховный визирь отвечал мне не совсем удовлетворительно, — уведомлял адмирал Государя, — но я не обращаю на это внимания, во-первых, потому что он ничтожнейший человек, полоумный, а во-вторых, потому, что его поступок со мною сделает большое удовольствие нашим неприятелям. Я достигну того же самого другим способом. Я поручил турецким уполномоченным доставить моё письмо к Каннингу и послал контр-адмирала Грейга из Одессы в Константинополь с необходимыми наставлениями, чтобы условиться в общем плане действий с англичанами».

В то время, когда наши переговоры с Англиею ещё хранились в глубокой тайне, когда мир с ними не только не был объявлен, но даже ещё не заключён, адмирал Чичагов вошёл в прямые сообщения с англичанами, чтобы условиться в совокупных с ними действиях против французов, т.е. объявлял войну Франции, чего самым тщательным образом избегал император Александр. Конечно, он мог не одобрить поступок своего главнокомандующего и признать его своевольным; но, тем не менее, французы могли бы к нему придраться.

Вступая в дипломатические переговоры, адмирал Чичагов заботился и о военных приготовлениях к предположенной им экспедиции. Но недостаток денег служил немаловажным препятствием. «Я устраиваю армию, — писал он Государю, — таким образом, чтобы придать ей более силы, уничтожая всё излишнее и всё, что могло бы затруднить её движения. Улучшаю провиантскую и интендантскую

части в том отношении, чтобы они легко могли следовать за войском, по самым трудным для прохода местностям. Со всех сторон собираю деньги, чтоб пополнить кассы; но эта часть далеко не в том положении, в каком следовало бы ей находиться: 46 тысяч дукатов, о которых Ваше Величество мне говорили, не существует. Издержка на содержание турецких уполномоченных и пленных так велика, недоимки на правительстве также весьма значительны, и хотя я употребляю все меры, чтобы их собрать, но не думаю достигнуть этой цели, потому что страна истощена, а управление беспорядочно. Если бы Ваше Величество могли мне прислать некоторую сумму, то этим пособили бы успеху дела. Я оставлю несколько войска, чтоб держаться в оборонительном положении в отношении к туркам; но я ничего не могу отделить для того, чтобы противопоставить австрийцам со стороны Буковины. Я нашёл, что в Хотине трудные работы, которые ни на что не нужны. Необходимо будет выстроить несколько, так сказать, крепостей, для защиты одной, которая сама себя защитить не может. Хотят, чтобы я перевозил туда пушки сотнями, что положительно невозможно, если бы не было бесполезно и глупо. Пушки, которые я послал бы туда из Измаила, прибыли бы только к концу кампании. Да нет и подвод, чтоб предпринять эту перевозку; жители без этого разорены».

К концу мая месяца, Чичагов уведомлял Государя, что в его распоряжении находилось уже 28000 пехоты, 7200 конницы, 3500 казаков и 220 пушек. «Это всё имеется налицо; я могу составить корпус из 17250 человек пехоты, 1995 человек конницы, 550 избранных казаков с 12 батарейными орудиями и 24 лёгкими, устроенный так, что он может двигаться без особенных затруднений по самым неудобным местностям. Этот корпус может быть усилен, как я нахожу, войсками, которые я соберу дорогою, лишь были бы деньги».

Предполагая сам начать движение с этим корпусом и пополнять его славянскими ополчениями, Чичагов в это время уже считал возможным угрожать австрийцам со стороны Буковины. «Мир, заключённый с турками, даст мне возможность отделить отряд в 18 тысяч человек, чтобы действовать во фланг австрийцам в Буковине, — писал он Государю; — этого количества войск, по моему мнению, достаточно, если только против Австрии будет действовать и армия Тормасова. Все остальные могут двинуться в Далмацию или в Иллирию, через Сербию, Боснию, Банат и Славонию, смотря по тому, как я найду более удобным. Всё количество войск, состоящих под моим начальством, простирается до 40 тысяч человек; но часть надо оставить в крепостях, для охраны магазинов, учреждения кордонов и проч.,

так что останется для военных действий только 38 тысяч».

Между тем 16 апреля «приведена к концу настоящая мирная наша негоциация заключением и подписанием обоесторонними полномочными мирного между обеими державами договора», уведомлял Государя граф Кутузов. Препроводив самый договор к канцлеру, он выехал из Бухареста. Но ещё за десять дней прежде, в тот самый день, когда адмирал Чичагов писал Государю, что о заключении оборонительного и наступательного союза с Портою не было и речи во время переговоров с турецкими полномочными, граф Кутузов отправил к Государю следующее собственноручное письмо: «Сего времени обстоятельства не позволили никак твёрдо настоять на заключении союзного трактата и дожидаться на сие согласия от султана для заключения мира. Таковым поступком весьма могли бы мы принудить Порту избрать сторону, предлагаемую Австрийцами для союза. Ваше Величество могли видеть из письма Каннинга, к Италинскому адресованного, сколь велика была его боязнь, дабы при затруднениях с нашей стороны, им делаемых, сие не произвелось бы в действо. А когда уже заключится мир, тогда Порта неминуемо поссорится с Франциею, и легче будет склонить оную к союзу, особливо негоциациею».

Кто же был прав в этом случае, граф ли Кутузов, не исполнив высочайшего повеления и даже не предложив уполномоченным Оттоманской Порты заключить союз с нами, или адмирал Чичагов, сообщая Государю неверное известие? На этот вопрос служат ответом слова самого адмирала. «Я спешу отправить нарочного, который приехал несколько дней тому назад (с письмом от Государя), чтобы изгладить то неприятное впечатление, которое предшедшие мои письма могли произвести на Ваше Величество,— писал он Государю.— Не имея ещё времени осмотреться и собрать верные сведения, которые мне были нужны, я писал на основании предположений и слухов. Прибавьте к этому большое количество предметов, которые в одно и то же время должны были войти в мою голову, полную мыслью о моём горе. Теперь я обладаю более верными сведениями, почёрпнутыми из верных источников, которыми и постараюсь воспользоваться, сообразно с предписаниями инструкции, которою Ваше Величество меня снабдили и сообщёнными мне полезными и любопытными бумагами. Благодаря от всей души за доверенность, которою вы счастливите меня, Государь, я постараюсь изложить точные сведения о предметах, более всего меня занимающих».

После такого вступления, сказав, что после подписания мирного договора уже нельзя потребовать новых уступок со стороны турок,

о которых писал ему канцлер граф Румянцев, он продолжает: «Впрочем, мне кажется, что здесь были употреблены все способы, чтобы выговорить эти уступки; но упорство турецких уполномоченных было так сильно, что под конец надо было им уступить. Я полагаю, что нерешительность, с которою в начале мы вели переговоры, с одной стороны, с другой – постоянные и последовательные происки наших неприятелей, сопровождаемые самыми лестными обещаниями, поставили представителей его мусульманского величества в такое положение, что они колебались между действительным страхом и мнимыми надеждами. Они мало-помалу привыкли к внушениям Французов, которые, постоянно поражая их слух, наконец, действительно подчинили себе их образ мыслей. Они сделались незаметно для них самих тверды и несговорчивы. Верховный визирь, с своей стороны поощрял их, полагая, что те великие выгоды, которые им предлагают, заставят забыть те поражения, которые мы им нанесли. Наконец, они были приведены в такое положение, что малейшее требование, малейшее препятствие с нашей стороны, наклонило бы чашу весов в противную сторону. Они не хотели даже и слышать о союзе, хотя они и сами его предлагали прежде, два месяца тому назад. Князь Мурузи, который нам предан, сколько возможно быть преданным, не рискуя лишиться головы, в частном совещании, которое я с ним имел по приезде в Бухарест, сообщил мне что народ в Константинополе теперь уже привык к возмущениям, и одна мысль об уступках приведёт его в волнение. Хотя он и сознаёт свою слабость, но желает лучше всё потерять с оружием в руках, нежели что-нибудь уступить, потому что таким образом оправдалось бы какое-то пророчество о падении Оттоманской империи. Правительство вынуждено принимать в соображение такое настроение народа. Несмотря на это, мы всё-таки делаем приобретения здесь, а в Азии возвращаем только то, что было завоёвано, как Ваше Величество изволите увидеть из моего официального отношения к канцлеру, которое я написал, так сказать, под диктовку наших уполномоченных. Когда я писал Вашему Величеству о Грузии, то под этим я разумел наши завоевания в Азии, возвращения которых, как носился слух, требовали турки. Наконец, мир был для нас необходим, и *он не мог быть заключён на других условиях при настоящих обстоятельствах*».

Приведённые слова такого противника Кутузова, как адмирал Чичагов, служат лучшим доказательством того, какую важную услугу Отечеству оказал граф Кутузов заключением мира с турками перед самым почти началом нашествия на Россию всей Западной Европы. Решаясь опровергать свои собственные известия, сообщённые пре-

жде Государю и подтверждая, наоборот, известия графа Кутузова, адмирал Чичагов руководствовался, вероятно, чувством добросовестности и, как вполне честный человек, сообщив ложное известие, счёл долгом своим тотчас сознаться в своей ошибке. Но, кроме того, ближайшее знакомство с положением дел заставило адмирала совершенно изменить свои прежние воззрения. Хотя он ещё и надеялся заключить союз с Портою, но уже не считал этого дела таким лёгким, как прежде, узнав в настроении народа и правительства Оттоманской Порты, о деятельности французских и австрийских агентов. Но он ещё заблуждался в это время насчёт отношений по этому вопросу Англии; иначе он не считал бы этого дела даже возможным. Во всяком случае, уже после десятидневного пребывания в Бухаресте, он писал Государю: «Союз с Турками, по моему мнению, не будет иметь важности, как предполагают. Они до такой степени ослаблены, что от них нельзя требовать никакой помощи в настоящее время. Чтобы они только нам не мешали, это самое лучшее, что они для нас могут сделать. Заявления, которые сам визирь сделал Бароцци, когда я посылал его за паспортами для Италинского, и другие известия доказывают, что Турция действительно находится в бедственном положении». Поэтому, ввиду того, что для заключения союза не следовало откладывать заключения мира, как и поступил граф Кутузов, адмирал Чичагов уже не только радовался сам заключению этого мира, но и приглашал радоваться канцлера графа Румянцева. Он явился сторонником этого мира и в особом отношении защищал выраженную довольно неопределённо статью об завоеваниях в Азии. «Хотя вы совершенно верно заметили, – писал он ему, – что неопределённость статьи о наших завоеваниях в Азии может быть истолкована в благоприятном для нас смысле, я постарался, однако же, развить ещё более эту мысль, как увидите из официального отношения, которое я имел честь вам препроводить. Я могу прибавить только, что если в каком-либо случае надо *устранить канцлера*, то именно в этом: в качестве патриота, который любит своё Отечество (потому что много есть на свете всякого рода патриотов), вы должны радоваться заключению этого мира. Он для нас был необходим по тому влиянию на всех, которое он произвёл, и потому, может быть, что даёт свободу нашим военным действовать с этой стороны».

Убеждаясь, что заключение союза с Портою дело нелёгкое, Чичагов снова просил Государя сделать им некоторые уступки. «Французы делают самые выгодные для Порты предложения, к которым она не может быть равнодушна, тем более, что народ волнуется и склоняется, конечно, на сторону того, кто более обещает. Поэтому необходи-

мо и с нашей стороны при новых переговорах сделать какие-нибудь уступки, которые хотя бы несколько могли заменить те, которые делают Французы. В таком случае не дозволите, Ваше Величество, уступить им ту часть Молдавии, которая приобретена нами по новому мирному договору, как вознаграждение за союз с нами? Они желают также возвращения взятого в плен войска визиря и отнятых пушек, говоря, что это даже было им обещано. Французы предлагают им значительное увеличение империи за наш счёт. Если бы мы могли вполне привлечь их на нашу сторону, то к концу лета они могли бы нам сделаться очень полезными; но в настоящее время они нуждаются в покое». Но в отношения к взятому в плен турецкому войску и возвращению пушек, Чичагов, не дождавшись ещё дозволения Государя, дал почувствовать визирю, что его желание может быть исполнено. «Всё моё старание, – писал он Государю, – обращено к заключению союза; хотя деятельной помощи они нам оказать не могут, но лишь только не мешали бы нам делать наше дело; мы попросим у них молчаливого, так сказать, согласия продолжить наше пребывание и производить наши военные действия в их землях. В случае же отказа с их стороны, моё мнение, Государь, таково, что мы должны там оставаться, несмотря на них. Так как Ваше Величество мне дали понять, что армия Тормасова будет противопоставлена Австрийцам (достаточно ли она сильна, я не знаю), то в этом случае, взяв часть войска из тех, которые состоят под начальством герцога Ришелье, я, конечно, мог бы защищаться и от Турок, и предпринять предположенную диверсию, которая, раз будучи начата, может принести нам неисчислимые выгоды. По крайней мере, так заставляют предполагать все сведения, которые я получаю как от Вашего Величества, так и другими путями. Настроение иллирийцев, кроатов, далматинцев и др. очень благоприятно; отчаяние от Гаронны до Вислы дошло до крайней степени. Могут ли когда-нибудь случиться для нас более благоприятные обстоятельства?»

Пожалуй, и действительно то время можно было считать благоприятным для предприятий адмирала Чичагова, если бы не было одного обстоятельства: если бы Наполеон не выехал уже из Дрездена, и его 400-тысячная армия не готовилась бы переправиться через Неман и вторгнуться в Россию. Отчуждённый совершенно от России, адмирал Чичагов на это-то обстоятельство и не обращал никакого внимания. Хотя он и похвалял заключённый мир, но всётаки его мысли стремились к войне, как доказывают и приведённые нами его слова из письма к Государю, и его действия. Он собственно действовал согласно с правилами своей инструкции, но с теми, кото-

рые предписаны были на случай, если мир не заключён, и война может продолжиться. Он вошел в сношения с Али-пашою, который, однако же, советовал помириться с Портою, говоря, что в таком случае он может быть более полезен России; он содействовал посылке в Боснию, Герцеговину и Чёрную гору; отправил нарочных в Белград и орден Чёрному Георгию. Войдя в сношения с нашим посланником в Вене, он сообщил ему о наших намерениях действовать на Тироль и Швейцарию и просил его не упускать из виду графа Лейнингека, для которого испрашивал у Государя патент на чин полковника. Желание его воевать с турками было так сильно, что, опасаясь ещё, как бы Государь не вошёл в мирные соглашения с Наполеоном, он писал Государю в это время: «Если мы войдём в мирные соглашения с Французами, то я надеюсь, что Ваше Величество в этом случае сохраните за собою право выгнать Турок из Европы; потому что, если бы войска, которые здесь находятся, были употреблены с этою целью и флот с другой стороны, то, по моему мнению, это случилось бы непременно».

На эти письма, из которых мы привели выдержки, Государь отвечал из Вильны 7 июня. В начале письма, извещая о получении всех писем адмирала, Государь говорит, что он более всего доволен последним письмом, т.е. тем, в котором тот извиняется, что сообщал в прежних письмах неверные сведения, потому что замечает из него, что адмирал уже познакомился с положением дел на месте. «Со времени получения договора, подписанного визирем, — продолжает далее Государь, — я полагаю, что вы уже оставили всякую мысль о возврате назад тех приобретений, которые укреплены за нами этим договором. Это было бы совершенно неприлично и даже, по моему мнению, нисколько не могло бы способствовать исполнению наших намерений. Турки всякую снисходительность сочтут признаком слабости или страха. Уступку пушек и знамён я одобряю; но только в том случае, если будет заключён, подписан и утверждён между нами оборонительный и наступательный союз. Я одобряю все меры, которые вы принимаете и распоряжения, о которых вы отдаёте мне отчёт. Есть только одно распоряжение, о котором я должен сделать вам некоторые замечания, — это отправка Грейга и письмо, которое вы поручили доставить Каннингу. На основании инструкции, которую я вам дал, в такие сношения вы могли войти тогда только, когда бы начались военные действия; такое письмо, когда вопрос о войне или о мире ещё не решён, отняло бы всякую возможность сохранить мир. Ещё чрезвычайно важное неудобство могло бы произойти от этого, а именно то, что лорд Бентинк мог бы обмануть и начать свои действия прежде, нежели совершился бы разрыв между Франциею и Россиею».

Эти слова показывают, что поступок адмирала Чичагова Государь считал важною ошибкою. Но, делая ему замечание, он счёл нужным смягчить его: так ценил он способности адмирала и так много на него надеялся. «Но как по всем вероятностям должна открыться война и как надо предполагать, что она начнётся весьма скоро, — продолжал Государь, — то сам собою уничтожится тот вред, который могли бы произвести подобные сношения».

Предписывая адмиралу, чтобы у него всё было готово по первому приказанию начать действия со стороны Боснии, Государь сообщал ему следующие соображения в отношении к Австрии. «Что касается до Австрии, то в отношении к ней надо действовать с особенным благоразумием. Вот положение наших отношений к этой державе. Она поручила мне сообщить, что только крайняя необходимость и невозможность ввиду её внутреннего положения действовать решительно в отношении к Наполеону, вынудила её подписать союзный с ним договор; но она ограничит свои действия только 30-тысячным корпусом войск, выговоренным этим договором для действия против нас, и что если мы не нападём на неё с какой-либо иной стороны, то война будет производиться лишь в одном месте, и что она обещает нам полное спокойствие по всем другим моим границам, обязуясь не приводить в движение главных своих сил. При отзыве Лебцельтерна в Вену, ему дано было приказание ехать через Вильну и словесно повторять мне эти обещания. Я отвечал на это: поведение Австрии определит и мой образ действий в отношении к ней. На такое поведение Австрии можно смотреть с двух различных точек зрения. Оно может быть искренним, будучи последствием прежнего направления Венского кабинета, который всегда смотрел на Россию, как на запасную защиту как для Австрии, так и для всей Европы. Но оно может быть и коварным, рассчитанным единственно на то, чтобы уменьшить затруднения Австрии, если бы мы решились напасть на неё с другой стороны. Точные сведения, которые я собрал об австрийских границах, убеждают, что нападение со стороны Трансильвании, Баната и Венгрии было бы в высшей степени для нас затруднительно, потому что эта граница представляет превосходную защиту для австрийцев: она вся состоит из дефилеев, хорошо укреплённых, где даже незначительными силами можно удерживать большие отряды войск. По тем же самым сведениям я знаю, что венгерцы, если на них нападут в их собственной стране, непременно должны вооружиться для её защиты. Таким образом, вы вооружили бы против себя слишком большие силы, между тем как их конституция предоставляет нам средство, которое во всяком случае надо испытать. Эта конституция, именуе-

мая апостолическою, обязывает венгерцев поднимать оружие только в том случае, когда на них делают нападения, освобождая их от службы Австрии, если она сама нападает на кого-нибудь. Поэтому некоторые думают, что объяснив им, что Франция совокупно с Австриею нападают на Россию, возможно бы даже заключить особый договор с Венгерским королевством о нейтралитете, который бы избавил нас от участия в войне этого воинственного народа и мог бы лишить Австрию лучших её полков. Необходимо, чтобы вы собрали по этому предмету сведения, более подробные. Граф Капо-д'Истриа вам может быть полезен в этом деле. По всем соображениям кажется, что всего лучше, чтобы вашими действиями вы имели в виду только поддерживать армию Тормасова со стороны Буковины и сделать диверсию в Боснию и Далмацию, принадлежащую Французам. Те же самые сведения согласно показывают, что с этой стороны более всего может угрожать опасность Австрии: там её средства защиты весьма слабы. Рассказывают даже случай, что когда Боснийский паша, подстрекаемый Французами, сделал движение войсками, то сильная тревога произошла в самой Вене. Если наша диверсия на эту границу удастся, то мы с основанием можем предполагает, что мы парализуем Венский двор и весь тот вред, который он нам может причинить. Сообразите внимательно обо всём, что я вам сообщаю и действуйте с тою обдуманностью и гением, которыми вы одарены. Я слишком далеко нахожусь от вас, чтобы направлять ваши действия. Ваше собственное соображение должно помогать в этом случае. Необходимо только, чтобы вы меня известили, кому из ваших генералов вы поручите диверсию, кто останется с другими войсками и где вы сами будете находиться. Если мир с Портою утвердится, то, конечно, большую часть дивизии герцога Ришелье я могу употребить в дело; но если бы, сверх всякого ожидания, он вновь расстроился, тогда эта дивизия необходимо должна оберегать Крым и берега Чёрного моря». Что Государь не предполагал, чтобы этот мир мог расстроиться и тем самым давал направление действиям Чичагова, доказывают следующие слова того же письма: «Я с нетерпением ожидаю получения мирного договора, чтобы распорядиться отслужить молебен и обрадовать Россию, которая ожидает этого происшествия с величайшим нетерпением».

Сведения, полученные Государем в Вильне о направлении Австрийской политики, значительно изменили наши отношения к Венскому кабинету. Хотя Государь ещё не доверял его искренности, однако же, не мог не обратить внимания и не принять в расчет его предложений. Эти предложения вместе с миром, заключённым с Портою, избавляли нас от забот о безопасности южных областей империи

на большем протяжении наших западных границ и давали возможность употребить все находившиеся там войска на главном поприще военных действий. Если Государь и предписывал адмиралу Чичагову угрожать Австрии со стороны Буковины, то это происходило только потому именно, что он ещё подозревал неискренность предложений Венского кабинета. В противном случае и эта мера сделалась бы излишнею. Но тем не менее это новое предположение значительно изменяло первоначальные и отклоняло всякую мысль действовать со стороны Трансильвании, Баната и Венгрии и, в свою очередь, ограничивало более тесными пределами деятельность Чичагова, как ограничил уже её мир, заключённый нами с Портою. Оставалась в виду только экспедиция в Далмацию, которая, однако же, не могла совершиться без содействия Порты и английского флота в Адриатическом море.

В то время, когда адмирал отправил последнее из приведённых нами писем его к Государю и затем получил ответ, он не сидел сложа руки. Лишь только спорный договор был подписан уполномоченными обеих держав, он снова писал к визирю, прося его доставить фирман для проезда в Константинополь Италинскому и Булгакову. «Я задержал отправление нарочного, — писал он Государю, — до тех пор, пока не получу ответа от визиря. Теперь (27 мая) ответ получен, а равно и фирман для проезда Италинскому. Через два дня он уже отправится. Я надеюсь, что приезд Булгакова, Грейга, Чапан-оглу, Татарского султана и сотни пленных турок, которых я отпустил по выходе их из больниц, усилят нашу сторону в Константинополе и подготовят пути к переговорам о союзе. Я совершенно убеждён, что без обещания ходатайствовать перед Вашим Величеством о возвращении пушек и войск, которые были взяты из армии визиря, он снова бы отказал в выдачи фирмана; потому что только после этого моего письма он решился исполнить всё, что мы требовали и сделался сговорчивее. Я уверен, что это обещание произведёт весьма хорошее и большое действие. Сделать его мне предложил князь Мурузи, который хорошо знаком как с положением своей страны, так и с характером своего двора и народа. Надо привлечь на свою сторону визиря, потому что его сёстры находятся в гареме и в большом почёте, что и способствовало его возвышению до этого звания. Буду заботиться о заключении союза и отражении, если только нападут на меня с какой бы то ни было стороны. Сочту себя счастливым, если мне удастся хотя в некоторой степени оправдать ваше мнение обо мне».

Может быть, адмирал Чичагов и был прав, объясняя уступчивость визиря обещанием своим ходатайствовать пред Государем о воз-

вращении Порте пленных и пушек; потому что, отказавши выдать фирманы в то время, когда мирный договор не был ещё подписан уполномоченными обеих держав, визирь мог отказать и теперь на том основании, что этот договор не был ещё утверждён ни Государем, ни султаном.

Лишь только фирманы были получены, адмирал немедленно отправил Булгакова в Константинополь с письмом к Каннингу, а немного спустя выехал туда же и Италинский со всем посольством и с поручением немедленно приступить к переговорам о союзе с Портою. Письмо адмирала к Каннингу может служить доказательством, до какой степени он был уверен, что дипломатические агенты Сент-Джемского кабинета безусловно будут содействовать ему во всех его предположениях. «Я начну с того,— писал он английскому посланнику,— что сообщу вам намерения моего Государя. Ввиду деятельных происков наших неприятелей в Константинополе и важности замышляемых ими враждебных предприятий, в высшей степени необходимо употребить все возможные средства с нашей стороны, чтобы не дать им возможности привести их в исполнение. Его Величество, мой Государь, самым действительным для этого средством считает экспедиции во все возможные стороны, как сухим путём, так и морем. Вследствие этого он желает прежде всего употребить с этою целью здесь находящуюся армию, двинув её чрез турецкие владения к Далмации и Кроации, находящимся под французским владычеством, чтобы они действовали сообразно обстоятельствам. Это требование и должно составить одно из основных начал союзного договора, о заключении которого поручается вести переговоры с турецким правительством г. Италинскому. В этом только и будет заключаться содействие нам со стороны Порты. Выгоды, которые она может извлечь для себя в этом случае, кажется, не могут подлежать сомнению. Эту-то истину вы и должны внушить Оттоманскому министерству, если бы оно могло в ней усумниться, и придать ей надлежащее развитие. Первые мои в этом отношении попытки по приезде сюда с уполномоченными Оттоманской Порты привели меня к тому убеждению, что прежде всего необходимо было заключить мир между моим двором и Портою, а потом уже начать и вести переговоры о союзном договоре в Константинополе. В настоящее время договор о мире уже подписан, Италинский отправляется в Константинополь; но переговоры могут продлиться долго, и потому необходимо, чтобы Порта изъявила, одним своим молчанием, согласие на проход наших войск через её владения».

Предписывая подобный образ действий дипломатическому агенту Сент-Джемского кабинета прежде, нежели у нас был заключён

мир с Англиею, адмирал Чичагов очевидно не подумал, что, может быть, это и не соответствует видам английской политики. Он уже был совершенно уверен, что Англия в этом случае готова сделаться нашею пособницею и потому как Каннингу, так и лорду Бентинку прямо поручал действовать в том смысле, как он желал, чтобы они действовали.

Но одно вслед за другим начали приходить известия, которые всё более и более разочаровывали адмирала Чичагова в отношении к англичанам. «Вчера (15 июня), получил я известие от верховного визиря,— писал он Государю,— об ратификации султаном мирного договора. Размен договоров совершиться не мог, потому что ещё не получено утверждение Вашего Величества. Между тем Турки, по милости Каннинга, возбудили некоторые затруднения. Этот неловкий дипломат, руководящий узкими видами, преследующий мелочные, частные выгоды, нашёл способ достать себе список с нашего мирного договора чрез какого-то путешественника, англичанина Гордона, которому имели неосторожность сообщить его во время его пребывания в Бухаресте. Познакомившись с этим договором и подчиняясь первому впечатлению, он немедленно явился к Турецкому министерству с упрёком, что оно не соблюло выгод своих союзников — Персии и Англии, допустив тайную статью, по которой открывалось нам свободное сообщение через Англию. «Англия, говорил он, не может допустить подобного обязательства»; вообще он принял все меры, чтобы возбудить подозрения султана, который и отверг эту статью. Они также требовали изменения статьи, относящейся до Сербов, говоря, что допущение такого внутреннего у них управления, какое постановлено договором и определение постоянного количества ежегодной дани были не согласны с достоинством султана. Я в этом отношении имел переговоры с турецкими уполномоченными и, выслушав их доводы, объявил им, что если подвергнут малейшим изменениям договор или утвердят с некоторыми ограничениями, то я буду его считать уничтоженным и на другой же день возобновлю военные действия. После этого о Сербах не было и речи более. Турки мне объявили, что самый договор был утверждён султаном и будет разменен, лишь только получится наше утверждение; что же касается до отдельных статей, то султан их не утвердил, и следовательно с своей стороны они ничего не могут сделать в этом отношении. Если одна из этих статей нам временно и нужна, т.е. пока ещё продолжается наша несчастная война с Персиею; зато другая, вследствие отказа султаном в утверждении, для нас выгодна, потому что оставляет крепости Измаил и Килию нетронутыми».

Эти сведения адмирал Чичагов получил от К.Я. Булгакова, который и сам через несколько дней возвратился из Константинополя и привёз ему ответное письмо от Каннинга. Каннинг извещал, что имел свидания с Булгаковым, Грейгом и Италинским, что получил письмо от Неаполитанского посланника в Петербурге Серра-Каприола, приглашавшего его также содействовать Русскому правительству и с своей стороны изъявлял готовность оказывать всевозможное содействие; что сэр Листон, новый английский посланник, уже прибыл в Дарданеллы и что он сообщил ему все эти сведения. «Если верить Оттоманскому министерству, – писал далее Каннинг, – Порта никогда не согласится на союз, с кем бы то ни было до тех пор, пока Франция оставляет её в покое. Я с своей стороны считаю их уверения искренними, и сила их убеждений такова в этом случае, что я убеждён, что я мог бы даже повредить самому делу мира, если б прямо решился побуждать их к заключению союза с Россиею прежде, нежели разменены ратификации мирного договора. После того, как это совершится, необходимо, чтобы последовало весьма много перемен в отношениях обеих держав, которые могли бы расположить к заключению союза. По крайней мере, тогда не представится опасности сделать подобную попытку. По причинам ещё более важным Порта никогда не согласится своим молчанием как бы дозволить пройти русским войскам по своим владениям при настоящих обстоятельствах; потому что такой поступок с её стороны подверг бы её угрозам Франции и не доставил ей тех выгод, которые она могла бы ещё надеяться извлечь из прямого союза. По моему мнению, все эти затруднения зависят от трёх причин: страха войны с Франциею, желания избегнуть тесного союза с какою бы то ни было христианскою державою и недоверия к России. Приняв всё это в соображение, ваше превосходительство поймёте, что надо предложить Порте за союз весьма важные выгоды, чтобы отклонить первые два затруднения. Что же касается третьего, т. е. недоверия к России, то я держусь того мнения, что ничто не послужит к его уменьшению столь действительно, как привлечение Англии к взаимному союзу между Портою и Россиею. Поэтому вы, может быть, хорошо бы поступили, если бы сообщили г. Листону со всею подробностью виды вашего двора в отношении к этому предмету, чтобы можно было приступить к этому делу непосредственно после ратификации мирного договора. Я очень сожалею об этих замедлениях; но лучше их перенести, нежели излишнею поспешностью испортить всё дело».

Это письмо дополняло сведения адмирала о взглядах и действиях представителя английской политики при Оттоманском прави-

тельстве: он не только помешал утверждению султаном добавочных тайных статей к мирному договору, но, без сомнения, точно также противодействовал бы и заключению союзного договора России с Портою. Он прямо выразил, что если и возможно впоследствии думать о подобном союзе, то не иначе, как при участии в нём Англии.

Но все эти сведения не вдруг разочаровали адмирала, увлечённого мыслью о предстоявших ему подвигах. Все эти действия и мнения он приписывал лично Каннингу и надеялся, что новый английский посланник, снабжённый новыми наставлениями от своего правительства, будет действовать иначе. «Г. Листон прибыл в Константинополь, – писал он Государю, – и вероятно он снабжён более обширными полномочиями, нежели Каннинг, который вовсе их не имел и хвастался, что он действует по своему усмотрению. Листона очень хвалят, и я надеюсь, что он будет лучше и совершенно иначе нам помогать, нежели его предшественник». Уведомляя Государя о том, что султан не утвердил отдельных статей, составлявших приложение к договору, Чичагов предполагал, что Государь, воспользовавшись этим обстоятельством, не утвердит этого договора. «Я прошу вас, Государь, – писал он, – не придавать важного значения новому разрыву с Портой. Следя за общим мнением, я совершенно убеждён, что мы можем столько же, если не более, сделать, воюя с турками, как если бы находились с ними в мире. Впрочем, я надеюсь, что Ваше Величество ни в каком случае не поддадитесь внушению людей, которые своими химерическими, плохо обдуманными мнениями и своим упрямством могли бы воспрепятствовать нашим действиям с этой стороны. Если турки будут держать нас в неопределённом положении в отношении к союзу, или, как Каннинг желает заставить меня думать, что союз не может состояться иначе, как с участием Англии, то это будет ещё хуже, нежели война, особенно когда мы условились бы с Англичанами в плане действий. Пока я в этом ещё не убеждён, было бы слишком смело проходить через Боснию, не найдя помощи со стороны моря, которую только одни Англичане и могут оказать нам».

Но всё ещё питая надежду на содействие англичан, Чичагов деятельно готовился к военным действиям. Через несколько дней после этого письма он уведомлял Государя, что у него «всё уже готово, и он может двинуться, куда угодно будет направить его Государю или куда принудят обстоятельства». В отношении к походу через Боснию он представлял Государю следующие соображения: «Эта страна покрыта горами и окружена ими со всех сторон, исключая севера, где прилегают к ней Сербия и Славония, области плодоносные, по которым удобно пройти, потому что дороги хороши и населены жителями,

питающими к нам самое доброе расположение. Этот путь приведёт нас прямо в самое гнездо недовольных и угнетённых. Если мы одержим некоторые успехи, то вся Далмация будет в наших руках, и я войду в непосредственные отношения с горцами, которые только ожидают нашего появления, чтобы восстать. Если я направлюсь по этому пути, то вот, Государь, общий очерк кампании. Я могу из лучших, избранных войск составить отряд от 20 до 30 тысяч человек. Подвижные магазины уже готовы; одно депо будет устроено в Белграде, другое на Дрине, в них будет находиться провиант по 10 тысяч четвертей в каждом, так что достаточно будет для прокормления 40 тысяч человек на месяц, а 20-ти тысяч на два месяцы. Я могу ещё их увеличить, если потребуется нужда. Оттуда я направлю моё движение к Боснии или через Славонию, смотря по обстоятельствам. Я должен объяснить Вашему Величеству, что между этими двумя дорогами такое же почти различие, как между невозможною и удобною».

Чичагов имел целью обратить внимание Государя на различие этих двух путей. Первый на Боснию шёл по Турецким владениям; но в отношении к Оттоманской Порте он не считал нужным стеснять своих действий. Будет ли заключён союз или нет, дозволит ли она, хотя молчаливо, пройти или нет по своим владениям, во всяком случае, сосредоточив свои войска в Сербии, притянув к себе и сербов на помощь, Чичагов намерен был двинуться чрез её владения в Далмацию, хотя бы это обстоятельство разрушило только что заключённый мир и вновь возбудило бы войну.

Второй путь лежал чрез владения Австрии; а в отношении к ней Государь поручал ему действовать с особенною осторожностью и не нарушать неприкосновенности её границ. А между тем путь через её владения из Турции представлял затруднения, почти непреодолимые. Как же советовал он поступать в этом случае? Очевидно, что отношения наши в это время, как к Турции, так и к Австрии были таковы, что и тот и другой путь должны были оставаться закрытыми для Дунайской нашей армии; а это в свой черёд означало, что предположенная для неё экспедиция становилась невозможною. Но, разумеется, на такой мысли не мог остановиться адмирал Чичагов, постоянно увлекаемый мечтою о предстоявших ему подвигах. «Конечно, — писал он Государю, — я буду действовать с крайнею осторожностью и благоразумием в отношении к Австрии, как вы и предписываете мне, Государь; но с другой стороны, что же это за государство, которое служит только тому, кто наиболее делает ему зла? Есть очень простой способ привлечь её на нашу сторону, т. е. сделать для ней более зла, нежели сколько могут сделать для неё Французы. Австрийцы слабы и бес-

характерны, и более, как я вижу, сами встревожены, нежели тревожат других. Их массы ровно не имеют никакого значения: это разнородные части, ничем между собою не связанные. Вот что я узнал о расположении венгерцев. Недовольство всех сословий возросло с окончанием сейма, который заключил эрцгерцог Антоний, заставив утвердить значительные налоги. Они ненавидят теперешнее влияние Франции и ничего не ожидают от военных успехов Наполеона. Им известны его потери в Испании, и это поддерживает оппозицию против него. Народ один несёт всю тяжесть поборов, и так называемые добровольные пожертвования дворянства падают на него же; он убеждён, что выиграет при всякой перемене теперешнего порядка дел, на которую он надеется, как на окончание его угнетения. На сейме было выражено, что положение королевства до такой степени бедственно, что если император не окажет помощи, то они предвидят самые гибельные последствия для общественного благосостояния. Мне говорили, что если бы император предпринял теперь что-нибудь несогласное с конституцией, то это была бы весьма благоприятная минута для наших видов. Несколько воззваний могли бы произвести важные действия. Австрийская Сербия и Иллирия более всего расположены к нам, хотя вообще они и боятся беспорядков Русского нашествия. Строгая дисциплина, карающая злоупотребления, могла бы их скоро успокоить. Она достаточно здесь распущена, и я употребляю все способы, чтобы её восстановить. Я велел прогнать сквозь строй солдата за то, что он убил курицу, которая ему не принадлежала, и, следовательно, было запрещено до неё касаться. В отношении к нашей экспедиции я считаю долгом объяснить Вашему Величеству, что проход через Австрийские владения не может быть и сравниваем с проходом через Турецкие. Если обещания, которые даёт вам этот император, справедливы, то для чего он держит в Константинополе г. Стюрмера, который ненавидит Русских и своею деятельностью вредит нам гораздо более, нежели сами Французы? Для чего он употребляет все средства, чтобы вредить нам? Отказываясь от Славонии и от того влияния, которое мы можем иметь на народы нашего вероисповедания, мы лишаем себя всех средств для действия. Конечно, не следует предпринимать никаких таких мер, которыми можно бы возбудить Венгерцев к вооружённому против нас восстанию; напротив, надо стараться прийти с ними к соглашению, как и угодно Вашему Величеству. Но, только действуя против Австрии, которая их угнетает, возможно привлечь их к себе. Я прошу графа Салтыкова сообщить мне сведения, которые доставлены Штакельбергом, и здесь с своей стороны постараюсь собрать подробные сведения

в этом отношении. Турки входили в Банат, когда воевали с Австриею. Сам визирь там был, они оставались там около 50 дней, брали и делали всё, что хотели, и вышли оттуда только по повелению султана. Это мне кажется доказывает, что затруднения и неприступность Австрийских границ с этой стороны вовсе не так велики, как хотят их представить. Несколько наших казаков и уланов, посланные для наблюдения за путешественниками, внушавшими подозрение, навели такой страх на всю страну, как будто бы мы вторгнулись в неё с целым войском. Я не придумаю даже средств, как бы избавить их от смертельного страха. Чтобы иметь надлежащее понятие о слабости этой державы, Вашему Величеству стоит только припомнить, что её посланник, в то время как я был в Париже, посылал оттуда нарочного для того, чтобы испросить дозволения изменить обувь, согласно требованиям этикета Французского двора; а через несколько месяцев подписал оборонительный и наступательный союз против желания своего государя. Я убеждён, что не найдётся такого учёного, который мог бы отыскать в истории другой пример подобной слабости. Я опасаюсь более всего, что только могут нам сделать неприятели, лишь одного, т.е. поставить нас в положение действовать полумерами. Ваше Величество облекли меня полным доверием, которого могут удостаивать других только великие души; вы дозволили мне действовать, и теперь уже моё дело предохранить себя от такого образа действий, который неминуемо заставил бы нас всё потерять. Только одного вреда я не делаю нашим неприятелям, т.е. такого, который в случае успеха более всего повредил бы нам самим. Чтобы достигнуть этой цели, мне остаётся только следовать тем предначертаниям, которые вы удостоили дать мне в руководство».

Адмирал Чичагов так же мало придавал значения силам Австрии, как и Турции и, по-видимому, нисколько не опасался вызвать её на военные действия на её южных границах. Положение обеих империй, конечно, в это время было довольно затруднительно; но едва ли Дунайская армия, хотя бы и предводимая адмиралом, могла разом не только сокрушить обе империи, но даже и вызвать их на бой. Желая войны, Чичагов, однако же, не мог дозволить себе решительных действий в этом отношении, как совершенно несогласных с волею Государя и потому так опасался, что будет принуждён, может быть, ограничиться полумерами и выговаривал себе некоторое право действовать решительно, основываясь на том доверии, которым удостоивал его Государь, предоставивший его личному благоразумию пользоваться обстоятельствами в отношении к частным действиям, которые, без сомнения, по мысли Государя не могли идти вразрез

с общими видами политики Русского двора в этом случае. Но этих видов не хотел знать и признавать адмирал Чичагов, и потому своим соображениям он давал иное значение. Не считая себя вправе прямо начать военные действия ни против Турции, ни против Австрии, он, однако же, с радостью желал выступить на бой, если бы почин к тому принадлежал той или другой державе. Когда султан по влиянию английской политики не утвердил отдельных статей Бухарестского мирного договора и даже возбудил сомнение в отношении к одной статье и самого договора, касавшейся сербов, то в Константинополе пронёсся слух, что возобновятся вновь военные действия против России. Страх породил этот слух: Турция находилась в бедственном положении и не только не желала, но боялась войны. Большая часть членов дивана считали поступок султана слишком решительным и неблагоразумным. Этот слух достиг и до Бухареста.

«Чтобы представить Вашему Величеству,— писал адмирал Чичагов Государю,— в каком положении здесь находятся дела, я считаю полезным отдать отчёт о том, как я считал нужным действовать, если бы неполное утверждение султаном мирного договора привело к возобновлению военных действий. Слух об этом продолжался несколько дней, и я с своей стороны принял все меры, всё было готово, и стоило только отдать приказ. Я должен был переправиться через Дунай с 30 тысячами войск, снабжённых провиантом на 40 дней. Черноморский флот должен был подойти к берегам Турции с 5 или 6 тысячами войск, которыми я пополнил бы те потери, которые мог иметь во время похода. Я дрался бы со всякими войсками, какими бы ни встретил на пути и которые по всем вероятностям были бы незначительны. Молдавия и Валахия поставили бы тысячи ополченцев, которые вместе с остальными нашими войсками составили бы корпус в 25 или 30 тысяч человек и поддерживали бы безопасность и спокойствие в княжествах. Я надеялся, что таким образом действий нам удалось бы достигнуть более выгодных условий мира. Но если бы не удалось, то я двинулся бы к Константинополю. Но я опасался, чтобы это не был только прекрасный сон и что турки не решатся подвергнуться такой опасности. Их империя рассыпается на куски, и какая-то невидимая сила или, лучше сказать, та сила, которой не достаёт их соседям, поддерживает её существование. Али-паша готов был на соглашение с нами, Греки волновались почти повсюду против Вели-паши. Виддинский паша наш друг; я посылал к нему нарочного с подарком, с целью подготовить его к тому, чтобы он дал нам возможность спокойно переправиться через Дунай и даже помочь нам, войдя в Сербию. Босняк-ага, начальствующий в Рущуке,

также в хороших с нами отношениях; я дозволил ему производить торговлю в этой местности, что доставит ему некоторые выгоды, а вместе с тем и возвысит доходы наших таможен. Болгары и другие племена по ту сторону Дуная только и желают того, чтобы сделаться русскими подданными. Некрасовцы за нас. В Азии я приобрёл себе друга в лице Чапан-оглу, который дал мне честное слово не только не служить самому против нас, но и не давать войск. «Я вдоволь сделал, говорил он мне, я много потерял людей и в то же время расстроил своё состояние; этого довольно на мою долю».

Конечно, этому предположению адмирала и суждено было остаться в области снов, хотя, быть может, и прекрасных, но совершенно неисполнимых, особенно в это время. Турки вовсе не думали открывать наступательных действий, а, напротив, опасались нападения с нашей стороны. Приготовления адмирала, его сношения с греками, сербами и другими славянскими племенами, без сомнения, были известны в Константинополе и возбуждали опасения.

Хотя верховный визирь почитал мир настолько упроченным, что выдал фирманы на проезд в Константинополь нашим агентам; но вслед за тем приходившие известия о деятельности и замыслах нового главнокомандующего Дунайскою армиею постепенно ослабляли эту уверенность. Поэтому как Италинского, так Булгакова и Грейга приняли в Константинополе далеко недружелюбно. Булгаков в первые дни по приезде в Константинополь не мог ни к кому из турецких сановников получить доступа. Потом с ним обошлись дружелюбнее, что адмирал Чичагов приписывал влиянию Чапан-оглу и других пленников, отпущенных им на свободу. Но вероятнее эта перемена произошла под влиянием на диван лорда Каннинга и генерала Таваста, которые в личных отношениях оказывали всевозможные услуги нашим агентам. Италинский, приехав в Константинополь, на другой же день отправил переводчика известить о своём приезде министра иностранных дел Оттоманской Порты, но рейс-эфенди его не принял. Не без затруднений удалось Италинскому повидаться с рейс-эфенди в качестве частного человека и сообщить ему о видах нашего кабинета. Частным же образом потом сообщил ему рейс-эфенди отзыв султана, что о союзе и речи быть не может, пока не будет получено утверждение мирного договора Государем.

Таким образом, отсрочивалась возможность осуществить предположенную к Адриатическому прибрежью экспедицию не только с содействием Порты, но и при молчаливом её согласии на переход наших войск через её владения. Но адмирал Чичагов понимал

очень хорошо, что если бы турки даже и не воспрепятствовали этой экспедиции, то всё-таки она не могла привести к благоприятным последствиям без содействия английского флота. «Содействие нам Англичан, — писал он Государю, — составляет одно из главнейших условий для успеха нашего предприятия; потому что, проникнув в Далмацию или какую бы то ни было страну Адриатического прибрежья, мы не получим от них ни провианта, ни других вспомоществований и поставим себя в чрезвычайно затруднительное положение. Если Англичане за нас, то дай Бог, чтобы Турки были против нас». Следовательно, мы должны были начать вновь военные действия с Турцией, что, по мнению адмирала, не только не могло помешать экспедиции в Адриатику, но даже помочь ей; потому что в этом случае он считал возможным прямо возмутить против Турции все подвластные её христианские и славянские племена и действовать с ними совокупно. Приписывая мнения, выраженные агентом английской политики, лично Каннингу, Чичагов в каждом почти письме к Государю просил уведомить его о наших переговорах с Англиею, полагая, что Сент-Джемский кабинет будет действовать иначе.

В то время как он писал приведённые выше строки, он получил от Государя следующее известие: «Спешу известить вас, что военные действия уже начались. Французы напали на нас со стороны Ковны. Теперь у вас развязаны руки, вы можете начать вашу экспедицию; но во всяком случае не иначе, как согласившись наперёд с Портою. Медленность, с какою я получаю от вас известия и неизвестность о ратификации султаном мирного договора, меня несколько смущают. После того, что я уже писал вам, необходимо поддерживать мирные отношения к Австрии, чтобы не сделать из неё более опасного врага, нежели какова она теперь, решившись, как кажется, действовать против нас только 30-тысячным вспомогательным корпусом. Мне кажется, что в этом случае вы можете быть совершенно безопасны со стороны Венгрии и Трансильвании. Остаётся только сообразить, когда вы двинетесь в Далмацию. Не полезнее ли будет войска, которые вы оставите против Буковины, передвинуть к Могилёву (на Днестр), чтобы поддержать левое крыло генерала Тормасова, или к Хотину и Каменцу, если он в состоянии будет удержаться в положении ближе к нашим границам. Предоставляю это решить вам самим; но для того, чтобы начать действия, надо быть более уверенным в окончательных решениях Турок, нежели я уверен в настоящее время. Я опасаюсь, чтобы приезд Андреосси не помешал нашим заботам о скорейшем утверждении мирного договора. С нетерпением

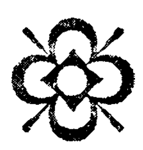
буду ожидать от вас известий и сам буду сообщать обо всём, что будет здесь происходить»*.

Это письмо полагало конец нетерпению адмирала. Государь уполномочивал его приступить к военным действиям; но он считал их возможными не иначе, как в соглашении с Оттоманскою Портою и не затрагивая Австрии**.

---

* Письмо императора Александра I адмиралу Чичагову из Вильно от 13 июня 1812. В другом переводе, в некоторых моментах отличном от этого, письмо опубликовано в *Русской Старине*, 1902, № 1, с. 218–219 *(прим. ред.)*.

** Обширная и важная в историческом плане переписка Александра I и адмирала Чичагова за 1812 год опубликована, хотя и далеко не полностью. См. *Сборник Русского Исторического общества*, Т. VI, СПб., 1871 (письма адмирала Чичагова императору Александру I); *Русская Старина*, 1901, № 1, с. 218–222 (четыре письма Александра I Чичагову: 13 июня – 18 июля 1812); *Военно-исторический* сборник, 1912, № 2, с. 151–169; № 3, с. 197–214 (12 писем Александра I адмиралу Чичагову: 12 мая – 21 ноября 1812); *(прим. ред.)*.



Глава 7

Планы экспедиции в Далмацию и Иллирию. – Характер адмирала Чичагова. – Планы заключения союза с Турцией. – Позиция канцлера графа Румянцева. – Решение императора Александра I. – Затруднения при заключении союзных договоров с Англией и Швецией. – Заботы о Петербурге.

Со дня отъезда императора Александра I из Вильны и до отбытия армии из Полоцка, в продолжение трёх недель, его занимали преимущественно вопросы о военных действиях; но и дела внутреннего управления и внешней политики обращали на себя внимание и требовали забот и трудов. Его переписка с графом Румянцевым, графом Салтыковым, наследным принцем Шведским и адмиралом Чичаговым может служить доказательством. Переписка с последним имела весьма важное значение и в военном отношении. В это время Молдавская армия получила новое назначение.

Император, давая согласие адмиралу Чичагову начать экспедицию в Далмацию, ставил её в зависимость от двух обстоятельств. Он уполномочивал его действовать не иначе, как по соглашению с Оттоманскою Портою и не затрагивая Австрии*. Между тем, адмирал Чичагов успех этой экспедиции считал возможным не иначе, как при содействии Англии, и вовсе не придавал никакого значения ни Турции, ни Австрии. Отвечая 19 июня на письмо Государя, он писал ему: «Вы разрешаете мне действовать, но не иначе, как по соглашению с Портою. Таким образом, я опасаюсь, что дело может затянуться на неопределённое время. Прикажите мне идти направо и налево, не ограничивая условиями, которые зависят от посторонних и неопределённых причин. Если бы союз с Турками можно было заключить в несколько дней, то они ещё пригодились бы нам на что-нибудь: но если он может быть заключён не иначе как через два-три месяца, то он не только

---

* Письмо императора Александра из Вильны от 13-го июня 1812 г. Оно было напечатано в «Русском Архиве», 1892, в статье А. Н. П о п о в а: «Эпизоды из истории Двенадцатого года». *(прим. ред. Русской Старины).* Здесь неточность: полномочия действовать по соглашению с Турцией и с оглядкой на Австрию Чичагов получил ещё в письме Александра Павловича от 7 июня 1812, см. главу 6 части I настоящего тома *(прим. ред.).*

не принесёт пользы, но сделает нам помеху, потому что и несмотря на Турок я даю обещание исполнить ваше повеление. Но в таком случае я умоляю Ваше Величество предоставить в полное моё распоряжение герцога Ришелье или, лучше сказать, те войска, которые состоят под его начальством, и чтобы уже никто не мешался в дела этой части империи. Я даю слово, что обеспечу Крым от всякого нападения. Если я присоединю к себе ещё 8 или 9 тысяч человек из дивизии герцога, я вооружу ещё в короткое время тысяч 30 или 40 из молдаван, валахов и сербов, затем мой снежный шар, по мере движения вперёд, всё будет более и более увеличиваться. Если Англичане не помогут нам предпринять диверсию в Далмацию, я пойду с большею частью войск против Турок, чтобы не терять времени, а Молдавия и Валахия, которые в отчаянии от того, что мы заключаем мир с Турками, сами себя защитят с частью моих войск от всякого вторжения. Если Австрийцы не поведут против нас других войск, кроме 30-тысячного корпуса, то мне кажется, что армия Тормасова не будет нуждаться в подкреплении. Но наперёд нельзя ничего угадать; мне нужно знать, какие я получу известия из Константинополя с первым нарочным, а Ваше Величество прошу наперёд решить, могу ли я предпринять диверсию, если переговоры о союзе не подвинутся вперёд, заявив только наперёд, что я с этой стороны очищаю Валахию и потом постараюсь привести в исполнение наше предположение, не обращая внимания на возражения турок и отражая их нападения. Вы ничего не изволите писать мне об Англичанах: в каком положении находятся наши переговоры с ними. Я не опасаюсь нападения со стороны Трансильвании и Венгрии, они будут очень счастливы, если только я не нападу на них; но эти проклятые Турки мне вяжут руки. Я не могу составлять отрядов из христиан, которым гораздо было бы приятнее видеть нас в войне с Турками, нежели в мире: не могу никуда двинуться, не зная — будут ли они с нами или против нас. Я вижу теперь, Государь, что политика должна предшествовать военным движениям, в противном случае чрезвычайно трудно отгадать в какую сторону следует идти. Андреосси приедет позднее Италинского. Листон и Таваст уже там и я надеюсь, что они скоро помогут мне выйти из моего бедствия. Но как бы ни пошли дела, мне кажется, что Ваше Величество не можете ожидать с этой стороны ничего опасного. Мы хорошо устроим свои дела, только бы линия защиты не сделалась слишком длинною и армия Тормасова обеспечила бы север Молдавии. Через несколько дней, быть может, наше положение объяснится мне ещё более, и я поспешу вас уведомить. Но после всего того, что я имел уже честь сообщить

Вашему Величеству, я полагаю, что вы или положительно решите, что я должен делать, или предоставите мне действовать сообразно обстоятельствам, если бы даже они вынудили меня возобновить войну с Турками».

Сличая письмо Императора с ответом на него адмирала Чичагова, оказывается, что их взгляды совершенно разошлись между собою. Император, разрешая ему начать военные действия, разумеет именно экспедицию в Далмацию, т.е. совершенно остаётся при первоначальной мысли, на основании которой и была составлена им инструкция адмиралу при его назначении главнокомандующим Дунайскою армией. Но во взглядах адмирала Чичагова произошла уже значительная перемена: мысль об одной экспедиции почти утратила всякое значение после того, как с поприща отвлечённых воззрений, не основанных на опытности и знании как местных обстоятельств того края, где пришлось ему действовать, так и политических отношений России к Европейским государствам, силою обстоятельств он был поставлен на поприще действительности. В это время он начал уже сомневаться в возможности союза с Портою, который он полагал так легко заключить с нею; он усомнился даже и в помощи и сочувствии Англии к такой политике России, которая повлекла бы за собою освобождение христиан, подвластных Порте. Император смотрел на порученную ему экспедицию только с военной точки зрения, в связи с общим планом военных действий, как на одно из движений, находившееся в соотношении с действиями всех других войск. Но этой связи уже вовсе не сознавал в это время адмирал Чичагов, создавая себе особый, независимый план действий, целью которого было не отражение вторгнувшегося в Россию неприятеля, но завоевание Константинополя и изгнание турок из Европы.

Неужели же этого коренного различия не понимал адмирал Чичагов, считавший себя одним из самых преданных людей Императору, готовым исполнять все его предначертания?

Чтобы отвечать на этот вопрос, мы должны обратить внимание на одну из особенностей характера адмирала Чичагова.

В приведённом его ответе на письмо Государя он предлагал, чтобы «никто не вмешивался в дела» южных областей России, защиту которых он принимал на себя. «Я должен умолять Ваше Величество, — писал Чичагов 19 июня, — чтобы вы запретили тревожить меня, как это теперь делают, вмешиваясь в разные назначения. Скоро я выйду из пределов круга действия нашей администрации и буду в безопасности от её покушений, почему же не предоставить мне и прежде право независимости от неё. То у меня отнимают генералов, то докторов

и т.п. Ведь ничего нельзя сделать без людей; если и в этом отношении не буду обеспечен, то что же важного я могу сделать. Я умоляю вас также предупредить Военного министра, чтобы он не посылал мне приказаний от своего имени, – я их не приму. Я его ценю и уважаю, но не так, как начальника, потому что у меня только и есть один начальник», т.е. сам Государь. Адмирал был очень недоволен переводчиком Бароцци и хотел удалить его; но прежде, нежели он привёл в исполнение своё намерение, Бароцци, по собственному прошению, получил увольнение чрез Министерство иностранных дел. «Я очень этому рад, – писал он Государю, – потому что вовсе не хотел ему делать зла; но желал только избавиться от бесполезного человека. Но тем не менее справедливо и то, Государь, что подобный способ отзывать чиновников, без ведома их начальника, может быть весьма опасен для службы. Если бы я имел в нём нужду, то Ваше Величество, конечно бы, у меня его не взяли; не имея в нём нужды, я и без этого уволил бы его. Следовательно, это распоряжение было излишне и не стоило труда его делать. А между тем, от этого страдает дисциплина, потому что даёт повод надеяться, что можно всегда найти окольный путь в ущерб власти начальника. Не знаю, извините ли вы меня, Государь, за это сообщение, но я не считаю нужным что-либо скрывать от вас, особенно в такое время, когда необходимо восстановить порядок почти по всем частям. Моя личность при этом вовсе ни при чём, клянусь, что я не уязвлён и бесстрашен в этом случае; но разум и долг заставляют меня так говорить». Когда генерал Комнено удалился из его армии, получив чрез управляющего Военным министерством другое назначение, адмирал был крайне недоволен и писал Государю: «Князь Горчаков пишет с одной стороны, князь Волконский с другой, требуют и берут у меня кого хотят. Но я не буду исполнять их распоряжений, если не получу приказания Вашего Величества»[1].

Действительно, подобного рода распоряжения, без ведома главнокомандующего, не должны быть допускаемы; но дело в том, что немногие охотно оставались служить под начальством адмирала. Его надменное и дерзкое обращение вынуждало удаляться весьма многих из Дунайской армии и, конечно, Военное министерство и другие не могли не уважать их прошений. Но с другой стороны, желание адмирала совершенно отрешиться от центрального русского управления и действовать независимо ни от кого, кроме Государя, точно так же неуместно, если его действия должны были находиться в общей связи со всеми другими. Но этой-то связи он и не хотел знать, – он создал себе особый план действий и желал действовать самостоятельно. Его притязания в этом отношении шли ещё далее. Его план был со-

вершенно не согласен с предложениями Императора. По его мнению, если самодержавный Государь облекает кого-либо своим доверием, то он делает его таким же самодержавным, как он сам, и поэтому должен предоставлять ему полную свободу действовать по своему усмотрению, сообразно с обстоятельствами. Но этой мысли он не выражал, хотя решительно в своих письмах как бы хочет навести на неё самого Государя.

В последнем приведённом выше письме, он по-видимому не решается приступать к действиям, не получив сведений из Константинополя, которых постоянно ожидал, или прямого указания со стороны Императора, или, наконец, полномочия действовать по своему усмотрению, однако же, не дождавшись ничего, через несколько дней, 26 июня, он уже писал Государю: «Диверсия начата. Авангард под начальством графа Орурка войдёт немедленно в Сербию. Продовольствие уже находится в движении, другие войска последуют за ними и обгонят их. Положение, в котором я нахожусь, не допускает промедлений и ещё менее нерешительности. Переговоры не могут окончиться скоро, потому что всем выгодно их затягивать. Мешать нам действовать, держать нас в неизвестности, что мы можем предпринять, — это значит одерживать над нами победы, потому что этим способом можно воспрепятствовать нам привести в исполнение наши предположения и нанести величайший вред нашему главному неприятелю. Я не имею ещё никаких известий от Италинского, тогда как Каннинг, как изволите увидать из письма его, пишет к Серра-Каприола, что мысль о союзе до такой степени противна Туркам, что о ней и говорить не следует. Каждый желает выждать, к каким последствия поведёт начавшаяся на севере война. Турки, Англичане, Австрийцы — все ожидают, как разовьётся война. Поэтому надо было решиться действовать так, чтобы вывести их из выжидательного положения. Руководствуясь твёрдою решимостью Вашего Величества, чтобы экспедиция совершилась, будет ли или не будет заключён союз с Турцией, вот каким образом я предполагаю действовать в отношении к Порте. Одно из главных оснований предполагаемого союза должно заключаться в том, чтобы мы воспользовались содействием христианских племён для общего дела. Если Турки на это не согласятся, то мы воспользуемся ими и без их дозволения. Я начинаю образовывать войска из молдаван, валахов и сербов. Их число будет простираться до 50 тысяч, в том числе 20 тысяч сербов. Описание их устройства я представлю со временем Вашему Величеству. У нас здесь 48 тысяч русских войск под ружьём и 6 тысяч мне привезёт из Крыма Черноморский флот. Общее число будет простираться до 104 тысяч человек; при этом про-

вианта в изобилии, в какую бы сторону я ни двинулся, — к Дунаю ли, к границам Австрии или в Сербию. Денег у меня уже очень достаточно, однако же, я был бы очень доволен, если бы получил ещё, потому что при подобных предприятиях они никогда не бывают излишни. Корпус в 20 тысяч направится в Сербию, чтобы потом через Боснию двинуться в Далмацию или чрез Славонию в Кроацию. Эта последняя дорога значительно облегчила бы наши труды. Проходя этою областью, мы не делаем никакого покушения на Венгрию, потому что она не входит в состав этого королевства. Славонцы наши соплеменники и составляют отрасль сербов, они будут очень рады соединиться с нами, и если дело пойдёт успешно, то я уверен, что и сами Австрийцы не будут роптать на нарушение неприкосновенности их территории, но, во всяком случае, их гнева нечего бояться. Оттуда я вдруг окажусь между недовольными всех частей света; со мною будет несколько тысяч оружия, которые я соберу здесь отовсюду. Я уверен, что корпус сербов из 15-ти или 20 тысяч последует за мною повсюду; у меня есть много оснований предполагать это. Сербы очень любят генерала графа Орурка, — для него они сделают более, нежели для всякого другого. Ваше Величество приказали мне взять с собою Александровскую ленту и несколько Анненских для сербских вождей и депутатов, но я полагаю, что при них необходимо иметь и ваши рескрипты, поэтому я прошу прислать их мне, а равно и патент на чин полковника для графа Лейнингека, если он ещё не получил его. О состоянии наших переговоров с Англиею мне необходимо иметь сведения, чтобы знать, как я должен относиться к ним. Я не знаю, условятся ли они в чём-нибудь с контр-адмиралом Грейгом, — имеют ли они для этого полномочия.

Я писал к генералу Зассу, пригласив его приехать сюда; я дам ему начальство над войсками, которые здесь оставлю; говорят, что это очень способный генерал и пользуется доверенностью всех своих товарищей по оружию. В случае мира, 20 тысяч русских и 30 тысяч молдаван и валахов будут готовы, чтобы противостоять австрийцам; а 8 тысяч могут войти в Сербию, когда я выйду из неё, чтобы не оставлять их одних. Но если Турки возобновят войну, 10 тысяч русских с 20 тысячами молдаван и валахов могут не только защищаться, но и вести наступательную войну, если потребуют обстоятельства. В этом случае, пять или шесть тысяч, которые прибудут из Крыма, могут их подкрепить; а 15 тысяч русских с 10 тысячами молдаван и валахов могут быть противопоставлены Австрийцам. По всем сведениям, самым верным, которые мне удалось собрать, Турки находятся в такой слабости, что с 30 тысячами, в продолжение месяца, я буду в состоянии подвинуть нашу границу к Балканам, которую будет гораздо удобнее

защищать, нежели по Дунаю. Если покажется Турецкий флот, то наш получит приказание идти ему навстречу. Это нашему флоту будет поручено охранять Крым от всякого нападения, если бы Турки задумали его сделать, что совершенно невероятно ввиду того обстоятельства, что они с величайшим трудом могли бы собрать войска и для собственной защиты»*.

Широкие воинственные замыслы очень ясно выражаются и в этом письме. Войну с турками адмирал считает лёгкою и гораздо более полезною, нежели мир с ними. Неудачу покончить эту войну он приписывает неспособности своих предшественников, имея в виду только слабости Турции и вовсе не понимая отношений к этому вопросу политики Европейских государств. Свой взгляд на дело он подкреплял и своими действиями: образуя ополчения из подданных Турции, он явно вызывал её на войну, которую считает до такой степени лёгкою, что в один месяц обещает отодвинуть наши границы до Балканских гор; щадя Венгрию, он в то же время, однако же, считает неважным делом нарушить неприкосновенность австрийской границы, и на случай, если бы, паче чаяния, австрийцы этим обиделись, он приготовляет отпор их наступательным действиям. Но всё это выражается, как предположения на случай только возможных обстоятельств, между тем за действительную цель действий выдаётся то, что он исполняет высочайшую волю, начиная порученную ему экспедицию в Далмацию, которую он сам же считает невозможною без содействия англичан.

Такое двусмысленное значение этого письма ввело бы в заблуждение Императора, который полагал, что адмирал начинает свои действия именно в пределах, предписанных ему инструкциею, и намеревался действительно развязать ему руки, послав ему полномочие действовать по своему усмотрению, которого он так желал. Но многочисленные заботы не дали ему ещё времени исполнить своего намерения, как он получил новое письмо от адмирала, от 29-го июня, которое не оставляло уже никакого сомнения в отношении к тому образу действий, которому он намерен следовать. «Не так давно я имел честь уведомить Ваше Величество, — писал он Государю, — о том, каким образом намерен я действовать теми средствами, какими могу располагать. Успех предприятий зависит от верности расчёта и мудрости соображений. Вероятности успеха человеческих действий находятся также в зависимости от средств, которыми можно располагать для их исполнения. Лишь только средства изменяются, должны измениться

---

* Письмо адмирала Чичагова императору Александру I от 26 июня 1812 *(прим. ред.)*.

и расчёты, соображения становятся непригодными к делу и чрез это предприятию может грозить или отчасти, или полная неудача. У нас управление так сложно или, лучше сказать, так перепутано, что никак нельзя рассчитывать, чтобы данное положение дел могло не измениться вдруг и удержаться хотя бы на самое короткое время. Я уже имел случай жаловаться Вашему Величеству на беспорядок, который причиняется делам распоряжениями различных ведомств: отнимают у вас то, что вам нужно, дают вам то, в чём вы не нуждаетесь, — и это беспрерывно. Никогда нельзя быть уверенным — удастся ли окончить то, что начинаешь, и эта неизвестность и лишает усердия исполнителей, которым постоянно могут дать другое назначение. Я, может быть, и не стал бы более говорить об этих затруднениях, чтобы не беспокоить Ваше Величество, если бы меня не вынудило к этому весьма важное обстоятельство. Герцог Ришелье уведомил меня, что Ваше Величество предполагаете двинуть на Игумен те 12 батальонов, которые находятся в Крыму и должны быть в моём распоряжении. Мир с Турками, вероятно, дал повод к такому передвижению этих войск. Да позволено мне будет напомнить вам, Государь, о вашей твёрдой решимости не удовольствоваться миром, который без оборонительного и наступательного союза может быть гибелен. Вы изволите настаивать на этом союзе, который до сих пор стараются отклонить наши враги, употребляя против нас самое опасное оружие, т.е. увёртки, отсрочки и замедления. Давно уже я должен был получить известия от Италинского, но они не приходят, — вероятно, он ничего не имеет мне сообщить, может быть даже он не имел аудиенции. Пользуются всем, чтобы как-нибудь затянуть дело, а в предлогах нет недостатка. Италинский отправился без правильных полномочий; размена ратификаций ещё не последовало, что, по всей вероятности, выставляют нам причиною, чтобы не начинать даже переговоров о союзе. При таком положении дел Ваше Величество не можете считать этот мир ничем иным, как временною и обманчивою сделкою, если он ещё не придаст поверхности над нами Порте, чему не бывало ещё примера и чего я предполагать не могу. При обстоятельствах таких сложных и затруднительных, долг каждого из нас состоит в том, чтобы предвидеть и приготовить средства для устранения затруднений, которые всегда могут возникнуть. В этом случае необходимо полное доверие к тем средствам, которые можно употребить. Невозможно же предписать себе стеснительный образ действия, надо уметь придать ему б льший простор, чтобы по обширности своей он соответствовал тем чрезвычайным обстоятельствам, на высоте которых следует держаться. Общие основания могут оставаться неизменными, но способ ис-

полнения может изменяться и улучшаться; на основании, однако же, верных данных, 12 батальонов, присоединяясь к 300 тысячам, прибавляют лишнюю каплю к морю, здесь от них может зависеть судьба империи. Предвидя, что мир может разрушиться, я писал к герцогу Ришелье, чтобы он содержал войска наготове сесть на суда. Точно также предписал и флоту изготовиться принять их, и вдруг оказывается, что мои приказания уничтожены, и герцог должен поступать совершенно иначе, нежели как я его известил. Конечно, всё должно преклониться пред высочайшею волею, но для ней самой необходимо, чтобы распоряжения лиц, которые являются её же орудиями, не были презираемы. В то время, когда война с Турками не имела другого значения, кроме временных расчётов между двумя враждующими государствами, в распоряжении главнокомандующего находилось 150 тысяч человек, теперь же, когда эта война для приобретения более важных выгод готова возобновиться, когда другое могущественное государство, того и гляди, объявит себя против нас и когда дело идёт о приведении в исполнение важнейших предположений, войска, убавленные до трети этого числа, у которых даже недостаёт ещё 10 тысяч до полного их состава, лишаются единственного подкрепления, на которое они могли рассчитывать. Ввиду этих обстоятельств, я умоляю Ваше Величество оставить дело в прежнем положении, по крайней мере, до того времени, когда я буду иметь честь известить вас, что то или другое пособие мне нужно.

Я занимаюсь образованием местных ополчений; но крайне необходимо, чтобы в составе их была хотя треть наших войск, чтобы придать им некоторое боевое значение, в противном случае они не только не принесут пользы, но будут лишь отягощать нас. Если до получения этого письма, Ваше Величество уже вывели войска из Крыма, то я умоляю вас прислать мне рекрутов из запасов для пополнения моей армии, без чего я буду крайне затруднён во всех действиях, какие бы я ни предпринял.

Но при тех средствах, которыми я могу располагать, соображая настоящее положение дел в Европе, я прихожу к некоторым заключениям, которые осмеливаюсь представить вниманию Вашего Величества.

Заключение союза с Турками, на основании всех известий, которые я имел честь сообщать вам, встретит чрезвычайные затруднения и заставит напрасно весьма много потерять времени. Без союза и искренней и деятельной помощи Турок, мы, вследствие мира, лишим себя всех средств, которые предоставляет нам война с ними, а соединённые вместе они составят две трети их империи. Поэтому,

я повторяю, Государь, этот мир, несчастное последствие многих ложных соображений, или будет обманчивым или повлечёт за собою самые гибельные последствия, если мы не решимся одним ударом разрушить то зло, которое причинили многолетние дурные военные действия и ложные политические соображения. По моему мнению, исправить это возможно только одним способом,— это подвигаться вперёд с мечем в одной руке, а другою, предлагая союз, идти до самого Константинополя и там предписать законы Востоку Европы. Там мы найдём людей, деньги, корабли, и всё это будет в нашем распоряжении. Не то же ли самое делает Наполеон в настоящее время: он ведёт переговоры и наступает. Но взять вместо него Константинополь было бы поистине апоплексическим ударом для Наполеона и для всех тех, которые желают распоряжаться им. Мне не нужно распространяться о пользе великого впечатления и той перемене, какие произвело бы это происшествие во взглядах и в политике всех государств. Все были бы изумлены, и Ваше Величество воспользовались бы этим всеобщим изумлением. Но необходимо доказать, что это дело возможное, что я и постараюсь объяснить.

Прежде всего, позвольте просить Ваше Величество сохранить это в глубокой тайне и лично самому выразить решение. Вашими советниками в этом случае могут быть только ваше собственное понимание всяких предприятий и доверие к тому, кто делает вам такое предложение. Другие смотрят на вещи лишь поверхностно, издали и большею частью неправильно, что происходит от ложных понятий, узких и пристрастных видов. Если мы не станем в уровень с обстоятельствами, мы сделаемся ниже их — и всё будет потеряно.

Но как всё относительно и о всяком деле можно судить только по сравнению с другими, поэтому я должен откровенно сказать Вашему Величеству, что нельзя почти и сравнивать неверные и незначительные выгоды диверсии, которой исполнение соединено с величайшими затруднениями во время похода и др., с огромными выгодами и верностью и удобством исполнения последнего предположения. Взглянув на карту, нельзя не заметить, что переход отсюда в Далмацию, Кроацию и Иллирию через Боснию гораздо длиннее, затруднительнее и почти непроходимее, сравнительно с большою дорогою, которая ведёт через Адрианополь или берегом моря к Константинополю. Притом, перейдя Дунай, мы встретим болгар и другие племена, которые нам до такой степени преданы, что они просили графа Каменского освободить их от турецкого ига. Греки, которые будут на нашем левом крыле, только и ожидают этого случая. Они говорят, что если русские не хотят нас освободить, надо, чтобы эта честь при-

надлежала нам самим. И какие последствия, Государь! Все турецкие области, до самых границ Албании, подпали бы под нашу власть, тогда мы могли бы действовать во все стороны, проходя странами, преданными нам душою и сердцем. Герцеговинцы, черногорцы, босняки, из которых пять шестых христиане, откроют нам свои дороги, свои порты и сами готовы служить нам, тогда как с другой стороны ничего нет определённого, мы не имеем верных сведений ни о политике, ни о статистике страны. Наши будущие союзники жеманятся (font la petite bouche), а когда мы возьмём Константинополь, они будут у ваших ног. Я составил подробный план, каким образом следует осаждать этот город и во время своего процветания и силы; все, кто ни занимался этим вопросом, убедились единодушно, что достаточно 40 тысяч, чтобы его взять. Соберу почти столько же, если Ваше Величество не убавите тех войск, которыми я теперь могу располагать. Сербы предлагают 42 тысячи для защиты их страны, они дадут половину, чтобы идти против турок; но, быть может, я могу оставить от 7 до 8-ми тысяч русских, которые бы, вместе с 15 тысячами сербов, могли начать диверсию или прийти ко мне на помощь, если бы это оказалось нужным. Если Константинополь будет в наших руках, то 8 тысяч произведут гораздо более впечатления на неприятелей в Далмации, нежели могли бы при других обстоятельствах произвести 40 тысяч. Если Наполеон подвигается к северу — будем подвигаться к югу; если он пойдёт к Петербургу — заставим его трепетать в Константинополе, который занимает его гораздо более. Отсрочки и колебания вынуждают меня требовать решительного ответа от Порты, что я и намерен сделать чрез Италинского. Между тем, если Ваше Величество мне дозволите, я сделаю все приготовления, которые на деле уже существуют, и, по получении ваших приказаний, двинусь в поход. Я умоляю вас сообщить их мне как можно скорее.

Я ожидаю некоторых возражений со стороны уполномоченных Порты относительно образования ополчения в Молдавии и Валахии, что я предполагаю предпринять как такую меру, которая должна служить основанием для союзного договора, без которого и самый мир существовать не может. Эта мера нисколько не препятствует тому доброму расположению, которое мы желаем установить в отношениях наших к Порте и которое зависит единственно от ней самой. Не странно ли это, Государь, что ещё недавно сами Турки предлагали нам союз и мы не желали и говорить о нём, а теперь они его не хотят.

В заключение я осмеливаюсь повторить, Государь, что предприятие, которое я предлагаю, гораздо легче, проще и вернее, гораздо выгоднее и славнее, нежели то, которое мы имели в виду. Недостаточ-

но ли этих причин, чтобы отложить первое и воспользоваться благоприятными обстоятельствами, чтобы привести в исполнение второе.

Когда я выступлю в поход и флот получит своё назначение, он может делать высадки, угрожать разным местностям и заставить Турок потерять совсем голову.

Ваше Величество удостоили меня выражением своей ко мне доверенности. Теперь настало время, Государь, доказать, что вы имеете ко мне действительно доверенность. Позвольте мне действовать и не обращайте внимания на все те крики, которые подымутся против меня за разрушение этого славного мира. Время решает, хорошо ли была задумана мысль, и успех придаёт ей значение мудрости или глупости. Будьте уверены, как вероятно вы и уверены, что только неожиданные предприятия, потому что только немногие могут понимать их значение, могут произвести такое влияние, которое в настоящее время могло бы соперничать с предположениями нашего врага, необыкновенного по своему гению»*.

Я привёл почти целиком это письмо адмирала Чичагова, потому что в нём выражены ясно и отчётливо его мысли и предположения об образе действий, на который в предшествующих его письмах к Императору встречались только намёки и указания. Вероятно, этими намёками и указаниями он хотел навести самого Императора на такие же предположения, но, разочаровавшись в этом отношении, решился, наконец, выразить их ясно и ручаться за успешное их исполнение.

Образ мыслей адмирала развивался постепенно. Выезжая из Петербурга, он был убеждён как в важном значении экспедиции в Далмацию и Иллирию, так и в лёгкости привести её в исполнение. Его мысль была встречена с сочувствием Императором, как давно ему известная по советам Бернадота, но которую, вероятно, он считал неисполнимою, быть может и потому, что не имел в виду человека, которому считал бы возможным поручить её исполнение. Таким лицом выдвинул сам себя адмирал Чичагов; Император охотно ухватился за возможность привести в исполнение мысль, которая и его занимала, и наскоро, перед самым отъездом в Вильну, набросал ему инструкцию.

Но вера адмирала Чичагова в успех этой экспедиции основывалась на той ложной мысли, что с одной стороны турки вступят с нами в союз и будут действовать заодно, а с другой англичане будут охотно содействовать нам всеми способами, а главное — флотом. Заключение оборонительного и наступательного союза с Портою представлялось

* Письмо адмирала Чичагова Александру I от 29 июня 1812 *(прим. ред.)*.

ему делом весьма лёгким. Даже по приезде в Бухарест, узнав о заключении мира, он приписывал неуменью или оплошности графа Кутузова, что вместе с тем он не заключил союза с Портою. Но познакомившись поближе с обстоятельствами, он понял всю несправедливость этого обвинения и сам признался в том Императору. Убеждённый, что заключение союза с Портою не встретит затруднений, он поздравлял Императора и канцлера с заключением мира и считал его счастливым событием для России в это время, но впоследствии взгляд его изменился. Узнав то бессилие, в каком находилась в это время Турецкая империя, он понял, что союз с нею едва ли мог доставить нам важные выгоды; осведомившись о действиях Стратфорда Каннинга, он понял первоначально, что заключить этот союз весьма трудно, а потом, что совершенно невозможно ввиду неблагоприятных влияний на Порту как наших друзей, так и недругов. В этом вопросе английская политика шла рука об руку с политикой Франции и Австрии. «Её представители в Константинополе, – писал он впоследствии, – ввиду невероятной опасности для Индии в отдалённом будущем, забыли о современной и общей опасности. Такова политика Англии: малейшая тень опасности для её колоний достаточна для того, чтобы она изменила свою внешнюю политику и пожертвовала выгодами своих союзников».

Вместе с тем, он понял ещё другое важное неудобство, которое могло произойти от союза с турками. Главнейшее условие этого союза должно было состоять в том, чтобы Порта дозволила сербам и другим славянским и христианским племенам, им подвластным, действовать совокупно с нами, потому что они не имели достаточно войск и способов их составить. Но эти племена могли и готовы были действовать совокупно с нами единственно с целью освобождения их от турецкого ига. Но, заключив союз с султаном, могли ли бы мы содействовать освобождению подданных из-под власти нашего союзника? Этой стороны вопроса вовсе не понимал адмирал Чичагов до тех пор, пока не приехал в Бухарест и не вошёл в сношение с этими племенами. Только прибыв на место, он понял, что союз с Портою несовместим с содействием нам славянских племён. Между тем, чувствуя необходимость в их содействии для осуществления своих намерений, он направляет все свои действия к тому, чтобы разорвать мир с турками и вовлечь Россию в новую войну с ними. Мир с турками, которого с таким нетерпением ожидала Россия, казался адмиралу Чичагову делом ошибочной и вредной политики. Если радовалась его заключению Россия, то это потому только, по его понятиям, что никто из русских не понимал истинных выгод своего Отечества, и он умолял Императора не обращать внимания на его защитников и за нарушение его всю ответственность

принимал на себя. Едва ли нужно доказывать на чьей стороне была правда в этом случае: на стороне ли общего мнения всей России, увлёкшего и самого Императора, или на стороне адмирала; но несомненно одно, что он шёл наперекор этому общему мнению и в виду грозной опасности вовлекал Россию в предприятия громадные, несообразные с обстоятельствами и которых последствия невозможно было даже и предвидеть. С этой точки зрения он порицал действия своих предшественников, особенно в последнюю войну. Впервые познакомившись с славянскими и христианскими племенами, подвластными Порте, он, как новичок в военном деле, до того был поражён какими огромными средствами мы можем располагать против Порты в пределах самой же Турецкой империи, что порицал своих предшественников за то, что они не умели ими воспользоваться в той мере, в какой он предполагал, и не умели потому, что неспособны были их понять и оценить. Он предполагал, что он только первый сразу понял значение славянских и христианских племён в Турции в отношении к нашей политике на Востоке. Трудно предположить, а это предположение напрашивается само собою, что он не понимал, что это общий Европейский вопрос, который вызовет общее вмешательство в наши отношения с Турциею всех Европейских держав, и что это-то именно обстоятельство и ограничивало образ действий всех его предшественников. Оставя в стороне их личные достоинства и недостатки, нельзя не заметить, что как государственные люди, действовавшие от лица России, они не могли увлекаться только личными своими воззрениями и жертвовать общими соображениями своему личному славолюбию. Государственный человек должен быть законным сыном своей Родины, связанным с историческими преданиями, а не подкидышем, подброшенным чужеземным и иноплеменным влиянием в ту среду, к которой он утратил всякое сочувствие. Подобный человек, силою случайных обстоятельств поставленный в положение государственного человека, может вовлечь страну только в великие затруднения и даже бедствия.

Но если адмирал Чичагов и понимал, какое значение в отношении к этому вопросу имеет политика Европейских государств, он не придавал ему важного значение в то время. Всё его внимание обращено было на Австрию и Англию; но первую он считал бессильною и считал возможным противодействовать ей даже силою оружия, на вторую же он возложил всю свою надежду и уверен был, что она будет нам содействовать в этом случае. Образ действий Каннинга возбудил его негодование, но не вполне рассеял его заблуждение. Этот образ действий он объяснил личными взглядами этого дипломата. Но вско-

ре это заблуждение адмирала должно было рассеяться, как и все его предположения.

Император не был доволен мирным трактатом, заключённым с Турциею. Это обстоятельство замедлило размен ратификаций. Только оставив Вильну на пути к Дриссе, он поручил канцлеру немедленно предписать Чичагову приступить к их размену. Немедленно исполнив предписание Государя, граф Румянцев и с своей стороны согласился с этою мерою, но предлагал вниманию Императора следующие соображения: «Надо дозволить размен ратификаций, – писал он ему, – но сохранив за собою некоторую свободу действий в отношении к секретным статьям. В этом случае нужно, чтобы адмирал Чичагов написал визирю, что Ваше Величество, повинуясь желанию сделаться истинным другом Турции, не поколебались немедленно утвердить договор, который, по вашему мнению, вполне установляет уже мирные отношения, и что впоследствии можно войти в переговоры об отдельных секретных статьях, которых число можно ещё увеличить, чтобы более укрепить заключённый уже мир». Он считал полезным выразить это различие между самым договором и отдельными статьями, чтобы впоследствии иметь возможность сохранить мир с турками или разорвать его, смотря по обстоятельствам.

«Его письмо, мне кажется, может служить доказательством, что неизвестно ещё, что может быть полезнее для приведения в исполнение того обширного плана действий, который он предпринимает – заключить мир с турками, или продолжать войну с ними. Известные вам его усердие и заслуги оправдывают Ваше Величество, если вы предоставите ему такое широкое полномочие».

Очевидно, исполняя желание Императора, граф Румянцев поручил адмиралу Чичагову приступить к размену ратификаций договора; но сам разделял его мнение, что полезнее продолжать войну с турками. Письмо адмирала к Императору, от 29-го июня, в котором он уже прямо выражает свой образ мыслей, заставившее задуматься Государя и дать затем новые наставления адмиралу, нашло полное сочувствие со стороны канцлера. Известия адмирала об образе действий английских посланников при Оттоманской Порте не смутило его как что-то неожиданное, как смутило адмирала; «Кабинеты, – писал он Государю 5-го июля из Невеля, – как я часто вам говорил и позволяю себе повторить, имеют некоторое сходство с монастырями. Из каких бы они ни состояли лиц, они постоянно соблюдают один устав. Каждый кабинет руководствуется твёрдо определёнными правилами, с которыми соображает свои действия всякий министр. Сент-Джемский кабинет, как я всегда был уверен, считает для себя выгодным унизить

вашу империю, в чём сочувствует ему и Венский. Он надеется, что вы будете поставлены в какое-нибудь крайне затруднительное положение и тогда выпустите, так сказать, из своих рук те огромные выгоды, которые предоставляет вам война с турками. Британский кабинет не иначе присоединится к видам Вашего Величества, как тогда лишь, когда с этим соединятся выгоды Англии. Только этим способом его можно привлечь на свою сторону. Предполагаемый адмиралом Чичаговым образ действий мне кажется очень хорош. Лишь только начнётся пожар, который он намеревается разжечь, англичане уже не могут оставаться долее равнодушными и спокойными зрителями; им необходимо будет ослабить и умерить успехи Вашего Величества или переговорами, которые могли бы удовлетворить вас, или принять военное участие в этих движениях, лишь только они достигнут Адриатического моря. Я думаю, что последнее будет скорее и выгоднее для них. Что касается донесений Чичагова, то я полагаю, что не остаётся ничего иного, как споспешествовать тому, что он намеревается предпринять. Чтобы этого достигнуть, представляется два способа: снова написать ему, что Ваше Величество одобряет его предположения и позволяете ему воспользоваться по его усмотрению всеми способами, которые он успел приготовить. Второй способ, так сказать вспомогательный, должен состоять в том, чтобы немедленно чрез графа Штакельберга дать знать графу Линанжу и его сообщникам, чтобы они вошли в сношение с адмиралом, который начинает уже свои действия, которые приведут его в ближайшее к ним положение, и он будет в состоянии помочь им. Единственную трудность в этом случае я вижу в том, как достать необходимые для этого предприятия деньги. Мне кажется, предполагалось, что такое предприятие будет стоить до 4-х миллионов ежегодно. Во всяком случае, их необходимо найти, Государь, по крайней мере, половину, чтобы иметь возможность действовать независимо от Англии. Это восстание, вероятно, не будет мгновенно и это самое обстоятельство по необходимости затянет его до зимы. К числу вспомогательных средств я причисляю также прокламацию или воззвание, с которым Ваше Величество немедленно обратитесь ко всем славянским народам. Вы заявите им, что император Наполеон, подчинивший уже своему игу германские народы, намеревается покорить и племена славянские. С этою целью безо всякого повода он начал войну с вами, чтобы воспрепятствовать вам прийти им на помощь, которую вы считаете обязанным оказать им как государь великого славянского народа, которого все другие их племена составляют лишь ветви. Когда до сведения вашего дошло, что неприятель собирает силы в Северной Италии, которые предназначаются для покорения всех пле-

мён, обитающих на прибрежьях Адриатического моря и берегам Дуная, вы приказали адмиралу Чичагову двинуться со всеми его войсками немедленно на помощь этим племенам, которых вы любите как детей и предлагаете им стать под ваши знамёна и тем преградить замыслы неприятеля, нанеся ему тяжёлые удары прежде, нежели он успеет собрать все свои силы. Говорю предупредить, чтобы эти храбрые племена, прославленные в истории, не сделались игрушкою и жертвою в руках этого чужеземца. В этом воззвании можно также сказать, что Ваше Величество имеете безграничную доверенность к вашему главнокомандующему и даёте ему полную мочь управлять как военными, так и гражданскими делами. Я полагаю, Государь, что было бы весьма полезно указать на Австрийский двор, раболепствующий императору Наполеону, тогда как народы Австрии, достойные лучшего управления, стыдятся своего правительства. Адмирал Шишков, мне кажется, мог бы очень хорошо написать это воззвание. Если Ваше Величество одобрите это предложение, то воззвание следует немедленно послать адмиралу Чичагову и дать ему право сделать в нём изменения, какие он сочтёт нужным, и потом напечатать его славянскими буквами, какие употребляются в наших церковных книгах.

Удостойте, Ваше Величество, прочтением письма, которое пишет мне адмирал. Вы усмотрите, что предполагаемая мною мера соответствует и его видам. Я прошу, Ваше Величество, объявить его назначение главнокомандующим как в войсках, так и Сенату. В этом случае можно выразиться о нём с похвалою и уважением. Ничто не может быть полезнее для государства, как то, чтобы главные его деятели были облечены уважением»*.

В письме, на которое указывает граф Румянцев Императору и посылает ему для прочтения, адмирал Чичагов ему писал: «Я уже решился; вы не присылаете мне ратификации, я надеюсь обойтись и без неё. Когда мы говорили с вами о положении здешних дел, вы были согласны со мною, что война с Турками гораздо выгоднее для нас, нежели мир. Мир приводит в отчаяние всех тех, которых мы хотели употребить для войны гораздо более важной. Трудно описать то уныние, в которое вверг граф Кутузов молдаван и валахов, объявив им, как бы мимоходом, о заключении мира, – они ни живы, ни мертвы, а некоторые впали в отчаяние. Время уходит и я не могу долее оставаться в неопределённом положении». Прося канцлера сообщить ему о последствиях переговоров с Англиею и об отношениях к Швеции, он умоляет его рассеять, по мере возможности, мысль, что надо щадить австрийцев.

---

* Письмо графа Румянцева императору Александру I от 5 июля 1812 *(прим. ред.)*.

«Если мы кончим тем, что будем щадить Турок с одной стороны, Венгерцев и Словаков с другой, то к чему нам все средства, которыми мы можем располагать. Окончательным последствием в этом случае будет отступление внутрь России и разрушение всякого доверия к нам у молдаван, валахов, сербов, черногорцев и пр., пр. Но да будет далека от нас эта мысль. Твёрдая решимость Императора даёт мне силу предпринять и исполнить самые обширные предприятия; всё у нас для этого есть: добрая воля, хороший дух войск; опасности – незначительны, затруднения будут устранены. Необходимо только придать всему единство и стройность, а это зависит от вас. Расположение этих племён мне известно; необходимо, чтобы и они знали, что намерен предпринять Император и кто будет исполнителем его намерений. Лишь только я уйду в горы этих отдалённых стран, наша переписка затруднится; надо принять наперёд меры. Между тем никто в обществе не знает, что я назначен главнокомандующим здешних войск. Об этом не заявлено ещё ни Сенату, ни в приказах по войскам. Если Императору угодно, чтобы это сделалось известным как можно позднее, то его воля. В противном случае было бы полезно, чтобы знали о моём назначении для того, чтобы эти племена более имели ко мне доверия, когда я появлюсь между ними»[2].

Из этой переписки очевидно, что граф Румянцев, нарочно начавший с адмиралом, кроме служебных сношений, частную переписку, был не только в хороших с ним отношениях, но и разделял его взгляды. В это время он писал ему, между прочим: «Его Величество, который во всех случаях готов даже предупреждать ваши желания, поручил мне заключить моё письмо тремя или четырьмя строками из вашего; являясь у вас лишь выражением вашего желания, здесь они приобретают силу полномочия, даваемого вам, своего рода инструкцией: действовать сообразно тому, как вам внушат обстоятельства и ваше положение, хотя бы под страхом возобновления войны с турками».

Согласие канцлера со взглядами адмирала поощряло его действовать так, что вместо только что заключённого мира с турками России грозил новый разрыв и война с ними. «Этот мир с Турками, – писал он Императору 2-го июля, посылая ратификации султаном мирного договора, – только временно нам полезен по тому впечатлению, какое он произведёт на наших неприятелей; но это впечатление недолго продолжится, если они разочтут, какие он может иметь последствия, что уже поняли Австрийцы. Русские радуются заключению этого мира, потому что не понимают истинных выгод своего Отечества. Этим только и ограничивается хорошая его сторона, между тем как сопряжённых с ним неудобств бесчисленное множество.

Какие политические соображения могли заставить нас заключить этот мир? Нам необходимо нужно в настоящее время содействие христианских племён, находящихся под властью Порты с тем, чтобы привлечь потом и других им соплеменных. Что мы должны делать в этом случае? Мы соединяемся узами дружбы с их величайшими врагами, приглашаем их всеми способами помогать нам, с тем, чтобы потом вместо вознаграждения за помощь нам отдать их в руки тех же варваров, которых они так ненавидят. Я бы очень желал, чтобы Ваше Величество были так милостивы, что вывели бы меня из заблуждения, если только я заблуждаюсь, и развязали мне руки; но между тем теперь, я должен сознаться, питаю одну только надежду, что усиленное требование заключить договор поведёт к новому разрыву и тем даст нам возможность выйти из затруднительного положения. Что могу я сказать Сербам, около которых уже сосредоточиваются значительные силы Турок, и, вероятно, визирь будет преклонять их к покорности, если они воспротивятся туркам. Они предались нам, они желают оставаться под нашим покровительством, — оттолкнём ли мы их от себя, будем ли проливать их кровь для того, чтобы принудить их подчиниться Туркам. Без сомнения, нет, я их не брошу; а если я буду помогать им, то что же сделается с этим миром? С другой стороны, Государь, ваши войска должны очистить эти области в продолжение трёх месяцев и унесут с собою проклятие всех их жителей, если их негодование не будет смягчено надеждою, что союз ещё может изменить положение дел. Они жертвовали собою, они разорены, переносили все тревоги для нас, в надежде, что всё это поведёт за собою улучшение их участи, а вместо того, мы отдадим в руки их притеснителей, да ещё разорив их сверх того. Ваше Величество, может быть, будете негодовать на меня за то, что я прежде так не говорил. Я ничем не могу оправдать себя в этом случае, кроме того, что этот политический вопрос, как и многие другие, был совершенно чужд для меня и я не мог составить себе понятия о нём; но чем более я занимаюсь им, чем более я обдумываю и соображаю все обстоятельства, чем ближе нахожусь к самым происшествиям, тем более убеждаюсь, что тот образ действий, которому следовали до сих пор, во всё продолжение этой войны, был крайне для нас невыгоден при теперешнем положении дел»*.

Из этого письма видно, что адмирал, принимая на себя обязанности главнокомандующего Дунайской армиею, совершенно не знал об отношениях славянских и христианских племён как к нам, так и к Оттоманской Порте. Получив уже утверждение мирного договора и разменяв ратификации, адмирал Чичагов писал Императору, что

---

* Письмо адмирала Чичагова императору Александру I от 2 июля 1812 *(прим. ред.)*.

этот мир причинит нам только вред и на него надо смотреть как на случайную сделку, и, без заключения союза с Турками, его надо считать не существующим (elle se repose sur la stabilité de cette paix, quoiqu'il n'y existe pas une seule donnée en faveur de l'alliance, sans laquelle elle devait être nulle). Не дожидаясь, однако же, этого союза, он писал Императору: «Я не могу терять времени в угоду турецкому упрямству и продолжаю действовать так, как будто этот союз заключён. Наши войска будут продолжать движение в Сербию».

Если незнакомый с вопросами европейской политики, неопытный в делах сухопутной войны, в первый раз познакомившийся с славянскими племенами Балканского полуострова, адмирал Чичагов мог увлекаться подобными предположениями, находясь притом далеко от поприща главной войны, то чем возможно объяснить сочувствие его взглядам со стороны канцлера, знатока европейской политики, опытного государственного человека и дипломата, в то время, когда неприятель занимал уже Вильну, и он, выехав из неё быстро, следовал на север не без опасения, чтобы и его не догнало нашествие неприятеля? До открытия военных действий, мысль канцлера, что император Наполеон не начнёт войны с Россиею, что все его военные движения составляют лишь угрозу, которую он считает необходимою лишь для того, чтобы с б льшим успехом начать и вести мирные переговоры, — ещё может быть объяснена, — конечно, не его шутками, сказанными в обществе, как, например, что появление зубов у Римского короля скоро вызовет Наполеона из Дрездена обратно в Париж. За этими шутками скрывались иные мысли, которые граф Румянцев, без сомнения, не считал нужным провозглашать во всеуслышание. Его любезность и учтивость в обхождении, совершенно соответствовавшие старинной аристократии прежней Франции, предубеждали против него и французов, сынов Революции, и немцев, искавших спасения для Германии вне пределов своего отечества. Но взгляды русского канцлера были, однако же, весьма ясны и отчётливы, хотя и неверны. Он полагал, и не он один, что государь — основатель новой династии — победит, в лице Наполеона, в это время заносчивого завоевателя, мечтающего только о битвах и военной славе. Он верил не только в военный гений, но и в его политическую мудрость, не предполагая в нём мысли о всемирном владычестве и думая, что он захочет упрочить для своих потомков мирное обладание созданною им империею. Но этой цели Наполеон мог достигнуть не иначе, как поддерживая союз с Россиею и всеми способами избегая решительного с нею столкновения. Как человек Екатерининского времени, он глубоко верил в могущество России и невозможность того, чтобы она могла испытать судьбы

других государств континентальной Европы при решительном столкновении с Наполеоном. Последствия оправдали справедливость такой уверенности, но не в том виде, в каком питал её в это время граф Румянцев. Он был уверен в могуществе Русского государства, в правительственных, так сказать, средствах обороны против врага и потому не предполагал необходимым ослабить их уклонением от главного поприща военных действий 40-тысячной Молдавской армии. Он колебался, как и многие, в количестве тех сил, с которыми Наполеон мог вторгнуться в Россию. Эта ошибка устранялась постепенно известиями о неприятеле, которые получались при движении наших войск от Вильны до Дрисского лагеря. Находясь вдали от Главной квартиры Императора, не зная об этих известиях, он, вероятно, оставался при прежнем мнении, оставленном уже Императором, который решился призвать на помощь правительственным силам страну и народ.

При таком изменении первоначальных предположений, естественно и взгляд императора на значение Молдавской армии должен был измениться. «Я хотел уже отправить ответ на ваше письмо от 26-го июня, – писал он адмиралу Чичагову*, – как получил другое от 29-го. Я хотел вполне одобрить все ваши распоряжения и дать вам полномочие действовать по вашему усмотрению; но, признаюсь вам, письмо ваше от 23-го июня поставило меня в затруднительное положение – на что решиться? Ваши предположения очень обширны, очень смелы; но кто может ручаться за их успех? А между тем, мы могли бы лишиться того влияния, которое произвела бы на неприятеля наша диверсия и вообще отказались бы на очень долгое время от помощи, которую могли бы оказать нам состоящие под вашим начальством войска, двинув их к Константинополю. Не говоря уже об общем мнении как наших соотечественников, так и наших союзников, англичан и шведов, которых мы крайне поразим, решившись на такое предприятие, не усилим ли мы этим нашего затруднительного положения?

Австрийцы, которые теперь действуют против нас только 30 тысячами войск, увидев, что Оттоманской империи грозит совершенное разрушение, сочтут себя обязанными, если не по собственному желанию, то, без сомнения, по воле императора Наполеона, двинуть все свои войска, чтобы воспрепятствовать подобному предприятию, и тогда, войдя в Молдавию и Валахию, поставить ваш тыл и даже те войска, с которыми вы будете следовать к Константинополю, в крайне затруднительное положение.

---

* Письмо императора Александра I от 6-го июля 1812 года (оно помечено: Liachovo, aux environs de Polotsk) *(прим. ред. Русской Старины).*

Диверсия, на которую вы, как казалось из вашего письма от 26-го июня, совершенно решились, теперь представляется вам сопряжённою с такими затруднениями, что кажется более благоразумным решиться на новое предприятие, которое принесёт не менее полезные последствия, т. е. разменяв ратификации, удовольствоваться на время тем миром, который заключён, и не настаивать усиленно на союзе и двинуть все войска, состоящие в вашем распоряжении, через Хотин и Каменец-Подольск к Дубно, где вы будете подкреплены всею армиею Тормасова, которому я предпишу передать вам начальство, а его отправлю в Киев. С этою значительною уже армиею, состоящею из 8 или 9 дивизий, вы будете действовать против неприятеля со стороны Варшавы и, таким образом, произведёте чрезвычайно важную диверсию для наших двух первых армий, перед которыми находится неприятель в превосходных силах.

Мне кажется, следует решиться на одно из двух: или на диверсию в Далмацию, к Адриатическому морю, или чрез Подолию, со стороны Варшавы.

Вопрос о Константинополе может быть отложен до будущего времени; лишь только наши дела против Наполеона пойдут хорошо, мы сейчас же можем возвратиться к вашим предположениям против Турок и провозгласить тогда или славянскую империю или греческую империю (et alors proclamer soit l'empire des slaves, soit celui des grecs). Но приступать к их исполнению теперь, когда мы должны бороться с столькими затруднениями и против сил, превосходящих наши, было бы слишком смело и неблагоразумно. Предположите даже, что мы овладели бы Константинополем,— разве это увеличит сколько-нибудь наши силы? — теми же самыми 40 тысячами вы будете располагать в Константинополе, как и в Бухаресте, и вы согласитесь, что будете находиться в более далёком расстоянии и, следовательно, менее будете иметь возможности действовать против нашего главного врага. Всё наше внимание должно быть устремлено к тому, чтобы действовать в его тыл или со стороны Адриатического моря, приближаясь к Тиролю и Швейцарии, а оттуда к сердцу Германии и даже к границам Франции, или прямее — чрез герцогство Варшавское, уничтожая там всё, что устроил неприятель, и лишая его возможности извлекать новые способы из своего тыла... Итак, я предоставляю вам выбирать одно из двух. Герцогу Ришелье я предпишу исполнять ваши решения.

Что касается до здешних происшествий, то вот уже месяц как началась война и Наполеону не удалось нанести нам ни одного удара, что удавалось ему во всех его кампаниях на четвёртый или на третий день. Мы совершенно целы, и во всех частных встречах мы одержи-

вали верх над его отдельными отрядами. Мы ведём войну медленную (guerre de lenteur), потому что против превосходных сил и мет ды Наполеона вести кратковременные войны – это единственный способ, при котором мы можем надеяться на успех».

Это письмо написано было Императором в то время, когда уже был изменён первоначальный план кампании, решено было оставить Дрисский укреплённый лагерь, соединить обе Западные армии и продолжать отступление далее внутрь страны. При этом способе действий главные силы Наполеона всё более и более отдалялись от стран, откуда он мог получать подкрепления, и становилось возможнее и полезнее действовать на его сообщения. Армия Тормасова, имея перед собою корпуса австрийцев и саксонцев, была недостаточна для того, чтобы выполнить и это назначение; но соединённая с Дунайскою армиею, она представляла бы уже значительную боевую силу. Притом в это время уже пришли к убеждению, что наши военные силы совершенно несоразмерны в сравнении с громадным числом войск Наполеона, и потому нельзя было лишить себя содействия Дунайской армии на главном поприще войны и бросить её вдаль на предприятия, которых успех был невероятен. Император, конечно, только из особенного расположения к адмиралу, как бы не желая сделать его слепым исполнителем своих предписаний, предоставил ему выбор между движением внутрь России, к границам Варшавского герцогства, и экспедициею в Далмацию. Поэтому, вслед за этим письмом, Император писал ему другое, от 18-го июля, из Москвы. В этом письме, извещая его о пожертвованиях сословий, о получении им в Смоленске ратификаций мирного договора с турками, он говорит: «Более нежели когданибудь я настаиваю на том, что писал вам в последнем письме. Надо употребить все свои силы, чтобы сражаться с нашим главным врагом. Из сведений, сообщаемых Штакельбергом, оказывается, что экспедиция в Далмацию представляет большие затруднения. Если это так, то приступите к исполнению второго из тех предположений, о которых я вам писал, и как можно скорее двиньте ваши войска к Днестру и оттуда на Дубно. Там вы будете подкреплены всею армиею Тормасова и корпусом герцога Ришелье. Тогда образуется армия от 8 до 9 дивизий пехоты, от 4 до 5 кавалерии и вы можете действовать наступательно на Пинск или на Люблин и Варшаву. Такое движение поставит императора Наполеона в затруднительное положение и может придать новое направление всем военным действиям»*.

---

* Письмо императора Александра I адмиралу Чичагову от 18 июля 1812 *(прим. ред.)*.

Решение Императора было вызвано требованием обстоятельств и сообразовалось с выгодами России; но оно полагало конец широким военным замыслам Чичагова. До получения этого письма адмирал Чичагов более и более знакомился с действиями европейской политики при Турецком дворе. До размена ратификаций мирного договора Турецкое правительство отклонило всякие переговоры о союзе и даже не признавало Италинского послом Русского государя. После ратификаций оно должно было признать его в этом звании и, следовательно, войти с ним в переговоры. Адмирал намерен был поручить ему потребовать решительного ответа от Порты, согласна ли она заключить с ними оборонительный и наступательный союз и, в случае отказа с её стороны, считать мир разрушенным и приступить к военным действиям.

После размена ратификаций, действительно, положение Италинского в Константинополе должно было измениться. Но когда частным путём дошло до него известие об окончательном утверждении мирного договора, он не получил ещё никаких известий об этом от Турецкого правительства. «Я не мог не обратить внимания на это молчание, — писал он Чичагову, — оно предвещало мне затруднения в будущем. Мои предвещанья и оправдались действительно». Когда прибыл к нему с этим известием нарочный от адмирала, он послал своего переводчика известить об этом Рейс-эфенди. Но он чрез драгомана Порты отвечал, что ему ничего неизвестно о размене ратификаций, и потому он не может ещё признать Италинского посланником и полномочным министром Русского двора.

Несколько раз обращался к нему Италинский и получал такой же ответ. Наконец, после усиленных настояний, Рейс-эфенди чрез драгомана Порты поручил объявить Фонтону, что он действительно получил известие о размене ратификаций, но самый договор ещё не получен; а между тем это необходимо для того, чтобы всенародно объявить о заключении мира. Впрочем, прибавил он, мы ещё не получили необходимых объяснений о намерении Императора в отношении к статьям о Сербии и Азии. Эти две статьи до такой степени важны для Порты, что ей необходимо знать наперёд эти намерения, чтобы сообразовать с ними свой образ действий. Вместе с тем он поручил спросить Италинского, уполномочен ли он вести переговоры по этим статьям и когда желал бы приступить к ним?

Конечно, Италинский не имел таких полномочий и должен был отвечать уклончиво, но это предложение Рейс-эфенди только усиливало и так уже затруднительное его положение и обнаруживало то глубокое недоверие, с которым правительство Оттоманской Пор-

ты относилось к нам. Как опытный дипломат, он понял главную причину этого недоверия и выразил её откровенно в депешах к адмиралу Чичагову. «Я начинаю думать,— писал он ему 14 (26) июля 1812 года из Буюк-дере,— что поведение Порты, т.е. отсрочиванье обнародования мирного договора и признания меня министром Его Величества Русского императора, зависит от того, что она не уверена, что этот мир будет поддержан с нашей стороны. Турецкое министерство не может не знать всего того, что делается в Сербии, в Валахии, и вследствие чрезвычайного недоверия к нам весьма вероятно оно приходит к таким предположениям, которые оказывают влияние на их действия при настоящих обстоятельствах. Это недоверие к нам Порта ежедневно заявляет посланникам английскому и шведскому и недавно его высказал каймакам генералу Таванту».

Нельзя не сознаться, что Порта имела основание не доверять нам не по одним только внушениям враждебных нам агентов Франции и Австрии. С одной стороны, она слышала миролюбивые речи нашего посланника, поддерживаемые английскими и шведскими дипломатическими агентами, с другой, к ней приходили известия, что главнокомандующий Дунайскою армиею входит в сношения с подвластными ей племенами, которые их волнуют, даже с её пашами, что он делает значительные военные приготовления, образует ополчения из её подданных и двигает, наконец, войска в Сербию. Все эти действия не могли внушать ей доверия, что Россия искренно желает поддерживать только что заключённый мир. Но в таком двусмысленном положении находилась не одна Порта и агенты союзных нам держав, но и наш посланник в Константинополе и — сам Император. Он одобрял все распоряжения адмирала в том предположении, что они делаются с целью привести в исполнение экспедицию в Далмацию, которая должна была исполнена с участием Турции, поэтому не только не прерывая мирных отношений с нею, но привлёкши её даже к союзу с нами. Между тем как адмирал давно уже потерял веру не только в успех, но даже и в возможность этой экспедиции, которую он не считал возможною без деятельной помощи англичан. Первоначально действия Каннинга он приписывал лично ему; потом, из депеш Италинского, сведений, доставленных им Булгаковым и Грейгом, он понял, что это образ действий Сент-Джемского кабинета, потому что заменивший его новый посланник Англии Листон не только одобрил действия своего предшественника, но и сам выразил точно такие же взгляды, как и Стратфорд Каннинг. При совещаниях с Италинским, он выражал ему ту мысль, что в настоящее время следует заботиться только об утверждении мира с Портою, и не только бесполезно,

но даже вредно вовлекать её в новые переговоры о заключении союза. Убедив её в прочности мира, надо стараться уничтожить то недоверие, которое она питает к России и которое служит готовою почвою для враждебных внушений ей со стороны Франции и Австрии. Не следует предпринимать и отдалённых экспедиций прежде, нежели совершатся значительные успехи на главном поприще военных действий. Поэтому он объявил решительно, что не будет содействовать к тому, чтобы заставить Турцию вступать в союз с нами и что Англия не может оказать нам никакой помощи при экспедиции в Далмацию, тем более, что эскадра лорда Бентинка уменьшена, потому что часть кораблей отправлена им к Испании. Спустя несколько времени он снова писал адмиралу, что при всяком случае Листон выражает те же самые взгляды и убеждает «прежде всего установить прочный мир с Портою и внушить ей доверие к нам. Этот образ действий он считает единственно сообразным с требованиями современных обстоятельств и из которого впоследствии, с помощью времени и событий, можно извлечь большие выгоды. Если же будут действовать иначе и особенно если разорвут только что заключённый мир, то это будет иметь самые печальные и вредные последствия не только для Императорского двора, но и для его союзников. То же самое постоянно говорит и барон Таваст».

Эту депешу Италинского привёз в Бухарест английский военный агент, ехавший в нашу Главную квартиру, генерал Вильсон, и лично передал адмиралу те же самые воззрения Сент-Джемского кабинета, которые выражал и Листон Италинскому в Константинополе. Конечно, ему было неприятно до такой степени ошибаться в отношении к политике Англии, в содействии которой он так был уверен; но ещё неприятнее было прочитать следующие строки в депеше Италинского: «Что касается до меня, то я не допущу, чтобы когда-нибудь могли сказать, что, не имея прямых предписаний Императора, я привёл дело в положение, несогласное с его видами. Таким соображением я руководствуюсь в моих действиях и глубоко убеждён, что тем самым служу высшим интересам моего Государя». Зная волю Государя поддерживать только что заключённый мир, он действовал сообразно с нею и, само собою разумеется, несогласно с желаниями и действиями адмирала, направленными к тому, чтобы вновь начать войну с Турциею, которых, однако же, он не знал, хотя и подозревал вероятно.

Хотя письма граф Румянцева поддерживали надежды Чичагова, но получаемые известия из Константинополя не могли его не смущать. «Я чрезвычайно вам благодарен, граф, — отвечал Чичагов кан-

цлеру*, – за те письма, которые вы мне написали. В каждом из них я нашёл выражения, которые меня чрезвычайно обрадовали. В первом вы делает мне честь, говоря, что теперь ожидаете или полнейшего умиротворения или отсрочки (мирных переговоров) до другого времени. О, если бы я нашёл эти выражения в письме ко мне Государя, но он, как вам известно, приказывает мне приступить к размену ратификаций, хотя и не полных. Таким образом, потерян случай разорвать мир, так некстати заключённый. Только война с Турками может собрать под наши знамёна 100 тысяч войска. Мир именно в это время составляет одну из редких политических нелепостей. Выражение в другом письме, которое польстило мне и доставило немалое удовольствие, то, что вы подозреваете, что Турки действуют в отношении к нам неискренно, но что они могут поплатиться за свою хитрость, если принудят нас возобновить войну. Я бы очень был рад оправдать это мнение и уверяю вас, что я был бы доволен, если бы мог начать мои действия взятием Константинополя. Кто знает, что бы ещё могло произойти в наш век чрезвычайных явлений, и я надеюсь, что вы не будете против такого предприятия». Известие графа Румянцева о том, что Император в скором времени предпишет ему действовать по своему усмотрению, обрадовало его ещё более.

«Но эта радость была непродолжительна, – писал он канцлеру 16 июля. – Это известие выражало ту доверенность, которой удостаивает меня Император и которую вы имеете ко мне. Итак, мне не оставалось ничего более желать, я должен был действовать; но вы, конечно, не ожидали, так же, как и я, какой странный оборот примут мои дела. Не достигнув никаких соглашений с теми, которые должны бы облегчать мне способы и помочь произвести предположенную диверсию, усматривая, что англичане и граф Линанж с товарищами не могут помочь мне, я принял другое направление, которое указал мне Император, действовать непосредственно против неприятеля со стороны Польши. Это, по крайней мере, сблизит нас. Очень жаль, что наш политический план так отстал от операционного плана; что значит сила, когда не знаешь, что должно и что можно сделать. Все те, к кому я обращался, только отклонили мои предположенья. Листон привёз такие же наставления, какими снабжён был и Каннинг. Он как будто только вышел из Мальтийского госпиталя и не знал, что переговоры (Англии) с Россиею начались. Взгляды лорда Бентинка одинаковы с ними. Безрассудные действия

---

* Письмо адмирала Чичагова графу Румянцеву от 2 июля 1812 года, из Бухареста *(прим. ред. Русской Старины).*

Каннинга одобряются его преемником. Обнаруживают самое решительное недоверие ко всему, что мы ни говорим. Имея в виду те затруднения, которые бы представила мне местность, по которой я должен следовать, вместе с затруднениями и препятствиями политическими, не надеясь на помощь ни с какой стороны, потеряв уже много времени и видя оканчивающееся лето, я считаю, что было бы неблагоразумным предпринять экспедицию, для которой ничто не созрело. Император приказывает, чтобы эта армия соединилась с армиею Тормасова; я немедленно приступил к исполнению этого приказания, радуясь выйти из бездействия и неопределённого положения, в которое был поставлен обстоятельствами. Но я льщу себя надеждою, что это предприятие только отложено, и мне ещё придётся здесь действовать»*.

Тот же взгляд адмирал Чичагов выразил в письме к Императору, написанному в то же время (16 июля). «Предположенная диверсия должна бы непременно начаться, несмотря на противодействие Турок, хотя, по всем известиям и заявлениям уполномоченных, они никогда бы не согласились дать нам свободный проход чрез свои владения. Следовательно, разрыв необходимо должен был последовать. Депеши, которые я получил потом от Италинского, подтвердили мои предположения. Поэтому, если война уже должна была возобновиться, то мне казалось, что она может служить предлогом нанести решительный удар, который, покончив её скоро, в то же время окончательно разрушил бы препятствия, которые противопоставляют эти варвары развитию огромных средств этой части Европы, которая в настоящее время возбуждает зависть и впоследствии сделается добычею наиболее решительного. Моё назначение должно было существенно измениться. Вместо диверсии, неопределённой и затруднительной, я должен бы решиться на важное предприятие, которое повлекло бы за собою множество диверсий, из которых каждая обещала полный успех. Об этом никто не знал, ни Порта, ни Бухарест, и даже войска, которые должны были приводить его в исполнение. Всё было подготовлено, в 8 дней я был бы за Дунаем. Прежде, нежели узнали бы в Австрии, я был бы на половине дороги к Константинополю прежде, нежели сделалось бы известным, на что решается Наполеон, и немецкие войска начали бы действовать, если бы ещё осмелились, удар был бы нанесён. Первое известие об этом русские получили бы уже из Константинополя, что, конечно, не было бы им неприятно, потому что в то же время они узнали бы об тех выгодах, которые

* Письмо адмирала Чичагова графу Румянцеву от 16 июля 1812 *(прим. ред.)*.

из этого могут последовать. Это известие ошеломило бы наших врагов и поразило бы удивлением наших друзей. Я уверен, что выступив с 35 тысячами, как я предполагал, я пришёл бы к Константинополю с 100 тысячами и по всей вероятности не встретил бы большого сопротивления, Турки были бы прогнаны в Азию, и флот и множество воинов остались бы в распоряжении Вашего Величества. Войска, над которыми я имею честь начальствовать, вместе с 12 батальонами герцога Ришелье, простирались бы до 59 тысяч человек; 19 тысяч остались бы для защиты Валахии и 5 тысяч в Сербии; Валахия вместе с Молдавиею присоединили бы к первым 20 тысяч своего ополчения, а сербы ко вторым 42 тысячи, что составило бы значительную силу, достаточную для обеспечения безопасности тех областей, которые я оставлял.

Но то, что отложено, ещё не потеряно; по крайней мере, Ваше Величество утешаете меня тем, что позволяете ещё надеяться. Я уверен, что та экспедиция, которую я приготовлял, могла нанести наибольший вред Наполеону, хотя и не прямо и непосредственно; но я должен сознать, что та, которую Ваше Величество мне назначаете, принесёт *более действительный ему вред*, т.е. действовать против него со стороны Польши.

Что же касается до диверсии в Далмацию, то все обстоятельства сложились против неё. Кроме того, что переход весьма труден, она создала бы нам нового врага и раздражила бы другого, если бы я захотел пройти чрез Славонию. Но вместе с трудностью исполнения есть и политические причины, которые налагают препятствия. К кому я ни обращался по прибытии сюда, никто ничего не хочет делать. Англичане отклоняются от всякого участия, полномочия Листона не обширнее тех, которыми был снабжён Каннинг. Предположения действовать с юга Германии ещё недостаточно созрели. Предводитель даже должен был оставить Грац и удалиться в Венгрию. Предположения наши уже сделались почти известными, что меня, впрочем, нисколько не удивляет, при нашем порядке управления. Некоторые лица уже взяты под стражу, другие высланы из Вены. Назначены войска для наблюдения за Триестом и Каттарским заливом; на восточных границах Швейцарии поставлен наблюдательный корпус,— всё это направлено против нас, между тем как для нас ничего не сделано; ко всему этому нужно прибавить и потерю времени вообще, и потерю времени на моё прибытие туда, где решительно ничего не приготовлено: ни продовольствия, ни какой бы то ни было помощи; поэтому я и склоняюсь к тому решению, которое Вашему Величеству угодно указать мне. Я уверяю вас, Государь, что я в восторге оттого, что вы-

хожу наконец из неопределённого положения, в котором находился до сих пор; я немедленно двину войска в поход»*.

Из этого письма видно, что движение к границам герцогства Варшавского адмирал Чичагов находил самым естественным для того, чтобы нанести прямой вред неприятелю, и потому обрадовался, получив предписание Императора двинуться в пределы империи и присоединить к своим силам армию Тормасова и корпус герцога Ришелье. Его озабочивала только мысль о том, чтобы начальство над этими войсками нераздельно принадлежала ему одному. «Если Ваше Величество решились дать мне начальство и над армиею Тормасова, — пишет адмирал в том же письме от 16 июля, — то я умоляю вас сделать распоряжение о том прежде моего прибытия, потому что могу вас, по опыту уже, уверить, что ничего нет затруднительнее, как приехать к армии, у которой ещё имеется особый начальник. Впрочем, — прибавляет он, — когда дело будет касаться только военных действий, то не найдёте ли Ваше Величество более полезным в этом случае употребить генерала Тормасова, как весьма опытного человека».

Но если эта мысль была так естественна при тех обстоятельствах, в которых находилась Россия, то почему же она именно и не пришла в голову адмиралу Чичагову. Почему, раз убедившись весьма скоро по прибытии в Бухарест в невозможности заключить союз с турками, в противодействии англичан и невозможности экспедиции в Далмацию, его взгляд обратился не на Россию, а на Константинополь? Почему действительность ускользнула от его внимания, а его воображение увлеклось фантастическими предположениями?

Это странное явление объясняется, как кажется, личностью адмирала Чичагова. Он принадлежал к тому поколению русских образованных людей, которых не без основания упрекали в слепом подражании всему иностранному и в презрении ко всему русскому. Таких людей было много; но с иностранною головою на плечах у них было ещё русское сердце и, при опасности, грозившей Отечеству, они готовы были жертвовать для него жизнью. Адмирал Чичагов был передовым человеком между ними в том отношении, что он потерял даже всякое сочувствие к России, и Отечество не только утратило для него всякое значение, но сделалось пустым словом, а если и выражало какое-либо понятие, то весьма грубое и недостойное образованного человека. Вероятно, было и много людей, ему подобных в это время, но они были поставлены в иные отношения. Находясь в России, в рядах её войск,

---

* Письмо адмирала Чичагова императору Александру I от 16 июля 1812 *(прим. ред.)*.

они были увлечены общим направлением, которое не могло иметь никакого влияния на адмирала, из Парижа и Петербурга прямо попавшего в Бухарест, и притом в качестве главнокомандующего. Он так ревниво соблюдал все преимущества своей власти, так свысока и гордо относился к подвластным ему, что дух войск, состоявших под его начальством, не мог иметь на него влияния. Он был одинок и действовал, как отдельное лицо, связанное с Россиею единственно долгом службы Государю. Поэтому он и не хотел признавать никаких других отношений к России, кроме власти Императора, от которого требовал полного доверия к себе и полномочия действовать по своему усмотрению. При таком направлении и в том положении, в котором он находился, могло ли его внимание обращаться к России, к которой он не имел никаких сочувствий?

Одновременно с окончательным падением плана военных действий генерала Пфуля, упали и фантастические предположения адмирала Чичагова. Его последние письма, из которых приведены выписки, получены были Императором и графом Румянцевым по возвращении уже их из Главной квартиры армии в Петербург.

Император мог оставить армию с уверенностью, что обеспечил Россию со стороны Турции и Австрии. Если даже последняя искренно уверяла, что, кроме корпуса князя Шварценберга, отданного ею на жертву своему союзнику, она не примет никакого более участия в военных действиях против России, то и в этом случае трудно предполагать, что она устояла бы на своём слове, когда адмирал Чичагов начал бы приводить в исполнение свои предположения в отношении к Турции. Но, обеспечивая Россию с Юга, Государь заботился и о Севере. Конечно, отношения к нам Шведского правительства не могли внушать подозрений; но он желал поддержать их и укрепить ещё более, постоянно продолжая переписку с Бернадотом, делая уступки в пользу Швеции. В Вильне была заключена дополнительная конвенция к Фридрихсгамскому договору, продолжавшая до 1815 года льготы, дарованные на три года шведам и финляндцам в избрании отечества и в распоряжении шведов имуществами, оставшимися в Финляндии, а финляндцев – имуществами их, находившимися в Швеции.

По оставлении Вильны, на пути к Дрисскому лагерю Император получил письмо наследного принца Шведского, в котором, благодаря за известия, сообщённые в прежних письмах, он говорит, что ему особенно было приятно узнать о заключении мира с турками. «Меня чрезвычайно порадовало,– писал он 15 (27) июня,– что Ваше Величество, прекратив войну, вовсе бесполезную для благоденствия вашей империи, разрушили все предположения ваших врагов, кото-

рые были рассчитаны на продолжение этой войны. Я надеюсь, что утверждение мирного договора султаном последует непременно, вопреки всем проискам французских агентов в Константинополе. Политика императора Наполеона заключается в том, чтобы поссорить между собою великие государства, возбудить войну между ними и, таким образом ослабив их, устранить препятствия к осуществлению своих замыслов об единой Европейской монархии. Мир, который вы заключили, совершенно соответствует достоинству России, в то же время не унизителен Турции. Это свойство мирного договора, основанное на потребностях обеих держав, обещает Вашему Величеству превратить султана в вашего союзника, который может принесть вам пользу. С этим важным соображением соединяется ещё огромная выгода для Вашего Величества: уменьшается боевая линия для военных действий, и ваша Молдавская армия может успешно действовать на вашем левом фланге, который, мне казалось, не был достаточно обеспечен до сего времени.

Привычка императора Наполеона руководить большими силами, конечно, вселяет в него уверенность в себе. Но если Ваше Величество будете оберегать ваши силы, не будете вынуждены принять большого решительного сражения и затягивать войну движениями, давая только частные сражения, то император Наполеон несомненно сделает какую-нибудь ошибку, которой Ваше Величество и можете воспользоваться.

Случай до сих пор чрезвычайно помогал ему как в военных делах, так и в политике, он обязан своими успехами только новости употребляемых им способов. Но если силы, привыкшие к движениям, быстро будут направлены на слабые или малозащитные точки, то не может быть сомнения, что Ваше Величество достигнете удачных последствий, и счастье, уставшее служить самолюбию, перейдёт к тем, которыми руководит честь и любовь к человечеству».

Упорно повторяя одну и ту же мысль, что против Наполеона надо действовать не иначе, как затягивая войну, избегая решительных сражений, утомляя движениями его войска и нанося удары частным его отрядам, Бернадот говорил, что единственное его желание в это время заключалось в том, чтобы быть полезным императору Александру «в великом деле, которое он защищает», что он будет считать «счастливейшим тот день своей жизни, когда он на деле будет иметь возможность доказать свою безусловную к нему преданность». Но его желание принять участие в усилиях России против нашествия Наполеона встречало затруднение с той стороны, с какой, как кажется, всего менее его ожидали. В том же письме он извещал императора,

что «Торнтон отказался вести переговоры с Сухтеленом на тех основаниях, которые сообщил ему граф Румянцев, потому что по наставлениям, полученным им от Сент-Джемского кабинета, он не может обременить Великобританию долгом в 85 миллионов флоринов. Он также заявил, что не имеет полномочия обещать Швеции миллион фунтов стерлингов в качестве субсидии. Такие с его стороны заявления остановили переговоры. Граф Сухтелен с этим же нарочным испрашивает новых полномочий у графа Румянцева, а Торнтон, извещая своё правительство о положении дел, просит дозволения в отдельной, дополнительной статье к договору, обещать Швеции субсидию в миллион фунтов с тем условием, чтобы половину они уплатили Англии после присоединения Норвегии. С горестью я должен признаться Вашему Императорскому Величеству, что опасаюсь, чтобы эти затруднения не имели влияния на общие наши действия. Хорошее время года в северных морях непродолжительно, а между тем, следовало бы им воспользоваться. Высадка, которую я намерен произвести, была бы чрезвычайно полезна для действий Вашего Величества, потому что я оказался бы в тылу войск императора Наполеона и на границах его империи. Если неважные в сравнении с предпринятым делом затруднения помешают мне ещё несколько времени приступить к исполнению моих предположений, то я буду считать это величайшим несчастьем для успеха дела, которым руководите Ваше Величество»*.

Хотя вопрос о субсидиях и мог быть предметом затруднений для заключения союзных договоров Англии с Россиею и Швециею, но не до такой степени, чтобы замедлять и затруднять их заключение. Очевидно, другие основания для мирного договора, сообщённые нашим канцлером графу Сухтелену, были причиною того, что Торнтон не решился их принять и требовал новых наставлений от своего правительства. Но он так отнёсся к ним, что вынудил и нашего уполномоченного просить правительство о их изменении. Конечно, это именно те условия, которые касались до *соединения всех славян* с целью действовать вместе с нашими войсками против Австрии и Франции на берегах Адриатического моря. Г. Торнтон действовал в этом случае руководясь теми же политическими взглядами, как и Стратфорд Каннинг, Листон в Константинополе. Без сомнения, зная уже о действиях последних, император Александр это понял и потому, отвечая на это письмо наследного Шведского принца, писал: «Я даю приказания моим уполномоченным немедленно заключить договор с Торнтоном

* Письмо Бернадота императору Александру I от 15 (27) июня 1812 *(прим. ред.).*

и настаиваю на прежних моих требованиях. Надеюсь, что Ваше Высочество увидите в этом новое доказательство моего желания сделать угодное Швеции».

Извещая Бернадота о ходе военных действий, император Александр особенно упирает на то, что руководствуются его советами[3]. «Граф Лёвенгельм сообщает вам, – говорит он, – сведения о военных действиях, из которых вы увидите, что верно следуя тем началам, которые вы изложили в письмах ко мне, я веду медленную войну (une guerre de lenteur) и как на меня наступают превосходные силы неприятеля, я отступаю и сосредоточиваю силы к укреплённой позиции, которая устроена на Двине. Между тем я приказал 2-й армии начать наступательные действия на правый фланг неприятеля, который наступает на меня, и значительному корпусу казаков его тревожить непрестанно. Я постоянно буду сообщать Вашему Высочеству о ходе этой важной войны. В настоящее же время могу уверить вас, что однажды вынужденный начать эту войну, я твёрдо решился продолжать её годы, хотя бы мне пришлось драться на берегах Волги». Эта решимость, которую Император при каждом случае выражал со дня вторжения неприятеля в пределы империи, не покидала его во всё продолжение войны с Наполеоном, и все его помыслы стремились к тому, чтобы изыскивать средства и направлять их с целью успешно окончить эту войну. Мысль о диверсии соединённых шведских и русских войск под начальством Бернадота на берегах Немецкого моря составляла предмет его забот. «Я обращаю ваше внимание, – писал Император в том же письме к Бернадоту, – на необходимость не откладывать предположенной диверсии и воспользоваться остающимся ещё хорошим временем года. Для того, чтобы восторжествовало святое дело, которое мы защищаем, необходимо соглашение в предпринимаемых мерах и единство в общем плане действий. Поэтому я уверен, что Ваше Высочество не отсрочите мне вашего содействия».

Император писал это письмо в то время, когда предполагал, что главные силы Наполеона направляются на правое крыло наших войск, и не знал, с какими превосходными силами должен был бороться князь Багратион; но и впоследствии, когда пришёл к убеждению, что, напротив того, силы неприятеля направлены на левое крыло, когда решено было оставить Дрисский лагерь и обеим армиям идти на соединение одной с другою, заботы о Петербурге его не оставляли. Вследствие союза с Швециею и доверенности, какую питал к Бернадоту, он не боялся опасности с севера; но не мог ещё знать: к Москве или Петербургу направит Наполеон свои войска. Извещая графа Сал-

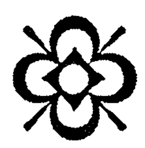
тыкова о победе авангарда графа Витгенштейна под начальством генерала Кульнева над французами, о наступлении неприятеля в силах, гораздо превосходивших наши, и что только продолжением войны можно надеяться *переборотъ* его, Император писал ему: «Все сии обстоятельства заставляют помыслить заблаговременно о предмете разговора нашего незадолго перед моим отъездом, то есть о возможности неприятеля пробраться до Петербурга. Я бы желал, чтобы ваше сиятельство внимательно подумали о сём предмете и, по крайней мере, чтобы уже решено было по здравом размышлении всё то, что надобно будет увезти из Петербурга и о способах сего увоза. Второпях сие будет сделано с замешательством и неосновательно. При сём прилагаю реестр, что мне на первый случай на память пришло. За сим, ваше сиятельство, быв на месте, более имеете способов сообразить сей важный предмет, нежели я. Само собою разумеется, что вы будете исправно извещены о всём происходящем здесь, и я уповаю на Всевышнего, что Он отвратит от нас сии последствия. Впрочем, если бы они должны случиться, от происшествия здесь могущего быть, до прибытия неприятеля в С.-Петербург дней двадцать необходимо пройдёт. Но я считаю необходимым заранее всё примыслить и приготовить, дабы не второпях всё делалось. Я твёрдо рассчитываю на привязанность вашего сиятельства ко мне и к отечеству, и что в сём важном случае вы мне докажете оную вашим деятельным содействием»*. В списке тех предметов, которые должны быть вывезены из Петербурга, собственноручно написанном самим Императором, исчислены государственные учреждения с их архивами, придворные драгоценности и лучшие из художественных произведений Эрмитажа, одежды прежних государей, «все трофеи, хранящиеся в крепости, в Исаакиевской церкви, в арсенале, в Петергофской слободской церкви, богатства Александро-Невской лавры. Если можно, то и мощи. Статую Суворова с Царицынского луга». Но особенно заботился Император о том, чтобы вывезено было всё, напоминавшее о Петре Великом. «По достоверным известиям,— писал он,— Наполеон в предположении вступить в Петербург, намеревается увезти из оного статую Петра Великого, подобно как он уже учинил в Венеции вывозом известных четырёх коней бронзовых с плаца св. Марка и из Берлина триумфальной бронзовой колесницы с конями с ворот, называемых Бранденбургскими. То обе статуи Петра I, большую и малую, которая перед Михайлов-

---

* Собственноручное письмо императора Александра графу Н. И. Салтыкову от 4-го июля 1812 года, из Белковщизны (Военно-учёный Архив. № 459. Отд. 1) *(прим. ред. Русской Старины).*

ским замком, снять и увезти на судах, как драгоценности, с которыми не хотим расставаться. Восковое изображение Петра I в Академии Наук хранящееся и все вещи, к оному принадлежащие. Из Монплезира все вещи, сему великому Государю принадлежащие. Я думал бы также разобрать бережно дом его, возле крепости состоящий и равномерно на галиоте увезти».

Все эти предметы Император предполагал направить по Мариинскому каналу, а часть и на подводах сухим путём, на Казань, «куда и Императорская фамилия может отправиться, в нужном случае, чрез Ярославль».



Часть II

От Немана до Царёва-Займища

Князь П.И. Багратион
Художник Луи де Сент-Обен

М.Б. Барклай де Толи
Художник Луи де Сент-Обен

Глава 1

Бал в Закрете. – Известие о вторжении Наполеона. – Миссия Балашёва. – Отъезд Александра Павловича из Вильно. – Разговор Балашёва с Наполеоном.

Все сношения с иностранными государствами и с адмиралом Чичаговым сохранялись в глубокой тайне. Переписка с наследным Шведским принцем была известна даже канцлеру только по тем сведениям, которые сообщал ему в разговорах сам Государь. Никто не знал, с какими предложениями приезжал граф Нарбонн и что ему отвечали. Полагали даже, что начатые им переговоры будут продолжаться, и ожидали, что он приедет снова. Ни в Вильне, ни во всей России не знали о назначении адмирала Чичагова. Высочайшее повеление быть ему главнокомандующим Дунайскою армиею, причём вверено ему главное начальство над Черноморским флотом и главное управление княжествами Молдавским и Валашским, с оставлением в прежнем его звании при особе Государя, состоялось только 26 мая, почти в одно время с назначением графа Ростопчина главнокомандующим в Москву на место графа Гудовича. Никто не ожидал, что военные действия начнутся так скоро. Присутствие Государя оживляло Вильну; он был спокоен и по обыкновению приветлив. Его генерал-адъютанты на собранные между собою деньги приготовляли блестящий бал в Закрете. «Если вы хотите дать бал, то постарайтесь, чтобы он был хорошо устроен: Виленские женщины хорошо понимают это дело»,– говорил им Государь и пожертвовал в общую складчину 300 империалов. Граф Армфельт распоряжался приготовлением; устроили обширную галерею для танцев, но плохой местный архитектор Шульц построил её так, что она обрушилась за два дня до бала.

Это происшествие, хотя и случайное, возбуждало в некоторых подозрение, а другим показалось дурным предзнаменованием. Но и вообще положение дел многим представлялось неясным и смущало таких боязливых людей, как статс-секретарь Государя адмирал Шишков.

«Во время пребывания нашего в Вильне,– говорит он,– многие вещи казались мне странными или, иначе сказать, такими, которых я понимать не мог. Упомянем здесь о некоторых. Первое,– меня удив-

ляло, что Государь говорил о Барклае, как о главном распорядителе войск; а Барклай отзывался, что он только исполнитель его повелений. Могло ли, думал я, такое разноречие между ими служить к благоустройству и пользе? — Второе, — меня удивляло, что мы с войсками зашли в Вильну и завезли запасы, предполагая оставить оную без всякого сопротивления неприятелю, отступая до Дриссы, где Фулю поручено было сделать укрепление, при котором надлежало остановиться и дать сражение. Зачем, думал я, идти в Вильну с намерением оставить её и нести как бы на плечах своих неприятеля внутрь России, которая всю надежду полагала на войска, и где никаких новых сил для обороны её не было приготовлено? Разве бы неприятель, без отступления нашего, не пошёл к нам? И к чему иному отступление сие, весьма похожее на бегство, могло служить, как не к тому, чтобы слухами о нём разливать повсюду страх и ужас? — Третье, — меня удивляло, что великий князь Константин Павлович, приехав на короткое время в Вильну, остановился в каком-то об одной комнате домике. Мы пришли к нему и должны были стоять на дворе, покуда нас позовут. В это время, в продолжение более часа, вводили к нему, человека по человеку, несколько солдат с ружьями. Я не мог иного себе представить, как то, что он увещевает их быть храбрыми, стоять твёрдо, смыкаться, не разрывать рядов; наставляет, как проворнее заряжать ружьё, не торопясь целить метко, или тому подобное; но когда позвали меня к нему, то увидел я совсем иное: он показывал им, в каком положении держать тело, голову, грудь; где, у ружья, быть руке и пальцу; как красиво шагать, повёртываться; и другие тому подобные приёмы, часто с переменою мыслей переменяемые, и всегда связывающие человека, объемля у него ловкость и свободу движения. Как! думал я, то ли теперь время, чтоб заниматься такими пустыми мелочами? Казалось, великий князь угадал мою мысль, потому что, взглянув на меня, сказал мне: — «Ты верно смотришь на это, как на дурачество?» — Вопрос сей так смутил меня, что я, ничего не отвечая, только низко поклонился. — Четвёртое меня удивляло, что присланному от Наполеона генералу показывали ученье наших войск. На что это? думал я; для того ли, чтобы похвастать перед ним благоустройством их? Но то ли было время, чтобы сим его удивлять или устрашать? Затем ли, чтоб сделать ему почесть? Но согласно ли с величием Российского двора такое уважение подданному идущего на нас с оружием врага? Могло ли это хотя малейшее служить к отвращению войны? — Наконец, пятое, — удивило меня также и следующее. В один день позваны были мы (Балашёв и я) к Румянцеву обедать. Тут нашли мы проезжавшего случайно через Вильну шведского генерала, который

между прочими разговорами сказал нам: «Какая необычайность, что морскому адмиралу Чичагову поручено начальство над сухопутным войсками». — При сих словах вытаращили мы с Балашёвым друг на друга глаза: тут только от сего проезжего иностранца узнали мы, окружающие Государя, о сем, как бы тайно сделанном и действительно необыкновенном обстоятельстве. Все таковые дела и поступки погружали меня в печаль и безнадёжность на успехи нашего оружия. Мы жили с такою беспечностью, что даже не слыхали о неприятеле, словно как бы он был за несколько тысяч вёрст от нас. Занимались весёлостями»*.

Действительно, неприятельские войска как бы тайком приближались к нашим границам. По близости к ним прусских и герцогства Варшавского войск, давно привыкли видеть, что они прикрывали собою движение Наполеоновских армий, о котором не имелось точных сведений. Бал в Закрете состоялся 12 июня и, кроме того, граф Тизенгауз предполагал устроить потом сельский праздник в Верках. Замок Верки, принадлежавший графам Потоцким, стоял в живописном месте на берегу Вилии, недалеко от Вильны, и понравился Государю. Накануне праздника в Закрете, граф Огинский, долго задержанный болезнью в Петербурге, по дороге в Главную квартиру Государя, приехал к вечеру на станцию Румнишки, в 70-ти верстах от Вильны. «Я был поражён, — говорит он, — заметив большие огни по другой стороне Немана в герцогстве Варшавском, а на этой сильные казацкие патрули. Смотритель станции мне сказал, что уже три дня, как он видит такие огни по той стороне Немана и что они ежедневно ожидают вторжения французских войск в Литву. Я был совершенно поражён». По приезде в Вильну граф Огинский написал письмо к обер-гофмаршалу графу Толстому, прося его известить об его приезде Государя и узнать, когда он может ему представиться. Граф Толстой прислал ему билет на бал в Закрет и отвечал ему, что если он не устал с дороги, то Государь очень будет рад увидать его в тот же день на этом бале. «Это меня чрезвычайно удивило после того, что я слышал в Румнишках», — говорит граф Огинский. Но ещё более его удивила всеобщая весёлость многолюдного общества, собравшегося в Закрете, и совершенно спокойное расположение духа, которое сохранял Государь, несколько раз и очень ласково с ним говоривший.

Между тем именно на этом балу Государь получил известие о переправе Наполеоновских войск через Неман. Конечно, это известие

---

* А. С. Шишков. Записки, мнения и переписка. Berlin, Т. I, 1870, с. 125–126 *(прим. ред.)*.

было скрыто от собравшегося общества и не помешало его весёлости; для Государя же оно не было неожиданным. 10 июня он уже писал графу Салтыкову в Петербург: «Здесь ежечасно ожидаем быть атакованы. С полною надеждою на Всевышнего и на храбрость Российских войск готовимся отразить неприятеля». Это обстоятельство облегчало возможность умевшему вполне владеть собой Государю до такой степени скрыть известие, которое, без сомнения, его смутило, что никто из присутствующих на балу не заметил ни малейшей в нём перемены. По возвращении с бала, в ту же ночь, он сделал первые военные распоряжения, поручив Барклаю де Толли предписать отступление всем корпусам по прежде данным наставлениям, для сосредоточения всей 1-й армии, атаману Платову начать наступление на фланг неприятеля, лишь только он переправится через Неман, армии Багратиона поддерживать наступательные действия казаков, сообразно ещё первоначальному плану военных действий. Окончив занятия с военным министром, Государь послал пригласить к себе государственного секретаря. «В два часа пополуночи,— рассказывает А.С. Шишков,— будят меня и говорят, что Государь за мною прислал. Я с торопливостью выскочил, оделся и побежал к нему. Он был уже одет и сидел за письменным столиком в своём кабинете. При входе моём сказал он мне: «Надобно теперь же написать *приказ нашим армиям и к фельдмаршалу графу Салтыкову* (курсив — *А.Ш.*) о вступлении неприятеля в наши пределы»». Как ни поразило Шишкова *неожиданное* для него известие, но он понял его важность и немедленно бросился домой исполнять приказание*.

Все великие исторические события постоянно отличаются особенным и как будто бы вовсе несвойственным им свойством — неожиданности. Не только весёлых гостей Закретского бала, людей незнакомых с тайнами политики и не знавших повода этих событий, но равно и людей, давно их ожидавших и даже приготовившихся к ним со всею

---

* А.С. Шишков. Т. I, с. 127. Здесь, в берлинском издании *Записок* Шишкова сделано издателем, Н. Киселёвым, следующее примечание: «В печатных *Записках* к приведённым словам государя прибавлены ещё следующие: *«между прочим сказать, что я не помирюсь, покуда хоть один неприятельский воин будет оставаться в нашей земле»*. (здесь и далее в прим. курсив — *Н.К.*). В обеих рукописях (1818 г. и 1828 г.) этих слов нет, не даёт ли это право предполагать, что мысль принадлежит Шишкову, и что он уступил её, когда посвящал свои *Записки* высочайшему имени? За Александром всё-таки остаётся слава решимости возгласить такой торжественный ответ; умалится ли она, если за Шишковым останется честь возвращения своему государю *прежней безусловной любви и безграничной веры в него Русского народа?» (прим. ред.)*..

предусмотрительностью,— они одинаково поражают какою-то внезапностью. Государственный секретарь немедленно исполнил возложенное на него Государем поручение и через несколько часов принёс ему следующие бумаги:

«Приказ нашим армиям. Из давнего времени примечали Мы неприязненные против России поступки французского императора, но всегда кроткими и миролюбивыми способами надеялись отклонить оные. Наконец, видя беспрестанное возобновление явных оскорблений, при всём Нашем желании сохранить тишину, принуждены Мы были ополчиться и собрать войска Наши; но и тогда, ласкаясь ещё примирением, оставались в пределах Нашей Империи, не нарушая мира, а быв токмо готовыми к обороне. Все сии меры кротости и миролюбия не могли удержать желаемого Нами спокойствия. Французский император нападением на войска Наши при Ковне открыл первый войну. Итак, видя его никакими средствами непреклонного к миру, не остаётся Нам ничего иного, как призвав на помощь Свидетеля и Защитника Правды, Всемогущего Творца небес, поставить силы Наши противу сил неприятельских. Не нужно Мне напоминать вождям, полководцам и воинам нашим о их долге и храбрости. В них издревле течёт громкая победами кровь. Славяне, Воины! Вы защищаете Веру, Отечество, Свободу. Я с Вами. На зачинающего Бог!»*

Вместе с этим приказом Шишков принёс и письмо от Государя к графу Салтыкову:

«Граф Николай Иванович! Французские войска вошли в пределы Нашей империи. Самое вероломное нападение было возмездием за строгое наблюдение союза. Я для сохранения мира истощил все средства, совместные с достоинством престола и пользою моего народа. Все старания мои были безуспешны. Император Наполеон в уме своём положил твёрдо разорить Россию. Предложения самые умеренные остались без ответа. Внезапное нападение открыло явным образом лживость подтверждаемых в недавнем ещё времени миролюбивых обещаний. И потому не остаётся мне иного, как поднять оружие и употреблять все вручённые мне Провидением способы к отражению силы силою. Я надеюсь на усердие моего народа и храбрость войск моих. Будучи в недрах домов своих угрожаемы, они защитят

* Подписан в Вильне 13 июня 1812. Манифесты, приказы, рескрипты и другие официальные документы 1812 года, написанные А.С. Шишковым, неоднократно печатались в различных изданиях: Полном Собрании Законов Российской Империи, *Записках* А.С. Шишкова (2 тт., Берлин, 1870) и др. См., например, *Русская Старина*, 1912, Т. 150, № 6, с. 445–447 *(прим. ред.)*.

их с свойственною им твёрдостью и мужеством. Провидение благословит праведное наше дело. Оборона Отечества, сохранение независимости и чести народной принудило нас препоясаться на брань. Я не положу оружия, доколе ни единого неприятельского воина не останется в царстве моём».

Выслушав чтение этих бумаг, которые должны были объявить России о грозном нашествии врагов, которые должны были заставить её вспомнить далекие и давно забытые бедственные времена прошлой её жизни, Государь немедленно их подписал и отправил по назначению. Но адмирал Шишков составил их по собственному усмотрению, не получив наперёд никаких наставлений, не знакомый ни с дипломатическими нашими сношениями с Франциею и другими Европейскими державами, ни с военными предположениями. Те и другие были известны ему по слухам, отчасти верным, как человеку, близко поставленному к Государю, но далеко неполным и недостаточным для того, чтобы принять их за основание при составлении этих бумаг. Они выражали личное настроение человека, исполненного любви к Отечеству и гордого именем Русского, но вовсе не объяснили настоящего положения дел. Государь подписал их без возражений, сочувствуя, конечно, общему их смыслу и не имея времени изменять их и переделывать; но не мог он находить их достаточными для того, чтобы познакомить Россию с тем значением предстоявшей борьбы, которое он сам чувствовал и понимал. Тонкий дипломат, он пустил их в ход, как первое заявление, за которым должны последовать дальнейшие объяснения современного положения дел, согласно с его воззрением на них. В тот же день вместе с письмом к графу Салтыкову, как первому сановнику империи, которое должно было получить гласность, он писал ему как частному человеку: «Война началась, неприятель перешёл нашу границу повыше Ковно. Сосредоточив все силы свои за *Вильною*, будем готовы его отразить». В этой записке *о нападении на войска наши при Ковне* (где, кроме казачьих разъездов, никаких войск не было) уже ясно выражается мысль о *преднамеренном* отступлении за Вильну, которое было позорным бегством перед врагом в глазах Шишкова, почитавшего долгом чести умолчать о том перед Россиею из глубокой преданности к Государю.

В тот же день за обедом, к которому были приглашены граф Огинский и князь Платон Зубов, Государь сохранял обычное спокойствие, как и на бале в Закрете; но после обеда, когда он позвал графа Огинского в свой кабинет, тот нашёл его задумчивым и озабоченным. Государь говорил ему, что он очень доволен своим пребыванием

в Вильне и вообще поведением жителей Литвы, что он не обманул его, уверяя в их усердии и преданности его особе, что они с готовностью доставляли всё необходимое для содержания войск. «Желая воздать им должное и выразить мою доверенность к ним,— сказал он,— я составил комитет из почётных поляков, который будет распределять, сколько каждый помещик должен доставлять продовольствия для войск». Император был убеждён в искренней преданности поляков, рассчитывал на то, что она будет продолжаться, и сожалел, что граф Огинский не мог приехать ранее в Вильну, так как в настоящее время он должен отказаться от многих проектов, в которых рассчитывал на его содействие, а теперь уже нет времени заниматься ими. Он выразил желание издавать газету при Главной квартире, которая, сообщая верные сведения о ходе дел, рассеивала бы ложные слухи, распускаемые в Литве эмиссарами Наполеона. Издателем избрал он графа Людовика Платера, поручил Огинскому переговорить с ним и прислать его к нему. Государь, отпуская Огинского, получил известие с аванпостов, которое видимо его смутило. Взглянув в окно, он сказал: «Бедные мои солдаты теперь на походе» (в это время бушевал сильный ветер и пошёл снег).

С этого дня началось уже переселение из Вильны. Уехали некоторые из свиты Императора и между прочими граф Румянцев. Проехав первую станцию по Петербургской большой дороге, в Каменчине он встретил курьера из министерства иностранных дел, который вёз ему донесение графа Салтыкова. Прочитав его и отсылая в подлиннике к Государю, он писал ему: «Из этого донесения Ваше Величество усмотрите, что неуместное со стороны князя Куракина требование своих паспортов выдают за повод воевать с Вами. Я уверен, что это никогда не могло бы служить к тому поводом. Завтра я остановлюсь в Свенцянах и буду ожидать Ваших приказаний, сожалея, что нахожусь в удалении от Вас. Быть может Ваше Величество найдёте возможным сами написать к императору Наполеону, что, щадя кровь не только своих подданных, но и всех народов, Вы не желали бы, чтобы она была проливаема вследствие такого странного недоразумения, и что Вы никогда не давали приказания своему посланнику оставлять Париж. Если, кроме этого обстоятельства, нет других скрытых поводов, вследствие которых он решился воевать, то Вы готовы ещё считать происшедшее как бы несуществовавшим. Таково содержание письма, которое, мне кажется, Ваше Величество могли бы написать; но, без сомнения, всё это Вы выразите гораздо лучше моего. Нужно только, чтобы это письмо было коротко, определённо и повело бы к продолжению переговоров».

Письмо канцлера произвело впечатление на Государя; он захотел показать, что не упускает какого-либо средства для предотвращения войны.

В тот же день он призвал к себе в 10 часов вечера генерал-адъютанта Балашёва. «Ты верно не ожидаешь, зачем я тебя призвал, — сказал Государь, улыбаясь вошедшему в его кабинет министру полиции. — Я намерен тебя послать к императору Наполеону. Сейчас я получил известие из Петербурга, что нашему министерству иностранных дел прислана нота от французского посланника, в которой сказано, что [так] как наш посол в Париже, князь Куракин, неотступно требовал два раза в один день паспортов, чтобы выехать из Франции, то это принимается за разрыв и равномеренно предписывается графу Лористону потребовать свои паспорты и выехать из России. В первый ещё раз я вижу, что император Наполеон указывает на какой-нибудь, хотя и ничтожный, повод к войне. Этот повод ничтожен, потому что князь Куракин так поступил по своему усмотрению, не имея от меня приказаний. Он увидал, что все едут из Парижа, не только Наполеон, но и Бассано, и счёл, что ему не у кого будет потребовать себе и паспортов. Потому он требовал, чтобы их выдали ему прежде их отъезда». Государю неприятно было бы прибавить, да и не было необходимости, конечно, что Французское правительство позволяло себе обходиться с его послом до крайней степени неприлично. «Наполеон присылал ко мне своего генерал-адъютанта, графа Нарбонна, который был прежде и министром, — продолжал Государь, — поэтому и я, в соответственность этому, решился послать тебя. Впрочем, между нами будь сказано, — заключил он, — я не ожидаю от этой посылки прекращения войны; но пусть же сделается известным Европе и послужит ей новым доказательством, что не мы начинаем войну». Европе! Но какая же Европа в это время могла говорить и понимать вещи иначе, как не по приказанию Наполеона? Старый строй Европы давно уже был разрушен, новый не создался и до сих пор. Европа представляла разрушение и хаос, над которым властвовало внешнее грубое насилие.

А. Д. Балашёв никогда не исполнял дипломатических поручений; из обер-полицеймейстеров Московских перейдя на ту же должность в Петербург, он получил звание генерал-адъютанта и военного губернатора в 1809 году, и в следующем сделан был министром полиции. Конечно, поручение, которое возлагал на него Государь, не могло не затруднить его. Притом обоз с его вещами уже был отправлен из Вильны; у него не было ни мундира, ни ленты. Но, зная, конечно, его ум и способности, Государь устранил эти затруднения, поручив посоветоваться с графом Нессельроде и флигель-адъютантом Черны-

шёвым. Первый, долго состоявший при нашем посольстве в Париже и близко знавший наши последние сношения с Франциею, мог сообщить ему верные и подробные о них сведения; второй, достаточно изучивший личность Наполеона, мог объяснить ему характер и образ его обхождения. Что касается до мундира и ленты, то это обстоятельство (которое могло показаться простою уловкою, чтобы отклонить от себя поручение), Государь велел ему устранить, как он хочет, и приказал прийти за получением собственноручного его письма к Наполеону.

Во втором часу ночи Государь прочёл Балашёву следующее письмо своё к Наполеону: «Государь, мой брат! Вчера дошло до моего сведения, что несмотря на добросовестность, с которою я исполнял все мои обязательства в отношении к Вашему Императорскому Величеству, Ваши войска перешли через Русские границы. Сейчас я получил из Петербурга ноту, которою, по поводу этого вторжения, граф Лористон извещает меня, что Ваше Величество считаете себя в неприязненных отношениях со мною с того времени, как князь Куракин потребовал свои паспорты. Причины, по которым герцог Бассано отказывал ему в выдаче паспортов, никогда не заставили бы меня предполагать, чтобы этот поступок мог послужить предлогом к вторжению. Действительно, мой посланник не имел на то от меня повеления, как он и сам заявил, и лишь только я узнал о его поступке, то немедленно выразил ему моё неодобрение и поручил по-прежнему исполнять возложенные на него обязанности. Если Ваше Величество не расположены проливать кровь наших подданных из-за такого недоразумения и согласитесь вывести свои войска из Русских владений, то я оставлю без внимания всё происшедшее, и соглашение между нами сделается возможным. В противном же случае я буду принуждён отражать нападение, которое ничем не вызвано с моей стороны. Вашему Величеству представляется ещё возможность избавить человечество от бедствий новой войны».

Передавая это письмо для доставления Наполеону, Государь говорил Балашёву, что если он изъявит согласие на переговоры, то они могут начаться немедленно, но с одним непреложным условием, чтобы французские войска немедленно отступили за наши границы. «В противном случае я даю слово, что не стану говорить о мире и не принимать никаких о нём предложений, пока хотя один вооружённый француз будет находиться в России».

Отпустив Балашёва, Государь на рассвете (14 июня) выехал из Вильны в Свенцяны, где расположена была гвардия и куда должны были отступать все корпуса 1-й армии. Но корпуса Тучкова и графа

Шувалова находились ещё подле Вильны, где оставался и главнокомандующий Барклай де Толли. «Я не хочу отступать,— писал он Государю в Свенцяны,— пока достоверно не узн ю о силах и намерениях Наполеона. Не видя перед собою превосходного неприятеля, не почитаю нужным отходить назад». На другой же день, однако же, он получил известие о приближении сильного неприятеля и отдал приказ войскам отступать к Свенцянам. Утром 14 июня жители Вильны неожиданно узнали об отъезде Государя и о переходе французов через Неман. Это известие произвело сильную тревогу в городе. «Лишь только уехал император,— говорит графиня Шуазёль-Гуфье,— как все лошади в городе были забраны (исключая принадлежавших моему отцу) для Русских чиновников, которые уезжали из Вильны с семейством и имуществом. Улицы были наполнены экипажами, загромождёнными разными пожитками. Всю ночь продолжалось это движение, и на другой день нельзя было услышать звука колеса, как в Венеции. Но во время этого видимого спокойствия распространялись слухи, один другого тревожнее. Говорили, что сожгут предместья, перебьют жителей, будут защищать город, дадут сражение под его стенами, что надо прятаться в погреба, бежать в горы. Войска проходили всю ночь и, перейдя через реку, зажгли мост. Трудно было найти лошадей, владельцы прятали их даже в домах. Но и по выезде из города, по всем дорогам в беспорядке в несколько рядов тянулись экипажи; а между тем уже слышалась пальба со стороны Трок, французы теснили арьергард Тучкова до самой Вильны»*.— «Мне казалось сонною грёзою,— говорит граф Огинский,— всё, что происходило предо мною. Десять дней тому назад, когда я выезжал из Петербурга, никто не думал, чтоб так скоро началась война. Узнав о приезде от Наполеона посланником графа Нарбонна в Вильну, начали даже думать, что дела устроятся мирными переговорами. Мои глаза открылись только, когда я доехал до Румнишек, и я не мог уже сомневаться в близости французских войск; однако же, весёлость и спокойствие, царствовавшие на бале в Закрете, отклоняли всякое подозрение, что на другой день мы узнаем о приближении Наполеона к стенам Вильны».

После первого известия о вторжении неприятеля, изданные приказ армии и письмо к графу Салтыкову, хотя и объявляли во всеобщее сведение о начале военных действий, но, однако же, они не могли

---

* Автор цитирует мемуары Шуазёль-Гуфье в собственном переводе. См. также С. Шуазёль-Гуфье. Исторические мемуары об императоре Александре и его дворе//*Державный сфинкс.*М., 1999, с. 274–275 *(прим. ред.).*

заменить собою торжественного манифеста, которым обыкновенно русские государи объявляли о войнах своим поданным и которые читались во всех храмах империи. Хотя Наполеон и сделавшись императором действовал подобным образом с европейскими державами, как, например, с Австриею в 1805 году, но в Вильне, за многими может быть хлопотами, никому не приходило в голову, что он может вторгнуться в пределы России без объявления войны. Это обстоятельство и быстрый выезд оттуда Императора были причиною того, что Россия узнала о войне из обнародованного приказа войскам и письма Государя к графу Салтыкову. Но, выехав из Вильны, без сомнения, Император не мог не подумать о манифесте. Действительно, по приезде в Свенцяны, на другой же день он сказал Шишкову: «Надобно бы собрать сведения и написать подробный манифест о начале и причинах нашей с французами войны».

Такому человеку, как Шишков, совершенно незнакомому с ходом наших дипломатических сношений с Франциею, с спорными вопросами, постоянно возникавшими с самого Тильзитского мира и до 1812 года между кабинетами обеих империй, без сомнения, было не только трудно, но едва ли возможно исполнить это. Он понимал важное значение такого манифеста для России, как истинно русский человек, и был достаточно добросовестен, чтобы не взяться за дело не по силам. «Я хотел приступить, — говорит он, — к исполнению сего повеления; но не было никакой возможности, потому что надлежало иметь время заняться сею трудною работою, сообразить все прошедшие политические сношения и деяния, отобрать от графа Румянцева многие касающиеся до сего сведения; а мы, почти ежедневно, переезжали с места в место, и при том граф Румянцев, с своею канцеляриею, ездил и останавливался по отдалённым от нас местам, так что ни о чём нельзя было снестись с ним и справиться. Написать же такой манифест как-нибудь, без всяких справок и сведений, без ясного изложения справедливых причин, казалось мне, было бы нечто недостойное обнародования. По сим обстоятельствам, при всём моём желании исполнить волю Его Величества, не мог я к тому приступить»*.

Между тем составление манифеста и скорейшее его обнародование Император всё более и более считал настоятельным, особенно после возвращения в Видзи Балашёва с ответом Наполеона на последнее к нему письмо императора Александра.

Выехав из Вильны в ночь 13 июня, генерал-адъютант Балашёв

---

* А. С. Ш и ш к о в. Записки, мнения и переписка. Берлин, 1870, Т. I, с. 128 *(прим. ред. Русской Старины).*

на рассвете приехал в местечко Риконты по дороге на Ковно, близ которого находились уже неприятельские аванпосты. Взяв с собою лейб-казачьего полка урядника и трубача, он через час наехал на французский ведет*. Он принадлежал к авангарду, состоявшему из двух корпусов конницы, под начальством Мюрата, за которым непосредственно шёл корпус Даву, а за ним сам Наполеон с гвардиею. О прибытии русского генерала дали знать Неаполитанскому королю, а он прислал своего адъютанта, с тем, чтобы он проводил его к маршалу Даву. Продолжая путь в сопровождении этого офицера, Балашёв вскоре встретил Мюрата, окружённого свитою. Поравнявшись с нашим генералом, он сошёл с лошади, то же сделал и Балашёв.

— Я очень рад, генерал, что вижу вас между нами, и очень рад с вами познакомиться,— сказал он ему,— но начнём с того, что наденем шляпы. Здесь всё показывает, что началась война.

— Точно так, государь,— отвечал Балашёв,— кажется, таково намерение императора Наполеона.

— Вы не думаете, что начал войну император Александр?

— Нет, государь, я имею при себе даже доказательства.

— Что вы? — продолжал Мюрат,— а нота, которую вы прислали с настоятельным требованием прежде всего очистить Пруссию, не начиная переговоров.

— Сколько мне известно,— отвечал Балашёв,— это было одно из условий в этой ноте и не самое важное.

— Но не такое, однако же,— заметил Мюрат,— которое могло быть принято. Впрочем, я очень был бы рад, если бы оба императора пришли к соглашению и не продолжали войны, которая началась против моего желания. Я не хочу задерживать вас, генерал, продолжайте ваш путь. Уверяю вас, что не могу вам сказать наверно, где находится теперь император; но полагаю, что недалеко отсюда.

Суровый маршал Даву обошёлся с ним не так учтиво. Когда Балашёв увидался с ним, он объявил ему, что не знает, где находится император, и прибавил: «передайте мне письмо, которое вы привезли к нему, я пошлю его к нему».

Балашёв вынул письмо, но, держа его перед ним и не отдавая, говорил:

— Вот письмо, но я должен вам заметить, г. маршал, что Император, мой повелитель, поручая мне отвезти это письмо, предполагал, что я лично передам его в руки самого императора Наполеона.

---

* Веде́т (итал.) — цепь или пост стражи, находящийся в ближайшем расстоянии от неприятеля, как правило, кавалерийский парный пост охранения *(прим. ред.)*.

— Это всё равно, генерал,— отвечал с негодованием Даву,— здесь сила не на вашей стороне, вы у нас, надо поступать так, как от вас требуют.

— Возьмите письмо, г. маршал,— отвечал Балашёв, но, считая долгом показать ему, что следует быть учтивее, сказал,— я попрошу вас не принимать ни в какой расчёт меня лично, но не забывать, что я имею счастие носить звание генерал-адъютанта Его Величества русского императора.

Несколько озадаченный, Даву поспешил сказать:

— С вами будут обходиться, генерал, со всею должною вам учтивостью,— немедленно поручил при нём одному из офицеров отвезти письмо к императору Наполеону и долго молча стоял перед Балашёвым, который также в свой черёд не считал нужным заводить с ним речь. После долгого молчания Даву сказал только своему адъютанту, чтобы он распорядился завтраком. «Все разговоры наши,— пишет Балашёв,— и сего дня, и следующего за ним, не заслуживают особенного внимания и основаны были на недоверии и осторожности».

На другой день, за обедом, он сказал ему, что получил уже приказания на его счёт. «Я должен продолжать движение, а вы останетесь здесь и должны дождаться ответа на письмо, которое привезли. Мне кажется,— после некоторого молчания прибавил он,— это письмо прислано для того только, чтобы выиграть время. Когда посланник требует своих паспортов, то это уже доказывает, что решились на войну. Если бы это было не так, то для чего было не позволить г. Лористону приехать в Вильну. Я очень желаю, чтобы поскорее было дано сражение; тогда можно будет начать переговоры».

Расставаясь с Балашёвым, он сказал ему: «Прощайте, генерал, я оставляю в ваше распоряжение мою квартиру и моего адъютанта, графа Декастри. Приказывайте, все ваши распоряжения будут исполнены; но знайте, что мы находимся в войне, и потому вы должны подчиниться некоторым ограничениям: я попрошу вас разговаривать только с моим адъютантом и не переходить за линию часовых». Маршал Даву уехал вперёд к Вильне, куда по приказанию императора Наполеона, не теряя времени, должен был следовать его корпус за авангардом Мюрата, а Балашёв оставался в этом положении до 18 июня, без сомнения, крайне унизительном для достоинства России. Но это положение для уполномоченного императора Александра было придумано с особенною целью.

Вожди, сотрудники Наполеона на боевом поприще, не сочувствовали предпринятому им нашествию на Россию, каждый по-своему желали, чтобы оно поскорее окончилось, но все были уверены,

не зная дипломатических сношений между двумя империями, что Россия вызвала на войну с ней их повелителя.

18 июня Балашёву объявили об отъезде к императору Наполеону и привезли его в Вильну в квартиру маршала Бертье. На другой день граф Тюренн, камергер Наполеона, объявил ему, что император готов его принять. Войдя в его кабинет, Балашёв увидал, что это была та же самая комната, в которой пять дней тому назад император Александр отправил его с письмом к Наполеону. Для этой-то выходки и задерживали несколько дней Балашёва.

— Я очень рад видеть вас и познакомиться с вами, генерал, я много слышал о вас хорошего и знаю, что вы один из преданных людей императору Александру,— начал говорить Наполеон, лишь только вошёл к нему Балашёв.— Я буду говорить откровенно и поручаю вам верно передать мои слова вашему государю. Мне весьма неприятно, что император Александр окружён дурными советниками. Чего он ожидает от этой войны? Я уже завладел без выстрела несколькими прекрасными из его областей и прежде нежели мы, он и я, узнали, за что мы воюем.

— Государь! — отвечал ему Балашёв, — Император, мой повелитель, не желает войны, не он её начал, его войска до сих пор не переходили границ его владений, между тем войска Вашего Величества прошли всю Европу, чтобы приблизиться к нашим границам, перешли их без предварительного объявления войны и не встретив сопротивления со стороны наших войск. Доказательством этого служит то, что мой Государь поручил мне сообщить Вашему Величеству, что только в день моего отправления он получил известия о причинах войны, которые заявляет ваш посланник. Они состоят в том, что наш посланник, князь Куракин, настойчиво требовал своих паспортов. Он не одобряет поступка своего посланника, он не давал ему на то полномочия и, напротив, сделал выговор, лишь только узнал об этом. Поэтому такое обстоятельство не может служить поводом к войне. Если Ваше Величество имеете какие-нибудь неудовольствия, то Император немедленно готов войти в соглашения, но с одним непременным условием, чтобы ваши войска без замедления вышли из пределов России. Несмотря на всё, что случилось, Его Величество поручил мне уверить вас, что не существует ещё между ним и враждебным вам кабинетом Великобритании никакого соглашения.

— А, это легко устроить,— прервал его император Наполеон,— англичане только этого и ожидают. Стоит послать нарочного, и всё будет немедленно устроено. Но каким образом император Александр говорит, что не он начал войну. Разве я не предлагал в продолжении

18 месяцев соглашений со мною? Я не получал ни объяснений, ни даже ответа. Разве не ваш посланник передал мне ноту вашего кабинета, в которой было сказано, если я хочу, чтобы вошли со мною в переговоры, то прежде всего я должен вывести мои войска из Пруссии? Можно ли делать подобное предложение государю, к которому питают уважение, с которым не желают начинать войны? Я думаю, что вы не писывали подобных нот ни к одному из малейших европейских дворов, не исключая даже и шведского; но французский двор без сомнения никогда не получал подобных нот. Разве я не говорил князю Куракину, чтобы он устранил это условие, потому что оно принято быть не может? Если бы мне отдали Петербург и Москву в добавок, и тогда я не потерплю такого условия; я должен принять его за объявление войны. Несмотря на всё это, генерал, он мне представил эту ноту чрез два дня вместе с другими, придавая ей главное значение. Разве не вы первые начали вооружаться? Не ваш ли император первый прибыл к своим войскам? Я полагал даже, что эта нота была произведением самого Куракина. Это честный человек, но ограниченный; другой бы на его месте не представил бы этой ноты, после того, что я говорил ему. Всё это могло бы сделаться само собою после переговоров. Да могло бы, я вывел уже однажды мои войска из Пруссии, я мог это сделать и в другой раз; но требовать этого от меня особою нотою... на что это похоже! По правде сказать, в подобных обстоятельствах следовало бы употреблять людей более тонких и хитрых, нежели князь Куракин. Но я своими глазами видел данные ему наставления, в которых находилось слово в слово это условие. Я сообщил эту ноту всем европейским дворам, и все признали её за объявление мне войны.

Так говорил Наполеон, по обыкновению увлекаясь речью, не перерывая её и ходя взад и вперёд по комнате. В это время от ветра растворилась форточка в одном из окон; не перерывая речи, он затворил её, но она снова отворилась. Продолжая несколько раз затворять её, он, наконец, с явною досадою оторвал её от рамы и выбросил за окно, — продолжая говорить:

— Я хотел ехать в Испанию и должен был отложить мою поездку, я сделал большие расходы. Я знаю, что война Франции с Россиею не шутка ни для Франции, ни для России. Я сделал большие приготовления, и у меня втрое более войск, нежели у вас. Я знаю не хуже вас, сколько у вас войск, а может быть даже и лучше вас. Ваша пехота простирается до 120 тысяч, кавалерия от 60 до 70 тысяч. Одним словом, у вас войск до 200 тысяч, что менее в три раза, чем у меня. Император Александр окружён дурными советниками. Как ему не стыдно приблизить к себе негодных людей!

Осыпав бранью Армфельта, Штейна и Беннигсена, он продолжал:

– Я не знаю барона де Толли; но судя по началу кампании, я думаю, что он не обладает военными дарованиями. Ни одна из ваших войн не начиналась так беспорядочно, сколько сожгли вы магазинов и для чего? Не следовало их учреждать или воспользоваться ими. Неужели у вас думали, что [я] пришёл посмотреть лишь на Неман, а не перейти его? Не стыдно ли вам: со времён Петра I, с тех пор, как Россия сделалась европейскою державою, никогда неприятель не переступал её границ и – вот я в Вильне, без сражения завоевал целую область. Хотя бы только из уважения к вашему Государю, которого была здесь два месяца Главная квартира, вы должны бы защищать Вильну. Какой дух вы хотите возбудить в ваших войсках или уже возбудили? Я знаю, такой был в них дух, когда они шли в Аустерлицкую кампанию, они считали себя непобедимыми; а теперь они наперёд убеждены, что будут побеждены моими войсками...

Эти упрёки русским, утратившим будто бы военные доблести, не могли не задеть за живое Балашёва. Соблюдая приличия, он, однако же, решился перервать собеседника...

– Могу уверить Ваше Величество, что дошедшие до вас слухи не имеют никакого основания. Русские воины далеки от того, чтобы потерять уверенность в своих силах, они ждут не дождутся, чтобы сразиться с неприятелем, и их нетерпение возросло с тех пор, как они узнали, что нашим границам угрожает опасность. Ваше Величество позволили мне коснуться этого вопроса, а потому я осмеливаюсь с глубоким убеждением предсказать вам, что война, которую вы предпринимаете, государь, будет ужасна, это будет война с целым русским народом, а он – грозная сила. Русский солдат храбр, а народ исполнен любви к отчеству и предан своему Государю.

– Нет, генерал, я знаю, в России никто не хочет войны, исключая советников императора Александра. Россия её не хочет, Петербург не хочет, ни одна из европейских держав её не одобряет, даже сама Англия её не хочет, потому что она предвидит несчастья для России и, может быть, конечное бедствие. Она полагает, что Россия, в том виде, как теперь, такая могущественная держава и одна только может противодействовать Франции; но раз она будет ослаблена, что же остаётся в Европе? Нет, генерал, я не могу не одержать успеха в этой борьбе. Я собрал обо всём самые точные сведения. Я знаю, что ваши войска храбры; но и мои также храбры; а у меня несравненно более войск, нежели у вас. У меня 80 тысяч поляков, а будет 200, до сих пор при всех стычках, в сущности незначительных, вы только с ними

имели дело. Что за народ эти поляки, как воодушевлены они желанием восстановить войною прежнее своё отечество. Они дерутся, как львы. Чего вы можете ожидать от этой войны? Потери польских губерний, если будете её продолжать. Я послал 50 тысяч на Волынь, что у вас там, ничего, Тормасов с рекрутами, это всё равно, что ничего. Что у вас здесь? 11 дивизий пехоты и 11 дивизий кавалерии и не полных, Багратиона я преследую. Я уверяю вас, генерал, ни одной войны вы не *начинали* хуже.

— Мы надеемся, государь, *окончить* хорошо эту войну,— заметил, прервав его речь, Балашёв.

Как бы не слыхав его замечания, Наполеон продолжал:

— Потеряв польские области, вы начнёте потом терять свои, где же этому предел! Я готов идти в ваши степи, сделаю две, три кампании, можете ли вы столько выдержать, как я?

— Если по несчастью война не будет теперь же прекращена, то я предвижу, государь,— сказал Балашёв,— выслушав ваши заявления, что она продолжится долго, и я смею вас уверить, что мы будем продолжать четыре, пять и даже более лет.

— Как вы можете продолжать войну без союзников,— продолжал Наполеон,— тогда как, имея союзников, вы не могли её вести, например, когда Австрия была с вами. А теперь, когда вся Европа мне помогает, как вы можете мне противостоять!

— Мы будет действовать сообразно с нашими силами.

— Откуда вы возьмёте солдат, вам нужно брать по два рекрута с 500 душ для пополнения войск в мирное время; я знаю, чего вам стоит Грузия, Турция, Финляндия. Я знаю, сколько вы взяли рекрутов и сколько ещё можете взять. Вы далеко не пойдёте — и что такое ваш рекрут, сколько нужно времени, чтобы образовать из него солдата.

После мгновенного перерыва, он резко спросил:

— Правда ли, что вы заключили мир с Турциею? — На утвердительный ответ Балашёва он отвечал вопросом:

— На каких условиях? Они мне неизвестны, мирный договор ещё не обнародован. Если вы возвращаете им безусловно Молдавию и Валахию, то султан утвердит мир; но если требуете, как говорят, чтобы ваша граница была по реке Прут, то никогда не утвердит, будьте уверены. Впрочем, никогда не рассчитывал ни на турок, ни на шведов, это ничтожные народы...

Как будто одушевляясь особенною любовью к императору Александру, он продолжал:

— Боже мой, какое великолепное открывалось для него будущее в Тильзите и особенно в Эрфурте. Я *согласился отдать* ему Финлян-

дию, потом Молдавию и Валахию и может быть со временем отдал бы Варшавское герцогство...

Но как бы проговорившись и сказав более, нежели хотел, поспешил прибавить:

– Не теперь, конечно, нет; но со временем. Он сам испортил своё прекрасное царствование или, лучше сказать, имел слабость послушаться людей злонамеренных в отношении к нему самому. Я не верю, чтобы Румянцев писал эту ноту, это невозможно. Как начинать войну, не зная – за что? Мог ли знать император Александр, что я не соглашусь сделать то, чего он желает; согласился же я в Эрфурте на присоединение Молдавии и Валахии, хотя я не был обязан к тому по Тильзитскому договору. Я человек расчёта, я понял, что для меня выгоднее на это согласиться, нежели разорвать мой союз с Россией. И теперь могло то же случиться, как же, не объяснившись наперёд, вступать в войну. Я уже в Вильне и не знаю, из-за чего мы дерёмся. Вся ответственность за эту войну падает на императора Александра перед его народом; прежде он заключил со мною мир, когда его народ этого не желал, теперь начал войну, когда его народ не желает. Как мог император Александр, человек высокой честности, исполненный благородных и возвышенных чувств, окружить себя людьми, у которых нет ни чести, ни совести (comment peut-il s'environner de gens qui n'ont ni foi, ni loi). Как можем мы, и другие, которые искренно его любят, узнать без негодования, что Армфельт и Штейн, люди, способные на всякое злодеяние, имеют свободный доступ в его кабинет! Если бы он окружал себя русскими, никто бы не мог ничего сказать против этого.

Возможно ли, чтобы военный совет распоряжался военными действиями, такие войны никогда не бывали успешны. Мне иногда в глубокую ночь приходит в голову счастливая мысль, я встаю, отдаю приказания, и через полчаса аванпосты уже начинают приводить их в исполнение. А у вас: Армфельт делает предположения, Беннигсен разбирает, де Толли спорит, Пфуль отвергает и все вместе ничего не делают и теряют только время. Потом, к каким вы прибегаете мерам?

При этом он показал Балашёву перехваченные письма, в которых немцам советуют оставить ряды французских войск.

– Какие это будет иметь последствия? Сам император Александр будет причиною окончательного бедствия для Пруссии. Я присоединю её к Франции... Скажите императору, что я уверяю его честным словом, что в моём распоряжении находятся 550 тысяч войск по сию сторону Вислы, что война началась, но что я не против мира. Я упо-

треблял все способы, чтобы вступить в переговоры, но мне 18 месяцев ничего не отвечали, Лористона не допустили приехать в Вильну, на посольство Нарбонна не обратили внимания. Теперь я в Вильне и не выйду отсюда без особых причин. Пусть император Александр напишет мне или примет в своей Главной квартире Лористона. Скажите ему, что мои чувства лично к нему остаются неизменно те же, какие он мог заметить при наших свиданиях и продолжительных разговорах. Я хорошо его знаю и высоко ценю его прекрасные качества. Боже мой, Боже мой, какое прекрасное было бы его царствование, если бы он не разорвал союза со мною! Вы увидали бы, что случилось бы через 10 лет.

Спросив потом, правда ли, что граф Румянцев удалён от должности и замещён Кочубеем и, получив отрицательный ответ, император Наполеон продолжал:

— Скажите, за что удалили... как его зовут... что был при Государственном Совете... Спе... Спер... я не помню его имени?

— Сперанский,— подсказал Балашёв,— Император был им недоволен.

— Правда ли, что тут была измена?

— Этого я не предполагаю,— отвечал Балашёв,— потому что в таком случае это было бы обнародовано и его отдали бы под суд.

— Стало быть, какие-нибудь злоупотребления, может быть, воровство,— сказал Наполеон и отпустил Балашёва, заявив, что в продолжении дня приготовит ответ на письмо императора Александра.

Лишь только генерал Балашёв вышел из кабинета французского императора в другую комнату, наполненную генералами, в числе которых его встретили, как знакомого, Коленкур и Нарбонн, как подошёл к нему Дюрок и объявил, что император приглашает его к своему обеду в 7 часов.

Кроме повторения одних и тех же упрёков политике России, будто бы, вопреки его желаниям, вызвавшей его на войну, хвастливой уверенности в успехе и желания напугать громадою своих сил и своею опытностью как полководца, в речах Наполеона, обращённых к Балашёву, нельзя не заметить скрытого тока иного рода мыслей. Он понимал всю огромность своего предприятия — сокрушить такую державу как Россия. К осуществлению этого предприятия влекла его неодолимая страсть к всемирному господству; но он был, как и сам говорил постоянно, человек расчёта. Необузданная страсть дикаря, как Тамерлана и Аттилы, уживалась в этой необыкновенной личности с математически точным расчётом образованного европейца. Расчёт был носильным орудием и пособником могучей, неограниченной по самой своей

природе, страсти. Управляемая им бессознательная способность дикаря почувствовать вовремя опасность давала ему средство пользоваться случайными обстоятельствами в свою выгоду и выходить победоносно из всяких затруднений, достаточных для того, чтобы погубить всякого другого военачальника. Это же свойство в свой черёд породило в нём веру в счастье, в свою *звезду*. Он уверовал в *роковое* своё значение и всё и всех считал жертвами, обречёнными *судьбою*, или его унизительному покровительству, или неизбежной гибели.

На столе императора было только пять приборов, кроме Балашёва с ним обедали маршалы Бертье и Бессьер и граф Коленкур; в другой комнате обедали много генералов. «Нельзя было не заметить, что тон, который принял на себя Наполеон во время обеда,— говорит Балашёв,— был уже не тот, который он имел в кабинете, а гораздо надменнее. Мне часто приходило на мысль остановить неприличие этого тона каким-нибудь ответом не по его вкусу, чтобы он мог это заметить и воздержался. Иначе мне одному посреди неприятелей нечем было поддерживать достоинство возложенной на меня должности». Он непрерывно делал вопросы, нескромные и с очевидною целью насмехаться или выразить презрение.

— У вас есть полки из киргизов? — спрашивал он Балашёва.

— Нет,— отвечал он,— у нас есть только два полка из башкир и татар.

— Я это знаю потому,— заметил Наполеон,— что они перебегают ко мне.

По случаю отставки графа Гудовича и назначения на его место графа Ростопчина, он спросил:

— Не правда ли, что император Александр сменяет всех тех, которые хорошо расположены к французам?

— Смею вас уверить, государь,— отвечал Балашёв,— что граф Гудович предан только России и уволен по его просьбе за старостью и болезнью.

— Вам нужны теперь англоманы, правда ли, что Штейна приглашают к императорскому столу? — и получив положительный ответ, продолжал,— как может Штейн обедать с русским императором. Если бы даже он и желал слушать его советы, то во всяком случае не должен был сажать его с собою за стол. Неужели он думает, что Штейн может быть привязан к нему. Нет, ангел и дьявол никогда не должны быть вместе. Правда ли, что император Александр, во время пребывания в Вильне, каждый день пил чай у одной из здешних красавиц? — и, обращаясь к прислуживавшему ему за столом камергеру Тюренну, спросил,— как её зовут?

— Сулистровская,— не задумавшись, отвечал француз, перепутывая имена. Без сомнения, подобные вопросы ставили Балашёва в затруднительное положение.

— Император Александр всегда любезен в своём обращении и особенно с женщинами; но в Вильне я видал его постоянно за иного рода занятиями.

— Почему же, в Главной квартире это можно себе дозволить,— отвечал Наполеон и обратился к Коленкуру:

— Не правда ли, вы были в Москве?

— Да, государь.

— Что, это большая деревня?

— Город, где множество больших и прекрасных зданий.

— А сколько, генерал, жителей в Москве? — обратился он снова к Балашёву.

— 300 тысяч, государь.

— А домов?

— 10 тысяч.

— Церквей?

— До 240.

— Зачем так много?

— Они всегда бывают полны народом.

— Почему же это?

— Потому, что наш народ набожен (c'est que notre peuple est dévot).

— О, теперь нет набожных.

— Извините, государь,— заметил Балашёв,— может быть в Германии и Италии мало набожных, но их ещё много в Испании и России.

Этот ответ не совсем понравился Наполеону, и он замолк на несколько времени; но потом прервал молчание новым вопросом:

— Какая дорога ведёт в Москву?

— Ваше Величество прелагаете мне этот вопрос,— отвечал ему Балашёв,— с целью поставить меня в затруднение. Французы говорят, что всякая дорога ведёт в Рим; а русские говорят, что можно избрать любую дорогу, чтобы достигнуть Москвы. Карл XII избрал дорогу через *Полтаву*.

Обед окончился. Войдя в кабинет, Наполеон начал длинную речь, обращаясь к Балашёву и повторяя в разных видах то, что уже говорил ему.

— Император Александр,— говорил он,— испортил лучшее из бывших в России царствований (L'Empereur Alexandre a gâté le plus beau règne qui a jamais été en Russie). Боже мой, чего желают люди! Будучи разбит под Аустерлицем, разбит под Фридландом, одним словом,

после двух несчастных кампаний, он получил Финляндию, Молдавию и Валахию, Белосток и Тарнополь с областями,– и недоволен. Екатерина не могла надеяться приобрести более. Он, к своему несчастью, решился на войну или увлекаемый дурными советами, или своею судьбою. Но я не сержусь на него, несмотря на это, для меня каждая новая война есть новое торжество... Как можно ввести в своё общество Штейна, Армфельта, Винцингероде. Скажите императору Александру, пока он окружает себя моими личными врагами, он делает мне личное оскорбление, и я должен ему отвечать тем же. Я выгоню из Германии всю его родню, из Вюртемберга, Бадена, Веймара; пусть он приготовит им убежище в России. Разве у вас мало русских дворян, которые, без сомнения, более преданы императору, нежели эти наёмники; неужели он может думать, что они влюблены лично в него (est ce qu'il croit qu'ils sont amoureux de sa figure?), если он сделает Армфельта начальником Финляндии, но приближать его к себе,– что же это такое? И на кого вы рассчитываете? – продолжал он после мгновенного раздумья,– на англичан? Но они не могут оказать вам пособия даже деньгами, потому что денег нет у них самих; вы совершенно расстроите свои финансы, которые и так расстроены. На шведов? Если их такова судьба, чтобы ими управляли сумасшедшие короли, то они не могут быть вам полезны. Король с ума сошёл, призвали управлять другого, но вот и Понте-Корво сходит с ума. Но погодите, мы ещё увидим, как будут действовать шведы, когда вы будете поставлены в дурное положение. Точно также и турки. Обе державы не упустят случая напасть на вас, лишь только представится им удобный случай. У вас нет хороших генералов. Лучше всех Багратион; он не большого ума человек, но отличный генерал. Что касается до Беннигсена, то, уверяю вас, я не заметил в нём дарований. Как он действовал при Эйлау, при Фридланде! Пять лет тому назад он делал ошибки за ошибками, а постарев ещё теперь, на что же он способен... Я слышу, что император Александр сам предводительствует войсками. Для чего это? чтобы принять на себя ответственность, если они будут разбиты? Война – моё ремесло, я привык к нему. Он не в таком положении, он император по рождению, он должен царствовать, а начальство над войсками поручить главнокомандующему. Награждать его, если он хорошо будет действовать; прогнать и наказать, если будет действовать дурно. Лучше, чтобы генерал был ответственным лицом перед ним, нежели он ответственным перед народом. И государи могут быть так же ответственны! Этого не следует забывать.

Так говорил Наполеон, ходя взад и вперёд по комнате и обращаясь к Балашёву. Окончив речь, он молча продолжал ходить и вдруг оста-

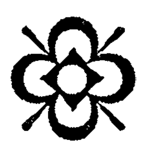
новясь перед Коленкуром и, «ударив его легонько по щеке», сказал:

— Что ж вы молчите, вы, старый угодник Петербургского двора (Eh bien! Que ne dites vous rien, vieux courtisan de la Cour de Pétersbourg)? Готовы ли лошади для генерала? Дайте ему моих, ему далеко ехать. — Потом, обратясь к маршалу Бертье:

— Александр, вы можете дать генералу прокламацию, она не составляет тайны, — и отпустил Балашёва*.

---

* Пребывание генерал-адъютанта Балашёва в Вильне описано им в собственноручной записке, на французском языке; немногие строки её изложены по-русски («Военно-Учёный Архив», № 4349, отд. II), А. Н. Попов в своём труде о 1812 годе приводит её почти целиком. Все же предшествовавшие ему историки Отечественной войны: Михайловский-Данилевский и Богданович ограничились приведением одних отрывочных, весьма неполных данных *(прим. ред. Русской Старины).*



Глава 2

Возвращение Балашёва. – Проекты манифеста о войне. – Государь в Свенцянах. – Граф Сен-При и его письмо к императору Александру I. – Клаузевиц. – Переписка Государя с Барклаем де Толли. – Генерал Пфуль и Дрисский лагерь. – Князь Багратион и 2-я армия. – Маркиз Паулуччи. – Военный совет в Дриссе.

Вместо ответного письма к императору Александру, которое он намеревался отправить с Балашёвым, Наполеон поручил своему начальнику штаба дать ему прокламацию, т. е. приказ к войскам о начале войны, объявленный им при переходе через Неман*. С такими вестями он отправился в Главную квартиру Государя и нашёл её в Видзи, 22-го июня. Отправляя Балашёва, Император не ожидал, чтобы Наполеон прекратил войну и вступил в мирные переговоры. Известия, привезённые им, не оставляли ни малейшего сомнения в том, что всякая мысль о переговорах должна быть устранена**. Предстояло продолжать войну, которой первый период уже близился к окончанию и при обстоятельствах неблагоприятных. Неприятель, завладев Вильною, разобщил наши армии и каждой из них противопоставил большие по количеству силы. 1-й армии грозила опасность, 2-я могла быть совершенно уничтожена, между тем Россия не знала о причинах войны. После обнародованного приказа войскам и письма Императора к графу Салтыкову 13 июня, известивших Россию о переходе неприятеля через Неман, не появлялось манифеста о войне. Эти, приказ и письмо, появились в «Северной Почте», правительственной газете того времени 19 июня; они были пере-

---

* Здесь у почтенного автора вкралась неточность; Балашёв был снабжён ответным письмом к императору Александру. Оно помечено: Вильно, 19 июня (1 июля) и напечатано в 24-м томе *Correspondance de Napoléon I-er.* Paris, 1868 *(прим. ред. Русской Старины).*

** В письме Наполеона, привезённом Балашёвым, между прочим сказано: «Итак, между нами объявлена война. Сам Господь Бог не может сделать так, чтобы то, что было, не было бы». (La guerre est donc déclarée entre nous. Dieu même ne peut pas faire que a été n'ait été) *(прим. ред. Русской Старины).*

печатаны в «Московских ведомостях» и разнеслись по всем концам России в то время, когда положение дел изменилось, и происшествия далеко подвинулись вперёд. Случалось так, что частные известия, развезённые каким-нибудь проезжим, распространяли слухи задолго до правительственных объявлений. Во время передвижения Главной квартиры Государя от Свенцян к Дрисскому лагерю и пребывания её в Видзи, «я видел, — говорит Шишков, — что Анштетт и Нессельроде ходили часто к Государю и нечто ему читали. Скоро потом Нессельроде пришёл ко мне с написанною по-французски, на нескольких листах, тетрадью, сказывая, что Его Величество приказал мне перевесть её на русский язык. Это был тот манифест, о котором Государь говорил мне прежде и к которому, по причине вышеобъяснённых обстоятельств, не мог я приступить. Я *удивился скорости* сего сочинения, оставил у себя тетрадь и прочитал её со вниманием; но, прочитав, удивился ещё более необдуманности, с какою она написана. Мне казалось, что она не только не послужит к оправданию и к чести наших поступков, но покажет их в виде, весьма для нас невыгодном. В ней хотели оправдать Тильзитский мир и другие наши унизительные с Бонапартием связи, о которых лучше надлежало бы, по моему мнению, прейти молчанием»[1].

В таком положении, в каком находилась Россия, появление манифеста представлялось делом неотложной необходимости, и скорость его сочинения не должна бы возбуждать удивления; но что касается до его содержания, то оно действительно не соответствовало цели. Этот проект манифеста походил на растянутую, наполненную мелких соображений, дипломатическую ноту, обращённую притом не к России, а к Европе, с желанием оправдать перед её кабинетами действия нашей политики, сравнивая их с политикою императора Наполеона. После заявления о том, что война началась и «человечеству угрожают новые бедствия», после уверения, что эта война «будет последняя», и похвал русскому дворянству, народу и войскам, проект продолжает: «Положение зачинщика войны прилично только тому, кто всю свою славу полагает в разрушении, а не тому, кто царствует для того, чтобы покровительствовать и сохранять. Теперь на нас сделано нападение, и мы сумеем отразить несправедливое вторжение в наши пределы. Но, во всяком случае, представим *Европе* изложение нашего образа действий в отношении к Франции, начиная с того времени, когда мы великодушно проливали свою кровь для тех государств, которые теперь идут против нас». Затем следует длинный ряд вопросов, составлявших предмет пререканий между двумя кабинетами, начиная с Тильзитского мира и до приезда в Вильну графа Нарбонна,

и следующее заключение: «Противупоставим противодействие действию, оружие оружию, силу силе. Мы защищаем наше Отечество, нашу политическую независимость. Мы сражаемся за славу русского имени, какой подвиг может быть лучше и достойнее божественного покровительства. Неудачи не приведут нас в уныние, успехи не поселят в нас гордости. Наша цель заключается в обеспечении безопасности нашей империи и в доставлении мира и спокойствия Европе. Происшествия докажут эту истину, и рано или поздно она окажет своё влияние и рассеет то обаяние или страх, который овладел народами. Мы примем с распростёртыми объятиями каждого из них, который захочет соединиться с нами для защиты нашего дела. Она привлечёт к нам союзников, которых выгоды совместны с нашими. Наше упование – на Бога, наше спасение – в оружии, наша надежда – на единодушное содействие всех наших верных подданных. Они восстанут поголовно, если это будет нужно. Они вооружатся, проникнутые великою истиною, что ничего нет невозможного для тех, которые сражаются за веру, семейство, честь и Отечество, что ничего нет невозможного для тех, которые изгоняют из своих жилищ несправедливо вторгнувшегося в них неприятеля. Честь, Отечество, Вера – священные слова! Наполнят они сердца наших верных подданных, да будут они в их устах и да защищают они их силою оружия. Бог будет нашим помощником во всех предприятиях».

Конечно, эта ученическая работа молодого дипломата-иностранца, взявшегося не за своё дело, не могла не произвести тяжёлого впечатления на адмирала Шишкова. Она могла бы ещё служить черновым наброском для рядовой дипломатической ноты; но как манифест, обращённый к русскому народу в такое грозное время, она, конечно, могла произвести неприятное впечатление. «... Чувства мои, по прочтении вышесказанной французской бумаги, – пишет Шишков, – наполнились такою горестью, что я, несмотря ни на что, пошёл немедленно к Государю и, объявя ему мнение о ней, сказал с твёрдостью: «Воля ваша, Государь! Но я не могу перевесть сей бумаги: она, мне кажется, наполнена такими объяснениями, которые русскому народу скорее подадут повод к печали, нежели к утешению». – Как ни были слова мои смелы, однако ж, к великой радости моей, Государь на них не прогневался, но с кротостью старался убедить меня к переводу оной, позволяя мне переправить в ней, что я хочу. Ободренный сим снисхождением, я утверждал снова, что она от начала до конца не с таким достоинством написана, с каким ей быть должно, и что переправить её столько же трудно, как бы и вновь написать. Государь замолчал, и я вышел от него без всякого решительного приказания.

Наконец, ежедневные наши из места в место переезды и другие занятия, казалось, привели у него бумагу сию в забвение, ибо он не напоминал мне более об ней»[2].

Кроме проекта манифеста, составленного графом Нессельроде, при содействии Анштетта, был в это время составлен и другой проект, который, как по содержанию, так и по слогу, обличал своё происхождение из канцелярии самого канцлера. Он написан слогом образованных людей екатерининского времени, начинавшим в это время, после переворота, произведённого Н. М. Карамзиным, становиться уже устарелым. Но этот слог ещё сильно заметен в произведениях Шишкова и сходен с тем, каким писаны все русские бумаги графа Румянцева. Что же касается до содержания, то оно свидетельствует, что его сочинителю во всей полноте и точности были известны предметы наших дипломатических сношений с Франциею. Кому же, кроме Императора, могли они быть известны в такой степени в это время, когда чрезвычайно строго сохранялась тайна дипломатических сношений и когда самые приближённые к Государю лица знали только то, что он сам считал возможным им сообщать? Едва ли, кроме графа Румянцева, кто-либо иной мог написать этот проект манифеста, и весьма естественно, [что] после отказа А. С. Шишкова от возложенного на него поручения по незнакомству с дипломатическими нашими сношениями, Император к нему обратился с этим поручением. В этом проекте говорится, что «два лета коварством и неограниченным властолюбием умышляемое нападение на русскую империю, наконец, действие своё восприяло». Два года назад, в 1810 году, император Наполеон не утвердил заключённой по его же предложению конвенции с Россиею о бывшей Польше. К этому событию приурочивается решимость императора французов воевать с нами, и оно прежде всех других выставляется причиною войны. После Венского мира (1809) «едва лишь содействием нашим пролитие крови, — говорит проект, — в сей части Европы остановилось, едва торжественным договором водворились в странах, войною удручённых, тишина и порядок, как французский император умышлял уже против существования оных и мысленно размерял пространство времени, в которое ему способно будет бросить пламенники свои на севере и обольстить коварными предложениями легкомысленных людей той части бывшего народа польского, которая познала истинное благоденствие тогда только, когда к империи нашей присоединилась... Приготовляя такую участь для Северных стран, французский император в военной конвенции 1809 года, с Венским двором заключенной, почёл за нужное упомянуть имя как будто бы существующего королевства Польского,

не из какой-либо к жителям сей части Европы особой привязанности, но в единственном намерении произвести в сём крае раздор и мятежи. Мы не упустили изъявить ему по сему случаю нашего негодования и получили в ответ, с самыми дружественными удостоверениями, предложение к обеспечению спокойствия на Севере истребить взаимным согласием и самое название поляков и Польши и утвердить согласие сие особым договором. Мы почли нелишним воспользоваться сим предложением и, обязав, сколько возможно, французского императора актом, торжественно утверждённым, остановить всегдашнее его стремление к низвержению всякого благоустройства. Конвенцию, по сему предмету заключённую и ничего иного не содержавшую, кроме того, что самим французским министерством предложено было, посол французский в С.-Петербурге с нашим канцлером подписали. В оной принято было взаимное обязательство не восстанавливать бывшего польского королевства, дабы не нарушить существующий порядок и ограничить число войск, в герцогстве Варшавском находящееся; но французский император недолго устоял в слове своём положить самому себе таковую благую преграду и отказался упомянутый акт утвердить своею ратификациею, под предлогом, якобы не находилось для него в сей конвенции достаточных взаимных выгод, как будто бы в силу оной мы что-либо новое приобрели. Сим неожиданным отступлением от своих обещаний французский император обнаруживал достаточно свои, против благоденствия империи нашей, злотворные замыслы; но мы правилом себе положили избегать сколько возможно всё то, что бы могло ускорить бедствия новой брани и мнили доброю верою нашею пристыдить французского императора». Но вместо того, император Наполеон начал усиливать свои войска на севере Германии и приближать их к нашим границам, присоединил к Франции с ганзеатическими городами герцогство Ольденбургское, требовал прекращения нашей торговли с нейтральными, жаловался на наш тариф 1810 года и наши оборонительные вооружения — «стремясь уравнять нас в разорении и обессилении с властями, ему повинующимися».

Едва ли можно ошибиться, предположив, что приведённые места из этого проекта и были причиною того, что Император не утвердил его и поручил написать другой графу Нессельроде. В этом последнем проекте о конвенции о Польше говорится как бы мимоходом, в связи с другими обстоятельствами, не придавая ей особенного значения и не выдвигая вперёд, как исходную точку враждебных замыслов Наполеона против России, как в первом. Действительно, такая постановка вопроса о войне с Наполеоном едва ли согласовалась со взгля-

дами Императора и, конечно, не соответствовала обстоятельствам, в которых направление и действия поляков должны были получить весьма важное значение.

После перехода неприятелем Немана и вторжения в пределы империи началось и наступательное движение войск и военные действия, хотя и не в значительных размерах. Вместе с манифестом необходимо было позаботиться и о составлении известий из армии для обнародования во всеобщее сведение. Едва Император оставил Вильну и прибыл в Свенцяны, как поручил генералу Пфулю составление первого известия (бюллетеня), представлявшего особенную трудность, потому что в нём следовало объяснить значение отступления наших войск и оставление неприятелю без боя значительных областей империи. Вот проект этого известия, им составленный:

«Россия сочла долгом держаться иной системы войны, в сравнении с той, какой следовала в предшедших войнах. До сих пор все говорили, что надо предупредить французов и повсюду нападать на них. Трудно предупредить ловкого неприятеля, умеющего пользоваться своими средствами. Это доказано печальными опытами. Император Наполеон начал войну с силами гораздо большими, сравнительно с теми, какие возможно было противопоставить ему на границах, но не с теми, которые он мог встретить, продолжая движение внутрь страны. Он должен был предполагать, что в войне с ним будут следовать старой системе. *С этою целью рассеяли войска* по границам на протяжении *почти 2.000 вёрст.* Даже учреждали магазины, которые *благоразумно сожгли и разрушили*, начавши отступление. Чтобы ещё более затруднить движение неприятеля, всё было увезено, что только можно было увезти, — продовольствие, лошади, скот. Неприятель рассчитывал на решительное сражение в окрестностях Вильны и ошибся в своём рассчёте. Он хотел напасть на отдельные корпуса, которые быстро *отступали, как бы захваченные врасплох*, но не успел в своих намерениях, изнурил свои войска, разрушил конницу и оставил множество больных в госпиталях. Да ободрятся все желающие свергнуть ненавистное иго! Первая армия, без потерь, в хорошем состоянии достигла укреплений на Дриссе, в то время, как прекрасная армия князя Багратиона с многочисленными казаками направляется на фланги и сообщения неприятеля. 3-я армия, под начальством генерала Тормасова, действует со стороны Волыни».

Кажется, нет нужды говорить, что этот проект первого известия из действующей армии не мог быть одобрен Императором и обнародован; но затем мог служить одним из убедительных для него доказательств совершенной неспособности генерала Пфуля и подтверж-

дать справедливость нареканий и насмешек, сыпавшихся на него со всех сторон. Неизвестно, кем составлено было другое; но трудность заключалась не в одном изложении, а в самой сущности. Нужно было оправдывать первоначальный план войны, доверие к которому поколебалось уже в самом Императоре и от которого пришлось скоро совершенно отказаться. Предписание князю Багратиону, последовавшее в это самое время, идти на соединение с 1-ю армиею, о чём упоминается и в этом известии, служило уже началом разрушения первоначального плана.

В этом известии растянутое по границам расположение наших войск объяснялось тем, что после движения неприятеля к Висле в феврале месяце «война казалась неизбежною; но Государь Император решился принять только меры осторожности и наблюдения, в надежде достигнуть ещё продолжения мира». Эта надежда не исполнилась; но тем не менее неприятель вторгся в наши пределы — «не прежде 12 июня: доказательство уважения неприятеля к принятым нами против него мерам». Описав движения неприятельских корпусов и отступления наших, для «занятия назначенных им мест», в этом известии объясняется, что «сие движение ныне совершается» и описывается, где находились наши корпуса 17 июня, т. е. в день составления известия. Движение, предписанное князю Багратиону, требовало того,— «чтобы избегать главного сражения, доколе он не сблизится с первою армиею, и потому нужно было Вильну до времени оставить. Действия начались и уже продолжаются пять дней; но ни который из разных корпусов наших не был ещё атакован, а потому сия кампания показывает уже начало *весьма различное* от того, каким прочие войны императора Наполеона означались. Происходили некоторые сшибки, в которых гвардейские казаки себя отличали».

Это известие было написано по-французски, и Государь прислал его вечером, часу в девятом, к Шишкову, поручая немедленно перевести для напечатания в ведомостях. Чтение этой бумаги произвело на него тяжёлое впечатление; вместо её он задумывал написать свою и отправился с этим предложением к Государю. «Но, выслушав меня,— говорит Шишков,— он приказал, однако же, перевесть её, примолвя притом, что он сейчас отправляет курьера и заляжет спать, покуда не получит сей бумаги». Шишков исполнил волю Государя; но грустной его мысли представлялось: «Что подумают, читая сие? не всяк ли скажет: как! в пять дней от начала войны потерять Вильну, предаться бегству, оставить столько городов и земель в добычу неприятелю и, при всём том, хвастать началом кампании! Да чего же не достаёт ещё врагу нашему? Разве только того, чтоб, без всякой препоны, прибли-

зиться к обеим нашим столицам! Боже милосердый! – горькие слёзы смывают слова мои»*... Русские люди того времени вообще не могли примириться с мыслью об отступлении наших войск, о войне оборонительной; а это чувство у адмирала Шишкова было раздражено болезненным состоянием и трудностями бивуачной жизни. Моряку, незнакомому с трудностями сухопутных походов, ему на старости лет и больному приходилось их испытывать. «В Свенцянах, – говорит он, – отвели мне ночлег в жидовском грязном и вонючем кабаке. Ввечеру, Государь прислал мне бумагу на немецком языке с тем, чтоб я как можно скорее перевёл её по-русски. Она была вся измарана, содержала в себе первые известия о бывших с неприятелем стычках, также о положении нашем, и посылалась с курьером в Петербург, для напечатания в ведомостях. Сочинитель её был вышеупомянутый Пруссак Фуль...

...Корчма, или с земляным полом кабак, который отведён был для меня, состоял из двух горниц, одной большой и другой маленькой, где в углу стояла худая кровать с приставленным подле ней, к стене, деревянным столиком, едва могшим поместить на себе чернильницу, сальную свечу и мою бумагу. Тут, трудясь над неприятным переводом, сидел я на треножном стуле, против маленького окошка, к которому поминутно, один за другим, приходили солдаты стучать, чтобы им отперли двери кабака, так что я всякий раз принуждён был вскакивать со стула и каждому из них во всё горло кричать: «Поди прочь! здесь стоит генерал!» Мало сего: сверху беспрестанно падали на бумагу мою тараканы, которых я, пиша с торопливостью, каждый раз должен был отщёлкивать. К сим досадам, присовокуплялась ещё та, что хотя дом, где остановился Государь, и недалеко отстоял от меня, не более 70 или 80 сажен, однако ж, надлежало туда ночью, в дождик, по грязной улице бегать»**.

Не на одного Шишкова произвело неприятное впечатление это *известие*.

Едва ли не без умысла, оно было помещено в «Северной Почте» не впереди – рядом с правительственными сообщениями, но в числе частных заявлений о благотворительном поступке некоторых лиц в отношении к голодавшим холмогорским крестьянам, о приходе купеческих кораблей в Кронштадтский порт, о получении новых това-

---

* А. С. Шишков. Записки, мнения и переписка. Т. I, Berlin, 1870, с. 137 *(прим. ред.)*.

** А. С. Шишков. Записки, мнения и переписка. Т. I, Berlin, 1870, с. 128 *(прим. ред.)*.

ров от московских фабрик в магазине купца Кузнецова. На это мнение наводит и следующее обстоятельство: через десять дней в «Северной Почте» появилось впереди всех других письмо главнокомандующего Барклая де Толли к министру внутренних дел. Главнокомандующий писал: «Наконец, смело могу уверить вас, для уверения всей публики, что западные войска наши в самом наилучшем положении. Все сыты, все бодры и все горят нетерпением ударить на непримиримого врага нашего. Вообще, до сего времени всё благоприятствует намерениям нашим, и мы, надеясь на Бога и храбрость воинов, не имеем ни малейшей причины сомневаться в счастливом успехе оружия нашего». Вместе с этим письмом помещён его приказ к войскам, объявленный накануне написания письма, перед вступлением войск в Дрисский лагерь, и приказ Императора, объявленный в день воспоминания Полтавского сражения. «С неожиданным и даже наглым впадением неприятеля в границы наши, — говорилось в приказе главнокомандующего, — надеялся он расположенные *более нежели на 800 вёрстах* силы наши, как *недостаточные* к обороне столь значительного пространства, разрезать колоннами своими на малые части и истребив каждую порознь, свершить алчное намерение своё, так сказать, одним приёмом. Сим единственно способом, сколько ни противен он нравам народным, удалось уже ему победить разные армии и покорить державы, обманутые надеждою на всеобщее уважение к сим священным правам». Но это намерение, — говорит далее приказ, — ему не удалось и «вскоре соберётесь вы, храбрые воины, вместе и общими силами противустанете врагу, дерзнувшему нарушить спокойствие наше. И ежели бы он, утомлённый тщетным стремлением на нас и бесчисленными нуждами в сём новом напряжении сил его, решился избегать битвы с нами; мы сами тогда устремимся на поражение его, мы сами с помощию правосудного Бога отмстим ему за себя и за всех, от насилий его терпевших». В приказе Императора также заявлялось о предстоявших битвах по соединении всех корпусов 1-й армии в Дрисском лагере. Все эти известия составлены были уже совершенно в ином направлении, нежели первое, действительно прошедшее почти никем незамеченным.

Император надеялся ещё, что возможно будет принять сражение в укреплённом лагере, Барклай постоянно считал возможным действовать наступательно. Уверение главнокомандующего, что войска находятся в целости, одушевлены мужеством и что 1-й армии с успехом удалось соединить все свои корпуса, не дав случая неприятелю разбить их порознь, конечно, должно было произвести хорошее впечатление. Умалчивалось только одно, что была отрезана, незначительная, впро-

чем, часть корпуса Дохтурова, и казаки Платова, удачно, однако же, соединившиеся с войсками Багратиона. Но не могли не заметить, что войска разбросаны были на пространстве 800 вёрст, и упрекали в этом, хотя и не совсем справедливо, Барклая де Толли. «Он очень хороший человек,— писал о нём граф де Местр своему правительству, повторяя конечно суждение высшего Петербургского общества, в котором он постоянно вращался,— но не более, и такой-то странный полководец противопоставлен Наполеону. Он сам публично осудил себя, объявив что войска Его Величества разбросаны были на пространстве 800 вёрст. Для чего же их так разместили? Во всех войнах именно первый шаг обличает гениального полководца. Он знает, где следует ударить, и туда направляет силы, как огромное ядро, которое сразу разрушает всё. Посредственность, не зная, где следует нанести удар, действует противоположным образом, воображая, что повсюду может наносить удары. Он разделяет ядро на мелкие дробинки, бросает их во все стороны и никому не причиняет вреда. Когда Иосиф II задумал начать войну с турками, он составил план военных действий вместе с фельдмаршалом Лесли и потом показал его фельдмаршалу Лаудону. Старый воин, рассмотрев этом план, разбросавший войска по всем границам, сказал: «Это прекрасное расположение войск, государь, для предохранения государства — от чумы!» Несмотря на это, Иосиф поступил по-своему, и последствия известны».

Впрочем, эти известия появились в «Петербургских ведомостях» в то время, когда войска уже выступали из Дрисского лагеря, а разнеслись по всей России, когда Император прибыл уже в Москву.

В то время, когда Барклай де Толли находился ещё в Вильне, ожидая более точных известий о неприятеле, которые убедили бы его в возможности дать сражение под Вильною или начать отступление, Государь, прибыв в Свенцяны, внимательно следил именно за отступлением корпусов 1-й армии и сильно заботился о положении Платова и князя Багратиона. Главнокомандующий мог самостоятельно делать распоряжения, доводя только о них до сведения Государя. Конечно, точно так же поступал и Государь, немедленно распоряжаясь, когда считал нужным, но уведомляя главнокомандующего о своих распоряжениях. Очевидно, такие отношения между ними могли только усложнять и запутывать положение дел. Это неудобство не было так чувствительно, пока Государь находился в одном и том же месте с главнокомандующим; но оно немедленно обнаружилось, лишь только они разъехались по разным местам, особенно в отношении ко 2-й армии, как наиболее отдалённой от Главной квартиры. «Молчание генерала Платова и князя Багратиона меня беспокоит,— писал Госу-

дарь к Барклаю де Толли немедленно по приезде в Свенцяны.— Так как корпуса Шувалова, Дохтурова, а равно и Тучкова, отступают, то если Платов и Багратион не будут действовать с должною осмотрительностью, то могут быть совершенно отрезаны от сообщений с 1-ю армиею. Прикажите, генерал, всем корпусным начальникам ежедневно присылать донесения об их движениях, чтобы можно было судить, правильно ли они двигаются. Гвардия сосредоточивается, и с 7-ю сводными батальонами егерей сегодня к вечеру у Свенцян будет 25 батальонов и 20 эскадронов. Место для лагеря не из лучших».

В тот же день вечером Государь писал Барклаю, что «вообще, кажется, всё идёт хорошо; только надо, чтобы донесения посылались чаще, как и вы замечаете» и обращал его внимание на следующие два обстоятельства: 1) часть корпуса Витгенштейна, которая отступает перед неприятелем от Россиен, двигается на Кайданы, которые не выше Свенцян. Поэтому надо внимательно следить, чтобы неприятель, преследующий этот отряд, не оказался в тылу нашей позиции при Свенцянах. 2) Донесение князя Багратиона. «Я чрезвычайно опасаюсь, чтобы он не замешкал долго в Волковыске и чтобы не случилось с ним чего-нибудь неожиданного, так же, как и с Платовым, от которого мы не имеем даже никаких известий. Поручите им немедленно начать движение и воспользуйтесь тем временем, пока вы не оставили ещё Вильны. Это даст им возможность на несколько переходов приблизиться к вам. Казаки из Гродно могут идти на Ойжишки, а князь Багратион, не теряя временя, переходить за р. Щару». Император заботился, чтобы чаще получались донесения от отдельных начальников, поручал Барклаю повторить им это предписание и спрашивал: Какие известия от Дохтурова? От Балашёва? Переехал ли он за аванпосты? Принял ли его неприятель? «Берегитесь,— писал он,— чтобы неприятель не обошёл вас; он может перейти Вилию ниже Вильны между вами и Багговутом». В то же время он отправил к нему маркиза Паулуччи с тем, чтобы он занял при нём место начальника штаба. «Но я не сказал ему,— оговаривался Государь,— с какою целью его посылаю. Если вы найдёте, что он может занять место Лаврова, то определите его или дайте ему другое назначение, или просто оставьте при себе, или, наконец, пришлите его ко мне с вашим донесением». Из этих слов видно, что маркиз Паулуччи ещё не был назначен в это время начальником штаба 1-й армии; но Барклай де Толли, не желая этого назначения, а в тоже время не решаясь как бы противиться воле Государя, оставлял его в неопределённом положении.

На другой день после отправления этих писем Государь узнал из сообщений главнокомандующего о некоторых обстоятельствах,

которые произвели неприятное на него впечатление. «Вы предписали Витгенштейну,— писал он Барклаю,— стоять у Вилькомира, а Багговуту у Ширвинт до новых с вашей стороны распоряжений. Но мне кажется, что следует предвидеть и тот случай, когда неприятель двинется на кого-либо из них в превосходных силах, и притом внезапно. Не имея дозволения действовать сообразно обстоятельствам, они сочтут долгом оставаться на тех местах, где им предписано находиться, и через то могут быть разбиты. Обращаю ваше внимание на это соображение». Предполагая ещё возможность сражения под Вильною, Барклай де Толли желал, чтобы не удалялись от него корпуса графа Витгенштейна и Багговута; но это распоряжение очевидно могло замедлить общее отступление всей 1-й армии, предположенное Государем. Ещё более могли замедлять его неисправность мостов и несвоевременное отправление нарочных с приказаниями главнокомандующего. Между тем в числе сведений, сообщённых Императору Барклаем де Толли, было донесение барона Корфа о неисправной переправе при Михалишки. «Я не могу и выразить вам, какое впечатление произвело на меня донесение барона Корфа о мосте в Михалишках,— писал ему Государь.— Полагаю, что и на вас оно так же подействовало. Припомните, сколько раз в Вильне я говорил вам о мостах. Необходимо также, чтобы я вас предостерёг: Бок, с которым вы послали ваши приказания к Эртелю, только сегодня утром проехал Свенцяны, уверяя, что два дня его задержала ваша канцелярия. Три дня тому назад, как он получил ваши приказания! Три потерянных дня, это ужасно — во время военных действий». Государь подметил особенную черту в характере своего главнокомандующего, на которую указывал и впоследствии: Барклай де Толли считал дело сделанным, если он отдал приказ или подписал бумагу; заботу об исполнении он считал вне своих обязанностей. Это обстоятельство, может быть, послужило поводом к распоряжению со стороны Императора, о котором он извещал главнокомандующего в письмах, в этот же день написанных.

«Я счёл полезным отправить приказания Витгенштейну, Багговуту, Дохтурову, Платову и князю Багратиону, чтобы со всех донесений, которые они будут посылать вам, в то же время они присылали списки прямо ко мне в Свенцяны, для того, чтобы мне своевременно были известны все движения. Но я не буду делать им никаких предписаний, чтобы не расстроить ваших распоряжений. Итак, вы, генерал, будете давать им наставления, какие сочтёте нужными. Одно только я счёл нужным допустить из этого исключение, в отношении к князю Багратиону. Я предписал ему перейти за реку Щару и продолжать отсту-

пление на Вилейку, для того, чтобы выиграть время. Первоначально мы предполагали, чтобы он отступал на Минск и, присоединив 27-ю дивизию, шёл на Вилейку и действовал на правый фланг неприятеля, который обратился на нас. Но теперь при этом движении он много потерял бы времени и, следуя прямо на Вилейку, он скорее достигнет цели. Я поручил ему предписать 27-й дивизии присоединиться к нему. Если же слишком большие силы неприятеля помешают ему исполнить это движение, он всегда может двинуться на Минск и Борисов. Вследствие этого я предписал Платову приблизиться к Лиде, чтобы поддерживать сообщения между корпусами, расположенными у Вильны, и 2-ю армиею».

В этот же день Государь получил донесение князя Багратиона, в котором тот повторял предположение сделать движение на Варшаву. Препровождая это донесение к Барклаю, Государь писал: «Вместо этой прекрасной диверсии, которая представляется мне если не невозможною, то, во всяком случае, опасною и которая лишила бы 1-ю армию помощи 2-й, гораздо лучше бы он поступил, немедленно предприняв предписанное ему движение; потому что я опасаюсь, что теперь он может встретить препятствия со стороны неприятеля, если Платов с казаками не поддержит его левого фланга. Вообще эти три корпуса меня чрезвычайно беспокоят, т.е. Дохтурова, Платова и Багратиона. Что касается до Дохтурова, то надо употребить все средства, чтобы приблизить его к вам; он слишком далеко находится позади. Сделайте одолжение, позаботьтесь в этом». Тревога Государя была основательна: движение неприятеля к Вильне не только разделяло 1-ю армию от 2-й, но отрезывало Платова с казаками и даже Дохтурова, находившегося в Лиде. Последнему удалось, однако же, после неимоверных трудов присоединиться к 1-й армии, и только находившийся в его арьергарде отряд Дорохова был отрезан неприятелем и присоединился потом ко 2-й.

Повеления, посланные Государем из Свенцян с флигель-адъютантом Бенкендорфом князю Багратиону и Платову, не только изменяли первоначально предписанные им движения, но и самый план вообще военных действий. «По движениям неприятеля против правого фланга первой армии, — писал Государь князю Багратиону, — найдя необходимым соединить большие силы против оного, дабы нанести ему сильный удар и потом действовать на него наступательно, почитаю нужным предписать вам, чтобы вы, перейдя с вверенным вам войском за реку Щару, тянулись *на соединение к первой армии* через Новогрудок или Белицу, куда из сих двух мест вам удобнее будет, оттуда же на Вилейку, на которую предпишете следовать на *соединение*

с вами и 27-й пехотной дивизии, идущей теперь из Минска на Новогрудок. Действуя таким образом в правый фланг неприятеля, иметь главным предметом вышеупомянутое соединение вашей армии с первою».

Отпуская с этим предписанием Бенкендорфа, Государь говорил ему: «Скажите князю, что вероятно Бонапарте, следуя постоянному своему правилу, примет направление на столицу и, чтобы устрашить Россию, пойдёт на Москву; но ничто не вынудит меня положить оружие, пока неприятель будет находиться в наших границах». Если Бенкендорф верно припомнил впоследствии сказанные ему в то время слова Государя, то он указывал ему только на одно из возможных движений неприятеля, между тем как в это время он думал и о другом, – что неприятель может пойти на Петербург, конечно, и в том и в другом случае оставаясь верным своему правилу навести страх на противника занятием столицы. Не в этом, однако же, заключалась важность возложенного на Бенкендорфа поручения, но в том повелении Государя, которое он привёз князю Багратиону. Оно наносило новый удар первоначальному плану военных действий – плану Пфуля с товарищами и предвещало окончательное его разрушение.

Образование 3-й Западной армии, вызванное тем положением, которое приняла в отношении к нам Австрия, уменьшив наполовину состав армии князя Багратиона, лишало её возможности с успехом исполнять назначение, определённое ей первоначальным планом военных действий. Её передвижение к Вилькомиру давало повод предполагать, что это назначение совершенно устранено и заменяется новым, которое было неизвестно, однако же, её начальникам. Граф Сен-При несколько раз просил у Государя новых наставлений. Князь Багратион, чтобы выйти из неопределённого положения, предлагал экспедицию в герцогство Варшавское. Предписание из Вильны от 12 июня, сообщённое Барклаем де Толли, поручало только 2-й армии обеспечивать тыл корпуса Платова, который должен был действовать во фланг неприятелю, лишь только он переправится через Неман и *располагать движения своей армии* сообразно *стремлению неприятеля против 1-й армии.* Только в отношении Барклая де Толли от 15 июня, в котором он извещал об отступлении 1-й армии из Вильны к Свенцянам, ему поручалось двинуться на Минск и Борисов. «Вторая армия, – писал к Государю граф Сен-При, – только что получила приказание двинуться на Минск, и войска находятся уже в полном движении. В то время, как неприятель занял уже Вильну, это отступление на протяжении 250 вёрст от границ чрезвычайно трудно с успехом привести в исполнение; потому что неприятель может ранее нас быть в Минске, имея пройти только 160 вёрст. Если Наполеон будет совершать

свои движения с обычною быстротою, то не может быть сомнения в том, что он пошлёт сильную колонну, чтобы совершенно перерезать сообщения между двумя армиями. С какою бы быстротою ни совершали мы наши движения, мы всегда будем предупреждены неприятелем, если 1-я не сделает какой-нибудь диверсии в нашу пользу. Хотя князь Багратион предписал 27-й дивизии дожидаться нас в Минске, и её будут поддерживать 12 батальонов, пришедших из Бобруйска; но несмотря на то, одни лишь наступательные действия 1-й армии могут облегчить наше движение. Только в этому случае наши сообщения с 1-ю амиею будут обеспечены, и если неприятель не раздавит нас превосходными силами, мы будем, может быть, в состоянии сделать полезную для 1-й армии диверсию. Князь Багратион предлагал вместе с Тормасовым совокупными силами идти на Варшаву, чтобы разрезать силы неприятеля и без особенных затруднений разрушить все приготовленные им средства. Это была бы самая странная диверсия против его нападения; но так как мы должны отступать на Минск, то нам должно стараться только поскорее его достигнуть, чтобы содействовать успехам 1-й армии». В этих словах начальника штаба 2-й армии выражается прямо невозможность исполнения возложенных на неё поручений без содействия со стороны 1-й армии.

В то время, когда заботы Государя направлены были к тому, чтобы облегчить и ускорить отступление 1-й армии до линии р. Двины и соединить с нею 2-ю, Барклай де Толли предполагал ещё дать сражение под Вильною или у Свенцян. «Если 1-й армии не можно будет дать выгодного сражения перед Вильною, тогда, присоединив к себе корпус Витгенштейна и Дохтурова, она будет сосредоточена у Свенцян, где может быть и дано будет сражение. Впрочем, если обстоятельства дозволят, то 1-я армия от Свенцян и сама пойдёт атаковать неприятеля». Барклай намеревался дать сражение сообразно с первоначальным планом, по которому в то же время ему бы содействовали Платов и князь Багратион, действуя во фланг и тыл неприятеля.

Таким образом, обе армии рассчитывали на помощь одна другой в то время, когда войска неприятеля, быстро продвигаясь на Вильну, грозили совершенно прервать всякое между ними сообщение. Этот расчёт основывался на том, что не столько не знали, сколько не верили, чтобы такие громадные силы мог двинуть Наполеон в пределы России: полагали, что одна из армий, действуя наступательно привлечёт на себя часть его сил и тем убавит число неприятеля наступавшего на другую и доставит ей возможность противодействовать ему с успехом; тогда как под его рукою было такое количество войск, что против каждой из двух наших армий он мог поставить более, нежели

вдвое превышавшее их количество. Между тем, это обстоятельство послужило первым поводом к взаимному недоверию между нашими главнокомандующими.

Получив донесение Барклая де Толли об его отступлении от Вильны, Государь сделал распоряжение о дальнейшем отступлении некоторых частей войск, находившихся при Свенцянах. Он находил, что при Свенцянах нет хорошей позиции, и писал Барклаю: «Я отправил Клаузевица назад, чтобы отыскать позицию на Двине; может быть можно будет занять хорошую около Видз». На другой день он писал: «Я посылаю к вам полковника Клаузевица переговорить о тех позициях, которые во время отступления войска могут занимать ежедневно». Осмотр пути отступления оканчивался укреплённым лагерем при Дриссе, который, без сомнения, и составлял существенную цель осмотра, порученного Императором полковнику Клаузевицу. Этот прусский офицер, вступивший в русскую службу, пользовался особым расположением Государя. Образованный, учёный, впоследствии известный военный писатель, он назначен был состоять при генерале Пфуле, глубоком кладезе военной премудрости, как полагали иные, хотя и немногие, в это время, который, однако же, Клаузевицу скоро удалось исчерпать и понять всю его несостоятельность. Он вовсе не разделял взглядов Пфуля на военные действия и был защитником взгляда об отступлении внутрь страны, не ограничивая его никакими пределами. Того же взгляда в Главной квартире держался граф Ливен. Бывший посланником при Берлинском дворе, он прибыл туда по окончании своего посольства и под влиянием Клаузевица, с которым постоянно находился в близких сношениях, он полагал, что Наполеона могут победить только пространство и время. Отступать в беспредельную даль России, затягивать как можно долее войну — таков был взгляд прусских военных людей, ненавидевших Наполеона и желавших успеха России. Этот взгляд, доведённый до той крайности, в которой выражал его Клаузевиц, может быть объяснён тем паническим страхом, который военный гений Наполеона навёл на всю Европу и особенно на Пруссию. Самоуверенно гордая именно превосходством своего военного устройства, Пруссия, после разгрома при Йене, впала в отчаяние, но такое же самоуверенное и гордое. Если военные силы Пруссии не могли противустоять Наполеону, то и не могут никакие другие, и против него можно действовать только, так сказать, стихийными силами.

Конечно, великие умы, как, например, барон Штейн, не подчинялись такому направлению мыслей, возможному в Пруссии в это время и, без сомнения, совершенно невозможному в России. С ним

сопоставить можно другое, к сожалению, выражавшееся у нас в это время некоторыми лицами, смотревшими на войска Наполеона, как на сброд, составленный из разных народов, и полагавшими, что его ополчения мы можем закидать шапками. Но взяли верх иные взгляды. Разногласие существовало только в отношении к вопросу, что выгоднее для России: вести наступательную или оборонительную войну. Положение, которое перед самым началом военных действий приняли в отношении к нам две великие Германские державы, Австрия и Пруссия, решило этот вопрос в пользу оборонительной войны; но и в этом последнем случае возникло разногласие, возбудившее новый вопрос: следовать ли с буквальной точностью первоначальному плану военных действий или отступить от него, по несостоятельности ли самого плана или по требованию самых событий? Предполагая этот вопрос, конечно, следует заметить, что с полною ясностью он мог представляться только императору Александру. План военных действий составлял государственную тайну. Его знали немногие, принимавшие участие в его составлении. Кроме того, этот план имел в виду два случая – наступательную и оборонительную войну. Войска ожидали первой, в то время, когда правительство уже склонялось к последней. Но этот вопрос окончательно был решён только после приезда Государя в Вильну. С этого времени естественно всё его попечение обратилось на порядок отступления, на укреплённый лагерь при Дриссе, как последнюю его цель. Но общий план оборонительной войны уже был нарушен силою обстоятельств, вынуждавших дать иное назначение 2-й армии. Быстрое движение неприятельских войск к Вильне угрожало отрезать 1-ю армию от 2-й и ставило возможность их соединения в сомнительное положение. При этом обстоятельстве необходимо было замедлять отступление 1-й армии, чтобы не удаляться более и более от 2-й, и поэтому укреплённый лагерь при Дриссе получал особенное значение. Действительно ли представлял он возможность поместить в нём войска и задержать дальнейшее наступление неприятеля? Отзывы о плане Пфуля, доходившие до Государя в Вильне, не могли не возбудить в нём сомнения в военной его премудрости. Для того, чтобы убедиться в достоинствах и недостатках укреплённого лагеря, осмотреть его, он послал Клаузевица, которого не мог подозревать в пристрастии, хотя он был соотечественник и адъютант генерала Пфуля.

По возвращении Клаузевица Государь выслушал его отчёт в присутствии его генерала. С забавною живостью описывает Клаузевиц своё неловкое положение в этом случае. С одной стороны, как же

можно было выдать ему своего соотечественника и начальника; с другой, мог ли он, как честный человек, лгать и говорить против своих убеждений? Но как бы ни был изворотлив и мягок его отзыв, Государь очень хорошо понял то, чего он не договорил и каков был его действительный взгляд на Дрисский лагерь. Он поручил принцу Георгу Ольденбургскому заявить ему, что заметил неискренность его сообщений и хотел поговорить с ним снова. Но, понимая, конечно, настоящий смысл донесения Клаузевица, Государь отправил его к Барклаю де Толли для сообщения ему своих наблюдений.

При этом случае нельзя не обратить внимания на то, что Государь, сообщая своему главнокомандующему о сделанных им предписаниях князю Багратиону, умалчивает о самом важном из них — идти на соединение с 1-ю армиею. Точно так же, посылая к нему Клаузевица, он говорит, что поручил ему осмотреть путь отступления войск и места для их ежедневных остановок, но не упоминает о главном поручении, которое он возлагал на него — осмотр лагеря при Дриссе. Независимо от других доказательств, это одно обстоятельство достаточно свидетельствует, что Государь сознавал уже необходимость изменения первоначального плана действия, а его главнокомандующий упорно его поддерживал. Может быть, это различие во взглядах и вынуждало Государя вмешиваться в военные распоряжения, чтобы постепенно, как бы силою самих обстоятельств, поставить главнокомандующего в необходимость быть исполнителем уже нового, изменённого плана.

Намерения Наполеона ещё недостаточно выяснились в это время. Конечно, все были уже уверены, что он воспользуется разбросанным на огромном пространстве положением наших войск и попытается разрезать его на две части, чтобы разбить каждую порознь; но какая дальнейшая цель его движения — Москва или Петербург?

Во время пребывания Государя в Свенцянах известия от графа Витгенштейна и о действиях Кульнева против корпуса Удино, и о движении неприятеля к Динабургу возбудили опасения об опасности, угрожавшей правому крылу наших войск. «Донесения Витгенштейна, которые я послал вам вчера,— писал Государь Барклаю де Толли,— заставляют предполагать, что неприятель хочет обойти наше правое крыло и предупредить нас на Двине». Едва Государь отправил это письмо, как получил донесение Барклая де Толли о том, что неприятель преследует его весьма медленно. Отвечая тотчас же, Государь писал ему: «Всё содержание вашего донесения подтверждает моё предположение, что неприятель направляет свои силы с тою целью, чтобы обойти наше правое крыло. С умыслом он не сильно вас преследует; он желает, чтобы вы медленно отступали, выжидая,

пока корпуса Удино, Даву и Макдональда достигнут нашего правого крыла. Я советую вам, генерал, не замедлять вашего отступления, а завтра же дойти до Свенцян. Бросив взгляд на карту, вы заметите, что теперь уже корпуса Витгенштейна и Багговута позади вас, и всё убеждает в том, что неприятель, находящийся против Витгенштейна, будет продолжать движение к Двине».

Барклай де Толли, после известий, сообщённых ему Государем, также начал опасаться за правое крыло и советовал придвинуть корпус Витгенштейна к Динабургу. Государь отклонил, однако же, этот совет. «Из ваших донесений вижу, — писал он ему, — что вы пришли к тем же предположениям, как и я, насчёт движения неприятеля к Двине. Но я полагаю, что было бы опасно изменять движение Витгенштейна; потому, что направившись к Динабургу, он подвергался бы опасности быть разбитым неприятелем в превосходных сравнительно с ним силах. Я предпочитаю следовать предписанным уже движениям, о которых вы знаете из бумаг, сообщённых мною вам с Клаузевицем. Но в то же время, т.е. третьего дня, я дал приказание, чтобы в Динабурге держали себя настороже. Не медлите, генерал, и отступайте к Свенцянам. Так как Корф уже приблизился и находится в 14 вёрстах отсюда, а в Свенцянах остаётся ещё кирасирская дивизия, то я нахожу, что у вас довольно конницы. Поэтому я предписал Уварову держаться ближе к корпусу Витгенштейна... Тогда корпуса Тучкова и Шувалова приблизятся к Свенцянам, и таким образом связь между корпусами не будет нарушена. Я надеюсь завтра лично переговорить с вами».

Но, ускоряя отступление к Двине, Государь не дождался главнокомандующего в Свенцянах, и на другой день после отправления этого письма его Главная квартира находилась уже в Видзах. Там, по рассказу Клаузевица, генерал Пфуль* получил приказание явиться к Государю и привести с собою Клаузевица, который, как его адъютант, жил вместе с ним. Когда они вошли в квартиру Государя, он находился в кабинете, которого двери были затворены, а в большой комнате, перед кабинетом, находились: князь Волконский и его адъютант Орлов, граф Аракчеев и полковник Толь. Князь Волконский сообщил генералу Пфулю полученные известия и объявил, что Государь желает знать его мнение, как следует поступать в настоящем случае. Так как полковник Клаузевиц был послан для обозрения путей отсту-

---

* Правильно — Фуль (von Pfuel), однако, здесь и далее мы сохраняем написание, принятое А.Н. Поповым и распространённое в исторических трудах в его время *(прим. ред.)*.

пления до Дриссы, поэтому и он приглашён был сюда и предложил генералу Пфулю вместе с ним и Толем сообразить о том, какие следует принять меры в настоящее время. Уже участие Толя, который вовсе не разделял мнений Пфуля, в этом совещании, показывает, какое направление начинали принимать взгляды Государя.

Генерал Пфуль, не входя в рассуждения, прямо объявил, что всё это произошло оттого, что Барклай не исполнял данных ему повелений. Князь Волконский желал устранить это заявление, указывая на то, что, от чего бы ни зависели настоящие обстоятельства, вопрос состоит в том, как следует действовать теперь. При этом случае Пфуль выразил все особенности своего характера. С одной стороны, очевидно сбитый с толку неожиданными обстоятельствами, с другой, долго сдерживая досаду и замечая, конечно, что доверие к нему начинает падать, он быстро начал ходить взад и вперёд по комнате, с желчью говоря, что не может сказать, как помочь делу, когда не хотят следовать его советам.

Клаузевиц находился в странном положении, смотря на безумные выходки своего земляка и начальника, которого мнений он вовсе не разделял; но все, однако же, смотрели на него и Вольцогена, как [на] единомышленников и учеников Пфуля. «Князь Волконский и граф Аракчеев,— говорит он,— с выражением нетерпения ожидали, что из этого выйдет, нисколько не желая вмешиваться в рассуждения. Между тем, каждую минуту Государь мог отворить дверь кабинета и спросить о последствиях совещаний». Клаузевиц с Толем и Орловым совещались между собою, отойдя в сторону, пока выражал свои негодования генерал Пфуль. Вдруг дверь в кабинет отворилась, и Государь позвал Пфуля и Толя. Их разговор остался неизвестен; но, замечает Клаузевиц, известия, заставлявшие опасаться за правое крыло, на другой же день оказались ложными, и с этого времени Государь реже и реже начал приглашать к себе Пфуля*. Действительно, в это именно время прекратились неосновательные опасения за наше правое крыло и, наоборот, обратилось внимание на левое. «Кажется, действительно, неприятель приостановил свои движения на наше правое крыло,— писал Государь к Барклаю де Толли,— но, по всей вероятности, он маневрирует около нашего левого крыла». Государь не торопил уже более его отступления, но, напротив, позволял даже оставаться несколько времени на месте, «чтобы дать отдых людям и лошадям».

---

* K. von C l a u s e w i t z. Der Feldzug von 1812 in Russland, Berlin, 1834 (см. русск. пер.: К. фон К л а у з е в и ц. 1812 год. Поход в Россию, М., 2004, с. 30–32; *прим. ред.*).

Кроме общих соображений о военных действиях, Государя постоянно озабочивали замечаемые им беспорядки в управлении войсками. По дороге из Свенцян в Видзы он заметил неустройство в передвижении военных обозов. «Я нашёл чрезвычайный беспорядок в обозах. Генерал-вагенмейстер занимается только вашей Главной квартирой, а другие обозы, принадлежащие дивизиям вашей армии, бродят без толку по дорогам, останавливаются, где хотят, и грабят страну. Черепанов не имеет никаких средств, чтобы водворить порядок, потому что ему в распоряжение дали только 8 казаков, тогда как весь Бугский казачий полк для этого был предназначен. Гораздо было бы лучше, если б конвой главнокомандующего был не так многочислен, потому что вся армия его оберегает или может оберегать, а багаж лучше был бы охраняем от всяких беспорядков. Я прошу вас, генерал, прислать Черепанову, по крайней мере, 200 Бугских казаков, чтобы он мог водворить какой-нибудь порядок, переловить мародёров и грабителей и, наказав их примерно, заставить других остерегаться. Также много находится офицеров. Они говорят, что получили на то приказания, но не могут доказать этого никакою бумагою. Прошу вас, предпишите, чтобы им давали билеты, в которых бы означалось, куда и с какою целью они отряжены». Очевидно, выговор Государя относился не до второстепенных исполнителей дела. Барклай де Толли представлял, кажется, свои оправдания; но они не удовлетворили Государя. В тот же день вечером Государь писал ему: «Всё, что вы ни говорите об обозах, во всяком случае, может иметь самые печальные последствия. При каждой роте находятся только по две подводы, одна с сухарями, другая с зарядами. Но если одна из повозок изломается, то на чём же будут везти сухари или заряды для этой роты? Прошу вас, генерал, внимательно об этом подумать: это вопрос первостепенной важности. Неужели нельзя найти возможности отправлять их все вместе и за несколько часов прежде выступления самих войск? В этом случае они могли бы оказывать взаимную себе помощь и имели бы на это время. Дело заключается только в том, чтобы вверить отправление этим соединённым обозом сметливому офицеру, который сумел бы распорядиться и заставить себе повиноваться». «Необходимо, генерал, – писал через несколько дней Государь, – на походе к Дрисскому лагерю распорядиться, чтобы пионеры отправлялись в поход за несколько часов до выступления войск, потому что мосты повсюду находятся в ужасном положении, между тем как эти дороги исследованы были прежде офицерами. Такая небрежность непростительна».

Эти слова самого Государя служат достаточным доказательством, что в управлении войсками были допущены большие беспорядки. Барклай де Толли, боевой генерал, но никогда не бывший главнокомандующим, знаком был с военным управлением только по бумаге. Подписав бумагу, отдав приказ, он считал с своей стороны дело сделанным. Это свойство его характера с особенною резкостью выразилось при следующем обстоятельстве. В то время, когда отступление войск было главным предметом забот Государя, внезапно заболел граф Шувалов, так что не мог начальствовать 4-м корпусом и просил Государя уволить его от должности. За несколько дней перед тем приехал в Главную квартиру граф Остерман-Толстой, находившийся в отставке с 1810 года, и просил Государя принять его в действующую армию. Государь воспользовался этим случаем и назначил его на место графа Шувалова корпусным командиром. Барклай де Толли чрезвычайно обиделся и счёл такой поступок выражением недоверия к нему. «Ваши вчерашние письма меня огорчили,— отвечал ему Государь.— Как могло случиться, что после того, как я употреблял все старания, чтобы доказать вам моё уважение, привязанность и, позвольте прибавить, особенное отличие (ибо при всяком случае оказывал вам преимущество даже перед членами моего семейства), как могло случиться, что вы находите удовольствие в том, чтобы быть несправедливым ко мне и притом в такое время, когда каждого должна занимать одна только мысль о спасении Отечества? Позвольте сказать вам: я вас не узнаю в этом поступке и готов объяснить его минутным заблуждением. Самое происшествие я, надеюсь, убедит вас в этом. В то самое время, когда я выезжал из Бельмонта*, мне подали письмо графа Шувалова, в котором он извещал меня, что он находится в таком положении, телесном и душевном, что не может начальствовать над своим корпусом, даже не может сесть на лошадь и связать двух мыслей в голове, как он выразился. Нельзя было терять ни минуты времени, а у меня был только Остерман налицо,

* Первые публикаторы этой главы не смогли расшифровать название этого графического пункта в рукописи А. Н. Попова и обозначили его как «Бес... (?)» (см. *Русский Архив*, 1892, Кн. 1, № 4, с. 428); вместе с тем, установить название этого пункта несложно: подлинник письма Барклаю де Толли (на франц. языке) приведён у Богдановича («Отечественная война 1812 года». Т. I. СПб., 1859, с. 515–517), где этот пункт назван *Belmonte* (с. 516). Но, может быть, император ошибся? Не похоже: маршрут Александра I от Вильно до лагеря при Дриссе (и далее) хорошо известен и проходил через Свенцяны на Видзы и *Бельмонт*; этот путь в дальнейшем повторили отступающие корпуса 1-й Западной армии (см., например, у Богдановича. Т. I, с. 154; *прим. ред.*).

состоя при моей свите с моего приезда в Видзы. Я начал с того, что послал к вам с Вольцогеном подлинное письмо Шувалова, поручив объяснить, что, опасаясь ежечасного нападения неприятеля на этот корпус, я счёл полезным немедленно послать к нему Остермана. Я полагал, что, прочтя письмо Шувалова, вы поймёте, что я очень хорошо поступил. Формальности могут быть исполнены впоследствии; во время войны, мне кажется, следует заботиться о том, что всего нужнее. При свидании я намерен был вам поручить отдать *приказ*, как это обыкновенно делается. Теперь я вас спрашиваю: какое же можно усмотреть *недоверие* к вам в моём поступке? Мог ли я предвидеть, что Шувалов заболеет и напишет ко мне это письмо? Мог ли я угадать, что за два дня перед тем явится ко мне Остерман с просьбою принять его на службу? Наконец, из *привязанности* к приказам и обычным формальностям, мог ли я пожертвовать безопасностью корпуса, которого начальник был в таком положении, что не мог командовать? Отправляя с Вольцогеном к вам подлинное письмо Шувалова, я именно желал объяснить вам положение дел так же хорошо, как оно было мне известно. Вы видите, генерал, что ваше недоверие было совершенно несправедливо в этом случае. Я постараюсь вам доказать, что оно также несправедливо и в отношении к донесениям генерала Эссена. Все донесения, которые я получал от него, я посылал к вам. Одно только, в котором он говорит, что задержал нарочного французского посланца и отобрал у него депеши, я отправил по принадлежности к канцлеру. Впрочем, в этих бумагах и не заключалось ничего любопытного. К чему мне скрывать от вас донесения генерала Эссена, когда вам известны все бумаги Русской империи, имеющие отношения до военной части? Признайтесь, что это было бы смешно. Всё это должно вас убедить, генерал, что я ничего не сделал такого, что могло бы показать недоверие к вам, что вы несправедливо меня обвиняете»*. Эти любопытные строки объясняют положение дел, личные свойства Государя и его главнокомандующего. Едва ли может быть сомнение в том, что Государь понял в это время не только несостоятельность военных соображений генерала Пфуля, но и недостатки Барклая де Толли в деле командования большим войском. К пустым придиркам, обличавшим только формализм, совершенно несовместный с военным временем, он отнёсся не только снисходительно, но с чувством дружбы, потому что ценил некоторые достоинства Барклая и понимал, что при

* Полностью это письмо (французский текст и перевод) от 26 июня 1812 года из Дрисского лагеря см. *Военный сборник*, 1906, № 6, с. 234–236 *(прим. ред.)*.

тогдашних обстоятельствах невозможно было и думать о его смене. Притом заменить его он мог только Беннигсеном, к которому не имел доверия.

Несмотря на то, что придирки главнокомандующего 1-ю армиею были мелочны и неосновательны, они вытекали, однако же, из положения действительно затруднительного, в которое он был поставлен. Кто был главнокомандующим войсками, Государь или Барклай де Толли? По закону, только что обнародованному*, присутствие Государя слагает с главнокомандующего начальство над армиею, разве бы отдано было в приказе, что главнокомандующий оставляется в полном его действии. Но такого приказа отдано не было, и Барклай имел не только право говорить в обществе, что командует армиею Государь, а он исполняет только его повеления, но и заявить в приказе войскам, что им «приспело время, *предводимым самим Монархом*, твёрдо противустать дерзости и насилиям, 20 лет уже наводняющим землю ужасами и бедствиями войны». Такое положение представляло для него значительные выгоды, избавляя от всякой ответственности за ход военных действий и, может быть, он помирился бы с ним, если б оно прямо и решительно было определено. Но Государь постоянно выставлял его как главнокомандующего, поручал ему делать все распоряжения от своего имени; а между тем о всех сношениях с корпусными командирами и начальниками отдельных отрядов он знал непосредственно по спискам, которые они посылали ему с отношений своих, главнокомандующему одновременно посылаемых, и в случае, не терпящего отлагательства, сам делал распоряжения. Государь понимал затруднительность такого положения дел и, оставив Свенцяны, писал Барклаю де Толли: «Так как все корпуса, генерал, сближаются к вашей Главной квартире в Свенцянах, то я нахожу полезным не посылать им более предписаний непосредственно от себя, чтобы они не оказались в противоречии с вашими». Но трудно было исполнить такое намерение; обстоятельства были до того важны и требовали коренных изменений в первоначальных предположениях о военных действиях, что, присутствуя на поприще действий, Государь не мог не принимать в них непосредственного участия. В том же письме, выражая заботу о Дохтурове, Палене, Дорохове и Платове, он заявлял, что к последнему он отправил прямо от себя нарочного, чтобы знать об исполнении данных ему предписаний.

---

* »Учреждение действующей армии», изданное в начале того же 1812 года. Это основное военное законоположение (к которому не успели ещё тогда примениться), было изменено лишь в 1846 году *(прим. П. И. Бартенева)*.

Медленное преследование неприятелем корпусов 1-й армии, хотя и разбросанных на значительных пространствах, дало им возможность соединиться в Дрисском укреплённом лагере, не испытав значительных потерь. Только Платов с казаками и незначительный отряд Дорохова были отрезаны и должны были вместо 1-й армии соединиться со 2-й. 26 июня Государь прибыл в Дрисский лагерь вслед за передовыми частями войск. Затем в протяжении трёх дней собрались в нём все войска 1-й армии. Но этому крайнему пределу отступления, где предполагалось стать твёрдою ногою и встретить решительно нападение неприятеля, суждено было сделаться временным только местом остановки для сосредоточения и отдыха войск, утомлённых быстрыми движениями.

«Сегодня на рассвете я приехал сюда, чтобы осмотреть нашу позицию, — писал Государь, в первый день приезда в Дрисский лагерь, Барклаю де Толли, — я нашёл её в том положении, как ожидал: все укрепления окончены, все мосты готовы. Посылаю вам диспозицию для аванпостов, согласованную с нашими прежними предположениями и с теми местами, которые войска, назначенные в аванпосты, должны потом занять в самом укреплённом лагере». Эти строки, написанные после первого впечатления, произведённого этим лагерем, ещё не обличают того, чтобы Государь был убеждён в его непригодности. Едва ли он и был в этом убеждён в первый день своего приезда в этот лагерь. Все возражения, которые до сих пор он слышал, касались до общих предположений о военных действиях, в которых, конечно, этот лагерь занимал самое видное место, но не против устройства этого лагеря, которого никто из передовых военных людей не видал. Уклончивые сообщения о нём Клаузевица могли внушить только подозрение Государю, которое он желал поверить общим мнением. Это общее мнение не замедлило выразиться; а между тем, в самый день прибытия Государя в лагерь, туда приехал поручик Граббе с известиями о 2-й армии. Барклай де Толли, получив письма Государя из Свенцян (от 15 и 16 июля), выражавшие беспокойства насчёт движений Дохтурова и Платова, которые могли быть отрезаны от 1-й армии, и поручавшие ему наблюдать над ними и ускорять их, с первого же перехода по отступлении из Вильны отправил к ним из Неменчан своего адъютанта поручика Граббе. Он поручил ему известить их о движении 1-й армии на Свенцяны и Дриссу и собрать сведения об их положении. «В ту же минуту, — говорит П.Х. Граббе, — я сел в готовую повозку один, не взяв с собою даже человека, в Миралишках переправился через Вилию, поехал на Ошмяны и Сморгонь, где застал Дохтурова, передал ему приказания и тотчас отправился к Ольшанам,

на пути встретив П. П. Палена с кавалерией. Одушевление войск, гордившихся своим начальником, отражалось на всех лицах, несмотря на утомление от чрезвычайно усиленных переходов, по 60 и 70 вёрст, и беспрерывный холодный дождь, испортивший дороги. Подъезжая к Солешникам, я услышал вправо перестрелку, велел ударить по лошадям и вскоре встретил Дорохова с его отрядом. Его положение было уже опасно. Сведения, мною привезённые, разрешавшие ему отступить на 2-ю армию, в случае невозможности соединиться с 1-ю, расширили его соображения. Я оставил его в перестрелке, поспешая к Платову, и удачно наехал на его бивуаки в Бакштах. Палатка его разбита была на высоком кургане, среди обширной равнины, на которой вокруг него расположены были все шестнадцать Донских его полков. Платов был в духе, принял меня приветливо и решился сделать переход к Воложину, куда Дорохов обещал мне направить своё отступление и там ожидать Платова. Перед выступлением партия донцов захватила офицера и нескольких польских улан. Они показали, что посланы в разъезд от авангарда маршала Даву, под начальством генерала Пажоля, идущего на Минск. Несмотря на это известие, Платов пошёл на Воложин, но подходя уже близко, вместо отряда Дорохова, увидали мы французские батареи. Не оставалось уже средств соединиться с 1-ю армиею, и Платов решился отступить на 2-ю. Он показал мне отношение князя Багратиона, извещавшего, что он почитает движение на Минск слишком опасным и полагает идти на Бобруйск и Могилёв и искать соединения с 1-ю армиею. Чтобы более удостовериться в этом, я оставил Платова и отправился в Николаев на Немане, где нашёл графа Сиверса с авангардом. Князь Багратион был в Новогрудке. Не желая потерять минуты для сообщения важного для общих соображений известия, графом Сиверсом подтверждённого, я не поехал к князю Багратиону, а прямо на Минск, ещё вовсе неуверенный, проеду ли».

Положение князя Багратиона в это время было крайне затруднительным и даже опасным. Получив первые предписания из Вильны, он расчёл свои переходы так, «что 23 июня его главная квартира могла быть в Минске, авангард далее, а партии уже около Свенцян». 2-я армия двигалась по этому пути. Ещё не доходя до Слонима, в м. Сельве, флигель-адъютант Бенкендорф вручил князю Багратиону (18 июня) высочайшее повеление Императора от 16 июня из Свенцян, в котором предписывалось ему переменить направление и следовать на Новогрудок или Белицу и далее на Вилейку для соединения с 1-ю армиею. «Я и пошёл, – писал князь Багратион А. П. Ермолову, – хотя написал, что невозможно; ибо там уже три (неприятельских) корпуса

были по дороге к Минску и места непроходимые». Князь Багратион, исполнив волю Государя, счёл нужным, однако же, представить свои возражения против предписанного ему движения на Новогрудок в письмах Барклаю де Толли; он немедленно отправил к нему снова Бенкендорфа, только что возвратившегося в Видзы из своей поездки во 2-ю армию. «Мой путь, — говорит Бенкендорф, — был уже не безопасен. Император не дал мне никаких повелений на письме, а поручил словесно объясниться с <князем. Я проехал через Дриссу, Борисов и Минск. Приближаясь к последнему городу, я встретил губернатора и всех чиновников, которые поспешно спасались из него бегством. Они советовали мне не>* ехать в город, говоря, что немедленно неприятель войдёт в него. Но я не мог избрать иного пути и счастливо проехал Минск, за час до входа в него французов. Войск князя Багратиона я нашёл в Несвиже и сообщил ему известие о занятии Минска Вестфальским королём. Князь Багратион приостановился на время в Несвиже, пока его арьергард под начальством Платова разбил неприятельскую конницу. Это сражение укротило задор польской кавалерии и возбудило дух войск. Князь Багратион решился предупредить неприятеля в Могилёве».

Князь Багратион исполнял приказания Государя, несмотря на все затруднения, пока было возможно; но он не одобрял вообще отступления и не усматривал необходимости соединения с 1-ю армиею, не имея ещё сведений о числе неприятельских войск. Доказательством может служить его предложение сделать диверсию в герцогство Варшавское. Так же смотрел на дело и его начальник штаба. «То, что я предвидел и о чём предварял Ваше Величество, — писал в это время граф Сен-При Государю, — буквально оправдалось. Неприятель, которому нужно было сделать только три перехода, чтобы прервать наши сообщения с Минском и с 1-ю армиею, направился туда с 60 тысячами войск. Непредвиденная наперёд переправа через Неман против Новогрудка только замедлила движение нашей армии. Но что увеличило до последней степени затруднения, так это дороги, почти непроходимые для значительной армии от берегов Немана почти до самого Воло-

---

* Здесь в тексте *Русского Архива* явный дефект — пропущены по-видимому две строки; нами были просмотрены в различных библиотеках 8 экземпляров № 4 *Русского Архива* за 1892 год и во всех на страницах 432 обнаруживался аналогичный дефект. Поскольку эту часть рукописи монографии А. Н. Попова в архивах обнаружить не удалось, текст, приведённый в ломаных скобках и восстанавливающий пропуск, взят из издания: «Записки Бенкендорфа. 1812 год. Отечественная война. 1813 год. Освобождение Нидерландов». М., 2001, с. 37 *(прим. ред.)*.

жина, куда мы должны направиться. Ваше Величество можете себе представить, каково двигаться 50-тысячному войску лесом по узенькой дороге, не имея возможности своротить ни направо, ни налево, к единственному выходу к Воложину, где один полк с четырьмя пушками мог бы остановить движение целой армии. Платов успел ещё вовремя прийти туда, чтобы иметь возможность отступить; но мы не могли оказать ему помощи, и самая местность не представляла к тому возможности. По этим соображениям и будучи принуждён отказаться от диверсии, полезной для большой армии, князь Багратион решился идти на Несвиж, чтобы, по крайней мере, обеспечить свой тыл и отражать колонны, которые идут на него со всех сторон. Движение на Белицу было бы ещё затруднительнее, потому что пришлось бы проходить под огнём трёх колонн, которые идут из Лиды, Ольшан и Сморгони. Если бы 2-я армия следовала первому плану её движения, то она давно бы была в Минске, и Даву не успел бы помешать её соединению с 1-ю армиею. Но из Несвижа мы также можем идти на Минск, если Ваше Величество полагаете это нужным, хотя казалось бы лучше, соединившись нам с Тормасовым, заставить раскаиваться австрийцев и поляков, двинувшихся на Слоним. В настоящем своём положении он может только удерживать австрийцев, опасаясь постоянно, что его могут выгнать из Волыни возмущения народные, между тем как, усилив нашу армию частью своей и Молдавскою, мы могли бы нанести более сильные удары неприятелю, нежели соединившись с 1-ю армиею, которая достаточно сильна как по количеству, так и по положению и по соединении с которою мы привлечём на неё только большее число неприятельских сил. Мы только что очистили Литву, и она готова уже возмутиться. Если Ваше Величество хотите сохранить Волынь и Подолию, то единственное средство состоит в том, чтобы сосредоточить там значительные силы и разбить неприятеля, который задумал бы туда вторгнуться».

В пользу предположений начальника штаба 2-й армии, точно так же, как и князя Багратиона, о диверсии в герцогство Варшавское, без сомнения, можно бы представить много соображений, если бы было время о них рассуждать и если бы они соответствовали обстоятельствам. Но войска неприятеля уже вторглись в пределы империи; быстрым движением к Вильне они отбросили 1-ю армию к Двине, а 2-ю к Несвижу. В то время, как граф Сен-При писал приведённые строки, он полагал ещё возможным для 2-й армии от Несвижа идти на Минск; но не прошло и трёх дней, как получено известие о том, что неприятель занял Минск, и князь Багратион вынужден был повести свои войска на Бобруйск. Отдаление 2-й армии от Главной квар-

тиры Государя всё более и более увеличивалось. Невозможно было входить в совещания о новом плане войны взамен старого, упразднённого силою обстоятельств. Оставалось избрать одно из двух: или приблизить 2-ю армию к 1-й, или предоставить её главнокомандующему действовать по его усмотрению. «Мне кажется, что в таких чрезвычайных обстоятельствах,— писал граф Сен-При Государю,— следует главнокомандующему предоставить право принимать соответствующие меры по его усмотрению. Только в таком случае он и мог бы оправдать доверие к нему».

В 1811 году главнокомандующим 2-ю армиею предназначался граф Каменский. После кончины молодого военачальника, неожиданной и преждевременной, за неимением лучшего, назначен был на это место князь Багратион. Представители военной у нас науки в это время — пруссаки Пфуль, Вольцоген и Клаузевиц, овладевшие совершенно военными помыслами Барклая де Толли и пользовавшиеся большим значением у Государя,— считали князя Багратиона неспособным для главного начальства самостоятельным войском. Его ославили неучёным и даже не с особенным уважением относившимся к военной науке в том виде, конечно, как её понимали в это время австрийские и прусские учёные офицеры. Такой взгляд князь Багратион вынес из школы Суворова и многолетней боевой и славной деятельности. Взгляд же Суворова на эту науку в том виде, как она выработалась в это время в Германии, совершенно был одинаков со взглядом Наполеона. Но иной взгляд господствовал у нас в это время, и его счёл нужным увековечить для памяти потомства собственноручною подписью Барклай де Толли в инструкции, данной графу Сен-При, назначенному, в качестве начальника штаба 2-й армии, наставником и руководителем князя Багратиона и получившему право независимо от него вести переписку с Государем. Образованный, умный, в то же время честный и добросовестный француз, войдя в близкие отношения с своим начальником, которым должен был руководить, понял превосходство его военных дарований, развитых боевою опытностью, сделался его почитателем, и с уверенностью писал уже в это время Государю, чтобы он не опасался за судьбу 2-й армии, вверенной такому военачальнику, как Багратион. Он представлял соображения о том, как бы следовало действовать 2-й армии при новых обстоятельствах, потому, конечно, что предписанное ей движение на соединение с 1-ю считал невозможным, обрекавшим её на гибель, неизбежную по соображению всех вероятностей.

Таково было положение 2-й армии, вынужденной отступать к Бобруйску, о чём первое известие привёз в Дрисский лагерь пору-

чик Граббе, до возвращения туда Бенкендорфа и прежде, нежели Государь получил письмо графа Сен-При. «Приехав в Дриссу,— говорит Граббе,— я был тотчас потребован к Государю. На дворе мызы, им занимаемой, я нашёл множество генералов. Вошедши же в комнату Государя, стоявшего близ стола, на котором была разложена часть столистовой карты России, я увидел графа Аракчеева и князя Волконского. Известия, мною привезённые, были новы и неожиданны. Когда я сказал, что князь Багратион отказался от направления на Минск и пошёл на Бобруйск и Могилёв, а Даву с 60 тысячами идёт на Борисов, вперерез обеих наших армий, Государь прервал меня: «Это неправда, быть не может. Даву здесь, против меня; а князь Багратион имеет от меня другие приказания». Я отвечал Государю, что за точность этих сведений отвечаю головою, что действительно часть войск корпуса Даву у него взята и направлена к Дриссе; но ему даны другие войска из армии короля Вестфальского и других корпусов. Потом, указав пальцем на карте Борисов, я дерзнул прибавить, что если б возможность была туда отправить летучий отряд в некоторой силе, то неприятель по важности этой точки, на главном пути к сердцу России, почёл бы его гораздо сильнее и действовал бы с осторожною медлительностью, могущей принести пользу для наших общих действий. Государь с выражением нетерпения возразил одним словом: *не перелететь же*! и отпустил меня».

Это известие, конечно, должно было смутить Государя, потому что ставило вопрос о соединении двух армий в сомнительное положение. Но, не зная, в каких силах неприятель окружал 2-ю армию, он надеялся ещё, что посылка Бенкендорфа с подтверждением князю Багратиону следовать непременно на Минск, изменит его предположение. «Только что я оканчивал письмо к вам,— писал Государь в это время Барклаю де Толли,— как мне доложили о приезде Граббе, который привёз мне донесение Платова. По его словам, надо предполагать, что Даву с 60 тысячами войска направляется на Минск и Борисов, чтобы проникнуть в промежуток между Двиною и Днепром к Смоленску. Досадно, что Багратион так медленно и робко подвигается. Испуганный авангардом Даву, вместо того, чтобы продолжать движение на Минск и в тыл ему, он обратился на Несвиж, и даже, по словам Граббе, намеревается идти к Бобруйску. Я надеюсь ещё, что по приезде к нему Бенкендорфа он одумается и направится в тыл корпуса Даву». Несмотря, однако же, на эту надежду, немедленно по выслушании известий, привезённых Граббе, Государь отправил к князю Багратиону флигель-адъютанта князя Волконского с письмом, в котором

говорил, что «удаление 2-й армии на Бобруйск крайне будет вредно для общей связи военных дел и даст возможность Даву пробраться между Двиною и Днепром на Смоленск. Напротив того, если б вы держались прежде данного вам направления на Вилейку или, по крайней мере, на Минск, то очутились бы на фланге или в тылу у Даву и тем помешали бы его движению. Ваша армия усилена всем корпусом Платова и отрядом Дорохова, которые к вам присоединились. Это может составить до 50 тысяч человек под ружьём; у Даву не более 60 тысяч, и то по надутым счетам французской армии. 50 тысяч русских весьма могут противустоять 60 тысячам сборных войск. Я ещё надеюсь, что по получении моих последних повелений чрез Бенкендорфа вы опять обратитесь на прежнее направление. Отступление же на Бобруйск не иначе вы должны предпринимать, как единственно в крайнем случае».

Но в таком именно положении и находилась 2-я армия, когда князь Багратион решился на это движение: против него действовал не один корпус Даву, но и вся армия Вестфальского короля.

В день прибытия в лагерь при Дриссе Государь ещё считал его крайним пределом отступления 1-й армии и потому в этом же рескрипте писал князю Багратиону: «Мы ожидаем через несколько дней решительного сражения. Если Всевышний увенчает труды наши победою, то можно будет частью войск 1-й армии действовать на левый фланг Даву; но для того необходимо, чтобы вы немедленно направились на его правый фланг. Я в твёрдой уверенности, что вы ничего не упустите, дабы приобрести Российскому воинству новую славу и наказать наглого врага, вторгнувшегося в наши пределы среди мира и союза, нас соединявшего».

Таков был взгляд Государя на военные действия в первый день его приезда в укреплённый лагерь при Дриссе.

Наутро, в день воспоминания Полтавского сражения (27 июня), от его имени был издан следующий приказ войскам: «Русские воины! Наконец, вы достигли той цели, к которой стремились. Когда неприятель дерзнул вступить в пределы Нашей империи, вы были на границе, для наблюдения оной. До совершённого соединения армии Нашей, временным и нужным отступлением удерживаемо было кипящее ваше мужество – остановить дерзкий шаг неприятеля. Ныне все корпуса Первой Нашей армии соединились на месте предназначенном. Теперь предстоит новый случай оказать известную вашу храбрость и приобрести награду за понесённые труды. Нынешний день, ознаменованный Полтавскою победою, да послужит вам примером! Память победоносных предков ваших, да возбудит к славнейшим под-

вигам! Они мощною рукою разили врагов своих; вы, следуя по стезям их, стремитесь к уничтожению неприятельских покушений на Веру, честь, Отечество и семейства ваши. Правду нашу видит Бог и ниспошлёт на вас благословение Своё»*.

Этот приказ, равно и другой, изданный в тот же день и определявший порядок, какой должен был соблюдаться в войсках во время пребывания их в укреплённом лагере, показывают, что мысль об его оставлении, как позиции невыгодной, ещё далека была от Государя. Между тем, по мере вступления войск, с ним знакомились наши генералы и офицеры, и на всех он производил одинаково невыгодное впечатление. «Мы приближались к Дриссе,— говорит Шишков,— где полагали при укреплении остановиться и дать бой. Пришли, наконец. Но какое было моё удивление, когда я от некоторых искусных и благомыслящих людей услышал, что местоположение сие, при построенной на берегу реки ничтожной бойнице скорее может послужить на пользу неприятеля, нежели нашу; даже говорили, что это западня, в которую все без изъятия могут быть загнаны и пойманы!» Шишков как моряк не считал себя судьёю о выгодных или невыгодных местоположениях для битвы сухопутных войск; но замечания, которые пришлось ему выслушать от людей, понимавших дело, казались ему основательными и возбуждали в нём опасения. «Тяжкая грусть овладела мною»,— говорит он, и эту грусть усилило следующее обстоятельство. В первый день приезда Государя, ему пришлось ночевать в одном из хлебных амбаров, близ его квартиры, где вместе с ним провели ночь Пфуль и его ученик в военных науках и почитатель граф Ожаровский. Лёжа один подле другого, они долго разговаривали между собою и беспрестанно хохотали. «Мне досадно было при таких обстоятельствах, в каких мы находились, слышать их, так усердно веселящихся: вот, думал я, не ложный знак, если не зложелания нам, то по крайней мере, равнодушия к нашему жребию»**.

На другой день Шишкову, вместе с графом Комаровским и Балашёвым, была отведена особая квартира, верстах в двух от государевой. Граф Комаровский вместе с Толем объехал весь лагерь, прося его, как знатока дела, объяснить ему все его выгоды и невыгоды. «Толь,— говорит он,— математически доказал мне, что если мы дождёмся в сём лагере Наполеона, то он нас всех, как говорится,

---

* А. С. Шишков. Записки, мнения и переписка. Т. I, Berlin, 1870, с. 138–139 *(прим. ред.)*.

** А. С. Шишков. Записки, мнения и переписка. Т. I, Berlin, 1870, с. 138–139 *(прим. ред.)*.

возьмёт живьём»*. Таково было общее мнение всех русских, считавших этот лагерь образцом «грубых погрешностей ощутительных для каждого, разумеющего это дело»**, – как говорит А. П. Ермолов. Но русские весьма осторожно обращались к Государю с выражением своих мнений в военных вопросах, и довести их до его сведения первым решился полковник Мишо.

Образованный Сардинский офицер, хороший инженер, Мишо в это время состоял начальником отделения при генерал-квартирмейстерском управлении в 1-й армии. Осмотрев с подробностью Дрисский лагерь накануне прибытия в него Государя, он сообщил свои замечания князю Волконскому и просил довести их до сведения Государя. Государь принял его лично, выслушал все замечания и отправился сам осматривать лагерь, взяв его в свою свиту вместе с генералом Пфулем. Пфуль старался объяснить значение и выгоды укреплений; но, по свидетельству очевидца, Государь слушал его с некоторым сомнением и как бы ожидал подтверждения со стороны своих спутников; они относились с полным недоверием к объяснениям Пфуля и разделяли, напротив, взгляды полковника Мишо. Но резче всех, с обычной ему заносчивостью, выражал своё порицание этому лагерю маркиз Паулуччи. «Вы найдёте Дриссу на карте, – писал своему правительству граф де Местр, – при впадении маленькой речки того же имени в Двину. Там вероятно погибли бы Император и империя, если бы их не спас итальянец, маркиз Паулуччи. Он решился даже откровенно сказать Государю, что лучше было бы ему поехать в Москву для возбуждения духа, нежели вмешиваться в чуждое для него военное дело; что касается до Пфуля, то он обходился с ним, как с негодяем»***. Без сомнения, граф де Местр сообщал эти свежие известия своему правительству со слов самого маркиза Паулуччи, с которым он находился в близких отношениях. Подробности происшествий в Дрисском лагере ему не могли быть известны в это время из других источников; иначе де Местр не приминул бы похвастаться (с большею даже основательностью) и поступ-

* Записки графа Е.Ф. Комаровского//*Державный сфинкс.* М., 1999, с. 119 *(прим. ред.)*.

** Записки А. П. Ермолова. 1798–1826. М., 1991, с. 127 *(прим. ред.)*.

*** Этот крайне интересный эпизод, в какой-то мере изменивший стратегический план войны с Наполеоном, изложен Жозефом де Местром в письме к графу де Фрону от 26 июля (7 августа) 1812 года (J. de M a i s t r e. Correspondance diplomatique: 1811–1817. v. 1, Paris, 1860, p. 125–147); в ином переводе и более подробно эпизод приведён в: Граф Ж о з е ф де М е с т р. Петербургские письма. СПб., 1995, с. 211–214 *(прим. ред.)*.

ком также бывшего Сардинского офицера, полковника Мишо. Отзыв Паулуччи о составителях первоначального плана военных действий, устроивших и лагерь при Дриссе, вполне согласен с его личными свойствами и подтверждается его собственным письмом к графу Аракчееву из Новгорода.

Маркиз Паулуччи считал себя начальником штаба 1-й армии, между тем как он никогда не был окончательно определён на это место, и занимавший его генерал Лавров не был уволен. Император желал поручить ему исправление этой должности, но предоставил главнокомандующему окончательное в этом случае решение. Конечно, Барклай не хотел поставить к себе в самые близкие отношения по службе человека, с такою резкостью отзывавшегося о первоначальном плане военных действий, в составлении которого он принимал столь деятельное участие. Но, или не решаясь прямо выразиться против желания Государя, или откладывая решение этого вопроса до личного свидания с ним, он поставил маркиза в затруднительное положение. Не устраняя его совершенно от распоряжений, он делал, однако же, большую часть из них помимо него. Такое положение вынудило самого маркиза Паулуччи просить Государя во время пребывания в лагере при Дриссе дать ему другое назначение. Вслед за тем он получил предписание военного министра (Барклая) «немедленно» ехать в Новгород для формирования шести новых полков. Недовольный и раздражённый, он уехал из лагеря, не простившись ни с кем и, ещё к большему своему неудовольствию, по приезде в Новгород, узнал, что это поручение возложено Государем на генерала Клейнмихеля. Это обстоятельство побудило его написать к графу Аракчееву, тем более, что Клейнмихель, по его словам, получил уже «подтвердительное повеление о том, последовавшее по отбытии моём из армии». Такое распоряжение трудно объяснить чем-то иным, кроме ненаходчивости Барклая приискать назначение маркизу и желания как можно скорее удалить его из армии. Паулуччи так объяснял Аракчееву образ своих действий. «Приняв в истинной покорности место начальника главного штаба 1-й армии, тогда же с стеснённым сердцем увидел я, что я был только простым исполнителем планов и распоряжений, совершенно противных понятиям моим о войне, приобретённым в продолжении 14 кампаний. Вместе с тем, по чувству совести моей, я был проникнут скорбию, когда увидел в службе Государя моего измену, от намерения ли, или от величайшего неведения происходящую. А между тем заметил я, что военный министр не имел ко мне той доверенности, которую по Учреждению для большой действующей армии должен иметь к начальнику главного штаба». В доказательство этого недостатка

доверенности к нему маркиз приводил то обстоятельство, что не только почти все распоряжения делались чрез полковника Закревского и флигель-адъютанта Вольцогена помимо него, но даже скрывались от него, и его прямые обязанности возлагались на других, например, размещение войск в Дрисском лагере на графа Ожаровского. «Итак,— продолжает Паулуччи,— видя, 1-е, что военный министр не имел ко мне должной доверенности, коей по званию моему и установлению правил для большой действующей армии я не должен был лишиться; 2-е, что делаемые распоряжения были совершенно не согласны с моими мнениями, и 3-е, употребление меня сверх моей должности даже в делах изнурительных, коим здоровье моё соответствовать не могло, сделано (как я полагать должен) с тем намерением, чтобы поставить меня в невозможность продолжать службу, почему я нашёл принуждённым отказаться от должности начальника главного штаба. А так как мнение моё о военных действиях было принято многими генералами, то дабы не сочтён я был против воли моей *начальником партии*, должен я был искать увольнения из армии, где сверх того не мог быть спокойным зрителем многих дел, противных моим мыслям». Человек, решившийся объяснить образ мыслей и действий, с которыми он был (хотя и основательно) не согласен, изменою, и при том лицу, наиболее приближённому к Государю, конечно, мог и в частном разговоре с ним самим выразиться так, как рассказывает граф де Местр. Советовал ли он Государю оставить армию или нет, трудно решить утвердительно или отрицательно; но его обхождение с генералом Пфулем действительно было таково, как говорит граф де Местр. Никто так не надоедал ему своими дерзкими насмешками насчёт его укреплённого лагеря, как маркиз Паулуччи, свидетельствует очевидец граф Комаровский. «Мы все ходили обедать за гофмаршальский стол: бедный Пфуль перестал за оный ходить, чтобы не быть предметом насмеяния»*. Паулуччи не называл этого лагеря иначе, как лагерем под Пирною, где погибли Саксонские войска в Семилетнюю войну и даже, передавая приказания генералам, он, как бы нечаянно, так называл лагерь под Дриссою. Без сомнения, его отзывы должны были возбуждать сочувствия русских генералов, из которых не было, кажется, ни одного, кто бы одобрял этот лагерь. Но едва ли можно сомневаться, что замечания, сделанные Мишо и, вероятно, многими потом другими, гораздо более подействовали на Государя, нежели дерзкие выходки и насмешки маркиза Паулуччи.

---

* Записки графа Е.Ф. Комаровского//*Державный сфинкс.* М., 1999, с. 119 *(прим. ред.).*

Кроме разочарования насчёт Дрисского лагеря, Государь, на другой день после прибытия в него, получил подтверждения привезённых уже поручиком Граббе известий о 2-й армии. Возвратившийся из второй поездки флигель-адъютант Бенкендорф привёз донесение от князя Багратиона. Желая исполнить волю Государя и предполагая ещё предупредить неприятеля в Могилёве, он писал, однако же: «Определить точного времени соединения с 1-ю армиею не смею, поелику удостоверен, что неприятель будет преграждать мой путь и беспокоить войска на переходе толикого пространства; но по мере сил 2-й армии и усердия следовать мановениям монаршим, отражая врагов, поспешу в точности исполнить волю Вашего Императорского Величества». Но, представляя это донесение, Бенкендорф сообщил на словах, что Минск уже с 24 числа этого месяца занят французами.

«Это известие, – писал Государь Барклаю, – заставляет меня опасаться, что князь Багратион пойдёт на Бобруйск, и – тогда дорога на Смоленск будет открыта для Даву! Это обстоятельство вынудило меня принять две меры: *первое*, увеличить ещё одною или двумя дивизиями войска, составляемые под начальством князя Лобанова, образовав их в местностях, где неприятель не может помешать нам; с этою целью я избрал Петербург, Новгород, Тверь, Москву, Калугу и Тулу. Я нашёл всего удобнее поручить составление этой дивизии генералу Клейнмихелю, как весьма деятельному человеку; впрочем, у меня не было никого другого под рукою. Для этого я назначаю рекрут из всех запасов (депо) второй линии, присоединяю к ним два полка моряков, два батальона Московского гарнизона и все отряды, оставшиеся в 15 запасных депо первой линии, из которых составляются новые 4 батальона; потому что эти депо находятся слишком близко к тем местностям, которым может угрожать неприятель, как, например, в Смоленске, и потому что удобнее будет их образовывать. Чтобы не терять ни минуты и согласно с мнением, которое вы мне выразили, я прямо послал приказания об этом к князю Горчакову, который управляет военным министерством в ваше отсутствие. Он позаботится о всех подробностях приведения в исполнение этой меры. В то же время я посылаю ему приказание и от вашего имени, и таким образом вы в такое важное для нас время, будете избавлены от значительной переписки, которою на свободе могут заняться в Петербурге. *Вторая* мера состоит в том, что я решился издать манифест, в котором я возбуждаю народ истреблять врага всеми доступными ему средствами, если б он проник в его жилище и видеть в этом подвиг веры. Я надеюсь, что у нас в этом случае выразится не менее энергии, нежели

в Испании. Когда вы приедете, я думаю, что могу вам показать этот манифест, который ещё приготовляется. В то же время я предписываю набор рекрутов по 5 с 500 душ, который должен быть произведён в конце августа. Этих рекрутов я распределю по 18 вновь образуемым полкам, которые, по мере их составления, будут отправляемы в действующие войска... Вот, генерал, меры, которые я счёл полезным принять в настоящих обстоятельствах. Надеюсь, что вы их одобрите».

При таких обстоятельствах впервые выражена Государем мысль о народной войне, которая без сомнения и прежде входила в его соображения, но как последняя и крайняя мера, равная с мыслью о неопределённом отступлении внутрь страны, хотя бы и за Волгу. В то время народная война в Испании постоянно привлекала внимание всей Европы. Сначала в дипломатических бумагах называли испанцев изменниками и мятежниками; учёные военные люди считали невозможною долгую и упорную борьбу нестроевых народных ополчений, действовавших вразброд и без общих соображений, с опытным, многочисленным и закалённым в боях французским войском. Генерал Пфуль приобрёл известность между прочим в Петербурге словами: *Испанцы и года не будут в состоянии сопротивляться войскам.* Слова эти повторял он с самоуверенностью знатока в военном деле. Но сопротивление продолжалось годы, и ему не предвиделось конца. Напротив, оно возрастало более и более, конечно, при помощи английских войск; а войска Наполеона погибали в неслыханном количестве, платя своим уничтожением за временные и частные успехи. С изумлением, как на явление необъяснимое, смотрела на эту борьбу испанского народа раболепствовавшая пред Наполеоном Европа; с восторгом и надеждою смотрели все те, которые не мирились с порабощением и чаяли избавления от ига. Увлечение надеждами на испанский народ доходило до такой степени, что самую войну с Россиею, которую предпринимал Наполеон, считали диверсиею, весьма полезною для того, чтобы отвлечь часть его сил от Испании и помочь ей исполнить своё призвание, т. е. нанести окончательный удар владычеству Наполеона над Европою.

«Наполеона возвели на престол его войска,— говорит один современник,— они одни могут и свергнуть. Войска Бонапарта, по свойственному им нетерпению, пожелают увидать конец войны в то время, как она только что начнётся. Надо отдалить цель их трудов. Они ничего так не боятся, как народных восстаний против них. Надо возбудить к восстанию народ. Но где? Безусловное господство Наполеона в Германии обеспечивает ему продолжительное, слепое повиновение и все способы к содержанию войск. Народ в Германии

привык к его войскам и хотя ненавидит их, но не считает чуждыми. Италия ещё в худшем положении в этом отношении. Одна Испания способна к народной войне, и все действия следует соображать с тем, чтобы оказать ей наибольшую помощь. Она сокрушит могущество Наполеона, возбудив против него и самый французский народ». В этом последнем выводе это мнение сходилось с другим, которое полагало, что победить Наполеона может только сама Франция, как передовая и первенствующая нация в Европе. Мысль о русском народе, способном не хуже испанцев отстаивать свою независимость, никому из европейцев не приходила в голову и поэтому никаким влиянием чужеземцев не могла быть навеяна на Государя. Она зародилась в нём самостоятельно в одно и то же время, как и в Русском народе. Смоленская губерния, ближайшая к нашествию неприятелей, уже волновалась и готова была восстать по первому мановению.

Сообщая Барклаю о предположенных мерах, совершенно уничтоживших первоначальный план военных действий, Государь снова умалчивал о том, что его мнение о значении Дрисского лагеря колебалось. Он ожидал скорого прибытия в лагерь главнокомандующего и желал его непосредственного участия в решении этого вопроса.

По приезде Барклая Государь собрал военный совет для решения вопроса: представляет ли выгоды Дрисский лагерь, чтобы можно было оставаться в нём и ожидать нападения неприятеля? На этот совет были приглашены: Барклай, граф Аракчеев, князь Волконский, принц Георг Ольденбургский, полковник Мишо и флигель-адъютант Вольцоген. Очевидно, это совещание устроено было собственно для Барклая; личный же взгляд Государя уже достаточно определился, и Пфуль не был приглашён: Император желал пощадить самолюбие раздражительного немца. Но вместо него, в качестве его защитника, приглашён был его сотрудник в этом деле Вольцоген, пользовавшийся одинаково доверием как Пфуля, так и Барклая. Открыв совещания, Государь поставил вопрос для рассуждений и поручил полковнику Мишо представить свои замечания об укреплённом лагере. Мишо изложил уже известные Государю соображения, на которые он предложил отвечать Вольцогену. «Если бы условия, при которых предположено было устроить этот лагерь, были приведены в исполнение,— говорил Вольцоген,— то, несмотря на некоторые недостатки укреплений, в нём можно бы держаться и, при начале военных действий, рассчитывая на доказанную храбрость войск, ожидать счастливых последствий. Наполеон мог напасть на него с фронта или перейдя Двину, выше или ниже её; во всяком случае русские, занимая возвышенную и выгодную местность, могли бы, соображаясь с дви-

жениями неприятеля, перейти на правый берег Свольны и занять выгодную позицию. Но условия, послужившие поводом к избранию места для этого лагеря, состояли, во-первых, в укреплении Себежа, в устройстве в нём магазинов и устройстве р. Свольны судоходною; во-вторых (а это самое важное), в предположении численного превосходства русских войск перед французскими. Но первое условие не исполнено; а что касается до второго, то 1-я армия состоит из 100 тысяч, а 2-я из 40, между тем как Наполеон перешёл Неман, по крайней мере, с 300 тысячами войск. При таком отношении боевых сил чрезвычайно трудно предположить какой-либо план военных действий, и я могу только советовать продолжить далее отступление внутрь страны и на первый случай до Витебска, чтобы приблизиться к южным странам России, так как оттуда можно опять завоевать Север, если бы он был потерян; но не наоборот, потому что Север не обладает никакими средствами. Что же до того, следует ли немедленно оставить Дрисский лагерь, то это должно зависеть от сведений о движении неприятеля и войск князя Багратиона».

Сомнительно, чтобы так говорил свои речи полковник Вольцоген в июне 1812 года, как записал их 30 лет спустя после* происшествий, давно окончившихся, рассказанных многими из современников, сделавшихся предметом истории. Но общий смысл его речей должен быть таким, как он его передаёт; потому что он обличает совершенное бессилие доказать превосходство укреплённого лагеря и опровергнуть доводы его противников, на что вызывал его Государь.

Те условия, при которых Дрисский лагерь получил бы, по мнению Вольцогена, важное значение, ещё более доказывают его негодность. Без сомнения невозможно было ничтожную речку Свольну, впадающую тоже в незначительную Дриссу, единственно в половодье годную для сплавов, вдруг превратить в судоходную реку, а без этого условия и укрепление Себежа не имело значения. Ещё менее возможно было при составлении плана военных действий рассчитывать на превосходство наших сил над неприятелем. При составлении таких планов берутся в соображение не одни благоприятные обстоятельства, но и неблагоприятные. Притом, если в это время и ошибались в соображениях о количестве войск неприятеля и были уверены в превосходстве по количеству русских, то для чего же было им отступать от Двины и прятаться в укреплённый лагерь? Общий смысл доводов Вольцогена прямо доказывает, что он признаёт недостатки воздвигнутых укреплений, стоивших, однако же, больших трудов и значи-

* Memoiren des Generals Freiherrn Ludwig von Wolzogen, Leipzig, 1851 *(прим. ред.)*.

тельных издержек, прямо отказывается от первоначального плана военных действий, обличает бессилие заменить его другим и соглашается с общим требованием покинуть этот лагерь.

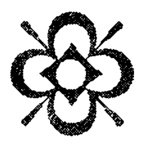
Конечно, Государь не ожидал выслушать подобные рассуждения со стороны Вольцогена; но тем более они должны были убедить его в справедливости мнения людей, осуждавших Дрисский лагерь. Что же касается до Вольцогена, то, выдавая Пфуля и частью самого себя, он приобретал Барклая, который тоже не считал полезным ожидать неприятеля в Дрисском лагере. Ещё до получения письма от Государя из Дрисского лагеря, Барклай писал ему, что быстрое отступление производит весьма неприятное впечатление на солдат и на поляков. «Неблагонамеренные из них видят в этом признак нашей слабости и воспользуются этим обстоятельством. Впрочем, я не понимаю, что мы будем делать со всею нашею армиею в Дрисском лагере. При быстром отступлении мы совершенно потеряем неприятеля из виду и, заключившись в лагере, мы должны будем или со всех сторон ожидать нападения или выслать сильный корпус, чтобы иметь сведения, где находится неприятель. Я не понимаю также, что будет делать корпус Витгенштейна на правом берегу Двины, когда наше внимание преимущественно должно быть обращено на движение неприятеля на левом нашем крыле. Мне кажется, лучше не один только корпус, но большую часть армии расположить на левом фланге вне укреплённого лагеря, чтобы прогнать неприятеля, который приближается с этой стороны, или действовать во фланг и тыл тем его силам, которые направлены против князя Багратиона; потому что невозможно предполагать, чтобы неприятель в одно и то же время *с одинаково превосходными силами* действовал против нас и против князя Багратиона. Таково, Государь, откровенное мнение солдата, который твёрдо решился не вмешиваться в совещания, но умереть за дело свого Государя». Спустя два дня, Барклай снова писал Государю: «Очевидно, неприятель хочет, удерживая нас в этом положении, пройти вперёд между Двиною и Днепром. Я глубоко убеждён, что он не нападёт на нас в Дрисском лагере и что мы будем вынуждены его отыскивать. Поэтому я считаю необходимым, чтобы всё было подготовлено к быстрому движению. В этом случае нужны подвижные магазины, чтобы это движение не могло быть затруднено. В этом отношении слишком много было потрачено времени в Вильне на переписки и предположения. Если бы вовремя приступили к делу, то подвижные магазины у нас были бы готовы, мы отняли бы у неприятеля значительные средства продовольствия и могли, ничем не стесняясь, действовать быстро. Те запасы, которые привозят нам из Курляндии,

весьма незначительны по численности войск, и подводы от частых движений до такой степени пострадали, что и лошади и телеги никуда уже не годятся. 1-я армия достаточно сильна, чтобы удержать позицию перед Дриссою или напасть на неприятеля, откуда бы наименее он ожидал. Но прежде всего необходимо иметь сведения о том, где находится неприятель, и это трудно нам узнать по недостатку лёгкой конницы. Чтобы помочь себе в этом случае, надо избрать верных людей и послать в Динабург, Полоцк и Борисов».

Эти выписки из писем* Барклая к Государю не оставляют никакого сомнения, что он вовсе не одобрял мысли остановить движение войск, сосредоточить их в укреплённом лагере и ожидать нападения неприятеля. Отказавшись от мысли действовать наступательно на неприятеля, он упорно защищал другую — действовать тоже наступательно в пределах империи, уклоняясь только перед превосходными силами неприятеля и уступая ему каждый шаг не иначе, как с боя. Очевидно, при таком взгляде на способ военных действий, призванный на совет Государем, Барклай становился не в ряды защитников Пфуля, которых и не оказалось на этом совещании, лишь только Вольцоген выдал своего покровителя, чтобы приобрести себе другого...

---

* Переписка Александра I с Барклаем де Толли, весьма важная как исторический источник, была полностью опубликована (французский текст писем и перевод) лишь почти через 30 лет после написания А. Н. Поповым его монографии об Отечественной войне 1812 года. См. *Военный сборник*, 1903, №№ 11, 12; 1904, № 1; 1906, №№ 3–8 *(прим. ред.)*.



Глава 3

Соединение двух армий в Смоленске. – Взаимоотношения Барклая де Толли с Багратионом. – А. П. Ермолов. – Манёвр Наполеона на Смоленск. – Бой под Красным. – Смоленское сражение. – Оставление Смоленска. – Бой у Валутиной горы. – Бездействие Жюно.

Наконец, достигалась цель предположений, составленных в Дрисском лагере,— соединение обеих Западных армий не подлежало уже сомнению. Во время движения войск 1-й армии из Поречья к Смоленску (18 июля), главнокомандующий получил известие от князя Багратиона, что он приближается к этому городу и, если нужно, вступит в него на другой день после 1-й армии. Барклай де Толли, получив это известие и сообщая его начальнику своего штаба, генералу Ермолову, выразил такие соображения: так как соединение армий не может уже встретить ни малейшего затруднения, то не будет ли полезнее 1-й армии действовать по особому направлению, предоставив 2-й операционную линию на Москву. Чтобы оправдать такого рода соображение, он говорил, что продовольствия будет недостаточно для двух армий, а между тем в Торопце, на Волге и в Тверской губернии находятся большие запасы, которые могут обеспечить 2-ю армию. Пока 2-я армия будет действовать в направлении к Дорогобужу, с 1-ю армиею направиться на Белый и вверх по Двине, т.е., достигнув цели соединения обеих армий, снова отделиться от 2-й, разойдясь с нею почти под прямым углом. Таким образом, 1-й армии, которая была вдвое многочисленнее 2-й, предстояло бы соединённо с Витгенштейном действовать, защищая Петербург, против незначительных сил неприятеля, а 2-й, малочисленной,— против главных сил неприятеля, которым не считал возможным с успехом противостоять с одною 1-ю армиею сам Барклай, по их многочисленности. Легко представить себе, какое впечатление должно было произвести это предположение на Ермолова. С горячностью, весьма естественною, хотя он и раскаивался в ней впоследствии, он отвечал главнокомандующему: «Государь от соединения армий ожидает успехов и восстановления дел наших. Соединения желают войска с нетерпением. К чему послужили 2-й армии перенесённые ею труды, преодолённые опасности, когда вы повергаете её в то же положение,

из которого вырвалась она сверх всякого ожидания? Движение ваше к Двине выгодно для неприятеля: он, соединивши силы, уничтожит слабую 2-ю армию, отдалит вас навсегда от полуденных областей, от содействия прочим армиям! Вы не смеете сего сделать; должны, соединяясь с князем Багратионом, начертать общий план действий и тем исполнить волю и желание императора! Россия, успокоенная насчёт участи армий, ни в чём упрекнуть не будет иметь права»!

Барклай де Толли выслушал его с *великодушным терпением*, как он сам свидетельствует. «Мне казалось, — продолжает генерал Ермолов, — что я проник настоящую мысль его. Соединение с князем Багратионом не могло быть ему приятным; хотя по званию военного министра на него возложено начальство, но князь Багратион по старшинству в чине мог не желать повиноваться. Это был первый пример в подобных обстоятельствах и, конечно, не мог служить ручательством за удобство распоряжений»[1].

Барклай не только терпеливо выслушал горячие речи Ермолова, но «после разговора моего с ним не переменил расположения своего ко мне, или, — замечает он, — нелегко было то заметить, ибо ни холоднее, ни менее обязательным в обращении быть никак невозможно».

Барклай действительно находился в затруднительных обстоятельствах. Не входя в объяснение его личных чувств к князю Багратиону, нельзя не заметить, что силою этих обстоятельств его отношения к нему, а чрез него и ко многим другим действовавшим лицам, были неловкими сначала, неприятными потом и враждебными, наконец. В начале войны у нас было три главнокомандующих: 1-ю Западною армиею — Барклай де Толли, 2-ю князь Багратион и Дунайскою адмирал Чичагов. По закону — «главнокомандующий действующею армиею представляет лицо Императора и облекается его властью»; но только в том случае, если в войсках не присутствует сам Император. Его «присутствие слагает с главнокомандующего начальство над армиею, разве б отдано было в приказе, что главнокомандующий оставляется в полном его действии». Поэтому пока император Александр находился в действующей армии, в его лице была власть главнокомандующего, а собственно главнокомандующие, в силу того же закона, были только «командующими частными армиями». Но с его отъезда положение дел должно было измениться[2].

Предложено было соединение двух армий, но не сделано никаких распоряжений о том, кому будет принадлежать главное начальство над соединёнными армиями. Единство действий, необходимое для успеха, требовало и единства власти, между тем, оба главнокомандующие по закону были равны между собою. Звание военного мини-

стра, хотя на него впоследствии и опирал свои притязания Барклай, не имело никакого значения[3]. Главнокомандующий действующею армиею, по закону, находится вне всякого его действия. Старшинство по службе могло бы иметь большое значение в этом случае; отношения равных по званию при совокупных действиях иначе и определены быть не могут, как старшинством по службе. Это старшинство принадлежало князю Багратиону; если, кроме этого старшинства, принять во внимание заслуги князя Багратиона, его военную славу, доказанную многочисленными блестящими подвигами, то нельзя не признать, что его положение было ещё более затруднительно, нежели Барклая, ввиду предстоявшего соединения двух Западных армий. Ему, как кажется, точно так же, как и Барклаю, хотелось избегнуть, хотя бы временно, этого неминуемого и важного события в Отечественной войне, и притом в то время, когда уже не представлялось никаких препятствий к его осуществлению.

В то время, когда 2-я армия находилась уже в 25 верстах от Смоленска, граф Сен-При писал Императору: «Ваше Величество, конечно, можете быть довольны, что 2-я армия, не без великих затруднений, достигла уже прямого сообщения с 1-й. Эти сообщения уже были обеспечены с того времени, как мы достигли Мстиславля, и если с тех пор обе армии совершенно соединились при Смоленске, то это соединение, последствия которого могут быть весьма счастливые, представляет и свои неудобства. Чрез это скопилось огромное количество войск в положении невыгодном, где не было приготовлено для них достаточно продовольствия. Вследствие этого произошёл действительный недостаток в продовольствии, который может остановить самые успехи соединённых армий. Этого неудобства не случилось бы, если бы последовали образу действий, которые предлагал князь Багратион, чтоб 1-я армия, удерживаясь при Витебске, а 2-я от Смоленска, постоянно угрожали бы обоим флангам неприятеля, которого уже начали тревожить с тылу. Зная, что впереди в средоточии империи приготовляются новые силы против него, он никогда не посмел бы стать между двух огней и дал бы нам возможность располагать военными действиями по нашей воле»[4].

Быть может, и об этом плане действий можно рассуждать с точки зрения военной науки, одобрять или опровергать его, как и план, выраженный Барклаем в разговоре с Ермоловым; но и этот одинаково клонился к раздельному и самостоятельному действию обеих армий, и в предложении этого, быть может, принимало участие нежелание одного из главнокомандующих подчиниться другому.

Положение дел было тёмно, право главного начальника было неяс-

но. Барклай де Толли был военный министр. Князь Багратион старше чином. Воля Государя по этому важнейшему предмету – не выражена, говорит один из современников. При таком положении дел определить отношения между двумя главнокомандующими оставалось силе обстоятельств, их личному разумению и доброй воле.

Барклай де Толли начальствовал над армиею более многочисленною, так сказать главною, составлявшею средоточие военных действий и при которой поэтому находилась Главная квартира Императора. По его отъезде, силою этих обстоятельств, Барклай де Толли уже сделался на деле как бы главнокомандующим обеими армиями. Хотя он не вдруг привык к своей власти, страшась соединённой с ней ответственности, и желал вовлечь Государя в такие распоряжения, которые сам имел право делать; но тем не менее, сносясь с князем Багратионом, конечно, как равный с равным, он поручал, однако же, ему сообразоваться в своих действиях с действиями 1-й армии.

Но сила обстоятельств имела значение, пока оба главнокомандующие находились в отдалении один от другого. Она уничтожалась с того мгновения, как они оказались бы лицом к лицу. В этом случае за отсутствием высшего распоряжения необходимо было, чтобы один добровольно подчинился другому. Этот-то именно случай и предстоял. Как же отнеслись к нему оба главнокомандующие?

Приведённый разговор Барклая с его начальником штаба уже показывает, что он желал избегнуть этого случая в то самое время, когда он должен был осуществиться немедленно и без всяких препятствий, точно так же, как он избегал сражений, на которые сам решался, в то время, когда приходилось своё решение привести в исполнение и, следовательно,– принять на себя всю ответственность за последствия. Не найдя опоры выраженному им мнению в лице Ермолова, а вслед за ним, может быть, и во многих других, но встретив, напротив, горячее возражение, он также отступил перед мыслью об ответственности самовольно изменить план действий, одобренный уже Императором, хотя как главнокомандующий действующей армиею он по закону, очень ему знакомому, был облечён властью самого Его Величества в круге предоставленных ему действий. Но в его соображения не входила мысль о том, чтобы от главнокомандующего можно сделаться только старшим помощником и советником другого главнокомандующего и таким образом сложить с себя власть без особого указа о том Императора. Как строгий исполнитель закона, по его разумению, он считал долгом удержать за собою эту власть, тем более, что мог рассчитывать на одобрение Императора за его образ действий в этом случае. Но и предполагая удержать за собою

эту власть, он понимал необходимость восстановить добрые отношения с князем Багратионом. Поэтому после разговора с генералом Ермоловым, так резко встретившим его предложения действовать раздельно со 2-ю армиею, он писал князю Багратиону: «Никто в том сомневаться не может, что непреодолимые препятствия преградили вам путь к скорейшему соединению. Самые действия неприятеля против вас доказывают, и я никогда на этот счёт рассуждений моих не делал, а ещё менее того официально не представлял, а единственно только от искреннего сердца желал, чтобы армии скорее сблизились, яко единственное средство дать сей войне лучший оборот. Самые движения вверенной мне армии суть самые лучшие тому доказательства. Я имел неприятеля в тылу и на правом фланге, сражаясь ежедневно с ним, спешил форсированными маршами к тем пунктам, из коих я в состоянии был обратить внимание маршала Даву на меня и тем несколько вас облегчить. После всего этого оставляю вас самим рассуждать, не должен ли я быть оскорблён осуждением вашим насчёт 1-й армии, в рапорте вашем к Государю изъяснённым. Вот причина моего рапорта к Государю. Теперь, ваше сиятельство, быстрыми вашими движениями желаемая цель достигнута. Смоленск, прямейший путь к Москве, прикрыт, и ваше сиятельство оказали тем одну из важнейших услуг Государю и отечеству. Позвольте теперь вас просить предать всё забвению, что между нами могли происходить неудовольствия. Мы можем остаться оба неправы, но польза службы Государю и отечеству нашему требуют истинного согласия между теми, коим вверено командование армиями... Я с нетерпением ожидаю времени, когда лично буду иметь честь видеться с вашим сиятельством и согласить с вами общие наши действия. Я не могу изъяснить, сколь мне больно, что между нами могло существовать несогласие. Прошу вас всё забыть и рука в руку действовать на общую пользу отечества».

Совершенно в ином положении находился князь Багратион в этом случае. Он принадлежал к прошлому, хотя недавнему, времени, которое с гордостью называли тогда временем Великой Екатерины. Его любил, как родного, гениальный Суворов и так любил за то, что видел в нём достойного вождя русских войск, готового на все пожертвования для славы Отечества; его знали и любили войска, его знала и гордилась им вся Россия. Князь Багратион возвысился до звания главнокомандующего, говорит Ермолов, «согласно с мнением и ожиданием каждого». Это был не новичок и выскочка, неизвестно почему севший на голову всем. Князь Багратион не был образован в смысле требований нового времени, господствовавших у нас в первых годах XIX столетия; но он обладал умом тонким и гибким. «Обязательный

и приветливый в обращении, он удерживал равных в хороших отношениях, сохранил расположение прежних приятелей. Обогащённый воинскою славою, допускал разделять труды свои, в настоящем виде представляя содействие каждого. Подчинённый награждался достойно, почитал за счастье служить с ним, всегда боготворил его. Никто из начальников не давал менее чувствовать власть свою; никогда подчинённый не повиновался с большею приятностью. Обхождение его было очаровательное! Нетрудно воспользоваться его доверенностью, но только в делах, мало ему известных»*.

Так описывает свойства князя Багратиона Ермолов, и его описание подтверждают все современники, и человек, обладавший подобными свойствами, без всякого сомнения, пожертвовал бы личным честолюбием для пользы Отечества. Он так и поступил. Прибыв 21 июля в Смоленск, где уже находился Барклай, он немедленно поехал к нему представиться. Барклая предуведомили и уговорили показать вид, будто бы он сам немедленно собирался к нему ехать. В шарфе, со шляпою в руке, он встретил его в парадной комнате, говоря: «узнав о вашем приезде в Смоленск, я сейчас же хотел ехать к вам».

Последствия этого свидания, на которое устремлено было внимание обеих армий, были самые благоприятные. На другой же день, 22 июля, Барклай написал Императору: «Считаю долгом довести до сведения Вашего Величества, что я нахожусь в самых лучших отношениях с князем Багратионом. Я не могу не признать честного характера князя, исполненного самых благородных чувств и любви к Отечеству. Я объяснился с ним о положении дел, и мы совершенно согласились между собою в том, какие следует предпринять меры. Позволяю себе даже заявить, что раз восстановилось доброе согласие между нами, вперёд мы будет действовать совершенно одинаково. Завтра я буду иметь счастье довести до вашего сведения последствия совещания, которое я назначил для определения *подробностей* наших военных действий (sur les détails des opérations). Принимая во внимание растянутое положение неприятельских корпусов на полукруге между Могилёвом и Поречьем, я решился воспользоваться этим обстоятельством, прикрывая мои движения цепью лёгких войск, ударить всеми моими силами на его левый фланг. Дух войск в обеих армиях превосходный, солдаты исполнены мужества, горят нетерпением сразиться».

Нельзя не заметить в этих строках влияния князя Багратиона, как будто его дух повеял и увлёк за собою, конечно, ненадолго, Барклая де Толли. Но скрепя сердце уступил он общему мнению военного совета,

---

* Записки А. П. Ермолова. 1798–1826. М., 1991, с. 150 *(прим. ред.)*.

созванного им 25 июля в Смоленске, предложившему действовать наступательно, скрывая только свою мысль о необходимости продолжать отступление. После свидания с князем Багратионом, он решился действовать наступательно на левый фланг неприятеля, и военный совет собирал только с тою целью, чтобы определить подробности предположений движений войск. Едва ли может быть сомнение в том, что князь Багратион предлагал ему именно наступательные действия и мог ли бы он писать Императору, что между им и князем Багратионом состоялось полное соглашение, если бы он был против мысли о наступательных действиях и решился продолжать отступление. Отдавая отчёт Императору о военном совете в Смоленске, обещанный в предыдущем письме, он объяснял решение двинуться к Рудне необходимостью предупредить сосредоточение неприятельских войск, растянутых в это время ещё на значительном пространстве, удержать сколько возможно быстрое движение вперёд неприятеля с тою целью, чтобы дать необходимое время довершить вооружения, предпринятые внутри империи, и, наконец, потому, что удача в этом случае может дать новый благоприятный для нас оборот войне, а при неудаче отступление наших войск на Смоленск может быть обеспечено. Эти известия от главнокомандующего 1-ю армиею весьма обрадовали Императора. Он поспешил отозваться на них 28 июля милостивым дружеским письмом к Барклаю и милостивым рескриптом князю Багратиону. Он поздравлял первого с победами, одержанными над неприятелем Витгенштейном и Тормасовым и – с соединением обеих Западных армий. «Я надеюсь, – писал Государь, – что теперь с помощью Божией, вы можете начать наступательные действия и остановить вторжение неприятеля в наши области. В ваши руки, генерал, я передал спасение России и льщу себя надеждою, что вы оправдаете моё доверие». «Ваше известие о том, что между вами и князем Багратионом водворилось доброе согласие, доставило мне величайшее удовольствие. Вы сами понимаете всю важность настоящего времени и до какой степени теперь должно жертвовать всякими личными соображениями, в виду общей цели – спасения Отечества».

В тот же день князю Багратиону был подписан Государем следующий рескрипт: «Князь Пётр Иванович! Зная ваше усердие к службе и любовь к Отечеству, я уверен, что в настоящее, столь важное для него, время, вы отстраните все личные побуждения и, имев единственным предметом пользу и славу России, вы будете к сей цели действовать единодушно и с непрерывным согласием, чем приобретёте новое право к моей признательности. Пребываю навсегда вам искренно доброжелательным».

Но эти отзывы Императора получены были главнокомандующими в то время, когда вновь разгорелась вражда между ними. Князь Багратион мог пожертвовать в виду общей пользы личными своими видами; но, конечно, не мог отступиться от своих взглядов на то, как следует действовать именно для общей пользы, для спасения Отечества. Его примирение с Барклаем, вероятно, искренное, основывалось, однако же, на том, что между ним и Барклаем последовало соглашение насчёт дальнейших военных действий, как уведомлял Императора сам главнокомандующий 1-ю армиею. На этом условии, без сомнения, мог искренно примириться с ним благородный, великодушный и добрый Багратион, потому что и самая его вражда к Барклаю основывалась не на личностях, а на том, что он не одобрил его образа действий, считал его вредным и гибельным для Отечества. Но если по обоюдному соглашению предпринимаемые меры отменились вслед за тем одним из главнокомандующих, не только не с согласия другого, но прямо против его желаний и настояний, то долго ли могло продолжаться это соглашение? На деле именно так и случилось. Соединение обеих армий в Смоленске ободрило войска, все радовались событию, в котором уже начинали сомневаться. Но только – «радость обеих армий была единственным между ними сходством, – говорит генерал Ермолов. – Первая армия, утомлённая отступлением, начала роптать и допустила беспорядки, признаки упадка дисциплины. Частные начальники охладели к главному, низшие чины колебались в доверенности к нему. Вторая армия явилась совершенно в другом духе! Звук неумолкающей музыки, шум не перестающих песен оживляли бодрость воинов. Исчез вид понесённых трудов, видна гордость преодолённых обязанностей, готовность к превозможению новых. Начальник – друг подчинённых? Они – сотрудники его верные! По духу 2-й армии можно было думать, что пространство между Неманом и Днепром она не отступая оставила, но прошла торжествуя»*. Так и было действительно. «Поход 2-й армии от Немана, отрезываемой с фланга маршалом Даву, преследуемой с тыла королём Вестфальским, покрыл её честью и возвысил ещё более в глазах армии и России любимого ими и прежде – любимца Суворова. Между обеими армиями в нравственном отношении была та разница, что 1-я надеялась на себя и русского Бога, а 2-я сверх того и на князя Багратиона. На Барклая сначала надеялись, а потом перестали. На Багратионе сосредоточились надежды обеих армий», – говорит другой современник – свиде-

* Записки А. П. Ермолова. 1798–1826. М., 1991, с. 153 *(прим. ред.)*.

тель происшествий. Из этих свидетельств оказывается, что радость войск не заключалась только в том, что они сделались сильнее, когда обе армии соединились. Это обстоятельство, хотя и весьма важное, мало входило в соображения войск, которым не могло быть известно численное превосходство неприятельских войск, когда и в штабах обеих армий не имели о нём положительных сведений. Но армии надеялись, что общее начальство над ними примет князь Багратион, как старший из главнокомандующих. «Вся армия меня просила гласно, чтобы я всеми командовал, но я на сие не отвечал, — писал князь Багратион к графу Аракчееву в это время, — ибо есть воля на то Государя моего, и хотя до крайности я огорчён лично от министра, между нами сказать; но он сам опомнился и писал простить его в том. Я простил и с ним обошёлся не как старший, но так, как подкомандующий. Сие я делал и делаю точно по привязанности моей к Государю».

Но эта надежда войск, конечно, не могла осуществиться без явно выраженной воли Государя. Люди, знакомые с положением дел, как начальники штабов обеих армий, генерал Ермолов и граф Сен-При, смотрели иначе и всю надежду полагали на личное примирение и соглашение двух главнокомандующих. «За что терпел я от тебя упреки, Багратион, благодетель мой! — говорит Ермолов. — При первой мысли о нападении на Рудню, не я ли настаивал на исполнении её, не я ли убеждал употребить возможную скорость? Я всеми средствами старался удерживать между вами, яко главными начальниками, доброе согласие, боясь и малейшего охлаждения одного к другому. Скажу и то, что в сношениях и объяснениях ваших, чрез меня происходивших, нередко холодность и невежливость Барклая де Толли представлял я пред тебя в тех видах, которые могли казаться приятными. Твои отзывы, иногда грубые и колкие, передавал ему в выражениях обязательных. Ты часто говаривал мне, что сверх ожидания нашёл в Барклае де Толли много хорошего. Не раз он повторял мне, что он не думал, чтобы можно было, служа вместе с тобою не встречать неудовольствий»*. Нет повода подозревать искренность слов генерала Ермолова. Он, как начальник штаба, знавший хорошо обстоятельства, как просвещённый русский, искренно преданный Отечеству, не мог не понимать, что в это время всё зависело от хороших отношений между собою двух главнокомандующих, и всеми силами содействовал к тому, чтобы поддержать и укрепить их. Но он ошибался, конечно, полагая, что «благодаря доверенности» к нему

* Записки А. П. Ермолова. 1798–1826. М., 1991, с. 159–160 *(прим. ред.)*.

обоих главнокомандующих, ему удалось бы постоянно удерживать их в миролюбивых отношениях и едва ли не ошибался ещё более, полагая, что причиною вражды между ними был граф Сен-При. Барклай признавал его дарования, но не только не имел доверия к нему, но считал его одним из главных своих врагов. Что же касается до графа Сен-При, известного благородства его характера, то едва ли генерал Ермолов, часто увлекавшийся и резкий в своих суждениях о людях, не был так же неправ в отношении к нему, как впоследствии к генералу Коновницыну.

Не менее Ермолова радовался согласию, возникшему между главнокомандующими, и граф Сен-При. Сообщая Императору предположение князя Багратиона, что вместо соединения двух армий выгоднее было бы, обеспечив уже возможность их соединения на достижение 2-ю армиею Мстиславля, действовать каждой отдельно на оба крыла неприятельских войск, он говорит далее: «но, во всяком случае, соединение обеих армий даёт нам то преимущество, что мы можем действовать наступательно на неприятеля, слишком растянувшего свои войска, которые ослаблены несколько победами Тормасова и Витгенштейна; таково значение предпринимаемого теперь наступательного движения войск Вашего Величества, которого требуют обстоятельства, дух войск и которым мы только предупредили неприятеля, который рано или поздно непременно нападёт на нас. Я не войду в изложение подробностей предположенного движения, о которых, без сомнения, уведомит вас военный министр и которого трудно предвидеть последствия; но, в случае даже успеха над нами неприятеля, победа эта дорого будет ему стоить и лишит его возможности предпринять что-либо важное.— Соединение обеих армий рассеяло ту неприязнь, которая вследствие разных недоразумений возникла между двумя главнокомандующими. Ваше Величество, конечно, довольны поведением князя Багратиона, который в этом случае представил новое доказательство своего усердия к общему благу и к службе Вашему Величеству».

Согласие Барклая де Толли действовать наступательно примирило с ним князя Багратиона. В виду этого только согласия, он пожертвовал своим личным несочувствием к человеку, своим старшинством по службе, исполненной блистательными военными подвигами, сделавшими его любимцем войск и известным всей России. Но лишь только оба главнокомандующие решились приступить к наступательным действиям, как встретились препятствия. Прежде всего то обстоятельство, на которое жаловались князь Багратион и его начальник штаба — недостаток продовольствия. «Армия пробыла в Смоленске

четыре дня, чтобы запастись хлебом», а между тем успех предположенных действий только и мог быть обеспеченным их быстротою, чтобы не дать возможности неприятелю сосредоточить их и до того времени нанести решительный удар какой-либо из его частей. Но если удалось устранить это препятствие деятельными распоряжениями, то другое, гораздо более важное, устранить было невозможно. Оно заключалось в нерешительности характера главнокомандующего 1-ю армиею, распоряжавшегося в это время и действиями 2-й. Барклай де Толли, увлечённый влиянием князя Багратиона, которого добровольное его подчинение произвело неожиданное приятное на него действие, и общим единогласным мнением военного совета, решился напасть на неприятеля, рассеявшего свои силы на значительном пространстве между Могилёвым и Поречьем; кроме того, Барклай де Толли имел достаточно времени обдумать то предприятие, на которое он решился, и остановиться перед мыслью об ответственности. Всякое самостоятельное действие, вызывающее на бой противника, естественно, подлежало ответственности; только уступчивая податливость обстоятельствам, оберегающая, однако же, честь войск, готовых на битву, которой избежать нельзя, скольких бы жертв она ни стоила, избавляла от этой ответственности. При таком настроении духа главнокомандующего, очевидно, что могли представиться обстоятельства, к которым можно было придраться, чтобы отступить от предпринятого решительного действия. Так и случилось.

С восторгом выступили войска из Смоленска 26 июля. На следующий день 1-я армия должна была продолжать движение на Инково, 2-я на Надву; но в ночь на 27-е последовал приказ главнокомандующего, повернувший войска назад, направляя их к дороге от Смоленска к Поречью. Что побудило главнокомандующего 1-ю армиею вдруг неожиданно изменить образ действий? Опасения, что неприятель может обойти правое крыло, основываясь на слухах, что его отряд показался у Поречья. Извещая князя Багратиона о движении на дорогу к Поречью, Барклай де Толли ему писал: «Первый предмет наших действий должен быть тот, дабы обеспечить непременно наши фланги, а более всего правый, чтобы открыть себе коммуникацию с генерал-лейтенантом графом Витгенштейном». Хотя по принятому способу действий корпусу Витгенштейна и предоставлена самостоятельная деятельность, но из этих слов очевидно, что внимание главнокомандующего 1-ю армиею ещё было устремлено на дорогу к Петербургу, его занимали *придворные маневры*, по меткому выражению Ермолова. Впрочем, он принял это направление потому, что, по его мнению, цель движения армии к Рудне уже была достигнута.

«Движением нашим к Выдре мы заняли неприятеля с сей стороны (т.е. с левого крыла), почему он стягивает свои войска и тем отвлекает свои силы от корпуса Удино, которого он мог бы усилить». Но в каких видах неприятелю нужно было в это время усиливать корпус Удино, когда нельзя уже было препятствовать соединению двух Западных наших армий, потому что они уже соединились, и также нельзя было занять Смоленск, предупредив русские войска? Как бы невольно сознавая несостоятельность своих доводов, Барклай де Толли продолжает: «Сверх того, обеим армиям в таком тесном соединении, как мы теперь находимся, *остаться нельзя*; ибо они совершенно будут нуждаться в продовольствии. По движениям 1-й армии вправо, откроется ей кратчайшая коммуникация к доставлению продовольствия из Великих Лук, Торопца и Белой; а вверенная вашему сиятельству армия будет тогда продовольствоваться из Вязьмы, Дорогобужа, Смоленска, Ельни и Юхнова». Мысль отделиться от 2-й армии и действовать самостоятельно, хотя и сохраняя связь с нею, не оставляла главнокомандующего 1-ю армиею. Но при исполнении этого предположения, как 1-я армия, подвигаясь к Поречью, должна бы оставить Смоленск, так и 2-я,— перейдя на дорогу к Дорогобужу. «Весьма хорошо и полезно было бы удерживать Смоленск,— продолжает Барклай де Толли,— но сей предмет не должен нас, однако же, удерживать от важнейших предметов, т.е. сохранении армии и продолжении войны, дабы между тем приготовить внутри государства сильное подкрепление сим армиям. Сверх того, воля Государя Императора не была, чтобы армии вкупе действовали, но были бы между собою в связи и одна другой, в случае нужды, подавала бы помощь там, что буде одна армия принуждена против превосходных неприятельских сил отступать, другая решительно должна действовать наступательно, стараясь всегда обходить неприятельские фланги, давая ему частые сражения и обеспокоивая его беспрерывно иррегулярными войсками». Из этих слов можно бы прийти к такому заключению, что главнокомандующий 1-ю армиею желал бы с нею постоянно отступать, не думая защищать Смоленска, а князь Багратион должен бы драться с неприятелем, действуя в его фланг и тыл. Но по какой же дороге отступала бы 1-я армия? Очевидно, по петербургской, к Поречью и далее, если имела в виду находиться в связи с графом Витгенштейном. Если и армия князя Багратиона должна была находиться в связи с нею, то, очевидно, должна была следовать в том же направлении и, следовательно, совершенно открыть неприятелю московскую дорогу, что совершенно противоречит всем прежним предположениям самого Барклая де Толли.

Такое отношение, конечно, должно было возмутить князя Багра-

тиона. Не соглашаясь с самыми предположениями, что и выразил в своём ответе Барклаю, он негодовал особенно на изменение только что предпринятых с общего согласия действий. «Отношение обширное министра я получил, — писал он Ермолову, — оно не заслуживает никакого внимания, ибо невозможно делать лучше и полезнее для неприятеля, как он. Я пишу ему единственно для очистки себя и чтобы отвязаться от него. Истинно я сам не знаю, что мне с ним делать и о чём он думает?»

Так внезапно и быстро состоялось передвижение на дорогу к Поречью 1-й армии, что забыли дать вовремя весть о нём атаману Платову, находившемуся при Молевом болоте у Инкова. Не зная о передвижении армии, он завязал дело с французскими передовыми войсками Себастьяни и одержал блестящий успех, последствием которого было то, что император Наполеон разгадал намерения наших полководцев и немедленно начал стягивать войска, разбросанные до того на значительном пространстве.

Но эти новые предположения Барклая де Толли просуществовали недолго в его уме. Не удаляясь от Смоленска далее одного перехода, не приближаясь к Поречью, 1-я армия простояла в бездействии три дня. Получив, наконец, известие, что незначительные неприятельские отряды, которые показывались около Поречья, удалились по дороге к Витебску, Барклай де Толли снова перешёл на дорогу к Рудне и 1 августа расположил войска при деревнях Волоковое и Гавриках, немного далее от Смоленска, в селе Приказ-Выдра, т.е. возвратился к тому положению, в котором находился 6 дней тому назад, проведённых в бесполезных движениях взад и вперёд и в трате времени на выжидания несовершившихся событий.

Не нужно доказывать, до какой степени подобный образ действий должен был раздражить прямодушного, честного, но горячего князя Багратиона. Он пожертвовал личными чувствами к человеку, которого вовсе не считал способным предводительствовать войсками, из главнокомандующего сделался его подручником, *субалтерном*, как он сам выражался, но, ввиду согласия в мнениях в отношении к военным действиям против врага, угрожавшего существованию России. Мог ли он думать, что это согласие нарушится после первого перехода от Смоленска 1-й армии? Несмотря на то, как военный, понимавший значение дисциплины, и честный человек, он исполнил предписание Барклая де Толли и перевёл 2-ю армию от Катани в Приказ-Выдра, т.е. занял место стоянки 1-й армии, в ожидании, конечно, дальнейших действий. Но войска оставались в бездействии, а между тем князь Багратион писал Ермолову: «Я не имею ни сена, ни овса, ни хлеба, ни воды,

ни позиции. А особливо два дня пробывшая здесь первая армия всё забрала и всё съела. За что же морить людей в таких местах и за что бросать малый деташемент в Красном! Неприятель из Рудни может занимать нас фальшиво, а к *Смоленску подступить*: тогда будет стыдно и нехорошо». Поэтому он просил Ермолова, как преданного ему человека, похлопотать, чтобы Барклай де Толли разрешил ему оставить позицию при селе Приказ-Выдра и если не всё войско, то большую часть приблизить к Смоленску. Князь Багратион вообще не разделял опасений Барклая де Толли за правое крыло войск и не советовал ему переходить на дорогу к Поречью. Напротив, он полагал, что следует опасаться за левое крыло и ожидать нападения неприятеля со стороны города Красного. Но Барклай де Толли вновь занятое им положение по пореченской дороге считал чрезвычайно выгодным.

«Из моего нового расположения,— писал он Императору,— я могу с превосходными силами напасть на левый неприятельский фланг, открыть коммуникацию с Вышнею Двиною и обеспечить левое крыло графа Витгенштейна. Обе армии будут находиться в одном марше одна от другой, дорога в Москву и всё пространство между источниками Двины и Днепра ими прикрывается. Такое положение имеет несомненные выгоды и даёт полную свободу действовать с успехом, по обстоятельствам». Так писал Государю главнокомандующий 1-ю армиею в первый день своего перехода с дороги на Рудню на дорогу к Поречью; а после трёх дней, спокойно там проведённых, он, кажется, готов был снова обратиться к тому предположению, которое высказывал генералу Ермолову, в то время, как узнал о приближении 2-й армии к Смоленску, на соединение с 1-й. «Движение 1-й армии от Витебска к Смоленску,— писал он князю Багратиону,— имело только целью приближение 2-й армии к сему городу и совершенно преградить неприятелю путь во внутрь государства. Достигнувши сей цели, обязанность 1-й армии есть открыть себе свободную коммуникацию с графом Витгенштейном, который оставлен между Двиною и Псковом; а между тем, оставаясь в таком положении, что бы могло дать *вспомоществование* 2-й армии, которой остаётся прикрывать дорогу в Москву». В этом отношении, вообще излагавшем мысли главнокомандующего неясно и неопределённо, говорилось далее о необходимости избегать генерального сражения, действовать оборонительно и ожидать решительных действий со стороны генерала Тормасова и адмирала Чичагова. В тот же самый день он писал и к Тормасову, и к адмиралу Чичагову, прося их ускорить наступление в тыл большой Наполеоновской армии. «В нынешних обстоятельствах,— писал он адмиралу,— не дозволяется 1-й и 2-й

армии действовать так, чтобы недра государства, ими прикрытые, чрез малейшую в генеральном деле неудачу подвержены были опасности, и потому оборонительное состояние их есть почти бездейственное. Решение же участи войны быстрыми и наступательными движениями зависит непосредственно от Молдавской и 3-й армий. И сие соответствует общему плану войны, по коему часть войск, на которую устремляются главнейшие силы неприятеля, должна его удерживать, между тем, как другая часть, находя против себя неприятеля в меньшем числе, должна опрокинуть его, зайти во фланг и в тыл большой его армии. Я давно уже и неоднократно относился о сём к генералу Тормасову и сердечно желаю, чтобы в сей части театра войны вашим прибытием вы придали новую деятельность, почему убедительнейше прошу вас, по возможности, если не форсированными маршами, то на подводах, как можно скорее, вести часть войск ваших, подвести к Кобрину и вслед за оными и остальную армию, вступая между тем в обстоятельные сношения с генералом Тормасовым, чтобы от него иметь сведения о положении 3-й армии, которое я сам не в такой ясности имею, как бы того желал для пользы службы». О своих заботах насчёт 3-й армии он сообщил и в письмах к Императору, говоря, что он не может приказывать ни Тормасову, ни Чичагову, а потому отнёсся к ним частными письмами, просил Государя сделать им предписания об усилении действий 3-й армии.

Как ни темно написано отношение Барклая де Толли к князю Багратиону, однако же, из него нельзя не понять, что он желал устраниться от совокупного действия со 2-ю армиею. В нём говорится, что вся цель движения 1-й армии от Витебска к Смоленску заключалась в том, чтобы сойтись там со 2-ю армиею и *преградитъ путь неприятелю во внутръ* государства; но *преградитъ* путь совокупно с нею или предоставить это дело ей одной и в случае нужды оказать ей даже пособие? Такова именно мысль главнокомандующего 1-ю армиею. Достигнув соединения со 2-ю армиею,— говорит он,— обязанность 1-й должна состоять в том, чтобы *открытъ себе свободную коммуникацию* с графом Витгенштейном; а 2-я армия должна прикрывать дорогу в Москву. Барклай де Толли считал, что предположенный на совете в Дрисском лагере план действий приведён в исполнение. Затем Император, убедившись в ничтожности первоначального общего плана военных действий, дал полную свободу главнокомандующему действовать сообразно обстоятельствам, не стесняя его никаким уже наперёд составленным планом.

Этим правом и воспользовался главнокомандующий 1-ю армиею и выразил его в отношении к князю Багратиону и письмах к Торма-

сову и Чичагову. Предложенный им план был таков: оберегать недра государства, дорогу в Москву предоставить 2-й армии, 1-ю же поставить в такое положение, чтобы она, не теряя сообщений с графом Витгенштейном, могла в то же время помочь и 2-й армии в случае нападения на неё неприятеля. Такое положение, конечно, могла бы сохранить 1-я армия, находясь на пореченской дороге в одном переходе от Смоленска, но долго ли она могла оставаться в этом положении? Образ действий одной из воюющих армий не зависит только от предположений её главнокомандующего; есть неприятель, который сразу своими действиями может повернуть верх дном все предположения. Между тем Барклай де Толли писал к адмиралу Чичагову, что положение обеих армий, как оборонительное, *есть почти бездейственное*, предполагая, конечно, что неприятель, и особенно такой, как Наполеон, [не] оставит надолго русские войска в таком положении. Рассчитывая на это обстоятельство, он говорил, что такой образ действий двух русских армий: «*соответствует плану* войны, по которому одна армия, на которую ударят главные силы врага, должна только их удерживать, а другие действовать во фланги и в тыл и решить участь войны». Но что же это за *общий план* войны? План генерала Пфуля, в составлении которого и сам Барклай принимал непосредственное участие и до сих пор хранил при себе залог его сочувствия этому плану в лице полковника Вольцогена.

Но едва Барклай де Толли успел написать, предписывая отправить по назначению эти отношения и письма, выражавшие его предположения о предстоявших военных действиях, как получил известие, что неприятельские отряды, которые показывались около Поречья, удалились по дороге к Витебску. Рассеялись опасения за правое крыло, которому будто бы угрожала вся главная армия Наполеона и против чего постоянно возражал князь Багратион. Барклай де Толли предписал 2-й армии 1-го августа вновь вернуться от Смоленска к Рудне и следовать к селу Надве; но именно в этот день князь Багратион привёл в Смоленск свои войска из Приказ-Выдры. Его авангард, под начальством Васильчикова, оставался ещё у села Волокового, и далее к Смоленску отряд князя Долгорукова в Дебричах, который в случае нужды мог служить ему подкреплением. Конечно, получив предписание Барклая в Смоленске, куда после значительного перехода только что пришла 2-я армия, князь Багратион, не мог немедленно его исполнить и, не дав отдыха, поворотить войска в обратный путь. Однако же, он не позволил себе медлить более, нежели требовала крайняя необходимость, хотя в дружеской записке к генералу Ермолову и выразил своё негодование: «Эх,

брат, взяли! Вот нам правый фланг, вот Поречье! Мало повесить!» Но, несмотря на это, на другой же день его войска рано выступали из Смоленска и к вечеру пришли к назначенному для них месту у села Волокового.

Пока совершились эти движения и передвижения, неприятель, конечно, не бездействовал. В продолжение шести дней, истраченных для них, он совершил то движение, тот блистательный маневр, который военные писатели считают лучшим из всех совершенным Наполеоном в эту войну. Соединение в Смоленске двух Западных армий уничтожило его первоначальный замысел, — отрезав их одна от другой, разбить каждую порознь. Но он знал свои силы и был уверен, что может разбить и обе соединённые армии, которых числительная сила всё-таки была значительно ниже сравнительно с тем количеством войск, которое он мог сосредоточить под рукою для решительного боя в это время. Но русские войска уклонялись от решительного боя; их надо было принудить к нему. Если идти прямо на соединённые русские армии у сёл Волокового и Гавриков, то возможно ожидать, что они снова уклонятся от сражения, и после нескольких стычек авангарда или отдельных отрядов отступят, как прежде. Предположение, что русские будут отступать во внутрь страны, завлекая туда своих врагов, было очень хорошо известно Наполеону, и он, конечно, понимал его значение не хуже других. Задача состояла в том, чтобы лишить русские войска возможности отступать. Поэтому необходимо было отрезать им путь отступления к средоточию государства, где подготовлялись новые военные силы для противодействия неприятельскому вторжению. Для достижения этой цели, он вдруг переменил свою операционную линию и от Двины и Витебска сосредоточил и двинул свои главные силы к Днепру, чрез Бабиновичи и Лиозну к Росасне и Хомину. Там, в последних числах июля, сошлись до 185 тысяч войска, 1-го августа были наведены мосты, на другой день оно переправилось чрез Днепр и усиленным переходом пошло к Красному, к Смоленску. Наполеон надеялся предупредить там русские войска, занять неприготовленный к обороне город и, отбросив их от путей сообщения с средоточием государства, вынудить их принять решительное сражение. Его предприятие непременно увенчалось бы успехом, если бы не помешали два совершенно случайные обстоятельства.

1-я армия, выступив с пореченской дороги на дорогу на Рудню, 2-го августа расположилось у сёл Волоковое и Гаврики; к Надве подходили передовые войска 2-й армии. Барклай де Толли решился принять сражение и даже предполагал, что французы сделают нападение 3-го августа, в день рождения императора Наполеона. «Если же непри-

тель нас третьего числа не атакует, – писал он к князю Багратиону, – то мы сами его посетим тем смелее, что наш правый фланг очищен». Едва ли Барклай де Толли предполагал возможным действовать наступательно в это время, когда все войска неприятельские успели сосредоточиться, если не решался тогда, когда они были растянуты на значительном пространстве. Эти слова, вероятно, написаны были с тою только целью, чтобы вернее приобрести содействие со стороны князя Багратиона, постоянно требовавшего наступательных действий, и, ожидая нападения неприятеля именно 3-го августа, вынудить его поскорее соединиться с ним. Но сам он предполагал, что вызовет нападение Наполеона на занятую им позицию, которую считал весьма выгодною, так же, как полагал прежде вызвать его нападение на укреплённый лагерь при Дриссе. Но в тот же день 2-го августа князь Багратион получил донесение из Красного от генерала Неверовского, «что неприятель сильным корпусом пехоты и кавалерии занял г. Ляды». Стоявший в этом городе незначительный отряд отошёл к Красному и присоединился к Неверовскому. Вслед за этим донесением, которое князь Багратион немедленно сообщил главнокомандующему 1-ю армиею, он получил другие, от того же числа, что французы уже напали на его передовые посты, и наконец, что вся неприятельская армия теснит его, двигаясь на Смоленск. Могло ли кому-нибудь приходить на мысль, что незначительный отряд, состоявший из одной дивизии и трёх казачьих и одного драгунского полков, не будет мгновенно поглощен разливом огромных сил неприятеля, а, напротив, в продолжении 10-ти часов выдержит её напор у Красного и затем, 47 вёрст отступая, приведёт к Смоленску ещё более двух третей своего отряда. «После 10-ти часового боя под Красным, – доносил князь Багратион Императору, – Неверовский принужден был ретироваться от Красного, быв шесть вёрст сряду окружён всею неприятельскою силою. Хотя урон у него значительный, но нельзя довольно похвалить храбрости и твёрдости, с какими его дивизия, совершенно новая, дралась против чрезмерно превосходных сил неприятельских. Можно даже сказать, что примера такой храбрости ни в какой армии показать нельзя». Сами неприятели отдали должную справедливость необычайному подвигу Неверовского и горсти войск, состоявших под его начальством. Но в этом случае, кажется, следует отдать такую же справедливость и военачальнику, сразу понявшему опасное положение дел и принявшему все зависевшие от него меры, чтобы предотвратить опасность. Получив известие, что вся неприятельская армия теснит Неверовского, – продолжает князь Багратион, – «я тотчас же отрядил с 7-м корпусом

генерал-лейтенанта Раевского, приказав ему возможно стараться, во что бы то ни стало, соединиться с генерал-майором Неверовским. Раевский удвоил марш, пройдя без привалу 40 вёрст, соединился на рассвете 4-го августа в виду многочисленной армии, предводительствуемой самим французским императором, в 6-ти вёрстах от Смоленска. Хотя неприятель, узнав о следовании к Смоленску вверенной мне армии, употребил все усилия, чтобы до прибытия прочих войск истребить малый отряд, защищавший Смоленск, но храбрые русские воины, с помощью Божиею, при всей своей от продолжительных маршей усталости, отражали мужественно неприятеля».

Ни отряд Неверовского, ни даже посланный ему в подкрепление корпус Раевского, конечно, не были достаточны для того, чтобы остановить многочисленную неприятельскую армию. Поэтому, сделав распоряжение об ускоренном движении корпуса Раевского, сам князь Багратион с остальными частями 2-й армии немедленно, усиленным ходом, пошёл к Смоленску. «Я прибыл к Смоленску,— продолжает князь Багратион, в донесении Императору,— в 10 часов утра, и, быв самовидцем важного превосходства неприятельских сил, теснивших до крайности наш отряд, подкрепил его гренадёрскою дивизиею. Неприятель был со всеми своими силами под самым городом, продолжал нападения и усиливал атаки от 6-ти часов утра до 8-ми часов вечера, и не только не получил никакого превосходства, но с немалым для него вредом остановлен в сей день совершенно в его предприятии. К вечеру же прибыла к Смоленску 1-я армия».

Геройское сопротивление отряда Неверовского, замедлившее наступление французских войск, своевременное прибытие корпуса Раевского, а затем и всей 2-й армии — помешали Наполеону исполнить своё намерение — предупредить русские войска в Смоленске и занять город без сопротивления, по крайней мере, сильного и отрезать русским войскам отступление на Москву. Но как же корпус Раевского, как бы он ни шёл усиленно, мог прибыть к рассвету 4-го августа и подкрепить утомлённую беспрерывным боем обессиленную уже дивизию Неверовского? «Один только корпус генерал-лейтенанта Раевского,— говорит А. П. Ермолов,— который, выступя последним из Смоленска, не мог в тот день пройти более 15-ти вёрст, ибо шедшая впереди его 2-я гренадёрская дивизия и обозы ему препятствовали. Начальник дивизии, принц Карл Мекленбургский, пропировав накануне, долго проспал и забыл отдать приказ о выступлении, которое последовало тремя часами позднее. Промедление сие было чрезвычайною впоследствии пользою, ибо вскоре корпусу Раевского предстояло другое назначение и совсем в противную сторону, куда он отто-

го только успел прийти, что не мог много отдалиться» *. По этой ли причине или, может быть, и другой, замедлилось движение из Смоленска корпуса Раевского, но это случайное обстоятельство вместе с другим, на которое также нельзя было рассчитывать, — геройским подвигом Неверовского — расстроили блестящий замысел Наполеона. Но случайные явления могут принести пользу только в том случае, когда найдутся способные люди, которые сумеют ими воспользоваться. Когда корпус Раевского подходил уже к Смоленску, его известили, что дивизия Неверовского погибла совершенно. Известие ничего не представляло невероятного само по себе, и его подтвердил Раевскому и генерал Беннигсен, говоря, что он идёт на верную гибель. Он советовал ему не переправлять по крайней мере своей артиллерии за Днепр. Раевский не подчинился, однако же, этому совету опытного полководца, гордившегося своими победами над Наполеоном при Пултуске и Прейсиш-Эйлау. «Такой робкий совет, — говорит он, — не соответствовал моему положению, почти отчаянному. Надо было истощить все средства. Я чувствовал, что дело шло не о потере нескольких пушек, а о спасении армии, может быть, России». Он перевёл свой корпус за Днепр, прошёл город и на 6-й версте большой дороги от Смоленска к Красному встретил дивизию Неверовского, которую и принял под своё начальство.

Но и корпус Раевского, незначительный по количеству воинов, сравнительно со всем войском Наполеона, утомлённый трудными переходами, едва ли долго мог защищать Смоленск, если б князь Багратион не двинул туда немедленно всей своей армии, не пришёл вовремя и не подкрепил бы его свежими войсками. «Друг мой, —

---

* Автор цитирует здесь воспоминания А. П. Ермолова крайне неточно, объединяя при этом в единое целое предложения из разных мест *Записок*. Вот точная цитата из воспоминаний Ермолова: «Корпус генерал-лейтенанта Раевского в первый день не более 15 вёрст отошёл от Смоленска, выступивши тремя часами позднее надлежащего. Впереди его приказано было идти 2-й гренадёрской дивизии, но она не трогалась с места. *Дивизиею начальствовал генерал-лейтенант принц Карл Мекленбургский. Накануне он, проведя вечер с приятелями, был пьян, проспался на другой день очень поздно и тогда только мог дать приказ о выступлении дивизии...* Промедление сие было впоследствии важнейшею пользою, ибо генералу Раевскому предстояло совсем другое назначение... Если бы генерал-лейтенанту Раевскому не воспрепятствовала 2-я гренадёрская дивизия выступить ранее, как то надлежало, он сделавши большой переход, возвратился бы в Смоленск слишком поздно, и мог даже найти в нём французов» (см. Записки А. П. Ермолова. 1798–1826. М., 1991, с. 160, 162; выделенные курсивом слова приведены Ермоловым как подстрочное примечание; *прим. ред.*).

писал он Раевскому, – я не иду, а бегу. Желал бы иметь крылья, чтобы соединиться с тобою. Держись, Бог тебе помощник!» Эта записочка, ярко выражавшая настроение духа князя Багратиона в это время и его отношения к подчинённым ему генералам, наскоро написанная на походе 3-го августа, была получена Раевским утром на другой день, когда уже началось сражение, и без сомнения оказала должное влияние на достойного его помощника.

В то время, когда Багратион писал эту записку и летел на подмогу Раевскому, главнокомандующий 1-ю армиею доносил Императору, что «движение неприятеля к Днепру и на левый берег его, чем он оставляет почти всё пространство между Днепром и Двиною, даёт *большой повод к удивлению*». Это удивление не помешало ему разгадать намерения Наполеона. «Но как скоро удостоверюсь в действительных его намерениях, – продолжал он, – не оставлю располагать действиями моими по мере существующих обстоятельств, и армию выставлю в такое положение, чтоб, будучи всегда в состоянии подкреплять князя Багратиона, я мог не менее того удерживать пространство между Днепром и Двиною». Возлагая на князя Багратиона главное противодействие силам неприятеля, он предлагал ему с этою целью переправиться на левый берег Днепра и обещал подкрепить его своими войсками в случае надобности. «Весьма сожалею, – писал он, – что мы не знали вчерашнего числа об отступлении неприятеля вчера рано из Рудни. Тогда бы мы могли во всех пунктах предупредить его движения». Их предупредил князь Багратион, своевременно приведя к Смоленску свою армию и подкрепив корпус Раевского. К вечеру, когда на высотах правого берега Днепра показалась перед Смоленском 1-я армия, битва была уже окончена, все нападения неприятеля отражены с успехом, город оставался в наших руках, и неприятельские войска отошли в прежние свои позиции.

После свидания 21-го июля, когда обе Западные армии соединились в Смоленске, оба главнокомандующие не видались один с другим и сносились между собою письменно или посредством нарочных. Вечером 1-го августа они съехались снова. Князь Багратион, восторженный блестящими подвигами своих помощников, Неверовского, Раевского и их сотрудников, горячо выражая им своё одобрение и благодарность, забыв тяжёлые дни блужданий двух армий в окрестностях Смоленска, воодушевлён был одною мыслью – продолжать их подвиги, т.е. отстоять Смоленск. «Как открылось намерение неприятеля, – доносил он Императору, – продолжая нападение на Смоленск, обратить прочие свои силы далее по московской дороге, то к предупреждению сего, по соглашению с военным министром, оставя

защищение Смоленска первой армии, от которой отряжен в оный 6-й корпус под начальством генерала от инфантерии Дохтурова, сам отступил 5-го числа августа, поутру за 12 вёрст по дорогобужской дороге, ведущей к Москве. Для прикрытия оной, отправил наперёд далее сильные отряды для вернейшего спознания о намерениях неприятеля, и надеюсь, что военный министр, имея перед Смоленском готовую к действию всю 1-ю армию, удержит Смоленск; а я, в случае покушения неприятеля пройти далее на Московскую дорогу, буду отражать его, имея беспрерывные сношения с военным министром».

Русским войскам, подходившим к Смоленску по правому берегу Днепра, значительно возвышенному против левого, виден был весь город, действия сражавшихся войск и все движения обширным полукругом облегавшего его неприятеля. Некоторый из этих движений, направленные вверх по течению Днепра, возбудили в князе Багратионе подозрения, не предполагает ли неприятель, отвлекая внимание осадою города, переправить часть своих войск выше Смоленска и отрезать русским войскам путь отступления к Дорогобужу, заняв Московскую дорогу. Это предположение было так важно, что оба главнокомандующие, по взаимному согласию, решились действовать с тою целью, чтобы предупредить неприятеля и не дать ему возможности исполнить своё намерение. Поэтому было решено, что 1-я армия будет продолжать защиту Смоленска, а 2-я двинется по московской дороге к Соловьёвой переправе через Днепр. Поэтому корпус Раевского был выведен из города и заменён корпусом Дохтурова, принадлежавшего к составу 1-й армии, а князь Багратион двинулся по Московской дороге к Дорогобужу на рассвете 5-го августа. «Князь Багратион склонил главнокомандующего,— говорит А. П. Ермолов,— ещё один день продолжать оборону города, переправиться за Днепр и атаковать неприятеля, и что он то же сделает со своей стороны»*. Дохтуров, больной, едва получивший облегчение от горячки, с вверенными его начальству войсками защищал город с равным мужеством и настойчивостью, как и Раевский, но преодолевая, конечно, ещё большие трудности, нежели его предместник в защите города, не приготовленного к осаде и выдержавшего уже целый день сильные приступы многочисленного неприятеля. К четырём часам пополудни, когда у генерала Дохтурова истощились уже все способы обороны, к нему пришёл на помощь с своею дивизиею принц Евгений Вюртембергский, оказавший блестящее мужество. Все приступы неприятеля были отбиты, к вечеру город остался в наших руках, и французские

* Записки А. П. Ермолова. 1798–1826. М., 1991, с. 165 *(прим. ред.)*.

войска снова отступили в свои позиции, а «наши посты стали впереди города».

В то время, когда войска 1-й армии с успехом отстаивали Смоленск, князь Багратион отступал по дороге в Москву, но отступал медленно: в день 5-го августа он прошёл только 12 вёрст, а его арьергард, под начальством князя Горчакова, к вечеру этого дня находился лишь в 6 вёрстах от Смоленска. Движение 2-й армии днём не могло укрыться от неприятеля и возбудило сомнение в императоре Наполеоне. «Наконец-то русские в наших руках», — говорил Наполеон, завидев, к вечеру 4-го августа, что все русские войска подходят к Смоленску, и полагая, что они вступят в решительное сражение, которого так желал. Движение значительных сил от Смоленска по Московской дороге, конечно, возбудило в нём подозрение, что русские войска предпринимают вновь отступление. «С началом дня сильная часть войск неприятельских пошла вверх по левому берегу Днепра, — говорит А. П. Ермолов, — по дороге на Ельну», а Наполеон поручил отыскать броды на Днепре в этом направлении. Но бродов не отыскали, хотя они и были при мелководье Днепра в этот год от засухи и недостатка дождей, но, во всяком случае, едва ли достаточные для того, чтобы переправить на другой берег реки значительное число войск. Сооружать же мосты и переправлять по ним войска с низменного берега на противоположный, господствовавший над ним, в виду неприятельских войск, достаточных и готовых для того, чтобы препятствовать переправе, конечно, не представлялось возможности. Отряды французских войск, проследовав вверх по течению Днепра вёрст 12, возвратились к Смоленску.

Скорость движения 2-й армии условливалась, с одной стороны, движениями этих отрядов, а с другой, князь Багратион не хотел слишком отдаляться от Смоленска, будучи уверен, что на другой день 1-я армия, перейдя Днепр, сделает нападение на неприятеля, и тогда он, с своей стороны, переведёт свои войска на другой берег Днепра и, помогая ей, также ударит во фланг неприятеля. Мысль князя Багратиона о наступательном действии на неприятеля разделяли почти все генералы русских войск, равно и необходимость продолжать ещё один день защиту Смоленска. Когда Барклай де Толли спросил генерал-квартирмейстера полковника Толя, каким образом произвести нападение, он предложил напасть двумя колоннами из города. Начальник штаба 1-й армии, генерал Ермолов, находившийся при этом разговоре, заметил, что «в городе весьма мало ворот и они с поворотами в башнях. Большое число войск скоро пройти их

не может, равно как и устроиться в боевой порядок, не имея впереди свободного пространства и под огнём батарей, близко к стене придвинутых. Скоро ли может приспеть сопровождающая атаки артиллерия, и как большое количество войск собрать без замешательства в тесных улицах города, среди развалин домов, разрушенных бомбами?» Генерал Ермолов обратил внимание на тот случай, если б пришлось отступать, и тогда все эти затруднения и неудобства получили ещё большее значение.

«Военный министр,— говорит он,— нашёл основательными мои замечания». Поэтому он полагал, что «удобнее перейти за Днепр у самого города, с правой его стороны, устроив мосты под защитою батарей с правого фланга крепости»*. Но в то же время он не одобрял мысли князя Багратиона переправиться за Днепр выше города, и ещё менее атаковать правый фланг неприятеля — потому что, по его мнению, неприятелю легко было воспрепятствовать переправе 2-й армии, или, отбросивши атаку, разорвать её сообщение с 1-ю армиею и уничтожить согласие в действии войск и способы взаимного вспомоществования. Устраняя предположенную помощь 2-й армии и возлагая почти всю тяготу наступательных действий на 1-ю, генерал Ермолов невольно подготовил главнокомандующего 1-ю армиею к отступлению от Смоленска — что, впрочем, сила обстоятельств сделала уже неизбежным.

Барклай де Толли не имел в виду пожертвовать Смоленском и продолжать отступление далее к Москве. Двигаясь от Витебска к Смоленску для соединения со 2-ю Западною армиею он писал князю Багратиону, что решился «ни при каких обстоятельствах не отступать от Смоленска». В то же время Смоленский губернатор просил у него предписаний, не следует ли ему принять каких-либо особых мер в виду приближающегося к пределам губерний неприятеля. Советуя барону Аш отправить тайно в Юхнов денежные суммы и дела и карты, из которых неприятель мог бы почерпнуть сведения о состоянии края, он писал ему: «Уверяю вас, что городу Смоленску не предстоит ещё ни малейшей опасности, и невероятно, чтобы *оный угрожаем был.* Я с одной, а князь Багратион с другой стороны идём на соединение перед Смоленском, которое совершится 22-го числа, и обе армии совокупными силами станут оборонять соотечественников своих вверенной вам губернии, пока усилия их удалят от них врагов Отечества, или пока не истребится в храбрых их рядах до последнего воина. Вы видите из сего, что вы имеете совершенное право успокоить жителей

* Записки А.П. Ермолова. 1798–1826. М., 1991, с. 164–165 *(прим. ред.).*

Смоленска; ибо кто защищаем двумя столь храбрыми войсками, тот может быть уверен в победе их».

Соединившись потом с князем Багратионом, он решился действовать наступательно и потому отклонил [предложение] полковника Вольцогена укрепить Смоленск и ожидать в нём неприятеля. Но и при наступательном действии в соображения главнокомандующего входит обыкновенно и мысль о возможности отступления. Между тем, ни старые укрепления Смоленска не были исправлены, ни усилены новыми. Жители спокойно оставались в городе, не спасая ни себя, ни своих семейств, ни своего имущества до рокового дня 4-го августа. Выдержав двухдневный напор всей неприятельской армии, к вечеру 5-го августа «весь город пылал, строения большею частью были деревянные; но даже окружавшие город старинные каменные башни, — всё было в огне, всё пылало», — говорит очевидец. «Вечер был прекраснейший, не было ни малейшего ветра, огонь и дым, восходя столбом, расстилались под самыми облаками. Несмотря, однако же, на гром пушек, ружейную пальбу, шум и крик сражающихся, благочестие русского народа нашло для себя утешение в храме Предвечного. В восемь часов вечера в соборной церкви и во всех приходских раздался колокольный звон. Это было накануне праздника Преображения Господня. Уже колокольни и даже самые церкви пылали, но всенощное молебствие продолжалось». «С горы правого берега Днепра казался весь город в огне, — говорит другой очевидец. — Этот огромный костёр церквей и домов был поразителен. Все в безмолвии не могли свести с него глаз. Сквозь закрытые веки проникал блеск ослепительного пожара».

Ещё накануне жители Смоленска начали выходить из родного города, оставляя свои дома и имущество. В этот день переселение усилилось. Все дороги, ведущие в Россию, покрыты были несчастными жителями, убегавшими от неприятеля. Старики с малолетними, женщины с грудными детьми, — всё бежало, не зная сами, куда и что будет с ними. Когда главнокомандующий дал приказание отступить и поручил, уже ночью, вывести войска из пылавшего города, вместе с ними выходили и последние жители города, отслушав всенощную накануне Преображения и поджигая сами собственные свои жилища. Генералу Ермолову, по его свидетельству, принадлежит честь распоряжения, чтобы чудотворные иконы, чтимые всею Россиею, были вывезены из города, пылавшего и оставляемого на жертву неприятелю, опозорившему себя святотатством. «Я приказал, — говорит он, — вынести из города образ Смоленской Божией Матери, укрывая его от бесчинств и поруга-

ний святыни! Отслужен молебен, который произвёл на войско полезное действие»*.

Первые сутки отступления 1-й армии ознаменовались величайшею путаницею в движениях войск и блистательным делом при Лубине или Валутиной горе по мужеству сражавшихся и важным его последствиям. Отступление 1-й армии не могло совершиться тем путём, по которому следовала 2-я, т.е. большою Московскою дорогою, не подвергая себя очевидной опасности. Московская дорога шла из Петербургского предместья и потом тянулась в протяжении 8 вёрст по берегу Днепра. Город уже находился в руках неприятеля, предместье отделялось от него рекою, на которой был сожжён мост. Невозможно было значительное войско провести через предместье, и крайне опасно направить по берегу реки, когда другой находился в полном распоряжении неприятеля, не отвлекаемого уже осадою города. Поэтому решено было ночью, чтобы скрыть движения от неприятеля, подвинуть войска к дороге Петербургской на Поречье для удобства в двух колоннах. Первая колонна, которой предстоял более длинный переход, двумя часами ранее второй выступила в поход и должна была идти по этой дороге до деревни Стабна и затем повернуть на Московскую. Вторая колонна должна была следовать через два часа за первою только до села Крахоткина и затем также перейти по направлению к Московской дороге. Распоряжения были рассчитаны верно в отношении к пространству и времени, и обе колонны в два перехода должны были достигнуть Соловьёвой переправы и соединиться с войсками 2-й армии. Но при этом расчёте упущены были из внимания два обстоятельства: во-первых, что войска должны были совершить первую половину этого движения в тёмную августовскую ночь и, во-вторых, начиная с Стабна и Крахоткина по просёлочным дорогам, пролегавшим по местности, изрытой оврагами, чрез болота, перелески и кустарники по мосткам, едва выносившим тяжесть крестьянской телеги. При первом переходе артиллерийских орудий и кавалерии, эти мостки приходилось поправлять и даже вновь перемащивать, разбирая для этого близ находившиеся крестьянские строения. Это обстоятельство было причиною того, что все войска, двигаясь медленнее, нежели было предположено, опоздали прибыть в назначенные места, а некоторые совершенно сбились с дороги. Часть 4-го корпуса Остермана и весь 2-й Багговута, следовавшие во хвосте второй колонны, выступившие позднее всех других, целую ночь проблуждали вокруг Смоленска, и полагая, что

* Записки А. П. Ермолова, с. 166 *(прим. ред.)*.

следуют определённым путём, вдруг к утру очутились у села Гедеонова в полутора вёрстах от Петербургского предместья, лицом к лицу с корпусом Нея, перешедшим уже через Днепр и начинавшим выставлять свои войска перед этим предместьем. При этих блуждавших войсках и не замечавших в тёмную ночь, что они сбились с дороги, находился и сам главнокомандующий Барклай де Толли. Это странное обстоятельство принесло, однако же, пользу. Хладнокровный, не терявший присутствия духа в самых опасных случаях, главнокомандующий употребил все средства, чтобы собрать разбредшиеся войска и дать отпор неприятелю. Нападения Нея, впрочем, продолжались недолго; Наполеон, узнав о появлении русских войск на Московской дороге, велел двинуться туда и войскам Нея.

Избавились от одной опасности, ибо французы могли отрезать от нашей армии отставшие и бродившие по кустам полки и весь арьергард Корфа, находившийся у Крахоткина, близ Петербургской дороги, с целью скрывать движение наших войск. Но предстояла другая, ещё большая опасность. Увидав, что войска сбились с пути, и готовясь противодействовать нападению Нея, Барклай де Толли понял, что то же могло случиться и с войсками, которые в это время должны уже были находиться на Московской дороге, и, сменив арьергард 2-й армии, находившийся между селом Лубином и Смоленском, прикрывать соединение просёлочных дорог, по которым следовала 1-я армия, с большою Московскою, на которой у Соловьёвой переправы находилась уже вся 2-я армия. Поэтому, оставаясь сам при Гедеонове, он послал туда Ермолова осмотреть положение дела и ускорить движение войск.

Тёмная ночь, неудобства просёлочных дорог действительно замедлили движение первой колонны. Только её авангард под начальством Тучкова 3-го, к 8 часам утра пришёл на Московскую дорогу. Арьергард армии князя Багратиона, который должен был оставаться здесь до прихода войск 1-й армии, как было условлено между двумя главнокомандующими и затем немедленно идти к Соловьёвой переправе, узнав о их приближении, отступил для соединения с 2-ю армиею. Это обстоятельство показалось бы весьма естественным и не обратило бы на себя никакого внимания, если б вторая колонна 1-й армии вовремя прибыла в назначенное место и, следовательно, в значительных силах, достаточных для противодействия неприятелю. Но к 8 часам утра, когда уже мосты на Днепре были построены неприятелем и весь корпус Жюно переправлялся на правый берег Днепра, а кавалерия Мюрата перешла вброд, прибыл только её авангард. Этому незначительному отряду Тучкова, в числе четырёх тысяч, утомлённому труд-

ным ночным переходом, дорого было всякое подкрепление, а между тем, князь Горчаков увёл свой авангард, и на дороге ближе к Смоленску оставались только три казачьих полка под начальством генерала Карпова.

«7-го числа августа, около 8 часов утра, вышел я на большую Московскую дорогу, – говорит Тучков, – и хотя по предписанию, полученному мною от начальника штаба (Ермолова), следовало мне прямо идти на селение Бредихино; но к удивлению моему видел я, что Бредихино отстояло от места соединения дорог, где мы вышли на большую Московскую, несколько вёрст далее от Смоленска, так что, если бы я выполнил в точности данное мне предписание, то открыл бы неприятелю сей, столь важный пункт, и неприятель, придя в оный, отрезал бы всю ту часть войск наших и тяжестей, кои, следуя по просёлкам, не успели бы ещё выйти на большую Московскую дорогу»*. Не опасаясь принять на себя ответственность в неисполнении предписаний начальства, в виду грозившей опасности, Тучков не только возвратил свой передовой отряд, следовавший уже к Бредихину, но отступил ещё на две, три версты ближе к Смоленску и близ деревни Латышино нашёл возвышенное положение, называемое Валутина гора, казавшегося удобным для занятия позиции. Прибывший к нему в это время полковник Толь, одобрив выбор местности, подкрепил его своими советами, как расположить на ней войска для встречи возможных нападений неприятеля. Что это нападение последует действительно, они узнали только тогда, когда вместе обозревали местность, доехали до казачьих полков Карпова и убедились, что значительные силы неприятельской пехоты переходят Днепр по мостам, наведённым близ села Прудищева, а конница вброд. Поняв отчаянное положение, в котором оказался ничтожный отряд русских войск, который мог умереть на месте, но не преградить путь громадным, в сравнении с ним, силам неприятеля, Тучков известил о своём положении брата, начальствовавшего над войсками той колонны, которой он составлял авангард. Без сомнения, и полковник Толь, возвращаясь к войскам, своим содействием подкрепил его требования.

Время шло и, при существовавших обстоятельствах, каждый час бездействия неприятеля был выгоден для отряда Тучкова. Войска 1-й армии растерявшиеся по просёлочным дорогам в ночном переходе, при свете наступавшего дня, побуждаемые с одной стороны генералом Ермоловым, а с другой известиями о положении отряда

---

* »Мои воспоминания о 1812 годе». Автобиографическая записка П.А. Тучкова/ *Русский Архив*, 1873, № 10, стб. 1943 *(прим. ред.)*.

генерала Тучкова, начинали более и более приближаться к нему и, наконец, небольшими частями, соединяться с ним.

Перешедший при Прудищеве Вестфальский корпус Жюно (герцога д'Абрантес), заняв место, закрытое лесом, бездействовал. «Бездействие Жюно спасло русских», — говорит сэр Р. Вильсон, и это мнение разделяют почти все современники и свидетели событий. Он прав, конечно, в некоторой степени. Действительно, если бы Жюно, переправив свой корпус на правый берег Днепра, подкрепляемый конницею Мюрата, немедленно напал на отряд Тучкова, не получившего ещё никаких подкреплений, то без сомнения он мог уничтожить его совершенно и отрезать значительную часть передовой армии. Нападение на наш отряд начали войска маршала Нея, показавшиеся в виду только в 11 часов, и настоящий бой начался в два часа пополудни, когда собрался весь его корпус и вслед за ним приближался маршал Даву. Но в это время к Тучкову подошли подкрепления и, подходя постепенно вечером к концу сражения, усилили наши войска в такой мере, что они превосходили количество неприятеля. Но в начале сражения численный перевес был на его стороне, и несколько раз исход сражения казался сомнительным. Когда к месту боя прибыл главнокомандующий и, осыпаемый картечью, заметил опасность и поскакал к подходившим войскам, чтобы ускорить их движение, Ермолов, нагнувшись к своему адъютанту, поручику Граббе, на ухо сказал: «Аустерлиц»*. Граф Кутайсов заметил ему также, «что наступил решительный момент, когда каждому следует то делать, что внушит ему его сердце». Но доблесть русских войск, дравшихся отчаянно, отразила *бешеные*, по словам свидетеля-очевидца, нападения Нея, и они удержались до тех пор, пока прибыли почти все войска и обеспечили исход сражения. «К счастью, — говорит тот же свидетель, — Наполеон оставался в Смоленске и, хотя Ней и Мюрат поняли всю важность обстоятельств, но не было единства и пылу в действиях, производимых присутствием императора. Жюно не слушался и стоял на месте у Днепра». Не было единства власти, распоряжавшейся ходом сражения. Только маршалу Даву поручено было подкреплять Нея, а Ней, Мюрат и Жюно были независимы один от другого. Отсутствие Наполеона и общих распоряжений с его стороны — вот что спасло русских. Бездействие Жюно было одним из последствий этой главной причины. Никто, даже из писателей французов, не скрывает образа действий императора Наполеона; одни порицают его, другие стара-

* Из памятных записок графа П. Х. Граббе. 1812 год/*Русский Архив*, 1873, № 3, стб. 451 *(прим. ред.)*.

ются объяснить различными соображениями. Вообще, Наполеон был в необычайном расположении духа с тех пор, как продолжительное пребывание в Витебске дало ему возможность обдумать и сообразить своё положение. Гордая, презиравшая всё и всех, самоуверенность поколебались и сменились сомнением. Много было причин, которые вынудили непреклонную волю если не покориться силе обстоятельств, то приостановиться и задуматься о их значении.

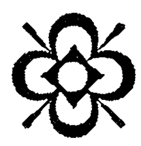
Не могло не поразить прежде всего императора Наполеона явление небывалое при прежних его войнах, по крайней мере, в таких огромных размерах. С тех пор, как его войска перешли Неман (12 (24) июня) до занятия Витебска, в продолжение месяца из 420 тысячи они потеряли уже более 150 тысяч. Число убитых и раненых и взятых в плен в сражениях составляло самую незначительную долю этой огромной потери, до 15 тысяч. Куда же девались остальные 135 тысяч? Разбежались, дезертировали из своих полков. На это зло, подрывавшее дисциплину в войсках, с первых дней вступления в пределы России, маршалы обращали внимание императора Наполеона. Меры, принятые им в Вильне, не приносили пользы. В Витебске он приказал сделать исследование по всем корпусам об убыли войск, и оно-то и показало приведённое выше невероятное, по выражению самих французов, количество. Если в том же размере уменьшилась бы Великая армия при дальнейшем движении вперёд, то в её рядах через месяц оказалось бы не более 150 тысяч. Подобное положение дел невольно должно было обратить на себя внимание и возбудить вопрос: следует ли продолжать наступательные действия или остановиться?

Все сотрудники Наполеона разделяли мнение, что, завоевав области, входившие в состав бывшей Польши, следует остановиться на старых границах России и, устроив Польское королевство, продолжать войну на следующий год. Но расчёты Наполеона в войне с Россиею основывались на быстроте движений и сосредоточении повсюду количества войск, превосходившего число неприятеля, понимая, однако же, не менее своих сотрудников, что быстрота движений и была одною из главных причин убыли войск вследствие болезней, побегов и мародёрства, потому что подвозы продовольствия не могли следовать за войсками, постоянно отставали, а страна, по которой они совершали движение, не представляла достаточных средств для прокормления громадных масс. Голод господствовал в Великой армии и вынуждал разбегаться солдат. Но это обстоятельство император Наполеон надеялся устранить остановками в Вильне и потом в Витебске, но не имел намерения затягивать войну на два года, что

могло быть весьма благоразумным с точки зрения военачальников. Как император, он смотрел на дело иначе: он знал, что колеблется почва под воздвигнутым им политическим зданием. Франция недовольна, силою привлечённые союзники ненадёжны, Россия приготовляет новые значительные силы, расчёты на Турцию и Швецию оказались неудачными. Он считал необходимым во что бы то ни стало окончить войну в этом году и окончить блистательною победою. Но удастся ли это? Ему не удалось быстрым движением воспрепятствовать соединению двух русских Западных армий и разбить каждую из них порознь, не удалось обойти Дрисский лагерь и отбросить к морю 1-ю армию, ему не удалось и вовлечь её в решительное сражение и разбить при Витебске. Сомнение не могло не возникать в его уме, и он созвал военный совет, чего никогда прежде не делал. Но привыкши лишь повелевать, а не выслушивать советы, он старался только убедить всех в правильности принятых им решений.

«Уверяют, что русские отступают добровольно,— говорил он своим сотрудникам,— что они хотят завлечь нас до Москвы. Нет, они не добровольно отступают, они оставили Вильну, потому что не успели соединить своих войск, они оставили линию Двины, потому что потеряли надежду соединиться там с Багратионом, они не приняли сражения под Витебском для того, чтобы достигнуть этого соединения при Смоленске. Время битв приближается. Вы не займёте Смоленска без боя, вы не овладеете Москвою без сражения. Наступательная война может быть неудачна; но война, затянувшаяся надолго, представляет гораздо более опасностей, и наше отдаление от Франции их усилит ещё более. Могу ли я думать, чтобы остановиться на квартирах в июле месяце? Говорят, что этот поход может быть разделён на две кампании? Поверьте мне, что этот вопрос очень важен и он занимал меня. Наши войска охотно идут вперёд, война наступательная им по сердцу. Но продолжительное пребывание на одном месте в оборонительном положении противно духу французов. Остановиться за реками, жить в шалашах, делать ежедневные движения для того, чтобы оставаться на одном месте после 8 месяцев лишений и скуки, да разве так мы привыкли воевать! Линии Днепра и Двины, которые могут служить защитою теперь, совершенно утратят это значение зимою, когда эти реки покроются льдом. Но зима угрожает нам не только своими морозами, но и дипломатическими интригами, которые заведутся сзади нас. Эти союзники, которых мы увлекли, которые ещё не очнулись от удивления, что не дерутся против нас, а гордятся, что следуют за нами, дадим ли мы им время обдумать, в какое странное положение они теперь поставлены. Для

чего нам оставаться здесь на 8 месяцев, когда в 20 дней мы достигнем своей цели? Предупредим зиму и соображения. Мы должны быстро действовать, иначе всё можем погубить. Через месяц мы должны быть в Москве или никогда в ней не будем. В войне половина дела зависит от счастья. Если выжидать соединения всех благоприятных обстоятельств, то она никогда не будет окончена. Итак, мой план кампании – сражение, моя политика – успех».



Глава 4

Изменение характера войны, осознание этого Наполеоном. – Наполеон и Тучков 3-й. – Решение Наполеона идти на Москву. – Продолжение отступления русских армий. – Письма Ермолова и Багратиона Александру I. – Всеобщее недовольство Барклаем де Толли. – Его последние действия. – Новый главнокомандующий прибывает к армии.

В Витебске император Наполеон получил известия о ратификации мирного договора России с турками и о союзе, заключённом ею ещё в марте месяце с Швециею. Необходимым последствием этих событий представлялось усиление войск Тормасова всею Дунайскою армиею, а корпуса Витгенштейна – войсками, находившимися в Финляндии. Поэтому обоим его флангам угрожала опасность в близком будущем. Его посланник в Пруссии писал ему, что ходят слухи, что англичане угрожают высадкою в устьях Эльбы, а шведы в устьях Одера. Там же он получил русские газеты с описанием пребывания императора Александра в Москве, его воззвание к *первопрестольной столице*, манифесты к народу о составлении ополчений и письмо к Императору митрополита Платона.

Известия о мире России с турками и союзе с Швециею привели Наполеона в раздражение; он бранил турок, грозил, что они «дорого поплатятся ему за глупый поступок, которого он и предвидеть не мог», бранил шведов и особенно Бернадота; но, выслушав известия из Москвы и русские документы с мрачным вниманием, он несколько раз заставил своего переводчика повторить чтение. «Очевидно, опасаются, чтобы мы не помирились», – заметил он, узнав, что император Александр оставил войска и уехал в Москву и Петербург, и удивлялся, как могли так подействовать на его характер и придать такое ожесточение этой войне. Он чувствовал, что перед ним восставал тот враг, которого он так презирал, что не хотел назвать по имени; но значение которого он понял в Испании, а этот враг, восставший теперь в гораздо большей силе, нежели там – был русский народ. Он предвидел возможность народной войны и ощущал даже её начало, приблизясь к пределам Смоленской губернии. Считая народы такою же принадлежностью территории, как горы, реки и леса, рассчитывая

их по числу душ на квадратные мили тех земель, которые отмежевал от одних государств, чтобы примежевать к другим и создать новые, мог ли он решиться назвать по имени врага, которого не считал возможным победить. Только впоследствии на острове Св. Елены, он говорил: «Все чувства любви к отечеству и веры были возбуждены в русских, легко было предвидеть, что за трудностями и лишениями, которые мы терпели в Литве, последуют все ужасы народной войны. Нам предстояла новая Испания; но Испания без границ, без городов, без способов. Мы не могли встретить в России новую Сарагосу, потому что деревянные, обшитые тёсом, дома не могли устоять против пальбы и огня; но нас ожидали затруднения иного рода, затруднения – ещё более ужасные. Сердце моё сжалось, когда я подумал о расстоянии, которое меня отделяло ещё от Москвы, и об отдалении, в котором находились мои войска от магазинов, войска, уменьшенные на целую треть болезнями, недостатками и отсталыми».

Сознание крайне затруднительного положения войск в настоящем, ожидание ещё более затруднительного положения для обоих флангов Великой армии в недалёком будущем и грозной опасности для ней самой по мере её углубления внутрь России, вместе с убеждением о необходимости идти вперёд, вынудить русские войска на решительное сражение, разбить их, великодушно даровать потом какой угодно мир побеждённому врагу, для того, чтобы спасти обаяние своего могущества и славы, – возбуждали сильную тревогу в императоре Наполеоне. Она выражалась видимо для всех, его окружавших. «Он бродил по комнатам губернаторского дома, который он занимал в Витебске, как будто его преследовало какое-то искушение. Ни на чём он не мог остановиться; беспрерывно то принимался он за работу, бросал её и потом снова принимался, ходил взад и вперёд без цели, спрашивал, который час, следил за временем. Погружённый в думу, он то останавливался, шутил и снова начинал ходить. Как бы в рассеянности, он обращался с отрывочными словами к тем, кого встречал. «Итак, что же мы будем делать? Остановимся ли здесь? Пойдём ли вперёд? Можно ли остановиться, идя по такому славному пути?» Не дожидаясь ответа, он начинал снова ходить, как будто искал что-то или желал, чтобы кто-нибудь решил за него его недоумения. Наконец, как бы утомлённый важною мыслью, удручённый неизвестностью, неопределённостью положения, он бросался на постель, полураздетый, как бывал он в это время от сильных жаров». Блестящая комета, сорвавшись с своей орбиты и теряясь в необъятных пространствах, почувствовала близость своей гибели.

Но и в эти дни отдыха Великой армии и страшной тревоги её вождя, не прекращалась его неутомимость, деятельность, и мысль

не теряла силы и ясности. В это время он придумал знаменитое движение на Смоленск по левому берегу Днепра, чтобы занять его без боя, предупредив русские войска, а затем принудить их к решительному сражению, в исходе которого он не сомневался. Но это предположение, как и все предшедшие, не удалось. Померкала его звезда, в которую он слепо верил или, лучше сказать, в самого себя, не имея истинной, ясновидящей веры. Решение, принятое в Витебске овладеть Смоленском, было последнею победою гения над силою обстоятельств. С тех пор все его действия отличались неопределённостью и нерешительностью как под Смоленском, так и потом, по замечанию его сотрудников, в сражении при Бородине и во время пребывания в Москве. Не успев врасплох захватить Смоленск, он задумал обойти его, устроить переправу через Днепр выше города, но действовал нерешительно и не привёл в исполнение своего предположения, ожидая, что русские войска не ограничатся только защитою, но выйдут из города и дадут решительное сражение. Вечером 4-го августа, видя с возвышения на левом берегу реки, как по противоположному берегу приближались к городу войска Барклая де Толли, он с радостью повторял: «теперь они в моих руках». Когда ночь прекратила первый день боя под Смоленском, он отвёл свои войска на значительное расстояние от города, очистив пространство, на котором надеялся на другой день увидеть русские войска в боевом порядке, готовые принять сражение. Но поле оставалось пустым на другой день. Тщетно ожидая появления на нём русских войск, он получил известие, что они в значительном количестве отступают от Смоленска по большой Московской дороге. Это отступала армия князя Багратиона. Не решаясь исполнить предположения перейти Днепр выше Смоленска в виду этой армии, хотя и считал его «самым выгодным», он решился взять этот город и в нём открыть переход через реку своим войскам. Бой 5-го августа под Смоленском был так же неуспешен для французов, они не взяли города и отступили, несмотря на «жесточайшие и отважнейшие приступы» — как доносил Барклай де Толли Императору, стоившие им больших потерь. На другой день, когда наши войска оставили Смоленск и сожгли мост на Днепре, он заботился об устройстве переправ через реку и возвратился к мысли о переправе выше города.

7-го августа корпус Нея и часть корпуса Даву переправились в Смоленск и, выйдя за Петербургское предместье, нечаянно столкнулись с заблудившимися ночью частями русских войск 1-й армии и завязали дело. Император Наполеон, прибыв на место сражения, прекратил его, направив корпус Нея и одну из дивизий корпуса Даву на Московскую дорогу, где находился уже Вестфальский корпус Жюно, пере-

правившийся через Днепр у Прудищева, и кавалерия Мюрата. «Я, может быть, – говорил он впоследствии на острове Св. Елены, – сделал ошибку, не направив туда главных моих сил. Этот путь прямее шёл к достижению неприятеля». Он оправдывался тем, что не знал, что делается в русских войсках, и желал иметь сведения, по какому направлению они будут отступать. Но ему было известно отступление 2-й армии князя Багратиона по Московской дороге, и едва ли он мог предполагать, что едва соединившаяся с нею 1-я армия снова отделится и пойдёт по дороге к Петербургу. В одно и то же время с этим поступком, который сам признал *ошибкою*, он сделал и другую, не менее важную. Направив Нея на Московскую дорогу, он возвратился в Смоленск и целый день провёл там, не делая никаких распоряжений военными действиями у Валутина, о которых немедленно знали в Смоленске по грому пушек, а в полдень получили даже сведения о ходе боя. Действовали три военачальника, независимо друг от друга, никому не подчинённые, кто бы мог придать единство действиям. В полночь, когда прибывшие с поля сражения, Гурго, его адъютант, и помощник начальника штаба Мюрата, Борелли, рассказали ему о ходе битвы, к исходу которой собрались значительные силы русских, превосходившие уже числом его войска, он воскликнул: «Что вы говорите, вы были слабее, у неприятеля было до 60 тысяч, так это сражение?» Действительно, это могло быть именно такое сражение, которого он искал, и к которому желал принудить русские войска. «Потерян был, – говорит барон Фен, – один из лучших случаев, какой только представлялся во всю кампанию. Армия Барклая, отделённая от армии Багратиона, сами, разделённые на части, затруднённые переходом по просёлочным дорогам, выходившим из этих местностей, человек за человеком, пушка за пушкой, – всё бы это досталось нам. Но там не было главнокомандующего войсками, и всё пропало. Никто в его отсутствие ничего не видал, ничего не понял, ни о чём не догадался». Узнав о бездействии Жюно, в первом порыве гнева, он хотел сменить его и назначал уже на его место Раппа, только что прибывшего в Смоленск; но потом, чувствуя, конечно, что не он один виноват, не исполнил своей угрозы.

Такой нерешительный образ действий императора Наполеона может быть объяснён состоянием духа, в котором он находился в это время, сознавая безвыходное положение, в котором он пребывал. Обстоятельства не улучшились после Витебска, напротив, он испытал новую неудачу, не успев занять врасплох Смоленска, число войск убавилось, средства продовольствия по-прежнему были затруднительны, известия с флангов о сражениях при Городечне и Полоцке,

хотя французы и приписывали им значение блистательных побед, доказывали только, что Шварценберг, и Ренье, и Удино, и Сен-Сир могли ещё держаться, пока Молдавская армия не соединится с Тормасовым, а Финляндская – с Витгенштейном, войска роптали, неохотно шли вперёд, большая часть военачальников советовали остановиться: начиналась уже народная война...

Чтобы заглушить ропот войск, он осыпал наградами сражавшихся при Валутине; но, как сам говорит, «возвратился в Смоленск в отчаянии, что ещё раз пропустил такой благоприятный случай. Тысячи горестных чувств волновали меня. Три дня бесполезного кровопролития, вид развалин Смоленска, ежедневно увеличивающаяся слабость наших батальонов и особенно эскадронов... Было о чём подумать – и подумать с горестью. Бодрость моя немного поколебалась».

Как выйти из такого положения? Остановиться в Смоленске, как желали его войска и большая часть военачальников? Он действительно выражал это мнение многим из них, чтобы хотя на время успокоить тревожное настроение; но никогда не разделял этого взгляда. Люди, более близкие к нему, знали, что он считал необходимым окончить войну занятием Москвы. «Москва нас погубит», – говорил Евгений, вице-король Италии, – «мы погибнем в Москве», – говорил Мюрат, после откровенных с ним объяснений. Затянуть войну на несколько лет было совершенно противно характеру Наполеона, и опасно для него как императора. Следовало не затягивать войну, а окончить её как можно скорее – заключением мира.

В Витебске он выражал уже мысль, что желает мира, но для того, чтобы начать переговоры, он считал необходимым, чтобы император Александр подал к тому повод. В Смоленске, не дожидаясь уже заявления со стороны русского императора, он сам решился довести до его сведения о своей готовности начать переговоры о мире. В сражении при Валутине был взят в плен и находился в Смоленске израненный генерал Тучков. Через несколько дней после его плена, по поручению императора Наполеона, его спросили, может ли он, по состоянию его здоровья, представиться императору? Получив утвердительный ответ, на другой же день генерал Флаго пришёл к нему и предложил идти вместе с ним.

– Какого вы корпуса? – был первый вопрос императора Наполеона, когда Тучков был введён в его кабинет.

– Второго, – отвечал Тучков.

– А, это корпус Багговута, – заметил Наполеон, – родня ли вам генерал Тучков, командующий первым корпусом?

– Родной мой брат.

— Я не стану спрашивать вас о числе ваших войск,— продолжал он, и желая показать, что оно ему известно, подробно перечислил его состав, все корпуса, дивизии, полки, батальоны и даже роты, потом, помолчав немного, он сказал:

— Это вы, господа, хотели этой войны, а не я. Знаю, что у вас говорят, что я зачинщик оной, но это неправда. Я вам докажу, что я не хотел войны, но вы лишь к ней принудили. Тут,— говорит Тучков,— он начал рассказывать мне всё поведение своё с нами с самого Тильзитского мира, что ему там было обещано и как мы наших обещаний не выполнили, какие его министр подавал нашему правительству ноты и что не только не давали на них никакого ответа, но даже,— чего нигде и никогда не слыхано,— его посланника не допустили до государя, для личного с ним объяснения. Потом начали сосредоточивать войска в Польше, перевели туда дивизию из Финляндии и две из Молдавии, подвергаясь даже опасности ослабить тем военные действия против турок.

— Против кого же были все эти приготовления, как не против меня,— говорил он.— Что же, неужели я должен был дожидаться, чтобы вы, перейдя Вислу, дошли до Одера? Я должен был предупредить вас. Но и по приезде моём к армии, я желал ещё войти в переговоры и предупредить войну; но мне вдруг отвечают, что со мною и переговоров никаких иметь не хотят, пока мои войска не перейдут обратно через Рейн. Что же, разве вы меня победили? С чего взяли предъявлять мне такие требования?

Боевому генералу как Тучков, которому не были известны тайны дипломатических сношений, конечно, он смело мог говорить всё, что ему было угодно, и он ничего не мог отвечать ему до тех пор, пока он не переменил речь и не обратился прямо с вопросом:

— Дадим ли мы генеральное сражение или всё будем отступать?

— Мне неизвестны намерения нашего главнокомандующего.

Тогда он начал отзываться очень невыгодно о Барклае де Толли,— пишет Тучков,— говоря, что немецкая его тактика ни к чему хорошему нас не приведёт.

— Русский народ храбрый, благородный, усердный к государю, он создан драться благородным образом, начистоту, а не следовать глупой немецкой тактике. Да и к чему она вас может довести, вы видели [на] примере Пруссии, она со своею тактикой кончилась в три дня. Что за отступление? Если уже вы хотели воевать, то почему же, вместо того не заняли Польшу и далее, что вы легко могли сделать, и тогда, вместо войны в ваших границах, вы перенесли бы её в неприятельскую землю. Да и пруссаки, которые теперь против вас, тогда были бы

с вами. Почему же главнокомандующий ваш не умел ничего этого сделать; а теперь, отступая беспрерывно, опустошает только свою собственную землю. Зачем оставил он Смоленск? Зачем он довёл этот прекрасный город до такого несчастного положения? Если он хотел его защищать, то для чего же не защищал долее? Он бы мог удержать его ещё очень долго. Если же он не имел этого намерения, то зачем же останавливался и дрался в нём? Разве только для того, чтобы разорить город до основания. За это бы во всяком другом государстве его расстреляли. Да и зачем было разорять Смоленск, такой прекрасный город? Он для меня лучше всей Польши, он был всегда русским — и останется русским. Императора вашего я люблю, он мне друг, несмотря на войну. Война ничего не значит. Государственные выгоды могут разрознить и родных братьев. Но, несмотря на то, что я очень его люблю, — продолжал он, несколько помолчав, — я не могу понять, что у него за пристрастие к иностранцам. Что за страсть окружать себя подобными людьми, как например: Пфуль, Армфельт и т. п., людьми без всякой нравственности, признанными во всей Европе за самых последних людей всех наций? Как, неужели бы он не мог из такой храброй, преданной своему государю, нации, как ваша, выбрать людей достойных, которые, окружив его, доставили бы честь и уважение престолу?

Выслушав эту длинную речь, Тучков сказал:

— Ваше Величество, я подданный моего Государя, и судить о его поступках и, тем более, осуждать его поведение никогда не осмеливаюсь, я солдат и, кроме слепого повиновения власти, ничего другого не знаю.

Такой ответ, конечно, заставил понять всё неприличие предложенных им русскому генералу вопросов; но его ответ не мог рассердить государя. С некоторою ласкою дотронувшись слегка рукою до его плеча, он отвечал:

— Вы совершенно правы! я очень далёк от того, чтобы порицать ваш образ мыслей. Я только выразил моё мнение, и то потому, что мы теперь с глазу на глаз, и это далее не пойдёт.

Эта длинная речь клонилась только к тому, чтобы скрыть от своего собеседника или, лучше сказать, слушателя, действительную причину, побудившую его назначить ему свидание, и подкупить его похвалами русскому народу и русскому императору. Он хотел показать, будто бы не преднамеренно и даже случайно, он выразил её, увлекаемый влечением своих речей.

— Знает ли вас лично ваш император? — спросил он, наконец, Тучкова.

— Надеюсь, — отвечал он, — потому что некогда я имел счастье служить в его гвардии.

— Можете ли вы писать к нему?

— Никак нет, ибо я никогда не осмелюсь утруждать его моими письмами, а особенно в теперешнем моём положении.

— Но если вы не смеете писать к императору, то можете написать к вашему брату то, что я вам теперь скажу?

— К брату — другое дело, я всё могу ему написать.

— Итак, вы мне сделаете удовольствие, — говорил Наполеон, — если напишете вашему брату, что вы видели меня и что я поручил вам написать к нему, что он мне сделает большое удовольствие, если сам, или через великого князя, или главнокомандующего, как ему лучше покажется, доведёт до сведения государя, что я ничего более не желаю, как прекратить миром военные наши действия. Мы уже довольно сожгли пороху и довольно пролили крови, и что когда же нибудь надо кончить. За что мы дерёмся? Я против России ничего не имею. О, если б это были англичане (parlez moi de cela!) — это было бы иное дело. (При этих словах он сжал кулак и поднял его вверх). Но русские мне ничего не сделали. Вы хотите иметь кофе и сахар? очень хорошо, всё это можно устроить, так что вы будете их иметь. Но если у вас думают, что меня легко разбить, то я предлагаю, чтобы из ваших генералов, которые более других пользуются у вас уважением, как, например, Багратион, Дохтуров, Остерман, ваш брат и другие, — я не говорю о Барклае, он и не стоит того, чтобы о нём говорить, — пусть из них составят военный совет и рассмотрят положение и силы мои и ваши, и если найдут, что на вашей стороне более вероятностей (chances) к успеху, и что легко меня разбить, то пускай назначат, где и когда им будет угодно драться. Я на всё готов. Если же, напротив того, они найдут, что все выгоды на стороне моей, как и действительно есть, то зачем же нам по-пустому ещё более проливать кровь. Не лучше ли начать переговоры о мире прежде потери сражения, нежели после? Да и какие могут быть последствия, если вы проиграете сражение? Последствия те, что я займу Москву, и какие бы я ни принимал меры к её сохранению от разорения, всё будет напрасно: завоёванная провинция или занятая неприятелем столица похожа на девку, потерявшую свою честь — после делай, что хочешь, а чести не возвратишь. Я знаю, что у вас говорят, что Россия ещё не в Москве; но то же самое говорили и австрийцы, когда я шёл в Вену; но когда я её занял, то совсем другое заговорили. И с вами то же случится. Столица ваша Москва, а не Петербург; Петербург не иное что, как резиденция, настоящая же столица России — Москва.

Так он говорил беспрерывно, ходя взад и вперёд по комнате и не обращаясь к Тучкову, который молча слушал его. Наконец, он остановился перед ним, пристально посмотрел на него и спросил:

— Вы лифляндец?

— Нет, я настоящий русский, — отвечал Тучков.

— Из какой местности России?

— Из-под Москвы.

— А, вы из Москвы, — говорил с особым ударением Наполеон, — вы из Москвы, это вы-то, господа москвичи, хотите вести войну со мною?

— Не думаю, — возразил Тучков, — чтобы московские жители особенно желали воевать с вами, и притом в своей собственной земле. Если же они делают большие пожертвования, то это для защиты отечества, и тем исполняя волю своего Государя.

— А меня уверяли, что этой войны хотят московские господа. Но как вы думаете, если б государь ваш захотел заключить мир со мною, то может ли он это сделать?

— Кто же мог бы ему воспрепятствовать, — отвечал Тучков.

— А Сенат, например.

— Сенат у нас никакой другой власти не имеет, как только ту, которую самому Государю угодно ему предоставить.

Зерно этой продолжительной беседы заключается в желании мира. Всё остальное — льстивые выражения о русском народе и императоре Александре и, в то же время, угрозы, хвастовство своею силою, которой не может противустоять Россия, скромное желание окончить войну, вызвав противника на мирные переговоры, имеет значение только в том отношении, что обличает тревожное состояние духа императора Наполеона. Конечно, никто лучше его не понимал, что постоянное отступление русских войск, случайное ли, как он уверял, или преднамеренное, как думали многие из его сподвижников, не составляет последствия его побед, провозглашённых его бюллетенями; что были горячие сражения, но не было ни одной победы, которая могла бы иметь важное значение в общем ходе войны, что с каждым шагом назад русские войска будут усиливаться, а впереди — народная война и зима. Он желал окончить эту войну заключением мира и воспользовался первым оказавшимся случаем — пленением генерала Тучкова, чтобы заявить русскому императору о своём желании, точно так же, как он немедленно воспользовался с этою целью и другим.

В это время приехал в Смоленск русский парламентёр, гвардии поручик Орлов, с письмом Барклая де Толли к маршалу Бертье. Наш главнокомандующий просил начальника штаба императора Наполеона известить его о судьбе взятого в плен русского генерала. В то время,

как маршал Бертье в присутствии Наполеона начал писать начерно ответ русскому главнокомандующему, после нескольких написанных им строк, в которых было сказано, что Тучков здоров, отправляется в Мец и что при сём отправляется написанное им самим письмо, Наполеон взял перо из его руки и написал следующие строки: «пользуясь этим случаем, я возобновляю предложение, которое делал уже прежде, о размене пленных, о способах сообщения между собою воюющих армий и определении правила, как поступать с переговорщиками». «Его Величество с грустью смотрит на бедствия страны и желал бы, чтобы русский император приказал гражданским губернаторам оставаться на местах, где они могли пещись о жителях и их имуществах и тем ослаблять зло, причиняемое войною. Это обычай, который соблюдают во всех войнах. Делая вам такое предложение, я исполняю обязанности, приятные для сердца моего государя. Я показывал это письмо императору Наполеону, и он поручил мне просить вас передать его поклон императору Александру, если Его Величество находится при войсках, или с первым донесением, которое вы ему отправите. Скажите государю, что ни случайности войны и никакие обстоятельства не могут изменить уважения и дружбы, которые питает к нему император Наполеон».

Подготовляя таким образом пути к переговорам о мире, едва ли мог предполагать император Наполеон, что Русский государь добровольно по первому его призыву решится заключить с ним мир, тогда как русские войска не потерпели ещё поражения и когда он только что поднял весь народ на защиту Отечества. Напротив, он был уверен, что мир может быть только завоёван им, и надеялся, что, разбив русские войска в решительном сражении, расстроит действующую армию и прежде, нежели успеют образоваться ополчения, займёт Москву. Только тогда он считал возможным, что император Александр, лишённый средств защиты, решится войти в переговоры о мире и наперёд заявлял своё согласие вступить в эти переговоры с монархом, к которому не перестаёт питать «уважения и дружбы». Он только ожидал известий из своего авангарда, следовавшего по пятам за русскими войсками, которые могли бы разъяснить ему, будут ли постоянно они отступать или, найдя выгодное положение, намерены дать решительное сражение. С этою целью он наперёд уже двинул из Смоленска всю свою армию вслед за авангардом, и лишь только получил известия от маршала Даву и Мюрата, что русские войска заняли позицию близ Умолья и расположились в боевом порядке, немедленно выехал из Смоленска. Когда он прибыл к своим войскам, наши оставили уже эту позицию и отступали к Дорогобужу. Подвигая за ними свои войска, смотря на Московскую дорогу, он говорил:

«Мы слишком ушли вперёд и нельзя уже отступить. Если бы я заботился только о блестящих военных действиях, то я должен [был] бы возвратиться в Смоленск, там поставить мои орлы и удовольствоваться тем, чтобы раздавить на моих флангах Витгенштейна и Тормасова. Это были бы блестящие подвиги, которые достойно заключили бы кампанию, но не окончили бы войны. Перед нами мир, мы только в восьми днях от него. Когда так близко мы подошли к цели, нет места сомнениям. Пойдём в Москву».

Мысль о выигранном сражении и занятии Москвы неразрывно соединилась в его представлении с заключением мира, который бы не разрушил его значения в Европе, но упрочил бы его. Впоследствии, на острове Св. Елены, оправдывая свои соображения и действия, он говорил: «Мы были уже так близко от Москвы, что нельзя было долее колебаться. В восемь переходов мы могли уже достигнуть этой столицы; а что значат восемь переходов для войск, пришедших с противоположного края Европы? Как было не решиться на это движение, когда *мир и обладание Вселенною* могли быть его последствием и когда, во всяком случае, занятие большого города всегда доставляет неисчислимые средства, которые так необходимы для войск, находящихся в таком дальнем расстоянии от основания их действий. Все причины, которые могли в Витебске или Смоленске вынудить меня остановиться на Двине, исчезли. Половина расстояния, отделявшая меня от Москвы была уже пройдена, я не мог долее колебаться. Чтобы уменьшить невыгоды нашей слишком растянутой линии, которую я готовился растянуть ещё более, я предписал герцогу Беллуно (маршал Виктор), поспешить с берегов Немана, чтобы заместить мою армию в Смоленске. Ожеро должен был направить половину своих войск в Кёнигсберг и Варшаву. Таким образом, наши силы были довольно хорошо расположены. Резерву герцога Беллуно назначено было расположиться между Рославлем и Витебском и быть в готовности поддержать тот из фланговых корпусов, которому это будет нужно или, в случае надобности, усилить и самую главную армию».

В то время, как войска императора Наполеона негодовали* на своего вождя за постоянное движение вперёд, наши войска, наоборот, негодовали на главнокомандующего за постоянное отступление. Это негодование выразилось особенно сильно, после того как соединились обе Западные армии. Движения с одной дороги на другую без определённой цели, с дороги на Рудню на дорогу на Поречье и потом обратно,

* Автор выразился здесь несколько неосторожно — дисциплина в войсках Наполеона в этот период была ещё на вполне приличном уровне *(прим. ред.)*.

в то время как Смоленск едва не занял неприятель врасплох, отступление от Смоленска, два дня с успехом защищаемого от нападений всей неприятельской армии, — дали такой объём этому негодованию, что оно охватило все войска, начиная с начальников с князем Багратионом во главе и оканчивая простыми солдатами, как свидетельствуют участники в этих происшествиях. После того, как Барклай де Толли решился оставить Смоленск, рассказывает один из них, возвращаясь из города и поднявшись на высоты левого берега Днепра, где была расположена 1-я армия, — «в главной квартире я нашёл разные группы генералов, судивших о происшествиях дня и предстоящих планах главнокомандующего. Все осуждали известное уже намерение его продолжать отступление. Одни желали сами атаковать Наполеона. Ближайшие к Барклаю люди были против отступления. Он оставался непоколебим. Граф Кутайсов, украшенный новою славою дня, любимый всеми и главнокомандующим, на дар слова которого надеялись, принял на себя передать ему надежды и желания первых лиц армии. Барклай де Толли выслушал его внимательно и с кроткою ласкою отвечал ему: «пусть всякий делает своё дело, а я сделаю своё»».

В 11 часов ночи главнокомандующий поручил недавно прибывшему к русским войскам английскому генералу Вильсону осмотреть положение города и сообщить ему свои замечания. «Герцог Евгений Вюртембергский, генерал Дохтуров и все начальники, — говорит он, — уверили меня, что они ещё 10 дней продержатся в городе, если только снабдят их провиантом, потому что неприятелю не удалось причинить вреда укреплениям. Когда я передал это известие генералу Барклаю и вместе с тем обратил его внимание на то, какое нравственное впечатление в России произведёт оставление «священного города, как Смоленск», он мне отвечал: «в этом отношении я ничего не опасаюсь, об этом я уже позаботился, Пресвятая Дева в безопасности, она уже у нас в лагере». Эта икона единственно придаёт значение этому городу в глазах русских. Она в торжественной колеснице будет постоянно следовать за войсками, и её будет охранять особенно для того назначаемый батальон».

Оставление Смоленска без сомнения раздражило князя Багратиона; своё негодование он выражал в откровенной переписке с А.П. Ермоловым. «Имеете право нас бранить, — отвечал ему Ермолов, — но только за оставление Смоленска, а после мы вели себя, как герои. Правда, что не совсем благоразумно, но и тогда ещё можно быть героями. Когда буду иметь счастье вас видеть, расскажу вещи невероятные. Смоленск необходимо надо было защищать: но заметьте, ваше сиятельство, что неприятелей и доселе нет в Ельне, следовательно, все они были у Смоленска; а мы не так были сильны после суточной

обороны города». Погружённый исключительно мыслью о спасении Отечества, князь Багратион не останавливал внимания на прошлом, которого изменить уже невозможно; но всё своё внимание сосредоточивал на будущих действиях. «О Смоленске,— отвечал он Ермолову,— поздно говорить; а теперь надобно подумать, как твёрдо стать. Я никак не думаю, чтобы он сунулся на вас всею армиею тотчас, им также нужно отдохнуть. Преследовать может какой ни на есть их корпус. Где вы теперь остановились, мне кажется,— места открытые и верно в поле не пойдут. Но если серьёзно, *я тотчас ваш всем сердцем и душой.* Я рад драться и *единодушно.* Но позвольте сказать, что вы изменяете мне; ибо в одну минуту двадцать перемен». Советуя охранять правый фланг 1-й армии, писать к Милорадовичу, чтобы скорее вёл подкрепления к войскам, графу Ростопчину «чтобы готовился», он оканчивает просьбою: «ради Бога не переменяйте поминутно, надо какую ни на есть иметь систему».

«Наконец, слава Богу,— немедленно отвечал Ермолов,— хотя раз мы предупредили ваше желание. Вам угодно было, чтобы мы остановились, дрались; прежде получения вашего письма, получил я уже это приказание, почтеннейший благодетель мой! Теперь вам предстоит дать нам помощь. Пусть доброе согласие будет залогом успеха. Бог благословит предприятие наше. Если он защищает правую сторону, то будет нам помощником. Представьте, что два дня решат участь сильнейшей в Европе державы. И самая неудача не должна отнять у нас надежды. Надобно противостоять до последней минуты существования каждого из нас. Одно продолжение войны есть вернейший способ восторжествовать над злодеями нашего Отечества. Боюсь, чтобы опасность, угрожающая древней столице нашей, не заставила прибегнуть к миру; но эта мера малодушных и робких. Всё надо принести в жертву с радостью, когда под дымящимися развалинами жилищ наших можно погребсти врагов, ищущих погибели нашего Отечества. Благословит Бог! умереть должен россиянин со славою».

Это частная переписка двух из главных действующих лиц в первые два дня после оставления Смоленска показывает настроение их духа, которое было всеобщим. Опасность, угрожавшая Отечеству, была такова, что они считали необходимым действовать решительно, не останавливаясь ни перед какими пожертвованиями, не страшась никаких препятствий. С этой точки зрения они считали нерешительные действия и постоянные колебания и сомнения Барклая де Толли несоответствующими обстоятельствам. Когда генерал Вильсон прибыл в русскую армию, то, по его свидетельству, он «нашёл наших русских генералов в открытом несогласии с главнокомандующим за то, что он

уступил столько губерний неприятелю и не предпринял никаких мер для защиты линии Днепра». Действительно, «в недоумениях неясного и неполного единоначалия, в потерянном времени, изнурительных для обеих армий, бесконечных взад и вперёд переходах, забыли укрепить Смоленск. Это было не трудно при стене с башнями, окружавшими город»,— говорит один из участников в войне. «Одни из генералов,— рассказывает Вильсон,— желали, чтобы главное начальство над войсками было поручено Беннигсену, другие князю Багратиону». Но едва ли многие желали видеть во главе русских войск генерала Беннигсена. Кроме генерала Вильсона никто из современных свидетелей не упоминает об этом желании; но все говорят, что желание войск останавливалось на князе Багратионе. Вильсон с 1807 года был в близких отношениях к Беннигсену, который как ганноверец был английским подданным. Его желания, конечно, могли останавливаться на Беннигсене, который, по его словам, опасаясь, чтобы сами войска не избрали его своим вождём, удалился из Главной квартиры и отправился в Петербург. Странное опасение, обличающее совершенное непонимание характера русских войск, если только справедливо показание английского генерала. Предводители русских войск, одушевлённые любовью к Отечеству и преданностью к его представителю и главе, могли ли самовольно сменить главнокомандующего, назначенного Императором, и на его место избрать другого? Всё, что они могли себе позволить при таких тяжёлых обстоятельствах,— это обратиться с жалобами и просьбами к самому Императору. Так они и поступили.

Хотя ближайшею причиною постоянных отступлений они и считали нерешительность Барклая де Толли, но, как бы не решаясь объяснить её личным характером и способностями главнокомандующего, опасались в то же время, не имеет ли он каких-нибудь наставлений действовать таким образом, конечно, неизвестных Императору. Подозревали влияние на него канцлера графа Румянцева, которого все в России считали в это время другом французов и представителем политики, основанной на союзе с Наполеоном. С самого начала войны общее мнение резко выражалось против него, и все ожидали, что он будет уволен от занимаемой им должности. Это мнение разделяли и представители наших войск. Поэтому просили Вильсона, как иностранца, пользовавшегося расположением Императора и известного преданностью России, передать Государю желание всей армии, чтобы назначен был новый главнокомандующий на место Барклая и новый министр иностранных дел на место графа Румянцева.

Не считая себя вправе как подданные прямо от себя выразить Императору подобное желание, многие, однако же, из наших гене-

ралов считали своею обязанностью перед ним и отечеством указать на образ действий главнокомандующего, который считали несообразным с обстоятельствами, и писали к Государю и приближённым к нему лицам ещё прежде в этом смысле. А. П. Ермолов писал князю Багратиону:

«Несправедливо вините, благодетель мой, будто я начал уже писать дипломатическим штилем. Я вам говорю, как человеку, имя которого известно всем и всюду... Говорю тому, на которого не без основания полагает Отечество надежду, тому, которого и Государь уважает, и которому, конечно, верит. Вы согласуетесь с предложениями министра,— я не хочу сказать, что вы повинуетесь ему, но пусть и так. В обстоятельствах, в которых мы находимся, я стану на колени перед скромностью и умеренностью вашею. По крайней мере то, что пишете вы к человеку, или слишком привязанному к своим мнениям, или слишком надеющемуся на себя, или, наконец, не внимающему и не разумеющему обстоятельств,— пишите, ваше сиятельство, Бога ради, ради отечества, пишите Государю. Вы исполните обязанность вашу в отношении к нему, вы себя оправдаете перед Россиею. Я молод, мне не станут верить, я буду писать — не заслужу внимания, буду говорить — почтут недовольным, осуждающим всё новое, осрамят и бросят. Но верьте, что это меня не устрашает, когда гибнет всё, когда России грозит срам, не только опасность, там нет боязни частной, там нет выгод личных. Я не боюсь и от вас не скрою, что писал, но молчание, слишком продолжающееся, есть уже доказательство, что мнение моё почитается мнением молодого человека. Я буду писать ещё и всё, что вы делали и в чём встречено вами препятствие, изображу. Я люблю вас, вы благодетельствовали мне, и потому самого Государя спрошу, писали ль вы к нему или хранили виновное молчание. Тогда, достойнейший начальник, вы будете виновны. Если же вы не хотите, как человек, постигающий ужасное положение, в котором мы теперь находимся, продолжать командование армиею, я, при всём уважении моём к вашей особе, буду называть вас и считать не великодушным. Принесите ваше самолюбие в жертву погибающему Отечеству нашему, уступите другому и ожидайте, пока не назначат человека, какого требуют обстоятельства. Пишите, ваше сиятельство, или молчание, слишком долго продолжающееся, будет обвинять вас».

Побуждая князя Багратиона писать Государю, Ермолов говорит, что он уже писал с своей стороны и ещё будет писать. Действительно, ещё на походе от Полоцка к Витебску, через десять дней после отъезда Императора из лагеря при Дриссе, он писал 16 июля Государю: «После пяти дней, бесполезно в лагере при Дриссе проведённых,

в намерении приготовить продовольствие войскам, армия выступила в Полоцк. Между тем неприятель, представляя повсюду передовым нашим войскам малые весьма силы, спешил собрать главнейшие. Движение на Полоцк было одно, обещавшее соединение с 2-ю армиею. Нужна была скорость. На третьем, от Полоцка к Витебску, переходе надобно было идти на Сенно и Коханово. Сим движением, если ещё и не соединялись армии, но та, по крайней мере, происходила выгода, что 1-я армия становилась уже на дорогу, идущую через Смоленск в Москву, закрывала сердце России и все средства для деятельнейших мер поставляла за собою. Неприятель, как из последствий видно, обратя в Могилёв главнейшие свои силы, бессилен был по прямому на Смоленск направлению. Неприятель, видя себя между двух армий, на близком расстоянии, не мог бы дать сражения, но должен был отступить. Главнокомандующий согласился было переправиться в Будилове через Двину, но отменил по причине недостатка продовольствия, и армия двинулась к Витебску. Между тем необычайной скорости маршами неприятельские силы, на третий день пребывания армии в Витебске, прибыли, и соединение армии более нежели когдалибо сделалось сомнительным. Три дня сражения продолжались упорнейшие с довольно значущими силами нашей армии, и мы отступили к Поречью. Далее главнокомандующий не объявил ещё направления. Неприятель может быть прежде нас в Смоленске, отбросив далеко 2-ю армию. Если неприятель предприимчив, может заградить нам путь. Мы опрокинем и пройдём, но обозы армии подвергаются опасности. Вслед за нами идёт неприятель, много превосходящий нас силами. Трудны пути ему, войско изнурено, но на сём невозможно основывать успехов; те же трудности путей и для войск Вашего Императорского Величества, и для нас не могут они быть нечувствительны. Неприятель имеет числом ужасную кавалерию, наша чрезвычайно потерпела в последних делах. От генерала Платова даже ни одна партия с нами не соединилась. [Вот] Ваше Императорское Величество истинное сие дел наших изображение», — писал Ермолов и в заключение письма говорил: «Государь! Необходим начальник обеих армий. Соединение их будет поспешнее и действия согласнее»*.

27-го июля он снова писал Императору: «Отступление наше от Витебска, необычайною решительностью произведённое, чтоб не дать ей именование дерзости, тогда как иначе неизбежно было

---

* Письмо имп. Александру I от 16 июля 1812 года; лагерь при Велидичи (*Русская Старина*, 1872, Т. VI, с. 493–494). На письме помета: «Получено 27 июля от кн. Любомирского» и резолюция «К сведению» *(прим. ред.)*.

общее дело, приведя неприятеля в недоумение, доставило нам возможность прибыть в Смоленск. 2-я армия грубою погрешностью маршала Даву, ожидавшего нападения в Могилёве, после жестокого сражения, храбрым генерал-лейтенантом Раевским данного, скрывшая движение своё, беспрепятственно также прибыла к Смоленску. Маршал Даву должен был прежде нас занять Смоленск. И без больших усилий, ибо в Орше были части войск, его армии принадлежавших. Итак, неожидаемо и вблизи многочисленных неприятельских сил, армии соединились. Ваше Величество, мы вместе. Армии наши слабее числом неприятеля, но усердием, желанием сразиться, даже самим озлоблением, соделываемся не менее сильными. Нет возможности избежать сражения всеми силами, ибо неприятель не может терять времени в праздности. Могут приспеть к нам усилия, может сблизиться армия генерала Тормасова, не столько опасная в нынешнем её отдалении и самыми успехами её ничего решительного не производящая, до тех пор, как станет на операционной линии неприятеля. Покрывшая себя славою Молдавская армия, неравнодушный взгляд неприятеля на себя привлекающая, может получить опасное для него направление. Государь! Наши способы не менее [нас] самих он знает, нельзя медлить ему. Соглашённое всех армий действие, соединённые всех способов напряжения – гибельны для него. Итак, *уничтожение армии*, в преддвериях, так сказать, Москвы стоящей, *должно быть единственной его целью*. Сим не только умедливается составление наших ополчений, но частью уничтожается, и угрожаемая Москва, как сердце России, не может не произвести влияния на прочие страны империи. На сём основывает коварный неприятель свои рассчисления. Государь! Армии Вашего Величества имели уже успехи, солдат неустрашён, и мы – русские! но напряжение всевозможных усилий необходимо. Малейшее медление опасно.

Государь! Армии вместе и два начальника, но оба согласно предприняли наступление на неприятеля, разбросившего на большое расстояние свои силы. Определено сделать нападение на центр их. Действие наступательное оживило дух воинов ещё более, и армии двинулись, один марш по направлению на Рудню. Одной колонны, по причине трудностей путей, медленно было движение и одним маршем уменьшилась скорость действий наших, а одним маршем уменьшились затруднения неприятеля собрать свои силы, которые, конечно, собираются по направлению нашему. Главнокомандующий, желая воспользоваться ослаблением левого крыла их, отклонил прежнее направление вправо, к Поречью, для приобретения частной выгоды, по предположению верной. В случае превосходства неприятеля

имеем мы верное отступление. Подобные предприятия основываются на верных сведениях о силах неприятеля, но я не скрою от Вашего Величества, что, кроме сведений от пленных или бежавших мужиков, мы ничего не знаем, следовательно, и предприятия не верны. Наступление на Рудню более имеет голосов на своей стороне, действие на левый неприятеля фланг – менее. Можно сказать, что, действуя на Поречье, нападаем на конечность пространной линии, следовательно, и усиление пункта сего не скоро и неудобно. Легко заставить отступить и на время отрезать сообщение с корпусом маршала Удино, которому, конечно, послано подкрепление, но сии выгоды мгновенны и нерешительны. Неприятель отступит на центр свой, и операционная линия его всегда в его власти. Атакуя центр, при счастьи, бросишь часть сил их на трудные пути по левому берегу Двины и, обратясь, имеешь удобность действовать на другую часть, по необходимости оторванную на большое расстояние, следовательно, приведённую в то положение, в каковом мы доселе находились. Вот, Государь, мнение моё Вашему Величеству, повелевшему мне принять носимое мною звание, нужное к сведению.

Государь! нужно единоначалие. Хотя усерднее к пользам Отечества, к защите его, великодушнее в поступках, наклоннее к приятию предложений, быть невозможно достойного князя Багратиона, но не весьма часты примеры добровольной подчинённости. Государь, ты мне прощаешь смелость мою в изречении правды!»*

Генералу Ермолову, как начальнику штаба 1-й армии, которому по его службе известен был весь ход военных распоряжений и действий, Император, оставляя войска, поручил писать непосредственно к нему, независимо от донесений главнокомандующего, точно так же, как он дал такое же поручение генералу Сен-При, при назначении его начальником главного штаба 2-й армии. Приведённые письма Ермолова и написаны в исполнение возложенного на него поручения. Не позволяя себе никаких нареканий против главнокомандующего, он поступил бы, однако же, недобросовестно, если б откровенно не выразил своего мнения на действия, которые считал ошибочными и потому вредными при том опасном положении, в котором находилась Россия в это время, тем более, что выраженные им мнения не были только его личными, но были общим мнением, господство-

* Письмо А.П. Ермолова к имп. Александру I от 27 июля 1812. На письме пометы: «Получено 31 июля в полдень», «Получено 5 августа» и резолюция «К сведению» (*Русская Старина*, 1872, Т. VI, № 11, с. 494–496; «Донесения и письма А.П. Ермолова» *(прим. ред.)*.

вавшим в войсках. В то же самое время, когда он отправил последнее письмо, оставил по болезни армию генерал-адъютант граф Шувалов, с целью лично объяснить Государю положение дел. Но предполагая, что болезнь не позволит ему ехать скоро, и считая положение дел крайне опасным, он наперёд отправил письмо к Императору, в котором писал: «Если Ваше Величество не назначите одного главнокомандующего армиями, то заверяю вас честью и совестью, что наши дела можно считать погибшими безвозвратно. Они с каждым днём становятся хуже и хуже. Войска недовольны до такой степени, что ропщут уже солдаты; они не имеют никакого доверия к их главному начальнику, и все обстоятельства, случившиеся после вашего отъезда, могут вас убедить в этом. Продовольственная часть в беспорядке, солдаты часто не имеют по нескольку дней хлеба, а лошади овса. Вина в этом случае падает исключительно на главнокомандующего, который так дурно располагает движениями войск, что генерал-интендант ничего не может сделать. Генерал Барклай в очень дурных отношениях с князем Багратионом, и последний имеет полное право быть недовольным. Грабёж производится с полным бесстыдством. Между тем войска поставлены в таком положении, что дают все выгоды неприятелю. Он со всех сторон может напасть на них, кажется, у него достаточно для того войск. Он может двинуться от Орши или от Могилёва и Мстиславля на Смоленск или от Витебска также на Смоленск или Поречье или Вязьму. Неприятель беспрепятственно убирает жатву с полей и обеспечивает своё продовольствие. Прибавьте к этому, Государь, что наши ополчения, вероятно, ещё не образованы и что Наполеон, конечно, не даст нам достаточного для этого времени. Начальник Главного штаба генерал Ермолов, несмотря на пламенную ревность к службе, которая известна Вашему Величеству, не может предотвратить зла при таком начальнике. Государь, удостойте хотя бы однажды меня вашею доверенностью и убедитесь в истине того, что я вам говорю. Нужен другой главнокомандующий, один над обеими армиями. Необходимо, чтобы Ваше Величество назначили его немедленно, иначе – погибла Россия. Припадаю к ногам вашим и умоляю об этом, – позволяю себе сказать, – от лица Ваших армий».

Наконец, 7-го августа и князь Багратион, может быть, уступая настояниям Ермолова, решился прямо Государю выразить свой взгляд о ходе военных дел.

«Поистине нет для меня на свете блага, которое я бы предпочёл благу Отечества. Сими чувствами был движим, и все мои дела располагал согласно им и ничего не упущу, чтобы оправдать доверенность, какою угодно было тебе, всемилостивейший Государь, меня

удостоить. Настоящее поведение моё да будет доказательством, что я ни в какой мере не уклонялся и не уклоняюсь от обязанностей службы, и никакие личности не произведут побуждений противных пользам любезного Отечества.

В таковых расположениях моих, не мог я, как верноподданный, скрыть истинного моего прискорбия, превышающего меру терпения, что дела наши не соответствуют желанию твоему, желанию всей России и ожиданию целой Европы. Из сношений моих с военным министром, всеподданнейше от меня представленных Вашему Величеству, известны сделанные от меня ему предложения о предупреждении неприятеля в покушениях его пробиться далее во внутрь России, наступательным со стороны нашей противу него действием, на которое военный министр не согласился, и неприятель им воспользовался и нанёс новый вред России.

Прости, Государь, с сродным тебе милосердием, патриотической ревности, действием которой я дерзаю открыть тебе то, что чувствую. Я не был введён в круг познаний политических, неизвестны мне тайны политики, но, находясь на поприще военном, знаю преданность к тебе и Отечеству русских воинов, знаю, с каким желанием они готовы всякий час к отмщению неприятелю за нанесённое России беспокойство и вред, и потому позволяю себе заключить, что, действуя наступательно с должною осторожностью и благоразумием, храбрые русские воины не позволили бы неприятелю никакого иметь превосходства над собою. Они доказали уже при многих в настоящую кампанию сражениях, доказали и при последнем защищении Смоленска, 4-го сего августа, где 15 тысяч русских воинов вверенной мне армии держались 24 часа противу всей многочисленной неприятельской силы и, можно сказать, оспорили почти победу, опрокинув наступавших на них, не допустя на две версты к городу и положив на месте до 10 тысяч человек.

На другой же день угодно было министру защищение города принять на себя; а я по соглашению с ним отступил на Московскую дорогу для прикрытия оной и отражения неприятеля в случае покушения его по сей стороне. По выгодности позиции и по укреплениям сего города нельзя было не считать нужным удерживать его. Не отступая от города, просил о том военного министра, и отношением моим и в особенности чрез нарочно отправляемых; но военный министр держался в нём не более 12 часов и после вслед за мною отступил, предоставив город власти неприятеля. Всемилостивейший Государь! в полном уповании на беспредельное милосердие твоё, я принял решимость открыть перед тобою всё исходящее из моего сердца и чувств, не могу умолчать и о том, что отступление от Смоленска

поселило уныние в храбрых твоих воинах, готовых единодушно защищать Отечество до последней капли крови. Признаюсь, что и я сам в великом неудовольствии, не видя ни прямой надёжной цели, ни пределов нашему отступлению. Ежели военный министр ищет выгодной позиции, то, по мнению моему, и Смоленск представлял немалую удобность к затруднению неприятеля на долгое время и к нанесению ему важного вреда. Я по соображении обстоятельств и судя, что неприятель в два дня под Смоленском потерял более 20 тысяч, когда со стороны нашей и половину не составляет потеря, позволяю себе мыслить, что, при удержании Смоленска ещё один, два дня, неприятель принуждён был бы ретироваться.

Сколько по патриотической ревности моей, столько и по званию главнокомандующего, обязанного ответственностью, я долгом поставил всё сие довести до сведения Вашего Величества и дерзаю надеяться на беспредельное милосердие твоё, что безуспешность в делах наших не будет причтена в вину мне, из уважения к положению моему, не представляющему вовсе ни средств, ни возможности действовать мне инако, как соглашаясь во всём с распоряжениями военного министра, который уклоняется вовсе следовать в чём-либо моим мнениям и предположениям. Всемилостивейший Государь! учини, по Высочайшей твоей воле и милости, предел нашим нерешительностям, не представляющим, как кажется, ничего полезного, а влекущим лишь Отечество наше к новым бедствиям и служащим к совершенному войск изнурению».

Сдерживая постоянно волновавшее его негодование против действий Барклая де Толли в переписке с Императором, князь Багратион давал ему полный ход в письмах к Аракчееву. В то время, когда Барклай, после первого перехода на Рудню, вдруг повернул войска на дорогу к Поречью и через несколько дней пошёл снова на Рудню, князь Багратион писал ему: «Со мною поступают так неоткровенно и так неприятно, что и описать всего невозможно. Воля Государя моего: я никак вместе с министром служить не могу. Ради Бога, пошлите меня куда угодно, хотя полком командовать в Молдавию или на Кавказ, а здесь быть не могу. Вся главная квартира немцами наполнена так, что русскому жить невозможно, и — толку никакого нет. Воля ваша: или увольте меня хотя отдохнуть на месяц. Ей Богу, с ума свели от ежеминутных перемен... Я думал истинно, что служу Государю и Отечеству, а на поверку выходит, что я служу Барклаю. Признаюсь — не хочу».

После оставления Смоленска, его негодование возросло до последней крайности. «Больно, грустно и вся армия в отчаянии, что самое

важное место понапрасну бросили. Я с моей стороны лично его просил убедительнейшим образом, наконец, и писал, но ничто его не согласило. Я клянусь вам моею честью, что Наполеон был в таком мешке, как никогда, и он мог бы потерять половину армии, но не взять Смоленска». Описав, с каким мужеством дрались наши войска, он говорит, что «стоило ещё оставаться два дни? По крайней мере, они (т.е. неприятели) сами бы ушли, ибо не имели воды напоить людей и лошадей. Он дал слово мне, что не отступит, но вдруг прислал диспозицию, что он в ночь уходит. Таким образом воевать не можно, и мы можем неприятеля привесть скоро в Москву».

При таком положении дел он советует как можно поспешнее приготовить, по крайней мере, ещё 100 тысяч войск. «Слух носится, что всё думаете о мире. Чтобы помириться, Боже сохрани! После всех пожертвований и после таких сумасбродных отступлений – мириться: вы поставите всю Россию против себя, и всякой из нас за стыд поставит носить мундир. Ежели уже так пошло, – надо драться, пока Россия может и пока люди на ногах: ибо война теперь не обыкновенная, а национальная, и надо поддержать честь свою и всю славу Манифестов и приказов данных. Надо командовать одному, а не двум. Ваш Министр, может, хороший по Министерству, но генерал – не то что плохой, но дрянной, и ему отдали судьбу всего нашего Отечества... Я, право, с ума схожу от досады; простите мне, что дерзко пишу. Видно, тот не любит Государя и желает гибели нам всем, кто советует заключить мир и командовать армиею Министру. Итак, я пишу вам правду: готовьте ополчение. Ибо Министр самым мастерским образом ведёт в столицу за собою гостя. Большое подозрение подаёт всей армии господин флигель-адъютант Вольцоген. Он, говорят, более Наполеона, чем наш, и он советует всё Министру. Я не токмо учтив против него, но повинуюсь, как капрал, хотя и старее его. Это больно; но, любя моего Благодетеля и Государя, повинуюсь. Только жаль Государя, что вверяет таким славную армию. Вообразите, что нашею ретирадою мы потеряли людей от усталости и в госпиталях более 15 тысяч, а ежели бы наступали, того бы не было. Скажите ради Бога, что наша Россия – мать наша – скажет, чего так страшимся и за что такое доброе и усердное Отечество отдавать сволочам и вселяем в каждого подданного ненависть и посрамление. Чего трусить и кого бояться? Я не виноват, что Министр нерешим, трус, бестолков, медлителен и все имеет худые качества. Вся армия плачет совершенно и ругает его насмерть. Бедный Пален от грусти в горячке умирает, Кнорринг умер, кирасирской, вчера. Ей-Богу, беда! и все от досады и грусти с ума сходят. Спешите присылать нам больше

людей на укомплектование; милицию лучше раздать нам в полки, их перемешаем и гораздо лучше; а ежели одних пустить – плохо будет. Давайте и конных, нужна кавалерия. Вот моё чистосердечие! Завтра я буду с армиею в Дорогобуже и там остановлюсь. И 1-я армия за мною тащится. Не смел остаться с 90 тысячами у Смоленска! Эх, грустно, больно, никогда мы так обижены и огорчены не были, как теперь. Вся надежда на Бога. Лучше пойду солдатом в суше воевать, нежели быть главнокомандующим и с Барклаем. Вот вашему сиятельству всю правду описал, яко старому министру, а ныне дежурному генералу и всегдашнему доброму приятелю. Прочтите и в камин бросьте!»[1]

Последние слова этого письма свидетельствуют, что сам горячий и сильно раздражённый в это время князь Багратион не хотел сохранить в отдалённой памяти дерзкие выражения своего негодования. Но граф Аракчеев, тщательно сохранявший всякую бумагу, не только получаемую им от Императора для хранения, но и каждую ничтожную записочку, одинаково отмечавший на всех день получения и потом переплетавший в особые сборники, не бросил в камин, по желанию князя Багратиона, но сохранил и это письмо для потомков. Конечно, они поблагодарят его за этот поступок, какими бы он ни был вызван побуждениями, не осудят добродушного Багратиона за слишком дерзкие выражения, но, усматривая из них, до какой крайности может дойти настроение души честной и чистой, поймут во всём объёме то негодование, которое объяло в это время всё войско, как доказывает целый ряд приведённых писем, большею частью дословно. При отступлении от Смоленска, разногласие между главнокомандующими, по свидетельству участника в событиях, не было уже тайною для армии. Все почти склонялись на сторону князя Багратиона. Дух уныния и осуждения всего, что делалось, – из глухого делался громким.

...Роль цесаревича стала затруднительна. Он последовал общему увлечению против Барклая де Толли. Этого уже было слишком для последнего. Хладнокровный, бесстрастный, он решил выслать, однако же, цесаревича из армии. В Дорогобуже цесаревич оставил войска и отправился в Петербург доставить новое письмо Ермолова и личными рассказами подтвердить сообщённые им прежде известия. Но он оставил войска по собственному желанию, на которое, конечно, с радостью согласился главнокомандующий.

В письме к Императору, которое привезено было цесаревичем, Ермолов, описав последние события, говорит: «отступление, долгое время продолжающееся, тяжёлые марши возбуждают ропот в людях, теряется доверие к начальникам. Солдат, сражаясь как лев, всегда уверен, что ему надобно будет отступать... Я люблю Отечество моё,

люблю правду, а потому обязан сказать, что дарованиям главнокомандующего здешней армии мало есть удивляющихся, ещё менее имеющих к нему доверенность, войско же совсем её не имеет».

Во время военных действий отступления вообще действуют вредно на дух солдат. Сколько ободряют их наступательные действия, столько, наоборот, отступления лишают бодрости. Хотя русские солдаты выносливее других в этих случаях, однако же, и между ними вселились такие речи, когда, отступая постоянно, армия оставляла уже Полоцк: «Видно у него большая сила, проклятого; смотри, пожалуй, сколькой отдали даром; почти всю старую Польшу; вот и этот город ему же достанется»,— говорил один. «Ещё увидим,— сказал другой,— может его нарочно так далеко заводят».— «Нарочно, или нет, а всё это что-то небывалое. Слыханное ли дело, чтобы без драки уходить так далеко и отдавать то что наше даром! Ведь поляки теперь все соберутся за нами и пристанут к нему, ан войска-то у него втрое прибавится»...— «Толкуй! — отвечал старый бомбардир.— Видно, тебя не спросили, что пошли»!.. Прочие засмеялись. Изредка выражавшиеся сомнения заглушались верою в своих начальников в первое время отступления, но потом, когда оно, продолжаясь постоянно, соединялось с ощутительным недостатком продовольствия, утомительными переходами, оставлением Смоленска, после удачной двухдневной защиты, и, наконец, с ропотом офицеров, генералов и самого князя Багратиона, которого боготворили солдаты, они упали духом.

«Должно признаться,— говорит современный свидетель происшествий,— что после смоленских битв наши солдаты очень приуныли. Пролитая на развалинах Смоленска кровь, при всех усилиях упорной защиты нашей, и отступление по Московской дороге в недра самой России, явно давали чувствовать каждому наше бессилие перед страшным завоевателем. Каждому из нас представлялась печальная картина погибающего Отечества... Солдаты шли повесив головы; уже не соблюдалось строгой дисциплины, каждый шёл, как хотел, и думал: что-то будет? Офицеры, собираясь по нескольку вместе, толковали о близкой гибели Отечества, и не знали, какая участь их самих постигнет. Оружие, которое сначала несли так бодро для защиты Отечества, теперь казалось бесполезным, тягостным; притом пыль и зной заставляли многих солдат быть усталыми и уходить в сторону от дороги — на разгулье». Начались побеги из полков, печальный признак начинавшегося разложения войск. Вначале отступления наших войск от границ, было много отсталых и даже перебежчиков, не только солдат, но даже и офицеров. «Сперва все поляки,— говорит современный свидетель,— потом литовцы, а наконец и белоруссы, в ноч-

ные переходы полков, отставая от оных, возвращались в свои дома. Можно наверное предположить, что с начала отступления от наших границ до Смоленска армия потеряла таким образом из фронта более 10.000 человек». Но это было вначале; затем отступления наших войск совершались в таком порядке, что удивляли наших врагов. Но, после оставления Смоленска, вновь оказались побеги солдат в такой степени, что на другой же день по приезде к войскам князь Кутузов должен был принять строгие меры против этого зла.

При таком настроении, охватившем все войска, от начальников и до солдат, как же действовал главнокомандующий Барклай де Толли? Какие у него были предположения и намерения после битвы при Валутине (7-го августа) в продолжение десяти дней до приезда князя Кутузова в Царёво-Займище (17-го августа).

Некоторые из писателей справедливо замечают, что цель всех действий в это время состояла в приискании местности, выгодной для оборонительного сражения. «Барклай оставлял одну позицию вслед за другою, едва только приступали их укреплять, – говорит принц Евгений Вюртембергский. – Воля находилась в разладе с убеждением. Войска усиленно требовали сражения. Казалось, с этим требованием соглашался и главнокомандующий, тем более, что силы неприятеля значительно уменьшились, и казалось возможным привесть в исполнение задуманное предположение. Но осторожность требовала осмотрительной медленности. В этом и заключается источник всех дальнейших происшествий. Лучше нельзя было вынудить неприятеля продвигаться вперёд. Таким образом, мы достигли до Царёва-Займища, оставляя за нами повсюду следы нашей нерешительности, которая только служила возбуждением для Наполеона идти вперёд. Впрочем, наше отступление принадлежит к лучшим военным действиям по отношению к порядку и дисциплине»*. Какими бы причинами ни объяснять, как пытается принц Вюртембергский, во всяком случае, нерешительность в действиях главнокомандующего возросла в это время до такой степени, что может служить отличительным признаком всех действий наших войск в это время. Несколько пози-

---

* А. Н. Попов цитирует в собственном переводе с немецкого «Воспоминания герцога Евгения Вюртембергского о кампании 1812 года в России» (Erinnerungen aus dem Feldzug des Jaher 1812 in Russland. Breslau, 1846); в ином, на наш взгляд, более удачном переводе см. в: *Военный журнал*, 1848, № 1, с. 41–42. Эти очень интересные воспоминания, включающие критические рассуждения о сочинениях Бутурлина, Шамбре, Сегюра, Клаузевица и др., были опубликованы: *Военный журнал*, 1847, № 3, с. 97–131; № 4, с. 84–118; 1848, № 1, с. 32–84; № 2, с. 38–98; 1849, № 3, с. 97–137; № 6, с. 87–138 *(прим. ред.)*.

ций, в которых намеревались принять сражение, которые начинали укреплять, оставляли одна вслед другой в продолжение десяти дней на пространстве от Смоленской переправы до Вязьмы. Вынужденный силою обстоятельств, Барклай де Толли должен был оставить мысль об отдельных от 2-й армии действиях, о поддержании связи с корпусом Витгенштейна, потому что после оставления Смоленска, действуя таким образом, он более и более удалялся от 2-й армии и обрекал её на жертву гораздо сильнейшего в сравнении с ней неприятеля. До этой крайности не доходили его намерения: он хотел действовать отдельно от 2-й армии; но так, чтобы иметь возможность помочь ей при нападении на неё сильнейшего неприятеля. Эта возможность уничтожалась бы с каждым шагом вперёд по дороге к Поречью и далее, к Полоцку, поддерживая сообщение с графом Витгенштейном. Перед этою гибельной крайностью, конечно, останавливалась мысль Барклая де Толли – и в таком случае ему не оставалось ничего более, как соединиться со 2-ю армиею для совокупной защиты дороги в Москву.

Донося Императору о битвах при Смоленске и Валутине, он писал, что «цель защищения развалин Смоленских стен состояла в том, чтобы, занимая там неприятеля, приостановить исполнение его намерения, достигнуть Ельни и Дорогобужа, и тем предоставить князю Багратиону нужное время прибыть беспрепятственно в Дорогобуж. Дальнейшее удерживание Смоленска никакой не могло иметь пользы, напротив того, могло бы повлечь за собою напрасное жертвование храбрых солдат». Потом он говорит о том, что занял «позицию на высотах против Смоленска, делая вид, что ожидает атаки неприятеля», об отступлении от Смоленска и сражении при Валутине, не выражая предположений о дальнейших действиях.

В частном письме к Императору, писанном в то же самое время, он извещает его, что «неприятель соединил все свои силы и привлёк даже корпус Понятовского. Очевидно, его намерение состоит в том, чтобы открыть силою себе путь по Московской дороге. Поэтому, я приближаюсь к армии князя Багратиона. Я считаю долгом сообщить Вашему Величеству, что войска в разных сражениях потерпели значительный урон и требуют пополнения. Поэтому, я осмеливаюсь испрашивать дозволения воспользоваться с этою целью резервными батальонами, эскадронами и ротами артиллерии, которые находятся под начальством генерала Милорадовича, потому что в теперешнем их составе, их рекрутов и неопытных офицеров, они не могут принести значительной пользы. В настоящее, по преимуществу, время, необходимо употребить все способы, чтобы удержать неприятеля. Лучшим для

этого способом могут послужить действия войск генерала Тормасова, которые должны быть направлены на правый фланг и тыл неприятеля со стороны Волыни и Мозыря. Успех этого предприятия не может подлежать сомнению, лишь только Молдавская армия прибудет, чтобы прикрывать Волынь и оказывать помощь генералу Тормасову. В скорейшем времени произведённая диверсия против левого фланга неприятеля высадкою в Пруссию, Курляндию или даже Лифляндию, будет иметь благодетельные последствия, потому что из Ливонии можно отбросить весь левый фланг неприятеля. Осмеливаюсь довести до сведения Вашего Величества эти соображения и буду ожидать в этом отношении ваших приказаний»*.

Таким образом, Барклай де Толли дальнейшие действия армии ставил в зависимость от трёх условий, из которых первое, т.е. пополнение войск резервом графа Милорадовича, могло действительно осуществиться скоро, а два другие — ещё в далёком будущем. В это время, когда усиленными переходами генерал Милорадович уже вёл свой резерв для соединения с обеими Западными армиями, войска Молдавской армии находились ещё в княжествах и только через месяц (9-го сентября) соединились с армиею Тормасова. Что же касается до диверсии в Пруссию, то она могла совершиться не иначе, как совокупно со шведами, а высадка войск в прибалтийские губернии зависела от наших отношений к Швеции. В этот самый день, как писал Барклай де Толли, Император выехал из Петербурга в Або для свидания с наследным принцем Шведским. Только после этого свидания оказалось возможным русские войска, находившиеся в Финляндии, отправить морем и высадить в Лифляндии для подкрепления графа Витгенштейна. Но, поставляя успех своих действий в зависимость от таких условий, из которых два не могли осуществиться скоро, что же пока предполагал делать главнокомандующий 1-ю армиею, в виду стремившихся на него неприятельских сил?

На другой день после того, как были отправлены эти отношение и письмо к Императору (10-го августа), 1-я армия остановилась у деревни Усвятье, находящейся на правом берегу реки Ужи, а 2-я достигла Дорогобужа. Здесь найдена была позиция, в которой считали возможным принять сражение. В тот самый день, как войска заняли эту местность и Главная квартира расположилась в селе Андреевском, Барклай де Толли писал графу Ростопчину: «Нынешнее положение дел непременно требует, чтобы судьба наша была решена генераль-

---

* Письмо Барклая де Толли Александру I от 9-го августа 1812; Главная квартира при Коровине. Полностью — *Военный сборник*, 1903, № 11, с. 255–257 *(прим. ред.)*.

ным сражением. Я прежде сего полагал продолжать войну до окончательного составления внутренних ополчений, и посему надобно было вести войну общими движениями не на одном пространстве, где находятся 1-я и 2-я армии, но на всём театре войны. Следовательно, 3-ю армиею надлежало бы исполнить деятельную часть операций, дабы располагать в движениях силами всех трёх армий, по примеру неприятеля, который, пользуясь чрезвычайным числом войск своих, движениями своими принудил нас к отступлению. Находясь в безызвестности о 3-й армии и не имея довольного числа войск, чтобы одними движениями прикрывать все пункты, мы находились в необходимости возлагать надежду нашу на генеральное сражение. Все причины, доселе воспрещавшие давать оное, теперь уничтожаются. Неприятель слишком близок к сердцу России и, сверх того, мы принуждены всеми обстоятельствами взять сию решительную меру, ибо в противном случае армии были бы подвержены сугубой погибели и бесчестью, и Отечество не менее того находилось бы в той опасности, от которой, с помощью Всевышнего, можем избавиться общим сражением, к которому мы с князем Багратионом избрали позицию у Умолья. Признаюсь, что число храбрых солдат наших уменьшилось, во время бывших, почти ежедневных, дел, и в генеральном сражении мы, конечно, будем иметь большую потерю в людях, почему, представляя вам, в каком положении находятся армии наши, умоляю вас, известным усердием вашим к Отечеству, спешить приготовлением сколь можно скорее московской военной силы и собрать оную в некотором расстоянии от Москвы, дабы в случае нужды подкрепить наши армии. По сей причине просил я генерала Милорадовича с вверенными ему войсками поспешить из Калуги, Можайска и Волоколамска, выступить и расположиться близ Вязьмы».

Прежние предположения *продолжать* войну до окончательного устройства *общими движениями* (манёврами), а не на том одном пространстве, на котором только и могли действовать две Западные армии, были им оставлены, как он говорил в этом письме. Между тем, он разделял их ещё накануне того дня, как писал к графу Ростопчину, и выразил в письме к Императору. Отчего же произошла такая быстрая перемена во взглядах главнокомандующего? Это обстоятельство давало бы повод подозревать, что он неискренно писал графу Ростопчину, желая только успокоить общественное мнение России, выражавшееся по преимуществу в Москве, которое негодовало на постоянные отступления наших войск и требовало сражений с врагом, если бы он не возвратил назад 2-й армии от Дорогобужа, которая и заняла позицию на левом фланге 1-й армии при Усвятье.

Это уже доказывает, что он намеревался действительно *дать генеральное тут сраженіе*, как писал Московскому главнокомандующему, графу Милорадовичу, Тормасову и графу Витгенштейну.

В тот же день цесаревич Константин Павлович объявил ему о желании ехать в Петербург, и в письме к Императору, с ним отправленном и помеченном тем же днём, 10-го августа, Барклай де Толли, упоминая о потерях в войсках, о необходимости усилить их резервом генерала Милорадовича, как и в письме, отправленном накануне, говорит далее: «Я постараюсь пока, совокупно с князем Багратионом, предотвратить всякую смелую попытку, имея дело с врагом, превышающим нас силами, и избежать генерального сражения; но мы находимся в таком положении, что я сомневаюсь, чтобы это нам удалось. Но я полагаюсь на волю Божию, на справедливость нашего дела и испытанную храбрость наших войск». Эти слова выражают уже нерешительность. Едва главнокомандующий 1-ю армиею решился принять сражение и заявил об этом письменно, как в тот же день начал колебаться, сомневаясь в успехе предприятия. Он хотел уже избежать общего сражения и в то же время не принимал во внимание, что неприятель напирал всеми силами, и наш арьергард постоянно находился в деле. Это колебание выразилось и при осмотре позиции, одобренной полковником Толем. Выехав для осмотра вместе с великим князем Константином Павловичем, князем Багратионом, начальником штаба А. П. Ермоловым и многочисленною свитою, Барклай де Толли указал полковнику Толю на многие недостатки позиции, особенно на её флангах. Толь, одарённый замечательными способностями и обладавший познаниями, но крайне самоуверенный и резкий в обращении, опровергал замечания главнокомандующего, доказывал выгоды позиции в таком смысле, что позиция, им одобренная, не может быть дурна, что он знает своё дело. «Барклай де Толли выслушал его с неимоверною холодностью», – говорит Ермолов; но, замечает граф Граббе, – «едва он (Толь) выговорил это с тоном, ещё более неприличным, чем самые слова, как князь Багратион выехал вперёд: «Как смеешь ты так говорить и перед кем: взгляни, перед братом Государя, перед главнокомандующими, ты, мальчишка! Знаешь, чем это пахнет – белой рубашкой». Всё умолкло, Барклай де Толли сохранил непоколебимое хладнокровие, цесаревич осадил свою лошадь в толпу, у Толя пробились слёзы и текли по суровому лицу»*. Вероятно, позиция представляла невыгоды, но не такие, однако же,

---

* Записки А. П. Ермолова. М., 1991, с. 176; Из памятных записок графа П.Х. Граббе. 1812 год/*Русский Архив*, 1873, № 3, стб. 454–455; *(прим. ред.)*

чтобы считать её совершенно негодною, потому что всё-таки думали принять в ней сражение, как доказывает то обстоятельство, что на другой день (11-го августа) после этого осмотра придвинута была 2-я армия от Дорогобужа и заняла левый её фланг. Барклай де Толли, опорочивая позицию, изыскивал способ к отступлению, не решаясь уже дать сражение.

Между тем получено было известие, что вице-король Итальянский с значительными силами от Духовщины приближается к Дорогобужу и угрожает обойти наше правое крыло. Это обстоятельство решило отступление наших армий к Дорогобужу (в ночь с 11-го на 12-е августа), и посланы были инженеры для отыскания позиции у города Вязьмы, куда двигались наши армии. Но в это время взгляд Барклая де Толли уже изменился снова. «Хотя армия и понесла большие потери, – писал он Государю, – но беспрерывно приходят значительными партиями выздоровевшие солдаты из госпиталей. Теперь, кажется, наступает время, когда наши военные дела могут принять хороший оборот, потому что неприятель, несмотря на то, что собрал все силы, которыми мог располагать, и даже 5-й корпус князя Понятовского, ослабевает с каждым шагом по мере того, как подаётся вперёд и с каждым сражением с нами. Наши же войска, наоборот, подкрепятся резервом, с которым генерал Милорадович приближается к Вязьме. Моё намерение в настоящее время заключается в том, чтобы занять у Вязьмы позицию для корпуса войск в 20–25 тысяч, укрепить её таким образом, чтоб этот корпус мог сопротивляться сильнейшему в сравнении с ним неприятелю, чтобы иметь возможность потом с большею уверенностью приступить к наступательным действиям. Я поручил осмотр местности у Гжатска, чтоб и там устроить укреплённую позицию. Были важные причины, по которым обе армии не могли до сих пор действовать наступательно. Главнейшая из них состояла в том, что обе эти армии до тех пор, пока они не были усилены резервами, составляли почти единственную боевую силу России против неприятеля хитрого и располагавшего большою силою. Следовало употребить поэтому все меры, чтобы сохранить её и не дать разбить неприятелю, и таким образом действовать вопреки его желаниям, потому что он сосредоточил все свои войска именно с целью принудить нас к решительному сражению. Нам счастливо удалось достигнуть этой цели, не теряя из виду неприятеля. Мы удерживали его на каждом шагу и, вероятно, принудим его разделить свои силы, и тогда-то наступит благоприятное время нанести сильнейший вред неприятелю, если генерал Тормасов не будет действовать с большим напря-

жением сил*. Желательно также, чтобы хотя бы часть Молдавской армии прибыла поскорее».

В это же время, благодаря генерала Милорадовича за скорость, с которою он вёл войска на соединение с армиями, он писал ему: «Неприятель, со всеми силами преследующий армию, достигает, наконец, Вязьмы, куда уклонился я, в надежде получить подкрепления. Здесь неизбежно сражение, которое определит участь государства, здесь нужны напряжения всех усилий, здесь надобно присутствие ваше и войска, вами воодушевляемые». Рассчитывая на влияние Милорадовича на ход дел, Ермолов просил его: «Спешите к нам, и если войска ваши не приспеют разделить славу нашу, приезжайте вы одни. Я знаю, что вы здесь нужны. Приезжайте, всеми любимый начальник, будьте свидетелем сражения, которому равного, конечно, долго не будет. Мы будем драться, как львы, ибо знаем, что в нас надежда, в нас защита любезного Отечества. Мы можем быть несчастливы, но мы – русские, мы будем уметь умереть, и победа врагам нашим достанется плачевною. Солдаты наши остервенены, ужасны. Надобно появиться впереди, и ничто, конечно, устоять не может. Здесь нет почти полка, который бы ни был под начальством вашим. Впереди вас никто не бывает. Покажитесь...»

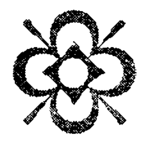
При этом случае нельзя не заметить особой черты в характере Барклая де Толли, подмеченной в нём и самим императором Александром. Отдав *приказание*, он считал уже дело оконченным. Отправив инженеров для отыскания позиции при Вязьме, он полагал, что она действительно уже существует, и на этом обстоятельстве составлял предположение о действиях, в полной уверенности, что они будут приведены в исполнение, а потому извещал о них Императора и генерала Милорадовича. Но как быстро возник этот новый план действий у Барклая де Толли, так же быстро и уничтожился. Генерал Трузсон и полковник Толь, возвратясь после обозрения местности,

---

* Письмо Барклая де Толли Александру I от 14-го августа 1812 из Главной квартиры при Семлёве. Перевод А. Н. Попова двух последних фраз крайне неточен (или не точна расшифровка публикаторами этой части рукописи), поэтому процитируем их в ином переводе: «Мы задерживали его (неприятеля) на каждом шагу и, вероятно, вынудим тем его разделить свои силы – и вот момент, когда должны начаться наши наступательные действия. Не могу при этом случае не выразить снова Вашему Императорскому Величеству мои опасения, что наиболее благоприятный момент для нанесения противнику самых чувствительных ударов будет упущен, если генерал Тормасов не будет действовать с большей энергией». (См. *Военный сборник*, 1903, № 11, с. 262); *прим. ред.*

объявили, что при Вязьме нет возможной для укреплённого лагеря позиции. Войска генерала Милорадовича, при быстром отступлении армий, также не могли прибыть к Вязьме. Оставив Вязьму, Барклай де Толли ещё не покидал своей мысли и начал было укреплять позицию при селе Фёдоровском (16-го августа), но она представляла большие неудобства. «По моему мнению,— писал к нему князь Багратион,— позиция здесь никуда не годится; а ещё хуже, что воды нет. Жаль людей и лошадей. Постараться надобно идти в Гжатск, город портовый, и позиции хороши должны быть. Но всего лучше там присоединить Милорадовича и драться уже порядочно. Жаль, что нас завели сюда и неприятель приблизился. Лучше бы вчера подумать и прямо следовать к Гжатску, нежели быть без воды и без позиции. Люди бедные ропщут что ни пить, ни варить каш не могут. Мне кажется, надо не мешкав дальше идти, арьергард усилить пехотою и кавалериею и дальше Гжатска уже не могу. К тому месту может прибыть *новый главнокомандующий*. Вот моё мнение, впрочем, как вам угодно». Барклай де Толли дал приказание следовать войскам от села Фёдоровского к Царёву-Займищу, куда они прибыли 17-го августа, и там распорядился об укреплении позиции, хотя так же, как и князь Багратион, знал уже о назначении нового главнокомандующего всеми армиями. В тот же день князь Кутузов и прибыл к войскам в Царёво-Займище.

Так окончилась самостоятельная деятельность Барклая де Толли в качестве предводителя двух Западных армий. Не входя ещё в рассмотрение причин этого важного события в истории Отечественной войны, довольно пока заметить то положение, в котором находилась в это время армия, грозившее великими бедами России, составляло более, нежели достаточную причину для того, чтобы Император решился назначить нового главнокомандующего.



Часть III

Москва в 1812 году

Граф М.И. Ростопчин
Художник Луи де Сент-Обен

Граф М.И. Кутузов
Художник Луи де Сент-Обен

Глава 1

Граф Ростопчин в Москве. – Отзывы о графе Ростопчине и его новом назначении. – Первые шаги нового генерал-губернатора Москвы. – Отношение Ростопчина к иезуитам и мартинистам. – Характеристика московских властей. – Мир с Турцией. – Дело Верещагина.

В конце марта 1812 года граф Ростопчин возвратился из Петербурга в Москву, где ещё никто не знал о его назначении; знали, однако же, что граф Гудович просился в отставку и предполагали, что просьба его будет принята. Заслуженный, но престарелый фельдмаршал Гудович, не мог управлять Москвою в это трудное время. Говорили о том, кто будет назначен генерал-губернатором, и каждый, сообразно своим понятиям и желаниям, указывал на то или на другое лицо. Но этот говор составлял лишь одну струю в общем потоке речей о предстоявшей войне. В Москве, так же, как и в Петербурге, мнения были различны. «Было всего печальнее, – говорит граф Ростопчин, – что недовольные и трусы обвиняли Императора в том, что предстоявшие бедствия для России были последствием нежелания или неумения предупредить или устранить третью войну с врагом, уже два раза победившим нас. Мне приходилось слышать страшные слова. Отчаяние до того доходило, что превозносили до небес ум и доблести покойного императора и сожалели о его царствовании. Фельдмаршал Гудович всё попускал делать и говорить, полагая всех успокоить надеждою, что если Государь ему вверит предводительство войсками, то войска Наполеона будут уничтожены в продолжении одного месяца. Он предполагал, что обладает достаточными к тому способами; но, к несчастью, свою тайну он унёс с собою в могилу, а во всё время войны спокойно проживал в своём Украинском поместье»[1].

Немногие, однако же, предавались унынию и предвещали гибель Отечеству; многие, напротив, как и граф Гудович, уверены были, что неприятель будет побеждён. «Несмотря на всеобщую тревогу, увлекались самонадеянностью, заглушали здравый смысл, не давая места рассуждению». Но эти слова писаны графом Ростопчиным долго спустя после событий 1812 года. А что и как сам он тогда думал? Хладнокровно ли рассуждал он во время всеобщей тревоги, не увлекаясь *самонадеянностью* и не предаваясь *унынию*? Если судить на основании

только писем графа Ростопчина, писанных в это время к Императору, то можно отвечать на этот вопрос положительно. «Мне приходит на мысль, — писал он Государю в начале июня, — что известие о заключении мира с турками принудит Наполеона начать с Вами войну, если нет какого-либо особенного соглашения. Он не захочет поджидать подкреплений, которые придут с Дуная, для войск, предназначенных к тому, чтобы бить французов. Ваша империя имеет двух могущественных защитников: в своих пространствах и в своём климате. 16 миллионов людей, исповедующих одну веру, говорящих одним языком, которых не коснулась бритва, эти-то бороды и составляют твердыню России; кровь солдат родит героев на их место и если бы несчастное стечение обстоятельств принудило бы вас отступать пред победоносным неприятелем, Русский император всегда будет страшен в Москве, ужасен в Казани, непобедим в Тобольске. Но простите, Государь, мои опасения и мои тревоги; они относятся единственно до Вашего священного лица, подвергающегося покушениям вероломства и злодейства ужасного человека, одарённого адским гением и поддерживающего себя ужасом. Для этого человека нет ничего священного; для него покушение на преступление и самое преступление составляют позволительные средства, лишь бы они вели успешно к цели. И что будет с нами? Что будет с Россиею? Снова прошу простить, Государь, за эти размышления того, кто знает, как вы любите правду, который и сам её любит и повергает к стопам Вашим»[2].

Читая эти строки, написанные до получения первых известий об открывшихся военных действиях, нельзя не заметить, что взгляд графа Ростопчина отличался необыкновенною по тому времени верностью сравнительно со взглядами других лиц его общества. Но он усвоил себе этот взгляд, будучи сторонним наблюдателем совершившихся пред его глазами происшествий; как же скоро выступил сам на поприще исторической деятельности, то уже не мог преодолеть в себе страстности и впечатлительности, свойственных ему по самой его природе. Спустя несколько дней после приведённых выше строк, он писал (30 июня 1812): «С каким нетерпением, Государь, мы ждём известия о первой победе. Наполеон остановился; он, который постоянно шёл вперёд. Прогоните его за Рейн, тогда и Лепиху нечего будет делать. Объявление войны, обращённое к одному Наполеону, а не к французам, может произвести некоторое впечатление на этот великий народ сумасшедших»[3]. Итак, граф Ростопчин уже дожидается известия о победах, между тем как наши войска были в полном отступлении, и Наполеон находился в Вильне. Его продолжительное (18-дневное) пребывание в этом городе, где он сосредоточивал войска, принимал меры относи-

тельно продовольствия их и устраивал временное управление будущего польского королевства, дали повод графу Ростопчину предполагать, что он далее уже не пойдёт и что поражение его неминуемо.

Тревожное настроение Москвы усиливалось в это время слухами, дошедшими из Петербурга о ссылке Сперанского и Магницкого. Об этом событии не было никакого заявления правительства, ни указа, ни приказа: всё сделалось тайно, административным порядком, что и давало молве полную возможность преувеличивать и искажать дело и распространять небылицы. В Москве говорили, что в высших правительственных кругах открыт заговор, что главою заговорщиков Сперанский, что его обличили в измене и вместе с Магницким «везут под стражею через Москву в определенные им для жительства города». Говорили при том, что лишь только они въедут в Москву, то будут истерзаны народом. «Но, слава Богу, – замечает один из современников, – они с Твери поворотили в другую сторону и в Москве не были»[4].

В это-то время состоялось назначение графа Ростопчина. «Действительный тайный советник и двора Его Императорского Величества обер-камергер граф Ростопчин всемилостивейше переименовывается в генералы от инфантерии и назначается военным губернатором в Москву». Этот указ был подписан Императором в Вильне 24-го мая, т.е. через два месяца после того, как Государь объявил о том лично графу Ростопчину в Петербурге. «Только долг приличия, которое я должен был сохранить в отношении к фельдмаршалу, замедлил ваше назначение на его место, – писал ему император. – Я выразил ему желание, чтобы он присутствовал в Государственном Совете. Он мне отвечал, что он слишком стар и слаб и просил меня уволить его в отставку. Я согласился и сейчас же назначил вас на его место. Я полагаюсь на вас и льщу себя уверенностью, что вы оправдаете моё доверие»[5].

Увольняя от должности графа Гудовича, Император в рескрипте ему говорил: «Справедливым поставляю долгом изъявить вам отличное моё благоволение и признательность за труды, в течение долговременного служения вашего, вами понесённые. В вящее же ознаменование сих моих к вам расположений, препровождаю алмазами осыпанный портрет мой для ношения вами. Мне приятно будет, если вы, по восстановлении вашего здоровья, займёте место ваше в Государственном Совете, где опытность ваша и благоразумие послужат, конечно, во благо общее»[6].

Хотя ни в письмах графа Ростопчина к Государю и другим лицам в это время, ни в его *Записках* не встречаем никаких указаний, но едва ли он не был несколько оскорблён назначением его *военнымъ губернатором*. Это назначение не соответствовало не только прежним его

должностям, но и званию обер-камергера, которым он был облечён уже при императоре Александре, и ставило его в странное отношение с Московским гражданским губернатором, равным с ним по должности. Была ли это случайная ошибка или дело умышленное, дал ли это заметить сам граф Ростопчин или нет, мы не можем решить; но что это вскоре было замечено и исправлено, служит доказательством состоявшееся чрез несколько дней новое высочайшее повеление о назначении его *главнокомандующим* в Москве. «В высочайшем повелении, которое я имел честь получить вчера вечером за подписью Вашего Императорского Величества,— писал граф Ростопчин Государю 4-го июня,— я назван главнокомандующим в Москве, и в адресе означен тот же титул. Я остановился принять его, прежде нежели узнаю волю Вашего Величества»[7]. Конечно, эту волю он узнал скоро, ибо повеление Государя было обнародовано. Но этой, быть может и случайной, ошибки не заметить он не мог; потому что принял это место не по той важности только, какую представляло оно в то время, но и потому, что он считал его вообще выше всех генерал-губернаторств. «Несмотря на то, что Государи постоянно держали себя в удалении от Москвы,— говорит в своих *Записках* граф Ростопчин,— они тем не менее обходились с ней с особенною предупредительностью. Генерал-губернаторами в Москву всегда назначали заслуженных, полных генералов, а часто и фельдмаршалов. Они имели право сноситься прямо и непосредственно с Государем. Дом, в котором они помещались, был одним из лучших дворцов в городе; в их распоряжении находилась великолепная придворная посуда. Во время войн, Москву извещали о всякой победе: отправлялся особый посланный из Петербурга с рескриптом на имя генерал-губернатора, исполненным самых лестных для Москвы выражений. При каждом восшествии на престол туда отправляли для объявления важного военного сановника».

Отставка одного генерал-губернатора и назначение на его место другого, как явление обычное, не могли бы произвести особенного впечатления на Москву и возбудили бы лишь толки в разных слоях её народонаселения, если бы эта перемена совершилась в другое время, а не в виду грозившей опасности Отечеству. Но в то время, когда последовало это назначение, такое положение дел понимали немногие. Война ещё не начиналась, и сведений об отношении к России Наполеона никаких не обнародовалось; но тяжёлое предчувствие, несмотря на это, тревожило всех. Поэтому всякая новая мера правительства возбуждала внимание и служила поводом к разным толкам и суждениям. В том обществе, где хотя изредка, но видали графа Ростопчина, которое он потешал своими остротами и забавными выходками, были удивлены,

увидав в нём Московского властелина. «То-то он будет гордо выступать теперь, – писала одна из представительниц этого общества к своей подруге в Петербург. – Теперь все его качества и достоинства обнаружатся. Но пока я не думаю, чтобы у него было много друзей в Москве. Надо признаться, что он и не искал их, делая вид, что ему нет дела ни до кого на свете»[8]. Граф Ростопчин с немногими семействами был в дружеских отношениях, и в их среде его назначение приняли с восторгом. На место графа Гудовича назначен «наш неоценённый граф Фёдор Васильевич, – говорит один из членов такой семьи. – Он сам сегодня приезжал возвестить нам эту радость»[9].

Впрочем, первое впечатление, которое могло произвести его назначение в среде Московского высшего общества, не могло выразиться в виде общего мнения потому уже, что он вступил в новую должность в то время, когда большая часть семейств этого общества давно оставила Москву, разъехавшись по деревням, на лето. Сохранились только впечатления отдельных лиц. «Признаюсь откровенно: – говорит один, – лишь только я узнал о сей перемене начальства, сердце облилось у меня кровью, как будто я ожидал "чего-то" очень неприятного»[10]. Но другие находили выбор Императора самым счастливым и совершенно удовлетворявшим требованиям времени. С. Н. Глинка, который пользовался особенною известностью в это время в Москве как писатель и общественный деятель, с свойственным ему увлечением, поставил графа Ростопчина даже рядом с Наполеоном. "Приведём здесь двух человек, – говорит он, – из которых один водил полки, переставлял престолы, а другой жил в уединении, с одним собою и как будто в глубоком бездействии. Эти два человека – Наполеон и граф Ростопчин". Граф Ростопчин молчал до Тильзитского мира и "в первый раз откликнулся живым Русским словом в 1807 году и прослыл в народе Русским человеком. Искусный полководец выжидает надлежащего мгновения для действия; также поступает и внимательный наблюдатель духа народного: он не бросает слов на ветер, он знает их силу на душу и говорит тогда, когда душа, принимая слова, готова обратить их в действие. В то время, когда Наполеон воевал за Пиренеями, он продолжал всматриваться в дух народный и наблюдал восстание душ в Испании. В последующие годы он жил в уединении, продолжая своё дело, и доверенность к нему Московского народа час от часу усиливалась. Он жил просто, не давал пиров, вёл своё хозяйство домовито и расчётливо; не гонялся ни за какими случайными выгодами, не входил ни в какие долги и потому не имел ни в ком нужды. История, повествуя о громких событиях, редко замечает частные обстоятельства, которые делают человека лицом общественным и обращают на него общее мнение. А

потому здесь справедливо можно сказать, что глас Божий слышен был и в голосе народном, когда в 1812 году граф Ростопчин был назначен главнокомандующим в Москву. С мыслью нового начальника породнилась мысль целой Москвы, а на Москву смотрела Россия"[11]

Другой из современников говорит: «Можно сказать, что Александр был вдохновлён свыше, когда в преемники ему (графу Гудовичу) выбрал графа Ростопчина... Все жители Москвы чрезвычайно этому обрадовались, когда в исходе мая 1812 года назначили его к ним главнокомандующим с переименованием в военный чин; только радость была непродолжительна. Он выпрямился во всю вышину роста и ума своего, и вдруг явился грозным повелителем, с своими нахмуренными бровями, как бы Юпитером-громовержцем. Это было необходимо. Он совершенно знал дух непокорности дворян, знал также своеволие, предрассудки, поверья простого народа; он знал, что сей последний в свирепом виде всегда предполагает смелость и силу. Сжав тех и других в мощной руке своей, он в то же время умел овладеть их умами и привязать их к себе. Искусство удивительное, которое не умели у нас довольно оценить. Если вспомнить, что Москва имела тогда сильное влияние на внутренние провинции и что пример её действовал на всё государство, то надобно признаться, что заслуги его в сём году суть бессмертны»[12].

Но этот последний отзыв составлен по слухам, разносившимся по России о действиях графа Ростопчина уже в качестве Московского главнокомандующего. Смотря на эти действия, даже и те, которые с недоверием относились к его назначению, должны были через месяц сознаться, что «до сих пор им довольны, быть может потому, что всё новое нравится; впрочем, я никогда не сомневалась, что у него в тысячу раз более ума и деятельности, чем у бывшего нашего фельдмаршала... Им очень довольны в нашей доброй Москве. Он очень деятелен, справедлив, и если не изменится, то его очень полюбят здесь»[13].

Действительно, действия графа Ростопчина, как главнокомандующего направили общественное мнение в его пользу. Но ещё прежде, нежели они обнаружились, при самом его назначении радовались в одном тёмном уголке Московской жизни, широко, однако же, простиравшем своё влияние на высшие слои общества. Иезуит, аббат Сюрюг, настоятель Латинской церкви Св. Людовика в Москве, писал в это время другому иезуиту, аббату Билли в Петербург: «Перемена губернатора будет для нас выгодна. Я имел случай представиться ему и был им принят хорошо. Обещание графа оказывать нам особенное покровительство даёт нам самые счастливые надежды. По крайней мере, на графа Ростопчина не будут иметь влияния люди, ненавидящие

духовных. Графиня по этому случаю написала к своему мужу письмо, достойное королевы Бланки. Она отправляется 19 числа из Петербурга с сестрою своей княгиней Голицыной; воспользуйтесь этим случаем, чтобы переслать ко мне должные наставления». Намёк на людей враждебных духовенству, т. е. Латинскому, объясняется предшествующими письмами аббата Сюрюга к тому же иезуиту, в которых он жалуется на доктора Сальватора, состоявшего при фельдмаршале Гудовиче, что он мешает им действовать и доносит на них. «Доктор Сальватор революционер и якобинец; он хвалился, что расстрелял в Калабрии 12 священников»[14]. Этого доктора особенно преследовал потом и граф Ростопчин.

Наконец, сам граф Ростопчин сознавал отношение к нему Москвы и употребил все способы, чтобы приобрести её доверенность и расположение. «Город, кажется, доволен был моим назначением. Мне было 47 лет, я пользовался хорошим здоровьем и с самого начала вступления в должность выказал большую деятельность, — говорит он, — что было важною новостью, потому что все мои предшественники были старики. Меня сразу полюбили за то, что я сделался всем доступен; я объявил, что ежедневно с 11 до 12 часов ко мне могут являться все; а те, которые имеют сообщить мне что-либо важное, будут приняты мною во всякое время дня. В день моего вступления в должность, я велел отслужить молебны перед всеми чудотворными иконами, которые весьма почитает народ. Я старался обходиться с особенною учтивостию со всеми теми, которые имели до меня дело. Я подделался к старухам, сплетницам и богомолкам и приказал убрать гробы, которые употребляли вместо вывесок на мастерских, где их делали. Я также велел снимать с церквей наклеенные на них афишки и разные объявления. Двух дней мне достаточно было, чтобы бросить пыль в глаза и убедить большую часть жителей Москвы, что я неутомим и что меня видят повсюду. Я успел заставить так думать о моей деятельности, разъезжая в одно и то же утро по самым отдалённым одна от другой частям города и везде оставляя следы моего правосудия или строгости. Так, в первый день я велел посадить под арест офицера в военном госпитале, которому препоручена раздача пищи, потому что не нашёл его в кухне во время завтрака. Я оказал правосудие крестьянину, которому, вместо 30 фунтов купленной им соли, отпустили только 25. Я посадил в тюрьму чиновника, находившегося при постройке моста на барках. Я входил всюду, я говорил со всеми, я многое узнавал и потом пользовался этим и, изморив две пары лошадей в статском платье, я возвращался домой в 8 часов утра, переодевался в военное и был готов начать работу».

Нет нужды, кажется, и говорить, что подобная гроза, промчавшись над Москвою, должна была пробудить её внимание и освежить воздух. На другой день по вступлении в должность, граф писал Государю: «Я имел счастье получить рескрипт Вашего Императорского Величества от 31 мая и на другой же день вступил в отправление важной должности, которую вы на меня возложили. Я преисполнен самой горячей ревности, законной преданности и искренней любви к лицу Вашего Величества, к вашей славе, к вашим пользам. Не буду говорить о беспорядках и распущенности в управлении. Я не обвиняю даже моего предшественника. Он от природы ограниченный человек. Он слишком долго жил и окончил тем, что сделался игрушкою двух разбойников, своего брата Михаила и доктора Сальватора. Полиция мне не доставит много труда, потому что она была приведена только в бездействие; но правосудие всё подкупное. Губернатор Обрезков был только связан по рукам и по ногам. Доктор Сальватор, который прямо говорит, что получает по 6000 ливров от Наполеона, грабительством составил себе имущество, простирающееся до 400 тысяч рублей, деньгами и вещами, и уезжает с фельдмаршалом сначала в его поместье в 35 верстах под Москвою, а потом в Каменец-Подольскую губернию. Он просит паспорта, чтобы выехать из России; но этот человек никогда не должен из неё удаляться. Я осмеливаюсь просить Ваше Императорское Величество обратить внимание на моё соображение, что для большей безопасности (особенно, если начнётся война), следовало бы запретить выдавать паспорты иностранцам вообще как для въезда в Россию, так и для выезда из неё. За теми, которые у нас находятся, легко было бы наблюдать, чтобы не дать им способов вредить сообщением сведений своим правительствам о различных предметах; а те, которые могли бы вновь приехать из-за границы, не привезли бы с собою нового яда для растления умов. Я мало-помалу начну искоренять беспорядки и буйства, происходящие в трактирах, где разнообразные посетители пьянствуют, играют, заражаются и погибают. Я обращаюсь с просьбою к министру полиции, чтобы он уполномочил меня отправить к князю Лобанову и включать в состав полков, которые поручено ему образовать, беспаспортных бродяг, которые будут пойманы полициею и не имеют никаких постоянных занятий. Это большею частью мещане, иногда офицеры или гражданские чиновники низших классов, которые по утрам просят милостыню, днём воруют, а ночью производят беспорядки. Я уверен, что в один месяц я поставлю таких людей не менее 500, их удаление будет истинным благодеянием для города. Здесь есть два проповедника *иллюминатства*: один типографщик Семен, другой книгопродавец Алларт. Я поручил наблюдать за ними человеку весьма способному; но

эти люди, также как и мартинисты, игроки и все плуты высшего разряда, приутихли: они хотят узнать, как я буду управлять, чтобы определить потом и свой образ действий. Фельдмаршал упустил из виду довести до сведения Вашего Императорского Величества о прекрасном поступке Муромцева. Я сообщил о нём министру полиции. Этот поступок достоин вашего внимания, Государь. Считаю долгом предупредить, что некто Зернов, представленный фельдмаршалом к чину или ордену, был служителем графа Михаила Гудовича, потом буфетчиком фельдмаршала, величайший вор. Чрез его посредство делались все скверные дела, и он получал значительную долю из беззаконных поборов графа Михаила и Сальватора. Я нашёл в числе служащих в канцелярии фельдмаршала 13 детей и несовершеннолетних, которые никогда не являлись на службу, а между тем получали чины. Если Ваше Величество удостоите меня вашими приказаниями относительно Леппиха, то прошу сообщать их с нарочными, потому что я уверен, что Ключарёв распечатывает и читает все письма. Коллежский советник Брокер, которого я представляю на место 3-го полицеймейстера в Москву, есть тот, который открыл контрабанду на почте и золотые рудники Губина. Он столько ревностен, как и честен»[15].

Мы вполне привели это письма, дабы показать, что с первого дня вступления в должность граф Ростопчин действовал как опытный, хорошо знакомый с Москвою начальник. Но какими же способами он мог приобрести эти познания и опытность? Проживая в Москве как частный человек, большею частью уединённо, редко являясь в обществе и посещая лишь немногие дома, он мог знать только городские слухи. Едва ли человек, знакомый с высшею государственною деятельностью, мог вполне полагаться на слухи и принимать их в руководство для своих действий, не проверив их основательности ни с делами вверенного ему управления, ни с служебною деятельностью подчинённых ему лиц. Такую проверку и невозможно было сделать в один или два дня, несмотря на всю опытность и все дарования нового главнокомандующего. Очевидно, граф Ростопчин вступил в управление Москвою с готовым уже мнением о тамошних мартинистах, которое выражено им в первых письмах к Императору и которое поддерживали в нём посторонние влияния.

Взгляд графа Ростопчина на мартинистов был точкою соприкосновения его с иезуитами. Это прикосновение усложнилось в это время вследствие происшествия, совершившегося в его собственном семействе.

Супруга графа Ростопчина, Екатерина Петровна, урождённая Протасова, получила совершенно светское образование, живя с детства

во дворце Екатерины у тётки своей, камер-фрейлины Протасовой (родственницы графов Орловых). По свидетельству её внука, первоначально она не имела никаких религиозных убеждений. Восхищаясь художественною стороною Христианства, она говаривала: «Как жаль, что такое прекрасное учение — ложно». Но впоследствии, графиня Ростопчина близко познакомилась с графом де Местром, и многие страницы «Вечеров в Петербурге» этого великого мыслителя и великого писателя составляют воспоминания и выводы из разговоров с графинею Ростопчиной. Иезуиты, изгнанные из Латинской Европы, нашли радушный приём в России. Они поразили русское общество своими познаниями и добродетелями. Графиня Ростопчина и её сёстры «подчинились их влиянию». Чтение сочинений, на которые ей указывали её руководители и особенно книги, которые сообщал ей в Москве аббат Сюрюг, привели её к убеждению, что «христианская вера есть истинная вера, и во всей своей полноте она выразилась в Римско-католическом исповедании». Это убеждение естественно привело её к тому, что тот же аббат принял от неё «отречение» от исповедания, в котором она была крещена и ввёл её в недра Латинской церкви, взяв наперёд (несмотря на её возражения) строгое обещание, что она сохранит это в тайне даже от своего мужа. Несколько месяцев она сохраняла тайну, и это время, по её свидетельству, было лучшим в её жизни. «Любопытен рассказ,— говорит внук её, граф Сегюр,— о тех предосторожностях, которые она должна была принимать в своих отношениях к новому исповеданию. Аббат Сюрюг раз в неделю обедал у графа Ростопчина, который в это время жил открыто и принимал многих. Каждый раз после обеда она начинала ходить с ним по обширным комнатам дома, как бы ведя обыкновенный разговор; но тут она исповедовалась у него. После исповеди, незаметно для других, он передавал ей золотой ящичек, в котором находилася освящённая остия; а она потом возвращала ему такой же пустой. Она благочестиво относила ящичек в свою моленную и снова возвращалась занимать гостей, увлекая их любезностью. Этими остиями она ежедневно сама приобщалась»[16] — «Кто постигнет пути Господни,— писал аббат Сюрюг к иезуиту Билли.— Я живу в близком соседстве с графинею Ростопчиной, которая уже предварила меня о желании часто видеться со мною. Рассуждения наши о вере и церкви не истощаются... Она посылает своего сына на проповедь в нашу церковь Св. Людовика. Граф также иногда сам бывает в ней. Вы видите, что соседство не упущено»[17].

Новое положение графа Ростопчина в Московском обществе поставило его и в новые к нему отношения. *Независимый*, державший себя выше тех, над которыми он шутливо насмехался и едко острил, он был

слишком умён, чтобы не понять, что, получив власть над столицею, он тем самым стал в зависимое положение от её общества и для своей собственной известности и успеха в действиях должен был приобрести расположение этого общества. Оставаться по-прежнему в близких отношениях только с немногими семействами было уже невозможно; но, сохраняя прежние связи, необходимо было расширить круг дружелюбных или, по крайней мере, мирных отношений к большинству семейств этого общества, особенно допустить к себе свободный доступ всем и каждому. Так и действовал новый главнокомандующий Московский.

«Исключая князя Долгорукого и генерала Апраксина, — говорит граф Ростопчин, — я со всеми жил в ладах. Первого я слишком презирал и потому перестал у него бывать; что же касается до второго, с которым издавна я был в близких связях и потом мы ссорились с ним несколько раз, то я нисколько не заботился о моих к нему отношениях. С одной стороны, я хорошо знал, что не дам никакого повода жаловаться на меня, с другой — я рассчитывал на пособие трёх самых верных помощников, т.е. на глупость, низость и гордость. Небольшая награда, данная или даже обещанная, некоторое отличие и угроза, заставляли молчать недовольных. Когда же ожидали прибытия Императора, то все отношения сейчас же изменялись: старались наперёд заискивать, чтоб удостоиться какой-нибудь милости; представляли, что имеют на это права, действительные или вымышленные, и желали, чтобы я подкрепил их своим влиянием. Все стремились к тому, чтобы утолить свою жажду от источника милостей. В этом случае они постоянно повторяли одно неизменное правило: Государь милостив, всё зависит от его воли. Но как невозможно осыпать милостями всех и каждого, и избранников оказывалось немного, поэтому каждое короткое пребывание Государя в Москве служило после его отъезда поводом к неудовольствиям и бесконечным жалобам, которые затихали пред каждым новым его приездом. Я очень хорошо понимал, что Москва послужит примером для всей России и употребил все старания, чтобы приобрести доверие и расположение её жителей. Необходимо было, чтобы Москва служила указателем, маяком и электрическим очагом. Дабы более обеспечить общественное спокойствие, я строго наблюдал за исполнением моих распоряжений относительно гостиниц, трактиров и кофеен, где собирались праздные люди, гуляки и развратники, проводя целые ночи в пьянстве, игре, обманывая друг друга, развращаясь ещё более и окончательно погибая. Дворянство и граждане поддерживали эти меры, служившие препятствием к развращению слуг, сидельцев и купеческих сыновей. Выгнав из службы квартального

надзирателя, который ежедневно брал с мясников по 60 фунтов говядины, я достиг того, что цена говядины понизилась на одну треть. Я объявил полицейским чинам, которых было до 300, что я ничего им не спущу и чтобы они не думали скрывать от меня свои плутни, потому что они знали, что я разговариваю со всеми и что всякий имеет ко мне свободный доступ. Мне случилось только три раза прибегать к строгим мерам, и я был очень счастлив в этом отношении, так как полиция составлена была из лиц неизвестных и бедняков, получавших ничтожное жалованье, презираемых и не имевших никакой надежды на повышение по службе. Было только 20 частных приставов: должности более заметные, на получение которых могли рассчитывать подчинённые офицеры, потому что генерал-губернатор замещал их теми из них, которых желал поощрить».

Кроме полиции граф Ростопчин и в отношении к прочим лицам, входившим в состав управления, поступил с не меньшим благоразумием. Он почти никого не исключил, разве тех, которые числились только, а не служили, и немногих определил вновь, найдя возможным воспользоваться успешно наличными силами. Вот как он описал в своих *Записках* ближайших своих сотрудников: «Статский советник Обрезков, гражданский губернатор, человек весьма умный, тонкий и понимавший людей, с которыми имел дело. Он вышел в отставку ещё в царствование императора Павла, а потом вновь вступил в службу для того, чтобы получить повышение. Хотя он был ещё довольно молод, но с сильно расстроенным здоровьем, от бессонных ночей, проводимых за игрою в карты, в которой он был очень счастлив. Он был очень ленив, но обстоятельства того времени вывели его из этого положения, и он своею деятельностью в 1812 и 1813 годах был чрезвычайно полезен. Вице-губернатор Арсеньев, человек тоже не без способностей, но огрубевший от употребления крепких напитков, и в конце 1813 года я принуждён был его сменить. Комендант Гессе был немец невысокого происхождения, служил офицером в морском батальоне, который император Павел, будучи ещё великим князем, образовал в Гатчине. Потом мало-помалу он дослужился до чина генерал-лейтенанта и 20 лет занимал место коменданта в Москве. Это был прекраснейший человек, честный и беспристрастный, но обращавший более всего внимание на форму. Однако он был хорош только до 6 часов вечера, после чего пунш и трубка совершенно им завладевали. Начальник гарнизона Брозин был ничтожный человек, с которым я находился в постоянных пререканиях за его грабительства и слишком явное поползновение воспользоваться всем от полка в свою собственность. Полицеймейстер, генерал-майор Ивашкин, человек честный, но слишком мягкий,

находившийся постоянно под влиянием жены, робкий, болезненный, но точно исполнявший предписания. Архиепископ Августин был человек весьма образованный, знавший хорошо латинский и греческий языки. Он был весьма даровитым проповедником, обладая красноречием, приятным и мягким. Он не очень был набожен, в обществе был светским человеком, а с духовенством обращался грубо. Он не был равнодушен к прекрасному полу: у него много племянниц, которые имели к нему доступ во всякое время. Предводитель дворянства Арсеньев, толстый, ограниченный, обжора и всепокорнейший слуга генерал-губернатора. 1-й полицеймейстер, генерал Воейков, был слишком умён для своего места, которое ему надоело, считался членом тайного общества, вёл жизнь неправильную и разгульную, всё старался обратить в свою пользу и не разбирая средств. 2-й полицеймейстер Дурасов, полковник гвардии, болезненный, ограниченный, но очень честный человек. 3-й полицеймейстер полковник Брокер, которого я определил, чтобы иметь надёжного человека. Он имел глубокое отвращение ко всякой интриге, лжи и негодяям. Он сверх того обладал способностью раскрыть и распутать всякое дело. Он много раз доказал свою честность и признан был за ревностного и верного слугу. Г-н Ильин был поэт и драматический писатель. У него было более воображения, нежели ума и здравого смысла; но он ревностно исполнял свои обязанности и мне был искренно предан. Директором моей канцелярии был молодой человек, сын сенатора, Рунич. Он был умён, образован и опытен в делах; но он любил проводить вечера за картами и вином. Я оставил его, так же, как и всех других, которых я нашёл в составе управления, руководствуясь тем правилом, что сместить кого-либо всегда будет время, а очень часто может случиться, что заменишь худшим; что умный человек всегда пригодится, что порочный человек соображает своё поведение с требованиями высших и часто изменяет его или от страха, или по раскаянию, или по расчёту. Я определил к себе в качестве секретарей Ильина и Булгакова. Первый получил прекрасное образование и хорошо учился. Он был секретарём посольств при многих дворах. Сначала я питал к нему доверенность, а потом и дружбу. Второй был сын весьма достойного по большим заслугам человека, который, во времена Екатерины, был министром в Константинополе и посланником в Варшаве».

Такой строгий и резкий оценщик людей, так верно подмечавший слабости и недостатки всех и каждого, как граф Ростопчин, описал, однако же, так своих сотрудников по управлению, что едва ли лучших возможно было желать и даже найти в то время. Между тем все они принадлежали к составу управления, бывшего при графе Гудовиче,

которое он так порицал. Поэтому, за исключением некоторых злоупотреблений, управление графа Гудовича едва ли было так дурно, как он его представил. Оттого и были люди, которые жалели графа Гудовича и с недоверчивостью относились к Ростопчину. Но, без сомнения, престарелый фельдмаршал не мог быть так деятелен, как новый генерал-губернатор. Принятые вновь на службу графом Ростопчиным лица, Булгаков и Брокер, принадлежали к разным слоям общества и не были похожи один на другого.

А.Я. Булгаков, сын известного дипломата времён Екатерины, женатый на княжне Хованской, принадлежал к семейству, с которым Ростопчин находился в дружеских отношениях. Умный, хорошо образованный, он служил по дипломатической части; но женившись, оставил деятельную службу и был причислен к Московскому Архиву Коллегии иностранных дел. В первые же дни вступления в должность граф Ростопчин спросил его: «Хотите служить со мной?» Получив утвердительный ответ, он продолжал: «Я знаю, как вы любите жену, детей и я не хочу вам дать место, которое бы слишком вас с ними разлучало; я желаю только иметь средство толкнуть вас по службе и доставить вам некоторые другие выгоды. Труд ваш не будет очень тягостен... вы будете состоять при мне для дипломатической переписки и по секретной части. Мне нужен человек благонадёжный, верный помощник. Вы, по-прежнему, останетесь в Коллегии иностранных дел для того, чтобы сохранить получаемое вами жалованье, и кроме того вам прибавятся две или три тысячи рублей. Согласны ли?» Когда Булгаков объявил согласие, заметив только, что граф не знаком с его способностями как чиновника, граф Ростопчин продолжал: «Я вас знаю более, чем вы думаете, – отвечал граф, – потому-то я вас и выбрал. Я устроил судьбу многих, которые вас не стоили и далеко не имели ваших способностей»[18]. В назначении Булгакова выразилось желание «толкнуть по службе» и «устроить судьбу» хорошо знакомого человека. Исключительные занятия, для которых предназначал его граф Ростопчин, требовали умения писать и знания иностранных языков, но не могли иметь особого влияния на управление столицею. Не таково было назначение Брокера, которому граф Ростопчин дал место третьего полицеймейстера в Москве.

Адам Фомич Брокер, швед по происхождению, начал службу во флоте; но потом, по желанию князя Безбородки, управлявшего вместе с Иностранною коллегиею и Почтовым департаментом, определён в Московский почтамт, которого начальником был И. Б. Пестель, получивший потом известность как Сибирский генерал-губернатор. Брокеру, исправлявшему должность экспедитора, удалось открыть важные

злоупотребления в Почтамте. «Отправляли чрез газетную экспедицию частные письма и посылки. Для них была учреждена особая приёмная, воровская экспедиция,» — говорит Брокер. Получив поощрение за свою деятельность, он продолжал её в том же направлении и при новом почт-директоре Ф. П. Ключарёве. Но в этом случае ему не посчастливилось, и он должен был выйти в отставку в 1810 году. Случайно познакомившись с отцом графа Ростопчина, он исполнял разные домашние его поручения и потом, когда граф Фёдор Васильевич поселился в Воронове и в Москве, Брокер сделался одним из близких ему людей также по частным, домашним и хозяйственным его делам. Конечно, и в этой деятельности граф Ростопчин мог заметить способности, распорядительность и честность Брокера; но едва ли при его назначении Московским полицеймейстером не было и других соображений. Брокер, считая себя обиженным по службе в Почтамте, конечно, был враждебно расположен к Ключарёву, а в его лице и вообще к обществу масонов, которого Ключарёв, воспитанник Шварца, близкий человек к Гамалее и Лопухину, был одним из видных представителей в Москве. Это чувство ненависти к масонам и было особою связью, соединявшею его с графом Ростопчиным, послужившею поводом к назначению его полицеймейстером в Москву. Граф Ростопчин, конечно, надеялся найти в нём способное орудие для того, чтобы проследить действия мартинистов и открыть предполагаемые им козни этих людей, которые, по его мнению, прикрываясь личиною благотворительности и благочестия, преследовали политические цели[19].

Чрез несколько дней после вступления в должность графа Ростопчина, его разбудили ночью известием, что приехал курьер из Вильны. Адъютант министра полиции Протасьев доставил ему рескрипт Государя, в котором возвещалось о мире, заключённом с Турками, поручалось об этом радостном событии объявить столице, совершить торжественное молебствие, но празднества, которые обыкновенно бывают в таких случаях, отложить до дальнейшего распоряжения. Поводом к этой отсрочке послужило то обстоятельство, что не было ещё получено ратификации мирного договора. Император получил её только в Смоленске, 9 июля, когда ехал в Москву после оставления Дрисского лагеря. «Известие о мире было принято, — говорит граф Ростопчин, — тем с большею радостью, что таким образом Дунайская армия освободилась и могла быть двинута также против Наполеона; а Турция вероятно доведена была до крайнего истощения, если решилась подписать мир, которым уступала России левый берег Дуная с Измаилом, Килиею, Аккерманом, Бендерами и Хотиным. Новая граница проходила в 24 вёрстах от Ясс, столицы Молдавии. — Народ, необ-

разованный и более или менее суеверный повсюду, считал хорошим предзнаменованием моё назначение и называл меня *счастливым.* Уже три недели как не было дождя; стояли страшные жары и угрожали таким же неурожаем, как в прошлом году. В тот самый день, как узнали в Москве о моём назначении, пошёл дождь и освежил землю, прожжённую солнцем. К дождю потом присоединилось известие о заключении мира с Турками. Эти два обстоятельства расположили ко мне всех тех, которые верят, что звезда одного человека может иметь влияние даже на атмосферу».

Общественное внимание было напряжено ожиданием известий о военных действиях; но война ещё не начиналась, известий из Главной квартиры не было никаких. В это-то время всеобщего ожидания весть о мире с Турками была принята с восторгом и праздновалась как бы победа над самим Наполеоном. Довольный тем впечатлением, которое он произвёл на жителей столицы, граф Ростопчин писал Государю: «Слава Всевышнему! Никогда известие о счастливом событии не приходило так кстати. Весть о мире получена мною 8-го июня в два часа по полуночи и в семь часов утра разнеслась уже по всему городу. Чтобы удовлетворить нетерпению тех, которые бегали за справками повсюду и к каждому, я приказал в полиции напечатать несколько сот экземпляров объявлений и раздавать их всем. Радость всеобщая. Это происшествие уже произвело два последствия. 7-го числа фунт кофе стоил 3 р. 50 коп., а вчера он продавался по 2 р. Червонец стоил 12 руб. 40 к., а теперь стоит 10 р. 90 коп. Появилось множество серебряных денег. Все стараются избавиться от них скорее, опасаясь понижения их цены. Простой народ говорит: "Все города теперь наши, где кровь христианскую проливали". Они разумеют Бендеры и Измаил, кровопролитные приступы которых производили такое сильное впечатление. Я распустил слух, что теперь Турки будут заодно с нами действовать, и сего дня утром меня уже известили, что слышали, как рассказывают мужики: "Турки покорились и дали нашему Государю подписку, что им платить дань – ежегодно по 20.000 голов Французских". Купцы радуются, потому что надеются свергнуть иго скупщиков. Дворянство гордится, и по праву, таким выгодным миром, заключённым, несмотря на препятствия и затруднения. Что же касается до меня, то я выигрываю более других: мир послужил хорошим предзнаменованием в начале моего управления, и как нарочно, дождь, которого так желали, прошёл два раза в продолжении недели. Я делаю *всё*, чтобы приобрести расположение всех для того, чтобы сделаться наиболее полезным для службы вашей и подготовить умы так, чтоб я мог ими воспользоваться в случае нужды. Два моих посещения часовни Иверской Божией Мате-

ри, свободный доступ ко мне каждому, поверка весов, 50 палочных ударов, данных в моём присутствии унтер-офицеру, состоявшему при продаже соли, который заставлял долго дожидаться мужиков, – всё это располагает ко мне ваших добрых и верных подданных. Протасьев увезёт с собою воспоминание об общем удовольствии и признательности Москвы. С нетерпением буду ожидать получения вашего приказания об обнародовании и праздновании мира. Я надеюсь, что Москва доставит содержание для обширного приложения к газете Козодавлева»[20]. Граф Ростопчин не дождался, однако же, этого приказания: оно прибыло вместе с неожиданным приездом Государя в Москву, и мир праздновался в его присутствии.

Около недели радовалась Москва известием о счастливом мире и строила различные предположения. Одни говорили, что это событие заставит Наполеона отложить войну и вступить в мирные переговоры; другие, и в их числе граф Ростопчин, предполагали, что весть о мире с Турками заставит его скорее начать военные действия, чтобы не дать времени Дунайской армии соединиться с нашими главными силами и таким образом подкрепить их. 17-го июня фельдъегерь привёз графу Ростопчину для обнародования императорский приказ армиям и рескрипт фельдмаршалу графу Салтыкову, подписанные в Вильне 13-го июня и на другой же день появившиеся в *Московских Ведомостях*[21]. В них объявлялось о вторжении неприятеля в пределы Империи.

Война, которой ожидали со времён Тильзитского мира, о которой так много говорили, которой боялись одни и употребляли все средства, чтобы отклонить или отсрочить её взрыв, и которой так желали другие, из области ожиданий и предположений перешла в действительность. Война началась, хотя ещё и не было пролито ни капли крови. В её значении нисколько не ошибалось общественное мнение: оно признавало её войною за существование, для которой не будет достаточно обыкновенных средств государства, но потребуются чрезвычайные, которую с успехом не может вести одно правительство, но необходимо будет участие в ней всего народа. «Нельзя уступать более, – говорит граф Ростопчин, – потому что уже стояли лицом к лицу с неприятелем. Император требовал помощи от дворян и купцов в миллион рублей для покупки быков. Они немедленно и с величайшею готовностью их собрали и доставили. Три дня спустя какие-то офицеры, посланные из Главной квартиры в Малороссию для образования казачьих полков, распустили слух, что, перейдя Неман, Наполеон так быстро подвигался, что занял уже и Вильну и едва не взял в плен нашу Главную квартиру. Начало печальное. К несчастью, эти известия были верны, и ничего нельзя было сказать против них. Я решился (и так поступал

во всё продолжение войны), при каждом неприятном известии, возбуждать сомнение в его справедливости. Это ослабляло впечатление, и прежде, нежели успевали удостовериться в справедливости одного известия, приходило обыкновенно новое, в котором также приходилось удостоверяться».

Правительственных известий о многих происшествиях вовсе не появлялось, о других они были кратки и неопределённы и потому мало внушали доверия. Слухи, часто, конечно, неверные, отовсюду приходили в Москву; в народной молве они преувеличивались и искажались и волновали общественное мнение. По мере распространения тревоги, усиливалась и бдительность графа Ростопчина. «Я преобразовал,— говорит он,— полдюжины шпионов, которые стоили дорого и были бесполезны в такое время, когда все испытывали страх, а общество тревожилось неизвестностью. Но мне необходимо было знать, какое впечатление на умы производят военные происшествия. С этою целью я воспользовался услугами трёх незначительных агентов; они-то, переодетые, постоянно проводили время, бродя по улицам, вмешиваясь в толпы, которые собирались в трактирах и кофейнях, и потом они являлись ко мне отдать отчёт и получить наставления о том, чтобы распустить по городу какой-нибудь слух, или для того, чтобы поддержать воодушевление в народе, или чтобы ослабить впечатление какого-нибудь неприятного известия».

Но кроме этих мелких шпионов граф Ростопчин употреблял и других для наблюдения за людьми, которые принадлежали к образованным сословиям, но которых он считал опасными в политическом смысле. Но кто же были эти люди? Масоны, Мартинисты, Иллюминаты, Якобинцы. На этих людей граф Ростопчин смотрел точно так же, как граф де Местр и иезуиты, смешивая всех их в одном общем понятии о вредных в политическом отношении людях, за которыми следует зорко наблюдать, которых необходимо преследовать. В первом же по принятии должности письме к Государю, он указал на Семена и Алларта, как на опасных иллюминатов. «Общество мартинистов,— говорит он,— началось в 80 годах. Некто Шварц, профессор, немец по происхождению, положил первые ему основания и привлёк в него многих. После его смерти, Новиков, дворянин в отставке, умный человек, образованный, но с состоянием совершенно расстроенным, сделался главою секты. Он увеличил число членов, расширил сношения, купил большой дом, в котором устроил типографию для печатания мистических книг, написанных по-русски или переведённых. Он выбрал несколько студентов университета, чтобы обратить их в своих членов, и отправлял их на счёт общества для окончания наук в чужие

края. Карамзин, историограф, который в это время был ещё очень молод, находился в их числе; но по возвращении из-за границы, его здравый смысл и романические склонности заставили его отказаться от этого общества, которое весьма его ценило. На это собрание Мартинистов не обращали особенного внимания; они отличались благотворительностью и добрыми делами и потому вместо подозрений возбуждали признательность и уважение. Но письмо известного Вейсгаупта, не знаю по какому случаю, попалось в руки императрицы Екатерины. Оно надписано было на имя Новикова и заключало несколько таинственных выражений. Так как виды и цели иллюмината Вейсгаупта были уже известны в это время, то это письмо заставило обратить на них внимание и прибегнуть к строгим мерам. Послано было приказание к князю Прозоровскому, тогдашнему Московскому генерал-губернатору (в 1790 г.), вследствие которого отправлен был офицер с казаками в деревню к Новикову, чтобы его арестовать, привезти в Москву и захватить все его бумаги. Не много стоило труда офицеру исполнить возложенное на него поручение. Он нашёл Новикова в полночь, окружённого несколькими молодыми людьми, которые слушали его с почтением. Прежде нежели отправиться, он дал им некоторые советы, как они должны вести себя и оставил их обливающихся слезами. Так как он не хотел представить князю Прозоровскому никаких объяснений, то был отправлен в Петербург и посажен в Шлиссельбургскую крепость, где и находился до самого восшествия на престол Павла I. Главнейшие члены этой секты, князь Трубецкой и Лопухин, были высланы из столицы. Эту секту осмеяли, даже на театре; она рассеялась, замолкла, но не уничтожилась. Её представителем у императора Павла, когда он был ещё великим князем, был Плещеев, человек умный и замечательный во многих отношениях, который под личиною благочестия был Мартинистом во глубине души. Секта заявила своё существование с восшествия на престол Павла I. Плещеев немедленно выписал из Москвы Лопухина, который и сделан был статс-секретарём, и одного приходского священника, хорошего проповедника и старинного Мартиниста, чтобы определить его духовником к императору; но это не удалось. Павел охладел к секте и, казалось, не обращал на неё внимания; но, допуская её существование, он дал ей время, во всё продолжение своего царствования, размножаться. С восшествием на престол в 1801 году императора Александра эта секта становилась грозною под покровительством Кошелева, человека упрямого, ограниченного, тщеславного, который при жизни хотел слыть государственным человеком, а по смерти святыми. Он совершенно овладел душою князя Голицына, человека светского, великого шутника, и когда он сделан

был министром просвещения и исповеданий, тогда, опираясь на этих двух апостолов, мартинизм поднял голову и под рукою преследовал всех тех, которые считали это общество шайкою плутов и толпою обманутых. В Москве было несколько сенаторов в числе членов этого общества, но наиболее деятельными и влиятельными были Ключарёв и Кутузов. Первый низкого происхождения*, будучи первоначально выгнан из службы за воровство, достиг до того, что получил место почт-директора в Москве. Император относился к нему благосклонно; он был умён, но без убеждений, груб, корыстолюбив. Подчинённые его ненавидели».

Этих-то людей, последних представителей Новиковского общества, из которых некоторые действительно увлекались мистическими теориями, большая же часть посещали масонские собрания просто от нечего делать, людей мирных, граф Ростопчин считал политическою партиею, чуть не заговорщиками, способными на государственное преступление и даже измену**. Он поставил себе целью во что бы ни стало открыть их козни и помешать исполнению их преступных намерений. Гоняясь за призраком, он, конечно, не имел повода начать преследование, а между тем самое это неимение повода приписывалось их хитрости: они притаились и притихли с целью присмотреться к его управлению и потом, соображаясь с ним, начать свои действия, как писал он Государю, едва вступив в должность Московского генерал-губернатора.

Вдруг, неожиданно для всех москвичей, 3 июля появилось следующее объявление: «Московский военный губернатор граф Ростопчин сим извещает, что в Москве показалась дерзкая бумага, где между

---

* Из крестьян графа Шереметева (слышано от покойного М. А. Дмитриева *(прим. П. И. Бартенева)*.

** Конечно, граф Ростопчин ни о ком и ни о чём не мог говорить иначе, как с горячностью; но кажется нам, что автор слишком уже недоверчиво относится к его отзывам и мнениям о Мартинистах. Граф Ростопчин, при Павле, мог близко видеть, что такое Мартинисты и как они падки к власти; а что при Александре они имели великое значение и притом во всё продолжение его царствования, это несомненно. Мог ли граф Ростопчин равнодушно относиться, например, к тому, что Государь, отправляясь в поход 1805 года, ездил благословляться к Кондратию Селиванову, лжехристу и лжецарю, находившемуся под особым покровительством обер-прокурора Св. Синода и того же Р. А. Кошелева? (См. *Записки* Лубяновского в *Русском Архиве*, 1872, стб. 475). В такое народное время, как 1812-й год, можно ли было не остерегаться людей образованных, но по самому учению секты своей отрешавшихся от всякой народности? *(прим. П. И. Бартенева)*.

прочим вздором сказано, что Французский император Наполеон обещается через шесть месяцев быть в обеих Российских столицах. В 14 часов полиция отыскала и сочинителя, и от кого вышла бумага. Он есть сын Московского второй гильдии купца Верещагина, воспитанный иностранным и развращённый трактирною беседою. Граф Ростопчин признаёт нужным обнародовать о сём, полагая возможным, что списки сего мерзкого сочинения могли дойти до сведения и легковерных и наклонных верить невозможному. Верещагин же сочинитель и губернский секретарь Мешков, переписчик их, преданы суду и получат должное наказание за преступление. Я нужным почитаю приложить при сём точные копии с обеих дерзких бумаг. 1) *Письмо Наполеона к Прусскому королю.* Ваше Величество! Краткость времени не позволила мне известить вас о последовавшем занятии ваших областей. Я для соблюдения порядка определил в них моего принца; будьте уверены, Ваше Величество, в моих к вам искренних чувствованиях дружбы. Очень радуюсь, что Вы, как курфюрст Бранденбургский, заглаживаете недостойный Вас союз с потомками Чингисхана желанием присоединиться к огромной массе Рейнской монархии. Мой статс-секретарь пространно объявит Вам мою волю и желание, которое, надеюсь, Вы с великим рвением исполните. Дела моих ополчений зовут теперь меня в мой воинский стан. Пребываю Вам благосклонный Наполеон. 2) *Речь, произнесённая Наполеоном к князьям Рейнского союза в Дрездене.* "Венценосные друзья Франции! Дела в Европе взяли другой оборот. Повелеваю, как глава Рейнского союза, для общей пользы, удвоить свои ополчения, приведя их в готовность пожинать лавры под моим начальством на поле чести. Вам объявляю мои намерения: желаю восстановления Польши; хочу исторгнуть её из неполитического существования и возвести на степень могущественного государства; хочу наказать варваров, презирающих мою дружбу. Уже берега Прегеля и Вислы покрыты орлами Франции. Мои народы! Мои союзники! Мои друзья! Думайте со мною одинаково. Я хочу и поражу древних тиранов Европы. Я держал своё слово и теперь говорю: прежде шести месяцев две северные столицы Европы будут видеть в стенах своих победителей Европы"»[22].

Граф Ростопчин, придавая чрезвычайную важность этому открытию, немедленно приступил к строгому следствию и уведомил о том министра полиции, графа Н. И. Салтыкова и самого Императора. «Из донесения моего по министерству полиции к главнокомандующему в Петербурге ваше сиятельство усмотрите, — писал он графу Салтыкову, — какое злое намерение имел купец Верещагин и посему с кем он мог иметь сношения и связи. При следствии сего дела открылось весь-

ма странное. Когда полицеймейстер Дурасов послан был в Почтамт для узнания и изобличения того, кто ему, по словам его, дал газету, с коей он будто сделал перевод, то почтамтский экзекутор Дружинин грубым образом не пустил полицеймейстера в газетную, объявя, что без воли почт-директора полиция быть допущена не может. Потом сам почт-директор объяснил, что должно с них спрашиваться и, узнав, что Дурасов привёз с собою Верещагина узнавать, кто ему дал газеты, вошёл в разговор и, взяв Верещагина в другую комнату, был там с ним наедине. Вышед вон, говорил, что я верно, из уважения к молодости Верещагина, прощу его вину и что его дарования могут быть употреблены с пользою. По возвращении Верещагина из Почтамта, он не переставал уверять, что он сочинил прокламацию сам и без всякого совета. На другой день, когда обер-полицеймейстер ездил к Верещагину в дом обыскивать, то по окончании, шедши мимо мачехи, он ей что-то тихо сказал. Мачеха объявила, что он ей шепнул: "Не беспокойтесь за меня, Фёдор Петрович Ключарёв вступится", что Верещагин подтвердил и обер-полицеймейстеру. Я писал к Ключарёву, не имеет ли он какого предписания от начальства, чтоб не допущать полиции исполнять повеления начальников Москвы? Он отвечал мне, что приказаний особых нет, но что управляемый им Почтамт исполняет требования по его приказанию. Я прошу ваше сиятельство удостоить внимания содержание этого письма и потом решить, может ли при теперешних обстоятельствах Ключарёв занимать место почт-директора в Москве»[23].

При сличении этого письма с тем объявлением, которое приведено выше, представляется вопрос весьма важный для определения вины Верещагина и действий графа Ростопчина по этому делу: сочинил ли Верещагин эти бумаги и распространил их списки, или он только перевёл их из иностранных газет? В наше время, без сомнения, не могло бы и представляться такого вопроса; подлинность обоих документов известна: они в своё время были напечатаны в газетах[24]. Сам Наполеон желал придать им гласность с тем, чтобы унизить в глазах Европы Прусского короля и показать, в какой зависимости от него находится вся Германия. Но в то время иностранные газеты не были распространены в обществе; их получали немногие, и притом те листы, в которых печатано что-либо неблагоприятное о России, постоянно задерживались и не пускались в общий оборот. Поэтому в обществе, особенно в первое время, тут ещё возможно было возникнуть сомнению. Но мог ли сомневаться граф Ростопчин? Если бы даже в первое время открытия этих бумаг ему и не были известны их подлинники, то самый их склад и содержание явно обнаруживали, что это были простые переводы с иностранных подлинников. В письме к графу Салтыкову граф

Ростопчин, хотя и не выдаёт Верещагина за сочинителя этих бумаг, но как будто выражает сомнение, что они переведены из иностранных газет. Но главное то, что он предполагает злой умысел с его стороны и какие-то таинственные связи. Перед Государем он выражает свои мысли яснее. «Вы увидите, Государь, – писал он, – из моего донесения к министру полиции, какого откопал я здесь злодея. Это открытие успокоило тех, которые легко пугаются. Я знаю, Государь, и ваше милосердие, и вашу ангельскую доброту; знаю, что вы прощаете всякие лично вам нанесённые оскорбления, будучи слишком велики для того, чтобы оскорбляться; но сочинитель (l'auteur) прокламации от имени врага своего отечества и в начале войны есть изменник и государственный преступник. Так он будет судим и наказан по законам. Его пример заставит задуматься тех, которые бы захотели ему подражать. Этот презренный 23 лет от роду и был воспитан в доме своего отца Силезцем Клейном (?)[25], великим Масоном и Мартинистом, как доказывают его сочинения и книги, оставшиеся после его смерти. Поведение г. Ключарёва во время следствия, которое было произведено в Почтамте, тайный его разговор с преступником, обещание, которое он дал ему, что будет ему покровительствовать и т. п. всё это должно вас убедить, Государь, что Мартинисты суть ваши тайные враги, от которых умышленно было отклонено ваше внимание. Не дай Бог, чтобы здесь произошло волнение в народе; но если бы это случилось, то я наперёд уверен, что эти лицемеры Мартинисты явятся открытыми злодеями. Они притворяются смиренниками, чтобы возбуждать беспорядки»[26]. Спустя четыре дня, он снова писал к Государю: «Открытие сочинителя так называемого обращения Наполеона к князьям Рейнского союза вынудило меня немедленно отправить курьера, чтобы испросить повелений Вашего Императорского Величества. Не считаю нужным ни усиливать преступления этого человека, ни доказывать необходимость грозного примера для народа и особенно для некоторых тайных злодеев. Этот Верещагин, сын купца 2-й гильдии и записан вместе с ним, поэтому изъят от телесных наказаний. Его дело не может долго продолжаться в судах; но оно должно поступить в Сенат и тогда затянется надолго. Между тем надо поспешить произведением в исполнение приговора, ввиду важности преступления, колебаний в народе и сомнений в обществе. Я осмелюсь предложить Вашему Императорскому Величеству средство согласить правосудие с вашею милостью: прислать мне указ, чтобы Верещагина повесить, возвести на виселицу и потом сослать в Сибирь в каторжную работу. Я придам самый торжественный вид этой экзекуции, и никто не будет знать о помиловании до тех пор, пока я не произнесу его»[27]

Конечно, Государь отклонил средство согласить правосудие с милостью, придуманное графом Ростопчиным. Между тем в обоих этих письмах граф считает Верещагина сочинителем бумаг*; в *Записках* же своих о 1812 годе он говорит: «Верещагин не признался, от кого он получил эту бумагу, которая не могла быть сочинена им. Он говорил, что перевёл её из польской газеты, но по-польски он не знал».

Внимание Москвы в это время, по свидетельству самого графа Ростопчина, было обращено на военные действия; она томилась неизвестностью о том, что делается на границах империи, с жадностью ловила и разносила всякую весть, приходившую оттуда. Переход неприятеля через Неман, занятие Вильны, отступление наших войск,– всё было предметом толков и рассказов. Потом, говорит граф Ростопчин, «новость, которая особенно всех занимала, был укреплённый лагерь при Дриссе. Одни полагали, что это преграда, которая остановит движение Наполеона; другие рассчитывали, сколько нужно продовольствия для содержания 300-тысячной армии, сосредоточенной в укреплениях. Люди, понимавшие военное дело, ничего не могли объяснить; что же касается до меня, то я не находил никаких разумных причин поставить войска в бездеятельное положение, за укреплениями, в самом начале военных действий, и открыть всю страну неприятелю, который свободно мог двинуться, куда бы ни пожелал. Скоро потом узнали, что Дрисский лагерь был оставлен, что мысль укрепиться в нём принадлежала некоему Пфулю, Пруссаку, служившему в армии ещё Фридриха Великого и потом генерал-лейтенантом Русской службы, дававшему уроки тактики Императору Александру в первые годы его царствования. Так как Московское общество очень расположено к подозрениям и щедро на прозвища, то этого несчастного Пфуля сразу прокликали изменником».

В таком-то положении дел, когда вести о войне ловились с жадностью и повторялись повсюду, 23-летнему образованному** юноше, попался в руки листок иностранной газеты, в котором он прочёл два любопытные документа и перевёл их, чтобы поделиться новостью с своими знакомыми. Ничего не могло быть естественнее этого поступка. Если распространение этих бумаг и могло считаться в то время неуместным,

---

* Основываясь на тогдашнем показании самого Верещагина, см. выше с. 376 *(прим. П.И. Бартенева).*

** Откуда автор знает про образованность Верещагина? Что его учил Силезец Клейн и что Верещагин, может быть, только мараковал по-немецки, это ещё ничего не значит. По образцам позднейшим мы, напротив, можем предполагать в Верещагине не образованность, а весьма нескладное обезьянство европейства *(прим. П.И. Бартенева).*

хотя уже обнародовались известия о военных действиях, то во всяком случае неумышленный и не причинивший никакого вреда поступок Верещагина мог считаться не более как простым неважным проступком. Каким же образом, может быть и легкомысленный юноша превратился в глазах графа Ростопчина в *злодея и предателя*, и полицейский проступок в *государственное преступление и измену*?

Граф Ростопчин предполагал существование заговора Мартинистов и, преследуя не существовавший призрак, созданный его воображением, думал, что в лице Верещагина напал на следы этого заговора.

Но какое же впечатление произвело на Москву происшествие с Верещагиным? «Читая эти бумаги,— говорит один современник,— с первых строк можно было заметить, что 20-летний купеческий сын, Верещагин, от какого бы иностранца ни получил и какою бы трактирною беседою развращён ни был, таких бумаг не пишет; а потому и объявление это главнокомандующего Москвою всем показалось ложью, что, конечно, не могло поселить к нему ни доверия, ни искреннего уважения... Впрочем, бумаги сии и сами по себе не сделали особенного впечатления в народе. Народ говорил: "Мы, де, русские и должны держаться русской пословицы: "Бог не выдаст, свинья не съест", и не знали, чему дивиться: дерзости ли Наполеона, которую оказывал к венценосным друзьям своим, или кротости и снисхождению сих венценосных его друзей»[28].

Но хотя некоторые и так смотрели на это дело, но другие, и вероятно большинство, встретили приветливо новое выражение деятельности генерал-губернатора, оберегающего безопасность столицы от гнездившихся в ней самой врагов, и он был прав, донося Государю, что задержание Верещагина успокоило трусливость. С. Н. Глинка написал и напечатал в честь его хвалебный гимн, в котором, называя его вторым Еропкиным, говорил:

Твоя заботы, попеченье,
День каждый чувствует сей град,
Гласит тебе благодаренье,
Хвалу ж тебе дела гласят.
Ты неусыпен дни и ночи;
В пример себе монарха взяв,
Ты всюду простираешь очи,
Где есть источники отрав.
Открыл плоды ты развращенья,
Сплетенье вымыслов пустых,
Плоды нерусского ученья,
Плоды бесед и обществ злых[29].

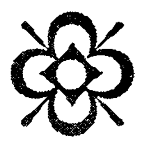
Граф Ростопчин, ревностно производя следствие о Верещагине, был очень доволен, узнав в это время, что одно из его донесений, именно о докторе Сальваторе, было уважено Императором. Он получил от Вязмитинова, управлявшего министерством полиции в отсутствие Балашёва, указ не выдавать доктору заграничного паспорта и задержать его самого. «Я удержал паспорт,— писал он Императору,— который уже был испрошен для него и прислан. Но этот негодяй не оставляет графа Гудовича. Он нанял его за 3000 рублей серебром, чтобы он сопровождал его повсюду. Старик убеждён, что он согласился на это из благодарности и привязанности к нему; но мне известно, что Сальватор очень беспокоился, долго не получая паспорта и решился сопровождать фельдмаршала в его Каменец-Подольское имение для того, чтобы находиться поближе к границе и удобнее уйти. Фельдмаршал остаётся ещё дней 15 в своей подмосковной деревне, в 35 верстах от столицы. Сальватор часто приезжает сюда по своим частным делам. Лишь только он предпримет подобную поездку, как Яковлев, которому одному я вверил эту тайну, вместе с полицейским офицером, схватит его в некотором расстоянии от Москвы и прямо оттуда с этим офицером, который будет снабжён нужными наставлениями, отправит его в Пермь. Что касается до его бумаг, то Сальватор слишком большой плут, чтобы сохранять какие-нибудь бумаги. Когда поездка далеко от Москвы сделается известна через несколько дней, я уверен, что все честные люди будут очень довольны»[30].

В то время, как граф Ростопчин намеревался привести в исполнение своё предположение, неожиданно он получил из Смоленска следующее письмо от графа Аракчеева:

«Его Императорское Величество высочайше повелел мне отправить к вашему сиятельству адъютанта моего, барона Тизенгаузена, и уведомить ваше сиятельство о нижеследующем:

1. Сего числа Государь Император получил ратификацию Турецкого султана; следовательно теперь мир с Турциею совершенно окончен.

2. Завтра поутру Государь Император изволил выезжать отсюда в Москву и просит ваше сиятельство, дабы вы 11 числа сего месяца, т.е. в четверг, пополудни, выехали сами, одни, навстречу Государю, на последнюю станцию»[31].



Глава 2

Отступление 1-й армии от Дрисского лагеря к Полоцку. – Отъезд Александра I из армии, его пребывание в Смоленске. – Император Александр в Москве. – Приём дворянства и купечества в Слободском дворце. – Рязанские депутаты. – Великая княгиня Екатерина Павловна. – Организация ополчения. – Решение по Дунайской армии. – Меры по обороне Петербурга.

Император следовал с войсками, выступившими из Дрисского лагеря, к Полоцку; но, не доезжая нескольких вёрст до этого города, он остановился в деревне Ляхове. Там он подписал воззвание к Москве и манифест об ополчении и отправил их с генерал-адъютантом князем В. С. Трубецким к графу Ростопчину для обнародования. Поездка в Москву была делом решённым; но для Государя не был ещё решён вопрос: немедленно ли он отправится туда или несколько дней спустя. Его занимала мысль о соединении армий: где и когда успеет Багратион соединиться с 1-ю армиею и даже успеет ли? «Всё у нас продолжает идти, благодаря Всевышнему, порядочно, – писал он графу Салтыкову. – Неприятель тянется на наш левый фланг; а мы стараемся перед ним быть. Князь Багратион с начала самого замешкался и дал себя предупредить в Минске. Даже и после промедления своего, мог бы он быть в Минске, по собственным его рапортам, 27 июня. Неприятель же вступил в сей город 26-го, но в весьма малом числе, так что, продолжая быстро свой марш на сей пункт, Багратион несомненно из оного его бы вытеснил. Вместо того пошёл он на Несвиж и Бобруйск, что составляет весьма дальний и ненужный обход, удаляющий его от 1-й армии. Как нельзя полагать, чтобы здесь так скоро могло важное произойти, я сегодня в ночь поеду к Багратиону, дабы ускорить его движение. Если же в Смоленске получу я сведения, что он на настоящем направлении и быстро идёт, то я воспользуюсь сим временем съездить на несколько дней в Москву, дабы устроить там новые войска и поджечь тамошний дух. Сия поездка может продолжиться до десяти дней; потом обстоятельства решат, куда я устремлюсь»[1].

Недовольные ходом военных дел с самого начала кампании радовались, что оставлен был Дрисский лагерь, что Император решился

предоставить полную власть главнокомандующему и тем возложил на него и ответственность за действия, что он ехал в средоточие России, в Москву, чтобы поднять дух своего народа и призвать его на защиту Отечества. Но в то время, когда Государь решился ехать в Москву, его внимание обращалось к войскам, которые он оставлял. Он намеревался ехать из Смоленска во 2-ю армию, чтобы ускорить её движение. Ещё накануне приезда в Ляхово, он написал несколько приветливых строк к Барклаю, как бы желая поднять его дух: «Я приношу самые тёплые молитвы, генерал, чтобы все ваши предположения обратились к славе Отечества и вашей личной. Для того, чтобы награждать, я только буду ожидать ваших представлений, и всякий получит то, что вы назначите»[2]. На другой день из Ляхова Император писал: «Прежде, нежели уеду отсюда, пишу вам, генерал, с тем, чтобы выразить вам, до какой степени я полагаюсь на вас, на ваши заслуги и уверен, что вы оправдаете мою совершенную доверенность к вам». Императора не оставляло желание руководить военными действиями. «Если Витгенштейн останется без действия, не имея перед собою неприятеля, то не лучше ли быстро двинуть его на Макдональда и освободить Ригу, если она будет осаждена?» Но это предположение Император сообщает главнокомандующему в виде вопроса, прибавляя: «это я предоставляю совершенно на ваше усмотрение», и советует только стараться о том, чтобы иметь постоянные сведения о положении Риги. В этом же письме Император уведомляет Барклая, что назначил генерал-адъютанта Кутузова* начальником своей Главной квартиры и свиты во время своего отсутствия. «Завтра он явится к вам, чтобы выслушать ваши приказания и действовать согласно с ними. Поручите начальнику вашего штаба давать ему всякий раз надлежащее наставление»[3].

За Императором отправились в Москву только граф Аракчеев, Балашёв, Шишков, генерал-адъютант князь В.С. Трубецкой и флигель-адъютант Чернышёв. Все прочие лица его Главной квартиры и свиты, не исключая Пфуля и Вольцогена, оставались при войсках. Назначение их начальником Кутузова показывало, что Император только на короткое время оставлял войска и снова намерен был возвратиться к ним.

В время переезда от Дрисского лагеря до Ляхова Император испытал противоположные впечатления. Он был чрезвычайно доволен, встретив полк полковника Бистрома, который шёл в совершенном порядке. «Даю вам честное слово, – писал он Барклаю де Толли, – что

---

* Павла Васильевича *(прим. П.И. Бартенева).*

в Петербурге на плац-параде нельзя бы встретить большего порядка. Выправка удивительная, и ни одного отсталого». Император поручал ему заявить об этом с похвалою в приказе; но в то же время писал, что на него произвело неприятное впечатление встречать по дороге отставших от войск мародёров «в самом отвратительном виде». «Пожалуйста, генерал (просил он главнокомандующего), постарайтесь уничтожить это ужасное зло. Я обращаю на это ваше внимание, зная вашу ревность к общему благу»[4]. Император выехал из Ляхова на Невель, где встретил и смотрел войска, шедшие на подкрепление 1-й армии, оттуда поворотил на Сеньково, первую станцию от Великих Лук к Смоленску, и поехал в этот город[5]. Сопровождавшие его лица ехали прямо из Полоцка в Смоленск. При въезде в пределы этой губернии, их не могло не поразить новое, не встречавшееся до того явление. «Сначала проезжали мы деревни совершенно пустые, — говорит Шишков, который ехал вместе с князем Волконским вслед за Государем, — в которых не только людей, даже никаких животных не видали; потом начало становиться несколько живее. Наконец, по приезде в Смоленск, где мы нашли ещё Государя, предстало очам нашим великое множество народа и разных чинов отставных дворян»[6] Дворяне собрались в городе и за два дни ещё до приезда Государя составили прошение на его имя, в котором испрашивали дозволения вооружиться самим и вооружить своих крестьян в числе 20 тысяч человек. «Сии защитники Отечества, — писали они, — назначенные по городам и уездам, оставаться могут при своих жилищах до востребования к тому месту Смоленской губернии, где настоять будет нужда или опасность, куда из ближних уездов подоспеть могут в самое короткое время, а из дальних на своих подводах в три дня, каждый с провиантом, который в сухарях или крупе собственной в заготовлении для сего имеет быть на месяц; а по востребованию из уездов будут охранять оные от малых неприятельских партий. Если розданы будут ружья со штыками, пули и порох, то искусные и мужественные штаб-офицеры, живущие по губернии в деревнях своих, могут, при свободном времени, обучать надлежащей стрельбе, действовать штыком, способному и скорому движению, а до получения ружей дозволить разобрать хотя оставшиеся от милиции пики, сколько их находится по городам в ведении городничих»[7].

В то время, когда дворянство испрашивало дозволения составить народные ополчения, народонаселение ближайших к поприщу военных действий уездов уже оставляло свои сёла и деревни, уходило далее вглубь России или скрывалось в лесах с своими семьями и всем имуществом и вооружалось, чем могло.

Не доезжая до Смоленска, Государь получил прошение дворян. Занятый мыслью поднять народ в помощь войскам для совокупного действия против неприятеля, он, конечно, был доволен, что само дворянство первой из чисто русских губерний выступило вперёд с таким предложением. На последней станции перед Смоленском другая утешительная весть встретила Императора: он получил донесения из 2-й армии, в которых князь Багратион и начальник его штаба генерал Сен-При уведомляли о выступлении 2-й армии из Бобруйска к Могилёву. «Прибытие в Могилёв,— писал князь Багратион,— укажет мне новый путь, на котором равно буду иметь в виду поражение неприятеля, предупреждение его через Оршу на Смоленск и соединение с 1-ю армиею». Генерал Сен-При писал Государю, что «быстрота движений 2-й армии, три раза одержанные ею победы над авангардом Вестфальского короля, вывели её из опасности, которая ей угрожала. Со стороны Минска неприятели находились уже в 40 вёрстах от Бобруйска, а со стороны Пинска в 50 вёрстах от Мозыря. Через несколько дней нам пришлось бы отступать в одном из этих направлений, в виду неприятеля, который шёл бы по нашим пятам. Прибытие армии в Бобруйск изменило положение дел. Перейдя уже Березину, мы сами можем, двигаясь на Могилёв, угрожать тылу тех войск, которые направились бы на Оршу. Завтра, несмотря на усталость людей и лошадей, мы усиленными переходами двинемся двумя колоннами. Платов будет прикрывать наше левое крыло и пойдёт между Березиною и большою дорогою в Могилёв. 2-я армия двинется прямо из Бобруйска на Старый Быхов и Могилёв, куда придёт в четыре перехода»[8].

Эти известия послужили поводом к тому, что Император отложил поездку во 2-ю армию и прямо из Смоленска отправился в Москву.

Смоленск предчувствовал грозившую ему беду и готовился к ней. В тот день (7 июля), когда дворянство составило прошение к Государю, горожане подняли чудотворную икону Смоленской Богоматери из Успенского собора и перенесли в Думу, где отслужена была всенощная. На другой день с этою иконою совершён был крестный ход вокруг стен города. На следующий день (9 июля), в 10 часов утра, прибыл Император в Смоленск и восторженно был встречен многочисленным народом, собравшимся в городе. Войдя в приготовленный для него дом, он принял чиновников и представителей дворянства, поблагодарил последних за добровольный вызов ополчиться против неприятеля и вооружить народ, что совершенно совпадало с его собственными намерениями, отправился в собор, потом осматривал войска, составлявшиеся в Смоленске. Возвратившись в свою

квартиру, Император собственноручно написал несколько правил о составлении ополчения и передал их потом губернатору для руководства:

«1) Лесничие, умеющие стрелять и ездить верхом составят конных егерей. 2) К ним можно присоединить господских егерей, знающих верховую езду. 3) Из псарей, конюхов составить казаков и вооружить их пиками. 4) Из умеющих стрелять, но пеших, составить егерей и вооружить охотничьими ружьями. 5) Из прочих составить пешее войско и распределить для обучения по резервным батальонам, собирающимся в Смоленске».

В то же время епископу Смоленскому Иринею Император написал следующий рескрипт: «Узнав, что некоторые поселяне и жители, оставляя поля и работы свои, скрываются и бегут от малочисленных неприятельских разъездов, появляющихся в далёком ещё расстоянии от Смоленска, возлагаем мы на вас пастырский долг внушениями и увещеваниями своими ободрять их и не токмо отвращать от страха и побега, но, напротив, убеждать, как того требует долг и вера христианская, чтоб они, совокупясь вместе, старались вооружиться чем только могут, дабы не давая никакого пристанища врагам, везде и повсюду истребляли их и вместо робости наносили им самим великий вред и ужас»*.

В то время, когда Император занимался в кабинете соображениями о Смоленском ополчении, приехал нарочный из Бухареста и привёз ратификации мирного договора России с Оттоманскою Портою, заключенного графом Кутузовым. Эта третья приятная весть, полученная Императором со времени отъезда из армии, естественно, произвела на него сильное впечатление. Зная предположения адмирала Чичагова, свои не вполне решительные ему предписания, посланные из лагеря при Дриссе, он мог ещё сомневаться в том, будет ли этот мирный договор утверждён султаном. Теперь рассеялись сомнения. Император вышел из кабинета в залу, чтобы сообщить радостную весть, которой с нетерпением ожидала вся Россия; но зала была пуста. Все удалились, зная, что Государь занят делами. Случайно ещё находился в ней городской Смоленский голова. Государь обнял его, сообщил о заключении мира с Турциею и при том прибавил: «славного мира», поручил ему объявить это народу, окружавшему многочисленными толпами дом, который занимал Государь, и распорядился, чтобы в соборном храме приготовились торжественно служить бла-

---

* Указ преосвященному епископу Смоленскому и Дорогобужскому Иринею; 9 июля 1812 года, Смоленск *(прим. ред.)*.

годарственный молебен. Громкое *ура* оглушительными перекатами долго раздавалось по городу, когда городской голова объявил от имени Государя радостную весть. После благодарственного молебна в соборном храме, около вечера в тот же день Император поехал в Москву[9], уведомив о полученных ратификациях канцлера, который находился в Великих Луках и вёл переговоры с Зеа-Бермудецом, уполномоченным от Испанского правительства короля Фердинанда[10] и отправил следующее письмо к Барклаю де Толли:

«Извещаю вас, генерал, что разменены ратификации мирного договора с Турками в Бухаресте. Я получил уже ратификацию султана. Итак, мир заключён, и я служил торжественный молебен в Смоленске. Объявите об этом войскам и также распорядитесь, чтобы отслужен был благодарственный молебен. На последней станции перед Смоленском я получил донесения князя Багратиона. Я надеюсь, что сегодня Платов будет в Могилёве, а за ним приблизится и 2-я армия. Между тем я счёл нужным образовать обсервационный корпус перед Смоленском. Я составил его из четвёртых батальонов резерва в числе 17, а именно: 2 из Белой, 6 из Вязьмы, 4 из Дорогобужа и 5 из Рославля, – и 8 эскадронов: 4 из Дорогобужа и 4 из Рославля. Я присоединил к ним 4 роты артиллерии, которые составлялись в Смоленске. Начальство над этим корпусом я вверил моему генерал-адъютанту барону Винцингероде; он будет прикрывать Смоленск и поддерживать сообщение между нашею армиею и армиею князя Багратиона. Сверх того Смоленское дворянство вызвалось мне составить корпус из 20 тысяч человек, пехоты и конницы. Хотя губернатор и говорит, что число несколько преувеличено; но отвечает, однако же, что состав этого корпуса достигнет до 15 тысяч, а этого уже будет достаточно. Это ополчение составит подкрепление к корпусу Винцингероде. Он желает только, когда подойдёт Платов, чтобы он оставил ему один казачий полк на время, пока он не обучит своих конников, которые все из новобранцев. Многие из отставных, служивших в военной службе дворян Смоленской губернии, изъявляют желание вступить на службу в этот корпус. Между прочим, генерал-майоры Пассек и Пон-де-Руа. Последний хорошо служил в артиллерии и управлял потом Охтенским пороховым заводом. Он зять Сухтелена. Пришлите, прошу вас, моего флигель-адъютанта Бенкендорфа в Смоленск, чтобы он состоял при Винцингероде, у которого никого нет, кто бы мог помогать ему и служить его адъютантом»[11].

В приведённом письме Императора к графу Салтыкову из Ляхова, он писал, что его поездка в Москву продолжится не более десяти [дней], а затем *обстоятельства решат*, куда направит он свой путь.

Император Александр I обладал особенным свойством чутко относиться к историческому движению жизни, понимать *обстоятельства* и покоряться им, не покидая деятельного в них участия и продолжая, вместе с ними и руководя ими, идти к общей цели. Это свойство совершенно противоположно свойству его противника, который не только мнил создавать сам современную ему историю, но и пересоздавать прошлую по своему произволу.

В Смоленске обстоятельства сложились так, что определили поездку Государя прямо в Москву, с предоставлением князю Багратиону самостоятельно действовать в указанном ему направлении. Эти же обстоятельства определили взгляд Государя на будущее назначение Дунайской армии. Удаляясь от войск, он предполагал, однако же, что разлучается с ними ненадолго; но в Москве обстоятельства указали ему, что он должен был удалиться ещё более от армии, ехать в Петербург и в Або и оставить армию уже надолго.

Пребывание в Смоленске подняло и оживило и унылого государственного секретаря. Всеобщее оживление подействовало на него. «Тут, — говорит Шишков, — смотря на мужественный дух и пылающее рвение, возродилась во мне исчезнувшая надежда, и я, в восторге души моей, сам себе сказал: нет, Бог милостив, Россия не погибнет! Одно только меня смущало: почти все приходившие ко мне дворяне говорили единогласно, что если дадут им предводителя, то они охотно ему повиноваться будут, лишь бы только это был Русский; но в то же время назначен предводительствовать ими, не знающий ни слова по-русски, иностранец Винцингероде»[12].

Между тем в Москве всё было спокойно. Ходили неопределённые толки, известий о военных действиях никаких не получалось. Успокоился по-видимому и граф Ростопчин. «Моя жена, — пишет он, — возвратилась из путешествия в Петербург, куда ездила для свидания с родственниками. Мы поселились на даче недалеко от городской заставы (в Сокольниках), где, *по-видимому*, проводим спокойную жизнь». Хороший семьянин, каким был граф Ростопчин, конечно, должен был почувствовать некоторое спокойствие в кругу своего семейства, на загородной даче, напоминавшей деревню. Она успокоительно действовала на его нервы, способные раздражаться и напрягаться без меры в общественной и государственной деятельности. Но, по его сознанию, это было только *по-видимому*; без сомнения его волновало производимое им следствие о Верещагине. И время было таково, что не давало успокаиваться. «Это продолжалось только до 9-го июля, — говорит он. — Вечером, садясь в карету, я заметил, что во всю прыть скачет ко мне обер-полицеймейстер.

С ним был генерал-адъютант князь Трубецкой, прибывший курьером. Он привёз мне пакет от Императора, с воззванием к Москве и с уведомлением о его скором прибытии в эту столицу». Это произвело сильное впечатление на графа Ростопчина. С первого раза он подумал, что войска наши разбиты неприятелем. «Я долго расспрашивал князя Трубецкого, чтобы убедиться, что наши армии не поражены окончательно. Он уверил меня, что даже и сражения вовсе не было, но что Багратион ещё отделён от Барклая и все их движения направлены к тому, чтобы соединиться, что вероятно и совершится под Смоленском». Он был отправлен из Великих Лук. Император должен был выехать оттуда на другой день[13], в сопровождении небольшой свиты и только на день остановиться в Смоленске, чтобы сделать распоряжения об ополчении. «Я принялся за работу; всю ночь провёл без сна, успел призвать к себе и повидаться со многими лицами; поручил напечатать воззвание вместе с извещением в моём роде (bulletin de ma façon) к народу, и на другой день вся Москва узнала о скором приезде Императора. Слог воззвания был удачно принаровлен к обстоятельствам. Шишков, секретарь Императора, хорошо обдумал, сообразил и выразил причины, цель и надежды Государя, ехавшего в древнюю столицу империи, чтобы совещаться с своими подданными и согласиться в отношении к средствам остановить и победить страшного неприятеля. Дворянство было польщено этою доверенностью и воодушевилось благородным усердием; купцы готовы были на пожертвования; а народ, казалось, оставался *равнодушным*, потому что он и не признавал возможности, чтобы неприятель вошёл в Москву. Такую неблагоразумную уверенность в нём поддерживало то обстоятельство, что в продолжении ста лет нога неприятельская не была на Русской земле и что Наполеон точно так же должен погибнуть, как Карл XII под Полтавою. Бороды постоянно повторяли: “Наполеон не может нас победить, потому что для этого нужно всех нас наперёд перебить”».

На другой день к графу Ростопчину приехали два курьера, один от Государя с приказанием встретить его на первой станции от Москвы по Смоленской дороге, куда он надеялся прибыть в тот же день к 3-м часам пополудни; другой, от графа Аракчеева, привёз известие о ратификации мирного договора с Портою. Он же уведомлял князя Трубецкого, что тот должен ехать на встречу Императора. Князь Трубецкой приехал к графу, и после завтрака они вместе отправились. День был прекрасный; улицы Москвы, которыми они проезжали, наполняло множество народа, который и далее, по большой дороге к Смоленску, толпами шёл встречать Императора.

«В достопамятный и бурный 1812 год жил я в переулке *Тишине*, близ Дорогомиловского моста,— пишет С. Н. Глинка.— 11 июля, на ранней заре утренней, разбудил меня внезапный приход хозяйки дома. Едва вышел я к ней, она со слезами вскричала: "мы пропали, мы пропали!" и подала мне печатный лист. Это и было воззвание Императора к Москве 6-го июля». Прочитав его, Глинка отвечал ей: «Благодарите Бога; где заранее предвидят опасность, там и примут меры против неё; будьте спокойны и молитесь Богу». Между тем, немедленно одевшись, Глинка *полетел* в Сокольники к графу Ростопчину и когда вся Москва ещё спала, в 5 часов утра он уже был в его доме. Ранняя деятельность порывистого и пылкого Глинки не предупредила, однако же, деятельности графа Ростопчина. Когда, по его словам, «исполинская Москва была ещё объята сном и безмолвием», в доме Московского главнокомандующего уже всё было в движении. Перед кабинетом он нашёл предводителя дворянства Василия Дмитриевича Арсеньева и правителя канцелярии графа Ростопчина Аркадия Павловича Рунича. Обращаясь к последнему, Глинка объявил, что имеет нужду видеться с графом. «Нельзя,— отвечал Рунич,— граф занят теперь совещанием с преосвященным Августином и П. С. Валуевым». «Позвольте мне по крайней мере оставить записку»,— возразил нетерпеливый Глинка, поняв конечно, что нельзя прервать совещания, предметом которого очевидно было устроить приём Государю; дожидаться же неопределённое время его самостоятельной и подвижной природе казалось невозможным. Поэтому, когда Рунич *приветливо* (следуя наставлениям своего начальника) подал ему бумагу и перо, Глинка написал: «Хотя у меня нигде нет поместья, хотя у меня нет в Москве никакой недвижимой собственности и хотя я не уроженец Московский; но, где кого застала опасность Отечества, тот там и должен стать под хоругви отечественные. Обрекаю себя в ратники *Московского ополчения* и на олтарь Отечества возлагаю на 300 рублей серебра». «Таким образом, 1812-го года, июля 11-го,— писал впоследствии Глинка,— мне первому удалось записаться в Москве в ратники и принести первую жертву усердия». Этот поступок объясняется личным характером С. Н. Глинки и особенно тем положением, которое он имел в это время в качестве издателя *Русского Вестника*, как проповедник любви к Отечеству и враг французского влияния на Россию.

По мере того, как просыпалась Москва, утром 11 июля весть о приезде Государя разносилась повсюду; к 10 часам взволновался весь город, и улицы наполнились народом. Москва всегда с радостью принимает своих государей; но в это время радостное настроение жителей заключало в себе нечто особенное. И робкие перед грозив-

шею опасностью как будто ободрились, и «не слышно было удалых поговорок: *мы закидаем шапками, мы постоим за себя*!» Неизвестность, которою томилась Москва, предчувствуя силу грозившей Отечеству опасности и не зная о принятых мерах для защиты, должна была окончиться свиданием с Государем, который один только и мог сказать ей верное и надёжное слово и разрешить роковое недоразумение между ним и Россиею. Увлекаемая естественным желанием скорейшего разрешения томительной тайны, Москва как бы *вышла из себя*, и волны народа двинулись по всем улицам, спеша за заставу на Смоленскую дорогу, чтобы встретить и приветствовать Императора. «В обширных Московских рядах лавки запирались ранее обыкновенного. Замкнув товары и осенясь крестом, добрые граждане говорили: "пойдём в храмы Господни, помолимся за Царя – Государя, а оттуда за заставу". Встречался ли кто с кем на улице, первый вопрос: *куда идёшь?* и общий ответ: "навстречу Государю, на заставу"».

Часа в три после полудня в эти толпы вмешался С. Н. Глинка, «желая прислушаться к мнению народному и *прибавить новую статью в Русский Вестник*». Идя вместе с ними, часу в 6-м, он очутился на Поклонной горе, на которой в то время росла дубовая роща. Довольно продолжительный поход в жаркий летний день невольно заставил толпу остановиться и отдохнуть под тенью дерев. В разных кружках велись шумные речи и читали воззвание Государя к Москве. Глинка вмешался в общий говор, чтобы «прислушаться к живым и, так сказать, *самородным изречениям* духа Русского», как он говорит.

В то время до народного сонма, отдыхавшего в роще на Поклонной горе, дошёл слух, что некоторые у Дорогомиловской заставы намерены выпрячь лошадей из государева экипажа и сами своими руками везти его в Кремль. «Не уступим!» – завопила толпа. – «Мы впереди, мы скорее поспеем, мы на себе понесём коляску Государеву оттуда, где её встретим; а вы (говорили они, обращаясь к Глинке) ведите нас».

По самому своему характеру Глинка не только не способен был сдерживать неблагоразумные порывы толпы, но сам увлекался ещё более, нежели она. Возбуждённый предложением, он вскрикнул: ура! и повёл толпу, оглашавшую воздух криками и песнями.

Между тем приближалась ночь. На 17 версте кто-то из ехавших в Москву объявил, что Государь ночует в Перхушкове, где ожидает его и граф Ростопчин. Толпа с своим случайным предводителем должна была возвращаться назад[14].

Рассчитав встретить Государя в Перхушкове, где был приготовлен для него обед, граф Ростопчин вместе с князем Трубецким приехали

туда к этому времени. Но Государь прибыл только к 5 часам. «Он более часу разговаривал со мною наедине, – пишет граф Ростопчин, – хвалил меня за способ моих действий, чтобы приобрести расположение жителей Москвы. Он говорил о войне, никого не обвинял в дурном образе действий; казалось, был уверен, что армии Барклая и Багратиона соединятся, вовсе не казался унылым, но был спокоен и в хорошем расположении духа. Он расспрашивал меня о настроении умов, сообщил мне своё намерение обратиться к дворянству с предложением образовать земское ополчение и хотел остановиться в Москве в Слободском дворце, находящемся на одной из городских окраин. Но когда я заметил, что было бы приличнее, если бы он находился в Кремле, в дворце своих предков и средоточии города, то он согласился с моим замечанием. Взглянув на мои эполеты, сказал: "здесь кой-чего недостаёт", подразумевая свой вензель, особенное отличие, которое в то время имели только двое главнокомандующих. Он к этому прибавил: "Мне приятно быть на ваших плечах" (j'aime a être sur vos épaules).

При Государе находились обер-гофмаршал граф Толстой, граф Аракчеев, князь Волконский и граф Комаровский. Узнав, что в свите находился также барон Штейн, я сделал распоряжение, чтобы под предлогом недостатка в лошадях замедлили его приезд в Москву на несколько часов. Я сделал это в виду *сильно укоренившегося* мнения, что все иностранцы наши – враги и шпионы. В 8 часов Государь приказал мне ехать, часом прежде него, желая прибыть около полуночи в Москву, для того, чтобы избегнуть толпы любопытных, которые его ожидали по дороге и намеревались даже выпрячь лошадей и сами везти его коляску в Кремль. Эта мысль от народа перешла и к более высшим классам, и мне было известно, что многие лица, имевшие даже ордена, намеревались отправиться к заставе и, может быть, по усердию, а может быть, и по глупости, превратиться там в четвероногих.

На пространстве 15 вёрст от Москвы, по обеим сторонам дороги, были толпы народа, вышедшего из города на встречу Государю. Они лежали или сидели, отдыхая по валам канав. Я ехал в дрожках и никогда не забуду этого путешествия, которое произвело на меня глубокое впечатление. Ночь была великолепная, небо ясно, и ни малейшего движения в воздухе. Величественная тишина и лунный свет, падавший на страну населённую, богатую и счастливую, производили сильное впечатление. В каждой деревне, находившейся на дороге, священники с крестом в руке, в полном облачении, в сопровождении нескольких лиц с зажжёнными свечами выходили

из церквей, чтобы благословить Государя при его проезде. Эти свечи, эти священники, их появление, сильно действовали на воображение, волновали чувства и возбуждали множество мыслей, которые современные обстоятельства обвивали погребальным трауром. Тяжело становилось на сердце, волновалась душа и тревожился ум. Эти процессии напоминали похороны, и после взгляда на них глаза невольно подымались к небу, как бы желая прочесть в нём будущую судьбу Отечества».

Было уже около полуночи, когда Государь приближался к Москве. Вышедший ему на встречу народ уже большею частью возвратился в город. Запоздавшие и отставшие соединились с жителями села *Фили* или *Покровского*, которые непременно хотели встретить Государя. Они послали своих гонцов в село Перхушково, которые и «дали им вовремя знать, что Государь выехал оттуда и приближается. Священник отец Григорий Гаврилов поспешил в облачении на Поклонную гору с серебряным блюдом, на котором возлежал крест Господний, а престарелый дьякон держал свечу, разливавшую трепетное сияние в ночь безлунную и беззвёздную. Поравнявшись с причетом, Государь вышел из коляски, положил земной поклон и с глубоким вздохом облобызал крест Господний. Священник из стихов Пасхи провозгласил: "Да воскреснет Бог, и расточатся врази его"!»[15]

«Около полуночи, — говорит граф Ростопчин, — Государь приехал в Кремль, где нашёл, что все спят; по странному недоразумению, его ожидали в другом дворце»[16].

В одном общем чувстве необходимости и готовности к самопожертвованию для спасения Отечества сливались все состояния, и оно-то, переполняя души, вызвало их на встречу Императора. Замечание графа Ростопчина, что народ остался равнодушен (indifférent) к воззванию Императора, не допуская возможности, чтобы неприятель мог занять Москву, опровергается именно попыткою этой встречи, а ещё более собственным его замечанием: *бороды*, по его словам, говорили постоянно: «Наполеон не может нас покорить, потому что для этого нужно нас всех перебить». *Бороды* чувствовали бессознательно вопрос именно в том виде, в каком он был поставлен историческою судьбою. Нашествие неприятеля грозило таким же покорением и России, какому уже подверглись многие страны континентальной Европы. Попытка подобной встречи Императору была, так сказать, предуведомлением только к выражению народного чувства, которое и обнаружилось на следующий день.

«Всякой, кто читал это воззвание (Государя) к столице Москве, был тронут до глубины сердца, — говорит свидетель события, — вся-

кой готов был жертвовать собою для защиты престола и Отечества»[17]. Но при таком настроении духа, без сомнения, жители Москвы и окрестных деревень были бы немало изумлены, если бы правительство вздумало похвалить их за такие чувства; а между тем именно эта странная мысль пришла в голову С. Н. Глинке*. «В ту же ночь, — пишет он, — известил я, где следовало, что народ, по собственному порыву душ своих, двинулся на встречу Государю и что разошёлся с сокрушённым сердцем. А потому и просил, чтобы на другой день напечатать что-нибудь одобрительное для народа». На эту странную просьбу, внушённую, впрочем, искренним увлечением, последовал не менее странный ответ: «Не знаю почему, — продолжает Глинка, — приказано было за мною присматривать»[18], т. е. его отдали под надзор полиции. Граф Ростопчин, горячий прежде сотрудник *Русского Вестника*, в это время был в ссоре с его редактором, но, конечно, не это обстоятельство заставило его прибегнуть к такой мере. Самая роль, которую принял на себя Глинка, роль какого-то народного трибуна, не могла не тревожить графа Ростопчина: он видел в этом как бы соперничество с ним самим, покушение на его права. Он сам желал играть эту роль, как доказывает его способ обхождения с народом и особенно его афиши, и он считал это своим правом в качестве Московского главнокомандующего. Но по свойственной ему способности увлекаться минутным впечатлением, он решился на меру, от которой чрез несколько дней должен был отказаться, уступая требованиям обстоятельств.

После происшествий 11 июля нельзя было сомневаться в том, как Государь будет принят всеми сословиями в самой Москве. Граф Ростопчин, желая показать замечательному иностранцу (образу мыслей которого он, однако же, не сочувствовал), в каких отношениях Русские государи находятся к своим подданным во времена, угрожающие Отечеству опасностью, послал следующее приглашение барону Штейну на 12 июля: «Граф Ростопчин, свидетельствуя своё почтение г. барону Штейну, препровождает пакет, полученный на его имя и, *если ему любопытно видеть императора, обожаемого своим народом*, то предлагает ему пожаловать во дворец в 10 часов»[19]. Впрочем, не один граф Ростопчин мог с уверенностью говорить, что Государь будет восторженно принят в Москве. Это говорили все люди того времени, знавшие настроение всего общества, но только иначе выражали своё мнение, без умышленного желания выставить

---

* Глинка разумел не похвалу Москвичам, а то, что Государь как бы чуждался народа, въезжая в Москву ночью (прим. П. И. Бартенева).

напоказ это естественное явление. В это же самое время, именно от 11 июля из Великих Лук, граф Кочубей писал барону Штейну: «Можно подумать, барон, что вы обладаете даром предвидения; так удачно вы избрали время для поездки в Москву. Вы увидите эту древнюю столицу во всём её блеске и, что важнее, встретите в ней глубокую привязанность и восторг к законному своему Государю. Вы увидите, какие будут сделаны пожертвования, и всё это, конечно, произведёт приятное впечатление на человека с вашим образом мыслей. Я очень сожалею, что не буду свидетелем этих прекрасных порывов; они мне любы и сами по себе, и потому, что показывают нашу силу, наши средства»[20].

Без всяких объявлений народ уже знал, что Государь в Москве, и 12 июля с раннего утра стремился в Кремль. Вскоре не только все площади Кремлёвские до тесноты наполнились народом, но даже кровли домов. Был великолепный летний день, и солнце сияло в полном блеске. В 9 часов появился на Красном Крыльце Император, идя в Успенский собор к литургии, после которой должно было отпеть благодарственный молебен по случаю заключённого мира с Турками. Лишь только появился Государь и поклонился народу, вместе с колокольным звоном слились приветственные возгласы многочисленного народа. Но рядом с обычным *ура* смешались другие возгласы: *веди нас, куда хочешъ; веди нас, отец наш; умрём или победим!* Народ вполне чувствовал грозившую опасность, безусловно готов был жертвовать собою для спасения Отечества; но ему нужен был вождь, он чувствовал и эту нужду, и потому радость его вышла из пределов, когда, наконец, его *законный* вождь явился перед ним с видимым к нему доверием.

«На каждой ступени (Красного Крыльца), со всех сторон, сотни торопливых рук, — говорит очевидец, — хватались за ноги Государя, за полы мундира, целовали и орошали их слезами. Одни кричали: Отец! Отец наш! Дай нам на себя наглядеться! Другие восклицали: Отец наш! Ангел наш!.. На ступеньках крыльца Государь час от часу более стеснялся быстрым приливом народа. Чиновники его порывались раздвигать ряды. Государь кланяясь на все стороны, говорил: "Не троньте! Не троньте их! Я пройду!"»[21]. «Находившиеся при Государе генерал-адъютанты, — говорит другой очевидец, — принуждены были составить из себя род оплота, чтобы довести императора с Красного Крыльца до собора; всех нас можно было уподобить судну без мачт и кормила, обуреваемому на море волнами; мы очутились почти у гауптвахты и оттуда уже кое-как добрались до церкви. Между тем громогласное ура заглушало почти колокольный звон. Сие

шествие продолжалось очень долго, и мы едва совершенно не выбились из сил. Я никогда не видывал такого энтузиазма в народе, как в это время»[22].

Все очевидцы и свидетели этих происшествий описывают их совершенно одинаково в общих чертах и только в подробностях дополняют один другого. Барон Штейн и С. Н. Глинка, А. С. Шишков и граф Комаровский, говорят то же, что и граф Ростопчин. Конечно, в рассказах каждого из них не мог не отразиться и личный их характер; он отразился и в рассказе графа Ростопчина: его не оставила свойственная ему насмешливость, конечно, совершенно неуместная при рассказе об этом событии. «Государь, – пишет он, – около полуночи приехал в Кремль, где все спали: по какому-то недоразумению его ожидали в другом дворце. На другой день, с самого рассвета, большая площадь до такой степени наполнилась любопытными, что сверху видны были только одни головы. Московский народ редко утешается присутствием своих государей и потому весьма жаждет их видеть. В этот день, в большом соборе, после обедни назначен был благодарственный молебен, по случаю заключения мира с Оттоманскою Портою. Государь пошёл в собор и при входе был встречен архиепископом Августином, викарием митрополита Платона, который удалился в маленький монастырь, построенный им в 60 вёрстах от Москвы. С ним уже несколько раз были припадки паралича, и он плохо владел языком; но это болезненное состояние не помешало ему прислать из своего уединения Государю образ Св. Сергия вместе с прекрасным письмом, в котором он предвещал славный конец войне и сравнивал Государя с пастырем Давидом, а Наполеона с Голиафом. Но времена уже были иные: Наполеон не сделал бы вызова и не таков был, чтобы позволить себя убить ударом пращи».

Не простое *любопытство* привлекает Русский народ приветствовать своих государей; тем более не простое любопытство взволновало всю Москву и двинуло её на Смоленскую дорогу и потом в Кремль в дни пребывания в ней Императора в июле месяце вечнопамятного 1812-го года. Не стоило бы, конечно, останавливать внимания на этом недостойном слове, если бы оно было написано кем-нибудь другим, а не графом Ростопчиным.

Московские архипастыри, при входе государей в Успенский собор, храм, где совершается их венчание на царство, по принятому обычаю, встречают их приветственной речью.

Московскою митрополиею управлял викарий митрополита Платона Августин. Он пользовался известностью, как проповед-

ник, хотя его умные и горячие речи являлись в изысканном риторическом убранстве. Встречая Императора в дверях Успенского собора, он приветствовал «свет вожделённого мира, воссиявший на Юге, покрытом тучами браней», т.е. заключение мира с турками; но, указав на войну, начатую против России Западом, говорил Государю: «Там, среди мощных и храбрых ополчений своих, ты мещешь перуны на дерзкого врага, здесь воспламеняешь души наши любовью к тебе и Отечеству. Там двигаешь громы на поражение злобы, здесь возбуждаешь и движешь сердца наши на защищение возлюбленной тебе России. Там казнишь, здесь покоишь; там мертвишь, здесь оживляешь. Государь, оружием ты победил тысящи, а благостью тьмы. Наша благодарность, наша любовь к тебе не имеют пределов; но твоя отеческая к нам любовь превосходит все чувствия нашего к тебе усердия и признательности. Ты и над нами победитель, ты торжествуешь и над своими». В речи Московского архипастыря риторическое убранство не помешало, однако же, выразиться тому необычайному увлечению, с которым встречала Государя Москва в это грозное время. При вступлении Государя в храм, вместо обычной песни, певчие, по распоряжению преосвященного Августина, запели: «да воскреснет Бог, и расточатся врази его»[23].

Когда Государь возвращался из собора, народ стеснил его до такой степени (по свидетельству графа Ростопчина), что он должен был остановиться, чтобы дать возможность толпе раздвинуться и открыть ему путь. «Это неудобство было потом устранено тем, что я велел устроить помост между Красным Крыльцом и собором, возвышавшийся на несколько ступенек над мостовою». Престарелый митрополит Платон, узнав, что Государь приедет в Москву, собирался ехать в столицу, чтобы лично его приветствовать; несколько раз запрягали лошадей, несколько раз он подходил к карете; но, изнемогая от слабости и болезни, возвращался в свои кельи. Понимая значение обстоятельств, он не мог оставаться вне их и чужд им и потому послал с наместником Троицкой лавры Самуилом, в знак благословения Императору, образ Св. Сергия при следующем письме: «Первопрестольный град Москва, новый Иерусалим, приемлет Христа своего, яко мать в объятия усердных сынов своих и, сквозь возникающую мглу, *провидя* блистательную славу твоей державы, поёт в восторге: Осанна, благословен грядый во имя Господне! Пусть дерзкий и наглый Голиаф от пределов Франции обносит на краях России смертоносные ужасы; но кроткая вера, сия праща Российского Давида, сразит внезапно главу кровожаждущей гордыни. Се образ

преподобного Сергия, древнего ревнителя о благе нашего Отечества, приносится Вашему Императорскому Величеству. Болезную, что слабеющие силы мои препятствуют мне насладиться любезнейшим вашим лицезрением. Тёплые воссылаю к небесам молитвы, да Всесильный возвеличит род правых и исполнит во благих желания Вашего Величества».

Икона, которою митрополит благословлял Императора, имела важное историческое значение: она была написана в царствование Феодора Алексеевича,* на доске от гроба преподобного Сергия. При царе Алексее Михайловиче (в 1654 году) она находилась при войсках в войне с Польшею и возвращена потом в Лавру (в 1658 году). Во время войны со Шведами Пётр Великий поручил графу Шереметеву взять её из Лавры, и она сопутствовала войскам во всё продолжение этой войны. С её святыней соединялись воспоминания о славе древней и новой России. «Образ святого *побoрника Российских военных сил* (писал Император митрополиту Платону) я велел отдать составляющемуся для защиты Отечества Московскому ополчению, да сохранит он его своим предстательством у престола Божия»[24].

Решившись прямо обратиться к своим подданным, Государь назначил дворянам и купцам собраться 15 июля в залах Слободского дворца**.

Мог ли при этом случае оставаться спокойно в своём доме или бегать по площадям и улицам Московским издатель *Русского Вестника*? А между тем у него не было никакой собственности не только в Московской, но даже и в родной его Смоленской губернии. «Вправе ли я, – пишет он, – говорить о пожертвованиях? Но обозревая положение моё с другой стороны и зная, что подпал под присмотр, я решился, для отстранения предположений и пересудов, явиться в собрание с одною неотъемлемой собственностью: с чистою совестью и самоотречением от жизни. Не было у меня ни милиционного, ни губернского мундира. Последний я выпросил у брата хозяйки нанимаемого мною дома. Невольно улыбнулся я, взглянув в зеркало и увидя себя в необычайном наряде. Улыбки знакомых встретили меня и при входе

---

* Надо полагать, А. Н. Попов здесь оговорился: речь, по-видимому, идёт о последнем русском царе из рода Рюриковичей – Феодоре Иоанновиче (1557–1598), царствовавшем с 1584 по 1598 год *(прим. ред.)*.

** Нынешнее Ремесленное Училище, возле Лефортовского дворца *(прим. П.И. Бартенева)*; затем там располагалось Императорское Высшее техническое училище (в советские времена им. Баумана) *(прим. ред.)*.

в собрание»*. Но С.Н. Глинка был известен всем по направлению своей деятельности и знаком со многими лично, и потому, конечно, его присутствие в собрании никому не показалось неуместным.

Между тем залы наполнялись более и более; шли оживлённые разговоры. За столом, покрытым зелёным сукном, сидели более почётные лица; другие отдельными группами собирались в зале собрания и в смежных комнатах. В одной из них (по сказанию Глинки) завязался жаркий спор; один (как он называет) из *чиновных бояр* сказал: «Мы должны спросить у Государя, сколько у нас войска и где наше войско». «Если бы и вправе были спрашивать об этом у Государя», — возразил ему генерал Апраксин, — «то Государь не мог бы нам дать удовлетворительного ответа. Войска наши движутся сообразно движениям неприятеля, которые могут изменяться каждый час; такому же изменению подлежит и число войск».

Вслед за этим, «мужчина лет в 40, высокий ростом, плечистый, статный, благовидный, речистый в Русском слове в мундире без эполетов (следственно отставной): имени его некогда было спросить, возвыся голос, сказал: "Теперь не время рассуждать, надобно действовать. Кипит война необычайная; война нашествия; война внутренняя. Она изроет могилы и городам и народу. Россия должна выдержать сильную борьбу; а эта борьба требует и небывалой доселе меры. Двинемся сотнями тысяч, вооружимся чем можем. Двинемся быстро в тыл неприятеля, составим дружины конные, будем везде тревожить Наполеона; отрежем его от Европы и покажем, что Россия восстаёт за Россию"».

Не выдержал далее молчания С. Н. Глинка: «Ад должно отражать адом! воскликнул он и, воодушевляясь более и более, говорил около получаса об опасном положении Отечества и необходимости крайних средств для защиты. Его слушали молча, вокруг него стеснился кружок, и незаметно придвинули его к столу в зале собрания в то время, когда он говорил: "Мы не должны ужасаться, Москва будет сдана". В это время вскочили с своих кресел некоторые из сидевших у стола, и раздались вопросы: "Кто вам это сказал? почему вы это знаете?"»

В минуту увлечения, бессознательно вырвалось это роковое слово у Глинки. Предложенные вопросы несколько приостановили его речь; но, не *смутясъ духом*, он продолжал, отвечая на них: «Милостивые Государи! во-первых, от Немана до Москвы нет ни природной, ни искусственной обороны, достаточной к остановлению сильного неприятеля. Во-вторых, из всех отечественных летописей наших

---

* С.Н. Глинка. Записки о 1812 годе. СПб., 1836, с. 16 *(прим. ред.)*.

явствует, что Москва привыкла страдать за Россию. В-третьих, — и дай Бог, чтоб сбылись мои слова — сдача Москвы будет спасением России и Европы»[25]. Речь С. Н. Глинки, увлекавшегося более и более, была внезапно прервана появлением в зале собрания графа Ростопчина и статс-секретаря Шишкова.

По приказанию Государя они отправились в собрание до его приезда, с тем чтоб от его имени прочесть как дворянству, так и купечеству манифест 6 июля. При входе граф Ростопчин сказал, указывая на залу, где были собраны купцы: «Отсюда польются к нам миллионы, а наше дело выставить ополчение и не щадить себя». Впоследствии в своих Записках он так рассказывает о собрании 15 июля: «Перед прибытием Государя, я отправился во дворец вместе с г. Шишковым. Прежде мы посетили залу дворян, а потом купцов. В первой зале, в которой собралось около 1000 человек, съехавшихся со всех сторон по получении известия о приезде Государя, всё происходило тихо и в порядке; но во второй зале, где были собраны купцы, я был поражён тем впечатлением, которое произвело чтение манифеста. Сначала — внимание, потом гнев; но когда Шишков произнёс слова, в которых говорилось, что неприятель с лестью на устах несёт в руках оковы, тогда негодование выразилось в сильнейшей степени: ударяли себя в голову, рвали на себе волосы, ломали руки, видны были слёзы гнева, струившиеся по этим лицам, напоминавшим древних. Я видел одного, который скрежетал зубами. При этом шуме невозможно было разобрать, что говорили; но явно было, что это угрозы и возгласы гнева и стенания. Это было единственное зрелище в своём роде, когда Русский человек на свободе выражает свои чувства и, *забывая о своём рабстве*, негодует на оковы, которые готовит ему иностранец, предпочитая смерть — позору быть побеждённым. В этом случае открылись старые Русские. Они сохранили старую одежду, их бороды придавали им почтенный и величественный вид их предков. У них не было другого руководства, других начал, других правил кроме четырёх пословиц, которыми объясняются причины как хороших, так и дурных их действий: "Русский Бог велик; служить Государю верою и правдою; два раза не умирают; чему быть, тому не миновать".

Вот что делает настоящего Русского покорным воле Божией, верным своему Государю, равнодушным к смерти и предприимчивым. И в каком блеске выражались его мужество и верность в продолжении 1812 года! Он действовал сам собою, его инстинкт один руководил им. Древняя история мало представляет примеров такой преданности и пожертвований. История нашего времени не представляет ни одного».

Граф Ростопчин писал свои *Записки* о 1812 годе гораздо после событий: живое их впечатление хотя и сохранилось в нём, но к нему уже примешались позднейшие взгляды и желания объяснить ими события. Странное объяснение чувств, выразившихся в это великое мгновение исторической жизни народа четырьмя поговорками показывает только, что многие из лиц образованного сословия того времени так далеко отошли от народа, что даже и в этом случае не могли совершенно слиться с ним и хотели стоять выше. Увидав лицом к лицу настоящих Русских, они не узнавали их и считали как бы за воскресших из гроба предков.

Приехав в Слободской дворец, Государь вошёл прежде в свои покои, куда явился к нему граф Ростопчин, чтобы доложить, что всё готово к его приёму и отдать отчёт о случившемся. Государь говорил с ним об ополчении и когда «он рассчитывал на 10 тысяч человек, я, — говорит граф Ростопчин, — вполне был уверен, что их будет гораздо более». Потом Государь пошёл в дворцовую церковь, где совершено было краткое молебствие. Государь как будто медлил вступить в залы, где были собраны сословия. Делая решительный шаг, он сосредоточивал мысли; прибегая к народной силе и сливаясь с нею, как будто отказывался от своего личного полновластия; но в силе народа он чувствовал, что получает ещё большую силу. «Войдя в дворянскую залу, — по словам графа Ростопчина, — он казался озабоченным. Шаг, который он решался сделать, не мог не быть тяжёл для каждого государя. Он милостиво поклонился собранию; потом, несколько собравшись с духом, с лицом оживлённым, сказал прекрасную речь, полную благородства, величия и откровенности, которая произвела электрическое действие и расположила всех жертвовать *частию своего состояния, чтобы спасти всё*». Было бы вернее, если б граф Ростопчин сказал: жертвовать всем своим состоянием и *собою*, чтобы спасти *Отечество.* Расчёты о *всём* и о *части* своего личного состояния не могли существовать в эти минуты всеобщего увлечения.

Обратясь к дворянам, Государь говорил: «Вам известна, знаменитое дворянство, причина моего сюда приезда. Император Французов, вероломным образом, без объявления войны, с многочисленною армиею, составленною из порабощённых им народов, вторгся в наши границы. Все средства были истощены, сохраняя, однако же, достоинство империи, к отвращению бедствия; но властолюбивый дух Наполеона, не знающий пределов, не внимал никаким предложениям. Настало время для России показать свету её могущество и силу. Я в полной уверенности взываю к вам: вы, подобно предкам вашим, не потерпите ига чуждого, и неприятель да не восторжествует в своих

дерзких замыслах. Сего ожидают от вас Отечество ваше и Государь».

На речь Государя бывший главнокомандующий Москвы граф Гудович, как старший по летам и положению, отвечал (по рассказу графа Ростопчина) «в духе старого и верного слуги, что Император нисколько не должен сомневаться в успехе дела, которое все Русские считают священным. Они готовы жертвовать всем своим состоянием и пролить свою кровь до последней капли и предлагают Императору по одному ратнику с 25 душ, одетому и снабжённому на месяц провиантом». Лишь только фельдмаршал кончил речь, как раздались голоса: "нет, не по одному с 25, но по одному с 10, обмундированных и снабжённых провиантом на три месяца". Это с шумом было повторено большею частью собрания. Император благодарил в лестных выражениях и хвалил щедрость дворянства».

Другой свидетель происшествия, граф Комаровский, говорит, что вся зала огласилась словами, после того как Государь произнёс речь: «Готовы умереть скорее, Государь, нежели покориться врагу! Всё, что мы имеем, отдаём тебе; на первый случай десятого человека со 100 душ крестьян наших на службу». Все бывшие в зале не могли удержаться от слёз. Государь сам был чрезмерно тронут и добавил: «Я многого ожидал от Московского дворянства, но оно превзошло моё ожидание. Благодарю вас именем Отечества». После того Государь обратился было к графу Ростопчину, приказывая ему прочесть составленное уже положение об ополчении. «Я заметил Государю, – пишет граф Ростопчин, – что оно составлено на иных основаниях и что дворянство, само определив число ратников, тем самым уничтожило это положение. Государь одобрил моё замечание, поклонился собранию и перешёл в залу, где было собрано купечество. Сказав им несколько лестных слов, он объявил о пожертвованиях дворянства и, поручив мне прочесть им положение о приёме пожертвований, сел в экипаж и возвратился в Кремль. Я не дал времени купцам охладиться. Бумага, чернильницы, перья были приготовлены на столах: подписка началась, и не более, как в полчаса собрано было 2,400,000. Градской голова, которого капитал состоял из 100 тысяч, первый подписался на 50 тысяч, крестясь и говоря: "мне дал их Бог, и я отдаю их Отечеству"». Из рассказа графа Комаровского видно, что подписка пожертвований в купеческой зале началась прежде того, как вошёл Государь, и на его речь они уже объявили ему, что сделаны подписки «на несколько миллионов рублей, которые они приносят в дар Отечеству»*. Граф

---

* Записки графа Комаровского/*Русский Архив*, 1867, № 5, 6; см. также сб. «Державный сфинкс», М., 1999, с. 120–121 *(прим. ред.)*.

Ростопчин только поощрил, вероятно, дальнейший ход подписки после отъезда Государя.

«Я возвратился в Кремль, – продолжает граф Ростопчин, – с известием о 2,400,000 и нашёл Императора в кабинете, вместе с Балашёвым и Аракчеевым. Десять человек на сто, по рассчёту народонаселения губернии, составляло 32 тысячи человек, снабжённых продовольствием на три месяца, и сверх того сумма, пожертвованная купцами. Государь мне сказал, что считает себя очень счастливым и радуется, что решился приехать в Москву и что назначил меня генерал-губернатором. Потом, когда я уходил, он с чувством меня поцеловал. Когда я находился в другой комнате, Аракчеев поздравил меня с тем, что я получил самый высший знак благорасположения, будучи поцелован Императором: потому (прибавил он), что я служу ему со дня его восшествия на престол, и он никогда меня не целовал. “Будьте уверены, сказал мне потом Балашёв, что Аракчеев никогда не забудет и никогда не простит этого поцелуя”. Я рассмеялся в то время; но впоследствии неопровержимые доводы убедили меня, что министр полиции был прав и что он более знал Аракчеева, нежели я».

Государь был действительно доволен, что приехал в Москву. В ней из военачальника он стал Русским царём и почувствовал силы народа. За большим обеденным столом, который был в этот день во дворце, он несколько раз повторял: «этого дня я никогда не забуду». Его не забыл и никто, кто только был свидетелем происшествий.

Только граф Ростопчин пытается накинуть некоторую тень на этот светлый день в жизни России. «Теперь надо объяснить, – говорит он, – почему собрание было так щедро и благородно (si généreuse et si noble). Предложение фельдмаршала Гудовича было и справедливо, и разумно: но первые два голоса, которые усилили это предложение и предложили по одному с десяти человек, принадлежали двум, совершенно различным между собою, людям. Один из этих господ был очень умный человек и предлагал меру, которая ему ничего не стоила, потому что у него не было никакой собственности в Московской губернии, и он случайно сделал своё предложение, как бы шутя. Другой с сильными лёгкими был низкий человек, глупый и злой; он мне обещал свой голос за то, чтобы иметь честь быть приглашённым к императорскому столу. И вот как часто направляют собрания, и как они действуют и подают голоса по увлечению и без размышления! Бывают люди, которых газетчики, биографы и историко-романисты возвышают до небес за какой-нибудь поступок или слово, в котором они, может быть, сей час же раскаивались, что его сделали и произнесли».

Конечно, в многочисленном собрании не могли быть все одинаково честными и благородными людьми. Дело не в том и не в количестве ратников, один ли с 10 или с 25. Дело в общем настроении, которое увлекает за собою всех, даже и дурных людей. По свидетельству же всех современников, не исключая и графа Ростопчина, общее настроение было таково, что все сословия, весь народ готовы были на всевозможные пожертвования, и жизнью, и имуществом, для спасения Отечества. Все спешили только поскорее составить ополчение. «Многие из моих знакомых,— говорит граф Комаровский,— Московских дворян, мне говорили: одни, что отдадут всех своих музыкантов, другие — актёров, третьи — дворовых людей, псарей в ратники; ибо их скорее образовать можно для военного ремесла, нежели крестьян»[26].

«Усердие и любовь к Отечеству внушили благородные и великодушные намерения четырём лицам,— говорит граф Ростопчин: — молодые графы Мамонов и Салтыков, владевшие большими имениями, вызвались образовать на свой счёт каждый по конному полку и были назначены в них полковниками. Они сей час же принялись за дело и истратили на него громадные для частных лиц суммы. Князь Николай Гагарин и г-н Демидов каждый взяли на себя обмундировку целого полка Московского ополчения. Все молодые люди из гражданской службы поступали в военную; присутственные места опустели; Сенат остался без прокуроров».

Были явления, на которые нельзя не обратить внимания, потому что они действительно бросают грустную тень на светлый день 15 июля 1812 года.

Мы уже говорили, что неизвестность, в которой находилась Москва и вся Россия о количестве наших оборонительных сил, о действиях армии, тревожила более или менее всех и естественно вынуждала некоторых выражать желание узнать о наличных средствах прежде, нежели приступать к составлению новых. Новые ополчения не могли составиться мгновенно; неприятель быстро приближался к средоточию России; носились зловещие слухи о положении наших войск, даже о гнездившейся в них измене. Это желание узнать о состоянии наших войск выражено было одним из присутствовавших в собрании 15 июля дворян, как свидетельствует С. Н. Глинка. Конечно, это весьма естественное желание неуместно было бы выразить в виде вопроса Государю при этом случае. Так это и было понято всем собранием, да иначе и понято быть не могло при господствовавшем общем настроении. Готовившийся голос смолк прежде, нежели раздался[27].

Не так взглянул на это обстоятельство Московский генерал-губернатор. В день приезда Государя, т. е. 12 июля (пишет граф Ростопчин), «ночью я узнал, и это мне было подтверждено на другой день утром, что некоторые из лиц, принадлежавших к обществу *Мартинистов*, сговаривались, когда Государь предложит составление ополчений, спросить, сколько же у нас теперь войск, сколько у неприятеля и какие имеются средства обороны и пр. Это предположение – смелое, неуместное и опасное при тогдашних обстоятельствах; но его исполнение на деле меня нисколько не пугало, потому что я знал, что эти лица весьма храбры у себя дома, как трусливы в обществе. Однако же, я нарочно говорил несколько раз перед всеми, что надеюсь представить Государю зрелище дворянского собрания, верного и почтительного, и я буду в *отчаянии*, если кто-либо из неблагонамеренных людей нарушит спокойствие и забудется в присутствии Государя: потому что такой господин, прежде, нежели окончит то, что захочет сказать, во всю прыть полетит в дальний путь. Чтобы придать действительное значение моим словам, я велел неподалёку от Слободского дворца поставить две тележки, запряжённые почтовыми лошадьми и двух полицейских офицеров, одетых по-дорожному, которые прохаживались подле них и, если кто-либо из любопытных спросит, для кого приготовлены эти тележки, должны были отвечать: для тех, которых пошлют в ссылку. Слух об этих ответах и о тележках дошёл и до собрания. Хвастуны ничего не говорили в собрании и вели себя умно».

Из этих слов нельзя не заметить, что граф Ростопчин, кажется, был не на шутку уверен, что он своими распоряжениями доставил Государю зрелище такого собрания сословий, каким было собрание 15 июля. Что же касается до принятой им меры, то, судя по его же словам, она была совершенно не нужна; потому что те лица, которые хотели сделать эти вопросы Государю, как он был уверен, храбры *только у себя на дому*; а между тем, эта мера неуместно напоминала предшествовавшее царствование, в котором граф Ростопчин играл такую видную роль.

Другое обстоятельство, которое также бросает грустную тень на это время, было следующее. Дворянство Рязанской губернии, узнав о воззвании Императора к Москве, отправило в качестве депутатов к императору своих уездных предводителей заявить Государю, что они готовы поставить на защиту Отечества 60 тысяч ратников, вооружённых и обмундированных. Губернский предводитель, известный Л.Д. Измайлов, владелец также известного села Деднова, не мог по болезни ехать в Москву; но предводители, приехав в Москву, остано-

вились в его доме и на другой день отправились к министру полиции. Генерал Балашёв принял их весьма неблагосклонно, позволил себе кричать на них и упрекать, как смели они отлучиться от своих должностей. Депутаты отвечали, что они присланы общим приговором дворянства и даже с согласия губернатора Бухарина. На это министр отвечал, что подвергнет тех, кто допустил их приехать, строгому взысканию и почти выгнал их от себя. Оскорблённые и огорчённые предводители дворянства Рязанской губернии, исполняя долг верных сынов России, не хотели оставить дела после этой неожиданной неудачи и отправились к Московскому генерал-губернатору. Граф Ростопчин принял их чрезвычайно вежливо и ласково и когда они пересказали ему о приёме министра полиции, он порицал Балашёва и обещал им в тот же день доложить о них Государю. Но на другой же день утром через полицию им велено было немедленно выехать из Москвы[28].

Государь, конечно, не знал ни о почтовых тележках у Слободского дворца, ни об изгнании из Москвы депутатов Рязанского дворянства. Он не мог и подозревать таких явлений: его чувства были взволнованы искренним желанием сословий, не жалея жизни и достояния, идти за ним на защиту Отечества; его ум занят был великою мыслью — спасти Россию.

Не какие-либо распоряжения властей произвели то настроение во всех слоях общества, которое обнаружилось в Москве. Оно было всеобщим во всей России и только что перед тем выразилось в Смоленске. В Москве, конечно, по её значению в отношении к империи, оно выразилось, так сказать, ладнее и ярче[29]. Император понял и отдал должную справедливость этому общему настроению. «Мой приезд в Москву имел настоящую пользу», — писал он к графу Н. И. Салтыкову и, исчислив пожертвования дворянства в Смоленске и Москве, так заключил письмо: «одним словом, нельзя не быть тронутым до слёз, видя дух, оживляющий всех и усердие и готовность каждого содействовать общей пользе»[30]. Император не только сам понимал это общее настроение в это время, но и желал увековечить память о нём для истории. С этою целью он поручил описать события в Москве во время его пребывания в ней известному писателю, сенатору Нелединскому-Мелецкому. Это описание, согласное со всеми другими сказаниями современников-свидетелей, оканчивается словами: «Да познает надменный и жребием подвластных ему людей играющий враг наш, что мы идём против него все, предводимые верою, неизменною любовью к монарху и Отечеству своему; умрём все совокупно или — победим»[31]. Не ту же ли решимость выразил в этих словах один

из лучших представителей образованного общества, какую выражали *бороды* по словам графа Ростопчина, говоря: чтобы нас победить, нужно нас всех перебить?

Император, знавший уже в это время всю силу грозившей России опасности и недостаток средств к обороне, конечно, был доволен, встретив безграничную готовность всех сословий к самопожертвованию для спасения Отечества. Она давала надежду не только уравновесить средства противников, но и увеличить силу обороны против наступавшего врага. Но эта готовность должна была *превзойти его ожидания*, потому что сословия, обрекавшие на жертву себя самих и свои имущества, ничего не знали ни о силе врага, ни о средствах обороны. Тёмные, неопределённые слухи и предположения носились между ними, и непроницаемая завеса тайны закрывала от них действительное положение дел. Несмотря на то, они бессознательно почувствовали всю силу опасности и решились или спасти Отечество, или погибнуть вместе с ним. Но ещё более эта готовность должна была поразить Московского генерал-губернатора: он её не ожидал — в таких размерах.

Великая княгиня Екатерина Павловна, герцогиня Ольденбургская по супругу, была особенно расположена к графу Ростопчину и своим влиянием на Императора, как любимая его сестра, способствовала его назначению в Москву. Умная, образованная, любившая Россию и ещё более ненавидевшая Наполеона, она указывала на графа Ростопчина не по личному только к нему расположению, но как на человека, прослывшего в России по преимуществу Русским, отличавшегося горячею любовью к Отечеству, человека действительно одарённого блестящими качествами, образованного и решительного. Чувствуя всю силу опасности, грозившей Отечеству, она желала подвигнуть к пожертвованиям частных лиц и особенно дворянство для усиления правительства в средствах обороны. Мысль об ополчении постоянно её занимала, хотя и в ограниченных размерах, по одному полку с губернии. Посредством графа Ростопчина она думала действовать на Москву, а её пример подействовал бы на всю Россию. «Скажите графу Ростопчину, — писала она князю А. П. Оболенскому, состоявшему при её дворе в Твери, — что когда вы сообщили мне о вашей поездке в Москву, я вам отвечала: если так, то, зная, что вы пользуетесь доверенностью графа Ростопчина, я вам сообщила мысль, о которой в общих чертах я писала ему и которая развилась потом в моей голове во всех подробностях, — скажите, что я читала вам моё письмо к нему. Он должен воспламенить дворянство, первенствующее в империи по своему богатству и по тому почтению, которым пользуется Москва.

Ему стоит только отправиться в дворянское собрание или другое общество, указать на опасность, в какой находится Отечество и на народное значение этой войны. В Москве проживают дворяне всех губерний; восторг (l'enthousiame), который он возбудит в них, немедленно распространится по всей России. Скажите, что вы уверены, так же, как и я, что не найдётся ни одного русского, который не постыдился бы не пожертвовать собою и своим усердием (zèle); а что вы сами, как дворянин, полагаете, так же, как и я, что каждая губерния может вооружить полк в 1000 человек и содержать его на свой счёт во всё продолжение войны, которая чем сильнее будет ведена, тем скорее окончится».

Зная, вероятно, что эта мысль встретит возражения со стороны графа Ростопчина, она наперёд излагает их в этом письме или, лучше сказать, наставлении своём князю Оболенскому и предлагает ответы. Не дождавшись почина со стороны Москвы, великая княгиня решилась сделать его лично от себя и обратилась с просьбою к Императору дозволить ей образовать из её удельных имений особый батальон и содержать его на свой счёт в продолжение войны. Император получил её прошение в то время, когда в его соображениях созрела уже мысль о необходимости призвать народные дружины на помощь действующим войскам. Он утвердил его за несколько дней (3-го июля) до подписания манифеста 6-го июля, решившись уже ехать в Москву из Главной квартиры. Обрадованная согласием Императора и зная уже о намерении его призвать всеобщее ополчение, великая княгиня писала к тому же князю Оболенскому: «Великая мысль приведётся в исполнение наперекор графу; не знаю ещё всех подробностей, но через две недели Москва покажет своему губернатору, что он ошибся в ней. Не говорите об этом никому. Я рада, что благое дело совершится, чрез кого бы то ни было; вы поймёте меня; спешу сообщить вам это известие, полученное мною вчера»[32].

В продолжении недели, проведённой Императором в Москве, обычные его занятия не только не прерывались, но усилены были новыми по устройству народного ополчения. В Москве подписан был Императором манифест о «составлении внутренних сил для защиты Отечества». «По прибытии нашем в Москву, — говорит Император в этом манифесте, — нашли мы, к совершенному удовольствию нашему, во всех сословиях и состояниях такую ревность и усердие, что предлагаемые добровольно приношения далеко превосходят потребное к ополчению число людей». Принимая такое «рвение с отеческим умилением и признательностью», Император считал возможным ограничить его и потому предписывал приступить к составлению

ополчений только в 16 губерниях, «чтобы, составя достаточные силы из одних губерний, не тревожить без нужды других». Ополчения были разделены на три округа:

1. Ополчения первого округа, составленного из 8 губерний, Московской, Тверской, Ярославской, Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской и Смоленской, предназначались для того, чтобы «охранять первопрестольную столицу Москву и пределы сего округа». Графу Ростопчину поручен был главный надзор как за составлением ополчений этого округа, так и за сближением их к Москве. Тверское ополчение должно было сосредоточиться у Клина, Калужское у Можайска и Вереи, Тульское в окрестностях Серпухова, Рязанское близ Каширы, Владимирское у Богородска, Ярославское у Дмитрова и, наконец, Московское в Воскресенске, Звенигороде и Подольске. Таким образом ополчение, в числе слишком 123 тысяч человек, должно было окружать со всех сторон Москву, не в дальнем расстоянии, почти все в пределах её губерний.

По приезде в Тверь Император поручил составление ополчений в Тверской и Ярославской губерниях генерал-губернатору этих губерний принцу Ольденбургскому (без сомнения, по его вызову), не выделяя их, однако же, из состава первого округа и не изменяя направления, куда они должны были следовать.

2. Ополчения второго округа, Петербургской и Новгородской губерний, составившие около 25 тысяч человек, предназначались «для охранение Петербурга и пределов округа».

3. В отношении к ополчению третьего округа, в состав которого входили губернии: Казанская, Нижегородская, Пензенская, Костромская, Симбирская и Вятская, предписано было только «приготовить, расчислить и назначить людей; но до повеления не сбирать их и не отрывать от сельских работ».

Все прочие губернии уволены от составления ополчений до тех пор, как сказано в манифесте, пока «не будет надобности употребить их к равномерным Отечеству жертвам и услугам». «Наконец, вся составляемая ныне внутренняя сила не есть милиция или рекрутский набор, но временное верных сынов России ополчение, устрояемое из предосторожности, в подкрепление войскам и для надёжнейшего охранения Отечества. Каждый из военачальников и воинов, при новом звании своём, сохраняет прежнее, даже не принуждается к перемене одежды; а по прошествии надобности, т.е. по изгнании неприятеля из земли нашей, всяк возвратится с честью и славою в первобытное своё состояние и к прежним своим обязанностям».

Кроме губерний, не вошедших в состав трёх округов ополчений, от участия в нём освобождались крестьяне государственные, экономические и удельные и в тех губерниях, где составлялось ополчение. Они должны были подлежать «обыкновенному набору с них рекрут по установленным правилам»[33].

Собирая ополчения для подкрепления действующих войск, Император не мог отклонить и от них своего внимания, хотя бы и временно, тем более, что войска готовились к важным действиям. Дабы ободрить их, он писал к Барклаю де Толли: «Сообщаю вам, генерал, что Московская губерния и смежные с нею дают мне ополчение во сто тысяч человек, пехоты и конницы. У меня будет другое той же силы, между Нижним Новгородом и Казанью. Они будут на первый раз вооружены пиками и охотничьими ружьями, сколько возможно их будет собрать; потому что в Туле, как сообщил мне генерал Воронов (начальник оружейного завода, которого я вызывал сюда), нет более ни одного ружья. Поручаю вам, генерал, распорядиться, чтобы собраны были все ружья, которые принадлежат больным и умершим и немедленно присланы в Москву. Что касается до продовольствия, то я облёк вас полною властью в этом отношении, и мне остаётся только утвердить все те меры, которые вы предпримете для снабжения им войск. Вы не можете себе представить, с каким нетерпением я ожидаю ваших донесений *об исходе генерального сражения*, к которому вы приготовляетесь. Я полагаю надежды на милость Всевышнего. Я посылаю вам представление о наградах за дело генерала Кульнева; назначьте, какие бы вы желали, чтобы я дал. Конечно, вы получили списки с донесений ко мне князя Багратиона, и потому не посылаю их вам. Признаюсь, я очень сожалею об этом сражении, которое не имело никаких последствий. Завтра я уезжаю в Петербург, чтобы там устроить ополчение; поэтому, генерал, до нового приказания, туда посылайте мне ваши донесения»[34].

Это письмо доказывает, что Император получил уже донесения и Барклая де Толли о том, что он решился дать генеральное сражение под Витебском и князя Багратиона о деле при Салтановке под Могилёвым[35]. Озабоченный судьбою генерального сражения, которое, если бы даже не решило участи всей кампании, то во всяком случае оказало бы чрезвычайно важное влияние на её дальнейший ход, Государь не остановил внимания на блестящих подвигах войск, действовавших под начальством генерала Раевского и не придавал значения сражению, которое, однако же, дало возможность князю Багратиону привести в Смоленск 2-ю армию.

Тульский оружейный завод приобретал особенное значение в это время, когда приходилось вооружать значительные народные ополчения и ниоткуда из-за границы нельзя было получить оружия, по крайней мере, своевременно. Хотя заключение мира с Англиею уже приближалось к окончанию, но наши порты ещё были закрыты для английских судов. Естественно было Императору обратить на это внимание и вызвать генерала Воронова в Москву. Сообщённое им известие о том, что при заводе вовсе нет запасного оружия, послужило поводом к принятию особых мер. «По личному вашему мне объяснению о средствах приумножения ружьев на Тульском заводе (сказано в предписании Воронову) предположено было казёнными мастеровыми приготовлять ежемесячно по 7 тысяч ружей по новому образцу». Сверх того, генералу Воронову предписывалось заключать условия с оружейниками, имевшими свои частные фабрики, чтобы они выделывали по три тысячи ружей в месяц по определённой цене (18 рублей за ружьё) и вольными рабочими переделывать и исправлять старые ружья также по три тысячи ружей в месяц. «Если вы (сказано в этом предписании) благоразумным своим распоряжением и старанием вольных фабрикантов будете ежемесячно приготовлять *больше*, то оное будет принято мною за особый знак вашего ко мне и Отечеству усердия. Поручаю вам объявить всем заводским мастерам и фабрикантам, имеющим свои фабрики, что никакое ещё время в Отечестве нашем не требовало более от каждого усердия и пожертвований, как нынешнее. Следовательно, я уверен, что из оных фабрикантов найдутся такие усердные сыны Отечества, что целые свои фабрики обратят к одному делу оружия и тем дадут способ их имена передать в память потомству. Необходимые для производства ружей издержки, по рассчёту самими вами составленному в 506.758 руб., предписал я отпустить вам ныне же Московскому военному губернатору графу Ростопчину из пожертвований г. Москвы»[36].

Император вызвал также в Москву Милорадовича, князя Лобанова-Ростовского и графа П.А. Толстого. Офицеры, посланные Императором ещё из Дрисского лагеря, когда решено было его оставить и, продолжая отступление, отыскивать вокруг Москвы удобные места для укреплённых лагерей, полковники Чернышёв, Мишо и Эйхен, узнав о прибытии в Москву Императора, также явились туда. Граф Толстой назначен был начальником третьего округа ополчения и должен был отправиться в Нижний Новгород. Туда же отправлен был и полковник Мишо, чтобы там, на берегу Волги, избрать место для укреплённого лагеря. Разговаривая с графом Толстым, когда зашла речь о том,

что Наполеон может занять Москву и остаться в ней на зиму, на его вопрос: «Что же тогда Ваше Величество намерены предпринять? Государь сказал: «Сделать из России вторую Испанию»[37].

Ещё из лагеря при Дриссе, Милорадовичу, занимавшему место генерал-губернатора в Киеве, поручено было из запасных войск (рекрутских депо) образовать отдельный корпус, избрав средоточием Калугу. Такую же обязанность исполнял князь Лобанов во Владимире. При свидании с ними в Москве Император предпринял меры для снабжения их средствами к скорейшему образованию и увеличению этих резервных корпусов, которые впоследствии вошли в состав действовавших армий. Принятые меры к призыву народных ополчений имели влияние и на составление этих корпусов. Князю Лобанову Император предписывал: «касательно назначения в полковые и батальонные команды, а равно и в определении всех прочих штаб и обер-офицеров, руководствоваться правилами конфирмованного мною доклада о составе военной Московской силы, с дополнением дозволения моего на приём дворян, служивших в подвижной милиции сотенными или пятидесятными начальниками, а не имеющих других чинов в прапорщики»[38].

К числу военных распоряжений Императора, сделанных им во время пребывания в Москве, принадлежит весьма важное, имевшее политическое значение – это окончательное решение о будущем назначении Дунайской армии. Письмом к Чичагову из Дрисского лагеря Император уже устранил заносчивые намерения адмирала, предлагавшего разорвать переговоры об утверждении мира с Турками и идти прямо на Константинополь; но он предоставлял его решению вопрос, что будет полезнее при современных обстоятельствах: употребить ли вверенные его начальству войска для диверсии в Далмацию, или ввести их в пределы России для действия против правого крыла Великой армии Наполеона, совокупно с войсками Тормасова? Получив султанские ратификации мирного договора и отпраздновав его заключение торжественными молебнами в Смоленске и Москве, Император не мог не опасаться, однако же, чтобы вместо только что оглашённого по всей России мира не возгорелась снова война с Турками, которую всеми силами желала возбудить политика Наполеона. Из письма Чичагова он мог усмотреть, что адмирал не только не отказывался от своих замыслов, не только мир с Турциею считал действием ошибочной политики, вредной по своим последствиям, но приступал к таким действиям (образуя ополчения из молдаван и валахов и вводя русские войска в Сербию), которые неминуемо повлекли бы к возобновлению войны с Турками.

Такое состояние дела требовало, чтобы Император положил предел самостоятельным действиям адмирала и дал окончательное направление Дунайской армии. Поэтому он писал к Чичагову из Москвы: «Решившись продолжать войну до последней крайности (à toute outrance), я должен был позаботиться о собрании новых сил в помощь действующим войскам. Поэтому я должен был решиться провести несколько дней в средоточии империи, чтобы возбудить дух всех сословий и подготовить к новым пожертвованиям в пользу святого дела, которое мы защищаем оружием. Последствия превзошли мои ожидания: Смоленск мне дал 15 тысяч человек, Москва 80 тысяч, Калуга 23 тысячи. Каждый час я ожидаю донесений из других губерний. А между тем наши армии ещё целы и невредимы. В Смоленске я получил присланные вами ратификации. Я более, нежели когда-нибудь, держусь тех соображений, которые излагал вам в моих последних письмах. Мы должны заботиться о том, чтобы употребить все наши силы против главного врага, с которым ведём войну. Посылаю вам депешу Штакельберга, из которой вы увидите, что предположенная нами диверсия становится более и более затруднительною. В таком случае остановитесь на другом предположении, которое я вам сообщал: переведите как можно скорее ваши войска через Днестр и следуйте на Дубну. Там подкрепят вас армия Тормасова и корпус герцога Ришелье. Таким образом будете в состоянии действовать наступательно, смотря по обстоятельствам, или на Пинск, или на Люблин и Варшаву. Такое движение может поставить Наполеона в затруднительное положение и может дать совершенно новое направление военным действиям»[39].

Это письмо положило конец как мечтательным замыслам адмирала-полководца, так и предположенной диверсии в тыл неприятелю с правого его крыла, в Далмацию и Северную Италию. Кроме затруднений со стороны Австрии (о которых писал граф Штакельберг в депеше, сообщённой адмиралу Государем) эта экспедиция могла быть произведена не иначе, как при согласии Англии на предложенных ей в этом смысле условиях при заключении мирного договора; но они были ею отвергнуты. Известие о том Император получил ещё на пути из Вильны к Дрисскому лагерю и, дорожа заключением мира с Англиею и открытием торговли с нею, он отказался от этих условий, которые могли единственно служить ручательством в успехе предположенной диверсии.

Но в общих соображениях о военных действиях эта диверсия находилась в связи с другою — с высадкою шведско-русских войск под предводительством Бернадота в Германии с левого крыла, в тыл

Наполеону. Эти соображения, составленные в то время, когда предполагали, что император Французов не может ввести в пределы России такой многочисленной армии и что Русские войска, готовившиеся к встрече, были достаточно сильны, чтобы с успехом противодействовать вторжению, оказались ошибочными. В это время, когда Император убедился в превосходстве сил неприятеля сравнительно с нашими на всём поприще военных действий, как в центре, так и на флангах, когда он решился призвать народ на помощь войскам, деятельно руководил составлением ополчений, поощрял народную войну и вызвал Дунайскую армию в пределы империи, мог ли он не обратить внимания на 20 тысяч готовых к бою, опытных войск, находившихся в Финляндии в полном бездействии, ожидавших переправы в Швецию для того, чтобы поступить под начальство наследного Шведского принца для дальнейших действий совокупно с шведскими войсками? Но вывод этих войск из пределов Финляндии, с целью употребить их на главном поприще военных действий, неминуемо повлёк бы за собою два последствия: Финляндия осталась бы совершенно беззащитною против вторжения Шведов, если бы оно могло последовать, и предположенная высадка шведско-русских войск на берега Германии не могла бы состояться. Союз с Швециею был слишком нов, потеря Финляндии ещё ничем не была вознаграждена для Шведов, и трудно было надеяться, чтобы единственно влиянием Бернадота их ненависть к России и желание отмстить ей могли превратиться в мирные и дружелюбные к ней чувства. Но что же могло ручаться за искренность чувств в этом случае и самого наследного принца Шведского? Бывший маршал Франции не был лично знаком Императору; взаимные их отношения ограничивались перепискою и дипломатическими сношениями.

А между тем мысль о защите Петербурга постоянно занимала Императора. Корпус графа Витгенштейна был так незначителен, что нельзя было возложить на него всю надежду и успокоиться. Ещё в письмах к Н. И. Салтыкову (бывшему своему воспитателю, при Екатерине президенту Военной коллегии), перед отъездом в Москву, Император заботился о приготовлении к вывозу из Петербурга государственных архивов, драгоценностей и произведений искусства[40]. По приезде в Москву он получил ответ на эти письма от графа Салтыкова: «Касательно до положения по военным действиям, изображённого в письме вашем, осмеливаюсь на ваше благоусмотрение следующие мои рассуждения представить: сколь ни превосходны неприятельские силы против наших, нельзя, однако же, предполагать, чтобы неприятель решился и с значущим корпусом идти

прямо на Петербург, оставя за собою нашу действующую армию, хотя бы и удалось одержать ему и знатную победу, быв должен ожидать, что и в таком случае, конечно, предпримутся и от нашей армии нужные меры воспрепятствовать ему такое предприятие свободно исполнить. Но, однако же, почитаю нужным здесь тепереча же собрать корпус войск из находящихся здесь, в Финляндии и других по близости местах, коих, по осведомлению моему с князем Горчаковым, может быть до 20 тысяч слишком, под предлогом, что оные нужны для подкрепления Риги, которая в опасности находится. И если на сие Вашего Величества соизволение будет, то и дать о сём повеление князю Горчакову. А как здесь теперь находится генерал Кутузов, то не угодно ли будет ему тот корпус подчинить в команду, к защите здешней столицы и ему предписать на имя его рескриптом? Я считаю, что такой корпус, если не в состоянии будет совсем неприятеля удержать, по крайней мере, замедлит ему приход сюда. На случай же, сохрани Боже, если бы неприятель разбитием нашей армии совершенно уничтожил силы наши, на таковой случай мне кажется нужно заблаговременно *приготовлять резервную армию* внутри России, по близости Москвы, *не выпуская из виду стороны Смоленска*,— дабы при таковом, как выше сказано, несчастливом приключении, армия ныне действующая, ретируясь во внутрь России, нашла себе новое подкрепление и была бы паки в состоянии действовать. Осмеливаюсь ещё прибавить, что в таком случае непременно нужно, чтобы и вы собственною особою вашею были здесь, чтобы принимать меры самые сильные, а без вас оные будут все недостаточны. И сему в пример вам поставлю Петра Великого: когда он перед Нарвскою баталиею видел опасность целости России, тогда оставил армию, возвратился во внутрь России, чтобы усилить своим присутствием принимаемые меры внутри государства, к защите оного. Что же принадлежит до принятия мер к вывозу из Петербурга означенных предметов в записке вашей, я соображал, сколько можно. Не смею, однако же, ничего покамест сделать, чтобы безвременно не встревожить здесь; а буду ожидать вашего решительного повеления, чтобы к тому приступить. И если по обстоятельствам сие непременно нужно будет, в таком случае не рассудите ль, оставя здесь Вязмитинова во всём управлении, как он есть, прислать на время сюда Балашёва с приказанием вашим и нужными ему наставлениями, возложив на него весь сей отсюда вывоз? Вам самим известна его деятельность и расторопность. Ему же и всё здесь известно. Я должен вам, всемилостивейший Государь, признаться, сколь ни велика моя ревность и усердие вам служить, боюсь я, что моё здоровье и слабость, какую я совершенно чувствую, отнимут у меня все надобные

к тому способности. Я несколько дней теперича едва только ходить могу; а в таковом случае не только нужны советы или приказания, но и большая деятельность»[41]

Воспитатель Императора, 76-летний старик, больной, постоянно лечившийся, доживавший последние годы свои, граф Н.И. Салтыков терял уже телесные силы, но вполне сохранял умственные. Его советы Императору, выраженные в этом письме, соответствовали обстоятельствам того времени и совпадали с образом действий самого Императора, вызванным теми же обстоятельствами. В виду сил противника, превосходивших значительно наши, рассчитывая возможность неудач в сражениях, граф Салтыков советовал позаботиться о приготовлении подкреплений для войск около Москвы и не выпускать из виду Смоленска. Так выражался граф Салтыков в то самое время, когда Император подписал воззвание к Москве и манифест об ополчении, которых не успел ещё привезти в Москву князь Трубецкой и которых содержание никому ещё не было известно. Он советовал Императору оставить войска и прибыть «во внутрь России», чтобы своим присутствием усилить средства обороны и ускорить их исполнением на деле, в то время, когда Император уже выехал в Москву. Хотя он был уверен, что неприятель не пойдёт на Петербург, а именно на Москву и при том через Смоленск: но ввиду опасений со стороны Императора он предлагал образовать особый корпус войск для защиты Петербурга и первый указал на графа Кутузова, как вождя, которого не следует оставлять в бездействии при тогдашних обстоятельствах, предупреждая общее мнение России, которое немедленно выразилось в избрании графа Кутузова начальником ополчений как в Москве, так и в Петербурге.

Полученным вслед за тем донесением от Эссена из Риги подтвердились опасения. Испуганный поражением Левиза у Экау, он сжёг Московское, Петербургское и Задвинское предместья Риги, населённые по преимуществу Русскими и, ожидая немедленной её осады, известил об этом графа Салтыкова. Пересылая его донесения Императору, граф Салтыков писал: «Хотя считаю, что Ваше Величество можете прямо иметь донесение из Риги от Эссена; но по важности оного я на всякий случай у сего поднесть честь имею. Я не думаю, чтобы неприятель занялся осадою Риги; а больше думаю, что он устремится сюда. Хотя оно и весьма отважно оставить позади себя корпус войск в команде Эссена (как слышу, довольно знатный), к тому же если есть и около Динабурга войска от 1-й нашей армии; но от сего неприятеля можно ожидать всякого и отчаянного предприятия, а потому едва ли можно будет обойтиться от выезду и вывозу

всего отсюда. Разве Бог поможет вашей армии побить Наполеона самого»[42].

Это письмо без сомнения усилило опасения Императора и указало, куда он должен был направить свой путь из Москвы. «Известие о Риге, — отвечал он графу Салтыкову, — сообщённое мне вами, нимало меня не удивляет. Вспомните, что я всегда сие предвидел по превосходству сил, действующих против нас. Признаюсь, что я не полагаю, чтобы переход через Двину, о коем упоминается в письме от Эссена, был сделан с намерением идти на Петербург; но единственно по правилам военным, дабы перед осадою запереть Ригу, как говорится по-французски, pour cerner la place. Мудрено, чтобы они отважились отправить корпус на Петербург, *прежде*, нежели *участь* Риги и действующих армий решена будет. Но не менее того, как я прежде писал, все меры к увозу из Петербурга всего нужного необходимы, и времени терять не следует. Я надеюсь ещё приехать сам в Петербург к 21-му июля; но желал бы уже найти всё приготовленным на всякий случай. Выездом императорской фамилии, полагаю, спешить нечего, разве уже когда корпус неприятельский будет приближаться к Нарве. Имев лошадей, заготовленных по Ярославской дороге на Казань, всегда вовремя успеть можно выехать. Важнее, чтобы все тягости заблаговременно были выпровождены. Продолжением же присутствия императорской фамилии и публика будет несколько успокоена. Между тем, с помощию Божиею и армии действующие могут иметь успехи, которые переменят вид вещей. По последним известиям всё, благодаря Бога, идёт хорошо. 1-я армия совершила своё движение к Витебску, дабы быть между Двиною и Днепром и иметь Смоленск в тылу; 2-я уже подошла к Могилёву, и князь Багратион хотел атаковать неприятеля. Посему соединение сих двух армий кажется *вероятным*. Что же касается до составления корпуса для защиты Петербурга, я должен заметить, что означенные в прилагаемой записке войска существенно составляют только три полка; прочие — все рекруты, а кавалерии вовсе нет. Нельзя ли приступить в Петербурге к формированию наподобие того, что делается в Смоленске и Москве? Употребя псарей, кучеров, конюхов, форейторов господских, словом, людей ездивших верхом, можно весьма скоро составить казачьи полки. В Петербурге и в губернии, по примеру Московскому, должно составиться довольно значительное число. К сему можно присовокупить один драгунский полк, оставшийся в Финляндии и не назначенный на суда. Дать ему повеление прийти в Петербург. Сверх того с каждого кавалерийского гвардейского полка осталось по 50 человек с двумя офицерами, которые могли бы все служить для образования сей новой кавалерии.

Три же полка пехотных могли бы образовать новую пехоту, и тогда корпус будет довольно значителен. Заняв позицию под Нарвою, можно будет неприятеля остановить, тем больше, что, по сведениям, которые я имею, вверх по Нарве мосты строить неудобно по быстроте и порогам. Неужели Петербург захочет отстать от Москвы в усердии к защите Отечества? Прилагаю рескрипт Кутузову о назначении его начальником корпуса для защиты Петербурга. Со стороны Пскова корпус графа Витгенштейна, усиленный резервными войсками и составляющий до 30 тысяч человек, назначен к защите Петербурга. Прошу ваше сиятельство, с помощью генералов Кутузова, Вязмитинова и князя Горчакова, дать ход новому вооружению в Петербурге. При сём прилагаю Московское образование: оно может послужить примером. Артиллерии же в Петербурге и Пскове слишком достаточно»[43].

Император хотя и принял предложение графа Салтыкова о составлении корпуса войск для защиты Петербурга, потому что всякое умножение войск в это время считал полезным; но он понимал, что этот корпус, в составе которого окажутся только три полка опытных солдат, далеко не может иметь того значения, как 20-тысячный корпус опытных воинов, находившихся без дела в Финляндии.

В Москве получены мирные договоры, заключённые с Испаниею и Англиею. В первом, подписанном уполномоченными обеих держав 8 июля, в Великих Луках, постановлялось, что условия союза между обоими государствами и правила к распространению торговых между ними сношений будут определены впоследствии. Сущность же самого этого договора заключалась в том, что обе договаривающиеся стороны приняли «твёрдое намерение вести мужественную войну против императора Французского, общего их неприятеля, обещая с сего часа рачить и содействовать искренно всему тому, что может быть полезно для той или другой стороны»[44]. Лишь только английский уполномоченный при Стокгольмском дворе узнал, что Россия отказывается от тех условий, которые обязывали Англию содействовать диверсии Дунайской армии в Далмации, как мирный договор с Россиею был немедленно им подписан вместе с нашим посланником Сухтеленом в Эребру, 6 июля. Обе договаривающиеся стороны «обязывались, если бы какая держава вела войну с которою-нибудь из них, защищать одна другую» и постановляли, что «ратификации этого договора будут разменены в продолжении шести недель или, буде можно, и *скорее*»[45]. Возобновление торговых сношений составляло важную потребность для обеих держав: множество английских торговых судов, охраняемых английскими военными эскадрами в Немецком и Балтийском морях, только и ожидали открытия русских портов, и командиры эскадр имели уже

предписания действовать заодно с русскими, лишь только узнают о подписании мирного договора между Англиею и Россиею.

Финансы России были крайне истощены в это время континентальною системою и большими издержками на приготовления к войне. Наше правительство должно было прибегать к чрезвычайным мерам, чтобы усилить средства государственного казначейства. Некоторые из этих мер утверждены были Императором во время пребывания его в Москве[46]. Открытие торговли с Англиею и субсидия в 4.200.000 руб., назначенная тайными статьями по этому договору, давали надежду на улучшение наших финансов.

Заключением этого договора достигалась и другая важная цель: устранялись препятствия к исполнению предположенной высадки шведско-русских войск на берега Германии, которая без денежной помощи Швеции со стороны Англии и без покровительства и защиты со стороны её морских сил не могла бы осуществиться. Но перевозка русских войск на берега Швеции, приготовление шведских к переезду морем и необходимых для того морских судов, требовали значительного времени; а между тем, приближалась пора, когда морские экспедиции в северных водах представлялись опасными, как писал и сам наследный принц в письмах к Императору[47]. К этому обстоятельству в соображениях императора Александра должно было присоединиться другое: возможно ли думать о диверсии, которой влияние на общий ход военных дел должно было обнаружиться в будущем, довольно отдалённом, когда на главном поприще войны дела приняли такой оборот, что вынуждали не только воспользоваться всеми готовыми средствами обороны, но и образовывать новые в значительном количестве?

В это время Император получил письмо от наследного Шведского принца, в котором тот писал: «Мы находимся в постоянном ожидании известий из Главной квартиры Вашего Величества и никаких не получаем из Лондона; а между тем наши вооружения продолжаются. 35 тысяч Шведских войск к концу месяца будут находиться в тех местах, где должны быть посажены на суда. Другая армия будет собрана на границах Норвегии, чтобы наблюдать за движениями в этой стране. Почти четыре месяца тому назад, в разговорах с Сухтеленом, я уже выражал крайнюю необходимость, чтобы Рига была приведена в такое положение, чтобы могла выдержать осаду, будучи окружена укрепленными лагерями, независимыми один от другого, но которые мог бы поддерживать огонь крепостных орудий, в роде тех, которыми защитил себя Пётр Великий во время Полтавского сражения. Если воздвигнуты уже эти укрепления, то Рига, защищаемая только

15 или 20 тысячами человек, под предводительством смелых генералов, может надолго задержать на Двине императора Наполеона. Он не может от неё удалиться, не оставив перед Ригою корпуса войск, по крайней мере, в 50 тысяч; но, по известиям, которые я имею, его армия не так многочисленна, чтобы он мог отделять от неё такие корпуса. Рига во всяком случае может быть разделена на четыре части, и защита каждой вверена особому начальнику. Окружённая рвами и траверсами, каждая часть должна представлять как бы отдельное укрепление. Извините, Государь, что я вдаюсь в подробности, которые вероятно входили в ваши соображения; но желание торжества вашим войскам увлекает и занимает меня до такой степени, что я молю Провидение, чтобы каждый город, каждое укрепление вашей империи защищались бы так же как Сарагоса. Надеюсь, однако же, что крепости Вашего Величества будут счастливее, потому что военные летописи мало представляют примеров, чтобы Русские войска сдавались на капитуляцию».

Окончив это письмо, Бернадот получил письмо Императора из Видзи 22 июня (4 июля) и приписал следующее: «Я чрезвычайно был доволен, узнав, что вы предписали вашей 2-й армии действовать наступательно, тогда как ваша 1-я армия приближается к укреплённой позиции на Двине. Ваше Величество должны употребить все способы, чтобы угрожать правому крылу Наполеона и принудить его изменить свой боевой порядок (son ordre de bataille) с тою целью, чтобы вам возможно было внезапно напасть на его левое крыло 1-ю армиею с её резервами, а в то же время Рижский гарнизон, сделав вылазку, угрожал бы тылу его центра и левого фланга»[48].

Это письмо также обращало внимание Императора на левый фланг неприятеля, на Ригу и её укрепления, которая не была снабжена вполне достаточным количеством оборонительных средств и далеко не так укреплена, как желал наследный принц Шведский. Между тем Император поручил Шведскому посланнику[49] написать Бернадоту, что он желал бы иметь с ним свидание и лично переговорить о дальнейших взаимных действиях против общего врага и вслед затем отвечал Бернадоту следующим письмом из Москвы: «Благодарю Ваше Высочество за те чувства, которые вы мне выражаете при каждом случае. Прошу верить и в неизменность моих чувств к вам. Да позволено мне будет присовокупить к этому, что много раз я желал видеть вас присутствующим посреди моих войск, чтобы руководить вашими высокими дарованиями и большою опытностью всю совокупность военных действий в этой важной войне. Я получил ваши письма, когда все движения были уже окончены,

и не представлялось уже возможности их изменить. Не остановлюсь откровенно выразить моё мнение, что ваши соображения нашёл я несравненно превосходнее тех, которыми мы руководствовались в наших действиях. Одно только из них до сего времени исполнялось в точности: мы избегали генерального сражения, а все частные дела оканчивались в нашу пользу. Я только не был доволен движениями 2-й армии: она совершала движение не с достаточною быстротою и дала возможность неприятелю предупредить себя в таком важном месте, как Минск. Но я надеюсь, что во всяком случае и эта ошибка будет исправлена. Решившись продолжать войну до последней крайности, я должен был позаботиться о том, чтобы составить новые резервные войска. В виду этой цели необходимо было моё присутствие в средоточии империи, чтобы возбудить дух и склонить на новые пожертвования моих подданных. Я воспользовался промежутком времени, которое мне оставалось до получения вашего ответа на те сообщения, которые я поручил адмиралу Бентинку доставить вам, чтобы съездить на несколько дней в Москву. Эта поездка доставила мне более ста тысяч ополчения, которое предложили мне Московская и смежные с нею губернии. Другое такое же ополчение будет устроено между Нижним Новгородом и Казанью. Пробыв здесь восемь дней, завтра я отправлюсь в Петербург, где буду 20 ст. ст. Там я надеюсь получить ответ Вашего Высочества, от которого будет зависеть, направлюсь ли я к тому месту свидания с вами, которое вы назначите или возвращусь к войскам, если вы не найдёте возможным устроить наше свидание в настоящее время. Корпус Макдональда приблизился к Риге, чтобы начать осаду. Если Наполеон одержит значительные успехи над моими армиями, то Петербург окажется в опасности; потому что Рига может быть прикрыта (masquée) частью корпуса Макдональда. Поэтому я полагаю, что высадку наших соединённых войск в настоящее время с гораздо большею пользою можно бы произвести у Ревеля. Соображениям Вашего Королевского Высочества я предоставляю решить этот вопрос и вполне полагаюсь как на вашу дружбу ко мне, так и на желание ваше успеха общему делу. Будьте уверены, что ничто не может ослабить моих усилий для торжества святого дела и что я вижу спасение России и Европы только в том постоянстве, с которым мы будем стремиться к этой цели»[50].

Глава 3

Великий князь Константин Павлович. – С. Н. Глинка. – Ратнические комитеты. – Вести о военных действиях. – Высылка почт-директора Ключарёва и переписка о нём. – Объявления графа Ростопчина. – Глинка о графе Ростопчине. – Наполеоновы лазутчики. – Повар Ростопчина. – Госпожа де Сталь.

Император выехал из Москвы ночью с 18 на 19 июля. «В день отъезда он занимался делами в продолжении целого дня,— говорит граф Ростопчин.— Я вошёл к нему проститься уже около полуночи. Он предложил мне главное начальство над ополчением шести губерний, смежных с Московскою. Я просил его уволить меня от этого назначения, и он, кажется, согласился с моими соображениями; я просил также у него приказаний и наставлений о том, как я должен был поступать при различных обстоятельствах и получил только следующий ответ: "Я даю вам полную власть действовать, как сочтёте нужным. Как можно предвидеть в настоящее время, что может случиться? Я полагаюсь на вас". Он сообщил мне только, что оставил при 1-й армии генерал-адъютанта Кутузова с тем, чтобы он привёз ему известие о проигранном сражении, если это случится. Он не хотел, чтобы я провожал его до заставы, сел в коляску и уехал, оставив меня *полновластным*, вполне облечённым его доверенностью и в чрезвычайно затруднительном положении импровизатора, которому задали задачу: *Наполеон и Москва*».

Обстоятельства были таковы, что и при первом назначении графа Ростопчина Московским генерал-губернатором, в марте месяце, Император отказался исполнить его желание, т.е. не дал ему особого наказа для действий, которые он должен был согласовать с ходом событий. С тех пор обстоятельства усложнились ещё более, возможность их последствий сделалась ещё неопределённее и грознее. Чрезвычайные меры, предпринятые для защиты Отечества именно во время пребывания Императора в Москве уже показывали всю силу грозившей опасности; а сообщение Императора, с какою целью он оставил при армии генерал-адъютанта Кутузова, свидетельствовало, что он имел причины опасаться, что решительное сражение, дан-

ное неприятелю, может быть проиграно. Это событие в свой черёд значительно изменило бы ход дел. При таких обстоятельствах очевидно, что Император поступил благоразумно, не дав подробных приказаний и наставлений графу Ростопчину. Без сомнения, это положение понимал и сам Московский генерал-губернатор и, испрашивая их снова у Государя, желал только дать ему повод снова выразить ему полное своё доверие. Он понимал, что образ мыслей Императора был не согласен с его образом мыслей, который, без сомнения, не мог остаться без влияния и на образ его действий, как бы он ни желал согласовать их с видами Государя. «Во время моего управления,— заметил он в своих *Записках,*— многие в Москве были уверены и даже до сих пор полагают, что у меня были подписанные Императором бланки; но они ошибаются: Император никогда и никому не вверял таких бланков, за что, конечно, он достоин хвалы, потому что так много людей, которые готовы злоупотреблять властью даже и без такого полномочия». Конечно, весьма справедливы последние слова графа Ростопчина; но вместе с тем нельзя не заметить, что и мнение москвичей, которые полагали, что полновластие, дарованное ему Государем, простиралось до такой степени, что он снабдил его бланками за своею подписью, также имело своё основание, как покажет дальнейший рассказ о его действиях.

Граф Ростопчин не упоминает о том, что он говорил Государю и какие предлагал принять меры. Но сомнения быть не может (если принять в соображение его письма к Государю), что после целого месяца исправления своей должности, он говорил с Государем, например, о Верещагине и Мартинистах, составлявших главный предмет его забот. Его предположения, изложенные в письмах к Государю, остались без ответа, может быть и потому, что Государь получал их в то время, когда сам намеревался уже ехать в Москву. Едва ли можно сомневаться, что граф Ростопчин пожелал узнать мнение об этом Государя. Заводил ли он речь о подложной казни Верещагина, которую, без сомнения, отклонил бы Государь, или понял сам всю невозможность (после приёма, оказанного Государю Москвою) разыграть на её стогнах эту недостойную трагикомедию? Но что он напоминал о Верещагине и, следовательно, о Ключарёве и вообще Мартинистах, в этом не может быть сомнения. Впоследствии, когда дело было внесено в Сенат, он объявил высочайшее повеление, чтобы оно было рассмотрено *немедленно и без очереди.* Когда же он мог получить это повеление, как не при личном докладе, настаивая на том, что обстоятельства времени требуют скорейшего решения этого дела. Понятно, что при этом случае он говорил о Ключарёве и Мартинистах. Вероят-

но, Государь отклонил принятие суровых мер в отношении к людям, не изобличённым ни в чём преступном; но вероятно также, что графу Ростопчину удалось внушить Государю подозрение к ним, как можно предполагать по некоторым последующим его действиям.

Не рассказывая того, о чём он говорил с Государем, граф Ростопчин счёл нужным упомянуть о том, чего он ему не сказал[1].

«Великий князь Константин,— говорит он,— прибыл из армии Барклая, который, считая его присутствие бесполезным и затруднительным, отправил его курьером к Императору в Москву с словесным поручением представить отчёт о состоянии войск и предположениях главнокомандующего. Император хотел оставить великого князя в Москве, поручив ему составить кавалерийский полк, что великий князь считал делом 15 дней, предполагая годных ему людей и лошадей брать повсюду, где бы он их ни нашёл. Предвидя неудобства от его пребывания в Москве и дурного впечатления, которое мог бы произвести тот способ, который он намеревался употребить для составления полка, я просил Императора дать другое назначение великому князю, чтобы избавить меня от неприятностей: мне бы пришлось отвечать за его действия в такое время, когда все часы я должен был посвящать многочисленным делам первостепенной важности. Император согласился со мною и намеревался поручить своему брату составление ополчений в Нижнем Новгороде; но вследствие его отказа и просьб согласился снова отпустить его в армию. Я ревностно желал отъезда и удаления из Москвы великого князя Константина. Мартинисты, которые действовали в тайне, но с упорным постоянством, распустили между хвастунами и трусами молву, что император Александр был причиною опасности, которая угрожает империи, что его царствование может быть только несчастливое и что на его место следует посадить его брата Константина. Такое предположение, столько же бессмысленное, как и ужасное, разумеется, никогда не могло быть осуществлено на деле, потому что это послужило бы в пользу Наполеона и к погибели государства, произвело бы революцию в такое время, когда всеми способами следовало поддерживать и подкреплять правительство пожертвованиями, единодушием и спокойствием. Разрушением же основания, конечно, нельзя было предохранить здание от падения. Я не сказал об этом ни одного слова Государю ни в то время, ни после, чтобы не возбудить подозрения к брату, который был совершенно чужд этим козням злых людей. Низость также примешалась к тайной измене, и в то время, когда великий князь спешил изготовиться к отъезду в армию, Валуев ему сказал: “Останьтесь здесь, Ваше Высочество, не удаляйтесь от собора; Ваше место здесь...” На это вели-

кий князь, не понимая значения этих слов, отвечал: "Я вас оставляю здесь молиться Богу; а сам еду драться в армии; там моё место"».

Каких речей нельзя было подслушать в тёмных закоулках Москвы или в кабаках и харчевнях! Но они не имели ровно никакого значения и не производили никакого действия, как свидетельствует сам же граф Ростопчин. Говоря о собраниях Мартинистов у П.И. Кутузова, он продолжает: «По счастью, несмотря на значительное число их последователей, даже между купцами, слухи, которые они распускали, не производили действия, какое они предполагали. Все были слишком заняты и озабочены, и не было времени для праздности, которая была бы способна верить ложным слухам, так что всякий подобный слух не внушал никакого доверия. Но самый коварный изо всех был слух, будто Наполеон был сын императрицы Екатерины, что он был воспитан в чужих краях и что на смертном одре она взяла клятву с императора Павла, чтобы он уступил половину Русской империи своему брату Наполеону, если он появится». Общее настроение Москвы, выразившееся в приёме Государя, уничтожило всякие нелепые слухи, и никто из современников даже не упоминает о подобных слухах. Но за этими слухами ревностно следил граф Ростопчин и, к несчастью, придавал им важность, приписывая их Мартинистам. Каждому случайному выражению, а при том такого безопасного в политическом отношении лица как Валуев, он придавал преступное значение.

Никому неизвестные разговоры графа Ростопчина с Императором, естественно, составляли предмет толков и предположений между москвичами в это время. Эти предположения вошли и во многие сочинения современников об этой эпохе, а потом повторялись, доказывались или опровергались последующими писателями. «Удивлённый и почти испуганный, по свойственной ему скромности,— говорит один их них,— силою выражения чувств жителями Москвы, Император пробыл несколько дней в древней столице; но эти дни составляли эпоху в жизни генерал-губернатора, с которым он вёл разговоры великой важности, в которых дело шло о чрезвычайных средствах для спасения империи. Дал ли он положительные наставления графу Ростопчину, как он должен поступать в том случае, если французы приблизятся к стенам Кремля? Ничего положительного об этом сказать нельзя. Не могла, однако же, возможность этого случая не представиться им обоим, и кто знает, может быть заносчивый Ростопчин, который у подножия трона не умел себя сдерживать, предвидел уже это? А может быть нерешительный и мягкий характер императора Александра помешал генерал-губернатору предложить

вопрос, на тот случай, если священный город будет опозорен занятием неприятеля»[2].

Не может подлежать сомнению, что главный предмет разговоров касался именно тех чрезвычайных средств, которые решился предпринять Император, а именно пожертвований и составления народных ополчений. Но едва ли могла быть речь о занятии неприятелем Москвы, и особенно о её сожжении, как думают некоторые иностранные писатели[3]. Ход войны ещё недостаточно обозначился; Император ожидал решительного сражения после соединения двух армий; ещё неизвестно было, на Москву или на Петербург двинет неприятель главные свои силы. Что касается до графа Ростопчина, то он был весьма далёк от этой мысли в это время. После известия об оставлении Дрисского лагеря, он говорит: «Я узнал от одного из чиновников при армии Багратиона, что она с начала военных действий простиралась только до 68 тысяч, а Барклаева до 104. Зная уменье Наполеона действовать большими массами и ввиду возможности с нашей стороны противупоставить ему более половины сил в сравнении с его, я надеялся, что Смоленск остановит его движение вперёд и что он окончит свою первую кампанию на берегах Днепра».

Один из иностранцев, проживавший в это время в Москве, говорит, что «граф Ростопчин советовал императору возвести укрепления вокруг Москвы, вооружить жителей для её защиты и особенно усилить надзор и принять строгие меры против проживавших там французов; но император положительно отверг это последнее предложение. "Зачем, сказал он, тревожить французов, поселившихся в России? Я знаю, что они невинны и меня любят"»[4]. Конечно, этот разговор основан на слухах, ходивших в это время между иностранцами в Москве; но он не представляет ничего невероятного. Очень естественно было графу Ростопчину говорить о той мере, которую он уже предлагал Императору прежде. Вероятно и то, что Государь советовал ему не употреблять без разбора строгих мер в отношении к французам; но чтобы его ответ на предложение графа Ростопчина был выражен так безусловно, это весьма сомнительно. Высочайшее повеление об иностранцах, состоявшееся ещё в лагере при Дриссе, на основании, быть может, советов графа Ростопчина, а особенно на основании донесений наших дипломатических агентов за границею о французских шпионах, отправленных в Россию, может служить тому доказательством. Только что сделав распоряжения о приготовлении к вывозу из Петербурга всех государственных дел, архивов и драгоценностей, Государь, конечно, поручил графу Ростопчину принять такие же меры и в отношении к Москве. Последующие письма

графа Ростопчина к Государю доказывают, что этот вопрос входил в предметы совещаний Государя с Московским главнокомандующим. Без сомнения, он говорил с ним и о возбуждении народа к защите Отечества. Эта мысль занимала его в это время, и следующее обстоятельство подтверждает такое предположение.

15 июля, когда Государь выходил уже из залы Слободского дворца, где было собрано дворянство и купечество, начальник Кремлёвской Экспедиции П. С. Валуев взял за руку Глинку, говоря: «Пойдёмте, Сергей Николаевич, я представлю вас Государю».— «Теперь не до меня, ваше превосходительство»,— отвечал ему Глинка и поспешно уехал домой.

Не одни события этого дня, способные взволновать и не такого впечатлительного и увлекавшегося человека, каким был С. Н. Глинка, но вместе с тем и забота о семействе должны были его тревожить. Его постоянные выходки, хотя и патриотические, его беседы с народом, внушили опасения в близких к нему людях, которые постоянно его предостерегали. С тех пор, как он отдан был под надзор полиции, его семейство находилось в постоянном ожидании беды. По приезде домой, «сбылось моё предчувствие,— говорит он,— застаю бедную жену мою в страдании и горьких слезах. Некоторые из услужливых моих знакомых настращали её, что мне, за отважные мои возгласы в собрании, не миновать беды. “Молись Богу, сказал я плачущей жене моей; знаю, что меня позовут; а потому на всякой случай заготовь белый жилет и белую косынку. Когда потребуют, то поеду во фраке: чужой губернский мундир насмешил и меня, и моих знакомых”». Семейство и знакомые Глинки были уверены, что его речь в дворянском собрании не пройдёт ему даром. Весть о почтовых тележках, конечно, уже разнеслась по Москве. Беспокойство усилилось, когда 19 июля явился к Глинке ординарец графа Ростопчина с приглашением явиться к нему. «Я этого ожидал, сказал он своей супруге, молись Богу».

Когда Глинка вошёл в кабинет главнокомандующего, у которого находился в это время его адъютант Обрезков, граф Ростопчин быстро подошёл к нему, говоря: «Забудем прошедшее, теперь дело идёт о судьбе Отечества» и, «взяв со стола орден и бумагу, граф продолжал: “Государь жалует вас кавалером четвёртой степени Владимира *за любовь вашу к Отечеству, доказанную сочинениями и деяниями вашими.* Так изображено в рескрипте за собственноручною подписью Государя Императора. Вот рескрипт и орден... Поздравляю вас кавалером”. В то время, как граф Ростопчин сопровождал поцелуем своё поздравление, Обрезков суетился прицепить орден ко фраку Глинки.

Затем граф Ростопчин продолжал: "Священным именем Государя Императора развязываю вам язык на всё полезное для Отечества, а руки на 300 тысяч экстраординарной суммы. Государь возлагает на вас особенные поручения, по которым будете совещаться со мною". — "Благодарю Государя, — отвечал я, — но позвольте мне поспешить к жене моей. У ней трое суток отзывается в ушах звон Сибирского колокольчика". Подъехав к своему дому и увидав супругу, которая, ожидая его, сидела у растворённого окна, Глинка махал ей лентою ордена, говоря: "Вот крест, а не беда"»[5].

Хотя граф Ростопчин и был в ссоре с Глинкою, но должен был уступить силе обстоятельств. Без сомнения, в этом случае воля Государя служила главным основанием перемены его образа действий. Император не мог не знать, какое значение приобрёл издатель *Русского Вестника* и какое влияние мог иметь на народ. 300 тысяч назначались для поддержания и большего возбуждения патриотического духа в народе и отдавались в распоряжение Глинки. Впрочем, и сам граф Ростопчин, без сомнения, понял, что вступать в борьбу и преследовать человека, которого исключительная особенность заключалась в восхвалении, хотя подчас неудачном, всего Русского, в воззваниях к самопожертвованию для спасения Отечества, при тогдашних обстоятельствах, было бы не только неуместным, но даже опасным. Будучи представителем государственной власти в Москве, он сам желал разыгрывать в то же время и как бы роль народного трибуна; но кто же поверил бы его искренности в этом случае, если б он стал преследовать Глинку? Ему необходимо было помириться с ним, чтобы взять его в свои руки и сделать своим орудием.

Так и поступил граф Ростопчин. Это была уступка обстоятельствам. Впоследствии, в своих *Записках* о 1812 годе, он ни разу не упоминает даже имени Глинки; а между тем Глинка очень ревностно исполнял *особенные поручения*, которые возложены были на него Государем и которым граф Ростопчин придавал важное значение. Но взгляды графа в этом отношении совершенно различались со взглядами его подручника. Он счёл нужным испросить у Государя 300 тысяч особенной суммы, предназначенной для того, чтобы возбудить народ против неприятеля к защите Отечества и поручил С. Н. Глинке распоряжаться этими деньгами. «Немедленно, — говорит Глинка, — я приступил к тем особым поручениям, с которыми нередко, и в Москве и вне стен её, сопряжена была опасность жизни. Но тогда жизнь была для меня последним условием. Я был счастлив и под грозною тучею, быстро устремлявшеюся к Москве. Провидение помогало мне оживлять души добрых граждан, успокаивать их умы и внушать им меры

осторожности, предостерегая их от смущения и торопливой робости. Непрестанное присутствие моё на площадях, на рынках и на улицах Московских, сроднило со мною взоры, мысли и сердца Московских обывателей. Действуя открытою грудью и громким словом, я *не прикасался рукою* к сотням тысяч, вверенным мне вместе с свободою развязанных уст. Однажды только, по записке моей, препровождены были в село Крылацкое кушак и шапка крестьянину Никифору, благословившему на брань трёх сынов своих. Деньги хороши как средство к оборотам потребностей быта общественного; но беда, где они заполонят общество человеческое... При восстании душ действуйте на них силою нравственною, уравнивающею дух народный с величием необычайных обстоятельств»[6].

В этих последних словах выражаются великое достоинство С.Н. Глинки и великая его заслуга, которая должна заслонить в глазах потомков все странные и подчас смешные свойства этого исторического деятеля. Он сроднился с народом или, лучше сказать, никогда в качестве образованного человека и не относился к нему как к невежественной и грубой силе, неспособной на возвышенное чувство любви к Отечеству, которую будто можно возбудить в нём или ловкими распоряжениями правительственных властей, или силою денег[7].

Хотя граф Ростопчин и пробовал отклонить от себя начальство над ополчением шести смежных с Московскою губерний, но Император назначил его начальником первого округа ополчения. «Это назначение, – говорит граф Ростопчин, – в значительной степени усложнило мои занятия. Ко всем гражданским губернаторам этих губерний отправлены были курьеры и сообщены правила, которыми они должны были в этом случае руководствоваться. Я назначил места, где должны были собраться ополчения (которые были указаны в самом рескрипте Государя), и в 24 дня эти ополчения были составлены и обмундированы; но не было достаточного количества ружей, чтобы их вооружить. Они были вооружены пиками, которые мало принесли пользы. Если бы исполнили моё предложение ещё 1811 года, то имели бы в готовности – 640.000 человек, взяв по одному с 25 душ. Было достаточно времени составить дружины и обучить их по мере следования к назначенным местам. Они были бы прилично и удобно одеты; следовало бы взять для них все ружья из арсенала и усилить производство на оружейных заводах. Не было бы недостатка ни в пушках, ни в порохе; их распределили бы по корпусам и постепенно придвинули бы к границам, где должны бы начаться военные действия. В шесть месяцев, если даже предположить, что четвёртая часть осталась бы позади или совсем не была бы собрана, во всяком случае можно бы

иметь полмиллиона отличных солдат для подкрепления армий, простиравшихся до 300 тысяч. Были бы ещё и резервы, и можно бы числу врагов противупоставить двойное число воинов. Это была война истребления людей, стало быть, у кого их было бы более, за тем осталась бы и победа; а, быть может, узнавши это, Наполеон не решился бы начать войну с Россиею. Европа осталась бы спокойна, а он императором в Тюильри»[8].

В то время, о котором идёт речь, уже поздно было думать об этом, а надо было действовать. Но граф Ростопчин написал приведённые нами строки уже гораздо позже, и в то время он неутомимо исполнял возложенную на него обязанность. «На другой же день по отъезде Государя,– говорит он,– я открыл, в качестве генерал-губернатора, два комитета. Один из них сделался совершенно бесполезным после обещания дворянства поставить по десяти ратников со ста душ; но Государь приказал мне собирать тех господ, которых он назначил в этот комитет. Они впрочем ничего и не делали, только болтали и спорили с генералом Апраксиным; этот постоянно вмешивался в дела, до него не касавшиеся, предлагал новые меры, с которыми не соглашались и рассылал приказания, которым не повиновались». Действительно ли некоторые члены комитета, по своим способностям и познаниям, не соответствовали возложенному на них поручению, или соответствовали, граф Ростопчин, во всяком случае, не мог быть доволен ими вообще. Члены комитета, как совещательного собрания, не обязаны выслушивать только мнения председателя и беспрекословно исполнять его приказания. Напротив, председатель обязан выслушивать мнения каждого из членов и приводить их к соглашению. Такое положение первого между равными не соответствовало личным свойствам графа Ростопчина, и потому, по выражению одного из современников, скоро «возникла шаткость в ратническом комитете». Но если это положение не соответствовало характеру и привычкам графа Ростопчина, то ещё менее он мог помириться с положением подчинённого; а между тем Император, по возвращении в Петербург, учредил особый высший комитет по делам ополчений, как для общего наблюдения над всеми окружными и губернскими комитетами, так и для того, чтобы придать единство их действиям. Учреждение этого комитета, а равно назначение в его составе графа Аракчеева, крайне волновали графа Фёдора Васильевича. «Я не ребёнок,– говорил граф Фёдор Васильевич,– меня поздно водить на помочах»[9].

Несмотря, однако же, на *шаткость* в этом комитете, на недовольство своим положением председателя, общее настроение духа было таково, что не более как в один месяц ополчение было состав-

лено и выступило в поход в числе 12 полков, из которых один был конный.

Всё Московское ополчение состояло из 25.834 человек, но ружей нашлось для только 6000[10]. Кроме общего ополчения в Москве составлялись ещё особые полки графа Мамонова и Салтыкова. Когда первый получил разрешение Государя, «дело закипело,— говорит один из современников, сам записавшийся в этот полк.— Граф Мамонов вызвал из деревень своих несколько сот крестьян, начал вербовать на деньги охотников, всех их обмундировал, посадил на коней, вооружил исправно, и скоро полк начал приходить в надлежащее устройство. Были и от других лиц предложения и попытки ставить полки на собственные издержки; но, кажется, один полк Мамонова достиг предназначенной цели»[11] Князь П.А. Вяземский, слова которого мы привели, оставил полк Мамонова перед самою Бородинскою битвою, отправившись к действующим войскам в качестве адъютанта графа Милорадовича. Хотя его молодой начальник (графу Мамонову был только 22-й год) не жалел ни хлопот, ни денег, чтобы образовать свой полк, однако же, дело не ладилось. Обер-прокурор Сената, не имёвший понятия о военной службе, блестящий представитель высшего общества, умный и образованный на французский лад, но гордый и надменный, не понимавший России, граф Мамонов не умел ладить с людьми и ещё менее распоряжаться полковым хозяйством. Давно уже составление ополчений было окончено, и они выступили на предназначенные им места; разыгралась Бородинская битва, в ней принимала участие и часть Московского ополчения, в котором был В.А. Жуковский; затем была сдана Москва неприятелю, а полк графа Мамонова ещё не был устроен окончательно. Впоследствии, в губернии, он был приведён в надлежащее устройство и только в 1813 году мог принять участие, но конечно не в защите Отечества, чего желал его начальник, но в избавлении Германии от ига Наполеона, о чём он вовсе не думал.

С такою же ревностью приступил к составлению своего «Московского гусарского» полка и граф Салтыков. Несколько дней спустя после отъезда Императора из Москвы, граф Ростопчин уведомил его, что граф Салтыков набрал уже 160 человек, которые помещены в гарнизонных казармах[12]. Но успех остановился на первом шаге. По занятии Москвы неприятелем граф Салтыков продолжал составлять его в Казани; смерть положила предел его деятельности, и набранные им люди введены потом в состав Иркутского гусарского полка[13]

Сильное волнение, в котором находилась Москва во всё время пребывания в ней Императора, конечно, улеглось после его отъезда;

но всё-таки в продолжении некоторого времени «движение народа было необыкновенное. Множество приезжих из деревень наполняли вечерние гулянья на бульварах, так что тесно от них было; все почти были в мундирах Московского ополчения, вооружённые, готовые кровью своею искупить мать Русских градов»[14]. Составление ополчений наполняло Москву множеством дворян, приехавших из деревень, и новыми ратниками. По мере того, как составлялись дружины и выступали в назначенные места, Москва пустела и затихала.

14-го августа Московские дружины, уже готовые выступать в поход, были собраны на Земляном валу против Спасских казарм. Множество стеклось народа провожать *крестоносных* ратников на войну. Приехал и архиепископ Августин. После молебна с водосвятием, дружины проходили мимо него. Окропляя их святою водою, он говорил: «Господь сам с вами, Господь поборет по вас!» Но заметив странное явление,— у Московского ополчения не было знамён, он распорядился, чтобы из церкви Спаса во Спасской пронесли хоругви и отдал их ополчению. Так выступило оно с хоругвями вместо знамён и с иконою, которую митрополит Платон прислал Императору[15].

Но в это время в пустевшую мало-помалу Москву начали являться новые гости и привозить известия с поприща военных действий. «В Москве всё было тихо,— говорит граф Ростопчин,— во всё то время, когда наши войска соединились у Смоленска и не предпринимали ещё никаких действий; предполагали даже, что война может быть окончена. Между тем, в Москву начали приезжать изгнанные и бежавшие из Белоруссии, которые, при приближении неприятеля, оставляли свои имения и приезжали в столицу, ожидая найти в ней полную безопасность. Они-то распространили слухи о жестоких и святотатственных действиях Наполеоновых воинов. Один отряд пришёл в деревню, где находился помещик с своим семейством; эти люди позволяли себе всевозможные неистовства в отношении ко всем, не исключая его дочери и племянницы: первая умерла на другой день, вторая умирающею было привезена в Москву. В то время, как распространилось по городу известие об этом случае, узнали также, что неприятельская кавалерия устраивает в церквах конюшни для своих лошадей. Я ни о чём не заботился более, как распространить повсюду эти известия. Первое показало дворянству, что оно поступает дурно, ожидая прибытия неприятеля, и приготовило его к мысли о необходимости выехать из Москвы, что и было решено во всех семействах; второе возбудило во всех жажду мщения. Народ, узнавши об этом, пришёл в ярость и начал вооружаться. Вот причина убиения французских солдат крестьянами».

В то время, когда французы подвигались от Немана и до пределов Смоленской губернии, помещики, почти все поляки, не оставляли своих имений и не только не убегали во внутрь России от неприятеля, но, напротив, встречали его с сочувствием и даже старались скрывать все совершаемые им грабежи и насилия. Но с движением французов за Вильну начали появляться в Москве бежавшие оттуда русские люди и рассказывать о их действиях. Вместе с тем, по мере приближения к Москве наших армий и вести из них начали умножаться. В обществе и народе с жадностью ловили каждое известие. «На другой день после отъезда Государя из Москвы мне доложили,— говорит граф Ростопчин,— около вечера, что из Смоленска приехал генерал-адъютант Кутузов, тот самый, о котором отъезжая сказал мне Государь, что он должен привезти известие о поражении наших войск. Как он ни уверял меня, что вовсе не было сражения, что Наполеон находится в Минске, что наши армии в Смоленске, я упорно настаивал на том, чтобы он сознался, что мы потеряли сражение, сообщив ему сказанные мне о нём Государем слова. Наконец, он убедил меня честным словом и, проговорив со мной около часа, отправился в Петербург. Находясь в сомнении и беспокойстве, я узнал потом, что многие из наиболее замечательных генералов поручили Кутузову просить Государя заменить Барклая Багратионом по причине разномыслия между ними и происходящей оттого бездеятельности наших армий. Причина этой вражды заключалась в том, что князь Багратион был старше по чину Барклая; но этот имел преимущество перед ним по званию военного министра, и потому со времени соединения обеих армий он принял под своё начальство и армию Багратиона. Оба они весьма дорожили мнением Москвы и потому часто писали ко мне письма, наполненные жалобами друг на друга. Барклай, более благоразумный, сохранял в них некоторое достоинство, тогда как Багратион писал глупости о своём товарище и желал его представить то неспособным человеком, то изменником».

Дальнейшие известия из армии подтверждали эти известия. Они распространились по всей Москве и, конечно, неуспокоительно на неё подействовали. До этого времени Московское общество, по уверению графа Ростопчина, несколько успокоилось в отношении к важным действиям; будто бы предполагали даже возможность заключения мира. Соединение обеих армий у Смоленска, долговременный перерыв в военных действиях, известие о победах, одержанных отдельными нашими отрядами над неприятелем, могли, конечно, возбудить в некоторых предположение, что неприятель, ввиду деятельно приготовляемых ополчений, которые должны были составить доволь-

но грозную силу, решится прекратить войну. Но, кроме приведённых нами слов графа Ростопчина, мы ни у кого из современников не встречали указаний, чтобы существовало в Москве подобное предположение. Едва ли не свой собственный взгляд на военные действия в это время граф Ростопчин смешивает с общественным мнением Москвы.

В переписке с графом П.А. Толстым, которому поручено было составление ополчений 3-го округа и который находился в Нижнем Новгороде, граф Ростопчин выражает свой взгляд на военные действия этого времени. «Если Витгенштейну удастся разбить Макдональда, – говорит он, – то Рига и Петербург будут покойны. Не знаю, на что решится Тормасов: продолжать ли предписанный ему ход, или идти на Шварценберга, что кажется нужнее. В Смоленске изготовили сухарей на 10 дней и с вчерашнего дня идут вперёд; Французы *отступили*, и мы полками стоим в 55 вёрстах от Смоленска. Но кто командует войсками, право не знаю! Армия усилилась батальонами Эртеля, кои пришли; корпус Милорадовича будет собран весь к 6-му числу августа. У меня всё спокойно, но я начну сечь Французов, объявляя, что если не уймутся, то и вешать буду»[16].

Спустя четыре дня, граф Ростопчин, посылая к графу Толстому присланные из Петербурга бумаги, писал: «В Петербурге стали спокойнее после победы графа Витгенштейна (при Клястицах). Но видно, что Макдональд, узнав о разбитии Удино, не захотел дожидаться и ушёл прочь. Тормасов также разбил Клингеля (при Кобрине) с 8000; и он должен был идти к Ренье, у которого 14 тысяч, большею частью саксонцев и поляков. Но что-то нет до сих пор известия. Граф Ламберт с 3000 конницы ходил везде по герцогству Варшавскому и пришёл опять к Тормасову. Чичагов с 55 тысячами пеших войск и 7000 сербов, десять дней тому назад был за Каменец-Подольским. Моё мнение то, чтобы он или Тормасов, но кто-нибудь, вошёл в Варшаву и действовал на правом берегу Вислы, для отнятия у неприятеля способов к усилению войск своих и заготовлению провианта. Наполеон в Витебске и близ окрестностей Борисова окапывается в лесах или для того, чтобы безопасно дожидаться нового хлеба и новых войск, или обмануть наших. Багратион в команде у Барклая, и они оба не подавались вперёд, но ходят взад и вперёд. Барклай мне пишет, что в ожидании подкрепления из разных мест он будет избегать большой битвы и частью будет стараться истреблять отдельные корпуса, не подвергая судьбу России участи одного проигранного сражения. Государь в Петербурге и ничего о приезде его (в Москву) не слышно. Вооружения идут своим порядком, а у меня также всё спокойно, как и при вас; только я принужден был начать сечь Французов»[17].

Это письмо писано было за три недели до Бородинской битвы, а между тем из него видно, что граф Ростопчин и не думал о близкой опасности, угрожавшей Москве. Хотя его смущали, конечно, известия о странных движениях наших армий после их соединения под Смоленском, но успокаивали слухи о том, что Наполеон не только не подвигается вперёд, но будто бы отступает и даже приготовляется зимовать в Литве, о удачных поисках графа Ламберта в герцогстве Варшавском, победах графа Витгенштейна и Тормасова. Его заботы исключительно относились к тому, чтобы поддержать спокойствие в Москве, от чего, он полагал, зависело и спокойствие всей России, а следовательно, удачный исход борьбы с врагами. *Наполеон и Москва* или, лучше сказать, он сам, потому что он вполне сливал её с собою: вот в каком виде представлял он свою задачу в это время.

Но кроме внешних врагов, графу Ростопчину представлялась ещё другая опасность, внутренние враги, против которых, по его мнению, следовало принимать строгие меры.

Четыре дня спустя после того, как Государь выехал из Москвы, он писал ему: «После вашего отъезда я занят был сбором войск, и сегодня уже генералы отправятся по назначению... Город весьма опечален вашим отъездом, и к этому присоединилась ещё тревога по случаю проезда генерал-адъютанта Кутузова, цель поездки которого никому неизвестна. Одни предполагают, что он везёт дурные известия, другие – мирные предложения; но в последнее время весь город говорит о соперничестве между главнокомандующими, которые не соединяются оттого, что ни один не хочет быть под начальством другого. Надеются, однако же, что ваши войска, соединённые у Смоленска, могут остановить дерзость неприятеля; но для этого нужно согласиться между собою, драться и победить – несколько раз. Общая ревность ко благу Отечества не только не уменьшается, но напротив усиливается. Я только боюсь иностранцев, которых народ начинает ненавидеть. Все эти дни были истории на улицах, но, к счастью, полиции удавалось водворить порядок, и всё ограничивалось несколькими толчками, полученными иностранцами или теми, которых сочли за иностранцев. Хотя ещё не представляется никакой вероятности, чтобы две наши армии дали проникнуть неприятелю до Москвы, но я принял меры предосторожности на этот случай, отправив надёжного человека в Коломну, нанять и остановить несколько барок под предлогом отправления пушек в Нижний Новгород и привоза оттуда железа. Эти барки, под надзором верных людей, могут послужить для перевозки по Оке тех предметов, которых сохранение Ваше Императорское Величество мне изволили вверить... Пере-

писка некоего Буффа с Парижем и Ригою доказывает, что здешний почтамт не так деятелен и бдителен, как Ваше Величество хотели уверить. Здесь носится слух, будто бы министр полиции, перед своим отъездом отсюда виделся с этим негодным Ключарёвым, которого ненавидит весь город. Я имел честь говорить об этом человеке Вашему Императорскому Величеству; но я не знаю, удостоился ли я полной доверенности с вашей стороны. Привыкши любить и почитать моих Государей, я смотрю на службу не иначе, как на верное средство быть полезным, и я никогда не имел никаких иных побуждений, кроме безусловной преданности. Обстоятельства таковы, что в случае продолжительных неудач, или возмущения, или какой измены, дело будет касаться гибели Отечества и вашей священной особы. Поэтому я коленопреклонённо умоляю Ваше Императорское Величество, при случае малейшего сомнения в моих способностях или усердия, не останавливаться ни на одно мгновение в решимости заместить меня другим; потому что я могу вам служить и быть более полезным иным способом. Я буду служить помощником Леппиха, стану во главе 1000 человек и отправлюсь драться; я буду проповедовать народу, который меня любит, и до последнего дыхания употреблю жизнь для того, чтобы служить вам»[18].

Конечно, нет никакого повода заподозревать искренность графа Ростопчина и готовность его жертвовать своею жизнью в это трудное для России время; но нельзя не заметить, однако же, что он был увлечён в опасную крайность. Нашествие внешних врагов ему казалось ещё отдалённою грозою в это время; он не думал ещё о близкой опасности, грозившей Москве и если принимал меры предосторожности для спасения некоторых государственных дел и драгоценностей, то по указанию самого Императора. Государь, без сомнения, указал ему на необходимость этой меры, точно так же, как перед тем он подробно предписал о том же графу Салтыкову в отношении Петербурга. Ближайшую опасность граф Ростопчин видел внутри самой Москвы, в Мартинистах, и преследовал тех, кого считал их вождями. Когда Поздеев приехал на пять дней в Москву, и его, конечно, навестили знакомые, он немедленно написал к нему письмо, советуя «не отлагать своего отъезда и впредь не являться в столицу»[19]. Кутузову, сенатору и попечителю университета, он запретил собирать у себя общество по определённым дням. Кутузов повиновался, но «другой начальник Мартинистов, – говорит граф Ростопчин, – вздумал было не исполнять моих предписаний. Тогда я поехал к нему и, запечатав все его бумаги, отправил его с полицейским офицером в Воронеж, за 500 вёрст от Москвы, чтобы он находился там под надзором». Это

был старик, почт-директор Ключарёв, которого особенно ненавидел и подозревал граф Ростопчин.

Из всех масонов Ключарёва по преимуществу преследовал граф Ростопчин с первого дня вступления в должность Московского генерал-губернатора, вследствие ли близких отношений к Брокеру, который имел причины его не любить, или вследствие того положения, в котором находился он, как почт-директор: граф Ростопчин подозревал, что он читает всю переписку, которая должна оставаться тайною. Он просил Государя не посылать ему через почту таких приказаний, которые никому, кроме него, не должны быть известны. Он подозревал, что к Ключарёву пересылаются запрещённые вещи и известия из-за границы и что сам он рассылает разные новости, вредные и опасные для общественного спокойствия. «В это время,— говорит он в своих *Записках*,— мне принесли несколько известий, которые по почте рассылались по городам, находившимся на больших дорогах. Их изложение совершенно не соответствовало видам правительства. Созывали ополчение, усиленный набор рекрутов, описывали Москву, поражённую отчаянием, называли защиту от неприятеля неразумною, так как, чтобы восторжествовать над гением Наполеона с его огромными силами, необходимо чудо Провидения, и всякое человеческое противуборство невозможно. Оказалось, что эти известия были сочиняемы близким секретарём Ключарёва, которого я сейчас же и отправил в Петербург к министру полиции». «Открытие тех известий, которые рассылались здешним почтамтом,— доносил граф Ростопчин Государю,— служит новым доказательством той цели, которой хочет достичь секта Мартинистов. После собственного сознания я арестовал надворного советника Дружинина и посылаю его с офицером к министру полиции. Несмотря на незначительность успехов Наполеона в продолжение трёх недель, эта адская секта не может сдержать своей ненависти к России и к вам и своей приверженности к неприятелю. Я повергаю это дело решению Вашего Императорского Величества, на коленях умоляя пощадить империю, которую Провидение вверило вашему попечению и не дать средств и способов злодеям вести её к погибели, поражая умы ужасом и убеждая, что все великодушные усилия вашего народа останутся бесполезными для спасения Отечества... Теперь я осмеливаюсь просить вас, Государь, если вы сочтёте возможным оставлять здесь ещё Ключарёва, назначить на моё место кого-либо другого, потому что я буду считать себя недостойным далее занимать его. У меня две руки, и жизнью моею я жертвую вам, и я попрошу у вас позволения служить в армии прапорщиком или товарищем Леппиха»[20].

На другой же день после этого письма граф Ростопчин счёл нужным сообщить Государю нелепый слух, где-то подслушанный, будто гибель России есть наказание Божие, насылаемое за кончину императора Павла, и прибавил: «Я не сомневаюсь, что сочинителя этой бессовестной молвы суть Лопухин, Ключарёв, Кутузов и Лубяновский; но который из них пустил её в ход, этого открыть невозможно. Не решитесь ли вы, Государь, для предотвращения больших несчастий, приказать мне сообщить этим господам, чтобы они отправлялись в свои деревни и оставались там до дальнейшего распоряжения? Я обязуюсь на одного себя обратить их гнев; ибо пущу в ход слух, что я поступил так самовольно. Таким образом, вы помешаете работать для вашей гибели; общество с удовольствием признает это делом правосудия против людей, достойно им презираемых. Я в отчаянии, что должен вам это донести; но моя честь и присяга обязуют меня к этому»[21].

Эти письма получены были в Петербурге в то время, когда Император уехал в Або для свидания с наследным принцем Шведским, и потому граф Ростопчин долго не мог получить ответа. Ожидание только раздражало его, и он решился действительно самовольно привести в исполнению ту меру, на которую испрашивал позволения Государя, по крайней мере, в отношении к Ключарёву. Через четыре дня после последнего письма, он уже доносил Государю: «Слухи, вновь распространившиеся о ночных собраниях у презренного Ключарёва, вынудили меня отправить его в Воронеж, а его должность, до вашего назначения, поручить князю Цицианову. К этому проступку я принуждён был прибегнуть, как к единственному средству предупредить замыслы Мартинистов, которые доведены уже до того, что угрожали несчастием России и вам участью Людовика XVI. Со временем вы увидите, Государь, что эта ужасная секта благорасположила вас к ней посредством тех, которые сами к ней принадлежали»[22].

Министр внутренних дел, находившийся во всё это время в Петербурге и, конечно, не знавший о взглядах и способе действия Московского главнокомандующего, вдруг получил по эстафете донесение помощника Московского почт-директора Рунича с приложением следующего предписания, данного ему графом Ростопчиным 10 августа: «На время отсутствия г. почт-директора Ключарёва извольте принять на себя отправление его должности и о сём рапортовать министерству внутренних дел». Рунич спрашивал министра, как непосредственного своего начальника, как он должен поступать. Это донесение О. П. Козодавлев получил в то время, когда Государь находился в Або. Крайне поражённый поступком графа Ростопчина, он счёл долгом довести о нём до сведения Императора. «Признаюсь,

всемилостивый Государь,— писал он,— в первом движении подумал я, что почт-директор Ключарёв бежал из Москвы; ибо, не имея и не видя указа, ни высочайшего вашего предписания, не мог я себе представить, чтобы *отсутствием* почт-директора могла быть ссылка его и что, в каком бы то ни было государстве, начальник города мог кого-нибудь, а тем более такого чиновника, каков есть почт-директор, отправить самовластно в ссылку. К крайнему моему сожалению, однако же, узнал я, что сие самое на деле случилось; ибо Рунич пишет ко мне в частном письме, что Ключарёв главнокомандующим отправлен в Воронеж, и кабинет его запечатан. Я тот час же с эстафетою писал к графу Ростопчину, чтобы он снабдил Рунича надлежащим наставлением в принятии дел, дабы отвратить всякий могущий от того последовать беспорядок и вида ему даже не подал моего неудовольствия; а поступил в сём случае точно так, как будто бы сие случилось по высочайшему Вашего Императорского Величества указу или, по крайней мере, что мне неизвестно, что с Ключарёвым сделалось. Вчера прислан ко мне также от здешнего главнокомандующего экзекутор Московского почтамта Дружинин, дело которого Вашему Величеству уже известно по докладу министра полиции Балашёва. Он посажен был в тюремный замок, в нумер, куда самые важнейшие преступники сажаются, и привезён сюда, яко тайный колодник, за известный Вашему Величеству поступок. Будучи всею душою нелицемерно вам предан, я обливаюсь слезами от мысли, что сии два происшествия могли случиться в царствование ваше. В Комитет Министров я о сём не представил, дабы не огласить сих дел; а ожидать буду вашего повеления, особливо же относительно запечатания почт-директорского кабинета, в котором хранятся все секретные и до перлюстрации касающиеся дела. Я весьма опасаюсь, чтобы сии бумаги не сделались жертвою любопытства и не послужили пищею остроумию. По приезде Вашего Величества сюда, не премину я обо всём донести подробнее и о причинах столь жестокого наказания Дружинина, которые мне весьма известны. Беспристрастие моё в сём случае не подвергнется сомнению, ибо Ключарёва видел я только два раза, в проезде мой в Саратов через Москву и обратно. Доверенность моя к нему и хорошие об нём отзывы основаны единственно на самом лучшем отправлении им своей должности и личных к оной способностях. Дружинина же вчера я в первый раз увидал, следственно, я вовсе его не знал. Удаление Ключарёва от его места по обстоятельствам может быть и необходимо. Я не дерзаю входить в рассмотрение сих обстоятельств; но на место его, как я слышал, хотел граф Ростопчин ныне же прикомандировать князя Цициано-

ва. Я Цицианова знаю коротко: он человек достойный и умный и, кажется, потому и не принял на себя сего дела, что граф Ростопчин не имеет права прикомандировать его к сему месту. Впрочем, ежели Цицианов или кто другой из приверженцев графа Ростопчина будет почт-директором, то Московский почтамт совсем уже будет в руках Московского главнокомандующего, перлюстрация тогда перестанет быть от полиции тайною, и у Вашего Величества отнимется средство поверить другим, и самым вернейшим способом, скрытые действия и намерения разных чиновников, не исключая и самых знатнейших. Сверх того Рунич, яко помощник почт-директора и весьма достойный благовоспитанный человек, мог бы почт-директорское место занять, или по крайней мере править сею должность до времени»[23].

Министр внутренних дел, под начальством которого в это время состояло и управление почтами, находился, разумеется, в затруднительном положении. Без его ведома и участия не только смещают одного из важных подчинённых ему чиновников; но даже отправляют в ссылку и назначают на его место нового; другого чиновника, как колодника, присылают в Петербург. Конечно, подобные действия не могли ему быть приятны: они унижали значение вверенной ему власти. Но в виду исключительных обстоятельств времени, он вышел благоразумно из затруднительного положения, не уронив значения графа Ростопчина и предоставив судить об этом деле самому Императору.

Граф Ростопчин считал своё положение совершенно исключительным, вне общего устройство и управления. Он сносился преимущественно с самим Императором и с теми лицами, которые пользовались его особым доверием. Поэтому и о поступке с Ключарёвым, кроме Государя, он уведомил только Балашёва, который удивлён был не менее Козодавлева. «Хотя сегодня я уже имел счастие писать к Вашему Величеству,— доносил он Государю в Або,— но приезд его высочества и прилагаемый пакет подают мне повод сим и ещё вас беспокоить. Первое обстоятельство, т.е. прибытие его высочества, последовав неожиданно, подало повод к великому множеству толков, и многие полагают, что сильный урон наших войск был тому поводом; но когда объяснится истинная тому причина, то и толки сии умолкнут. Граф Ростопчин пишет ко мне от 10 числа: “Завтра три полка Московской силы выходят на бивуак и оттуда пойдут к Можайску”. Он же пишет, что новые разглашения и ночные съезды сенатора Кутузова и профессора Чеботарёва у Ключарёва решили его отправить Ключарёва в Воронеж, а его должность поручить князю Цицианову. Меня его решительность удивила; ибо явного его преступления он не пишет; а зная их личность, известную и всем, я опасаюсь, чтобы

таковые поступки не стали иные относить на счёт слабости правительства, попускающего излишнему самовластию, ибо одному генералу послать в ссылку другого генеральского же чина чиновника, без повеления Государя, мне кажется иначе нельзя, как в важность первой степени»[24].

Читая приведённые нами выписки из писем графа Ростопчина, можно бы подумать, что Москва находилась в сильном волнении, ожидала ежеминутно вспышки мятежа самого преступного свойства; между тем, в тех самых письмах, из которых мы привели выписки и в других, писанных к Государю в тоже время, сам граф Ростопчин свидетельствует о постоянном спокойствии в Москве, о чувстве любви к Отечеству и Государю. Это настроение было так сильно, что нелепая молва не могла распространиться и произвести какое-либо вредное действие: никто ей не верил. «В Москве не остаётся ни одного мужчины: старые и молодые все поступают на службу. Везде видно движение, приготовления. Видя всё это, приходишь в ужас. Сколько трауров, слёз»,— писала образованная свидетельница происшествий к своей подруге в Петербург, именно в это время. «Народ ведёт себя прекрасно,— говорит она.— Уверяю тебя, что не достало бы журналистов, если б описывать все доказательства преданности Отечеству и Государю, о которых беспрестанно слышишь и которые повторяются не только в самом городе, но и в окрестностях и даже в разных губерниях»[25].

Но всего замечательнее, что то же самое говорит и граф Ростопчин. По случаю приезда Милорадовича из Калуги, отправляя его донесение в Петербург, в конце июля, он писал Государю: «Завтра он (Милорадович) намеревается ехать обратно в Калугу, где к 6 августа собирается весь его корпус; он чрезвычайно хвалит батальоны и уверяет, что никогда не видывал такой прекрасной конной артиллерии. Мы условились с ним в отношении местностей, которые должен занять его корпус. Я уступаю ему несколько генералов, вошедших было в состав Московской силы; он сообщит завтра список. Но [так] как у него нет ни гроша денег, то я прошу позволения Вашего Величества уделить ему 10 тысяч из находящихся в моём распоряжении. По городу ходят слухи, благоприятные для нас; но [так] как ничего положительно неизвестно, то для успокоения города и чтобы мне самому сообразовать мои действия с ходом событий, я отправляю в Смоленск полицейского офицера Вороненко, прося военного министра сообщать ему как хорошие, так и дурные вести для передачи мне с эстафетами. Это даст возможность помешать выдумкам и придаст веру тому, что будет объявлено. Народ сердит на иностранцев, и полиция

усиливает бдительность. Впрочем, *всё спокойно*, всё *верно и исполнено ревности*. Все желают, Государь, чтобы вы возвратились в Москву, а я вас умоляю. Вы будете в средоточии дел, недалеко от войск и во главе движения, которое должно подавить врага всех и каждого из ваших подданных»[26]. На другой день после этого он снова писал Государю: «Поистине всё идёт хорошо и окончится ещё лучше, Государь; таково мнение вашего верного слуги и всех тех, которые думают с ним одинаково. Мне кажется, что этот новый Корсиканский Цезарь скажет скоро: пришёл, увидел и возвратился назад. Вашему Императорскому Величеству будет предстоять сделать ему возврат неприятным и избавить его от неудовольствия вступить в Париж, где он может перестать быть идолом. Мишо* несколько нездоров; но он завтра же отправляется в Нижний, где найдёт графа П.А. Толстого, который поехал туда вчера вечером. Милорадович исполнен ревности и в эту ночь едет в Калугу. Он берёт с собою генералов Шепелева и Вадковского. Москва так *спокойна, что надо удивляться*; причина, почему ничего не боятся, заключается в том, что ненавидят великого Наполеона и надеются, что он окажется очень малым. Ваш народ, Государь,— образец терпения, мужества и благодушия. Вчера пришёл ко мне молодой дворовый слуга и объявил, что он так страстно желает драться с Французами, что потерял сон и болен от этого. Я принял его в солдаты, выдал рекрутскую квитанцию его помещице, дал ему денег и с первым курьером отправляю к военному министру, чтобы употребил его в дело. Он обещал мне убивать до 15 Французов в день и страшно гневен на них. Возвратитесь, Государь, в вашу истинную столицу; вы найдёте в ней новые доказательства любви к вам ваших подданных. Все знают, что вы обещались приехать через 15 дней, а вот уже прошло восемь»[27].

Эти письма, находящиеся в полном противоречии с приведёнными выше, доказывают с одной стороны, что в Москве господствовали невозмутимое спокойствие и любовь к Отечеству и Государю;

---

* В публикации писем графа Ф.В. Ростопчина к императору в *Русском Архиве* в письме от 26 июля 1812 речь идёт о Маршане (см. *Русский Архив*, 1892, кн. 2, № 8, с. 437–438), что подтверждается и списком французского текста письма. Как пишет П.И. Бартенев, предваряя публикацию этих писем, *Русскому Архиву* были предоставлены списки с французских оригиналов писем, сделанные рукой сына Ф.В.— графа Андрея Фёдоровича Ростопчина, и подлинников писем редактор *Русского Архива* в руках не имел. Возможно, А. Н. Попов свой перевод делал с подлинников. Во всяком случае, вопрос — о ком здесь идёт речь: Мишо или Маршане — остаётся открытым *(прим. ред.)*.

а с другой, могут служить несомненнейшим свидетельством, что в это время граф Ростопчин надеялся на успешный ход обороны против врага и вовсе не думал о близкой опасности, грозившей Москве. Если он и принимал некоторые меры для вывоза из Москвы разных предметов, то в этом случае он исполнял только приказание Императора. Верных сведений с поприща военных действий он иметь не мог. Его сын, ещё очень юный, бывший адъютантом Барклая, был едва ли в состоянии сообщать их. Сам Барклай, с которым он переписывался, уведомлял его о намерении дать сражение, которым надеялись остановить дальнейший ход неприятеля. Счастливое соединение армий внушало надежду на успех, а бодрый дух отважного Милорадовича вероятно произвёл впечатление на восприимчивого графа Ростопчина. Под влиянием такого настроения духа написаны приведённые выше письма к Государю, в которых он верно описал общее направление, господствовавшее в то время в Москве и *умолял* Государя возвратиться в свою *истинную* столицу. Но приглашая Государя в Москву, он забывал о других своих известиях, о воображаемом заговоре Мартинистов. Император, тронутый приёмом Москвы, оставляя столицу, выразил намерение через две недели снова туда приехать. Без сомнения, ход последовавших событий, быстро сменявшихся одно другим, воспрепятствовал ему исполнить это намерение; но с вероятностью, кажется, можно предполагать, что и эти известия графа Ростопчина могли иметь влияние на его решение и помрачить воспоминание о тех светлых днях, которые он провёл в Москве.

«В это время, — говорит граф Ростопчин, — я почувствовал необходимость действовать на дух народа, возбудить его и приготовить ко всем жертвам для спасения Отечества. Поэтому с этого времени я начал обнародовать известия, чтобы город знал о ходе происшествий и о военных действиях. Я отбросил в сторону сказки и рисунки, которые появлялись ежедневно и в которых Французы представлялись карликами, оборванными, плохо вооружёнными, которых бьют женщины и дети». Эти строки, написанные графом Ростопчиным гораздо после 1812-го года, показывают, что ему не хотелось уже вспоминать о хвастовстве Корнюшки Чихирина и тех *сказках и рисунках*, которые с его же лёгкой руки и были пущены в ход в то время[28]. Действительно, 2 августа он обнародовал сухое и без всяких прикрас извещение о движениях наших армий у Смоленска и об авангардном деле у Молева болота[29].

Но через несколько дней, 9 августа, было обнародовано объявление *от главнокомандующего к Москве*, хотя и наполненное прибаутками, но действительно уже не отличавшееся хвастливостью Корнюшки

Чихирина. «Слава Богу, всё у нас в Москве хорошо и спокойно. Хлеб не дорожает, и мясо дешевеет. Одного всем хочется, чтоб злодея побить; и то будет. Станем Богу молиться, да воинов снаряжать, да в армию их отправлять. А за нас пред Богом заступники: Божия Матерь и Московские чудотворцы, пред светом милосердый Государь наш Александр Павлович, пред супостаты христолюбивое воинство; а чтоб скорее дело решить, Государю угодить, Россию одолжить и Наполеону насолить, то должно иметь послушание, усердие и веру к словам начальников, и они рады с вами и жить и умереть. Когда дело делать, я с вами; на войну идти, пред вами; а отдохнуть – за вами. Не бойтесь ничего,– нашла туча, да мы её отдуем; всё перемелется, мука будет, а берегитесь одного: пьяниц да дураков; они, распустя уши, шатаются, да и другим в уши врасплох надувают. Иной вздумает, что Наполеон за добром идёт; а его дело кожу драть: обещает всё, а выйдет ничего. Солдатам сулит фельдмаршальство, нищим золотые горы, народу свободу; а всех ловит за виски, да и в тиски, и пошлёт на смерть: убьют либо там, либо тут. И для сего, я прошу, если кто из наших, или из чужих станет его выхвалять и сулить то и другое, то какой бы он ни был, за хохол, да и на съезжую: тот, кто возьмёт, тому честь, слава и награды; а кого возьмут, с тем я разделаюсь, хотя пяти пядей будь во лбу; мне на то и власть дана, и Государь изволил приказать беречь матушку Москву; а кому ж беречь мать, как не деткам! Ей Богу, Братцы, Государь на вас, как на Кремль, надеется, а я за вас присягнуть готов. Не введите в слово! А я верный слуга царский, Русский барин и православный христианин. Вот моя молитва: “Господи, царю небесный! Продли дни благочестивого земного царя нашего! Продли благодать твою на православную Россию, продли мужество христолюбивого воинства, продли верность и любовь к Отечеству православного Русского народа! Направь стопы воинов на гибель врагов, просвети и укрепи их силою животворящего креста, чело их охраняюща, и сим знамением победиша”»[30].

Совершенное отсутствие положительных известий о ходе военных дел естественно вынуждало москвичей хвататься за всякую весть, сообщаемую кем бы то ни было.

«Мы все тревожимся,– писала из Москвы в Петербург в это время свидетельница происшествий.– Лишь чуть оживит нас приятное известие, как снова услышим что-либо устрашающее. Признаюсь, что ежели в некотором отношении безопаснее жить в большом городе, зато нигде не распускают столько ложных слухов, как в больших городах. Дней пять тому назад рассказывали, что Остерман одержал большую победу. Оказалось, что это выдумка. Нынче утром дошли до

нас вести о блестящей победе, одержанной Витгенштейном. Известие это пришло из верного источника, так как о победе этой рассказывает граф Ростопчин, и между тем никто не смеет верить»[31]. В это время только что появилось в печати в Петербурге правительственное известие о сражении при Клястицах и, вероятно, не дошло ещё до Москвы.

При таких обстоятельствах, конечно, справедливо понял граф Ростопчин, что необходимо сообщать Москве верные известия и тем дать возможность образоваться разумному общественному мнению. Ещё справедливее была мысль отбросить хвастливые побасенки о ничтожестве Французов и нашей непобедимой силе. Но верных известий о военных действиях граф Ростопчин и сам не имел и потому отправил в Смоленск нарочного полицейского чиновника, через которого надеялся получать их. А покамест, в вышеприведённом объявлении его, кроме общей мысли, что поход Наполеона на Россию окончится для него неудачно, не сообщалось никаких известий о войне. При всём том объявление произвело значительное действие на жителей Москвы, с которыми главнокомандующий вступал в открытый обмен мыслями. С. Н. Глинка поспешил в ближайшей книжке своего журнала напечатать *благодарность жителей Москвы за дружеское послание.* «Что сердце Русское, — писал он, — говорит сердцам Русским, то всегда подействует над душами. Я сам во многих местах читал народу "Послание к жителям Москвы". Все они единогласно благодарили Бога и Государя за своего начальника. "Он вразумляет народ православный, говорили они; он остерегает шаткие умы от всякого зла, он с нами молится Богу; как же нам за него не молиться Богу?" Я сам также был очевидцем, какое действие произвели сии слова: "когда дело делать, я с вами; на войну идти, перед вами, а отдыхать — за вами". У многих из глаз лились слёзы, на лицах пылала отважность, и все в ту же минуту готовы были поднять оружие на врага вероломного. "Рады за начальником нашим в огонь и в воду! (восклицали восхищённые жители Москвы), рады с ним и жить и умереть". "Осторожность — первая похвала, а трусость — последняя глупость". Рады быть осторожными, на страже Москвы белокаменной; она мать Русских городов, она царство в царстве Русском. Слава Богу и Государю, слава им за нашего начальника. Он слушает приказ государев; он бережёт нас, как детей; он крепкой слуга государев, он отец Москвы».

Это не вымысел, но простое повторение общего голоса Русских сердец. Искусство не выдумает таких слов. Одни только благодарные души могут сказать начальнику: ты крепкий слуга государев, ты

отец Москвы[32] Но в этом объявлении заключалось поручение народу хватать всякого из *наших* или *чужих*, кто станет говорить в пользу Наполеона. Конечно, это поручение всего более угрожало иностранцам, за которыми весьма усердно наблюдал граф Ростопчин. Их было весьма много в Москве, и число одних французов простиралось до 3600 человек. В их числе без всякого сомнения, были и приверженцы Наполеона; но едва ли в это время кто-либо из них решился открыто выражать свои мысли. Во всяком случае, возможно ли было поручать наблюдение над ними всем жителям Москвы?[33]

Граф Ростопчин должен был зорко следить за проживавшими в Москве пришельцами вообще из Западной Европы и особенно за Французами, в силу общего предписания правительства. Ещё в лагере при Дриссе, 2 июня, состоялось высочайшее повеление, сообщённое министром полиции всем губернаторам и генерал-губернаторам: «1) В губерниях оставить только тех из иностранцев, в благонадёжности которых Губернатор примет на себя ответственность, что они, ни личными внушениями, ни другими средствами не могут подать повода к нарушению спокойствия, или к сокращению с пути Русских подданных; 2) Всех иностранцев, которые окажутся неблагонадёжными, выслать за границу морем и 3) Тех из них, коих отправление за границу сочтётся неуместным, по уважению, что разглашениями в чужих краях о внутреннем нашем положении они могут подать повод к неблагоприятным и невыгодным для России последствиям, выслать во внутренние губернии»[34].

Политика Наполеона, не разбиравшая средств, а считавшая пригодным всякое, лишь бы оно вело к цели, была хорошо известна русскому правительству. Перед началом военных действий с каким-либо государством он обыкновенно посылал туда множество своих шпионов, как для того, чтобы собрать необходимые для него сведения, так и для того, чтобы своими разглашениями о тех благах, которые готовит великий человек, произвести рознь, смуты и даже измену. В отношении к России это было для него даже удобнее сделать, нежели в отношении к какой-нибудь другой стране. Такого рода люди были под рукою – это Поляки. Быть может, нужно было послать для того, чтобы руководить действиями Поляков, немногих, более осторожных и ловких агентов. Один из современников, артиллерийский офицер, находившийся с своею батареею в Несвиже, свидетельствует, что уже в начале 1812-го года там «стали ловить... шпионов, являвшихся под видом комедиянтов, фокусников, странствующих монахов и тому подобных. Кажется, в правилах великого Наполеона было, перед начатием войны с каким-либо государством,

впускать в него сперва легионы шпионов и зажигателей, которые приуготовляли и расчищали путь для его победоносного воинства. Наиболее этих шпионов являлось тогда под видом землемеров или по-польски коморников, которые, попеременно с нашими офицерами Квартирмейстерской части, снимали ситуацию окрестностей Несвижа инструментально. Я это заметил особенно по одному случаю. Мне назначили в городе для перемены другую квартиру. Со вступлением моим за порог в новое жилище представился мне коморник, окружённый математическими инструментами и планами. Я предложил ему, чтобы он очистил квартиру, определённую мне по власти жидовского кагала и в удостоверение представил налицо Десятника-еврея. Коморник отвечал мне по-польски, неловким наречием, что он квартирует тут с позволения князя Р. и не позволит себя согнать с места никому. Разговор у нас сделался живее; устрашённый еврей-десятник убежал, а польский коморник превратился во Француза... Догадавшись, каков был гость, я поспешил к своему командиру; но покуда отыскивал Городничего, коморник исчез, не оставив лоскута бумаги на месте»[35].

Наши агенты, посланные на границу Пруссии, постоянно доносили о переходе в наши пределы многих подозрительных лиц. Ещё в декабре 1811 года один из них писал военному министру, что несколько времени назад у Полангена, с паспортами от графа Румянцева, помеченными одним числом, перешли границу несколько итальянцев или швейцарцев, направляясь пешком в Литву, трое ксендзов, один студент, один садовник и один повар. Но едва они перешли границу, как все переоделись нищенствующими монахами и рассеялись в разные стороны[36]. Наш посланник в Вене, граф Штакельберг, в конце мая 1812 года, сообщил графу Румянцеву целый перечень лиц разных сословий, которые должны были пробраться в Россию в качестве французских эмиссаров, и списки с этой депеши отправил графу Кутузову в Бухарест, князю Багратиону и министру полиции Балашёву. Хотя некоторые имели вид принадлежавших к высшим разрядам Европейского общества и приводили его в некоторое недоумение, но он считал эти известия, добытые из таких верных источников, столь важными, что счёл долгом сообщить их нашему правительству. «Не подлежит никакому сомнению,— писал он,— что лица такого рода, о каких я буду говорить, старались пробраться в Россию и что многим из них удалось это, и поэтому всякое предуведомление о них должно обратить на себя внимание. Конечно, нередко низкие страсти и другие тому подобные побуждения клеймят подозрением людей невинных; но грустный опыт научает, однако же, что вещи,

по-видимому, самые невероятные, оказываются действительными. Вы поймёте, конечно, что эти рассуждения относятся собственно до одного имени, весьма почётного, которое встретите в этом списке в числе лиц, назначенных французским правительством эмиссарами в Россию». Вероятно, речь идёт о князе Гейнрихе Рейсс-Плауене, который, по словам Штакельберга, вполне предан Французам, а намеревается вступить в русскую службу, или, может быть, о графе Дорревиле или Дорвиле, которого он считает особенно опасным, если ему удастся приблизиться к лицу Императора.

Эти лица были правильно устроены, шайками, под предводительством опытных дельцов в этом роде. В одной шайке были евреи, в другой было много учеников академии восточных языков. Сия последняя шайка, через Константинополь, Белград и Виддин, должна была пробраться в Россию[37].

При огромном наплыве иностранцев в это время не только вообще в Россию, но и в русскую службу, конечно, легко было пробраться и подозрительным лицам. Главнокомандующие армиями и начальники отдельных корпусов постоянно получали сведения о таких лицах, и Тормасов известил о двух из них, находившихся в Москве ещё при предшественнике графа Ростопчина[38].

В таком положении дел естественно, что Русское правительство должно было усугубить наблюдение за иностранцами, пребывающими в России и особенно за французами. Граф Ростопчин ещё 26 июня послал аббатам двух Латинских приходов в Москве следующее объявление: «Император Французов вступил в пределы России. Война началась. Зная образ мыслей ваших и должность священного звания, вами отправляемую, обращаюсь к вам, милостивые государи мои, прося покорно употреблять убедительнейшее средство, по мере возможности, ко внушению иностранцам прихода вашего, чтобы они в поступках своих были благоразумнее и в разговорах ограничивали себя скромностью. Надеюсь, что им будет возможно, по крайней мере, в течении военного времени, почтить тот край, которого Государь являет им отеческую защиту, а подданные его величества оказывают гостеприимство, где бедные находят изобилие, несчастные покров, и бродяги-странники своё счастие. Я в полном уверении, что советы ваши подействуют на умы легкомысленные и развращённые и что начальству не останется другого дела, как только пещись о сохранении общей тишины, вместо розысков, наказаний и употребления строгих мер к водворению порядка и успокоению народа, с давнего времени, особенно ныне раздражённого против Французов»[39].

Но это средство едва ли имело действие именно на тех лиц, которых мог иметь в виду граф Ростопчин. Оно походило более на колкую шутку, нежели на правительственную меру, принятую в виду определённой цели. Без сомнения, те из французов и вообще иностранцев, которые посещали храмы ради молитвы и слушали увещания аббатов, не могли быть опасны. «От времени до времени,— говорит в своих *Записках* граф Ростопчин,— появлялись болтуны, которых полиция подвергала аресту. Но так как я не желал, чтобы эти случаи делались известными, то вместо того, чтобы предавать суду этих ничтожных людей, я отправлял их в сумасшедший дом, где их подвергали правильному лечению, т.е. каждое утро обдавали их холодною водою и по субботам заставляли принимать лекарство. Когда неприятель вошёл в Москву, таких было: 3 женщины и 10 мущин. Страх и подозрение в отношении к иностранным и похвальная ревность превратили всякого в чиновника правительства; опасались шпионов, и [так] как в этом отношении прежде всего дело дошло до иностранцев, то я обнародовал извещение, чтобы всякого, кого бы ни арестовали как подозрительного почему-либо, непременно приводили ко мне для исследования. Я очень был доволен, что поспешил принять эту меру, потому что мне ежедневно приводили таких лиц, каких никоим образом нельзя было считать шпионами. Я объяснял дело толпам народа, которые их приводили; они сознавались в ошибке, и арестованные понапрасну немедленно освобождались. Однажды мне привели русского мальчика, заику и дурачка, которого схватили за то, что он не мог скоро отвечать на предложенные ему вопросы: откуда он? Другой — мой сапожник-немец, который узнав, что за городом между пленными есть его соотечественники, купил им белого хлеба и за это был схвачен и приведён на мой суд. Но народ никого не оскорблял, ни с кем не обращался дурно. Подало ему повод к таким арестам следующее обстоятельство: один цирюльник-немец вздумал жильцам того дома, где он сам помещался, расписывать картину счастья, которым они будут наслаждаться под властью Наполеона. Один из слуг этого дома, пригласив на помощь других, выдал его народу. Я произвёл к себе верного присяге слугу и дал ему при многочисленном народе 1000 руб. вознагражденья, а цирюльника велел посадить в тюрьму. Я принял к себе в услужение повара-француза, который был у меня прежде в Петербурге. Помощники его, русские, которые вместе с ним готовили, донесли на него, что он поклонник Наполеона. Я поручил двум полицейским чиновникам наблюдать, чтобы убедиться в истине и когда это оказалось справедливым, я велел его арестовать, судить и потом отправить в Пермь»[40].

Отзыв графа Ростопчина в приведённых строках из его же *Записок* об отношении русского народа к иностранцам в 1812 году совершенно противоречил тому, что в то время он писал Государю. Он говорит, что народ никого из них не оскорблял, ни с кем не поступал дурно; а в приведённых выше письмах он извещал Государя, что народ раздражён против иностранцев, что его ненависть выражается в ежедневных уличных ссорах и что такое положение вынуждает его усиливать бдительность полиции. Весьма естественно могло бы возбуждаться в народе чувство ненависти к иностранцам и особенно к французам во время их грозного нашествия на Россию. Это чувство и было возбуждено; но неужели здравый смысл русского народа не указал ему пределов этой естественной ненависти и не оградил от неё тех иностранцев, которые издавна и мирно проживали в Москве и других местах России? Мы дадим ответ на этот вопрос словами современного свидетеля, С. Н. Глинки, вообще поклонника графа Ростопчина. Говоря о нём, что он действовал в отношении к иностранцам, *увлекаясь мечтою*, Глинка прибавляет: «Я близок был к народу; я жил с народом на улицах, на площадях, на рынках, везде в Москве и в окрестностях Москвы, и живым Богом свидетельствую, что никакая неистовая ненависть не волновала сынов России». Он рассказывает, что однажды после обеда у графа Ростопчина, на даче в Сокольниках, хозяин с своими гостями, князем Юсуповым и Н. М. Карамзиным, пили кофе в саду. В это время пришедший чиновник сказал что-то графу шёпотом, и граф пошёл в комнаты. Возвратясь оттуда, от с улыбкою сказал: «два добрые человека привели мне с улицы какого-то испитого немца, уверяя, что он шампинион. Распрося немца, я сказал: “ступайте с Богом, братцы, это не шампиньон и не мухомор”. Гости улыбнулись»[41].

Едва ли русский народ стал бы ловить на улицах и приводить к главнокомандующему подобных иностранцев, если бы сам граф Ростопчин не вызывал на это своим посланием к жителям Москвы. Народ был одушевлён священным чувством любви к Отечеству и для его спасения готов жертвовать всем; но это чувство не совместно было с слепою ненавистью к иностранцам. Народ не щадил вооружённого врага, но вовсе не ненавидел вообще иностранцев. Так было в Москве и во всей России[42].

Если б действительно существовала подобная ненависть, то возможно ли было семейству или обществу иностранцев, состоявшему из многих лиц, не знавших ни слова по-русски, проехать из конца в конец всю Россию, от австрийской границы, от Брод до Киева и Москвы и потом до Петербурга, в конце июля, когда неприятель

занимал уже Вильну, и встретить повсюду радушный приём? Между тем, это именно и случилось, в то самое время, с г-жою де Сталь, и такой приём она встретила не со стороны только лиц образованного общества, которое могло знать об её известности как писательницы и ещё большей известности как жертвы, с такою ухищрённою и беспощадною злостью преследуемой Наполеоном, но со стороны лиц всех состояний. «В Русской империи, которую так неправильно называют варварскою, я испытала самые сладкие и благородные ощущения: да привлечёт моя признательность благословение на этот народ и его Государя! Я въехала в Россию в такое время, когда французская армия уже проникла далеко в русскую землю и, несмотря на то, никакое преследование, никакое даже затруднение не останавливало на пути иностранного путешественника. Ни я, ни мои спутники, мы ни слова не знали по-русски; мы говорили только по-французски, языком врага, опустошавшего страну. Вследствие печальных случайностей я не имела при себе даже ни одного слуги, который бы говорил по-русски и если б не доктор-немец (Реннер), который самым обязательным образом вызвался служить мне переводчиком до Москвы, то мы прослыли бы *Немцами* (sourds et muets), как называют русские иностранцев, не понимающих их языка. И несмотря на то, наше путешествие по России совершилось безопасно и легко: так велико гостеприимство и дворянства, и народа». Переехав пределы старой Европы, над которою тяготела тирания Наполеона, после десяти лет томительной жизни, де Сталь у нас увидала себя на свободе и в безопасности; а общественное настроение всех сословий русского народа возбудило в ней бодрость духа, и она почувствовала существование силы, способной бороться с непобедимым по мнению Европы Наполеоном. «В Киеве я в первый раз испытала русское гостеприимство,— говорит она.— Генерал-губернатор Милорадович окружил меня самою любезною заботливостью; он был адъютантом Суворова и такой же бесстрашный, как и он. Он внушил мне гораздо большую уверенность в военные успехи России, нежели я думала прежде. До того времени я встречала только военных немецкой школы, которая нисколько не соответствует русскому характеру; в генерале Милорадовиче я в первый раз встретила истинного русского, пылкого, храброго, уверенного и нисколько не увлечённого подражанием, которое часто лишает его соотечественников даже народного характера».

Де Сталь ехала по России в то время, когда отовсюду двигались войска, перевозились припасы, с *невероятною* быстротою мчались курьеры; часто на станциях приходилось ждать лошадей, и пото-

му часто она сталкивалась с народом и могла наблюдать над ним. «Один очень умный человек,— говорит она,— сказал о России, что она похожа на произведения Шекспира, в которых *возвышенно* всё, что не составляет явной ошибки и всё, что не возвышенно, составляет *ошибку*. Ничего не может быть вернее этого замечания; но во время страшного переворота, в котором находилась Россия, когда я проехала по ней, невозможно было достаточно надивиться той силе сопротивления и решимости на пожертвования, которые выражал этот народ. В виду таких добродетелей нельзя было позволить себе даже замечать то, что в другое время можно бы порицать»[43].

По приезде г-жи де Сталь в Москву, не менее графа Милорадовича любезно принял её и Московский главнокомандующий. Хотя и не с тем, как тот, простодушием и искренностью. «Посреди занятий, которые мне не оставляли и минуты покоя,— говорит он,— моя злая судьба привела в Москву г-жу де Сталь. Надо было бывать у ней, приглашать обедать, успокаивать, сколько возможно. Она приехала из Швейцарии и через Россию проезжала в Швецию к наследному принцу (Бернадоту), её искреннему другу (как она уверяла). Она пробыла целую неделю в Москве по случаю нездоровья её сына; с нею были: её корректор Шлегель и г. Рокка, которого она называла бароном Лефортом и так мне его представила, вероятно, полагая придать ему более важности. Г. Рокка, высокий, изнурённый, задыхавшийся, сделался болен от слишком большого употребления напитка, известного под названием кислых щей, которые ему очень понравились. В своих заботах о больных де Сталь волновалась смертельным страхом, чтобы Наполеон, занятый исключительно её преследованием и раздражённый тем, что она ушла, не послал особого отряда кавалерии, чтобы поймать её в Москве. Для того чтобы убедить меня в справедливости своих опасений, она постоянно прибавляла: "вы не знаете, что это за человек; он способен на всё". В то время, когда она опасалась быть похищенною по распоряжению Наполеона, он был ещё в 800 вёрстах от Москвы; потому я не принял никаких мер, чтобы воспрепятствовать этому похищению».

Хотя г-жа де Сталь не менее графа Ростопчина ненавидела Наполеона, и в этом чувстве они сходились между собою; но дочь Неккера, друг Бенжамена Констана, ни по своему происхождению, ни по образу мыслей не могла возбудить в нём сочувствия. Любезная же и умная собеседница в обществе, отличавшаяся способностью счастливого выражения метких мыслей и замечаний, которые повторялись потом повсюду и всеми, она была скорее ему неприятна. Он видел в ней

в некотором смысле соперницу; а соперничество с женщиной, хотя бы и даровитой и известной писательницею, вовсе не согласовалось с его природою. Высшее образованное общество старой Франции, разрушенное революциею, в числе других необходимых принадлежностей своего существования выработало и общественную беседу, доведённую им до степени художества. Оно превратило с одной стороны гостиные частных домов в театральные сцены, лишив их делового значения обыкновенной жизни, семейной простоты и задушевности, а собеседников в актёров; но с другой придало им действительно художественный характер. «Поиграв умом и показав свои прекрасные плечи, г-жа де Сталь уехала из Москвы,— уведомлял Государя граф Ростопчин.— Её сопровождают поэт Шлегель и молодой Лефорт, который служил во Французской армии; его лицо красиво, но с дурным выражением»[44].

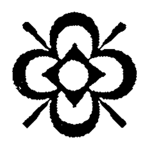
«Известный Ростопчин,— говорит г-жа де Сталь,— которого имя постоянно повторялось в бюллетенях императора, приехал ко мне и пригласил меня к себе на обед. Он был министром иностранных дел при Павле I. Его разговор оригинален, и легко можно было заметить, что его характер выразится со всею резкостью, если того потребуют обстоятельства. Графиня Ростопчина подарила мне свою книгу о торжестве веры, написанную правильным слогом и безукоризненную в отношении к нравственности. Я была у неё в деревне в окрестностях Москвы. Чтобы туда приехать, нужно было миновать озеро и лес: этот-то дом, одно из лучших местопребываний в России, граф Ростопчин сжёг при приближении французских войск»[45]. Кроткий и сдержанный отзыв г-жи де Сталь о графе Ростопчине уже показывает, что он произвёл на неё совсем не то впечатление, как Милорадович и не возбудил в ней сочувствия. Она могла сдержать свои суждения о нём из благодарности за учтивый приём; но, конечно, поняла, что так поступил граф Ростопчин, исполняя лишь обязанность Московского главнокомандующего и условия светского приличия. Появление в Москве г-жи де Сталь было неприятно графу Ростопчину и потому ещё, что отвлекало его от дел и налагало лишнюю заботу, требовавшую траты времени, которым он так дорожил.

Граф Ростопчин вёл чрезвычайно деятельную жизнь. Он жил в это время на даче в Сокольниках, но, говорит он, «чтобы иметь в своём распоряжении послеобеденное время, я ежедневно в 8 часов приезжал в город в дом главнокомандующего. Там у меня был рабочий кабинет, там я принимал донесения, просьбы и тех лиц, которые желали со мною говорить. Это было всем удобнее, потому что дом

главнокомандующего находится в средине города. Я не пропустил ни одного утра, начиная с 20 июня и до 29 августа, и всякий день там бывал и оставался до 2-х часов пополудни; потом я возвращался на дачу обедать и заниматься делами. Около 7 часов вечера я выезжал, чтобы проехаться по некоторым частям города. Часто я гулял в Кремле, куда моё присутствие привлекало много купцов и народа, с которыми я попросту разговаривал, сообщал им некоторые хорошие известия с тою целью, чтобы они распространились по городу. Но с этими людьми надо было говорить весьма осторожно, потому что никто не обладает таким здравым смыслом, как русский человек, и они предлагали мне такие вопросы и замечания, которые могли поставить в затруднительное положение самого опытного дипломата. Все мои вечера я проводил у князя Хованского, у которого обыкновенно съезжалось большое общество, где собирались разные известия и велись длинные рассуждения о военных действиях, о движении армий, об их успехах и т. п. Я возвращался домой около полуночи, и прежде нежели ложился спать, писал донесения императору и отправлял эстафеты. Утренние собрания в генерал-губернаторском доме представляли чрезвычайно любопытно зрелище: тут собирались люди всех возрастов и разрядов, все праздные, подстрекаемые любопытством узнать что-нибудь верное. Это была биржа, почтовая контора или приморская пристань. Я был целью, на которую устремлялись взгляды всех любопытных. После приезда курьера, когда я выходил, все смотрели на меня, чтобы по выражению моего лица догадаться, какого рода известие я получил, и очень часто видали меня спокойным и весёлым, тогда как моя душа мучилась смертельно. Большая часть этих Лафатеров не знали о том, что я отлично владел пантомимою и был замечательным актёром в моей молодости».

С. Н. Глинка, часто бывая у графа Ростопчина, однажды заехал к нему на дачу в глухую ночь. Граф отправлял нарочных в различные стороны Московских окрестностей и давал всем изустные наставления, *толковито и отчётливо.* Когда он окончил их отправку, Глинка сказал: «Удивляюсь вам, граф, когда к вам ни заеду, днём ли ночью ли, вы всегда в военном сюртуке. Успокоенная вами Москва спит; а вы когда спите? Вы живёте на даче, а днём то у Тверской Божьей матери, то в Кремле, то во всех концах Москвы. Вы как будто размножаетесь!» — «Стыдно было бы мне, отвечал граф, и дремать и спать. Бог помог мне сохранить и крепость здоровья, и деятельность мысли. Наступило моё время. Я действую в полноте моих сил, — вот и всё!» «И как он был неутомим, — восклицает, рассказывая этот случай Глинка, — он всего себя отдал Москве и Отечеству»[46].

Граф Ростопчин обладал дарованиями хорошего актёра[47], как и сам свидетельствует; он не только «твёрдо знал коренную русскую речь, – говорит С. Н. Глинка, – и все прибаутки; но знал и все ухватки и все выпляски, все запеванья удалых голов по шинкам окрестным. Рассылая своих чиновников, он каждому говорил: в таком-то месте такой запевало, а там такой-то скоморох, и наперечёт высказывал приёмы их»[48].



Глава 4

Барклай де Толли и Багратион. – Оставление Смоленска. – Сражение под Полоцком. – Граф Ростопчин о князе Кутузове. – Вывоз имущества из Москвы. – Заботы императрицы Марии Фёдоровны. – Выезд жителей. – Леппих, его шар и неудача. – Приложение: переписка императрицы Марии Фёдоровны с Ю. А. Нелединским-Мелецким; рассказ Шнейдера и бумаги о Леппихе.

Вести из армии начали постепенно доходить до Москвы. Ещё в конце июля, после проезда генерал-адъютанта Кутузова, вся Москва заговорила, что две наши Западные армии не соединяются потому, что из главнокомандующих один не хочет подчиняться другому[1]. Но известие о том, что обе армии сошлись в Смоленске и будут действовать наступательно заглушило на время общественный ропот и внушило некоторую надежду на успешные действия войск и на то, что они преградят дальнейшее вторжение неприятеля внутрь России. Такое настроение продолжалось недолго. «Впоследствии я узнал, — говорит граф Ростопчин в своих *Записках*, — что Кутузову было поручено многими из наших генералов просить Государя сместить Барклая и назначить главнокомандующего обеими армиями князя Багратиона, по причине существовавшего между этими генералами разномыслия и бездеятельности нашей армии. Барклай был человек честный, благоразумный и методический; он возвысился вследствие своих заслуг, был покрыт ранами и всегда служил с отличием. У него не было других забот, как сохранить армию и продолжать отступление в возможно большем порядке. Он отличался необыкновенною храбростью и часто удивлял своим хладнокровием. Багратион, обладавший многими дарованиями для того, чтоб быть хорошим генералом, был слишком необразован для того, чтобы быть главнокомандующим войсками. Он очень хвастался тем, что был ученик и любимец Суворова. Он хотел непременно драться потому, что Барклай избегал сражения, и если б он начальствовал войсками, то непременно двинул бы их на сражение и, может быть, погубил бы их, упорствуя защитить Смоленск».

Читая эти строки, легко понять, что они были написаны гораздо после происшествий; в то же время, когда события совершались, сам

граф Ростопчин должен был смотреть на них с другой точки зрения. Действительно, в современных донесениях императору Александру I он выражает иной взгляд. «Ваше доверие ко мне, Государь, место, которое я занимаю,— писал он в начале августа,— дают мне право сказать вам правду. Москва и войска в отчаянии от бездействия и слабости военного министра, который совершенно подчинился влиянию Вольцогена. В Главной квартире спят до десяти часов утра. Багратион почтительно держит себя в стороне и, по-видимому, повинуется; но, кажется, выжидает какой-нибудь неудачи, чтобы объявить притязание на начальство над обеими армиями»[2]. В тот же день, как писано это донесение Государю, граф отправил князю Багратиону, с надписью: *из матушки каменной Москвы* следующее письмо: «Ну-ка, мой отец, генерал по образу и подобию Суворова, поговорим с глазу на глаз; а поговорить есть о чём! Что сделано, тому так и быть; да не шалите вы вперёд и не выкиньте такой штуки, как в старину князья Трубецкой и Пожарский: один смотрел, как другого били. Подумайте, что здесь дело всё в том, чтоб бить неприятеля, писать реляции и привешивать кресты: вам слава бессмертная, спасение Отечества, избавление Европы, гибель злодея рода человеческого! Благодарен зело за письмецо. В Москве говорят: “Дай лишь волю, и Багратион пужнёт”; а мне кажется, что *он* вас займёт да и проберётся на Полоцк, на Псков пить Невскую воду. Милорадович с 31 тысячами славного войска стоит от Калуги к Можайску. У меня здесь до 10.000 рекрут формируется. Силы Московской в семи смежных губерниях до 120 тысяч, и тут прелихая есть конница. У Лобанова 26 тысяч свежей пехоты. Деньги есть на нужду, и хлеба будет досыта. Неужели после того и со всем этим Москву осквернит Француз? Ваше дело её беречь, а наше держать в чистоте. У меня здесь так смирно, что и сам дивлюсь. Счастье, что любят и слушаются. Пошаливают Французы; сперва я просил, чтобы жили смирно, потом грозил, потом посылал за город гулять, в Пермь и в Оренбург. Не унимаются!.. Впрочем злоба к Бонапарте так велика, что и хитрость его не действует, и эта пружина лопнула; а он, наверное, шёл на бунт. Я, право, в ус не дую; мне всё кажется, что это дурной сон; но страшен сон, да милостив Бог.

За сим обнимаю
И точно пребываю,
Без слов и без лести,
А просто по чести,
Вам преданный
Граф Ф. Ростопчин.

Тех из офицеров, кои ранены и могут доехать до Москвы, присылайте прямо ко мне. Я трёмстам найму покои. В моём доме господском на Лубянке 50 кроватей, и все хотят ходить и беречь героев, защитников Отечества».

Получив от князя Багратиона известие об оставлении Смоленска, граф Ростопчин отвечал ему: «Принимая во всей мере признательности доверенное письмо вашего сиятельства, с крайним прискорбием узнал о потере Смоленска. Известие сие поразило чрезвычайно, и некоторые оставляют Москву, чему я чрезмерно рад; ибо пребывание трусов заражает страхом, а мы болезни сей здесь не знаем. Здесь очень дивились бездействию наших войск против наступающего неприятеля. Но лучше бы ничего ему не делать, чем, выиграв баталию, предать Смоленск злодею. Я не скрою от вас, что всё сие приписывают несогласию двух начальников и зависти к взаимным успехам; а так как общество во мнениях своих меры не знает, то и уверило само себя, что Барклай изменник. Теперь должно уже у вас быть известно, какие последствия будет иметь отступление от Смоленска: Москва ли предмет действий неприятельских, или Петербург; а мне кажется, что он, держа вас там, где вы, станет отдельными корпусами занимать места и к Петербургской, и к Московской дороге, и к Калуге, дабы, пресекая сообщения, нанести более беспокойства и потрясти дух Русской»[3].

Судя по этим выдержкам из писем графа Ростопчина, едва ли можно сомневаться, что его сочувствием в это время пользовался не Барклай, но князь Багратион. Он извещал Государя, что Барклай находится в руках у Вольцогена, а Вольцогена считал таким, что он может быть изменником, и доверять ему не следует. Выражая такое воззрение, граф Ростопчин не позволил себе, вслед за общественною молвою, клеймить Барклая позорным именем изменника; но мы сомневаемся и в том, верно ли его свидетельство, будто бы князь Багратион в письмах к нему называл его этим позорным именем. К сожалению, эти письма не сохранились или остаются до сих пор в неизвестности; но сохранились письма князя Багратиона того же времени к графу Аракчееву. Нисколько не смягчая своих выражений о неспособности Барклая, как военачальника, он однако же не заподозревает его в измене. «Ваш Министр, может, хороший по Министерству; но генерал – не то что плохой, но дрянной, и ему отдали судьбу всего нашего Отечества!.. Я, право, с ума схожу от досады; простите мне, что дерзко пишу. Видно тот не любит Государя и желает гибели нам всем, кто советует заключать мир и командовать армиею Министру. Итак, я пишу вам правду; готовьте ополчение. Ибо Министр

самым мастерским образом ведёт в столицу за собою гостя. Большое подозрение подаёт всей армии господин флигель-адъютант Вольцоген. Он, говорят, более Наполеона, нежели наш, и он советует всё Министру»[4]. В этих словах выражен в отношении к измене совершенно тот же взгляд, какой выражал в своих письмах к Государю в это время и граф Ростопчин. Он считал Барклая де Толли неспособным начальствовать армиями, точно так же, как и Багратион, по различным только причинам. В том же письме, из которого мы уже привели выписку, граф Ростопчин извещает Государя: «Москва желает, Государь, чтобы войсками начальствовал Кутузов и двигал Ваши силы; иначе не будет никакого единства, между тем как Наполеон соображает всё. Он сам должен находиться в затруднительном положении; но Барклай и Багратион могут ли проникнуть его намерения?» «Сражение под Смоленском,— писал он чрез несколько дней,— есть последствие несогласия между двумя главнокомандующими и нерешительности Барклая. Мы перебили втрое более людей, нежели потеряли сами и — мы отступили. Ваши армии достаточны для того, чтобы остановить неприятеля; а подкрепления подойдут со всех сторон. Надо защищать Москву и биться насмерть. Может быть, Россия потеряет 300 тысяч человек; но её слава будет спасена, а Ваш престол укреплён»[5]. Точно так же думал и Багратион, и его взгляд был совершенно противоположен если не взгляду, то образу действий Барклая.

Надежды на отпор врагов, возникшие в Москве после известия о соединении армий, мгновенно исчезли, лишь только узнали о падении Смоленска. «Весть о занятии Смоленска Наполеоном, оставленного Русскими войсками в пожарном пламени и дымящихся развалинах: эта весть огромила Москву. Раздался по улицам и площадям гробовой голос жителей: отворены ворота к Москве! Началось переселение из городов, уездов из сёл и деревень. Иные ехали и шли, а куда? Куда Бог поведёт»,— говорит очевидец-современник[6].

В то время, когда народонаселение Москвы, ближайших к ней городов и семейства помещиков из сёл и деревень стремились к переселению в отдалённые местности империи, в образованных кружках Московского общества велись такого рода речи: «По всему видно, что нам приходится поплатиться за безрассудство двух наших главнокомандующих и за несогласие, возникшее между ними вследствие нового порядка, отменившего старшинство по службе и уничтожившего всякое подчинение между генералами. Платов, старший из них по службе, находится под командою у двух главнокомандующих; а Барклай, который по службе моложе Платова, Багратиона и двенадцати генерал-лейтенантов, которые у него под командою, заведует всем

войском и так себя ведёт, что возбудил к себе общую ненависть. Если так легко было нашему доброму царю уничтожить порядок, существовавший испокон веку, с другой стороны, нелегко будет нашим генералам свыкнуться с порядком, по которому вчерашний начальник сегодня поступает под команду к своему подчинённому. Такие правила невыносимы для нас русских, тем более, что они взяты у французов. Негодяи, продавшие себя Наполеону, не имеют у нас влияния над войском, и потому неудивительно, что оно отвергает нововведения тех злодеев, которые исключительно овладели умом нашего бедного монарха. Дело в том, что так как отдельные корпуса действовали несогласно и каждый хотел делать по-своему, то мы и потерпели страшное поражение под Смоленском. Французы провели наших, как простаков. Была бы возможность поправить дело, если бы друг другу помогали или бы нашёлся человек, который, заботясь об всех, никого не обрекал бы на неизбежную жертву. Но дело повели таким образом, что город, который в состоянии был сопротивляться шесть месяцев, взят в три дня, и вот теперь наше войско и французы в 300 вёрстах от Москвы, и оба [войска] на расстоянии 7 вёрст друг от друга. Теперь тебе должно быть ясно, почему мы так радуемся назначению Кутузова. Он один будет начальствовать, и в его интересе заставить всех одинаково хорошо действовать. В последнем деле очень обвиняют Багратиона, который, желая присвоить себе славу освобождения Могилёва, отнял защиту у Смоленска с одной стороны, а Барклай сделал то же с другой стороны города, так как ему нужно было вести войско на Витебск. Французы воспользовались оплошностью и ударили в центр. Их было 100.000 под начальством Наполеона против 30.000 наших, которые три дня сопротивлялись и разбили бы их, если б получили поддержку. Но так как у нас в войске принято действовать по русской пословице: “Каждый за себя, а Бог за всех”, то этих несчастных кинули на произвол судьбы. Когда французы подожгли Смоленск, наши принуждены были удалиться; по крайней мере, они могут смело сказать (таково общее мнение), что заслужили бессмертную славу. И точно, они выказали геройскую храбрость. Грустнее всего для нас убеждение, что причиною несчастия была измена одного известного бездельника, служащего у Барклая»[7].

Конечно, выраженные в этих строках мнения не принадлежат молодой девушке Московского образованного общества того времени, которая их написала, но отставным военным-старикам, проживавшим на покое в Москве и судившим о совершавшихся событиях. Неверные слухи давали повод к неправильным заключениям; общая же мысль о необходимости единства в начальствовании над

войсками была справедлива. Но если в русских войсках сохранялось уважение к долговременной службе военачальников и наблюдалось старшинство, то не менее того уважались военные дарования, познания и доблести. Во всех наших войнах, точно так же, как и в Отечественной войне 1812 года, можно указать на многие примеры, когда старшие добровольно и охотно становились под начальство младших по службе. А потому Платову, конечно, и в голову не приходила мысль считаться старшинством с главнокомандующими армиями, и князь Багратион, хотя и сам главнокомандующий 2-ю армиею, охотно бы подчинился Барклаю де Толли, если бы считал его действия правильными или верил его доказанной опытности как военачальника. Но Барклай де Толли в первый раз выступал на поприще военных действий в качестве главнокомандующего.

Подробное известие о сражении под Смоленском граф Ростопчин получил 8 августа с нарочным, отправленным из Главной квартиры. «Меня разбудили в 6 часов утра, – говорит он. – Не теряя ни минуты, я отправил четырёх курьеров к Милорадовичу в Калугу, где собралось 24 тысячи войск, собранных им в Малороссии. Он имел предписание идти с своим корпусом к Смоленску. Я советовал ему немедленно выступить с готовыми войсками и двигаться на Вязьму. Другие курьеры с тем же известием были отправлены к начальнику резервной артиллерии, которая была расположена по квартирам, по городам Московской и Тульской губернии, к князю Лобанову, который устраивал 16-тысячной корпус пехоты во Владимире и к генералу, занимавшемуся формированием двух полков в Клину, которые должны были двинуться к Москве по Петербургской дороге. Когда отправлены были курьеры, мне нужно было приготовить извещение[8] о взятии Смоленска, который в общем мнении считался оплотом Москвы. Я выставил только геройство одного корпуса, который, как я выражался, защищал Смоленск в продолжении трёх дней и который перешёл Днепр только с целью соединиться с главною армиею и снова остановить неприятеля. Я воспользовался выражением Наполеоновских бюллетеней, говоря, что потеря его была неисчислима. Когда к завтраку я сошёл вниз к моей жене, она спросила, что случилось со мною и когда я сообщил ей о падении Смоленска и увидал судорожные движения её лица и задрожавшие губы, – я хотел её утешить, не догадываясь, почему это известие, которое для неё вовсе не было неожиданным, произвело такое действие. Едва произнося слова, она мне сказала: "А Сергей? Стало быть, он убит!" Она спрашивала о сыне, и я не имел возможности рассеять её страх, потому что не знал, что случилось с нашим сыном. По счастью, курьер, которого я призвал, видел его

и объявил, что он обещал написать при первом случае. Наша тревога прошла; но я до такой степени был завален работою с 6 до 10 часов, что мои мысли не обращались даже к моему единственному сыну; я был занят только спасением России и погибелью её врагов. Кроме этого я ко всему был равнодушен. Когда я сел в карету, чтобы ехать в генерал-губернаторский дом, то дорогою подготовлял своё лицо для определённого выражения, обдумывая и то, что я должен говорить. К полудню залы наполнились, и в первый раз я заметил, что беспокойство, существовавшее прежде, заменилось страхом, который выражался на всех лицах. Что я ни говорил о подкреплениях, которые приближались к армии со всех сторон и вследствие которых она сделается в численном отношении многочисленнее неприятельской, слова мои мало успокаивали и ещё менее ободряли».

О сражении при Смоленске граф Ростопчин обнародовал следующее объявление: «4-го числа император Наполеон, собрав все свои войска в числе 100 тысяч человек, пришёл к Смоленску, где был встречен за 6 вёрст от города корпусом генерал-лейтенанта Раевского. Сражение началось в 6 часов утра и к полудню сделалось кровопролитнейшим. Храбрость русских превозмогла многочисленность, и неприятель был опрокинут. Корпус генерала Дохтурова, пришедший на смену утомлённого, но победившего корпуса генерала Раевского, 5-го числа вступил в битву, которая продолжалась до глубокой ночи. Неприятельские войска везде были отражаемы, и русский воины с храбростью и мужеством, им свойственною, на гибель врагов и защиту Отечества шли с яростью, призывая имя Господне в помощь. Но в сие время город Смоленск объят был пламенем, и войска наши заняли позицию от Днепра к деревне Пневой и Дорогобужу. Обе армии стоят вместе. Неприятель, расстроенный столь сильным поражением, остановился и, потеряв более 20.000 человек, приобрёл в добычу старинный город Смоленск, руками его в пепел обращённый. Жители все несколько дней до сражения вышли из города. С нашей стороны урон убитыми и ранеными простирался до 4000 человек: в числе первых два храбрые генерала, Скалон и Балла. В плен взято множество войска, целые неприятельские батальоны кидали ружья, чтоб спасти жизнь. Три полка нашей кавалерии и три казаков опрокинули 60 эскадронов неприятельской кавалерии под начальством Неаполитанского короля».

Очевидно, сведения о военных действиях, полученных графом Ростопчиным, были весьма скудны. Блестящие подвиги наших войск при защите Смоленска могли бы доставить более любопытное содержание для объявления, которое произвело бы, вероятно, иное впечат-

ление, не ослабив, конечно, мысли о близкой опасности для Москвы. Но в то время, когда всё народонаселение Москвы было занято мыслью о том, чтобы искать спасения в отдалённых местностях России, графа Ростопчина занимала иная мысль. «До самого утра другого дня я был постоянно взволнован мыслью,— говорит он,— что Наполеон остановится в Смоленске до будущей весны. Не нужно было много предвидения, чтобы в этой мере не увидать величайших несчастий для России. Но Наполеон не останавливался и сделал первый шаг к своей погибели».

Беспокойство графа Ростопчина прошло на другой же день, когда он получил известие о сражении, бывшем при Заболотье или Валутиной горе. Эта мысль занимала многих военных людей того времени. Полагали, что для Наполеона было бы выгоднее закончить первую кампанию взятием Смоленска или даже остановиться в Вильне, занять все присоединённые от Польши губернии, образовать новое Польское королевство, соединив их с герцогством Варшавским, приготовить поголовное восстание поляков и будущею весною довершить поражение России. Так рассуждали и советовали Наполеону многие из его маршалов. Конечно, такая мысль могла занимать и графа Ростопчина; но, однако же, в его письмах к Императору и другим лицам в то время мы не видим и следов её. Быть может, она была мимоходною и занимал его только одни сутки (как он и сам говорит) от известия о падении Смоленска до известия о битве при Заболотье. Но почему же она представлялась ему в таком грозном виде?

Если бы Наполеонова армия могла зимовать на удобных квартирах, в стране богатой и неопустошённой, если бы во всё это время неприятель её не тревожил, и она спокойно могла бы отдохнуть и пополниться новыми силами; если бы Двина и Днепр и зимой, т.е. покрытые льдом, могли бы представлять такую же крепкую оборонительную линию, как весною, летом и осенью; если б он действительно мог воссоздать Польское королевство, поднять его против России, и его невольные союзницы: Австрия с благосклонным удовольствием согласилась бы отказаться от Галиции, а Пруссия от желания возвратить назад потерянные ею Польские области, если бы не один страх держал в его покорности не только Германию, но даже и саму Францию: тогда без сомнения Наполеону следовало бы разделить кампанию на две и перезимовать за Днепром[9].

Но ни одного из этих условий не существовало, и потому всего вероятнее, что столь долгий перерыв военных действий с его стороны обратился бы в пользу России. Почему же граф Ростопчин мог думать, что это угрожало величайшими бедствиями России? Мы не можем

найти иного объяснения, как в его неуверенности во внутреннем положении России. Мнимые заговоры Мартинистов и Якобинцев, страх народных волнений, если Наполеон превозгласит свободу крестьян, вот что затемняло светлый ум и мутило здравый смысл такого замечательного человека, как граф Ростопчин. Послание к Московским жителям было главным образом направлено к этой цели. «Иной вздумает, что Наполеон за добром идёт, а его дело кожу драть; обещает всё, а выйдет ничего. Солдатам сулит фельдмаршальство, нищим золотые горы, народу свободу». Кому же могло бы прийти в голову, будто может кто-нибудь подумать, что неприятель, вторгнувшийся в пределы Отечества, может за *добром* идти, если бы существовавшее в то время крепостное право на людей не омрачало образа мыслей даже избраннейших людей. К их числу принадлежал и граф Ростопчин. *Особые* поручения, возложенные на С. Н. Глинку, в том и состояли, чтобы возбуждать народ против Наполеона, в опасении, что народ может поверить его обещаниям освободить его от крепостной зависимости. В письме к Балашёву, в июне месяце, волнуемый таким опасением, граф Ростопчин говорил: «Я вам сообщаю новое доказательство, что слово *вольность*, на коей Наполеон создал свои замыслы завоевать Россию, совсем в пользу его не действует. Русских проповедников свободы нет; ибо я в счёт не кладу ни помешанных, ни пьяных, коих слова остаются без действий. А сего числа один Француз, дезертёр в последнюю войну, по имени Мутон, живучи в доме доктора Шлегеля, вздумал говорить слуге, что скоро они будут счастливы, и Наполеон им даст свободу. Вместо благодарности человек Русский ударил его по зубам, позвал товарищей, чтоб тащить его на съезжий двор, и это дело порядком разбирается»[10]. После занятия Смоленска граф Ростопчин ещё надеялся, что Наполеон не пойдёт на Москву (по крайней мере, так скоро, как это случилось), но, удерживая наши войска у Днепра, будет пресекать их сообщения со внутреннею Россиею и стараться «потрясти дух Русский», как писал он князю Багратиону, прибавляя: «главная его пружина: вольность — не действует, и о ней лишь изредка толкуют пьяницы»[11]. Но другие находили выбор Императора самым счастливым и совершенно удовлетворявшим требованиям времени. С. Н. Глинка, который пользовался особенною известностью в это время в Москве как писатель и общественный деятель, с свойственным ему увлечением, поставил графа Ростопчина даже рядом с Наполеоном. «Приведём здесь двух человек, — говорит он, — из которых один водил полки, переставлял престолы, а другой жил в уединении, с одним собою и как будто в глубоком бездействии. Эти два человека — Наполеон и граф Ростопчин». Граф Ростопчин молчал

до Тильзитского мира и «в первый раз откликнулся живым Русским словом в 1807 году и прослыл в народе Русским человеком. Искусный полководец выжидает надлежащего мгновения для действия; также поступает и внимательный наблюдатель духа народного: он не бросает слов на ветер, он знает их силу на душу и говорит тогда, когда душа, принимая слова, готова обратить их в действие. В то время, когда Наполеон воевал за Пиренеями, он продолжал всматриваться в дух народный и наблюдал восстание душ в Испании. В последующие годы он жил в уединении, продолжая своё дело, и доверенность к нему Московского народа час от часу усиливалась. Он жил просто, не давал пиров, вёл своё хозяйство домовито и расчётливо; не гонялся ни за какими случайными выгодами, не входил ни в какие долги и потому не имел ни в ком нужды. История, повествуя о громких событиях, редко замечает частные обстоятельства, которые делают человека лицом общественным и обращают на него общее мнение. А потому здесь справедливо можно сказать, что глас Божий слышен был и в голосе народном, когда в 1812 году граф Ростопчин был назначен главнокомандующим в Москву. С мыслью нового начальника породнилась мысль целой Москвы, а на Москву смотрела Россия»[11]

Каким-то странным течением бессознательной умственной деятельности уверовав в какую-нибудь мысль, граф Ростопчин, по свойству его природы, доводил её до крайности, преследовал постоянно и неуклонно, несмотря на то, что она находилась в полном противоречии с действительностью. Его ум постигал это противоречие; но он не сознавался в своей ошибке, увлекаемый бессознательною страстью. Он не мог указать ни на какие признаки, которые бы подтверждали его подозрения против Мартинистов и масонов; но, приписывая это их *хитрому* образу действий, усиливал наблюдение за ними и, раздражаясь неуспешностью своих действий, прибегал к мерам несправедливым и суровым. Он сам, постоянно, как в донесениях Императору, так и в переписке с другими лицами, свидетельствовал о спокойствии народа, о его глубокой преданности Отечеству и Государю и о готовности на всякие пожертвования; а в то же время опасался измены с его стороны, подозревал, что он может принять освобождение от крепостной зависимости из рук врага Отечества. «Говоря с народом и к народу, – замечает С. Н. Глинка, – граф Фёдор Васильевич отдалил от себя звание главнокомандующего. В дружеских своих посланиях он беседовал с обывателями, как заботливый и приветливый друг. Словом, он поставил себя на чреду старшины *мирской сходки*»[12]. И, поставив себя на эту чреду, он в то же время питал самое оскорбительное для Русского народа подозрение, и потом был уверен, что его влияние

и принятые им меры отклонили это зло[13].

К этим измышленным опасениям могло бы в это время присоединиться и действительное, т.е. недоверие к предводителям русских войск, но граф Ростопчин уже знал о назначении князя Кутузова главнокомандующим всеми армиями. Его письмо к Императору, заявлявшее, что Москва желает именно этого назначения, встретилось на дороге с рескриптом к нему Государя, в котором, между прочим, читаем: «Я получил ваши письма от 13, 25 и 26 прошлого месяца. Объявляемый рекрутский набор уравняет тягость казённых крестьян с помещичьими, и я надеюсь поймут, что я не имел намерения обязанности казённых сделать более лёгкими, потому что они будут такими же солдатами и на всю жизнь. Я признал полезным назначить генерала Кутузова главнокомандующим всеми армиями и надеюсь, что от этого будет более единства в действиях, нежели было до сих пор, благодаря личностям, бывшим между генералами»[14]. Получив этот рескрипт, граф Ростопчин отвечал немедленно, и в отношении к назначению Кутузова говорил: «Как жаль, Государь, что князь Кутузов ещё не прибыл в армию. Не говоря уже о взаимных ссорах, ни Барклай, ни князь Багратион не могут быть главнокомандующими и действовать большими силами. Они отправились искать неприятеля в Рудню, тогда как со всеми своими силами он намерен был напасть на Смоленск. Если бы он подошёл часом ранее, то Раевский был бы предупреждён*. Только Русский солдат может ходить по 40 вёрст без остановки и без отдыха вступать в битву. Судя по письму ко мне военного министра, он решился дать сражение у Умолья. От доблести наших войск можно ожидать победы». Упоминаемое здесь письмо Барклая де Толли и известие о первом сражении при Полоцке послужили графу Ростопчину поводом обнародовать следующее объявление жителям Москвы 13-го августа:

«Я сей час получил чрез курьера от военного министра известие, что неприятель стоит на том же месте. Наш авангард в Умолье, 30 вёрст от Дорогобужа к Смоленску. Главная квартира обеих армий в Дорогобуже. Неприятель от генерального сражения уклоняется (? — *А. П.*). К нам от него Немцы бегут сотнями и объявляют, что соотчичи их в первом сражении перейдут к нам. Курьер, приехавший ко мне,

---

* От перевода А. Н. Попова последней фразы из письма Ростопчина к императору возникает некая неясность. Вот как переведено это место в публикации *Русского Архива* (1892, кн. 2, № 9, с. 520–521): «Они искали неприятеля в Рудне, в то время как он со всеми своими силами накинулся на Смоленск, а Раевского *опоздали* (курсив мой — *С. Н.*) предупредить» *(прим. ред.)*.

встретил у Вязьмы лейб-драгунского полковника Альбрехта, посланного от генерал-лейтенанта графа Витгенштейна к военному министру с известием, что он в 15 вёрстах от Полоцка напал на фельдмаршала Удино, дрался с ним два дни, разбил совершенно его армию, взял в плен 3 тысячи человек, убитых до шести, пушек досталось от неприятеля 15. В первый день фельдмаршал Удино смертельно ранен, а второю армиею командовал Сен-Сир. Наши войска в Полоцке».

Хотя Полоцк и не был занят нашими войсками, но эти действия графа Витгенштейна положили предел наступательным движениям маршалов Удино и Сен-Сира.

Едва граф Ростопчин обнародовал эти известия, как получил письмо от Барклая, который извещал его, что отложил своё намерение дать сражение. Взволнованный этою вестью, граф на другой же день отправил вновь курьера к Государю с письмом, в котором говорит: «Новые решения военного министра вынуждают посылку этого курьера. От 10-го он писал мне, что, по соглашению с Багратионом, он решился дать сражение неприятелю и что по выгодности положения выбрал Умолье. Вчера я получил письмо, которым Барклай, из Дорогобужа, от 12-го, уведомляет, что, не желая подвергать судьбу государства исходу одного сражения и что так как неприятель, владея многочисленною кавалериею, намеревается обойти его левый фланг, он решился отступить к Вязьме, где укрепляет позицию, которую сегодняшнею ночью он двинется занять войсками. Совершенно не понимая этих необычайных решений, я только нахожу одно утешение, что князь Кутузов может остановить это бесславное отступление и действовать с армиею, которая только и желает драться»[15]. Из приведённых слов, кажется, несомненно можно заключить о взгляде графа Ростопчина на Барклая, как главнокомандующего, взгляде, совершенно не согласном с тем, который он после выразил в своих *Записках*. Конечно, он мог впоследствии переменить взгляд; но в то время он его не имел. Точно также из приведённых его слов о Кутузове видно, что, вместе с Москвою и всею Россиею, он возлагал на него надежды. Между тем в своих *Записках* вот как он рассказывает о его назначении главнокомандующим:

«После взятия Смоленска, вражда между двумя главнокомандующими усилилась ещё более. Багратион писал мне письма, исполненные жалоб на Барклая и уверял меня, что он помешал ему в разных случаях побить Наполеона и что постепенно отступая перед ним он приведёт его в Москву, чего, по его мнению, никогда бы не случилось, если б он командовал. Барклай отовсюду, где только останавливался на 24 часа, уведомлял меня, что он решился дать сражение, а на дру-

гой день я получил известие о новом его отступлении к Москве. Я не знаю, чем бы окончилась эта вражда Багратиона к Барклаю, если б они не получили известия из Петербурга о назначении генерала Кутузова главнокомандующим всеми армиями, т. е. армиями Барклая, Багратиона, Чичагова и Тормасова. В указе было сказано, что это сделано для того, чтобы подчинить армию старейшему и более опытному генералу и положить конец несогласиям между генералами. Эти слова были также и в собственноручном письме ко мне императора[16]. Барклай, образец воинского повиновения (subordination) молча перенёс унижение, скрыл в душе свою грусть и продолжал служить с тем же усердием. Багратион, напротив, не знал меры в выражениях и в письме ко мне, которым уведомлял о назначении Кутузова, называл его негодяем, способным изменить за деньги. Новый Фабий, однако же, был уже в дороге, и Москва представила в этом случае доказательство своего непонимания дела. По получении известия о его назначении все опьянели от радости, поздравляя друг друга; мущины, женщины, все предавались радости. Можно было подумать, что лично один Кутузов может обратить в бегство воинства Наполеона, действуя на них как голова Медузы. Император очень хорошо знал генерала Кутузова. Когда он возвратился из Або[17] в Петербург и нашёл его там, то он десять дней не принимал его к себе. Но он пожаловал его князем с титулом светлости, в награду за заключение мира с Турками. Московское общество в это время, более удивлённое, нежели испуганное отступлением наших войск и начинавшее думать о возможности занятия Москвы неприятелем, утешало себя тем, что придало бедному и храброму Барклаю титул изменника. Крики достигли до Петербурга, и Государь, более с целью подчинить всех одному начальнику, назначил Кутузова; но Москва приписала это уважению к его общественному мнению. Этот генерал Кутузов, которого тело погребено в соборе в Петербурге, которому будет воздвигнут памятник и которого решались называть спасителем России, был 68 лет в 1812 году. Во время войны с Турками, когда он был ещё майором, пуля прошла чрез его череп за глазами. Эта рана считалась беспримерною потому, что он не только остался жив, но и сохранил зрение, и возбудила к нему сочувственное внимание всех. Это был человек с большим природным умом, мало учившийся, но много видевший и испытавший, отличный рассказчик, покорный слуга женщин, смелый лгун, низкий и пресмыкающийся, всё переносивший, всем жертвовавший, чтобы быть в милости. Он никогда не жаловался, но постоянством и происками всегда получал назначения в то время, когда уже его считали забытым навсегда. Он приехал в Главную квартиру при

селе Царёве-Займище, велел выстроить войска и, проходя перед рядами, несколько раз сказал: "с такими храбрыми воинами стыдно отступать перед неприятелем" и, возвратившись в свою квартиру, отдал приказ отступить к Вязьме. Самые ревностные его защитники поняли тогда, что весь Суворов уже в могиле. По Москве распространился слух, что в то время, когда он делал смотр войскам, два орла парили над его головою; но когда узнали, что он приближается к Москве, так же, как и его предшественник, забыли о пророческих орлах, и победа осталась на воздухе».

Эти строки писаны гораздо после событий, под иными впечатлениями и при иных условиях. Их значение определится в дальнейшем нашем рассказе, и потому, оставляя их без объяснений, считаем нужным остановиться только на отзыве о князе Кутузове, который граф Ростопчин приписывает князю Багратиону. Тех писем князя Багратиона, о которых говорит граф Ростопчин, не сохранилось; но его свидетельство о мнении князя Багратиона относительно Кутузова не подтверждается никакими другими свидетельствами современников, и потому нельзя не усомниться, чтобы любимец и ученик Суворова, князь Багратион, мог отзываться так о том, кого так уважал и ценил Суворов. Полное отсутствие беспристрастия в *Записках* графа Ростопчина о 1812 годе даёт повод сомнению и в этом случае.

После взятия Смоленска, Москва почувствовала опасность, и началось выселение её жителей. Все спешили или выбраться сами, или удалить свои семейства, стариков, жён и детей из города, которому грозило неприятельское нашествие, увезти или скрыть в безопасные места свои имущества. Как же отнёсся к этому движению граф Ростопчин? Этот вопрос требует исследования, потому что впоследствии на него сыпались упрёки, что от его распоряжений или нераспорядительности в Москве осталось много имущества частных людей, сделавшегося добычею пламени или грабежа, много государственных бумаг, продовольственных припасов, оружия, пороху, трофеи и Московская святыня. Что касается до вывоза из Москвы некоторых государственных сокровищ и исторических памятников, то граф Ростопчин действовал в этом случае по приказанию Государя, непосредственно выраженному во время его пребывания в Москве. Ещё в конце июля он уведомлял Государя, что для этой цели, под различными предлогами, велено заготовить несколько барок в Коломне. Но он не приступал к исполнению этой меры до получения известий о сдаче Смоленска. Получив же это известие, граф Ростопчин доносил: «Ко мне пришли 1500 человек из Вязьмы; чтобы употребить их с пользою для службы, я вооружил их и разместил в здешние гарни-

зонные полки. Я принял все необходимые меры, чтобы ничего здесь не осталось на тот случай, если бы неприятель, по несчастью, разбил наши войска и занял бы Москву. Я послал Обрезкова узнать наверное, когда Леппих окончит свою машину. Если ему ещё нужно время, то я считаю более удобным отправить его с рабочими и снарядами чрез Коломну в Нижний – водою. Валуев, под различными предлогами, будет укладывать все драгоценности; но я ничего не начну вывозить отсюда, пока неприятель не будет в Вязьме или на подобном расстоянии отсюда»[18].

Через два дня, во вновь отправленном письме Государю, повторяя, что Леппих отправлен в Нижний, граф писал: «Я под рукою приготовляю всё, что нужно отсюда вывезти; военная комиссия одна требует до десяти тысяч подвод. За исключением уездов Верейского, Воскресенского, Можайского и Волоколамского, соберу лошадей со всех других и за должную плату примусь отправлять всё». Но когда пришло известие от Барклая, что он снова отступил, не решившись дать сражение при Умолье, встревоженный граф на другой же день после своего письма к Государю уведомлял его: «Неопределённость этих действий вынуждает меня решиться отправить отсюда всё, что должно быть вывезено или во Владимир и оттуда в Нижний, или в Коломну, чтобы там нагрузить на барки. Будут взяты все лошади и телеги девяти уездов, исключая только тех, которые прилегают к границам Смоленской губернии. Эти должны быть употреблены под военные надобности»*. Из этих слов видно, что распоряжения о вывозе из Москвы государственных драгоценностей и дел начались только в половине августа месяца.

Получив известия, что наши войска отступили уже до Вязьмы, граф Ростопчин выдал следующее объявление, 18-го августа, которое известило также жителей Москвы о прибытии князя Кутузова в Главную квартиру: «По полученным мною известиям, авангард стоит 13 вёрст перед Вязьмой. Главная квартира в Вязьме. Неприятель стоит на одном месте. Отрядов от него нет. Корпус генерала Милорадовича весь в походе. Авангард его, из 8000 человек составленный, пошёл сегодня из Можайска к Гжати, под командою генерал-майора Вадковского. Прочие войска сего корпуса идут из Боровска и Вереи. Ополчение Тверское готово, и 13000 человек с кавалериею, под командою генерал-майора Тыртова, идут в Клин. Светлейший князь Кутузов прибыл вчера в Вязьму. Граф Витгенштейн занял Полоцк и действует далее; весь край очищен от проказы, и Французов нет.

---

* Письма графа Ростопчина к императору от 13 и 14 августа 1812 г. *(прим. ред.)*.

Многие из жителей желают вооружиться; а оружия тысяч на десять есть в арсенале, которое куплено и дёшево на Макарьевской ярмарке. Всякое утро желающие могут покупать в арсенале ружья, пистолеты и сабли; цены тут означены. За это мне скажут спасибо, а осердятся одни из ружейного ряду; но воля их, Бог их простит».

Поводом продажи из арсенала оружия, большею частью старого и негодного, послужило, как объявил в ведомостях граф Ростопчин, «преступное лихоимство Московских купцов, которые берут непомерную цену за оружие, необходимое для вступивших в ополчение против врага». Без сомнения оружие нужнее было для ополченцев, нежели для жителей Москвы, заботившихся о том, чтобы уехать самим и спасти своё имущество[19]. Многие так и поступали; но было довольное число и таких, которые, не приступая к решительным мерам, присматривались к распоряжениям правительства. А между тем граф Ростопчин входил в сношения с различными ведомствами, поручал приготовлять к отправлению всё, что требовалось спасти и поручал исчислять необходимое число подвод. Это продолжалось и во вторую половину августа. Так, 18 августа Вотчинному департаменту Сената он писал: «Вотчинный департамент должен уложить все дела свои и иметь оные в готовности к отвозу в безопасное место, если необходимость может того потребовать; а нужное количество лошадей на отвоз сих дел чтобы департамент сам уже от себя испросил от Московского гражданского губернатора». На другой день Вотчинный департамент постановил: «Так как по справке оказалось, что при Вотчинном департаменте кроме текущих дел, которых оставить можно на произвол судьбы, находится ещё (много) самых нужных документов к разрешению споров тяжущихся между собою по вотчинным делам, и документы сии состоят частью в огромных книгах в переплёте, частью, в связках и в свёртках, всего числом 42.160; и по математической истине сделанному вычислению, полагая на каждую крестьянскую лошадь 18 пуд, то потребно будет до тысячи лошадей». Вотчинный департамент представил своё определение оберпрокурору графу Дмитриеву-Мамонову, который с своим отношением поручил члену департамента Бестужеву-Рюмину лично доставить его графу Ростопчину.

«От кого?» – спросил он Бестужева, подававшего ему пакет на его даче в Сокольниках. – «От графа Дмитриева-Мамонова», – отвечал тот. Главнокомандующий не распечатав бросил пакет на стол и потом поручил ему сказать, что сам будет в Сенате[20]. Так рассказывает Бестужев-Рюмин, объясняя образ действий графа Ростопчина нерасположением его к графу Дмитриеву-Мамонову и обвиняя его в том,

что архив Вотчинного департамента не был вывезен. Но если граф Ростопчин вообще не был в особых ладах с графом Дмитриевым-Мамоновым, то в это время, когда он на свой счёт составлял целый конный полк, сочувствуя его порыву любви к Отечеству, он отнёсся бы к нему снисходительнее. Вина оставления на жертву неприятелю Вотчинного архива может падать и на его членов и обер-прокурора, потому что в заявлении графа Ростопчина прямо было сказано, чтобы с требованием о подводах отнеслись непосредственно к гражданскому губернатору, которому и было поручено удовлетворять подобные требования. Но ещё более вина эта падала бы на Министерство юстиции, не выказавшее в этом случае особенной деятельности[21], если бы не было другой, более сильной причины, а именно недостатка подвод и краткости времени. «Иностранцам может показаться невероятным, – говорит граф Ростопчин, – что девять уездов Московской губернии, которые не были заняты неприятелем, с 15 августа по 30-е, поставили 52 тысячи лошадей и столько же телег, из которых, без сомнения, половина не возвратилась к их владельцам. Я решил, что при отступлении наших войск, их прибытие в Гжатск послужит указанием к вывозу из Москвы всего, что предположено было вывезти. Я до сих пор не понимаю, как всё прибыло в назначенные места и как в поставке и перемене лошадей не произошло затруднений. Кроме судов, Сената, Военной Комиссии, Архива Министерства Иностранных Дел, учреждений императрицы Марии, сокровищ казны, Оружейной Палаты и патриарших соборов, монастырей Троицкого и Воскресенского и сверх того 96 пушек, – всё это выехало в продолжении 10 дней в Нижний Новгород, в Казань и в Вологду. Надо было закрыть глаза на некоторые злоупотребления. Чиновники требовали тройного количества лошадей и подвод. Я встречал многие обозы, выезжавшие из Москвы и видел телеги, нагруженные дрянною мебелью, которая Бог знает кому принадлежала и которую хотели спасти. Открыто было, что многие из этих мелких чиновников отдавали в наймы подводы, предназначенные для их собственного употребления. Я спорил каждое утро, и мне удалось сократить наполовину число требуемых подвод. Необходимо было, чтобы всё совершалось правильно, потому что, как только делалось распределение подвод и назначался срок выезда, я давал знать гражданским губернаторам во Владимир и Нижний, чтобы собрали и поставили на границах своих губерний достаточное число лошадей для каждого обоза, чтобы они могли следовать далее. Независимо от лошадей, я сделал распоряжение в Коломне заготовить столько больших барок, сколько было возможно их собрать, чтобы загрузить на них государственные сокро-

вища, и имущество Опекунского Совета, зависевшего от Воспитательного Дома, и отправить их Окою в Нижний Новгород. Я уберёг 10 из этих больших барок для перевозки раненых, которые помещались в трёх главных госпиталях в Москве. Всё приехало в порядке, ничто не было затеряно. Только Военная Комиссия и большая аптека ничего не спасли по глупости генерал-лейтенанта Татищева, в заведывании которого они находились: он потерял время, поручив всё дело своим чиновникам, которые допустили, что неприятелю досталось несколько барок, нагруженных полотном, и потом в донесении военному министру оценил потерю в два миллиона рублей, включив и такие предметы, которых и не было, как доставшиеся неприятелю, потому что в реке сбыла вода».

Хотя, кроме имущества Военной Комиссии, осталось за недостатком подвод и краткостью времени ещё 2 тысячи[22] человек раненых; но всё-таки нельзя действительно не удивляться, как много было вывезено из Москвы и ещё более, как возможно было, не производя никаких волнений, обобрать почти все перевозочные средства населения девяти уездов, жителям которых самим уже приходилось покидать свои жилища. Это показывает, каково было настроение народа, решившегося на самопожертвования и потерю всего своего достояния для спасения Отечества. Подобное распоряжение совершенно удалось и не только в одной Москве, но и повсюду в России, что доказывает, что все обозы верно и без препятствий достигли мест своего назначения. Вследствие ли нераспорядительности или оплошности, некоторые предметы не были вывезены; но едва ли и возможно было вывезти всё в такой короткий срок. Если бы и не с того даже времени, как Государь указал на необходимость этой меры графу Ростопчину, но хотя бы и с первых чисел августа, после взятия Смоленска и не дожидаясь приближения наших войск к Гжатску, граф Ростопчин начал приводить в исполнение эту меру, то он избежал бы важного неудобства, а может быть, не подвергся тем упрёкам, какими осыпали его впоследствии московские жители. Во вторую половину августа, когда все лошади и телеги были забраны для казённой надобности, в каком положении в отношении к перевозочным средствам должны были находиться частные лица? — «После взятия Смоленска, — говорит граф Ростопчин, — многие хотели уехать из Москвы; другие удовлетворялись только тем, что держали наготове лошадей и экипажи. Благодаря наперёд принятым мерам и точному исполнению моих предписаний, мне не пришлось взять ни одной лошади у частных лиц и сказать кому бы то ни было, что надо уезжать из Москвы; но я только старался распространить страх, опасность долго оставаться в городе, намекая,

что обстоятельства могут заставить меня взять всех лошадей, какие только имеются в Москве для военных надобностей».

Москва в то время, как прежде и долго после, была средоточием дворянских семейств, куда съезжались они на зиму с разных концов России. Более достаточные из них имели свои домы; другие жили в наёмных квартирах. Каждую осень тянулись из сёл и деревень обозы в Москву, с помещичьею утварью и разными запасами, и каждую весну точно такие же обозы развозили всё это снова по деревням и сёлам. Эти семейства, конечно, могли запастись перевозочными средствами; но в каком положении должно было оказаться всё торговое население и бедные постоянные жители Москвы (со стороны которых и слышались впоследствии жалобы на графа Ростопчина) с 15 августа, когда все подводы были обязательно забраны для казённой надобности?

«Чем более приближалось время к окончательной развязке, т. е. к сражению, которое всё ещё возвещал Кутузов,— говорит граф Ростопчин,— эмиграция дворян из Москвы усиливалась. Я велел представить мне ведомость, сколько ежедневно экипажей выезжает из застав Ярославской, Петербургской, Владимирской и Рязанской, и оказалось, что число бричек, карет и колясок простиралось до 1320 каждый день, не считая при этом простых троичных кибиток. Держались долее всех купцы и неохотно оставляли город, где у них были дома, движимое имущество и торговля. Торговавшие предметами нетяжёлыми по весу платили до 8 руб. с пуда для перевозки их в Ярославль или Муром, за расстояние в 240 вёрст; но торговцы железом, медью должны были оставить весь свой товар в Москве, потому что перевозка стоила бы дороже самих товаров. Многие из знакомых мне богатых купцов приходили ко мне на дачу справляться, там ли ещё находятся моя жена и дети, и их присутствие убеждало, что опасность ещё не так близка. В последние четыре дня до оставления Москвы, платили до 800 руб. вместо 30 или 40, за дорогу в 240 вёрст из Москвы во внутрь страны. Цена ужасная; но надо было платить, чтобы избавиться от посрамления и спасти жизнь ценою имущества». Но платить такие цены могли немногие. «Между тем в самой Москве так вздорожал наём извощичьих и даже крестьянских лошадей, что за 50 вёрст просили с нанимающего на три лошади 300 руб. и более, потому что богатые господа и купцы всех лошадей забрали; следовательно, обременённый семейством человек в недостатках своих поневоле должен был остаться во власти неприятеля, тогда в скором времени овладевшего Москвою»[23]. Это говорит свидетель событий. При таком положении дел весьма благоразумно поступало Московское начальство, что смотрело сквозь пальцы на

мелкие злоупотребления чиновников, требовавших более, сколько нужно было, подвод под казённые грузы. Эти злоупотребления были вызваны силою самих обстоятельств, вследствие распоряжений Московского начальства. Спасая казённые имущества, естественно, каждый желал спасти и своё собственное, а особенно свои семейства и близких людей.

Вдовствующая императрица Мария Фёдоровна, под начальством которой были женские учебные заведения и все другие находившиеся под ведомством Опекунского Совета, ещё в начале августа предписывала принять меры «на случай возможного несчастья», для вывоза этих заведений из Москвы. После известия об оставлении Смоленска, Опекунский Совет решился приступить к исполнению предписаний императрицы и перевезти в Казань всех воспитанниц женских учебных заведений, оставив в Москве только отделение малолетних Воспитательного Дома, ввиду больших затруднений при его передвижении в отдельную местность. Получив донесение председателя Совета, почётного опекуна А. М. Лунина, императрица писала к почётному опекуну Н. И. Баранову: «Я с душевным прискорбием вижу, что наступило время принять те меры осторожности, которые я предписала на случай несчастья; но с тем вместе с утешением вижу, что решились на перевоз детей из обоих девичьих училищ, которые не взяты родителями и родственниками, и что вы, согласно с желанием моим, следуете с ними вместе в путь. Благодаря вас чувствительно за усердие ваше и о сих заведениях попечение, я препоручаю девиц особливому старанию вашему, наипаче в путешествие водою, дабы приняты были все возможные меры предосторожности предохранить их от простуды при наступающей довольно суровой погоде». Заботясь о девицах, императрица писала, что она «уверена, что Воспитательный Дом оставлен в хороших и надёжных руках и поручала Баранову уведомлять её, как во время путешествия, так и по приезде в Казань. Выражая всю силу своей заботы о девицах, она собственноручно приписала к этому письму: «будьте отцом у сих детей и вашим попечением уменьшите мои заботы и душевную печаль, в чём я совершенно надеюсь на ваше усердие». Впоследствии, узнав о подробностях распоряжений по этому случаю, она писала ему: «Признаюсь вам откровенно, что не только не могу одобрить всего, при сём случае учинённого, но некоторое усмотрела с чувствительным прискорбием. Что возможно ещё поправить, то я переменить стараюсь, как-то увольнение всех учителей, с оставлением и девиц даже без священника, и предложение взрослым воспитанникам Воспитательного Дома вступить

в военную службу. О первом я уже писала к Ю. А. Нелединскому, который инспектора, священника и некоторых по выбору его учителей отправит вслед за институтами, а о последнем к главному надзирателю Тутолмину».

Конечно, оставляя Москву на неопределённое время, следовало подумать о том, чтобы девицы могли продолжать учебные занятия в новом месте их пребывания. Что же касается до отдачи в военную службу взрослых питомцев Воспитательного Дома, то императрица отменила это распоряжение по следующим причинам: «Вам известно,— писала она,— что отдача в военную службу по нашим узаконениям есть строжайшее для питомца наказание и, хотя нынешние обстоятельства, конечно, поставляют вступление в военную службу в ином виде, однако не должно было Совету приступать без моего ведома и утверждения к положению, предоставляющему воспитанникам свободу выбрать себе состояние, прежде достижения *совершеннолетия* и имеющему при том последствием разрушение всех плодов их образования». Отменив те меры, которые было ещё возможно, императрица писала далее: «Чего я к крайнему прискорбию моему отменить уже не могу и о чём не могу вспомнить без огорчения и почти без слёз, это отправление девиц, особливо дщерей Российского дворянства, в телегах, и то откуда? из столицы Российской! Пусть так, что необходимость принудила прибегнуть к сему экипажу для воспитанниц Александровского училища, дочерей нижних офицерских чинов и подобного сему звания или ещё ниже оного людей; а для девиц из лучшего дворянства неужели бы не нашлось в обширной, изобильной Москве способа достать хотя наймом потребного числа карет, в дополнение данных от усердных к сим заведениям особ, которых имена я с признательностию видела в доставленном вами списке? И мог ли Совет пожалеть на то издержек, не весьма значущих? Я признаюсь, что я не понимаю, как могли решиться возить сих девиц на телегах, и я истинно со стыдом представляю себе, какое действие произвело сие позорище»[24].

Это обстоятельство сильно озабочивало и огорчало императрицу. В рескрипте к Нелединскому-Мелецкому, как почётному опекуну, она писала то же, что и Баранову, поручая ему отправить в Казань священника, инспектора и некоторых из учителей институтов. Но как к человеку, который пользовался особенным её расположением, она приложила собственноручное письмо, в котором ещё с большею силою выразила свои чувства. «Знаете ли, мой добрый старик Нелединский, что я в первый раз в жизни на вас сержусь и хочу побранить вас за то, что доставили чувствительное огорчение. При мысли об

отправлении Институтов ноет моё сердце; я полагаю, что необходимость вынудила вас поспешно приступить к этой мере, не посоветовавшись даже со мною о способах её исполнения. Но как могло случиться с вашими нежными чувствами, мой добрый Нелединский, как могли вы подписать такое жестокое решение, чтобы отправить на телегах девиц Екатерининского института, дочерей дворян? Эта мера была бы ужасна и в отношении к Александровскому институту; но можно прийти в отчаяние, узнав, что она применена к девицам Екатерининского, и я уверяю вас, мой добрый Нелединский, что я плакала горючими слезами. Боже мой! Какой зрелище для столицы империи: цвет дворянства вывозится на телегах! Я понимаю, что в такое тревожное время каждый нуждается в своём экипаже, и поэтому нам дали их мало; но следовало нанять, что в Москве не было бы затруднительно. Г-жа Перетт (начальница института) очень виновна, что не воспротивилась решительно этой мере, равно как и увольнению всех учителей».

Нелединский получил это письмо уже в последних числах августа, когда и ему самому пришлось оставить Москву; но его ответ любопытен потому, что он описывает состояние Москвы после того, как получено было известие об оставлении Смоленска. Он писал: «Уже час ночи, и в это время я получил приказание Вашего Императорского Величества. Завтра утром я соберу все сведения и приму все меры для их исполнения с возможною поспешностью; но теперь, пользуясь спокойными часами ночи, отвечаю на Ваше милостивое письмо, в котором благодеющая душа, украшающая то высокое положение, в которое поставило Вас Провидение, выразилась во всём её блеске, но из которого я вижу, что вы не имели верных сведений о положении Москвы после потери Смоленска. Обстоятельства, сопровождавшие эту потерю, произвели сильное влияние на всех. Мысль об измене была всеобщею, и прежде нежели узнали о назначении князя Кутузова главнокомандующим, все не находившиеся на службе и имевшие экипажи решились оставить Москву и в продолжении многих дней по дороге к Троице тянулись непрерывными рядами экипажи, как это бывает на гуляньях. Граф Ростопчин говорил мне, что в продолжении трёх дней выехало из Москвы до 4-х тысяч карет и колясок. Общее недоверие усилилось ещё более, когда узнали, что наши войска, не потерпевшие потерь, кроме двух полков, отданных на жертву под Смоленском, отступили до Вязьмы, т. е. 160 вёрст, в четыре или пять дней. Вязьма была так же оставлена, как и Смоленск; ещё отступили, и хотя прибытие князя Кутузова и возбудило надежды, но город в это время уже был оставлен всеми, которые не имели осо-

бых обязанностей, имели лошадей или могли их достать. В самый день, когда было получено известие о падении Смоленска, цены на наём лошадей поднялись вчетверо. При таком положении дел, когда надо было отправить Институты, в Москве уже не было никого из тех, у кого можно было бы попросить карет. Считая долгом всегда говорить правду Вашему Величеству, осмеливаюсь Вас уверить, что и в то время, когда ещё никто ни оставлял Москвы, мы не могли бы получить более карет, сколько мы получили в это время, когда охотно их давали, чтобы спасти от грабежа и получить когда-нибудь обратно. Что касается до найма экипажей, то купцы на это не соглашались ввиду неизвестности, возвратятся ли они и когда. Они готовы были продать кареты; но это обошлось бы в 50, 60, а может быть и более тысяч рублей, – расход, о котором нельзя было и думать, когда Лунин постоянно заявлял о недостатке денег. Одним словом, Государыня, мы были озабочены только желанием спасти Институты и поскорее удалить их от опасности, которая увеличивалась со дня на день»[25].

Между тем, в это время граф Ростопчин только начал заботиться о приготовлении перевозочных средств казённой надобности и хотел начать вывоз различных предметов из Москвы тогда только, когда наши войска отступят до Вязьмы и будут находиться в 227 верстах от Москвы, т.е. на таком расстоянии, которое при самом медленном отступлении войск могло быть пройдено в одну неделю. Сомнительно, чтобы достало каких бы ни было средств для вывоза из Москвы в такое короткое время всего, что должно бы спасти от грабежа неприятелей. Если граф Ростопчин и питал такую надежду, то потому только, что из его соображений ускользало обстоятельство, что по мере приближения наших войск к Москве и для них потребуется значительное количество лошадей, для подвоза продовольствия войскам, боевых снарядов и особенно для спасения раненых. Когда войска приблизились к границам Московской губернии, он не рассчитывал уже на перевозочные средства трёх уездов, смежных с Смоленскою; но, забрав все эти средства из остальных уездов, тем самым лишил войска подвод, так что они вынуждены были оставить значительное число раненых в Можайске и удовлетворил требованию различных ведомств и учреждений в Москве только наполовину. Очевидно, что при таких условиях могли остаться в Москве архив Вотчинного департамента, библиотека и все учёные кабинеты Московского университета[26], святыни и трофеи.

Спасение имущества, как государственного, так и частных людей, без сомнения, важно; но ещё важнее – личное спасение. Быть может, чтобы не усилить вдруг эмиграции из Москвы и таким образом не дать

повода возникнуть беспорядкам, граф Ростопчин (по его собственному свидетельству) никогда прямо не говорил, что надо оставить Москву, но косвенными средствами действовал именно в тех видах, чтобы постепенно как можно более жителей удалить из Москвы. Так он рассказывает в своих *Записках*; но так ли это было на самом деле? Уже после того, как он решился вывозить казённое имущество и драгоценности из Москвы, 18 августа, появилось следующее объявление *от главнокомандующего в Москве*: «Здесь есть слух, и многие ему верят и повторяют, что я запретил выезд из города. Если бы это было так, тогда на заставах были бы караулы, и по нескольку тысяч карет, колясок и повозок во все стороны не выезжали. Я рад, что барыни и купеческие жёны едут из Москвы для своего спокойствия. Меньше страха, меньше новостей; но нельзя похвалить ни мужей, ни братьев, ни родню, которые при женщинах в будущих отправились без возврату. Если по их есть опасность, то *непристойно*; а если нет её, то стыдно. Я жизнью отвечаю, что злодей в Москве не будет, и вот почему: в армиях 130 тысяч войска славного, 1800 пушек и светлейший князь Кутузов, истинно государев избранный воевода Русских сил и надо всеми начальниками; у него сзади неприятеля генералы Тормасов и Чичагов, вместе 85 тысяч славного войска; генерал Милорадович из Калуги пришёл в Можайск с 36 тысячами пехоты, 3800 кавалерии и 84 пушками пешей и конной артиллерии; граф Марков через три дни придёт в Можайск с 24 тысячами нашей военной силы, а остальные 7 тысяч вслед за ним. В Москве, в Клину, в Завидове, в Подольске 14 тысяч пехоты. А если ж мало этого для гибели злодея, тогда уж я скажу: ну дружина Московская! *пойдём и мы*. И выведем *сто тысяч* молодцов, возьмём Иверскую Божию Матерь да 150 пушек и кончим дело все вместе. У неприятеля же своих и сволочи 150 тысяч кормятся пареной рожью и лошадиным мясом. Вот что я думаю и вам объявляю, чтобы иные радовались, а другие успокоились; а больше ещё тем, что и Государь император на днях изволит прибыть в верную свою столицу. Прочитайте: понять можно всё, а толковать нечего».

В письмах к Императору граф Ростопчин извещал его между прочим, что после взятия Смоленска «дамы потеряли голову, и многие уехали, чему я, конечно, очень рад». В то же время он писал князю Багратиону, что известие о взятии Смоленска поразило всех, и некоторые оставляют Москву, «чему я чрезмерно рад, ибо пребывание трусов заражает страхом, а мы болезни сей здесь не знаем». В письме к графу П.А. Толстому в Нижний Новгород он говорил: «Москва спокойна и тверда, но пуста; ибо дамы и мущины женского пола уехали»[27].

Граф Ростопчин снисходительно относился к выезду из Москвы женщин и детей, а мужчин называл трусами, говоря, что им и *стыдно* и *непристойно* оставлять Москву. Н. М. Карамзин, бывший в это время в Москве, писал своему брату в деревню: «Живём в неизвестности, ждём главного сражения, которое должно решить участь Москвы. Добрые наши поселяне идут на службу без ропота. Беспокоюсь о любезном Отечестве, беспокоюсь и о своём семействе; не знаю, что с нами будет. Мы положили не выезжать из Москвы без крайности; не хочу служить *примером робости*». Около месяца спустя, он писал, «что силою решился отправить жену с детьми в Ярославль, а сам остался здесь и живу в доме у главнокомандующего Фёдора Васильевича, но без всякого дела и без всякой пользы. Душе моей противна мысль быть беглецом. Поэтому не выеду из Москвы, пока всё не решится»[28]. Этого мало: он даже сам думал вступить в ряды войск. В письме, писанном в то же время к Дмитриеву, он говорит: «Я переехал в город, отправил жену и детей в Ярославль с брюхатой княгинею Вяземской; сам живу у графа Ф. В. Ростопчина и готов умереть за Москву, если так угодно Богу. Наши стены ежедневно более и более пустеют: уезжает множество. Хорошо, что имеем Градоначальника умного и доброго, которого люблю искренно, как Патриот Патриота. Я рад сесть на своего серого коня и вместе с Московскою удалою дружиною примкнуть к нашей Армии. Не говорю тебе о чувствах, с которыми я отпускал мою бесценную подругу и малюток: может быть, в здешнем мире уже не увижу их! В первый раз завидую тебе: ты не муж и не отец! Впрочем, душа моя довольно тверда. Я простился и с Историею: лучший и полный экземпляр её отдал жене, а другой в Архив Иностранной Коллегии. Теперь, без Истории и без дела, читаю Юма *о происхождении идей*»[29].

Н. М. Карамзин, по родственным связям и давнему знакомству, был в очень близких отношениях к графу Ростопчину, и очевидно разделял в это время его взгляд на выезд из Москвы, решаясь оставаться в ней *без всякого дела и без всякой пользы*. Понятно, что такой взгляд главнокомандующего мог задерживать постепенный выезд из Москвы её жителей и вывоз имущества и поэтому довести дело до того, что когда уже он сам желал, чтобы как можно большее число жителей оставило Москву, это сделалось крайне затруднительным и для многих просто невозможным. Понятно, что шёл слух, будто выезд был даже запрещён, что даже граф Ростопчин «дал письменное предложение Московскому магистрату, чтобы он "людям купеческого и мещанского сословия не давал уже пашпортов о выезде их из Москвы, кроме жён их и малолетних детей"»[30]. Основываясь на словах его самого, что

запрещения никакого им дано не было, однако же, возможно предполагать, что, зная его взгляд, сам Магистрат распоряжался подробным образом его именем, чтобы угодить ему. Такой взгляд из Москвы распространился и по окрестностям. «Удалявшиеся из Москвы находили в пути своём большие неприятности или, лучше сказать, были в большей опасности от подмосковных крестьян, чрез селения которых должны были ехать. Они называли удалявшихся трусами, изменниками и бесстрашно кричали вслед тем, которые мимо селений ехали: "Куда бояре бежите с своими холопами? Или невзгоды и на вас пришли, и Москва в опасности вам уже не мила?" Которые из удалявшихся по необходимости должны были останавливаться в селениях для отдохновения и корму лошадей, то они вынуждаемы были хозяевами дворов, у которых останавливались, платить за овёс и сено втридорога и сверх того за постой, не по пяти копеек с человека, как обыкновенно платили, но по рублю и более и беспрекословно должны были повиноваться сему закону, если не хотели сделаться жертвою негодования против их побега освирепевшего народа. Многие из удалившихся из Москвы на своих собственных лошадях возвратились опять в Москву пешками, лишившись на дороге и лошадей своих с экипажем, и имущества». Конечно, это были исключительные случаи; но вообще, «выезды (из Москвы) крайне сердили и раздражали народ»[31].

В народе, конечно, было весьма понятно это чувство раздражения; не потому только, что наши дворяне, вместе с другим имуществом, спасали и своих гувернёров-иностранцев, как замечает С. Н. Глинка. Может быть и это обстоятельство с досадою замечено было народом; но главное чувство, руководившее им, было желание защитить Москву во что бы то ни стало. Подмосковные крестьяне не оставляли в это время своих сёл и деревень и готовились сопротивляться врагу. Это чувство подкреплено в них было действительно графом Ростопчиным, по поручению которого в этих видах действовал на народ особенно С. Н. Глинка, объезжая постоянно Московские окрестности и возбуждая против Наполеона. Эту его деятельность граф Ростопчин считал чрезвычайно важною. С. Н. Глинка записался первым ратником Московского ополчения и состоял в полку генерала Чичерина. Когда 15 августа полк этот должен был выступить из Москвы, то Чичерин призвал его к себе и сказал: «граф Фёдор Васильевич, именем Государя предписывает вам остаться в Москве, где нужна ваша служба». Конечно, Глинка повиновался и просил только не исключать его имени из списков ополчения[32].

Но, затрудняя своим неодобрением выезд из Москвы, какую цель имел граф Ростопчин? Быть может, до Бородинской битвы он дей-

ствительно был уверен, *что злодей не будет в Москве* и назначение Кутузова главнокомандующим его ободрило; но после? После, с 25 августа до 2 сентября (день занятия Москвы французами) оставалось уже немного времени, и опасность значительно усилилась. Но, кроме этой уверенности, в которой он даже клялся торжественно, у него были другие соображения. Получив известие о взятии Смоленска, граф Ростопчин, в первой половине августа, писал Государю: «Теперь Москва и её жители, которые исполнены верности вам, заодно с армиями будут защищать вашу наследственную собственность и вашу славу, не согласятся повергнуться вечному стыду и, если неприятелю удастся овладеть Москвою, история России и ваше царствование будут запятнаны таким несчастьем, о котором одна мысль приводит меня в бешенство. Но если Провидение указало, что это должно случиться, вы пожалеете о тысячах хороших людей, которые пойдут на верную смерть с преданностью и верностью в душе. Я искал вашего доверия для того, чтобы быть вам полезным и служить Отечеству. Если мне не удалось его приобрести, то я докажу, что был достоин им пользоваться»[33]. Смущённый вслед за тем действиями или, лучше сказать, бездействием Барклая де Толли, он, на другой же день после приведённого письма, извещал Государя: «Я предуведомил и военного министра, и князя Кутузова, что послал нарочного известить Милорадовича о взятии Смоленска неприятелем и что необходимо движение войск на Вязьму. Он должен был вчера выступить из Калуги с 28 батальонами пехоты и своею артиллериею. В то же время граф Марков пойдёт на Можайск, Верею и Рузу с своими дружинами. Сегодня вечером выступили отсюда 5000 ратников в Можайск, и все шли как на праздник. Здешние жители требуют оружия, и оно будет у меня наготове; но я раздам его по рукам не иначе, как накануне дня, в который будет решена судьба Москвы. Если Провидение попустит Наполеону войти в неё, то он ничего не найдёт для удовлетворения своей жадности. Деньги будут унесены, а вещи зарыты. Армия и Москва будут действовать заодно для спасения Отечества»[34].

Приведённые выписки не оставляют сомнения, что граф Ростопчин намеревался вместе с *Москвою* драться против французов, соединившись с войсками. Но кого же он разумел под словом Москва? Дружины Московского ополчения, как Карамзин, он разуметь не мог, потому что они все уже выступили на соединение с армиями; войск в ней не было, исключая весьма незначительного числа оставленных для внутренней службы. Он разумел жителей Москвы: потому и затруднял их выезд, потому и намеревался раздать им оружие. Но оружия в Москве не было, его не доставало даже для вооружения

ополчений, кроме старого брака, или совершенно брошенного, или которого не успели ещё поправить и переделать, как свидетельствует сам граф Ростопчин[35]. Каким же образом возможно было драться плохо вооружённому, а большею частью и совсем безоружному народонаселению? Позднейшее свидетельство графа Ростопчина о том, что в Московском арсенале не было оружия, неверно. В Москве осталось в добычу неприятелю более 80 тысяч ружей и до 60 тысяч холодного оружия, из которых половина была негодных[36]. Да и мог ли он писать Государю, что раздаст оружие народу, если бы его не было? Но почему же оно не было роздано ополчению? Стараясь усиливать всеобщий порыв народа к защите Отечества, воображая, что его возбуждает своим влиянием, он до такой степени безосновательно увлёкся сам этим порывом, что действительно думал идти на бой вместе с народонаселением Москвы и её окрестностей и для них приберегал это оружие.

После прибытия князя Кутузова к войскам, народонаселение Москвы было взволновано ожиданием известий о военных действиях: каждый приехавший из армии, каждый курьер привёзший письма, возбуждал всеобщее внимание и служил поводом к различным слухам, верным или неверным, но быстро распространявшимся по городу. Источником всех сведений была приёмная генерал-губернаторского дома, куда по утрам открыт был доступ всем. В это время, когда неожиданный приезд от действующих войск атамана Донских казаков Платова возбудил всеобщее влияние, появилось 22 августа следующее объявление графа Ростопчина: «Здесь мне поручено было от Государя сделать большой шар, на котором 50 человек полетят, куда захотят, по ветру и против ветра; а что от него будет, узнаете и порадуетесь. Если погода будет хороша, то завтра или послезавтра ко мне будет маленький шар для пробы. Я вам заявляю, чтобы вы, увидя его, не подумали, что это от злодея; а он сделан к его вреду и погибели. Генерал Платов, по приказанию Государя и думая, что Его Императорское Величество уже в Москве, приехал сюда прямо ко мне, едет после обеда обратно в армию и поспеет к баталии, чтобы там петь благодарственный молебен и Тебе Бога хвалим».

Это было первое заявление жителям Москвы, несколько поднимавшее таинственную завесу, за которой старались скрыть работы иностранца Леппиха над воздушным шаром. Но работы эти производились в ближайших окрестностях Москвы и не могли не сделаться известными. О них все говорили; но не знали, в чём они заключались. Леппих предпринял соорудить воздушный шар, управляемый по произволу воздухоплавателя и который мог поднять значительное

количество разрывных снарядов и потом с воздушной высоты, бросая их на неприятеля, истреблять без боя его войска. Это предприятие занимало не только современных жителей Москвы, но почти всех писавших о происшествиях 1812 года. Одни полагали, что заверения изобретателя так сильно подействовали на Русское правительство, что (некоторое, по крайней мере, время) оно действительно верило в возможность осуществления этой мысли и потому предоставило Леппиху все способы для работы. Другие, напротив, полагавшие глубже вникнуть в дело и объяснить его точнее, предполагали, что это сказка, с умыслом распространённая в народе Русским правительством и особенно графом Ростопчиным, для того, чтобы отвлечь его внимание от настоящей цели тех работ, которые были препоручены Леппиху; а эта цель, по их мнению, заключалась в том, чтобы подготовить горючие материалы для предположенного сожжения Москвы в случае, если бы пришлось её отдать неприятелю. Неужели однако нужно было предпринимать чрезвычайные средства для того, чтобы сжечь город, большею частью деревянный, в летнюю сухую пору, оставленный жителями и наполнившийся громадным количеством грабителей? Неужели для этого нужно было приготовлять особым, неведомым для всех способом, химически, поджигательные материалы, и недостаточно было простого хлопка или пучка пакли, обмоченной в смолу или дёготь? Неужели, наконец, для этой цели нужно было выписывать из-за границы особого искусника, тратить сотни тысяч и столько забот со стороны правительственных лиц, чтобы удобно поместить его, снабдить рабочими, оградить от любопытства народного, как это было на самом деле? «Какая была нужда учреждать особую фабрику для приготовления зажигательных веществ, когда солома и сено гораздо сподручнее для поджигателей, нежели искусственно приготовленные поджигательные снаряды, которые трудно скрыть и с которыми ещё труднее обращаться людям непривычным?» — говорит граф Ростопчин[37]. Казалось бы, нет нужды и говорить о таком мнении; а говорить о нём должно потому, что его выражают писатели, достойные внимания. Но без сомнения в этом случае нужно не опровергать его и доказывать всю его несостоятельность, но объяснять только, как могло породиться такое мнение. Наполеон, в бюллетенях Великой армии, постоянно называя графа Ростопчина поджигателем Москвы, говорит: «Пойманы 300 человек поджигателей. У них были ракеты, каждая в шесть дюймов величины, укреплённая между двумя кусками дерева. У них были также снаряды, которые они бросали на кровли домов. Этот презренный Ростопчин велел приготовить такие зажигательные средства, распустив слух,

что приготовляют воздушный шар, с которого польётся огненный дождь на французские войска и истребит их»[38]. Легенда о Наполеоне ещё была так сильна даже до последнего времени, что сбивала весьма деловых людей с пути простого здравого смысла.

Остаётся предполагать, что наше правительство того времени, если и не верило положительно в возможность осуществления предположений Леппиха, то во всяком случае считало их настолько важными, что решилось испытать их на деле.

Франц Леппих родился в Нижней Франконии, в г. Мюдесгейме, в 1775 году, от крестьянских родителей. Учился он в школе в Мюннерштадте и был выгнан из неё. Бродя по Европе, он женился в Альтоне на дочери одного купца и жил в его доме. Но когда умерла его жена, то тесть удалил его из своего дома. Леппих с первой молодости постоянно занят был разными изобретениями. Сначала он устроил особого рода фортепьяны, потом музыкальный инструмент под названием *панмелодикон*. С этим-то инструментом, после того как тесть выгнал его из дому, он разъезжал по всей Европе и попал в Париж. Желая подделаться и заслужить благосклонность воинственного императора французов, он предложил ему свой проект о воздушном шаре, который мог бы поднимать такое количество разрывных снарядов, что посредством их можно было бы истреблять целые неприятельские армии. Наполеон выгнал его из Франции; но, узнав потом, что Леппих, возвратившись в Германию, в Тюбингене начал приготовлять такой шар, велел схватить его и доставить во Францию. Узнав об этом и возненавидя Наполеона, Леппих, весною 1812 года, обратился к нашему посланнику при Штутгартском дворе Алопеусу с предложением услуг Русскому правительству[39].

Преследование, начатое Наполеоном против Леппиха, конечно, и послужило поводом к тому, что, по извещению Алопеуса, Император мог предположить, не заключает ли его изобретение действительной важности, тем более, что в это время в Париже производились постоянно опыты над воздушными шарами[40]. Известие о Леппихе и его изобретении Алопеус (чтобы вернее сохранить тайну) отправил нашему правительству в конце марта месяца с советником посольства Шрёдером. Приехав в Петербург, Шрёдер не нашёл там ни Императора, ни канцлера и отправился к ним в Вильну. «Я очень рад, – отвечал граф Румянцев Алопеусу, – сообщить вам, что Император весьма доволен, что вы употребили особенную ревность для того, чтобы воспользоваться новым изобретением, которое обещает важные последствия, и обратить его в пользу службы Его Величества. Чтобы доставить вам способы привести в исполнение ваше предположение и немедлен-

но отправить в Россию как механика Леппиха, так и его рабочих, которые трудились над постройкою шара, вполовину уже готового, Император согласился на все ваши предложения и вполне полагается на вашу ревность к его службе». При этом Алопеусу были посланы бланки для паспортов на проезд Леппиху и его рабочим и векселя на получение денег, необходимых для путешествия. В частном письме, отправленном в то же время, граф Румянцев повторил Алопеусу, что Император очень доволен его действиями и поручал ему «как можно скорее воспользоваться важным изобретением. Я уверен в той пользе, которую оно может принесть,— писал он,— особенно потому, что вы его предлагаете. Весьма важно прежде всех других воспользоваться выгодами этого нового открытия, которое, как кажется, во многом должно изменить военное искусство»[41].

Приведённые слова могут служить достаточным свидетельством, что как Император, так и канцлер, если и не вполне были уверены в изобретении Леппиха, то во всяком случае считали его настолько важным, чтобы воспользоваться им прежде других. Но прежде, нежели Шрёдер довёз бумаги канцлера до Штутгарта, не переехав ещё границы, в Луцке, он встретил Леппиха, который, опасаясь преследований Наполеона, поспешил оставить Германию. «Считая нужным продолжать мой путь,— писал Шрёдер канцлеру,— я просил князя Багратиона доставить Леппиха с фельдъегерем в Вильну. Он будет просить ваше сиятельство сделать распоряжения, чтобы в Радзивиллове не задержали его рабочих, которые находятся уже в дороге. Князь Багратион, обратив внимание на мои сообщения об этом механике, вызвался с своей стороны также написать к директору Радзивилловской таможни»[42].

В половине мая фельдъегерский прапорщик Иордан привёз Леппиха в Москву и передал его, с собственноручным письмом Императора, Московскому губернатору Обрезкову. Император поручал ему тайно в окрестностях столицы поместить Леппиха и снабдить средствами для производства его работ, не сообщая об этом главнокомандующему графу Гудовичу. Обрезков поместил Леппиха в селе Воронцове, находящемуся в 6 вёрстах от Москвы по Калужской дороге и принадлежавшем князю Н.Г. Репнину и вошёл в сношение с министром финансов об отпуске сумм для издержек по этому предприятию. Леппих назвался доктором Шмидтом, а Иордан курляндцем Фейхнером. «Пребывание Леппиха и Иордана в Москве,— доносил Обрезков Государю,— и перемещение в подмосковную не обращают ничьего внимания, ниже любопытства, как о людях, никому здесь незнаемых». Вслед за тем с фельдъегерем Винбергом приехали

и мастеровые Леппиха и, не въезжая в Москву, по распоряжению Обрезкова, были препровождены в Воронцово. «Все движения по сему делу производятся с большою осторожностью,— доносил Обрезков Императору,— и смею надеяться, что истинное дело до самого окончания сохранится в совершенной тайне»[43].

В это время состоялась уже отставка графа Гудовича, и потому Император поручил Обрезкову сообщить все сведения о предприятии Леппиха графу Ростопчину и с тем же фельдъегерем написал о том ему самому. Император писал: «Теперь я обращаюсь к предмету, который вверяю вашей скромности, потому что в отношении к нему необходимо соблюдение безусловной тайны. Несколько времени тому назад, ко мне был прислан очень искусный механик, сделавший открытие, которое может иметь весьма важные последствия. Во Франции делают возможные усилия, чтобы достигнуть того открытия, которое, как кажется, удалось сделать этому механику. Во всяком случае, позволительно, чтобы убедиться в этом, сделать опыты, которые он предлагает. Дело стоит труда. Отправляя его в Москву и желая, чтобы его работы решительно никому не были известны, я не хотел вводить в это дело фельдмаршала, опасаясь, чтобы *доктор* (т. е. Сальватор) не узнал об этом тотчас. Поэтому я поручил его губернатору Обрезкову. Я пишу ему сегодня, что с вашим назначением хранение тайны в отношении к генерал-губернатору уже прекращается и поручаю ему сообщить вам все бумаги, относящиеся к этому делу, которые у него находятся. Из них вы узнаете все подробности. Я не желал бы, чтобы ещё *третий* кто-либо узнал об этом и потому поручаю вам употреблять по этому Обрезкова, так как он уже знает о нём. Я желал бы, чтобы Леппих не являлся в ваш дом и чтобы вы виделись с ним где-нибудь так, чтобы это не было заметно. Будьте внимательны к нему и облегчите ему, во сколько это будет от вас зависеть, привести в исполнение его дело, удаляя все препятствия. С фельдъегерем, который доставит вам это письмо, едут семь человек рабочих этого механика. Ему приказано не ввозить их в город до тех пор, пока Обрезков не переговорит с вами и не передаст вам бумаг и пока вы не назначите, куда отвезти их»[44].

Это было первое дело, которым занялся граф Ростопчин ещё до окончательного вступления в должность Московского генерал-губернатора. «В числе неприятных занятий,— говорит он в своих *Записках* о 1812 годе,— особенно я должен упомянуть о несчастном воздушном шаре, о котором так много толковали и который по историческим рассказам имел важное значение в заговоре о сожжении Москвы. Вот повесть об этом аэростате, не взлетевшем на воздух, и об его презренном творце. Один Русский дипломатический агент,

г. Алопеус, уведомил Государя по его приезде в Вильну, что один инженерный офицер Вюртембергской службы сообщил ему об открытом им способе по произволу направлять движения воздушного шара; что шар, который он намеревается построить, поднимет в лодке 50 человек и ниже их ящики с многочисленными разрывными снарядами, которые можно бросать вниз на определённое место: падая и разрываясь, эти снаряды должны были производить страшные опустошения. Он требовал, чтобы его открытие сохранялось в величайшей тайне и предлагал свои услуги императору Александру, из ненависти к Наполеону (как он уверял), чтобы истребить этого завоевателя. Его предложение было принято, и он приехал, отправленный к Московскому гражданскому губернатору Обрезкову, под именем Шмидта. Обрезков устроил его в деревне, в шести верстах от Москвы, под предлогом, что тут заводится фабрика для приготовления новоизобретённых зарядов для пушек. Этот Шмидт привёз с собою многих рабочих-немцев и требовал ещё большего числа для работ по его указанию. Надобно было этот деревенский дом окружить сильною стражею, не столько для поддержания порядка, сколько для того, чтобы преградить всякое сообщение с городом и помешать наплыву праздношатающихся любопытных. Этот Шмидт уверял, что он уже тайно поднимался на маленьком шаре с полною удачею, что и служит ему ручательством, что и попытка с большим шаром непременно будет успешна. Но когда он мне объяснил теорию этого удивительного шара, то я ему возразил, что тяжесть переломит пружины, и я не ошибся: потому что опыты, которые он делал два раза на маленьких шарах, ему не удались: рессоры ломались при первых ударах вёсел. Он сваливал вину на дурное качество железа; я доставил ему лучшего английского, которое ломалось точно так же. Наконец, он потребовал железа, из которого делаются математические инструменты; скуплены были все такие инструменты, какие только можно было найти, и опыт точно также был неудачен. За 24 часа до вступления неприятеля в Москву, я отправил Шмидта в Петербург со всеми его рабочими и с огромным шаром из тафты. Он хотел возобновить свои опыты, производил их в Ораниенбауме и также безуспешно. Мне говорили, что когда он возвратился в Германию, то обманул некоторых купцов, которые поверили, что посредством его шара можно перевозить товары. Шмидт стоил 320 тысяч франков, и горючие материалы, найденные после него, послужили предлогом, за который с жадностью ухватились, чтобы доказать, что в этой лаборатории приготовлялись зажигательные материалы для сожжения Москвы». «Шмидт,— говорит граф Ростопчин в другом своём сочинении,— который полагал,

что открыл способ по произволу управлять воздушными шарами, действительно приготовлял такой шар и как шарлатан требовал, чтобы его работы сохранялись в тайне. История уже слишком много придала значения этому шару, для того только, чтобы выставить Русских в смешном виде. Между ними мало легковерных, и конечно, никто из жителей Москвы не поверил, что Шмидт с такого шара, какой употребляли Французы при Флерюсском сражении (Fleurus), уничтожит Французскую армию»[45].

Приведённые строки писаны графом Ростопчиным уже долго после самого происшествия. Быть может, и память ему несколько изменила; а может быть, предназначая эти свои сочинения для иностранцев, он и не хотел рассказывать всю правду. Из его слов прежде всего видно, что будто бы он никогда не верил в изобретение Леппиха и считал его невозможным, а самого изобретателя шарлатаном и по обязанности только занимался этим неприятным для него делом. Но это совершенно несогласно с тем, что действительно было. Получив приказание Императора принять в своё ведение работы Леппиха, он отвечал ему следующим письмом: «Немедленно по получении приказаний Вашего Императорского Величества относительно г. Леппиха, я имел свидание с губернатором Обрезковым и видел все находящиеся у него бумаги. Вы уже извещены, Государь, о приезде механика, об устройстве его в одной из отдельных деревень, в семи верстах от Москвы, за Калужской заставой. Леппих с нетерпением ожидал приезда своих работников из Вильны, которые и приехали 31 мая и, не въезжая в город, с последней станции просёлочными дорогами были привезены туда, где будет строиться машина. Это доставило большую радость изобретателю. Так как я не хотел, из опасения разглашения тайны, нанимать в Москве двух кузнецов и четырёх слесарей, нужных для него, то и отправил Иордана, на другой же день по получении ваших предписаний, в Петербург, чтобы там нанять шестерых мастеровых и, чтобы предупредить затруднения, которые могли бы встретиться со стороны желающих наняться, я поручил Обрезкову дать ему от своего лица полномочие нанять ему мастеровых для постройки мельницы в его имении. Так как не может быть сомнения, что Иордан хорошо исполнит данное ему поручение, то я полагаю, что он возвратится не позднее 12 числа. Чтобы показать, по какому поводу он отправляется в Петербург, я дал ему два письма к фельдмаршалу графу Салтыкову и генералу Вязмитинову, в которых я уведомил их о моём назначении. Леппиху нужно 5000 аршин тафты, особенного тканья. Она будет готова в продолжении 15 дней: некто Кирьяков употребит на это дело почти всех работников своей фабри-

ки. Количество заказываемой материи и требуемая скорость работы могли возбудить любопытство Кирьякова; но случайно он напал на мысль, что Леппих основывает фабрику для приготовления пластырей и просился к нему в сообщники по его торговле. Одна тафта будет стоить 20 тысяч рублей. Сверх того ему нужно на 50 тысяч купоросу и на столько же железных опилок. Всё будет готово. Незнание цен нужных для него материалов было причиною того, что Леппих обманулся в своих рассчётах в отношении к издержкам. Но, чтобы не замедлить уплаты, а тем самым и окончание такой важной работы, мне кажется, что полезно было бы дать предписание Папкову* директору отделения Московского банка, отпускать по моему требованию суммы, на которые я буду выдавать ему росписки в получении; а я уже буду получать такие же росписки от Леппиха. У Папкова всегда имеются значительные суммы в мелких ассигнациях. Эта мера тем более необходима, что министр финансов отвечал уже Обрезкову, что он ещё не получал от вас, Государь, повеления отпускать деньги по его требованиям. Я ещё не видал Леппиха; но завтра, под предлогом, что еду к кому-нибудь обедать в ту сторону, где он помещён, я отправлюсь к нему и пробуду долго. Для меня будет праздником знакомство с человеком, которого изобретение сделает бесполезным военное ремесло, избавит род человеческий от его адского разрушителя (т. е. Наполеона) и вас сделает решителем судеб царей и царств и благодетелем человечества»[46].

Приведённое письмо, конечно, не доказывает, чтобы граф Ростопчин с самого начала недоверчиво относился к выдумке Леппиха. Напротив, по самому характеру своему, способному увлекаться всем, выходившим из общего порядка дел, он вполне поверил в возможность осуществления этого изобретения на деле и предвидел уже великие от него последствия для судеб всего человечества. Поэтому он с жаром и усердием принялся за доставление всех средств для работы Леппиху, обдумывая наперёд все способы для устранения препятствий, которые могли встретиться и затруднить или замедлить ход этого дела.

Спустя много лет после 1812 года, когда уже известна была неудача дальнейших опытов Леппиха в Ораниенбауме и потом в Германии, без сомнения, на его предприятие нельзя было смотреть иначе, как на обман или шарлатанство, хотя и вовсе незлонамеренное; но в то

---

* В публикации писем графа Ростопчина к императору Александру I в *Русском Архиве* (1892, кн. 2, № 8, с. 421–422) указана другая фамилия директора Московского отделения Банка — *Барков (прим. ред.).*

время, ввиду страшной опасности, возможно было хвататься и за соломинку и не упускать из виду никаких средств для обороны. Вероятно, однако же, что и в то время многие из москвичей не верили, что Леппих с воздушного шара истребит Наполеоновскую армию, как говорит граф Ростопчин; но сам он положительно верил в возможность его изобретения, что доказывает ещё более дальнейшая его переписка с Императором о Леппихе. Он слишком был самолюбив, чтобы позднее сознаться в своей ошибке, и ещё пред иностранцами. В начале июня он писал Императору: «Я виделся с Леппихом; это человек очень способный и хороший механик. Он разрушил все мои сомнения насчёт рессор, которые двигают крыльями машины, — действительно адской и которая впоследствии могла бы причинить ещё более зла человечеству, нежели сам Наполеон, если бы построение шара не было так затруднительно. Леппих усердно просит Ваше Величество дать приказания, чтобы отыскали в Вильне несколько ящиков, отправленных туда вслед за рабочими, которых он вызвал. В них находятся льняные шнуры и тесёмки, каких здесь он не думает найти. Так как невозможно совершенно скрыть существование заведения с 60-ю рабочими в семи верстах от Москвы, то мы уговорились с Обрезковым, что он с Леппихом, под именем Шмидта, заключит договор, по которому он обяжется приготовить ему большое количество моделей земледельческих машин, которые должны быть готовы к новому году. Это сбавит любопытство, если бы оно и возникло вследствие каких-нибудь неожиданных обстоятельств. Мне приходит мысль, которую повергаю вашему вниманию: когда машина будет готова, Леппих намерен отправиться на ней в Вильну. Можно ли вполне положиться на него, чтобы не подозревать возможности измены с его стороны, что он не обратит этого открытия в пользу ваших врагов?»[47].

Одобренный покровительством и участием графа Ростопчина, Леппих сам писал к Государю, извещая его, что преодолев многочисленные трудности, запасшись необходимыми для его работ материалами, по прибытии его рабочих-иностранцев, он с успехом продолжает своё дело. Но так как цены на материалы здесь гораздо дороже, нежели в чужих краях, то машина обойдётся не в 20 тысяч, как он предполагал, но по крайней мере в 40. «Умоляю Ваше Величество, — писал Леппих, — поставить меня в такое положение, чтобы я немедленно мог получить необходимые для меня деньги. Я бывал уже в затруднительном положении в этом отношении и выходил из него только по милости Обрезкова, который или давал мне свои деньги, или ручался за меня. Теперь, когда дело развивается, я счёл нужным устроить канцелярию и выбрал секретарём честного чело-

века. Сверх того прошу Ваше Величество позволить мне взять к себе, в качестве директора физических и химических принадлежностей, доктора Шеффера, который находится на Вашей службе»[48].

Шеффер был товарищем его молодости и случайно встретился с ним в Москве. Граф Ростопчин также свидетельствовал об успешном ходе работ Леппиха. Он писал Государю в конце июня: «Начну с важного предмета, вверенного моему попечению, с машины Леппиха. По его приглашению, послезавтра я отправлюсь к нему, чтобы видеть опыты не в большем ещё размере. Он в восторге, что ему удалось найти лес, который сушился пять лет. Все рабочие в сборе, работа подвигается; но ввиду тщательности и точности, с какою производится, она не может быть окончена ранее конца августа месяца. Я совершенно уверен в успехе. Несмотря на множество людей, употребляемых для работ, покупки, заказы, разъезды для них, никто ничего не знает, и слух, пущенный о том, что это фабрика для земледельческих орудий, имел полный успех, не возбудив никакого любопытства. Там находятся теперь полицейский унтер-офицер с шестью солдатами; но через месяц, когда надо будет открыть машину и наполнить газом шар, я днём и ночью буду содержать сильную стражу, чтобы никого ни пропускать. Я подружился с Леппихом, который меня тоже полюбил; а машину его люблю, как моё собственное дитя. Леппих предлагает мне сделать вместе с ним путешествие на ней; но я не могу решиться на это без вашего позволения, хотя повод хорош: ваша слава и спасение Европы»[49]. Через четыре дня он снова уведомлял Государя: «Третьего дня я провёл вечер у Леппиха; он очарован неожиданным открытием: это свёрнутые листы железа, которыми заменяются железные опилки, и это сокращает на 3/4 количество купороса, нужного для газа, и требует для того, чтобы наполнить им шар, вдесятеро меньше времени, чем требовалось прежде. Большая машина будет окончена к 15 августа. Через десять дней он произведёт опыт в небольших размерах с крыльями и, как ограда около того места, где будут соединяться отдельные части, будет готова к тому же времени, то я отправлю туда на всякий случай двух офицеров и 50 солдат, чтобы дневать и ночевать там. Я дам Леппиху также артиллерийского офицера, который бы наполнил ящики разрушительными снарядами (de remplir des caisses de destruction), которые он возьмёт с собою. В конце месяца надо ему составить экипаж из 50 человек. Я полагаю лучше взять для этого солдат с хорошим офицером. Они, прежде нежели отправиться к войскам, могут приобрести навык действовать крыльями. Испрашиваю на это приказаний Вашего Величества. Леппих истратил уже 72 тысячи рублей. Хотя большая часть необ-

ходимых ему вещей оплачены; но на всякий случай я оставил у себя 40 тысяч рублей, которые в общие пожертвования внесли двое купцов Усачёвых, и отдам в них отчёт впоследствии. Нельзя не удивляться деятельности Леппиха: он встаёт первым и ложится спать последним. Рабочие трудятся по 17 часов в день; их уже более ста человек в его мастерской. Теперь рассказывают, что приготовляется лодка, которая будет ходить под водою. Через шесть недель увидят, что она пойдет повыше. Леппих изобрёл пику, которой древко внутри пустое; она шести аршин длины и гораздо легче и сподручнее для действия и прочнее наших казацких. Так как приготовление таких пик незатруднительно, то может быть Ваше Величество прикажете послать для образца вновь образуемым казацким полкам»[50].

Эти выдержки из писем, кажется, достаточны для того, чтобы свидетельствовать, до какой степени граф Ростопчин способен был увлекаться и до какой степени тогдашнее его мнение о Леппихе и его машине было противуположно тому, какое он приписывал себе впоследствии. Очарование продолжалось недолго, и с такою же быстротою и резкостью последовало разочарование. Но в каких отношениях находился граф Ростопчин к Леппиху, когда Император приехал в Москву, оставив Дриссу? Конечно, при личных совещаниях с Императором, он сообщал ему те же самые мнения, какие выражал письменно несколько дней назад. Сохранилось сказание, что Император вместе с бароном Штейном посетил мастерскую Леппиха в селе Воронцове[51]. Его письмо к графу Ростопчину в начале августа, написанное по приезде в Петербург, может служить доказательством, что он надеялся на успех предприятия Леппиха. «Только что Леппих окончит свои приготовления, – писал ему Император, – составьте ему экипаж для лодки из людей надёжных и смышлёных и отправьте нарочного с известием к генералу Кутузову, чтобы предупредить его. Я уже сообщил ему об этом предприятии. Но прошу вас поручить Леппиху наблюдать осторожность при опущении шара в первый раз на землю, чтобы не ошибиться и не попасть в руки неприятелю. Необходимо, чтобы свои движения он соображал с движениями главнокомандующего; поэтому, прежде нежели он начнёт свои действия, необходимо, чтобы он опустился в Главной квартире и переговорил с ним. Скажите ему, чтобы, спустившись на землю, принял предосторожность поднять шар, укрепив его за верёвку; в противном случае, к нему могут собраться любопытные из войск, а между ними могут оказаться и неприятельские шпионы»[52]. Граф Ростопчин, смущённый потерею Смоленска и движением войск к Москве, с нетерпением ожидал окончания работ Леппиха. Отвечая на письмо Императора, он уведомлял

его, что машина будет готова через 15 дней. «Леппих собирает теперь в одно целое её части: тафта уже сшита, и два маленькие шара, которые будут следовать за большим, готовы. Несмотря на то, я собрал от него справки, сколько нужно будет ему времени для того, чтобы уложить все его снасти. Он уверил меня, что ему достаточно для этого трёх дней. Он много тратит денег; ему выдано уже 130.000 руб.; но если бы удалось его предприятие, то можно бы не пожалеть и миллиона. Если придётся вывозить его отсюда, то я отправлю его в Нижний, до Коломны на подводах, а потом водою».

Срок приближался, работы не оканчивались, и Леппих решился сделать опыт с маленьким шаром, который совершенно был готов. В ожидании этого опыта, граф Ростопчин издал своё объявление и уведомил Государя: «Леппих окончил маленький шар, который поднимает пять человек. Завтра будет опыт, о чём я известил город и, чтобы не пугались, заявил, что это делается против неприятеля. Князю Кутузову я писал об этом»[53].

Объявление Московского главнокомандующего, конечно, возбудило любопытство, но прошло около недели в напрасном ожидании. «К заглушению мысли о предстоявшей опасности,— как предполагал С. Н. Глинка,— занимали умы народа сооружением какого-то огромного шара, который, по словам разгульной молвы, поднявшись над войсками Наполеона, польёт огненный дождь, особенно на артиллерию. Шутя или не шутя предлагали мне место на этом огненном шаре. Я отвечал: как первый ратник Московского ополчения, я стану в срочный час в его ряды; но признаюсь откровенно, я не привык ни к чиновничьему возвышению, ни к летанию на воздухе. У меня на высоте закружится голова»[54].

Молва о шаре, конечно, скоро затихла: в это время прогремела Бородинская битва, усиливалось оставление Москвы её жителями, и город наполнялся множеством раненых. Не время было думать о воздушном шаре; а между тем граф Ростопчин не переставал о нём заботиться, пока не убедился в неудаче. «С прискорбием извещаю Ваше Величество о неудаче Леппиха,— писал он Государю.— Он построил шар, на котором должны были находиться пять человек и назначил мне час, когда он должен был подняться. Но вот прошло пять дней, и ничего не готово; вместо десяти часов, как он говорил, в три дня едва он успел наполнить его газом; шар не поднимал и двух человек. Затем последовали бесконечные затруднения. Потребовалось какое-то особенное железо, крылья оказались слабыми. Большая машина не готова и, кажется, надо отказаться от надежды на успех, которого ожидали от этого предприятия. Менее всего конечно можно

пожалеть об истраченных на него деньгах. Леппих – сумасшедший шарлатан, а Алопеус слишком был увлечён своим финским воображением»[55].

После этой неудачи граф Ростопчин отправил Леппиха и Иордана в Петербург, а рабочих и все шары с их принадлежностями в Нижний Новгород.

ПРИЛОЖЕНИЯ К ЧЕТВЕРТОЙ ГЛАВЕ

I. Письмо императрицы Марии Фёдоровны к Ю.А. Нелединскому.

Ce 26 Août 1812.

Savez-vous, mon bon vieux Nélédinsky, que pour la première fois de ma vie je suis fâchée contre vous: j'ai envie de vous gronder et je dois vous dire que vous m'avez causé la peine la plus vive. Le départ des Instituts me déchire déja le coeur. Je dois le croire nécessaire, parce que vous tous l'avez rendu si prompt que vous ne m'avez pas consulté sur aucune des mesures a prendre pour le départ. Mais comment ce peutil que vous, mon bon Nélédinsky, avec la délicatesse de vos sentiments, vous ayez pu souscrire au cruel arrangement de faire partir nos demoiselles de l'Institut de S-te Catherine, toutes filles de gentilshommes, enfin toutes nobles – sur les charettes? Cette mesure étaite désolante déja pour l'Institut d'Alexandre; mais la voir exécutée pour les demoiselles de S-te Catherine, c'est de quoi faire désespérer; aussi je vous avoue, mon bon Nélédinsky, que j'en ai versé des larmes amères. Grand Dieu! Quel spectacle pour la capitale de l'empire que de voir emmener la fleur de la noblesse sur les charettes! Je conçois très bien que dans ce moment d'angoisse chaque particulier a bésoin de son équipage et que la est la raison pourquoi on nous en prête si peu; mais il fallait en louer et a Moscou on peut en trouver tant qu'on veut. M-me de Perette est très coupable de n'avoir pas protesté en forme contre cette mesure, tant comme contre celle du renvoi de tous les maîtres, et vous, mon bon vieux Nélédinsky, vous, chargé de cette partie, vous laissez partir l'Institut sans prêtre, sans inspecteur des études, sans aucun maître, pas même celui des langues étrangères; comment cela a-t-il était possible? Mais enfin, ce qui est fait est fait. Il s'agit de réparer le mal autant que possible. J'écris par ce courrier a m-r Baranof de tâcher de louer des voitures a Wladimir, enfin partout où il peut en trouver; ensuite vous, mon bon vieux Nélédinsky, je vous charge, après avoir dit: виноват, de réparer vos fautes, de soigner de l'envoi de notre excellent prêtre que vous munirez de nos vases sacrées et images (si vous le trouvez nécessaire), ensuite de notre inspecteur

des études, de même que du meilleur de nos maîtres des langues étrangères et d'un de nos bons maîtres d'histoire et de géographie. Je suppose que l'université de Kazan fournira des maîtres d'arithmétique, de grammaire russe, de réthorique; au reste, l'inspecteur une fois arrivé a Kazan, vous avertire s'il faut lui envoyer tel ou tel maître.

Je vous remercie de la voiture que vous avez prêtée a l'Institut; dites a tous ceux qui en ont fait de même que je leur en suis des plus obligées. J'ai vu avec une grande sensibilité les noms de Chovansky comme vous prêtant et du pr. Jousoupof a qui vous le direz bien expressement. Adieu mon bon Nélédinsky; je n'ai pas besoin de vous exprimer ce qui se passe dans mon coeur: les paroles le rendent mal. Cependant soyez persuadé que je suis remplie d'espoir et de confiance dans la bonté divine: ce Dieu de la Russie, que je chéris, respecte et vénère de tout mon coeur, ne nous abandonnera pas. Les temps sont pénibles, mais le bonheur renaîtra, et la gloire de la Russie sera a son comble. Ah, mon bon Nélédinsky, que je serais heureuse, lorsque je saurais de nouveau nos enfants en chemin pour revenir a Moscou! Que je les saurais y arrivés et que celles rendus aux parents se réuniront de nouveau a eux! Informez vous, je vous en prie, de quelle sorte et comment va la petite Snietkof qui a été si malade; dites-moi si les parents quittent Moscou; enfin ayez un oeil protecteur sur les leurs et dites aux parents que je vous ai prié de m'en donner des nouvelles. Adieu, mon bon Nélédinsky. Tous les détails pécuniers vous les trouverez dans ma lettre officielle; celle ci est tracée a quelqu'un auquel je veux beaucoup de bien, quoique je l'ose trouver en défaut; mais je me dis que c'est par trop de zêle. Portez-vous bien et soyez persuadé que je serai a jamais votre bien affectionnée.

Marie.

*Перевод**:

Сего дня, 26 августа 1812 года.

Знаете ли, друг мой Нелединский, впервые в жизни сержусь на вас: у меня желание вас побранить за то, что вы весьма меня огорчили. Уже один только отъезд Институтов разрывает мне сердце. Я должна увериться в его необходимости, потому что вы все совершили его так стремительно, что не посоветовались со мной ни по одной из мер, принимавшихся в связи с отъездом. Но как могло случиться, что вы, мой добрый Нелединский, с той деликатностью чувств, присущей вам, смогли подчиниться жестокому стечению обстоятельств

* Переводы французских текстов в Приложениях к главе 4-й выполнены И. П. Домбровской *(прим. ред.)*.

и отправить наших барышень из Института Св. Екатерины, всех как одна — дворянских дочерей, словом, благородных — на телегах? Мера сия уже и для Александровского Института прискорбна, но видеть это применительно к барышням Св. Екатерины — есть отчего прийти в отчаяние; поэтому признаюсь вам, друг мой, что я об этом пролила горькие слёзы. Великий Боже! Что за зрелище для столицы империи — видеть, как цвет дворянства на телегах увозят! Очень хорошо представляю себе, что в это тревожное время каждый нуждается в своём экипаже и что в этом причина, почему нам их так мало предоставили; ну так следовало их нанять — в Москве-то их сколько угодно. Г-жа де Перетт очень виновата в том, что не протестовала должным образом против этого, в том числе и против того, что были отосланы все учителя, а вы, друг мой Нелединский, тот, на ком собственно и лежит эта обязанность, позволяете Институту уехать без священника, без учебного инспектора, без единого преподавателя, даже без преподавателя иностранных языков — как это стало возможным? Ну что же, что сделано, то сделано. Речь о том, чтобы исправить вред, насколько это возможно. Этой же почтой я пишу г-ну Баранову, с тем, чтобы он попытался нанять экипажи во Владимире, в конце концов, везде, где только сможет их найти; затем вам, друг мой Нелединский, я поручаю после того, как вы скажете: *виноват*,— исправить свои ошибки, позаботиться об отправке нашего милейшего священника, которого вы снабдите нашими священными сосудами и иконами (если сочтёте нужным), затем нашего учебного инспектора, так же, как и лучшего из наших преподавателей иностранных языков и одного из наших хороших учителей истории и географии. Полагаю, что учителями арифметики, русской грамматики, риторики обеспечит Казанский университет; впрочем, инспектор, как только прибудет в Казань, предупредит вас, нужно ли ему посылать того или иного учителя.

Благодарю за экипаж, который вы предоставили Институту; скажите всем, поступившим так же, что я им очень обязана. Весьма тронута, видя имена Хованского в роли дающего и князя Юсупова, которому вы скажете об этом достаточно определённо. Прощайте, друг мой Нелединский; мне нет нужды объяснять вам, что происходит в моём сердце: слова это плохо передают. И всё же будьте уверены, что я полна упования и веры в Божественную милость: тот Бог России, которым я дорожу, которого уважаю и почитаю всем сердцем, нас не оставит. Времена трудные, но счастье возродится, а слава России высоко вознесётся. Ах, друг мой Нелединский, как была бы я счастлива узнать, что наши дети вновь в пути — теперь уже чтобы в Москву

возвратиться! Как бы я хотела знать, что они туда прибыли и что те девочки, которые были отданы родным, воссоединятся с ними снова! Разузнайте, прошу вас, каким образом едет и как самочувствие малышки Снетковой, которая была так больна; скажите мне, покидают ли родные Москву; наконец, как покровитель, не спускайте глаз с их близких и передайте родным, что я вас просила мне о них писать. Прощайте, друг мой Нелединский. Что до подробностей, касающихся денег, вы найдёте их в моём официальном письме; а это набросок для кого-то, кому я желаю много добра, хотя и имею дерзновение уличать его; но я говорю себе, что это – из-за излишнего усердия. Хорошего вам самочувствия и будьте уверены, что остаюсь навсегда любящая вас.

Мария.

II. Ответ Нелединского на предыдущее письмо, списанный с чернового собственноручного подлинника.

Moscou, ce 29 Août 1812.

Madame! Il est une heure après minuit, et dans ce moment je viens de recevoir les ordres suprêmes de V. M. I-le du 26. Dès demain matin je m'occuperai a prendre toutes les informations et toutes les mesures qui pourront servir a les exécuter le plus promptement possible; mais en attendant je profiterai du loisir que la nuit me laisse pour répondre a la lettre très gracieuse de V. M. I-le, lettre où cette âme bienfaisante qui embellit le rang suprême où le Ciel vous a placée se peint dans tout son éclat; mais par laquelle je suis forcé de conclure que Votre Majesté est mal informée de ce qui concerne Moscou depuis la perte de Smolensk. Les circonstances de cette perte ont influé généralement sur tout le monde. On a sû que Smolensk n'a pas été pris, mais abandonné après que l'ennemi en avait été repoussé. Dès ce moment l'idée de trahison a rempli toutes les têtes et avant qu'on ait sû, que le prince Koutousof étaite nommé commandant en chef, tout ce qui ne tenait point au service et avait un équipage a pris le parti de fuir de Moscou, au point que le chemin de Troitza pendant plusieurs jours étaite couvert de voitures qui allaient a la file, comme dans un jour de promenade. Le comte Rostopschin me dit que dans trois jours consécutifs il étaite sorti de Moscou près de 4 milles, tant carosses que calèches. La défiance générale s'est accrue lorsqu'on a vu que sans le moindre combat nos armées intactes, a l'exception de deux corps qui ont été sacrifiés a Smolensk, ces armées, dis-je, ont reculées jusqu'a Wiasma, ce qui fait 160 verstes, dans l'espace de 4 ou 5 jours. Wiasma a été livrée comme Smolensk; on a encore reculé et quoique l'arrivée du pr. Koutousof ait ranimé les espérances, mais la ville était déja abandonée par tout ce qui

ne tenait a rien, avait ou été en état de se procurer des chevaux, dont le loyer, le jour même de la nouvelle de Smolensk, a quadruplé. Dans cet état de choses, quand il a été question de faire partir des Instituts, il ne restait presque plus personne a qui l'on puisse demander des voitures. Faisant profession de parler toujours vrai a V. M. I., je j'oserai l'assurer que dans des circonstances tranquilles et quand la ville était pleine, a peine aurions nous pu trouver a emprunter le nombre de carosses qu'on a prêté dans cette occasion, où ne sachant qu'en faire on a été bien aise de les sauver de pillage avec la certitude de les ravoir un jour. Quant a l'expédient d'en faire louer, il eut été difficile d'y faire consentir les marchands de voiture, vu la difficulté de les faire revenir et même d'y assigné un terme. Les marchands n'auraient voulu donner leurs carosses qu'en vente, et c'eut été un objet de 50 a 60 milles roubles ou davantage: dépense a laquelle il était impossible de songer dans un moment où m-r de Lounin se plaignait constamment de la pénurie dans laquelle se trouvait la caisse de la maison. En un mot, m-me, nous ne pensions qu'a sauver les Instituts et a les éloigner le plutôt possible du danger qui tous les jours augmentait de plus en plus. Le 26, a 110 verstes de Moscou, nous avons eu une bataille où l'ennemi a perdu en tués et blessés entre 40 a 50 milles hommes, notre perte n'est que la moitié, et nous avons gardé le champ de bataille. L'avantage est donc de notre côté. Eh bien, depuis ce temps, dans trois jours, sans nous être battus, nous avons reculés de 75 verstes, et maintenant notre armée n'est qu'a 35 v. de Moscou (затем в черновом письме вырезана часть листка). Sur l'article des maîtres et de l'inspecteur de classes, je n'ai que des pardons a demander a V. M. I-le. Ses bontés habituelles me font espérer qu'elle daignera me l'accorder et excuser en même temps le désordre de ma lettre. Il vient d'une cause qui trouvera, je n'en doute point, grâce a ses yeux. Mon fils, profitant de sa proximité, est venu me voir; il a obtenu un congé seulement de 6 heures, et je vais moi-même le reconduire a son poste.

Перевод:

Москва, сего дня 29 августа 1812 года.

Сударыня! Время – час пополуночи, и только что получил я высочайшие указания Вашего Величества от 26 числа. С завтрашнего утра я займусь тем, что соберу все необходимые сведения и предприниму все те меры, которые смогут пригодиться, чтобы исполнить их как можно скорее; пока же воспользуюсь досугом, который мне предоставляет ночь, дабы ответить на милостивейшее письмо Вашего Императорского Величества, письмо, в котором эта добродетельная душа, украшающая высочайший ранг, Небом Вам определённый, вырисовывается во всём своём блеске, но из которого я также вынужден

заключить, что Ваше Величество не имели верных сведений о том, что касается Москвы со времени потери Смоленска. Обстоятельства этой потери повлияли решительно на всех. Стало известно, что Смоленск взят не был, тем не менее оставлен — после того, как неприятель был отбит. С этого момента мысль о предательстве захватила все умы, и раньше, чем узнали, что князь Кутузов назначен главнокомандующим, все, кто не состоял на службе и имел экипаж, бросились вон из Москвы, так что дорога на Троицу в течение нескольких дней была покрыта вереницей экипажей, словно в день гуляний. Граф Ростопчин сообщил мне, что за три последующих дня из Москвы их ушло около 4 тысяч — и телег, и колясок. Общая растерянность усугубилась, как только узнали, что без единого боя наши войска, не потерпевшие потерь, за исключением двух полков, отданных на жертву под Смоленском, в течение 4–5 дней отступили до Вязьмы, что составляет 160 вёрст. Вязьма была отдана так же, как и Смоленск; отступили ещё, и хотя прибытие князя Кутузова оживило надежды, город уже был покинут теми, кого ничто не удерживало, у кого были лошади или кто смог их нанять, причём стоимость найма в тот день, как было получено известие о Смоленске, подскочила в четыре раза. В этой ситуации, когда встал вопрос об отъезде Институтов, просить экипажи было практически не у кого. Считая долгом всегда говорить правду Вашему Величеству, осмелюсь заверить, что и в спокойных обстоятельствах, когда город ещё никто не покидал, едва ли бы мы смогли отыскать и нанять столько экипажей, сколько мы получили в данных обстоятельствах, когда, не зная, что с ними делать, многие охотно их давали, чтобы спасти от грабежа, при этом сохраняя уверенность, что когда-нибудь их вернут. Что касается экспедитора, посланного их нанять, то ему было трудно заставить торговцев повозок согласиться на это; сложность в том, как их вернуть, а тем более определить, в какой срок. Отдавать свои экипажи в наём торговцы не собирались — только продавать, а ведь это обошлось бы в 50–60 тысяч рублей и более: расход, о котором невозможно было и подумать — и это при том, что г-н Лунин постоянно жаловался на недостаток денег в кассе Института. Одним словом, Государыня, мы помышляли только о спасении Институтов и об их удалении поскорее от опасности, которая день ото дня становилась всё более и более явной. 26-го числа в 110 вёрстах от Москвы произошло сражение, в котором неприятель потерял убитыми и ранеными от 40 до 50 тысяч человек, наши потери вдвое меньше и за нами осталось поле боя. Преимущество всё же на нашей стороне. Так вот, с этого времени, через три дня, не будучи разбиты, мы отступили на 75 вёрст, а нынче наша армия всего в 35 верстах

от Москвы. ...По части преподавателей и учебного инспектора, могу лишь испросить извинения у Вашего Величества, чья обычная доброта позволяет мне надеяться, что я буду удостоен возможности представить сие письмо и одновременно прошу извинить за беспорядок в нём. Это происходит по причине, которая, не сомневаюсь, будет уважена. Мой сын, воспользовавшись тем, что находится поблизости от меня, прибыл меня навестить; он получил разрешение отлучиться всего на 6 часов, и я вскоре лично провожу его к месту службы.

III. Официальное письмо императрицы того же времени.

Юрий Александрович! Я получила с последнею Московскою почтою донесения о сделанном обоими советами распоряжении вследствие предписанных в письме моём к Александру Михайловичу Лунину, от 9-го сего месяца, мер предосторожности по случаю несчастья, и хотя вообще я отдаю полную справедливость деятельности и усердию оказанным в исполнении по моим предначертаниям, я не могла, однако, не заметить действия некоторой торопливости, от чего произошли два положения касательно отправления институтов, которых я не только бы не утвердила, если бы они могли прежде дойти до моего сведения, но одно из них непременно желаю поправить. Я истинно вам признаюсь, что я не знаю, как Совет мог на сии две статьи решиться и вы на то согласились. Как могли во-первых, допустить, чтоб благородных девиц отправить на телегах? Уже довольно мне прискорбно, если необходимость заставила возить на телегах воспитанниц Александровского училища, которые из нижних офицерских, мещанских и подобного состояния детей; а дочерей лучшего дворянства на телегах не могу себе представить без огорчения и, прямо сказать, стыда и даже слёз. Неужели в обширной, изобильной всем Москве, не можно было, если не ссудою, то наймом, достать потребного числа карет? Или Совет мог ли остановиться незначущим на то расходом? Для исправления сего, сколько возможно, я предписала Николаю Ивановичу Баранову нанять кареты, где только на пути найдёт к тому возможность. Как, во-вторых, вы яко попечитель о просвещении сих девиц, позволили отправить их без учителей, даже без духовника и инспектора классов? Я чистосердечно вам скажу, что я сему весьма удивилась и, при других спокойнейших обстоятельствах, я бы вам всем изъявила о том моё сожаление, в чём останавливаюсь, однако, видя усердие ваше в снабжении институтов *собственными* каретами. Но теперь подумать должно только, как исправить сию ошибку. Я просила министра просвещения, чтобы позволил инспектору классов Цветае-

ву, по ведомству его от Московского университета, дать отпуск для следования за институтами в Казань и прилагаю при сём письмо его к попечителю университета по сему предмету, которое прошу вас ему доставить. Вашему же попечению предоставляю достойного нашего священника Екатерининского училища, с согласия Московского викария, епископа Августина, равно как и лучших учителей, т.е. особенно таких, каких нет надежды найти в Казани, как я полагаю, учителя иностранных языков принять опять в службу сих заведений, от которых понапрасну уволены, и всех тех, которых вы выберете, так как и инспектора Цветаева, отправить в Казань вслед за институтами, для продолжения учения по прибытии на место, на каковой конец снабдить их прогонными деньгами из сумм, оставленных в распоряжении главного надзирателя Тутолмина и о том уведомить Александра Михайловича Лунина, дабы он мог дополнить нужные главному надзирателю на другие предметы деньги. Препоручая сие особливому вашему ревностному исполнению, я уверена, что вами со всяким старанием и деятельностию и притом всевозможным сбережением издержек выполнено будет. Я с удовольствием в доставленном от Николая Ивановича Баранова списке особ, ссудивших институты наши экипажами, видела имя ваше, чего хотя от вас и сочленов ваших ожидала, но тем не менее благодарю вас искренно за таковое усердие и прошу вас объявить мою признательность прочим особам, в сём воспоможении участвовавшим, как то князю Николаю Борисовичу Юсупову, княжне Хованской, г-же Анненковой и генерал-майору Шепелеву, и с истинным доброжелательством пребываю впрочем вам всегда благосклонною.

В Таврическом дворце. Мария.
Августа 26 дня, 1812 года.

IV. Рассказ Шнейдера.

В это время я жил на хлебах у купца, торговавшего сукном, Данкварта. Выходя из своей квартиры, я вешал ключ в магазине и возвращаясь, проходя к себе чрез магазин, брал свой ключ. Однажды, в июле месяце, снимая с гвоздя ключ, я увидел, как вошли в магазин двое мужчин, один высокого роста, весьма красивый, белокурый и даже несколько рыжеватый, одетый в штатское платье, но казавшийся военным; другой малорослый, полный и несколько неуклюжий. Первый из них, войдя в магазин, обратился к Данкварту, говоря: «Представляю вам моего друга доктора Шмидта; мы украли из Австрии 40 рабочих, и нам нужно их одеть. Есть ли у вас хорошее серое сукно?»

Это странное заявление обратило моё внимание, и за обедом я спросил моего хозяина, кто этот красивый покупщик. — «Это капитан Фигнер», — отвечал мне Данкварт, сказав, что купленное им сукно и приготовленные потом из него одежды он должен доставить на дачу Репнина.

Будучи 18-тилетним юношей, я удовлетворился ответом и потом забыл о происшествии.

Между тем в Москву приехал император. 15 июля, в день собрания дворянства и купечества в залах Слободского дворца, утром часу в первом, после уроков латинского языка в одном из домов, возвращаясь домой, я вышел на Ордынку, которая была наполнена народом и вдали увидал приближающуюся к нам коляску: это ехал император. Я вышел на средину улицы, чтобы ближе на него посмотреть; когда коляска проезжала мимо, я увидал, что рядом с Государем сидел человек в чёрном фраке и со звездой, в котором я узнал барона Штейна.

Вот почему я узнал в спутнике императора барона Штейна. Перед тем за несколько дней я был у профессора Буле. Входя в его квартиру, я встретил одного неизвестного мне человека. Когда я вошёл к профессору, он мне сказал: «Как жаль, что вы не пришли ко мне несколькими минутами ранее; вы имели бы удовольствие найти у меня нашего знаменитого соотечественника, барона Штейна». Он был его товарищем по университету и потому, приехав в Москву, посетил его.

Это обстоятельство помогло мне сейчас же узнать в спутнике императора барона Штейна. Я поспешил возвратиться в тот дом, где давал уроки, и с балкона в зрительную трубку мы наблюдали, как коляска Государя проехала Калужскую заставу и направилась на дачу Репнина. Тут я припомнил посещение магазина моего хозяина Фигнером и Шмидтом и подумал, что если сам Государь поехал на дачу Репнину, то, вероятно, там приготовляется что-нибудь очень важное.

Когда потом я возвратился домой, за обедом я рассказал об этом хозяевам, и что видел в самой близи императора. Данкварт сказал: «А я едва-едва не столкнулся с ним». Он находился на даче Репнина в то время, когда туда приехал император вместе с бароном Штейном. Затем начался разговор, который возбудил моё любопытство, так что я начал просить Данкварта, чтобы он взял меня с собою, когда поедет на Репнинскую дачу. «Это невозможно, отвечал он на мою просьбу: туда пускают по билетам, а у меня только один билет для меня лично». — «Но возмите меня с собой, как вашего мастерового». — «Да, это можно», — отвечал он мне.

Действительно, через несколько дней я отправился с ним на Репнинскую дачу. Это был праздник; работы не производились, и Леппих

с своими сотрудниками были в саду и упражнялись в стрельбе в цель. Данкварта позвали туда, а я остался в доме, великолепные залы которого были превращены в мастерские и по роскошным паркетам разбросаны были разные материалы и инструменты. Перед окнами на дворе висела раззолочённая гондола и какие-то большие крылья. Дача охранялась стражею, и мы проехали несколько караулов, прежде нежели попали туда. Они пропускали нас по предъявлению билета Данквартом.

Пока мой хозяин находился в саду, а я рассматривал окружавшие меня предметы в доме, ко мне подошёл живой, несколько рябоватый господин и с улыбкою сказал: «Вы слишком любопытны, молодой человек». Я отвечал, что приехал с Данквартом и что я его рабочий. «Рабочий! – заметил он, – а кто каждый день гуляет по Ордынке с Грибоедовым и Паниным? Вы из университета». Я покраснел и смутился до такой степени, что кажется и не нашёлся что отвечать. Моя молодость и смущение вероятно произвели хорошее впечатление на моего собеседника; он улыбаясь сказал мне: «Ну, немец немца не выдаст, только никому ни полслова не говорите о том, что вы здесь были и что услышите». Это был доктор Шеффер, который и рассказал мне, что здесь приготовляется воздушный шар, которого движения посредством крыльев можно направлять по произволу. Он подымет ящики с разрывными снарядами, которые будучи сброшены с высоты на неприятельскую армию, произведут в ней страшное опустошение.

Конечно, военный, которого Шнейдер видел вместе с Леппихом, был не известный Фигнер, находившийся в это время в действующих войсках, а Иордан (фельдъегерский прапорщик), принявший прозвание Фейхнера.

V. Бумаги о Леппихе.
Письмо графа Н. П. Румянцева к Алопеусу.

M-r de Schröder vous dira, m-r, qu'ayant rejoint ici Sa Majesté a travers des boues et des chemins impraticables et par un fort mauvais temps, j'ai gagné en arrivant ici une fluxion épouvantable; mais quelque peine qu'elle me donne, je ne veux pas manquer une si bonne occasion de vous écrire et de vous confier que S. M. est très satisfaite du zèle et de l'intelligence que vous manifestez a son service. Quant a moi, vous savez combien je vous suis gré et quelle opinion je me suis faite de vous.

Je désire que les réponses que vous porte m-r Schröder vous mettent a même de vite terminer l'acquisition importante que vous désirez que S. M. fasse. J'ai toute confiance dans l'utilité de cette acquisitiou, parce que c'est vous qui la proposez. Il serait bien avantageux d'être les premiers

tirer un parti important de cette nouvelle découverte qui peut, il me semble, changer en l'art de la guerre beaucoup de choses.

Je vous envoi une lettre pour le ministre des affaires étrangères du roi, pour le cas, que vous le jugiez nécessaire de constater que votre départ de Stuttgard n'a rien de subit, ni de prompt. Elle me parait sans ce motif tout-fait inutile; aussi dépend-il de vous de la supprimer.

En date de Paris on parle toujours comme si on était prêt a préférer la voie des négociations a celle des armes. J'ai de la peine a croire que l'on médite autre chose que la guerre; mais on se peut que la situation de la France corresponde mal dans le moment a un pareil projet.

Je vous prie de me rappeler au souvenir de m-me Alopeus, d'être persuadé de celui que je conserve a v. ex. et de continuer par conséquant a m'écrire souvent.

J'ai été fort content de m-r Schröder, dont j'avais déja une très bonne opinion.

Nos relations avec la Suède sont très bonnes.

Vilna ce 26 Avril 1812 г.

Перевод:

Г-н Шрёдер скажет вам, сударь, что, встретив Его Величество здесь среди грязи непроходимых дорог и в отвратительнейшую погоду, я по прибытии сюда заполучил ужасное воспаление; но хотя оно и причиняет мне беспокойство, не хочу упустить столь удачную возможность написать вам и поведать, что Его Величество весьма удовлетворён усердием и умом, которые вы выказываете у него на службе. Что до меня, то вы знаете, насколько я вам предан и какое мнение о вас себе составил.

Желаю, чтобы ответы, которые вам представит г-н Шрёдер, дали вам возможность скорее осуществить важное приобретение, ведь вы хотите, чтобы Его Величество это сделал. Я вполне уверен в полезности сего приобретения, потому что предлагаете его именно вы. Было бы весьма выгодно первыми извлечь значительную пользу из этого нового открытия, которое может, мне кажется, обратить на дело войны многие вещи.

Отправляю вам письмо для королевского министра иностранных дел – на случай, если вы посчитаете необходимым засвидетельствовать, что ваш отъезд из Штутгарта не имеет ничего ни внезапного, ни срочного. Без этого повода оно кажется мне совершенно бесполезным, посему от вас зависит, пренебречь ли им.

Начиная с Парижа, все говорят так, как если бы все мы были готовы предпочесть путь переговоров пути оружия. Мне больно думать,

что размышляют над чем-то другим, кроме войны; но, возможно, положение Франции мало соответствует подобному проекту в настоящий момент.

Прошу вас кланяться г-же Алопеус и принять уверения в моём самом высоком к Вашему превосходительству уважении и просить продолжать как обычно часто мне писать.

Я весьма доволен г-ном Шрёдером, мнение о котором у меня и так было очень хорошее.

Наши отношения со Швецией очень хорошие.

Вильна, сего дня, 26 апреля 1812 года.

Вместе с этим частным письмом граф Румянцев отправил к Алопеусу следующую ноту от того же числа:

En expédiant le conseiller de la cour Schröder, a qui v. ex. avait confié ses dépêches en date du 22 Mai (3 Avril), je suis bien aise d'avoir l'honneur a vous dire que l'empereur vous soit un gré particulier de l'empressement que vous avez mis a vous emparer d'une invention qui promet des résultats, aussi importants, dans la vue de la faire tourner au profit du service de Sa M. I.

Pour vour gêner d'autant moins dans l'exécution des mesures a prendre pour faire passer sans délai en Russie le mécanicien Leppich et les ouvriers qui ont déja été employés a la construction du ballon a moitié achevé, l'empereur accorde tout ce que vous proposez a cet égard et s'en remet absolument au zèle dont il vous sait animé pour son service.

Quant au rappel du poste que vous occupez, S. M. I. pense que tout en vous menageant les moyens de vous en obsenter pour le moment et de nous amener vous-même s'il le faut les personnes en question, il sera possible peut-être de vous faire reprendre plus tard vos fonctions auprès d'une cour où vous êtes parvenu a vous consilier le suffrage du roi. En conséquence, je joins ici une lettre de ma part au ministre des relations extérieures par laquelle je lui annonce que l'empereur vous ayant autorisé a faire un voyage aux eaux dont l'usage vous avait été recommandé par les médecins, vous vous absenterez pour quelque temps de votre poste et que vous y retourniez, aussitôt que votre santé vous le permettrait. Il dépendra ensuite de vous d'y retourner effectivement ou de rester ailleurs, si nous apprenons que vous avez été compromis et que votre présence a Stuttgardt peut-être désagreable au roi.

V. ex. trouvera de plus sous ce pli 10 blancs de passeport qui suffiront sans doute au différens individus faire entrer en Russie. Elle disposera de l'un en faveur du ministre, si depuis le départ du m-r Schröder il n'a pas changé d'avis, et vous êtes autorisé lui dire qu'il aura une bonne place en

Russie, s'il persiste a s'y transporter et qu'il peut compter sur la générosité de l'empereur.

Pour ce qui concerne l'argent que vous avez démandé, je n'ai dans ce moment pour vous en munir d'autre moyen que d'angager m. de Stakelberg a prendre a Vienne des lettres de change du montant de la somme nécessaire et de vous transmettre par Schröder. Afin de ne rien abandonner au hazard, je joins encore ici pour tous les cas une lettre a m-r Maurice de Bethmann a Francfort que j'autorise a vous fournir la somme dont il s'agit, et ce sera a lui que v. ex. pourra s'adresser, si des circonstances imprévues mettent le c-te de Stackelberg hors d'état de se procurer les fonds en question.

Перевод:

Отправляя советника Шрёдера, которому Ваше превосходительство доверило донесение от 22 мая (3 апреля), имею честь сообщить Вам, что Государь Вам особо признателен за рвение, которое Вы выказали, заполучив изобретение, обещающее столь важные результаты, с целью обратить его на службу Его Императорского Величества.

Дабы менее всего беспокоить Вас в исполнении мероприятий, необходимых, чтобы безотлагательно переправить в Россию механика Леппиха и рабочих, которые уже были задействованы в строительстве воздушного шара, наполовину завершённого, Государь даёт согласие на всё, что Вы предложите на этот счёт, и совершенно полагается на усердие, которым, как он знает, Вы воодушевлены к его службе.

Что касается отзыва с занимаемого Вами поста, то Его Величество предоставляет Вам право временно оставить его и лично препроводить к нам, если это необходимо, вышеупомянутых особ, а в дальнейшем, по-видимому, намерен вновь возложить на Вас обязанности при дворе, где Вы снискали одобрение короля. Итак, прилагаю к сему послание от моего имени к министру иностранных дел, в котором извещаю его, что поскольку Государь дал Вам разрешение совершить путешествие на воды, пользование которыми Вам было рекомендовано врачами, то Вы на некоторое время оставите свои обязанности, однако вернётесь к ним, как только позволит Ваше здоровье. Далее от Вас будет зависеть, действительно ли Вы вернётесь, или возвращение будет отложено, если нам станет известно, что Вы были скомпрометированы и что Ваше присутствие в Штутгарте может быть неприятно королю.

Ваше превосходительство найдёт также при сём письме 10 бланков паспортов, которые вероятно позволят въехать в Россию различ-

ным особам. В Вашем распоряжении будет один бланк для министра, если со времени отъезда г-на Шрёдера он не передумал, а Вы уполномочены сообщить ему, если он будет настаивать на переезде сюда, что у него будет хорошая должность в России и что он может рассчитывать на великодушие Государя.

Что до денег, которые Вы просили, то не вижу в настоящий момент для Вас иного способа, как только предложить г-ну Штакельбергу получить в Вене вексель на необходимую сумму и Вам его передать через Шрёдера. Дабы не полагаться на волю случая, прилагаю при сём на всякий случай письмо г-ну Морису Бетманну во Франкфурте, которому я поручаю снабдить Вас суммой, о которой идёт речь, и к нему Ваше превосходительство сможет обратиться в случае, если непредвиденные обстоятельства не позволят графу Штакельбергу воспользоваться упомянутым способом.

Донесение Обрезкова Государю от 27 Мая 1812:

Всемилостивый Государь! Всевысочайшее Вашего Императорского Величества повеление чрез фельдъегерского прапорщика Иордана сего 14 Мая имел счастие получить.

Прибывшего с ним механика Леппиха ввёз в Москву под именем доктора Шмидта, его же Иордана под названием Курляндца Фейхнера.

Обще с Леппихом приискал удобное место для производства его работы в 6 верстах от столицы, в нанятой подмосковной, куда он и поместился. На отпущенные ему от меня 8000 руб. заготовляет материалы и приискал часть мастеровых, дабы немедленно приступить к настоящей работе. Ожидаемые же им из чужих краёв мастеровые ещё не прибыли.

Пребывание Леппиха и Иордана в Москве и перемещение в подмосковную не обращают ничьего внимания, ниже любопытства, как о людях, никому здесь незнаемых.

О дальнейших успехах по сему буду иметь счастие В. И. В. всеподданнейше доносить.

На рескрипт Императора от 24 мая 1812 года Обрезков отвечал:

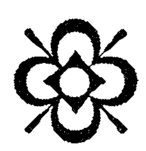
Получив Высочайшее повеление В. И. В. по возложенному поручению на механика Леппиха, в то же время сообщил я лично наедине графу Ростопчину полное сведение по всем бумагам у меня имеющимся, и с объяснением течения самого дела.

Привезённые фельдъегерем Винбергом мастеровые, минуя Москву, препровождены на дачу, Леппихом занятую.

К числу теперь имеющихся у него до 12 мастеровых, нужно ещё 6 человек; за неотысканием таковых в Москве, признали нужным послать для найма оных в Петербург, куда и отправлен для сего фельдъегерский прапорщик Иордан под видом порученностей от военного губернатора графа Ростопчина.

Материалы, нужные к составу работы, приисканы Леппихом в Москве, часть из оных куплена, другие же заказаны и уже приготовляются. По ценам на вещи, купленные и заказанные Леппихом, полагаю, что издержки простираться будут более 100 тысяч рублей. Министр финансов на требование моё о присылке денег отозвался, что об ассигновании оных не имеет повеления. Посему и осмеливаюсь всемилостивейше просить В. И. В. предписания о присылке суммы, дабы за недостатком оной не сделать затруднения Леппиху. Все движения по сему делу производятся с большою осторожностью, и смею надеяться, что истинное дело до самого окончания сохранится в совершенной тайне. Июня 6 дня, 1812 г. в Москве.

Сравни Д. Н. Свербеева, о Московских пожарах 1812 г. (*Вестник Европы*, 1872, кн. 2, с. 303–320).



Глава 5

Высылка иностранцев из Москвы. – Подозрение в измене флигель-адъютантов – поляков. – Барон Левенштерн. – Граф Лезер. – Переписка графа Ростопчина с Александром I и Кутузовым.

«По мере того, как более достаточное народонаселение Москвы,– рассказывает в своих Записках граф Ростопчин,– выезжало из столицы в Ярославль, Владимир, Рязань и Тулу, беспокойство и волнение остающихся выражалось в разных химерах. На этот раз волнение было гораздо сильнее, нежели в 1807 году; но выражалось в таких же явлениях. По городу передавались различные сказки о видениях, о голосах, которые слышались на кладбищах; пророчествовали, толкуя и приспособляя к обстоятельствам некоторые выражения Священного Писания. Нашли в Апокалипсисе предсказание о падении Наполеона и что Северная сторона, которую захочет покорить Запад, будет освобождена избранником Божиим, по имени Михаилом. По счастью, для утешения суеверных, Барклай, Кутузов и Милорадович назывались Михаилами. Даже были споры об этом, и народ говорил: если не Кутузов, то великий князь Михаил Павлович. Ежедневно ко мне являлись некоторые лица с Библиею под мышкою, и тут же объясняли мне с таинственным видом священные изречения и представляли сочинённые ими молитвы. Но вдруг их подозрение в отношении к иностранцам превратилось в ненависть. Два раза составлялось уже предположение перебить их; но трудно было привести это в исполнение, потому что иностранцы жили разбросанно по всему городу. Имевшие такое намерение боялись полиции, которая рассеяла бы всякое сборище. Иностранцы, особенно Французы, купцы, артисты и другие, поселившиеся в Москве, предупреждённые мною чрез их священников, с самого начала войны вели себя весьма благоразумно; но Русский народ никогда не смотрел на них благосклонно, по случаю того привилегированного положения, которым они пользовались в качестве иностранцев, отнимая у него разные выгоды торговли и работ. В одно утро, гражданский губернатор Обрезков объявил мне, что он сделал весьма важное открытие, и привёл ко мне портного, Русского человека, отличного поведения, достаточного, немолодого. Когда увидел

его Обрезков, то заметил, что он расстроен и спросил о причине. Он отвечал, что лишился сна и пищи, что многие из его учеников точно так же больны, как и он, и что единственное средство против этой болезни – кровь Французов. Обрезков показал вид, что одобряет это лекарство и заставил его высказаться. Оказалось, что он уже подговорил человек 300 портных и ещё надеется к завтрашнему дню подговорить несколько сотен, чтобы ночью идти на Кузнецкий мост и перебить всех живущих там Французов. Этот портной и мне повторил все эти подробности. Тогда я отдал его под надзор, и приставил к нему полицейского офицера, чтобы он никуда его не выпускал и объявил, что он будет отвечать за всё, что может случиться в этом роде. Я отправил к нему цирюльника, велел пустить ему кровь, и он остался спокоен. Подговорённые этим хозяином портные, видя, что он задержан, перестали думать о ночной экспедиции, которая бы окончилась страшным кровопролитием и возмущением».

Очевидно, этот хозяин-портной был сумасшедший, быть может, сошедший с ума именно вследствие тогдашних обстоятельств и что его рассказы о сотнях сотоварищей были простым бредом больного воображения; ибо все они остались спокойны, лишь только его взяли под стражу. Конечно, подобного человека нельзя было оставлять на свободе; но граф Ростопчин придал этому случаю весьма важное значение, приняв его за выражение общего настроения народа. «Уверившись в народном раздражении, чтобы его успокоить и смягчить бешенство, я приказал полиции доставить мне список 40 человек-иностранцев, замеченных по некоторым выходкам и дурному поведению. Я приказал их взять и днём, в виду всех, посадить на барку, которая и отвезла их в Нижний Новгород, где они были отданы под надзор. Я объявил Москве, что эти иностранцы – люди подозрительные, которых удаляют по просьбе их же соотечественников, честных людей. Эта мера, вынужденная обстоятельствами, спасла жизнь этим 40 плавателям, потому что вероятно они последовали бы за Французскою армиею и все погибли бы во время её отступления».

С 18 августа и до 22-го, когда этих людей посадили на барку и отправили вниз по Москве-реке, было схвачено полициею 40 человек, большею частью французов и заключено под стражу в доме Лазарева. Конечно, эти захваты, производившиеся открыто, в виду народа, во всякое время дня, должны были волновать его. Толпы любопытных зрителей собирались вокруг дома, в котором были заключены захваченные. Перед вечером, 22 августа, к ним явился полицеймейстер Волков. «Господа, – сказал он им, – я пришёл исполнить неприятную обязанность в отношении к вам. Я исполню её с полным участием

к вашему положению. Но я должен вас предупредить, для вашей же пользы, что офицер, который будет при вас, получил самые строгие предписания. Не ухудшайте вашей участи и не вынудите прибегнуть к строгим мерам». Он провёл их чрез толпы народа, который в большом количестве собрался на набережной Москвы-реки. Молча смотрела толпа на это зрелище, хотя за этим молчанием испуганные французы весьма естественно подозревали грозное недоброжелательство. «Это видимое спокойствие прикрывало сильные страсти», — говорит один из захваченных, считая, однако же, что эти страсти возбуждены умышленно пущенными в народ подстрекателями. Становилось уже темно. Волков первый вошёл на барку и при свете фонаря вызвал по списку, вслед за собою 40 человек невольных путешественников, которым дали потом прочесть следующее заявление: «Французы, ваш император в одном из воззваний к войскам сказал: Французы, вы столько раз говорили, что меня любите; докажите мне это, следуя за мною в страны Гиперборейские, где царствуют зима и отчаяние и где государь открывает свои порты Англичанам, нашим вечным врагам. Французы! Россия дала вам убежище, а вы не переставали замышлять против неё. Чтобы избежать кровопролития, не зачернить страницы нашей истории, не подражать сатанинским бешенствам ваших революционеров, правительство вынуждено вас удалить отсюда. Вы будете жить на берегу Волги, посреди народа мирного и верного своей присяге, который слишком презирает вас, чтобы делать вам вред. Вы на некоторое время оставите Европу и отправитесь в Азию. Перестаньте быть негодяями (mauvais sujets) и сделайтесь хорошими людьми, превратитесь в добрых Русских граждан из Французских, какими вы до сих пор были; будьте спокойны и покорны, или бойтесь ещё большего наказания. Войдите в барку, успокойтесь и не превратите её в барку Харона. Прощайте, добрый путь!»[1]. «Это грозное объявление привело нас в ужас. Глубокое молчание последовало за его прочтением. Волков, смущённый обязанностью объявить нам эту оскорбительную речь, сказал нам потом несколько любезных слов. Потом он простился с нами и сошёл на берег, унося нашу признательность, которую мы навсегда сохраним». По знаку, данному с берега, барка отчалила и поплыла вниз по течению реки, при возгласах толпы: ура! Это заявление прочитано было французам, отправляемым в ссылку не от имени графа Ростопчина; но, кажется, не может подлежать сомнению, что оно им написано и по его приказанию дано им для прочтения. Он не упоминает о нём в своих *Записках* о 1812 годе. Вероятно, впоследствии он понял всё неприличие издеваться над людьми, обречёнными на ссылку и находившимися в полной от него зависимости.

Самолюбие не позволило ему признаться в увлечении, и он обошёл этот эпизод молчанием.

Нельзя также не обратить внимания на то, что начало рассказа противоречит концу: в конце граф Ростопчин говорит, что спас французам жизнь, потому что они *вероятно* последовали бы за армиею Наполеона; в начале же, говоря о сумасшедшем портном, он объясняет, что решился приступить к высылке некоторых французов из Москвы, когда убедился, что народ сильно раздражён против них и тем самым как бы даёт понять, что он хотел их спасти от ярости черни. Так и понимали эту меру современники, хотя и считали её совершенно излишнею. «В это время, *увлекаясь мечтою*, граф придумал,— говорит С.Н. Глинка, вообще одобрявший все меры главнокомандующего,— высылку из Москвы некоторых уроженцев Франции на барке в струи Волжские. В послании к ним он сказал: "взойдите на барку и войдите в самих себя". Это по-французски каламбур или шутка: *entrez* dans la barque et *rentrez* dans vous-même. Но для высылаемых это было не шуткою. *Опасались*, быть может, *что народ*, при вторжении Наполеона в Москву, *посягнёт на них*? Я близок был к народу, я жил с народом на улицах, на площадях, на рынках, везде в Москве и в окрестностях Москвы и живым Богом свидетельствуюсь, что никакая неистовая ненависть не волновала сынов России»[2]. Народ посягал только на тех иностранцев, которых, по их же каким-либо неосторожным поступкам, подозревали в шпионстве. Он ловил их и приводил к главнокомандующему, по его же наставлению.

Но что же это были за Французы, которых граф Ростопчин выпроводил из Москвы? «Для *удовольствия* народа,— писал граф Ростопчин Балашёву,— отобрав 43 человека из самых замеченных по поведению и образу мыслей Французов, наняв до Нижнего Новгорода барку, завтра ночью забрав, отправлю водою, а оттуда в Саратов и далее. Сухим путём отправление в десять раз стоило бы дороже. Расположение народа таково, что ежедневно заставляет меня плакать от радости. Все предосторожности и меры приняты, чтоб невозможно было бить в набат. Это делается исподтишка и, кажется, всё придумано, чтоб спокойствие нарушено не было. Третьего дня был пожар, сгорел один деревянный домишка, в котором жил переплётчик. Народу сбежалось множество, а причина была мысль, что зажжено и чтобы ловить зажигальщиков; но я их успокоил и, всё погася, пошли спать спокойно»[3]. Несколько дней спустя, он писал Балашёву же: «Французов 40 человек, коим при сём прилагаю список, на барке в Саратов отправил. Это выборная каналья из каналий». В их числе были книгопродавец Алларт и типографщик Семен, которых он считал иллюминатами,

14 учителей, 9 торговцев модными товарами, режиссёр Французского театра Арман Домерг и его помощник, балетмейстер; остальные были фабриканты, ремесленники, даже один еврей и трое немцев. Большая часть из них были люди семейные и связанные личными выгодами с Россиею[4]. Путешествие этих изгнанников из Москвы, по Москве-реке, до Коломны, а оттуда по всему течению Оки до Нижнего Новгорода, весьма замечательно, потому что совершилось в то время, когда неприятель занимал Москву, когда все окрестные губернии были взволнованы, и народное ожесточение против врага достигло до высшей степени; а между тем совершилось оно так спокойно, как бы в мирное время. В продолжении трёх дней, когда барка, тихо подвигаясь по извилинам обмелевшей Москвы-реки, удалилась только на 40 вёрст от столицы, — жёны, дочери и родственницы сосланных по нескольку раз приезжали к ним оттуда. «Несмотря на наше постепенное удаление, — говорит один из них, — несмотря на то, что они были француженки и на опасность вверяться Русским кучерам, которых настроение во всяком случае могло внушать подозрения, эти женщины решались несколько раз приезжать к нам. Конечно, неблагоразумно было проезжать страну с народонаселением взволнованным, оставлявшим свои жилища, ввиду приближения Наполеона; но чувство самосохранения уступило место чувству сердечной привязанности: они не могли вдруг оставить нас, не проститься снова, не оказать ещё помощи несчастным старикам, отцам, мужьям. Выезжая на рассвете, эти женщины иногда блуждали по целому дню, пока не находили нашу барку, приезжали к нам вечером и ночью должны были возвращаться в Москву. Наши советы и увещания не могли отклонить их от этого. Каждый раз они привозили съестные припасы, матрацы, одеяла, бельё, меха». Четырём из этих женщин Волков позволил ехать вместе с мужьями. Такие посещения прекратились только тогда, когда барка ушла довольно далеко и когда французы заняли Москву.

Это путешествие продолжалось почти два месяца. Выехав из Москвы 22 августа, иностранцы прибыли в Нижний Новгород 17 октября. По мелководью Москвы-реки в это время года, до Коломны они ехали 8 дней. Один офицер и несколько инвалидов составили их стражу, которая позволяла им выходить на берег, в сопровождении двух инвалидов. «Проходя по улицам Коломны, — говорит Домерг, — мы могли понять, какое кровопролитное было сражение. Все дома были наполнены ранеными: не знали, куда их помещать, а между тем подходили новые обозы». Знавшие русский язык иностранцы разговаривали с ранеными о военных действиях. «Всё шло для нас хорошо в Коломне; наша барка осторожно была причалена к берегу, в полувер-

сте от города и не возбудила внимания. Но после обеда, странность ли наших одежд или некоторые из Московских выходцев, узнавшие нас, обратили на нас внимание народа. Вдруг посыпались на нас брань и даже каменья, и мы едва добрались до нашей плавучей тюрьмы». За Коломной они встретили караван барок с военными запасами и ратниками, которым начальствовал Рязанский губернский предводитель дворянства Измайлов. Завидя их барку, он приехал к ним и, разузнав об их судьбе, оставил их барку при впадении в Оку Москвы-реки. «Его благоразумные советы и ободрения внушили нам уважение к нему». Они останавливались в Рязани и спокойно ходили с своими инвалидами по городу, где не только дома, но и площади и улицы были наполнены ранеными. Повсюду встречались отряды ополчений, в Касимове, в Муроме. «Наша покорность судьбе успокоила подозрения офицера. Грубый в речах и движениях, он обладал, однако же, здравым смыслом, заменявшим ему недостаток и даже совершенное отсутствие образования. Он не смотрел уже на нас, как на ссыльных, которых объявили ему беспокойными и опасными, и не только не отягощал нашей участи излишними строгостями, но напротив, старался облегчить её всеми способами, не нарушавшими его обязанности. Пока мы находились в Московской губернии, страх, который он питал к графу Ростопчину и весьма естественное опасение, чтобы наши соотечественники не освободили нас, возбуждал в нём осторожность; но лишь только он освободился от этих забот, как исчезла его строгость». Он дозволял им выходить на берег для прогулок; они посещали ближние деревни и покупали продовольствие. В заключение, когда барка окончила свой путь, достигнув Нижнего Новгорода, этот офицер попросил их же дать ему свидетельство в том, что они довольны его обращением с ними[5].

Мы остановились на этом путешествии, рассказав его почти вполне словами одного из этих ссыльных, как на явлении весьма важном для объяснения отношений русского простонародья к *безоружным и мирным* французам. Кроме неприятностей в Коломне, не имевшей, однако же, важных последствий, ничего враждебного с этой стороны не встретили путешественники в продолжении двух месяцев.

Но иначе думал граф Ростопчин. «Незадолго до вторжения неприятеля в Москву, "один случай", – рассказывает он в своих *Записках*, – мог испортить всё, что я сделал для поддержания спокойствия в городе. Накануне Бородинской битвы, два ремесленника-немца, говорившие плохо по-русски, вступили в спор с одним менялою и имели глупость ему сказать: "Что вы делаете затруднение? Через несколько дней мы и даром возмём у вас эти деньги". За бранью последовали толчки,

и два немца поплатились бы жизнью за свою безрассудную выходку, если бы не находился близко полицейский офицер, который их защитил, задержал наиболее буйных, и хотел немцев вести ко мне; но народ воспротивился, крича: *наш* граф (так они меня называли) оправдает их, они не будут наказаны; гораздо лучше мы сами накажем шпионов. Полицейский офицер дал знать об этом происшествии обер-полицеймейстеру, который нашёл более надёжным и удобным для себя донести об этом мне. Он застал меня дома, и я немедленно решился отправиться на место сборища толпы. Я всегда принимал за правило, что никогда не следует уступать толпе, потому что в этом случае она сейчас потеряет к вам всякое уважение. Доброта есть слабость в её глазах, и можно сделаться рабом такого господина, который никогда не знает, что он делает и редко – чего он требует. Подъехав к въезду в улицу, которая ведёт к лавкам, где происходила эта ссора, я нашёл её наполненную народом; я остановился и отправился один, сказав обер-полицеймейстеру и находившимся при нём чинам, чтобы они остались на месте. Толпа расступилась передо мною, и я без всяких препятствий подошёл к этому месту, где увидал двух немцев. Они сидели на тротуаре перед лавками и казались сильно помятыми; квартальный офицер стоял перед ними, загораживая их собою. Раздавался крик. Я сделал знак рукою, и всё стихло. Со строгим видом я обратился к толпе и спросил: по какому праву они осмеливаются расправляться сами и душить людей, не умеющих выражаться по-русски? Все молчали и стояли, снявши шапки, как вдруг один молодой человек, мелкий купчик, как видно было по одежде, с решительностью отвечал: "пора народу действовать самому, когда вы отдаёте его в жертву иностранцам!" Так как он находился возле меня, то сильнейшая ему пощёчина была ответом с моей стороны. Он зашатался; а я закричал, чтобы скорее привели мне каменьщика замазать ему извёсткою рот, который осмеливается богохульствовать (que blasphême). Толпа расступилась, и этот купчик убежал. Тогда я приказал квартальному взять извозчика и отвезти немцев в больницу, что и было исполнено без малейших препятствий. Оставшись победителем, я прочёл надлежащее поучение народу, который признался, что был виноват, что не знает, кто были зачинщиками брани и просил меня простить молодого человека, которому я дал пощёчину. Я его простил, заявляя им своё великодушие, и вышел из этих обстоятельств крайне довольный, что так всё кончилось».

Страсть к сценическому искусству ярко выражается в этом рассказе, с любовью начертанном. Но вместе с тем этот рассказ доказывает, до какой степени было легко успокоить взволнованную

толпу, даже накануне почти вторжения неприятеля. Она не только покорилась, когда явился генерал-губернатор; но очевидно не была особенно возбуждена, когда квартальному надзирателю удавалось в продолжении нескольких часов оградить от её нападений неосторожных немцев. Но этот случай, однако же, имел влияние на самого графа Ростопчина, и он решался уже прибегнуть к ещё более строгим мерам против иностранцев. «Иностранцы совсем не умолкают, — писал он к Балашёву, — и ещё вчера один громко проповедывал бунт, предсказывал всё, что сделает здесь Бонапарте и ругал Государя. Так как обстоятельства чрезвычайные, народ озлоблен и недоволен, что иностранных я не жестоко наказываю, то послезавтра сего иностранного я прикажу повесить на Конной за возмущение». Но это письмо было написано 29 августа, а через два дня уже было решено оставление Москвы, и потому казнь не могла состояться[6].

Кроме французов, графа Ростопчина озабочивали в это время и другого рода ссыльные, которых под его надзор прислали в Москву из армии. Во время сражения нашего авангарда при Молевом болоте, 27 июля, были захвачены бумаги генерала Себастьяни. В числе их нашёлся приказ на его имя от Мюрата, в котором он извещал его о движениях русских войск на Рудню. Каким способом мог узнать так своевременно и скоро Неаполитанский король о решении военного совета, бывшего в Смоленске (25 июля)? Впоследствии объяснилось это странное обстоятельство: после военного совета, бывшего в Смоленске, полковник Толь с несколькими генералами продолжал рассуждения о предпринятых движениях на улице, против дома, где стоял флигель-адъютант князь Любомирский. Мать князя находилась в своём имении, в Лядах. Подслушав этот разговор и заботясь о спокойствии матери, он немедленно отправился к нашим аванпостам, находившимся у г. Красного под начальством генерала Оленина и оттуда с своим слугою послал письмо к матери, извещая её об опасности пребывания в Лядах. Письмо пришло в то время, когда в её доме помещалась главная квартира Мюрата, случайно или с намерением попало в его руки и послужило поводом приказа, отданного им начальнику его авангарда генералу Себастьяни[7]. Но в то время, когда этот приказ с другими бумагами захвачен был казаками и дошёл до сведения нашей Главной квартиры, конечно, никто не знал, каким способом мог узнать Мюрат о предположениях наших главнокомандующих. Начались подозрения, которые естественно должны были падать на людей, близких к главнокомандующим и, конечно, не на русских. Более всех подозревали Вольцогена, потому что он был человеком близким и единомышленником генерала Пфуля, которого так еди-

нодушно и с таким презрением ненавидели в наших войсках, а потом, по отъезде Пфуля, Вольцоген остался ближайшим советником при Барклае де Толли. Подозревали его адъютанта и также близкого ему человека, Левенштерна, и Жанбара (Jean-Bart), находившегося при начальнике штаба 2-й армии графе Сен-При. Но главнокомандующий 1-ю армиею напал на мысль, наиболее приближавшуюся к истине. Он, под различными предлогами, немедленно удалил из армии четырёх флигель-адъютантов, графа Браницкого, графа Потоцкого, князя Любомирского и Влодека. Влодек приехал с его письмом в Москву к графу Ростопчину. Сему последнему не было приятно, что главнокомандующий делает Москву местом ссылки и ему поручает надзор над ссыльными. Но, на первый раз, скрыв своё негодование, он холодно и коротко отвечал Барклаю де Толли: «Письмо ваше я имел честь получить и вручителя оного полковника Влодека, под предлогом скорого сюда прибытия Государя Императора, удержал, имея за сношениями его самый крепкий надзор»[8]. Но в то же время в письме к Императору, выражая негодование на образ действий военного министра, он говорит между прочим: «Вследствие подозрения, возбуждённого одним письмом, найденным в бумагах Себастьяни, удалены из войск четверо ваших флигель-адъютантов. Влодек находится здесь в ожидании вашего прибытия, Любомирский в Петербурге, Браницкий и Потоцкий в Гжатске. Они все четверо не могут быть изменниками; зачем же наказывать их таким позорным образом? Почему же не Вольцоген или кто-либо другой сообщил известия неприятелю?»[9].

Высылка из Главной квартиры этих флигель-адъютантов, поляков, не рассеяла подозрений в войсках. Подозрения обращены были не на них, и граф Ростопчин, указывая на Вольцогена, повторял лишь слухи, доходившие до него из армии. А. П. Ермолов, в своих *Записках* о войне 1812 года, рассказывает о следующем разговоре своём с атаманом Платовым, в то время, когда наши армии отступали от Смоленска к Дорогобужу и дневали у деревни Усвятье: «Атаман Платов сказывал мне о показании взятого в плен унтер-офицера польских войск, что будучи у своего полковника на ординарцах, видел он два дни сряду приезжавшего в лагерь Польский под Смоленском нашего офицера в больших серебряных эполетах, который говорил о числе наших войск и весьма невыгодно о наших генералах. Разговорились мы с генералом Платовым о других, не совсем благонадёжных и совершенно бесполезных людях, осаждавших главную квартиру и между прочим о флигель-адъютанте полковнике Вольцогене, к которому замечена была особенная привязанность главнокомандующего. Атаман Платов, в весёлом расположении ума, довольно

смешными в своём роде шутками говорил мне: "Вот, брат, как надобно поступать; дай мысль поручить ему обозрение Французской армии и направь его на меня, а там уже моё дело, как разлучить Немцев. Я дам ему провожатых, которые так покажут ему Французов, что в другой раз он их не увидит". Атаман Платов утверждал, что знает других, достойных равной почести. "Не мешало бы,— сказал он,— если б князь Багратион прислал к нему графа Жанбара, служащего при начальнике Главного штаба, графе Сен-При, в распоряжения которого он много вмешивается". Много посмеявшись с атаманом Платовым, я говорил ему, что есть такие чувствительные люди, которых может оскорбить подобная шутка, и филантропы сии, облекаясь наружностью человеколюбия, сострадания, выставляют себя защитниками прав человека»[10].

В это именно время, когда войска находились у Дорогобужа, барон Вольцоген, отведя в сторону майора Левенштерна, находившегося в качестве адъютанта при главнокомандующем 1-ю армиею и пользовавшегося его расположением, сказав ему: «Знаете ли вы, что вас отправляют нарочным в Москву?» Это известие не могло не поразить молодого офицера, мечтавшего о битвах и славе в то время, когда все ожидали решительного сражения. «Я видел уже подписанные бумаги у генерала Ермолова»,— продолжал Вольцоген. Левенштерн обратился с вопросом к Ермолову. «Я ничего об этом не знаю»,— отвечал тот с улыбкою.— «Как не знаете, генерал, когда уже приготовлены бумаги?» — возразил Левенштерн. «Да, теперь я припоминаю, что вчера в военном совете шла речь о том, чтобы отправить туда кого-нибудь из высокопоставленных офицеров с целью успокоить город, смущённый оставлением Смоленска. Общее мнение указало на вас; вам известны все обстоятельства, и вы так поставлены, что можете верно судить о них». «Если мой выбор решён,— отвечал Левенштерн,— то, конечно, я спорить не могу; но позволю себе просить главнокомандующего не удалять меня из армии, когда ожидается сражение и заменить меня другим офицером, например, молодым графом Ростопчиным».— «Вы можете действовать, как вам угодно»,— отвечал ему по-прежнему улыбаясь Ермолов. Смущённый, дрожащим голосом выразил Левенштерн свою просьбу Барклаю де Толли и выслушал такой ответ: «Вы должны ехать, любезный Левенштерн; бумаги уже готовы; посылка нарочного необходима. Я надеюсь, что вы скоро возвратитесь и полагаю, что в ваше отсутствие ещё не будет дано сражения, так что вы ничего не потеряете. Добрый путь!» Успокоенный надеждою скорого возвращения, Левенштерн немедленно отправился в Москву. «В то время, когда в Москве отыскивали шпионов там,

где их не было, в главной квартире, — говорит в своих *Записках* граф Ростопчин, — открыли измену, но не открыли изменника. Во время движений Барклая около Смоленска, отряд нашей кавалерии захватил коляску генерала Монтобрюна*, и в его бумагах нашлось письмо, сообщавшее о наступательных действиях, которые намеревался предпринять Барклай. Подозревали польских офицеров, находившихся в нашей службе, которые, как флигель-адъютанты, состояли при Главной квартире. Худо принялись за дело или неловко, и потому ничего не открыли. С этого-то времени Барклай придумал посылать в Москву тех офицеров, которых подозревали в войсках. Первым приехал полковник Влодек; я принял его хорошо, часто видал его и никогда не считал способным на измену. Вторым был барон Левенштерн, который предполагал, что послан как курьер и чрезвычайно заботился о том, чтобы поскорее возвратиться к войскам. Но когда я показал ему письмо Барклая, в котором он просил меня задержать его в Москве, потому что, ездив ночью к неприятельским аванпостам, он сделался подозрителен в войсках, он поблагодарил меня за моё учтивое с ним обхождение и объявил, что застрелится, не будучи в силах перенести такого позорного подозрения. Я заметил ему, что, конечно, он властен убить себя, но что такой поступок с его стороны не только не уничтожит подозрений, но напротив подкрепит их. Он был поражён моим замечанием и успокоился; а я обещал ему отправить его в армию, приняв на себя ответственность. Он отчаянно дрался потом при Бородине и два раза был ранен пулею».

Граф Ростопчин, приняв письмо от Левенштерна и пробежав его наскоро, долго беседовал с ним о войсках и их действиях. Он был враждебно расположен к Барклаю де Толли, особенно в это время, когда только что распространилась весть об оставлении Смоленска и отступлении наших войск к Дорогобужу, не доверял основательности его мер в отношении к этим офицерам и сердился, что из Москвы он делает место для их ссылки. Поговорив с Левенштерном, он убедился, что изменником он быть не может, ласково обошёлся с ним, приглашал его обедать, познакомил с своею супругою, которая расспрашивала его о своём сыне. «Я должен признаться вам, — писал он Барклаю де Толли, — что второе препоручение ваше о г-не Левенштерне приводит меня в большое затруднение. В таком близком рас-

---

* Речь здесь снова идёт о командире 2-го кавалерийского корпуса резервной кавалерии Мюрата дивизионном генерале Л.-П. Монбрёне, убитом в ходе Бородинского сражения, которого Ф. В. Ростопчин называет то Малбрюном, то Монтобрюном *(прим. ред.)*.

стоянии от неприятеля и действий военных, всякий офицер должен быть на своём месте. Если вы имеете сомнение в их верности, то должно ссылать далее, а не в столицу. Если же есть доказательства в измене, для чего не расстреливать? Со всем тем я Левенштерна удерживаю под предлогом скорого отправления. Но не отвечаю вам, если он захочет уехать; ибо он не под караулом, и здесь скверных людей довольно»[11]. «Хотя в гостеприимной Москве, — говорит Левенштерн, — повсюду я встречал ласковый приём, но все мои мысли и действия сосредоточивались на доме графа Ростопчина. Поутру я бывал у него, чтобы узнать, какие получены известия из армии, обедал по его приглашению постоянно; вечером, чтобы ему или графине выразить моё желание поскорее возвратиться в главную квартиру. Но граф отвечал уклончиво и со дня на день откладывал моё отправление. Так проходили дни за днями, и моё нетерпение возрастало. В одно утро, перед дверями кабинета графа Ростопчина, я говорил его адъютанту Обрезкову: «Скажите графу, что моему терпению наступил конец; я должен немедленно ехать, потому что не хочу по-пустому тратить здесь время. Моё чувство долга, моя честь, все движения моей души влекут меня на поле брани. То, что захочет граф написать главнокомандующим, он может отправить в главную квартиру с первым попавшимся драгуном. Я не в состоянии более ждать. Я убегу отсюда пешком». Левенштерн с умыслом говорил так громко, чтобы его слова мог слышать в кабинете граф Ростопчин и едва он окончил речь, как растворилась дверь, и граф пригласил его войти в кабинет. «Г. майор, сказал он ему, я могу только хвалить ваше нетерпение; как военный, вы исполнены чувствами чести и долга, соответствующими вашему званию. Мне больно; но я должен вам объявить, что письмо, которое вы мне привезли, было вашим приговором к ссылке. Главнокомандующий пишет мне, чтобы под каким-нибудь предлогом я задержал вас в Москве и надзирал за вами. На вас пало подозрение в войсках... я не договариваю конца. Довольно, я должен задерживать вас. Познакомившись с вами, я убедился, что вы не можете быть изменником, и вы будете оправданы. Но пока считайте мой дом своим и бывайте у меня ежедневно. Если хотите, то напишите письмо Государю; я отправлю его вместе с своим».

Легко себе представить, что испытывал молодой офицер, выслушав это совершенно для него неожиданное объяснение и вспоминая слова Барклая, который успокоил его надеждою скорого возвращения к войскам. Он пытался что-то говорить графу Ростопчину, готов был решиться на самоубийство, но граф прервал его, конечно, бессвязные речи: «Мне не нужно ваших объяснений; дайте мне слово, что

вы не решитесь на безрассудный поступок; успокойтесь, останьтесь в моём кабинете и можете здесь написать письмо»,— сказал граф Ростопчин и вышел из кабинета, оставив там Левенштерна[12].

Неизвестно, что Левенштерн написал Государю в таком расположении духа; но с достоверностью можно сказать, что граф Ростопчин не отправил его письма и поступил весьма благоразумно: Император не знал обстоятельств, которые вынудили главнокомандующего на такую меру и во всяком случае едва ли решился бы отменить её, чтобы не уронить значения его власти. Граф Ростопчин даже не упомянул о Левенштерне ни в одном из своих писем к Государю. Убеждённый в его невинности, очевидно, он решился действовать в его пользу на свой страх и выжидал только благоприятного случая, который не замедлил вскоре представиться: это было назначение нового главнокомандующего, князя Кутузова.

По свидетельству Левенштерна, кроме его и Влодека, в Москве находились также Браницкий и Потоцкий, приехавшие из Гжатска, и Любомирский из Петербурга и, недолго спустя, прибыл из армии граф Лезер, с письмом к графу Ростопчину от Барклая де Толли. Это случилось в тот день, когда Платов тоже был в Москве и останавливался в доме графа Ростопчина (22 августа). «Вечером,— говорит граф в своих *Записках* о 1812 годе,— когда я сошёл вниз, чтобы пить чай, ко мне приехал подполковник нашей службы, барон или граф Лезер с письмом от генерала Барклая. Это опять была одна из подозрительных личностей, которую поручали мне отправить куда-нибудь подалее, внутрь страны. Пока я писал письмо к Оренбургскому гражданскому губернатору, куда отправлял Лезера, он в соседней комнате поссорился с Платовым, который делал ему упрёки за его поведение и спрашивал, известно ли ему приказание на его счёт, которое он дал своим аванпостам,— убить его, когда он там покажется. Я положил конец этой смешной ссоре, объявив графу Лезеру, что под надзором драгунского унтер-офицера он немедленно должен отправиться в Пермь. Он разгорячился и спросил меня: по какому праву я отправляю его туда? Я велел ему прочитать письмо Барклая и чтобы доказать ему, что он действительно поедет туда и что не должен забываться передо мною, я велел адъютанту взять у него шпагу, и через пять минут потом он уже скакал по большой дороге».

Граф Лезер состоял при главном штабе 2-й армии и пользовался расположением начальника этого штаба, графа Сен-При, который впоследствии принимал живое участие в его судьбе[13]. Об этом происшествии рассказывает барон Левенштерн. «Хотя моя совесть,— говорит он,— меня ни в чём не упрекала и в графе Ростопчине я нашёл

благородного и великодушного судью, однако же, моё положение в Москве было чрезвычайно тяжёлое. Обвиняемый и подозреваемый в низком предательстве и в сочувствии с неприятелем! Когда прошла мысль о самоубийстве, часто мне приходило в голову бежать в армию, прибегнуть к Божьему суду и вызвать на дуэль моих обвинителей. Некоторое облегчение моей угнетённой душе доставило прибытие в Москву других, также подозреваемых, как и я. Это были поляки, высокопоставленные, большею частью флигель-адъютанты, хороших семейств. Предполагали, что их удалили от главной квартиры и отдали под наблюдение графа Ростопчина. Это были граф Станислав Потоцкий, граф Браницкий, князь Любомирский и полковник Влодек. Мы утешали друг друга, что предубеждение против нас пройдёт, время объяснит дело, и решились уже спокойно оставаться простыми зрителями. Сама Москва, напряжённая, судорожно содрогавшаяся, уже представляла ежедневно удивительное зрелище. В одно утро, когда я находился в приёмной у графа Ростопчина, вошёл покрытый пылью курьер из армии. Его все окружили, желая узнать о последних происшествиях. Он назвался подполковником графом Лезером, адъютантом князя Багратиона и вошёл с депешами в кабинет графа. Немного прошло времени, как началась беготня, позвали обер-полицеймейстера, сторожей, и этот курьер, в сопровождении драгуна, был отправлен в Пермь. Видел я, как граф Лезер, с поникшею головою, с смущённым взглядом, вышел из кабинета и, сопровождаемый стражею, удалился. Он, так же, как и я сам, привёз свой приговор; но я не знал, почему его судьба была суровее моей: он получил свободу только в 1815 году, по окончании войны». Действительно, несколько дней спустя, утром вбежал к Левенштерну запыхавшийся курьер и пригласил немедленно явиться к главнокомандующему. С весёлым лицом вышел к нему навстречу граф Ростопчин и сказал: «К счастью, ваше дело получило хороший оборот; вам дозволено возвратиться в армию. Я получил оттуда бумагу и спешу известить вас». «Он дружески пожал мне руку, — говорит Левенштерн, — а я от глубины души благодарил его за оказанное мне участие»[14]. Судьба Левенштерна могла быть совершенно такая же, как и судьба графа Лезера, если б граф Ростопчин о нём не позаботился.

Народонаселение было, однако же, действительно взволновано совершившимися происшествиями, и это волнение, хотя вполне мирное, начавшееся после оставления Смоленска, возрастало всё более и более при постепенном приближении воюющих армий к Москве. Получив известие о новом отступлении наших войск к Можайску, по распоряжению уже князя Кутузова, взволнованный граф Ростопчин,

желая предупредить то неприятное впечатление, которое это известие могло произвести на Москву, обнародовал, 20 августа, следующее объявление: «Главная квартира между Гжати и Можайска. Наш авангард под Гжатью; место, нашими войсками занимаемое, есть прекрепкое, и тут светлейший князь намерен дать баталию; теперь мы равны с неприятелем числом войск. Через два дни у нас ещё прибудет 20.000; но наши войска Русские, единого закона, единого царя, защищают церковь Божию, домы, жён, детей и погосты, где лежат отцы наши. Неприятели же дерутся за хлеб, умирают на разбое; если они раз проиграют баталию, то все разбредутся, и поминай как звали».

Вместе с этим объявлением, появилась грамотка к народу, относившаяся к тому происшествию о двух немцах, о котором мы привели рассказ самого графа Ростопчина. «Вы знаете, что я знаю всё, что в Москве делается; а что было вчера, не хорошо, и побранить есть за что. Два Немца пришли деньги менять, а народ их катать; один чуть ли не умер. Вздумали, что будто шпионы, а для этого допросить должно; есть моё дело. А вы знаете, что я не спущу и своему брату Русскому, и что за диковина ста человекам прибить костяного Француза, или в парике окурного Немца? Охота руки марать! И кто на это пускается, тот при случае за себя не постоит. Когда думаете, что шпион, ну! веди ко мне, а не бей и не делай нарекания Русским; войска-то Французские должно закопать, а не шушерам глаза подбивать. Сюда раненых привезено; они лежат в Головинском дворце; я их осмотрел, напоил, накормил и спать положил. Ведь они за вас дрались, не оставьте их; посетите и поговорите. Вы и колодников кормите, а это государевы верные слуги и наши друзья — как им не помочь!»

Волнение Москвы тревожило и князя Кутузова. «Уведомясь, что жители Москвы встревожены разными слухами о военных наших происшествиях,— писал он графу Ростопчину из Главной квартиры у Колоцкого монастыря,— прилагаю здесь для успокоения их письмо на имя вашего сиятельства, которое можете вы приказать напечатать, если почтёте за нужное»[15]. Граф Ростопчин исполнил желание главнокомандующего и немедленно (23 августа) обнародовал следующее его письмо: «С сокрушённым, скорбным сердцем известился я, что увеличенные насчёт действий армий наших слухи, рассеваемые неблагонамеренными людьми, нарушают спокойствие жителей Москвы и доводят их до отчаяния. Я прошу покорнейше ваше сиятельство успокоить и уверить их, что войска наши не достигли ещё этого расслабления и истощения, в каком, может быть, стараются их представить. Напротив того, все воины, не имев ещё доныне генерального сражения, оживляясь свойственным им духом храбрости, ожидают

с последним нетерпением минуты запечатлеть кровью преданность свою к августейшему Престолу и Отечеству. Все движения были доселе направляемы к сей единой цели и к спасению первопрестольного града Москвы. Да благословит Всевышний сии предприятия наши; сие должно быть молением всех сынов России. Прошу ваше сиятельство уверить всех Московских жителей моими сединами, что ещё не было ни одного сражения с передовыми войсками, где бы наши не одерживали поверхности, а что не доходило до главного сражения, то сие зависело от нас, главнокомандующих».

Это письмо, в своё время обнародованное, служит неопровержимым доказательством, в какое отношение ставил себя новый главнокомандующий не только к войскам, но и к своим предшественникам, прежним главнокомандующим. Воздавая должную честь войскам, он просил уверить жителей Москвы *его сединами* в том *только*, что в сражениях с передовыми войсками неприятеля они постоянно действовали с свойственным им мужеством и не были побеждаемы. Что же касается до того, что не было до сего времени решительного сражения, то это зависело, говорит он, от нас, главнокомандующих, которых действия, однако же, клонились постоянно к спасению Москвы. Он не только не отделял себя от своих предшественников и не желал отклонить от себя те укоры, которыми их осыпало общественное мнение; но, покрывая своим значением все их действия, готов был принять их и на себя самого.

Получив известия от князя Кутузова о том, что он избрал уже место, на котором намерен дать решительное сражение, граф Ростопчин обнародовал следующее объявление: «Светлейший князь, чтоб скорее соединиться с войсками, которые идут к нему, перешёл Можайск и стал на крепком месте, где неприятель не вдруг на него подойдёт. К нему отправлено отсюда 48 пушек с снарядами; а светлейший говорит, что Москву до последней капли крови защищать будет и готов хоть в улицах драться. Вы, братцы, не смотрите на то, что присутственные места закрыли дела: прибрать надобно, а мы своим судом с злодеем разберёмся! Когда до чего дойдёт, мне надобно молодцов, и городских, и деревенских. Я клич кликну дня за два; а теперь не надо, я и молчу. Хорошо с топором, недурно с рогатиной, а всего лучше вилы-тройчатки: Француз не тяжелее снопа ржаного. Завтра, после обеда, я поднимаю Иверскую в Екатерининскую гошпиталь, к раненым. Там воду освятим: они скорее выздоровеют; а я теперь здоров; у меня болел глаз, а теперь смотрю в оба».

Заботы о раненых не успокаивали тревоги жителей Москвы, но усиливали её ещё более. Первые обозы с многочисленными ранеными,

начавшие приходить один за другим почти одновременно с известием о Бородинском сражении, усиливали ещё более горячность и волнение москвичей. До того времени являлись также раненые в разных сражениях, бывших до взятия Смоленска, но в количестве незначительном, преимущественно офицеры. Большая же часть раненых размещалась по городам, между Смоленском и Москвою, а особенно в Можайске. Приготовляясь к большому сражению, их начинали перевозить в Москву, чтобы очистить место новым. «Раненые под Смоленском, – говорит граф Ростопчин, – прибывали ко мне ежедневно тысячами. О них слабо заботились. В одно утро, когда я приехал в большой госпиталь, один из докторов просил меня уговорить одного раненого в ногу гренадёра решиться дать отрезать ногу, потому что это было единственное средство спасти его жизнь. Этот гренадёр, которому было 36 лет, с мужественным и красивым лицом, никак ни поддавался моим советам и просьбам. Он мне отвечал: "Почему вы думаете, что я должен остаться жив? Напротив, я должен умереть, потому что мы не спасли Смоленска". Он до такой степени решился умереть, что мои советы не оказали на него никакого действия. Но я поручил это дело священнику, весьма красноречивому, которому, наконец, удалось убедить его. Ему отрезали ногу, и потом я видел его раза два-три, и он начинал выздоравливать». Все вообще жители оказывали раненым всевозможные внимание и пособие. Госпитали в излишестве снабжались всем нужным. «Появлялись ли в гостиных рядах раненые наши офицеры, – говорит С. Н. Глинка, – купцы и сидельцы приветствовали их радушно. Нужно ли было им что-нибудь купить? Им всё предлагали безденежно торопливою рукою и усердным сердцем. "Вы проливаете за нас кровь, – говорили им, – нам грех брать с вас деньги". В сёлах и деревнях отцы, матери и жёны, благословляли сынов и мужей своих на оборону земли Русской. Поступавших в ополчение называли *жертвенниками*, то есть защитниками, пожертвованными Отечеству, не обыкновенным набором, но влечением душевным. *Жертвенники* или ратники, в смурых полукафтанах, с блестящим крестом на шапке, с ружьями и пиками, мелькали по всем улицам и площадям, с мыслью о родине. Тень грусти пробегала на лицах их, но не было отчаяния. Ласка и привет сердечный везде встречали их. И дивно свыкались они с ружьём и с построениями военными»[16]. Но с приездом Кутузова в армию, с приближением Бородинской битвы, кроме раненых уже не показывалось более военных и ратников в Москве: число её жителей убывало беспрестанно и сменялось числом раненых.

Хотя граф Ростопчин ещё не терял надежды, что неприятель не войдёт в Москву, однако же, с половины августа уже перестал

звать туда Императора. Ещё 13 августа, изъявляя удовольствие, что «дамы потеряли голову и уезжают из Москвы», он писал: «Купцы смущены и так мало доверяют главнокомандующим, что полагают, что всё пропало. Москва ожидает вас с нетерпением, и взгляд на вас поддержит бодрость, которая требует поддержки». Но и при этом последнем случае, он счёл нужным прибавить именно такого рода известия, которые, конечно, могли были только отклонить Государя от поездки в Москву, если бы даже он имел это намерение. «Все эти дурные слухи,— продолжает он,— которые имеют целью внушить страх, встревожить вас, обвинить, все происходят от Мартинистов и от Университета, состоящего из профессоров и студентов, отчаянных Якобинцев. Кутузов, который отравляет умы, был во времена императора Павла чиновником тайной полиции. Чеботарёв и сектант Дружинин — злые Якобинцы. Если армии будут испытывать постоянные неудачи, и полиции сделается трудно следить за этими господами, то я прикажу схватить некоторых из них»[17]. А между тем С. Н. Глинка говорит: «Юноши, бывшие в стенах Университета и проходившие в недрах его поприще отечественной истории пылали жаром отечественным... Некоторые из юношей-патриотов приходили ко мне с просьбами, чтобы я содействовал рвению их»[18]

На другой же день после письма, из которого мы привели выписку, граф Ростопчин, мгновенно переменив мнение, уже писал Государю: «Теперь, Государь, я обращусь к самому важному предмету, т. е. к вашей поездке сюда. Не подлежит никакому сомнению, что ваше присутствие ещё более возбудит энтузиазм; но если до вашего прибытия обстоятельства не обратятся в нашу пользу, ваше лицо умножит всеобщее беспокойство, и как вам не следует подвергаться случайностям, то гораздо будет лучше, если вы замедлите ваш отъезд из Петербурга до получения известий, которые бы изменили к лучшему настоящее положение дел. Если Ваше Величество решитесь так поступить, то будьте добры пришлите соответствующий этому рескрипт, в котором, похвалив Москву и её жителей, вы скажете, что впоследствии вы приедете к ним или порадоваться вместе с ними нашим успехам, или разделить их усердие к защите Отечества»[19].

Впоследствии, в своих *Записках* о 1812 годе, граф Ростопчин, как бы желая оправдать эту быструю перемену своих мыслей, вот как объясняет это обстоятельство: «Государь император уезжая мне сказал, а потом и подтвердил письменно, что скоро возвратится опять в Москву; поэтому я осмелился отсоветовать ему эту поездку, представляя ему, что только выигранное сражение, чтобы неприятель принуждён был к отступлению, может спасти Москву от его втор-

жения; что князь Кутузов приближается к ней ежедневно и очень скоро потеряет возможность её защитить. Присутствие императора при таких обстоятельствах было бы неудобно и постановило бы его в положение свидетеля занятия Москвы неприятелем, при неимении средств тому воспрепятствовать. Моего совета послушались, и я полагаю, что и в этом случае я действовал как верный слуга, потому что по-правде следует сказать, что с самого начала этой войны, чем более неприятель подвигался внутрь страны, тем более усиливалась во мне боязнь, чтобы не согласились на мир и одним почерком пера не потеряли доверенности Русских и России. Возможно было предполагать, что если бы император находился при армии, перед Бородинскою битвою или после, то может быть для того, чтобы спасти столицу, он внял бы предложениям неприятеля, который поклялся его погубить, сначала унизив его значение в Европе заключением постыдного мира, а потом возмущениями и разделом собственного государства. Через несколько лет потом он снова пришёл бы кончить своё дело: разделить остатки России и подвергнуть её постыдному жребию Польши, может быть, восстановив удельных князей и раздав области или своим генералам, или некоторым важным Русским, в награду за измену и низость. Хотя по общим понятиям считается верхом бесчестности изменить присяге на верность своему Государю, перейдя в ряды врагов или защищая их выгоды; но человек, который готов резаться с другим за такое подозрение, может сделаться глухим к голосу чести и нарушить свои священные обязанности, когда ослепит его желание корысти. Однако, предполагая все эти события возможными, я всё-таки уверен, что в клочках России Наполеон нашёл бы не одну Испанию. Дворянство скрывало бы свои чувства, духовенство его бы ненавидело, а народ обрёк бы себя на смерть и истребление врага. Этот народ, лучший и мужественнейший во всей вселенной, нашёл бы бесчисленные средства в огромных пространствах им обитаемых, в климате и даже в своей бедности. Можно было достигнуть подчинения некоторой его части, но покорить его было невозможно, и по времени эта война разрушения всё-таки окончилась бы падением могущества Наполеона, и Россия во всей её целости восстала бы из своих развалин».

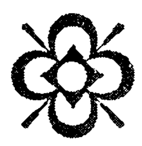
Мы не войдём пока в рассмотрение тех соображений об участи России, которые граф Ростопчин предполагает у Наполеона; но не можем не остановиться на том, что весь приведённый нами рассказ совершенно противоречит действительности и пропитан мыслями и взглядами, которые возникли у графа Ростопчина гораздо позднее 14 августа 1812 года, когда он писал письмо к Государю, из которо-

го мы привели выписку. Из этого рассказа видно нерасположение и недоверие к князю Кутузову, которых он в то время вовсе не имел, да и не мог иметь, как к главнокомандующему войсками, потому что эти письма были писаны ранее приезда князя Кутузова в Царёво-Займище (17 августа) и, следовательно, не он отступал постоянно и вёл за собою неприятеля к Москве. В то время, напротив, Ростопчин имел полное доверие к Кутузову и думал даже, что сражение, которое он намеревался дать неприятелю, увенчается победой. Доказательством может служить его письмо к Императору, писанное в тот день, когда атаман Платов приезжал в Москву: «Государь! Сражение, которое должно произойти через несколько дней, решит отчасти, попадёт ли Москва во власть Бонапарта, или его войска будут уничтожены. Судя по тому, что мне известно, если не встретится каких-нибудь непредвиденных обстоятельств, победа будет на вашей стороне; но если рука Божия отяготеет на вашей империи, столица перейдёт в руки неприятеля. Во всякое другое время надежда не была бы ещё потеряна, но теперь, когда общественное мнение о спасении России соединяется именно с Москвою, её занятие Французами убьёт мужество народа. Народ полагает, что Москва не может быть взята и, в противном случае, он признает это делом Провидения и не станет полагать надежду на помощь войск, которые не успели защитить столицы. Бонапарт идёт, как сумасшедший; он не может отступить. Беспорядок в наших войсках дошёл до последней степени: это последствие двухмесячного отступления и того презрения, в которое впал военный министр»[20]. Очевидно, что в это время всю неудачу кампании, приведшей, наконец, в опасное положение столицу, Ростопчин приписывал Барклаю де Толли и надеялся, что сражение, данное Наполеону князем Кутузовым, увенчается победою. Этот взгляд на дело совершенно противуположен тому, который, вопреки истине, он выразил в своих Записках.

Если чем-либо (кроме личных странных особенностей характера) и можно объяснить такой быстрый переход от одной крайности в другую, то разве мыслью, что могут заключить мир с Наполеоном, ввиду спасения Москвы и — мир, конечно, постыдный для России.

Число оставлявших Москву постоянно увеличивалось. После известия об оставлении Смоленска из Московских застав потянулись вереницы карет и колясок с сопровождавшими их обозами, затем повозок и телег с толпами пешеходов. Одна француженка, находившаяся в это время в Москве, выйдя из дома князя Голицына на Басманной, где она жила, и направляясь (25 августа) к Кремлю, была поражена необыкновенным и трогательным явлением. Проходя по опустелым улицам Москвы, на которых уже изредка можно было встретить проходяще-

го, она услыхала издали доходившее до неё грустное пение. Направившись в ту сторону, откуда оно доносилось, она встретила огромное сборище людей, предводимое священниками, которые несли образа; мущины, женщины, дети, все плакали и пели священные песни. Это зрелище народонаселения, оставляющего родной город и уносящего свою святыню, было поразительно. «Я плакала и молилась вместе с ними и пришла к своим знакомым совершенно расстроенная»[21].



Глава 6

Первые меры князя Кутузова – Барклай де Толли о Платове. – Атаман Платов в Москве. – Ростопчин и Кутузов. – Канун Бородина. – Ростопчин о Бородинской битве. – Раненые. – Московский Сенат. – Размолвка Ростопчина с Кутузовым. – Разговор С. Н. Глинки с Ростопчиным. – Приложение: суждения о Платове.

Князь Кутузов прибыл к войскам, в Царёво-Займище, 17 августа. Они приняли его с таким же восторгом, с каким во всё время его пути от Петербурга повсюду его встречал и провожал народ. За несколько времени до его приезда в войсках разнеслась весть о его назначении главнокомандующим всеми армиями; но главнокомандующие 1-й и 2-й армиями получили рескрипты Императора только 16 августа, накануне приезда князя Кутузова[1]. Несмотря на то, Барклай де Толли продолжал по-прежнему отыскивать позиции, чтобы дать общее сражение, начинал укреплять их и потом оставлял немедленно. В день получения рескриптов возводились укрепления при селе Фёдоровском, в 16-ти вёрстах от Вязьмы к Гжатску. В это время и князь Багратион, негодовавший на Барклая за постоянное отступление и нерешимость, советовал отступать далее. «По моему мнению,— писал он к Барклаю де Толли,— позиция здесь никуда не годится; а что всего хуже,— воды нет. Жаль людей и лошадей. Постараться надо идти в Гжатск: город торговый, и позиции должны быть. Но всего лучше там присоединить Милорадовича и драться уже порядочно. Жаль, что нас завели сюда, и неприятель приблизился. Лучше бы вчера подумать и прямо следовать к Гжатску, нежели быть без воды и без позиции: люди бедные ропщут, что ни пить, ни кашу варить не могут. Мне кажется, не мешкая дальше идти. Арьергард усилить пехотою и кавалериею, и уже далее Гжатска — ни шагу. К тому месту может прибыть *новый главнокомандующий*. Вот моё мнение, впрочем, как вам угодно»[2].

Это было последнее письмо князя Багратиона к главнокомандующему 1-ю армиею, заключавшее длинный ряд неприязненных между ними сношений. В нём выразились вполне как личные свойства Багратиона, так и его взгляд на военные действия. Ввиду общей

пользы, при таких чрезвычайных обстоятельствах, он был готов пожертвовать личными счётами и находиться под начальством младшего сравнительно с ним по службе генерала; но он, как старейший из военачальников, главнокомандующий, опытный в деле военном, не считал нужным ни скрывать своих мнений, ни одобрять распоряжений, которые считал неправильными. Он постоянно советовал, после соединения армий, действовать наступательно; но если уже сила обстоятельств принудила к отступлению, то не тратить времени на остановку на позициях, выбранных наскоро, не истощать сил на постройку укреплений, которые должны немедленно быть оставлены или по неудобству самых позиций, или вследствие сильного напора неприятеля, не дававшего времени укрепить их надлежащим образом. К выражению этой общей мысли присоединялись в это время и особенные поводы: позиция при селе Фёдоровском была неудобна по недостатку воды; а между тем, к войскам приближались уже значительные подкрепления, которые вёл Милорадович. Войска, значительно потерпевшие во время защиты Смоленска, при Валутине в ежедневных почти, иногда упорных, делах арьергарда, во всё продолжение отступления, конечно, нуждались в подкреплениях; а участие в приготовлявшейся решительной битве такого генерала как Милорадович было бы настолько же важно, как и самоё усиление войск новыми подкреплениями.

Советы князя Багратиона оказали действие. Распорядившись отступлением войск к Царёву-Займищу, Барклай де Толли писал Милорадовичу в тот же день, прося ускорить движение его корпуса. «Неприятель, со всеми силами преследующий армию, достигает, наконец, Вязьмы, куда уклонился. Я надеюсь получить сикурсы. Здесь неизбежное сражение, которое определит участь государства; здесь нужны напряжения всех усилий, здесь нужно присутствие ваше и войск, вами одушевляемых. По скорости, с каковою вы подвигли ваши войска, предполагаю, что вы следуете на подводах; ибо иначе пехота пришла бы утомлённою. Что касается до артиллерии, то спешу упредить вас, что столько велико количество её при армиях, что и для войск ваших будет слишком достаточно; а потому извольте всю вашу артиллерию оставить в Можайске для войск, из Москвы прибыть долженствующих. Им она полезна; вам придаётся без неё большая скорость движения». Несмотря на желание главнокомандующего ускорить движение войск Милорадовича, они соединились с армиями только через три дня после того письма. Их вёл *крылатый* Милорадович, как называл его князь Кутузов, и, следовательно, ранее они не могли соединиться. Это обстоятельство и предвидел началь-

ник штаба 1-й армии Ермолов. В тот же день, как и Барклай де Толли, он писал Милорадовичу: «Спешите, почтеннейший Михаил Андреевич, к нам и если войска ваши не приспеют разделить славу нашу, приезжайте вы одни. Я знаю, что вы здесь нужны. Приезжайте, всеми любимый начальник; будьте свидетелем сражения, которому, конечно, равного до сего не будет. Мы будем драться как львы; ибо знаем, что в нас надежда, в нас защита любезного Отечества. Мы можем быть несчастливы; но мы Русские, мы будем уметь умереть, и победа врагам нашим достанется плачевною. Солдаты наши остервенены, ужасны; надобно показаться впереди, и ничто, конечно, устоять не может. Здесь нет почти полка, который бы не служил под вашим начальством. Впереди вас никто не бывает. Покажитесь только — и всё останется истреблённым противустоящее им»[3]. Хотя и трудно было дать решительное сражение неприятелю (который только того и желал), не усилив войск новыми подкреплениями, но приведённые слова Ермолова могут служить подтверждением, что главнокомандующий решился в это время действительно дать сражение, как он сам уверял впоследствии, говоря: «Я твёрдо решился на сём месте дать решительное сражение»[4].

Но прежде, нежели успели эти письма дойти до Милорадовича, он получил уже предписание князя Кутузова: «с войсками его взять позицию по дороге от Москвы к Дорогобужу и в случае, если бы потребовалось ему, к усилению себя войском, Московским ополчением, тогда бы обратился с просьбою к начальнику оного». *Кутузов* по этому поводу писал и к графу Ростопчину, чтобы он, «по требованию Милорадовича, усилил его всеми войсками, которые уже некоторой зрелости в формировании своём достигли, дабы тем главные армии нашли себе новые источники к усилению. «Вашему сиятельству,— писал он,— важность сего предмета столь известна, что я не смею сомневаться в том, чтобы Московское дворянство, явившее толикия доказательства неограниченной своей преданности к общей пользе и начальники ополчения сего не поспешили поставлением сил своих туда, куда нужда их потребует. Сверх того покорнейше прошу ваше сиятельство о состоянии всего Московского округа ополчения и о готовности оного с сим курьером доставить мне обстоятельные сведения»[5].

В тот же день, как были отправлены письма к Милорадовичу, Барклай де Толли, вероятно, соображаясь с советом князя Багратиона, усилил арьергард третьею дивизиею и вторым кавалерийским корпусом под начальством генерала Коновницына. Барклай был недоволен Платовым, который начальствовал до этого време-

ни арьергардом, и не слабости самых его войск, преследуемых всей французскою конницею и корпусом маршала Даву, но его беспечности и нераспорядительности приписывал, что он недовольно сдерживал напор неприятеля, слишком скоро отступал и наводил его на наши армии. Отстранив Платова под предлогом, что Император вызывает его в Москву для свидания с ним и личных переговоров по важным делам, Барклай поручил начальство над арьергардом генералу Коновницыну. «Генерал-лейтенант Коновницын доставлял армии несравненно более спокойствия, – говорит Ермолов, – нежели прежде атаман Платов»[6].

На другой день после всех этих распоряжений, наши войска подошли утром к Царёву-Займищу, где немедленно началась постройка укреплений. Но в тот же день, в 11-м часу утра, князь Кутузов уже приблизился к Гжатску. Вёрст за пять от города его встретили жители, отпрягли лошадей и сами довезли экипаж до назначенного для него дома. В Гжатске он получил письмо от графа Ростопчина, на которое немедленно отвечал ему. К сожалению, это письмо графа Ростопчина, в котором он поздравлял князя Кутузова с назначением в главнокомандующие всеми армиями, не сохранилось. В своих *Записках* он упоминает о нём мимоходом, с явным желанием не придавать ему особого значения, потому, конечно, что выраженное им в этих *Записках* мнение о Кутузове находилось в полном противоречии с тем, которое он сам разделял с Москвою и всею Россией в то время, когда совершалось это событие. «С нарочным я отправил к нему письмо, – говорит он, – в котором ничего не мог лучшего выразить как то, что жители Москвы сочли бы себя весьма счастливыми, если б могли поднести ему лавровый венок, в качестве их избавителя. Я описал ему состояние Москвы, её средства, число оружия в арсенале и пр. Я приложил к письму географические карты каждого уезда Московской губернии. С самого начала войны, я распорядился о приготовлении этих карт. Над этою работою сидели дни и ночи, и наконец, они были готовы. Он отвечал мне самым лестным письмом, требовал присылки Московского ополчения и продовольствия, в котором нуждались войска и, возлагая всё упование на Бога при таком важном назначении, которое получил, изъявлял готовность сделать всё, к чему обязывают его честь, усердие и любовь к Отечеству». Этот ответ князя Кутузова сохранился и даёт возможность определить и содержание письма графа Ростопчина. «Письмо, которым ваше сиятельство меня удостоить изволили, – писал князь Кутузов, – имел я честь получить с чувством признательности, соответственно той искренности, которыми оно наполнено. Надежды, которые вы на

меня полагаете, с помощью Божиею оправдать постараюсь, как всякий Русской; за вас же ручаюсь, что не откажете мне ни в чём том, что до пользы общей касается и от ваших сил зависеть будет. Письмо ваше прибыло со мною в Гжатск сейчас, в одно время, и не видавшись ещё с командовавшим доселе армиями господином Военным Министром и не будучи ещё достаточно известен о всех средствах, в них имеющихся, не могу ещё ничего сказать положительного о будущих предложениях насчёт действий армий. Не решён ещё вопрос: что важнее – потерять ли армию или потерять Москву? По моему мнению, с потерею Москвы соединена потеря России. Теперь я обращаю всё моё внимание на приращение армии и первым усилием для оной будут прибывать войска Милорадовича, около 15 тысяч составляющие. Затем Ираклий Иванович Марков извещает меня, что уже одиннадцать полков военного Московского ополчения выступили к разным пунктам. Для сего надёжного ещё оплота желательно бы было иметь ружья с принадлежностями, и я, усмотрев из ведомостей, вами при отношении ко мне приложенных, что в Московском арсенале есть годных 11.845 ружей и слишком 2000 мушкетов и карабинов, да требующих некоторой починки ружей, мушкетов и штуцеров слишком 18.000, покорно просил бы ваше сиятельство теми средствами, какие вы заблагорассудите, приказать починкою исправить; а я как о сих, так и о первых узнаю от Военного Министра; буде не назначено им какого-либо другого употребления, может быть употреблю на ополчение и вас не умедлю о том уведомить. *Вызов 80 тысяч, сверх ополчения*, вооружающихся добровольно сынов Отечества, есть черта, доказывающая дух Россиянина и доверенность жителей Московских к Начальнику, их оживляющего. Ваше сиятельство, без сомнения, оный поддержите так, чтобы армия в достоверность успехов своих, *могла при случае ими воспользоваться*, и тогда попрошу я ваше сиятельство направить их к Можайску»[7].

Последние строки этого письма не могут не обратить на себя особенного внимания. Из них оказывается, что сверх общего ополчения Московского округа, граф Ростопчин вызывался составить из *добровольно вооружившихся*, конечно, Московских и подмосковных жителей, особое ополчение в количестве весьма значительном, 80-ти тысяч. Это известие, без сомнения, порадовало князя Кутузова, которого, со дня его назначения главнокомандующим всеми армиями, постоянно занимало желание усилить 1-ю и 2-ю армии новыми подкреплениями ввиду предстоявшей им решительной битвы, которой желал Государь и требовало общее мнение всей России. Приведённый нами ответ его на письмо графа Ростопчина доказывает, что он с удовольствием

узнал об этом обстоятельстве и рассчитывал на помощь, которую это новое ополчение могло оказать войскам.

В 3-м часу пополудни князь Кутузов прибыл в Царёво-Займище. Поздоровавшись с приготовленным для него почётным караулом, он как бы про себя сказал: «Как можно отступать с такими молодцами!» Наслышавшись в Петербурге известий о том, что вследствие постоянных отступлений войска потеряли дух, естественно, было новому главнокомандующему, приехавшему с твёрдым намерением дать решительное сражение, действовать всеми способами, чтобы снова поднять дух войск. Об унынии, в котором находились войска в это время, говорят многие свидетели-современники; но «вдруг электрически пробежало по армии известие о прибытии нового главнокомандующего, князя Кутузова. Минута радости была неизъяснима, — говорит один из них, — имя этого полководца произвело всеобщее воскресение духа в войсках, от солдата до генерала. Все, кто мог, полетели навстречу почтенному вождю — принять от него надежду на спасение России. Офицеры весело поздравляли друг друга с счастливою переменою обстоятельств; даже солдаты, шедшие с котлами за водою, по обыкновению вяло и лениво, услышав о приезде любимого полководца, с криком: Ура! побежали к речке, воображая, что уже гонят неприятелей. Тотчас в них проявилась поговорка: приехал Кутузов бить Французов!..»[8].

Пообедав наскоро, новый главнокомандующий немедленно отправился, в сопровождении Барклая, осматривать позицию. Он ехал верхом, в сюртуке без эполет, в белой фуражке, с шарфом через одно плечо и с нагайкою через другое. Солдаты было засуетились, начали чиститься, тянуться, строиться. «Не надо, ничего этого не надо, — сказал им князь Кутузов. — Я приехал только посмотреть, здоровы ли мои дети. Солдату в походе не о щёгольстве думать: ему надо отдыхать после трудов и готовиться к победе». Впоследствии, во время движения войск, заметив, что обоз какого-то генерала мешает проходить полкам, он велел немедленно освободить дорогу, громко говоря: «Солдату в походе каждый шаг дорог; скорей придёт, больше отдыхать будет». Весьма естественно (как и замечает один из очевидцев-свидетелей), такие слова главнокомандующего всё войско исполнили к нему любовью и доверенностью. «Вот приехал наш батюшка, говорили солдаты: он все наши нужды знает. Как не драться при нём! В его глазах все до одного рады головы положить». «Я сейчас видел светлейшего Голенищева-Кутузова, — говорит тот же современник, — сидевшего на простой скамье, подле одной избы. Множество генералов окружали его. Радость войск неописанна; у всех лица сде-

лались светлее, и военные беседы вокруг огней радостнее». «Дымные поля бивуаков начинают оглашаться песнями и музыкой, чего давно не бывало», — прибавляет другой[9].

Храбрый лично в бою, хладнокровно, никогда не теряя присутствия духа, распоряжавшийся при самых опасных оборотах сражений, Барклай был молчалив, нелюдим, малодоступен и никогда почти не говорил с солдатами. Образ действий в этом отношении князя Кутузова был совершенно противоположный, и он не преднамеренно принял его, для отличия от образа действий Барклая. Напротив, он продолжал своё обычное отношение к войскам, находившимся под его начальством, то отношение, которое напоминало им Суворова. Предания об этом вожде ещё жили в войсках; а его сотрудники, князь Багратион, Милорадович и старейший из них князь Кутузов, в лицах представляли то обращение с солдатом, которое соединялось с великим именем Суворова. В войсках, начиная с генералов и до последнего солдата, никто не заблуждался в значении этой войны; сознательно или бессознательно, но все чувствовали грозившую Отечеству опасность. Постоянное отступление усиливало тягость этого чувства. С приезда князя Кутузова это положение дел сразу изменилось; а между тем, в чём же заключалось первое распоряжение нового военачальника? Отступать! И несмотря на то, «что отступление продолжалось, — говорит участник в событиях, — мы думали, что идём навстречу Французов. Так присутствие князя Кутузова воскресило дух во всех войсках». Это понял и оценил новый главнокомандующий. Через день после приезда к войскам, в частном, семейном письме в Петербург, он писал: «Я, слава Богу, здоров и питаю много надежды. Дух в армии чрезвычайный, и хороших генералов весьма много. Право, недосуг»[10].

Причины отступления от Царёва-Займища к Бородину он объяснил подробно в первом своём, по прибытии к войскам, донесении Императору. «Я нашёл, что многие полки от частых сражений весьма истощились, потому что только один вчерашний день прошёл без военных действий. Я принял намерение недостающее число людей пополнить приведёнными вчера генералом Милорадовичем и вперёд прибыть имеющими войсками пехоты 14.587, конницы 1.002 человека, так, чтобы были распределены по полкам, потому что это войско ненадёжно, состоя из рекрутов и имея большой недостаток в штаб и обер-офицерах. Я предпочёл отправить назад штаб-обер- и унтер-офицеров, а барабанщиков и всех рядовых обратить к укомплектованию старых полков, потерпевших в сражениях. Для удобнейшего укомплектования велел я из Гжатска отступить на один марш и, смо-

тря по обстоятельствам, ещё на другой, дабы присоединить к армии на вышеупомянутом основании отправляемых из Москвы в довольном количестве ратников; *к тому же местоположение при Гжатске нашёл я по обозрению моему для сражения весьма невыгодным.* Усилясь таким образом как чрез укомплектование потерпевших войск, так и чрез приобщение к армии некоторых полков, формированных князем Лобановым-Ростовским, и части Московской милиции, в состоянии буду для спасения Москвы отдаться на произвол сражения, которое, однако же, предпринято будет со всеми предосторожностями, которых важность обстоятельств требовать может. Имеющуюся ныне с армиею Смоленскую милицию и часть Московской, в готовность пришедшую, употребить я намерен таким образом, что приобщу их к регулярным войскам, не с тем, чтобы ими оные комплектовать, но чтобы их употреблять можно там было иногда к составлению с пиками третьей шеренги или употреблять их за батальонами малыми резервами для отвода раненых или для сохранения ружей после убитых, для делания редутов и других полевых работ, наипаче замещать нужные места при обозах, дабы уже там ни одного солдата держать нужды не было. При сём должно взять ту предосторожность, чтобы внушить им, что их состояние от того нимало не переменится, что они остаются временными воинами и что всё от Вашего Императорского Величества им обещанное, сохранится свято; сие готов я утвердить им и присягою»[11].

Это донесение, кажется, не оставляет сомнения в том, что неудобство позиции при Царёве-Займище, о которой князь Кутузов мимоходом лишь упоминает в нём, не составляло главной причины к отступлению. Главная его забота состояла в том, чтобы усилить войска приближавшимися уже подкреплениями. Они ещё не подошли в то время, когда он предписал отступление (18 августа). Только на другой день, когда войска прошли Гжатск и расположились лагерем при деревне Ивашкове, к ним присоединились передовые части войск генерала Милорадовича, затем подходили постепенно остальные и Московское ополчение, соединившееся с войсками уже при Бородине, 23 августа[12]. Конечно, недолго спустя, они могли бы подойти и к Царёву-Займищу; но в то время, когда князь Кутузов прибыл туда, Главная квартира Наполеона была уже в Вязьме, а его авангард в 18 вёрстах от нашей позиции. Мог ли Кутузов спокойно ожидать прихода подкреплений, надеяться, что не только успеет достаточно укрепить местоположение, избранное для сражения, но и будет иметь время воспользоваться этими подкреплениями, именно так, как он предполагал? В такой местности, какая, начинаясь почти от самого Смоленска, продолжается до Москвы, нельзя было найти хорошей

позиции; могли оказаться более или менее удобные, но каждая потребовала бы искусственных укреплений. Прибыв к Царёву-Займищу, Барклай де Толли немедленно и приступил к возведению укреплений; но для того, чтобы их окончить, нужны были время и средства; а между тем «в инженерных парках соединённых армий, — говорит Ермолов, — не было достаточно шанцевого инструмента, и все укрепления вообще производились ничтожными способами частных начальников, назначаемых для обороны их»[13]. Но ещё более нужно было времени, чтобы ввести новые подкрепления в состав старых боевых сил. Конечно, не трудно было просто присоединить приходившие подкрепления к войскам; но могли ли оказать они ту пользу, которую оказали, как скоро опытный главнокомандующий влил их в состав войск, уже обдержанных в бою?

Четыре дня войска продолжали отступление, до 22 августа. В продолжении этого времени князь Кутузов образовал свой штаб, назначив, по воле Государя, его начальником барона Беннигсена, дежурным генералом полковника Кайсарова, генерал-майора Вистицкого генерал-квартирмейстером, а занимавшего эту должность полковника Толя причислил к штабу, без определённого назначения. Распределив приведённые Милорадовичем войска по старым полкам, конечно, он не мог не дать им нового начальства, чтобы воспользоваться деятельным участием славившегося во всех войсках генерала. Он поручил ему команду над двумя корпусами, входившими в состав 1-й армии, Багговута и Остермана. Тормасову он писал: «Вы согласиться со мною изволите, что в настоящие критические для России минуты, тогда как неприятель находится в сердце России, в предмет действий ваших не может уже входить защищение и охранение отдалённых наших Польских провинций. Но совокупные силы 3-й и Дунайской армий должны обратиться на отвлечение сил неприятельских, устремлённых противу 1-й и 2-й армий. А посему, собрав к себе все силы генерала Эртеля, у Мозыря находящиеся, и генерала Сакена в Житомире, идти с ними вместе с вашею армиею и действовать на правый фланг неприятеля. За сим адмирал Чичагов, перешедший уже со всею армиею, сего месяца семнадцатого числа, Днестр у Каменца, примет на себя все обязанности, которые доселе в предмет ваших операций входили и, занимая действиями своими ныне вами оставляемые пункты, содержа беспрерывную коммуникацию с вами, операциями своими содействовать должен всеми силами общей цели, о чём я ему с сим пишу».

Спасти Москву, — вот мысль, которая по преимуществу занимала главнокомандующего в это время и к которой направлены были все

его действия. Уведомляя адмирала Чичагова о направлении, которое он предписал армии Тормасова и поручая ему продолжать его действия, он писал: «Прибыв к армиям, нашёл неприятеля в сердце древней России, так сказать, под Москвою, и настоящий мой предмет есть спасение Москвы самой; а потому и не имею нужды изъяснять о том, что сохранение некоторых отдалённых Польских провинций ни в какое сравнение с спасением древней столицы Москвы и самых внутренних губерний не входит». Но для того, чтобы спасти Москву, необходимо было прежде всего дать сражение; от его исхода зависели её судьба и дальнейший способ военных действий; а до того времени оставался неразрешённым вопрос, который и выразил князь Кутузов в ответе на первое письмо графа Ростопчина: потерять ли армию, или потерять Москву? Заботы о приготовлениях к сражению не истощили, однако же, всего его внимания; именно в виду этого нерешённого вопроса, он должен был заботиться о дальнейшем ходе военных действий, как бы сила обстоятельств ни разрешила этот вопрос, или положительно или отрицательно. Ободряя народ к перенесению бедствий войны и поощряя народное восстание, он написал и за своею подписью в печатных листах распространил следующее воззвание к жителям Смоленской губернии: «Достойные Смоленские жители, любезные соотечественники! С живейшим восторгом извещаюсь я отовсюду о беспримерных опытах в верности и преданности вашей к престолу августейшего Монарха нашего и любезнейшему Отечеству. В самых лютейших бедствиях своих показываете вы непоколебимость своего духа. Вы исторгнуты из жилищ ваших, но верою и верностью твёрдые сердца ваши связаны с нами священными, крепчайшими узами единоверия, родства и единого племени. Враг мог разрушить стены ваши, обратить в развалины и пепел имущества, наложить на вас тяжкие оковы; но не мог и не возможет победить сердец ваших. Таковы Россияне! Царство Российское издревле было едина душа и едино тело. Оно всегда подвигалось волею своих Самодержцев и пламенною любовью к ним и к Отечеству своему. Да подкрепит Всевышний многотерпение ваше, любезнейшие и достойнейшие соотечественники! Да услышит моления ваши, да поможет вам свергнуть с себя иго, и да водворит паки во единое семейство мир, тишину, славу и благоденствие, коими доселе мы наслаждались!»[14].

В это же время, с приезда к войскам князя Кутузова и до Бородинской битвы, случилось такое обстоятельство, на которое до сих пор не обращали внимания, но которое едва ли не заслуживает его в высшей степени. Уже было замечено, что накануне приезда его к войскам, Барклай де Толли отнял начальство арьергардом у Платова

и поручил его Коновницыну. Барклай давно был недоволен атаманом. Донские войска, находившиеся под его начальством, по первоначальному расписанию причислялись к составу 1-й армии; но быстрое движение неприятеля по переходе через Неман, разрезавшее обе армии и отбросившее их в противоположные стороны, было причиною того, что атаман Платов не успел соединиться с 1-ю армиею и должен был примкнуть ко 2-й. Его войска находились при ней до самого её соединения с 1-ю армиею под Смоленском. Барклай приписывал это обстоятельство или оплошности, или умышленному расчёту Платова. Едва соединились обе армии, как он писал Императору: «Отдав отчёт о положении дел, позволяю себе обратить ваше внимание, Государь, на предмет не менее важный. Генерал Платов, в качестве начальника регулярных войск, поставлен на слишком высокую степень, не имея достаточно благородства в характере, чтобы соответствовать своему положению. Он эгоист и сделался сибаритом до высшей степени. Действительно, его казаки очень храбры; но под его предводительством не таковы, как бы они должны быть. Его движения для соединения с 1-ю армиею могут служить доказательством. Он делал переходы не более 10 и 15 вёрст в день, не имея в виду неприятеля. Вследствие этого обстоятельства было бы величайшим счастием для войск Вашего Императорского Величества, если бы вы нашли возможным, под каким-нибудь благовидным предлогом, удалить его от них. Таким предлогом можно бы заявить или образование новых войск на Дону, или составление полков на Кавказе. При этом можно бы возвести его в графское достоинство, чего он желает более всего на свете. Его бездеятельность такова, что я должен отряжать к нему моих адъютантов, чтобы кто-нибудь из них находился при нём, или на его аванпостах, для того, чтобы быть уверенным, что мои предписания будут исполнены»[15]. Это требование едва ли могло произвести приятное впечатление на Императора. Ему были известны как храбрость и военные заслуги Платова, так и полная преданность и любовь Донских казаков к своему атаману. Кем же заместить его, удалив из действующих войск? Такой вопрос, вероятно, и не возникал в соображениях главнокомандующего действовавшими войсками. Войска Донских казаков, по спискам военного министерства, считались *иррегулярною* конницею, которая могла исполнять успешно некоторые особенные виды служб в военное время, на аванпостах, при преследовании неприятеля, тревожить его неожиданными нападениями и т. п. Донские полки были бы причислены к обеим армиям и назначались бы, по мере надобности в арьергард и другие отряды, действовавшие отдельно. Однако Император не мог не обратить внимания на самостоятельное

значение войска Донского, как военной силы особой *земли*, которого единство и выражалось в войсковом атамане. Но облекши полновластием главнокомандующего в отношении к военным распоряжениям, он счёл нужным исполнить его желание. «Что касается до атамана Платова, — писал Государь, — то, исполняя ваше желание, я отзову его для личного со мною свидания в Москву под предлогом составления новых полков на Дону»[16]. Получив эти строки, главнокомандующий писал Государю: «По высочайшей Вашего Императорского Величества воле, атаман войска Донского, генерал от кавалерии Платов отправляется в С.-Петербург. Расставшись с ним, как с одним из благонадёжнейших помощников моих, я не могу умолчать перед вами, Государь, о тех новых в славе и пользе Отечества подвигах, кои, во всё продолжение настоящей кампании, являл он на каждом шагу. Его примерная храбрость, благоразумные распоряжения и отличное в военных делах искусство обеспечивали все движения наши, удерживали превосходнейшего силами неприятеля и тем успокаивали целые армии. Я не могу определить цены заслуг его, но приемлю смелость всеподданнейше донести, что они по всей истине достойны тех отличных воздаяний, коими от монарших Вашего Величества щедрот украшаются блестящие доблестями среди верных слуг ваших и бесстрашных защитников Отечества»[17]. Трудно придумать более похвал заслугам Платова, какие выражены в этом официальном письме к Государю; но ещё труднее определить значение этого письма в отношении к вышеприведённой выписке из письма частного и откровенного. Предполагал ли Барклай этою официальною бумагою доставить Государю повод, чтобы даровать Платову награду, которой для него испрашивал? Но какая цель награды? Если бы она и могла примирить Платова с удалением его из действующей армии, то что могло бы примирить общее мнение с удалением генерала, пользовавшегося весьма большею известностью во всей России, во всех слоях общества, и это в самое важное время, накануне, так сказать, решительной битвы?

Хотя Барклай 14 августа известил Императора о поездке атамана Платова в Петербург, но до 16 августа Платов ещё начальствовал авангардом и мог предпринять поездку лишь по прибытии к войскам князя Кутузова. Действительно, через три дня он поехал из армии, но не в Петербург, а в Москву, пробыл там один только день, возвратился назад и участвовал в Бородинском сражении. Граф Ростопчин писал к Государю 23 августа: «Платов приехал вчера утром, предполагая, что вас встретит здесь. Сегодня вечером он уехал обратно к войскам. Народ, узнав, что он остановился у меня, собрался в большом количестве, желая его видеть. Он сообщил известия о состоянии войск,

и толпа разошлась чрезвычайно довольная Платовым»[18]. Впоследствии граф Ростопчин писал в своих *Записках*: "Проснувшись 22 августа, я узнал, что приехал атаман Платов и остановился у меня. Он мне сказал, что приехал в Москву с целью удобнее отправить свои приказания, чтобы казаки составили поголовное ополчение. К нему приезжали курьеры, и он нескольких отправил, и после обеда выходил к купцам и народу, который во множестве собрался, чтобы его видеть. Он рассказывал им разные сказки, объявлял, что он уверен в победе, на основании своих познаний в астрологии, что он приехал помолиться Московским угодникам* и что в тот же вечер он уедет назад к войскам. Эти люди считали его колдуном (nécromancien) и высоко ценили его дарования и храбрость. Они называли его истинным Русским (le vrai patriote patriotique)". Свидетельство графа Ростопчина показывает, какою народною известностью пользовался атаман Платов.

Зачем же он приезжал в Москву? В современном письме Государю граф Ростопчин писал, что для свидания с ним: Платов предполагал, что найдёт императора в Москве. Действительно, молва как в Москве, так и в войсках, таким образом объясняла его поездку. Но мог ли предполагать это сам Платов? Прибывший из Петербурга князь Кутузов и все его окружавшие могли сказать ему, что Государь поехал в Финляндию для свидания в Або с наследным Шведским принцем, и время его возвращения едва ли могло быть кому-либо известно. Он возвратился в Петербург именно в тот день 21 августа, когда Платов из армии поехал в Москву и, конечно, не имел в виду найти его в ней. Из Москвы Платов отправил на Дон, именно 22 августа; предложение Войсковой Канцелярии, в котором писал: «Теперь я, по высочайшей всемилостивейшего Государя императора воле, прибыл в Москву для получения личных приказаний Его Императорского Величества; но, не имея счастья получить высочайшего его присутствия здесь, объяснился обо всём подробно, в рассуждении ополчения войска нашего, с главнокомандующим в Москве, г. действительным тайным советником и кавалером графом Ростопчиным. Я отправляюсь поспешно сего вечера в армию; а сего нарочного отправил с сим решительным уже предложением моим Войсковой Канцелярии и особенным предписанием войсковому наказному атаману г. генерал-майору Денисову 6-му».

Эти слова подтверждают рассказ графа Ростопчина в его поздней-

---

* Граф Платов — единственный пример старообрядца высокочиновного. В эту бытность в Москве (как слышано нами от людей старых) он успел помолиться на своём Рогожском кладбище *(прим. П. И. Бартенева).*

ших *Записках* о цели приезда в Москву атамана Платова, именно для отправления предписаний на Дон. Манифест 6 июля, обращённый ко всей России, «ко всем сословиям и состояниям» и приглашавший их единодушием и общим восстанием противодействовать грозному неприятелю, конечно, был понят и на Дону как призыв к общему ополчению. Получив его, наказной атаман и Войсковая Канцелярия приняли немедленно все приготовительные меры для того, чтобы по получении предписания это ополчение немедленно могло быть составлено и двинуто к действующим войскам. В конце июля Войсковая Канцелярия и наказной атаман уведомили Платова о сделанных ими распоряжениях; но вслед за тем на Дону был получен манифест 18 июля, которым призыв к народному ополчению ограничен только 17-ю губерниями и не распространялся на землю войска Донского, и, конечно, не мог быть впоследствии распространён иначе, как новым манифестом Императора. После этого, отношения Войсковой Канцелярии и наказного атамана, полученные Платовым в первых числах августа, оставались без дальнейших последствий. Но предложение в Войсковую Канцелярию, 22 августа из Москвы, и было ответом на эти отношения. «Отношения Войсковой Канцелярии от 23 прошлого июля чрез нарочного я получил,— писал Платов.— Все сделанное ею распоряжение, из ревностнейшего усердия и верноподданнической верности, к ополчению всего войска нашего, на защиту Отечества и августейшего Престола, противу нашествия злоковарного врага, подтверждаю, одобряю и приношу за оное благодарность мою». Вместе с тем Платов предписывал, «чтобы все наряженные из войска служилые, отставные чиновники и казаки, и словом, согласно вышеупомянутому отношению Войсковой Канцелярии, все приготовленные к ополчению, при тех самых господах генералах и полковниках, кои назначены, высланы были по получении сего в 24 часа в поход, кроме 17-ти и 18-тилетних выростков, которых не посылать; ибо они по молодости лет своих будут составлять один только счёт; а при том надобно, чтобы они оставались в домах, сколько для отбытия по внутренности войска повинностей, столько и для надзора за имуществом; положить же в число выступающих в поход только девятнадцати и двадцатилетних выростков. Всему наряженному войску следовать прямейшими дорогами к Москве, форсированно, без роздыхов, делая переходы не менее шестидесяти вёрст в сутки. А приближась к Москве, разведывать о месте нахождении армии и идти для соединения к оной; а мне заблаговременно с нарочными доносить, для надлежащих распоряжений. Тех же команд, которые наряжены из войска, по посланному пред сим с нарочным повелению моему, к наказному войсковому

атаману от 26 числа прошлого июля, не останавливать, а должны они следовать. Я для отыскания оных отправил отсюда нарочного и приказал им идти форсированно, без роздыхов, к Москве, коему дал о том, всем тем генералам, кои от войска отряжены, и открытое повеление моё; но нужным нахожу, чтобы подтверждено было о том им же и от наказного войскового атамана, которому также о том предписано: ибо я сейчас получил сведение от прибывшего сюда с Дону войскового старшины Конькова, что из Хоперского начальства таковые команды уже выступили. Я в полной уверенности, что Войсковая Канцелярия, общим содействием с г. войсковым наказным атаманом, употребит все средства к самопоспешнейшему выкомандированию из войска в поход приготовленных к тому чиновников и казаков, тем более, что войско Донское, пользовавшись издревле высокомонаршими милостями августейших монархов своих, особенно ныне царствующего всемилостивейшего Государя Императора, обязано верноподданническим долгом и данною пред Богом Государю и Отечеству присягою жертвовать всеми силами, для защиты любезнейшего Отечества и августейшего Престола противу нашествия злоковарного врага, нарушающего общее спокойствие»[19].

Изложенные свидетельства, кажется, естественно приводят к таким заключениям: 1) что атаман Платов в такое важное время, когда войска готовились к решительному сражению, не мог уехать от них без ведома и дозволения главнокомандующего, хотя бы и на такое короткое время, какое он пробыл в Москве; 2) что, предпринимая такую важную меру, не мог он распоряжаться без согласия и одобрения князя Кутузова: мог ли он скрыть свои от него намерения, когда счёл возможным сообщить о них графу Ростопчину?; 3) что это распоряжение сделано без ведома Государя: в противном случае последовал бы манифест, или, по крайней мере, в предложении Войсковой Канцелярии Платов предписал бы его как Высочайшее повеление. Это предположение подтверждается и тем обстоятельством, что в современном донесении Государю граф Ростопчин умалчивает о действительной цели приезда Платова в Москву, а объясняет его ходившею молвою, будто он приезжал переговорить с Государем, в предположении найти его в Москве.

Чтобы оценить значение этой меры, указывающей на дальновидные соображения князя Кутузова, стоит лишь припомнить, какую важную услугу России оказали казаки во время преследования бежавшего неприятеля после оставления Москвы и до самого Немана[20]. Поездка атамана Платова в Москву с тою целью, чтобы сделать распоряжение о Донском ополчении, показывает, что князь Кутузов

желал сохранить оное в глубокой тайне. Если бы это распоряжение сделано было из Главной квартиры, то он мог опасаться, и не без причины, что оно могло бы огласиться повсюду, прежде нежели успели бы привести его в исполнение. То обстоятельство, что атаман Платов нашёл возможным открыться графу Ростопчину, доказывает, что Кутузов имел к нему полную доверенность в это время. Такую же доверенность и граф Ростопчин питал к главнокомандующему. В тот же день, когда он извещал Императора о приезде Платова в Москву, он писал министру полиции Балашёву: «Я в самых тесных и частых сношениях с князем Кутузовым и теперь занят приготовлением сухарей для армии. Отправления сделались невозможными по причине разъезда ямщиков и страха ехать к войскам без возврата, ибо подводы там задерживаются. На дороге, позади армии, произошли большие беспорядки от провожающих раненых, самых раненых и обозов. Для прекращения беспокойства жителей, я расставил по всем дорогам, взяв 20-вёрстное расстояние от Москвы, роты формирующихся здесь полков. Все жители столицы измучены ожиданием сражения, которое на сих днях должно быть в той позиции, которую занял князь Кутузов впереди Можайска»[21].

Мародёрство (появившееся в наших армиях от постоянного отступления, уронившего дух войск, и особенно от недостатка в продовольствии), до тех пор ещё весьма незначительное, грозило в это время развиться до обширных размеров. На другой день по своём прибытии князь Кутузов объявлял войскам, что «сегодня в самое короткое время поймано разбредшихся до 2000 нижних чинов. Сие сделано не старанием начальников, но помощью воинской полиции. Такое *непомерное* число отлучившихся от своих команд солдат, во избежание службы, доказывает *необыкновенное* ослабление надзора господ полковых начальников. Привычка к мародёрству, сею слабостью начальства возымев действие своё на мораль солдата, обратилась ему почти в обыкновение, которое искоренить должны самые строгие меры»[22]. Кутузов действительно принимал все меры, чтобы прекратить развитие этого зла, и оно прекратилось только вследствие его забот и принятых им мер к снабжению войск достаточным количеством продовольствия и благодаря тому нравственному влиянию, которое он производил на войска. Перевозка и препровождение пленных пешком точно так же совершались беспорядочно и потому, конечно, могли вести к беспорядкам.

Заботы об этих предметах и стремление усилить войска подкреплениями выразились в переписке князя Кутузова с Московским главнокомандующим. В ответе на приведённое выше письмо князя Кутузо-

ва из Гжатска, граф Ростопчин писал ему: «Почтенное письмо вашей светлости, из Гжати, вчерашнего числа, я получил и на оное имею честь отвечать, что починка ружей и пистолетов в арсенале постоянно продолжается под присмотром самодеятельного полковника Курдюмова. Из числа Австрийских и Английских ружей я отпустил для вооружения Московской военной силы 7200 ружей, кои доставлены и розданы. Отпуск вина в Вязьму, по требованию военного министра и по моему назначению, остановился, за неимением подвод; но если нужда потребует, то я нарядом могу отправить, не взирая на сообщение, ко мне министра финансов, который пользу двух Жидов, Переца и Стиглица предпочитает продовольствию войск, кои должны или спасти Отечество или лечь под Москвою. Вопрос, что лучше: спасти сей город или армию, по моему мнению, не подвержен ни малейшему сомнению. Армии собраны были и выведены для защиты пределов наших, потом должны были защищать Смоленск, а теперь спасти Москвою Россию и Государя. Каждый теперь из русских полагает всю силу в столице и справедливо почитает её оплотом царства. Но с её впадением в руки злодея, цепь, связующая все мнения и укреплённая к престолу государей наших, разорвётся, и общее мнение, разделясь на части, останется бездейственно. Народ Русский есть самый благонамеренный; но кто может за него отвечать тогда, когда древняя столица сделается местопребыванием сильного, хитрого и счастливого неприятеля рода человеческого? Волга течёт 120 вёрст отсюда, Ока 100, и все сношения с северным и полуденным краем России пресекутся. Какого повиновения и ревности ожидать в губерниях, когда злодей издавать будет свои манифесты в Москве? Каким опасностям подвержен будет император, или в недоумении о месте своего пребывания, или доведённый до крайности принять в защиту себе отдаление в дальние края своей империи? Я не могу себе представить, чтобы была возможность подумать о мире. Для спокойствия Бонапартова погибель России потребна, и я вам скажу, что я писал и говорил Государю, что из его подданных сумасшедший или изменник может полагать прекращение сей последней со стороны нашей войны возможным иначе, как истреблением неприятеля. Если Провидению угодно, чтобы Россия пала, то падём мы все, но с честью, и я первый почту тогда за милость Божию, если принесу в жертву жизнь мою Отечеству и не увижу посрамления его. Вот, князь, мои мысли; потому располагайте мною и Москвою. Она к вам преисполнена доверенностью и возлагает надежды на успехи ваши, я же с истинным почтением и пр.»[23].

Хотя в письме, на которое граф Ростопчин отвечает, князь Кутузов и выразил своё *мнение*, что с *потерею* Москвы соединена поте-

ря России; но в то же время он положительно сказал, что вопрос: потерять ли армию или потерять Москву? – ещё не решён. Конечно, в глазах опытного вождя решение этого вопроса зависело от числительной силы русских войск в сравнении с неприятельскими и от тех подкреплений, которые своевременно могли прибыть к нашим армиям. Этих обстоятельств, не прибывши к армии и не ознакомившись с действительным её состоянием, князь Кутузов, конечно, и знать не мог; потому и необходимо возникал пред ним тот роковой вопрос, хотя, очевидно, его цель заключалась в том, чтобы отстоять Москву.

Для графа Ростопчина не существовало, по его тогдашнему воззрению, даже самого вопроса и, выраженный князем Кутузовым, он смутил его. Вслед за отправлением приведённого нами письма, он получил известия из Гжатска о беспорядках, произведённых там нашими войсками и в тот же день написал второе письмо к князю Кутузову: «Два приехавшие из Гжати сейчас уверяли меня, что обоз наш грабит город и что армия в движении его оставит и отступает к Можайску. Не зная ни предложений вашей светлости, ни точной безопасности столицы, мне вверенной, отправляю нарочного к вам, чтобы ответом вашим решиться на отправление важных предметов, здесь находящихся. Извольте мне сказать: твёрдое ли вы имеете намерение удерживать ход неприятеля на Москву и защищать город сей? Посему я приму все меры: или, вооружа всех, драться до последней минуты, или, когда вы займётесь спасением армии, я займусь спасением жителей и со всем, что есть военного, направлюсь к вам на соединение. Ваш ответ решит меня, и я по смыслу его действовать буду: с вами пред Москвою или один в Москве»[24].

Сравнивая эти два письма, писанные в один и тот же день графом Ростопчиным, нельзя не заметить одного и того же настроения духа, но в разных степенях. Поставленный князем Кутузовым вопрос, спасать ли армию или Москву, при тех обстоятельствах, когда в его руках находилась участь Отечества, уже взволновал графа Ростопчина. В таком настроении духа, он получил известие о новом отступлении наших войск, т.е. о продолжении того же образа действий, которому следовал предшественник князя Кутузова. Считая такой образ действий гибельным для России, Ростопчин не только поверил частным вестям о том, что наш обоз грабит г. Гжатск, но даже послал решительный вызов князю Кутузову, побуждая его окончательно выразить ему свои предположения о будущих действиях и грозя, в противном случае, что он отделит своё дело от общего дела Отечества и будет действовать не *вместе* с ним, а *один* – в Москве. Нет нужды говорить, какое впечатление могло произвести это письмо на князя Кутузова,

в самое тяжёлое и величественное время его жизни, когда всего нужнее было поддерживать общее и дружное действие всех сил России против грозного и опасного неприятеля. Конечно, в этом случае сам граф Ростопчин дал ему понять, с кем, в его лице, он имеет дело и вынудил действовать осторожно и недоверчиво. Если бы даже он и предполагал в это время оставить Москву в жертву неприятелю, то и тогда он не мог бы заявить об этом её главнокомандующему. В ответ на это письмо Кутузов написал к нему лишь несколько строк: «Я приближаюсь к Можайску, чтобы усилиться и там дать сражение. Ваши мысли о сохранении Москвы здравы и необходимо представляются; помогите, ради Бога, в продовольствии: я нашёл его в тесном состоянии. В Москве моя дочь Толстая и 8 внучат; смею поручить их вашему призрению»[25].

Находясь в непрерывной переписке с графом Ростопчиным, князь Кутузов более всего просит его содействия в отношении снабжения войск продовольствием, починкою старых ружей и пистолетов для вооружения ополчений, доставлением шанцовых инструментов, артиллерийских зарядов и устройством правильного доставления всего этого на постоянно нанятых подводах. Его письма, ежедневно, одно за другим, иногда по два и по три в один день, прибывали к графу Ростопчину от 19 августа до 1 сентября, и большая часть из них касается именно этих предметов и извещений о намерении дать сражение и потом о самом сражении — Бородинском.

Убедившись, что главнокомандующий непременно даст сражение и надеясь на успех, граф Ростопчин исполнял все требования князя Кутузова и немедленно извещал его о своих распоряжениях. «Два письма вашей светлости, от 19 числа, я сего утра получил. Означенные 1000 топоров, 1000 лопат и 250 буравов завтра же отправлены будут. Что же касается до вооружения Московской военной силы выдачею ружей, то ей сперва 7200, да после 2600 выдано из арсенала, и завтра прямо к вашей светлости отправляется генерал-лейтенант граф Марков [Морков], который по сему предмету примет и сообщит мне приказания ваши самоскорейшего исполнения». День спустя после этого письма, он уведомил князя Кутузова, что «по извещению вашей светлости, я приступил тотчас к изготовлению сухарей и могу на один месяц напечь и наготовить с доставлением на 120 тысяч, т.е. тридцать тысяч четвертей муки. Но прошу вас принять скорейшие меры для очищения дороги Московской от обозов и разбоев: без того целые транспорты попадут в руки мародёрам и казакам. Теперь граф Марков должен уже быть у вашей светлости; а у меня, за исключением неизвестного и мне числа жителей Москвы и её окрестностей, есть

до 10.000 человек обмундированных и больше половины обученных рекрутов. Я разослал уже курьеров по соседственным губерниям, чтобы они ополчение их вели в Москву». Через сутки потом он писал: «Вчерашний ещё день приступил я к исполнению требования вашего наймом 1000 и более подвод помесячно, для употребления при армиях на подвоз провианта, и надеюсь, при первом отправлении, известить вас об успехе. Но если за армиею будут происходить подобные бывшим беспорядки, то я вам ни за что отвечать не могу, и сношения от грабежей с столицею прервутся. При том доведу до сведения вашего, что ко мне Ставраков присылает каких-то пойманных с паспортами, по его словам, подозрительных людей для разбору: то ей Богу теперь и не время, и времени нет этим вздором заниматься». На другой день потом он писал: «Имею честь отвечать на три письма вашей светлости. Требуемые лошади, по 1000 на каждой станции, от Москвы до Можайска, выставлены будут, и наряд уже сделан. Но в Можайске оттого, что три пограничные уезда отошли в военное распоряжение, наряду сделать невозможно, и для сего соблаговолите от себя сделать предписание. Наём помесячно 1000 и более лошадей, для употребления при армии, я очень успешно произвёл. Завтра заключаю контракт, который к вам отправлю; и с ними лошадей с повозками, положа на них готовые сухари. Инструменты для рабочих, то есть лопатки и буравы, по требованию вашему, куплены и сегодня отправлены. Можайский и Волоколамский уезды разогнаны казаками и провожатыми раненых. Доказательством то, что несколько лошадей, их привезших, остались без хозяев. Если беспорядки сии продолжатся, то ни за что по дороге отвечать не можно! и я бы желал, чтоб при отправлении обозов им дано было направление не чрез Москву, и в приставы — надёжный и уважения достойный человек»[26].

Письма графа Ростопчина к князю Кутузову прекращаются 27 августа, т.е. днём, в который он получил окончательные сведения об исходе Бородинского сражения. Исполняя поручения князя Кутузова, он встречал, однако же, препятствия, которые, конечно, его тревожили. По требованию ещё Барклая де Толли доставить в Вязьму вина для войска, граф Ростопчин столкнулся с тогдашними винными откупщиками, которые, конечно, защищали свои выгоды и которым вынужден был оказывать, в силу договоров с казною, своё покровительство и министр финансов. В приведённом уже письме, от 19 августа, граф Ростопчин писал к князю Кутузову, что отпуск вина остановился за неимением подвод; но лишь только он их найдёт, то пришлёт непременно, несмотря на то, что министр финансов распорядился, чтобы подобные поставки делались через винных откупщи-

ков. В письме Государю он ещё решительнее выражает своё негодование на это распоряжение. «Обременённый делами, не допускающими отлагательства и в высшей степени важными, я могу только удивляться вашей несчастной судьбе, которая направляет ваш выбор на людей порочных, которые торгуют вашею славою и благосостоянием государства. Нужно было отправить вина в войска, по требованию военного министра. В ваших складах находится до 380 тысяч бочек. Оно даже не нужно откупщикам. Я отправил 23 тысячи вёдер в Вязьму; но потом, при приближении, отправка было приостановлена министром финансов, который находит, что ваше вино должно быть сохраняемо в целости, но благосклонно условился с Жидом П. и его здешним помощником Ш., которые доставят 20 тысяч вёдер войскам, по 5 рублей, тогда как ваше вино стоит по 2 руб. 50 коп. ведро. Таким образом в этом случае дело идёт о хорошем предприятии, которое принесёт 500 тысяч рублей этому Жиду. Поистине, Государь, можно бы министру удовлетвориться тою долею, которую он получает с откупщиков и лесами, стоящими до полутора миллиона, которые вы милостиво пожаловали этому бедному человеку в то время, когда вы предписали продавать государственные имущества, чтобы удовлетворить некоторые государственные потребности»[27].

Армия нуждалась в огромном количестве перевозочных средств; необходимо было установить правильный подвоз продовольствия к ней и от неё, также правильное отправление раненых, скопившихся в большом количестве в городах и сёлах между Гжатском и Москвою. Естественно, при этом постоянном передвижении подвод в огромном количестве, могли происходить и беспорядки; но едва ли одни они затруднили графу Ростопчину наём перевозчиков и устройство правильного движения. Главнейшая причина заключалась в том, что к этому времени усилилось движение жителей Москвы, стремившихся выехать из столицы и вывезти своё имущество и в это же время, по предписанию графа Ростопчина, взято, по наряду, громадное количество подвод для вывоза из Москвы казённого имущества и государственных сокровищ. Быть может, ему бы и удалось в такой короткий срок вывезти всё, что следовало, если бы потребности войск не лишили его важной доли перевозочных средств. Удовлетворить потребностям армии он мог не иначе, как в ущерб вывозу казённого имущества и сокровищ из Москвы и ещё более в ущерб частных лиц, московских жителей, которых так долго задерживало в Москве его нравственное на них влияние. В своих Записках он говорит, что ему удалось установить правильное движение обозов между Москвою и войсками. «Прибыв в Гжатск, князь Кутузов требовал

от меня продовольствия для войск, в стране, где не было устроено магазинов и где самый лучший урожай может прокармливать народонаселение не более шести месяцев. Хлеба поспели; но собрать их в присутствии двух армий, из которых одна истребляла всё, для того чтобы поддержать своё существование, другая, чтобы ничего не оставалось врагам, не представлялось возможности. Но было довольно запасов муки в казённых магазинах; затем я скупил всё, что имелось в продаже в Москве и устроил комитет, который немедленно приступил к делу, и все булочники были заняты печением хлеба; другие резали его на ломти и сушили день и ночь в нанятых для того печах. Каждое утро обоз из 600 подвод отправлялся от главного магазина с сухарями и крупой для каши к нашим войскам, и такой способ продовольствования 116 тысяч человек продолжал действовать до кануна вступления неприятеля в Москву». Князь Кутузов усиленными просьбами вызвал графа Ростопчина на эту деятельность. «По получении почтеннейшего письма вашего сиятельства от 18 августа относительно затруднений в заготовлении и доставлении из Москвы для армии хлеба, спешу уведомить вас, милостивый государь мой, — писал Кутузов, — что в армии теперь настоит крайняя нужда в хлебе, почему покорнейше прошу, обратив находящуюся в Москве муку в сухари, употребить всевозможнейшее старание о наискорейшем доставлении оных в армию к Можайску». «Я уже имел честь уведомить ваше сиятельство, — писал он на другой день после приведённого письма, — о недостатках в продовольствии, которые армии наши претерпевают. Теперь, намереваясь по избрании места близ Можайска, дать генеральное сражение и решительное для спасения Москвы, побуждаюсь повторить вам убедительнейшие мои о сём важнейшем предмете настояния. Если Всевышний благословит успехи оружия нашего, то нужно будет преследовать неприятеля; а в таком случае должно будет обеспечить себя также и со стороны продовольствия, дабы преследования наши не могли остановлены быть недостатками. На сей конец отношусь я сего же дня к гг. губернаторам Калужскому и Тульскому с тем, чтобы они всё, учинённое вашим сиятельством по сему распоряжению, выполняли в точности и без малейшего замедления. Всё сие предоставляю я *беспримерной* деятельности вашей».

Устройство правильных обозов между Москвою и действующими войсками, с одной стороны, для доставления провианта и других нужных вещей для войск, а с другой — для препровождения в Москву и далее раненых, — было заботою князя Кутузова, ещё при самом его отправлении к армии, и он испросил согласие на это Государя. Прибыв к войскам, он поручил это дело генерал-лейтенанту Ланскому;

но, вероятно, оно не удавалось вследствие привлечения всех подвод к Москве, как постоянным выездом жителей, так и распоряжениями генерал-губернатора о наряде подвод по уездам. Поэтому князь Кутузов обратился к графу Ростопчину с следующим письмом: «Я уже несколько раз относился к г-ну генерал-интенданту Ланскому о поспешнейшем заготовлении подвод для армии; но как теперь настоит крайнейшая нужда в оных, то в таком случае я прибегаю с покорнейшею моею просьбою к беспримерной заботливости и быстрой деятельности вашего сиятельства; употребите, милостивый государь мой, всевозможные меры к наискорейшему заготовлению по 1000 подвод на каждую станцию от Москвы до Можайска. Без сих пособий военные действия с великим вредом могут быть остановлены». В то же время, чтобы придать наиболее значения своим требованиям, он сообщал графу Ростопчину: «От Государя Императора имею я изустное высочайшее повеление учредить из вольнонаёмных ямщиков подвижные магазейны; то для сего нужно нанять их с повозками до 1000 и более, дабы употребить к подвозам, а наиболее в преследованиях неприятеля, если Всевышний благословит успехами наше оружие. Всё сие препоручаю я беспримерной вашего сиятельства заботливости и буду с нетерпением ожидать их сюда присылки»[28].

Из этих писем видно, как князь Кутузов заботливо щадил самолюбие графа Ростопчина и, ввиду важности совершавшихся событий, не хотел раздражать его, нуждаясь в его содействии для обеспечения армии и спокойствия в Москве. Но граф Ростопчин, исполняя его требования, постоянно указывает на беспорядки, производимые войсками. Показавшиеся было мародёры из армии действительно производили беспорядки в то время, когда только что прибыл князь Кутузов к войскам; но в то время, когда указывал на беспорядки граф Ростопчин, мародёрство уже прекратилось, и эти беспорядки могли быть или случайностью, не имевшею важного значения, или просто ложными известиями, которым граф Ростопчин придавал веру. Современники рассказывают об отступлении войск к Можайску и Москве, что оно совершалось в большом порядке. «Находившись с ротою близ Вязьмы, — говорит один из них, — я полюбопытствовал съездить в город: думал, не отыщу ли тех пряников, которые столько прославили Вязьму. Город показался мне очень порядочным; много каменных домов, церквей и лавок; но всё было пусто. Жители, не успевшие выбраться из города, бегали в страшных суетах по улицам, а иные выпроваживали из своих дворов повозки с пожитками. Лавки были открыты; товары хотя все убраны, но ещё довольно кое-чего оставалось для поживишки солдатам, которые, под предлогом усталости или водицы

напиться, входили в домы и хозяйничали на просторе»[29]. Вот в чём состоял грабёж: жители оставляли города и сёла, увозили, что имели из своего имущества, остальное бросали на произвол судьбы и часто зажигали свои домы. Дорогобуж и Вязьма были оставлены жителями и зажжены, лишь только прошёл наш арьергард.

Но, кроме забот об обеспечении нужд армии, князь Кутузов весьма откровенно сообщал графу Ростопчину о своих приготовлениях к сражению. Препровождая графу Ростопчину письмо, которое просил обнародовать для успокоения жителей Москвы, он писал ему: «Коль скоро я приступлю к делу, то извещу вас, милостивый государь мой, о всех моих предположениях, дабы вы в движениях своих могли содействовать мне и спасению Отечества». В ответ на письмо графа Ростопчина, в котором он требовал от него признания, «твёрдое ли он имеет намерение удерживать ход неприятеля на Москву», князь Кутузов отвечал: «Письмо ваше я сейчас получил и спешу отвечать, что мы идёи с армиями не далее, как к Можайску и там, с помощию Божиею и в надежде на храбрость Русских, дам неприятелю баталию. Средства, которые вы можете мне выслать из Москвы, не будут излишни, и потому прошу ваше сиятельство о сём». К этому письму он собственноручно прибавил: «Я доныне отступаю, чтобы избрать выгодную позицию. Сегодняшнего числа хотя довольно хороша, но слишком велика для нашей армии и могла бы ослабить один фланг. Как скоро я изберу самую лучшую, то, при пособии войск, от вашего сиятельство доставляемых, и при личном вашем *присутствии*, употреблю их, хотя ещё и недовольно выученных, ко славе Отечества нашего»[30]. Вслед за этим письмом пришло другое, в котором князь Кутузов писал: «Полчаса назад не мог я ещё определённо сказать вашему сиятельству о этой позиции, которую предстояло избрать выгоднейшею для предполагаемого генерального сражения. Но рассмотрев все положения до Можайска, нам та, которую мы ныне занимаем, представилась лучшею. Итак, на ней с помощию Божиею ожидаю и неприятеля. Всё то, что ваше сиятельство сюда доставить можете и вас самих примем с восхищением и благодарностию»[31]. Но вслед за тем приехал адъютант князя Кутузова с следующим письмом: «Вручитель сего, адъютант мой поручик Панкратьев, объяснит вашему сиятельству причины, побудившие меня оставить Колоцкий монастырь, где, как я имел честь вас уведомить, намерен был я дать генеральное сражение. Армия отступит ещё на 12 вёрст, где займёт позицию, для сражения гораздо выгоднейшею признанную»[32]

Местность от Гжатска до Москвы не представляла никаких искусственных средств, которые могли бы задержать движение неприяте-

ля, ни крепостей, ни укреплений. Решившись дать сражение, необходимо было обратить всё внимание на выбор наиболее выгодного места. Наконец, это место было избрано при Бородине. «Нашед выгоднейшею со стороны нашей позицию при деревне Бородине для генерального сражения, утвердясь в оной, — писал князь Кутузов к графу Ростопчину, — и надеясь более на помощь всемогущего Бога, за нужнейшее почитаю предварить и покорнейше просить ваше сиятельство: во-первых, возвратить без задержания в армию отправленных уже в Москву с транспортами больных 32 лекарей и пригласить ещё, буде можно, несколько вольнопрактикующих»[33].

Получив это письмо, граф Ростопчин обнародовал (25 августа): «Светлейший князь, чтобы скорее соединиться с войсками, которые идут к нему, перешёл Можайск и стал на крепком месте, где неприятель не вдруг на него найдёт. К нему отправлено отсюда 28 пушек с снарядами; а светлейший говорит, что Москву *до последней капли крови защищать будет и готов хоть в улицах драться.* Вы, братцы, не смотрите на то, что присутственные места закрыли дела, прибрать надобно и пр.».

На другой день после этого объявления граф Ростопчин получил от князя Кутузова следующее письмо, в котором тот писал уже об открытии военных действий: «Спешу уведомить ваше сиятельство, что командующий арьергардом генерал-лейтенант Коновницын донёс мне, что 23 числа в 9 часов утра до самого вечера неприятель не переставал с усилием, в превосходных силах, наступать на него; что искусным действием нашей артиллерии всякой шаг неприятеля вперёд сопротивлением был с большим ему уроном, и в продолжении 10 часов сражения уступлено не более 10 вёрст, и арьергард остановился у Колоцкого монастыря, в 16 вёрстах от позиции при Бородине»[34]. Несмотря на открывшиеся уже военные действия, князь Кутузов поддерживал непрерывные сношения с Московским главнокомандующим и извещал его обо всех происшествиях. Когда военные распоряжения поглощали всё его время, он поручал другим уведомлять графа Ростопчина.

Вслед за приведённым письмом, писал графу Ростопчину Кайсаров: «Его светлость князь Михаил Ларионович препоручил мне честь, находясь сам в деле, довести до сведения вашего сиятельства, что вчерашнего числа, в 2-м часу пополудни, неприятель в важных силах атаковал наш левый фланг под командою князя Багратиона и не только в чём бы либо имел поверхность, но потерпел везде сильную потерю. Сражение продолжалось даже в ночи; 2-я кирасирская дивизия преимущественно отличилась своими атаками, причём взяты плен-

ные и пять пушек. Сего числа неприятель с рассветом направил опять свои силы на левый фланг. Его светлость в надежде удержать свою позицию. Завтрашний день о происшествии сего дня буду иметь честь уведомить ваше сиятельство». Исполняя обещание, на другой же день Кайсаров писал: «За вчерашним извещением, которое я имел честь сделать вашему сиятельству, доношу, что неприятель, занимая нас перестрелкою на левом фланге, ограничился токмо демонстрациями на оный, которым были противупоставлены движения наших войск. Таким образом, кончился вчерашний день»[35].

Эти известия, полученные графом Ростопчиным о столкновениях с неприятелем, предшествовавших Бородинскому сражению, о нападении на наш арьергард при Колоцком монастыре и о деле при Шевардине, послужили ему поводом к обнародованию следующих двух объявлений, появившихся в самый день 26 августа: «В полночь я получил следующее известие от его светлости, главнокомандующего армиями. Вчерашнего числа (24 августа), во втором часу пополудни, неприятель, в важных силах, атаковал наш левый фланг, командуемый князем Багратионом и не только в чём-либо имел поверхность, но потерпел везде сильную потерю. Сражение продолжалось даже в ночи. 2-я кирасирская дивизия преимущественно отличалась своими атаками. Взяты пленные и пять пушек. Армия наша стоит на том же месте, при деревне Бородине». «Курьер, отправленный вчера, в десять часов вечера из армии, привёз известие, что, кроме перестрелки егерей, ничего не произошло во весь день. В субботу французов хорошо попарили: видно отдыхают. У князя Багратиона на левом фланге перед одною батареею сочтено более 2000 убитых».

Эти объявления основаны на тех письмах, которые мы привели выше, кроме последних слов. Число убитых в Шевардинском деле никогда не было определено с точностью, и граф Ростопчин или произвольно показал его, или на основании сведений, переданных ему изустно фельдъегерем, привёзшим письмо Кайсарова.

Известия о начале военных действий под руководством нового главнокомандующего армиями взволновали Москву. Хотя Москва опустела уже значительно в то время, но всё-таки в ней оставалось довольно большое количество жителей. Это народонаселение казалось ещё большим, нежели было, потому что всё толпилось на площадях и улицах: выходили даже за Дорогомиловскую заставу, останавливали курьеров, чтобы поскорее получить известия. Их останавливали потом по нескольку раз и в улицах и осыпали вопросами. Храмы были наполнены молящимся народом. Многие приобщались Св. Тайн[36]. В самый день Бородинской битвы приехал в Москву митрополит Пла-

тон. По собственному ли побуждению, удручённый старостью и болезнью, он явился посреди своей паствы в бедственные для неё дни, или был вызван графом Ростопчиным, чтобы благословить на брань воображаемое им народное ополчение, как говорила молва, — неизвестно[37].

В этот день, по давнему установлению церковному, его викарий, совокупно с двумя архиереями и всем духовенством Московским, совершал ход с чудотворными иконами Смоленской, Иверской и Владимирской Божией Матери, из Успенского собора в Сретенский монастырь. Крёстные ходы всегда торжественны в Москве, но этот ход отличался ещё большею торжественностью.

Во время приступа французов к Смоленску, когда войска и все жители его оставляли, а самый город разрушался, объятый пожаром и осыпаемый неприятельскими ядрами, вдруг среди спасавшейся толпы раздался голос: спасайте икону Богородицы! В Смоленске кроме подлинной древней иконы, находившейся в соборе, была другая, список с неё, также древний и почитаемый, находившийся в церкви над Днепровскими воротами. Обе иконы были спасены. Одна постоянно сопутствовала войскам; другую преосвященный Ириней, сопровождаемый многими жителями Смоленска, привёз в Москву и поставил в церкви Св. Василия Неокесарийского на Тверской-Ямской улице. Оттуда торжественно эту икону, через четыре века возвращавшуюся в Москву, архиепископ Августин перенёс в Успенский собор. Она находилась в крёстном ходу 26-го августа, который от Сретенских ворот и до Никольских шёл между двух рядов обозов с ранеными. Страждущие и умиравшие воины усиливались приподняться на своих телегах и молились перед иконами. Духовенство кропило их святой водою, народ осыпал ласковыми заботами и давал им деньги[38]. Все плакали и усердно молились.

Канун Бородинской битвы, день 25 августа, после сражения при Шевардине, прошёл спокойно; противники стояли в виду один перед другим, укрепляя занимаемые ими местности и приготовляясь к решительному бою. Одна и та же мысль — разбить противника и достигнуть последней цели тягостной войны господствовала над ними. Но одних пленяли будущею победою, покорением столицы, богатою добычею, покоем и довольством после стольких трудов и лишений. Других никто и ничем не пленял, и все обрекали себя на жертву для спасения Отечества. Как шумен и весел был стан Наполеоновских войск, оглашавшийся звуками музыки и восклицаниями в честь великого полководца, так, наоборот, был тих и спокойно сосредоточен русский стан. Когда войска проходили и временно оста-

навливались перед Колоцким монастырём, в котором оставалось уже только два или три престарелых монаха, «церковь целый день была отперта и полна. Я был у вечерни,— говорит современник-очевидец событий,— унылый звук колокола, тихое пение, синеватый сумрак, слегка просветляемый тусклою лампадою и несколькими свечьми, которые чуть теплились перед древними иконами, всё это вместе чудесным образом располагало душу к молитве. Глубокое молчание почивало в храме. В сии мгновения души и сердца Русские были в тайной беседе с Богом. У некоторых только из молящихся избыток грусти вырывался в тихих рыданиях, мешаясь с дрожащим голосом убелённого сединами старца»[39]. То же настроение духа и в большей степени господствовало в русском войске, когда оно почувствовало, что окончательно остановилось, чтобы вступить в решительный бой. «Офицеры надели с вечера чистое бельё: солдаты, сберегавшие про случай белые рубашки, сделали то же. Эти приготовления были не на пир!» Все готовились к смерти, невольно, бессознательно и просто, потому что следовало или умереть, или спасти Отечество. Замолкли в это время и частные вражды и соперничество, сплетни, пересуды и доносы Главной квартиры. В это время главнокомандующий велел торжественно пронести перед рядами всего войска икону Смоленской Божией Матери и служить молебны. «Духовенство шло в ризах, кадила дымились, свечи теплились, воздух оглашался пением, и святая икона шествовала. Сама собою, по влеченью сердца, стотысячная армия падала на колени и припадала челом к земле, которую готова была упоить досыта своею кровью. Везде творилось крёстное знамение, по местам слышалось рыдание. Главнокомандующий, окружённый штабом, встретил икону и поклонился ей до земли. Когда кончилось молебствие, несколько голов поднялись кверху, и послышалось: орёл парит! Главнокомандующий, взглянув вверх, увидел плавающего на воздухе орла и тотчас обнажил свою седую голову. Ближайшие к нему закричали: ура! и этот крик повторился всем войском. Орёл продолжал плавать; семидесятилетний вождь, принимая доброе предвестие, стоял с обнажённою головою»[40].

Крёстный ход совершался в Москве в то время, когда на полях Бородинских отчаянная битва была в полном разгаре. «Весь этот день Москва провела в большой тревоге,— говорит граф Ростопчин,— потому что за заставами и в некоторых других местах был слышен гром пушек, долетавший по ветру за 120 вёрст». С самого поля сражения князь Кутузов писал графу Ростопчину: «Прошу вас, ради Бога, граф Фёдор Васильевич, прикажите к нам немедленно из арсенала прислать на 500 орудиев комплектных зарядов, более батарейных».

Очевидно, эти заряды не могли поспеть к Бородинскому сражению, и их считал нужным главнокомандующий для дальнейших действий. Он верил в успех продолжавшегося сражения и в этом же письме собственноручно приписал: «сражение самое кровопролитное, будем удерживать; по сю пору идёт порядочно». Вечером в тот же день, по окончании сражения, в то время, когда князь Кутузов ещё намеревался возобновить его на другой день, он отправил к графу Ростопчину второе письмо: «Сего дня было весьма жаркое и кровопролитное сражение. С помощию Божиею Русское войско не уступило в нём ни шагу, хотя неприятель в весьма превосходных силах действовал против него. Завтра надеюсь я, возлагая моё упование на Бога и на Московскую святыню, с новыми силами с ним сразиться. От вашего сиятельства зависит доставить мне из войск, под начальством вашим состоящих, столько, сколько можно будет»[41].

Получив эти письма главнокомандующего, граф Ростопчин обнародовал следующее объявление: «Два курьера привезли из армии, что вчерашний день, 26-го, было весьма жаркое и кровопролитное сражение; с помощью Божиею Русское войско не уступило в нём ни шагу, хоть неприятель с отчаянием действовал против него. Завтра надеюсь я (пишет князь Кутузов), возлагая моё упование на Бога и на Московскую святыню, с новыми силами с ним сразиться. Потеря неприятеля неисчётная. Он отдал в приказе, чтобы в плен не брать (да и брать некого) и что Французов должно победить или погибнуть. Когда сегодня, с помощью Божиею, он ещё раз отражён будет, то злодей и злодеи его погибнут от голода, огня и меча. Я посылаю в армию 4 тысячи здешних новых солдат, на 250 пушек снаряда и провианта. Православные, будьте покойны! Кровь наших проливается за спасение Отечества, наша готова и если придёт время, то мы подкрепим войска. Бог подкрепит силы наши, и злодей положит кости свои в земле Русской».

Мгновенно по всей Москве разнеслась весть о победе; спешили к Иверской служить молебны; возникла надежда, что неприятель не проникнет в столицу. Но ненадолго. Граф Ростопчин, обнародывая известия, не был, однако же, уверен в победе, если судить по его *Запискам*, писанным впоследствии. «Достигнув Колоцкого монастыря, — говорит он, — князь Кутузов пробыл тут два дня и избрал место у деревни Бородино, чтобы дать сражение Наполеону. Он вступил уже в Московскую губернию и находился в 112 вёрстах от столицы. Он уступил настоянию генералов и раздражению солдат, которые в своих выходках обвиняли его даже в том, что он без боя хочет отдать Москву неприятелю. Я не буду распространяться об этом сражении,

в котором обе стороны дрались с одинаковым ожесточением: Русские, чтобы защитить свою столицу, солдаты Наполеона, чтобы её завоевать. Я не решаю, был ли Наполеон велик в этом деле, или мал, или иным каким он был; но оба военачальника могли бы избежать этой бесчеловечной бойни и сохранить в своих войсках 90 тысячами людей более, выбывших из строя. Наполеон, если б перешёл на Старую Калужскую дорогу, вошёл бы в Москву только осмью днями позднее с войском более сильным на 52 тысячи, которые были убиты и ранены под Бородиным; Кутузов с своими 116 тысячами, из которых он потерял от 35 до 40 тысяч, стал бы на Новой Калужской дороге и не подвергался бы два или три раза опасности быть уничтоженным. Две выгоды, однако же, извлекла Россия из этого сражения: 1) почти совершенное уничтожение неприятельской кавалерии, и так уже расстроенной продолжительностью похода и недостатком в корме, и 2) впечатление, какое произвело прибытие и рассказы раненых офицеров, рассеявшихся по всем губерниям, где были у них имения и родные. Это помирило нацию с военными, которых в Москве осыпали насмешками и приписывали измене отступление наших армий. Во время Бородинского сражения, Кутузов, в 4 часа пополудни, отправил ко мне письмо, в котором он выражал, что доволен успехом нашего оружия. Курьер сказал мне, что Неаполитанский король Мюрат был взят в плен, что доставило большое удовольствие москвичам. После оказалось, что это был генерал Лами, который назвался Мюратом в то время, когда его захватили. Кутузов сам был введён в заблуждение, пока Лами не был приведён к нему со всею внимательностью к пленному величеству и не объявил ему правды. На другой день, в 8 часов утра, я получил другое письмо от Кутузова, в котором упомянув *слегка* о выигранном *накануне* сражении, он сообщал мне, что намерен возобновить сражение, заклиная меня прислать сколько возможно более подвод для перевозки раненых и сколько возможно зарядов для пушек и ружий, что и было отправлено через два часа. Я написал записку к министру полиции, что я не понимаю этой победы, потому что наши армии отступили к Можайску. Это я узнал от того же самого курьера, который упрашивая меня, чтобы я отправил его поскорее, имел неосторожность мне сказать, что наши войска частью уже в Можайске, в 10 вёрстах от поля сражения. Кутузов рассчёл, что этот курьер, следуя поспешно, приедет в Петербург утром в день именин Императора, 30 августа, и его реляция была поздравительным букетом. В этой реляции, которая была напечатана и обнародована, он уверял, что мы удержали свои позиции, что все нападения неприятеля были отражены, и атаман Платов преследо-

вал его 11 вёрст с своими казаками до Колоцкого монастыря и что на другой день он нападёт снова на неприятеля всеми силами. Эта ложь ему удалась как нельзя более: он сделан был фельдмаршалом; все его родные награждены, солдаты получили каждый по 5 рублей. Я уверен, что не так бы радовались этою победою, если бы Император узнал своевременно о моей записке к министру полиции; но курьер, под предлогом, что его задержали во дворце, передал ему мою записку долго спустя после обеда, и я имею основание думать, что на этот счёт он получил некоторые наставления от князя Кутузова. Делая его фельдмаршалом, полагали наградить армию за храбрость, так как что лично до него касается, то он и не мог даже видеть, что происходило, оставаясь за возвышенностью, в нескольких вёрстах от поля сражения. Не предполагал ли он, что спасение Отечества зависит от сохранения его собственной особы?»

Этот рассказ, проникнутый враждою к князю Кутузову, не соответствует тем личным отношениям, в которых во время самых происшествий находился к нему граф Ростопчин. Не говорим уже, что самые происшествия изложены неправильно. По свойственной графу Ростопчину способности увлекаться до крайности, он сердился, что первое распоряжение Кутузова было об отступлении, но вовсе не считал Бородинского сражения таким поражением, после которого защита Москвы сделалась уже невозможною. Напротив, он уверен был в новых сражениях и вызывал на них. Человеколюбивая мысль о стольких тысячах людей, будто бы напрасно погибших при Бородине, тогда и в голову ему не приходила. Коротенькое письмо, наскоро набросанное князем Кутузовым вечером 26 августа после смолкшей битвы, с поля самого сражения, было писано именно в то время, когда он думал на другой день возобновить сражение, и всё войско в этом было уверено. Но вслед за тем, в тот же вечер, когда приблизительно были определены понесённые нашими войсками огромные, соответственно с их числом, потери и сделалось известно, что у Наполеона оставался нетронутый резерв (Старая гвардия, составлявшая лучшую часть его войск), решено было отступление. В это уже время было написано донесение Государю князя Кутузова о Бородинском сражении. В нём и слово *победа* не упомянуто; в нём сказано только, что «войска сражались с неимоверною храбростью, батареи переходили из рук в руки, и неприятель нигде не выиграл ни на шаг земли с превосходными своими силами». Затем, в обнародованном во всеобщее сведение донесении, было сказано: «ночевав на месте сражения и собрав расстроенные баталиею войска, освежив мою артиллерию и укрепив себя ополчением

Московским, в тёплом уповании на помощь Всевышнего и на оказанную неимоверную храбрость наших войск, *увижу я, что могу предпринять противу неприятеля*». Конечно, граф Ростопчин не знал, что перед этими строками из обнародованного донесения[12] князя Кутузова в подлиннике находились следующие: «Ваше Императорское Величество изволите согласиться, что после кровопролитнейшего и 15 часов продолжавшегося сражения, наша и неприятельская армии не могли не расстроиться и, за потерею, сей день сделанною, позиция прежде занимаемая, естественно сделалась обширнее и войскам невместною; а потому, когда дело идёт не о славе только выигранных баталий, но вся цель будучи устремлена на истребление Французской армии, ночевав на месте сражения, я взял намерение отступить шесть вёрст, что будет за Можайском» и так далее. Очевидно, что донесение князя Кутузова было написано уже после принятого решения отступить от Бородинской позиции, и он не только не скрывает этого обстоятельства от Императора, но, напротив, прямо заявляет о нём и дальнейшие свои действия ставит в зависимость от усиления войск новыми подкреплениями и от приведения в порядок артиллерии.

Письмо князя Кутузова к графу Ростопчину писано за несколько часов прежде донесения Государю, когда ещё он и вся армия были уверены, что на другой день будет возобновлено сражение. Как между тем временем, когда написано было письмо к графу Ростопчину и составлением донесения Государю прошло только несколько часов, то очень естественно, что они могли быть посланы с одним и тем же курьером. К сожалению, нам неизвестна записка графа Ростопчина к генералу Балашёву. Но что же он мог сказать нового и такого, что будто бы скрыл князь Кутузов в донесении Государю о Бородинском сражении? То, что он выведал от курьера об отступлении войск к Можайску, что очень хорошо было известно Императору из донесения самого князя Кутузова. В этом, без сомнения, обстоятельстве и кроется объяснение того, почему эта записка вовсе не была принята в соображение; а не в том, как подозревал граф Ростопчин, что курьер по наущению Кутузова несколько часов промешкал доставление этой записки министру полиции. Несколько часов в этом случае не могли иметь особенного значения; а князь Кутузов, конечно, не мог наперёд знать, будет ли его курьеру граф Ростопчин давать свои письма и делать наставления на этот счёт. После только что стихнувших громов такой битвы, как Бородинская, на самом поле сражения, могло ли даже прийти ему в голову позаботиться о таком мелочном обстоятельстве? Что же касается до заявления, будто бы Кутузов извещал

Государя, что после отражения неприятеля при Бородине, Платов с казаками *преследовал французов ещё 11 вёрст до Колоцкого монастыря*, то в донесении князя Кутузова, как подлинном, так и обнародованном сокращённо в своё время, нет ничего подобного. Записки о 1812 годе написаны графом Ростопчиным долго спустя после самых событий: как же он мог не знать напечатанного донесения князя Кутузова, утверждая именно, что там говорится то, чего в нём нет? Если бы ещё они были писаны в то время, как и записка его к Балашёву, которой он придаёт такое важное значение, то это можно было бы объяснить незнанием всех обстоятельств дела и самого донесения князя Кутузова; но впоследствии он мог всегда справиться с напечатанным донесением и, не сделав этого, доказал только свою способность увлекаться до последней крайности каким либо чувством, хорошим или дурным. В этом случае в нём говорила ненависть к князю Кутузову, доведённая до болезни. Он решился даже назвать донесение Кутузова о сражении при Бородине ложью.

Вслед за приведённым нами рассказом, граф Ростопчин говорит: «На другой день после сражения я получил множество известий и мог составить полное понятие о деле. Эта *великая победа*, одержанная над Наполеоном, заключалась в самом сильном отражении нападений. Генералы, офицеры, солдаты дрались как львы; но неприятель превосходил их числом, имел сильный резерв, который оставался при Колоцком монастыре, к вечеру занял несколько батарей на левом нашем крыле и удержался в них. Наша армия, убавившаяся на треть, отступила на рассвете, оставив мёртвых и раненых на поле сражения. Я узнал имена генералов убитых и раненых. Между ними моё внимание обращено было наиболее на генерал-майора графа Воронцова. Его любили в Москве; пуля пробила ему ляжку, и он не умер только благодаря крепкому и хорошему сложению. Его действия во время войны и мира доказали потом, что Россия понесла бы большую потерю в лице этого достойного человека, единственного сына почтенного отца, который имел важное значение, как на военном, так и на дипломатическом поприще, оказал большие заслуги государям и часто давал добрые советы. Я привязан был к нему искренно с самой моей молодости. Смерть сына положила бы в гроб и отца. Мой свояк, генерал-майор Васильчиков был счастливее в этом сражении: под ним были убиты три лошади и ранена четвёртая; пять пуль и одна картечь пробили его платья, а он получил только лёгкую контузию в ногу. Мой сын, один из трёх адъютантов Барклая, только не выбыл из строя, но получил довольно сильную контузию в руку от полёта ядра. Двое его товарищей были убиты или ранены».

Сличая этот рассказ с донесением Государю князя Кутузова, нельзя не заметить сходства между ними. Различие заключается лишь в том, что князь Кутузов говорит, что неприятель *не выиграл ни на шаг земли*, а граф Ростопчин, что неприятель *взял несколько батарей на левом крыле и удержался в них*. Но это был частный успех на одном месте, а всё поле сражения было удержано нашими войсками, и при том левый фланг не был отброшен или разобщён с армиею: он отступил на незначительное пространство, не теряя с нею связи. Этот частный успех со стороны неприятеля не может служить существенным признаком для определения общего характера битвы, который достаточно определил сам Наполеон, назвав её *битвою гигантов*. При том характер этот был до такой степени сомнителен в глазах самих французов, что, ожидая нападения русских, с наступлением ночи, они очистили занятые ими укрепления и отошли на свою позицию[43]. В то время, когда князь Кутузов писал своё донесение, он без преувеличения мог сказать, что неприятель *не выиграл ни на шаг земли*. Мы заметили, что даже слово *победа* не упомянуто в донесении князя Кутузова Государю о Бородинском сражении. Но считал ли он это сражение выигранным или потерянным, победою или поражением? Он не хотел выговорить это слово в своём донесении, не хотел, так сказать, наперёд оценивать значение этой битвы, предоставляя это самому Государю; но, без сомнения, Бородинское сражение он считал победою. Добрый семьянин, постоянно находившийся в переписке с своими, он едва удосужился только через три дня после этого сражения написать несколько строчек к своей супруге в Петербург, хотя к графу Ростопчину писал по нескольку писем в день в это время. В этих строчках он выразил свою мысль об этой битве: «29 августа. Я, слава Богу, здоров, мой друг, и не побит, а выиграл баталию над Бонапартом. Детям благословение. Верный друг»[44].

Иначе и думать не мог князь Кутузов. Так думали все его сподвижники в этом деле, друзья и враги; так думал Государь и вся Россия. Конечно, не так думали французы, и то не все. Тьер как бы повторяет выражение Ростопчина: он называет донесение Государю Русского главнокомандующего ложью, вероятно, принимая за образец правдивости бюллетени Великой армии, провозгласившие победу на стороне французов. По окончании Бородинской битвы, в тот же день, ночью было составлено и отправлено князем Кутузовым донесение; а на другой день, весьма рано, прежде, нежели Главная квартира последовала за отступавшими к Можайску войсками, Кутузов уже послал письмо к графу Ростопчину, уведомляя его об исходе сражения и отступлении наших войск. Нельзя не обратить внимание на это

письмо, которое почти дословно повторяло его донесение к Государю. Следовательно, он ничего не скрыл от графа Ростопчина, сообщив совершенно те же сведения и в тех же выражениях, как и Императору. Только в конце письма князь Кутузов прибавил: «Чистосердечие, с которым я вам сие сообщаю и намерения мои должны успокоить Москву; а за вызовом, вашим сиятельством сделанным, ожидаю от известной любви к Отечеству тех усилий, которые может столица Москва армии дать»[45].

Весть об отступлении наших войск к Можайску мгновенно разнеслась по Москве. Всеобщее уныние быстро сменило недолго продолжавшуюся радость, возбуждённую первым известием о Бородинской битве. Носились разные слухи, но это был не слух, а «видимое зрелище, — говорит современник, — когда, по мере отступления наших войск, *гробовая равнина Бородинская* вдвигалась в стены Москвы в ужасном, могильном своём объёме! Солнце светило и не светило. Улицы пустели. А кто шёл, тот не знал, куда идти. Знакомые, встречаясь друг с другом, молча проходили мимо. В домах редко где мелькали люди. Носились вести, что Мюрат взят в плен. Уверяли, будто бы Государь в Сокольниках, на даче у графа, где Платов имел с ним свидание. Слушали и не слушали: мысли, души, весь быт Московский были в разброде. А между тем, под завесою пыли, медленно тянулись повозки с ранеными. Около Смоленского рынка, близ которого я жил, множество воинов, раненых под Смоленском и под Бородиным, лежали на плащах и на соломе. Обыватели спешили обмывать запёкшиеся их раны и обвязывали и платками, и полотенцами, и бинтами из разрезанных рубашек. В тот самый миг, когда я перевязывал раненого, ехал на дрожках тогдашний Комендант Гессе. Соскоча с дрожек, он обнял и поцеловал меня»[46].

В одно и то же время, как удалялось народонаселение Москвы, и тысячи экипажей выезжали изо всех её застав, убыль эта пополнялась новыми, хотя и временными, обывателями: также тысячи экипажей ввозили в Москву великое число раненых. Спасение их составляло одну из постоянных забот князя Кутузова; он часто писал к графу Ростопчину об изготовлении и присылке подвод. Во время Бородинского сражения было приготовлено множество экипажей и телег, покрытых соломою, на которые тотчас же клали раненых и отправляли на Можайск, в Москву. Многие из них умирали на телегах, и их немедленно хоронили. «Трогательно было видеть заботу, — говорит свидетель-очевидец, один из тяжело раненых под Бородиным, — с которою раненые же солдаты и ратники ломали сучки кустов и, связывая их накрест, ставили на могилу»[47]. Иностранец, также

очевидец, замечая, в каком порядке отступало русское войско, говорит, что, следуя от Бородина к Москве, французское войско повсюду встречало свежие могилы с поставленными на них деревянными крестами[48]. Раненых офицеров распределяли по чинам; низших, за недостатком более удобных экипажей, клали на телеги, которые длинными вереницами медленно тянулись к Можайску. В Можайске скопилось такое множество обозов, что все улицы были «запружены подводами». Разобравшись, по возможности, обозы выезжали из города и двигались далее к Москве.

«При въезде в Москву,— говорит один из таких раненых,— нас обступил народ; женщины бросали нам деньги в карету, и мы с трудом могли их убедить, что деньги нам не нужны, тем более, что тяжёлые пятаки могли нас зашибить»[49]. Очевидно, эти пятаки бросал бедный люд, и сам нуждавшийся в способах существования. Хотя большая часть зажиточным жителей уже уехали из Москвы, но те, которые ещё в ней оставались, охотно предлагали свои домы и услуги раненым. С 28 августа начался приезд в Москву[50] раненых под Бородиным и непрерывно продолжался по самый день её занятия французами; их размещали по больницам, казённым и частным домам. Граф Ростопчин не только сам заботился о доставлении им всех удобств и пособий врачей и духовенства[51], но и поощрял жителей к заботам о братьях, страдавших за Отечество. «Многие из моих знакомых,— говорит он в своих *Записках*,— являлись ко мне просить экипажей для перевозки в Москву их близких родных, раненых под Бородиным. Одна часть из них прибыла на третий день[52]. Князь Багратион был в том числе. Я поспешил навестить его; он был в полной памяти, ужасно страдал; но мысль о судьбе Москвы не давала ему покоя ни на одну минуту. У него была перебита кость в ноге повыше лодыжки, и ему не решились немедленно отрезать ногу, потому что ему было 50 лет, и кровь у него была испорчена. Когда утром, в тот день, в который неприятели должны были войти в Москву, я послал ему объявить это известие и сказать, что надо выезжать из неё, то он отвечал мне запискою: “Прощай, мой почтенный друг; я не увижу тебя более. Я умру не от моей раны, но от Москвы”. Однажды утром мне доложили, что принц Гессен-Филиппсталь, генерал-лейтенант нашей службы*, который был ранен под Можайском и ему отрезали ногу, находится на моём дворе. Он лежал в своей коляске и не хотел, чтобы его перенесли в дом. На

* Граф Ф. В. Ростопчин здесь сильно опережает события: 29 августа 1812, когда принц Эрнст Гессен-Филиппсталь был тяжело ранен и ему оторвало ногу, он был полковником; чин генерал-майора получил в июле 1813, генерал-лейтенанта в 1826 *(прим. ред.)*.

другой день, по его желанию, он отправился в Ярославль, в надежде на попечение принца Ольденбургского, который там находился».

Наши войска отступили в порядке до Можайска, но там встретилось большое затруднение для перевозки пленных по недостатку подвод. «Сего дня поутру,— писал князь Кутузов к графу Ростопчину,— известил я уже ваше сиятельство о причинах, побудивших меня отступить к Можайску, дабы концентрировать свои силы. По прибытии моём туда, к крайнему удивлению моему, не нашёл ни одной выставленной из Москвы подводы. Раненые и убитые воины остались на поле сражения без всякого призрения, а между тем гражданский Московский губернатор отозвался к генерал-майору Ланскому, что он от присылки подвод отказывается. Отзыв сей меня крайне изумляет и побуждает просить ваше сиятельство убедительнейше употребить всевозможные ваши старания, чтоб повозки с лошадьми выставлены были наискорейше к армии, также, чтобы достать для потерявшей вчера артиллерии покупкою или родом пожертвования 500 лошадей. Крайность обстоятельства заставляет меня надеяться, что ваше сиятельство удовлетворите сим моим требованиям в такое время, когда дело идёт о спасении Москвы»[53].

Умалчивая о подводах, граф Ростопчин говорит в своих Записках о сделанных им распоряжениях для удовлетворения второго требования князя Кутузова. «Кутузов,— говорит он,— умолял меня, чтобы прислать 500 лошадей для артиллерии. Я собрал всех лошадей от барышников и купцов, выбрал из них 500 и немедленно заплатил за них, сколько они потребовали. Эти лошади стоили 132 тысячи и, прибыв в Главную квартиру, сделались добычею тех, кто в них нуждался». Недостаток подвод был причиною того, что большое число раненых было оставлено в Можайске и подверглось бедственной участи. Даже впоследствии из Москвы не успели вывезти всех раненых. Конечно, это обстоятельство можно бы объяснить требованием слишком большого количества подвод и притом в весьма короткое время. Устроенные на каждой станции постоянные перевозочные средства (по 1000 лошадей), удовлетворяя и другим потребностям армии, не могли быть достаточны для перевозки огромного числа раненых. Всё их количество со времени сражения под Смоленском находилось по сёлам и городам до Можайска и потом сосредоточилось в этом городе. До прибытия в армию князя Кутузова, не было предпринимаемо деятельных мер к отправлению их далее внутрь страны, точно так же, как в отношении к продовольствию наши войска были поставлены в затруднительное положение. С первых дней приезда заботою князя Кутузова было обеспечить продовольствие

войск и обезопасить участь пленных. Но едва лишь началось правильное их передвижение к Москве, как Бородинское сражение доставило снова огромное число раненых. Недостатку в подводах могло способствовать и то обстоятельство, что граф Ростопчин замедлил заблаговременное удаление жителей из Москвы и долго не приступал к вывозу из неё государственных сокровищей, имуществ и архивов.

Но выражение в письме князя Кутузова, что Московский губернатор отказывается от присылки подвод, показывает, как будто бы он полагал недостаток усердия в этом случае в гражданском начальстве и даже ослушание. Выражение в письме графа Ростопчина к князю Кутузову, что подводы до 1000 лошадей на каждой станции от Москвы до Можайска будут готовы, но в Можайске (оттого, что три пограничные уезда отошли в военное распоряжение) наряду сделать невозможно, точно также дают повод подозревать какое-то соперничество между двумя властями. Граф Ростопчин, по самой своей природе, избалованный быстрым возвышением при императоре Павле, не способен был выносить никакого подчинения. Он явно выражал неудовольствие, когда его деятельность по составлению ополчений подчинена была главному комитету, учреждённому в Петербурге. В письме от 19 августа к князю Кутузову он прямо выразил мысль, что в случае несогласия его взглядов со взглядами главнокомандующего войсками он будет действовать не *вместе* с ним под Москвою, а *один* в Москве, забывая, что по закону, во время военных действий, «приказания главнокомандующего как в армии, так и всеми гражданскими чиновниками пограничных областей и губерний, исполняются яко высочайшие именные повеления»[54]. Замечательно, что князь Кутузов никогда не напоминал ему о своих правах и с какою-то снисходительною учтивостью пользовался ими в отношении к графу Ростопчину. Во всех письмах он не отдаёт ему приказаний, но усердно просит о содействии, выхваляет его деятельность и любовь к Отечеству и только в некоторых случаях, чтобы настоять на своих требованиях, упоминает, что в отношении к тому или другому распоряжению он имеет высочайшее повеление, которое и объявит ему впоследствии.

По мере того, как пустела Москва, когда её оставляла лучшая и более надёжная часть народонаселения, естественно, что в ней всплывали кверху низшие слои, и они-то и выступали теперь наружу. В этих слоях, в Москве, как и во всяком большом городе, находились конечно люди неблагонамеренные, которые способны пользоваться обстоятельствами для личных преступных целей.

«Двое купцов, — рассказывает граф Ростопчин, — сидели под окном и разговаривали между собою, в нижнем этаже дома, и услыхали,

как два человека спорили между собою на улице. Один говорил, что пора поджечь Москву в нескольких местах, ударить в набат и начать грабить. Другой говорил, что надо подождать известий о сражении. Ночь была лунная. Купцы, услыхав эти слова, выскочили из окна, побежали за злоумышленниками и поймали одного из них. Его привели ко мне в полночь. Это был один из Московских мещан, разнощик товаров по деревням. Он от всего отпирался и даже обвинял купцов в насилии, причинённом ему. Но деньги сделали своё дело. Я ввёл его в свой кабинет, без свидетелей отсчитал перед ним 500 рублей ассигнациями и положил их на стол. Потом я поклялся перед образом, что не подвергну его никакому наказанию, но только выпровожу его из города, дав ему эти 500 рублей, если он откроет мне своих сообщников. Два битых часа томил меня этот человек; он собирался всё открыть, но не доверял мне и постоянно повторял: хорошо, я вам скажу; но вы не дадите мне денег, и я пропаду. Наконец, я ему объявил, если он не хочет себя спасти и получить эти деньги, то сей час же отдам его под следствие полиции. Он уступил и объявил, что их было 12 человек (все негодяи); они предполагали поджечь город, ударить в набат и во время общей тревоги и смущения броситься грабить богатые лавки. Его товарищ, с которым он разговаривал на улице, был вольноотпущенный слуга. Его начали отыскивать и на другой же день поймали за городом; но он уже успел предупредить своих товарищей, которые спаслись. Из них поймали только троих. Они были посажены в тюрьму и впоследствии отправлены с другими преступниками из Москвы. Этот же, который открывал умысел, получил 500 руб. и был отправлен в Оренбург, где над ним наблюдали. Но [так] как в их предположения входило ударить в набат, то надо было лишить неблагонамеренных людей этого средства произвести тревогу. Поэтому я утром отправился к архиепископу для того, чтобы на этот случай принять необходимые меры. Он дал строгое предписание всем приходским священникам хранить у себя ключи от колоколен и обрезать верёвки, которые обыкновенно от колоколов протягивались в домы священников, чтобы благовестить к утреням и вечерням. Но [так] как двери многих колоколен не содержались в порядке, то я распорядился, чтобы все надзиратели кварталов позаботились об их исправлении. В один день были исправлены 93 двери, и сделаны к ним замки. Я был очень доволен, а город оставался спокоен, потому что не знал ни об умысле, ни о пожаре, ни о причинах моего попечения о дверях и замках Московских колоколен. За три дня до вступления неприятеля в Москву, мне дали знать, что некто Наумов, маленький дворянин, адвокат, пользовавшийся (и очень справедливо) худою известностью,

подговаривал лакеев и назначил им места, где надо собраться, чтобы пуститься на грабёж, когда придёт время. Он набрал и записал их уже более 600, когда я узнал об этом умысле. Между прочим меня известили, что он похваляется, что убьёт меня самого. Этот господин недолюбливал меня, потому что я не исполнил его желания получить место директора моей канцелярии. Я приказал его схватить; но он уже уехал, оставив меня в живых и со списком в руках тех негодяев, которые должны были по его распоряжению грабить город».

Кроме поддержания спокойствия в городе, главнейшую заботою графа Ростопчина, в последние дни перед занятием Москвы французами, было вывезти из Москвы все государственные имущества и сокровища и удалить оттуда присутственные места с их чинами и архивами. Ещё 18 августа граф Ростопчин заявил Сенату о приготовлении к вывозу из Москвы архива Вотчинного департамента. Но в Сенате не было сделано никаких распоряжений в этом отношении, быть может, потому, что обер-прокурор граф Мамонов оставил свою в нём службу и устраивал конный полк; а известие о назначении ему преемника получено было в Москве только 27 августа.

Сенат долее всех присутственных мест оставался в Москве и продолжал свои обычные заседания. С 29 по 30 августа ночью собрались все обер-прокуроры и решили послать нарочного в Петербург и ожидать распоряжений министра юстиции. Нарочный отправился 31 августа, а 2-го сентября Москва уже была занята французами[55]. Сенат остался бы в ней, если б граф Ростопчин не принял мер с своей стороны. «30 августа, – говорит он в своих *Записках*, – я велел закрыть все присутственные места и приказал чиновникам отправиться в Нижний Новгород. Мне оставалось только распорядиться с Сенатом, который продолжал свои заседания. В числе сенаторов было трое, принадлежавших к партии Мартинистов: 1) Лопухин, который был сослан императрицею Екатериною в то время, когда эта секта была ею уничтожена. Этот Лопухин, с небольшими способностями, но с образованием, сделался пьяницей. Он должен был всем и никому не платил и в то же время все свои доходы обращал на то, чтобы раздавать милостыню, не по щедрости, а из упрямства; 2) Рунич, совершено погружённый в мартинизм, человек умный; 3) Кутузов, племянник фельдмаршала, самый пошлый человек, стихотворец, пьяница, обременённый долгами, доносчик по вкусу к шпионству и крикун в своей секте. Эти трое предложили послать депутацию в Главную квартиру, чтобы узнать от главнокомандующего, не в опасности ли находится Москва и пригласить меня в Сенат, чтобы я сообщил сведения о способах защиты и о мерах, какие я намереваюсь предпринять в настоящих

обстоятельствах. Вся эта проделка было делом самолюбия, и Сенат хотел присвоить себе право верховной власти. Я узнал о их предположениях в тот же самый день и что эти сенаторы-мартинисты хотят убедить своих товарищей не оставлять города, представляя этот поступок как долг самопожертвования с их стороны, из любви к Отечеству, по примеру Римских сенаторов, когда галлы входили в Рим; но их намерение заключалось в том, чтобы, оставаясь в Москве, играть роль при Наполеоне, который бы и воспользовался ими. К несчастью, Сенат, который собственно не более как высший суд, по своей давности и по названию *правительствующий*, пользуется значением в народе, несмотря на то, что его состав, по причине многочисленности и по выбору лиц, далеко не таков, как бывал прежде. Большею частью он состоит из плохих генералов и таких лиц, которых не знают, куда девать, и кресло сенатора есть нечто среднее между действительною службою и полною отставкою. Я весьма заботился, чтобы ни одного сенатора не оставалось в Москве и чтобы тем лишить Наполеона средства действовать на губернии посредством предписаний или воззваний, выходивших из Сената. Я решился на поступок, который впоследствии считали деспотическим. 30 августа, когда сенаторы, честные люди и Мартинисты, рассуждали, как отнестись с своими требованиями ко мне и отправить свою депутацию в Главную квартиру и не приходили ни к каким заключениям, один из моих адъютантов привёз им моё послание, в котором именем Государя я назначил им закрыть заседания, выбрать один из городов империи, куда они пожелают отправиться и выехать немедленно. Надо было повиноваться и выбирать между повиновением и возмущением. Большая часть сенаторов были довольны моим сообщением, потому что оно решало их выехать и таким образом выйти из затруднительного положения. Так как в моих троих Мартинистах не было ничего Римского, то и они повиновались и на другой день уже были за Московскою заставой. Таким образом, я вырвал у Наполеона страшное оружие, которое в его руках могло бы произвесть смуты в провинциях, поставив их в такое положение, что не знали бы, кому повиноваться. Но я принял предосторожности в отношении моих трёх Мартинистов-сенаторов, сказав некоторым, так чтобы мои слова дошли до них, что в случае неповиновения, я немедленно, под хорошею стражею, увезу всякого сенатора, который будет упорствовать остаться в Москве»*.

---

* Молодой тогдашний сенатор, впоследствии пользовавшийся почётною известностью в Москве, князь Сергей Иванович Гагарин, предлагал товарищам отнестись письменно во все присутственные места, чтобы, в случае, если они очутятся во власти

Чрезвычайные обстоятельства оправдывают и чрезвычайные меры, если бы даже эти меры и были деспотические: ибо если когда-либо простителен деспотизм, то именно в этих случаях. Едва ли можно сомневаться в том, что граф Ростопчин поступил благоразумно, позаботившись об удалении Сената из Москвы во время пребывания в ней французов. Конечно, не было никаких поводов предполагать, чтобы не только Сенат в совокупности, но даже и некоторые его члены могли сделаться изменниками Отечеству. Между ними, однако же, могли найтись люди слабодушные, способные уступить угрозам деспота. Но предполагая даже, что и таких бы не нашлось, одно уже присутствие Сената в то время в Москве давало бы действительно важное орудие в руки Наполеону. Не спрашиваясь даже Сената, он его именем мог издавать свои воззвания и предписания, а имя Сената пользовалось ещё большим значением в народе. Вероятно, при том положении, в котором оказались неприятели, войдя в Москву, эти воззвания и предписания не вышли бы из пределов города; но граф Ростопчин этого мог и не предвидеть. Допустив даже, что такие воззвания могли разойтись по России, с вероятностью можно предполагать, что при тогдашнем настроении всего народонаселения, они не произвели бы никакого действия: власть, имеющая слово, была уже не в Москве, а в Тарутинском лагере, и каждое слово, выходившее оттуда, магически действовало на всю Россию. Вообще же этого поступка графа Ростопчина нельзя не оправдать; но также нельзя не отнестись с недоразумением к тому способу действий, который он употребил в данном случае. Послать в заседание Сената своего адъютанта с приказанием закрыть заседание и немедленно выехать из Москвы, употребить угрозу отправления под стражею в Петербург всякого сенатора, который замедлил бы исполнить его волю, всё это выражало величайшее презрение к одному из верховных учреждений империи и вовсе не соответствовало тому званию сенатора, которое носил в это время сам граф Ростопчин[56]. Сенат не присваивал себе никаких прав верховной власти, как обвиняет его граф Ростопчин; он имел полное право рассуждать, как следует ему поступить в этих чрезвычайных обстоятельствах, не получив никаких распоряжений от верховной власти, принятым порядком ему объявленных чрез министра юстиции. Сенат мог пригласить в свою среду генерал-губернатора, как представителя администрации, для совокупного рассуждения о деле общей важности; он мог

Французов, то никто из Русских не исполнял бы указов, посланных из Московского Сената (Слышано от старых людей) *(прим. П.И. Бартенева)*.

отправить депутацию к главнокомандующему армиями, которому закон предоставлял высшую власть над смежными с военными действиями областями и губерниями. Всё это, без сомнения, знал и граф Ростопчин; но две причины, как кажется, помешали ему действовать благоразумно в этом случае. С одной стороны, самолюбие, которое уже было затронуто тем, что Сенат долго не исполнял его предписания об отправлении из Москвы архива Вотчинного департамента и ждал распоряжений от министра юстиции, с другой — подозрение во вредных и даже изменнических умыслах некоторых сенаторов, именно тех, которые принадлежали к числу масонов. Приведённые выше отрывки из писем графа Ростопчина к Императору достаточно показывают его взгляд на этих, совершенно невинных и неопасных в политическом отношении, людей. И при этом случае он выразил тот же взгляд в письме к Государю. «Сенат, — писал он, — ещё сегодня рассуждает о том, закроет ли он свои заседания или будет оставаться до последней минуты, отправив из Москвы важнейшие из своих архивов. Теперь не время заниматься отдельными лицами; но если вам суждено будет спокойно царствовать, то вспомните, Государь, что вы можете рассчитывать на Нелединского, Нарышкина, Кушникова; но никогда не употребляйте Лопухина и Рунича, — они ваши враги»[57].

Сенат находился в недоумении; он не знал, что ему делать, и это недоумение не обличало желания присвоить себе неподобающую власть; а напротив, желание покориться безусловно распоряжению, которое ожидалось от министра юстиции. Сенат не дождался этого распоряжения; но дождался другого, от графа Ростопчина и, несмотря на способ его сообщения, он немедленно и безусловно ему покорился.

Между тем, враждебные одна другой армии постепенно приближались к Москве. Князь Кутузов не только по нескольку раз в день писал к графу Ростопчину, но и присылал своих адъютантов и доверенных офицеров для личных переговоров. Число раненых прибывало всё в большем и большем количестве, а равно пустела и Москва; остававшиеся в ней или томились ожиданием великих бедствий, или волновались мечтанием сразиться с неприятелем и ожидали, когда граф Ростопчин, по своему обещанию — клич кликнет. «В это-то время, — говорит он в своих *Записках*, — случилось происшествие, которое может служить доказательством, что надежда никогда не покидает человека и располагает народ к суеверию. Мне пришли заявить о великом стечении народа у одной очень высокой башни, которая находится на окраине города, и что сокол подал повод к этому собранию народа. Я отправился туда не столько из любопытства, сколько

с целью принудить разойтись народ, который всегда способен сделать какую-нибудь глупость, когда соберётся в большом количестве. Я нашёл до тысячи человек, которых глаза были устремлены на этого несчастного сокола, у которого были путы на ногах, как у всех соколов, приучаемых для охоты: он зацепился ими за крест и повис. Один из проходящих это заметил, указал другим, и тысячи праздношатающихся собрались на это зрелище, которое, по объяснению самых учёных из них, служило предвещанием торжества над неприятелем. Сокол, говорили они, это Наполеон, который погибает на кресте. Я объяснил это обстоятельство также в смысле этой добродушной толпы, и сокол подал луч надежды для глупой части народонаселения, которая никогда не составляет меньшинства. После сражения под Бородиным, я перестал уже прибегать к тем мелочным средствам, чтобы рассеять и занять внимание народа и, надо признаться, что все эти средства уже были истощены. Нужна была тяжёлая забота ума, чтобы придумать что-нибудь такое, что могло бы поразить толпу, тем более, что успех представлялся сомнительным. Наилучшие изобретения в этом роде часто не удавались, тогда как самые пошлые мысли производили изумительное впечатление. К числу таких принадлежал наиболее распространившийся в России между простым народом рассказ, написанный в моём роде (histore de ma façon), который я велел в одно утро напечатать в 5000 экземплярах и продавать по копейке. В нём я рассказывал, что митрополит Платон встретил престарелого монаха который почтительно приблизившись к нему, просил его благословения и сказал, что он возвратился, чтобы сражаться вместе с Русскими. Сказав это, он исчез в виду всех предстоявших, оставя по себе светлый след. Конечно, это был Св. Сергий, который был монахом Троицкого монастыря, где и лежат его мощи; он ходил драться в войско Дмитрия Донского против татарского хана Мамая и остался победителем».

Едва ли нужно исправлять историческую ошибку, а тем более порицать за неё графа Ростопчина: незнание не только подробностей, но даже и важных происшествий Отечественной истории было общим явлением в то время в среде того общества, к которому он принадлежал. Но нельзя не остановить внимания на придуманном им способе отвлечь внимание народа от предстоявшей опасности и возбудить в нём ложную надежду. Сказания о таинственных силах, сверхъестественных чудесах и явлениях производят действие на большинство людей, а тем паче на народ, мало образованный, но верующий. Поэтому неудивительно, что эта сказка, сочинённая графом Ростопчиным, имела успех; но удивительно то, что его самого

поражает этот успех, а ещё удивительнее, что эта сказка в 5 тыс. экземпляров распространена была в Москве в то время, когда находился в ней больной, престарелый и всеми уважаемый митрополит Платон, нарочно прибывший туда из своего уединения в это грозное время. Вероятно, о ней и не сообщили умирающему старцу; но, во всяком случае, ему осталось неизвестным имя её сочинителя. Но она может служить доказательством, в каком отношении находился к представителям нашей церкви граф Ростопчин, так гостеприимно растворивший двери своего дома аббату Сюрюгу и ему подобным иезуитам.

«Курьеры и письма от князя Кутузова,— продолжает граф Ростопчин,— прибывали ко мне по нескольку раз в день. Он постоянно чего-нибудь требовал, что и было к нему отправляемо немедленно. Он хотел, чтобы я один плохой гарнизонный полк, который оставался в Москве, употребил для сдержания мародёров и дезертиров и не пустил бы их в город, забывая, что он не окружён ни рвом, ни стенами и что его окружность простирается до 42 вёрст».

Действительно, князь Кутузов писал ему по нескольку раз в день, требуя подвод, шанцевых инструментов, орудий, зарядов и т.п. и приготовляясь дать новое сражение. «После кровопролитнейшего сражения, вчерашнего числа происходившего,— писал он 27 августа,— в котором войска наши потерпели естественно важную потерю, сообразную их мужеству, намерение моё, хотя баталия и совершенно выиграна, для нанесения сильного почувствования неприятелю, состоит в том, чтобы, притянув к себе столько способов, сколько можно только получить, у Москвы выдержать решительную, может быть, битву. Помощи, которые требую я, различные, и потому отправляю я полковника князя Кудашева к вашему сиятельству представить лично и просить, чтобы всё то, что может дать Москва в рассуждении войск, прибавки артиллерийских снарядов, лошадей и прочего имеемого ожидать от верных сынов Отечества, всё бы то было приобщено к армии, ожидающей сразиться с неприятелем. И к кому же надёжнее могу я во всех сих нуждах обратиться, как не ко известному любовью к Отечеству и усердием, достойному предводителю древней столицы?»

На другой день вслед за князем Кудашевым, он отправил к графу Ростопчину ротмистра графа Апраксина с теми же поручениями, прося немедленно, на *курьерских лошадях*, выслать в армию кирок и лопат. Озабочиваясь устройством перевозочных способов, через два дня после этого письма, он снова писал: «Мы приближаемся к генеральному сражению у Москвы. Но мысль, что не буду иметь способов к отправлению раненых на подводах, устрашает меня. Ради Бога, прошу помощи скорейшей от вашего сиятельства». Эта записка писа-

на из села Вязёмы, откуда от одного 30 числа князь Кутузов отправил шесть записок и писем к графу Ростопчину, что показывает, до какой степени озабочивало его предстоявшее новое сражение с неприятелем. «Я нахожусь сего дня при Вязёме, – писал он, между прочим, – но как здесь позиции никакой нет, то отправился генерал Беннигсен назад приискать место, где удобнее ещё дать баталию. Желательно бы было чтобы два человека расторопных, из ваших, были при мне, чрез которых я мог бы давать словесные известия»[58]. Желая находиться в постоянных сношениях с графом Ростопчиным и держать его в полной известности о своих намерениях и действиях, но, естественно, затрудняясь беспрерывно сноситься письменно, князь Кутузов, для поддержания этих сношений предложил ему эту меру. Кажется, граф Ростопчин никого из *своих* не отправил в Главную квартиру, и в то именно время, когда князь Кутузов предлагал ему эту меру и усиливал свои сношения с ним, граф Ростопчин вовсе их перервал и перестал отвечать на его письма. Поводом к этому послужило следующее обстоятельство.

Граф Ростопчин обиделся предложением главнокомандующего армиями действовать вооружённою рукою против мародёров и дезертиров, когда никаких военных сил не было в его распоряжении. «Разъездов двумястами драгунов делать невозможно», – писал он к министру полиции[59]. Но вслед за этим он получил следующее письмо от князя Кутузова: «По сведениям ко мне дошедшим, неприятель 28 числа ночевал в Рузе, а об силах его утвердительно знать невозможно. Иные полагают на сей дороге целый корпус, 20.000; другие – менее. Неприятель, за отделением сих войск, находится в 15 верстах передо мною, в виду моего арьергарда и сегодняшний день не атакует. Сие может продолжать он и завтра в том желании, чтобы армия моя оставалась здесь; а между тем, сделав форсированный марш на Звенигород и раздавив отряд Винцингероде, состоящий из 2 тысяч кавалерии, 500 человек пехоты и двух пушек, возмёт он дерзкое намерение на Москву. Войска мои, несмотря на кровопролитное, бывшее 26 числа сражение, остались в таком почтенном числе, что не только в силах противиться неприятелю, но даже ожидать и поверхности над оным. Но между тем неприятельский корпус находится ныне на Звенигородской дороге. Неужели не найдёт он гроб свой от дружины Московской, когда б осмелился он посягнуть на столицу Московскую по сей дороге, куда отступит и Винцингероде? Ожидаю нетерпеливо отзыва вашего сиятельства. Прилагаемое при сём повеление к генерал-адъютанту Винцингероде благоволите, ваше сиятельство, отправить поспешнее в город Звенигород»[60].

28 августа Наполеон из Можайска отправил 4-й корпус под начальством вице-короля к Звенигороду. Князь Кутузов опасался, что он может обойти наше правое крыло и даже занять Москву в тылу нашей армии. В этом направлении находился только незначительный отряд наших войск под начальством барона Винцингероде, который, конечно, не мог воспрепятствовать движению целого корпуса вице-короля. Чтобы подкрепить его, князь Кутузов и вызывал на военный подвиг графа Ростопчина. «30 августа меня разбудили ночью,— говорит он в своих *Записках*,— доложив, что приехал посланный от Кутузова. Он извещал меня, что Наполеон отделил от своих войск целый корпус, который двинулся по направлению к Звенигороду, и выражал в своём письме надежду, что Московское народонаселение, вероятно, достаточно для того, чтоб наказать дерзость врага, если бы он покусился проникнуть в Москву. Это уже казалось весьма *дурною шуткою*, потому что Кутузову хорошо было известно, что Москва опустела, и в ней оставалось не более 50 тысяч жителей. Я ему ничего не отвечал и в первый раз позаботился о спасении моего семейства. Я велел всё приготовить к их отъезду и лишь только они проснулись, кареты уже были запряжены, и в 11 часов моя жена и три дочери отправились в Ярославль. Тяжело было наше прощание; мы разлучались, может быть, навсегда, и ужасная будущность отравляла даже мысль о счастье вновь соединиться когда-нибудь»[61].

Приведённое письмо князя Кутузова с первого взгляда должно казаться не только *дурною шуткою*, но даже весьма злою насмешкою. Не может подлежать никакому сомнению, что он очень хорошо знал, что в это время в Москве, кроме нескольких драгун, состоявших при полиции и гарнизонных солдат для внутренних караулов, вовсе не было вооружённых сил. Московское ополчение давно уже было присоединено к действующей армии, ополчения других губерний ещё не приблизились к Москве; о какой же *Московской дружине* говорит в своём письме князь Кутузов? Граф Ростопчин понял это выражение так, что он предлагал ему отразить нападение корпуса вице-короля с Московскими *обывателями* (la population de Moscou). Но могла ли прийти в поседелую голову опытного вождя подобная мысль? Мог ли самолюбивый и раздражительный граф Ростопчин так слегка и как бы мимоходом упомянуть в своих *Записках* о подобном предложении, если бы оно действительно заключало в себе такой смысл? Мог ли, наконец, позволить себе такую шутку князь Кутузов, отличавшийся вообще особенною любезностью в обращении относительно Московского главнокомандующего, которого имя гремело по всей России в это время? При том тогда, когда все его помыслы обращены были к спасению Отечества!

В это время ещё было не до шуток и не до насмешек, и потому необходимо предполагать, что он считал своё предложение возможным исполнить. Но каким же образом? Неужели он мог думать, что необученная хотя сколько-нибудь, невооружённая толпа, может дать отпор целому корпусу неприятельских войск, состоявшему из всех видов оружия и простиравшемуся до 20.000 человек? Конечно, нет. Но граф Ростопчин вызывался составить, *сверх* общего ополчения, ещё другое, в числе 80.000 человек. Тогдашнее настроение общества и всего народа и в особенности Москвы давало надежду осуществления этой мысли; а прямой вызов графа Ростопчина, которому князь Кутузов не имел никаких поводов не верить, должен был ещё более укрепить эту надежду. Князь Кутузов без сомнения знал, как легко было обучать ополченцев: 27 августа, на Преображенской, Измайловской и Семёновской учебных площадях началось учение ратников Петербургского ополчения, которое производилось тем успешнее, что на каждого из старых солдат приходилось не более пяти новых служивых; в продолжении пяти дней, или лучше сказать пяти суток (потому что ратники почти не сходили с учебных мест) более 13 тысяч человек, не имевших понятия о фронтовой службе, научились ходить в ногу, делать довольно ровно ружейные приёмы, стрелять по команде и рядами, строить колонны и каре. Государь, сделав 1 сентября смотр новому войску, изъявил благоволение «за устройство, в котором имел удовольствие видеть в этот день ополчение». Лорд Каткарт, сопровождавший на смотру Императора, указав на ратников, сказал: «Государь, это войско выросло из земли»[62].

Конечно, граф Ростопчин не мог иметь в своём распоряжении столько старых солдат для обучения задуманного им ополчения, но зато он имел не пять дней времени, а гораздо более. Князь Кутузов, без сомнения, понимал, что эти дружины не могут быть достаточны обучены; но 80.000 ратников, хотя бы и мало обученных, возможно было противопоставить одному 20-тысячному корпусу неприятеля. В письме из Гжатска князь Кутузов просил графа Ростопчина двинуть это ополчение к Можайску. Перед Бородинским сражением он писал, что надеется дать сражение: «при пособии войск от вашего сиятельства доставляемых и при личном вашем присутствии употреблю их, хотя ещё и недовольно выученных, к славе Отечества нашего». С самого Бородинского поля, в разгар сражения, он писал и просил «доставить сколько можно из войск, под начальством вашим состоящих». Отступив после Бородина, он надеялся «укрепить себя *ополчением* Московским»[63]. Но Московское ополчение давно уже было присоединено к войскам и действовало в Бородинском

сражении. Под непосредственным начальством графа Ростопчина никаких войск не было, чего не мог не знать князь Кутузов. Поэтому все приведённые места его писем могут относиться только для того добровольного, так сказать, ополчения, которое вызвался, в числе 80-ти тысяч, собрать граф Ростопчин и которое, конечно, и состояло бы под его личным начальством. Но такого ополчения составлено не было; граф Ростопчин, постоянно вызывая на военные подвиги жителей Москвы, не приготовлял из них ополчения, не составлял дружин, не вооружал их и не обучал фронтовой службе. Быть может, он не имел для этого необходимых средств; а впоследствии, когда большая часть народонаселения Москвы оставила её, он лишился и возможности составить такое ополчение. Из оставшихся, по свидетельству самого графа Ростопчина, числа жителей (до 50 тысяч, вероятно обоего пола), едва ли и возможно было набрать более 2 или 3 тысяч способных действовать оружием, которые, без сомнения, никакой помощи войскам и оказать не могли. Впоследствии граф Ростопчин сам смеялся над подобными воинственными выходками. «29 августа Москва была поражена ужасом, когда ночью увидела зарево бивуаков, находившихся уже в 40 вёрстах от города. Этот свет просветил остававшимся жителям, какая ожидает их судьба, и низшие классы народонаселения в огромном количестве начали выходить из города, в который в непродолжительном времени должен был вступить неприятель. Было несколько *смешных порывов любви к Отечеству*: одна дама предложило мне составить отряд Амазонок; актёры Русского театра, одни хотели защищать столицу и предложили свою добрую волю и свои руки генералу Апраксину, который отказался от этого почётного звания и не захотел обессмертить себя с 20-ю театральными героями в римском костюме». Но не сам ли граф Ростопчин вызывал к таким порывам любви к Отечеству, над которыми потом смеялся? Не в таком ли порыве он написал к князю Кутузову, что составит особое ополчение в 80 тысяч человек и тем ввёл его в заблуждение? Когда князь Кутузов, не ограничиваясь простою перепискою с графом Ростопчиным, начал посылать к нему своих офицеров, вероятно, он узнал, что в Москве нет никакого ополчения; но это могло случиться уже за два или три дня до того времени, когда между ним и графом Ростопчиным произошло первое свидание и знакомство на Поклонной горе. До того времени они не были знакомы между собою. Это обстоятельство отчасти также объясняет доверенность в этом случае проницательного полководца к обещанию Московского главнокомандующего, пользовавшегося такою преданностью Москвы и известностью по всей России в это время.

Зарево бивуачных огней выгоняло из Москвы её жителей; все спешили выбраться. Отправив своё семейство в Ярославль, граф Ростопчин, с дачи в Сокольниках, переехал в свой Московский дом на Лубянку. «Окончив обед (29 августа), мы вышли из столовой и в одной из зал были поражены неожиданным зрелищем: — говорит он,— до 20 офицеров, раненых при Бородине, пришли ко мне просить денег. Я предложил им отправиться в разные более или менее отдалённые места и лечиться. Многие не имели силы стоять на ногах; на их одежде были следы крови; другие опирались на костыли; у иных были на подвязях руки. Молодой прапорщик привлёк внимание всех. У него пуля измяла офицерский знак и так сильно его контузила, что он ежеминутно кашлял кровью. Я снабдил их необходимым для путешествия и пожелал искренно выздоровления».

Граф Ростопчин желал, чтобы его считали деятельным и знающим всё, что ни делается в Москве, и поэтому был действительно деятелен, и эта деятельность постоянно должна было усиливаться по мере приближавшейся для Москвы опасности. Может быть, излишне деятельный, до мелочей, в начале своего поприща в качестве Московского главнокомандующего, силою обстоятельств продолжая так же действовать, в это время он вынужден был сделаться деятельным до излишества, которое могло оказать вредное влияние на его здоровье, как это и случилось. Он открыл к себе доступ всем, в первое время своего начальства над Москвою, когда большинство посетителей его приёмной в генерал-губернаторском доме, при отсутствии гласности в это время, являлось к нему для того, чтобы узнать что-нибудь новое в отношении к политическим или военным действиям нашего правительства. Такие собрания нисколько не обременяли его ни заботами, ни распоряжениями. Напротив, они были ему приятны: это были зрители, необходимые для созерцания игры искусного актёра, который ощущал, что силою своего дарования он господствует над этою толпою, которая действительно ему покорялась,— преимущественно, конечно, как генерал-губернатору. Власть в это время облечена была некоторого рода обаянием, сохранявшимся со времён Екатерины, ещё недавних и незабытых, и страхом, озадачившим Россию, в царствование Павла. Но в последние дни августа, это были уже не простые зрители и сборщики новостей, но просители, бедные, которым надо было помогать, раненые, о которых следовало позаботиться. Занятый с утра до ночи удовлетворением просьб частных людей, граф Ростопчин не терял из виду и общих целей, которые преследовал во всё время своего управления Москвою,— поддержать порядок и спокойствие в столице. «Утром, 30 августа,— говорит

он, — я велел позвать к себе главного управляющего винным откупом и объявил ему, чтобы он перестал отпускать вино для кабаков, пригрозив, что если я в одном из них найду завтра хоть один стакан, то велю повесить его на дверях. Это приказание было в точности исполнено; управляющий более всех должен был позаботиться в этом случае. Полиции я приказал вечером запереть все кабаки и выгнать из них сидельцев. Я прибёг к этой мере, потому что множество мародёров, дезертиров и мнимых раненых стекалось отовсюду в Москву; а напиться даром допьяна могло привлечь и часть войск, и так находившихся в беспорядке. Пьяные же могли начать грабёж и, может быть, поджечь город прежде, нежели пройдёт чрез него наша армия. В эту ночь, точно так же, как и в следующую, можно было очень ясно различать два зарева от бивуачных огней нашей и неприятельской армий. Эти огни смущали души тех, которые оставались в Москве и освещали путь тем, которые её оставляли».

Граф Ростопчин ещё не покидал надежды, что Москва не будет без боя оставлена неприятелю. По требованию князя Кутузова он отправил из Москвы на подкрепление его армии два полка в 4 тысячи человек, составленные в Москве под начальством Миллера; но вслед за тем получил от генерала Клейнмихеля высочайшее повеление, которым давалось им другое назначение. В ответ он писал Государю 29 августа: «Полки, составленные Миллером*, отправлены в Можайск, а потом я получил уведомление от генерала Клейнмихеля об ином для них назначении; но когда Ваше Величество делали это распоряжение, вам не было известно, что в делах 24-го и 26-го князь Кутузов потерял более 30.000 убитыми и ранеными и что единственно получив подкрепления, он в состоянии будёт с успехом дать новое и, вероятно, последнее сражение для спасения Москвы. Множество раненых генералов служат доказательством их храбрости и отчая-

* В публикации писем графа Ф.В. Ростопчина к имп. Александру I в 1892 в письме от 29 августа 1812 (*Русский Архив*, 1892, кн. 2, № 9, с. 527–528) эта фамилия и в переводе, и во французском тексте пишется *Меллер*. Приходится ещё раз напомнить, что публикатор писем в Русском Архиве не имел подлинников писем, а лишь копии, сделанные рукой сына графа Ф.В. — графа Андрея Фёдоровича Ростопчина, что вполне допускает возможность описки, ошибки при снятии копии. Но если фамилия в публикации 1892 верна, то речь здесь может идти либо о бароне Егоре Ивановиче Меллер-Закомельском (1767–1830), в 1812 генерал-майоре, командире 1-го кав. корпуса, либо о его брате — бароне Петре Ивановиче Меллер-Закомельском (1755–1823), в 1812 генерал-лейтенанте, состоявшем при 1-й Западной армии, — что противоречит содержанию и смыслу письма *(прим. ред.)*.

ния. Счастливы те, которые не увидят бесчестия Отечества. Народ по-прежнему верен и послушен; он отдан на жертву, с одной стороны, неприятелям, а с другой, своим разбойникам, которые пугают жителей, грабят и жгут деревни. Я сделаю всё возможное, как и всегда делаю, чтобы доставить князю Кутузову средства одержать победу над чудовищем, который явился для разрушения престолов и уничтожения народов. Москва будет стоить ему много крови, прежде нежели он в неё войдёт. Я не перестану служить вам и Отечеству. И когда меня не будет, живой или умирающий, я постоянно сохраню одно желание, чтобы вы разубедились в людях, удостоенных вашей доверенности и своею глупостью, неспособностью или вероломством приведших вас на край пропасти»[64].

Граф Ростопчин питал надежду, что будет дано новое сражение под Москвою, потому только, что сам этого желал, что не признавал возможным без боя уступить врагу древнюю столицу, что не понимал даже, какие могут произойти от того последствия, и гибель Москвы казалась ему гибелью Отечества[65]. Князь Кутузов постоянно выражал намерение дать ещё сражение под Москвою. Но в то же время граф Ростопчин очень хорошо понимал, что нельзя дать этого сражения без надежды на успех, что успеха можно ожидать только в том случае, когда армия князя Кутузова получит значительные подкрепления и что этих подкреплений в достаточном количестве он получить не может: 80-тысячное ополчение рассеялось, как плод воображения. Поэтому он переходил от одной мысли к другой и одинаково был уверен и не уверен, будет ли ещё сражение или нет.

На другой же день, как он написал приведённое письмо к Государю, 30 августа, приехал к нему С. Н. Глинка, утром в 10 часов. «Встречаю его перед кабинетом, — говорит он, — и иду с ним в кабинет. Граф был в военном сюртуке, а я в полных ратнических доспехах. Мы сели на софу, под картою России. Вот наш разговор, без примеси и в точности исторический:

— Ваше сиятельство, я отправляю своё семейство, — сказал Глинка.

— Я отправил уже своих, — отвечал граф Ростопчин, и слёзы блеснули у него на глазах. — Сергей Николаевич, станем говорить, как сыны Отечества. Что вы думаете, если Москва будет сдана?

— Вам известно, что я отважился это объявить 15 июля в зале дворянского собрания; но скажите, граф, откровенно, как будет сдана Москва, с кровью или без крови?

— Без крови, — лаконически отвечал граф Ростопчин. При этом слове Глинка встал и, указывая на карту России, сказал: сдача Москвы

отделит её от полуденных наших областей. Где же армия, к обороне их, займёт позицию?

— На Старой Калужской дороге, где и моё село Вороново; я сожгу его.

Граф говорил всё это,— замечает С. Н. Глинка,— в 10 часов утра 30 августа, а совещание о сдаче Москвы происходило 31 августа, в ночь на 1-е сентября. Граф не был приглашён; следовательно он, по собственному соображению, указал то место, где русское войско станет твёрдою ногою и заслонит от нашествия полуденный наш край».

Вслед за тем граф Ростопчин встал с дивана, подошёл к письменному столу и — «летучим пером,— говорит С. Н. Глинка,— написал *Воззвание на Три Горы*». Подавая это воззвание С. Н. Глинке и поручая немедленно напечатать, он прибавил: «у нас на Трёх Горах ничего не будет; но это вразумит наших крестьян, что им делать, когда неприятель займёт Москву».

«Итак,— замечает С. Н. Глинка,— граф Ростопчин первый повестил *войну Московских поселян*».

Граф Ростопчин, опасаясь влияния разглашений Наполеона, считал однако одною из главных своих задач действовать на дух народа. С. Н. Глинка был из главных его помощников в этом деле. Как скоро граф Ростопчин, по его выражению, развязал ему язык, он действовал неутомимо как в Москве, бродя постоянно между народом и разговаривая с ним, так и по окрестным сёлам и деревням. «Когда студенты университета изъявили желание вступить в ряды армии, то недостаток в деньгах много мешал в этом случае,— говорит С. Н. Глинка.— Я мог брать для нужд других из суммы в 300 тысяч; но мне как будто бы стыдно было развязывать себе руки на деньги в то время, когда доверенность развязала мне язык для выражения вдохновений душевных. Итак, чтобы удовлетворить ревностных просителей, я продавал драгоценные вещи жены моей».

Граф Ростопчин знал, с какою ревностью исполнял его поручения С. Н. Глинка, знал его бедность и что из 300-тысячной суммы он не взял ни рубля, и она оставалась в неприкосновенности, несмотря на то, что он должен был делать некоторые траты. Поэтому, передавая ему для напечатания *Воззвания на Три Горы*, он вслед за тем вынул из бюро *довольно полновесный свёрток* с ассигнациями и, подавая Глинке, сказал: «Государю известно, что вы всем жертвовали и всё отдали. Вот на дорогу для вашего семейства».— «Я не возьму денег,— отвечал ему С. Н. Глинка,— а для скорейшего исполнения Государевых препоручений, прикажите мне дать дрожки. В пустынной Москве почти до самой вашей дачи я шёл пешком. Один добрый гражданин уступил

мне волочки»[66].

Современники и потомки только с литературной точки зрения смотрели на сочинения Глинки, действительно не отличающиеся особою даровитостью и, естественно, не усмотрели в нём политического деятеля; но графу Ростопчину была известна и эта сторона его деятельности. Неужели он смешивал его с другими своими агентами, которых рассылал по тёмным углам Москвы, чтобы следить народное настроение и направлять его по его наставлениям? Или ему неприятно было вспоминать о самой этой деятельности, происходившей в среде простого народа и вызванной излишнею подозрительностью к нему самого графа Ростопчина? Но его подозрительность, хотя, без сомнения, несправедливая в отношении к народу, была разделяема многими в это время, и корень её заключался в действовавшем тогда крепостном праве на крестьян, которое туманило взгляд на народ многих, даже весьма умных и просвещённых людей.

Деятельность С. Н. Глинки со дня издания им *Русского Вестника* и в 1812 году, его в высшей степени честный поступок в отношении той суммы денег, на которую по высочайшему повелению развязал ему руки граф Ростопчин, удостоились полного забвения как современников, так и потомства. Впоследствии Глинка проводил жизнь в совершенной бедности и умер слепым в 1852 году, в Петербурге. Но всего замечательнее то обстоятельство, что в своих *Записках* о 1812 годе граф Ростопчин не говорит о нём ни одного слова, не упоминает даже его имени.

После свидания Глинки с графом появилось следующее воззвание: «Братцы, наша сила многочисленна и готова положить живот, защищая Отечество. Не впустим злодея в Москву, но надо пособить и нам своё дело сделать. Грех тяжкой своих выдавать. Москва наша мать, она нас поила, кормила и богатила. Я вас призываю именем Божией Матери на защиту храмов Господних, Москвы, земли Русской. Вооружитесь, кто чем может, и конные и пешие; возьмите только на три дня хлеба. Идите со крестом, возьмите хоругви из церквей и с сим знамением собирайтесь тотчас на Трёх Горах. Я буду с вами, и вместе истребим злодея. Слава в вышних, кто не отстанет; вечная память, кто мёртвый ляжет; горе на страшном суде, кто отговариваться станет!»

Это воззвание произвело «волнение в народе, волнение самое убийственное: стали разбивать кабаки, — говорит современник, — питейная контора на улице Поварской разграблена, на улицах крик, драка; останавливали прохожих, спрашивая: "где неприятель?" Трудно было отойти от них»[67]. Нельзя заподозрить истины этого свиде-

тельства, тем более, что оно подтверждается распоряжениями самого графа Ростопчина. Мы привели уже выписку из его Записок, в которой он рассказывает, что вечером именно этого дня, 30 августа, он велел запереть все кабаки. Это была не мера предосторожности, но последствие того волнения, которое произвело в народе его *Воззвание на Три Горы.*

На другой день, 31 августа, вышло новое и уже последнее известие графа Ростопчина: «Я завтра рано еду к светлейшему князю, чтобы с ним переговорить, действовать и помогать войскам истреблять злодеев. Станем и мы из них дух искоренять и этих гостей к чёрту отправлять. Я приеду назад к обеду и примемся за дело, доделаем и злодеев отделаем».

ПРИЛОЖЕНИЕ

[О Платове]

«Атаман Платов не раз уже был замечаем,— говорит А. П. Ермолов,— нерадиво исполняющим свои обязанности, а князь Багратион сказал мне, что когда находился он с ним в отступлении из Литвы, он изыскивал способ возбуждать его к предприимчивости и деятельности чрезвычайной, проведав непреодолимое его желание быть графом. Мне причиною недеятельности его казалось простое незнание распоряжаться разного рода регулярным войском, особенно в действиях продолжительного времени. Быть начальником казаков, решительным и смелым, не то, что быть генералом, от которого требуется другой род распорядительности в связи с искусством непременно. Атаман Платов, принадлежа к числу людей весьма умных и отлично проницательных, не мог не видеть, что война 1812 года в свойствах своих не сравнивается с теми, в которых он более многих других оказал способностей». Такого рода действия Платова были поводом к тому, что у него отняли начальство над арьергардом. «Главнокомандующий,— продолжает Ермолов,— справедливо недовольный беспорядочным командованием атамана Платова арьергардом, уволив его от оного, позволил отправиться из армии, и он находился в Москве, когда князь Кутузов дал ему повеление возвратиться к Донским казакам в армии. Арьергард поручен генерал-лейтенанту Коновницыну, и он, отступая от Вязьмы, упорно защищался на каждом шагу» (Записки, Т. I, с. 184 и 188). Нет причин подозревать в пристрастии мнение Ермолова, такого замечательного боевого генерала. Напротив, весьма вероятно, что Платов, *смелый и решительный начальник казаков,* не умел распоряжаться *регулярными* войсками. Свойство же

войны 1812 года было таково, что, при постоянном отступлении, она не представляла возможности выказать казакам и их начальнику свои доблести. Впрочем, где только приходилось им иметь дело, наступательно или оборонительно, против неприятельской кавалерии, как, например, при Романове и Инкове (Молевом болоте), они действовали блистательно. Значительные массы иррегулярной кавалерии при отступлении не могли, конечно, оказать той пользы, какую оказали бы при наступательной войне. Это понимали в штабе 2-й армии. «Из Слуцка князь Багратион может отправить корпус Платова к Вашему Величеству, — писал граф Сен-При Императору, — если это будет вам угодно, тем более, что этот корпус принадлежит к составу 1-й армии, где он может принести гораздо более пользы, нежели у нас. Чин атамана (son rang) представляет неудобства, и притом для нас довольно тех казачьих полков, которые причислены ко 2-й армии, имея в виду числительную нашу силу» (писано от 28 июня).

Что же касается до начальствования Платова арьергардом, то это назначение зависело от главнокомандующего. Впрочем, нельзя не заметить, что когда арьергард был отдан под начальство Коновницына, то, по совету князя Багратиона, он был значительно усилен и, следовательно, мог действовать успешнее. Из *Записок* Ермолова видно, что он находился в добрых отношениях с Платовым и, выражая мнение о его неспособности начальствовать арьергардом регулярной армии, исполнял долг беспристрастия, отдавая, впрочем, справедливость другим хорошим его качествам. Но в бумагах, сохранённых самим Ермоловым, находятся свидетельства о следующем происшествии. Генерал Краснов, старик, подчинён был младшему по службе генералу и притом не из донцов. Он обиделся и написал об этом Платову, говоря между прочим: «мне не нужны ни чины, ни другие награды, лишь бы служба моя соответствовала желанию вашему; быть же посрамлену противу чуждых, ей не могу». (Донесение 15 августа 1812 г., дер. Починки). Посылая донесение Краснова, Платов писал Ермолову: «Обида, генералом Красновым описываемая, что он подчинён младшему, не только для него, но и для меня и даже всего войска, очень чувствительна. Я понимаю, что это произошло, конечно, от ошибки; но как сие всякому прискорбно, то прошу вас приказать в подобных случаях по военному списку выправляться о старшинстве г. генералов, во избежание обиды, от подчинения старшего младшему чувствуемой» (письмо от 16 августа 1812, Поляново). На этом письме Ермолов собственноручно написал: «В ответ на сие письмо объяснено генералу Платову, что в назначении генерал-майора Краснова сделана ошибка, происходящая от недоставления в Главный штаб армии

формулярного о службе его списка, который должна была препроводить канцелярия г. Платова, известившая прежде, что, по недавнему переводу г. Краснова из войска Черноморского, они его в получении не имеют».

«Г. Платова просил я узнать от г. Краснова, называющего *Русских чуждыми*, с которого времени почитает он войско Донское *союзным*, а не *подданным* Российского императора. От г. Платова не было на сие ответа». (Записки Ермолова, Т. I, Прилож., с. 206–208). Вероятно, ответ Ермолова написан был Платову не иначе, как по докладу главнокомандующему, следовательно, с его дозволения. Весьма понятно, что странный вопрос, предложенный начальником штаба 1-й армии атаману Платову, остался без ответа. Слову чуждый, употреблённому генералом Красновым, конечно, он не придавал того значения, которое хотел придать ему Ермолов. Оно означало лишь: послужившего в Донских казаках, а войско Донское имело своё особое устройство. Это обстоятельство, конечно, могло быть поводом к неприязненным отношениям; но не оно было причиною замены Платова Коновницыным в начальствовании арьергардом. Ермолов прямо объясняет причину смены и удаления из армии Платова тем, что он *беспорядочно* начальствовал арьергардом. Но письмо Барклая де Толли к Императору, в котором он выражал своё недовольство Платовым и просил отозвать его от армии, было написано 22 июля из Смоленска. Только 19 июля корпус Платова вошёл в сообщение с 1-ю армиею; 20-го Барклай де Толли предписал ему войти в сообщение с авангардами графа Палена и Шевича и разместить аванпосты от Красного до Холма (А.И. Михайловский-Данилевский. Собр. соч., Т. IV, с. 220–222); арьергард поступил под начальство Платова только 8 августа (Военный журнал полковника Толя). Из соображения этих чисел нельзя не прийти к следующим заключениям:

1) Барклай де Толли не мог быть недоволен не только службою Платова как начальника арьергарда, которая началась гораздо позднее, но даже и действиями его по соединению с 1-ю армиею под Смоленском, которые не могли обозначиться достаточно в *один день*, — в то время, когда он писал Государю и просил отозвать его. Через несколько же дней (27 июля) после этого письма, эта служба Платова выразилась в том, что он выдержал блестящее сражение под Инковым. Главнокомандующий был недоволен его прежними действиями, как и видно из содержания его письма к Императору, т.е. в первый период кампании, когда он не мог присоединиться к 1-й армии, к составу которой принадлежал его корпус, а должен был примкнуть ко 2-й. Но в этом случае возникает недоразумение, которое едва ли возмож-

но объяснить чем-либо, кроме личных свойств Барклая де Толли, а именно: почему же, при таком понятии о Платове, он поручил ему начальство над арьергардом соединённых армий в такое трудное время отступления, т.е. от Соловьёвой переправы через Днепр и почти до самого Царёва-Займища? 2) Свидетельства А. П. Ермолова, как начальника штаба 1-й армии, должны бы пользоваться особенным доверием, — кому же как не начальнику штаба лучше знать, что делается в войсках? — но его свидетельства в этом случае, как во многих других, оказываются совершенно неверными. Он ошибался, говоря, что главнокомандующий был недоволен действиями Платова в арьергарде и потому сменил его и удалил из армии: очень может быть, что он был им доволен и справедливый дал о нём отзыв в официальном донесении Императору; но он был недоволен прежними его действиями и не доверял лично ему, так же, как и самому Ермолову. Ещё более он ошибался, говоря, что Платов «находился в Москве, когда князь Кутузов дал ему повеление возвратиться к Донским войскам в армии». Только 16 августа Коновницын сменил Платова в начальствовании над арьергардом и 18-го того же месяца «в 10 часов по полудни», пишет Платов, он получил предписание главнокомандующего 1-ю армиею, «отправиться к его величеству в Москву». (Рапорт его Барклаю де Толли 18 августа. Записки Ермолова, Т. I, Прилож., с. 198). Следовательно, Платов мог выехать из армии в Москву лишь 19 августа, т.е. на третий день после прибытия князя Кутузова в Царёво-Займище. Между тем из *Записок* Ермолова следовало бы заключить, что князь Кутузов не нашёл его в армии и вызвал к ней из Москвы. Ермолов не знал многого, что делалось в Главной квартире. Барклай де Толли делал распоряжения помимо него и тайно от него; потому что не доверял ему, считая его одним из главных своих противников (Изображ. воен. действий, с. 5–6, *Чтения в Имп. Обществе истории и древностей Российских*, 1858, кн. IV). Такие отношения начальника штаба 1-й армии к главнокомандующему своевременно оценил князь Багратион. «Рекомендую вам главную вещь: вы должны все бумаги министра внизу подписывать, яко главный генерал штаба; вы должны всю переписку знать министра с нами по части военной. Иначе, будете отвечать и поздно будет сказать: я не знал, мне не сказали» (Записки Ермолова, Т. I, прилож., с. 176). Отношения главнокомандующего 1-ю армиею к Платову послужили поводом к различным слухам о нём и вообще о казаках впоследствии; но об них речь впереди.

Глава 7

Свидание Ростопчина с Кутузовъм. – Решение оставить Москву без боя. – 1-е сентября. – Письмо Ростопчина императору об оставлении Москвы. – Ермолов о Кутузове. – Совет в Филях. – Вывоз церковных сокровищ. – 2-е сентября. – Последние часы графа Ростопчина в Москве. – Встреча на Яузском мосту.

1-го сентября из деревни Мамоново выступили последние войска нашей армии к Москве, чтобы занять место, избранное Беннигсеном для предполагавшегося сражения, на пространстве от деревни Филей и до Воробьёвых гор. Предупредив их, князь Кутузов прибыл на Поклонную Гору и сидел, окружённый штабом, по обыкновению на скамеечке, которую постоянно за ним возил вестовой казак. Накануне Беннигсен подробно осматривал местоположение, вместе с полковниками Толем и Мишо. К ним присоединился и только что прибывший в нашу Главную квартиру полковник Кроссар. «Местоположение было неудобно для сражения во всех отношениях, — говорит он. — Между тем Беннигсен выражал намерение дать здесь сражение. Когда ему предъявили удивление, как можно решиться на сражение на такой неудобной местности, он начал креститься, как крестятся русские, уверяя, что ещё три раза будет драться перед Москвою. Эти крёстные знамения со стороны протестанта меня столь же удивляли, как и решимость сражаться на такой позиции. Однако же, Беннигсен не мог определить в точности размещение войск. Как бы ни расположить их, постоянно встречались большие затруднения. Рассуждали, ни в чём не соглашаясь, теряли время; а между тем войска были близко. Толь, который обязан был указать места для войск, постоянно требовал, чтобы Беннигсен выразил своё решение. “Войска уже близко, повторял он беспрестанно: надо на что-нибудь решиться, генерал”. Наконец, Беннигсен выразил своё мнение; Толь начал расставлять войска, и мы возвратились в Главную квартиру. Все эти действия поражали меня странностью до такой степени, что во время обозрения местоположения я хранил молчание». Всё это происходило 31 августа.

На другой день, когда князь Кутузов остановился на Поклонной Горе, и его окружила его свита, А.П. Ермолов спросил Кроссара, что думает он об избранной позиции. «Эта позиция чрезвычайно

опасна»,— отвечал Кроссар. Вслед за тем, тот же вопрос князь Кутузов предложил самому Ермолову. «По одному взгляду,— отвечал он,— невозможно судить положительно о месте, назначаемом для 60 или более тысяч человек, но что весьма заметные в нём недостатки допускают мысль о невозможности на нём удержаться. Кутузов взял меня за руку,— говорит Ермолов,— пощупал пульс и сказал: “здоров ли ты?” Подобный вопрос оправдывает сделанное с некоторою живостью возражение. Я сказал, что драться на нём он не будет, или будет разбит непременно». Чтобы подкрепить своё мнение о позиции, которой он не осматривал подробно, но которой недостатки, может быть, и с первого взгляду бросались в глаза опытному боевому человеку, Ермолов указал князю на полковника Кроссара. «Вот опытный офицер, ваша светлость, говорил он ему; он делал с вами Австрийскую кампанию; он находит позицию также неудобною»*. Князь Кутузов знал полковника Кроссара и отдавал справедливость его способностям. Он участвовал в составлении плана отступления Русских войск от Кремса до Гогенварта. Немедленно по заявлении Ермолова, Кутузов подозвал Кроссара к себе и выслушал его подробные объяснения о неудобствах избранной позиции, удобнее которой, говорил он, «невозможно выбрать для того, чтобы погубить армию». Такое резкое замечание вызвало удивление со стороны главнокомандующего. Кроссар, увлекаясь более и более, спросил: «но имеете ли вы намерение дать сражение?» На такой нескромный вопрос, вызывавший к неуместной в этом случае откровенности главнокомандующего войсками, князь Кутузов с живостью заметил: «Как?.. Хочу ли я дать сражение?» Почувствовав неловкость своего положения, Кроссар спешил продолжать свою речь: «В таком случае, говорил он, вместо того, чтобы ставить войска поперёк дороги, удобнее разместить их параллельно с нею, если только эта гора (на которую он указал) будет удобна». После этих слов князь Кутузов поручил ему вместе с Ермоло-

---

* Предыдущей фразы в кавычках нет в *Записках* А. П. Ермолова, хотя создаётся впечатление, что она взята именно оттуда. А. П. Ермолов после слов «... будет разбит непременно» продолжает: «Ни один из генералов не сказал своего мнения, хотя немногие могли догадываться, что князь Кутузов никакой нужды в том не имеет, *желая только показать решительное намерение защищать Москву* (курсив мой — *С. Н.*), совершенно о том не помышляя. Князь Кутузов, снисходительно выслушав замечание моё, с изъявлением ласки приказал мне осмотреть позицию и ему донести. Со мною отправились полковники Толь и генерального штаба Кроссар» (Записки А. П. Ермолова. 1798–1826. М., 1991, с. 200–201). Возможно, что эта фраза взята А. Н. Поповым из мемуаров Ж.-Б. Кроссара *(прим. ред.)*.

вым и князем Кудашевым осмотреть как ту позицию, которую занимали войска, так и ту, которую он предполагал[1].

В это время приехал туда и граф Ростопчин. «В 6 часов утра, — говорит он, — я выехал из Москвы, чтобы повидаться с князем Кутузовым и переговорить с ним. Мне необходимо было знать, как этот человек (comme cet homme) намеревается действовать: потому что в своих письмах он говорил мне только о Беннигсене, который разъезжает по окрестностям, чтобы избрать удобную местность, на которой можно бы дать большое сражение. По двум улицам, почти на протяжении двух вёрст, я проезжал между двух рядов подвод, нагруженных ранеными, и между толпами также раненых, которые шли пешком в главный госпиталь. В этот день особенно много прибыло в Москву раненых: по донесению коменданта число их простиралось до 26 тысяч. Наша армия приблизилась к Поклонной Горе и остановилась в нескольких верстах от заставы по Смоленской дороге. Сразу я заметил большое неустройство. Я нашёл князя Кутузова сидящим перед огнём. К нему беспрерывно подъезжали со всех сторон генералы, офицеры главного штаба, адъютанты, испрашивая приказаний. Он отсылал их то к генералу Барклаю, то к Беннигсену, а иногда и к Толю, квартирмейстеру, своему любимцу, достойному своего покровителя. Он принял меня чрезвычайно учтиво, отвёл в сторону, и мы беседовали наедине, по крайней мере, полчаса. Это был мой первый разговор с этим человеком. Он очень любопытен. Низости, неуверенность и страх выражались в словах главнокомандующего нашими армиями, который долженствовал быть спасителем Отечества, но который никогда ничего не делал и, несмотря на то, что почтён этим громким титулом. Он объявил мне, что решился дать сражение Наполеону на этом самом месте. Когда я заметил ему, что за позициею местность довольно круто спускается до самого города и если неприятель подвинет нашу линию, то армия наша войдёт в улицы вместе с неприятелем и может быть вся погублена, он продолжал уверять меня, что его не принудят оставить эту позицию; но если бы по какому-либо случаю ему пришлось отступить, то он двинулся бы на Тверь. На моё замечание, что он не нашёл бы там достаточного продовольствия для войск, что его можно найти только в Белом (пристань, откуда хлеб идёт в Петербург), отстоящем от Москвы на 300 вёрст, у него вырвалось выражение: "но прежде всего нужно подумать о Севере и закрыть его". Он имел в виду резиденцию Императора и не обращал внимания на два обстоятельства: если бы корпус Витгенштейна бы разбит, то Сен-Сир был бы в Петербурге гораздо прежде него, а Наполеон, заняв Москву, не мог предпринять поход на Север в сентябре месяце: поход

продолжался бы шесть недель, необходимых, чтобы занять Петербург в конце октября. Следуя по дороге в Тверь, Кутузов оставил бы за собою все свои подкрепления и отдал бы в руки неприятелю всю страну до Чёрного моря. Я его спросил, не предполагает ли он отступить на Калужскую дорогу, куда направлены все обозы с продовольствием. Он отвечал мне уклончиво. Причина заключалась в том, что корпус Понятовского, после сражения при Бородине, был двинут в этом направлении, и он избегал встречи с ним. Он начал распространяться о сражении, которое намерен дать, просил меня, чтобы завтра я приехал в армию вместе с архиепископом и двумя чудотворными иконами Божией Матери, которые он хотел провести по всей линии войск с духовенством во главе, петь молебны и кропить святою водою воинов. Он просил меня прислать ему несколько дюжин бутылок вина и предупредил, что завтра ничего не будет, "потому что (прибавил он) я знаю способ действий Наполеона: он остановится сегодня вечером, даст войскам день отдыха, послезавтра сделает рекогносцировку и через день нападёт на меня". Мы возвратились к огню, около которого собрались генералы и спорили между собою. Дохтуров, который должен был командовать левым крылом, приехал известить, что не было возможности провезти артиллерию по причине крутых берегов реки и высокой горы».

О разговоре с глазу на глаз только и могут быть показания самих двух собеседников; но нам осталось показание одного графа Ростопчина. Поверить его рассказ нечем; но почему же ему не верить? Устранив даже то неприязненное чувство к князю Кутузову, которым пропитан этот рассказ, как и все *Записки* графа Ростопчина о 1812 годе, и обращая внимание только на сущность разговора, нельзя не прийти к тому заключению, что князь Кутузов или насмехался над своим собеседником, желая его уколоть, или считал его человеком, не имеющим никакого понятия о военном деле. Он выразил ему определённо только два предположения: о намерении дать сражение и об отступлении на Север к Твери. Вопрос же о движении на Калужскую дорогу оставлен им без прямого ответа. Последнее весьма понятно: князь Кутузов никогда и никому не сообщал предположений о своих будущих действиях; а это действие притом принадлежало к числу таких, которое необходимо было скрыть. Это может отчасти объяснить, почему он указал на отступление к Твери.

Но действительно ли в это утро князь Кутузов ещё намерен был дать большое сражение под Москвою и отказался от этой мысли только вечером, после того, как большинство членов военного совета в Филях высказалось против? Прежде, нежели будем отвечать на этот

вопрос, мы считаем нужным предложить по существу тот же вопрос, но в ином виде, а именно: при назначении его главнокомандующим всеми русскими армиями, имел ли князь Кутузов в виду защитить Москву от неприятеля и не впустить его туда? Едва ли может быть и сомнение в ответе на этот вопрос: защита Москвы составляла существенную его цель. «Я вспоминаю,— говорит один из приближённых к Барклаю де Толли его адъютантов в 1812 году,— как в Дорогобуже зашла речь о том, что неприятель может проникнуть в Москву, и Барклай отвечал на это: "Когда речь идёт о спасении России, а может быть и всей Европы, Москва в моих глазах то же, что и всякий другой город; дело идёт не о благе городов и областей, а о спасении и поддержании королевств и империй"»[2]. Без сомнения, взгляд князя Кутузова, как Русского человека, был совершенно иной. Навряд ли в его поседелой голове, всецело занятой мыслью о спасении Отечества, во время грозной для него опасности, нашёлся праздный уголок для мысли, хотя бы и мимолётной, о других королевствах и империях Европы; для него Москва не могла иметь такого же значения, как всякий, какой бы то ни был город или местность в Российской империи. Выехав из Петербурга, сидя в карете и смотря на карту России, он часто повторял: «Если только Смоленск застану в наших руках, то неприятелю не бывать в Москве». За Торжком он узнал, что Смоленск уже взят французами. «Ключ к Москве взят»,— сказал он с глубоким чувством и пожалел, что поехал прямою дорогою к Смоленску, а не через Москву. С этого времени возможность защитить Москву от вторжения в неё неприятеля сделалась для него вопросом, который он и выразил прямо в письме к графу Ростопчину из Гжатска. «Не решён ещё вопрос, потерять ли армию или потерять Москву»,— писал он, и этот вопрос оставался для него нерешённым до 1 сентября. Бородинское сражение было вызвано необходимостью. Постоянное отступление привело в уныние всё войско, расстроило дисциплину и возбудило в нём ропот и недоверие к предводителям. Войск требовали битвы, требовали её общественное мнение всей России и Государь. Уступая этим требованиям, и Барклай де Толли решился бы дать большое сражение. Князь Кутузов по собственному убеждению должен был дать такое сражение для того, чтобы не потерять доверия к себе войск и России, и потому-то успех этого сражения решал именно поставленный им вопрос, которого не существовало для его предшественника.

Некоторые из современников происшествий предполагали, что князь Кутузов никогда не думал дать сражение на другой день после Бородина, но говорил это из одной *политики*[3]; но едва ли не вернее

думали те, которые верили, что он действительно намерен был дать сражение, но отказался от этого намерения после того, как были приведены в известность огромные потери, понесённые нашим войском на Бородинских полях. Без сомнения, новое сражение, данное на другой день после Бородинского, было бы не менее ожесточённо, как и первое, и стоило бы не меньших потерь, как бы успешно оно ни окончилось. В таком же случае вопрос, занимавший князя Кутузова, был бы разрешён: армия наша была бы почти уничтожена. Такого решения вопроса, без сомнения, не мог допустить опытный главнокомандующий; но ему тяжело было допустить и второй способ решения, т. е. оставить Москву в добычу неприятелю. Поэтому, *собрав сколько возможно подкреплений и выбрав место* для битвы, он действительно желал дать новое сражение под Москвою. Все письма его в это время, писанные к графу Ростопчину, могут служить доказательством. Нет никаких основательных причин предполагать, что он умышленно его обманывал, как это думали сам граф Ростопчин и многие из иностранных писателей. Приписываемые ему слова, что он *клялся своими сединами, что не отдаст Москву* неприятелю, что будет *и в улицах драться*, что они войти могут в Москву не иначе как *по его трупу*, не находятся ни в одном из его писем к графу Ростопчину; а напротив, находятся большею частью в афишках самого графа Ростопчина[4].

Трудно было Русскому вождю без боя уступить врагу древнюю столицу; но сражения он дать не мог, потому что не получал никаких почти подкреплений; а 80-тысячное ополчение, которое вызвался поставить граф Ростопчин, оказалось существовавшим лишь в его возбуждённом, хотя и любовью к родине, воображении. А может быть князь Кутузов рассчитывал до последнего времени на помощь вооружённых жителей Москвы? «Весьма возможно, — говорит принц Евгений Вюртембергский, — что он надеялся дать сражение Наполеону под самою Москвою и не возведя там надёжных укреплений (за недостатком времени) и рассчитывал, что всё способное носить оружие население Москвы будет его подкреплять»[5].

Переговорив наедине с графом Ростопчиным, князь Кутузов возвратился вместе с ним к своей обычной скамеечке, стоявшей около горевшего костра. Там собралось много генералов и других военных чинов, и велись горячие споры о невыгодности избираемой позиции и о том, следует ли защищать или оставить Москву. Кутузов слушал молча: но «по выражению его лица нельзя было не заметить душевной тревоги», — говорит очевидец, принц Евгений Вюртембергский[6]. В это время возвратился Ермолов, которого вместе с полковниками Толем и Кроссаром он посылал подробно обозреть избранную Бен-

нигсеном местность для битвы. По возвращении Ермолов выразил прежнее мнение и представил доказательства. Князь Кутузов молчал, а войска продолжали устраиваться по отданному приказанию; земляные работы не останавливались... Когда Ермолов окончил своё донесение, граф Ростопчин подошёл к нему и отвёл его в сторону. «Конечно, звание моё обратило [его] внимание на меня, — говорит А. П. Ермолов; — до того гордый вельможа не знал меня». «Не понимаю, для чего усиливаетесь вы непременно защищать Москву, — сказал ему граф Ростопчин, — когда, овладев ею, неприятель не приобретёт ничего полезного. Принадлежащие казне сокровища и всё имущество вывезены; из церквей за исключением немногих, взяты драгоценности, богатые, золотые и серебряные украшения. Спасены важнейшие государственные архивы. Многие владельцы частных домов укрыли лучшее своё имущество. В Москве остаётся до 50 тысяч самого беднейшего народа, не имеющего другого приюта». «Ваше сиятельство видите во мне исполнителя воли начальника, — уклончиво отвечал ему Ермолов, — не допускающего свободы рассуждения». «Весьма замечательны, — говорит Ермолов, — последние его [графа Ростопчина] слова: "если без боя оставите вы Москву, то за собою увидите её пылающую"»[7]. Замечателен, прибавим мы, и ответ Ермолова графу Ростопчину о начальнике, не допускающем свободы рассуждений, когда только что перед тем он два раза сряду очень свободно выразил ему свой взгляд на избранную для сражения местность и ласково был выслушан князем Кутузовым. — Князь Кутузов по-прежнему сидел на своём месте, молча выслушивая противоположные мнения. В это время подошёл к нему принц Евгений Вюртембергский и сказал на ухо: «Надо решиться, князь; хуже всего нерешительность»[8].

Во время этих разговоров на Поклонной Горе, «в эти важные сами по себе мгновения, вдруг раздались раскаты пушечных выстрелов нашего арьергарда, указавшие на близость неприятеля. Многие думали, что чувство чести вынуждало положить предел дальнейшему отступлению. По их мнению, как могила составляет предел земному странствованию человека, так Москва была целью и гробом Русского воина; за ней уже был другой мир». В этих словах принца Евгения весьма верно передано чувство, которое испытывали русские, стоя перед Москвою. Это-то чувство и волновало князя Кутузова и не вдруг заставило его принять решительную меру. Выслушав мнения, он встал, отослал генералов на свои места и, уезжая на свою квартиру в Фили, подозвал принца Евгения и тихо сказал ему: «Это должна решить одна моя голова, дурна ли она или хороша (ici ma tête, fut elle bonne ou mauvaise, ne doit s'aider que d'elle même)». Заметив отно-

шения князя Кутузова к принцу Евгению, граф Ростопчин подошёл к нему и с живостью сказал: «Если бы меня спросили, то я бы сказал: уничтожьте город прежде, нежели отдадите его неприятелю».

Таков был взгляд графа Ростопчина; но «генерал-губернатор, который должен охранять благоденствие города, конечно, не может дать подобного совета». Поражённый этими словами, принц отвечал: «Я не Русский; только Русский может решиться на это»[9].

После отъезда князя Кутузова, граф Ростопчин отправился к Барклаю де Толли, завтракал у него и конечно слышал от него то мнение, что на избранной позиции драться нельзя и что надо оставить Москву без боя. «Он был угрюм и несколько расстроен»; но, увидав барона Левенштерна, обошёлся с ним ласково и пригласил его в город[10]. «Я говорил с Барклаем, и он мне сказал: “Вы видите, что хотят делать; если сделают глупость и решатся на этом месте драться, то я желаю только одного – быть убитым”. Беннигсен, которого я не видал со времени кончины императора Павла, заговорил со мною; я победил отвращение к этому человеку и узнал от него, что он вовсе не верит, чтобы возвещаемое князем Кутузовым сражение было действительно дано; что они сами не знают, сколько у них человек под ружьём и что имеется в виду отступление, которое неизбежно повлечёт за собою занятие Москвы неприятелем. Солдаты смотрели угрюмо, офицеры были унылы; повсюду ужасный хаос; всякий давал советы, повсюду спорили между собою. Накануне вечером Кутузов требовал от меня инструментов для сапёров; я послал 10 наполненных телег; офицер, которому я поручил их доставить, никого не нашёл, кто бы их принял. Полчаса спустя, он явился ко мне за приказаниями: он нашёл, что телеги были распряжены, и лошади взяты кем-то насильно. Не зная к кому обратиться, чтобы вытребовать назад лошадей, я приказал офицеру оставить там телеги с инструментами, а с людьми возвратиться в Москву пешком. Я просил Барклая, чтобы он позволил моему сыну поехать вместе со мною в город. Мне хотелось доставить ему день спокойствия. Он страдал от контузии, которую получил в руку и, казалось, принадлежал к числу тех, которые не думали, что будет дано сражение. Я отправился к архиепископу и передал ему желание Кутузова, чтобы он с процессиею и с иконами пел молебны и окроплял святою водою воинов перед сражением. Это сообщение было не по вкусу преосвященному, который меня спросил: “но куда же я отправлюсь после церемонии?” – “К своим экипажам, отвечал я, в которых вы и отъедете от города, чтобы подождать исхода сражения”. – “Но если оно начнётся прежде, чем я окончу церемонию? Я могу быть взят в плен в этой суматохе или убит!” Чтобы его успокоить,

я объявил ему за тайну моё убеждение, что сражения вовсе не будет, но чтобы он только был готов на всякий случай. Когда мы сели за стол, я заметил, что только мне одному положили кусок белого хлеба: отъезд всех булочников из Москвы был тому причиною. В 4 часа князь Кутузов прислал мне письмо, в котором просил кратчайшею дорогою прислать к нему для присоединения к армии только что составленные два пехотных полка, которые, в ожидании назначения, прибыли в одну деревню, находившуюся в семи верстах от Москвы на Петербургской дороге»*.

Сохранилось письмо князя Кутузова к графу Ростопчину, писанное именно в это время: «При письме вашего сиятельства получил я рапорт генерал-майора Миллера о состоянии его полка. Я намерен присоединить оный к армии; но до тех пор, пока ваше сиятельство не получите дальнейших о сём от меня уведомлений, прошу вас полк оный удержать в Москве». Это письмо есть ответ на письмо графа Ростопчина от 27 августа, приведённое нами выше; оно показывает, что князь Кутузов уже решился на отступление[11]. Его разговор на Поклонной Горе с графом Ростопчиным свидетельствует, что он не только не хотел говорить с ним откровенно, но шутил над ним, так как граф Ростопчин подал к тому повод, вызвавшись сгоряча поставить 80-тысячное новое ополчение из жителей Москвы и её окрестностей и тем ввёл его в заблуждение. Не исполнив своего вызова, граф Ростопчин, проповедывавший постоянно, что с потерею Москвы сопряжена и гибель Отечества, почувствовал, что ему уже не приходится то же говорить самому князю Кутузову. Он начал выражать ему и всем другим окружавшим его лицам совершенно противоположную мысль об оставлении Москвы, чего прежде он и в возможности не допускал. Это, конечно, должно было поставить князя Кутузова в необходимость противоречить ему. Но он мог противоречить и по другой, простой причине: оставление Москвы без боя им, как главнокомандующим, ещё не было решено до военного совета в Филях, а тайные свои помышления и соображения, конечно, он открывать бы ему не стал.

Но с каким убеждением возвратился граф Ростопчин с Поклонной Горы в Москву? Судя по его *Запискам*, он не приступал к особенным мерам, какие необходимы в том случае, если бы он был уверен, что Москва будет оставлена без боя и к которым он приступил немедленно несколько часов спустя, получив об этом известие от князя

* 1812 год в записках графа Ф.В. Ростопчина, *Русская Старина*, 1889, № 12, с. 643–725 *(прим. ред.)*.

Кутузова. До получения этого известия он приготовил следующее письмо к Императору: «Государь! До 26 августа я употребил все старания, чтобы успокоить жителей Москвы и поддержать общественное мнение; но вдруг последовавшее отступление наших армий, приближение неприятелей и огромное количество раненых, наполнивших улицы, привели в ужас Москву. Видя и сам, что её участь зависит от одного сражения, я решился принять меры, чтобы жители, оставшиеся в незначительном числе, выбыли из неё, и я отвечаю вам моею головою, что неприятель найдёт её такою же опустелою, как и Смоленск. Всё вывезено: Комиссариат, Арсенал. Теперь я забочусь о раненых, которые ежедневно по 1500 выезжают из города. Я считаю своею обязанностью объяснить вам, что Татищев, Обрезков и полковник Курдюмов делали невозможное. Часть пороха и свинцу осталась; но если мы потеряем сражение, то всё это пойдёт в воду, и я велю разбить бочки с вином, наполняющие магазины. Москва в руках Бонапарта будет степью, если огонь не истребит её, и может сделаться его могилою. Армии стоят в 6 верстах от города. Позиция довольно хороша и представляет удобные способы к отступлению на Владимир или Калугу, где находятся все наши магазины продовольствия. Но не нужно ходить так далеко. Надо неприятеля заставить уйти и погибнуть со всеми его разбойниками. Армия получила подкрепление в 12 тыс. человек, из пяти полков, которые составлялись здесь, в Клину, Завидове и Подольске. Лобанов прибудет уже поздно, потому что, вероятно, Бонапарт нападёт на нас послезавтра. В том случае, если наши войска оставят Москву в добычу неприятелю, я присоединюсь к главнокомандующему с теми военными, которые здесь находятся и буду служить при армии в качестве простого офицера. Государь! Чтобы слово мир удалилось от вас. История вашего царствования не должна быть запятнана позором, который неизгладимым пятном лёг бы на Русский народ. Он займёт своё место во вселенной, и вы восторжествуете над вашим жестоким противником. Это случится, может быть, очень скоро. Ваши подданные проливают свою кровь и не унывают. Государь, не поддавайтесь увлечению: вы скоро сделаетесь спасителем вселенной. Очень может случиться, что я уже в последний раз имею счастье писать к вам; поэтому позвольте мне отдать под ваше покровительство моего единственного сына. 26 августа он был контужен в руку; ядро разорвало его платье, но он оставался при исполнении своих обязанностей и так будет поступать всегда»[12].

Сын графа Ростопчина, до 17 лет не покидавший родительского крова, в 1812 году определён был в службу и в качестве адъютанта

Барклая де Толли сразу подвергся трудам и походной и боевой жизни. Граф Ростопчин был нежный семьянин и, конечно, с радостью увидал своего сына после первой, продолжительной разлуки и грустно смотрел на утомлённого и контуженного юношу. В то время, когда он писал к Государю, он не мог забыть о сыне, в первый раз после четырёхмесячного отсутствия проводившего ночь в отцовском доме, может быть, последнюю. Не мог он не вспомнить о нём, обрекая себя на смерть. Мы нисколько не сомневаемся, что граф Ростопчин мог пожертвовать и собственною жизнью, точно так же, как он приносил на жертву Отечеству своего единственного, в это время, сына; но это чувство, выраженное в его письме и уверенность, что будет дана битва под Москвою, показывают, что он верил словам Кутузова и не подозревал его в то время*.

После того, как с Поклонной Горы Кутузов приехал в Фили, он, по рассказу графа Ростопчина, «пообедал и, отдохнув, по обыкновению, созвал военный совет, куда пригласил генералов для совещания о том, что следует предпринять, т.е. защищать Москву или оставить её неприятелю. Из 8 или 9 лиц, присутствовавших на этом совете, только один предложил немедленно идти вперёд и напасть на Наполеона, который, по его мнению, ослабил наполовину свои силы, отправив два корпуса, один под начальством Мюрата на Калужскую дорогу, а другой под начальством принца Евгения Богарне на Звенигород. Другие генералы, указывая на печальное, но истинное состояние нашей армии, настаивали на необходимости отступления. Кутузов был того же мнения и объявил, что он пройдёт город ночью и двинется на Рязанскую дорогу. «Он мне оказал в этом случае величайшую услугу, не пригласив меня на этот неожиданный совет; потому что я точно также настаивал бы на необходимости отступления, и это мнение было бы принято, а моё с ним согласие только бы послужило ему оправданием, что он отдал Москву неприятелю. Он написал мне письмо, которое привёз один из его адъютантов, Монтрезор, около 8 часов вечера».

В виду Москвы, куда многие из офицеров отправлялись провести или несколько часов, или переночевать удобнее, нежели на военных бивуаках, старый вождь не в столице поручил отвести себе помещение, где всякий ещё жилой дом готов был гостеприимно отворить двери такому гостю, но в деревне Филях, в одной из крестьянских изб. Быть может, он желал показать собою пример своим боевым сотруд-

---

* Граф Ростопчин мог думать вообще о предстоящей битве, и не под Москвою *(прим. П.И. Бартенева).*

никам, из которых многие имели свои дома в Москве; или тяжело ему было въехать в столицу, которой участь была уже решена в его соображениях, чтобы изречь ей приговор в её собственных стенах. С Поклонной Горы он отправился в Фили и назначил военный совет в 4 часа пополудни. Потрясённый нравственно назначением нового главнокомандующего, утомлённый изумившею всех деятельностью во время Бородинского сражения, Барклай де Толли сделался болен. Его томила лихорадка, когда войска занимали места для битвы под Москвою. Перемогая болезнь, он отправился осмотреть позицию. «Я удивился при виде оной,— говорит он,— найдя её совершенно невозможною для боя. Я поспешил в главную квартиру князя, находящуюся на краю фланга и встретил на пути генерала Беннигсена. Я открыл ему все свои замечания о сей позиции и спросил у него: "Решено ли было погребсти всю армию на сём месте?" Он казался удивлённым, но объявил мне, что вскоре сам будет на левом фланге; вместо того он поехал в деревню, находящуюся в центре, где назначена была его квартира. Когда я объяснил положение армии князю (что я исполнил с помощью рисунка позиции), он ужаснулся. Полковник Толь, у коего он спросил мнения, признал все мои замечания справедливыми; он говорил, что не избрал бы сей позиции и присовокупил, что принуждён объявить, что армии подвергались некоторой опасности»[13]. Выслушивая замечания Барклая де Толли, едва ли мог *ужаснуться* князь Кутузов: точно такие же замечания он только что выслушал от Ермолова, Толя, Мишо, Кроссара, князя Кудашева. Может быть, он действительно был доволен, что подтверждение справедливости этих замечаний услышал от главнокомандующего 1-ю армиею, которого мнение, конечно, имело значение; но едва ли его удовольствие в этом случае можно объяснить тою целью, которую усмотрел генерал Ермолов. «Князь Кутузов, внимательно выслушав, не мог скрыть восхищения своего, что не ему присвоена будет мысль об отступлении и, желая сколько возможно отклонить от себя упрёки [в оставлении Москвы], приказал к восьми часам вечера созвать гг. генералов на совет»[14].

Ермолов объясняет действия князя Кутузова особенною, свойственною ему хитростью. Оставляя пока в стороне ходившую между современниками молву о хитрости князя Кутузова, нельзя не заметить, что в этом случае она не могла выразиться, потому что не достигла бы цели. В уме тонком и предусмотрительном никто и никогда не отказывал князю Кутузову. Мог ли главнокомандующий отклонить от себя упрёки и сложить ответственность за оставление без бою древней столицы России на военный совет, которого мнения были

вовсе не обязательны для него? Он мог отвергнуть даже единогласное мнение совета; а в этом случае нельзя было ожидать единогласия. Тяжёлое чувство при мысли об оставлении Москвы, которое испытывал сам князь Кутузов, было общим чувством всех русских военных людей. Оно могло вызвать скорее на отчаянную решимость погибнуть под стенами города, нежели оставить его без боя. Во всяком случае Беннигсен, постоянно заявлявший о необходимости сражения и выбравший позицию под Москвою, заявил бы то же мнение и в совете. Главнокомандующий всегда мог утвердить одно из мнений, и стало быть ответственность оставалась бы на нём одном. Так и понимал князь Кутузов, что доказывают его слова, сказанные на Поклонной Горе принцу Вюртембергскому. Но, без сомнения, для него было важно то обстоятельство, чтобы главные боевые его сотрудники убедились в необходимости принимаемой им меры, а не исполняли её только вследствие его приказания как главнокомандующего.

В назначенное время съехались в избу, которую занимал в Филях князь Кутузов, генералы Барклай де Толли, Дохтуров, Уваров, граф Остерман, Коновницын, Ермолов, полковники Кайсаров и Толь. Барон Беннигсен заставил себя ждать до шести часов. «1-го сентября,— говорит он в своих *Записках*,— я был занят окончательным осмотром, вместе с полковником Мишо, окрестностей левого крыла нашей позиции, как явился ко мне офицер от князя Кутузова с поручением приехать к нему. Я велел отвечать, что явлюсь немедленно, лишь только окончу осмотр местоположения. Я приехал к князю в седьмом часу вечера и нашёл у него собранный военный совет»*. Исчислив тех же лиц, составлявших совет и упомянув в их числе генерала Платова, он говорит: «Каково было моё удивление, когда я узнал, что дело идёт о том, чтобы провести войска через Москву и оставить столицу неприятелю? Генерал Барклай более всех поддерживал необходимость этой меры». Барон Беннигсен, узнав о предмете совещания и желая повсюду первенствовать, не дождался, чтобы главнокомандующий поставил вопрос для рассуждений, и сам предложил его в таком виде: что следует предпочесть, сражение ли под Москвою, или оставление столицы неприятелю? Князь перервал его речь. По свидетельству Барклая, его сильно огорчил такой бесполезный и легко поднятый вопрос; он заметил, что участь не только армии и Москвы, но и всего государства зависела от того предмета, который предлагается на обсуждение. Такой вопрос, говорил он, без

---

* "Записки графа Л.Л. Беннигсена о кампании 1812 года" *(пер. с франц.)* были опубликованы в *Русской Старине*, 1909, №№ 4, 6, 7, 9, 11, 12 *(прим. ред.)*.

предварительного объяснения главных обстоятельств, совершенно лишний; затем, подробно объяснив все недостатки выбранного для битвы местоположения, князь говорил: «Пока будет ещё существовать армия и находиться в состоянии противиться неприятелю, до тех пор останется ещё надежда с честью окончить войну; но по уничтожении армии, не только Москва, но и вся Россия была бы потеряна». После этих соображений он предложил вопрос в таком виде: следует ли ожидать неприятеля в такой неудобной позиции, или оставить Москву неприятелю? Барклай де Толли доказывал, что позиция весьма невыгодна, дожидаться в ней неприятеля опасно, победить его более нежели сомнительно, потому что он располагает большими силами: со времени Бородинского сражения, наши войска потерпели значительные потери, особенно в офицерах и генералах. Если бы удалось нам удержать место сражения, то во всяком случае мы потерпели бы значительный урон и с остальными силами не были бы в состоянии защитить такого обширного города, как Москва. Но если бы мы были разбиты, то всё, что не досталось бы неприятелю на месте сражения, было бы им уничтожено при нашем отступлении чрез Москву. Конечно, потеря Москвы произведёт тяжёлое впечатление на Государя, но не будет для него делом неожиданным и не вынудит его к заключению мира. Его решительная воля состоит в том, чтобы с твёрдостью продолжать войну. Сохранив Москву, Россия не избавит себя от войны жестокой и разорительной; но сохранив армию, не лишится возможности продолжать войну, которая составляет единственное средство к спасению Отечества. Поэтому Барклай де Толли предлагал оставить Москву без боя и отступить на Владимирскую дорогу, чтобы сохранить сообщение с Петербургом.

Барон Беннигсен, против которого главнейше были направлены речи главнокомандующего 1-ю армиею, отвечал ему: «Я начал с вопроса,— говорил он,— хорошо ли сообразили те последствия, которые повлечёт за собою оставление Москвы, самого обширного города в империи и какие понесут потери казна и множество частных лиц? Подумали ли, что будут говорить крестьяне, общество и вообще весь народ и какие их мнения могут иметь влияние на способы для продолжения войны? Подумали ли об опасности провести через город войска с артиллериею в такое короткое время, когда неприятель преследует нас по пятам? Наконец, о стыде оставить неприятелю столицу без выстрела? Я спрашиваю: будет ли после этого верить Россия, что мы выиграли Бородинское сражение, как это было обнародовано, если последствием его будет оставление Москвы, и не докажем ли мы тем, что его потеряли? Какое произведёт это впечатление на ино-

странные дворы и вообще в чужих краях? Я спрашиваю: разве наши войска будут лучше устроены, оставив неприятелю Москву? Не должно ли наше отступление иметь предел? Я прибавил, что не вижу поводов предполагать, что мы непременно будем разбиты, потеряем всю артиллерию, тогда как после Бородинского сражения мы получили подкрепления, а неприятель получить их не мог. Я думаю, напротив, что мы остались такими же Русскими, которые всегда дрались с примерною храбростью. Если мы в сражении 26 августа потерпели большие потери, то не меньшие потерпел и неприятель как в солдатах, так и в офицерах. Если наша армия после того расстроена, то не менее расстроены и неприятельские войска». Вся эта речь барона Беннигсена клонилась не к тому, чтобы защитить от нападений избранную им позицию, как следовало бы ожидать; напротив, он и не пытался защитить её; а вдруг предложил совершенно новый способ военных действий, рассчитывая, что он найдёт поддержку в общем почти желании войск действовать наступательно. Опираясь на известия, что неприятельские корпуса идут в обход наших флангов, т.е. корпус вице-короля на Рузу и Понятовского на Калужскую дорогу (что подтверждалось сведениями, полученные во время самого военного совета), он предложил: «В продолжении ночи перевести все войска на левое крыло и двинуться навстречу неприятелю, ослабленному отделением этих двух корпусов. Мы непременно бы его разбили, и тогда те корпуса, которые были посланы в обход наших, он непременно бы должен был притянуть к себе, чтобы они не могли быть отрезаны».

«Я заметил на это, – говорит Барклай де Толли, – что об этом следовало подумать ранее и сообразно с тем разместить войска. Время ещё не было упущено, когда я в первый раз объяснил вам невыгоды позиции; но теперь уже поздно: ночью нельзя передвигать войска по непроходимым рвам, и неприятель мог бы ударить на нас прежде, нежели успели бы мы разместить войска в новом положении. При том наша армия, по храбрости, сродной нашим войскам, могла сражаться с неприятелем в позиции и отразить его, но не может исполнять движения в виду неприятеля».

Князь Кутузов выразил согласие с этим последним замечанием и привёл в доказательство Фридландское сражение. Умалчивая о том обстоятельстве, на которое указывал Барклай де Толли, что было упущено время для предлагаемого передвижения войск, барон Беннигсен говорит, что ему показалось *странным* замечание главнокомандующего 1-ю армиею, что Русские войска не в состоянии исполнить этого движения и что оно разобщило бы нас с Калугою, Тулою, Рязанью и Владимиром. «Я говорил, что на открытой долине, которая прости-

рается против нашего левого крыла, и для простого глаза могут быть видимы движения всех колонн, и легко наблюдать за ними, и при том предполагаемое движение вовсе несложно, а напротив чрезвычайно просто. Что же касается до сообщений с показанными городами, то предполагаемое мною движение прикрывает их, что можно видеть, взглянув только на карту и, в случае отступления, нам остаётся только выбрать Старую или Новую Калужскую дорогу». Беннигсен уверяет даже, будто говорил, что и в случае оставления Москвы наши войска должны отступать в этом направлении. Но вслед за тем он рассказывает, что, оспаривая предложенное Барклаем де Толли отступление к Владимиру и Нижнему Новгороду, он предлагал другое, по Рязанской дороге и что генерал Платов поддерживал его предложение.

Мнение Беннигсена поддерживал Дохтуров. «Он сидел, – говорит Беннигсен, – вдали от стола, вокруг которого не могли разместиться все лица, присутствовавшие на совете, и делал мне знаки одобрения моих соображений. «У меня волосы становятся дыбом, говорил он ему потом, когда подумаю только об оставлении Москвы». На другой день после военного совета Дохтуров писал в семейном письме: «Я в отчаянии, что оставляют Москву. Какой ужас, мы уже по сю сторону столицы! Я прилагаю всё старание, чтобы идти врагу навстречу. Беннигсен был того же мнения: он делал, что мог, чтобы уверить, что единственным средством не уступать столицы было бы встретить неприятеля и сразиться с ним. Но это отважное действие не могло подействовать на этих малодушных людей. Мы отступили через город; какой стыд для Русских – покинуть отчизну без малейшего ружейного выстрела и без боя! Я взбешён; но что же делать?» Коновницын, предприимчивый и неустрашимый, но не входивший в обширные военные соображения (по свидетельству Ермолова) защищал наступательный способ действий. Граф Остерман, Уваров и Раевский соглашались с мнением Барклая де Толли. Опровергая предложение Беннигсена, Остерман между прочим выразился, что можно бы решиться защищать Москву, если б генерал Беннигсен мог поручиться, что мы непременно одержим победу. «Это слишком большое требование от одного человека, – отвечал Беннигсен с раздражением: – победа может зависеть лишь от храбрости солдат и умения наших генералов». Раевский приехал к концу совещаний. Князь Кутузов поручил Ермолову пересказать ему сущность рассуждений. «Если позиция отнимает у нас возможность действовать всеми нашими силами, а между тем решено дать сражение, то выгоднее идти навстречу неприятелю, нежели ожидать его. Это лучшее средство расстроить план его атаки; но для подобного предприятия войска наши недовольно привычны к маневрам: потому

мы можем лишь ненадолго замедлить вторжение Наполеона в Москву. Отступление после сражения чрез такой обширный город довершит расстройство армии. "Россия не в Москве, среди сынов она", следовательно, более всего надо беречь войска. Моё мнение: оставить Москву без сражения; но я говорю, как солдат. Князь Михаил Илларионович только может судить, какое влияние в политическом отношении может произвести известие о занятии Москвы неприятелем».

Полковник Толь, разделяя то же мнение, «представил совершенную невозможность держаться армии в позиции, выбранной Беннигсеном; ибо, с неминуемою потерею Москвы, армия подверглась бы совершенному истреблению и потеряла бы всю артиллерию». Поэтому он предложил оставить «немедленно позицию при Филях и расположить армию правым флангом к деревне Воробьёвой, а левым к Новой Калужской дороге, по направлению между деревнями Шатиловым и Воронцовым; и из этой позиции отступить по старой Калужской дороге, буде потребуют обстоятельства».

Так разделились мнения. Один только из участвовавших в совете генералов отстал от одного берега и не пристал к другому. Князь Кутузов обратился к А. П. Ермолову, прося его выразить своё мнение. Вот что рассказывает сам Ермолов. «Совершенно убеждённый в основательности предложения военного министра, я осмелился заметить одно направление на Владимир, не согласующееся с обстоятельствами. Царская фамилия, оставя Петербург, могла назначить пребывание своё во многих местах, совершенно от опасности удобных, не порабощая армию невыгодному ей направлению, которое нарушало связь нашу с полуденными областями, изобилующими разными для армии потребностями, и чрезвычайно затрудняло сообщение с армиями генерала Тормасова и адмирала Чичагова. Не решился я, как офицер, не довольно ещё известный, страшась обвинения соотечественников, дать согласие на оставление Москвы и, *не защищая мнения моего,* вполне *неосновательного,* предложил атаковать неприятеля. Девятьсот вёрст беспрерывного отступления не располагают его к ожиданию подобного со стороны нашей предприятия; что внезапность сия, при переходе войск его в оборонительное состояние, без сомнения, произведёт между ними большое замешательство, которым его светлости как искусному полководцу предлежит воспользоваться, и что это может произвести большой оборот в наших делах. С неудовольствием князь Кутузов сказал мне, что такое мнение даю я потому, что не на мне лежит ответственность. Слишком поспешно изъявил он своё негодование, ибо не мог сомневаться, что многих мнения будут гораздо благоразумнейшие, на которые мог опираться».

Терпеливо выслушивал князь Кутузов рассуждения собранных на совете генералов; только два раза не выдержал он своего обычного спокойствия, остановив Беннигсена, когда он захотел руководить советом, и выслушав мнение, выраженное Ермоловым. Сей последний пользовался большою известностью в войсках; они ценили его ум, храбрость и военные способности; к его мнению не мог равнодушно отнестись главнокомандующий, тем более, что он противоречил сам себе. Князь Кутузов заключил рассуждения совета следующими словами: «С потерею Москвы не потеряна ещё Россия. Первою обязанностью поставляю себе – сохранить армию, сблизиться с теми войсками, которые идут к ней на подкрепление *и самымъ уступленiем Москвы приготовить неизбежную гибель неприятелю.* Поэтому я намерен, пройдя Москву, отступить по Рязанской дороге. Знаю, ответственность обрушится на мне, но жертвую собою для блага Отечества». Встав со стула, он заключил: «Приказываю отступать»[15].

Военный совет продолжался долго, по сказанию одного из современных свидетелей; наконец, поздно вечером, отворились двери избы, и один за другим начали выходить оттуда генералы, и мало-помалу, сперва шёпотом, разгласилось намерение Кутузова оставить Москву. Из памяти очевидцев никогда не изгладится скорбь, овладевшая сердцами. Стыдно было глядеть друг на друга. С Москвою сопряжены были понятия о славе, достоинстве, даже самобытности Отечества. Её отдача врагам казалась сознанием в бессилии защищать Россию. «Незавидна в подобные дни судьба главнокомандующего, к тому же обязанного скрывать под личиною бесстрастия всё, в душе его происходящее! Кутузов, между Бородиным и Москвою, должен был выстрадать века целые». Такой подвиг великой решимости мог совершить только князь Кутузов. «Конечно легче было, уступая общему порыву, дать под Москвой сражение и погибнуть вместе с нею. И тут была слава!»[16]. Но искал не славы только престарелый вождь Русских войск, а спасения Отечества.

Сделав немедленно распоряжения об отступлении обозов и потом войск, князь Кутузов провёл тревожную ночь. Долго ходя взад и вперёд по избе, он как бы не слыхал, как начинал заговаривать с ним полковник Шнейдер. Но когда он сказал: «где же мы остановимся», князь Кутузов, ударив по столу, отвечал: «Это моё дело; но уже доведу я Французов, как в прошлом году Турок, что они будут есть лошадиное мясо». Призвав генерал-интенданта В.С. Ланского, он поручил ему распорядиться продовольствием. «Но куда мы идём?» – спросил Ланской. «На Рязанскую дорогу». «Трудно подвезти туда запасы: они все у Калуги». – «А в Рязани ничего нет?» – «Если прикажете, будет; но

жаль, если продовольствие погибнет или не дойдёт до нас». — «Подумаю, — заметил князь Кутузов, — а ты приди ко мне завтра, когда придёшь на место». Между тем, перед отступлением, войска получили на несколько дней припасов[17]. Ночью Кутузов был печален и несколько раз плакал, по свидетельству Кайсарова, находившегося при нём.

Немедленно после решения, принятого на военном совете в Филях, князь Кутузов написал графу Ростопчину следующие строки:

«Неприятель, отделив колонны свои на Звенигород и Боровск, и невыгодное здешнее местоположение принуждают меня с горестью Москву оставить. Армия идёт на Рязанскую дорогу. К сему покорно прошу ваше сиятельство прислать мне с сим же адъютантом моим Монтрезором, сколько можно более, полицейских офицеров, которые могли бы армию провести через разные дороги на Рязанскую дорогу»[18].

Граф Ростопчин получил это письмо после того, как только что отправил нарочного к Государю с своим письмом от того же числа, выше нами приведённым. Исполнив поручение князя Кутузова и приказав обер-полицеймейстеру предоставить ему в распоряжение сколько возможно полицейских офицеров, он написал Государю следующее письмо: «Государь! В то время, как я отправлял к вам моё донесение, приехал адъютант князя Кутузова и привёз мне письмо с требованием от меня полицейских офицеров, которые должны провесть армию на Рязанскую дорогу. Он говорит, что с сожалением оставляет Москву. Таким его поступком решается участь этой столицы и вашей империи, которая задрожит от гнева, когда узнает, что он отдаёт неприятелю город, в котором заключалось величие России и где покоится прах наших предков. Я последую за армиею; я всё вывез, и мне ничего другого не остаётся делать как плакать о судьбе моего Отечества и вашей»[19]. Это письмо в соотношении с другим, приведённым выше письмом, написанным в тот же день, показывает, что граф Ростопчин был вполне уверен, что под Москвою князь Кутузов непременно даст сражение, и полученная им от него записка в 8 часов вечера была для него совершенною неожиданностью. При таком, кажется, состоянии духа только и могло быть написано это последнее его письмо к Императору из Москвы, перед занятием её французами. Но как же это удивление, эту неожиданность, согласить с тем, что сам граф Ростопчин утром в тот же день советовал князю Кутузову и другим из окружавших его генералов отступить и оставить неприятелю Москву, в которой он не найдёт уже никаких выгод?

Что касается до того, что он рассказывает в своих *Записках* о 1812 годе, то мы в этом случае не останавливаемся на них: мы не раз

уже указывали, что его образ мыслей и его взгляды на события в то время, когда он писал эти *Записки*, совершенно были иные, нежели прежде. Но мы приведём показания современников, свидетелей происшествий, подтверждаемые и им самим в этих *Записках*. Противоречия с самим собою, в которые так часто впадает граф Ростопчин, не могут быть объяснимы ничем иным, как тем ложным положением, в которое он сам себя поставил. Сила обстоятельств, с которою он так смело выступал на бой в начале своей государственной деятельности, в это время, очевидно, подавила его своею историческою тягостью. Неутомимо боролся он с воображаемым заговором мартинистов и восстанием народа, которого будто бы неприятель может склонить на измену обещанием освобождения от крепостной зависимости, и – упустил из виду действительные события. Он не понимал ни силы неприятельского нашествия, ни способов для обороны; полагал, что неприятель никогда не достигнет до Москвы, думал противупоставить ему ополчение из жителей столицы и её окрестностей, которого, однако же, не составлял, объявляя только, что *кликнет клич*, когда настанет время. Увлекаясь несуществовавшими призраками, он поставил себя в совершенно ложное положение к действительным событиям. Он не только не способствовал жителям Москвы удалиться и спасти своё имущество, но помешал им самим вовремя принять эту меру. Начав вывозить из Москвы государственные сокровища и другие предметы в то время, когда огромное количество перевозочных средств потребовалось уже для приближавшихся войск, естественно, он лишил возможности воспользоваться ими в надлежащем количестве как жителей Москвы, так и войска. Неминуемым последствием был ропот первых и негодование князя Кутузова, которое усилилось ещё более, когда приблизясь к Москве он узнал, что не приготовлено никакого ополчения для её защиты, как обещал ему граф Ростопчин, переставший даже отвечать на его письма, встречая намёки на это обещание. Такое ложное отношение к действительности окончилось ужасным происшествием – убийством Верещагина.

Хотя граф Ростопчин и уведомил Государя, что он вывез всё из Москвы, и ему нечего больше делать, однако всю ночь на 2-е сентября он провёл в беспрерывной деятельности. «Сей час по получении письма Кутузова, дав приказание полицейским офицерам провожать по Москве армию, я приказал обер-полицмейстеру, со всеми чинами, находившимися под его начальством и с 64 пожарными трубами, выступить на рассвете из города и следовать во Владимир,– говорит он в своих *Записках*[20].– Такое же приказание я дал начальнику гарнизона. Я послал моего адъютанта к архиепископу объявить ему

высочайшее повеление, что он в продолжении ночи должен выехать из столицы и взять с собою две иконы Божией Матери. Я беспокоился о том, как ему удастся их взять. Одна, Владимирская, находилась в большом соборе; другая, Иверская, в особой часовне, ей посвящённой. Он опасался и не без основания, чтобы оставшееся в Москве народонаселение не воспрепятствовало увезти Покровительниц столицы и что он сам мог подвергнуться опасности. Поводом к такому подозрению служило ему то обстоятельство, что народ в последние три-четыре дня начал действительно опасаться, чтобы не увезли этих икон и посылал караулить их ночью. По счастью, никто не явился в этот день, и выезд совершился скоро и спокойно; но это подозрение народа было причиною того, что не могли спустить и уложить большую серебряную люстру, потому что для этого потребовалось бы по крайней мере три дня времени».

Только за день до вступления неприятеля в Москву начался вывоз церковных сокровищ, которые были уже приготовлены к отправлению по распоряжению архиепископа Августина. Граф Ростопчин 31-го августа прислал 300 подвод, на которых в ту же ночь отправлены были по Ярославской дороге в Вологду патриаршая ризница и библиотека, ризницы соборов, Троицкой лавры и некоторых других монастырей, дела Консистории и Синодальной Конторы. «Но можно ли было в тогдашних обстоятельствах,— говорит один из современников,— Московскому викарию спасти другие вещи священные, об утрате или поругании которых скорбели жители Москвы? Ему должно было или сообразоваться с дальновидными намерениями светского начальства, или действовать по собственной предусмотрительности в случае непредвиденном и даже опасном, и при том перед народом, тогда готовым требовать отчёта в действиях архипастыря». Преосвященный Августин был ограничен в своих распоряжениях в этом случае самым числом подвод, присланных ему графом Ростопчиным и его запрещениями. Ему хотелось спасти драгоценности, оставшиеся в Успенском соборе, Св. мощи и чудотворные иконы; но граф Ростопчин не соглашался на это, чтобы не произвести уныния в народе. Митрополит Платон, по приезде в Москву, спросил игумена Перервинского монастыря, всё ли он спас из монастырских сокровищ? — «Всё лучшее и драгоценное; оставил только серебряные лампады в церквах, чтобы не произвести волнения в народе»,— отвечал игумен.— «Ступай скорее, возьми всё и увези,— возразил митрополит,— когда тать идёт, тогда к чему такие рассчёты?»

Такими расчётами и руководствовался граф Ростопчин и — не без основания. Оставшееся в Москве незначительное количество

жителей было взволновано только что распространившимся его воззванием на *Три Горы.* Там собрались толпы народа и ожидали главнокомандующего и архиепископа, чтобы он благословил их на брань, и даже митрополита Платона, которого именно в этот день едва уговорили выехать из Москвы. На другой день, 1-го сентября, когда церковь празднует *новолетие* и молится *о лете Господнем благоприятнем,* Августин служил литургию в Успенском соборе. «Собор был полон народа и рыдания». Зарыдал и сам преосвященный и сослужившие с ним, когда, складывая антиминс, он сказал: «Скоро ли снова Господь удостоит нас служить в этом храме?» После литургии, среди обозов, тянувшихся по улицам Москвы, он едва проехал на Тверскую, на своё Савинское подворье; но и там осадили его народные толпы, осведомляясь, когда поедет он на Три Горы. Приказав затворить ворота подворья и приготовить лошадей к отъезду с чудотворными иконами, он постоянно посылал к главнокомандующему спросить об окончательных его распоряжениях. Так прошёл день, настал вечер, и только в полночь ему принесли следующее письмо графа Ростопчина: «Преосвященный Августин! Печальное решение князя Кутузова отдать столицу должно решить выезд вашего преосвященства по получении сего немедленно. Тракт назначается вам на Владимир. При сём объявляю вам Высочайшее повеление вывезти из Москвы три иконы, Владимирскую, что в Успенском соборе, Иверскую и Смоленской Богородицы».— Преосвященный, с небывалою для него торопливостью (говорит свидетель-очевидец) распечатал пакет, с явным на лице огорчением прочитал письмо графа и сказал нам: «Дело решено». Немедленно он сделал распоряжения, отправил своего секретаря в Успенский собор, а игумена Перервинского монастыря в Иверскую часовню, принадлежащую этому монастырю. «Я приехал в часовню,— говорит игумен,— хотя в ночное уже время, однако же, застал многих, то входящих, то выходящих в часовню, для поклонения чудотворной иконе. Горевшие лампада и свечи разливали яркий свет по всей улице. Посему, чтобы неприметнее, так сказать, скрыть икону от молящихся, я приказал жившему при часовне иеромонаху облачиться в священнические одежды, нести перед иконою зажжённую свечу и с пением псаломщиками богородичных стихов нести икону, сказывая другим, что она подымается для болящего, а на место её поставил с неё список, что беспрепятственно от народа было исполнено. В сию ночь, кажется, весь город находился в беспрестанном движении, и зарево со стороны Можайска освещало полнеба, так что от него в улицах было светло». В два часа утра преосвященный выехал из Москвы

с чудотворными иконами, спасая, что было возможно на 14 подводах, оставленных ему в распоряжение[21].

«Но что для меня было особенно важно – это отправление раненых и больных, – говорит граф Ростопчин. – Пять дней тому назад, у одной из городских застав, на лугу стояло пять тысяч подвод с упряжью, под надзором довольно значительной стражи, чтобы как-нибудь ночью возчики не разошлись. Надзирателю этой стражи велено было не давать никому ни одной подводы без приказа, мною самим подписанного. Получив письмо Кутузова, извещавшее об отступлении, я послал доверенного человека, который распорядился, чтобы немедленно все подводы были запряжены и отправлены к госпиталям, куда уже было отдано мною приказание поместить на подводы сколько возможно раненых и объявить другим, что неприятель войдёт в город и что они потихоньку могут следовать за обозом, который перевезёт наиболее страждущих в Коломну, где ожидают их барки и всякая помощь. Более 20 тысяч поместились на подводах, не без суматохи, конечно, и споров, а другие следовали за ними пешком. Весь этот поезд двинулся в 6 часов утра, но опасно раненые решились остаться и ожидать неприятеля и смерти. Их было до двух тысяч, а по возвращении моём я нашёл из них живыми до 300. Этот поезд, беспримерный в истории чрезвычайных происшествий, на 4-й день прибыл в Коломну; больные были помещены на барки и препровождены в три города Рязанской губернии, где их поместили, кормили и заботились о них под деятельным надзором профессора Лодера, которого я назначил главным доктором госпиталей. Его просвещённой и человеколюбивой заботливости досталась лучшая награда – полное право сказать: я спас жизнь тысячам больных и раненых. Наполеон в одном из своих бюллетеней упрекал меня в жестоком поступке, что я обрёк на смерть несколько тысяч раненых солдат, оставленных в госпиталях; но если бы он хотел быть справедливым, то должен бы благодарить меня, что я вывез из Москвы 25 тысяч, которые бы все померли в ней с голоду. История обвинила бы Наполеона в смерти этих несчастных, попавшихся ему в качестве военнопленных. – Около полуночи я отправил к Государю нарочного с известием, что Москва отдаётся в руки неприятелю. Я отправил в Ярославль шарлатана Шмидта. Написав уже несколько строк письма к Государю, я заметил, что лист бумаги, на котором я писал, разорван; я взял другой, а этот остался на моём письменном столе и послужил поводом Наполеону объявить в одном из своих бюллетеней: "что в смущении, в каком я находился, я забыл на моём столе недоконченное письмо к Государю"».

Действительно, в пресловутых бюллетенях Великой армии, Наполеон объявлял, что «30 тысяч раненых или больных русских находятся в Москве в госпиталях, оставленные без помощи и пищи», что «в доме этого негодного Ростопчина (ce miserable Rostopchine) нашли некоторые бумаги и одно неоконченное письмо»[22]. Эти бумаги, «по большей части ничего не значущие», говорит граф Ростопчин, были отбиты казаками во время бегства Наполеона и доставлены обратно к нему.

Конечно, число оставшихся в Москве раненых не простиралось до числа, указанного Наполеоном; но в ней остались не одни только тяжело раненые, которые сами не захотели или не могли уже выехать; напротив, подвод не достало и для некоторых из раненых, которые желали покинуть Москву и не достаться в жертву неприятелю. В Голицынской больнице помещали тяжело раненых; в числе их находился А. С. Норов, лишившийся ноги при Бородине. 1-го сентября, пишет он, — «явился ко мне в больницу какой-то крестьянин и подал мне адресованную на моё имя записку, писанную карандашом; эта записка была от моего друга, штабс-капитана Лодыгина, следующего содержания: "Пишу тебе, мой друг, на пушке; мы оставляем Москву, неприятель вступает за нами, спасайся, если можешь, и заяви товарищам". Больно легли мне на сердце слова: "мы оставляем Москву!..", но истина явилась во всей наготе. При мне были мои два человека и одна больничная женщина; я немедленно послал обоих людей отыскать какой-нибудь экипаж и лошадей; к вечеру нашли какую-то бричку, но лошадей ещё не было»[23]. Лошадей не нашли: их нельзя было найти в Москве в это время, когда все спешили выехать и когда огромное количество перевозочных средств было забрано правительством и охранялось стражею. Из этого рассказа не видно, чтобы раненым, находившимся в Голицынской больнице, предлагали выехать из Москвы. Туда не присылали подвод, вероятно, по их недостатку и потому, что в этой больнице помещались тяжело раненые. Их даже не посещали доктора в последние дни перед вступлением неприятеля. Мы это можем объяснить только суматохою, господствовавшею в это время и недостатком в медиках. Главное начальство над военными госпиталями в это время поручено было известному профессору Московского университета Лодеру. Ему поручено было устройство этих госпиталей на 6 тысяч человек офицеров и 31 тысячу нижних чинов. Под его главным попечительством находились и вывезенные из Москвы в Рязанскую губернию раненые. По свидетельству графа Ростопчина, подкрепляемому и другими показаниями современников, Лодер

с таким усердием исправлял возложенные на него поручения, что заслужил общую признательность[24].

«В 11 часов вечера, — продолжает свой рассказ граф Ростопчин, — мне доложили о приезде принцев Вюртембергского и Августа Ольденбургского. Один был полным генералом, другой генерал-лейтенантом наших войск. Они оба приехали просить меня, чтобы вместе ехать к князю Кутузову убеждать его не оставлять Москву и дать сражение неприятелю. Моё объяснение с ними было очень коротко. Когда я спросил, была ли ими заявлена в военном совете необходимость сражения, они отвечали, что даже и не присутствовали в совете. Я заметил их высочествам, что один из них дядя, а другой двоюродный брат Императора, и потому они гораздо более меня имеют права своими советами заставить князя Кутузова изменить решение; при том мне ещё остаётся так много дела до утра, что я не могу посвятить трёх или четырёх часов на поездку, особенно, когда предвижу, что она будет бесполезна. Принцы мне объявили, что они были у князя Кутузова; но их не впустили к нему, объявив, что он спит. Долго они жаловались на князя Кутузова и резко судили о его поступке, прежде чем, наконец, оставили меня. Почти вслед за ними явились ко мне 5 или 6 юношей из хороших семейств и умоляли со слезами на глазах ехать к князю Кутузову и уговорить его отменить приказ об отступлении (которое уже совершалось: артиллерия проходила уже по внешним бульварам). Они были в отчаянии и почитали лично для себя оскорблением это отступление и оставление Москвы в добычу неприятелям. Я успокоил, сколько мог, благородный порыв юности, и эти господа ушли от меня, оставаясь одинаково недовольны как мною, что я не помешал князю Кутузову отступать, так и им, что он не дал Наполеону разбить себя наголову. В то время, когда я запирал в один ящик бумаги, которые намеревался увезти с собою, услышал я крики и плач подле моего кабинета. Когда я вышел, трое грузин бросились мне в ноги и объявили, что двух Грузинских цариц, двух князей и патриарха забыл в Москве г. Валуев, на попечение которого я их отдал. Не знаю уже, где и каким образом нашли им до 15 лошадей, и все эти потомки Грузинских царей отправились в путь; царевны в каретах, а их двор пешком.

Мне не давали покоя ни на минуту. Ко мне непрерывно приходили люди всех состояний; одни просили подвод, другие денег, не имея средств выехать из Москвы. Один полицейский офицер, которого я знал, пришёл ко мне в слезах и привёл с собою 3-летнего ребёнка, которого забыла мать, уехав из Москвы. Я делал всё возможное, чтобы удовлетворить требованиям этих несчастных. Что касается до денег,

то я растратил столько, что выехал из Москвы и очень богатым и вместе с тем бедным человеком: потому что у меня было 130 тысяч экстраординарной суммы, оставшейся у меня и — 630 рублей собственно мне принадлежавших денег. К счастью, мысль о том, где их достать впоследствии, в это время не приходила в голову.

Я велел спросить у полицейских офицеров, не найдётся ли между ними несколько таких, которые бы согласились переодетыми остаться в Москве и посылать мне донесения в главную квартиру через казачьи аванпосты, к которым они могли приближаться, проходя чрез Сокольничий лес. Мне нужно было шесть человек; но вызвалось только пять, кроме одного ещё, которого я сам избрал. Они исполняли поручение с умом, ревностью и большою находчивостью. К счастью, и не подозревали даже их присутствия. Я всех их нашёл по возвращении в Москву, и Государь их щедро наградил.

Около утра ко мне явился г. Загряжский, который прежде состоял при императоре Павле берейтором,— личность пошлая, хвастун и лошадиный барышник. Он мне объявил, что его жена не прислала за ним лошадей из деревни, и потому, закопав в саду всё своё имущество, он намерен оставаться в Москве, чтобы его оберегать. Я ему заметил, что он может подвергнуться большим неприятностям, что я не могу ему ни давать приказаний, ни позволения в этом случае. Но этот человек уже обдумал свой образ действий; он остался и потом явился к графу Коленкуру, который его знал, потому что он покупал ему лошадей в то время, как он был посланником в России. Он принял на себя попечение над конюшнею Наполеона и устроил мастерскую для починки сёдел французской кавалерии».

Так провёл граф Ростопчин день и ночь, накануне вступления французов в Москву,— последние сутки его неутомимой деятельности. «Другой на моём месте,— писал он впоследствии,— может быть не был бы так деятелен; но были три причины, которые постоянно возбуждали моё рвение в это злополучное время: слава моего Отечества, важность места, которое вверил мне мой Государь, и признательность к благодеяниям, которыми осыпал меня император Павел. Занятий было так много, что я не имел времени сделаться больным, и не могу понять, как мог я перенести столько трудов. Со взятия Смоленска и до моего выезда из Москвы, в продолжении 23-х дней, я не ложился спать в постель. Я спал одетый на диване; меня постоянно будили, чтобы читать известия, которые приходили со всех сторон, говорить с курьерами и часто немедленно снова отправлять их. Я приобрёл уверенность, что всегда найдутся способы быть полезным Отечеству. Когда слышишь взывающий его голос: “жертвуй собою для

моего спасения", тогда пренебрегаешь опасностями, превозмогаешь препятствия, закрываешь глаза на будущее; но лишь только займёшься самим собою, станешь рассчитывать, то ничего не сделаешь порядочного и войдёшь в общую толпу народа»[25].

Но что же делалось в Москве в этот день? Барон Левенштерн, которого из лагеря граф Ростопчин пригласил в город, говорит, что она «показалась ему чрезвычайно пуста; только трактиры были полны, но и там никто не веселился. Настроение было сурово, в выражениях лиц простых, бородатых людей заметно было волнение, ожидание, недоверие и какая-то отчаянная решимость; глаза блистали иногда какой-то непреклонной смелостью»[26]. Те, которые ещё не уехали, спешили уезжать, прятали своё имущество или сами уничтожали. С. Н. Глинка 1-го сентября отправил из Москвы свою семью. «Потеряв из виду отъезжающих друзей моего сердца, — говорит он, — и, *по обязанности моей*, объехав с братом моим окрестные селения, возвратился я в безмолвную, унылую Москву, предчувствовавшую, но ещё не слыхавшую решительного слова о своём жребии»[27]. Граф Ростопчин не объявил, да и не имел времени объявить об отступлении наших войск чрез Москву.

В тот же день с вечера началось отступление наших войск через Москву. Обоз прошёл ночью за Рогожскую заставу. В три часа утра 2-го сентября, когда ещё не начинался рассвет, двинулись передовые части войск. За ними последовала вся армия; в 8 часов утра присоединился к ней князь Кутузов со своим штабом. Но деревянный Дорогомиловский мост не выдержал тягости двигавшегося по нём войска, фур и пушек: он повредился и остановил движение. Столпилось огромное число войск по одной из сторон Москвы-реки, и произошло замешательство. Распорядившись починкою моста, князь Кутузов обратился к окружавшей его свите и спросил: «кто из вас знает Москву?» Вызвался князь А. Б. Голицын. — «Проводи меня так, чтобы сколько можно ни с кем не встретиться», — сказал ему главнокомандующий. «Он ехал верхом, от Арбатских ворот вдоль по бульварам до Яузского моста... Во всё время его проезда до моста никто его не видал, и он ни от кого не получал ни одного донесения»[28]. С возвышенного берега Москвы-реки у Дорогомиловского моста можно было наблюдать за движением войск. «Мы смотрели, — говорит один из свидетелей, — на веяние отступавших наших знамён. Кутузов ехал верхом, спокойно и величаво. А полки наши, объятые недоумением, тянулись в глубоком молчании, но не изъявляя ни отчаяния, ни негодования. Они ещё думали, что сразятся в Москве за Москву»[29]. Барклай де Толли ревностно устраивал отступление: 18 часов он не сходил с лошади; его адъютан-

ты расставлены были по разным местам города, чтобы наблюдать за порядком движения войск и немедленно доносить ему, если бы случилось какое-нибудь затруднение или беспорядок[30]. Починка Дорогомиловского моста озабочивала фельдмаршала. Он послал туда Вольцогена, который прибыв на место нашёл большое скопление войск на берегу; но вместе с тем заметил, что возле моста в брод проходили по реке фуры с провиантом. Он указал на это генералу Маркову [Моркову], который по этому броду и провёл ополченцев.

Между тем мост был исправлен, и движение пошло своим порядком. Барклай отъехал к Каменному мосту и, остановясь там, наблюдал за движением войск. Вдруг донесли ему, что солдаты грабят Гостиный Двор. Но посланный туда адъютант привёз ему известие, что сами купцы пригласили солдат в свои лавки, желая, чтобы их товары лучше достались своим, нежели неприятелям. Такое приглашение, случавшееся и в других улицах Москвы, производило, однако, беспорядки, которые прекращались не без усилий. Но вообще «отступление наше производилось в строгом порядке и в унылой тишине. Приближаясь к осиротелой столице, матери городов Русских, воины с сокрушёнными сердцами взирали на великолепные здания, оставляемые врагу: Пашкова дом, особенной архитектуры, многие другие огромные и красивые домы, наконец, Кремль с готическими башнями, с высокими палатами древних царей Русских, и с златоглавым Иваном Великим, безмолвными свидетелями предстоявших бедствий – всё это оставлялось в жертву неприятелю. И тысячи Русских бегут от него с оружием в руках! Столь скорбные мысли приводили нас в неописанную горесть, и, стесняя грудь, исторгали слёзы. Несчастные жители своим отчаянием увеличивали общую горесть. Священники перед церквами, в полном облачении, благословляли Святым Крестом и кропили Святою водою проходящих мимо солдат, освежая тем упадший дух. На каждом шагу представлялись горестные явления: жёны, старцы, дети плакали и выли, не зная, куда деваться. Иные выбегали из домов бледные, отчаянные, и суетились, не понимая о чём: всё в глазах их разрушалось и казалось приближением Антихриста, светопреставлением... Мужественнейшие воины содрогались, взирая на такие явления в погибающей столице своего Отечества. Общее движение, шум проходящих, мрак осеннего дня и страшная мысль о приближении неприятеля были предзнаменованием всех ужасов разрушения Москвы.

Солдаты шли уныло в рядах, генералы и офицеры по своим местам. Во время прохода войск по набережной, между Кремлёвской стеною и рекою, у Каменного моста, для наблюдения за порядком марша, стоял главнокомандующий 1-ю армиею.

Мы прошли за Кремль, внутрь города, и всюду видели горе, плач, отчаяние. Офицеры стали сходиться вместе для беседы о предстоящем, которое для всех было чрезвычайно непонятно; тут и рядовые, под предлогом напиться водицы, ускользали в ближайшие лавочки, домы и погреба, открытые как будто для угощения проходящих: там-то прощались они с матушкой-Москвой... Перед заставою мы вышли на большую, широкую улицу, заставленную в несколько рядов обозами; коляски, брички, телеги ехали вместе с артиллериею по обе стороны. Тут представлялась странная смесь всякого звания людей и экипажей; повозки были наполнены сундуками, узлами и перинами, на которых сидели служанки, а лакеи сзади повозок вели лошадей и борзых собак. Казалось, всякий второпях забирал только одни любимые предметы, для спасения из города. Иные повозки вытесняли одна другую из рядов. Фигнер позволил многим из них пристать к своей артиллерии, до самого выезда»[31].

Только утром, 2-го сентября, остававшиеся в Москве жители узнали о движении через город Русских войск, покидавших Москву в добычу неприятелю. Это известие, конечно, прежде всего распространилось по тем улицам и частям города, по которым довершалось движение войск; в отдалённые части оно проникало постепенно, и в некоторых узнали только тогда, когда неприятели уже заняли Москву. Для многих даже самое движение через Москву наших войск было непонятно, и они смотрели на него, не подозревая его значения. «Как сейчас помню,— говорит один из военных, действовавших в это время, лиц,— еду мимо одного дома и вижу у отворённого окна пожилую женщину с двумя молодыми девушками, вероятно, мать с дочерьми. Я удивлённым тоном спросил: "Что вы тут делаете? Ведь Французы идут за нами по пятам; вы можете попасть в плен". Дама сначала не хотела этому верить, но вдруг подскакал какой-то мужчина, проговорил второпях несколько слов, и вот в доме поднялся ужасный крик: "Лошадей... экипажи... Французы"»[32]. Из оставшихся ещё в Москве жителей все почти, имевшие какую-либо возможность, принимали меры для обеспечения своего выезда из Москвы, зарывали или вообще прятали в тайные места имущество, которого не считали возможным вывезти, укладывали другое в экипажи и подводы и держали наготове лошадей. Всё это двинулось вместе с войсками с утра 2-го сентября; но те, которые узнали поздно об оставлении Москвы, около вечера этого дня, уже случайно могли выбраться из города, а большею частью попадались в плен неприятелям, занимавшим уже столицу. Некоторые даже и в это время, смотря уже на отъезжающих своих знакомых, спрашивали, куда они едут, и когда им отвечали,

что едут от французов, говорили: «какие это Французы, это Англичане пришли к нам на помощь»[33].

К длинным вереницам обозов, состоявших из всевозможных родов экипажей, тянувшихся к Владимирской, Ярославской и Рязанской заставам из всех улиц Москвы, присоединялось огромное количество пешеходов, уносивших каждый, что мог или, лучше, что схватил второпях из своего имущества. Это переселение жителей Москвы, двинувшееся вместе с движением войск по огромному городу, изрезанному большею частью узкими и неправильными улицами, без сомнения, затрудняло движение войск и давало трудную задачу нашему авангарду удержать стремление неприятеля и замедлять его вступление в город, который он считал последнею целью своего трудного и долгого похода. Обстоятельство это не ускользнуло от внимания князя Кутузова. Он понимал, что быстрое движение французского авангарда, горевшего нетерпением войти в Москву, может быть гибельно не только для спасавшихся жителей Москвы, но и для значительной части войск, которой движение они затрудняли на каждом шагу. Приехав к Рогожской заставе, он послал Ермолова к генералу Милорадовичу сказать, «чтобы он, сколько возможно, удерживал неприятеля или бы условился с ним, дабы иметь время вывезти из города тяжести». У Дорогомиловского моста Ермолов встретил генерала Раевского, начальствовавшего частью арьергарда и передал ему это поручение. «Сойдя с лошадей,— говорит он,— поговорили мы некоторое время; смотря на Москву, погрустили о ней. Впереди ничего не представлялось нам утешительное, и большой перемены в положении нашем предвидеть было невозможно. От князя Кутузова чего-то ожидали, но не с полною предавались доверенностью». Генерал Милорадович, блистательно исполнив возложенное на него трудное поручение, оказал великую услугу не только несчастным Московским жителям, но и самим нашим войскам.

«От князя Кутузова чего-то ожидали»,— говорит А. П. Ермолов, весьма двусмысленно относившийся к нему, как это видно из его *Записок*,— и эти слова объясняют, почему войска не теряли надежды. «Я наблюдал,— говорит он далее,— какое действие произведёт над войсками оставление Москвы, и заметил с радостью, что солдат не терял духа, не допускал ропота. Начальников поражала потеря древней столицы. В Москве было уже мало жителей и по большей части не имеющих пристанища в другом месте. Дома были пусты и заперты; обширные площади уподоблялись степям; в некоторых улицах не встречалось человека. В редкой из церквей не было молящихся жертв, остающихся на произвол врагов бесчеловечных. Душу

мою раздирал стон раненых, оставляемых во власти неприятеля. ...С негодованием смотрели на это войска»[34].

Тяжело раненые, оставшиеся в Москве, находились в больницах и, следовательно, не могли *своим стоном раздиратъ душу воинов*; остальные были все вывезены в ночь. Правда, при этом огромном обозе, но всё-таки не могшем поднять всех, те из раненых, которые могли идти, отправились пешком. Быть может, некоторые из них отставали вследствие изнурения и встречались с отступавшими войсками на улицах Московских. Но вероятнее, что это были раненые в последних делах нашего арьергарда, которые вместе с самими войсками вошли в Москву. Конечно, войска, не имея достаточных средств, не могли всех их увезти с собою, и некоторые из тех, которые шли пешком, могли отставать от них и даже остаться в Москве. *Войска* могли смотреть с сожалением на этих несчастных; но едва ли с негодованием на кого-либо, потому что не на кого было негодовать. Впрочем, какие бы горькие чувства ни волновали русских воинов в это тяжёлое время, важно то, что они *не роптали, не теряли духа*. Это состояние духа происходило от того глубокого доверия, которое они питали к своему предводителю. «Проходя по улицам этой древней столицы,— говорит свидетель происшествия, тоже не расположенный к князю Кутузову,— солдаты и офицеры плакали. Кутузов отдавал её на произвол неприятелю и, сделай это Барклай – в войсках несомненно произошло бы возмущение»[35]. В общем настроении русских войск, солдат и большей части офицеров, терялись и исчезали всякое частное чувство и особенные мысли и соображения отдельных лиц. «Войска во время отступления по Москве казались смущёнными и убитыми. Но к этому примешивалась и досада; подозревали даже измену, смотрели с недоверием на всех не-Русских по происхождению, и этого упрёка не избежал даже Барклай, столько раз доказавший на деле свою преданность Отечеству. Многие явно называли его изменником. Между знатными офицерами были и другие причины грусти; одни жалели о своих оставленных в Москве палатах, другие об участи родных и друзей; большинство же, и можно даже сказать почти все, испытывали чувство унижения: богатую столицу, древний город, матушку-Москву оставлять в добычу неприятелю! Гнев мешался с чувством мести, и тогда уже некоторые восклицали, что этот позор может быть изглажен только вступлением в Париж. Это были голоса в пустыне. Каким образом непобедимого, пред которым пала вся Европа и теперь Москва, можно было надеяться прогнать во Францию, в Париж? – А между тем это желание совершилось»[36].

Менее всего, впрочем, можно подозревать богатых русских дворян в том, чтобы они сожалели о своих Московских домах, в смысле потери имущества. «Вечером 1-го сентября,— рассказывает граф Ростопчин,— я отправил моего слугу на мою дачу, чтобы привезти оттуда два портрета, которые мне были очень дороги: один — моей жены, другой императора Павла. Нельзя здесь не заметить, что я оставил всё моё имущество в моих двух домах, картины, книги, бронзу, фарфор, экипажи, погреба, наперёд зная, что всё будет разграблено. Я хотел понести такие же потери, как и другие, быть в одинаковом положении с другими жителями Москвы, у которых были там свои дома. Двадцать подвод увезли бы всё это имущество, стоившее до полумиллиона. У меня были тысячи лошадей в распоряжении, и сверх того из моего Воронова я мог вытребовать до 500; но я всем пожертвовал. В это время не обратили на это внимания, а после смеялись. Со мною случилось то же, что часто случается, что хорошие душевные движения, без всякого расчёта, приписывают глупости». Это чувство выразилось в то время не в одном графе Ростопчине, но во многих богатых русских, имевших, так же, как и он, все средства спасти своё имущество и оставивших его в своих Московских дворцах на расхищение неприятелю. «Владельцы, потерявшие наиболее при вторжении неприятеля в Москву,— писал он впоследствии,— даже не представили от себя сведений о потерях в комиссию вспоможения; между тем не подлежит сомнению, что оба графа Разумовские, генерал Апраксин, граф Бутурлин и я, мы потеряли как в городских, так и в сельских домах и движимом имуществе более, нежели на пять миллионов рублей. Из библиотеки графа Бутурлина, которую ценили в миллион, не осталось ни одного тома. Воспоминание об этих потерях перейдёт по наследству к детям»[37]. Нет никакого сомнения, что имущества этих лиц могли быть спасены; впоследствии и удивлялись *неосторожности Москвитян*[38]. Простительно бедняку хлопотать о спасении своего имущества, потом и трудом приобретённого и обеспечивающего его существование даже в грозное время гибели Отечества; но кто же не оценит высокое, безотчётное и бессознательное чувство как бы презрения к мысли и заботам о спасении своего частного имущества в подобное время, со стороны нашего богатого дворянства?

Едва наши войска прошли Москву, как все улицы, которыми они следовали, покрылись снова подводами, экипажами и толпами пешеходов, со всех сторон теснившимися на главных путях, ведущих к заставам, противоположным Дорогомиловской; а между тем в это время вступал в неё наш арьергард. Милорадович к трём часам

пополудни только въехал в Дорогомиловскую заставу и поспешил к своей пехоте, уже отступавшей по городу. Когда с своею свитою он подъехал к Кремлю, его поразило странное зрелище: граф Ростопчин ещё ночью сделал распоряжение, чтобы Московский гарнизонный полк, находившийся под начальством генерал-лейтенанта Брозина, выступил из Москвы; но его распоряжение приводилось в исполнение только в это время. Полк шёл с музыкою, песенники впереди. «Это какой-то изменник радуется нашему несчастью», — громко говорили солдаты и жители. Увидав это явление, пылкий Милорадович подскакал к полку и закричал: «Какой негодяй вам приказал идти с музыкою?» Генерал Брозин хладнокровно отвечал: «В Регламенте Петра Великого сказано, если гарнизон при сдаче крепости получает дозволение выступить свободно, то выходит с музыкою». Поражённый таким ответом, Милорадович отрывисто сказал: «Разве в Регламенте Петра Великого есть что-нибудь о сдаче Москвы? Прикажите замолчать вашей музыке»[39].

Только к пяти часам Милорадович успел достигнуть заставы и вывести на Коломенскую дорогу свои войска. Священник Николо-Ямской церкви вышел в полном облачении с крестом, святою водою, чудотворною иконою Св. Николая и зажжёнными свечами, когда наш арьергард проходил по Таганской и Николо-Ямской улицам. Он окроплял св. водой проходивших мимо воинов; солдаты ловили капли воды, крестясь и крича: враг наш погиб, а не мы! Офицеры сходили с лошадей и прикладывались к иконе. При этом солдатам раздавали печёный хлеб[40]. Арьергард был также грустным свидетелем множества раненых, которые лежали на тротуарах около домов и которым не было средств оказать помощь.

В это время, когда наши войска проходили по Москве, 2-го сентября «утром около 10 часов, — говорит граф Ростопчин, — всё было приготовлено к моему отъезду. Я послал за моим сыном, который спокойно спал до 6 часов и только проснувшись узнал о судьбе Москвы. Он долго не приходил; я сам пошёл его отыскать и встретил выходящего из спальни моей жены с глазами полными слёз. "Я ходил проститься и в последний раз посмотреть на мою мать и сестёр", сказал он мне. В этой комнате были их и все семейные портреты. Я понимал грусть моего сына; он оставлял родительский дом, быть может, навсегда, и хотел проститься с матерью, которая была его воспитательницею, учительницею и наставницею; не найдя её в Москве, он прощался с её портретом, перед отъездом в армию, на 17-м году жизни, ходом обстоятельств принуждённый желать смерти, чтобы избежать бесславия быть покорённым.

Я вышел на двор, чтобы сесть на лошадь и встретил несколько человек, которые должны были ехать со мною. Улица перед моим домом была наполнена народом, который желал быть при моём отъезде. Лишь только я показался, все сняли шапки. С утра я приказал вывести из тюрьмы и привести ко мне купеческого сына Верещагина, сочинителя прокламации Наполеона, и учителя фехтования француза Мутона, который за революционные выходки был судим и уже недели три как приговорён Уголовною Палатою к наказанию плетьми со ссылкою в Сибирь (но я велел отсрочить исполнение приговора). Оба они содержались в доме неисправных должников, и их забыли отправить вместе с 730 преступниками Московской губернии и всех тех, которые занимал неприятель, находившимися в большой тюрьме и за три дня до вступления неприятеля отправленными, под охраною стражи из гарнизонного батальона, в Нижний Новгород. Человек 20 несостоятельных должников, которые помещались в особом доме, были, по моему распоряжению, выпущены на свободу: их кредиторов уже не было в Москве, и обстоятельства не благоприятствовали уплате долгов. Я был очень удивлён, когда прочёл однажды, что эти несостоятельные должники превратились в бюллетенях Наполеона в легион, состоявший из 500 человек и приводивший в исполнение мой проект о сожжении Москвы.

Я велел привести к себе Верещагина и Мутона; я обратился к первому, упрекая его в преступлении тем более ужасном, что из всего народонаселения Москвы нашёлся он один, который хотел предать Отечество. Я ему сказал, что Сенат приговорил его к смерти, и приговор должен быть исполнен. Я приказал двум унтер-офицерам из находившихся при мне драгунов бить его саблями. Он упал, не произнеся ни одного слова. Потом я обратился к Мутону, который читал молитвы, ожидая той же участи. “Я оставляю тебе жизнь, ступай к своим и скажи им, что несчастный, которого я наказал, был единственный из Русских изменник своему Отечеству”. Я отвёл его к воротам и дал знать толпе, чтобы его пропустили. Толпа расступилась. Мутон убежал, и на него не обратили никакого внимания, хотя по арестантской одежде его можно было отличить от других: он был без шапки и с молитвенником в руках. Я сел на лошадь, выехал со двора и из улицы, где был мой дом, не оборачивая головы назад, чтобы не смущать себя прошлым, закрывая глаза на настоящее, которое было ужасно и отступая перед страшным будущим.

Я отправился на один из бульваров, где остановился, в ожидании известия от посланных мною о том, что неприятель уже в городе. Я был поражён безлюдьем повсюду. На пространстве нескольких вёрст

я видел только одну женщину с ребёнком у окна и толстого старика, который в халате сидел перед своим домом. Я спросил его: неужели он остаётся в Москве и по каким причинам? Он мне отвечал: "В мои годы не стоит перебираться с одного места в другое. Я остаюсь, нисколько не заботясь о том, что может случиться со мною: пусть будет, что будет". Оставляя этого человека, я чувствовал, что он прав и был истинным философом, не сознавая того».

Но кроме тех, сравнительно с народонаселением, немногих, которые желали бы, но не успели выехать из Москвы, не имея средств или запоздав ими воспользоваться вследствие доверия к заявлениям графа Ростопчина, были и другие, довольно многочисленные, *истинные философы, не сознавая этого*, которые остались в Москве, считая долгом оставаться в ней, в каком бы положении она ни находилась. Это дворники и вообще прислуга при барских домах, весьма многочисленных в это время в Москве. Дворянские семейства, несколько достаточные, проводили всю зиму в Москве и имели свои домы, потому что жить в наёмных помещениях считалось в то время несовместным с дворянским достоинством, точно так же, как, приехав в Москву на короткий срок, останавливаться в гостиницах, которых поэтому и было немного, а не у родных или знакомых, или обедать в трактирах. Эта прислуга, частью оставшаяся в домах, из которых весною ещё выехали их владельцы в свои *подмосковные* или более отдалённые деревни и не могли распорядиться их судьбою, частью по собственному усмотрению, а иногда и нарочно оставленная владельцами, считала обязанностью не оставлять домов своих господ и сохранять их имущество. Словом, это были – *крепостные люди*, на которых такое зоркое было устремлено внимание не одного графа Ростопчина и которых подозревали в том, что Наполеон, объявив их *вольными*, мог преклонить к измене Отечеству!

«Обозрев ход неприятеля, и предполагая, что нам способнее будет пробираться переулками, – говорит очевидец, – я уговорил братьев моих ехать на Пречистенку, где неожиданно встретили Петровский полк, находившийся в ариергарде и в котором служил брат мой Григорий, раненый под Бородиным. Примкнув к полку, мы беспрепятственно продолжали отступление за Москву. По пятам за нами шёл неприятель, но без натиска и напора. У домов опустелых стояли ещё дворники. Я кричал: "Ступайте! уходите! неприятель идёт!" – "Не можем уходить, – отвечали они: нам приказано беречь домы"»[41].

Эти люди мирно находились при своих домах и не мешались с толпою бездомных гуляк, окружавших дом графа Ростопчина во время его отъезда из Москвы, терзавших труп несчастного Верещагина

и потом собравшихся в Кремле и, вспоминая его *воззвание на Три Горы*, пытавшихся вооружённою рукою действовать против занявшего Москву неприятеля[42].

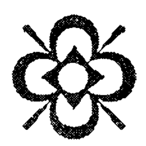
«Мой офицер приехал мне сказать,— продолжает граф Ростопчин,— что Милорадович с нашим арьергардом прошёл уже Арбат и что неприятельский авангард непосредственно следует за ним. Я поехал к Рязанской заставе и на Яузском мосту, полагая объехать отряд конницы, встретил князя Кутузова с его свитою. Я поклонился ему и не хотел говорить ни слова; но он поздоровался со мною (что было похоже на насмешку) и сказал мне: "Я могу вас уверить, что не оставлю Москвы, не давши сражения". Я ничего ему не отвечал, потому что всякой ответ на пошлость (a une bêtise) не мог быть ничем иным как глупостью (sottise). Прежде, нежели я подъехал к мосту, я был остановлен десятком раненых офицеров, которые пешком направлялись за город. Они остановили меня, прося дать им денег, потому что у них их вовсе не было. Я опорожнил мои карманы. Моя подача не соответствовала моему желанию дать им более. Они благодарили меня со слезами на глазах; я также плакал. Это были слёзы сострадания и скорби при виде раненых офицеров, поставленных в положение просить милостыни для того, чтобы не умереть с голоду.

Приблизившись к заставе, я с трудом мог её проехать от множества столпившихся обозов и войск, спешивших выехать за город. В то время, когда я миновал уже заставу, я слышал три пушечных выстрела, которые сделал неприятель, чтобы рассеять собравшуюся в Кремле толпу народа. Эти выстрелы были знаком того, что неприятель овладел столицею и известили меня, что я перестал уже быть её начальником. Я поворотил мою лошадь и с почтением поклонился первому городу Российской империи, где я родился, которого я был охранителем (gardien) и где оставлял двух моих детей, похороненных на кладбище. Я исполнил свой долг; моя совесть спокойна, потому что не в чем меня упрекнуть; но я угнетён был скорбью и доведён до того, что завидовал Русским, погибшим при Бородине: они умерли как защитники Отечества, с оружием в руках, и не были свидетелями торжества Наполеона».

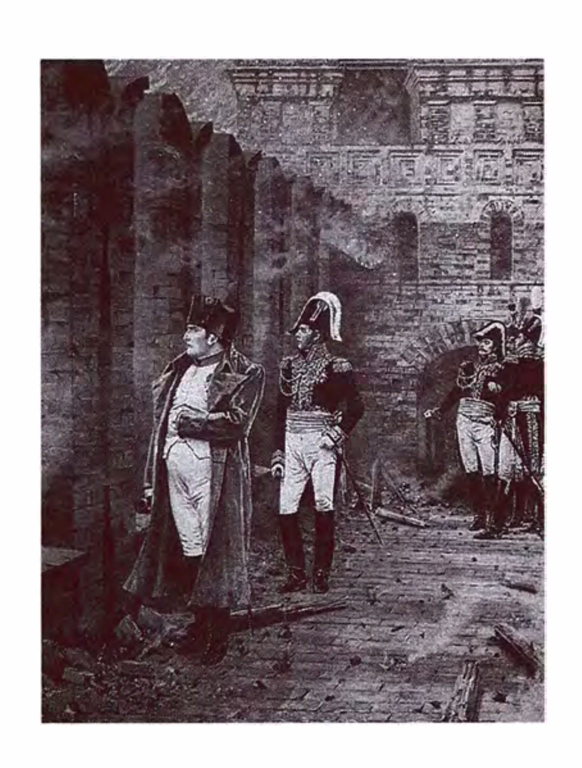
Об этом свидании графа Ростопчина с князем Кутузовым сохранились и другие свидетельства очевидцев. Когда князь Кутузов, проехав по бульварам Москвы, прибыл к Яузскому мосту, то, по словам князя А. Б. Голицына нашёл там невероятную суматоху. «Мы застали тут графа Ростопчина, который, в мундирном сюртуке, в эполетах, с нагайкою в руках, прогонял всех и старался очистить мост: ибо и жители и часть армии, всё должно было проходить этим дефиле-

ем. Свидание было сухое. Ростопчин начинал говорить, но Кутузов не отвечал и приказывал скорее очищать мост для прохода войск. От Яузского моста до Коломенской заставы движение народа, смешанного с войском, произвело некоторые беспорядки: ломали кабаки и лавки. Народ Русский пьёт и с горя и от радости одинаково. Но всё тут же приведено было в порядок, и город очищался понемногу. Народ и армия походили на морскую волну, ибо всё теснилось за ними. Выехав за заставу, некоторые корпуса уже были расположены на привале по обеим сторонам большой дороги, около старообрядческого кладбища. На самой большой дороге избрал себе место Кутузов»[43]. Он сел на свою обычную скамеечку и ожидал вестей от Милорадовича.

Оба рассказа об этой последней встрече князя Кутузова с Московским главнокомандующим, хотя и различаются в подробностях, но одинаково доказывают, что она была холодна и неприятна для обоих. Кто из них не хотел говорить с другим и кто первый поздоровался и заговорил, – это не представляет важности. Но вероятно слова, приписываемые князю Кутузову графом Ростопчиным, были действительно сказаны. Трудно предполагать, да и нет поводов, чтобы они создались сами собою в разгорячённом воображении графа Ростопчина. Что же касается до показания князя Голицына, что князь Кутузов ничего не говорил графу Ростопчину, то он мог и не слыхать тех немногих слов, которые он ему сказал при господствовавшей вокруг *суматохе*. Эти немногие слова, однако же, весьма важны, и граф Ростопчин справедливо их считает насмешкою: иного значения они и иметь не могут.



Часть IV



Французы в Москве в 1812 году

В Кремле пожар
Художник В.В. Верещагин

Глава 1

Состояние Наполеона при Бородине. – Значение Бородинской битвы. – Милорадович. – Наполеон перед Москвой. – Проход войск через Москву. – Наполеон на Поклонной горе. – Типографщик Ламур. – Наполеон у Дорогомиловской заставы. – Вступление Наполеона в Кремль.

После Бородинской битвы французские войска «провели на бивуаках ужасную ночь, без огней, посреди мёртвых, умирающих и раненых. Только на рассвете они узнали об отступлении русских. Едва ли когда случалось, чтобы победители испытывали после победы такое необычайное чувство: они были как будто ошеломлены (frappés de stupeur). После стольких бедствий, лишений и трудов, перенесённых для того, чтобы понудить неприятеля к сражению, после таких подвигов мужества, какие же последствия? В конце концов страшная резня и скопление бед. Ещё менее, чем прежде, знали они, долго ли продлится война и какой будет её исход»[1]. Без сомнения не бывало другой победы, которая производила бы такое действие на победителей. Подобное настроение духа в войсках и невозможно после одержанной победы, особенно в первое время, когда ещё неизвестны потери. А между тем, это торжество, как «в армии, так и в палатке Наполеона было безмолвно, мрачно, скромно и даже без льстецов»[2]. Вечером после битвы не слышалось ни песен, ни рассказов: господствовало общее, грустное и молчаливое уныние[3].

Император Наполеон, приказав прекратить бой, «вечером в 7 часов, возвратился в свою палатку. Его лицо необычайно горело, волосы были в беспорядке; он имел вид усталый»[4]. Часа два провёл он один в палатке, потом велел позвать к себе графов Дюма и Дарго. «В 9 часов вечера, — рассказывает первый из них, — мы были позваны к императору. Ему подали обед; он был один. Он посадил нас, одного по правую, другого по левую сторону. Выслушав наши донесения о тех распоряжениях, которые мы сделали относительно раненых и о ничтожности способов, которые представляли нам Колоцкий монастырь и несколько уцелевших изб около Бородина, он начал говорить об исходе битвы и — вдруг заснул. Минут через двадцать он проснулся и продолжал речь: «Будут удивляться, почему

я не ввёл в дело моих резервов, чтобы достигнуть более решительных последствий; но я должен их сохранить для решительного удара в сражении, которое даст нам неприятель под Москвою»». Наполеон, так же, как и Кутузов, предполагал возможность нового большого сражения и, стало быть, не считал русскую армию разбитою и только что замолкнувший бой решительною победою. Но, поддерживая веру в свою непобедимость, он хотел уверить не только всю Европу, но и своих боевых сотрудников, свидетелей происшествия, что он одержал победу. «Успех дня обеспечен, продолжал он, но я должен заботиться об успехе всей кампании, и вот почему мне следовало сберечь мои резервы»[5]. Когда он говорил, Дюма и Дарго слушали его молча; но их опущенные глаза, их молчание достаточно выражали, что они думали. Они молчали только в присутствии Наполеона, перед которым не смели говорить. Вне его палатки все говорили, что «сражение с утра было выиграно на левом крыле; но вдруг успешный его ход был приостановлен и для продолжения битвы двинуты против центра огромные силы, как это делалось в первобытные времена военного искусства; что в этом сражении не было никакого единства в действиях, что это победа солдат, а не военачальника. К чему так спешили догнать неприятеля, имея войска усталые, истощённые, ослабленные? Зачем, догнав его, не довершить поражения и в бедственном положении оставаться посреди озлобленного народа, в беспредельных стенах, в 800 милях от своих запасных сил?» «В этот важный день я не узнавал Наполеонова гения», — говорил Мюрат. «Я не могу понять его нерешительности», — говорил вице-король Итальянский. Ней настойчиво советовал отступать[6]. «Наполеон победил, но не достиг той цели, которая составляла предмет его постоянных желаний, и его положение сделалось чрезвычайно затруднительным. Решившись продолжать дальнейшее движение внутрь России, он только умножал опасность; решившись отступать, он понёс бы большие потери, а его противник приобрёл бы огромную нравственную силу. До этого времени гений Наполеона по преимуществу блистал на самом поле сражения; там он, казалось, повелевал судьбою. При Бородине, почти во всё время сражения, он находился в таком состоянии равнодушия и в таком отдалении от боевого поприща, что сам не мог видеть действий, а потому отдавал часто несвоевременные приказания. В самые важные минуты сражения он выказывал большую нерешительность и был ниже своей славы». Так говорит Шамбре[7].

Конечно, не простуда, которою слегка страдал в это время Наполеон, была причиною того, что на полях Бородина он казался своим

боевым товарищам и поклонникам его гения совершенно иным человеком, нежели при Аустерлице, Иене и Фридланде[8]. Его способности как военачальника не утратили своей силы; но положение дел было совершенно иное в сравнении с прежним. Это был уже не военачальник, способный жертвовать всем своему призванию; но император, женатый на принцессе старейшего из царственных домов в Европе, основатель династии, которую он желал упрочить на престоле Франции, государь сравнивавший себя с Карлом Великим. Мог ли он, гоняясь только за славою полководца, подвергать свою жизнь опасности? Напротив, он берёг себя и в пресловутом бюллетене о Бородинском сражении счёл нужным прямо заявить Европе, что «император ни разу не подвергал себя опасности» (l'empereur n'a jamais été exposé)[9]. С гордой самоуверенностью он предполагал, что вся Европа обязана его глазами смотреть на дела и заботиться о безопасности его, как он сам заботился о ней. Но сметливый и дальновидный его ум понимал, конечно, что как его отсутствие в военных действиях в Испании и Португалии, так и удалённое положение на полях битв, которыми он сам руководил, должно быть чем-нибудь восполнено. Отдавая справедливость дарованиям и опытности своих маршалов, он не думал, однако же, чтобы они могли заместить его. Из Парижа он сам руководил военными действиями в Испании и, предприняв поход в Россию, сам повёл свои войска. Но он думал заменять себя в этих случаях огромным числом войск и количеством артиллерии, подавляющею материальною силою. В этих видах рассчитаны были все военные действия Наполеона с тех пор, как он вступил в брак с Австрийскою эрцгерцогиней. С 1807 года до приготовлений к войне с Россиею, в границы Испании было введено более 618 тысяч французских войск[10]; через Неман Наполеон перевёл в Россию более 400 тысяч, за которыми находился резерв, простиравшийся до 200 тысяч. Но действие огромными силами несовместимо с быстротою движений, составлявшей отличительное свойство тактики Наполеона; таких огромных масс не в состоянии продовольствовать никакая, хотя бы и богатая, страна своими местными средствами (чем постоянно пользовался Наполеон в прежних войнах). За огромным полчищем должны следовать такие же огромные обозы с продовольствием. При этом условии или войска должны двигаться медленно, соображаясь с движением обозов, или обозы должны отставать от войск, и войска после немногих переходов нуждаться в продовольствии. Так и случилось с Великою армиею, которая вторгнулась в Россию. Уже в Витебске она умалилась на целую треть, и под Бородино Наполеон привёл с небольшим 130 тысяч.

Но если бы огромные количества и могли обеспечить успех, то ничего не могло заменить той быстроты и верности боевого взгляда, которыми отличался Наполеон как полководец. Ни одно неловкое или ошибочное движение неприятеля не ускользало от его внимания; каждым таким движением, не давая противнику времени исправить ошибку, он умел быстро пользоваться. Обладая такими качествами, часто он превращал сражения, грозившие ему совершенным поражением, в полную победу. Но для этого нужно находиться у самого поля сражения, а не руководить им издали, и в этом случае, может быть, упрёки его боевых сотрудников были справедливы: следуя правилу действовать большими силами в сравнении с неприятелем, он должен был пустить в дело резервы.

Но все эти упрёки вытекают из общей французам уверенности, что в Бородинском сражении победа осталась на их стороне. Не говорим уже о хвастливости, им свойственной, о твёрдой вере в непобедимость императора; но частные успехи в разные моменты сражения и общая отчаянная храбрость, как солдат, так и офицеров, могли возродить и поддержать в них это обольщение.

Но так ли смотрел на дело сам император Наполеон? Он тоже заявлял, что Бородинский день кончился для него победою. Так говорил он во всеуслышание Франции и всей Европы; этот взгляд поддерживал он и в своих войсках. Но мог ли он говорить иначе, не подрывая обаяния своей силы, которое одно держало в покорности угнетённую им Европу? Мог ли он говорить иначе, не лишая бодрости свою армию, истомлённую трудными походами, оборванную и голодавшую? Перед началом Бородинского сражения он объявил войскам, что одержанная ими победа доставит им изобилие, хорошие зимние квартиры и скорое возвращение на родину. Войска дрались отчаянно, но встретили несокрушимую преграду: не было ни пленных (кроме ничтожного количества), ни трофеев. Мог ли этого обстоятельства не оценить Наполеон и, если бы была одержана действительная победа, мог ли такой полководец, как он, не преследовать разбитого неприятеля? Когда, по окончании битвы, в 10 часов вечера, заносчивый Мюрат явился к нему и предложил преследовать русских, будто бы в беспорядке отступающих за Москву-реку, Наполеон не принял этого предложения[11].

Но не одни неприятельские войска, вторгнувшиеся в пределы России, провели ужасную ночь после Бородинской битвы, когда то и дело тревожили их нападения отдельных отрядов русского арьергарда; не спалось и не легко было на душе самому их предводителю, императору Наполеону. «Я провёл ночь подле него,— говорит

свидетель-очевидец,— его сон был тревожен или, лучше сказать, он вовсе не спал. Он много раз восклицал, быстро перевёртываясь на постеле: «что за день, что за день!» (quelle journee!)»[12]. Его ставка у Шевардина была во всю ночь окружена целым батальонным каре Старой гвардии: несмотря на значительное отдаление от места сражения, он считал нужным принимать эти предосторожности. Когда, поутру на другой день, ему донесли об отступлении русских войск, он и тут не решался их преследовать. «Пусть отступают, говорил он; а мы повременим несколько часов, чтобы заняться нашими несчастными ранеными»[13].

«Чем бы ни кончилась битва,— рассуждает один из участников в ней,— отступлением Русских или Французов; но во всяком случае Французы были так изнурены, напрягаясь овладевать укреплениями и затем удерживать их, что им нельзя было преследовать Русских или воспрепятствовать Кутузову действовать, как он хотел»[14]. Герцог Фезензак, назначенный полковым командиром после Бородинского сражения, прямо свидетельствует, что он не нашёл прежней весёлости в солдатах, не слышал песен и всяких рассказов: солдаты погружены были в глубокое молчание. Даже офицеры ходили словно опущенные в воду и лишь по долгу и чести исполняли служебные обязанности. «Это уныние, естественное после поражения, было странно после победы, открывшей нам ворота Москвы»[15]. Очевидно, это была такая победа, которая равнялась поражению. Поэтому «французы должны были несколько дней отдыхать, чтобы опамятоваться, чтобы обозреть свои потери, чтобы узнать наверное о пути, по которому двинулся их неприятель. Многое, что случилось потом, было последствием изнурения Великой армии, которая, может быть, и била неприятеля, но не обращала его в бегство; может быть, отбила его, но не расстроила»[16].

Французская армия действовала наступательно, а потому не могла отбить неприятеля; русские войска отбили её нападение и расстроили её. Наполеон и не преследовал в порядке отступавших наших войск, но шёл следом за ними. Обозрев поле сражения и приняв меры к призрению раненых, он около полудня двинул свой авангард, под начальством Мюрата, к Можайску с приказанием остановиться в 6 или 7 верстах за этим городом. В то время как Мюрат начинал уже приближаться к нашему арьергарду, в последний раз находившемуся под начальством Платова, в 4 часа пополудни, начали выступать и остальные французские войска. Вместе с ними направился к Можайску и сам император Наполеон, послав наперёд графа Сегюра объявить Мюрату, что он намерен ночевать в этом городе.

Приблизившись к Неаполитанскому королю, граф Сегюр нашёл его в сильном волнении и негодовании на войска. Он торопил их идти вперёд, несмотря на то, что ему было донесено, что на пути их движения находится непроходимый для конницы овраг; а на высотах за Можайском, господствующих над городом и его окрестностями, выстроились в грозном боевом порядке русские. Заносчивый Мюрат, не довольствуясь ошибками отдельных отрядов, хотел ввести в дело все полки своего авангарда, сердился, что они подвигаются медленно и не хотел слушать, что между ним и русскими, находившимися перед Можайском, был непроходимый для конницы овраг. Граф Сегюр уговорил его не вступать в сражение и возвратился объяснить императору Наполеону положение дел. «Я повстречал маршала Мортье, — говорит он, — и мы пошли вместе с ним. Разговаривая между собою, мы заметили, что к нам приближается русское ядро. «Посторонитесь, Сегюр, сказал маршал: уступим дорогу тому, кто более нашего спешит» (aux plus pressés). Когда мы расступились, я заметил в стороне человека в сером сюртуке, который шёл один. Это был император; он шёл по дороге к Можайску, тихо, с опущенною головою. Я подошёл к нему и заметил, что он находится под Русскими выстрелами. «Стало быть, Русские ещё держатся в Можайске?» День уже клонился к вечеру; я указал ему на огни по крайней мере 40-тысячной армии на высотах за Можайском и прибавил, что сильный арьергард защищает вход в город. Наполеон повернул назад, сказав: «Если так, то пойдём и подождём до завтра», и провёл ночь в первой попавшейся деревушке, Кривуши»[17].

Очевидно, император Наполеон не думал преследовать русские войска, но шёл за ними, наблюдая их движение и не зная, что может предпринять русский главнокомандующий. Что в таком именно настроении духа находился император Наполеон, может служить доказательством следующее обстоятельство. Во всю боевую его жизнь никогда не случалось, чтобы он медлил известить Францию и Европу об одержанной победе, и всегда бывало, что он немедленно диктовал бюллетень, извещавший всех об его успехе. Между тем «18-й бюллетень Великой армии» помечен: «Можайск 12 сентября (30 августа) 1812 г. », т. е. через четыре дня спустя после Бородина, когда Наполеон убедился, что русские войска безостановочно продолжают отступление к Москве. Это отступление, после большого, кровопролитного сражения, давало ему предлог выдать перед Европою Бородино как одну из блистательных побед Великой армии. Так смотрели на дело и те из его боевых сотрудников, которые, не участвуя в нём, не увлекались отдельными подвигами лиц и разных частей войск в разные

периоды битвы и общею отчаянною храбростью всех войск, хорошо знавших, что только одержанная победа может вывести их из того бедственного положения, в каком они находились. «Это сражение,— говорит маршал Сен-Сир,— самое кровопролитное, какое только представляет история, доставило Наполеону одну выгоду, если только доставило какую-нибудь: оно облегчало его прибытие в Москву. Русские, несмотря на самое упорное сопротивление, были побеждены потому только, что должны были отступить; но они не были разбиты, не было ни малейшего замешательства (d route) ни на одной точке их линии; было поражено тело, но не душа их армии. Их потери были велики, даже огромны, но они почти уравновешивались потерями Наполеона, а между тем на их стороне оставалось великое преимущество: их потери могли быть немедленно вознаграждены теми подкреплениями, которые они получали ежедневно, тогда как убыль в наших войсках оставалась невознаградимою»[18].

Попятное движение наших войск после Бородинского сражения дало повод неприятелю присвоить себе победу. Но коль скоро отступление входило в общие военные соображения с самого начала кампании, то, конечно, оно не могло служить знаком проигранного сражения, тем более, что неприятель не отваживался преследовать. «Неприятельские войска,— говорит один из французов, участников в событиях,— продолжали отступление с таким же порядком, как и правильностью. Наш авангард следовал за ними и продолжал наблюдать за их движением по дороге к Москве»[19]. На второй день после Бородинской битвы (28 августа/9 сентября), когда русские войска оставили Можайск, и этот город был занят неприятелем после горячей схватки, нездоровье императора Наполеона усилилось. Вследствие насморка он потерял голос. Несмотря на то, совладав уже с тем впечатлением, которое произвели на него действия русских войск в Бородинской битве, и только что расположившись в приготовленном для него доме в Можайске, он принялся за свои кабинетные труды, прерванные в продолжении пяти дней. Потеря голоса расстроила его привычки. Обыкновенно он диктовал свои приказания, ходя взад и вперёд по комнате. Теперь он должен был писать их сам начерно и, немедленно принявшись за эту работу, он задал трудную задачу своей канцелярии разбирать связный и безобразный его почерк[20].

В бумагах этой канцелярии сохраняется наглядное разъяснение того, что именно озабочивало в это время императора Наполеона. Первое написанное им предписание было начальнику его штаба, князю Невшательскому; он поручал ему двинуть вице-короля на Рузу,

а Даву на Борисов в то время, как Мюрат с авангардом двигался по большей дороге к Москве. Но эти движения происходили медленно и нерешительно. Потому что не преследовать неприятеля предписывал Наполеон, а сообщать вести о неприятельских передвижениях и собирать как можно более провианта для голодавших войск. Не зная наверное, каковы намерения русского главнокомандующего, Наполеон заботился, как бы пополнить боевые запасы, значительно истощённые в Бородинской битве, и подкрепить войска новыми силами. С этою целью, изменив первоначальное назначение корпуса маршала Виктора (поддерживать войска, действовавшие с тылу Великой армии против Витгенштейна и Тормасова), он предписал ему следовать в Смоленск. «Неприятель, поражённый в сердце, не будет заботиться об окраинах,— писал он маршалу Виктору из Можайска.— Он употребляет все средства, чтобы помешать нам войти в Москву и обнаруживает намерение также употребить все средства, чтобы выгнать поскорее нас оттуда. Поэтому из Смоленска надо следовать к Москве, чтобы подкрепить армию в той мере, как неприятель подкрепляет свою»[21]. Постоянное отступление наших войск ободрило Неаполитанского короля, и он задумал разбить наш арьергард, поступивший уже (с 28 августа) под начальство Милорадовича и отбросить его на армию, которой Главная квартира находилось на берегу реки Нары, в деревне Крутицы. Но Мюрат был отбит и после этого «следовал с большою осторожностью за нашим арьергардом, оставаясь всегда вне пушечного выстрела»[22], конечно, по распоряжению Наполеона. Убедившись, однако же, что русские войска отступают, и не зная, дадут ли они сражение, Наполеон решился отправить циркуляр к французским епископам, с приказом распорядиться о торжественном молебствии по случаю одержанных им побед, и составил бюллетень о Бородинском сражении. Бюллетень этот помечен тем числом, когда Наполеон выехал из Можайска и перенёс свою Главную квартиру в село Леутинское[23].

Но императора тревожила ещё мысль о том, что может предпринять русский главнокомандующий. Он не ожидал, чтобы неразбитое им войско решилось без нового боя впустить его в древнюю столицу империи и подозревал особые замыслы со стороны Кутузова. На другой день, переехав в село Таторки, он поручил маршалу Бертье написать Мюрату, что его тревожит неимение сведений о неприятеле. «Если неприятель не находится перед вами,— писал он,— то надо опасаться, не перешёл ли он вправо от вас, на Калужскую дорогу. В таком случае очень возможно, что он бросится на наш тыл. Неизвестно, что делает Понятовский, который должен находиться в двух милях, впра-

во от вас. Прикажите ему двинуть свою конницу на Калужскую дорогу. Император получит от вас известия о том, где находится неприятель. Его величество с нетерпением ожидает известий о том, что происходит на вашем правом крыле, т.е. по дороге из Калуги в Москву»[24] Это письмо, написанное по поручению Наполеона, начальником его главного штаба к главнокомандующему авангардом, за день до вступления в Москву, бесспорно доказывает, что Наполеон не преследовал отступавшего неприятеля, но ощупью шёл за ним, наблюдая за его движениями и недоумевая о дальнейших его намерениях. Он постоянно требовал известий от своих передовых отрядов и посылал к ним своих офицеров-ординарцев. Утром 2 (14) сентября он отправил Гурго в авангард к Мюрату, поручив ему немедленно привезти ему известие о положении дел. Гурго подъехал к Неаполитанскому королю в то время, когда Москва уже находилась почти в виду французского авангарда.

Когда подъезжаешь к Москве по Смоленской дороге, то под самым городом внезапно открывается вид на него, во всём широком его объёме. Ряд холмов на самой дороге, известный под именем Поклонной горы и оканчивающийся у города так называемыми Воробьёвыми горами, долго скрывает Москву от взоров. Рано утром, 2 сентября, наш арьергард находился у фарфоровых заводов, в 10 верстах от Москвы. С 9-ти часов французский авангард завязал с ним перестрелку и теснил его к Москве. Медленно отступая, чтобы дать время и возможность остальным войскам с обозами и артиллериею пройти через город, наш арьергард к 12 часам дня занял Поклонную гору и растянул линию до Воробьевых гор. Генерал Милорадович имел в виду, чтобы неприятель предположил, будто под его начальством находится более войск, нежели было на самом деле. Он хотел принудить неприятеля действовать осмотрительно и медленно. Но в это самое время он получил известие, что один корпус неприятельских войск подходит к Тверской заставе (Понятовского), а другой (вице-короля) обходит Воробьёвы горы. Вместе с тем Милорадовичу донесли, что улицы Москвы ещё наполнены войском, толпами спасающихся жителей и обозами. Очевидно, угрожала большая опасность: не только весь арьергард мог быть отрезан неприятелем от главной армии, но и части этой армии и обозы, не успевшие ещё выйти из Москвы на Рязанскую дорогу. Что оставалось делать Милорадовичу, которому главнокомандующий в трудное время вверил начальство над арьергардом после Платова, как известному издавна и опытному вождю, в той надежде, что он своими действиями обеспечит спокойное отступление главной армии? Блистательно исполняя возложенное на него

поручение с 28 августа, теперь, перед самой Москвою, Милорадович был поставлен в положение безвыходное. Но выбор Кутузова был удачен: находчивость военачальника, не только храброго, но и опытного, спасла вверенный ему арьергард и отчасти самую армию.

Решившись без боя оставить Москву, после военного совета в Филях, наш главнокомандующий поручил генералу Ермолову уведомить об этом начальника арьергарда и предписать ему как можно долее удерживать неприятеля, чтобы дать возможность войскам спокойно пройти столицу. Милорадович, поражённый известием о решении оставить Москву без боя, особенно был возмущён выражением: «если будет нужно, то почтите *видом сражения* древние стены Москвы». Прямодушный, откровенный герой, Милорадович без сомнения готов был пасть в упорном бою, защищая Москву; но *вид сражения* представлялся ему насмешкою над ним и непочтением, а скорее оскорблением древних стен столицы. Приписывая это выражение лично Ермолову, он упрекал его в *макиавеллизме* и до такой степени горячился, что на другой день захотел даже просить, чтобы уволили его от начальства арьергардом. Но личный гнев, отчасти справедливый, не мог заглушить в нём чувство долга, и на другой день он имел отраду совершить великий подвиг: избавить войска от страшных потерь, выиграв время, дать им возможность отступить за Москву и спасти значительное число Московских жителей с их имуществом.

Вместе с отношением Ермолова Милорадович получил письмо от фельдмаршала (подписанное Кайсаровым) к начальнику штаба Наполеона, маршалу Бертье. В этом письме, по принятым военным обычаям, Кутузов поручал попечению неприятеля оставшихся в Москве наших раненых. Милорадович должен был отправить это письмо к начальнику неприятельского авангарда Мюрату. Доведя арьергард до Поклонной горы и заметив опасность как для него, так и для всей армии, Милорадович немедленно послал офицеров с конными отрядами в город, чтобы способствовать водворению порядка при отступлении; и в то же время, обратившись к стоявшему неподалёку лейб-гвардии Гусарскому полку, спросил: кто из офицеров может хорошо говорит по-французски? Выехал штаб-ротмистр Акинфов. Милорадович, передав ему присланное от фельдмаршала письмо к маршалу Бертье, приказал отвезти его в неприятельский авангард, лично вручить Мюрату и при этом сказать ему от его имени: «Если французы желают занять Москву целою, то должны, не наступая сильно, дать нам спокойно выйти из неё, с артиллериею и обозом. В противном случае генерал Милорадович перед Москвою и в Москве будет драться до последнего человека и вместо Москвы оставит одни раз-

валины». Он поручил Акинфову, чтобы он старался как можно долее оставаться у французов. Взяв с собою трубача из конвоя Милорадовича, Акинфов подъехал к передовой французской цепи, состоявшей из конных егерей. По сигналу трубача, к нему выехал командир полка и, узнав в чём дело, поручил проводить его к генералу Себастьяни, начальнику аванпостов, который сказал Акинфову, что он может передать ему письмо и таким образом исполнить возложенное на него поручение. Но услыхав от Акинфова, что Милорадович поручил ему лично передать письмо Неаполитанскому королю и на словах сообщить ему свои предложения, Себастьяни немедленно поручил проводить его к Мюрату. Имя Милорадовича пользовалось большою известностью во французских войсках, как одного из доблестных сотрудников Суворова в Итальянской кампании, и генерал Себастьяни знал его лично: он познакомился с ним в Бухаресте в 1809 году, участвуя, в качестве посредника со стороны Наполеона, в наших мирных переговорах с Оттоманскою Портою.

Проехав пять конных полков, стоявших развёрнутым фронтом перед пехотными колоннами, Акинфов увидел Мюрата, разодетого в блиставшую золотом одежду и окружённого многочисленною свитою. Когда подъехал Акинфов, Мюрат приветствовал его, «приподняв свою шитую золотом с перьями шляпу» и велел своей свите удалиться. «Что вы мне скажите, капитан?» — спросил он Акинфова, приблизясь к нему и положив руку на шею его лошади. Акинфов вручил ему письмо и передал поручение Милорадовича. Прочитав письмо, Мюрат отвечал: «Касательно больных и раненых излишне поручать их великодушию Французских войск: Французы на пленных неприятелей не смотрят как на врагов. Что же касается до предложения генерала Милорадовича, то без приказаний императора Наполеона нельзя на них дать ответа». Немедленно затем Мюрат отправил Акинфова с своим адъютантом к императору; но едва они проехали несколько сот шагов, как Мюрат послал возвратить их назад. В то время как Мюрат принимал Акинфова, приехал ординарец Наполеона Гурго. Вероятно, вследствие разговора с ним, Мюрат решился воротить назад нашего парламентёра. «Желая сохранить Москву,— сказал он возвратившемуся Акинфову,— я решаюсь сам согласиться на предложение генерала Милорадовича и пойду так тихо, как вам угодно, с тем только условием, чтобы мы могли сегодня же занять Москву». Когда Акинфов отвечал, что Милорадович будет согласен на это условие, то Мюрат послал приказ всем передовым цепям остановиться и прекратить перестрелку.

«Вы знаете Москву?» — спросил Мюрат Акинфова.— «Я Московский уроженец»,— отвечал Акинфов. «Так передайте жителям, чтобы

они были совершенно покойны, что им не только не сделают никакого вреда, но и не возмут с них контрибуции и всеми способами будут заботиться об их безопасности». Зная, однако же, что со вступления французов в пределы Смоленской губернии жители сёл и городов удалялись из них и даже жгли свои дома, Мюрат прибавил: «Не оставлена ли Москва жителями и где граф Ростопчин?» — «Я постоянно находился в арьергарде и участвовал в делах, поэтому ничего не знаю ни о Москве, ни о графе». На вопрос, где находятся император Александр и великий князь Константин, Акинфов точно также отозвался незнанием. Хотя очень довольный тем, что Мюрат задерживает его своими расспросами и тем даёт возможность исполнить данное ему поручение, молодой офицер однако опасался, чтобы как-нибудь не проговориться в своих ответах. Мюрат сказал, что «он очень уважает Русского императора, а с великим князем даже дружен и очень сожалеет, что обстоятельства сложились так, что он должен воевать против них». «Много ли ваш полк потерял людей?» — спросил он Акинфова.— «Можно ли не понести потерь, находясь почти ежедневно в сражениях!» — отвечал тот. «Тяжёлая война»,— заметил Мюрат.— «Мы дерёмся за Отечество и не примечаем тягости военной»,— заметил Акинфов. Наводя своими расспросами молодого русского офицера на то, не скажет ли он чего-нибудь, из чего можно бы заключить, что русские войска утомлены войною и желают мира и, не достигнув своей цели, Мюрат резко сказал: «Отчего не заключают мира?» — и при этом прибавил по своей привычке (говорит Акинфов) солдатское выражение, неудобное, конечно, для печати. «Это должно быть известнее вашему величеству,— отвечал Акинфов.— По моему мнению, ни одна из армий не разбита и ни одна не может похвалиться совершенною победою». Мюрат улыбнулся, сказав: «Пора мириться».

Отпуская нашего парламентёра, Мюрат снова уверял его, что приложит все средства к сохранению Москвы и уверял в уважении, которое питает к Милорадовичу. «Скажите ему,— говорил он,— что я согласился на его предложение единственно из уважения к нему». Нет сомнения, что Мюрат говорил правду, отзываясь лестно о Милорадовиче, военные доблести которого ему удалось уже испытать в деле у села Крымского (29 августа). Нельзя было найти лучшего соперника начальнику французского авангарда, как Милорадович. Кроме безоглядной храбрости и боевой опытности в характере Милорадовича было много сходного с Мюратом. Но, конечно, не из личного уважения к нему он согласился на его предложение: овладеть Москвою, а не её развалинами, составляло последнюю, желанную цель французских войск.

Акинфов отправился назад в сопровождении того же полковника конно-егерского полка, который сопровождал его к генералу Себастьяни и Мюрату. «Я ехал лёгким галопом,— говорит он,— а чтобы продлить более время, попросил позволить мне полюбоваться двумя Польскими гусарскими полками. Полковник согласился проехать со мною по фронту этих полков. Но, заметив, что я ехал тихо и что мы теряем много времени, он просил меня пустить лошадь в полный галоп. Я должен был исполнить его желание и, проехавши французскую цепь, приблизился к начальнику нашей цепи, лейб-гвардии Казачьего полка полковнику Ефремову. Объявив ему, что Мюрат согласился тихо идти за нашими казаками, я поскакал к Милорадовичу»[25].

В то время, когда на аванпостах шли эти переговоры, Наполеон находился в нескольких верстах от своего авангарда. Переночевав в Вяземе, селе, принадлежавшем князю Голицыну (в 40 верстах от Москвы), на другой день, 2 сентября, на рассвете, он выехал оттуда в карете вместе с маршалом Бертье. Но, проехав вёрст 12, они должны были продолжать путь верхами, потому что на большой дороге был сожжён мост через глубокий овраг; мост этот французы не успели построить вновь. В 10 часов утра, не доезжая до Москвы за 12 вёрст, Наполеон остановился на одной даче, находившейся на правой стороне большой Смоленской дороги. Тут его встретил Мюрат. Не входя в дом, он прохаживался с Мюратом по церковному двору, осведомляясь конечно о положении дел. Мюрат мог сообщить ему приятное известие:[26] ещё в 9-м часу утра, осматривая свои аванпосты, он заметил начатые, но не оконченные укрепления. Эти укрепления свидетельствовали, что русский главнокомандующий намеревался дать сражение; но как не было видно никаких войск, то Наполеон мог заключить, что эта мысль была оставлена[27]. Лишь только он отпустил Мюрата, как началось движение французских войск к Москве, давшее повод Милорадовичу отправить к французам своего парламентёра с предложением заключить перемирие, о чём рассказано выше.

Позавтракав на подмосковской даче, император Наполеон, со всею свитою и конвоем из двух эскадронов шассеров и польских уланов, отправился к Москве. За ним вели и троих русских пленников, от которых добивались получить сведений о Москве. В числе их был чиновник нашего министерства финансов Корбелецкий, который потом почти во всё время пребывания французов находился в Москве.

«Император Наполеон уже приближался к авангарду,— говорит один из очевидцев,— когда подъехал к нему Гурго, отдал отчёт о переговорах Мюрата и немедленно должен был возвратиться к Неаполи-

танскому королю, чтобы сообщить ему, что император утверждает заключённый им договор, но с тем непременным условием, чтобы русские непрерывно продолжали отступление. Несмотря на то, что Гурго весьма короткое время оставался перед императором, ему пришлось отвечать на множество вопросов о виде Москвы, об её местоположении, обширности. Ответы Гурго Наполеону были верны; но в них сказывалось увлечение или, лучше сказать, упоение (l'enivrement), которое мы все испытывали перед вступлением в эту древнюю столицу России, припоминая, что многие из нас несколько месяцев назад находились при осаде Кадикса. В самом деле, Москва – это мир! Это славный мир! Действительность казалась этим войскам волшебною сказкою из тысячи и одной ночи. Гений их полководца снова восставал перед ними в прежнем блеске; они достигли указанного им окончания похода беспримерного по трудностям, которые они преодолели. Затем последуют обещанный мир, довольство, спокойствие и – слава»[28].

Между тем, лишь только Мюрат прежде, нежели отпустил Акинфова, дал знать передовым войскам, чтобы они прекратили перестрелку и подвигались медленно вперёд, генерал Себастьяни выехал за свою цепь и встретил Милорадовича. Он несколько времени ехал рядом с ним, дружески беседуя о сохранении Москвы, о чём свидетельствует Клаузевиц, находившийся в это время в авангарде. «Генерал! – говорил Себастьяни. – Император во главе своих войск введёт свою гвардию, и в таком случае, конечно, всякий беспорядок будет предупреждён». Тем временем пехота нашего арьергарда уже вступала в город, и Милорадович поспешил к ней. Подъехав с своею свитою к Кремлю, он увидал, что командир Московского гарнизонного полка Брозин, с двумя батальонами, только что выступал из Кремля и, ко всеобщему удивлению, с музыкою. Со всех сторон от солдат и оставшихся жителей слышались возгласы: что это за изменник радуется нашему несчастью! Милорадович, взволнованный этим явлением, подскакал к Брозину и крикнул: «Какая каналья приказала вам выходить с музыкою?» С невольным простодушием Брозин отвечал, что когда гарнизон при сдаче крепости получает позволение выступить свободно, то выходит с музыкою, как сказано в Регламенте Петра Великого. «Да разве сказано что-нибудь в Регламенте Петра Великого о сдаче Москвы?»– закричал Милорадович. «Прикажите немедленно замолчать вашей музыке!»[29]

Акинфов нагнал Милорадовича уже близ Яузы и передал ему о своём разговоре с Мюратом и о согласии на его предложения. «Видно французы очень рады занять Москву», – сказал Милорадович

и отправил немедленно полковника Потёмкина* уведомить князя Кутузова о заключённом перемирии; а Акинфову вновь приказал ехать к Мюрату с требованием заключить дополнительное условие и продлить перемирие до 7 часов утра следующего дня. В случае несогласия он поручил сказать Мюрату, что остаётся при прежнем решении и будет драться в улицах Москвы. Милорадович видел, что улицы по ту сторону Кремля к Рогожской заставе были наполнены обозами, отсталыми солдатами и спасавшимися жителями. Он советовал последним оставаться в Москве, говоря, что её сдают с условием, чтобы жителям не было делаемо притеснений, но, конечно, понимал, что немногих убедят его заверения: потому, чтобы дать возможность свободно выйти из Москвы, как им, так и остальным войскам, Милорадович предложил новое условие Неаполитанскому королю, рассчитывая на сильное желание французов овладеть столицею без боя, целою и невредимою.

По мере того, как наши войска отступали за Москву, войска французские приближались к ней. За Дорогомиловской заставой остались только казаки нашей задней цепи, когда французский авангард вступал на высоты Поклонной горы, с которой открылся великолепный вид на Москву, широко раскинувшуюся и своими золотыми маковками блиставшую под яркими лучами солнца. «Было около двух часов

---

* В Отечественной войне 1812 принимали участие несколько дворян Потёмкиных (по некоторым данным, восемь); кого из них имел в виду автор, трудно сказать. Граф Григорий Павлович Потёмкин (1786–1812), полковник л.-гв. Преображенского полка, в 1812 член военного суда 1-й Западной армии, командир 19-го егерского полка (24-й пехотной дивизии генерал-майора Лихачёва в 6-м пехотном корпусе Дохтурова), с которым отличился под Смоленском, участвовал в Бородинском сражении, где был убит (по другим данным, 26 августа смертельно ранен, умер позднее, 19 ноября выключен из списков как умерший от ран); иными словами, 2 сентября он не мог быть послан Милорадовичем с донесением. Яков Алексеевич Потёмкин (1781–1831) к началу военных действий был полковником, командовал бригадой из 30-го и 48-го егерских полков, входивших в 17-ю пехотную дивизию Олсуфьева 2-го пехотного корпуса К.Ф. Багговута, но уже за отличие в сражении под Витебском (13 июля) получил чин генерал-майора. Александр Михайлович Потёмкин (1787–1872) воевал в 1812 в составе л.-гв. Преображенского полка, получил орден Св. Анны 4 ст., но в каком чине был в августе 1812, установить не удалось. Наконец, наиболее вероятно, что речь идёт об отставном полковнике Потёмкине, который приказом по 1-й Западной армии от 25 июля 1812 был прикомандирован к Ревельскому пехотному полку (входил в бригаду генерал-майора Тучкова 4-го 3-й пехотной дивизии Коновницына 3-го пехотного корпуса Тучкова 1-го) *(прим. ред.)*.

пополудни. Тысячами различных цветов блистал этот огромный город. При этом зрелище войсками овладела радость; они остановились и закричали: Москва! Москва! Затем всякий усиливал шаг, все смешались в беспорядке, били рука об руку, с восторгом повторяя: Москва! Москва! Так кричат моряки: земля, земля! после долгого и мучительного плавания. При виде этого позлащённого города, этого блестящего узла, соединяющего Европу и Азию, этого величественного средоточия, где соединялись роскошь, нравы и искусства двух лучших частей света, мы остановились в гордом созерцании. Настал, наконец, день славы; в наших воспоминаниях он должен был сделаться лучшим, блестящим днём всей нашей жизни. Мы чувствовали, что в это время обращены удивлённые взоры всего мира на наши действия, и каждое малейшее наше движение будет иметь значение в истории. Казалось, мы шествуем по этому громадному и величественному поприщу, окружённые всеобщим удивлением народов, гордые тем, что мы вознесли славу нашего века выше всех других веков. Когда мы возвратимся на родину, — чего так сильно желаем, — с каким почтительным вниманием, с каким восторгом встретят нас наши жёны, наши соотечественники и даже наши отцы! Во всю остальную нашу жизнь мы будем какими-то особыми существами, на которых они будут смотреть с удивлением, которых они будут слушать с любопытством изумления, будут бегать за нами, ловить каждое наше слово. Это чудодейственное завоевание (miraculeuse conquête) облечёт нас славою; от нас будет веять чем-то дивным и чудесным. Когда эти гордые мысли сменились более скромными чувствами, мы говорили себе: вот обещанный предел наших трудов; наконец-то мы остановимся, потому что мы уже не можем превзойти самих себя после похода, достойного стать наряду с походом в Египет и со всеми великими и славными боями древности. В это время были забыты все опасности и страдания. Можно ли купить слишком дорогою ценою высокое счастье во всю жизнь повторять: и я был в войсках, вступивших в Москву?»[30]

Каким-то делом сверхъестественным, каким-то чудом казалось для французов их вступление в древнюю столицу России. Отблеск чуждой славы, может быть, в это время увлекал и их союзников; но, без сомнения, они волновались гораздо более *скромными чувствами*, полагая найти в Москве конец похода, в котором их подвергли стольким бедам и лишениям. Были между ними и такие, которые из этого торжества французов присваивали и себе некую долю. «Можно понять, какое испытывал я чувство, — говорит граф Роман Солтык, — при виде древней столицы царей, возбудившем во мне столько великих истори-

ческих воспоминаний. На ней в начале XVII столетия победоносные поляки водрузили своё знамя, и перед ним преклонялся Московский народ, признав своим государем сына нашего короля. И вот их потомки, сражаясь в фалангах Наполеона, пришли во второй раз осенить её своими победоносными орлами. Все эти победы моих соотечественников, старые и новые, сливались в одно целое в моём воображении, и я припоминал деяния Ходкевичей, Жолкевских и Сапег, заставлявших трепетать Московское царство»[31].

Двинувшись вперёд и как бы невольно несомые к Москве, французы смешались с казаками, составлявшими заднюю цепь нашего арьергарда. Мюрат очутился между ними. Он остановил свою лошадь и спросил: не говорит ли по-французски кто-нибудь из офицеров? К нему подъехал молодой офицер. «Кто начальник этого арьергарда?» — спросил его Мюрат. Офицер указал ему на пожилого человека, воинственного вида, в казацком мундире. Цепью казаков командовал в это время полковник Ефремов. «Спросите его,— продолжал Мюрат,— знает ли он меня». Молодой офицер исполнил это поручение и отвечал: «он говорит, государь, что знает ваше величество и всегда видал вас в огне». «Такой ответ (совершенно правдивый) польстил Мюрату»,— замечает один из французских офицеров, свидетелей этой сцены. Разговаривая таким образом в русской цепи, посреди казаков, Мюрат обратил внимание на бурку, которая была на плечах казацкого начальника и заметил, что эта одежда должна быть очень хороша на бивуаках. Когда это замечание было переведено Ефремову, тот молча снял с себя бурку и подал её Мюрату. На любезность он хотел отвечать такою же любезностию; но, ничего не найдя у себя, взял часы у Гурго и подарил их казацкому офицеру[32].

Когда Акинфов возвратился с новым предложением Милорадовича, он встретил Мюрата уже недалеко от Дорогомиловской заставы. «Мюрат ехал вслед за своей передовой цепью, смешавшейся с нашими казаками,— говорит Акинфов.— Приняв меня очень ласково, он беспрекословно согласился на это предложение; но с тем, что всё непринадлежащее армии будет оставлено». Потом он спросил его, сообщил ли он жителям Москвы, что они будут в совершенной безопасности. «Хотя поистине я о том не думал,— продолжает Акинфов,— да и не с кем было в Москве говорить об этом, но должен был уверить Мюрата, что исполнил его поручение».

В это время император Наполеон со свитою въехал на Поклонную гору. «Наконец, вот этот знаменитый город (la voila donc enfin cette fameuse ville!),— воскликнул он, прибавив вслед за тем,— да и пора уже!» (il était temps!). Его лицо сияло радостью, потому что он был уве-

рен, что, заняв Москву, заключит мир, какой ему будет угодно. Перемирие, заключённое Мюратом, которое он утвердил, казалось ему хорошим предзнаменованием. После Бородинского сражения, недовольные им маршалы удалялись от него; но при виде отдававшейся им Москвы, узнав о переговорах Мюрата с Милорадовичем, удивлённые таким оборотом военных действий, восторженные славою, они забыли те упрёки, которые ему делали. Они спешили собраться вокруг него, преклоняясь перед его счастьем и готовы были даже приписать дальновидности его гения то обстоятельство, что он не позаботился довершить победу в Бородинском сражении[33].

Наполеон долго смотрел в зрительную трубу как на Москву, так и на её окрестности, по которым двигались его войска: вице-король со стороны Рузы и Звенигорода подвигался к Тверской заставе, Понятовский подходил от Вереи и с противоположной стороны должен был обложить город до самой Коломенской дороги; за поляками и вице-королём должен был расположиться корпус маршала Даву. Наполеон сошёл с коня, велел разостлать перед собой карту Москвы и подозвал к себе одного из своих секретарей Лелорня, который знал по-русски, был знаком с Москвою и служил ему переводчиком. Он расспрашивал Лелорня о некоторых зданиях и, между прочим, указав на огромное строение и узнав, что это Воспитательный Дом, находящийся под покровительством вдовствующей императрицы, приказал поставить к нему охранительную стражу и вообще делал распоряжения к ограждению спокойствия и безопасности города и его жителей[34]. Соображаясь с движениями конных отрядов, приближавшихся уже к Тверской и Калужской заставам, он выстрелом из пушки приказал дать сигнал, чтобы авангард и главные войска шли к Москве. Вслед за тем он и все окружавшие его сели на лошадей и понеслись к Москве. «В то же мгновение авангард и часть стоявшей позади его главной армии с невероятным стремлением, конница и артиллерия, поскакали во весь опор. Пехота бежала бегом. Топот лошадей, скрып колёс, треск оружия смешивались с шумом бегущих солдат, сливаясь в дикий и ужасный гул. Свет померк от поднявшейся густым столбом пыли, и вся земля как бы заколебалась и застонала от такого движения. Через какие-нибудь 12 минут все очутились у Дорогомиловской заставы[35]. При громе восклицаний: да здравствует император! обрадованного войска, достигшего конечной цели похода, Наполеон сошёл с коня и по левой стороне Камер-коллежского вала ходил взад и вперёд «в спокойном расположении духа», между тем как войска с музыкою вступали в город. Незадолго перед тем он подозвал к себе своего генерал-адъютанта графа Дюронеля и барона

Денье, состоявшего при начальнике Главного его штаба, и дал им поручения: «Поезжайте в город, генерал, устройте порядок службы и составьте депутацию, которая должна мне поднести ключи. Вы, Денье, поезжайте в правительственные учреждения и места, соберите сведения об имеющихся средствах (des ressources) и донесите мне». Император Наполеон, спокойно прохаживаясь у Камер-коллежского вала, ожидал депутации от столицы, которая бы повергласъ к стопам победителя с мольбами о милости, представила бы ему ключи города и дала бы возможность выказать благодушие великого человека, которое разнеслось бы потом по всей Европе в высокопарных выражениях бюллетеня Великой армии[36].

Передовые отряды французского авангарда, под начальством генерала Себастьяни, входили в город вслед за нашими казаками. Их поражало отсутствие жителей и мёртвая тишина, которую нарушали только топот их лошадей и шаги пехоты. Двери домов были заперты, окна затворены, даже ставнями. В первое время французы полагали, что жители, опасаясь беспорядков и насилия со сторона неприятеля, очистили те улицы, по которым они должны были следовать к средоточию города, к Кремлю, и скрылись в боковые улицы и переулки. Но скоро истина обнаружилась. Генерал Дюронель и Денье также не встречали никого в опустелой столице, до Дорогомиловского моста. Но когда они переехали этот мост, к ним бросилась навстречу испуганная толпа иностранных купцов, немцев, итальянцев и французов, которые, с одной стороны, боялись оставаться в городе, покинутом властями и жителями, а с другой желали обеспечить себя и свои имущества от войск, входивших в Москву в качестве победителей: они прибегли к покровительству Наполеона. В числе их был один типографщик Ламур (Lamour). Когда граф Ростопчин выслал из Москвы Семéна, известного впоследствии типографа и книгопродавца, который управлял в то время типографиею Н. С. Всеволожского*, Ламур занял его место при типографии. Ламур был поклонник Наполеона и очень радовался, что мог увидеть его. «Император желает говорить с одним из вас»,— сказал, обращаясь к ним, приведший их генерал. Ламур подошёл и лишь только начал речь: «Государь, имею честь,» — как Наполеон прервал его вопросами: — «Давно ли город оставлен жителями, когда оставили его начальники и власти?» — «Москвичами овладел панический страх,— отвечал Ламур,— при вести о торже-

* Август Семен (впоследствии управлявший Московскою Синодальною типографией) в первом браке женат был на француженке, падчерице Н. С. Всеволожского; оба они масоны *(прим. П. И. Бартенева).*

ственном приближении Вашего Величества, и в несколько дней город опустел. Граф Ростопчин последний выехал из города. Люди, имеющие верные сведения, уверяли меня что он решился уехать только 31 августа...» «Прежде Бородинского сражения! – прервал его Наполеон. – Что за сказки!» – и, повернувшись спиной к Ламуру, произнёс: «Дурак» (imbecile)[37]. Ламур, долго живший в России, привык считать чи сла по нашему стилю и не догадался, что для Наполеона 31 августа предшествовало 7 сентября нового стиля, т.е. Бородинской битвы. Но кроме этой неудачно окончившейся попытки Ламура, многим из находившихся в Москве французам, между которыми были люди образованные, как например, книгопродавцы Рис, Сессе, и лектор Московского университета Виллерс, удалось подробно объяснить императору Наполеону состояние Москвы. Нельзя было не верить единогласным показаниям их[38]; но император не вдруг свыкся с мыслью, что нечего ожидать депутации с ключами от города и что без неё должно ему вступить в опустелую столицу России. Он подозвал к себе Гурго. «Москва оставлена жителями! (Moscou déserte), – воскликнул он. – Какое невероятное событие! Надо его обдумать. Подите, приведите мне бояр». Двинув в город весь авангард Мюрата, Наполеон всё ещё полагал, что, может быть, испуганные жители «не знают, как надо сдаваться; здесь всё ново и для них, и для нас», – говорил он[39].

Известие, что Москва оставлена жителями, быстро распространилось в войсках и привело их в уныние. Вельсович[40] подбежал к русским пленным, которые стояли невдалеке от самого императора и наблюдали, что происходило перед ними, и, обращаясь к Корбелецкому, спросил: «Что это значит, что в Москве нет ни армии вашей, ни жителей?» – «Не знаю», – отвечал Корбелецкий. По его свидетельству «такая нечаянная весть, казалось, поразила и самого Наполеона, как громовым ударом». Он был чрезвычайно изумлён и как бы «впал в самозабвение. Ровные и до того времени спокойные шаги его вдруг становятся скоры и беспорядочны. Он оглядывается в разные стороны, оправляет платье, останавливается, вздрагивает, недоумевает, берёт себя за нос, снимает с руки перчатку и опять надевает, вынимает из кармана платок, мнёт его в руках и как бы ошибкою кладёт в другой карман, потом снова вынимает и снова кладёт, опять снимает перчатку и торопливо надевает её, и это повторяется несколько раз». В этом состоянии сильного волнения Наполеон находился «битый час, и во всё это время окружавшие его генералы стояли перед ним неподвижно, и ни один из них не смел и пошевелиться»[41]. Несколько успокоившись, он снова сел верхом и поехал в город вслед за авангардом, между тем как другие войска обходили Москву с правой и левой сто-

рон. Но, проехав Дорогомиловскую слободу, император снова остановился на берегу Москвы-реки, сошёл с лошади и опять начал ходить взад и вперёд, и уже спокойнее прежнего. Оставление Москвы жителями было такою неожиданностью для французов, что они подозревали, нет ли тут обмана, не подготовляются ли какие-нибудь засады. По всей Дорогомиловской слободе и по берегу Москвы-реки поставлены были караулы; Наполеон не решался въехать в город и провёл ночь с 2 (14) на 3 (15) сентября в одном из трактиров этой слободы, где изо всех русских обывателей нашлось только четыре дворника. В этой квартире он поручил маршалу Бертье отдать следующие приказы:

«Маршалу Лефевру с Молодою гвардиею предписывается занять Кремль и устроить в нём полицию; генерал Дюронель назначается губернатором города; Неаполитанскому королю предписывается, чтобы он поручил Понятовскому занять своею кавалериею пространство между дорогами, которые ведут к Коломне и Троице (Рязанскою и Ярославскою); вице-король должен перенести свою главную квартиру к С.-Петербургской заставе и занять всё пространство от неё до дороги к Троице; Даву перережет все дороги, начиная с той, которую займёт вице-король и до той, на которой остановится Понятовский; вице-король и король Неаполитанский пошлют сильные отряды на Петербургскую дорогу и на ту, по которой направился неприятель с тем, чтоб сообщать о нём известия и забирать отсталых»[42].

В то время, когда всё это совершалось на одном краю Москвы, куда вела Смоленская дорога, на другом краю, откуда шла дорога в Рязань и Владимир, отступали отставшие войска и обозы нашей армии, а потом арьергард и толпы москвичей с их пожитками. Глубокое, мёртвое безмолвие царствовало в остальных частях города; никого не было на улицах; оставшиеся жители заперлись в домах. Но довольно было скрытых глаз, направленных в ту сторону, откуда ожидали вторжения неприятеля. Некоторые, однако же, не ожидали вторжения, веря объявлениям графа Ростопчина и, завидев появление французских войск, полагали, что это англичане или шведы пришли к нам на помощь[43]. Признаки общественной жизни, но уже неправильной и болезненной, ещё сказывались в Кремле. Толпа, которая перед тем добила несчастного Верещагина и с неистовыми криками волочила его труп по улицам, эта толпа, состоявшая из самых низших людей населения, буйная и пьяная, ввалилась в Кремль к Арсеналу, чтобы забрать оставшееся оружие, которым обещал главнокомандующий Москвою вооружить жителей и вести их на решительный бой с неприятелем. Случайным свидетелем действий этой толпы оказался сенатский чиновник, надворный советник Бестужев-Рюмин.

Вотчинный департамент, со времени его образования в 1786 году из Вотчинной коллегии, составлял присутствие государственного архива древних поместных и вотчинных дел, заключавшего в себе все документы, обеспечивающие обладание недвижимою собственностью частных лиц. Это присутственное место, под председательством обер-прокурора общего собрания Московских департаментов Сената, состояло из трёх членов, называвшихся по старшинству первым, вторым и третьим[44]. Первого члена уже не было в Москве, когда третий член Вотчинного департамента, 1-го сентября, рано утром, принёс Бестужеву следующее предложение Вотчинному департаменту: «Так как обер-прокурор Сената (Озеров) отправляется с Правительствующим Сенатом в г. Казань, то и передаёт власть свою над департаментом старшему по себе». Затруднительным положением, в которое был поставлен прокурор, объясняется это странное предложение: он должен был со всем Сенатом отправляться в Казань, между тем важный архив Вотчинного департамента не был вывезен, и, естественно, он полагал невозможным бросить его на произвол судьбы. Ещё затруднительнее было положение Бестужева-Рюмина: он имел отпуск с 9 августа на 28 дней и потому мог давно оставить Москву; но болезнь жены задержала его, и он продолжал ходить на службу. Он собирался ехать в Богородицкий уезд Тульской губернии, и граф А.Г. Бобринский прислал за ним уже лошадей и снабдил деньгами. Кроме него оставался ещё один член Вотчинного департамента, надворный советник Иванов, который и принёс ему предложение прокурора Озерова. «Но каково было моё удивление! – говорит Бестужев. – Лишь только я прочитал эти строки, как увидал у ног моих Иванова, бледного, трепещущего, умоляющего подписать ему паспорт на выезд из Москвы, который он уже держал в своих руках. Я подписал паспорт: в противном случае он уехал бы и без него; а может быть и того хуже: умер бы со страху, и причину его смерти приписали бы мне». Конечно, в таком положении Бестужеву следовало оставаться в Москве. «Трусость, – говорит он, – которую обнаружу бегством от неприятеля, кинув сокровища отечественные, которые заключают в себе архивы Вотчинного департамента, на произвол судьбы, будет с моей стороны подлым нарушением присяги». Поэтому, «возложив упование на Всемогущего Творца», оставляя квартиру под надзором своих служителей, отпустив назад лошадей графа Бобринского, он взял жену и детей, переселился в Вотчинный департамент, и «сам себя сделал его стражем». Нет поводов заподозревать правдивость этого рассказа, хотя, быть может, к чувствам долга и святости присяги присоединялись и иного рода побуждения. Самоуверенность

в подвиге почти невозможном, и самая начальническая власть, так случайно и неожиданно доставшаяся, быть может, увлекли Бестужева. Эту власть он выказал на другой же день своим подчинённым: 2-го сентября, когда явились некоторые из них в департамент, он сделал им выговор, «что будучи дежурными, они не находились в эту ночь по своим местам» и даже угрожал послать их для наказания к коменданту. На это секретарь департамента отвечал: «ни коменданта, ни главнокомандующего, ни обер-полицеймейстера, ни полицейских чиновников, никого уже нет в Москве; а вы хотите, чтобы мы были при своих местах». В это время вошёл другой чиновник и рассказал об участи Верещагина, как очевидец события. «Не продолжая далее выговоров», Бестужев велел написать журнал в таком смысле: так как он один не может составлять целого присутствия Вотчинного департамента, то закрывает его; велел раздать нерозданное ещё жалованье чиновникам за август месяц и сам вышел из Сената, направляясь к Арбату, чтобы посмотреть, что делается в той стороне, откуда должен был появиться неприятель. Но лишь только Бестужев вышел из Кремля вместе с одним из своих чиновников, как они встретили «пьяного господского человека», который шёл пошатываясь, что-то ворчал и нёс в одной руке ружьё со штыком, а в другой карабин. Бестужев, в качестве начальника, заметил улыбаясь: «Вот видишь, что значит безначалие!» В ответ на это полетело на него сначала ружьё, пролетевшее мимо, а потом карабин, который так ушиб ему ногу, что он должен был возвратиться назад.

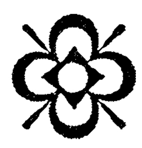
О пьяных толпах, разгуливавших в это время по Москве, рассказывают не одни иностранцы, но и многие из русских. «Перед самым тем временем,— говорит один из очевидцев, дворовый человек,— как вступил Француз в Москву, приказано было разбивать в кабаках бочки с вином. Народ-то на них и навалился; перепились пьянёхоньки. Вино течёт по улицам, а иные припадут к мостовой и камни лижут. Драки, крик! Чем бы казниться, что Господь такое наказание за грехи послал, они окаянные такое безобразие затеяли! Я-то разумеется, понять того не мог; а помню, покойный батюшка, глядя на них, говорил: «видно последние времена пришли, и не спасти нам грешных головушек»[45]. И. В. Тутолмин, остававшийся в Москве начальником Воспитательного Дома, говорит, что в день отступления нашей армии разбито было много кабаков, «из которых рабочие люди обоего пола и караульщики тащили вино вёдрами, горшками и кувшинами, и перепились так, что я на другой день вынужден был ходить по квартирам с обыском и, находя вино, выливать на землю и бить посуду»[46].

Такие-то защитники Москвы, в числе нескольких сот, которые разбирали большею частью испорченное и негодное оружие в Арсенале, оказались в Кремле, когда к Троицким его воротам подошли передовые отряды французского авангарда. Себастьяни, увидав вооружённую толпу, подозвал к себе молодого человека, который из любопытства вышел посмотреть, что происходит в Кремле и стоял у Никольских ворот. Узнав, что он говорит по-французски, Себастьяни поручил ему уговорить эту толпу положить оружие и не вступать в неравный бой. Но раздалось несколько ружейных выстрелов, на которые французы отвечали двумя выстрелами из орудий. Произошла схватка, и Бестужев увидел из окон Сената, как уланы начали рубить стоявших у Арсенала нескольких человек с оружием. «Уже человек десять пали окровавленные, а остальные, отбросив оружие и став на колени, просили помилования. Уланы сошли с коней своих, отбили приклады у ружей, и без того к употреблению негодившихся, забрали людей и засадили их в новостроящуюся Оружейную Палату»[47]. Генерал Себастьяни, не отпуская от себя любопытного зрителя, который оказался французом, плохо знавшим русский язык, заставил его провести отряд по пути отступления русских войск до самой Рогожской заставы[48]. За отрядом Себастьяни следовал авангард Мюрата, и к вечеру Кремль был занят Молодою гвардиею Наполеона.

Так окончился день 2 сентября. Несмотря на повторявшиеся известия, что Москва оставлена жителями, на пожары, начавшиеся уже с этого вечера в разных местах, император Наполеон утром на другой день[49] торжественно въехал в Москву и поместился в Кремлёвском царском дворце. От Дорогомиловского моста он следовал по Арбату и в Боровицкие ворота въехал в Кремль. «Ни одного человека! Что за народ! Это невероятно! (pas un homme, quel peuple, c'est inimaginable)», — восклицал он. Улицы были пусты, окна и двери домов заперты. Из окна арбатской аптеки выглянули только семейство аптекаря немца и французский генерал, накануне поставленный к ним на постой. Наполеон ехал на маленькой арабской лошади, в сером сюртуке; за ним многочисленная свита и три русских пленных, а впереди два эскадрона конной гвардии. Выражение его лица было сурово; но оно прояснилось несколько, когда он вошёл в Кремлёвский дворец. «Вот эти гордые стены, — сказал он, увидав Кремль и потом, войдя во дворец, — наконец, я в Москве, в древнем дворце царей, в Кремле! (je suis donc enfin dans Moscou, dans l'antique palais des czars, dans le Cremlin)». Гордость была удовлетворена; он мог возвестить Европе о занятии древней русской столицы и тем подтвердить бюллетень о победе при Бородине. Но, несмотря на то, он

очень хорошо понимал всю опасность своего положения и знал, что единственное для него спасение состояло в том, чтобы заключить мир. «Русские ещё сами не знают, какое произведёт на них впечатление занятие Москвы». Он полагал, что известие об этом приведёт их в такое отчаяние, что император Александр прибегнет к переговорам о мире. «Посмотрим, – говорил он окружавшим его лицам, – что будут делать Русские. Если они ещё не войдут в мирные переговоры с нами, мы сделаем своё дело, представим миру небывалое явление спокойно зимующей армии посреди враждебного ей народа, окружающего её со всех сторон. Наши зимние квартиры обеспечены. Французская армия, пребывающая в Москве, будет походить на корабль, обхваченный льдинами... Но с возвращением весны мы снова начнём войну».

Но что возможно было сделать в Вильне и даже Смоленске, т.е. остановиться на зимние квартиры и отложить окончание войны до будущего года (как и советовали Наполеону маршалы), то уже представлялось совершенною невозможностью в Москве. Конечно, император это понимал, а потому и поспешил прибавить: «Впрочем, до этого не дойдёт; император Александр не доведёт меня до этого. Мы войдём с ним в соглашение, и он подпишет мир»[50].



Глава 2

Мюрат в Баташёвском доме. – Граф Солтык. – Пожар Гостиного Двора. – Французы тушат огонь. – Ночь с 3 на 4 сентября. – Отдача Наполеоном Москвы на грабёж. – Наполеон в Московском огне. – Наполеон спасается в Петровском дворце. – Аббат Сюрюг. – Актриса Фюзиль. – Организация грабежа. – Междуусобие грабителей. – Оставшиеся жители. – Орлов луг. – Новодевичий монастырь. – Избиение неприятеля.

Сначала Наполеон принимал меры, чтобы оградить Москву от грабежа: он занял город своею гвардиею и запретил отлучаться с бивуаков солдатам тех войск, которые были расположены за городскими заставами[1], и в продолжении первого дня в войсках ещё сохранялся кое-какой порядок. Но лишь наступила ночь (с 2-го сентября на 3-е), о порядке не могло уже быть и речи[2]: нельзя было голодных солдат заставить, чтобы они умирали с голоду у застав того города, на который постоянно указывали им, как на последнюю цель многотрудного похода, где ожидали их мир, хорошие квартиры и обильное продовольствие. Лишь только ночная тьма дала возможность незаметно уходить с бивуаков, как Московские улицы наполнились толпами неприятельских солдат, которым «сами офицеры подавали пример неповиновения»[3]. Не только офицеры, но маршалы и генералы, утомлённые бивуачною жизнью, спешили воспользоваться возможностью отдохнуть в роскошных домах русского дворянства. Мюрат начальствовал авангардом и должен был, следуя по пятам отступавшей нашей армии, зорко следить за её движениями; но и он возложил эту обязанность на подчинённых ему генералов. Следуя с авангардом за город на Рязанскую дорогу, Мюрат обратил внимание на великолепный дом Баташёва, что на Швивой горке, назначил в нём себе квартиру, приставил караул и, доведя свои войска до заставы, возвратился вечером в этот дом с многочисленною свитою. Потребовав к себе домоправителя, он осмотрел не без удовольствия роскошные палаты, напомнившие ему итальянские дворцы и, с самоуверенностью Наполеоновского генерала и лично ему свойственным легкомыслием, поручил домоправителю написать своему господину, чтобы

он возвратился в Москву и воспользовался его покровительством. Не только именитые и богатые дворянские семейства имели собственные дворцы в Москве, отличавшиеся огромностью и роскошью; но и большая часть зажиточных дворян, преимущественно ближайших к Москве губерний, имели также свои дома, благоустроенные и снабжённые всеми средствами для привольной жизни. Но в этих домах они проводили только зиму, на лето уезжая в свои подмосковные или более отдалённые деревни. Так было и в этом году: дома стояли пустые, но совершенно в том виде, как были в присутствии своих владельцев и всегда готовые принять их. В них оставались дворовые люди, охранять имущество господское. Так и в обширном доме Батащёва находились управляющий и значительное количество прислуги. Желая задобрить неприятеля и оградить дом своего господина от грабежа, они старались исполнять все требования и прихоти незваных постояльцев. Они осветили весь дом, приготовили сытный ужин, как королю Неаполитанскому, так и его свите. Но только для одного Мюрата нашлась четверть сайки, уцелевшая случайно у дворовых ребятишек: всем другим гостям положен был чёрный хлеб. «Генералы сперва гневались и говорили, что свиньи только кушают такой хлеб; однако ж, быв голодны, принялись и за него», уведомлял потом Баташёва его дворовый человек, смотревший за домом. После ужина, продолжает тот же свидетель «всякий генерал требовал пышной постели, всякий особый покой; покоев много, но постелей набрать было негде, ибо на холопской постеле спать никто не хотел, а потому с угрозами всякий требовал такой, какой ему хотелось. Всю ночь нас как кошек за хвост то туда, то сюда таскали. Свечи горели всю ночь и в люстрах, и в лампах. Оставить было опасно, а гасить не посмели, потому всю ночь бродили мы как тени»[4].

Генерал Клапаред, которого дивизия была присоединена к авангарду, следуя примеру своего начальника, также поставил своё войско за Семёновскою заставою, а сам поместился в городе, в Покровском монастыре[5]. Вице-король, разместив свой корпус за Тверскою заставою, поместился в доме Мамонова на Тверской улице[6]. Дарю и Дюма, посланные Наполеоном за более точными сведениями о том, действительно ли Москва оставлена жителями, пробродив по пустым улицам, выбрали себе дома для помещения. «Я выбрал дом Мухановой, — говорит граф Дюма, — на углу площади, на которой находится дом генерал-губернатора, плохой архитектуры, но внутри хорошо расположенный и отделанный. В нижнем этаже, в кухне, я нашёл двух мужиков или рабов, которые ввели меня в комнаты. Всё было в них в таком порядке, как будто бы ожидали приезда господ. В гостиной, на круглом столе,

лежали начатые дамские работы. Все мебели стояли по своим местам, и в прекрасной спальне на письменном столе лежали ключи»[7]. После стоянок на бивуаках, продолжавшихся так долго, естественно, каждый из сановников и генералов Великой армии не без удовольствий помышлял об удобной и покойной квартире в русской столице.

Генерал Сокольницкий, находившийся при Наполеоне по части собирания сведений о неприятеле посредством шпионов, просил отправлявшегося в город графа Солтыка приискать и занять для него один из домов неподалёку от Кремля. Достигнув до ближайших улиц к Кремлю, граф Солтык был изумлён прекрасными домами; особенно его поразил дом Пашкова, на углу Воздвиженки и Моховой. «Я затруднялся,— говорит он,— какой выбрать дом из сотни великолепных, один богаче другого. Какая противоположность с бивуаками и жалкими лачужками, которыми приходилось нам довольствоваться столько месяцев! Эти дома казались мне очарованными замками Арабских сказок. Проехав из конца в конец ту улицу, в которой я находился, я решился постучаться у подъезда одного дома небольшого, но очень достаточного для удобного помещения генерала с его свитою. Дверь отворилась, и я был изумлён дюжиною служителей графини Мусиной-Пушкиной, приветливо меня встречавших». Главный из них или управляющий спросил графа по-французски, что ему угодно и объявил, что владелица дома, уезжая, поручила ему не отказывать им в приёме, да и для их услуги оставила достаточное число людей. «Он ввёл меня потом в комнаты,— говорит граф Солтык,— прекрасно отделанные. Я объявил управляющему, что тут будет стоять генерал и для себя выбрал удобную комнату. Он спросил меня, не желаю ли я обедать, и, конечно, я с радостью принял предложение. Через час мне приготовлен был прекрасный обед, с разными винами и даже шампанским. Но моё удивление достигло высшей степени, когда управляющий спросил, не желаю я ли разделить обед с двумя француженками, гувернанткою и компаньонкою графини, которые, из чувства патриотизма, остались здесь в ожидании своих соотечественников?» Конечно, граф Солтык с радостью принял предложение и сам отправился пригласить француженок в столовую. Так приятно начавшийся первый вечер в Москве завершился, однако же, весьма неприятно для нового обитателя дома графини Мусиной-Пушкиной: к концу обеда одна из француженок вскочила из-за стола, подошла к окну и с особенно тревожным чувством воскликнула: «Вот и пожар!» Граф успокоил её, приписывая пожар случайным обстоятельствам и беспорядку, неразлучному с войною (как думали и все французы о пожарах в первый день прибытия в Москву). «Но фран-

цуженки не разделяли этого мнения. Они говорили, что Московское дворянство так раздражено против французов, что надо ожидать больших бедствий». На расспросы графа Солтыка, они рассказали ему о намерении графа Ростопчина сжечь город, о чём молва ещё задолго до вступления французов действительно ходила по Москве и особенно между жившими в ней иностранцами. Но то бедствие ещё только предполагалось в будущем, как тут оно наступало немедленно. Едва граф Солтык лёг в постель, около одиннадцати часов ночи, как сильные удары в дверь его спальни разбудили его. Стучались те же француженки, с ужасом прося заступничества и объявляя, что французские солдаты грабят дом. Одевшись и взяв оружие, граф Солтык сошёл во двор и увидал, что вооружённые гренадёры Старой гвардии грабили погреба и успели уже опорожнить несколько бутылок вина. Он объявил им, что в этом доме квартира генерала, принадлежащего к свите императора и чтобы они прекратили буйство. В ответ на это, один из гренадёров поднял кулак, а другие выражали готовность поддержать товарища. Такой неожиданный поступок, обличавший совершенное ослабление дисциплины и притом в Старой гвардии, наименее подвергавшейся лишениям (сравнительно, конечно, с другими войсками) вывел из терпения графа Солтыка. Он ударил саблею по мохнатой шапке гренадёра так сильно, что тот повалился на землю. Это ошеломило остальных, но ненадолго. Опомнившись от первого впечатления, некоторые из них, взяв ружья наперевес, бросились на графа со штыками. Польский граф поспешно вошёл в дом, заперся в своей комнате и кричал оттуда, что пулею из пистолета положит на месте всякого, кто осмелится ломиться в его комнату. Защитнику дома и француженок, которые так любезно в лице его приветствовали своих соотечественников, пришлось спасать уже самого себя. «Этот случай, — говорит он, — вероятно окончился бы трагически, если бы разбуженный шумом вдруг не появился мой денщик из конюшни, силач и храбрец — он разогнал гренадёров и вывел меня из опасного положения»[8].

В тот самый день, когда неприятель вошёл в Москву, ночью начался грабёж повсюду. Первые грабители, по свидетельству многих москвичей, испытавших на себе их подвиги, начинали с того, что просили накормить их. Но они были не только голодны, но и оборваны: платье и бельё износились, обувь истёрлась и развалилась в продолжении долгого и утомительного похода. Вслед за пищею им понадобилась и одежда, а за предметами первой необходимости пробуждались стремления к довольству, роскоши и обогащению. С раннего утра на другой день уже дошло известие во все бивуаки тех войск,

которые стояли за заставами, что в Москве начался грабёж. Когда взошло солнце, говорит один из свидетелей, в лагере дивизии Клапареда и кавалерийском, находившемся впереди на Рязанской дороге (Себастьяни) сохранялись ещё порядок и спокойствие; но около осьми часов утра приехало в лагерь несколько польских уланов, и они объявили, что Москву грабят. Эта весть с быстротою молнии разнеслась по лагерю. В то же время пришло приказание нарядить людей для приёма продовольствия. Пользуясь этим обстоятельством, многие ушли в город и возвратились не ближе как через час, обременённые ношею, состоявшею из вина, рома, чаю, сахару и разных дорогих вещей. За пехотинцами следовали и конные. «С этого времени невозможно было и думать о поддержании порядка. Все, которые не стояли под ружьём и не исполняли непосредственно служебной обязанности, уходили, пользуясь разными предлогами. Котлы стояли без огня и кашеваров; посланные за дровами, соломою или водою не возвращались назад. Беспорядок дошёл до такой степени, что убегали даже некоторые из патрулей. Конные нам подавали худой пример; беспрерывно они проходили через наш лагерь, обременённые добычею. Один Польский улан подгонял безжалостно кнутом какого-то Русского, которого он заставлял нести тяжёлый груз награбленных им вещей. Когда офицер упрекнул его в жестокости, тот отвечал: «Это им за Прагу, где они погубили моих родителей и разрушили мой дом. Я ещё ни одного Русского не оставлял живым и надеюсь, Бог даст, и этот не возвратится в Москву»»[9].

В таком положении находились в отношении к грабежу войска авангарда, которому предписал император Наполеон не упускать из виду отступавшей русской армии. «Монастырь,— говорит тот же свидетель происшествий,— в котором генерал занял квартиру, был пощажён; но кладовые и погреба добрых монахов много пострадали. Маленькая церковь обращена в конюшню, где поставлены лошади генерала и многих офицеров, которых они привели из лагеря». В это же утро в доме Баташёва, где стоял сам начальник авангарда Мюрат, произошло то же самое. «Мы вторник, т. е. 3-е число,— писал Баташёву его прикащик,— провели в величайших суетах; ибо как проснулись чиновники, то требовал всякой чего кто хотел: иной чаю, иной кофе, иной белого вина, Шампанского, Бургонского, водки, Рейнвейна и белого хлеба. Словом, каждый с величайшими угрозами требовал, чтоб его прихоти и требования тотчас были выполнены; всех нас измучили и с ног сбили, так что пришлось бежать и скрыться хоть в воду... Там кричат бабы, что солдаты отняли и печёный и сырой хлеб, в других покоях солдаты разбивают сундуки и грабят всё, что

ни попало. Ко всем тем местам ограбленным приставлены караулы; а там опять грабят, где их нет. И так 3-е число прошло в такой суматохе»[10].

В тот же день, вслед за въездом Наполеона в Кремль, его войска начали занимать предназначенные им части Москвы. Полки вице-короля Итальянского двигались от Тверской заставы и не встречали ни жителей, ни солдат: всё было пусто, и гробовое молчание производило на них потрясающее впечатление. Они шли медленно, опасаясь неожиданного нападения, осматривали улицы и дома, прислушивались к отдалённому шуму. В огромном и незнакомом городе, в продолжении нескольких часов и притом ночью, грабёж ещё не мог распространиться повсюду. За немногими вероятно исключениями, он <грабёж> был начат гвардиею, которая должна была оберегать Кремль, спокойствие Наполеона в трактире Дорогомиловской слободы и быть охранною стражею у главных военачальников, как Мюрат и других, поспешивших немедленно воспользоваться опустелыми домами московских жителей. В Тверской части, которую должны были занять полки вице-короля, господствовали безлюдье и тишина. Но те из офицеров, которые проникли далее к Кремлю, стали встречать жителей и толпы солдат, которые открыто торговали и менялись награбленными вещами. Чем ближе они подъезжали, тем более умножались толпы солдат. Они тащили на плечах тюки сукон и других товаров. «Мы не понимали, — говорит один из них, — как мог быть допущен такой беспорядок; но солдаты объяснили нам, что дым, который мы видели, выходил из огромного здания, в котором находились лавки с товарами, подожжённые самими русскими во время их отступления через город». Любопытство заставило их приблизиться к самому Гостиному Двору, близ которого суетилось множество солдат и *нищих*; каждый нёс разные товары, а менее ценные бросались на улицах. Скоро вся площадь и улицы покрылись разного рода товарами. «Я пришёл, наконец, в самое здание, — говорит тот же свидетель, — но увы, это не было уже прославленное обилием здание: это была скорее громадная печь, из которой разносились во все стороне горевшие обломки. Возможно было ходить только по наружной галерее, где находилось множество лавок. Их-то грабили солдаты, увидавшие добычу, которая превышала все их ожидания. При этом ужасном позорище не было слышно ни восклицаний, ни шуму: каждый находил возможность с избытком удовлетворить своей алчности. Слышался только треск от огня, стук разбиваемых у лавок дверей и иногда страшный шум от рушившегося свода. Всевозможные ткани Европы и Азии пожирало пламя. Из погребов, из подземных

складов сахара, масла и других смолистых и спиртовых товаров вырывались потоки пламени с густым дымом»[11].

Вследствие пожара и преимущественно в Гостином Дворе, наполненном всяким множеством всевозможных товаров, грабёж ещё более усилился и дошёл до неистовых размеров: жадность разжигалась обилием добычи.

Едва наши войска вышли из Москвы и вступил в неё французский авангард, как уже начались пожары. Наши войска, к вечеру 2-го сентября, сделав переход в 15 вёрст до деревни Панки, «увидали в городе пожар: это было только начало, — говорит очевидец. — В продолжении ночи пожар усилился, и поутру 3-го сентября уже большая часть горизонта над городом означилась пламенем. Огненные волны восходили до небес, а чёрный густой дым, клубясь по небосклону, расстилался до нас. Тогда все мы невольно содрогались от удивления и ужаса. Суеверные, не постигая, что совершается перед их глазами, думали уже, с падением Москвы, видеть падение России, торжество Антихриста, потом скорое явление страшного суда и кончину света. Место удивления заступило негодование. Вот тебе и златоверхая Москва! Красуйся матушка, Русская столица! говорили солдаты»[12].

В тот же день, когда Наполеон, переночевав за Дорогомиловским мостом, торжественно въезжал в Москву, во многих местах города уже видны были пожары; а лишь только вступил он в Кремлёвский дворец, запылал Гостиный Двор или, по местному Московскому говору, *город*. Некоторые из очевидцев говорят, что пожар начался на Солянке; но едва ли возможно сказать наверное, где он именно начался. Москва так обширна, что житель одной улицы мог и не знать и не заметить пожара в отдалённой стороне города, особенно в такое время, когда никто из оставшихся обывателей не мог быть спокойным зрителем совершавшихся вокруг него событий. Вероятно, показание каждого из них более или менее верно, и все показания в совокупности приводят к тому заключению, что пожар единовременно начался во многих местах и в первое время не возбудил особенного внимания французов. Но это продолжалось недолго. Пожар, начавшийся на Солянке вечером 2-го сентября, перешёл на скобяные и москательные ряды и новый Гостиный Двор* и к утру следующего дня охватил деревянные здания от Яузского моста вверх по Швивой горе и вокруг церкви архидиакона Стефана. Этот пожар угрожал дому

---

* Т.е. вероятно Чернышёвские ряды, построенные в управление Москвою графа З.Г. Чернышёва, ныне не существующие и находившиеся вдоль Кремлёвской стены от Никольской башни к Спасской *(прим. П.И. Бартенева)*.

Баташёва, где стоял Неаполитанский король. Если значения этих пожаров и их последствия не предвидел Мюрат, то, во всяком случае, оставлять роскошное помещение, только переночевав в нём одну ночь, было ему неприятно. Поэтому он принял меры, чтобы потушить пожар. Деревянные домики, тянувшиеся вниз до Яузы, сгорели дотла, и не представлялось больших затруднений отстоять соседние с ними здания. Пожар на горе, по распоряжению Мюрата, был погашен войсками; им помогала дворня Баташёва, которая усердно отстаивала дом своего господина.

Но труднее было справиться с пожаром в Гостином Дворе. С Солянки от москательных и скобяных рядов пожар распространялся далее и далее. Часть Замоскворечья вовсе не была занята неприятельскими войсками до утра 3-го сентября, по незнанию, конечно, расположения города и за наступлением ночи. Казаки показывались у Москворецкого моста и к утру зажгли его. В то время горели по берегу Москвы-реки казённые хлебные магазины и взлетел на воздух парк с артиллерийскими снарядами. Когда Наполеон въехал в Кремль, уже сильно горели москательные и масляные лавки, Зарядье, Балчуг, и пламя всё шире и шире захватывало большой Гостиный Двор на Красной площади. Близость пожара к Кремлю, где находился император французов с Молодою гвардией и сосредоточены были в значительном количестве артиллерийские снаряды, вынуждала к мерам предосторожности. Наполеон поручил маршалу Мортье употребить все старания, чтобы прекратить действие огня и спасать горевшие в лавках товары. Его настоятельные приказания с ревностью приводились в исполнение; но огонь, питаемый горючими веществами, хранившимися в лавках и подвалах москательного, свечного и масляного рядов, при недостатке средств к загашению, не покорялся усилиям французских солдат. Вокруг лавок были расставлены часовые; они спасали товары и складывали их в определённых местах. В ближайших к Кремлю улицах ещё соблюдался порядок; но далее к окрестностям города грабёж происходил уже в больших размерах. К вечеру маршалу Мортье удалось если не совсем потушить угрожавший опасностью Кремлю пожар, то значительно ослабить его силу. В это время французы приписывали ещё Московские пожары случайным обстоятельствам, неизбежным иногда при занятии войсками обширного города. Хотя уже прошла весть между ними, что пожарные трубы вывезены из столицы, а оставшиеся в ней иностранцы сообщали некоторым из них давно тревожившее их опасение, что город будет сожжён, французы не теряли ещё надежды спокойно отдохнуть от трудовой походной жизни в столице Русского царства. В тот же день многие

из генералов и офицеров Великой армии отправились в каретный ряд за Петровкою, где находилось значительное количество готовых красивых городских экипажей. Каждый выбрал себе по экипажу и отмечал своим именем; но недолго спустя после этого загорелся весь каретный ряд. Занятые тушением пожаров в средоточии города, французы мало обращали внимания на более отдалённые его части, а между тем уже во многих местах пламя бушевало. «Сильный пожар свирепствовал на Покровке, опустошал Немецкую Слободу и около Ильи Пророка. Ночь была тоже страшная от пожаров и войск Французских», — говорит прикащик Баташёва. Француженка-актриса, против воли оставшаяся в это время в Москве, покинула свою квартиру в средине города и для большей безопасности приютилась у своих друзей, живших на Басманной, в доме князя Голицына. Ей захотелось, однако же, посмотреть на свою квартиру на другой день вступления французов в Москву. «Все дома, — говорит она, — были заняты военными; в моей квартире помещались два капитана гвардейских жандармов; все вещи были приведены в беспорядок, мои бумаги разбросаны по полу. Эти господа без зазрения совести читали их. Моё появление несколько смутило их, и они уверяли, что застали уже этот беспорядок в отведённой им квартире, что при ней не было никого, кроме Русских слуг, с которыми они не могли объясниться и полагали, что этот дом покинут хозяевами». Так распоряжались офицеры во всех домах, потому что дома почти все были оставлены хозяевами; но многие из офицеров и все солдаты действовали иначе: они просто ломали и били всё, что не могли ограбить и унести с собою. Хотя офицеры и предлагали этой актрисе вновь занять квартиру, обещая ей безопасность; но она предпочла возвратиться в Басманную. «Впрочем, — говорит она, — повсюду были пожары и угрожали этому дому. Я возвращалась при свете горевших повсюду домов: освещение ужасающее своею яркостью. Огонь распространялся с необыкновенною быстротою. Ветер порывисто завывал; казалось, всё соединилось для того, чтобы сжечь этот злополучный город. Было только 3 сентября, а осень в России бывает превосходная. Вечер был прекрасный. Мы пробрались соседними улицами к дому князя Трубецкого*, чтобы взглянуть на пожар. Это было великолепное и ужасное зрелище, и сколько раз потом оно повторялось передо мною! Четыре ночи мы не зажигали свечей: было так же светло, как в полдень» [13].

Пожары во многих местах города, значительною массою огня разрежая воздух, приводили его в движение, а обычные в это время

* Нынешняя Четвёртая гимназия на Покровке *(прим. П. И. Бартенева).*

года ветры превратили его, к утру 4-го сентября, в настоящий ураган. «До того времени,— говорит один из иностранцев, проживавших в Москве,— жители с каким-то безучастием, которое можно объяснить только верою в предопределение, смотрели на свои горевшие дома. Некоторые выносили образа и становились с ними перед воротами; другие, на вопрос, почему они не принимают мер против пожара? отвечали, что боятся, чтобы за это не убили их Французы или, что видно так Богу угодно. При таком настроении духа понятно, что только совершенное спокойствие воздуха или полное безветрие могло спасти город от общего истребления огнём. Французы с своей стороны, видя беззаботность жителей, не давали себе труда противодействовать. Пожар распространялся всё более и более, и в отдалённых частях города говорили о том так, как бы говорили в Петербурге о пожаре в Стокгольме»[14].

Независимо от спокойной надежды единственно на помощь Божию против бедствия, которому противодействовать почти никаких не было средств, равнодушие жителей в этом случае объясняется и другими причинами. Без пожарных труб и других орудий трудно было и противодействовать силе огня, и ещё труднее решаться на подвиг спасения своего достояния в пользу врагов, угрожавших постоянно не только имуществу, но и самой жизни. При том, в обширном городе как Москва, состоявшем большею частью из деревянных строений, пожары были явлением нередким, и, действительно, жители отдалённых от пожаров местностей мало обращали на них внимания. Но это могло быть только до *страшной* ночи с 3-го на 4-е сентября, как называют её все свидетели-очевидцы. В эту ночь поднявшийся сильный ветер раздул и усилил уже продолжавшиеся и не совсем погашенные пожары и разнёс огонь по всем частям города.

Мюрат спокойно провёл эту ночь с своею свитою в доме Баташёва и на другой день отправился за город к своим войскам, считая своё местопребывание безопасным после того, как удалось ему накануне прекратить пожар на Швивой горке. Между тем в одну ночь «загорелись дома за Москвою-рекой от Каменного моста, и пожар сделался так ужасен, что и описать невозможно. Всё Замоскворечье без изъятия занялось», а потом «и у нас,— говорит прикащик Баташёва,— Никитского попа и причётников домы, Безбородкин, Кирпичов и все тут на горе, деревянные и каменные домы, были объяты пламенем, Сахарова и Соймонова домы тож, потом попа Архидиаконского* с при-

* Т.е. священника церкви архидиакона Стефана, близ дома Баташёва (что ныне Шепелева) *(прим. П.И. Бартенева)*.

чётниками, наша конюшня и магазины. Искры, как град, сыпались на главный корпус и прочие части» Баташёвского дома. Видя, что нет спасения, управляющий и дворня, припрятав кое-какое имущество, ушли из дому, который и загорелся вскоре потом. Свита же и прислуга Неаполитанского короля не только не могли бороться с пожаром, но были захвачены им врасплох. «Королевская кухня не успела вся выбраться, потому что осталось много кострюль и котлов, и несколько повозок погорело»,— писал потом своему господину прикащик Баташёва[15]. Мюрат вынужден был искать нового помещения и нашёл его в доме графа Разумовского, на Гороховом поле*.

Первую Московскую ночь император Наполеон провёл спокойно в Кремлёвском дворце. Почувствовав облегчение от простуды, которая тревожила его с самой Бородинской битвы, в 7 часов утра Наполеон велел позвать к себе доктора. Ободренный им насчёт состояния своего здоровья, он предложил ему обычный вопрос: что нового? Когда доктор отвечал, что вокруг Кремля повсюду распространились пожары, император равнодушно отвечал: «Это неосторожность солдат; они вероятно разложили огни для приготовления пищи слишком близко к деревянным домам». Но потом взгляд его вдруг остановился; выражение лица, «исполненное благорасположения, сделалось ужасным; он вскочил с постели, быстро оделся, не произнося ни слова, толкнул ногою так сильно мамелюка, который подал ему сапог левой ноги на правую, что тот упал навзничь, и вышел в другую комнату»[16]. Очевидно, Наполеон вспомнил доходившие и до него рассказы, что русские намереваются сжечь Москву.

В эту ночь не совсем потушенный пожар Зарядья и рядов разгорелся снова и перешёл на главный Гостиный Двор, который к утру весь объят был пламенем. Горели Ильинка и Никольская; видны были пожары со всех сторон, на Тверской, на Арбате, на Остоженке, у Каменного моста. Резкие порывы северо-восточного ветра, часто менявшего направление, прорываясь по улицам и переулкам города и направляемые силою огня, несколько раз обращали огонь к Кремлю. Осыпаемый огненными искрами, Кремль освещался иногда таким светом, что казалось будто в его стенах уже начался пожар; а между тем туда ввезены были (по распоряжению начальника артиллерии генерала Ларибуасьера) подвижной пороховой магазин и все боевые снаряды Молодой гвардии; фуры с боевыми снарядами стояли даже против окон дворца, в котором ночевал император Наполеон[17].

---

* Ныне Малолетнее Отделение Воспитательного дома *(прим. П. И. Бартенева).*

Всю ночь продолжалась тревога в Кремле. «В то время, как наши солдаты,— говорит граф Сегюр,— боролись с пожаром и оспаривали у огня свою добычу, Наполеон, которого сон не смели потревожить в течение ночи, был пробуждён двойным светом: дня и пожара. Первым его движением был гнев: он хотел властвовать даже над стихиями. Но скоро он должен был преклониться и уступить необходимости. Удивлённый тем, что, поразив в сердце империю, он встретил не изъявления покорности и страха, а совершенно иное, он почувствовал, что его победили и превзошли в решимости. Это завоевание, для которого он всё принёс в жертву, исчезало в его глазах в облаках дыма и в пламени. Им овладело страшное беспокойство; казалось, его самого пожирал огонь, который нас окружал. Ежеминутно он вставал, ходил и снова садился. Быстрыми шагами он пробегал дворцовые комнаты; его движения, порывистые и грозные, обличали внутреннюю, жестокую тревогу. Он оставляет необходимую работу, принимается за неё снова и снова бросает, чтобы посмотреть в окно на непрекращавшееся распространение пожара. Из его стеснённой груди вырываются короткие и резкие восклицания: «Какое ужасное зрелище! Это сами они поджигают; сколько прекрасных зданий; какая необычайная решимость; что за люди: это Скифы!»»

Даже после этой ужасной ночи, разнёсшей огонь по всему городу, некоторые из окружавших Наполеона лиц ещё полагали, что причина пожаров заключалась «в недостатке дисциплины и пьянстве солдат» Великой армии, а сильный ветер только помог распространению огня. «Нам совестно было смотреть на себя,— говорит тот же писатель-очевидец.— Нас устрашал крик ужаса, который раздастся по всей Европе. С опущенными глазами мы подходили один к другому, поражённые этим страшным событием; оно помрачило нашу славу, оно вырвало из наших рук плоды победы, оно угрожало нашему существованию в настоящем и будущем. Мы войско разбойников, над которым должно совершиться правосудие Неба и образованного мира» [18].

Может быть, эти чувства волновали многих из французов; но, конечно, мысль об опасности и утрате добычи была господствующей в войсках Великой армии. «Москва не существует; пропала награда, которую я обещал моим храбрым войскам»,— говорил Наполеон[19]. Такова была первая его мысль при виде пылавшей столицы Русской, и он обрёк Москву на грабёж и не мог поступить иначе: только надежда на это, да чувство самосохранения заставляли драться при Бородине и поддерживали бодрость его войск, голодных, изнурённых и убавившихся на три четверти после переправы через Неман. При вступлении в Москву он отдавал строгие приказания для пред-

упреждения грабежа, потому что желал привести войска в порядок и не нарушать в них дисциплины, и так уже сильно ослабленной обстоятельствами этого необычайного для них похода. Но, конечно, он очень был рад предлогу приписать эти пожары самим русским. В это время ему сообщили, что в Москве не оказалось пожарных труб, что они вывезены по распоряжению графа Ростопчина накануне вступления французов в Москву; что видели, как сами русский поджигают свои дома, что поймали некоторых из зажигателей. Наполеону передали, конечно, в подробности те слухи, которые давно были распространены между французами, находившимися в Москве, о преднамеренном сожжении Москвы по распоряжению если не высшего правительства, то графа Ростопчина, о приготовлении разрушительных для этой цели снарядов под руководством некоего Шмидта, в одной из подмосковных деревень.

Между тем, пожар свирепствовал всё более и более. Из окон дворца всё Замоскворечье, объятое пламенем, представлялось взволнованным огненным морем. Несмотря на значительное пространство, отделявшее от Кремлёвского дворца этот пожар, оконные стёкла во дворце накалились до такой степени, что к ним едва можно было прикасаться. Поставленные на кровлях солдаты едва успевали тушить искры и головни, сыпавшиеся со всех сторон на дворец. Возраставшая сила пожара и известия о поджигателях усиливали тревогу императора Наполеона. Ему не хотелось, только что поместившись во дворце Русских царей, немедленно его оставить. Он не говорил ни слова, когда окружавшие его лица представляли ему о необходимости удалиться. «Он порывисто ходил взад и вперёд, останавливаясь перед каждым окном и смотря на страшную стихию, победоносно пожиравшую его блестящее завоевание, охватывавшую все мосты, все входы в крепость, окружавшую его со всех сторон, как осаждённого и подступавшую всё ближе и ближе к Кремлю,» — говорит граф Сегюр. До того, пожар Гостиного Двора и многие другие в разных концах Москвы ещё не озабочивали Наполеона, находившегося в Кремлёвском дворце, посреди больших зданий и за высокими стенами Кремля; но пожар Замоскворечья, расстилавшийся прямо перед окнами дворца, не мог не произвести на него поразительного впечатления. Ещё 2-го сентября показывался огонь в этой части города; но в этот день (4 сентября), сильный ветер разнёс его повсюду, и в несколько часов занялось всё Замоскворечье, состоявшее большею частью из деревянных домов, и словно огненное море заволновалось перед окнами дворца, на глазах императора. В этот день «погода была довольно хорошая,— говорит пленный наш офицер,— но страшный ветер, усиленный, а может быть

и произведённый, свирепствующим пожаром, едва позволял стоять на ногах. Внутри Кремля не было ещё пожара, но с площадки, за реку, видно было одно только пламя и ужасные клубы дыма; изредка кое-где можно было различить кровли не загоревшихся ещё строений и колокольни; а вправо, за Грановитой Палатой, за Кремлёвской стеной, подымалось до небес чёрное, густое, дымное облако и слышен был треск от обрушающихся кровлей и стен»[20]. Кремль был наполнен солдатами гвардии; одни тушили падавшие головни, другие стояли наготове с оружием; лошади были осёдланы и запряжены; все были готовы немедленно выступить из Кремля и вывезти военные снаряды. Но император Наполеон медлил оставить Кремль.

Наконец, распространился слух, что под Кремлём устроены мины, и раздался повсюду крик: «Кремль горит!» Наполеон вышел из дворца на Сенатскую площадку, чтобы самому удостовериться в грозившей опасности. Горела Троицкая башня близ Арсенала. Усилиями гвардии этот пожар был прекращён; но ежеминутно могли вспыхнуть новые; искры и горевшие головни сыпались на Кремль, далеко разносимые сильным ветром. Пожар, вспыхнувший в Кремле, побудил Наполеона позаботиться о личной безопасности. Мюрат, Евгений Богарне, Бертье и другие приближённые к нему лица на коленях умоляли его оставить Москву. Их настоятельные просьбы подкрепило случайное обстоятельство: в то время, как справлялись с этим пожаром, поймали в Кремле полицейского чиновника, которого выдали за поджигателя. «Взглянув вниз, увидел я,— говорит В.А. Перовский,— несколько солдат, ведущих полицейского офицера в мундирном сюртуке. Его взвели на площадку (дворца), и один штаб-офицер начал его допрашивать чрез переводчика: «От чего горит Москва? Кто приказал зажечь город? Зачем увезены пожарные трубы? Зачем он сам остался в Москве?» и другие тому подобные вопросы, на которые отвечал дрожащим голосом полицейский офицер, что он ничего не знает, а остался в Москве потому, что не успел выехать. «Он ни в чём не хочет признаваться,— сказал допрашивавший,— но очень видно, что он всё знает и остался здесь зажигать город. Отведите его и заприте вместе с другими». Я старался, но тщетно, уверить, что квартальный офицер точно ни о каких мерах, принятых правительством, знать не может. «Он служит в полиции и верно знает всё»,— отвечали мне. Несчастного повели и заперли в подвале под площадкой, на которой я находился. «Что с ним будет?» — спросил я у офицера, который его допрашивал.— «Он будет наказан, как заслуживает: повешен или расстрелян с прочими, которые за ту же вину с ним заперты». Этот странный приговор заставил и меня немного призадуматься»[21].

Император Наполеон решился оставить Кремль и переехать в Петровский дворец немедленно (в два часа пополудни, 4-го сентября). Но прямою дорогою, по Тверской улице, не представлялось никакой уже возможности пробраться: она представляла сплошное огненное море, волнуемое порывами ветра. «Мы были окружены целым морем пламени, — говорит очевидец и участник в путешествии Наполеона по сгоравшей Москве; — оно угрожало всем воротам, ведущим из Кремля. Первые попытки выйти из него были неудачны. После некоторых исследований открыли под горой выход к Москвереке. Через него вышел Наполеон со своею свитою и гвардиею из Кремля. Но что же затем? Подойдя ближе к пожару, мы не могли ни отступить назад, ни остановиться на месте. Но как идти вперёд, в эти волны огненного моря? Те, которые успели несколько познакомиться с городом, не узнавали улиц, исчезавших в дыму и развалинах. Однако же, надо было спешить: с каждым мгновением всё более и более усиливался вокруг нас пожар. Одна узкая извилистая улица казалась более входом, нежели выходом из этого ада*. Император пешком, не задумываясь, пошёл по этой улице. Он шёл среди треска этих горевших костров, при грохоте разрушавшихся сводов и падавших вокруг нас горящих брёвен и раскалённых железных кровельных листов. Эти обломки затрудняли его путь. Пламя, возвышавшееся над кровлями и с такою яростью пожиравшее здания, среди которых он шёл, силою ветра наклонялось над нашими головами. Мы шли по огненной земле, под огненным небом, между огненных стен. Сильный жар жёг наши глаза, но мы не могли сомкнуть их и должны были пристально смотреть на опасность. Удушливый воздух, горячий пепел и вырывавшееся отовсюду пламя, спирали наше дыхание, короткое, сухое, стеснённое и подавляемое дымом. Наши руки обжигались, защищая лицо от ужасного жара и отстраняя искры, осыпавшие и прожигавшие платье. В этом-то ужасном положении, когда лишь скорое движение казалось единственным способом спасения, наш проводник, сбившийся с пути и смущённый, остановился».

Выйдя из объятого пламенем Московского Кремля, Наполеон должен был следовать по тому же направлению, по которому вступил в Москву. От Каменного моста, за которым свирепствовал сплошной пожар почти всего Замоскворечья, путники подвигались вверх к Арба-

---

* Это был, вероятно, нынешний Лебяжий переулок и далее через Ленивку и Волхонку путь к Пречистенским воротам, откуда переплёт переулков близ Старой Конюшенной ещё до сих пор затрудняет не только приезжих, но и москвичей *(прим. П. И. Бартенева)*.

ту и запутались в переулках, прилегавших к этой улице. Сохранилось предание, что русский, согласившийся быть их проводником, жертвуя собою, умышленно завёл их в безвыходное место, со всех сторон объятое пламенем. «Здесь окончилась бы наша жизнь, исполненная треволнений»,— говорит граф Сегюр,— если бы случайное обстоятельство не вывело императора Наполеона из этого грозного положения. Корпуса́ маршалов Даву и Нея оставались на тех же позициях, на которых были размещены в день вступления в Москву, за Дорогомиловскою и Пресненскою заставами. В первую ночь, которую Наполеон провёл за Дорогомиловским мостом в слободе, конечно, солдаты этих корпусов с осторожностью пускались на грабёж; но потом, когда он переехал в Кремль и пожары распространились повсюду, даже суровая дисциплина маршала Даву не могла удержать голодных и оборванных воинов. Они рассеялись в этих частях города, ища добычи и оспаривая её у всепожиравшего огня. Эти-то грабители неожиданно натолкнулись на императора Наполеона и его свиту, узнали его и спасли от неизбежной, быть может, гибели. Познакомившись уже с местностью, они вывели его по пожарищам к Москве-реке у Дорогомиловского моста»[22]. В то время, когда отсюда поезд Наполеона медленно пробирался между пожарами, вдруг в его свиту бросилась женщина, в изорванном платье, с распущенными волосами. Она держала на руках своего ребёнка, спасая его, как самое дорогое своё сокровище. Ухватившись судорожно за сапог Наполеона, она умоляла: «Государь, пощадите меня, спасите моего сына!» Император смутился таким внезапным явлением и хотел её успокоить. «Успокойтесь, говорил он, успокойтесь; будут приняты все меры для спасения вас и вашего сына».

Это была жена Армана Домерга, высланного на барке графом Ростопчиным в Нижний Новгород вместе с другими французами. Она не отставала от Наполеона и дошла с ним до Петровского дворца[23].

Добравшись до Дорогомиловского моста, Наполеон и его спутники следовали берегом Москвы-реки, доехали до села Хорошева, переправились через реку по пловучему мосту, мимо Ваганькова кладбища и полями достигли к вечеру Петровского подъездного дворца, что за Тверской заставою[24].

Между тем ветер не утихал, и пожар усиливался. Замоскворечье представляло сплошное море огня. Несчастные жители, захваченные врасплох, оставляли свои дом и искали убежища в церквах, унося с собою что попадалось под руку из своего имущества. Но пожары охватывали и большую часть храмов. «Находившиеся в церкви жители,— рассказывает современник, приютившийся вместе с другими

в одной из замоскворецких церквей,— видя приближавшиеся к храму пожары, пришли в отчаяние, послышались рыдания, вопли, стоны. Все от страха, потеряв рассудок, бегали, суетились, спешили сами не зная куда; хватали разные вещи и бессознательно опять их бросали, все говорили, и никто никого не слушал; требовали совета, между тем сами делали наставления. Произошла общая сумятица, общее разноречие». Но грозная опасность, поражая страхом, возбуждала силы. Сговорившись, наконец, некоторые решились оставить церковь, пали с молитвою на колени перед алтарём, и находившийся тут же священник благословлял их, читая напутственную молитву. «Нас, вышедших из церкви,— говорит тот же свидетель,— разного сословия набралось до ста человек разного пола. Первый шаг путников ознаменовался преградою: зрение поразилось мраком от несшегося с пожаров дыма; слух — грохотом, воем и свистом бури». По этому рассказу, пожар Замоскворечья, быстро распространяясь, преследовал бегущих; пламя, волнуемое силою ветра, мгновенно охватывало здания вслед за ними и грозило преградить им дальнейший путь. Они должны были колесить по разным ещё не охваченным огнём переулкам, «в непроницаемой темноте... от несомого бурей горячего пепла, заслеплявшего глаза и жгущего лицо». Наконец, им удалось добраться до Полянской, довольно обширной, площади; но здесь их встретило новое бедствие: их окружили грабители-неприятели. «Пленники пали на колени и, воздевая к небу трепещущие от страха руки со слезами просили пощады и милосердия; но варвары, не знакомые с человеколюбием, не внемля ни просьбам, ни молениям беззащитных, бросились с обнажёнными саблями, как дикие звери на стадо овец, и с неистовым криком и ожесточением начали всех тормошить, грабить и бить. Площадь огласилась воплями и стонами мучимых страдальцев. Грабители, разрывая узлы, отыскивали драгоценности и разбрасывали не нужное; с мужчин снимали одежду и сапоги, в которых имели необходимость, потому что сами, бывши в дырявой обуви, ходили на натуральных подмётках; с женских голов развёртывали платки и шали, со злобою сдёргивали или срывали платья, вытаскивали из карманов часы, табакерки, золотые и серебряные монеты; вырывали из ушей серьги и снимали с пальцев кольца и перстни. “Пусть,— говорит участник-страдалец,— всякой дополнит своим воображением плачевную картину, представлявшую площадь, окружённую и освещённую заревами пожаров, наполненную дымом, смрадом и пеплом; оглушаемую воем и свистом бури, и средь этого хаоса, в полумраке, в виде адских фурий, с зверскими лицами и обнажёнными саблями, буйствующих по раскиданному и изорван-

ному имуществу, и бегающих с криком и гамом злодеев-неприятелей; а между них, в разных положениях, с искажёнными от страха лицами, с воздетыми руками, с развевающимися по воздуху растрёпанными волосами, как жертв, обречённых на мучения, несчастных жителей-страдальцев!"[25]

Пожары усиливались и в других местах города. Загорелись Сретенская часть, обе Басманные, вся Немецкая Слобода. «Море огня разлилось по всем частям города,— пишет один из очевидцев-француз.— Пламя, волнуемое ветром, совершенно походило на морские волны, воздвигаемые бурею. Казалось, к деятельности поджигателей присоединилось и божественное мщение — до такой степени этот пожар казался сверхъестественным. Несчастные жители Слободы, преследуемые огнём с одного места на другое, принуждены были удалиться на кладбище (Немецкое), находившееся за главною военною больницею (устроенною для раненых в Лефортовском дворце), но и там они не считали себя в безопасности»[26]. Немецкая слобода издавна составляла средоточие иностранного населения Москвы. Многие из иностранцев были старожилами в ней, владели домами и усадьбами; к ним примыкали приезжавшие вновь в Россию. Другим средоточием для них был Кузнецкий мост с прилегавшими к нему улицами, где приютилась по преимуществу торговля французов. 5-го сентября пожар с двух сторон угрожал Кузнецкому мосту: со стороны горевшей уже Петровки и с Малой Лубянки. Жители оставляли свои дома и лавки, спасая по возможности имущество. Многие удалялись из города, предаваясь покровительству французских войск; другие толпились на дворе и в зданиях Латинской церкви Св. Людовика. «Там господствовало глубокое отчаяние,— говорит настоятель этой церкви аббат Сюрюг, оставшийся в это время в Москве.— Собравшиеся там несчастные изгнанники из своих жилищ, с узлами в руках, отчаявались в спасении и желали от меня исповеди. Я просил повременить, обещая предупредить их, когда настанет время. Я отправился на место опасности и достиг его, осыпаемый искрами и головнями. Только помощь Провидения могла спасти нас; Оно внушило мужество роте гренадёров, находившихся в этой местности, вооружиться вёдрами и поливать крыши домов, наиболее подвергавшихся опасности, и с такою деятельностью, что им удалось остановить пожар. Это спасло целую местность, единственную вполне уцелевшую от пожара во всём городе, именно Кузнецкий мост, Рождественку, обе Лубянки, Почтамт, Банк, Чистые пруды, часть Покровки, между бульварами, и Моросейку»[27].

Конечно, подобные меры могли оказать помощь, но, вероятно, лишь ненадолго, если бы в это время ветер не переменил направле-

ния и не направил огненного моря в другую сторону, где пожар не утихал, но распространялся. В этот день две француженки, помещавшиеся на Басманной в доме князя Голицына, отправились в Петровский дворец, чтобы выпросить себе охранную стражу. «Незабвенный для меня день, — говорит одна из них, — когда мы предприняли эту поездку. Когда мы отправлялись, дом наш был в совершенной целости, и не было даже признаков огня в соседних улицах. Дочь моей спутницы, тринадцатилетняя девочка, которая находилась с нами, видала пожары только издали. Первый, который её поразил, был у Красных ворот. Мы намеревались ехать обычною дорогою по Садовой; но не было возможности пробраться посреди огня. Мы повернули к Тверской, там пожар был ещё сильнее. Наконец, мы достигли Большого театра. Невозможно описать, какое тут зрелище представлял пожар. Это была бездна пламени. Годовой запас дров находился подле самого театра, который был деревянный, и можно понять, какая была пища для пламени. Мы повернули направо, в ту сторону, где, казалось, менее свирепствовал пожар; но когда мы проехали половину улицы, сильный порыв ветра направил пламя с одной её стороны на другую, так что образовался огненный свод. Это может показаться преувеличенным, но это сущая правда (l'exacte vérité). Мы не могли двинуться ни назад, ни вперёд, ни в сторону. Приходилось возвращаться назад тою же дорогою. Но по ней всё более и более распространялся пожар. Головни падали на наши дрожки, и мы так сильно чувствовали дыхание пламени, что оно становилось невыносимо для нас и для лошадей. Мы пустились вскачь, и нам удалось доехать до Садовой. Мы возвращались в свою улицу, довольные тем, что могли дать отдых глазам, изнемогавшим от пыли и жара. Никогда не изгладится из моей памяти то зрелище, которое открылось перед нами. Этот дом, в который мы надеялись спокойно возвратиться, который час тому назад стоял цел — уже объят был пламенем. Вероятно, его недавно подожгли, потому что те, которые помещались во флигеле, не замечали ещё пожара. Крики девочки Вендрамини, бывшей с нами, обратили их внимание. Этот ребёнок совершенно потерял голову; она кричала: «Спасайте мою мать, спасайте все; Боже мой, мы погибли!» Эти крики и вид пожара разрывали мне сердце»[28].

По мере усиления пожаров умножался и грабёж. Союзники французов, особенно немцы Рейнского союза, с первого дня занятия Москвы кинулись на добычу из жажды корысти; с ними соперничали поляки, но увлекаемые притом и ненавистью к русским. Французы, по свидетельству современников, вообще отличались от своих союзников умеренностью. В первые дни, голодные и обносившие-

ся, они требовали пищи, обуви, белья, оставляя в покое жителей, удовлетворявших эти требования. Но по мере распространения пожаров, объявших весь город, свойства грабежа изменились: он сделался всеобщим. Запрещение грабить хотя не могло удерживать всех, удерживало, однако же, многих. Но ввиду спасения имуществ от истребительного огня, это запрещение уже теряло силу: все бросились на грабёж и преимущественно войска, находившиеся в самом городе и в ближайших к нему окрестностях. «Хотя запрещено было солдатам входить в город,— говорит один из полковых командиров, принадлежавший к корпусу Нея,— но грабёж начался, и как это был единственный способ пропитания, то понятно, что последние в нём участники умирали с голоду. Я согласился с полковником 18-го полка, что молча мы позволим нашим солдатам ходить на грабёж. Впрочем, они с большими затруднениями могли добыть что-либо. Им нужно было проходить через лагерь 1-го корпуса, который стоял перед ними ближе к городу и драться с солдатами этого корпуса или императорской гвардией, которая хотела всё захватить для себя одной. Никто менее нас не приобрёл от грабежа»[29]. Если солдаты различных корпусов Наполеоновой армии дрались между собой, оспаривая оружием одни у других добычу, то весьма понятно, как они должны были относиться к русским, желавшим спасти от огня хотя часть своего имущества. «Хлебные лавки были разграблены,— говорит француз-московский обыватель;— вино и водка наполняли погреба до того, что несколько солдат в них утонули. Грабёж действовал ещё губительнее огня. Положим, что Русское правительство решилось, как на военную меру, сжечь город; но грабёж был неминуемым действием его врага, лишившегося тех надежд, которые были постоянно возбуждаемы в нём. И какое иное вознаграждение можно было предоставить войскам, истомлённым трёхмесячными трудами и битвами, подвергавшимся всевозможным лишениям и положившимся на торжественные обещания, что в Москве окончатся их страдания и там они найдут все способы для удовлетворения всех нужд? Но какое это ужасное оружие в руках солдат, доведённых до отчаяния и жаждавших мести! Не было различия между Французом и Русским, иностранцем и соотечественником: всех грабили самым недостойным образом. Те, которых пощадил огонь, не избежали грабежа, который доходил до такой степени, что многие сожалели, что не погибли в огне со всем своим имуществом»[30].

Пожары начали уменьшаться с 5-го сентября. В этот день к вечеру небо покрылось тучами, и ночью пошёл сильный дождь; ветер начал стихать, и огонь постепенно уменьшался. На другой день дождь

продолжал идти с большею силою, ветер стих совершенно, и пожары почти прекратились. Хотя повсюду ещё дымились пожарища и кое-где вспыхивал огонь, но уже миновала гроза нового огненного разлива. Удушливый воздух, раскалённый огнём, наполненный дымом и пеплом, освежился на несколько, по крайней мере, времени, пока вновь не наполнился испарением сгнивавших трупов людей и животных, разбросанных повсюду. Накалённая почва и мостовые, по которым едва возможно было ходить, охолодели, и жителям, спасавшимся из одного места в другое от грабителей, уже не предстояло опасности попадать из огня в полымя. Но все эти обстоятельства ещё более усилили грабёж, вместе с тою мерою, которую принял император Наполеон для того, чтобы ввести его в определённые границы: возвратившись в Кремлёвский дворец, он предписал, чтобы каждый корпус, находившийся в Москве или её окрестностях, в определённые дни, один за другим, отряжал от себя по нескольку рот для грабежа или, как говорилось в приказе, для приготовления себе запасов продовольствия[31]. Отряды, посланные на грабёж, полагая, что каждому из них в последний раз приходится идти на добычу, с жадностью бросались на всё. «На Московских улицах встречались только военные,— говорит другой француз, также московский обыватель,— которые слонялись перед домами, разбивая двери и окна, врываясь в погреба и кладовые. Жители прятались в самых сокровенных местах и позволяли себя грабить всякому нападавшему на них. Что всего было ужаснее в этом грабеже, это систематический порядок, который соблюдался при дозволении грабить последовательно всем корпусам, одному за другим. Первый день принадлежал Старой императорской гвардии, следующий Молодой гвардии, за нею грабил корпус Даву и т.д. Все корпуса, стоявшие вокруг города, приходили по очереди обыскивать нас. Можете судить, как трудно было удовлетворить тех, которые являлись последними. Около осьми дней без перерыва продолжался такой черёд. Нельзя себе объяснить жадность этих негодяев, не видав собственного их бедственного положения. Без сапог, без нижнего платья, в лохмотьях вместо одежды, вот в каком положении находились солдаты Великой армии, исключая лишь императорскую гвардию. Когда они возвращались в свои лагери, облечённые в самые разнообразные одежды, то их можно было распознавать разве только по оружию. Но всего ужаснее было то, что офицеры, так же, как и солдаты, ходили из дома в дом и грабили. Другие, менее бесстыдные, довольствовались грабежом в собственных квартирах. Даже генералы, под предлогом реквизиций по обязанностям службы, брали повсюду всё, что им нравилось, или переменяли квартиры с тем, чтобы грабить

новые свои жилища»[32]. Грабители не различали русских от иностранцев: «Какое мне дело, что вы Француз! Что вы здесь делаете? Только какой-нибудь негодяй Француз не заодно с нами! Вы эмигрант!» «Вот какими словами угощали меня раз по двадцати на день»,— говорит тот же француз, московский обыватель. Один солдат забрался в подвал, где скрывалось целое семейство французов. Не обращая никакого внимания на их народность, он обобрал их догола; но, заметив ещё обручальное кольцо на руке молодой женщины, он потребовал и кольца. На коленях она умоляла его оставить ей этот знак супружеской верности; но он грубо отказал и грозил немедленно отрубить ей палец. Один военный повстречал француженку, спасавшуюся от грабежа своих соотечественников. Вежливыми словами, свидетельствовавшими об его образовании, он предложил ей свою защиту и, сопровождая её, вызвался нести её шубу (sa pelisse), чтобы она не утомилась. Она отказывалась из вежливости, он настаивал, и когда она передала ему свою шубу, единственное достояние, которое удалось ей спасти от огня, он убежал, смеясь над её легковерием и доверчивостию. Переодевание во все возможные одежды давало повод солдатам грабить даже своих офицеров, которых они как будто бы не узнавали в новых одеждах. Такие рассказы записал на память потомству третий француз, московский обыватель того времени[33].

По словам этих очевидцев, после того, как прекратились пожары (8-го сентября, в воскресенье) и Наполеон снова поселился в Кремлёвском дворце, они надеялись вздохнуть свободнее, полагая, что после грозы наступит тишина. «В первую неделю (пребывания французов в Москве) никто не смел выходить из дому, из опасения быть ограбленным на улице. Несчастные погорельцы изведали это собственным опытом. Вторая неделя не более внушила доверия. Всё, что уцелело от огня, не сделалось снова его жертвою; но все, что уцелело от жадности солдат после первых их поисков, сделалось вновь жертвою их алчности. Они не уважали ни стыдливости женского пола, ни невинных детей в колыбели, ни седин старости. Жалкие лохмотья бедняков, выхваченные из огня, стали снова предметом зависти людей, которых напустили грабить своих братьев»[34].

Порядок, который намеревался придать Наполеон такому делу как грабёж, только его усилил, так же, как и то обстоятельство, что грабёж должен был в это время ограничиться некоторыми пределами: после пожара осталось не более пятой доли уцелевших от огня или мало пострадавших зданий. По возвращении Наполеона в Кремль, вся его многочисленная свита, все военные начальники и офицеры, которым так надоела жизнь на бивуаках, двинулись

за ним и заняли все уцелевшие дома. Собственные выгоды побуждали их охранять свои помещения от грабежа. Под их покров укрылись и многие из Московских жителей, прежде проживавшие в этих домах или случайно загнанные в них, как в последние временные убежища от пожара и грабежа. Пользуясь их защитою, они сопротивлялись грабителям при помощи солдат, которых им назначали для охраны. Это обстоятельство было поводом к мелкой, но по всему городу распространившейся междоусобной войне в среде Великой армии, стоившей немногих, конечно, жертв, но всегда сопровождаемой шумом, бранью и побоями. Грабители, пользуясь дозволением, проникали повсюду, по нескольку раз в день, одна шайка за другою, а часто в одиночку или по нескольку человек. Обыватели обращались каждый раз за помощью к своим постояльцам — военным начальникам. Те отряжали солдат для их защиты и, если этот отряд был сильнее пришедшего на грабёж, то он прогонял его без пощады, а в противном случае уклонялся от действия, спокойно объясняя, что эти разбойники не пощадят и их самих. Не все, однако же, из одних личных выгод оберегали остатки имущества тех домов, в которых они сами помещались; были многие, которые руководились чувством сострадания к несчастным жертвам и негодованием к неистовству грабителей[35]. Французы любили сваливать вину в этом случае на своих союзников, немцев и поляков. В первые дни по вступлении в Москву, один московский житель-француз встретил у Мясницких ворот генерала верхом, в сопровождении конвоя, который остановил его вопросом: «Говорите ли вы по-французски?» Получив утвердительный ответ, генерал продолжал: «Что это делают ваши Русские? Слыханное ли дело, чтобы жечь свою столицу?» — «Я не знаю, кто её поджигает; но последствия этого для нас самые гибельные», отвечал Француз.— «Вероятно, это ваши казаки».— «Полноте, где вы видите теперь казаков?» — «Чёрт возьми, да они у ворот города; не далее как вчера, на той дороге (он указал по направлению к Тверской заставе), мы их прогнали. Могу вас уверить в этом, потому что я сам командовал. Так не ведут войны!» — «Что же делать, отчаяние привело к этим мерам, которые всех нас погубят. Вот посмотрите на этого несчастного, которого грабят и бьют ваши солдаты. Как же вы хотите, чтобы это не вызвало подобных последствий?» — «Ей, солдаты! крикнул генерал, оставьте этого гражданина! Это всё эти черти Вюртембергцы так грабят»[36].

Действительно, русские люди, рассказывая потом об испытанных ими бедствиях, говорили: «Надо по совести сказать, настоящие-то Французы очень добры: где стащат, а где и своим поделятся. А их пришельцов в народе пуще собак ненавидели: в них жалости нет».

«Нам на них жаловаться нечего,— рассказывала одна послушница Рождественского монастыря, бывшая в то время 12-тилетнею девочкою; — что правда, то правда, добра-то они нашего не щадили; а всё же грешно сказать, чтобы они до чиста обобрали и что на нас увидят, того не берут. Один только раз вышла матушка-игуменья в шубке и в меховом воротнике. Подошёл Француз, захватил шубку за полу и тащить. Делать нечего, матушка сняла её с себя; а он вынул саблю, отрезал воротник, а шубку отдал матушке назад. А меня они все ласкали (она была больная, не владела ногами): видно я им уж очень жалка была. Каждый день, бывало, пойдут они на добычу и чего-чего не нанесут: и варенья, и смокв, и пряников, всяких кренделей, потому что в лавках и кладовых много оставалось запасов. Как бывало придут с кульками да с узлами, так мне полные колени всякой всячины насыплют. Ласкают меня, бывало, по голове гладят и всё говорят: бо бо, бо бо. Добрые были ребята»[37]. Хотя вообще воспоминания о беспощадном грабеже у русских людей соединились особенно с немцами и поляками, но нельзя не заметить, что приведённые отзывы относятся до французов, бывших на постое в уцелевших от пожара зданиях; а с постоем грабёж мародёров по домам (по свидетельству современников) прекратился. Вне же домов иногда происходили ужасные сцены. Вот одна из них. По той стороне верхнего Пресненского пруда «шёл кто-то из Русских и вздумал понюхать табаку из серебряной табакерки. К несчастью его, в это самое время поравнялся с ним ехавший верхом неприятельский улан: увидав серебряную табакерку, кавалерист тотчас потребовал её себе. Но русскому не хотелось расстаться с своею собственностью. Улан нисколько не задумался, в одно мгновение проткнул русского пикой и воспользовался табакеркой. При поражении несчастный упал спиной на первую, к готическому забору и к дорожке, скамейку, голова его свесилась назад, а ноги касались земли. В этом положении он находился более недели»[38].

На третий уже день после вступления неприятеля в Москву, пожар объял большую половину города и, с одной стороны, выгнал притаившихся в своих домах жителей, а с другой наполнил её шайками грабителей. Выбегая из горевших домов, с имуществом, которое успевали захватить, несчастные жители попадались в руки грабителей, которые не только отнимали у них последнее достояние, но часто их же самих заставляли тащить за собою награбленные ими вещи, сопровождая свои приказания угрозами и побоями. Кому удавалось избавиться от одной шайки, тот попадал в руки другой, третьей и так далее, пока разутый и раздетый, измученный, избитый, в лохмотьях и без пищи, успевал где-нибудь укрыться. По всем улицам, при свисте

ветра и громе разрушавшихся от пожара зданий, раздавались неистовые крики и выстрелы грабителей, вопли и стоны их несчастных жертв. Женщины не только подвергались грабежу, не щадившему их стыдливости, но и преступным покушениям и насилию. Улицы наполнялись обгорелыми обломками зданий, полурасплавленными листами железа, трупами людей и животных. Когда прекратился пожар, немногие из жителей укрывались в уцелевших домах, занятых французами. Те, кому удавалось найти себе приют, охотно принимали других несчастных и делились скудными средствами пропитания. В эту годину горя и страданий все братски помогали друг другу и взаимно облегчали страдания[39]. Многие из жителей скрывались в кое-где уцелевших развалинах, в надворных постройках, в ямах и погребах, где притаившись сидели днём и выходили ночью или рано утром, чтобы добыть дневное пропитание. Большая же часть оставались под открытым небом, в садах, огородах, пустырях, многочисленных в тогдашней Москве, и на кладбищах. Так описывается в одном из современных сказаний житьё-бытьё Московских погорельцев на Орловом лугу*.

В числе немногих твёрдо веривших графским афишкам (в которых сказано, чтобы «все оставались в Москве, сюда Бонапарта не допустят»), был дьякон церкви Петра и Павла на Якиманке. Но когда, в первый же день вступления неприятелей в Москву, незванные гости несколько раз посетили его дом, он решился уйти из Москвы с молодою женою и грудным ребёнком. "Но куда же мы пойдём?" – спрашивала его жена.– "Куда глаза глядят,– отвечал дьякон: нам здесь уже места нет." «Но лишь только мы прошли шагов сто, рассказывала дьяконица, как повстречались с одним из наших прихожан. "Куда идёте, отец дьякон?" Муж говорит: "Идём на авось, к Калужской заставе, посмотреть, что там делается." А тот говорит: «Там стоят Французские караульные и вас из Москвы не выпустят; а шли бы вы к Крымскому броду, на Орлов луг; туда много народу сошлось, и я со своими туда думаю пробраться». Повернули мы к Крымскому броду и видим издали на Орловом народу, что муравейник. Сели тут и мы; я стала оглядываться и прислушиваться. Чего-чего там не было: и старый, и малый, и нищий, и богатый. Корзинки с новорожденными детьми, собаки, узелки, сундуки. Все расположились на лугу, и говор-то, говор, что пчелиный рой. Около нас лежала больная; так её жаль сердечную! Молоденькая да хорошенькая, и видно, что в богатстве жила, а какую нужду пришлось терпеть! Все за ней уха-

---

* Близ Нескучного *(прим. П.И. Бартенева)*.

живали, кто чем мог пособлял. Как придёт ночь, оденут её потеплее и уложат попокойнее. Да, уж какой покой на сырой земле, под открытым небом! При ней была горничная девушка, и всё-то она плакала и рассказывала нам, что приезжала она с барином и барыней из деревни ненадолго в Москву, и остановились они в пустом доме у родственников. Барин-то в армию уехал, а жене велел в деревню отправляться. Она бедняжка разнемоглась, от того и замешкалась; а уж тут, видите, больная ли, здоровая ли, а ехать надо, и собрались. Всё уже было готово, карета заложенная у подъезда стояла; вышли они уже совсем садиться, а тут Французы нагрянули и стали всё из кареты выбирать. Хотели кучер и лакей заступиться, а Французы их разогнали. Люди бежали неизвестно куда и так пропали без вести; "а у нас (говорила горничная), мало что пожитки отняли, и карету увезли. Куда деваться? В пустом доме страх берёт; я и привела её сюда через силу. Говорят, на людях и смерть красна. Живём мы здесь неделю и больше, а больная не поправляется и всё тоскует." Девушка её и придумала: пойду я, говорит, на счастье узнаю, нет ли кого из её родственников или знакомых; а я с ней одна ума не приложу, что делать. Ушла она, а меня просила за больной присмотреть. Часа через три приходит, а с нею старичёк-дядя этой барыньки. Как она ему обрадовалась, обнимала, обнимала, а сама плачет! Он говорит: "успокойся, я тебя отсюда возьму, и уедем мы в деревню. Теперь трудненько найти здесь лошадей, да авось Бог поможет; я попрошу Французских начальников, чтобы они нам пропуск дали." И точно, дня через два приехал он в коляске, парой; а за ним два Французские солдата верхом. Они всех нас благодарили за уход; а мы за неё бедняжку так рады! Перенесли её в коляску, и они уехали!»[40] И жители этой юдоли плача испытывали иногда радостные впечатления!

«На наше счастье,— продолжает рассказчица,— погода стояла сухая; только ночи, разумеется, были свежи. Прикроемся, бывало, всем своим тряпьём, да где сидели, там и приляжем. Насчёт пищи мы жили без нужды: все кондитерские остались отперты, да частные кладовые, да ряды. Они горели, да не все, и много в них добра осталось. Целые цыбики чаю стояли, головы сахара, и всякого было много съестного припаса. У нас на лугу постоянно самовары кипели; либо разложат огонь и варят какую-нибудь похлёбку. Провизию брать из рядов да из кладовых мы не считали грехом, потому что она и без того бы не уцелела; опять, не умирать же нам с голоду! Но вот беда, что многие из наших грабили не хуже неприятеля. Уйдут, бывало, с Орлова луга, бродят по пустым домам и принесут с собой целые узлы накраденных вещей. И смотреть-то бывало срамно! Случалось и то,

что грех-то на душу возмут, а покорыствоваться всё-таки не придётся. Иной раз ещё не донесут до места награбленного добра, а неприятели его отобьют. И страшно было и грустно; а иной раз, по молодости, разболтаешься с добрыми людьми и повеселеешь. Помню я раз, что смеху-то было!»

Кухарка рассказчицы отправилась в Гостиный Двор поискать провизии; с ней пошёл молодой двоюродный брат дьяконицы, прослышавший, что в лавках стоят целые бочки с мёдом. Едва он нашёл их и хотел наполнить мёдом принесённый кувшинчик, как подоспели неприятельские солдаты, отняли у него кувшинчик и за сопротивление бросили его самого головою в бочку с мёдом и со смехом ушли. Много стоило усилий мальчику выбраться из бочки, и ещё более кухарке обмыть его на реке от липкого мёду. Эта любезная шутка грабителей и вызывала весёлый смех у обитателей Орлова луга. Смеялась молодёжь, хотя тяжёлая грусть подступала к сердцу. У молодой дьяконицы таял и умирал на руках ребёнок, её первенец, от голоду. С испугу она потеряла молоко, а ребёнок с трудом принимал другую пищу.

«Москва горела,— продолжает рассказчица,— разлился пожар во все стороны, что огненное море, и вспомнить-то страшно! Ходили, что ни день с Орлова луга каждый в свою сторону, узнать, что там делается, и многие возвращались с плачем и рассказывали, что от их домов остались одни обгорелые столбы. Ждали и мы своей очереди и дождались. Сначала, кто из прихожан ходил к нам на Якиманку, рассказывал, что у нас пока всё благополучно и что в доме Рахманова, против самых ворот, квартируют Французы, и их генерала все хвалили: говорили, что никого из наших, кто остался в своей стороне, он не обижает. Раз сидим мы ранёшенько утром, толкуем о своём горе, вдруг прибежали к нам мальчишки с Якиманки (родители-то их к нам прихожане были) и кричат в несколько голосов: ну, отец дьякон, сгорел твой домик; весь дотла сгорел, и батюшкин, и дьячковской, всё погорело! Как я это услыхала, то себя не вспомнила, да так и взвыла; а муж взглянул на меня и говорит: «О чём ты плачешь? Видишь, всё гибнет, и мы погибнем; а ты о своей лачужке плакать вздумала». Такой он был мрачный и сердитый с того самого дня, как к нам Французы пришли: словно его варом обдало. Не смеешь, бывало, с ним слово вымолвить. Ни на что он не жаловался, а жёлтый такой стал да бледный, настоящим смотрел стариком. Сначала к нам неприятелей хаживало немного. Придут, бывало, обойдут Орлов луг и что им приглянется стащут, платок ли с кого, съестное ли что. Всякий рад им отдать, лишь бы только ушли. А потом всё чаще к нам заглядывать повадились; оттого ли, что провизия везде стала истощаться, или

они бродили отыскивать себе добычи, уж не знаю. Иные не очень нас разобижали, а от других просто житья не было. Раз помню, идут их человека четыре и несут большие мешки, должно быть что-нибудь награбили; и позвали они какого-то мещанина да моего мужа им пособить. А Дмитрий Васильевич говорит: не пойду, я и так еле ноги таскаю, обратился к ним спокойно и пошёл в другую сторону. Они рассердились и бросились к нему. Один выхватил саблю и показывает, что убьёт мужа, если он с ними не пойдёт. Наши прихожане закричали: иди, отец-дьякон; ведь их, окаянных, не переспоришь. И я закричала: голубчик мой, не губи ты себя, не покинь меня сироту с малым ребёнком. Он не отозвался и взял мешок, пошёл с ними. Молоденьких женщин тоже бывало не промигают. Раз пришли к нам человек сорок и разбрелись по лугу. Кто всякое добро подбирает, кто к женщинам пристаёт. Один подошёл ко мне и потрепал меня по щеке. Я от него; а он, спасибо, за мною не погнался. Муж это видел и стал ещё пасмурнее. Как они ушли, он говорит: долго ли нам здесь оставаться? Кончится тем, что всех нас перебьют. Пожили около двух недель под открытым небом, довольно. Ведь у всякого зверя есть своя нора. Перейдёмте в нашу церковь: там и жить будем. Хотя оно и не показано, да ведь некуда головы преклонить. Польют дожди, здесь хоть умирай. С нас и Господь не взыщет в такой беде»[41].

Так проживали несчастные москвичи, собираясь на городских пустырях, садах и кладбищах. Но житьё-бытьё на Орловом луге было сравнительно лучше, нежели в других местах. В приведённом рассказе не говорится ни об убийствах, ни о бесчеловечных насилиях, которые совершались повсюду и вызывали месть со стороны русских. В приближённых к Орлову лугу частях города был расположен постоем корпус маршала Даву, и его квартира находилась на Девичьем поле в доме князя Щербатова*. Этот маршал отличался неумолимою строгостью, поддерживая порядок и дисциплину между своими солдатами. Вероятно, грабители, посещавшие Орлов луг, принадлежали к этому корпусу и опасались, чтобы жалобы на их действия не дошли до маршала, который бы не пощадил виновных.

Это обстоятельство было причиною того, что Новодевичий монастырь на Девичьем поле, несмотря на то, что в нём стоял целый полк, не только не подвергся грабежу, но пользовался покровительством, и в нём ранее других церквей началась служба и продолжалась до выхода французов из Москвы. «Все на них жаловались,— говорит свидетельница событий, монахиня этого монастыря,— а нам греш-

---

* Впоследствии дом М. П. Погодина *(прим. П. И. Бартенева).*

ню сказать. А у нас стояли не одни Французы, но и Поляки, и нас не обижали, всё потому, что их начальник, Задёра, греха боялся. В тот самый день, когда они поселились у нас, он вошёл в больничную церковь, а мы как приобщались, так и оставили в алтаре крест серебряный, Евангелие и чарку с теплотой. Батюшко-то не успел прибрать. А Задёра всё это взял и принёс к Сарре Николаевне (казначее, заменявшей игуменью). На, говорит, *пани* и показывает, что за всех солдат отвечать нельзя. А батюшку просил, что если мои солдаты обижать станут, вы мне жалобу принесите. Однако батюшка не сказывал, что они в первый-то день нашалили (награбили несколько вещей из келий, отведённых им под постой), потому, говорит, что они и не то бы ещё могли сделать. И Французский начальник тоже батюшку призывал (вероятно, маршал Даву) и говорил, что не позволит своим грабить или какое притеснение нам делать. «Что нам надо, говорил, мы тоже стесняться не можем; а вас даром обижать не будем. Вы можете тоже церковную службу свою справлять». А батюшка ему говорит: мы бы рады, да нам для совершения литургии требуется красное вино и пшеничная мука, а у нас теперь всё вышло. «Если вы желаете, говорил генерал, я вам всего пришлю. Нам даже будет приятно, что вы свою службу справлять будете». Батюшка его поблагодарил, а он в тот же день прислал ему муки и вина бутылки три, и что ни Воскресение, что ни праздник, была у нас обедня в соборной церкви»[42].

Не то, однако же, было в других местах, где приютились толпы московских погорельцев. Неприятели бесчеловечно грабили даже своих соотечественников, укрывавшихся на Немецком кладбище, не щадя ни пола, ни возраста. На обширный огород возле церкви Спаса во Спасском, где укрывалось около ста человек погорельцев и большею частью женщины, забрались два грабителя. «Они были без сапогов, без рубашек; платье едва наготу их прикрывало; они, обнажив тесаки, требовали наши сапоги и другие вещи, в которых самую необходимость имели. Безумное дело, казалось, сопротивляться, и потому отдавали им, что надобно,— говорит одна из жертв насилия.— Но мародёры, видя, что мы не делаем ни малейшего сопротивления их нахальным требованиям, вздумали раздевать женщин, обыскивая их бесстыдным образом. «Господа, вы можете отнимать у нас всё что хотите; но если вы дотронетесь до женщин, то клянусь именем Творца, которого вы не признаёте, что мы бросим вас в эту грязную воду!» и указал на пруд, находившийся в этом огороде. Грабители присмирели и пошли прочь»[43].

Не везде, однако же, так дёшево отделывались одинокие или в малом числе приходившие грабители. «Нередко бывало,— говорит

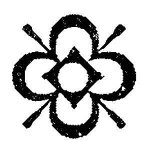
другая свидетельница,— что и мы с ними справимся. Они по ночам не бродили, потому наши мущины хаживали ночью за провизиею; а когда случится какая крайность, так и днём пойдут, делать нечего. Вот раз ушли они, а при нас остался только мой отец. К обеду к нам вломился неприятельский солдат. У него на плече была длинная дубина; он поддерживал её левою рукою, а правою схватил отца за ворот. Я подбежала сзади к этому разбойнику, выхватила у него дубину, да хвать его по затылку. Он упал; мы все на него бросились, порешили с ним и оттащили его в пруд. В этот пруд да в оба колодезя много побросали мы непрошенных гостей. Придут их, бывало, человек пять, обшарят везде; мы ничего: смотри, благо на пустое место пришёл; разве с кого платьишко стащат, а уж если забижать вздумают, то мы с ними сладим: ни одного живого не выпустим. Хотя и жаль, да своя-то голова дороже. Побили бы их, да и отпустили; но они, пожалуй, пойдут и с сердцев наведут к нам целую стаю своих, да нас же всех передушат. Ну и убьём до смерти. Помню я, пришёл к нам раз купец Зарубин; у него в доме неприятели стояли и просили, нельзя ли им рыбы половить. А Зарубин знал, что в пруде генеральши Киселёвой караси водились, и спрашивает у батюшки: нельзя ли мне в ваш пруд невод бросить? А батюшка говорит: нечего нас и спрашивать, пруд не наш; да что ты, Григорий Никитич, в свой невод захватишь: либо карася, либо молодца?»[44]

Не одно чувство самосохранения, без сомнения, служило главною побудительною причиною к избиению неприятелей; но и чувство мести, естественно возбуждённое неистовствами грабителей и святотатством Великой армии. Много неприятелей погибло в разных углах Москвы, в колодцах, подвалах, погребах и прудах. «Привёл меня Бог в то время видеть грешное дело,— рассказывает один из очевидцев.— Иду я раз ранним утром по Девичьему полю: хотел там поискать, не попадётся ли какая провизия в погребах. Против самого дома, что теперь Мальцева, вышел человек из ворот дома купца Барыкова, по платью должно быть мещанин; а полем идёт Француз и зовёт его: алё. Я поскорее спрятался за угол забора, чтобы он и меня не подозвал, да оттуда и выглядываю. Француз кричит *алё*, а наш ему *алё* и манит его руками, головой кивает и показывает, чтобы он за ним шёл; а сам к воротам назад побежал. Француз за ним. Как они вошли в ворота, я подкрался и смотрю в щель забора. Вижу, наш побежал к колодезю и машет руками и в колодезь показывает. Как Француз нагнулся, наш-то упёрся ему в шею обеими руками и бросил его в колодезь. Я слышал, как крикнул Француз, и меня точно варом обдало. Стою я на своём месте точно прикованный. Тут вижу, наш вышел

опять из ворот, пошёл вдоль забора и остановился около меня. Что, говорит, видел? Хоть одним меньше! А я говорю: за что ты его сгубил? Ведь он на тебя не нападал. Он взглянул мне прямо в глаза и говорит: Должно быть они у тебя жены не отнимали, да никто из твоих под пулями не стоит, да не видал ты, что колелых лошадей в наших храмах! — Что ж, говорю, за их грехи да кощунство Господь их накажет; а против их пуль у нас свои пули есть, а невинного да безоружного нам губить не показано. Он на мои слова не отозвался и ушёл в другую сторону; а я не помню, как домой добрёл, всё-то мне мерещилось, как Француз в колодезе тонет»[45].

Если в этих словах возможно усматривать чувство личной мести, то вместе с тем в них выражается и чувство гражданского долга, побуждающего всеми способами содействовать вооружённой силе для освобождения Отечества от врагов, внёсших разбой и грабёж в среду мирных его граждан и оскорбивших все священные верования народа. Хотя вообще во время войны наступательной в недрах Отечества, войны сопровождаемой поступками такого необузданного зверства, подобный образ действий представляется неизбежным; но, во всяком случае, нельзя не остановиться с сочувствием на том впечатлении, которое этот поступок произвёл на другого русского человека. Всякое убийство, не в рядах войск или добровольно вооружившихся против врага граждан, не во время сражений, русский человек считает преступлением. Будь оно вызвано даже необходимостью самозащиты, оно тяготит его впоследствии, как грех. С этим чувством мы встретимся не раз; оно объясняет то свойство русского характера, в котором хотят заметить какую-то страдательную покорность пред роковою, подавляющею силою.

В первые дни вступления в Москву французов, по сказанию современников, погорельцы довольно спокойно проживали в своих убежищах. Сухая и тёплая погода благоприятствовала житью под открытым небом. Грабители посещали их редко; по нескольку раз уже ограбленные, жители не возбуждали их жадности, которую привлекала другая, более богатая добыча в лавках, домах и особенно в храмах и монастырях.



Глава 3

Церковные сокровища. – Грабёж церковных сокровищ и осквернение храмов. – Неистовство немцев и поляков. – Сцены в Зачатиевском монастыре. – Черты человеколюбия в неприятелях. – Голицынская больница. – Свои грабители. – Старообрядцы. – Вертеп московских острожников. – Преступники на воле.

Многочисленные церкви и монастыри Московские привлекли, конечно, особенное внимание опытных грабителей, посещавших уже христианские храмы Западной Европы, особенно в Италии и Испании. Произведений искусства для этих ценителей изящного, начиная с самого Наполеона и его маршалов, тут не нашлось; но в Московских храмах и монастырях можно было захватить много золота, серебра, жемчугов и драгоценных камней. Неприятели наслышались о богатствах столицы и о благочестии её жителей. Их ожидания далеко не были удовлетворены. Назначенные графом Ростопчиным 300 подвод в распоряжение архиепископа Августина увезли, конечно, значительное количество церковных сокровищ; но 267 приходских церквей (не считая домовых) и 24 монастыря внутри Москвы и три подгородних обладали таким огромным количеством драгоценных украшений, риз на иконах и церковной утвари, что, конечно, этот обоз не мог вывезти всего. По известиям, доходившим отовсюду, куда ни вступал неприятель, Московские иерархи могли предвидеть, конечно, какая участь ожидает храмы и монастыри столицы. Митрополит Платон и его викарий употребляли все способы, чтобы вовремя их вывезти из Москвы. Ещё до отправления большого обоза, 31 августа, архиепископ Августин советовал настоятелям монастырей удаляться из городу и увозить церковные драгоценности; а настоятельницам вместе с тем и монахинь, особенно молодых, и послушниц. Августин помогал им нанимать подводы. По мере ухода из Москвы прихожан, он разрешил и священникам с причтами опустелых приходов выезжать из Москвы и увозить с собою сокровища из храмов. Из Московских монастырей, включая Симонов, Перервинский и Златоустовский, вывезены были «только лучшая ризница и драгоценные утвари», но оставалось ещё много

украшений на иконах и менее ценных вещей. Настоятель Донского монастыря оставил «образа во всём их украшении, также большую часть облачений (как объяснял впоследствии его преемник) для того, чтобы не встревожить народ»,— опасение, которым руководился и Московский главнокомандующий и которое заявлено было священникам и настоятелям монастырей 30 августа чрез благочинных[1].

Из пяти женских монастырей и одного мужского ни ризница, ни утварь вовсе не были вывезены, точно также из большей части московских церквей. Конечно, ввиду грозившей опасности, везде были приняты меры, чтобы скрыть от неприятеля церковные драгоценности: их или зарывали в землю, или опускали в пруды и озёра, или скрывали в других местах, казавшихся наиболее безопасными. Такими способами удалось действительно уберечь от расхищения многие из них; но зато это тяжело отозвалось на остававшихся в Москве жителях и особенно монашествующих и белого духовенства. Опытные грабители тотчас смекнули, что церковные имущества где-либо спрятаны. Они не верили, что большая часть их была уже далеко от Москвы и употребляли все способы отыскать их. Неприятели врывались, более или менее значительными шайками, в церкви и начинали с того, что забирали все драгоценности, которые оставались на виду, ризы, сосуды и другую утварь, обдирали ризы и венчики с икон. Потом начинался допрос монахам, священно- и церковнослужителям о том, где сокрыто церковное имущество. Требуя под угрозою смерти указаний, грабители сопровождали свои допросы всевозможными побоями и истязаниями. В Богоявленском монастыре неприятели «таскали казначея, престарелого иеромонаха Аарона, за волосы и бороду, приставляя к груди штыки; домогаясь, где имущество, разломали кладовые и всё разграбили. Потом взяли казначея и монахов под ноши* в ряды. И они несли сукно и красное вино по Тверской, среди пылающих домов. При заставе у солдат отняли несомое другие солдаты и монахов отпустили; но попавшиеся на пути другие солдаты опять заставили их везти телегу с винами, не в заставу, а через гряды и вал». Казначей Аарон попал в монастырь уже на другой день к вечеру; тут вновь нашли его неприятели и подле Георгиевской церкви через переводчика допрашивали, где серебряные и золотые вещи; били его в два палаша по спине и оставили без чувств. В первый день вступления в Москву, неприятели выгнали из Заиконоспасского монастыря всех оставшихся там монахов, «ограбив их до наготы, и употребляли под ноши. Иеромонах

* Т.е. в качестве носильщиков *(прим. ред.)*.

Виктор за Новинским монастырём был брошен в Москву-реку; но он её переплыл и ночевал на берегу среди кустов, зарывшись в песок. Иеродьякона Вонифатия, который по древности не мог нести ноши, также спустили в реку, грозя потопить или отсечь голову. Иеродьякона Владимира употребляли под ноши нагого и, покрыв св. покровом, приводили в Кремль к королю Неаполитанскому, который разбирал приводимых русских. Его сочли за казака и угрожали расстрелять». Из Покровского монастыря, ограбив храмы, 4 сентября, взяли пять монахов за заставу, «истязали их, домогаясь, где имущество и, когда нашли у одного монаха несколько денег зашитых в камилавке, о которых он не объявил, били его смертельно».

То же повторялось повсюду с большею или меньшею жестокостью, во всех монастырях и приходских храмах. Священника Сорокосвятской церкви, против Новоспасского монастыря, замучили до смерти, и окровавленное его тело несколько дней лежало в Новинском монастыре, без погребения, потому что и в этом монастыре неистовствовали неприятели. По отъезде с церковным имуществом архимандрита Амвросия, в этом монастыре с немногими из монашествующих оставался престарелый наместник Никодим. Вторгнувшись в монастырь, неприятели били его, допытываясь, где имущество и вместе с одним послушником привели в соборный храм, неся над ним обнажённые сабли. «Они поставлены были посреди храма на колени с припёртыми к груди ружьями. Сам начальник неприятельской партии, приказывая им исповедать друг друга, угрожал смертью из пистолета, если наместник не откроет места хранения монастырских сокровищ». Наконец, видя угрозы и истязания тщетными, французы освободили их от страха смерти и разграбили некоторые оставшиеся в ризнице вещи и оклады с икон, и также братские кельи.

Во время сильных пожаров за Москворечьем (5 сентября), грабя дома частных лиц, шайка поляков ворвалась в дом престарелого священника Троицкой церкви на Шаболовке, в глубокую ночь, «с зажжёнными в руках церковными свечами, по причине тёмной ночи; они, увидя священника, с злобною радостью закричали по-русски: «Ого! здесь поп! должно быть много *пенензы*!» — по рассказу современника-очевидца,— разбрелись по разным комнатам, начали ломать замки , раскалывать сундуки, бить посуду и раскидывать разный домашний скарб; но не найдя нигде ничего драгоценного, собрались все в комнату, в которой мы находились, и окружив дедушку с яростью кричали: «Поп, сказывай! где сховал ты церковное золото и серебро!» Старец с бесстрашием и спокойным видом отвечал, указывая на крест и Евангелие, лежавшие на аналое: «Все сокровища мира во Иисусе Христе!»

Злодеи, раздражённые неудовлетворительным ответом, выхватив сабли из ножен и потрясая над головою пастыря церкви с неистовством вопили: «Смерть или деньги!» Старик, не смущаясь, хладнокровно указал им на лежавший в углу мешок, в котором хранились медные деньги для раздачи нищим. Грабители, как голодные волки, на падаль бросились на мешок; но, увидя свои надежды обманутыми, ещё с большим ожесточением приставив острия сабель к груди, кричали: «Давай золота, серебра!» В эту минуту старинные часы... зашипели, кукушка прокуковала полночь, и в это время вдруг вся комната осветилась заревом пожара от загоревшегося соседнего дома. Разбойники в испуге бросились вон из дома».

Тот же самовидец рассказывает, что, переходя с места на место по пожарищам, чтобы отыскать что-нибудь для денного пропитания, он с братом дошли до Ордынки и, «приближаясь к церкви Георгия на Всполье, услышали стоны и с воплем произносимые слова: «Отцы родные, если веруете в Бога, не мучьте меня; лучше предайте смерти!» Братья-калеки, выпрямив спины, увидели, по-видимому, русского купца с окладистой чёрной бородой, стоявшего между двух злодеев, державших его за руки; третий же варвар обнажённую спину его насекал остриём сабли, приговаривая: «Сказывай, поп, где зарыто церковное серебро и золото? Не думай от нас отделаться: мы допытаемся правды! Поляки шутить не любят!» Хотя мученик клялся небом и землёю, что он не священник, а московский купец, зашедший в храм только помолиться Богу, варвары, не веря божбе страдальца, продолжали тираническую пытку, приговаривая: «Врёшь, твоя борода — явная улика, что ты поп этой церкви». Мученик от невыносимой боли рвался из рук злодеев и в исступлении кричал диким голосом, раздиравшим душу... Мы, поражённые страхом от виденной кровавой сцены, забыв болезненное притворство, бросились бежать к Серпуховским воротам и там на рынке, в первом встретившемся подвале скрылись»[2].

Очевидец, которого слова приведены, был ещё юношей в это время. Неприятели, не различая возраста, как на дряхлых стариков, так и на малолетков взваливали ноши не по их силам. «Был у нас ребёнок, — рассказывал один из дворовых людей г. Соймонова, — лет десяти и выбежал он раз на улицу. Стоит солдат, а перед ним куль большой лежит, и показывает солдат мальчишке, чтобы он этот куль за ним нёс. Мальчишка приподнял, тяжело, невмоготу; а отказаться не смеет, понёс через силу; но как дошёл до Яузского моста, невтерпёж ему стало. Сел он на дороге и заревел. Солдат начал его пинками угощать. А тот ни с места; хотя бы он, говорит, убил меня, я бы

кажется не встал. Вдруг подошёл старичёк, да здоровый такой, даром, что сед. «Я, говорит, тебя мальчугана выручу, у меня сила не твоя», взял он куль и понёс»[3]. Но мальчуганы и сами нашли способ избавлять себя от тяжёлой ноши. Вынужденные блуждать по пожарищам, чтобы найти какую-нибудь пищу для утоления своего голода, а иногда и голода своих семейств, они притворялись калеками, бродили хромая, согнувшись, подпираясь костылями и таким способом избавлялись от исправления должности вьючных животных в пользу солдат Великой армии. Так научил поступать товарища по несчастью и тот юноша, рассказ которого о пожаре Замоскворечья мы привели.

Грабёж, соединённый с убийствами, побоями, изнурением оставшихся в Москве жителей, переноскою тяжестей и другими работами, сопровождался также почти повсеместно кощунством и осквернением храмов. Умышленно ругаясь над святынею, неприятели постоянно устраивали конюшни в храмах, выбрасывали иконы, раскалывали их и употребляли вместо дров, вбивали гвозди в лики святых, престолы и жертвенники употребляли вместо столов; иконы употребляли, чтобы стрелять в них в цель. «Я сам видел, — рассказывает один иностранец, оставшийся в Москве в то время, — подле Красных Ворот была употребляема с этою целью весьма почитаемая икона»[4]. В некоторых монастырях были устроены бойни, как в Петровском-Даниловом. «Проходя мимо Петровского монастыря, — рассказывает очевидец, — заметил я несколько человек Русских, с любопытством заглядывавших в монастырские ворота, и я, подражая прочим, устремил туда же взоры; но в какое я пришёл изумление, увидя весь монастырский погост, покрытым спёкшейся кровью; в некоторых местах валялись внутренности животных, производящие гниением сильное зловоние. Зажав нос и вытаращив глаза, с удивлением спросил я зрителей, что здесь происходит. Один из толпы, взглянув на меня, с усмешкою отвечал: «Ты, брат, видно сыт, да при том же из дворянской породы; ишь как законопатил нос! Вот мы так попринюхались к вони, ходя сюда ежедневно, не достанется ли чего хотя из требушины на нашу сиротскую долю? Неужели ты не видишь, что тут неприятельская бойня». Оставив дожидавшихся мясной провизии, проходя мимо соборной церкви, увидал я в растворенные двери в ней устроенную мясную лавку: вокруг стен, на широких полках, лежали разные части мяса; на паникадилах и на вколоченных в иконостас гвоздях висели внутренности животных и разные птицы»[5]. Также была устроена бойня в церкви Вознесения у Серпуховских ворот. В Петропавловскую церковь в Лефортове помещали быков, в Троицкой в Сыромятниках стояли лошади. Храмы в Кремле, где жил сам Наполеон, не избежали

поругания. В Успенском соборе, вместо паникадила, висели весы, на которых вешали выплавленное золото и серебро из награбленных церковных и других сокровищ; на иконостасе написаны были цифры: 325 пуд серебра и 18 пуд золота. Тут стояли плавильные горны и были устроены стойла для лошадей. В храмах Спаса на Бору и Николы Гостунского находились склады овса, сена и соломы для лошадей самого Наполеона[6].

В Верхоспасском соборе престол служил столом для обедов; в нём стояли кровати. Маршал Даву, приезжая с докладами с Девичьего поля и оставаясь иногда подолгу в Кремле, устраивал себе спальню в алтаре главного храма в Чудовом монастыре. Проходя по Замоскворечью мимо Козьмодемьянской церкви, рассказывает очевидец-свидетель, «из растворённых её дверей увидел я выходящий густой дым и стоявшего на паперти неприятеля, курившего табак, одетого по-домашнему: в колпаке, без галстука, с накинутой небрежно на плечо шинелью; он, заметив меня, поманил к себе... после лаконичных объяснений и пантомим, комрад, взяв под руку «Русь», повёл внутрь церкви. Войдя в трапезу, наполненную дымом, я, трепещущий от страха, везде видел следы грабежа и буйства и богохульства: посредине храма пылал костёр, вместо дров на осколках св. икон; над огнём лежал на установленных камнях железный лист, на котором пёкся картофель; церковный постоялец, дав мне их несколько, сказал: «Русь! добре!» Я отблагодарил поклоном. После сего, он, желая, может быть, похвастаться своим домашним хозяйством, указывал на клиросы, на коих были навалены ржаные и овсяные снопы; тут же находились разные овощи: картофель, капуста и проч. На вбитых на иконостасе гвоздях висели конская сбруя и военная амуниция. Радушный хозяин отворил царские врата в правом церковном приделе и ввёл меня в алтарь, где увидел я стоявшую лошадь, покрытую вместо попоны священническою парчёвою ризою... Я окаменел от такого богохульства и не мог сдвинуться с места. Безбожник, сочтя моё изумление за знак удивления к красоте его лошади, начал её поглаживать и потрёпывать, приговаривая: добре, добре! Налюбовавшись конём, повёл меня в левый придел и там также стояла лошадь в алтаре, евшая овёс из купели, в которой крестили новорожденных»[7].

Не только бесчувственное отношение, какое оказывал житель Козьмодемьянского храма, но умышленное поругание святыни Русского народа составляло отличительное свойство Великой армии, за весьма немногими исключениями. Аббат Сюрюг, которому удалось как церковь Св. Людовика, так и приютившихся в ней французов, обывателей Москвы, оградить от насилия и грабежа, писал потом

своему сотоварищу, иезуиту Буве: «В продолжении шестинедельного здесь пребывания Французов, я не видал даже тени Наполеона и не искал случая увидать его. Мне говорили, что он позовёт меня, и это известие меня ужасало; но, к счастью, оно не оправдалось. Он не посетил нашего храма и вероятно и не думал об этом. Четыре или пять офицеров старых Французских фамилий посетили богослужение; двое или трое исповедывались. Впрочем, вам будут понятны отношения к христианской вере этих войск, когда вы узнаете, что при 400 тысячах человек, перешедших через Неман, не было ни одного священника. Во время их пребывания здесь из них умерло до 12-ти тысяч, и я похоронил, по обрядам церкви, только одного офицера и слугу генерала Груши. Всех других, офицеров и солдат, зарывали их товарищи в ближних садах. В них нет и тени верования в загробную жизнь. Однажды я посетил больницу раненых; все говорили мне об их телесных нуждах, и никто о духовных, несмотря на то, что над третью частью из них уже носилась смерть. Я окрестил многих детей у солдат. Крещение они ещё признают, и все обходились со мною почтительно. Впрочем, вера для них составляет лишь слово, лишённое смысла»[8].

Не могла, однако же, вся неприятельская армия, занявшая Москву, состоять из одних бесчеловечных грабителей. Несмотря на естественное ожесточение против французов, народная память беспристрастно сохранила и добрые черты их. Хотя враги, вторгнувшиеся в Россию, и слыли в народе под общим именем Французов, однако же, оставшиеся в Москве обыватели отличали настоящих Французов от их союзников. Мелкий торговец, имевший свой лабаз в Зубове, рассказывая, как двое неприятелей ограбили икону, находившуюся у него в лабазе, «содрали с неё венчик серебряный и рамку серебряную», прибавляет: «Только это были не настоящие Французы; а настоящие-то были так милосерды; как бывало придут, мы их сейчас узнаём по речи да по манерам, и не боимся, потому знаем, что у них совесть есть. А от их союзников упаси Боже! Мы их так и прозвали *беспардонное* войско, что их ни просьбою, ни слезами не возьмёшь. В народе даже говорили, что их пуля не берёт. Коли не делом, так уж словом обидят. Что они говорят, не поймёшь; но уж слышишь, что ругаются. А Французы уж бывало не обидят даром. Пришли они раз и стали везде шарить. Сёстры сробели и убежали из комнаты, а сами из-за двери выглядывают. Как они их увидали, сейчас позвали и стали ласкать. Мало того, на другой день глядим, идут опять те же самые с гостинцами: принесли детям игрушек, из лавок вероятно взяли. Девочки-то радуются, а они, глядя на них, смеются и тут же вместе

с ними играть стали»[9]. Один немец, служивший офицером в наших войсках, находясь в отставке, оставался в это время в Москве. Он говорит, что «исполняя долг справедливости, обязан заметить, что из всех народов, входивших в состав неприятельских войск, Французы наименее отличались жаждою к грабежу. Одно чувство справедливости заставляет меня сделать это признание, потому что, в продолжении Семилетней войны, я с молоком матери всосал ненависть к Французам и терпеть их не могу. Они брали то, что было им необходимо для удовлетворения необходимых потребностей жизни, не грабили ни золота, ни серебра и других драгоценностей, даже часов. Не таковы были Баварцы и Поляки, которые ничего не оставляли после себя, грабили даже вещи, не имевшие для них значения и всё разрушали. Вюртембергцы не замедлили последовать их примеру: им принадлежит мысль разрывать могилы. Они делали зло единственно из удовольствия делать зло; они разрушали всё, что не могли унесть с собою, или из чего не могли извлечь выгод. Солдаты этих народов выразили свой вандализм в разрушении статуй и Китайских мостов в императорском саду. Их жадность простиралась до того, что они обдирали обивку с подушек в каретах, с мебели и сукно с бильярдов. Французы же не производили бесполезных опустошений. Их вежливость выражалась даже в их грабительствах и представляла иногда страшные противоречия. Так, один Французский офицер велел отпилить боковую сторону дивана, найдя его коротким, чтобы спать на нём; по потом, оставляя квартиру, привёл его в прежний вид. Солдаты, войдя ночью в дом одного профессора и узнав, что его жена в родах, на цыпочках проходили мимо её кровати, закрывая рукою зажжённую свечу, всё обобрали, что принадлежало мужу, и не тронули женских вещей»[10].

Трудно заподозрить в пристрастии к французам человека, который их *ненавидел*; но нельзя не заметить, что отзыв его о всех вообще французах неверен; свидетельства не только русских, но и самих французов, московских обывателей, говорят иное. Они очень усердно грабили драгоценные вещи, золото, серебро и деньги из этих металлов, с самого вступления в Москву и особенно потом, когда грабёж был разрешён. Только в первое время они не знали цены нашим бумажным деньгам и не обращали на них внимания. Но в обширной Москве, в разных местностях, многие из очевидцев-свидетелей говорят только о том, что происходило вокруг них. Там, где стояли войска начальника, более соблюдавшего дисциплину и более сострадательного к несчастным жертвам войны, грабёж действительно не доходил до той жадности и бесчеловечия, как в других. На во вся-

ком случае приведённое свидетельство доказывает различие между французами и их союзниками в этом отношении, которое и заметили русские люди. «Все на них жаловались, а нам грешно сказать. У нас стояли не одни Французы, а тоже и Поляки, и нас не обижали, всё потому что их начальник, Задера, греха боялся». Так рассказывает очевидица, белица Новодевичьего монастыря, где стояли французы и поляки, принадлежавшие к корпусу маршала Даву. Задера (Zadera) был один из капитанов, состоявших при главном штабе этого корпуса[11]. Монастырь, находившийся на окраине города, на Девичьем поле, окружённый высокими стенами с башнями, казался неприятелям крепостью, а потому, вероятно, уцелел от грабежа, в первые дни пребывания неприятелей в Москве, когда при разгоравшихся пожарах грабили врассыпную солдаты. На другой же день, осмотрев монастырь, Задера назначил в нём квартиры для войск; но пожары выгоняли из Москвы и потому они оставались там только до 8 сентября. Монахини, в ожидании своих постояльцев, не зная, какая постигнет их участь, по совету священника, приготовились к смерти, исповедывались и приобщались. «В тот самый день,— говорит та же свидетельница,— как они у нас поселились, Задера вошёл в больничную церковь, а мы как приобщались, так и оставили на престоле крест серебряный, Евангелие и чарку с теплотою: батюшка не успел прибрать. Он всё это взял и принёс к казначее монастыря: «на, говорит, пани» и показывает, что за всех солдат отвечать нельзя. А батюшку просил, что если, мол, мои солдаты вас обижать станут, вы мне жалобу принесите. Однако батюшка ему не сказал, что они в первый-то день нашалили (разграбили, что могли в кельях); потому, говорит, ещё и не то могли бы сделать».

Монахини скорбели о неуважении, с которым они относились к святыни, соблазнялись присутствием *мамзелей* (как они их называли) в кельях занятых ими, прятали от них молодых белиц и монахинь; но потом «сжились и бояться их перестали. Бывало, которая из нас заложит лошадь и поедет за капустой в огород, а они смеются и кричат нам вслед: добри кони, добри кони! Иные слова научились по-русски кое-как выговаривать и никого при наших не обижали»[12]. Сам грозный маршал Даву благосклонно принимал монастырского священника и, конечно, не потому, что *боялся греха*, но желая смягчить враждебные чувства народа и особенно поддержать в войсках дисциплину, говорил ему «что не позволит своим грабить или какое им притеснение делать. Что нам надо, мы тоже стесняться не можем, а вас даром обижать не будем. Вы можете тоже церковную службу свою справлять».

В народных преданиях сохранилось также имя барона Таулета, который постоянно выражал сочувствие и оказывал защиту несчастным жителям Москвы. В Зачатьевском монастыре считалось в это время 99 человек. Из них только 23 женщины уехали из Москвы при приближении неприятеля. Все другие, с игуменьею Доримедонтою Протопоповою и священником о. Емельяном, остались, скрыв церковные сокровища под своды, на которых постилался пол, только выстроенной и ещё не отделанной соборной церкви. «Всё необходимое для богослужения оставили на престолах, потому что игуменья и священник решили, что церковная служба не прекратится». Вступление неприятелей и начавшиеся пожары близ самого монастыря навели ужас на обитательниц оного. Поражённая ими скончалась одна из престарелых, впрочем, издавна больная монахиня. Пожар подходил всё ближе и ближе к монастырю, куда укрывались многие жители из горевших по соседству улиц и приносили свои сундуки, которые ставили в церковь. Однако порядок богослужения не прерывался. Все исповедались и приобщились. 4-го сентября пожар достиг уже почти до монастырской стены. В этот день служили обычную обедню и отпевали усопшую монахиню. По окончании богослужения, в то время, как тело выносили из церкви, чтобы предать земле, монахини были поражены страхом при виде неприятельских солдат, перелезавших через стены. Тело умершей было оставлено у церковной паперти; испуганные женщины бросились назад в церковь и заперли за собою двери. Неприятели начали стучаться и, увидав одну монахиню, которая вышла из церкви до выноса тела, чтобы отнести просфоры в свою келью, окружили её, притащили к церковным дверям и объясняли, чтобы она велела отпереть. Она отказывалась; солдаты начали её бить тесаком по плечам и по шее. Страдания принудили её повиноваться. Когда её умоляющий отчаянный крик поразил слух осаждённых, игуменья приказала отпереть двери, и неприятели ворвались в церковь. Они увидали стоящие около стен сундуки и принялись немедленно разбивать их саблями и грабить. Один солдат спросил, где игуменья? В числе монахинь многие были из дворян и знали иностранные языки; кто-то отвечал, что игуменья уехала и увезла с собою всё церковное имущество. В это время загорелись кельи. «Неприятели вышли из церкви, забрав с собою всё награбленное добро и принялись разжигать пожар ружейными выстрелами; потом сломали ворота и ушли. Напуганные грабителями, гонимые распространившимся пожаром, монахини бросились из задних ворот к реке, надеясь укрыться где-нибудь за Крымским мостом; но, увидав на той стороне толпы неприятелей, снова возвратились в монастырь.

Они укрылись в каменной церкви, защищая её от более и более распространявшегося пожара. Но вода истощилась, ход к колодцу преградился пожаром, силы их ослабели. «Отец, сказала игуменья, обращаясь к священнику, смертный час настал, прочтите нам отходную». Все опустились на колена. Священник стал пред алтарём и прочёл напутственные молитвы умирающим. Голос его дрожал, и слова сливались с рыданиями и треском разрушавшихся вокруг строений».

Между тем, в то время, когда монахини бросились назад в монастырь от Крымского моста, одна из них за мостом увидала свою знакомую, графиню Зотову и, перебежав по мосту к ней, просила, не может ли она оказать им помощь. Графиня указала ей на небольшой дом, находившийся вблизи, «около которого теснились толпой Московские обыватели. В нём стоял неприятельский чиновник, барон Таулет, который стал уже известен в городе своим милосердием. Он защищал наших от грабежа и насилий. Многие обращались к его покровительству, и он часто действовал на грабителей властью своего слова, а иногда посылал своих солдат, которые их разгоняли». Графиня Зотова вместе с монахинею пошла к нему и просила его прийти на помощь монастырю. «Я сделаю всё, что зависит от меня, сказал он; но должен вас предупредить, что я действую незаконно. Сегодня гвардия получила разрешение грабить. Я могу при помощи моих солдат защитить хотя немногих несчастных, живущих около моей квартиры; но препятствовать открыто дозволенному грабежу мне невозможно». Он предложил послать за монахинями и укрыть их в своём доме от пожара и грабежа. Его посланный пришёл в то время, когда монахини приготовились уже к неизбежной смерти. Находившиеся в церкви монахини воспользовались его предложением, три дня провели под его покровительством и потом, по его предложению, вновь отправились в монастырь, который снова был ограблен неприятелями; но пожар, истребив все деревянные строения, уже прекратился в нём.

Барон дал им охранную стражу, которая, однако же, удалилась, прибив надпись к воротам, в которой было сказано, что монастырь ограблен уже дочиста и сгорел, и потому вход в него запрещается. Такие надписи употреблялись в то время, когда уже неприятели начали принимать меры, чтобы не столько положить предел грабежу, но чтоб водворить порядок в совершенно распущенных войсках. «Когда, поблагодарив своего покровителя, игуменья с монахинями отправилась в монастырь, и они подходили к реке, по мосту шла Французская конница. Вид неприятелей поразил таким ужасом одну из монахинь, что она быстрым движением сбросила с себя тёплую

одежду, подбежала к берегу и бросилась в реку. Все вскрикнули. Один из Французов пришпорил лошадь, въехал в воду, ухватил за полу ряски утопающую, поднял её на руки и вернулся к берегу со своей ношею. Все окружили Назарету и старались привести её в себя. Когда она открыла глаза, её спаситель просил монахинь не бояться ни его, ни его товарищей и вызвался проводить их до места»[13].

Имя Коленкура, генерала Компана и поступки некоторых других офицеров остались также в народных преданиях. В первый день вступления французов в Москву, толпу русских на Остоженке окружили неприятели и начали грабить. «В это время,— рассказывает свидетельница купчиха, которую также ограбили вместе с другими,— вдруг видим, идёт ещё полк, а впереди едет командир, такой бравый. Около него шёл один из наших; это его Француз к себе в переводчики взял. Поровнявшись они с нами, и остановились, как увидали нас, горьких. Командир крикнул на наших грабителей, и они разошлись, а переводчик говорит нам: «Это генерал и очень важное лице; он велел, чтоб вы за ним шли; он вас в обиду не даст». И сказывал он нам его имя; я его до сих пор помню: звали его Кольникур. Мы обрадовались и пошли за ними. Приходим к Пречистенке, тут неприятелей видимо-невидимо. Припёрли нас к решётке дома князя Голицына так, что мы двинуться не можем. Кольникур крикнул, чтобы солдаты посторонились, а нам приказал идти в ворота, сам въехал и за ним человек сто солдат. Перед подъездом стояла дорожная коляска, и на крыльцо вышел мущина с дамой; на ней была дикая шляпка и дикий салопчик. Кольникур к ним подъехал и что-то с ними говорил. Потом они сели в коляску; он за ними поехал и махнул рукой, чтобы мы шли за ним вслед, а уж за нами его команда. Какой он, право, добрый был, царство ему небесное, когда его уже в живых нет! Услыхал он, что закричал ребёнок у тётки и прислал ему крендель; откуда он его взял, не знаю». Так проводил он коляску и пешую толпу до самой заставы[14].

Генерал Компан, известный храбростью начальник дивизии, принадлежавшей к корпусу маршала Даву, раненый поселился в доме Всеволожского близ Девичьего поля, где уже стояли французские офицеры. Он любовался часами, стоявшими на камине в той комнате, которую он занимал. Оставляя Москву, он не уберёгся от искушения и объявил, что берёт эти часы себе по праву завоевания; но, не желая взять даром, оставляет за них свою лошадь хозяину дома. «Это прекрасная лошадь, говорил он, и г. Всеволожский будет ею доволен». Действительно она находилась потом на его конном заводе и называлась madame Campan. Жившие в этом доме французы «весело проводили время: кладовые и погреба Всеволожского доставляли им пол-

ную возможность роскошно кушать; а на Кузнецком мосту нашлось много не слишком суровых красавиц, которые охотно переехали на Девичье поле и увеселяли своим смехом и песнями обеды и ужины соотечественников». В доме Всеволожского, кроме множества дворовых, оставшихся после отъезда господ, было и несколько французов, которые служили при его типографии. Дворовые, в ожидании нашествия неприятеля, вырыли норы в саду, в которых решились спрятать своих жён и детей. Ночью они приносили им пищу. Но это продолжалось недолго. «В скором времени дворовые убедились, что Француз никого не обижает, и заключённые были выпущены из своих нор»[15].

В Даниловом монастыре французские офицеры занимали настоятельские и братские кельи. Неприятели и особенно офицеры, по свидетельству остававшихся там монахов, хотя часто ходили в церковь и всё в ней осматривали, однако, ничего не трогали. Один из них, узнав, что в этот же монастырь на постой назначены артиллеристы, предупредил священника, что они всё ограбят и советовал скрыть церковную утварь. Сами же французы помогали зарывать в землю и не выдавать потом артиллеристам, которые грабили всё, что только попадалось на глаза. Один купец из серебряного ряда, пред вступлением неприятелей, уложил весь свой товар в большой ящик, перевёз его в сад своего дома и хотел зарыть в землю, но не успел. Между тем жена его была на сносях беременна. Пожар их дома ускорил её роды, и больную с новорожденным уложили на этот сундук. Сгорел и рядом стоявший дом; но уцелела каменная кладовая, в которой поселился французский офицер с двумя солдатами. Увидав в окно больную женщину под открытым небом, он предложил ей разделить с ним тесное помещение, перегороженное на две комнаты. Купец отказывался, опасаясь потерять всё своё имущество, скрытое в сундуке. Офицер с таким участием настаивал, что, почувствовав к нему доверие, купец объяснился с ним откровенно. Офицер помог им ночью зарыть сундук, и они прожили в его помещении во всё время пребывания неприятелей в Москве[16].

Главный доктор Великой армии Ларрей и некоторые из его помощников оставили признательную память между нашими ранеными, не вывезенными из Москвы. А.С. Норов, которому оторвало ногу в Бородинском сражении, лежал вместе с другими, также тяжело ранеными, в Голицынской больнице, когда неприятели заняли Москву. С тех пор, как ему отняли ногу под Бородиным, ему не было подано никакой помощи. Первую перевязку ему сделал сам Ларрей и спас ему жизнь. Поручая его потом на попечение своего помощника, Бофиса (Beaufils), Ларрей сказал: «Вы мне отвечаете за жизнь этого

молодого человека (vous me répondrez de la vie de ce jeune homme)». Поступок доктора Ларрея не представляет ничего удивительного: он известен был во французских войсках своим человеколюбием, и император Наполеон по справедливости называл его добродетельным (le vertueux Larrey).

Лористон, занявший поблизости Голицынской больницы дом Орловой-Чесменской и знавший А. С. Норова по Петербургскому обществу, посетил его и принимал в нём участие. Но и простые солдаты оказывали пособие раненым. «На другой день после вступления Французов, — говорит А.С. Норов, — вошёл в комнату кавалерист; это был уже Французский мародёр; он начал шарить по всей комнате, подошёл и ко мне, шарил под подушками и под тюфяком и ушёл, пробормотав: «у него ничего нет (il n'a donc rien)», в другие комнаты. Через несколько часов после, вошёл старый солдат и также приблизился ко мне. «Вы Русский? — Да, Русский. — Вы кажется очень страдаете? Я молчал. — Не нуждаетесь ли вы в чём-нибудь? — Я умираю от жажды». Он вышел, и появилась женщина, которая прежде прислуживала раненым. Он принёс какие-то белые бисквиты и воды; обмочив их в воду, сам дал мне напиться и, пожав дружелюбно руку, сказал: эта женщина будет ходить за вами (cette dame vous aidera). Я узнал от этой женщины, что всё, что было в доме попряталось и разбежалось от мародёров; о людях моих не было ни слуху, ни духу»[17].

При Голицынской больнице находилась и богадельня для престарелых женщин. Одно семейство, гонимое пожаром и грабежом, долго скиталось по Московским пожарищам, ища приюта, и нашло его, наконец, в доме немца, содержателя пансиона, женатого на француженке, которая чествовала своих постояльцев-соотечественников и гордилась их присутствием в её доме. Приютившись в этом доме, они вспоминали про старуху, мать одного из членов семьи и бабку сыновей, из которых один оставил воспоминания об этом времени. «Боже мой (говорил он) жива ли моя родная?» и, обратясь ко мне, прибавил: «Ты, любимый ею внучек, сходи-ка завтра в Голицынскую богадельню; проведай, где она находится голубушка?» Четырнадцатилетний мальчик, ритор духовной Славяно-греко-латинской академии, на другой день ходил около ворот Голицынской больницы с намерением проникнуть во двор, где была богадельня. Один из стоявших часовых заметил желание мальчика и сказал ему: «Проходи (alons donc, Russe, marchez)». «Войдя во двор я увидал бабушку, говорит он, сидевшую у окна, с огромными очками на носу, штопавшую чулки; она, увидя меня, ахнула от неожиданной встречи; после чего посыпались расспросы: как мы? где мы? все ли живы? Я отвечал, что до сих

пор нас Бог милует, а она, крестясь, говорила: «А я, многогрешная, считала вас погибшими, с неделю назад просила нашего дьячка записать ваши имена в поминанье, и за каждою обедней подаю по грошу на проскомидии об упокоении усопших душ ваших».— Я отвечал ей: «Бабушка! да ведь и мы вас считали на том свете, полагая, что на старости лет, видя в Москве такие ужасы и совершаемые неприятелями злодейства, и натерпевшись мучений, вы уже оставили мир временный и переселились в вечный». Старушка, с удивлением смотря на меня, сказала: «Дитятко, о каких ты толкуешь злодействах? Да мы, живя в богадельне, не слыхали и не видали не токмо какой обиды, но даже дурного слова; у нас во всём доме прежняя тишина и спокойствие; если бы в городе не пожары, так мы бы и не знали, что здесь гостит неприятель. Нам, старухам, говорил эконом, что когда заморский набольший переехал сюда жить в главный корпус, так он сейчас его к себе призвал и приказал, чтобы в больнице и богадельне всё шло прежним порядком, все бы были сыты, одеты и обуты, да сверх того, ещё велел каждодневно служить священнику обедни. Мы сами не можем надивиться; говорят, набольший-то веры басурманской, а дела творит христианские»». Старушка накормила своего внука, снабдила провизией и вперёд обещала снабжать[18].

Если народная память, беспристрастная к врагам, сохранила эти черты, то мы считали долгом отметить некоторые из них, наиболее выдающиеся и включить в исторический рассказ, передавая их простою и безыскусственною речью самих свидетелей-очевидцев. Одно из правил Наполеоновых войн заключалось в том, чтобы войска продовольствовались на счёт страны, с которою он воевал. Грабёж для его солдат представлялся неизбежным условием войны, и он не только не ограничивал, но поощрял его[19]. Поэтому приведённые черты особенно замечательны и могут быть объяснены свойствами французского народа, как и объясняли москвичи, различая *настоящих*, по их выражению, французов от их союзников, а отчасти и тем, что в его войсках было много новобранцев, ещё не свыкшихся с нравами Наполеоновых войск.

Общие бедствия и несчастья могли соединить страдавших москвичей *как бы в одну семью*, по выражению современных сказаний; но неужели рядом с ними не было дурных людей, готовых также поживиться чужим добром в такое время, когда понятия о праве собственности и личной безопасности не имели значения? В низших слоях народонаселения больших городов бывает значительное количество негодных людей, готовых на преступные действия. Между тем эти-то именно слои населения и оставались по преимуществу

в Москве во время занятия её неприятелем. Из лиц, принадлежавших к высшим, образованным и достаточным слоям общества, осталось в Москве весьма немного, случайно захваченных врасплох нашествием. Но бедность, недостаток средств, многочисленные семейства, преимущественно духовного звания, удержали в Москве многих. Тогдашнее население Москвы состояло из значительного количества крепостных дворовых людей при домах помещиков, ещё с начала весны выехавших в деревни, или обучавшихся разным мастерствам, из небогатых купцов и бедных мещан и ремесленников. Самоё общественное положение этих людей, между которыми, конечно, было много и хороших людей, не давало ручательства за всех и каждого из них в нравственном отношении. Неужели та буйная и пьяная толпа, которая таскала по улицам тело несчастного Верещагина, которая надумала защищать Кремль от неприятеля и едва не подвергла величайшей опасности наш арьергард, не успевший ещё окончательно выступить из Москвы, не состояла большею частью из таких людей, которые, при всеобщем грабеже неприятелей, не приняли бы в нём сами участия? Неужели только что прошедшее через Москву многочисленное войско не оставило за собою хотя нескольких мародёров, когда сами лавочники приглашали их брать товар, чтобы он не достался неприятелям? Но если к этому присоединить обитательниц так называемых домов терпимости и преступников, выпущенных из тюрем, то едва ли можно сомневаться в том, что были в Москве и свои грабители.

Народная память, отозвавшаяся беспристрастно о неприятелях, с тем же беспристрастием отнеслась и к своим. Грабившие неприятели страшными пытками вынуждали жителей указывать им, где были зарыты или спрятаны имущества церквей, монастырей и частных собственников. Некоторые, не выдержав мучений, указывали потаённые места; но находились и такие, которые или добровольно указывали их в надежде на то, что неприятели поделятся с ними добычею, или сами выкрадывали имущество, если знали, где оно скрыто. Одна из свидетельниц событий, дворовая женщина Соймоновых, рассказывает, что имущество было скрыто в кладовой, нарочно перегороженной каменною стеною до потолка. «Барские сундуки, бельё, вещи разные, чего-чего там не было! Поверх и наше всё имущество поклали, а стена всё выше да выше поднимается. Стали туда уже бросать сверху перины, пуховики, подушки со всего дома. На аршин стена была не доложена; вдруг из соседнего дома знакомый человек заглянул в кладовую и стал упрашивать, чтобы мы и его добро туда запрятали. Натаскали всякого хламу, не стоило бы и прятать, да ведь всякому своего жалко; как не помочь в беде: ведь и нам самим добрые люди помогали. Мы

на него понадеялись, что он останется благодарен. Стену доложили до верха, немного позамазали, а то всякому в глаза бросится, что новая. В переднюю кладовую натаскали того, что было похуже и набили битком; пожалуй, мол, ломай да таскай, Француз окаянный!» В надежде сохранить имущество, большая часть дворовых удалились по господским деревням; но по возвращении оказалось, что каменная стена не спасла, и всё было разграблено. «Не осталось ничего, ни барского, ни нашего,— продолжает рассказчица,— я всплеснула руками, да как взвою; стала припоминать, что я запрятала, и Французов-то принялась честить по своему. А как я только узнала, вытаскали не Французы, а наши Русские! Пока наш дом не горел, в нём жил какой-то начальник; наши домашние там оставались и рассказывали, что с Французами жить было очень хорошо; они жили тихо, смирно, никого не обижали, только иногда пошлют им что-нибудь принести; и мальчишки наши тоже у них были на посылках. А когда добудут чего много, сами поделятся и ребятишек чем-нибудь приласкают за то, что в посылки ходят. Да ещё кто украл-то! Наш знакомый сосед, который упросил нас к нам его добро спрятать»[20].

На третий день после вступления неприятеля в Москву, 4-го сентября, когда пожар Замоскворечья и за Яузою достиг наибольшей силы, дворовые люди из дома Баташёва вышли в поле. «Здесь к ужасу,— рассказывает один из них,— усмотрели беглых и раненых русских солдат и мародёров и после узнали, что они жили грабежом проходящих; однако ж, как нас было много, то и не смели нас до ночи грабить... Мы, отделясь от всех и посадя в гряды капусты детей и жён, стояли вокруг их на карауле и чрез четверть часа услыхали стенящего человека за сто от нас шагов; ребят наших часть туда побежали и увидели, что русские раненые и беглые солдаты не только ограбили бедного обывателя, руки и ноги переломили, но и старались убить до смерти. Усмотря оное, отряд ко мне наших возвратился с сим известием и требовал позволения отмстить убийцам. Я, прибавя команды, с нею отправился с дубьём в руках к укрывавшимся разбойникам, нашли 12 человек, лежащих по траве и кустам с подвязанными руками и с связанными головами; тут же были и те самые, кои только что ограбили и убили обывателя; ребята мои, озлобясь, ударили в дубьё, и мнимораненые вскоча, хотели бежать, но были жестоко прибиты в атаке. Подле поля сражения нашли в воде, обросшей осокою, разного платья и прочих вещей, награбленных ранеными, воза два, из числа коей добычи капоты и сюртуки достались и нашим победителям»[21].

Особого рода воровством и грабежом занимались в это время старообрядцы и раскольники, преимущественно беспоповцы Пре-

ображенского кладбища. По слухам о приближении неприятелей, они заблаговременно приняли свои меры, отправив все капиталы, драгоценности и 250 женщин и девок под надзором настоятелей и наставников в село Ивановское Владимирской губернии. Оставался попечитель Никифоров и несколько других мущин и девок. Сохранилось предание, что в первый день вступления французов они отправили от себя депутатов в Кремль с подарками и наперёд приготовленным переводчиком, которому поручалось объяснить, что они составляют общество *древних* христиан, угнетаемое правительством, но имеющее по всей России своих единоверцев, к числу которых принадлежит почти весь русский народ. Покоряясь Наполеону и признавая его власть, они просили оградить их монастырь от грабежа и насилий. Есть также предание, что Наполеон посетил Преображенское кладбище с Неаполитанским королём и свитою, и старики, под предводительством их попечителя Алексея Никифорова, поднесли ему хлеб-соль.

Трудно сказать, вполне ли справедливо это предание или нет; но во всяком случае известно то, что уже 2-го сентября Преображенское кладбище получило охранную стражу и во всё пребывание французов в Москве пользовалось спокойствием и безопасностью. Но старообрядцы сами себя обрекали на опасную деятельность, похищая древние иконы из Московских храмов. Из Стретенского монастыря все такие иконы были выкрадены, и некоторые даже из Успенского собора, как, например, икона Иерусалимской Божией Матери. Претерпевая побои от неприятелей, перетаскивая на себе возлагаемые на них тяжести, они выкрадывали иконы из приходских церквей. Пробирались даже в опустелые дома частных лиц, в которых находились древние иконы. Иногда за кусок хлеба они покупали церковные утвари у голодавших неприятелей. Известия об их действиях доходили и до Владимира, где находился в это время граф Ростопчин. А.Я. Булгаков, в письме к своей супруге, говоря о тех русских, которые решились принять должности в устроенном императором Наполеоном городском управлении и называя их изменниками, прибавляет: «раскольники играют во всём этом важную роль»[22].

Эти воры не имели, однако же, ничего общего с теми, на которых жаловались жители Москвы. Но и вообще грабёж своих русских негодяев, конечно, ничего не значил в сравнении с грабежом неприятелей. Во всяком случае их было незначительное количество, в отношении к стотысячной армии, систематически грабившей столицу, и при том немногим из них, конечно, удалось воспользоваться имуществом своих соотечественников. Их в свой черёд грабили неприятели,

да притом вскоре и нечего было грабить у несчастных обывателей Москвы. Приходилось уже красть у самих грабителей; но это сопряжено было с большими опасностями, на которые могли решиться только отчаянные преступники. Нашлись и такие. Один из очевидцев рассказывает, что его семейство, скрывавшееся в одном из храмов, не имело пищи несколько дней. Они спасли оставленную среди пожара девочку лет трёх; она томилась голодом и просила хлеба, которого не было ни у кого из укрывавшихся в этой церкви. «Женщины, сочувствуя естественному требованию ребёнка и сами не имея чем удовлетворить голод, плакали. Я,— говорит очевидец,— терзаемый страданиями невинного ребёнка, вызвался отыскать пищи, во что бы то ни стало». Бродя по пожарищам и заглядывая в каждый погреб, он находил кадки с кислой капустой, огурцами, солёной рыбой и солониной; но ничего не попадалось ему, чем бы можно утолить голод ребёнка. Вдруг он увидал из отверстия свода рыжую полуобритую голову и услышал слова: «Мальчишка! Я давно на тебя смотрю, зачем ты заглядываешь в каждую яму? Не отыскиваешь ли зарытый клад?» Испуганный юноша хотел было бежать; но рыжая голова продолжала: «Не бойся, я не чёрт, а такой же человек, как ты. Чего ты ищешь?» — На ответ юноши, что он ищет пищи для голодного ребёнка, он сказал, опускаясь в подвал: «Давно бы, чертёнок, так и сказал; полезай за мной в подвал: у нас много съестного». Собственный голод, а ещё более желание найти пищу для ребёнка, заставили воспользоваться приглашением. Спустясь по лестнице, юноша очутился в обширном подвале, освещённом толстыми восковыми свечами (церковными). По одной стороне около стен стоял длинный ряд кадок с разными припасами, по другой несколько банок с вареньями и множество бутылок с винами. Посредине подвала кучею навалено было мужское и женское платье, куски разных материй, бархаты, атласы, парчи; на разостланных рогожах блестели золотая и серебряная посуда и церковная утварь, украшенная драгоценными каменьями. В углах, на красных сафьяновых матрацах и шёлковых подушках, небрежно развалясь, лежали шесть мужиков с полубритыми головами, в серых зипунах, подпоясанные верёвками; у них в головах были ружья, сабли, кинжалы и другое оружие. Они сурово взглянули, приподняв головы, на своего гостя. «Гараська, спросил один из них того, кто пригласил мальчика в их подвал, разве он из наших острожных карманников?» — «Нет, отвечал тот, это бедный мальчик просит пищи голодному ребёнку; так я посулил дать».— «А что, Гараська, продолжал его собеседник, я вижу, что Французы наводят и тебя на путь добродетели; и ты начинаешь помогать ближнему, принимаешься за благочестивые дела.

Ты придумал, товарищ, дело хорошее; пора вспомнить и нам о своей душе; не всё же резать как баранов своих православных; пришло, брат, время поработать над заморскими гостями. Я знаю, у тебя рука не дрогнет перехватить ножём неприятельское горло, или знаешь эдак»... Он поднял вверх кулак и крепко ударил им о ладонь другой руки... «Понимаешь покороче... Помнишь острожную поговорку: дать нахлобучку в темя кистенём!» «Эх Филька, отвечал рыжий мужик, не я бы слушал, не ты бы говорил. Вот у тебя безгрешного за добрые дела и ноздри-то вырваны и штемпеля-то поставлены, чтобы не пропал; да я, брат, молчу и зубы-то не точу, не рассказываю, что ты бежал из Сибири с каторжной работы. Дурачина, сам рассуди, в теперешнее время грешно своему брату Русскому отказывать в пище; где он её сыщет? И украсть-то негде, всё сожжено и разграблено; я сколько раз на себе испытал, что голод не тётка».

Мы передаём этот разговор словами самого очевидца-расскащика. Конечно, записывая свои воспоминания много лет спустя, он не мог до слова припомнить речи острожников; но 14-летний, довольно образованный юноша, не мог и забыть общий смысл и свойство этих речей. Впечатление этой встречи было слишком сильно и не могло изгладиться из памяти. Рыжий мужик вынул из ящика сайку и, пододвинув банку варенья, сказал ему: «Мальчик, обмакивай да уписывай; сперва сам наедайся досыта, а потом дам пищи и ребёнку». Но «я смекнул, — говорит этот рассказчик, — что нахожусь в гостях у выпущенных из острога колодников. Эта мысль привела меня в содрогание. Я от страха стоял неподвижно и ничего не ел. Один из колодников, высокий, здоровый малый, заметив, что я дрожу от страха, ласково спросил: «Мальчик, почему ты не ешь? Или кусок в горло нейдёт, смотря на наши красивые рожи! Ешь, брат, благословясь, не церемонься и говори спасибо не нам, а Французам: они наделили нас всяким довольством; по милости их и выпущены мы из острога; а то быть бы нам в Сибири, кому на поселеньи, а кто подостойнее, и в каторжной работе. Принимайся-ка, мальчуган, за работу, набивай скорее мамон, да и марш вон!»» Голод пересилил страх, и юноша с жадностью принялся за сайку с вареньем, слушая, как острожники хвастались своими подвигами. «Цапля, говорил один из них, расскажи, как ты вчера воровал у Французов награбленное церковное серебро». Цапля отвечал, самодовольно улыбаясь: «Я прежде думал, что Французы народ *полированный*, ловкий, а потому отличнейшие воры; не тут-то было: оказались пошлые дураки, олухи. Наши острожные мальчишки-карманники много раз их хитрее и ловчее: не только очистят их карманы, но с ног скинут сапоги, а они не догадаются. Умора, какие

вчера творили глупости мародёры! Из церквей награбят драгоценных вещей, положат в фуры, не оставят караула и уйдут за другими вещами; а я и тут! Цапну что получше, да и марш в какой-нибудь близкий от того места обгорелый погреб и выглядываю оттуда. Они ещё что-нибудь вынесут, положат и снова уйдут; а я опять хвачу да и тягу. Так я несколько раз прикладывался к ихним фурам. Видите, сколько натаскал добра; есть на что полюбоваться и есть на что повеселиться».

Утолив голод и желая поскорее выбраться из этой берлоги, юноша начал кланяться и благодарить за угощение. Рыжий острожник дал ему ещё сайку и булку с вареньем. «Снеси это голодному ребёнку, говорил он, а выйдет провизия, ещё дам, опять приходи; но только смотри, никому не сказывай об нас, ни о подвале, а то брат угощу вот чем». Он вынул из-за пазухи длинный и широкий нож и сказал ему: «Если забудешь место нашего подвала, то ходи по этому пожарищу и посвистывай: я тотчас отворю. Теперь ступай домой, береги съестное, а то как раз отнимут неприятели: они сами голодны, как собаки. Ну марш!» Он поднял шестом творило, и юноша живо выбрался из подвала; но в тот же день, желая накормить своего двоюродного брата, одних лет с ним, изнемогавшего от голода, он снова побывал в этом подвале. Не находя спуска в подвал, он ходил посвистывая по пожарищу, удивляя своего брата. «Кого чёрт принёс?» спросила, высунувшись из подвала, та же рыжая голова и, узнав знакомца, продолжала: «Так это ты посвистывал, приятель, да ещё и не один!» Кланяясь острожнику, юноша говорил, что он привёл умирающего от голода брата и Христа ради просил накормить его. «Слезайте проворнее, пострелята», кричал из подвала острожник, когда испуганный таким неожиданным явлением новый посетитель не решался идти в подвал. Брат насильно впихнул его туда.

Острожники были пьяны. «Ага, сказал один из них, здорово, мальчуган; скоренько к нам опять пожаловал: видно понравилось». Кланяясь отвечал ему юноша: «Теперь я пришёл не для себя, а для брата, который с голоду едва стоит на ногах». Острожник дал ему два калача и банку варенья, говоря: «обрабатывай!» «А как вас зовут, сладкоешки?» спросил он потом. На ответ: обоих Александрами, он запел: «ах вы Сашки-канашки, проголодалися, дурашки!» и начал приплясывать, прищёлкивая пальцами. Товарищи едва уняли его, забывшего о присутствии в Москве неприятелей.

В то время, как голодный мальчик ел калачи с вареньем, один из колодников спросил другого: «А ты что же без дела стоишь, не работаешь зубами». «Я, отвечал тот, сыт, давича по вашей милости наелся». «Ты здесь в Москве что ли остался с своим семейством?» про-

должал он с ним разговор.— «Да, с отцом, матерью и двумя братьями!» — «Французы, я чай, вас ограбили до рубашки?» На утвердительный знак головою он с участием посмотрел на него, вынул из-за пазухи свёрток, в котором потом оказалось несколько ниток жемчугу и подал его юноше, говоря: «Отнеси это матери»; потом из кармана плисовых шаровар вынул пук ассигнаций, выбрал две сторублёвых и подал также ему. «А это снеси отцу; хотя они теперь ничего не значат, но, может быть, после пригодятся». Опустив руку в другой карман, вынул горсть золотых монет и, потряхивая их на ладони, говорил: «дал бы тебе и *рыжиков*, да впрок не пойдут; Французы отымут; они жадны к золоту, как мухи к мёду».

Такая неожиданная щедрость ободрила юношу, и он осмелился попросить пищи для своего семейства. Острожник навязал ему узел калачей, саек, вина и варенья и отдавая сказал: «Тащите ребята, только будьте осторожны, не накормите неприятелей»[23].

Приведённые рассказы, в правдивости которых нет никакого повода сомневаться, разрешают весьма важный вопрос о том, находились ли в составе населения, остававшегося в Москве во время пребывания в ней неприятелей, колодники, выпущенные из острога.

Наполеон говорил в своих известиях о действиях Великой армии, что граф Ростопчин выпустил из тюрем до 3000 преступников, вооружил их и поручил им жечь город[24]. Граф Ростопчин, в письме к Императору, оправдываясь в убийстве Верещагина, говорит, что все колодники из большой тюрьмы были с 29 на 30 августа, под военною охраною, отправлены в Нижний Новгород. Верещагин и Мутон оставались в другой тюрьме, называемой *ямой*[25]. Возражая на 20-й бюллетень Наполеона, он говорил: «Что касается до преступников, употреблённых для зажигательства, то они находились тогда по крайней мере на расстоянии 50 миль от Москвы, оставивши её за четыре дня перед тем»[26]. То же самое повторяет он в своих *Записках* о 1812 годе. Таковы два, совершенно одно другому противоположные, показания двух главных действующих лиц в этом случае.

Конечно, свидетельства известий из Великой армии, писанных со слов Наполеона, не могли бы иметь никакого исторического значения; но они основывались на показаниях французов и вообще иностранцев, остававшихся в это время в Москве. Все из них, которые оставили письменные об этом времени воспоминания, положительно уверяют, что колодники были выпущены из тюрем на свободу. В числе вопросов, предложенных графом Ростопчиным одному майору Наполеоновской армии, оставшемуся в больнице после её выхода из Москвы, был следующий: «Что было главнейшей причи-

ной ненависти Наполеона к графу? Французская армия искренно ли разделяла эту ненависть и почему?» На это майор отвечал, что многие иностранцы, оставшиеся в Москве и особенно французы, давно жившие в столице, описывали графа Ростопчина в самых ужасных красках. Они говорили, что он собственною властью выслал на барках многих отцов семейств, людей весьма почтенных, между прочим своего повара, честного француза; что накануне вступления в Москву французских войск он сам выпустил из тюрем содержавшихся в них в продолжении многих лет преступников, выдал им оружие и приказал им сжечь не только провиантские магазины и амуничные склады, но даже все дома, в которых французы могли что-нибудь найти; наконец, что он приказал убить в своих глазах одного честного и благородного юношу, что-то написавшего о французской армии. Иные говорили даже, что он сам нанёс ему первый удар. Одним словом, по их рассказам, граф был сущий изверг, жесточайший из тиранов. На основании этих рассказов была составлена подробная записка о его злодеяниях и сообщена была всем генералам и начальникам отдельных частей. С описанием в той же записке примет графа Ростопчина, им дан был строгий приказ схватить его, если он попадётся в руки французскому авангарду и держать его под строгим надзором. «После тех ужасов, которые рассказывали о графе, говорил полковник, неудивительно, что он сделался предметом ненависти у большей части офицеров и солдат». Что же касается до Наполеона, «ненависть его к нему происходила оттого, что он оказал ему сопротивление и, вопреки его ожиданиям, не вышел встречать его с ключами города, как это было в Берлине и Вене. Поэтому он ежедневно отзывался о нём с самой дурной стороны»[27].

В показании майора в сокращённом виде изложено именно то, что описали в своих воспоминаниях некоторые иностранцы с большими подробностями[28]. Конечно, образ действий графа Ростопчина не мог расположить к нему иностранцев, находившихся в Москве и тем более французов. Их ненависть к нему весьма понятна, точно так же, как и опасения за свою судьбу. Уже давно носился между ними грозный слух, что Москва будет сожжена, если не представится возможным защитить её от неприятеля, и что все иностранцы сделаются жертвами разъярённой черни.

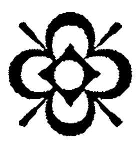
«Около 10 часов утра, 2-го сентября, — говорит один из них, — город, почти совершенно оставленный жителями, представлял обширную пустыню. За шумом, сопровождавшим выход Русских войск, наступила ужасающая тишина, которая, казалось, [была] предвестницею бедствий. Рассказывали, что отперт арсенал и растаскивают оружие,

что вышедшие из тюрем преступники вместе с толпою народа вооружаются. Погреба и кабаки ещё к вечеру были разбиты, вино текло ручьями по улицам. Какое чувство ужаса испытывали иностранцы и мирные граждане, оставшиеся в Москве, думая, что может ожидать их в городе без полиции, без всякой власти, где свободно могли действовать преступники, вышедшие из тюрем»[29]. Запираясь в своих домах, они с ужасом прислушивались к каждому звуку. Такое положение иностранцев может возбудить сомнение и недоверие в их показаниях: испуганное воображение могло создавать небывалые опасности. Так и было действительно. Их опасения в отношении вообще к Русскому народу были неосновательны; но что касается показаний о преступниках, выпущенных из тюрьмы, то они подтверждаются как приведёнными уже рассказами очевидцев-русских, так и следующими словами, записанными в памятной книжке А.Я. Булгакова, бывшего в то время чиновником при графе Ростопчине и совершенно преданного ему человека. В субботу, 31 августа, Булгаков выехал из Москвы в подмосковную, чтобы поторопить своё семейство ехать в более отдалённую от столицы деревню. 2-го сентября, говорит он, – «выехал в Москву в телеге. В 5 часов пополудни подъезжаю к ней. Картина беглецов, пешком, верхом и в повозках. Что мне говорят, я не верю; еду далее. У заставы нет никого. Кабак разбит. Из острога колодники бегут: их выпустили, или они сами поломали замки ... Против (дома) Пушкина убивают солдаты наши лавочника. Еду по Басманной. Ужасная картина! Грабёж везде ранеными и мародёрами. Мне говорят, что Французы уже в Кремле».

После выступления неприятеля из Москвы генерал Иловайский, донося о состоянии столицы графу Ростопчину во Владимир, между прочим, писал, что «в течении двух дней переловлено более 200 зажигателей и грабителей, по большей части выпущенных из острога преступников, из которых семь человек схвачены лейб-казачьим разъездом, против коего они стреляли из ружей, и несколько пойманы в святотатстве и убийстве; а за бежавшими и грабящими вокруг города посланы разъезды»[30].

Эти свидетельства едва ли оставляют сомнение в том, находились ли в Москве в это время выпущенные из тюрем преступники; а присутствие подобного разряда людей, конечно, не могло не страшить иностранцев. Если общее бедствие, постигшее мирных жителей Москвы, и могло пробудить в них чувства сострадания к своим соплеменникам, то едва ли они могли отнестись с тем же чувством к иностранцам и особенно французам, которым неприятели во всяком случае оказывали более покровительства, нежели русским.

Что же касается до свидетельства графа Ростопчина, то его можно объяснить только тем, что его приказание, данное в самые последние дни перед вступлением неприятеля, не было исполнено, по крайней мере, вполне, и часть острожников не была выслана в последовавшее затем общее смятение в первый день сентября 1812 года.



Глава 4

Магазинщица Обер-Шальме. – Намерение Наполеона идти на Петербург. – Наполеон возвращается в Кремль. – Комиссия о поджигателях. – Отзыв Бернадота о пожаре Москвы. – Донесение Ивашкина. – Письма графа Ростопчина к Государю. – Кто сжёг Москву?

Император Наполеон провёл тревожную ночь в Петровском подъездном дворце. На другой день утром он долго и молча смотрел из окна на расстилавшийся перед ним пожар. «Это предвещает нам великие бедствия», – произнёс он наконец[1]. «Император был доволен, заняв Москву, – говорит один из бывших тогда при нём секретарей; – но, конечно, он не скрывал от себя, чего не доставало для полного его торжества: в это время Бернадот должен бы был уже занять Петербург, а Турки Крым»[2].

Таковы именно были первоначальные предположения Наполеона; но его собственная неудачная политика в отношении к Швеции и Турции расстроила эти планы. О мире, заключённом Россиею с Портою в Букареште и о союзе с Швециею Наполеон узнал, уже находясь в России. Занятием Москвы он ещё надеялся достигнуть своей цели, хотя и не в тех размерах, как предполагал и желал, и заключить с нею мир, поразив ужасом её и её императора. Но пожар Москвы, совершенно для него неожиданный, спутал все его расчёты и предположения. В речи своей, при открытии Законодательного Собрания, в начале 1813 года, вызывая Францию на новые чрезвычайные пожертвования для продолжения войны, он уверял, что в России ему пришлось восторжествовать над всеми затруднениями, и «даже пожар Москвы, в четыре дня уничтоживший труды и издержки 40 поколений, нисколько не изменил благоприятного положения дел»[3]; но в самой Москве и потом на острове Св. Елены он думал иначе. «Нельзя было предвидеть возможность сожжения Москвы», – говорил он, оправдывая этим неудачу похода, который считал он наиболее обдуманным, рассчитанным и соображённым изо всех своих походов[4].

Мог ли Наполеон не понять значения Московского пожара, когда его поняла вся Европа, лишь только узнала о нём? Поняла и Франция. «Невозможно, – доносил ему в это время Фьеве из Парижа, – описать того изумления и ужаса, которые произвела в Париже весть о пожаре

Москвы. Давно уже народы позабыли о войне, доводимой до крайности. Нашему времени суждено всё исчерпать, всё довести до крайности, и это событие без сомнения нанесёт сильный удар высокому идеалу воинской славы. Как наши предки восставали против религиозного фанатизма, так наши потомки будут восставать против фанатизма военного; по крайней мере, в настоящее время кончено всякое увлечение. Время, прошедшее с тех пор, как бюллетень принёс эту весть, до сих пор не ослабило силы произведённого впечатления. Это такое событие, которого последствия неисчислимы, и чем более в него вдумываешься, тем более открываются новые виды. После чувства сострадания к жителям этого несчастного города, первая мысль была о нашей армии, вдруг потерявшей все средства, которые она надеялась там найти. Собранная воедино, она не может в этом климате воспользоваться спокойствием в промежуток времени между двумя кампаниями. Известия, полученные после этого бюллетеня, несколько ослабили опасения. Нам дают надежду, что Французские войска найдут достаточно средств для того, чтобы без особенных лишений дождаться новой кампании. Если бы сбылась эта надежда! Теперь уже не имеет никакого значения то обстоятельство, что эта война окупает сама себя; теперь дело не в деньгах: затронуты слишком важные вопросы, и всякий бюллетень, из которого узнали бы, что наши солдаты в тепле, одеты и сыты, произвёл бы гораздо больше впечатления на всех, нежели известия о победах... С особенным удовольствием все обратили внимание на полуправительственную газетную статью, в которой за пожар Москвы не обвиняют императора Александра. Это объяснили тем, что император не потерял ещё надежды на мир. Разрушение столицы ещё может быть приписано порыву народа, который решился скорее погибнуть, чем подчиниться игу победителя. Это чувство, некогда общее всем свободным народам, выразившееся теперь во всей силе в стране мало образованной, приводит в изумление. Если бы Москва была сожжена по приказанию императора Александра, то он мог бы оправдать себя перед историею, действуя последовательно и не входя ни в какие переговоры о мире. В таком случае он станет высоко в памяти потомков. В противном случае, если он согласится на мир, то и теперь, и впоследствии, как перед своими подданными, так и перед Европою, он остался бы зажигателем. Благоразумное устранение его участия в этом событии свидетельствует, что ещё не утрачена надежда на мир, но оно ещё не ручается за то, доживём ли мы до него?»[5]

Со вступлением в Кремль, т.е. с 3 сентября и во всё пребывание в Петровском дворце Наполеон не дал ни одного приказания,

не продиктовал ни одного военного предписания. Очевидно, он так был поражён неожиданным для него событием, что недоумевал, что делать и на что решиться. Такое состояние духа и выражалось в его тогдашних действиях.

Вслед за Наполеоном и его свитою выступили из Москвы гонимые пожаром войска. Вокруг Петровского дворца устроились бивуаки корпуса Итальянского вице-короля. Туда, вслед за войсками, под их охрану, сбежалась и большая часть иностранцев, особенно французов и даже некоторые из русских. В этом числе находилась и г-жа Обер-Шальме, владелица модной тогдашней гостиницы и богатого магазина различных предметов роскоши. (Муж её был выслан в числе других графом Ростопчиным на барке в Казань). Магазин Обер-Шальме[6] служил сборным местом для всего высшего и богатого Московского общества, привлекаемого туда роскошными товарами. На другой день пребывания в Петровском дворце, узнав, что г-жа Обер-Шальме находится также на бивуаках, Наполеон в шесть часов утра вызвал её к себе. Вместе с присланным за нею адъютантом она отправилась во дворец, в чём была, на первых попавшихся дрожках. У дворцового подъезда её встретил Мортье, герцог Тревизский, предложил ей руку, довёл до большой залы и впустил туда. Император Наполеон ожидал её, стоя в амбразуре окна. Лишь только она вошла, он обратился к ней с следующими словами: «Вы очень несчастливы, как я слышал; вы потерпели значительные потери?» — «Да, государь,— отвечала она,— моё состояние, простиравшееся до 600 тысяч рублей, погибло в этой катастрофе, и я должна более 300 тысяч. Позвольте мне надеяться, что вы защитите меня от преследования моих кредиторов». Успокоив её милостивыми обещаниями, он перевёл разговор на другой предмет. Он стал расспрашивать её о настроении умов в России, о способах управления, которое он намеревался устроить в Москве, выражая желание, чтобы оно наиболее соответствовало нравам жителей. Между прочим, он спросил её: «Что вы думаете о предположении освободить Русских крепостных людей?» — «Если Ваше Величество позволите мне откровенно выразить моё мнение в отношении к этому предмету,— отвечала Обер-Шальме,— то я смею заметить, что может быть одна треть из них поймёт это благодеяние; две другие не поймут даже, о чём им говорят».— «Но речи и пример первых увлекут за собою и остальных»,— возразил Наполеон.— «Ваше Величество можете ошибиться,— продолжала Француженка,— здесь не то, что в полуденной Европе. Русский недоверчив, его трудно расшевелить. Дворяне не замедлят воспользоваться минутою колебания,

и эти новые идеи будут представлены как безбожные и нечестивые. Увлечь ими чрезвычайно будет трудно, даже невозможно»[7].

Выслушав такое рассуждение, Наполеон понюхал табаку, что служило признаком неудовольствия; но, отпуская г-жу Обер, благосклонно обещал ей своё покровительство.

Взгляд Наполеона на женщин, совершенно сходный со взглядом на них мусульманских народов, известен, и он не скрывал его. Советоваться с женщинами, хотя бы умными и образованными, было совершенно противно его нраву. Он не советовался ни с кем, особенно в то время, когда достиг до крайней степени величия. «Усилие достигнуть Москвы истощило все его воинские способы,— говорит один из его спутников, очевидец происшествий.— Москва составляла последний предел его предположений, цель всех его стремлений, и Москва исчезает! Что предпринять? В это-то время такому решительному (décisif) гению пришлось колебаться. Он, который в 1805 году вдруг и окончательно покинул все приготовления у Булони для высадки в Англию, стоившие стольких издержек, покинул для того, чтобы неожиданно истребить Австрийские войска, обозначив наперёд, поимённо все переходы войск в Ульмской кампании до самого Мюнхена, точно так, как они были потом приведены в исполнение; этот человек, который год спустя, диктовал в Париже с тою же непогрешимостью все переходы войск до Берлина, определял наперёд день своего вступления в столицу и назначал туда свого губернатора,— он был теперь смущён и нерешителен. Никогда он никому не сообщал о своих самых смелых предположениях; его министры, самые приближённые, узнавали о них только в виде предписаний о приведении их в исполнение. И вот он вынужден советываться, испытывать нравственные и физические силы его окружающих».

Из всевозможных предположений о дальнейших действиях, конечно, только одно могло соответствовать его гордыне, это идти вперёд, продолжать наступательные действия: все другие показались бы отступлением, неудачею всего похода и поколебали бы обаяние, которое внушал его военный гений. На разложенных в его кабинете картах России, он со всею подробностью разметил булавками с разноцветными головками поход на Петербург. Он продиктовал уже первоначальные приказания и сообщил некоторым из маршалов о своих намерениях. Это сообщение поразило их; один только молодой вице-король Итальянский сочувствовал мысли своего вотчима, все другие были против неё. Этот новый поход, всё более и более удалявший их от Франции, представлялся им новым рядом утомительных трудов и превратностей. «Идти снова вперёд на Север, преда-

ваясь на волю случая, идти навстречу зиме, которая и так не замедлит наступить, тогда как нам нужен мир во что бы то ни стало, хотя бы пришлось его просить на коленях». Так рассуждали все военачальники Наполеона; но, говорит один из его тогдашних секретарей, «никто из особого уважения не решался это выразить ему самому». Они говорили ему, что для войск необходим покой, что необходимо время для излечения раненых или отправления их в Смоленск, что Москва под пеплом своих развалин ещё представляет достаточно средств для продовольствия на некоторое время, а уцелевший от огня Кремль и многие дома – для помещения. Надо попытаться [вести] переговоры о мире и если бы они не удались, то отступать во всяком случае на Юг, чтобы истребить боевые и продовольственные запасы в Калуге и Туле.

Мысль о заключении мира составляла цель Наполеона, и занятием Москвы он надеялся достигнуть этой именно цели, как постоянно достигал её, занимая столицы других Европейских государств. В порыве негодования на русских за то, что не дождался торжественной встречи с ключами города, что нашёл Москву, оставленную жителями, он ожесточился и сосредоточил свою злобу на личности графа Ростопчина, которого осыпал ругательствами. Он отдал приказ грабить столицу и создал план похода на Петербург. Поход этот, при несколько хладнокровном соображении, конечно, представлялся совершенно невозможным в виду способов, которыми мог располагать в это время Наполеон и которые хорошо были известны его маршалам. Его войска, достигнув Москвы, истратили большую часть боевых запасов; новые обозы из Смоленска ещё не подошли; запасов продовольствия, фуража и одежды давно не существовало, и его войска вошли голодные в столицу. Нужно было много времени для приведения их в такое положение, чтобы они могли двинуться в новый, продолжительный поход. Возможно ли было оставить в тылу всю русскую армию, очистив Москву и уведя с собою все войска? Числительная сила войск была ли такова, чтобы можно было разделить их и оставить сильный арьергард для удержания за собою Москвы? Наполеон не мог не знать положение своих войск. Он знал его не хуже своих маршалов, хотя может быть и не предвидел ещё, какое разрушительное действие произведёт на них, как в военном, так и нравственном отношении, дозволенный грабёж столицы. Окружавшим его боевым сотрудникам, предлагавшим войти в мирные переговоры, в которых они видели единственное средство спасения, он отвечал: «Вы полагаете, однако же, что те, которые решились сжечь Москву, могут заключить мир через несколько дней после этого? Если те,

на которых упадёт обвинение за это событие, имеют силу в кабинете Александра, то все ваши надежды останутся тщетными... Впрочем надо, чтобы выяснились обстоятельства». «Он уступил советам своих боевых товарищей», — замечают с некоторым удивлением его современники-очевидцы. Он уступил роковой силе совершившихся событий (прибавим мы), не отказываясь от своих предположений, но отсрочивая их исполнение до тех пор, пока не выяснятся обстоятельства неожиданные и потому *неясные* для него, или, лучше сказать, поразительную *ясность* которых он желал не только скрыть от других, но даже от самого себя[8].

Бивуаки французских войск, окружавшие Петровский дворец, занимали значительное вокруг него пространство и простирались до Тверских ворот. Кроме корпуса Итальянского вице-короля, там находилась и часть гвардии, выведенная из города, и толпилось множество несчастных обитателей Москвы, по преимуществу иностранцев и особенно французов. После очереди для грабежа, назначенной для каждого корпуса войск, солдаты продолжали грабёж тайно, уходя из лагеря, преимущественно по ночам. Сухая и ясная погода благоприятствовала пребыванию под открытым небом, хотя прохлада сентябрьских ночей и давала себя чувствовать непривычным к Московскому климату иностранцам. Но с 5-го сентября пошёл сильный дождь, продолжавшийся два дня. Он укротил силу пожаров, но умножил неудобства бивуачной жизни.

Наполеон решился возвратиться в Кремль. По дороге, между бивуаками и по улицам Московским, он в первый раз увидал, в каком положении находятся его войска. «Никогда не забудется то странное зрелище, какое представлял лагерь вокруг Петровского дворца, — говорит современник-очевидец. — Там, в Английском саду, находились разные штабы, входившие в состав главной квартиры; генералы помещались в здании фабрик, лошади стояли в аллеях. Непрерывно солдаты возвращались с грабежа из Москвы и продавали награбленные вещи. К довершению странности, они были одеты в разнообразные платья, какие только находили»[9]. Другой свидетель, описывая этот въезд Наполеона в опустошённую Москву, говорит: «Лагерь был расположен на полях, покрытых липкою и холодною грязью; повсюду горели большие костры, в которых огонь поддерживался мебелью из красного дерева, оконными рамами и позолоченными дверьми из богатых домов. Вокруг огней, на подстилках из мокрой соломы, прикрытых утлыми навесами из нескольких досок, толпились солдаты; а офицеры, покрытые грязью и закоптелые от дыма, сидели на креслах или лежали на роскошных, покрытых шёлковыми мате-

риями, диванах. Ноги у них были закутаны кашемировыми шалями, дорогими Сибирскими мехами и Персидскими золотыми материями. На серебряных блюдах они ели какую-то чёрную похлёбку, пересыпанную золою, кровавую и полуизжаренную конину. Странная смесь обилия и недостатка, богатства и грязи, роскоши и бедности»[10].

Подвигаясь далее, поезд Наполеона встречал толпы солдат, обременённых добычею или гнавших перед собою, как вьючных животных, русских людей, которые едва не падали под тяжестью ноши. Город представлял новое поражающее зрелище. Кое-где виднелись уцелевшие здания, но повсюду груды обгорелых дымившихся развалин. Обломки стен, столбов и печных труб указывали направление бывших улиц. По этим развалинам скитались ограбленные жители, едва разными отрепками прикрывая наготу и отыскивая пищу, а их грабители отыскивая добычу. «Император увидал, что всё его войско рассеялось по городу»,— говорит граф Сегюр, находившийся в его свите. Движение его поезда на каждом шагу вперёд затрудняли толпы мародёров или возвращавшихся с добычею, или шедших на новый грабёж, толпы солдат собравшихся у отверстий погребов, у дверей домов и церквей, пощажённых огнём. Трудно было пробираться по улицам, по которым были разбросаны обгорелые обломки зданий, всевозможная мебель и домашняя утварь, выброшенная из домов или оставленная грабителями, которые захватывали всё, что попадалось под руки, но потом бросали, находя другую, более ценную добычу. «При въезде Наполеона,— говорит русский свидетель (пленный, находившийся в его свите в качестве путеводителя),— многие из жителей Московских, испивших всю чашу бедствий от нашествия на них иноплеменников, увидав издали многочисленную свиту, убегали прочь. Другие, посмелее, отваживались украдкою выглядывать из-за обвалившихся стен. Наконец, в одном переулке близ Охотного ряду, одетая в лохмотья толпа мещан, человек в 40, на которых от страху, голода и холода едва осталось подобие человеческое, выждав приближение свиты к переулку, падает среди грязи на колени, простирает к иноплеменному государю руки, вопиет о претерпенном ими грабеже и конечном разорении и просит пощады и хлеба! Но сей жестокий человек, поворотив лошадь свою вправо, не удостоил их своего взгляда; но только приказал одному из сопровождавших его узнать, о чём они просят»[11]. Приказание это получил один из его переводчиков, Лелорнь. Подъехав к толпе, он вскрикнул: «А, г. Бестужев, в каком положении я вас вижу!» — «Такова судьба войны»,— отвечал ему Бестужев, ограбленный почти донага вместе с своим семейством. «Где же ваша жена, ваши дети?» — спрашивал Лелорнь. «Вы их видите»,— ука-

зывая на них, отвечал Бестужев. «Жена в рубище, а дети босы», — рассказывает он в своих записках. «О Боже!» — воскликнул Лелорнь, и на его глазах показались слёзы. «Из многих, окружавших нас, он приказал одному полковнику штаба князя Невшательского, фон Зейлен-Нивельту, именем императора, взять меня под своё покровительство. Полковник избрал дом для жительства на Петровке, близ монастыря, бывший князя Одоевского, а ныне Дурновой»[12].

Наполеон осматривал хладнокровно, а иногда и с восторгом поля сражений, после одержанных им побед, покрытые тысячами убитых и раненых; но едва ли он испытывал те же чувства, когда смотрел на сожжённую и ограбленную Москву и её обитателей. Если не русские, в числе которых он подозревал поджигателей, то, во всяком случае, иностранцы и преимущественно французы не могли не возбудить в нём участия к ужасному положению, в котором они находились. Действительно, по въезде в Москву, он поручил устроить и обеспечить их существование особому чиновнику[13], который и поместил многих из них в одном из уцелевших домов у Красных ворот и снабжал продовольствием. Другие были помещены в доме Медицинской академии, недалеко от неё в дом Давыдова; иные нашли приют в церкви Св. Людовика и в доме графа Разумовского на Гороховом поле, где помещался Мюрат. В то же время им предложили должности в канцеляриях войск, с хорошим жалованьем. — Что касается до русских, то первым распоряжением Наполеона было учреждение военного суда над поджигателями.

С первых двух дней по вступлении неприятелей в Москву, между ними уже разнеслась молва о том, что русские намерены сжечь столицу. Их же соплеменники, обитатели Москвы, устрашённые ожиданием такого бедствия, сообщали им об этом. Усилившиеся пожары, на третий день вступления, заставили их придать веру таким сообщениям, справедливость которых подтверждалась для них и тем обстоятельством, что они не нашли пожарных труб и узнали, что трубы вывезены по распоряжению графа Ростопчина. Все лица, принадлежавшие к Великой армии Наполеона и записавшие свои воспоминания об этом походе, уверяют, что многие из зажигателей были пойманы на самом месте преступления, по взгляду французов. На другой день после занятия Москвы французами, когда войска, окружавшие город, начали вступать в него, некоторые из офицеров корпуса вице-короля Итальянского, входившего в Тверскую заставу, проникли до Кремля. В это время уже горел Гостиный Двор, и солдаты его грабили. На их вопросы о пожаре гвардейские солдаты отвечали: «Вчера мы вошли в Москву, а сегодня утром начался пожар. Сначала мы принялись

тушить его, предполагая, что он произошёл вследствие неосторожности наших бивуаков; но теперь мы отказались от этого, потому что узнали, что губернатор, оставляя город, велел его жечь и, чтобы лишить нас возможности тушить пожары, велел вывезти из города все пожарные трубы» [14]. Наполеон в это время также приписывал пожар случайностям. Но и до него дошли слухи о том, что русские намереваются сжечь город. Эти слухи страшно раздражили неприятельских солдат: пожар вырывал у них из рук добычу и квартиры, на которые они рассчитывали, и они беспощадно убивали всякого, кого подозревали в поджоге. "Стоило много трудов, говорит один француз, свидетель происшествий, спасать русских от солдатской ярости" [15].

Этих-то мнимых, а вместе с ними, быть может, и действительных, поджигателей судила комиссия, составленная, по приказу Бертье, под председательством генерала Лауера, главного судьи армии (grand prévot de l'armée). 12 (24) сентября комиссия уже объявила и напечатала по-французски и по-русски свой приговор от имени императора и короля (au nom de l'empereur et roi). В этом приговоре, составленном с явным желанием показать, что при этом деле были соблюдены все обряды правосудия, пространно изложено, что пожар Москвы был делом преднамеренным, и подсудимые исполнили только приказания Московского генерал-губернатора. Затем повторяется сказание, сочинённое напуганным воображением Московских французов и других иностранцев. «Комиссия убедилась, что русское правительство предчувствуя, конечно, опасность войны, в которую вступило, и невозможность воспрепятствовать французской армии занять Москву, уже три месяца тому назад решилось употребить для своей защиты чрезвычайные средства пожара и разрушения, отвергаемые образованными народами. С этою целью оно воспользовалось предложениями одного доктора Шмидта, англичанина, называвшегося немцем, механика и машиниста по ремеслу. Вызванный в Россию, он приехал в первых числах прошлого мая месяца и, после нескольких тайных переговоров с представителями власти, был помещён в доме Воронцова, в шести верстах от города по Калужской дороге, куда отправлен был отряд из 160 человек пехоты и 12-ти драгунов с тою целью, чтобы охранять таинственные деяния Шмидта и преграждать доступ к нему любопытным. Всем известно, что он строил воздушный шар огромных размеров, в котором предполагалось поместить разрушительную машину (une machine exterminatrice) и которым, по его уверению, он мог управлять как угодно. Недели за две до вступления французской армии в Москву, в село Воронцово было послано семь больших бочек пороху с фейерверками, которые работали по указаниям доктора

Шмидта. Но доказано, что приготовление шара было только выдумкою, и в Воронцове занимались исключительно приготовлением зажигательных снарядов и машин, и все издержки на эти приготовления оплачивало русское правительство». Затем следуют обвинения против графа Ростопчина, которые заявлял ещё прежде сам Наполеон в бюллетенях Великой армии[16]. «После сражения при Бородине, говорится в бюллетене, граф Ростопчин решился сжечь столицу. С этою целью он велел выпустить около 800 преступников из острога и ямы с тем, чтобы они подожгли город через 24 часа после вступления в него французов. Чтобы руководить их действиями, многие офицеры и военные чины получили приказание переодетыми оставаться в Москве; а чтобы лишить всех способов противодействовать пожару, граф Ростопчин приказал вывезти из города, в самый день вступления французов, пожарные трубы всех двадцати частей столицы с их принадлежностями». «Зажигательные снаряды всякого рода, как разложенные в разных домах, так и найденные у поджигателей, не оставляют *никакого сомнения* (сказано в приговоре), что сожжение было делом преднамеренным и заранее приготовленным», и для большего ещё удостоверения в этом приводится следующий отрывок из одной афишки самого графа Ростопчина: «Вооружитесь чем ни попало, особенно вилами, которые особенно пригодны против Французов, потому что они не тяжелее соломенного снопа; если же не победим их, то *сожжём их в Москве*, коль скоро они осмелятся войти в неё». Действительно, в одном из своих объявлений (30 августа) граф Ростопчин говорил, что против французов «всего лучше вилы-тройчатки, француз не тяжелее снопа ржаного»; но последних строк приведённой в приговоре выписки не находится ни в одной из Ростопчинских афиш. Вероятно, судной комиссии это объявление было доставлено во французском переводе с прибавкою, не существующею в подлиннике.

Первоначально произведено было следствие, допрошены все подсудимые, свидетели, осмотрены все поджигательные снаряды, и составлен обвинительный акт. В заседании комиссии были прочитаны все относящиеся к следствию обвинения и оправдания виновных. Потом председатель велел караульным ввести подсудимых, «которые были введены без стражи и оков» (libres et sans fers), говорит приговор. Объявив им, в чём они обвиняются и выслушав поодиночке заявления и доказательства свидетелей и самих обвиняемых, предъявив им вещественные доказательства поджогов, отобранные у них самих и найденные в домах и выслушав обвинительный акт с заключениями, председатель спросил подсудимых, не могут ли они что прибавить

в свою защиту и, после отрицательного с их стороны ответа, велел удалить их. Все обряды были соблюдены; но из приговора не видно только, были ли у подсудимых защитники и что говорили сами подсудимые в своё оправдание. Комиссия даже и не объявила им своего приговора, по которому 10 человек были приговорены к смерти, а 16 к тюремному заключению в Москве. Дочь помощника квартального надзирателя, которого семейство приютилось в Страстном монастыре, в то время десятилетняя девочка, рассказывала впоследствии: «Другой раз видела я, как сбегался народ на площадь, и Французов много тоже нашло. Я стою и смотрю. Что же? Это они, злодеи, притащили наших вешать: зажигателей, видишь, поймали. Какие зажигатели! Одного-то я узнала: из Корсаковского дома дворовый, старик полуслепой. Сбыточное ли дело ему зажигать, уж одна нога у него в гробу! А хватали, кто под руку попался, и кричали, что зажигатели. Как накинули им верёвку на шею, взмолились они, сердечные. Многие из наших даже заплакали, а у злодеев не дрогнула рука. Повесили их, а которых расстреляли, и тела тут оставили вишь для примера, чтоб другие на них казнились. А я всё смотрела и не смела от страха ни шевельнуться, ни дух перевести»[17]. По свидетельству некоторых современников, и впоследствии расстреливали многих, и конечно без суда[18]. Озлобленные за пожар Москвы французы каждого военного подозревали в поджигательстве и даже носивших бороду считали переодетыми казаками. Один из их офицеров рассказывает, что много русских солдат бродило по улицам. «Я собрал до 50 человек и отвёл в штаб. Генерал, которому я доносил об этом, сказал мне, что я мог бы их расстрелять и что он позволяет так поступать впоследствии. Но я не злоупотреблял его доверием. Нетрудно понять, какими несчастьями и беспорядками сопровождалось наше пребывание в Москве. Каждый офицер, каждый солдат мог бы много рассказать примеров. Один офицер нашёл русского, скрывавшегося в развалинах; он объяснил ему знаками, что готов ему покровительствовать и взял его с собою. Но ему поспешно надо было куда-то отнести приказ. Встретив другого офицера, который шёл впереди своего взвода, он передал ему русского, говоря: «Я вам поручаю его» (je vous recommande monsieur). Этот офицер, не поняв в чём дело, принял его за зажигателя и велел расстрелять.»[19]

Кто сжёг Москву? Французы ли, вторгнувшиеся в столицу, или сами русские? Стоит в этом вопросе слово Москва заменить названием любой из Европейских столиц, чтобы изумиться перед странностью такого вопроса. Такое явление, как сожжение столицы, средоточия народной жизни, с существованием которой тесно соединены самые

важные стороны жизни самого народа, не может совершиться тайком и подать повод к такому вопросу в истории новейшего времени. Между тем, этот вопрос возбуждён и считается даже неокончательно разрешённым. Поэтому невозможно его обойти; но прежде, нежели приступить к его разрешению, необходимо разъяснить, каким образом мог возникнуть подобный вопрос.

Мысль о том, что граф Ростопчин был главным виновником сожжения Москвы, пустил в ход Наполеон, постоянно в своих произведениях искажавший современную ему историю. Ещё прежде тех обвинений, которые выражены в протоколе следственной и судной комиссии, осудившей Московских зажигателей, он выражал те же обвинения в своих бюллетенях и затем повторял их впоследствии, осыпая всевозможною бранью графа Ростопчина, называя его то Геростратом, то Маратом. Пожар Москвы был одним из роковых событий в судьбе Наполеона. За ним последовали его бегство из России, погибель Великой армии и ряд других происшествий, окончившихся разрушением построенного им политического здания Европы и ссылкою его самого. Конечно, этот пожар возбудил всеобщее внимание Европы; имя графа Ростопчина получило громкую известность повсюду, и особенно в Англии его произносили с восторгом. Громкая Европейская известность льстила самолюбию графа Ростопчина, и он десять лет хранил упорное молчание, не выражая согласия с обвинением, но и не отрицая его справедливости. Это молчание укрепило такое мнение в общем сознании Европы, которая опередила в этом случае мнение России. Даже французы считали подвиг графа Ростопчина внушённым пламенною любовью к Отечеству, хотя и варварским по их мнению, но высоким и оправданным происшествиями того времени, когда дело шло о спасении Отечества. Но в то время, когда вслед за вестью о вступлении французов в Москву разнеслась другая — о пожаре, уничтожившем древнюю столицу, по всей России естественно пробежала мысль, что французы сожгли Москву. Этому верили все, до самого Императора, кроме тех, однако же, которые оставались в Москве и находились в Тарутинском лагере. Раздражённый этим Государь писал к наследному Шведскому принцу про Наполеона, что «он не нашёл никаких сокровищ в Москве, которыми надеялся воспользоваться, ни мира, который надеялся предписать, и велел сжечь эту прекрасную столицу, представляющую теперь груды пепла и развалин»[20]. Слухи об оставлении Москвы и пожарах в ней уже дошли до Стокгольма, когда Бернадот получил письмо Государя. «Это происшествие,— отвечал он,— прискорбно не только для Вашего Величества, но и для ваших союзников и друзей; поэтому вы

можете быть уверены, какое я принимаю в нём участие. Император Наполеон, приказав сжечь Москву, совершил варварский поступок, вследствие которого с ужасом отвернутся от него современники и который покроет его позором в глазах потомков. С военной точки зрения он ничего не выиграл, а с точки зрения нравственности и политики, он только дал понять, до какого исступления может доходить его характер. Такое приказание, отданное хладнокровно, показывает, что он понял всю опасность своего положения, рассчитывал сильно подействовать на Русский народ и принудить Ваше Величество к заключению мира»[21]. Бывший маршал императора Наполеона очень хорошо знал его личные свойства и полагал, что он способен доходить до всякого исступления. Это и оправдалось впоследствии, когда, по отступлении из Москвы, Наполеон поручил маршалу Мортье взорвать Кремль и сжечь все оставшиеся после пожара здания. Но именно потому, что этот поступок, по замечанию Бернадота, в военном отношении не доставлял никаких выгод, Наполеон не поддался бы увлечению, как человек, обладавший вместе с тем способностью холодного расчёта и не терявший этой способности, особенно в положениях опасных.

Перед вступлением в Москву, он запретил грабёж своим войскам и не отменил этого запрещения, убедившись даже, что она оставлена жителями. Если верить словам, сказанным Мюратом генералу Милорадовичу, он не предполагал даже облагать Москву военною контрибуциею. Ему нужен был мир, который только и мог вывести его из затруднительного положения, которое без сомнения он понимал. Чем великодушнее он поступил бы с древнею столицею русского народа, тем с большею надеждою он мог бы на него рассчитывать. Наконец, ему необходимо было обеспечить, хотя на первое время, продовольствие для голодавших его войск, дать им возможность отдохнуть от изнурительного похода и привести их в порядок, усталых и обносившихся. Поэтому, когда поутру после первой ночи, проведённой в Кремлёвском дворце, ему сказали о пожарах, он приписывал их неблагоразумию солдат; но, припомнив доходившие уже до него слухи, что русские намеревались сжечь Москву, он пришёл в ужас. Убедившись в этом, он задумал поход на Петербург; но, отказываясь от этого намерения по совету своих боевых сотрудников, предъявлявших ему невозможность дальнейших походов и требовавших заключения мира, он отвечал: «Вы полагаете, что люди, способные сжечь Москву, могут через несколько дней вступить в мирные переговоры?» Мог ли он решиться на такую меру, которая, по его мнению, отдаляла и, может быть, совершенно отстраняла возможность заключить мир?

Если император Наполеон не давал и не мог давать приказания сжечь Москву, то ещё менее могло быть побудительных причин к такому поступку со стороны его войск. Конечно, от их неосторожности могли произойти местные пожары; но с ними легко бы справилось многочисленное войско, особенно если бы пожарные трубы не были вывезены из Москвы. Если же невозможно допустить предположения, что французы сожгли Москву; то сам собою выходит ответ на вопрос о том, кто её сжёг, и остаётся только определить, какая доля участия в этом событии принадлежит графу Ростопчину?

После известия о потере Смоленска граф Ростопчин писал к князю Багратиону: «Я не могу себе представить, чтобы неприятель мог прийти в Москву. Когда бы случилось, чтобы вы отступили к Вязьме, тогда я примусь за отправление всех государственных вещей и дам на волю каждого убираться, а народ здешний, по верности к Государю и любви к Отечеству, решительно умрёт у стен Московских. А если Бог ему поможет в его благом предприятии, то, следуя русскому правилу: не доставайся злодею! — обратит город в пепел. Наполеон получит, вместо добычи, место, где была столица. О сём недурно и ему дать знать, чтобы он не считал на миллионы и магазейны хлеба: ибо он найдёт угли и золу». Князь Багратион читал нескольким лицам письмо графа Ростопчина, и об его намерении сжечь Москву ходили слухи в Главной квартире наших войск. За несколько дней до Бородинской битвы, Д. В. Давыдов слышал, как князь Багратион читал такое письмо Ланским и так передаёт его содержание: «Я полагаю, что вы будете драться прежде, нежели отдадите столицу. Если вы будете побиты и подойдёте к Москве, я выйду из неё к вам на подпору с 100.000 вооружённых жителей; если и тогда неудача, то *злодеям вместо Москвы один её пепел достанется*»[22]. Обещав князю Кутузову привести в подкрепление войскам до 80 тысяч вольных дружин, сверх составляемого правительством народного ополчения, он в письмах к князю Багратиону увеличивает их число до 100.000 и определяет, что они составятся из Московских жителей.

Ещё в то время, когда наши войска, отступая от Смоленска, пришли к Вязьме, 15 августа, по свидетельству очевидца, когда у князя Багратиона собралось много офицеров 1-й армии, которые просили перевести их к нему во 2-ю, во время разговора о современных обстоятельствах, зашла речь и о возможности оставления Москвы. Князь Багратион сказал: «Я не думаю, что Французы войдут в Москву; но знаю наверное, что если случится это несчастье, то они найдут пепел и развалины столицы»[23]. Если князь Багратион читал письмо графа Ростопчина некоторым лицам, то, конечно, оно было известно

и самому главнокомандующему. Известие о ста тысячах вооружённых добровольных ратников подтверждало ему только то, что прежде писал ему самому граф Ростопчин; но решимость его сжечь Москву перед вступлением в неё неприятеля, конечно, должна была внушить князю Кутузову важные опасения: русские войска могли оказаться в таком положении, что за ними находился неприятель, следовавший по пятам, а впереди горевшая столица. Одного этого обстоятельства было бы уже достаточно для того, чтобы объяснить, почему перед советом в Филях, за несколько часов до оставления Москвы, князь Кутузов говорил, как уверяет граф Ростопчин, что не оставит Москву без боя[24]. Ту же мысль о сожжении Москвы и тогда же граф Ростопчин выразил принцу Евгению Вюртембергскому, прибавив, что он подаёт этот совет, как частный человек, а не как Московский генерал-губернатор[25]. А. П. Ермолову он выражал удивление, зачем князь Кутузов усиливается удерживать Москву и прибавил: «Если без боя оставите Москву, то вслед за собою увидите её пылающею»[26]. Он считал себя полновластным властителем Москвы, забывая о законе, что в лице главнокомандующего выражается верховная власть в военное время, в тех губерниях и соседних с ними, которые служат поприщем военных действий.

До получения записки князя Кутузова, в которой тот объявлял об оставлении Москвы, граф Ростопчин «1 сентября, в 9 часов пополудни (как доносил исправлявшему должность министра полиции Вязмитинову Московский обер-полицеймейстер Ивашкин) дал приказание изготовить всю полицейскую команду с одними пожарными трубами к выступлению в поход, по первому повелению». После получения записки от князя Кутузова, он «в 11 часов вечера (продолжает Ивашкин) приказать мне изволил, чтобы отправиться всем непременно 2-го числа пополуночи в 3 часа из столицы в город Владимир, перебив в течении того времени все бочки с простым вином, на барках и в питейных домах находящиеся»[27]. В то же время граф Ростопчин призвал полицейского чиновника Вороненку, который пользовался его доверием, «в 5 часов пополуночи, и поручил ему отправиться на винный и мытный дворы, в Комиссариат и на запоздавшие выходом казённые и частные барки у Красного Холма и Симонова монастыря и, в случае внезапного вступления неприятельских войск, стараться истреблять всё огнём, что мною и было исполняемо в разных местах по мере возможности, в виду неприятеля, до 10 часов вечера, а в 11-м часу из Замоскворечья, переправясь верхом вплавь реку ниже Данилова монастыря, около двух часов пополуночи я соединился с нашим арьергардом», — говорит Вороненко[28].

Приведённые свидетельства доказывают, что граф Ростопчин не только желал лучше сжечь Москву, нежели отдать её в руки врагам, но и принимал участие в пожарах, начавшихся после вступления французов. Приказание, отданное Вороненке, и вывоз пожарных труб об этом свидетельствуют. «Я велел выпроводить из города две тысячи сто человек пожарной команды,— писал он впоследствии,— и 96 труб, накануне входа неприятеля в Москву. Был также корпус офицеров, определённый на службу при пожарных командах, и я не счёл приличным оставлять их для услуг Наполеона, удалив уже из города все гражданские и военные чины»[29]. Нет никакого сомнения, что и пожарные команды с офицерами следовало вывести из столицы, но не пожарные трубы, которые и по ценности, как казённое имущество, не представляли важности; а можно бы спасти что-нибудь поважнее, например, оставшиеся в Москве трофеи наших прежних войн. Цель, с которою вывезены трубы, очевидна. Граф Ростопчин принимал участие в пожарах; но не в той, однако же, мере, как обвиняет его приговор французской судной комиссии над зажигателями. На чём этот приговор основан? На признаниях подсудимых и показаниях свидетелей, но ни тех, ни других не находится в приговоре; между тем, совершенно такие же обвинения против графа Ростопчина сохранились в сочинениях некоторых французов и других иностранцев, находившихся в то время в Москве и бывших свидетелями-очевидцами пожаров. Граф Ростопчин, говорят они, тайно подготовлял разрушительные снаряды для поджогов на особой фабрике, распуская слух, что там приготовляют воздушный шар для погибели неприятеля. Накануне вступления французов в Москву он выпустил из острога преступников, обещав им полное прощение, но с тем, однако же, чтобы они зажгли в разных местах город, когда вступят в него неприятели. Он роздал им зажигательные снаряды, каждому дал особую марку, по которой они могли узнавать один другого и поручил их руководству в этом деле полицейских чиновников. «Спокойно они ходили по улицам,— говорит один из этих иностранцев,— между французскими солдатами, скрывая под кафтанами зажигательные ракеты и горшки, наполненные воспламеняющимся составом. Встречалось ли им открытое окно или они полагали, что их никто не заметит, они подбрасывали эти горшки. Горшок разбивался от падения, по соприкосновении с воздухом находившегося в этих горшках состава, и огонь с быстротою отхватывал окружающие предметы. Они повсюду, где возможно, подбрасывали эти горшки, и действие их на дома, большею частью деревянные, было ужасно. Ловко обманывая бдительность неприятелей, эти зажигатели тайно

запасались ими в том месте, где их приготовляли. С острожниками соперничали в смелости и ловкости полицейские солдаты, свободно ходившие повсюду, переодетые в крестьянское платье. Иногда эти зажигательные снаряды падали сверху на дома, пущенные по воздуху, иногда с колоколен и башен. Одни утверждают, что о замысле сжечь столицу граф Ростопчин никому не говорил, кроме одного близкого семейства; другие, напротив, рассказывают, что слухи давно ходили о решении общем лиц высшего сословия»[30].

Эти сказания послужили главным основанием для приговора судной комиссии над поджигателями. Но строгая бдительность полиции графа Ростопчина над французами-московскими обывателями, публичные наказания некоторых из них, ссылка на барке в Казань 43 человек, возбудили в них такой страх, что они были уверены, что лишь только прекратится деятельность правительства в городе, они сделаются жертвами народной ненависти, возбуждённой графом Ростопчиным. Перед вступлением неприятеля в Москву их волновали те же самые чувства, какие волновали русских обывателей Москвы, после выхода из ней Наполеона, пока ещё оставались французы в Кремле: они были уверены, что их всех перебьют. Под влиянием таких чувств естественно могли составиться фантастические сказания о пожаре Москвы. Без сомнения, сказания эти отличаются таким свойством; но подобные сказания образуются и на почве действительности и могут заключать в себе долю правды. Конечно, граф Ростопчин не заготовлял зажигательных снарядов для сожжения Москвы; но шар, приготовленный Леппихом, должен был с воздушной высоты бросать разрушительные снаряды на неприятельские войска. Вероятно, они приготовлялись также и очень легко могли попасть впоследствии в руки поджигателей. Острожники, несмотря на положительные уверения графа Ростопчина, который действительно распорядился об их удалении из Москвы, не все были удалены, и часть осталась в Москве; они были выпущены на свободу или вышли сами из тюрем, которых никто не охранял. Не представлялось никакой нужды составлять из них особую шайку, давать каждому условные знаки. Опытные преступники между собою сами составили бы шайку и, конечно, приняли бы участие в поджогах, хотя исключительно из корыстных целей. Но справедливо замечает граф Ростопчин: «Для чего было устраивать фабрику зажигательных веществ? Солома, сено были бы гораздо удобнее для зажигателей, чем фейерверки, с которыми обходиться следовало с осторожностью, которые трудно было скрыть, а ещё труднее действовать людям, к тому непривычным»[31]. Не подлежит сомнению, что такой фабрики, на которой приготов-

лялись бы разрушительные снаряды для сожжения Москвы, никогда не существовало и что не было нужды в них для этой цели. Но у Леппиха они приготовлялись для другой, неудавшейся цели, и поджигатели могли ими воспользоваться. Вопрос заключается лишь в том, случайно ли они попались под руку или кто-нибудь указал на них?

В 1822 году князь Н. Б. Голицын находился в Париже и часто посещал графа Ростопчина. Он старался узнать подробности о пожаре Москвы и часто заводил об этом речь; граф Ростопчин каждый раз отклонял разговор и переходил к другим предметам. Но однажды он разговорился по поводу воздушного шара Леппиха. «Что касается до этого шара, то это глупость, говорил он, которая могла занимать только тех, которые способны верить во всё чудесное. Но приготовление этого, как говорили, разрушительного шара (ballon destructeur) доставило бы мне средство возобновить, но в больших размерах, во время сражения под Москвою то, что было в Сарагосе. Мысль о том, что её сдадут без выстрела никогда не приходила мне в голову. Я не считаю себя хорошим тактиком; но мой долг состоял в том, чтобы похоронить себя под развалинами столицы и превратить её в разрушительный ад для французских войск. Мне удалось возбудить дух Московского народонаселения; с ним я многое бы сделал, если бы мне дали возможность действовать. В таком случае, с факелом в одной руке и с мечом в другой, во главе моего преданного народонаселения, я показал бы, что русские умеют защищать свои очаги (ses foyers). Это действие было бы ужаснее, нежели воздушное путешествие. Если бы я думал о нём, то справедливо могли бы полагать, что мой мозг не в порядке»[32].

Десять лет после совершившихся событий граф Ростопчин говорил о своём намерении защищать Москву от французов, точно так же, как говорил в 1812 году и с тем же мечтательным увлечением. Что касается до изобретения Леппиха, то он действительно разочаровался в нём, незадолго, впрочем, до оставления Москвы; но с помощью какого же Московского народонаселения он думал защищать столицу, не собрав и не приготовив тех 100 или 80 тысяч защитников, о которых он с такою решительностью писал князю Кутузову и князю Багратиону? Он действительно намеревался сжечь столицу до вступления в неё неприятеля, как ещё в августе месяце писал князю Багратиону и как потом объяснял самому Императору в донесениях, писанных в сентябре. «Я в отчаянии, — писал он, — что князь Кутузов изменнически поступил со мною (qu'il ait agi en traître vis-a-vis de moi); потому что, не имея способов защитить город, я должен бы его сжечь, чтобы лишить Бонапарта славы взять его, ограбить и потом предать пла-

мени. Я бы отнял у Французов плод их похода. Я бы заставил их убедиться, что они лишились всяких сокровищ и показал бы им, с каким народом они имеют дело»[33]. Ровно через месяц он пишет Императору, уведомляя его об оставлении Москвы Наполеоном и повторяя свои упрёки Кутузову: «Он писал мне до 30 августа и говорил, что будет драться. 1-го сентября, когда я увидался с ним, он повторил мне то же самое, прибавляя: я и в улицах буду драться. Я оставил его в час, а в 8 ч. вечера он прислал мне пресловутое письмо, в котором просил проводников через город, уведомляя, что оставляет его с крайним сожалением. Если бы он мне объявил об этом за два дня, я бы его сжёг, выгнав наперёд жителей, и возмущение в войсках Наполеона было бы последствием при виде объятого пламенем города, который обещан был им в добычу. С этою целью я ничего не вывозил из моих двух домов, чтобы иметь право сказать потом, что я решился на гораздо большие пожертвования, нежели другие лица. Москва погубила Бонапарта; но её сдача есть пятно, а тогда это было бы славным делом»[34].

Граф Ростопчин мог привести своё намерение в дело и сжечь столицу, если б действительно за два дня уведомил его князь Кутузов, что защищать её не будет; но по этому-то он его и не уведомил. Когда он получил его записку, обозы нашей армии уже начинали проходить чрез Москву, и вслед за нею почти весь следующий день продолжалось их движение; а вслед за армиею, даже смешиваясь с нашим арьергардом, входили неприятельские войска. В это время конечно уже не было времени жечь Москву. «Лечь под её развалинами, защищая её во главе верного ему Московского народонаселения», граф Ростопчин не мог, потому что не подготовил защитников столицы. Не успев привести в исполнение этого предположения, впоследствии, когда только что начались пожары, он писал Государю: «2-го сентября ночью начался пожар лавок и хлебных магазинов, находившихся у стен Кремля. Французы или Русские воры произвели этот пожар; но я более склонен верить тому, что их подожгли сами их сторожа, побуждаемые Русским правилом: не доставайся врагу. 3-го утром огонь показался во многих местах и, раздуваемый сильным ветром, усиливался и свирепствовал в продолжении 48 часов»[35]. В это время граф Ростопчин очень хорошо знал, кто жжёт Москву; потому что по его поручению Вороненко поджигал склады и магазины *во многих местах*, как он свидетельствует сам. Хотя впоследствии, во время своего пребывания в Москве, он говорил и даже печатал в *Русском Вестнике*, что сожгли Москву французы[36]; но эти заявления возможно бы объяснить тем, что он не желал противоречить общему мнению, распространённому в то время в России, что французы сожгли Москву, и думал отклонить

упрёки тех из Московских обывателей, которые потеряли всё своё имущество и в этом обвиняли его. Но ту же самую мысль он выражал в частной переписке, не предназначавшейся для оглашения, в переписке с графом С.Р. Воронцовым, находившимся в Лондоне. Поручая вниманию графа Ростопчина одного английского капитана, отправлявшегося в Россию в начале 1813 года, граф Воронцов писал ему: «Он едет, чтобы вблизи посмотреть на народ, который превзошёл все современные и прежние народы своим великодушием, доблестью, постоянством и любовью к Отечеству. К кому лучше могу направить его, как не к тому, кто был главною причиною, вызвавшею эти доблести? Они существовали в душе народа, как огонь существует во всяком веществе и особенно в селитре, угле и сере; но в их соединении он оставался бы навсегда, если бы прикосновение искры не вызвало его могучего проявления. Вы были этою благотворною искрою, возбудив возвышенный характер моих добрых соотечественников, Русских по крови, говорящих одним языком и исповедывающих одну веру. Я ни с кем не могу вас сравнить, кроме князя Пожарского, но ваш подвиг был ещё труднее». Граф Ростопчин, отвечая на это письмо, писал: «Наполеон предал город пламени для того, чтобы иметь предлог допустить свои войска ограбить его» и, отклоняя от себя похвалы графа Воронцова, говорит далее: «Вы хвалите мою любовь к Отечеству; но сколько же лиц, которые превзошли меня! Крестьяне, которые сами жгли свои избы; отец, приведший ко мне двух сыновей и отдавший их на защиту Отечества; старуха, приведшая ко мне двух сыновей и внука и говорившая им: «да будете вы прокляты, если не истребите злодеев»; один слуга, выстреливший в Мюрата на Арбате, полагая, что это Бонапарт и убивший какого-то полковника; крестьянка, которая зажгла дом в той мысли, что там ночует это чудовище. Двое последних поплатились жизнью за свою преданность. Вот герои! Позавидуем им и будем считать себя счастливыми, что принадлежим к их соотечественникам. Я вознаграждён уже тем, что имел счастье исполнить мой долг»[37].

Но все эти сведения хранились в тайниках наших архивов и только в недавнее время начали мало-помалу появляться на свет; между тем известия, пущенные в ход бюллетенями Наполеона, подтверждаемые рассказами всех возвратившихся на родину чинов его Великой армии и особенно французами, бывшими Московскими обывателями, укоренились в общественном мнении Европы. Имя графа Ростопчина неразрывно соединилось с великою жертвою, принесённою русским народом для спасения Отечества, с пожаром древней столицы. Его имя, не без некоторого ужаса, внушаемого величием жертвы,

но и с уважением, произносилось повсюду и особенно в Англии, заматорелой в ненависти к Наполеону, на судьбу которого это событие имело роковое влияние. Переселившись за границу в 1815 году и видя повсюду и особенно в Париже (где прожил около семи лет), что его имя соединяется постоянно с пожаром Москвы, он упорно молчал, когда заходила о том речь и переводил разговор на другие предметы, своим молчанием подкрепляя укоренившееся мнение. Д. П. Бутурлин, приготовляя к изданию историю войны 1812 года и приписывая пожар Москвы распоряжениям правительства и графа Ростопчина, посылал свою рукопись к нему в Париж и просил дополнить её. «Но граф, — говорит Бутурлин, — кажется, ещё не спешит сказать *свою правду* и возвратил мне мою записку без всяких замечаний»[38]. Таким образом и между русскими и иностранными писателями этот вопрос считался решённым и не возбуждал споров.

Граф Ростопчин, быть может действительно или увлекаясь тою славою, которою он пользовался в чужих краях именно вследствие того, что его имя соединяли с пожаром столицы, или, что вероятнее, не желая возбуждать литературных споров, в которых был бы вынужден и сам принять участие, не только не решался сказать последнего слова о своём участии в этом происшествии, но даже поддерживал, по-видимому, общее мнение. Когда в английских журналах в 1822 году появилось известие, что сэр Роберт Вильсон был в 1812 году в Москве и «помогал графу Ростопчину привести в исполнение задуманное им намерение сжечь столицу», он немедленно поместил опровержение. «Я увидал в первый раз Вильсона в Главной квартире на р. Пахре, следовательно ему поздно было и бесполезно помогать мне»[39]. Но иногда случалось графу Ростопчину, в увлечении разговора, выражать о том своё мнение. В 1817 году в Бадене, где он пользовался водами (по рассказу Варнгагена фон Энзе, который там познакомился с ним), однажды вечером у Тетенборна, он начал насмехаться над теми, которые воображают, что возможно сжечь огромный город, как на театральной сцене сгорает Персеполис от руки Таисы. «Я поджог дух народа, говорил он, и этим страшным огнём легко зажечь множество факелов». Затем он объяснил, какие принимал меры, как генерал-губернатор: велел вывезти пожарные трубы, открыл тюрьмы и вообще распоряжался с тою целью, чтобы французам оставить не город, наполненный всеми средствами для существования, а место запустения, и наконец решительный пример, который он дал сам, когда сжёг свой дом в подмосковной деревне. «Он последовательно излагал свои взгляды, — говорит Варнгаген, — побудительные причины своих действий, свои ощущения и признавался, что в то время он

вовсе не обращал внимания на цену имуществ, когда погибало Отечество»[40]. В семейной переписке с дочерью, в одном из писем 1816 года, он говорит: «Но всего смешнее, что моя так называемая знаменитость основана на Московском пожаре, событии, которое я подготовил, но вовсе не приводил в исполнение (événement que j'ai préparé, mais que j'ai été bien loin d'effectuer), и никто не говорит ни слова о том, что народонаселение Москвы постоянно сохраняло спокойствие, ни о героизме народа»[41].

Если сопоставить все эти показания с теми, которые граф Ростопчин изложил в своём сочинении, изданном в Париже в 1823 году, «Правда о Московском пожаре», то нельзя не заметить, что сочинение это весьма близко к правде. Между тем лишь только появилось оно в печати, то удивило не только русских, но даже иностранцев, и никого не убедило: в парижских повременных изданиях появились о нём отзывы, в которых выразилось это удивление. «Общее мнение не только во Франции, но и повсюду, — говорилось в них, — приписывало сожжение Москвы графу Ростопчину, по приказанию правительства. И как могли мы в этом усумниться? Все наши бюллетени это говорили, — свидетельство весьма полновесное; все рассказы об этом времени постоянно повторяли то же самое; никогда ошибка не была более извинительна. Но вот, наконец, появилась *Правда о Московском пожаре*. По милости этой книжки, одною ложью будет менее в истории». Граф Ростопчин уверяет, что пожар Москвы не был его делом, что он не задумал его и не приготовил. Мы должны этому верить, его свидетельство не может быть заподозрено. Всем известно, какие были последствия этого достопамятного происшествия и какое оно имело влияние на судьбы Европы. Самые просвещённые умы считали его не только главнейшею причиною спасения России, но и падения Наполеона. В зареве Московского пожара уже виднелась св. Елена...

Граф Ростопчин верно замечает, что нельзя бы не гордиться по справедливости таким подвигом; но в то же время нельзя и не согласиться с ним, что, объявляя нам истину о пожаре Москвы, он разрушил до основания свою славу и, говоря его словами, отказался от лучшей роли в событиях того времени. Многие другие, находясь в таком положении, не поспешили бы просветить общее мнение, столь положительно утвердившееся, и охотно пользовались бы честью, которую с таким бескорыстием отклоняет от себя граф Ростопчин, который, «никогда не присваивая себе чужих прав», не хочет, чтобы продолжали указывать на него: вот кто сжёг Москву и спас своё Отечество. Эта слава ему не принадлежит; он отдаёт её тем, которые с большим правом могут ею пользоваться. Но общее любопытство не удовлетворено:

хотят, и это желание очень естественно, знать, кто же сжёг Москву? Не граф Ростопчин, мы в этом совершенно убеждены. Но кто же! Естественно, отклоняя мысль, что Москву мог сжечь Наполеон и тем погубить самого себя, сочинитель статьи выбирает несколько показаний из сочинения самого графа Ростопчина, которые приводят его к тому заключению, что сами русские сожгли свою столицу[42]. Маркиз Шамбре, по поводу сочинения которого граф Ростопчин издал свою *Правду*, немедленно отвечал, опровергая его доводы и приводя рассказы свидетелей-очевидцев о поджигателях, которые говорили, что им *велено* было поджигать[43]. Изданы были вновь письма аббата Сюрюга, которые прежде появились в немногих экземплярах. Д.П. Бутурлин оставил без изменения и во втором издании своего сочинения прежние соображения о пожаре Москвы, но прибавил к ним следующее примечание. «То, что написано мною о Московском пожаре, было сообщаемо сочинителем графу Ростопчину, которому он для просмотра послал записку, послужившую основанием для его сочинения. Но, кажется, граф не спешил высказаться, потому что он возвратил эту записку без всяких замечаний. После этого как же можно было предвидеть, что, спустя 10 лет, он совершенно иначе представит дело и обнародует свою *Правду*? Странно было бы не поверить великодушной, хотя и запоздалой, искренности человека, который сам сходит с высоты исторического деятеля, чтобы скрыться в толпе; но положительные, однако же, свидетельства не дают сочинителю возможности сомневаться, что пожар Московский был приготовлен и исполнен Русскими правительственными лицами. Поэтому, чтобы примирить разные мнения, остаётся только предположить, что в числе подчинённых графа Ростопчина были в это время люди с сильным характером, которые действовали на свой страх. Оставаясь при этом мнении, сочинитель не счёл нужным исправлять текст своего сочинения, потому что происшествие в нём рассказано верно; но считает лишь нужным предварить читателя, чтобы похвалы графу Ростопчину, выраженные им неправильно, они отнесли к этим лицам»[44].

Таким образом, до сих пор вопрос был поставлен так: или французы сожгли Москву по *повелению* Наполеона, или русские по *распоряжению* своего правительства. Нам кажется, что такая ложная постановка вопроса единственно и затрудняет его решение и возбуждает различные мнения, которых примирить между собою нельзя. Французский критик книжки графа Ростопчина о пожаре Москвы, которого мнения мы привели выше, весьма справедливо замечает: «Граф Ростопчин удивляется, что его имя повторялось в бюллетенях, как необходимая принадлежность Московского пожара, как припев

о Мальбруке в известной песне. Это составляет новое доказательство невиновности Наполеона в происшествии, не соответствовавшем его видам; но почему же ему нужно было избрать жертвою своего гнева именно графа Ростопчина, который, кажется, не очень доволен этим предпочтением? Причину весьма легко угадать: граф Ростопчин был Московским генерал-губернатором, его имя по необходимости должно было представиться прежде всех, всякий другой, кто бы ни был на этом месте вместо графа, удостоился бы той же чести». Действительно, графу Ростопчину и нельзя было бы удивляться, что его имя в общем мнении Европы связалось неразрывно с пожаром Москвы на основании *ложного* предположения, будто Москва была сожжена по *распоряжению* правительства. При этом предположении естественно, что лицо графа Ростопчина должно было выдвинуться вперёд. Едва ли нужно доказывать, что такого распоряжения не было, и граф Ростопчин действовал в этом случае лично, а не как представитель правительства. Но граф Ростопчин в своей *Правде* отказывается и от этого. Он не упоминает о своём приказании, данном Вороненке, отрицает существование разрывных снарядов, присутствие колодников в Москве, уверяет, что частные пожары в Москве, в которых могли быть виноваты столько же русские, как и французы, не могли распространиться на весь город по причине множества садов, пустырей и бульваров и такую меру, как сожжение Москвы, считает ужасною, жестокою и неблагоразумною. Распространение пожаров он приписывает единственно случайному обстоятельству, т. е. необыкновенно сильному ветру. «Дурно сделают, если мне не поверят, потому что я отказываюсь от прекраснейшей роли этой эпохи и сам разрушаю здание моей знаменитости; но я решаюсь говорить правду, которая одна должна руководить историею».

Много раз приводя рассказы графа Ростопчина из его *Записок* о 1812 годе, мы указывали, что он приписывал себе такие мнения и взгляды, которых он не имел во время совершавшихся событий и которые могли образоваться у него гораздо после. Тем же свойством отличается и его *Правда*. Он говорит, например, что должно бы остановить его в предположении сжечь Москву важное соображение, «а именно: чтобы тем не заставить Наполеона принудить к сражению князя Кутузова после оставления Москвы, потому что все выгоды такого сражения были на стороне французов, имевших двойное число воинов в сравнении с русским войском, которое было обременено ранеными и частью народонаселения, вышедшего из Москвы». Так мог думать князь Кутузов в то время, а не граф Ростопчин, который упрекал его именно за то, что он не действует наступательно

на неприятеля, упрекал не только в письмах, которые он писал в то время к частным и правительственным лицам, но и перед Государем, считая силы неприятеля незначительными и расстроенными. Его *Правда* была действительно правдою, но только для него одного, способного поддаваться увлечению настоящего до такой степени, что всё прошлое или исчезало из его воспоминаний, или принимало совершенно иной характер[45].

Но кто же сжёг Москву?

Первые пожары произведены были полицейским чиновником Вороненкою, исполнявшим приказания графа Ростопчина, который, вероятно, для облегчения совершить опасное (почти в виду неприятеля) предприятие, указал ему на разрывные снаряды, приготовленные Леппихом для воздушного шара. Вороненко исполнил приказание по мере возможности, оставаясь в Москве до 8 часов вечера, т.е. до того времени, когда не только её заняли неприятельские войска, но их авангард уже расположился за Рогожскою заставою. Князь Кутузов, известясь, что не успели спасти от неприятеля комиссариатские барки, которые шли позади барок с артиллерийскими запасами, по мелководью и тяжести груза остановившимися у Москвы, велел их сжечь и потопить[46]. Это поручение с успехом исполнено было капитаном артиллерии Фигнером[47]. Ещё до вступления в Москву неприятеля, говорит граф Ростопчин, «в разговорах с купцами, мастеровыми и людьми из простого народа, мне приходилось слышать следующее выражение, когда они с грустью заявляли опасение, что Москва может достаться в руки неприятеля: лучше её сжечь! Во время моего пребывания в Главной квартире князя Кутузова, я видел многих москвичей, спасшихся из столицы после пожара, которые хвалились тем, что сами сожгли свои дома»[48]. Это последнее показание подтверждают и другие свидетели-очевидцы. «Бывшие в Тарутинском лагере, конечно, помнят, точно также как и я помню,— говорит И.П. Липранди,— что Московские выходцы рассказывали, как они сами и другие москвичи поджигали свои дома и лавки перед тем, чтобы уйти из ней»[49]. Полковник Кроссар, находившийся в Тарутинском лагере, рассказывает, что на другой день после оставления Москвы, несколько наших офицеров обедали у графа Строганова, и князь Дмитрий Владимирович Голицын часто выражал сожаление, что не пришла ему в голову вовремя следующая мысль: «Я сожалею только об одном, что при выходе из Москвы мы сами не подожгли наших домов»[50]. По возвращении в Москву в октябре 1812 года, граф Ростопчин собрал некоторые сведения о пожаре. Вот что между прочим он говорит:

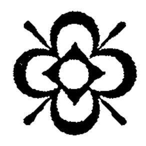
«В Москве есть целая улица с каретными лавками, в которой живут одни только каретники. Когда армия Наполеона вошла в город, то многие генералы и офицеры бросились в этот квартал и, обошедши все лавки оного, выбрали себе кареты и заметили их своими именами. Хозяева, по общему между собою согласию, не желая снабдить каретами неприятеля, зажгли все свои лавки. Один купец, ушедший с своим семейством в Ярославль, оставил дом на попечение племянника. По возвращении полиции в Москву, этот племянник пришёл объявить ей, что семнадцать мёртвых тел находятся в погребе его дяди, и вот как он рассказывал об этом. На другой день по входе неприятеля в город, четыре солдата пришли к нему; осмотря дом и не найдя ничего, что могли бы с собой унести, они сошли в погреб и нашли там сотню бутылок вина и, давши разуметь знаками племяннику купца, чтоб он их поберёг, возвратясь опять ввечеру, в сопровождении тринадцати других солдат, зажгли свечу, принялись пить и потом уснули. Молодой русский купец, видя их погружённых в пьяный сон, вздумал их умертвить. Он запер погреб, завалил его каменьями и убежал на улицу. По прошествии нескольких часов, размыслив хорошенько, что эти семнадцать человек могли бы каким-нибудь образом освободиться из своего заточения, встретиться с ним и его убить, он решился зажечь дом, что и исполнил посредством соломы. Два человека, один дворник г. Муравьёва, а другой купец, были схвачены при зажигании своих домов и расстреляны»[51]. Итальянец-гравер, проживавший в это время в Москве, рассказывает, что идя по Басманной к Ильинским воротам, «увидал, как из дома князя Куракина вышел управляющий с четырьмя лакеями, которые палками гнали перед собою пьяного человека в белом армяке. Он держал в руке шапку полицейского и радостно кричал: «Как хорошо горит!» Люди князя Куракина объяснили, что он только что поджёг дом, и они ведут его к французам, которых и встретили у горевшего дома князя Трубецкого. Французские солдаты немедленно его расстреляли»[52].

Молодой 16-летний мальчик из духовного семейства рассказывал: «Между нашими, т.е. оставшимися в Москве Русскими, распространился слух, что полицейские, переодетые в зипуны, ходят по улицам и поджигают». «Страшно было,— рассказывает остававшаяся в Москве в то время молодая девушка из купеческого семейства: — наши жгли Москву». «Как начались пожары,— говорит крепостной человек г. Соймонова, оставшийся в доме своего помещика,— такой страх нас пробрал! Говорили, что свои жгут Москву, чтобы Бонапарта из неё выгнать. Правда или нет, того я не знаю; но что наш дом подожгли, то это верно»[53].

После изложенных свидетельств возможен ли вопрос о том, кто сжёг Москву? Тот, кто имел на это право, тот, кто жёг, начиная с Смоленска, все свои города, сёла и деревни и даже поспевавший в поле хлеб, лишь только проходили русские войска и приближался неприятель, — Русский народ в лице всех сословий и состояний, не исключая и лиц, облечённых правительственною властью, в числе которых был и граф Ростопчин. «Москва, из своего пепла восставшая, — говорит один из боевых деятелей 1812 года, — прекрасная, богатая, новою вечною славою великой жертвы озарённая, конечно, всегда будет помнить вместе с целой Россией свои дни скорби и запустения, но помнить с тем, чтобы гордиться ими: ибо пожар её, над головой вторгнувшегося в неё врага зажжённый, если был делом *немногих*, то был мыслью *всех*. И с нею вместе обращались в прах и все надежды завоевателя на мир и на победу»[54].

Выпровожденные на барке из Москвы Ростопчиным французы мирно плыли во время пожаров Московских уже по Оке и находились недалеко от Касимова. Несколько дней сряду их поражало огромное зарево. Им не приходило на мысль, что означает это необыкновенное явление; но оно было в той стороне, где по их предположению должны находиться воюющие армии, и забота об оставленных в Москве семействах возбуждала их любопытство узнать его значение. Они часто причаливали к берегу для прогулок и для приобретения припасов продовольствия. При первом причале, они увидали мужика, который шёл по направлению к ним и громко пел песню. «Мы поспешили, — говорит один из этих невольных плавателей, — распросить его, что значило это огненное небо, на которое мы с беспокойством смотрели несколько дней сряду. «Это зарево, отвечал он им с насмешливым добродушием, указывая пальцем на Север; это зарево показывает уважение русских к вашему Наполеону и Французским войскам, которые хотят зимовать в Москве; теперь становится уже холодно, и вот они затопили дома»»[55].

«Простой мужик так говорил, — восклицает Француз. — Какой предмет для размышлений!»



Глава 5

Усилия Наполеона прекратить грабёж. – Французы не знают, где русская армия. – Опасения Наполеона. – Управление городом. – Д'Оррер. – Скудость продовольствия. – Г. Н. Кольчугин. – Разнузданность французских солдат. – Смотры войск в Кремле. – Маршал Виктор. – Сен-Сир и Макдональд. – План отступления. – Поляки – шпионы Наполеона. – Театральные представления. – Времяпровождение Наполеона. – Суждения его о Петре Великом. – Безвыходное положение Наполеона. – Богослужение в Московских церквях.

Если император Наполеон считал нужным расстреливать и вешать поджигателей, то тем более его заботы должны были обратиться на то, чтобы водворить порядок в войсках, совершенно разрушенный дозволенным грабежом и безнаказанными истязаниями и убийствами мирных жителей Москвы. Одного переезда от Петровского парка до Кремля достаточно было для его зоркого взгляда, чтобы заметить, что дисциплина в его войсках совершено расстроилась. Солдаты разных корпусов дрались между собою из-за добычи, обворовывали друг друга, не повиновались начальникам, видя, что многие из офицеров так же грабят, как и они, а генералы переезжают из одного дома в другой с тем, чтобы в новом помещении овладеть новою добычею[1]. Свидетельства, конечно, робкие, окружавших Наполеона лиц, если только он обращался к ним, должны были подтвердить верность этого взгляда. Он не мог не заметить, что грабившие Москву солдаты его армии были большею частью пьяны: находя значительное количество вин в погребах, они тут же распивали их. Такое состояние усиливало как беспорядочность, так и жестокость грабежа. Поэтому, приехав в Кремль, Наполеон немедленно приказал генерал-интенданту Великой армии графу Дюма собрать всё оставшееся вино в Москве и поместить в особых магазинах: хлебное для правильной раздачи войскам, виноградное для употребления в госпиталях. Но мог ли быть исполнен этот приказ в разгар грабежа? На другой же день маршал Бертье доносил императору (19 сентября): «Граф

Дюма мне сообщил, что Ваше Величество приказали ему собрать всё вино, которое ещё можно найти в погребах сгоревших домов в городе; но для того чтобы распоряжения, которые по этому поводу будут сделаны, достигли цели, необходимо предписать герцогу Тревизскому, чтобы он распорядился прекращением грабежа с завтрашнего же дня. Испрашиваю ваших приказаний»[2]. Вероятно, Наполеон дал согласие на предложение Бертье, который в тот же день подписал маршалу Даву: «Император приказывает, чтобы с завтрашнего дня грабёж был прекращён в Москве. Поэтому вы устроите нужное число патрулей из пехоты и кавалерии, которые бы развели солдат к их корпусам и чтобы никто не смел отыскивать добычи ни в погребах, ни в домах. Вы примете меры, чтобы они не оставляли мест своего квартирования, и в полдень, или в три часа, или когда найдёте удобнее, вы сделаете перекличку и доставите мне ведомости, чтобы Его Величество знал число воинов, которыми он может располагать. Это чрезвычайно важно».

Наполеон вынужден был, однако же, несколько раз повторять это приказание. На другой же день начальник его Главного штаба опять писал маршалу Даву: «Император с неудовольствием усматривает, что несмотря на приказ, отданный вчера о прекращении грабежа, грабёж производился сегодня точно в таких же размерах, как и прежде. Я считаю нужным повторить, что вы должны заставить уважать приказания императора, удерживать солдат в их помещениях, поручить офицерам, чтобы они наблюдали над ними и, наконец, восстановить дисциплину и надлежащий порядок»*. На следующий день Бертье пишет: «Император не только желает, чтобы грабёж был прекращён в Москве, но чтобы не наряжали и партиями солдат для собирания жизненных припасов или других предметов. В городе находится ещё очень много солдат, посланных с такими поручениями. Его Величество запрещает подобные наряды. Поэтому выдайте приказ по вашему корпусу, чтобы никто по такому поводу не являлся в город». Во исполнение таких предписаний, от каждого батальона наряжались патрули из 15 человек, с офицерами, которые обязаны были прекращать беспорядки и забирать солдат, отлучившихся от полков. Мародёры из гвардии являлись даже в Кремль с награбленною добы-

* Moscou le 20 Sept. 1812: L'empereur voie avec peine que malgré l'ordre donné hier d'arrêter le pillage on s'y est encore livré aujourd'hui, au moins autant qu'auparavant; je ne puis que vous rappeler que vous devez faire respecter les ordres de l'empereur, tenir les soldats dans leurs casernes, les faire surveiller par leurs officiers et rétablir enfin la discipline et le bon ordre.

чею. 17 (29) сентября был выдан новый приказ за подписью маршала Бертье: «Несмотря на предписания о прекращении грабежа, он всё-таки продолжается в некоторых частях города; поэтому предписывается г. г. маршалам и корпусным начальникам удерживать солдат в границах, назначенных для них мест пребывания. Строго воспрещается давать позволение офицеру или солдату, одному или нескольким, ходить по городу для отыскания муки, кожи или иных предметов».

Слово всевластного Наполеона сделалось бессильно: до таких размеров дошло расстройство его Великой армии. Из этого же приказа можно заметить, что начальники его войск оправдывались перед ним тем, что солдаты нуждались в хлебе и обуви, что необходимость вынуждала их к отысканию средств для существования. В первые дни грабежа солдаты, утоляя лишь дневной голод и жажду, накидывались преимущественно на предметы ценные, и какой-нибудь корпус, награбив множество золотых и серебряных вещей, дорогих мехов и материй, через несколько дней не имел пищи. В первое время они не ели ни икры, ни солёной и копчёной рыбы, ни солёных огурцов и кислой капусты, не пили простого хлебного вина, достаточно упиваясь виноградными винами. Вышеназванною пищею поддерживали своё существование несчастные русские обыватели Москвы[3]. Впоследствии, по мере истощения продовольствия, неприятели сделались менее разборчивы; но когда состоялся приказ, о котором идёт речь, они ещё не дошли до такого состояния, хотя многие уже нуждались в пропитании. Чтобы помочь этому, думали заменить беспорядочный грабёж правильною раздачею необходимых для солдат вещей и продовольствия из магазинов. «Так как беспорядок господствует в городе, то ни один купец не торгует законным образом, и лишь маркитанты и солдаты позволяют себе торговать награбленными вещами, что только поддерживает беспорядок. Император приказал главному интендантскому управлению собрать в магазины всё, что оставлено в городе жителями, которые бежали, бросив своё имущество. Он намерен воспользоваться имуществом для правильных раздач войскам». Войскам роздано было на пятнадцать дней водки; виноградное вино предназначалось для госпиталей, и запрещалось отыскивать продовольствия и грабить. «Прекращение грабежа и водворение порядка могли возвратить изобилие в эту столицу», — писал Наполеон. Губернатору города Москвы, герцогу Тревизскому, предписывалось отдать приказ, чтобы караулы на заставах и разные посты и патрули в городе забирали тех, которые будут продолжать грабить и чтобы все маршалы приняли меры для защиты крестьян, «которые будут везти припасы и фураж в Москву».

Чтобы придать действительное значение всем этим мерам, приказ князя Невшательского оканчивался следующею угрозою: «Солдаты, которые будут пойманы и уличены в грабеже, с завтрашнего дня, т.е. с 18 (30) сентября, будут предаваемы военному суду и судимы по всей строгости законов»[4].

Может быть, эти строгие предписания, угроза судом, которая нередко и приводилась в исполнение, уменьшили грабёж; но вероятнее, что первоначальная беспощадная ярость грабежа затихла от того, что солдатам ничего не оставалось грабить. «Приказано было прекратить грабёж, — говорит офицер Наполеоновой армии, — но он продолжался во всё пребывание Французских войск в Москве. Офицеры смотрели на это сквозь пальцы, и только немногие из них умели остановить его в некоторых частях города»[5].

Среди этих забот привести в порядок войска, забот, поглощавших всё внимание Наполеона, случилось происшествие, которое смутило его и сильно взволновало всех его окружавших. С 3-го сентября авангард французской армии, под предводительством Себастьяни, шёл по пятам за удалявшимся войском Кутузова, по Рязанской дороге. Русские постоянно уступали ему местности. Перейдя Москву-реку, достигнув г. Бронницы, 8 сентября, французы заметили, наконец, что уже несколько дней перед ними находились только незначительные отряды казаков, которые в этот день внезапно скрылись. Немедленно, 10 сентября утром, был отправлен офицер с донесениями к маршалу Бертье. В тот же день посланный приехал в Москву, не встретив никаких препятствий на пути и впущен был в Кремль, где Наполеон делал смотр гвардии. Бертье стоял возле императора, и офицер должен был передать письмо Монтиону. «Между тем, — рассказывает этот офицер, — меня со всех сторон осыпали вопросами, где находятся войска, тот или другой корпус. Когда я объяснил, в каком положении дела по Рязанской дороге, что я ничего не знаю о других корпусах и что мы слышали только отдалённую пушечную пальбу с правого фланга, все выразили удивление, потому что многие предполагали, что армия идёт к реке Оке, преследуя русских. Удивление возросло, когда я сказал, что мы видели перед собою лишь несколько казачьих полков». Между тем к новоприезжему подошёл Монтион и спросил, где он оставил войска и что они делают. Получив в ответ, что авангард находится у Бронниц и вчерашний день прошёл в бездействии, Монтион спросил, знает ли он, какие неприятельские войска находятся перед ними? — «Мы никого не видали, кроме нескольких казаков и вооружённых крестьян», — отвечал офицер. «Не полагаете ли вы, что эти вооружённые крестьяне предвещают полное народное восстание?»

«Я не мог отвечать удовлетворительно на этот вопрос,— рассказывает офицер,— но присовокупил, что они гораздо смелее испанских гверильясов, хотя и хуже их вооружены». Узнав, что они не терпят нужды в провианте и фураже, Монтион заключил разговор словами: «Скажите вашему генералу, что депеши, которые вы привезли, представлены императору»[6].

Вслед за этим известием, в тот же день пришло другое, о действиях генерал-майора Дорохова на Можайской дороге. Ранним утром 10 сентября, один из его отрядов в селе Перхушкове напал на неприятельский обоз, ехавший в Москву под значительным прикрытием и ночевавший в этом селе. Перед рассветом отряд ударил на деревню, взял в плен двух капитанов, 5 офицеров и 92 человек нижних чинов и когда некоторые из них разбежались по избам и сараям, он зажёг сие последние и поднял на воздух 36 фур с артиллерийскими снарядами. В то же время другой отряд напал на арьергард, прикрывавший парк, который направлялся в Москву, истребил его и взял в плен 6 офицеров и 97 рядовых, сжёг также более 20 фур с снарядами. Тогда же получены известия об успешных действиях русских отрядов из корпуса Винцингероде по Тверской дороге против французских фуражиров[7].

«Мы потеряли след русских войск»,— говорил Наполеон генералу Себастьяни, раздражаясь и осыпая его упрёками[8]. Мюрату, находившемуся в Москве, немедленно поручено отправиться к авангарду. Предполагая, что частые переговоры на аванпостах с русскими послужили поводом к тому, что Себастьяни был обманут, Наполеон велел маршалу Бертье написать к нему, что под страхом смертной казни запрещается входить в переговоры с русским аванпостами. «Его Величеству угодно,— писал Бертье,— чтобы сносились с неприятелем только ружейными и пушечными выстрелами»[9]. Вслед за выездом Мюрата, Наполеон приказал князю Понятовскому с поляками идти на Тульскую дорогу к Подольску, а маршалу Бессьеру, герцогу Истрийскому, с наблюдательным корпусом, который немедленно был составлен из частей разных корпусов, на Калужскую дорогу к Десне. При общем расстройстве войск вследствие грабежа, Наполеон употребил всё годное для боевой службы, чтобы разослать их по разным направлениям для узнания, где именно находится русская армия. Беспрерывно он диктовал самые настоятельные предписания Мюрату, Бессьеру, Понятовскому; по нескольку раз в день приходилось маршалу Бертье писать к ним[10]. Тревога Наполеона усиливалась опасениями его маршалов и в свой черёд усиливала то мрачное настроение духа, в котором они находились после сожжения Москвы. «Им всё казалось,

и особенно со стороны Можайска, что Кутузов перерезал сообщения французской армии», — говорит один из секретарей Наполеона[11]. На другой же день по отъезде из Москвы, Мюрат прислал императору полученное от Себастьяни донесение, в котором тот настаивал, что русская армия отступает к Рязани и вместе с тем просил составить сильный авангард под его начальством и двинуться немедленно против русских; но Мюрат не разделял этой мысли и предполагал, что князь Кутузов отступил на Тульскую дорогу для прикрытия этого города. Наполеон находился в недоумении. В тот же день, ночью с 23 на 24 н. ст., он писал Неаполитанскому королю: «Единственная цель, к которой вы должны стремиться, заключается в том, чтобы напасть на следы неприятеля. Меня уверяют, что Кутузов через Серпухов идёт на Калугу. Обратитесь в эту сторону».

Но более всего смущали Наполеона действия наших отрядов на Можайской дороге. Он не мог решить, случайные это набеги небольших отрядов и преимущественно казаков, или русская армия идёт наперерез его сообщений и вызывает его на бой в то время, когда он не может противопоставить ей своих войск, совершенно расстроенных и обременённых награбленною добычею, когда он ещё не привёл их в надлежащий порядок и не восстановил хотя бы до некоторой степени дисциплины. Он ожидал разъяснений от маршала Бессьера, посланного им на Калужскую дорогу. Но первое донесение Бессьера не было успокоительно. Не доходя до Десны, он сообщал собранные им сведения о русских войсках и замечал, что «ничего нет удивительного, если старый русский генерал, ускользнув от Неаполитанского короля, идёт со всею армиею наперерез наших сообщений с Смоленском». Наполеон приказал написать ответ, что вся его армия готова выступить в поход и что он решился отбросить русских за Оку, что он ожидает только известий от Бессьера и Мюрата, которые укажут, куда направить движение войск, на Коломну или на Тулу. «Сообщите нам сведения, как можно скорее», — прибавляет Бертье, встревоженный постоянно приходившими известиями об успешных действиях наших отрядов на Можайской дороге. «Император с нетерпением ожидает от вас известий», — писал он в то же время Неаполитанскому королю. Слух о поражении отряда гвардейских драгунов майора Мардота, перехваченная французская почта и два курьера с депешами, распространили тревогу по всей Можайской дороге, покрытой обозами и отсталыми. Наполеон немедленно отправил туда майора Летора с отрядом гвардейских драгунов и вслед за ним всю остальную дивизию генерала Сен-Сюльписа, предписывая маршалу Бессьеру скорее занять Десну, что, по его предположению, должно было удалить

русские отряды с этой дороги. В тот же день он поручил приказать генералу Бараге-д'Ильеру в Смоленске и генералу Жюно в Можайске, чтобы конница и артиллерия, сопровождающие обозы, шли вместе, не разделяясь ни под какими предлогами, чтоб при остановках составляли каре вокруг обоза, чтобы начальник конвоя находился в средине и чтобы каждый конвой был под ведением штаб-офицера и состоял из полутора тысячи строевых чинов, пехоты и конницы.

Неизвестность о движениях князя Кутузова продолжалась в Главной квартире Великой армии до 14 сентября ст. ст. В ночь под этот день получено было известие от Мюрата, что он дошёл до Подольска, что Десна очищена русскими и армия Кутузова не находится у Красной Пахры. Затем пришли известия об отступлении его арьергарда. На требование Неаполитанского короля о подкреплении находившегося под его начальством авангарда маршал Бертье отвечал: «Император дал повеление армии быть готовою к выступлению в эту ночь (на 28 сент. н. ст.). Впрочем (прибавлял он) известия от маршала Бессьера ожидаются сегодня вечером, и тогда император решит, нужно ли двинуть армию»[12].

Усилив авангард, выдвинув на путь своих сообщений сводный корпус Бессьера, едва ли мог Наполеон, при том расстройстве, в котором находились его войска, думать о том, чтобы начать наступательные действия и вызвать князя Кутузова на новый бой, как этого желал Неаполитанский король. Для того нужно было: во-первых, обеспечить путь своих сообщений с Можайском и Смоленском и, во-вторых, убедиться в том, не решится ли князь Кутузов на действия наступательные. В последнем случае, конечно, он должен был принять вызов и дать сражение. Но когда он убедился, что русские войска отступили к Тарутину и укрепляют позицию, приготовляясь только отражать нападения, что отряд Дорохова отступил с Можайской дороги, что его сообщения свободны и охраняются корпусом Бессьера, расположенным у Горок, то цель его была достигнута. Он писал о своём намерении выступить со всею армиею для того, чтобы придать бодрости духа своим маршалам и, распустив слух об этом намерении, принудить русские войска к дальнейшему отступлению. В то же время, когда он выражал эту мысль, обещая даже отбросить русских за Оку, он поручал написать Бессьеру: «Если неприятель остановится у Пахры, то император намерен выступить против него и дать сражение; но, вероятно, он не будет этого дожидаться, и вся цель его состоит лишь в том, чтобы убедиться, вся ли наша армия находится перед ним. Император желает избавить войска от новых трудов и потому не двигать своей армии против неприятеля. Уверьте всех, что его

величество со всею армиею идёт за вами»[13]. Наполеон поручал также Бертье распространить слух, что ему чрезвычайно было бы приятно, если б русская армия двинулась к Можайску и таким движением поставила бы себя между двух его армий. В сущности же ему было приятно то, что он мог оставаться в Москве и употреблять меры к приведению в порядок войск, которые, конечно, в продолжении 25 дней пребывания, могли бы отдохнуть, если б грабёж не расстраивал их совершенно.

В избытке удовольствия Наполеон в этом же письме счёл возможным похвалить действия русского главнокомандующего. Вероятно Бессьер писал ему, что после Бородинской битвы князю Кутузову советовали отступить к Калуге. Отвечая на это, Наполеон говорил: «Движение на Калугу было бы явным приглашением французской армии идти на Москву. Кутузов поступил так, как и следовало ему поступить, отступив к Москве. Эта мера была до такой степени хороша, что если бы начальник артиллерии генерал Ларибуасьер показал в своей ведомости на 25 т. пушечных выстрелов менее разрядов, то император должен бы был остановиться (хотя поле для битвы представлялось чрезвычайно выгодным), потому что нельзя было бы взять редутов без артиллерии, снабженной большим количеством зарядов».

Успокоившись от тревоги, причинённой неизвестностью, где находится русская армия и опасением, чтобы она не вызвала его на новое сражение, Наполеон принял меры для водворения порядка в Москве. Маршал Мортье, назначенный губернатором Москвы, принялся деятельно за отправление своей новой должности. Устроено было полицейское управление, подчинённое ему. Лессепс, бывший долго консулом в Петербурге и вызванный во Францию в 1811 году, был назначен начальником муниципального управления, составленного из Московских жителей, русских и иностранцев. 19 сентября (1 октября н. ст.) он обнародовал во всеобщее сведение, в печатных листах, следующее *провозглашение*, на французском и русском языках (proclamation).

«Жители Москвы! Ваши несчастья велики, но Его Величество император и король желает прекратить их. Ужасные примеры вам показали, как он наказывает неповиновение и преступления. Приняты строгие меры для прекращения беспорядков и восстановления общей безопасности. Отеческое управление, составленное из вас самих, будет вашею городскою управою (municipalité). Оно будет заботиться о вас, о ваших нуждах, о вашей пользе. Её члены будут отличаться красною лентою, надетою через плечо, а городской голова

сверх того будет носить белый пояс. Но вне отправлений своей службы они будут носить перевязь на левой руке из красной ленты. Городская полиция возобновлена в её прежнем виде, и её деятельностью введён уже лучший порядок. Правительство избрало и назначило двух главных комиссаров или полицеймейстеров и 20 частных комиссаров или приставов в прежних частях города. Вы их будете узнавать по перевязи из белой ленты на левой руке. Многие церкви различных исповеданий открыты и в них беспрепятственно производится богослужение. Ваши сограждане ежедневно возвращаются в свои жилища, и отданы приказания, чтобы им, в несчастном их положении, оказывали должную помощь и покровительство.

Такие меры приняты правительством для того, чтобы восстановить порядок и облегчить ваше положение. Но чтобы достигнуть этого, необходимо, чтобы и вы приложили к тому свои старания, чтобы забыли, по возможности, те несчастья, которые вы претерпели, наполнили бы ваши души надеждою на участь менее суровую, чтобы вы были уверены, что неизбежная и позорная смерть ожидает тех, которые бы осмелились покуситься на вас лично или на ваши имущества и не сомневались, наконец, в том, что они будут сохранены, потому что такова воля величайшего и справедливейшего из всех монархов.

Солдаты и обыватели, какой бы народности вы ни были! Восстановите общественное доверие (la confiance publique), источник благоденствия государств; живите как братья, подавайте взаимно друг другу помощь и покровительство, соединитесь вместе, чтобы не дать ходу намерениям злых людей; повинуйтесь гражданским и военным властям, и в скором времени перестанут литься ваши слёзы».

Это воззвание, подписанное «интендантом города и Московской провинции» Лессепсом, распространённое по городу во множестве печатных листов, должно было внушить некоторую надежду несчастливым обывателям Москвы. Но суждено ли было осуществиться такой надежде?

«Когда задумали учредить полицию и городское управление,— говорит один из очевидцев-французов,— то первую нетрудно было устроить, потому что не были строги в выборе и потому что те, которые принимали полицейские должности, надеялись защитить себя от грабежа и приобрести насущный хлеб. На это решились только те, которые не имели никаких других средств для существования. Но трудно было устроить городское управление, потому что все, кому предлагали в нём участие, постоянно отказывались. Настойчивые уверения, что их обязанности будут заключаться только в том, чтобы

заботиться о поддержании порядка в городе и опасение, что решительным отказом навлечёшь на себя новые бедствия, заставили некоторых, особенно из купцов, принять эти должности»[14]. Рассказы современников, вынужденных принять участие в этом городском управлении, объясняют, как оно составлялось. Один из них говорит, что в их дом пришёл французский офицер и потребовал одного из членов купеческого семейства к интенданту Лессепсу. Всё семейство пришло в ужас; но когда позванный купец явился к Лессепсу, он объявил ему, что он избран в муниципальное управление, где и должен занять своё место. «Я, выслушав приказание, — пишет Московский обыватель в своих воспоминаниях, — просил его об увольнении, представляя ему, что имею престарелых родителей, жену и восемь человек детей и что часть нашего дома сгорела, и он весь разграблен. Лессепс сказал, что он уволить меня не может, потому что я выбран не им, а самими русскими. Я настоятельно повторил мою просьбу; он долго слушал и, наконец, рассердившись, сказал: «Что же вы со мною разговариваете? Разве хотите, чтобы я о вас, как об упрямце, донёс моему императору Наполеону, который, в пример другим, прикажет вас расстрелять?»» Принудительное средство достаточно сильное, и привести его в исполнение в то время ничего не стоило Лессепсу: в своей прокламации он прямо заявляет, что император предаёт позорной казни не только зажигателей, но и *ослушников* его воли. После этого, говорит рассказчик, «я уже не нашёлся и не осмелился сказать ни слова. Лессепс, походя по комнате, приказал мне идти за собою и ввёл в одну из комнат, где уже голова заседал с своими товарищами. Им сказал, чтобы показали место и приказали мне его занять, что я и принуждён был исполнить»[15]. Головою был назначен купец Находкин. Его также вызывали к Лессепсу, который объявил ему, что он назначается городским головою. Находкин отвечал: «Ваше превосходительство! Как честный человек, я должен прежде всего объявить вам, что никогда я ничего не сделаю против моей веры и моего Государя». Лессепс, несколько удивлённый решительностью Находкина, отвечал: «Вражда императора Наполеона с императором Александром до вас не касается; ваши обязанности будут состоять лишь в том, чтобы наблюдать за благоденствием города». О самом Находкине и его деятельности сохранили добрые воспоминания Московские обыватели того времени, как русские, так и иностранцы. В товарищи ему были назначены именитый гражданин Фёдор Фракман, купец Пётр Коробов и надворный советник Бестужев-Рюмин[16]. Сей последний, после встречи с Наполеоном, находился под охраною офицера французских войск, в доме князя Одоевского у Петровско-

го монастыря, когда, по приказанию императора, его потребовали к коменданту города графу Мило, который с запискою от себя отправил его к маршалу Мортье. «Я не могу довольно похвалиться,— говорит Бестужев-Рюмин,— приветливостью и ласкою этого маршала». Он спросил Бестужева, тот ли он самый, которому было поручено хранить архивы в Кремле. Получив утвердительный ответ, Мортье изъявил сожаление к его несчастному положению, предлагая ему одежду и денег (которых тот не принял), сказал ему об учреждении городского управления в Москве и объявил волю императора, чтобы он принял звание товарища головы. «На первый раз,— говорит Бестужев-Рюмин,— я сделал было отрицание моё от участия в нём; но маршал говорил, что это управление учреждается не в пользу французов, а, напротив, считают такое учреждение единственным средством защитить несчастных моих соотечественников от грабежа, насилий и обид; следовательно, и отклонение от участия в исполнении этого намерения, с моей стороны, несправедливо». К тому же маршал прибавил, что он не решится донести императору об его отказе. Он показал ему наставление, данное этому управлению. Прочитав его, Бестужев согласился принять возлагаемые на него обязанности, потому что не нашёл в нём ничего противного совести и сопряжённого с нарушением присяги[17].

Не одни русские уклонялись от принятия должностей в городском управлении, но и некоторые из иностранцев, особенно эмигранты, старались не принимать в нём участия. Один из таких эмигрантов, бывший в русской службе, отставной поручик Д'Оррер находился с семейством в Москве. Ограбленный, как и все другие москвичи, он нашёл приют и защиту в доме, в котором поселился генерал Ван Дедем, голландец. Д'Оррер несколько сблизился с ним. После нескольких дней пребывания в этом доме, генерал, беседуя с ним наедине, спросил: «Виделись ли вы с Лористоном, Лессепсом или маршалом Мортье?» На отрицательный ответ Д'Оррера, генерал заметил, что таким образом действий он сделает себя подозрительным. «Я принял Русское подданство, присягал Русскому императору, а потому не могу считать себя Французом». «Это внушит ещё сильнейшее подозрение,— сказал генерал и вручил Д'Орреру письмо, говоря: — Доставьте его лично завтра в 10 часов графу Дарю. Если не исполните этого поручения, то пеняйте сами на себя». На другой день Д'Оррер отправился. Дарю принял его очень ласково и после нескольких любезных выражений спросил: какими способами возможно бы приобретать продовольствие для войск? — «Не могу указать ни на какие способы,— отвечал Д'Оррер,— потому что Французские войска продолжают гра-

бить окрестности столицы за своими аванпостами; из-за Русских же аванпостов очевидно не могут проходить продовольственные запасы в Москву, потому что они их не пропустят». «Вы не хотите сказать правду, — с неудовольствием заметил Дарю , — вы жили долго в России, вы знаете Русский язык, вы имеете чин и орден: вам легко бы оказать нам услугу. Вы будете потом раскаиваться, что отказываетесь это сделать, потому что нам очень хорошо известно, что всё ваше семейство принадлежит к эмигрантам, а я полагаю, что вам известны Французские законы против них. Подите и подумайте» [18].

Приходилось прибегать к угрозам. Умели, однако же, без особенных затруднений, устроить полицейское управление, которое всё состояло из иностранцев, обывателей Москвы. Из них многие охотно принимали эти должности, чтобы избавиться от грабежа и приобрести насущный хлеб, а некоторые, конечно, французы, из увлечения славою великого полководца.

Военные начальники, сдерживавшие солдат в местах, назначенных им для пребывания и посылавшие постоянно патрули по городу, вместе с вновь учреждённою полициею, должны были заботиться о прекращении грабежа. Обязанности городского управления состояли в том, чтобы заботиться о пользах и нуждах несчастных русских обывателей, как говорил Лессепс в своём объявлении. Но могло ли оно исполнить возложенные на него обязанности? После принятых Наполеоном мер, повальный, беспощадный грабёж действительно прекратился, особенно в некоторых местностях, где начальники войск принимали строгие меры; но вообще грабёж не прекращался, как свидетельствуют сами французы и установленные ими полицейские чиновники. Спустя десять дней после первого приказа, запрещавшего грабить и многих повторений этого запрещения, маршал Бертье писал, 30 сентября н. ст., князю Экмюльскому: «Садясь на лошадь, чтобы сопровождать императора, я увидал солдат, которые грабили и, подъехав к ним, заметил в их числе одного с капитанскими эполетами. Я велел привести его ко мне, и по допросу оказалось, что он вовсе не офицер, но переводчик генерала Морана (Morand), и что этот генерал приказал ему носить эполеты. Я велел ему снять их и спрятать в карман, а самого отправляю к вам, чтобы вы подвергли его наказанию, какое сами признаете справедливым. Вы знаете, маршал, до какой степени заботится император о восстановлении порядка». В тот же день вышло новое повеление из Главной квартиры, чтобы приказ о запрещении грабежа читался в продолжении многих дней перед ротами различных корпусов. Свидетельства начальника Главного штаба Великой армии подтверждаются донесениями маршалу Мортье

полицейских чиновников. «Часть моего округа, — доносил 2 октября н. ст. своему начальству один из них, по имени Лаланс, — находящуюся за Яузою, постоянно грабят солдаты 3-го корпуса (маршала Нея), которые не только отнимают у несчастных, укрывающихся в подвалах, всё ничтожное имущество, которое у них осталось, но имеют жестокость наносить им раны саблями, как это я видал несколько раз. Раненые, которые помещены в госпитале Воспитательного Дома, выходят оттуда отнимать у Русских набранную ими капусту и картофель». «Обходя мой округ, Якиманскую часть, — доносил другой, 5 октября н. ст., — около полудни, я вошёл в дом купца Николая Филатова Глетчева и нашёл в нём трёх солдат гусарского полка, которые грабили. Будучи один, а стража далеко, я не мог ничего сделать; но отнял у них добычу и возвратил этому купцу. В это же время ещё четыре солдата, и между ними один гвардейский гренадёр, с саблями наголо, вошли в дом дьякона церкви Успения в Казачьем и силою отняли у него и его семейства, состоящего из 14-ти человек, последние два хлеба». «Отставного Русского сержанта обокрал третьего дня вечером фурьер 10 роты гвардейской кавалерии и взял четверть овса, 4 рубашки и две пары чулок». «Русский сержант знает местопребывание Французского солдата», — писал 9 октября н. ст. пристав Пресненской части Мишель Марк. Пристав Басманной части, Юбер Дроз, извещал, от того же числа, что в его округе «ничего нет нового, исключая того, что солдаты воруют и грабят» и через несколько дней: «воровство и грабёж продолжаются. Составилась целая шайка грабителей в нашем округе, которую можно разогнать только значительною силою». Такие донесения подавали французские полицейские приставы в последних числах сентября месяца.

Между тем Наполеон в то же время говорил окружавшим его лицам: «Мы стараемся водворить порядок в столице». Этим стараниям препятствовали другие меры, им же самим принимаемые. Расстройство его армии было таково, что скоро прекратить его не представлялось возможности. Солдаты не слушались начальников. Начальники не всегда решались прибегать к строгим мерам, видя, что солдаты действительно нуждаются в средствах пропитания и одежде. Даже после первых дней всеобщего грабежа, некоторые части войск не имели пропитания, хотя у них было много драгоценных вещей, дорогих материй, сахару и чаю[19]. Неправильное распределение добычи в первые дни после грабежа, и потом постоянное уменьшение средств пропитания, должны были поддерживать грабежи, а вместе и расстройство Наполеоновой армии. Если бы он привёл в исполнение ту меру, которую намеревался предпринять, т.е. пра-

вильную выдачу войскам провианта, фуража и новое обмундирование, то, может быть, его строгие и много раз повторяемые приказы достигли бы цели. Но он едва мог обеспечить существование одной гвардии. Через два дня по возвращении его в Кремль, начальник его штаба Бертье, князь Невшательский, представлял ему, что дивизия Пино, одна только из войск Итальянского вице-короля, нуждается в продовольствии и просил дозволения выдать ей сто квинталов муки из запасного магазина Воспитательного Дома. На этом представлении Наполеон написал одно слово: *отказать* (refuser). Маршал Мортье обращался к нему с такими же требованиями и получал такой же отказ. «Мой брат! (mon cousin),— писал Наполеон к маршалу Бертье,— герцог Тревизский требует продовольствия для полицейских чиновников; он также требует его для детей Воспитательного Дома, ещё требует для Русских, находящихся в больницах, требует и для больных жителей, и так далее, и так далее. Все эти требования совершенно законны, и ни одно не может быть удовлетворено. Необходимо, чтобы Русское городовое управление образовало общество из Русских и отрядами посылало их по деревням забирать продовольствие, уплачивая за него деньги. Главный интендант будет давать деньги из тех сумм, которые я для этого предназначил. При городском управлении устроить склад, из которого это продовольствие и будет выдаваемо для исчисленных потребностей. Это общество (companie) может называться полицейским и, если это удастся, то впоследствии можно составить ещё три-четыре подобных общества. Обходя окрестности города, они устроят так, чтобы привозилось сюда за деньги всё необходимое для госпиталей. Вот единственный способ удовлетворить всем потребностям. Поговорите об этом с Лессепсом и чтобы, не теряя времени, приступили к исполнению»[20].

Почему же Наполеон не разрешал выдачу продовольствия из составленных по его предписанию генерал-интендантом магазинов? Во всеуслышание Европы он говорил: «Хотя пожар убавил средства для содержания войск; но, несмотря на то, их найдено уже и открывается очень много. Огонь не коснулся погребов... Войска отдыхают от усталости; они имеют в изобилии хлеб, картофель, капусту и другие овощи, свежую говядину, солёную провизию, вино, водку, сахар, кофе и вообще всякого рода продовольствие»[21]. Но так говорил он в бюллетенях Великой армии, а между тем, по ведомости, представленной ему графом Дюма, он очень хорошо знал, сколько именно удалось собрать в устроенные им склады оставшихся после пожаров предметов продовольствия и обмундирования. Ведомость показывает, какое относительно незначительное количество собрано

было хлеба в зерне, муки и фуража[22]. Это обстоятельство вынудило Наполеона запретить выдачу для своих войск, не только для несчастных Московских обывателей. Он заставлял даже голодать свой авангард, перед которым находилась вся Русская армия[23]. Приберегая эти запасы для будущих военных движений, он настаивал в письмах из Москвы к герцогу Бассано в Вильну, чтобы как можно скорее доставлены были амуниция и обувь, заготовленные в Данциге, о которых он предполагал, что они доставлены уже в Минск[24] .

В таком положении дел, конечно, ни вновь устроенная полиция, ни городское управление не могли принести особенной пользы жителям и удовлетворять их нужды. Русские члены городского управления, убедившись в этом, избегали отправления своей должности. На них были возложены разные поручения. Так, Кольчугину предписано было, с некоторыми из других членов, заботиться о восстановлении в церквах богослужения и иметь надзор за больными. По возвращении в первый раз из присутствия, говорит Кольчугин, «мы положили избегать заседаний, журналов не подписывать, а являться или перед присутствием, или после его окончания и давать о себе знать, что пошёл в такой-то приход или такую-то часть к больным или был там-то». Но возложенные обязанности могли служить предлогом; а «выполнить их было невозможно, потому что церкви были разграблены и осквернены, а больные нигде не были собраны вместе. За неделю, или около того, до выхода Французов, по требованию Лессепса, городское управление назначило меня в командировку, быть переводчиком при отряде, который намерены были отправить для закупки хлеба или фуражировки по окрестным селениям вокруг Москвы. Один из хорошо знакомых мне членов правления зашёл и предупредил меня. Прежде всего представился ужас: если этот отряд встретится с Русским, произойдёт сражение, а пули и картечи не разбирают, что Русский взят по воле или поневоле. За тем явилась мысль: участвовать в продовольствии неприятеля было бы против присяге Государю, против Отечества и совести». Кольчугин притворился больным и этим избавился от поручения. Иным удавалось, под разными предлогами, уклоняться от таких поручений; но другие вынуждены были повиноваться приказаниям неприятеля; поддались и некоторые крестьяне окрестных деревень. Подмосковные жители с. Останкина приехали в Москву на 30 подводах с овсом и мукою. У них всё было закуплено и заплачено за хлеб; их отпустили назад и поручали приехать опять. Но едва они выехали за город, как на них напали неприятельские солдаты, били, отняли лошадей, а крестьян возвратили в Москву и заставили работать. Такой образ действий,

конечно, не мог повадить крестьян привозить на продажу в Москву свои сельские произведения, если бы даже и нашлись охотники. Но охотников было немного. «Мы стояли у ворот дома,— рассказывает один из иностранцев,— вместе с полковником Домоном и двумя Французскими офицерами и увидали, что солдаты ведут к нам мужика. Он был бледен, слёзы катились из глаз, а в руках у него был печатный лист бумаги. Он хотел говорить с генералом; ему указали на полковника, которому он объяснил, что в их деревню были присланы печатные объявления на Русском языке, которыми крестьяне приглашались привозить всякие припасы в Москву с обещанием за всё платить исправно. Мы с братом, говорил бедняк, поверили, нагрузили три воза и поехали к Москве; но под самым городом на нас напали солдаты и ограбили. Брат хотел защищать воза, и его убили. При этом он показал объявление, обагрённое кровью его брата. Полковник обещал, разобрав дело, строго наказать солдат, если они были из его полка и дал ему денег; но не мог возвратить брата. Разумеется, слух об этом распространился по окрестным деревням, и никто не стал возить припасов в Москву»[25]. Если известие об Останкинских крестьянах и справедливо, то оно составляет исключительное явление[26]. Подражателей им не нашлось. «Французы,— говорит один из русских очевидцев-свидетелей,— прокламациею к нашим поселянам приглашали их привозить в Москву их произведения, обещая им свободную продажу и всякое покровительство и защиту. Лессепс приглашал желающих ехать в дальние деревни покупать хлеб на деньги, обещая им за эту услугу большие милости; но один из москвичей, вызвавшийся выполнить требуемое поручение, поехал с деньгами и, как уверяют, назад не возвратился; другой едва от крестьян унёс ноги; а из подмосковных крестьян никто с произведениями своими и глаз в Москву не показывал»[27]. Расплата фальшивыми русскими ассигнациями, которые немедленно были оценены по достоинству, также не могла привлечь продавцов[28].

В таком положении дел, конечно, ни французские войска не могли быть приведены в порядок, ни обеспечены существование и безопасность Московских жителей. Несмотря на ежедневные смотры войскам, которые делал сам Наполеон, несмотря на строгие предписания его начальника штаба, даже в самой гвардии не удавалось водворить порядок. Дневные приказы маршала Лефевра могут служить тому доказательством. «Император чрезвычайно недоволен,— писал он в одном из них,— что, невзирая на строгие приказания прекратить грабёж, только и видны отряды гвардейских мародёров, возвращающихся в Кремль»[29]. Но запрещения не действовали; спустя несколько

дней, в начале октября, тот же маршал писал в приказе: «В Старой гвардии беспорядки и грабёж возобновились сильнее, нежели когда-нибудь, вчера, в последнюю ночь и сегодня. С соболезнованием видит император, что отборные солдаты, предназначенные охранять его особу, которые должны подавать другим пример подчинённости, до такой степени не повинуются приказаниям, что разбивают погреба и магазины, приготовленные для армии. Они дошли до такой степени унижения, что не слушались часовых и караульных офицеров, бранили их и били[30]. Все офицеры, всяких чинов, проходя с войсками мимо императора, должны салютовать шпагою его величеству. Сегодня, на разводе, это не исполнялось. Герцог Данцигский, поставляя на вид офицерам такое неисполнение обязанностей, предписывает начальникам всех частей войск, чтобы они наблюдали за порядком службы»[31]. Если таково было положение гвардии, получавшей (хотя и неправильно) выдачи провизии, то другие войска, без сомнения, находились ещё в худшем положении. Фуражировки в окрестностях Москвы, уже опустошённых, мало доставляли способов пропитания и притом были опасны. Вооружённые крестьяне и казаки истребляли фуражиров, и немногие из них возвращались с добычею. Ближайшие окрестности были скоро истощены совершенно; приходилось отправлять отряды в более отдалённые местности, где встречали их казаки с вооружившимися крестьянами. Большая часть фуражиров погибали, а некоторые возвращались в Москву, не находя ни хлеба, ни фуража.

При ежедневных перекличках солдат, которые обязаны были делать офицеры, они замечали, как постоянно убывало число людей в их командах[32]. Лошади падали сотнями; едва-едва поддерживалась гвардейская конница; остальные почти все должны были спешиться. В таком же положении находилась и артиллерия. Наполеон употреблял все способы, чтобы исправить положение дел: требовал, чтобы прислали ему 14 тысяч лошадей из Вильны, закупив их в Литве, Варшаве, Эльбинге, Ганновере и Берлине, предписывал употреблять русских крестьянских лошадей для артиллерии; но первая мера не могла быть исполнена вовремя, крестьянских же лошадей можно было брать не иначе, как с бою. Хотя солдаты и многие из офицеров до последнего времени верили в мудрость и счастье своего предводителя, который может вывести их из всякого затруднительного положения[33]; но эта вера в лицах, более образованных, начинала разрушаться. Многие офицеры и даже генералы были до такой степени необразованны, по свидетельству современника-очевидца и француза, что о политических делах они рассуждали так же, как и солдаты. Они упрекали русских,

«зачем они сожгли такой прекрасный город. Мы бы нашли в нём хорошие зимние квартиры, говорили они; у нас у всех были деньги, мы бы их истратили, жители возвратили бы таким образом назад всё, что с них взято было бы в виде военной контрибуции, и все мы были бы счастливы». Но более просвещённые легко соглашались с иными взглядами на дело: они признавались, что в самолюбии Бонапарта причина всех зол. В откровенных разговорах они говорили о том, что «Франция совершенно разорена и что такой порядок дел не может долго продолжаться»[34]. Что же после этого могли говорить иностранцы, поневоле увлечённые Наполеоном в войну с Россиею? Один капитан Итальянской гвардии, познакомившись с русским семейством, которое было из духовного состояния и в котором можно было вести речь по-латыни, очень часто посещал его. Однажды он пришёл в особенно грустном настроении духа и после долгого молчания заговорил: «Я завидую вашей участи: хотя настоящее положение ваше бедственно, но постигшее вас несчастье вы переносите вместе и в своём отечестве; я много несчастнее вас, я разлучён с родными; удалён от отчизны, лишён лазуревого, Итальянского неба и, всегда благоухающей ароматами, природы. Лет десять служу я во Французской армии, находясь в беспрерывных походах по разным государствам, гоняюсь с мечём в руках за обманчивою тенью славы, которая завлекла меня, наконец, в ваш далёкий и страшный край Севера, где, может быть, непобедимую армию Наполеона ожидают великие бедствия, среди ваших глубоких снегов, метелей и морозов». Рассказы русского семейства о нашей зиме особенно поражали воображение итальянцев. «Вот, прошёл уже целый месяц, — продолжал капитан, — как мы находимся в Москве, в которой нам был обещан Французским императором славный и выгодный мир; но до сих пор ещё ничего не слышно. Русскую армию мы потеряли из вида и теперь не знаем, где она расположена. Она скрыла свои силы, не даёт сражений и не просит мира, которого с нетерпением ожидает вся наша армия и сам Наполеон, чтобы выйти из затруднительного положения. Провиант и все военные запасы у нас истощились; транспорты, по обширности России, доставляются медленно, а с некоторого времени и совершенно прекратились; в завоёванных нами местах всё сожжено и взять нечего. Голодная армия обносилась амуницией, солдаты ропщут, выходят из повиновения, разбегаются по деревням отыскивать пищу и там погибают от русских мужиков. Сверх того между нашими начальниками исчезло единодушие, начались раздоры, несогласия, разномыслия; все бросили общую пользу и каждый думает только о себе, отчего ослабла военная дисциплина и погас дух героизма, и никто ни о чём не заботится, все впали в какое-то уныние

и как одурелые ждут выгодного мира. По моим понятиям, Русский полководец расставил Наполеону сети, запутал его в них и хочет взять нас живьём. Увидим, как мы выпутаемся, но мне кажется, мы сидим в западне, окружённые со всех сторон Русскою армиею. Война, как счастье — непостоянна, изменчива; теперь вы наши пленники, через несколько времени мы, победители, может быть, будем пресмыкать у ног ваших и просить о милосердии».

Эти грустные рассуждения итальянца, как «животворная роса» подействовали на его русских слушателей, которые, находясь в Москве, конечно, ничего не знали о положении России и наших войск в это время. «По уходе капитана, узнав из слышанного, что Россия не токмо не ищет примирения с неприятелем, но может быть ещё ждёт удобного случая и времени, чтоб нанести ему решительное поражение; все мы начали молиться Богу и просить о даровании русскому воинству победы и одоления на врагов»[35].

Такое положение Великой армии, известное всем начальникам, начиная с офицеров и оканчивая маршалами, неужели оставалось неизвестным императору Наполеону? Очевидно, он не мог не знать о нём; но он не хотел признаться в этом окружавшим его лицам. Он как будто желал скрыть от них, что было им так хорошо известно, может быть потому, что желал скрыть от самого себя. «Вместо того, — говорит один из его офицеров, участник в походе, — чтоб лично обозреть корпуса своих войск и убедиться, в каком жалком они находятся положении, он сидел запершись в Кремле, делая только смотры гарнизонных войск и поручая полковникам строго наблюдать порядок»[36]. Ежедневные смотры, которые производил Наполеон в самом Кремле, конечно, если даже в них участвовала не одна гвардия, вообще находившаяся сравнительно с другими в большем порядке, но и армейские полки, не могли служить образцом того положения, в каком вообще находилось его войско. Для этих смотров выбирали лучших людей, одевали их и тщательно приготовляли. Наполеон охотно поддавался обману. На одном из таких смотров, он обратился к графу Нарбонну: «Ну, что скажете вы, любезный Нарбонн, о таких войсках, маневрирующих при такой хорошей погоде?» «Государь, — отвечал Нарбонн, — я скажу только, что войска отдохнули и могут предпринять движение на зимние квартиры в Литву и Польшу, оставив русским Москву в том виде, в какой они сами её привели». Наполеон ничего не сказал на это, потому, конечно, что более всего его раздражала мысль о необходимости отступления и потому что самый его вопрос был только ответом на представления окружавших его лиц о положении войск и о скором наступлении зимы[37].

Невозможность решиться на отступление, до такой степени не согласное с его гордостью, с успехами всей его боевой жизни, он оправдывал, не без основания, тем, какое впечатление это отступление произведёт на всю Европу и даже на самую Францию. Оно рассеет обаяние непобедимости, под которым находилась вся Европа и ослабит те узы, в которых он держал другие государства и особенно Пруссию и Австрию.

Между тем, он сознавал невозможность наступательных действий. Его неутомимая мысль озабочена была тем, чтобы придумать такой способ отступления, который бы казался в тоже время наступательным действием. С ужасом узнали маршалы, что императора вновь занимает мысль о походе на Петербург. Но это предположение, обдуманное, обработанное и изложенное письменно, явилось уже в совершенно ином виде, нежели прежде. Известия, получаемые Наполеоном о действиях князя Шварценберга и Ренье, Сен-Сира и Макдональда, имели влияние на новую постановку вопроса о движении на Петербург. Ещё в Можайске, через несколько дней после Бородинской битвы, Наполеон поручил Бертье написать приказ маршалу Виктору, чтобы он двинул свой корпус, находившийся ещё у Тильзита, к Смоленску. «Неприятель, поражённый в сердце, не будет заботиться об окраинах; он употребляет все способы, чтобы препятствовать нам занять Москву и намеревается также употребить все способы, чтобы как можно скорее нас оттуда выгнать»[38]. Повторяя те же самые слова, герцог Бассано, также по приказанию Наполеона, писал к князю Шварценбергу, что «император совершенно убеждён, что все отряды, которые находятся у Мозыря и Киева, двинутся к Москве и что, вероятно, последует за ними и вся армия Тормасова», которую и поручал ему преследовать[39]. Корпус Виктора должен был составить резерв Великой армии и быть наготове, по первому призыву, двинуться к Москве. Так, ещё до занятия Москвы, Наполеон заботился о подкреплениях для своей армии. Эти заботы, по мере его пребывания в Москве, конечно, не уменьшились; но в то же время и с окраин приходили такие известия, которые не могли не возбудить его внимания и не изменить первоначальных предположений.

По обыкновению, сражение при Городечне он провозгласил победою, будто одержанною саксонцами и австрийцами над армиею Тормасова, потому только, что удержав поле сражения и успешно отразив все нападения русский военачальник должен был отступить. Но Тормасов отступил на Кобрин для того, чтобы сосредоточить силы и обеспечить продовольствие войск в стране, где начались уже волнения поляков. Этим движением, сверх того, 3-я армия приближа-

лась к Дунайской. В конце августа (29) она перешла на правый берег реки Стыри; а 7 сентября начала подходить к ней Дунайская армия, в составе 35 тысяч с 204 орудиями. Обе армии, соединившись и превосходя числом неприятеля, перешли Стырь и начали наступательные действия. Соединённому Австрийскому и Саксонскому корпусу приходилось отступать. Князь Шварценберг давно предвидел этот случай, получа верные сведения о заключении нами мира с турками и о движении армии Чичагова на Волынь. Вместе с Ренье он уведомлял об этом маршала Бертье и герцога Бассано; но сначала они получали уверения, что эти слухи неверны, а потом что Дунайская армия, вероятно, двинется на подкрепление войскам Кутузова и, наконец, что она так незначительна по количеству, что во всяком случае нельзя опасаться большого перевеса сил со стороны русских[40].

В конце сентября Наполеон уже поручал начальнику своего штаба уведомить маршала Виктора, что он не даёт ему окончательного назначения потому, что это будет зависеть от движения Дунайской армии. «Если она двинется к Киеву, для подкрепления войск Кутузова,— писал Бертье,— то он, Виктор, получит приказание идти на соединение с Великою армиею, по дороге на Ельню и Калугу, или по иной. Если же, напротив, 20-тысячная Молдавская армия соединится с Тормасовым и увеличит его боевые силы до 40 тысяч, то наш правый фланг, находящийся под начальством Шварценберга, ещё будет в равных с нею силах, потому что у него около 40 тысяч Австрийцев, Поляков и Саксонцев. Впрочем, я писал к Австрийскому императору и просил его предписать корпусу Рейсса, находившемуся у Лемберга, сделать движение к Русским границам и в подкрепление Шварценбергу послать ещё 10 тысяч войск. Между тем император Александр усиливает гарнизон в Риге и корпус графа Витгенштейна с тою целью, чтобы заставить Сен-Сира отступить от Полоцка, а герцога Тарентского (Макдональда) от Риги и Динабурга. Шварценберг, в письмах от 24 сентября, желает доказать, что Молдавская армия, вместо того чтобы идти к Москве, соединилась с армиею Тормасова и усилила её. Надо ещё знать, что произойдёт, и потому я желаю, чтобы маршал Виктор расположил свой корпус между Смоленском и Оршею и находился в постоянных и правильных сношениях с герцогом Бассано с тем, чтобы он мог получать от него известия, которые приходят к нему с разных сторон и чтобы послать офицера, умного, сметливого и скромного, к Шварценбергу и Ренье, который бы узнал от первого о том, что происходит, а от Ренье о действительном положении дел. Маршал Сен-Сир должен был иметь главную квартиру в Смоленске и расположить свои войска таким образом, чтобы

по первому приказу мог или двинуться на помощь Шварценбергу и прикрыть Минск, если бы угрожала опасность нашим главным сообщениям и магазинам, или на помощь Сен-Сиру и прикрыть Вильну, или, наконец, к Москве для усиления Великой армии»[41]. Такое распоряжение ставило корпус Виктора в положение выжидательное и неопределённое; на его помощь рассчитывали в одно и то же время как центр Наполеоновых войск, так и фланги, которые особенно нуждались в ней. Соединение Дунайской армии с 3-ю Западною, открывших наступательные действия, принудили к отступлению корпус Шварценберга.

Не в лучшем положении оказались в то же время и корпуса Удино и Сен-Сира. Удино, несколько раз разбитый графом Витгенштейном, был подкреплён корпусом Сен-Сира, состоявшим преимущественно из баварцев. Этот корпус от переправы через Неман до Бешенковичей, откуда он был двинут Наполеоном, по соединении с Удино, не был ещё в бою, но от голода и болезней потерял почти половину своего состава, и из 25 тысяч перешедших Неман, в нём осталось только 13 тысяч изнурённых ускоренными переходами солдат. Но приказание двинуться из Бешенковичей, по свидетельству Сен-Сира, было так настоятельно, что как будто угрожало какое-нибудь бедствие, и он двинулся, не дождавшись даже возвращения отрядов, отправленных для отыскания продовольствия[42]. По соединении корпусов Удино и Сен-Сира, они решились действовать наступательно потому только, что были уверены, что сам граф Витгенштейн оставит их в покое. Вся цель этих действий заключалась в том, чтобы остановить его наступательные действия и поставить войска в такое положение, чтобы они могли устроиться, отдохнуть и снабдить себя продовольствием и особенно фуражем. После нескольких упорных сражений французы оставались в Полоцке и с 11 августа по самое начало октября не предпринимали никаких действий. Такое положение этих войск, конечно, не соответствовало желаниям Наполеона. Хотя он и произвёл в маршалы Сен-Сира, и после раны, полученной Удино, подчинил ему оба корпуса; но он желал наступательных действий с его стороны[43], а между тем получал известия от него, что войска его находятся в таком положении, что без значительных подкреплений он не может действовать наступательно. Получив известия, что маршал Виктор может подкрепить его, но в том случае, когда ход дел обозначится яснее и он получит прямое повеление о том от самого императора[44], Сен-Сир обратился в другую сторону.

Корпус Макдональда, состоявший большею частью из пруссаков под начальством генерала Граверта и предназначенный для осады

Динабурга и Риги, перейдя Неман в Тильзите, около половины июля, приблизился к Якобштату, угрожая с одной стороны Динабургу, а с другой Риге и устраивая там мосты на Двине. Динабургская крепость в это время не была отстроена; выведено было только мостовое укрепление, которым без сопротивления овладел один полк, посланный к Динабургу маршалом Макдональдом, потому что русские и не имели намерения защищать его. Таким образом, вся задача для действий этого корпуса заключалась в том, чтобы взять Ригу; но для этого необходимо было предпринять правильную осаду. Отразив вылазку Левиза, Макдональд оставался в бездействии до конца августа, ожидая назначенного для осады Риги парка. В половине мая (16) парк этот был отправлен морем из Данцига, чрез Кёнигсберг в Тильзит и оттуда перевезён сухим путём в Руэнтал близ Бауска (29 августа). Если бы в это время Макдональд часть своего корпуса направил против Витгенштейна на содействие Сен-Сиру, то, без сомнения, оказал бы ему значительную помощь. Но маршалы Наполеона действовали независимо один от другого, подчиняясь единственно ему самому; они заботились только как бы исполнить возложенные на каждого из них обязанности. Граф Витгенштейн предполагал именно движения со стороны двух маршалов и потому так размещал свои войска, чтобы не дать им возможности соединиться вместе и чтобы разбить каждого из них порознь[45].

Баварский корпус по донесениям Вреде и докторов, которым поручено было произвести исследование, приходил к совершенному разложению. Сен-Сир писал к Макдональду: «Вы, может быть, удивитесь, что два соединённых корпуса не могут выставить для военных действий большого числа войск; но вы не знаете, сколько трудов перенесли эти корпуса и до чего они доведены недостатком продовольствия и болезнями, как неизбежным последствием этого недостатка. Вам одним я прямо скажу: 6-й корпус не существует; он не годен ни к какой более службе. Я считал бы себя счастливым, если бы он в состоянии был защищать только своих больных, которыми переполнены госпитали и дома в Полоцке, свой лагерь и больных 2-го корпуса, который один может только выставить отряд для соединения с вашими войсками»[46]. «Если бы даже,— отвечал Макдональд,— я собрал войска своего левого фланга, т. е. до 20 тысяч, то открыл бы всю Курляндию, Самогитию и Неман для набегов отрядам Рижского гарнизона, которые могли бы действовать и на правом берегу Двины. Такого предприятия я ни предположить, ни исполнить не могу. Все эти соображения я имел честь сообщить маршалу Бертье, присовокупив, что, вероятно, он найдёт благоразумным вообще не предпри-

нимать осады Риги с обоих берегов одним 10-м корпусом, без всякой поддержки. Мне было тяжело высказать эту истину и показать, что силою самых обстоятельств я осуждён на бездействие и не могу ничего сделать важного для службы его величества, ни в отношении к действиям против Витгенштейна, ни в отношении к осаде Риги». Далее в ответе Макдональда Сен-Сиру читаем: «Я должен вам даже признаться, что опасаюсь за осадный парк; потому что гарнизон, также рассчитывающий на приближение зимы, может действовать смелее и предприимчивее»[47].

Маршал Макдональд опасался не без основания. Вскоре попытка Штейнгеля захватить осадный парк доказала справедливость его опасений. Хотя эта попытка и была неудачна, и пруссаки заставили Штейнгеля возвратиться в Ригу, но она доказала, что русские *силою обстоятельств* не осуждены на бездействие, как французские маршалы; а напротив, получив новые подкрепления и в значительном количестве, намерены усилить свои действия.

Всё это, конечно, было хорошо известно Наполеону. Маршалы не только писали о том его начальнику Главного штаба, но Сен-Сир посылал даже в Москву одного из офицеров своего штаба, чтобы на словах объясниться во всех подробностях. Что же мог предпринять в таком положении дел Наполеон? «Единственно наивозможно скорое возвращение завоевателя, во главе своих войск, могло восстановить порядок дел»,— говорит один из историков его похода в Россию[48]; но это значило бы начать отступление, о котором мысль приводила в раздражение Наполеона. Требовалось немедленно усилить корпус Шварценберга, послать значительные подкрепления маршалам Макдональду и Сен-Сиру. Один находившийся в его распоряжении корпус маршала Виктора не мог в одно и то же время содействовать Великой армии на случай её отступления и подкреплять трёх предводителей отдельных корпусов, действовавших на Волыни, у Полоцка и Риги. Раздробить его на части и двинуть их в разные стороны значило бы подвергнуть опасности каждую из этих частей и не оказать действительного пособия ни одному из отдельно действовавших корпусов, хотя князь Невшательский от имени императора и уведомлял маршалов, что именно таково назначение корпуса Виктора[49]. Надеяться на то, что Австрия и Пруссия пришлют новые войска для подкрепления своих корпусов, едва ли мог Наполеон, начинавший уже подозревать двусмысленную политику своих союзниц. «3 октября, после беспокойно проведённой ночи,— говорит граф Сегюр,— император Наполеон пригласил к себе маршалов. «Войдите, говорил он, увидав их. Послушайте новые предположения о военных действиях, которые

я составил. Принц Евгений (вице-король Итальянский) — читайте»»[50].

Сущность этого нового плана, которого цель заключалась уже не в том, чтобы завоевать вторую столицу Русской империи, но чтобы косвенным путём, угрожая только Петербургу, *отступить* в пределы Варшавского герцогства, состояла в следующем. Корпус Виктора, который Наполеон считал возможным довести до 40 тысяч человек (присоединив к нему части вестфальских, польских и саксонских войск и маршевые батальоны, предназначенные для пополнения убыли в войсках) предполагалось двинуть от Смоленска на дорогу к Петербургу, через Витебск и Великие Луки. По соединении их с корпусом Сен-Сира и одною дивизиею, отделённою от корпуса Макдональда, составилось бы войско в 70 тысяч, готовое двинуться на Петербург. В то время, когда выступил бы в поход Виктор, сам император, с гвардиею и корпусами вице-короля Итальянского и маршала Даву, двинулся бы из Москвы на Северо-Запад, чрез Воскресенск, Волоколамск, Зубцов и Белый, также к Великим Лукам, совершая таким образом почти параллельное движение с дорогою в Смоленск, в расстоянии от неё около 50 и 60 вёрст. В то же время маршал Ней начал бы движение прямо по Смоленской дороге на Можайск, прикрывая все обозы. В Можайске с ним должен соединиться Мюрат, ускользнув от Кутузова, и оба вместе остановятся между Смоленском и Витебском. Наполеон полагал, что к 3 (15) октября все колонны могли выступить, а чрез 10 или 12 дней похода его боевые силы оказались бы в следующем положении: маршал Виктор с 70-ю тысячами был бы в Великих Луках и угрожал Петербургу, куда, в виду этих сил, Витгенштейн должен был отступать; сам Наполеон, также с 70 тысячами, в Велиже, имея возможность подкрепить его или, соединясь с 30 тысячами корпусов Нея и Мюрата, дать отпор Кутузову, если б он их преследовал. Опустошённая Смоленская дорога, конечно, не представила бы таких затруднений для корпусов Нея и Мюрата, которые могли запастись частью продовольствия, какое могло бы представиться для всей армии Наполеона. При том возможно было рассчитывать на то, чтобы выиграть несколько переходов и тем избавиться от упорного преследования со стороны русского главнокомандующего[51].

Молча выслушали военачальники новые соображения своего вождя. Несмотря на желание Наполеона увлечь их величием предстоящего подвига, они не только оставались равнодушны, но каждый старался отклонить его от приведения его в исполнение, представляя многочисленные затруднения. Знаменитый историк Наполеона называет этот новый план военных действий гениальным, как бы «вдохновенным свыше», возможным для исполнения. Однако, вме-

сте с тем Тьер прибавляет: «но всё, даже самое лучшее, что ни изобретал в это время Наполеон не должно было удаваться, в силу того положения, в которое он сам себя поставил, удалившись так далеко». На острове Святой Елены, Наполеон, доказывая гениальность всех своих военных соображений во время похода в Россию, говорил: «Если бы это было в августе, а не в ноябре, то войска пошли бы на Петербург, а не отступили бы к Смоленску»[52]. Из этих отзывов очевидно, что новый план военных действий, несмотря на то, что в нём выразился гений великого полководца, страдал одним недостатком, а именно тем, что он *не был соображён с обстоятельствами.* Сам же он считал одним из важных, основных законов для военных действий, чтобы план кампании был соображён с обстоятельствами, «что на войне только обстоятельства имеют решающее значение». Не в таком положении были войска Наполеона, расстроенные, обременённые добычею, награбленною в Москве, чтобы в это время года предпринимать отдалённые походы, которых успех мог зависеть от быстроты движений. Гениальность полководца, поставленного в безвыходное положение, выразилась не столько в составлении этого плана, сколько в том, что он, который так долго лелеял эту мысль, так тщательно её обработал, не только не настаивал на приведении её в исполнение, выслушав возражения своих боевых сотрудников, но немедленно от неё отказался, решившись в тот же день вступить в непосредственные сношения с русским императором для заключения мира[53].

Между тем расстройство войск усиливалось более и более, потому что усиливалась главная причина этого расстройства — недостаток в фураже и продовольствии. Лошади гибли сотнями, ежедневно; полумёртвые они бродили по опустевшим огородам, пустырям и пожарищам столицы; их трупы валялись по улицам и наполняли зловонием воздух. Солдаты разбегались по окрестностям для отыскания пропитания и большею частью не возвращались более: они гибли от рук вооружённых крестьян, казаков и партизанских партий, всё ближе и ближе опоясывавших Москву со всех сторон. Чтобы несколько поднять упавший дух войск, распускались различные слухи. Говорили, что маршал Макдональд взял Ригу приступом, завладел Петербургом, в тот самый день, когда французы вошли в Москву, и сжёг его; что по дороге от Вильны к Смоленску следуют многочисленные войска и обозы с зимнею одеждою для солдат, что маршал Виктор ведёт значительные подкрепления, и войска Наполеона к будущей весне сделаются так же многочисленны, как были при переходе через Неман. Войска сохраняли ещё веру в Наполеона и полагали, что он всё пред-

видит, обо всём заботится и всегда находит неожиданные средства. То говорили, что император Александр скончался; то, что он удалился в Казань, что известие о заключении мира с турками несправедливо, что шведы, пришедшие на помощь русским, узнав, что французы взяли Москву, овладели Петербургом. «Если Русские (хвастались Французы) не заключат мира в продолжении зимы, то Наполеон прогонит их в Азию, восстановит Польшу, устроит особые герцогства, Смоленское, Курляндское и Петербургское»[54].

Распуская неверные слухи, Главный штаб Наполеона и сам он, в свою очередь, получали неверные сведения о положении Русских войск. Как в первые дни занятия Москвы французы потеряли след отступавшей Русской армии, так и впоследствии, за чертою аванпостов их авангарда, перед Тарутинским лагерем, начиналась для них неведомая страна (terra incognita), о которой они не могли получать никаких точных сведений. При вступлении в Россию Наполеон полагал, что найдёт шпионов по преимуществу среди поляков, которые могли знать страну, понимали русский язык и многие даже хорошо говорили по-русски. Управление этой частью он вверил генералу Сокольницкому, который ему в Париже, в одно время с князем Понятовским, сообщал сведения о Польше и представлял соображения о военных действиях против России. «Около 21 сентября[55], — рассказывает один из находившихся в его штабе польских офицеров, — к этому генералу явился Поляк и сказал, что он давнишний обыватель Москвы, а теперь только что пришёл из лагеря Русских войск. Он казался на вид человеком порядочного общества и заявил о фланговом движении Кутузова с Рязанской дороги на Калужскую и что Барклай де Толли послал его в Москву разведать о положении французской армии и дальнейших замыслах Наполеона. В удостоверение он показал записку, в которой ряд вопросов будто бы написан был рукою самого Русского генерала». Граф Солтык из этих вопросов припомнил только два, когда писал свои записки о походе 1812 года: имеют ли намерение Французы идти на Казань? В хорошем ли состоянии их артиллерийские лошади? Но, кажется, достаточно и одного первого вопроса, чтобы показать, что это был за шпион. Сокольницкий поспешил уведомить Наполеона, который сам продиктовал ответы на все эти вопросы и отправил посланца в Русский лагерь. «Этот человек, возвратившись оттуда, представил полный доклад императору, отправился назад и — не возвращался более». Вообще Сокольницкий, по свидетельству того же офицера, был «ещё менее счастлив в выборе других эмиссаров». К нему явилась одна красивая дама, музыкантша, назвавшая себя немецкою баронессою, и предложила свои услуги;

получив 4000 франков, она отправилась и не возвращалась более назад.

Может быть, недовольный услугами Сокольницкого по этой части и вероятнее по принятому им правилу поручать за одними шпионами наблюдать другим, Наполеон вверил ту же часть лейтенанту лёгкой гвардейской кавалерии Вандерноту (Vandernott). Но сверх того сохранились известия, что и маршал Даву принимал участие в этой службе. Купец 3-й гильдии Жданов, остававшийся с семейством в Москве, отправился к нему, чтобы выпросить пропуск из Москвы (к Даву многие приходили с этою целью). Переводчик[56], обратясь к ним, спросил: у кого есть жена и дети, того отпустим и дадим билет. Эти билеты давались русским с тем, чтобы в окрестностях они сами себе находили способы для пропитания, но чтобы непременно возвращались: с этою целью в Москве задерживали их семейства. При этом хотели воспользоваться Ждановым, объявившим, что он Московский старожил и у него здесь жена и двое детей. Ему предложили 1000 червонцев и любой дом в Москве, если он отправится в Русский стан и разузнает о количестве войск, о предводителях, о том, пополнены ли полки после Бородинской битвы и подходят ли новые подкрепления, что говорит народ о мире. Если русские войска идут к Смоленску, то поручалось немедленно возвратиться в Москву и объявить обо всём. Ему велели наизусть выучить вопросы и взяли назад бумагу. Придя на русские аванпосты, Жданов рассказал всё Милорадовичу и потом князю Кутузову. Как ни заботила его участь семейства, однако, он не решился на измену. Фельдмаршал с похвальным отзывом отправил его в Петербург[57].

Жданову поручено было также говорить, что в Москве находившийся хлеб весь уцелел от пожара и что французы располагают там зимовать. Этот слух Наполеон распускал и между своими войсками, без сомнения, никогда не предполагая прибегнуть к такой мере. Но этому почти никто и не верил из окружавших его лиц. Он же распускал этот слух с одной стороны для того, чтобы восстановить порядок в войсках, которые, ожидая скорого оставления Москвы, не заботились о своём устройстве; с другой, чтобы скрыть настоящую причину, вследствие которой он укреплял Кремль, некоторые из монастырей и большой острог. Не имея точных сведений о русских войсках, зная усиливавшуюся постоянно народную и партизанскую войну вокруг Москвы, он опасался внезапного нападения со стороны русских, но, конечно, не желал признаться в этих опасениях.

Чтобы заявить, так сказать, свою прочную оседлость на пепелище Москвы, а вместе с тем и развлечь офицеров и солдат, Напо-

леон, узнав, что в числе французов, находившихся в Москве, оказалось несколько актёров и актрис, поручил дворцовому префекту де Боссе устроить театральные представления. В Москве находилась постоянная труппа французских актёров и актрис, которые давали представления в Императорских театрах. В них являлась перед москвичами известная г-жа Жорж и не менее известный танцор Дюпор. Начальницею труппы было г-жа Аврора Бюрсе (Bursay)[58], главным режиссёром её брат Арман Домерг. Эта труппа, по случаю войны, прекратила свои представления. Многие из её членов, которых договоры окончились, уехали из Москвы; некоторые ещё оставались. Боссе пригласил их к себе и объявил приказание императора открыть представления. Ограбленные вполне, явились к нему остатки французской труппы, в странных отрепьях, а некоторые в полунаготе. Защита от грабежа и достаточное вознаграждение естественно заставили их повиноваться приказанию, против которого и возражать было опасно. «Трудно было устроить театральные представления,— говорит одна из актрис,— в городе совершенно разграбленном, где женщины не имели ни платьев, ни башмаков, а мущины ни одежд, ни сапогов, где не было гвоздей, чтоб укрепить кулисы, не было масла для ламп. Набрали в солдатских казармах лент и цветов, и мы играли на дымящихся развалинах. Когда нам объявили об этом намерении, я приняла его за шутку. Но это не была шутка. Мы играли до оставления Французами Москвы, и Наполеон был очень щедр в отношении к нам». Императорский театр, построенный в 1803 году на Арбатской площади, сгорел; но у некоторых из богатых помещиков были домашние театры. Такой театр нашёлся в великолепном доме Познякова на Никитской. Дом уцелел от пожара, но был ограблен. Приступили немедленно к поправлению театра; а между тем Боссе, при помощи г-жи Бюрсе и других актёров и актрис, составил репертуар. «По несчастью, оставались из актрис не самые молодые и красивые, говорит одна из них, и выбор пиес представлял немало затруднений. «Надо играть «Остров старух» (L'île des vieilles), сказала я этим господам. Вот прекрасный случай вновь поставить на сцену эту пиесу»». Она была одним из произведений г-жи Бюрсе. Репертуар был составлен, театральная зала приведена в порядок; занавес, сшитая из парчи, отделяла сцену от партера, который освещала большая, взятая из церкви, люстра; дорогая мебель набрана из домов частных лиц. Костюмы актёров и актрис, так же, как и убранство театра, показывали, при каких обстоятельствах он возник. «Понадобилась даже парча от священнических риз, клочки которых солдаты променивали за кусок хлеба». Через три дня

после приказания Наполеона, 25 сентября н. ст., удалось открыть представления двумя пиесами, комедиею Мариво «Игра любви и случая» (Jeu de l'amour et du hazard) и водевилем «Любовник, сочинитель и лакей» (L'amant auteur et valet)[59]. Потом дано было ещё десять представлений, продолжавшихся до самого выхода французских войск из Москвы. Некоторые пиесы, как «Три Султанши», «Рассеянный Фигаро», «Притворная Неверность», «Стряпчий Посредник» (Le procureur-arbitre), «Проказы в тюрьме», «Сид и Заира», особенно нравившиеся зрителям, повторялись по нескольку раз. Но особенно восхищал их дивертисмент, состоявший из танцев, в которых две девицы Ламираль исполняли русские пляски. «Это были настоящие русские пляски, – говорит Боссе, – а не такие, какие мы видали в Большой опере в Париже. Прелесть этой пантомимы состоит в игре плеч, в движениях головы и всего тела». С наступлением ночи, в то время, когда сожжённая Москва покрывалась мраком, среди коего кое-где тлевшийся ещё под пеплом огонь обозначался столбами дыма, когда между развалин бродили лишь немногие томимые голодом и отыскивающие пищи Русские или неприятельские грабители, дом Познякова горел блестящими огнями, и освещённая Никитская была покрыта экипажами разного рода; вокруг дома стояли стража, наряженная от разных полков, и множество бочек, наполненных водой: французы опасались, чтобы и дом Познякова не был подожжён и строго его оберегали. Оркестр был составлен из полковых музыкантов, но в их числе были и двое русских: первый скрипач-солист Московского театра Поляков и виолончелист Татаринов. Послушав их игру, французы завербовали их в свой оркестр. Партер занимали обыкновенно солдаты, и в первых рядах помещались заслуженные гвардейцы, украшенные знаками Почётного Легиона. Ложи заполняли офицеры разных чинов, между которыми кое-где замечались и женщины, оставшиеся, конечно, в Москве француженки. Цены за места были умеренные. Часть из собранных денег употреблялась на освещение и отопление театра, а остальная разделялась между артистами. «Генералы и маршалы, с их штабами, также постоянно посещали представления, – говорит Домерг, – как и солдаты. В темноте ночи пробирались они туда по Московским развалинам. Г-жи Домерг и Бюрсе едва успевали собирать деньги, которые они горстями сыпали на их прилавок». Афиши были писанные; не было входных билетов, ни их раздачи по обычаю; но при входе в театр платили деньги. «Герцог Тревизский постоянно посещал представления и входя клал на прилавок этих дам по целой горсти пятифранковых монет и рублей. Простые французы платили также щедро и никогда не требовали сдачи. Даже

солдаты платили дороже назначенной цены». 19 октября* ещё было представление, и объявлены пьесы, назначенные на другой день. «Возвратясь из театра, – говорит г-жа Фюзиль, – я приготовляла себе платье для роли Петрониллы, когда ко мне вошёл офицер и спросил: «Что вы делаете!» «Вы видите, приготовляю платье к завтрашнему вечеру», отвечала я. – «Позаботьтесь лучше приготовить ваши чемоданы к завтрашнему утру, потому что мы в два часа утра выступаем». Я была поражена, но последовала совету. На другой день с рассветом действительно все собрались выступать»[60].

Император Наполеон следил за успехами театра, но не бывал в нём. В Кремле не было представлений, но была устроена концертная зала, где пел итальянский певец Тарквинио, недавно приехавший в Москву из Милана и играл пианист Мартини, на которых указала г-жа Бюрсе. В слушании этой музыки, в прогулках по городу, в осмотре зданий, заключались все развлечения Наполеона, конечно, нисколько не развлекавшие его дум, направленных к разрешению неразрешимой по самой её сущности задачи: полную неудачу похода представить великим успехом и ловко придуманным движением выйти с торжеством из безвыходного положения. Опустелые улицы Москвы, которые едва можно было различать между грудами пепла и развалин и которые представляли повсюду следы разрушения, мёртвое молчание, изредка прерываемое шагами проходивших отрядов также видимо разрушавшегося войска, не могли не омрачать его. За завтраками он выслушивал доклады Боссе об успехе театральных представлений. Даже 7-го октября, накануне выхода из Москвы, он рассуждал с ним о том, чтобы выписать из Парижа в Москву несколько актёров и актрис и составлял им список. Затем он диктовал своим секретарям различные предписания начальнику своего штаба и другим лицам. Обеды его длились подолгу, вопреки обычаю. Прежде он никогда не любил долго сидеть за столом; но в Москве, как бы желая убить время, тяготившее его своею продолжительностью, он изменил этому обычаю[61]. По вечерам, окружённый свитою и военачальниками, ходя взад и вперёд по зале Кремлёвского дворца, ярко освящённой, с растопленным камином, он, чтобы показать свою власть над обстоятельствами и силу духа, рассуждал о новых литературных произведениях и о театре. Так, за несколько дней до оставления Москвы, подписавши декрет[62] об устройстве театра, в тот же вечер он обратился к графу Нарбонну, говоря: «Я должен бы посоветоваться с вами, любезный Нарбонн, прежде нежели подписать сегодняшний декрет. Вы, конеч-

* По новому стилю *(прим. ред.)*.

но, в молодости любили театр и знакомы с этим предметом. Но вы предпочитали комедию; а я, напротив, люблю трагедию, высокую, величественную, какою её создал Корнель. Великие люди в ней вернее изображаются, нежели в истории; в ней они выставлены в критических обстоятельствах, в которых они вынуждаются прибегать к великим решениям; в ней нет этих подробностей, приготовлений и соображений, которые очень часто неверно приписываются им историками. Все эти человеческие слабости, колебания, сомнения, должны исчезнуть в герое. Это должна быть величавая статуя, глядя на которую не чувствуешь слабостей и препятствий тела. Это Персей работы Бенвенуто Челлини». Он объяснял, почему преследовал современных драматических писателей, обвиняя их в неумении изображать великих людей нового времени. «Надо, чтобы великие короли были великими и на сцене. Отчего не возведут на неё Карла Великого, Святого Людовика, Филиппа-Августа? Я не отвергаю даже иностранных предметов. Какую трагедию мог бы даровитый писатель создать из Петра Великого, этого гранитного мужа, твёрдого, как основания Кремля, человека, который сотворил просвещение России и её влияние на Европу и который вынудил меня, через сто лет после его смерти, предпринять эту ужасную экспедицию. Я прихожу в изумление, когда думаю, что в этом дворце, 20-летний Пётр, без советников, почти без образования, в виду гордой правительницы и старых Русских, захватывает власть и, замыслив сделать её победоносною и завоевательною, уничтожает стрельцов. Какой пример нравственной силы (d'autocratie morale)! Как бы хорошо видеть на сцене, как молодой Пётр, которого считали преданным грубым удовольствиям, приводит в исполнение дело 18 брюмера при своём дворе, посылает в монастырь гордую Софью и в одно время создаёт мирные и боевые учреждения, начинает войну, устраивает армию и флот и строит новую столицу России. Что касается до особенностей его гения, то они никем не были поняты. Не заметили, что он приобрёл то, чего недостаёт рождённым на престоле, славу *нового человека, достигшего до трона* (la gloire de parvenu) со всеми испытаниями, соединёнными с этою славою. Он добровольно сделался артиллерийским лейтенантом, чем и я был. Это не была комедия. Он оставил страну, чтобы освободить себя на некоторое время от короны, чтобы испытать жизнь частного человека и постепенно дойти до величия. Он сам сделал для себя то, что дала мне судьба. Вот что выдвигает его вперёд из ряда всех прирождённых государей (les monarques de race). И несмотря на то, какое было испытание этому гению! Подумайте, такой человек на берегах Прута, во главе войск, им самим созданных,

допустил себя окружить Турецкой армии, лишить способов продовольствия и едва не взять себя в плен! Такие *необъяснимые затмения* случаются с великими людьми. Это Цезарь, плохо начавший дело и осаждённый в Александрии негодными Египтянами. Но Цезарь взял своё, отмстил им; великий человек всегда найдётся, как после ошибки, так и после несчастья». Замечательное суждение Наполеона о Петре Великом и о его положении при Пруте, очевидно, намекало на него самого и на тогдашнее положение дел.

Граф Нарбонн, воспитанный в высших слоях общества дореволюционной Франции, пропитанный понятиями о внешнем лоске просвещения и полагавший, что великие люди в новое время могут быть только между французами, конечно, не мог понять Петра Великого: в его глазах он был варвар и своими успехами обязан не столько своему гению, сколько ошибкам своих противников. «Если бы Карл XII не вдался так далеко вглубь России, или отступил бы вовремя, замечает он, если бы он не продолжал своего нашествия даже зимою, когда сильные холода уничтожали сотнями его солдат на походе, то он никогда бы не был побеждён; он прикрыл бы Польшу и не дал бы царю идти далее. Пётр был велик вследствие ошибок своих противников. Он победил не тактикою и своим гением, но силою климата своей страны. На это средство и теперь ещё рассчитывают его потомки».

Хотя отзыв Нарбонна вполне соответствовал смыслу речей Наполеона, но тот не любил, чтобы отгадывали его намерения, и с живостию заметил: «Вижу, к чему вы клоните речь, любезный Нарбонн; вам говорят о театре, а вы отвечаете политикою. Впрочем, они часто соприкасаются друг с другом; но будьте покойны: мы не повторим ошибки Карла XII. Она записана в истории для того, чтобы предостеречь нас от неё. Надо было несколько подождать здесь последствий громовых ударов Бородинской битвы и занятия Москвы. Я имел причины надеяться на заключение мира; но заключим мы его или нет, во всяком случае, есть предел нашему здесь пребыванию. Наши войска отдохнули и переустроены; время стоит хорошее, и мы имеем возможность отойти к Смоленску, соединиться на пути с нашими подкреплениями и расположиться на зимних квартирах в Польше и Литве. Есть ещё и другой способ, который предлагает Дарю, а я называю его *львиным советом*: собрать провизию, убить и посолить всех наших лошадей, зимовать в Москве и весною начать вновь наступательные действия. Но я не соглашаюсь с этим предложением. Можно ходить далеко, но не следует долго оставаться вне своего дома. Париж призывает меня сильнее, нежели манит Петербург. Будьте довольны, любезный граф: скоро уйдём *с* миром или *без* него»[63].

Такими речами Наполеон желал отвлекать внимание и своё собственное и окружающих его лиц от главного предмета забот. В таких разговорах коротал он долгие осенние вечера Московской своей жизни. Но он не достигал цели. Окружавшие его лица только и думали о том, как бы скорее выбраться из Москвы; его же самого волновало и раздражало напрасное ожидание мира и бедственное положение войск, которому помочь он не имел никаких средств. «Его ночи были особенно тревожны», — говорит граф Сегюр. Он проводил их частью вместе с графом Дарю, которому однако решался поверять заботу о своём опасном положении. Перебирая различные предположения, чтобы выйти из этой опасности, он говорил ему: «Думают, что дело состоит только в том, чтобы оставить Москву; а не соображают того, что нужен месяц, чтобы преобразовать армию и вывезти раненых и больных. Не оставить же их в добычу казакам! Это покажется не отступлением, а бегством (il paraîtra fuir). Что заговорит Европа! Она завидует мне, ищет мне соперника и подумает, что нашла его в лице императора Александра. Какие могут тогда последовать опасные войны! Пусть же не порицают моего бездействия. Разве я не знаю, что Москва в военном отношении ничего не значит? Но это не военная позиция, а политическая. Хотят видеть во мне только генерала, но я император». Он старался доказать, что в политике никогда не следует отступать (reculer), никогда не признаваться в своих ошибках, но упорно идти вперёд»[64]. Касательно переустройства войск Наполеон, без сомнения, очень хорошо понимал, что в том положении, в каком они находились в Москве и перед Тарутинским лагерем, в продолжении ещё месяца они бы расстроились ещё более. Надежда придвинуть к себе корпус маршала Виктора едва ли также могла его обольщать. У него просили подкреплений и князь Шварценберг, и маршалы Сен-Сир и Макдональд. Получить же новые контингенты, сверх договоров, от Австрии и Пруссии, без сомнения, он не надеялся. Но судьба раненых и больных действительно его озабочивала потому, что оставление их в Москве послужило бы признаком не правильного даже отступления, а просто бегства. Его чрезвычайно смутил ответ генерал-интенданта на вопрос: сколько нужно употребить времени на их вывоз из Москвы? — «Не менее сорока пяти дней», — отвечал ему граф Дюма[65].

Беседуя по ночам, с глазу на глаз, с графом Дарю, Наполеон говорил ему, что пойдёт на Кутузова, «чтобы разгромить его, или *обойти* и вдруг повернуть на Смоленск». — «Уже поздно, — отвечал ему граф Дарю. — Русские войска переустроены, наши ослабли, победа забыта. Лишь только войска будут обращены лицом к Франции, они разбегут-

ся по частям: каждый солдат, обременённый добычею, будет спешить вперёд, чтобы продать её во Франции.

— Что же надо сделать? — воскликнул Наполеон.

— Оставаться здесь, — отвечал Дарю, — сделать из Москвы большой укреплённый лагерь и провесть в нём зиму.

Дарю был уверен, что уцелевшие от пожара здания и погреба доставят достаточное помещение и что можно запастись продовольствием, убив всех лошадей и посолив их мясо.

— Весною наши подкрепления и вся вооружившаяся Литва придут к нам на выручку. Соединившись с ними, мы довершим победу.

Очевидно граф Дарю не знал положения дел в тылу Великой армии, которое Наполеон тщательно скрывал даже от самых приближённых к нему лиц.

— Это львиный совет (conseil de lion), — отвечал после некоторого молчания Наполеон. — А что скажут в Париже? Что там может произойти, когда в продолжении шести месяцев не будут иметь от меня известий? Нет, Францию не приучишь к моему отсутствию; а Пруссия и Австрия им воспользуются»[66].

Так проводил Наполеон последние дни своего пребывания в Москве. Сон не успокаивал его волнений. «Его тревога выражалась порывами гнева, — говорит граф Сегюр. — Особенно это случалось утром, когда он вставал с постели (à son lever). Окружённый предводителями войск, обращавшими на него пытливые взгляды, в которых он думал видеть укор за его действия, он, суровым обхождением, нетерпеливыми движениями и резкими, отрывочными выражениями, казалось, хотел их оттолкнуть от себя. По его бледному лицу можно было заметить, что его томила горькая истина его положения, со всею ясностью представлявшаяся в темноте ночей».

В то время, когда Наполеон проводил томительные дни и ночи, когда его офицеры и солдаты утешались представлениями в театре Познякова и катаньями с публичными женщинами[67], несчастные русские обыватели Москвы испытывали утешения иного рода.

Русские члены муниципального управления, учреждённого в Москве, не могли облегчить их бедствия, не могли ни доставить продовольствия, ни приютить под кровы, ни оградить от насилий и грабительства. Им удалось, по мере скудных средств и возможности, оказать помощь только немногим; но они исполнили одну из возложенных на них объявлением Лессепса обязанностей — способствовать открытию богослужения в наших храмах, в чём оказывали им содействие и некоторые из французских военачальников. В церкви Голицынской больницы постоянно производилось богослужение.

В Новодевичьем монастыре оно началось вскоре после пожаров, когда главная квартира маршала Даву поместилась на Девичьем поле. «Что ни Воскресенье, что ни праздник, у нас была обедня в соборной церкви, – говорит современница-монахиня. – Церковь мы всегда запирали, и ключ был у нас. А в других-то они жили и с своими мамзельками, потому что келий для них было мало». В Рождественском монастыре начальник отряда, который был помещён в нём, также приглашал священника отправлять церковную службу, когда он обратился к нему с просьбою. По свидетельству современницы, находившейся в этом монастыре, «священник говорил, что обедни, разумеется, служить нельзя, потому – не ровён час, может они войдут в храм во время совершения таинства и какое кощунство сотворят, да и антиминсы спрятаны. Часы и вечерню можно бы каждый день служить». Получив разрешение, обрадованный священник велел немедленно ударить в колокол; но прибежал солдат и объявил, что генерал просит: «нельзя ли звонить в маленький колокол, потому что он не выносит громкого колокольного звона». «Ну, что же, говорит батюшка, мы его беспокоить не станем». И во всё время, пока они стояли у нас, ударяли по три раза к часам и к вечерни в маленький колокол. Служили в Златоустовской церкви, и Французы бывали частенько на службе. Любопытно им видно было. Войдут, нам поклонятся и смотрят. Иной раз между собою пошепчутся, и стояли всегда прилично».

Грабёж и осквернение храмов, постоянное кощунство над святынею, естественно, возбуждали чувство опасения не только со стороны священников, но и прихожан. Они скрывали в тайниках антиминсы от грабежа и поругания. «Грабители подпоясывались ими и, находя, что они коротки, бросали потом». В Зачатиевском монастыре только на несколько дней пожар и грабёж прервали божественную службу; вообще же она продолжалась во всё пребывание французов в Москве. Игуменья и монахини возвратились в сожжённый и ограбленный монастырь в день Рождества Богородицы (8 сентября). «В честь праздника, по свидетельству монастырских преданий, были отслужены всенощная и молебен. С 9-го числа священник служил каждое утро часы; но с 22 числа, которое приходилось в Воскресенье, он освятил обнажённый неприятелями престол, и совершена была литургия. С этого времени монахини, миряне, поселившиеся в монастыре, и жители соседних улиц сходились на звон колокола, призывавшего верующих в храм. Все торопились, в ожидании смерти, исполнить христианский долг; каждый день приходили к священнику исповедники, за каждою обедней были причастники. В немногих церквах служили литургию; их посещали приютившиеся в ближайших к ним

окрестностях обыватели Москвы; но многие и не знали об этом. Так рассказывает одна простая женщина, вышедшая из Москвы 1-го октября на праздник Покрова, утром: «Слышим, ударяют к заутрени; мы перекрестились и пошли. Заутрени уже служили и часы и вечерни; а обедни ещё нигде не служили, потому что антиминсов не было: все были убраны и увезены, чтобы не хватали их нечистыми руками. Бонапарту хотелось, чтобы в церквах служба была в тех, которые остались чисты; а то в других стояли лошади, как в конюшнях. Ну так и велел Бонапарт всех попов ловить, где ни попадутся; поймают дьякона вместо попа, всё равно, и тот годится, и велят ему обедню служить: Французу всё равно, ничего не понимает. Так и начали служить в церквах, где заутреню, где часы. Бонапарт был доволен, лишь бы только была служба; а нам как было отрадно, когда стали благовестить!» Впрочем, литургию нельзя было совершать не потому только, чтобы не нашлось священников, но потому, что все почти храмы, за немногими исключениями, были осквернены, ограблены, престолы сдвинуты с мест, не было ни утвари, ни других принадлежностей для богослужения. Где только было возможно, там ежедневно совершалась даже литургия. В церкви Спасо-Преображенской, на Глинищах, протоиерей Семёнов постоянно совершал литургию и исправлял требы. Точно также священники Троицкой церкви на Хохловке и Петропавловской на Якиманке «совершали богослужение с разрешения Французских начальников, но с запрещением читать, после сугубой эктении, молитву об избавлении от нашествия супостатов. Священники этих церквей ходили и в окрестные места крестить младенцев, исповедывать тяжело больных и напутствовать их Св. дарами»[68]. В Москве находился в это время нечаянно попавший в плен протоиерей Кавалергардского полка Гратинский. Ограбленный почти донага, переходивший из одного дома в другой, гонимый пожарами, он поселился, наконец, в одном из уцелевших домов на Мясницкой, вместе с двумястами человек разорённых Московских обывателей. «Здесь,— доносил он потом обер-священнику,— в облегчение участи стенавших под игом убийц и грабителей, решился я просить позволения открыть богослужение и от Французской полиции получил его. Комендант города граф Мильо дал мне билет и, для безопасности богослужения, караул из двух солдат. Для богослужения избрал я верхнюю церковь Св. Евпла. Сентября 15-го, в день коронования Императора, при первом ударе колокола, при многочисленном стечении оставшегося в Москве народа, начал я отправлять богослужение, после которого о здравии Монарха нашего и всего его семейства отправлено было молебствие с коленопреклонением. Вся церковь омыта была слеза-

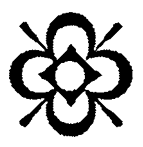
ми. Сами неприятели, смотря на веру и ревность русского народа, едва не плакали. В самое короткое время, в два дня служения моего, усерднейшими христианами были принесены в церковь серебряные и вызолоченные сосуды, до 10 пуд свеч и ладана, вина, муки на просфоры и довольное количество разной церковной утвари. В сём храме, до возвращения в Москву той церкви священника, каждый день отправляемо было мною богослужение»[69]. Всё, что могли спасти из предметов, необходимых для богослужения от похищения неприятелей, ограбленные жители Москвы несли в храм, призывавший их к богослужению торжественным благовестом. Много раз случалось им слыхать беспорядочный звон колоколов, которым потешались французы[70]; но правильный звон, совершаемый *по чину*, производил на них потрясающее действие. Когда в первый раз по Замоскворечью раздался звук колокола, призывавший к богослужению в храм Петра и Павла, «около восьми часов утра, — говорит современник-свидетель, — мы услыхали отдалённый колокольный звон. Все вопросительно взглянули друг на друга и начали доискиваться причины; один говорил: вероятно, неприятели вздумали потешиться колокольною музыкою, другие опровергали и делали свои предположения; но отец мой внимательно вслушавшись в звук, утверждал, что это не простой безалаберный звон, но правильный благовест в один колокол, которым православные сзываются на богослужение. Для удостоверения мы, мужчины, отправились по направлению слышанного колокола. Достигнув Якиманской улицы и подойдя к церкви Петра и Павла, мы уверились, что это действительно был благовест». Священник этой церкви, где случайно остался неприкосновенным один из приделов, получил разрешение отправлять богослужение и караул; но с тем, чтобы звон производился один раз в день, не ранее 8 часов утра. «Богомольцы, входя в храм, — рассказывает тот же очевидец, — благоговейно крестясь, творили молитвы. Смотря на исхудалые и бледные лица, выражавшие совершенное истощение сил, на рубища, на то, как они с трудом передвигали ноги, выходя из своих жилищ, как из нор, из подвалов и погребных ям, их можно было уподобить восставшим из гробов, вызванным трубным гласом, в последний день Страшного суда. С радостным трепетом, как божественного врачевания, они ожидали начала службы. Молились одни, преклонив колена и простёрши руки; другие, упав с рыданиями на помост; а иные — неподвижно устремив взоры на распятого Спасителя. Когда перед иконами были зажжены свечи, блеск огня, как благодать, нисшедшая свыше, проникла богомольцев: все воспрянули как бы от тяжкого сна, ободрились духом, готовясь встретить в полночь

грядущего жениха. Наконец отдёрнулась завеса, отворились царские врата, и священнослужители, в полном облачении, вышли из алтаря. Священник нёс на голове крест и Евангелие, дьякон со свечёю в левой и с кадилом в правой. Народ пал ниц. Выйдя на средину церкви и осеняя крестом на четыре стороны, священник возгласил: «Да воскреснет Бог, и расточатся врази его!» Когда он положил крест на аналой, клир запел: «Кресту твоему поклоняемся, Владыко!» Все присутствовавшие три раза поклонились в землю. Во время водосвятия, когда пели: «Спаси, Господи, люди твоя», народ, стоя на коленях, общим хором вторил молитве. Но когда запели: «К Богородице прилежно ныне притецем»... весь храм огласился воплями и рыданиями. Матери, стоя на коленях, поднимая на руках грудных младенцев, взывали: «Пресвятая Дева, спаси невинных детей». Во время литургии, когда дьякон провозгласил: «елицы оглашеннии, изыдите», молящиеся в великое пришли недоумение, заметя вдруг трёх неприятельских солдат, в синих мундирах, стоявших на коленях и молившихся со слезами; но сомнение исчезло, когда узнали в них единоверцев-словаков. Много было причастников. По окончании обедни, приложась к кресту, окроплённые святою водою, богомольцы разошлись, спокойны и довольны»*.

Современник, которого рассказ мы привели почти подлинными его словами, весьма верно заключает, что его перо не в силах выразить тех чувств, которыми преисполнены были несчастные жители Москвы[71]. Но какое же перо и может их выразить!

---

* Страницы 199–204 книги воспоминаний А. Рязанцева приводятся здесь, как пишет А. Н. Попов «почти подлинными его словами»; на самом деле, некоторые цитируемые («заковыченные») фразы существенно расходятся с подлинником, что потребовало их исправления по тексту воспоминаний *(прим. ред.)*.



Глава 6

Разговоры Наполеона с Тутолминым и Яковлевым. – Попытки Наполеона заключить мир. – Ограбление Наполеоном Кремля, его жестокость. – Молодечество казаков. – Действия партизан. – Тайные распоряжения к отступлению.

Пребывание Наполеона в Москве представляет совершенную противуположность в сравнении с его пребыванием в Дрездене. Там он чувствовал себя на верху могущества, властелином всей Европы, раболепно преклонившейся пред ним в лицах своих государей и верховных сановников. Если озабочивало его положение Турции и Швеции, то эта забота пробегала мгновенно в его политических соображениях, и он уверен был, что увлечёт их за собою. Что касается до России, то, конечно, он смотрел на неё не без тайной тревоги; упиваясь мыслью о своём всемогуществе, опираясь на огромные военные силы, он изрекал ей смертный приговор, называя её *увлечённою роком.* Через три с небольшим месяца иное чувство должно было наполнять его душу: он увидал себя в уединённом положении, вне той среды, где развивалась и увенчивалась успехами его деятельность, в новом и непонятном для него мире. Какое-то недоразумение видимо отдаляло от него тех самых лиц, которые в Дрездене подобострастно ловили его улыбку, покорно выслушивали каждое его слово и готовы были идти по его мановению, куда он им укажет. Они и в Москве, всё ещё под обаянием его могущества, не выражали никаких враждебных ему намерений; но они молчали. Ни Пруссия, ни Австрия не спешили, вопреки договорам, умножать свои контингенты по первому его требованию. Он подозревал их и всю Германию, хорошо зная враждебное настроение в отношении к нему немецкого народа. Он подозревал даже Францию. К довершению печального положения его дел, начали приходить недобрые вести из Испании.

Что же заставляло его медлить в Москве, вопреки общему голосу его боевых сотрудников, требовавших немедленного её оставления? Его гордость не могла примириться с мыслью об *отступлении*; а положение его войск лишало возможности действовать наступательно. Уверенность в своём счастьи остановила его на той мысли, что стоит только выразить ему, что он готов заключить мир, как Русский император, поражённый участью своей столицы и, желая прекратить

бедствия войны, немедленно исполнит его желание и преподаст ему возможность явиться в величавом положении великодушного победителя. Только заключение мира могло вывести его из бедственного положения, мира, который он торжественно обещал своим войскам, как неминуемое последствие занятия Москвы.

В первый день вступления французов в Москву, оставшийся в ней главный начальник тамошнего Воспитательного Дома И. В. Тутолмин, желая спасти его от грабежа и оградить безопасность сирот, отправился с переводчиком в Кремль и, объяснив значение подчинённого ему заведения, просил защиты у генерала Дюронеля, назначенного губернатором города. Дюронель отрядил к нему 12 конных жандармов, которые и поселились в Воспитательном Доме. Деятельностью Тутолмина большая часть зданий этого дома была спасена от пожара. По возвращении своём в Кремль из Петровского дворца, проезжая по Москворецкой набережной и заметив Воспитательный Дом, сохранённый от огня, Наполеон спросил, что это за здание. Когда ему объяснили значение этого здания и что оно спасено его начальником и подчинёнными ему лицами, император послал генерал-интенданта графа Дюма объявить своё благоволение Тутолмину. «Я прислан к вашему превосходительству, говорил ему граф Дюма, от императора, который приказал мне благодарить вас за труды и за спасение вашего дома. Его величеству угодно с вами лично познакомиться».

На другой день, в 12 часов, Наполеон послал за Тутолминым своего переводчика Лелорня, с которым Тутолмин и отправился в Кремлёвский дворец. Наполеон принял его благосклонно и, выслушав его благодарность за покровительство, оказанное Воспитательному Дому, сказал: «Я желал сделать то же и для всего города, что могу теперь делать только для одного вашего заведения. Я желал поступить с вашим городом так, как я поступил с Веною и Берлином, которые до сих пор целы и не разрушены. Но Русские, оставив этот город почти пустым, сделали беспримерное дело. Они сами хотели предать пламени свою столицу и, чтобы причинить мне временное зло, разрушили создание многих веков. Я могу оставить Москву; но вред, ими самими причинённый себе, останется невознаградимым. Все донесения, которые ежечасно я получаю, и зажигатели, которые пойманы на самом деле, достаточно показывают, откуда исходили варварские повеления совершать подобные ужасы. Объясните это императору Александру, которому, без сомнения, неизвестны эти злодеяния. Я никогда подобным образом не воевал; мои войска умеют сражаться, но не жгут. От самого Смоленска я встречал только один пепел».

Затем Наполеон спросил Тутолмина, известно ли ему, что в день вступления французов в Москву выпущены были колодники из тюрем и правда ли, что увезены из столицы все пожарные трубы. Тутолмин отвечал, что действительно до него доходили слухи о том, будто бы выпущены колодники и что полиция увезла трубы. «Это не подлежит никакому сомнению», — заметил Наполеон. Между прочим, он спросил его, сколько находится детей в Воспитательном Доме, на сколько времени он имеет продовольствия и откуда надеется получить его на зиму. Тутолмин представил ему подробную ведомость о числе детей, просмотрев которую Наполеон с улыбкою сказал: «Вы увезли в Казань взрослых девиц!» В отношении к продовольствию Тутолмин объяснил, что имеет его только на один месяц, что хотя Воспитательный Дом заключает подряды на целый год, но у себя, за неимением места, помещает продовольствие только на месяц; в настоящее же время все его подрядчики оставили Москву, и он лишён возможности возобновить свои запасы. «А откуда город получает предметы продовольствия?» — «Хлеб из Украинских, скотину из Малороссийских, а мелкую живность из ближайших губерний. Хлеб доставляется или на барках весною, или по зимнему пути», — отвечал Тутолмин. — «Какой шар делал англичанин Шмидт, для пагубы моего войска и меня самого?» — продолжал расспрашивать Наполеон и, когда Тутолмин отвечал, что об этом ничего не знает, он заметил: «Я знаю, что шар делался в семи верстах от Москвы, но не был окончен; поэтому его сожгли, а оставшиеся горючие вещества употребили на сожжение Москвы. Такое варварство недостойно просвещённого народа». Наконец, он сказал: «Как бесчеловечно поступили Русские, оставив 10 тысяч раненых без пищи и призрения!» и, отпуская Тутолмина, повторил: «Напишите обо всех происшествиях Москвы к вашему императору и отправьте с донесением своего чиновника, через которого можете получить ответ. Я дам ему пропуск чрез мои аванпосты»[1].

Гордый завоеватель не решался ещё выразить желание вступить в переговоры о мире, но косвенным путём надеялся достигнуть этой цели. Рассчитывая, что Александр Павлович будет отвечать на донесение Тутолмина, он надеялся, что этот ответ может подать ему повод войти в непосредственные с ним сношения. Он ещё верил в силу обаяния, которое, по его мнению, он производил на Русского императора в личных свиданиях в Тильзите и Эрфурте; но он находился в это время в таком положении, что вера была потрясена сомнением, а гордость должна была уступать силе обстоятельств.

Вследствие случайных причин, отставной капитан гвардии И.А. Яковлев замедлил выездом из Москвы. 2-го сентября, когда он

садился в карету, чтобы выехать из столицы, отряд французских солдат ограбил его с семейством и слугами, отнял экипажи, лошадей и пожитки. Дом его и родственников его сгорели один за другим. Ограбленные, он и его родственники, с их родными, прислугою и сотнею крестьян, бродили без пищи и крова по Московским пожарищам. Случайно встретившись с полковником Менадье, принадлежавшим к Главному штабу маршала Бертье, Яковлев спрашивал его, какими способами мог бы он выбраться из Москвы. Полковник указал Яковлеву на маршала Мортье, который в свой черёд объяснил, что не может дать ему разрешение, но должен наперёд доложить о том императору. Через несколько времени (9 сентября) переводчик Лелорнь приехал за Яковлевым, привёз его в Кремлёвский дворец и ввёл в тронную залу, где ожидал его Наполеон. После обычных приветствий, первым предметом его речей, так же, как и Тутолмину, был пожар Москвы. «Конечно, не мы поджигаем город,— говорил он.— Я занимал почти все столицы Европы и не сжёг ни одной. Мне пришлось сжечь только один город в Италии и то потому, что дрались на улицах. Как это вы сами хотите разрушить Москву, где покоится прах всех предков ваших государей!» Яковлев отвечал, что он не знает, кто был причиною этого бедствия; но его последствия испытал он на себе, потеряв всё своё имущество. «Кто был вашим губернатором в Москве?» — спросил Наполеон, хотя очень хорошо знал его имя.— «Граф Ростопчин»,— подсказал Лелорнь.— «Что это за человек?» — продолжал спрашивать Наполеон.— «Он человек известный по своему уму»,— отвечал Яковлев.— «Может быть, он умён,— возразил Наполеон,— но он сумашедший. Я прежде имел понятие об этой стране и всё что я видел, начиная от границы и до Москвы, показывало, что это прекрасная страна, повсюду обработанные поля, повсюду жилища; но я находил их опустелыми или сожжёнными. Это вы сами разоряете прекрасную страну, и для чего? Это мне не препятствовало идти вперёд. Я понял бы, если б вы поступили так с Польшею. О, поляки этого стоили, потому что они предались нам. Наконец, надо же положить предел кровопролитию; пора нам примириться. Эта война чисто политическая, и мне нечего делать в России. Я от неё ничего не требую более, как исполнения условий Тильзитского договора; я хочу возвратиться, потому что все мои дела касаются Англии. О, если бы я взял Лондон, то не скоро бы его оставил! Да, я хочу возвратиться во Францию. Если император Александр желает мира, то ему стоит только известить меня об этом; я пошлю к нему одного из моих адъютантов, Нарбонна или Лористона, и мир немедленно будет заключён. Но если он желает продолжать войну, то и я буду продолжать; мои солдаты только того

и требуют, чтобы идти на Петербург. Ну что же, мы пойдём, и Петербург испытает участь Москвы».

Воспользовавшись тем временем, когда Наполеон нюхал табак, Яковлев спросил его: «Где находится наша главная армия?» «Ваша армия отступает по Рязанской дороге», – отвечал Наполеон. – «А Витгенштейн?» – «Он у Петербурга; его совершенно разбил Сен-Сир. Ваши солдаты очень хороши, у вас нет недостатка и в хороших офицерах; но ваш офицер не выдержит того, что может выдержать наш. Наш одинаково переносит зной и холод и всякого рода лишения».

«В словах Наполеона, – замечает Яковлев, – выражались или хвастовство или ложь. Так он уверял, что наши бумажные деньги каждый день падают в цене, и мы скоро обанкротимся, что его солдаты завели торги в Москве и прибавил: «Знаете ли, если мои солдаты дадут об этом знать своим родственникам, то привлекут к вам всю Европу, как в обетованную землю». «Вы желаете пропуска из Москвы чрез мои аванпосты, – говорил он, – я согласен на это, но с условием: когда проводите своих, куда намереваетесь их проводить, поезжайте в Петербург. Императору будет весьма приятно видеть свидетеля-очевидца всех происшествий в Москве и выслушать ваш отчёт»». Яковлев отвечал, что, по своему общественному положению, он не имеет никакого права лично представляться Императору. Наполеон возразил, что он может это устроить или через обер-гофмаршала графа Толстого, которого он знает как хорошего человека, или поручить камердинеру Императора доложить о себе, или наконец встретить Императора во время его ежедневных прогулок. Вынужденный настояниями Наполеона, Яковлев наконец сказал: «Государь! Я нахожусь теперь в вашей власти; но я не перестаю быть верным подданным императора Александра и останусь им до тех пор, пока течёт моя кровь в моих жилах. Не требуйте от меня того, чего я не могу сделать и, следовательно, не могу вам и обещать». – «Хорошо, – отвечал Наполеон, – в таком случае я напишу письмо к императору. Я скажу ему, что приглашал вас к себе, что я с вами говорил». По свидетельству Яковлева, Наполеон рассказал ему содержание письма, сущность которого заключалась в том, что он желает заключить мир. Он объявил ему, что он должен отвезти письмо в Петербург и, пожелав доброго пути, отпустил. Яковлев ничего не отвечал. «Признаюсь откровенно, – говорит он, – что я и тогда не знал, как и теперь не знаю, следовало ли мне взять это письмо или отказаться от него»[2].

Император Наполеон писал: «Государь, мой брат! Узнав, что брат министра Вашего Величества при Кассельском дворе находится здесь, я призывал его к себе и говорил с ним. Я поручил ему отправиться

к Вашему Величеству и выразить Вам мои чувства. Прекрасная, великолепная Москва уже не существует! Ростопчин её сжёг. 400 зажигателей были пойманы на месте преступления. Все они показали, что поджигают по приказаниям губернатора и начальника полиции. Они были расстреляны. Наконец, пожары, кажется, прекратились. Три четверти домов сделалось добычею пламени; уцелела одна четвёртая часть. Поступок ужасный и не имеющий цели. Того ли хотели, чтобы лишить нас некоторых способов продовольствия? Но запасы находились в погребах, до которых не коснулся огонь. Впрочем, как можно было предавать огню один из прекраснейших городов в свете, созданный веками, для достижения такой незначительной цели? Точно также поступают, начиная с самого Смоленска, и от этого доведено до нищеты 600 тысяч семейств. Городские пожарные трубы были или изломаны, или увезены; часть оружия из арсенала была роздана преступниками, и нам пришлось выстрелами прогнать их из Кремля. Человечество, выгоды Вашего Величества и этого обширного города требовали вверить мне столицу, оставленную Русскими войсками. Надо было оставить в ней власти, городовое управление и гражданскую стражу. Так поступали два раза в Вене, в Берлине, в Мадриде; так поступили и Вы в Милане, когда входил в него Суворов. Пожар дал солдатам право грабить; они оспоривали добычу у пламени. Если бы я мог предполагать, что так поступают на основании повелений Вашего Величества, то я не писал бы к Вам этого письма. Но я считаю несогласным с Вашими правилами, с Вашим сердцем, с Вашим светлым образом мыслей, чтобы Вы допустили такие неистовства, недостойные ни великого монарха, ни великого народа. В то время, когда вывозили из Москвы пожарные трубы, в ней оставили 150 полевых орудий, 70 тысяч новых ружей, 1,600,000 патронов и много пороху, селитры, серы и проч. Я веду войну с Вашим Величеством без всякого озлобления. Простая записочка от Вас, прежде или после последнего сражения, остановила бы моё движение и, чтобы угодить Вам, я пожертвовал бы выгодою вступить в Москву. Если Ваше Величество, хотя отчасти сохраняете прежние ко мне чувства, то Вы благосклонно прочтёте это письмо. Во всяком случае Вы будете мне благодарны за то, что я отдаю отчёт Вашему Величеству о происходящем в Москве».

Это письмо было получено Александром Павловичем; но он не отвечал и не мог отвечать на него. Оно служило явным признаком, что Наполеон поставил своё войско в такое положение, что единственным для него способом спасения было бы скорое заключение мира. Мог ли Русский император идти ему на помощь и спасать своего

врага и врага России? Но Наполеон мог иначе объяснять себе молчание русского Государя. Конечно, он помнил, как упорно отказывался Яковлев лично представиться Императору и передать ему его письмо. Не получая ответа, он мог предполагать, что Яковлев решился взять это письмо для того только, чтобы выбраться из Москвы с своими родными и прислугою и не исполнил поручения, не доставил его письма. Молчание Государя Наполеонова гордость скорее всего могла объяснить этим обстоятельством. Он придумал новое средство.

В тот же самый день, когда он отказался от предположения, угрожая Петербургу, двинуть свои войска на соединение с Виктором, Сен-Сиром и Макдональдом, Наполеон решился отправить своего уполномоченного к императору Александру для предложения и заключения мира. Но этот уполномоченный мог достигнуть до Петербурга не иначе, как получив пропуск и даже провожатых от главнокомандующего русскими войсками. Поэтому, по его поручению, начальник его штаба (22 сентября) писал к Неаполитанскому королю: «Его Величество, решившись отправить к Русскому главнокомандующему одного из своих генерал-адъютантов, желает, чтобы вы поручили начальнику вашего штаба написать к начальнику неприятельского авангарда письмо в следующих выражениях: «Император, намереваясь отправить одного из своих генерал-адъютантов к князю Кутузову, желает знать день, час и место, где он может его принять». Это письмо должно быть передано под росписку начальника авангарда. Само собою разумеется, что император предоставляет избрать удобное время для этого дела, чтобы оно не показалось вынужденным обстоятельствами». Даже Мюрату, которого войска, состоявшие преимущественно из конницы, были ещё в большем расстройстве, нежели другие, Наполеон хотел представить этот поступок совершенно свободным и невынужденным. Но последние строки обличали его действительное значение. «Генерал-адъютант, которого пошлёт Его Императорское Величество, вероятно, приедет сегодня же вечером в вашу Главную квартиру»[3]. Очевидно, Мюрат как возможно скорее должен был исполнить возлагаемое на него поручение, чтобы не задерживать на неопределённое время генерал-адъютанта в своей Главной квартире. При Наполеоне находились графы Коленкур и Лористон, оба состоявшие послами Франции при Русском императоре. Всего естественнее представлялось отправить одного из них. За Коленкуром Наполеон признавал более дипломатических способностей и полагал, что он более мог иметь влияния и успешнее действовать на Русского императора и, наконец, что он более знаком если не с Россиею, то с высшим обществом Петербурга, вследствие

продолжительного там пребывания. Но Коленкур постоянно выражал несочувствие к предприятиям своего повелителя против России, постоянно защищал Русского императора и заявлял об его миролюбивых свойствах. Наполеон во всё время похода не входил с ним ни в какие рассуждения. Теперь, вынужденный обстоятельствами, он должен был обратиться к нему. Он призвал к себе Коленкура, но прежде чем начать речь, долго и скорыми шагами ходил взад и вперёд. Признаться перед ним, что он вынужден просить мира и требовать его услуг в этом случае, было тяжело для его гордости. Наконец, он заговорил, что намерен предпринять поход на Петербург, что разрушение этого города, конечно, огорчит Коленкура, которого он постоянно дразнил приверженностью к императору Александру; что это событие произведёт возмущение в России, которое может стоить даже жизни русскому Государю. Эти слова, конечно, также были рассчитаны на те чувства, которые Коленкур выражал постоянно в отношении к Александру Павловичу. «Но, продолжал Наполеон, из личного расположения к нему и потому, что он самый склонный к выгодам Франции, я желаю предупредить такой переворот и с этою целью посылаю вас в Петербург для заключения мира». Коленкур возразил, что такое посольство не только не будет полезно (потому что император Александр никогда не заключит мира, пока Французские войска находятся в пределах его империи), но даже вредно, потому что обличит их затруднительное положение. Тогда Наполеон вдруг прервал беседу словами: «Хорошо, в таком случае я пошлю Лористона». Он немедленно призвал его и, не обращая внимания на его отговорки, поручил ехать в Русский лагерь. «Я желаю мира, говорил он; мне нужен мир; я непременно хочу его заключить, только бы честь была спасена»[4].

Лористон был снабжён письмом Наполеона к князю Кутузову. Единственным последствием его поездки в Тарутинский лагерь было обещание, данное русским главнокомандующим, что он немедленно сообщит Государю своему о желании Наполеона вступить в мирные переговоры и с этою целью отправит в Петербург своего адъютанта. До получения ответа Русского императора, дела должны были оставаться в прежнем положении. Лористон, «при сём случае, расчитывал с нетерпением время, когда сей ответ прийти может», как доносил Государю князь Кутузов[5]. Не менее его рассчитывали это время сам Наполеон и все те из окружающих его лиц, кому была известна цель поездки Лористона.

Весть о попытке заключить мир скоро распространилась в войске. О поездке Лористона говорили с живым участием, как свиде-

тельствует очевидец. Впрочем, слухам о мире давали веру потому только, что все его желали. Люди благоразумные считали его совершенно невероятным. «Возможно ли, чтобы правительство, которое решилось на такое дело самоотвержения, грозное и дикое, как сожжение Москвы, не захотело бы лучше похоронить себя под развалинами империи, нежели вступать в мирные переговоры с нами»[6]. Французы не придавали важного значения посылке Лористона и объясняли упорство Наполеона продолжать своё пребывание в Москве тем, что он имел сведения, на основании которых был уверен, что мир будет заключён. Не поездка Лористона могла служить основанием этой уверенности, но «гораздо вероятнее (предполагали они), что он тайно вёл переговоры в Петербурге и что там происки Англии разрушили его надежды»[7]. Не знаем, поощрял ли Наполеон эту уверенность, которую едва ли сам имел; но начальник его штаба вполне разделял её. Генерал-интендант граф Дюма рассказывает, «что он стоял вместе с маршалом Бертье на одном из балконов Кремлёвского дворца и наблюдал, с каким усилием трудились рабочие, чтобы снять крест с Ивана Великого, который, по его мнению, особенно чтим у русского народа, полагающего, что он сделан из чистого золота». Император Наполеон задумал поставить его на купол Дома Инвалидов в Париже. Начальник штаба, огорчённый и взволнованный этим грабежом, лишённым всякого политического смысла, «сказал мне, говорит граф Дюма: «Возможно ли делать подобные вещи, когда мир почти заключён?»[8]

Но Наполеон делал подобные распоряжения именно потому, что с каждым днём терял надежду на заключение мира. Дни проходили за днями, а ответа от Русского императора он не получал. Между тем, судя по времени, он должен был его получить. Это раздражало его, и долгое пребывание в Москве лишало последней надежды даже совершить правильное отступление. Позорное бегство Великой армии под его предводительством представлялось его воображению, вызывало из глубины его души дикие страсти и возбуждало жажду неразумного мщения. Он руководился уже не соображениями великого полководца и императора образованного народа, но инстинктом грубого корсиканца. Он сам начал грабить, не с тою целью, чтобы доставить необходимые средства существования своим войскам, а для обогащения своей казны. Он велел в это время обобрать все серебряные и золотые украшения в Кремлёвских соборах. В Успенском «поставлены были плавильные печи», чтобы переплавить их в слитки для удобства перевозки. Он назначил в распоряжение маршала Бертье, для раздачи жалованья войскам, миллион фальшивых ассигнаций, определив

цену рубля в один франк[9] и в то же время, сберегая свою казну, велел роздать им медные деньги, найденные в Москве. Ассигнаций, которых подложность с одного взгляду была видна, никто не брал, тем более, что они были сторублёвые; тяжёлые же медные деньги, незначительной ценности сравнительно с их весом, брали французские солдаты; они начали их продавать и устроили меняльные лавки по Никольской, у Каменного моста и в других местах. Корысть вызвала из нор и подвалов ограбленных бедняков, из которых многие принадлежали к такому слою Московского народонаселения, которое и всегда готово было поживиться чужим добром. По свидетельству современников, этот торг привлёк и крестьян подмосковных деревень, также разорённых и ограбленных. На Никольской, за 10, потом за 7, 5 и 1 рубль серебра можно было купить сколько угодно мешков меди в 25 р. Трудность заключалась в том, как унести их с собою, по причине тяжести и потому, что густая толпа окружала продавцов. У покупщиков отнимали их другие лица, жаждавшие приобретения, а часто и сами французские солдаты, чтобы продать в другой раз. «Трудно себе вообразить, — говорит очевидец, — какое зрелище представляла Никольская, наполненная такими продавцами и покупателями. Я пошёл посмотреть на эту толпу и должен был осторожно пробираться у стены, чтобы не сделаться более, нежели простым зрителем. Солдаты саблями сыпали удары направо и налево, чтобы разредить эту толпу. На другой день устроили торг у Воскресенских ворот, огородившись от толпы, и продавали мешки с медью из окон городских присутственных мест. Толпа по-прежнему осаждала продавцов, и только ружейными выстрелами можно было водворить некоторый порядок»[10].

Конечно, Наполеон должен был стараться о водворении хотя некоторого порядка в своих войсках; а между тем он не только возбуждал низкие страсти Московских обывателей, но и усиливал беспорядок, роздав войскам медные деньги в виде жалованья, которое давно не платилось им, несмотря на представления маршала Бертье.

В первых числах октября больные и раненые, которые, по свидетельству докторов, могли вынести продолжительное путешествие, были вывезены по Смоленской дороге. Другие оставлены в Москве и помещены в Воспитательном Доме[11]. Так называемые трофеи вывезены были 3 октября под охраною генерала Клапареда, а генерал Нансути, сопровождавший последний обоз с ранеными, получил приказание возвращать назад в Смоленск все обозы и отряды, которые двигались в Москву[12]. В это же время отправлены в Смоленск и русские пленные, и состоялся жестокий приказ беспощадно убивать всякого, кто будет отставать по усталости или по истощении сил

от своих товарищей. Русский офицер, находившийся в одной из таких партий, говорит, что «вся колонна состояла слишком из тысячи человек, но и тут, как между офицерами, не все были военные и понапрасну делили с нами горькую участь. В солдатской колонне много было купцов и крестьян. Французы, ссылаясь на их бороды, уверяли меня, что это казаки. Тут были и дворовые люди, и даже лакеи в ливреях, которые, по мнению провожающих нас [французов], были также переодетые солдаты»[13].

Деятельность Наполеона не ослабевала и в это время; но, одержимый порывами гнева, он то отдавал приказания, которые сам отменял потом, или такие, которые исполнены быть не могли; то увлекался едва вероятными предположениями, обличавшими тревожное состояние его духа. В последних числах сентября, узнав, что в одном из подвалов найдено десять человек русских солдат, он предписал маршалу Бертье немедленно расстрелять их, как поджигателей, «завтра в 4 часа утра, без огласки». Но на том же приказе было помечено, что он не был исполнен потому, что это оказались больные[14]. 1-го октября французские полицейские чиновники взяли и под стражею привели в дом, занимаемый комендантом, шесть человек русских из высших сословий. Их продержали с 7 часов утра до 8 вечера в холодной комнате, у дверей которой поставлены были четыре драгуна с обнажёнными саблями. Вечером пришёл к ним генерал Дюронель с полицеймейстером Виллерсом, которые объявили им, что «высланные из Москвы графом Ростопчиным на барке иностранцы в Казань или Сибирь содержатся там дурно; посему император Наполеон приказал им написать об этом к своему императору и князю Кутузову, чтобы французы непременно были возвращены, в противном случае они будут расстреляны». Их отдали под стражу, продержали три дня, давая каждому по куску хлеба в день, и потом выпустили на свободу, которая была им объявлена маршалом Мортье[15]. Прежде ещё водворения своего в Кремле, Наполеон услыхал от являвшихся к нему Московских французов об этой мере графа Ростопчина и потом, в первые дни пребывания в Кремле и Петровском дворце, мог узнать все подробности и от оставшихся в Москве семейств этих французов. Если бы он с самого начала принял какие-нибудь меры, чтобы облегчить их участь, как и рассказывают некоторые из них[16], то подобный образ действий имел бы значение. Но захват шести человек заложников, за несколько дней до оставления Москвы, с тем, чтобы через три дня выпустить их на свободу, обнаруживает только чувство мести, которое не могло повести ни к каким последствиям.

Ещё страннее представляются те враждебные России замыслы,

которые питал Наполеон в это время. Один из французов, находившихся тогда в Москве и часто посещавший графа Дарю, которому Наполеон сообщал свои соображения с наибольшею откровенностью, рассказывает, «что он предполагал образовать обширное Польское королевство и возложить на себя Польскую корону, устроить особое герцогство Смоленское для князя Понятовского и вокруг Польши образовать союз государств наподобие Рейнского (la confédération de la Vistule); сюда он хотел присоединить и те губернии, которые намеревался отнять у России. Чтобы привести в исполнение такое предположение, он рассчитывал не только на силу оружия, но и на свои обольщения. Он вёл разговоры с крестьянами, которым сулил освобождение; но убедился, что это оружие против России, на которое он с уверенностью рассчитывал, не могло иметь никакого значения в руках иностранца, ненавидимого Русским народом. Поэтому он думал, нельзя ли иметь в своём распоряжении кого-либо из потомков удельных Русских князей, который ценою измены Отечеству захотел бы сесть на престол своих предков. Особенно его внимание обращалось на князей Долгоруких, так много пострадавших в царствование Анны Иоанновны. Он розыскивал в Москве с большим старанием в сохранившихся архивах и частных библиотеках всё, что касалось до Пугачёвского бунта, думая воспользоваться теми средствами, которые употреблял этот злодей[17]. В этом смысле писались даже проекты манифестов». Наполеон предполагал также возмутить татар. Получив известие от своего губернатора из Вильны, генерала Гогендорпа, что некоторые из пленных татар изъявляют готовность служить в его войсках, он немедленно отвечал ему, что «все способы умножить конницу дороги; ничего не должно оставлять без внимания. Вы пишете, что пленные татары пламенно желают стать под мои знамёна. Смело можно составить из них полк, если найдётся тысяча человек с лошадьми. Надо содействовать этому»[18]. Он искал даже эмиссаров, чтобы послать их в Казань подговаривать к восстанию соплеменников.

Вместе с этими фантастическими предположениями, Наполеон обдумывал в это время иного рода мщение, которого исполнение действительно было в его власти: он намеревался сжечь все уцелевшие в Москве, после пожаров, здания и взорвать Кремль с его древними стенами и башнями, с его дворцами и соборами.

Между тем проходило время, и с каждым днём положение французских войск становилось хуже и опаснее. Народная война вокруг столицы разгоралась во всей силе; смелость партизанских отрядов умножалась; казаки, значительно усиленные новыми полками, при-

шедшими с Дона в Тарутинский лагерь, врывались даже в самый город. Не только за заставами Москвы и в её окрестностях ежедневно или попадали в плен, или погибали сотни неприятелей; но и в самом городе они не находились в безопасности. Из рассказов очевидцев-свидетелей видно, до какой степени доходила смелость казаков в этом отношении. Недалеко от Калужских ворот, в одном из уцелевших домов, у хозяйки-француженки жило несколько приятелей её офицеров, а против них помещался в другом небольшом доме отряд гусаров. По вечерам эти гусары играли в карты. К ним хаживал солдат, исправлявший должность конюха у офицеров и одержимый страстью к карточной игре. Он заставлял подметать свою конюшню мальчика 14 лет, ученика Духовной академии, водил его иногда с собою к гусарам. Однажды, во время игры, он на счастье посадил его рядом с собою; но, проигравшись, дал ему такого пинька, что мальчик едва опомнился, выбежав из дома на улицу. В это время он заметил, что кто-то, пригибаясь и поднимаясь, смотрел в освещённые окна. Впоследствии мальчик вспоминал: «Я спросил: “Что ты так кобенишься и пристально высматриваешь, не хочется ли и тебе поиграть с ними в карты?” Неизвестный, не ожидая в глухую полночь быть замеченным, стремительно отскочил от окон и став передо мной грубым голосом отвечал: «Тебе какое дело? Ну – поиграть! Разве ты живёшь в этом доме?» Я, вглядываясь в неизвестного, который показался мне крестьянином с рыжей, курчавой бородой, в сермяге, подпоясанной кушаком, и мужицкой шапке, сказал: «Нет, брат, я здесь не живу, а был только в гостях и после славного угощения, вот этим!.. и показал ему кулак, возвращаюсь домой». Крестьянин, зорко посматривая на меня, проговорил: «да ты Русской, что ли?» Я отвечал: «конечно не Француз, а Московский житель, по несчастью со всем семейством попавшийся в плен к разбойникам-неприятелям! И все претерпеваем жестокие страдания». Неизвестный, несколько подумав и взяв меня дружески под руку, ласково сказал: «я вижу, ты доброй малой! пойдём-ка в этот сад, мне нужно кое о чём с тобою переговорить по секрету; здесь опасно, на улице беспрестанно шатаются неприятели». Подстрекаемый любопытством узнать тайну, я, хотя с боязнию, решился идти за незнакомцем в указанное место. Продравшись в темноте по извилистым дорожкам обширного сада и войдя в густую чащу дерев, неизвестный остановился и, распахнув армяк, сказал: «теперь узнаёшь ли, кто я?» Удивлённый неожиданной встречей, я увидел против себя стоявшего казака в синем полукафтане, с двумя пистолетами за поясом и саблею при бедре, – и спросил его: «Каким образом он попал в Москву?» Казак отвечал: «Очень просто, несколько вёрст ехал верхом на лошади,

а городом шёл пешком. Впрочем, об этом потолкуем после, а теперь, малюга, слушай меня обеими ушами и о чём буду спрашивать, отвечай сущую правду, как следует Русскому верноподданному. Откроюсь тебе, что я уже несколько дней наблюдаю за твоими знакомыми гусарами; мне нужно иметь только верное сведение: сколько человек живёт в этом доме, где находится их оружие, в которой комнате они спят и где находятся их лошади?» Когда я рассказал ему обо всём с подробной точностью, казак, грозя мне пальцем, проговорил: «Эй! Малюга, заруби же себе для памяти на носу, если хочешь быть жив сам и твоё семейство, чтобы никому не сказывать, даже отцу родному и матери, о чём я тебя спрашивал. Ни гу-гу и о том, что может произойти с этими гусарами». Я от страха поклялся забыть всё, что сам слышал». Воспользовавшись знакомством с казаком, мальчик спросил его: «Скоро ли будет заключён мир, которого нетерпеливо ждёт от нашего Государя Бонапарт?» Ему нередко приходилось слышать, что неприятели только и желают скорейшего заключения мира. Казак, «вытаращив с удивлением глаза, отвечал: «О каком ты городишь мире? У нас в армии о нём нет ни помину, ни слуху? Главнокомандующий войсками недавно в приказе объявлял, что теперь только начинается война с неприятелем, но только уж не оборонительная, а наступательная! Правду сказать, наш фельдмаршал Кутузов не дремал, он во всё время, пока неприятель пировал в Москве, приготовлял ему славную встречу под Тарутином. Я ономнясь отвозил пакеты от нашего полковника в главную квартиру, к атаману Платову; проезжая видел на нескольких верстах устроенные батареи и подумал: ну, вряд ли неприятель прорвётся в Малороссию. Не вернуться бы ему опять на Старую Смоленскую дорогу?»» Сказав эти слова, казак отправился к своим, на сборное место, которое находилось весьма недалеко, за Донским монастырём. Через день суматоха, поднявшаяся в том доме, где жил мальчик, разбудила его утром ранее обыкновенного времени. Гусары все были перебиты; их оружие, одежда были похищены, лошади уведены. Поднялась тревога между офицерами: производилось исследование, которое ничего не открыло. Полковник с офицерами, после донесения об этом происшествии, возвратясь из Кремля, говорили хозяйке дома, что маршал Ней осыпал их упрёками за беспечность. «А сказать правду, — говорили они, — так во всём виноват сам Наполеон, завёл армию в такую глушь, в которой не отыщешь ни начала, ни конца; одни дремучие леса да болота, трясины, тундры, да безграничные поля. Мы даже до сих пор не знаем, где находится главная Русская армия. Может быть, некоторые её отряды, врываясь в Москву по ночам, производят подобные убийства, которых в прошлую ночь было не одно наше»[19].

По окраинам Москвы, уже среди белого дня, казаки нападали врасплох, подметив неосторожных неприятелей. «Проходя мимо одного дома, уже в то время, как Французы начали оставлять Москву, я полюбопытствовал взглянуть в щель забора, что делалось на дворе, — говорит очевидец, — и увидал, что семь человек неприятелей, похожих более на денщиков или служителей, почти безоружные, укладывали какое-то имущество в фуру. Вдруг влетел на двор казак и в несколько секунд всех их перебил пикой, соскочил с лошади, обыскал их и уехал». В это же время, когда Наполеон уже выехал из Москвы, Мортье заперся в Кремле и выступали последние отряды. Один из таких отрядов, по свидетельству также очевидца, двигался в направлении к Петровскому дворцу. Вдруг против него показался отряд казаков; началась перестрелка; казаки двинулись в атаку, «французы не устояли и обратили тыл, казаки вскоре настигли их; пошла работа пиками и, в это же самое мгновение, бегущих французов встретили православные наши мужички, как бы из земле выросшие, с домашними орудиями. Тогда всё смешалось. Картина была страшная! Казаки с изумительною быстротою укладывали французов дротиками на вечный покой; с другой стороны мужички помогали также усердно; французы видимо исчезали с лица земли; пощады им не давали». Пространство от Камер-коллежского вала до Петровского дворца было изрыто ямами, из которых брали глину. В этих-то ямах сидели вооружённые подмосковные крестьяне, сторожа неприятелей; в эти же ямы они и зарывали убитых[20]. Почти ежедневно приходили также известия об успешных действиях наших партизанов, непрерывною цепью окружавших столицу и подступавших к ней всё ближе и ближе. Некоторые из этих действий имели особенно важное значение, как, например, взятие приступом Вереи генералом Дороховым и срытие её укреплений. Верею император Наполеон велел укрепить и посадил в ней значительный гарнизон, считая её важною точкою опоры для охранения своих сообщений по Смоленской дороге. Это известие произвело большое волнение между французами; но и оно не могло победить упорство Наполеона, всё ещё не решавшегося на отступление. Однако его военные распоряжения в это время указывали ясно, что несколько дней ранее или позднее, он должен был принять это решение.

В последних числах сентября он поручил начальнику своего штаба уведомить маршала Жюно*, с возложением на него ответствен-

* Весьма распространённая ошибка в литературе об Отечественной войне 1812 года – *А. Жюно* был не маршалом Франции, а дивизионным генералом; этой ошибки не избежал даже такой внимательный историк как М. И. Богданович в своей фундаментальной «Истории Отечественной войны 1812 года» *(прим. ред.)*.

ности (sous la responsabilité), чтобы он всех раненых и больных, находившихся в Можайске, Рузе и Колоцком монастыре, немедленно отправил в Вязьму, и в то же время написать генералу Бараге-д'Ильеру в Вязьму, чтобы оттуда он отправил их к Смоленску. С этою целью поручалось обоим генералам делать поиски на 25 вёрст в окружности от Можайска и Вязьмы, чтобы собрать достаточное число подвод для исполнения предписания. Маршалу Жюно позволялось даже воспользоваться теми военными транспортами, которые придут в Можайск из Смоленска, нагруженные уже не одеждою и припасами для госпиталей, но только мукою, для снабжения госпиталей и этапов. «Моё намерение, говорил в заключение Наполеон, состоит в том, чтобы в продолжении осьми дней не оставалось ни одного раненого ни в Рузе, ни в Колоцком монастыре, ни в Можайске и Гжатске. Заметьте генералам, что это дело великой важности»[21].

По донесениям Бараге-д'Ильера оказывалось, что в его распоряжении находится слишком мало войск, чтобы он мог успешно охранять безопасность дороги. Он предлагал сосредоточить значительные корпуса войск в Вязьме, Гжатске и Дорогобуже. Наполеон, одобряя его предположения, предписал останавливать в этих городах и в Можайске все отряды, следовавшие из Смоленска в Москву. Очищая Смоленскую дорогу от обозов с больными и ранеными, обеспечивая её от нападений наших партизан и народных ополченцев, конечно, он должен был обратить внимание на то, что эта дорога совершенно разорена и не может представить никаких способов для продовольствия и фуража. Поэтому он писал начальнику своего штаба: «Так как дорога от Смоленска до Можайска совершенно истощена, то не мешало бы (il est convenable) вам написать к Бараге-д'Ильеру, чтобы он предписал комендантам Дорогобужа, Гжатска, Вязьмы и пр. розыскать две параллельные дороги, в двух или трёх милях справа, таким образом, чтобы следующие к Дорогобужу, Вязьме и Можайску отряды проходили в эти города, но шли бы по дорогам неопустошённым»[22]. В то же время он поручал уведомить маршала Виктора, чтобы он задерживал все отряды в Смоленске, даже генералов и офицеров и не допускал их продолжать путь к Вязьме и Можайску по *разорённой* дороге. Предписывая составить дивизию из подходивших к Смоленску отрядов войск, подчиняя её Бараге-д'Ильеру и на его место назначая в Вязьму генерала Шарьера, Наполеон поручал этой дивизии запастись провиантом в Смоленске на 12 дней и быть готовою к выступлению не по старой дороге на Вязьму, но по новой, «которую я укажу», писал Наполеон, прибавляя: «Поэтому по старой дороге не будут уже следовать никакие: ни артиллерийские и вообще воен-

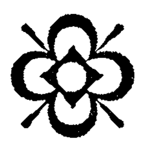
ные обозы, ни отряды конницы и пехоты; но только эстафеты, почта и некоторые офицеры Главного штаба по некоторым неотлагательным делам служебным, например: сопровождению ручных мельниц, которые должны прибыть в Смоленск из Парижа. Эта дорога будет также открыта для перевозки больных и раненых и отрядов, которые от армии будут следовать в Смоленск; но ничего не будет следовать по ней из Смоленска к Москве»[23].

Несмотря на то, что предписания Наполеона были таковы, что или не могли быть вовсе исполнены, как предписание маршалу Жюно (собрать у русских крестьян по окрестностям Можайска достаточное число подвод для перевозки раненых и больных), или требовали значительного времени для исполнения; но общее значение всех этих мер очевидно состояло в том, чтобы очистить и обезопасить Смоленскую дорогу на Можайск и Москву. 2 (14) октября, по его поручению, Бертье писал к Мюрату: «Император, отправляя из Москвы больных и раненых и вооружая Кремль, предписывает и вам отправить в Можайск ваших больных и раненых. Прикажите хорошо разведать путь, по которому вы могли бы двинуться к Можайску, чтобы вы знали дорогу, на случай, если вам придётся отступать перед неприятелем. Император предполагает, что ваши обозы, парк и большая часть пехоты могут уйти так, что неприятель и не заметит». Бертье поручал ему запастись продовольствием на много дней и сам изъявлял готовность выдать несколько муки и вина из Московских запасов[24]. Наполеону, очевидно, приходило на мысль, что сила обстоятельств может принудить его отступать по этой дороге. Но, без сомнения, это была бы крайняя мера, которой он желал избежать, о которой он не мог никому и говорить: каждый из его начальников с ужасом отнёсся бы к такому предположению. Но он проговаривался иногда во время гнева и раздражения, прибавляя, однако же, что он пойдёт по этой дороге после заключения мира[25].

Желанная мысль о скором оставлении Москвы распространилась в войсках. Поспешный вывоз больных и раненых и особенно возвращение в Москву корпусов, находившихся в Богородске и Дмитрове, подтверждали эту надежду. Все дожидались решительного приказания. Корпус маршала Нея возвратился в Москву из Богородска 3 (15) октября, и 6-го император делал ему смотр в Кремле. «Этот смотр был так хорош, как позволяли только обстоятельства, — говорит один из офицеров, служивших у него. — Полковники соревновались в усердии один перед другим, чтобы показать полки в возможно лучшем состоянии. Никто, смотря на них, не подумал бы, сколько перестрадали и как страдали эти солдаты. Я уверен, что хороший вид, который

сохраняли наши войска посреди ужаснейших бедствий, поддерживал и упрямство Наполеона, убеждая его, что с такими людьми нет ничего невозможного»[26]. Ту же мысль почти в тех же словах действительно выразил Наполеон графу Нарбонну на одном из таких смотров; но едва ли сам он верил этому. Его опытный глаз не мог не замечать, какое незначительное количество строевых чинов мог каждый полк представить ему на смотр в сносном порядке. Их число постепенно убывало даже в гвардии и в корпусе Нея, который сравнительно с другими находился в лучшем положении, стоя у Богородска.

Во время этого смотра разнеслась весть, что с той стороны, где находится авангард Мюрата, слышна сильная канонада. Долго никто не смел довести это обстоятельство до сведения императора. «Наконец, отважился на то Дюрок. Император переменился в лице, но скоро оправился и продолжал смотр», — говорит Сегюр. По окончании смотра, за завтраком, он, по-видимому, спокойно выслушивал доклад Боссе об удачных представлениях в Позняковском театре и перечислял вместе с ним, каких бы выписать актёров и актрис из Парижа, для пополнения Московской труппы. Но это, тоже сценическое, представление вскоре было прервано приездом адъютанта Неаполитанского короля Беранже с известием о Тарутинском бое[27].



Глава 7

Тьер об отступлении Наполеона. – Распоряжения по оставлению Москвы. – Последние надежды Наполеона на мир. – План противодействий князю Кутузову. – Тревога москвичей. – Попытка отстоять Кремль. – Взрыв Кремля.

Избыток душевных сил Наполеона не соответствовал тем обстоятельствам, в которые он был поставлен во время своего пребывания в Москве. Он волновался, от одного предположения переходил к другому, и все одинаково оказывались неисполнимыми. Ни время года, ни состояние войск не дозволяли никаких наступательных действий. Мысли об отступлении не только не выносила его гордыня, но и строгие соображения указывали, что отступление может быть гибельно для войск, может разрушить его господство над Европою, поколебать созданное им политическое здание Французской империи. Лишь скорое заключение мира, в котором он был уверен до Бородинского сражения и который обещал своим войскам, могло спасти его от погибели. Но это сражение не походило на Ульм и Аустерлиц, на Иену и Ауэрштедт. В его уверенность вкрадывалось сомнение. Уступка без боя древней столицы России ненадолго подняла его надежду. Оставление Москвы жителями и пожары поколебали её окончательно. Последствием этих событий, совершенно для него неожиданных, был грабёж, расстроивший войска, и это расстройство поддерживалось и усиливалось недостатком продовольствия для людей и особенно корма для лошадей его многочисленной конницы, разрушавшейся с каждым днём, равно и артиллерии. Такое положение войск вынудило гордого завоевателя употреблять все способы, чтобы войти в переговоры о мире. Но все его попытки не имели успеха. Молчание Русского императора, не удостоившего ответом его предложения, и народное ополчение были для него точно также явлениями неожиданными. В тщетном ожидании ответа, окружённый народным восстанием, он, как лев, запертый в клетку, должен был ходить взад и вперёд на тесном пространстве, не имея возможности двинуться далее без явной опасности. Пребывание в Москве было предварением пребыванию на острове Святой Елены. Те же чувства волновали его как здесь, так и там. Но в Москве они были для него новы и непривычны, а потому сильнее уязвляли его

душу. Сознавая необходимость выйти из этого положения, он не мог, однако же, решиться на этот роковой шаг силою собственной воли и как бы ожидал внешнего обстоятельства, которое вывело бы его из нерешительного положения, которое приводило его в раздражение, выражавшееся в постоянных, резких выходках в отношении к окружавшим его лицам и в жажде мщения России и Русским. Таким внешним обстоятельством и было известие о поражении его авангарда под Тарутиным. Оно придало определённое направление обычной его деятельности.

Разразившись наперёд гневом против нашего главнокомандующего, будто бы нарушившего условия перемирия, которое вовсе не заключалось, император отдал приказание, чтобы войска приготовлялись к немедленному выступлению из Москвы, и принялся потом диктовать своим секретарям письма к маршалу Бертье, который тщательно их переписывал в виде приказов из главной квартиры. Эти приказы давали направление движению разных частей войска и служили началом исполнения предположений о дальнейшем ходе его военных действий.

В чём же заключались эти предположения? Знаменитый историк Консульства и Первой империи говорит, что Наполеон составил смешанный план действий (imagina une combinaison mixte), состоявший в том, чтобы напасть на Тарутинский лагерь, выгнать из него Кутузова, что, конечно, не имело бы вида отступления, отбросить его на правую или левую сторону и потом двинуться на Калугу, приблизить к себе через Ельну маршала Виктора или сильную дивизию (Барагед'Ильера), которая была уже образована в Смоленске, провести зиму в Калуге, в стране плодоносной, *в климате более умеренном*, сохраняя сообщения, справа с Смоленском и с тылу с Москвою. На основании этого соображения, Наполеон сохранил бы обладание Кремлём, поручив защищать его маршалу Мортье с 4 тысячами гвардии и 4 тысячами спешенной конницы, из которой составлены были батальоны пехоты, оставив там самые тяжёлые военные принадлежности, раненых, больных, отсталых и таким образом снабдив опытного маршала 10-тысячным гарнизоном и продовольствием на 6 месяцев. Расположившись в Калуге, при *некоторого рода изобилии*, подавая руку с одной стороны Мортье, от которого он находился бы в пяти днях перехода, с другой – Виктору, от которого также был бы в пяти днях, если б приблизил его к Ельне, Наполеон находился бы как *паук* в средоточии растянутой сети, готовый двинуться всюду, где потребовалась бы его помощь. В таком случае он ничего бы не оставлял; напротив, он занял бы новые области, утвердившись в *лучшей* стране, в средото-

чии России. Если иметь в виду совершенно *выигранное* сражение над Кутузовым у Тарутина и зиму обыкновенную по холодам, то это предположение представляло надежду на успех, не принимая даже в соображение мысли о приближении к Польше. В последнем случае Мортье, запасшись продовольствием на десять дней, оставил бы Москву и спокойно пришёл бы в Смоленск, соединясь с расположенными по дороге отрядами и прикрытый присутствием Наполеона в Калуге.

Этот новый план, «плод неисчерпаемой, – по словам Тьера, – плодовитости Наполеонова ума, конечно, он не считал самым лучшим, но наиболее сообразным с обстоятельствами». Он изменил этот план, по мнению Тьера, уже во время самого отступления из Москвы, узнав, что Кутузов снова возвратил войска в укреплённый лагерь и не преследует Мюрата после Тарутинского сражения. Тогда Наполеона задумал обойти его и поэтому невольно потерял два дня, которые имели роковое значение в дальнейшей судьбе отступления[1].

Действительно, Наполеон потерял эти два дня в первое время отступления; но что бы могло случиться тогда, когда бы он не потерял их? Едва ли историк имеет право останавливаться на подобном вопросе. Вопрос же о том, почему Наполеон потерял два дни, представляется весьма важным. Едва ли возможно сомневаться, что он никогда не думал зимовать в Москве; но какие сложились в его голове соображения о порядке отступления из Москвы, после неудавшихся предположений о походе сначала на Петербург, а потом к Великим Лукам, – об этом нет никаких известий. Этого никто не знал, кроме него самого. По его отзывам невозможно судить о том. Во время совершавшихся происшествий он говорил и объявлял не то, что было, а то, чему желал, чтобы все верили. Впоследствии, на острове Св. Елены, он сочинял историю своих деяний так же, как представляла своих героев французская классическая трагедия, которую он считал более верною в этих изображениях, нежели самая история. О его планах и предположениях можно судить единственно по тем приказам, которые он отдавал, чтобы приводить их в исполнение. Эти приказы он начал отдавать под свежим впечатлением полученного известия о поражении его авангарда, вечером 6 (18) октября. До этого времени все его распоряжения клонились лишь к тому, чтобы очистить и обеспечить дорогу из Москвы на Можайск, Вязьму, Гжатск до Смоленска, по которой, без всякого сомнения, он отступать не желал.

Впечатление, произведённое на императора известием о Тарутинском сражении, было весьма сильно, как свидетельствуют все современники и очевидцы, и это несомненно доказывается тою торопливостью, с которою он вывел войска из Москвы и которая имела

немаловажное значение. Показания русских, находившихся в это время в Москве, совершенно согласные с показаниями французов, свидетельствуют об особенной поспешности выступления неприятелей из столицы. При такой поспешности, естественно, они захватывали с собою и грузили на свои обозы бесполезные вещи, которые бросали потом на дороге. В то же время они забывали о самых важных вещах, о средствах продовольствия, которые и без того не были обильны[2]. Большинство французских писателей, современников Наполеона и их последователей, увлечённые силою его военного гения, привыкли каждое его сражение считать победою, особенно, если после сражения неприятель отступал. Это правило неудобно было применить, конечно, к Тарутинскому сражению, потому что разбитый Мюрат должен был отступить. Но в этих случаях историки прибегают к иному средству: они выдают такое сражение или незначительным, или не имевшим никакого влияния вообще на ход военных действий и особенно тогда, когда неприятель не преследовал их разбитых войск. Таким и выдавал Тарутинское сражение Наполеон в своих бюллетенях[3]. Но неважное авангардное дело не могло вызвать той поспешности, с которою он вывел свои войска из Москвы и выехал сам с своею Главною квартирою[4].

Это сражение имело иное значение. Оно показывало, что в продолжении того времени, которое Наполеон проводил в Москве в бездействии и в надежде заключить мир, русские войска, в удобной местности, снабжённые достаточным продовольствием, отдохнули от трудов продолжительного отступления, что их потери пополнены новыми и значительными подкреплениями, что опытный главнокомандующий не только окружил неприятеля народным восстанием и партизанскими отрядами, но и привёл войска в такое положение, что они могли вновь начать военные действия с надеждою на успех. Возможность мира исчезала окончательно, и начиналась снова война. Тарутинское сражение было первым наступательным действием; за ним могли последовать и другие. Князь Кутузов, довершив поражение уже разбитого авангарда, мог вывести все свои войска на сообщения Наполеона. Мог ли же сей последний продолжать своё пребывание в Москве, в виду такой возможности? Немедленно данный приказ выступать из Москвы служит положительным ответом на этот вопрос. Но остаётся другой едва ли не более важный: каким образом Наполеон предполагал совершить отступление своих войск?

Вечером 6-го октября, с неутомимою деятельностью он диктовал свои приказания. Он писал Неаполитанскому королю, что «в тот же вечер отправил своих лошадей, и послезавтра армия придёт к вам,

чтобы идти на неприятеля и прогнать его. Нужно три дня, чтобы достигнуть до той высоты, на которой вы находитесь»[5]. Поэтому он предлагал, что ему нужно четыре или пять дней продержаться, занимая позицию при Воронове. За час до оставления Кремлёвского дворца, он писал герцогу Бассано в Вильну: «С выступлением армии в поход, завтра я решу взорвать Кремль и двинуться или на Калугу, или на Вязьму»[6]. В этой краткой, шифрованной депеше своему министру иностранных дел, кажется, всего яснее выразился взгляд Наполеона на дальнейший образ его военных действий. Он находился в полной зависимости от нашего главнокомандующего, и всё его внимание было устремлено на то, что предпримет князь Кутузов. Пока не разъяснилось это обстоятельство, он потерял стратегическую самостоятельность (инициативу) в действиях, которой сам придавал такое важное значение в военном деле.

В тот же вечер, 6 октября, Наполеон дал приказание маршалу Бертье уведомить герцога Тревизского, что он завтра оставляет Москву с войсками, чтобы преследовать неприятеля. Определив войска, которые должны входить в состав отряда, оставляемого маршалу Мортье в Москве, он поручил предписать генерал-интенданту, начальникам инженеров и артиллерии оставить несколько человек из своих чинов, под начальством старших офицеров. С этим отрядом Мортье должен был расположиться в Кремле, поспешно укрепить его и вооружить. Больных, которые ещё там находились, немедленно поручалось переместить в Воспитательный Дом. По выходе войск из Москвы, маршал Мортье должен был печатными объявлениями известить Московских жителей, что слухи об оставлении города французскими войсками несправедливы, что войска пошли в Калугу, Тулу и Брянск, чтобы овладеть этими важными местностями и оружейным заводом; жителям поручалось поддерживать порядок и препятствовать попыткам окончательного разрушения города. Конечно, Наполеон не заботился о городе, который он сам обрекал на окончательное разрушение, отдавая этот приказ маршалу Мортье; но он желал обезопасить его собственное положение с оставляемыми под его начальством войсками в Кремле. Поэтому он поручал ему строго наблюдать за жителями, предписать, чтобы никто не выходил из больниц и расстреливать всякого русского солдата, который появился бы на улице и «нигде не ставить малочисленных постов, чтобы они не подвергались нападению крестьян и казаков». Сверх того Мортье должен был приложить старание, чтобы приготовить как можно более продовольствия, по крайней мере, на месяц и сохранить его до крайних обстоятельств.

Начальнику артиллерии генералу Ларибуасьеру предписано было оставшиеся в Москве, по выходе войск, зарядные ящики и повозки сосредоточить в Кремле, равно порох, свинец для пуль и заряды для ружей и пушек. «Может быть, я возвращусь в Москву», — писал Наполеон. Серу и селитру поручалось сжечь. «У меня довольно пороху», — говорил он. Все магазины и сараи, находившиеся за городом и материалы, которых нельзя было бы поместить в Кремле, также предписывалось сжечь на другой же день утром. Начальнику артиллерии он поручал познакомить маршала Мортье с полковниками артиллерии и офицерами, которые останутся в Москве. «Они должны быть помещены в Кремле (заключил свой приказ французский император): им поручено взорвать Кремль, когда настанет время». В тот же вечер генерал-интенданту дано было приказание приготовиться к оставлению Москвы на другой день вечером, под прикрытием дивизии Роже, но оставить и поместить в Кремле нескольких чиновников по интендантской части в распоряжение маршала Мортье. Этот приказ заключается словами: «Император, имея намерение возвратиться сюда, желает сохранить главные магазины муки, овса и водки». Только в этих приказах начальнику артиллерии и генерал-интенданту говорится о возможном возвращении его в Москву; но между тем вовсе не упоминается об этом в приказе маршалу Мортье, которому, конечно, более всех нужно бы это знать[7]. Напротив, ему предписывается только поддерживать это мнение в обывателях Москвы и объявлять, что слухи о совершенном оставлении столицы французскими войсками совершенно несправедливы.

Цель этой меры весьма ясна: Наполеон опасался попытки со стороны жителей, вместе с вооружёнными крестьянами и даже войсками, которых передовые отряды находились в недалёком расстоянии от Москвы, напасть на отряд Мортье, который был гораздо малочисленнее, нежели первоначально предполагал его составить Наполеон, по собственному его свидетельству, подтверждаемому многими современниками[8]. Сверх того Наполеон мог опасаться, чтобы боевые запасы и продовольствие, которые не могли увезти с собою войска по недостатку подвод, не были совершенно истреблены, по его же распоряжению, и маршал Мортье остался бы ни с чем. Этих запасов было весьма немного, когда император поручал ему заготовить из них продовольствие, по возможности на месяц, для такого незначительного отряда, какой оставался у маршала Мортье. Но распространяя слух, что он разобьёт русских и потом возвратится в Москву, он никого не убедил, «потому что всем было известно настоящее положение дел», — говорит Шамбре[9]. Поэтому множество больных и раненых последо-

вали за своими полками. Вместе с ними выехали из Москвы все почти иностранцы из её обывателей, и особенно французы. Не только солдаты, но ни один офицер и генерал не оставили в ней своей добычи. Конечно, менее всех этой возможности возвращения в Москву верил сам Наполеон: он не думал возвращаться в Кремль, наполненный порохом с подведёнными под него минами. Цель оставления Мортье заключалась единственно в том, чтобы привести в исполнение задуманное им окончательное истребление Москвы.

Выступление Наполеона из Москвы представляло давно невиданное в истории Европы зрелище. Оно напоминало Европе движения варваров, разрушивших Римскую империю; а русским — нашествие татар. «Мы думали, что нашему горю и конца не будет, — говорит свидетельница из купеческого семейства, находившаяся в Москве. — Только раз, видим мы, повалили полки по Крымскому мосту. Из окон нашего подвала как на ладони всё видно. Человек десять наших мужиков выбежали посмотреть поближе. Идут эти Французы настоящими нищими; не хуже нас обносились, все в лохмотьях, да обвернувшись во что ни попало. Тут и зипуны, и женские юбки, и поповские ризы, и стихари: чего хочешь, того просишь. За ними едут пушки и фуры, и женщины тут же: жёны ли их, приятельницы ли, уж Бог их знает. Одна сидит на телеге и сама правит, а телега в рхом навьючена. Некоторые солдаты верхами реку в брод переезжали. Вздумала и она за ними, да и забрала в сторону, попала на быстрое место, и стала лошадь кружиться. Солдаты уже уехали далеко; закричала она благим матом; а наши молодцы бросились вброд, спихнули её в воду, а лошадь взяли под уздцы, вывели её на берег и пустили сь рысью к Остоженке. А тебя, мол, мамзель, пускай твой приятель спасает». «Прошло около недели после Покрова, — говорит другая свидетельница из духовной семьи, — видим мы, что Французы что-то засуетились. Слышны от нас крик и говор и конский топот. Страх нас разобрал; видим, что-то готовится; а что, не знаем. Всю ночь продолжался у них шум, а мы всю ночь не спали. На другой день повалили они мимо наших окон, по Якиманке, конные и пешие. Иные чучелы-чучелами смотрели. Навьючили на себя разного женского трепья. Шли они все да ехали в россыпную, кто где попало, а не так, как обыкновенно полки идут стройным шагом; а за ними ехали пушки, фуры и повозки. Долго они тянулись одни за другими; мы думали и конца этому не будет, а вдруг — улица опустела. Что же, мы думаем, уж не покинули ли они Москву?.. И верить не смеем такому счастью»[10].

Такие рассказы простых русских людей, подглядевших из своих притонов выход французов, совершенно совпадают и с их собствен-

ными свидетельствами. Утренники, начавшиеся с 6-го октября, хотя и незначительные, уже давали себя чувствовать неприятельским войскам, особенно потому что они обносились и должны были всевозможными лохмотьями и одеждами, награбленными в Москве, прикрывать наготу и кутать ноги, за неимением обуви. Конечно, всё, что было получше и ценнее, было или захвачено офицерами и высшими чинами войск, или перекуплено ими у солдат. Хотя число войск, выступавших из Москвы и составляло несколько более ста тысяч, но немногие из них походили на солдат, стройных и способных к бою. Большая часть конницы была спешена, остальная едва могла двигаться на истощённых лошадях. Одна гвардейская кавалерия, простиравшаяся до 5-ти тысяч человек, ещё сохраняла бодрый вид. Артиллерия, несоразмерная по числу орудий с количеством войск, обременённая огромными обозами с боевыми снарядами, на изнурённых лошадях, хотя и представляла грозную силу, но крайне стесняла движение войск. Между тем, несмотря на советы своих боевых сотрудников, Наполеон не хотел оставлять орудия и думал увезти всё. Пехота, и преимущественно гвардейская, ещё походила на стройное войско; но и то в незначительном количестве, которое сопровождалось беспорядочными толпами солдат. Огромные обозы с добычею, где, рядом с щёгольскими городскими экипажами, тянулись всевозможные фуры, повозки, телеги и одноколки, обременённые поклажею, не только затрудняли движение войск, но и производили расстройство в них. Не одни высшие чины и офицеры имели по нескольку экипажей, но у каждой роты и некоторых солдат были свои подводы, на которых они везли запасы продовольствия и добычу. Заботясь о добыче, солдаты или толпились около возов, или, выбрав более ценные предметы, несли их в своих мешках и ранцах, обременяя себя тяжёлою ношею. Многие семейства иностранцев, опасаясь стать жертвою народного мщения, добровольно отправились вместе с войсками. Других уговорили оставить столицу французские офицеры, зная, на какую участь обрёк Наполеон уцелевшие в ней здания. В экипажах находилось поэтому много женщин и детей; даже некоторые из русских обитательниц публичных домов и много русских крестьян и вообще лиц из простого народа, которых заставляли нести тяжести и помогать истощённым лошадям тащить нагруженные воза[11].

Император Наполеон выехал из Москвы 7 октября, рано утром. От самой заставы по Старой Калужской дороге тянулись в несколько рядов обозы, загромождая широкую большую дорогу. Каждый пригорок, каждый овраг и мост стесняли их движение. Беспорядочно скопляясь на одном месте, они препятствовали движению арьергарда

и расстраивали войска всё более и более. Наполеон, с своею свитою, едва мог пробираться между обозами и войсками и медленно подвигался вперёд. Проехав около десяти вёрст, он остановился и, ходя взад и вперёд по полю, ожидал известий от Мортье, которого положение его тревожило. Подозвав к себе генерала Раппа, он сказал ему: «Ну, вот мы идём по Калужской дороге, к границам Польши и там займём хорошие зимние квартиры. Я надеюсь, что император Александр заключит мир». – «Вы его слишком долго ожидали, Государь, – отвечал Рапп. – Жители предсказывают суровую зиму». – «А! что вы говорите о жителях? У нас сегодня 19 октября, а какая прекрасная погода! Разве вы не узнаёте моей звезды? – возразил Наполеон. – Впрочем я не мог выступить прежде, нежели отправил всех больных и раненых. Я не мог предоставить их мщению Русских». – «Вы гораздо лучше бы поступили, – продолжал его собеседник, – если бы оставили их в Москве; а теперь, лишённые всякой помощи, они перемрут на дороге». Наполеон желал казаться спокойным и уверенным в своём счастии; но, по свидетельству Раппа, он сам не верил тому, что говорил, и его лицо выражало крайнее беспокойство[12].

Получив известие от Мортье, что он укрепился в Кремле, Наполеон продолжал путь и к вечеру достиг до села Троицкого на р. Десне. Авангард, под предводительством вице-короля, остановился в этот день у деревни Витютинки; а на другой день, продолжая поход, он подошёл к Красной Пахре. В Троицком Наполеон поручил начальнику штаба сделать следующие распоряжения: «Предписать маршалу Мортье всех отсталых и изувеченных солдат, принадлежавших к корпусам Даву и вице-короля и, вероятно, отставших от них спешенной коннице и Молодой гвардии, отправить в Можайск. 22 или 23 (т. е. 10 или 11) октября, в два часа утра, поджечь магазины с вином, казармы и все публичные здания, исключая Воспитательного Дома и поджечь Кремлёвский дворец, изломать все ружья, лафеты и колёса и подложить порох под Кремлёвские стены». Когда всё это будет приведено в исполнение и огонь покажется во многих местах Кремля, Мортье должен был выступить из Москвы по дороге к Можайску; но самому ему дожидаться, пока, через несколько часов после выхода войск, будет взорван Кремль; а также поджечь два дома графа Ростопчина и дом графа Разумовского[13]. Это распоряжение, сделанное в то время, когда для Наполеона вопрос о том: возвратился ли в укреплённый лагерь князь Кутузов и, оставаясь в нём, не возымеет ли намерения немедленно продолжать наступательные действия, ещё не был решён, – доказывает, что он никогда и не имел намерения возвращаться в Москву. 25-й бюллетень Великой армии, продиктованный в тот же

самый день, как и приведённый приказ маршалу Мортье, показывает, что он хотел подготовить к этой мысли общественное мнение Франции и Европы. Этот бюллетень выражается весьма неопределённо о дальнейших движениях Великой армии. С одной стороны, сказано в нём, укрепили и вооружили Кремль, и в то же время подвели под ним подкопы, чтобы взорвать его на воздух. Одни думают, что император пойдёт на Тулу и Калугу, чтобы провести зиму в этих губерниях, занимая Москву гарнизоном, помещённым в Кремле; другие полагают, что император взорвёт Кремль и сожжёт все уцелевшие публичные здания; а сам с войсками приблизится к Польше, чтобы занять зимние квартиры в дружелюбной стране. Дальнейшие подробности, объяснявшие цель этого движения, т. е. чтобы приблизить к себе запасы продовольствия, собранные в Данциге, Ковне, Вильне и Минске и находиться в расстоянии, более близком от Петербурга и Киева, показывали желание дать предпочтение этому предположению. «Москва не имеет военного значения и потеряла уже политическое, потому что сожжена и разорена на сто лет», — прибавляет этот бюллетень. Очевидно, Мортье оставлен был в Москве, и притом с гораздо меньшим количеством войск (как впоследствии заявил сам Наполеон), с исключительною целью привести в исполнение его злобный замысел — разрушить последние здания, уцелевшие в Москве после пожаров.

В тот же день, когда Наполеон отдавал эти приказы, он поручил своему начальнику штаба написать письмо к князю Кутузову, повторяя то же, что говорил уже Лористон против народной и партизанской войны и спрашивая, не получены ли от Русского правительства предписания по этому поводу. Немедленно это письмо было послано с полковником Бартелеми; но вместе с ним поехал в авангард и граф Лористон под тем предлогом, чтобы осмотреть новую позицию, занятую Мюратом после Тарутинского сражения. Для Наполеона нужен был не ответ князя Кутузова, в смысле которого едва ли он мог сомневаться; но он желал убедиться в том: продолжает ли Кутузов оставаться спокойно в Тарутинском лагере и не замечается ли приготовлений к дальнейшим наступательным движениям. Поэтому на другой день, 8 (20) октября, лишь только Наполеон убедился в этом и получил ответ Кутузова, что он не имеет ещё никаких предписаний из Петербурга, он повернул движение своих войск с Старой Калужской дороги на Новую[14]. Мортье получил приказание, совершив возложенное на него поручение, двинуться уже не на Можайск, но на Верею и прибыть туда к 13 (25) числу, чтобы находиться между корпусом Жюно, бывшим в Можайске, и всею армиею, которая к этому числу должна была прибыть в Боровск. Ему поручалось присоединить к себе все

отряды, находившиеся близ Москвы. Генералу Жюно предписано было двинуть из Можайска все маршевые полки и батальоны, конные и пешие, к Верее. Они должны были поступить под начальство князя Понятовского, направленного уже туда с своим корпусом. Сам Жюно должен был приготовить к выступлению свой корпус на Вязьму, по первому приказанию; наперёд ему велено отправить всех больных и раненых из Можайска и Колоцкого монастыря, изломать все ружья и сжечь военные запасы, которые нельзя будет увезти с собою. Гжатск должен быть очищен, лишь только корпус Жюно двинется к Вязьме, а из Вязьмы открыто сообщение с главною армиею через Юхнов. Извещая своего маршала об этих распоряжениях, Наполеон присовокупил, что Мортье «безопасно сблизится с армией, выступив из Москвы; его могут преследовать разве несколько сотен казаков, потому что вся русская армия находится ещё на Калужской дороге»[15].

Вызванный из Москвы наступательными действиями нашего главнокомандующего, Наполеон естественно должен был прежде всего убедиться в том, будет ли князь Кутузов продолжать эти наступательные действия или, ограничившись поражением французского авангарда, отступит снова в укреплённый свой лагерь. Пока не был решён этот вопрос, он ничего иного предпринять не мог, как двинуть свои войска по Старой Калужской дороге и, соединившись с Мюратом и Брусье, выдержать сражение, на которое вызвал бы его князь Кутузов. Потеряв свободу действия, он, конечно, не мог приступить к исполнению каких бы то ни было предположений о дальнейшем своём движении. Но лишь только он убедился, что все русские войска спокойно находятся в Тарутинском лагере, то немедленно сделал вышеуказанные распоряжения, которые уже ясно обличают его дальнейшие виды. Он хотел обойти русские войска и занять Калугу, т. е. избежать сражения. Мог ли иначе думать такой опытный в боях и гениальный полководец? Если он говорил, что идёт разбить Кутузова и с боя открыть путь своим войскам на зимние квартиры, то иначе он и говорить не мог, чтобы поднять хотя несколько упавший дух, не только войск, но даже их предводителей и отвлечь глаза Европе[16]. Но он понимал различие, существовавшее в это время между войсками князя Кутузова и своею армиею, утратившею дисциплину, обременённою огромными обозами с добычею. Эти войска могли драться и даже отчаянно защищать награбленную ими добычу, но они не могли побеждать. Едва ли мысль обойти князя Кутузова могла прийти ему только в первые дни отступления из Москвы, когда он увидал те затруднения, которые испытывали его войска на походе, и повернуть по пути ещё более затруднительному, по просёлкам, на Новую Калуж-

скую дорогу. Сидя в Москве, он очень хорошо знал положение своих войск и, без сомнения, там уже предполагал обойти князя Кутузова, пройдя по Новой Калужской дороге; но нечаянная весть о наступательных с его стороны действиях вынудила его выйти из Москвы по Старой Калужской дороге и таким образом потерять несколько дней.

Между тем Мортье заперся в Кремле, окружив его на некотором расстоянии сильными сторожевыми отрядами и повсюду наклеил объявления, чтобы никто не приближался к Кремлю, под страхом смерти. Вероятно, все переводчики уехали с Главною квартирою; поэтому объявление было написано на одном французском языке. Русские его не понимали, и некоторые поплатились жизнью за вину самого маршала, который, впрочем, только приводил в исполнение поручение своего императора. В Кремле рыли канавы, устраивали мины, наполняли их порохом. Даже на эти работы насильно брали русских и потом, чтобы они не разгласили о том, увели их с собой из Москвы и отпустили с дороги только тогда, когда последовали уже взрывы. «Меня туда взяли Французы, – рассказывал потом один русский, – и других многих работников из наших привели и приказали нам подкопы рыть под Кремлёвские стены, под соборы и под дворец, и сами тут же рыли. А у нас просто руки не подымались. Пусть всё погибает, да хоть не нашими руками. Да воля-то не наша была: как ни горько, а копай! Окаянные-то тут стоят и как увидят, что кто из нас плохо работает, так сейчас прикладами бьют: у меня вся спина избита»[17]. Московские жители радовались, смотря на то, что неприятели выступали из столицы; но их смущало то обстоятельство, что часть их оставалась в Кремле. Это смущение скоро превратилось в ужас.

Наполеон заявлял в бюллетенях Великой армии, что ему советывали «сжечь все оставшиеся в Москве здания и опустошить огнём и мечём её окрестности на 20 миль вокруг и научить Русских, что они должны были вести правильную войну, а не как Татары; но он отверг эту жестокую меру»[18]. Состав его войск был таков, что подобные советы могли выходить из его среды; но ему никто не смел подавать советов, и если нашлись такие советники в этом случае, то потому только, что они знали о собственном намерении их повелителя, преувеличивая его, быть может, до размеров, невозможных к исполнению. Напротив, в его войсках, от офицеров до простых солдат, нашлось много таких, которые не сочувствовали этой жестокой и бесполезной мере. Свыкшись уже с некоторыми из русских, они предупреждали их о грозившей им опасности. Один солдат старой гвардии, познакомившись с Бестужевым-Рюминым, пришёл к нему 6-го октября вечером «проститься и пожелать всякого благополучия, как он говорил,

потому что отдан приказ на другой день с восходом солнца выступить в поход». Но, простившись, солдат просил проводить его и, пройдя шагов десять, находясь наедине с ним, взял его за руку и сказал: «Спасайтесь, если можете, Кремль будет взорван на воздух, также пушечный двор. Всё приготовлено, даны даже приказания убивать всех, кто носит оружие и сжечь все оставшиеся здания»[19]. Один из лекарей французских войск, за несколько ещё дней до их выступления, советовал французу-эмигранту, постоянному жителю Москвы, не оставаться в столице, когда выйдут из неё французы. «Вы сами были военным, — говорил он ему, — а потому поймёте, что я не могу объяснять вам подробнее, и сами догадаетесь, что я желал бы вам сообщить»[20]. За несколько дней до выступления, начаты были предварительные приготовления в разных местностях Москвы. В Новодевичьем монастыре, по свидетельству одной современницы, «неприятели начали везде рыть канавки от церкви и вокруг стен. Остановимся бывало и спрашиваем, что они делают; а они показывают, что и сами не знают. Вдруг прошёл слух, что Бонапарт собирается всю Москву подорвать и всех русских перерезать. Пошёл батюшка к французскому генералу и говорит ему, что вот какие ходят слухи. А генерал ему говорит: «Уходите отсюда и молитесь за своих». Когда священник передал эти слова монахиням, они отвечали: «Мы дали Богу обет здесь жить и умереть; да будет Его воля! Мы отсюда не уйдём». Но некоторых, естественно, пугала эта весть, и они оставили Москву. В подвалах под церковью были оставлены бочки с порохом и боевыми зарядами; у самой церкви поставлена бочка с вином. При выходе солдат из монастыря, генерал велел зажечь вино и повторил священнику: «Уходите скорей и молитесь»». «Как вспыхнуло вино, — говорит та же очевидица, — они все вон; а наши смотрят, не знают со страха, что делать, и только Бога призывают на помощь. Да вдруг опомнились и бросились вытаскивать из склепа пороховые бочки и стали их заливать водой. Слава Богу, что в склепе-то было несколько ходов. А вино всё выгорело и разлилось; да к счастью на дворе-то было тихо, и огненные ручьи заливали, не дали им добежать до деревянных строений. Как с этою бедою покончили, бросились по кельям и церквам, где стояли неприятели. Там во многих местах была разложена солома, а в неё воткнуты зажжённые свечи. Бог миловал, всё успели погасить».

Французы, стоявшие в Рождественском монастыре, выходя из него, на прощанье кланялись монахиням и другим обитателям, бывшим в этом монастыре, которые выходили из церкви после вечерни, и делали им знаки, чтобы и они уходили из монастыря, что он сгорит. Напуганные монахини «вышли из монастыря, спустились на площадь,

да тут и остановились, — рассказывает одна из очевидиц. — Горит со всех сторон; пожалуй ещё туда зайдём, что и не выйдем. Как теперь помню, столпились мы все под горой и плачем; все думаем, что вот-вот и наш монастырь загорится. На улицах пусто, словно весь город вымер. На небе совсем стемнело, только пожар всё освещает; ветер свищет, и головни сыплятся на площадь. Вдруг пошёл сильный дождик, до костей нас промочил, и стояли мы под дождиком часа два». «Должно быть они нас только постращать хотели, заметила казначея. Не пойти ли нам назад во власть Божию, да осмотреть кельи. Перекрестились мы, да и побрели назад». Несколько монахинь, которые были посмелее других, вызвались смотреть кельи. Оказалось, что в некоторые из келий была натаскана солома и в неё были воткнуты свечи и зажжены. «Солома что ли сыра была, заключает та же рассказщица, или просто Бог спас, а догорели эти свечи и никакой беды не сделали[21]. Как пришли монахини по осмотре, одна свеча ещё тлела и дымилась».

Накануне выхода неприятелей из Москвы и во время выхода, пока ещё Мортье оставался в Кремле, французы, при встрече с русскими, предупреждали их, что Кремль будет взорван, и оставшиеся в Москве здания сожжены. Действительно, во многих местах начались снова пожары, взорваны были пороховые ящики на пушечном дворе, и только вследствие случайных обстоятельств и нежелания самих исполнителей, неохотно приводивших в действие злую меру своего повелителя, эти пожары не приняли широких размеров. Начальник отряда, занимавший здания почтамта, получив приказание зажечь их, выступая из Москвы, отказался его исполнить. «Другие же, менее смелые, — говорит современник, — всё-таки боялись оставить почтамт не сожжённым; но бывшие там русские чиновники пожертвовали последними деньгами и уговорили их оставить это намерение. Однако Французы, выходя, приказали для вида собрать пред почтамтом большой костёр дров и зажечь, что и было исполнено в их глазах»[22]. Эти пожары, — начавшиеся почти одновременно с вестью о том, что Кремль будет взорван, сожжены все уцелевшие здания и все русские перебиты, — подтверждали её достоверность. Страх и уныние овладели русскими. «Это гибельное известие повергло нас в совершенное отчаяние, — говорит современник-свидетель происшествий. — Вечером, рассевшись молча по углам избы, с поникшими головами, каждый из нас думал о предстоящей смерти»[23]. Но многие, конечно, вышли из Москвы: препятствий не было, заставы не охранялись, и в окраинах города показывались уже казаки и вооружённые крестьяне и перестреливались с неприятельскими передовыми постами, охранявшими Кремль.

Выходцы из Москвы немедленно принесли эти известия в главную квартиру корпуса барона Винцингероде, которая находилась в 12 верстах от столицы, в селе Чашниках. 8 октября вечером, Винцингероде сообщил их своим сослуживцам. Князь А. А. Шаховской, известный драматический писатель, бывший в это время начальником пятого полка Тверского ополчения, был поражён этим известием и после ужина, оставшись наедине с бароном Винцингероде, говорил ему, что «взрыв Кремля, где покоятся мощи угодников, поразит отчаянием всю Россию, привыкшую почитать святыню Кремля своим палладиумом». «Сердце генерала, — по словам князя Шаховского, — быстро воспалённое благородным ощущением, вспыхнуло — он изменился в лице и, вскоча со стула, вскрикнул: «Нет, Бонапарте не взорвёт Кремля. Я завтра дам ему знать, что если хотя одна церковь взлетит на воздух, то все попавшиеся к нам французы будут повешены»»[24]. Немедленно он распорядился, чтобы генерал Бенкендорф, под начальством которого находилась часть его авангарда, был готов к выступлению, а сам с адъютантом, полковником Нарышкиным, отправился к Иловайскому 4-му, который с двумя полками находился у самой Москвы. «Только подъехав к заставе, мы вспомнили, что не взяли с собою трубача, — говорит Нарышкин. — Я предложил генералу заменить его белым платком, будучи уверен, что неприятели поймут наше намерение, а в противном случае будут отвечать нам ружейными выстрелами». Они сели на коней и поехали по Тверской с казаком впереди, с белым платком на острие копья. Встретившиеся с ними крестьяне сказали, что неприятельский пикет находится у генерал-губернаторского дома. Увидав его, казак, ехавший впереди, остановился и делал знаки, вызывая кого-нибудь из неприятелей. Винцингероде, не видя за углом дома французского пикета, поехал к казаку, несмотря на то, что Нарышкин просил его не подаваться вперёд и сам вызывался подъехать к нему. «Где вы можете находиться, там и я могу», отвечал Винцингероде и внезапно очутился перед французскими солдатами, прицелившимися в него из ружей. «Отъехать назад уже было невозможно», — замечает Нарышкин. Один из неприятельских офицеров согласился было послать с донесением к маршалу Мортье, что явился русский парламентёр; но другой немедленно захватил его и повёл в Кремль. Нарышкин последовал за ним, не желая оставлять своего генерала в таком затруднительном положении и попросил французского офицера также отправить его к маршалу.

«Когда меня ввели в Кремль, — говорит Нарышкин, — я увидал, что весь гарнизон стоит под ружьём. Во дворце, который занимал маршал Мортье, меня окружили его адъютанты и говорили, как было

неблагоразумно с нашей стороны приехать без трубача. Показывая вид уверенности в безопасности, которую начинал уже терять, я отвечал: «Мы приехали, господа, не концерты давать; мы желали, чтобы поняли наши намерения и мы достигли нашей цели. Честь Французов может нам ручаться за то, что мы не попали в ловушку». Но скоро я разочаровался, когда меня обезоружили и ввели в кабинет маршала». Там находился уже барон Винцингероде. Он задрожал, когда увидал входившего Нарышкина. «Что вы сделали? Вы не знаете, как ужасно они хотят поступить со мною!.. Я полагал, что знаю Французов; а они, вопреки народному праву, вопреки всем правилам войны, хотят удержать меня военнопленным», — говорил Винцингероде. «Какая бы ни была ваша участь, — отвечал Нарышкин, — я готов её разделить с вами». Винцингероде обнял его и продолжал горячо обвинять поступок французов. Маршал Мортье, по свидетельству Нарышкина, спокойно, бесстрастно и терпеливо слушал его обвинения и наконец сказал: «Я пошлю нарочного к императору; он решит вашу участь; а пока пожалуйста вашу шпагу и следуйте за бароном Сикаром, который укажет отведённую вам комнату». Мортье иначе и поступить не мог. Русский генерал лично мог удостовериться, какое незначительное количество неприятельских войск занимало Кремль. Конечно, он мог бы освободить этих русских пленных по выходе из Москвы, если бы смел; но на такой поступок не решился бы ни один из маршалов, так сказать, в виду самого Наполеона.

Появление барона Винцингероде и его попытка вступить в переговоры с Мортье, конечно, произвели тревогу, показав, что тот корпус русских войск, который находился под его начальством и который французы считали более значительным, нежели он был на самом деле, приблизился к Москве. Поэтому предписание императора, от 8 октября из села Троицкого, успокоило маршала, давая ему возможность немедленно выступить. В тот же день ночью, чтобы скрыть движение, он выступил действительно, не исполнив, может быть по случаю поспешности, всех поручений, возложенных на него Наполеоном. Он поджёг только дачу графа Ростопчина в Сокольниках. Его дом на Лубянке остался цел. По свидетельству некоторых современников, французы не зажгли его, уступая просьбам окрестных жителей, которые опасались распространения пожара на ближайшие здания, т. е. большею частью на французов и иностранцев, приютившихся как в самой церкви Св. Людовика, так и в соседних с нею домах[25]. Отойдя на незначительное расстояние от города, Мортье велел выстрелом из пушки дать условленный знак к взрыву Кремля, который и последовал немедленно, и потом продолжал движение к Можайску; но на другой

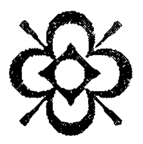
день, получив новый приказ Наполеона, отправился на Верею[26].

«А как Кремль-то взорвало, мы чуть не перемерли от страху, думали света преставление», — говорит одна из очевидиц[27]. Тревожимые ожиданием новых бедствий, Московские обыватели, при наступлении ночи, ложились спать не раздеваясь. Среди ночи раздался первый и самый сильный взрыв. Земля заколебалась, дрогнули все здания; даже на значительном расстоянии от Кремля полопались все стёкла; во многих домах разошлись стены и рушились потолки. Внутри домов ничто не осталось на месте, обывателей сбрасывало с их постелей. Ужас овладел ими. Все бросились на улицы и площади, большею частью раздетые и израненные осколками стёкол, камнями и железом. В ночной темноте, освещённой пожаром, начавшимся в Кремле, под сильным холодным дождём, слышались плач и стоны. Невозможно было оставаться под открытым небом; но боялись войти в дома, ожидая новых взрывов, которые и последовали один за другим; но уже не с тою силою, как первый. Свидетели-очевидцы различно определяют число взрывов, и кто же мог верно сосчитать их в эту ужасную ночь, которая многим стоила жизни и почти всем здоровья! Но лишь только наступила мёртвая тишина после взрывов, продолжавшаяся довольно долго, многие решились от холода и дождя войти в дома; но некоторые до рассвета оставались на улицах и площадях. В Грузинах, на лугу около церкви Св. Георгия Победоносца, всю ночь оставалась толпа народа. «Чрез темь и дым мы напрягали зрение к Кремлю, — говорит один из очевидцев, — так как от нас с луга виден был Иван Великий, но ничего ещё нельзя было рассмотреть; стало светать, но Кремль ещё не показывался; мы не шли в дом, боясь повторения подобного первому взрыву, и решились ожидать совершенного утра под открытым небом. Наконец, взошло солнышко, а вскоре после показалась и золотая глава Ивана Великого. Он стоял по-прежнему богатырём к нашей радости и досаде Французов или, лучше сказать, их предводителя, по воле которого всё это делалось»[28]. Дождь, начавшийся ещё накануне, без сомнения, смирил разрушительную силу подкопов под древние стены Кремля; но, дорожа человеческим достоинством, мы готовы верить, что Мортье отпустил негодный порох для этой цели, как показывает один из офицеров Великой армии[29].

В это время, когда войска Наполеона от деревни Горки поворачивали к селу Фоминскому, со Старой Калужской дороги на Новую, шёл дождь, — тот дождь, который помешал Мортье вполне привести в исполнение злобный умысел его повелителя. Движение войск было крайне медленно и затруднительно по грязным просёлочным дорогам. К 11-му октября едва передовые части достигли Боровска, а аван-

гард вице-короля подвигался к Малоярославцу. Если бы в этом городе, так же, как в Боровске, русские войска не успели преградить пути Наполеону, то, конечно, он успел бы занять Калугу; а затем свободно располагать своими движениями, как он предполагал. Но это была бы счастливая случайность, которая, по его собственным военным правилам, может входить в военные соображения на одну треть, тогда как две трети должны быть основаны на точном расчёте. Мог ли он рассчитывать на одной случайности свои соображения?

Он и не рассчитывал. Заботы его об очищении Смоленской дороги на Можайск начались ранее выступления из Москвы. Когда для многих цель уже казалась достижимою. В Боровске Наполеон говорил вице-королю, что весьма возможно, что придётся отступать на Вязьму и Смоленск. Ту же самую мысль он выразил в письме к герцогу Бассано, хотя и подробно описывал, как он займёт зимние квартиры в четыреугольнике между Смоленском, Могилёвым, Витебском и Минском, и с открытием весны начнёт снова военные действия на Петербург или Киев. Но этими описаниями поручалось ему воспользоваться в дипломатической переписке с Европейскими державами; а для личного его сведения Наполеон писал: «Впрочем, в этого рода действиях то, что может случиться на деле, не всегда соответствует тому, что было предположено»[30]. Попытаться обойти князя Кутузова, полагаясь исключительно на счастливую случайность, он решился только потому, что отступление по опустошённой дороге, через Можайск и Вязьму на Смоленск, ужасало всех его военачальников; да и сам он, конечно, не мог не предвидеть необоримых затруднений на этом пути. Но он готовился на эту крайнюю меру, чтобы только избежать сражения. 12 (24) октября, Главная квартира Наполеона оставила Боровск рано утром. Пройдя несколько вёрст, заметили в стороне казачий пикет из 10 или 12 человек. На них напали и взяли двух в плен. В то время, как их допрашивали, Наполеон завтракал в поле с Мюратом, Бертье и генералом Ларибуасьером. Вдруг послышалась канонада со стороны авангарда. Оставив завтрак, Наполеон сел на коня и поскакал по тому направлению[31]. Ему надо было спешить: началось сражение под Малоярославцем, окончательно указавшее, по какому пути должна была отступать Великая армия.



Примечания

Часть 1

Глава 1

[1] *Северная Почта*, 20 марта 1812, № 23.

[2] Там же, 27 марта, № 25.

[3] Там же, 30 марта, № 26.

[4] Там же, №№ 18–28.

[5] «Что повелите, батюшка Государь» — было постоянное выражение графа Аракчеева.

[6] Joseph de M a i s t r e. Correspondance diplomatique: 1811–1817. Paris, 1860, t. I, p. 46, депеша 28 января 1812.

[7] Там же, p. 36.

[8] Граф де М е с т р. Lettres et opuscules inédits, Paris, 1851, t. I, № 67, p. 218.

[9] Полн. Собр. Зак., 1812, № 25074, § 6.

[10] А. С. Ш и ш к о в. Записки, мнения и переписка. Т. I, Berlin, 1870, с. 115.

[11] А. С. Ш и ш к о в. Записки, мнения и переписка. Т. II, Berlin, 1870, с. 321–322 (Письмо к Я. И. Бардовскому 27 декабря 1811).

[12] С. Т. А к с а к о в. Семейная хроника и Воспоминания. М., 1856, с. 473 (См. также современное издание: С. Т. А к с а к о в. Собрание сочинений в 3-х томах. Т. II, М., 1986, с. 255–256; *прим. ред.*).

[13] Полное Собрание Законов, № 25051; Записки Шишкова. Т. I, Приложение № 1, с. 423.

[14] С. Т. А к с а к о в. Семейная хроника и Воспоминания. М., 1856, с. 506, 507, 516.

Глава 2

[1] Граф де М е с т р. Correspondance diplomatique: 1811–1817, I, 75, письмо к Сардинскому министру иностранных дел И. А. де Росси 9 (21) апр. 1812. (Дипломатические депеши и частные письма из России Сар-

динского посланника в Петербурге в 1803–1817 чрезвычайно богаты фактическим материалом, что само по себе делает их драгоценным историческим источником. Часть их была опубликована в журналах *Русский Архив*, *Вестник Воспитания*, а также в *Архиве князя Воронцова*, *Литературном наследстве* и др. Наиболее полное (и современное) издание: Граф Ж о з е ф де М е с т р. Петербургские письма/Сост., перевод и предисловие Д. В. Соловьёва, СПб., 1995. Но и в этом издании из выявленных 680 писем, к сожалению, опубликовано лишь 213, да и то с существенными сокращениями *(прим. ред.)*.

[2] Записки Шишкова, Берлин, Т. I, 121. – Манифест 23 марта; Полн. Собр. Зак. № 25051.

[3] Записки графа Е. Ф. Комаровского/*Русский Архив*, 1867, 765.

[4] Сличи показание Сперанского (в *Русском Архиве* сего года) о тайном комитете, в который приглашали его Армфельт и Балашёв *(прим. П. И. Бартенева)*. В примечании в тексте *Русского Архива* (1892, кн. 1, № 2, с. 146) после *Армфельт* стояло и *Сперанский*, что очевидная описка. По-видимому, П. И. Бартенев хотел поставить *и Балашёв (прим. ред.)*.

[5] Полн. Собр. Зак., постановления 20 марта и 3 апреля №№ 25043, 25044, 25073 и 25074; *Северная Почта*, 1812, апреля 13, № 30.

[6] *Северная Почта*, 1812, № 33, апреля 24. П. К у к о л ь н и к. Истор. заметки о Северо-Западном крае (*Вестник Западной России*, 1864, № 6, с. 100–102).

[7] *Северная Почта*, 1812, № 34, апреля 27.

[8] «Г-ну министру финансов. Купленный от генерала от инфантерии барона Беннигсена, состоящий близ г. Вильны загородный дом под названием Закрет, со всеми к оному принадлежностями, повелеваю принять в казённое ведомство и заплатить ему за оный из Государственного казначейства 12 тыс. червонцев, произведя сию выдачу в три года, в каждый по 4 тыс. червонцев. Вильна, июля 5 дня».

[9] *Северная Почта* 1812 г., №№ 33–47. П. К у к о л ь н и к. Заметки о Северо-Западном крае/*Вестник Западной России*, 1864, № 26, с. 102–104; Curier Wilensky, 26 апреля 1812.

[10] C h o i s e u l-G o u f f i e r de. Mémoires historique sur l'Empereur Alexandre et la cour de Russie. Paris, 1829, гл. 4, с. 58 и след.; C h o i s e u l-G o u f f i e r de. Reminiscences sur l'Empereur Alexandre I-er et sur l'Empereur Napoleon I-er. Paris, 1862*.

---

* Как в большинстве случаев, автор цитирует мемуары графини Шуазёль-Гуфье в собственном переводе. С другим и более полным переводом этих воспоминаний можно познакомиться по изданию: Ш у а з е л ь-Г у ф ь е С. де. Исторические мемуары об императоре Александре и его дворе. Пер. с фр. З. Мирович. Вступ. статья

[11] Письмо императора к князю Адаму Чарторыйскому 25 декабря 1810 г.; ответ князя 18 (30) января 1811 года; Correspondance l'Empereur Alexandre I-er et le Pr. Czartorysky, Mazade, Paris, 1865, с. 127–157. В приложенном расписании численности войск указано 30 тысяч *датчан*, что, вероятно, ошибочно; вернее, *шведов*. Уверенность Александра, что против нас Наполеон будет действовать не более 155 тыс. войск (хотя по донесениям князя Куракина и Чернышёва он верно мог знать число его войска) основывалась на предположении Бернадота, которому он придавал большое значение.

[12] Граф Огинский. Mémoires sur la Pologue et les Polonais de 1788 á 1815. T. II, гл. VIII, с. 379 и след.*.

[13] L.-P. Bignon. Souvenirs d'un diplomate, la Pologne en 1811–1813, Paris, 1864, с. 22.

[14] Там же, с. 5 и 6.

[15] Bignon. Souvenirs d'un diplomate, la Pologne en 1811–1813, Paris, 1864, с. 46; Bignon L.-P. Histoire de France 2-e épogue, XXVII**.

[16] Bignon, Souvenirs, с. 35–37.

[17] Там же, с. 126, 182 и др.

[18] Донесение Чернышёва графу Румянцеву 6 (18) июня 1810 г.

[19] Депеша князя Куракина 24 августа (5 сентября) 1811 г.

[20] Донесение Чернышёва графу Румянцеву 9 (21) февраля 1811 г. из Парижа***.

А.А. Кизеветтера. М., 1912; перепечатаны в сборнике «Державный сфинкс». М., 1999, с. 237–384 *(прим. ред.)*.

* Мемуары графа М.-К. Огиньского были изданы в Париже в 1826–1827 (4 тома; 2-е изд., Paris, 1833); каким изданием пользовался А.Н. Попов, установить не удалось (в его ссылках год издания не указывается). Интересные воспоминания Огиньского на русский язык не переведены: кроме цитируемых А.Н. Поповым отрывков известны лишь отрывки, приведённые А.О. Подвысоцким («Граф Михаил Огинский и его отношения к императору Александру Павловичу (1807–1815)». Из Записок графа Огинского, извлечено А.О. Подвысоцким/*Русский Архив*, 1874, кн. 1, № 3, с. 637–710) *(прим. ред.)*.

** По желанию Наполеона, которое он выразил в своём завещании, оставив на это 100 тыс. франков, Л.-П. Биньон написал: «Histoire de France, depuis le 18 brumaire jusgu'á la paix de Tilsit». Vol. 1–7, Paris, 1827–1838 и продолжение «Histoire de France, depuis la paix de Tilsit jusgu'en 1812». Vol. 1–4, Paris, 1838. А.Н. Попов ссылается на один из томов «Истории Франции от Тильзитского мира до 1812». *(прим. ред.)*.

*** Полностью письмо полковника А.И. Чернышёва к канцлеру графу Румянцеву опубликовано в: *Сборник Имп. Русского Исторического общества*. Т. XXI, СПб., 1877, с. 145–156; любопытно, что перевод этого письма в монографии А.Н. Попова, как и перевод

[21] Письмо Государя к князю Чарторыйскому 31 января 1811 г., изд. Mazade, с. 150–168.

[22] B i g n o n. Souvenirs, с. 52, 63 и 94.

[23] Mazade, с. 92–102*.

[24] C h o i s e u l-G o u f f i e r. Réminicences sur l'Empereur Alexandre I-er et sur l'Empereur Napoleon I-er. Paris, 1862, IX, 78.

[25] Записка графа Огинского 14 мая; письмо и проект указа 22 октября; письмо и записка 1 декабря 1811 г. /Mémoires, T. III, гл. II–VII, с. 34–121.

[26] Ш у а з ё л ь-Г у ф ь е С. де. Mémoires historique sur l'Empereur Alexandre et la cour de Russie. Paris, 1829, гл. V, с. 85 и след.; Reminiscences sur l'Empereur Alexandre I-er et sur l'Empereur Napoleon I-er. Paris, 1862, гл. V, с. 17, гл. VI, с. 51 и след.

[27] *Северная Почта*, 1812, № 42; П. К у к о л ь н и к. Исторические заметки, с. 105.

[28] Полн. Собр. Зак., № 24952, январь 1812.

[29] Correspondance diplomatique, T. I, с. 101, 107–108.

Глава 3

[1] Письмо от декабря 1809; Joseph de M a i s t r e. Lettres et opuscules inédits. Paris, 1851, 2 vols, v. I, № 67, с. 228.

[2] Там же, № 74, с. 254–256.

[3] Письмо 9 (21) апреля 1812 года; Joseph de M a i s t r e. Correspondance diplomatique: 1811–1817, Paris, 1860, v. I, с. 68 и след.**.

[4] Quatre chapitres inédits relatifs á la Russie. Paris, 1859, с. 63 и след.

[5] Si l'on pouvait enfermer un désir russe sous une citadelle, il la ferait auter. Il n'y a point d'homme qui veuille aussi passionnément que le Russe, — говаривал граф де Местр; Joseph de M a i s t r e. Quatre chapitres ets., с. 21.

[6] Письмо 20 августа (2 сентября) 1810 г.; Joseph de M a i s t r e. Lettres

---

других писем, депеш и донесений, отличается от переводов в XXI томе *Сборника Имп. РИО*, хотя Попов был редактором этого тома *(прим. ред.)*.

* См. также: «Мемуары князя Адама Чарторыйского и его переписка с императором Александром I». Т. II, М., 1913 *(прим. ред.)*.

** Дата — 29 марта — по новому стилю. Рекомендуем также ознакомиться с другим, более полным, переводом этого чрезвычайно интересного письма об отставке и ссылке М.М. Сперанского, который в ряде моментов существенно отличается от перевода А.Н. Попова, см. Граф Ж о з е ф д е М е с т р. Петербургские письма. СПб., 1995, с. 202–204 *(прим. ред.)*.

et opuscules inédits. Paris, 1851, V. 1, № 71, с. 242.

[7] Joseph de M a i s t r e. Quatre chapitres inédits relatifs á la Russie. Paris, 1859, гл. IV. De l'illuminisme.

[8] Письмо 20 августа (2 сентября) 1810 г.; Lettres et opuscules etc., v. 2, № 71, с. 244.

[9] Quatre chapitres etc., с. 16.

[10] Correspondance diplomatique, v. 1, c. 81. Письмо 9 (21) апреля 1812 г.

[11] Animadversiones de secta murariorum – illuminatorum, неизвестного сочинителя; Le monde social renversé и Idée historique et philosophique иезуита Билло. По рассмотрению этих двух сочинений иезуитами Розавеном и Анфиолини, генерал ордена Бржозовский не нашёл их возможным напечатать в России и хотел издать в Лондоне. См. Переписку иезуитов, №№ 12, 22 и 93.

[12] Correspondance diplomatique, письмо к королю 10 (22) сентября 1811 г., т. 1, с. 27.

[13] М. Я. М о р о ш к и н. Иезуиты в России, с царствования Екатерины II и до нашего времени. Т. II, СПб., 1870, с. 475 и след.

[14] Joseph de M a i s t r e. Lettres et opuscules inédits. Paris, 1851, 2 vols, T. 2. Письмо к графу Разумовскому, с. 287 и след. (полностью это любопытное письмо см. Граф Ж. де М е с т р. Петербургские письма. СПб., 1995, с. 137–143 *(прим. ред.)*.

[15] H. H e n k e. Geschichte der christl. Kirche. T. II, ч. III, Braunschweig, 1794, pag. 69.

[16] Lettres et opuscules inédits. Paris, 1851, T. II. Письмо к графу Разумовскому, с. 311–339.

[17] Correspondance diplomatique: 1811–1817. Paris, 1860, 2 vols. Письма к королю 31 октября (12 ноября) 1811 и к министру иностранных дел И. А. де Росси 9 (21) апреля 1812.

[18] Она была издана в Париже в 1859 г. Quatre chapitres inédits relatifs à la Russie. 1. La Liberté, 2. La Science, 3. La Religion, 4. L'Illuminisme. Appendice au chap. 4-me et conclusion, c. 1–153.

[19] В и р г и л и й. Энеида, VI.

[20] М а р ц и а л. Graeculus esuriens in coelum jusseris ibit.

[21] М. Я. М о р о ш к и н. Иезуиты в России. Т. II, гл. 5; Граф де М е с т р. Correspondance diplomatique, T. I, c. 18, письмо к Сардинскому королю 20 августа (1 сентября) 1811 г.

[22] В изд. 1859 г., с. 153, в конце постановлены числа 16 (28) декабря. В письме к Сардинскому королю от 2 (14) февраля граф де Местр уведомляет, что уже представил эту записку; Correspondance diplomatique, T. I, c. 49.

[23] Correspondance diplomatique, T. I, с. 45, письмо 28 января (9 февраля) 1812 г.

[24] Он называл его daemonium meridianum и антихристом. Correspondance diplomatique, T. I, с. 79, 127 и др.; Lettres et opuscules, T. I, c. 48, 200 и др.

[25] L'or ne peut couper le fer; est-ce par cela qu'il vaut moins? Au contraire, c'est parce qu'il vaut plus.

[26] Qui assemble les hommes les émeute.

Глава 5

[1] 27-го марта 1812 года из С.-Петербурга: Г. П е р т ц. Жизнь Штейна («Das Leben des Ministers Freiherrn von Stein»), T. III, Berlin, 1854, с. 599.

[2] Mémoires de Michel Oginski sur la Pologne et les Polonais. 1788–1815. Paris, 1827, T. III, с. 153.

[3] Вильна, 8 (20) июня 1812 года.

[4] Видзи, 18 (30) июня 1812 года.

Глава 7

[1] Письмо адмирала Чичагова императору Александру от 19 июня 1812 года.

[2] Адмирал Чичагов – графу Румянцеву, 26-го июня 1812 г.

[3] Письмо императора Александра наследному принцу Шведскому, от 22 июня (4 июля) 1812 года, из Видзи.}

Часть II

Глава 2

[1] А. С. Ш и ш к о в. Записки, мнения и переписка. Т. I, Berlin, 1870, с. 130.

[2] А. С. Ш и ш к о в. Записки, мнения и переписка. Т. I, Berlin, 1870, с. 131.

Глава 3

[1] Записки А. П. Ермолова, 2 тома, М., 1865–1868, Т. I, с. 149, 150 и 151 (см. также: Записки А. П. Ермолова. 1798–1826. М., 1991, с. 148; *прим. ред.*).

[2] Полное Собрание Законов, 1812, января 27, Учреждение для управления большою действующею армиею, ч. I, глава 1, §§ 1, 3 и 18, № 24975.

[3] Изображение военных действий 1-й армии/Чтения в Имп. Обществе истории и древностей Российских, 1858, кн. IV.

[4] Письмо из Катани, в 25 верстах от Смоленска, без обозначения числа. Получено 31 июля, как отмечено рукою графа Аракчеева.

Глава 4

[1] 17 августа, на марше. Село Михайловка*.

Часть III

Глава 1

[1] Несвойственно было графу Ростопчину, с его неспокойным, увлекающимся характером, вести постоянно *Записки* о своей жизни. Но стремление к литературной деятельности часто заставляло его браться за перо. Кроме известного сочинения его о кончине Екатерины, в его семействе сохранилось предание, что он написал *Записки* о происшествиях 1812 года, которые после его смерти с другими бумагами были взяты по распоряжению правительства и хранятся в государственных архивах. У одной из его дочерей, г-жи Нарышкиной осталось несколько отрывков, списанных с этих *Записок*. Эти отрывки напечатаны его сыном графом А. Ф. Ростопчиным в Брюсселе в 1864 г. под заглавием: Matériaux, engrande partie inédits, pour la biographie future du c-te Th. Rostopchine, rassemblés par son fils. Tiré en douze exemplaires, 525 c. В переводе на русский язык они помещены в 2-й кн. «Девятнадцатого Века», с. 114–120. Ими воспользовался внук графа Ростопчина, граф Сегюр, написавший его биографию (Vie du c-te Rostopchine, gouverneur de Moscou en 1812. Paris, 1871, c. 181–182). Действительно, в наших государственных архивах хранится черновая тетрадь, в большой лист, писанная рукою графа Ростопчина, с поправками и помарками. В ней заключается рассказ о происшествиях в Москве с назначения графа Ростопчина главнокомандующим и до вступления французов в Москву. Когда и где были написаны эти Записки графом Ростопчиным? По словам его сына, он напи-

---

* М. Богданович. История Отечественной войны 1812 года. Т. II, СПб., 1859, с. 504–505 *(прим. ред.)*.

сал их в 1823 году в Ливенской своей деревне, в Козмодемьянском (Matériaux, etc., с. 272). По словам его внука, первые месяцы по возвращении из Франции (1823) он провёл в Воронове, где сожжённый им в 1812 году дом был уже возобновлён. «Там в свободное время он писал свои воспоминания о 1812 г. (граф Сегюр. Vie du c-te Rostopchine, кн. II, гл. V, с. 339). Последнее известие вероятнее, потому что едва ли сам больной и с больною дочерью (которая скончалась в начале 1825 года) граф Ростопчин решился надолго поселиться в отдалённой деревне. Но весьма вероятно, что именно в это время написаны им *Записки* о 1812 годе или, лучше сказать, о его генерал-губернаторстве в Москве в 1812 году; потому: 1) Содержание этих *Записок* показывает, что они писаны были долго спустя после происшествий, в которых сам граф Ростопчин принимал деятельное и видное участие. Выраженный в них взгляд на многие от этих происшествий и на действовавших в них лиц совершенно не согласен с современными взглядами того времени, даже самого графа Ростопчина. Память утратила свежесть и силу современных впечатлений; а вновь возникшие обстоятельства и отношения к лицам положили на них печать особых, исключительных воззрений, образовавшихся впоследствии у некоторых лиц. 2) Что эти *Записки* были писаны в 1823 году вероятно и потому, что они составляют продолжение той же историко-литературной деятельности графа Ростопчина, плодом которой было известное его сочинение «Правда о Московском пожаре», изданное в Париже в том же 1823 году. Обстоятельства, вызвавшие его написать это сочинение, невольно погрузили его в воспоминания о своей деятельности в 1812 году, которую он и описал в своих Записках. В них выражаются два направления: сказания современника перемешиваются со взглядами историка, повествующего о давно совершившихся событиях. Этими *Записками* я пользовался в моём рассказе, и везде, где приводятся в нём слова графа Ростопчина без особого указания на источник, они заимствованы из этих *Записок*.

[2] Письмо к Императору из Москвы 11 июня 1812 г. Все письма графа Ростопчина к Императору писаны на французском языке*

---

* Отрывки из писем графа Ф. В. Ростопчина к Александру I автор приводит в собственном переводе. Полностью эти письма (французский текст и русский перевод) были впервые опубликованы в *Русском Архиве* (1892, кн. 2, № 8, 9, с. 419–565). В послесловии к публикации (кстати, очень интересной!) П. И. Бартенев отмечает, что эти письма не были известны историкам Отечественной войны 1812 года — А. И. Михайловскому-Данилевскому и М. И. Богдановичу. П. И. Бартенев выразил также пожелание, чтобы отдельной книгой было издано всё, что написал о 1812 годе граф Ф. В. Ростопчин

[3] Письмо 30 июня 1812 г.

[4] *Чтения в Имп. Обществе истории и древностей Российских при Московском университете*, 1859, кн. 2-я, отд. V. Б е с т у ж е в-Р ю м и н. Краткое описание происшествиям в столице Москве в 1812 г., с. 72. В начале этого описания значится: «Отделение 1-е, происшествия в столице Москве, до вторжения в оную неприятеля». Действительно, рассказ событий тут оканчивается 2-м сентября, днём вступления неприятеля в Москву. Итак, второе заглавие не соответствует первому и показывает, что это только первое отделение «Описания», за которым должно следовать второе о пребывании неприятеля в Москве. Было ли написано Бестужевым-Рюминым это второе отделение?

В той же книге *Чтений* помещено «Донесение члена Вотчинного департамента Бестужева-Рюмина г. министру юстиции И. И. Дмитриеву, 27 февраля 1813 г. ». В этом донесении заключается рассказ о всех происшествиях в Москве со 2-го сентября до 12-го октября, составленный по числам, так же, как и в первом отделении описания, со дня вступления французов в Москву и до первого появления в ней казаков, после выхода их из столицы. Очевидно, это донесение заменяет второе отделение «Описания», как справедливо заметил и редактор *Чтений*. Но было ли оно первоначально составлено Бестужевым-Рюминым в этом виде, т. е. как донесение к министру юстиции, или отдельно, как второе отделение его сочинения и потом уже вследствие особых целей включено в состав поданного им в 1813 г. донесения министру? При внимательном чтении этого донесения нетрудно заметить, что его содержание распадается на две части: на рассказ о происшествиях в Москве этого времени и на дополнение к ним, в виде пояснений, написанных позднее и вызванных тем положением, в которое был поставлен сочинитель после оставления Москвы французами. Он был отдан под суд, со многими другими лицами, остававшимися в Москве, во время занятия её французами, из которых некоторые, и в их числе Бестужев-Рюмин, приняли должности в муниципальном управлении, учреждённом Наполеоном. Автор должен был оправдываться. Его донесение министру юстиции 27 февраля 1813 года и есть оправдание его действий, в которое, для большей убедительности, он включил подробный рассказ о пребывании французов в Москве, первоначально составленный им отдельно. Что именно так и было, подтверждают его собственноручные рукописи,

---

(Записки и многочисленные письма), «один из главных деятелей» этой эпохи, как выразился историк. Это пожелание П. И. Бартенева не осуществлено до сих пор, хотя мы уже на пороге 200-летия Отечественной войны 1812 года *(прим. ред.)*.

которые, во время продолжения следствия и суда по его делу, он сам рассылал различным лицам и ведомствам и которые сохранились в наших архивах, Главного Штаба и Министерства Внутренних Дел (в делах общества о пособии разорённым жителям Москвы, бывшего под предводительством императрицы Елизаветы Алексеевны). При сличении рукописи, писанной рукою самого Бестужева с изданною в *Чтениях*, оказался только следующий пропуск (с. 165): «28-го августа советник департамента г. статский советник Аничков, по предложению графа Дмитриева-Мамонова, уволен паки в отпуск на 8 дней, и департаменту остался я начальник» *.

[5] Письмо Императора к графу Ростопчину из Вильны 24-го мая 1812 г.

[6] Рескрипт графу Гудовичу 13 мая. *Северная Почта*, 1812, № 45.

[7] Письмо графа Ростопчина к Императору 4-го июня из Москвы.

[8] Письма М. А. Волковой к В. И. Ланской, от 7 и 24-го июня; *Русский Архив*, 1872, № 12; *Вестник Европы*, 1874, № 8, август, с. 582..

[9] Выдержки из Записок А. Я. Булгакова, под 1-м июня; *Русский Архив*, 1867, № 11, стб. 1373.

[10] А. Д. Б е с т у ж е в-Р ю м и н. Записки. Краткое описание происшествиям в столице Москве и пр. *Чтения в Имп. Обществе истории и Древностей Российских*, 1859, кн. 2, Отд. V, с. 69–70..

[11] С. Н. Г л и н к а. Русское Чтение. СПб., 1845, Ч. I, с. 240–241.

[12] Записки Ф. Ф. Вигеля, Ч. IV, с. 35, 38.

[13] Письма М. А. Волковой от 24-го июня и 1-го июля 1812 г.

[14] Описание бумаг, отобранных у иезуитов в 1815 г. (Полн. Собр. Зак., № 26036). Письма аббата Сюрюга к Билли в мае и июне 1812 г., № 115.

[15] Письмо графа Ростопчина к Императору от 7 июня 1812 г.

[16] Граф С е г ю р, Vie du c-te Rostopchine... Paris, 1871, с. 159–162 **

[17] Задние ходы Ростопчинского дома (ныне Н. П. Шипова), выходящие на Малую Лубянку, приходятся как раз против Латинской церкви Св. Людовика, при которой жил аббат Сюрюг. Заметим кстати, что аббат этот был прежде домашним учителем при детях известного

---

* Этот весьма ценный в историческом отношении материал был затем дважды, в 1896 и 1910, полностью перепечатан в Русском Архиве, см., например, Русский Архив, 1910, кн. 2, № 5, с. 78–126 *(прим. ред.)*.

** О прозелитизме графини Е. П. Ростопчиной и о том, какой это внесло разлад в семейную жизнь графа Ф. В. Ростопчина, см. в очень интересных воспоминаниях внучки графини, писательницы Лидии А. Ростопчиной «Правда о моей бабушке» (Исторический Вестник, 1904, №№ 1–4) *(прим. ред.)*.

археолога, бывшего некогда обер-прокурором Св. Синода, графа А. И. Мусина-Пушкина. На доме графа, на Разгуляе (ныне Вторая гимназия) устроены Сюрюгом сохранившиеся до сих пор солнечные часы (слышано от княгини Е. А. Оболенской, дочери графа А. И. Мусина-Пушкина) *(прим. П. И. Бартенева)*.

[18] Выдержки из *Записок* А. Я. Булгакова под 3-м июня/*Русский Архив*, 1867, № 11, стб. 1373–1374.

[19] Адам Фомич Брокер. (Его записки)/*Русский Архив*, 1868, № 9, стб. 1413 и след.

[20] Письмо графа Ростопчина к Императору 11-го июня 1812 г.*

[21] *Московские Ведомости*, 1812, № 50. В изданном в Чтениях описании происшествий в Москве в 1812 г. Бестужева-Рюмина по ошибке поставлено число 13 июня; в подлинной же его рукописи означено 18-е, как и следует.

[22] *Московские Ведомости*, 1812, № 53, 3-го июля.

[23] Письмо графа Ростопчина к графу Салтыкову 30 июня 1812 г.

[24] Journal de département des bouches de l'Elbe oder Staats-und-Gelehrte-Zeitung des Hamburger unpartheischen Correspondenten..

[25] В письме к императору графа Ростопчина имя учителя Верещагина написано неразборчиво, но, кажется, можно прочесть, что его звали Клейн. Это имя известно между масонами (М. Н. Лонгинов. Новиков и Московские Мартинисты, с. 291).

[26] Письмо к императору графа Ростопчина 30 июня 1812**.

[27] Письмо графа Ростопчина к императору, помечено: полночь, 4 июля 1812, Москва. Сенат позднее и приговорил Верещагина к ссылке в рудники *(прим. П. И. Бартенева)*.

---

* Полностью это письмо, а также переписка Александра I с графом Ф. В. Ростопчиным за 1812–1814 публикуется в *Русской Старине*, 1893, T. LXXVII, № 1, с. 173–208; отметим, что эта публикация дополняет публикацию писем графа Ф. В. Ростопчина в *Русском Архиве*, 1892, кн. 2, № 8, 9, с. 419–565 *(прим. ред.)*.

** Полностью это письмо (французский оригинал и русский перевод) было опубликовано в Русском Архиве (1892, кн. 2, № 8, с. 425–428); отметим, что имя учителя Верещагина во французском оригинале — Кун (Kuhn), названным просто Франкмасоном (Franc-maçon) и Мартинистом, но отнюдь не великим, как в переводе А. Н. Попова. Это — ещё одно свидетельство того, что Попов большую часть иноязычных текстов давал в собственном переводе (что совершенно понятно, так как огромное большинство использованных им в монографии документов, писем, мемуаров и т. п. не было опубликовано к началу 70-х годов XIX века, а многие не опубликованы и до сих пор), которые зачастую были не вполне адекватны иноязычным оригиналам *(прим. ред.)*.

[28] Б е с т у ж е в-Р ю м и н. Описание... с. 71 и 72. (Показание враждебного графу Ростопчину лица).

[29] Русский Вестник, 1812, июль. Стихи подписаны 3 июля, т.е. в самый день, когда появилось в *Московских Ведомостях* объявление о Верещагине.

[30] Письмо графа Ростопчина к императору, 30 июня 1812 г.

[31] Письмо графа Аракчеева к графу Ростопчину 9 июля 1812 г. из Смоленска.

Глава 2

[1] Письмо императора к графу Салтыкову, Ляхово возле Полоцка, 6 июля 1812 г.

[2] На записке помета: Забела, 5 июля 1812 г.

[3] На письме помета: Ляхово, 6 июля 1812 г. в 11 часов вечера.

[4] То же письмо.

[5] *Северная Почта*, 1812, № 57, известие из Невеля..

[6] Записки А.С. Шишкова. Берлин, 1870, Т. I, с. 149–150..

[7] Прошение Смоленских дворян 7 июля 1812 г.

[8] Донесение князя Багратиона 6 июля из Бобруйска и оттуда же от того же числа письмо графа Сен-При к императору.

[9] *Северная Почта*, 1812, № 58; А.И. М и х а й л о в с к и й-Д а н и л е в с к и й. Полн. собр. соч. Т. IV. СПб., 1850, с. 169–171; Донесение Чичагова из Бухареста 2 июля 1812 г.

[10] Письмо графа Румянцева к императору из Великих Лук 11 июля 1812 г.

[11] Письмо императора к Барклаю де Толли из Смоленска 9 июля 1812 г.

[12] Записки Шишкова. Т. I, с. 151.

[13] Император не был в Великих Луках, но из Невеля через станцию Сеньково отправился в Смоленск. (*Северная Почта*, 1812, № 57; А.И. М и х а й л о в с к и й-Д а н и л е в с к и й. Полн. собр. соч. Т. IV. СПб., 1850, с. 169). Вероятно, его сопровождал до Невеля князь Трубецкой и оттуда через Великие Луки отправился в Москву.

[14] С.Н. Г л и н к а. Записки о 1812 годе, СПб., 1836, с. 4–5, 6–9; Записки графа Комаровского в *Русском Архиве*, 1867, № 5–6, стб. 775.

[15] Записки С.Н. Глинки, с. 11–12.

[16] *Странное недоразумение*, вероятно, произошло от самого графа Ростопчина. По его свидетельству, Государь предполагал остановиться в Слободском дворце, и, без сомнения, согласно с этим желанием сделаны были приготовления для его приёма. Он изменил это наме-

рение по совету графа Ростопчина, который ранее Государя приехал в Москву из Перхушкова, но не дал знать, кому следовало о том, что Государь прибудет в Кремлёвский дворец.

[17] А.Д. Бестужев-Рюмин. Записки. Краткое описание..., с. 74.

[18] Записки о 1812 годе, с. 9–10.

[19] Пертц (H. Pertz). Das Leben des Ministers Freiherrn von Stein. T. III, Berlin, 1854, прилож. XVI, с. 625. Le comte Rostopschin a l'honneur de présenter ses hommages à m-r le baron de Stein. Il envoye un paquet à son adresse et lui propose, s'il est curieux de voir un empereur adoré par son peuple, de vouloir bien se rendre au château à 10 heures..

[20] Письмо графа Кочубея из Великих Лук от 11 июля 1812 г. On dirait, m-r le baron, que vous avez l'art de la divination, tellement vous avez choisi à propos le moment de votre voyage à Moscou. Vouz verrez cette ancienne capitale dans un grand éclat, et ce qui est plus, vous trouverez un grand attachement et un grand enthousiasme pour un souverain légitime. Vous verrez les sacrifices que l'on fera, et tout cela agira bien agréablement sur un homme qui pense et sent comme vous. Je suis bien fâché de ne pas être témoin de ces beaux élans. Je les aime par eux mêmes et la conviction qu'ils donnent de notre force, de nos moyens. Эти слова доказывают, что, при общем настроении всей России в это время, все наперёд знали, какой приём встретит Государь в Москве, без всяких искусственных подготовлений. В этом же письме граф Кочубей пишет барону Штейну: au grand mouvement que j'ai vu à Veliki-lucki le premier jour après le départ de l'empereur, a succedé le plus grand calme. Император не заезжал в Великие Луки (ср. прим. 13); но пребывание его в Невеле и на станции Сенькове могло возбудить движение и в Великих Луках, находящихся в близком расстоянии. Pertz. Das Leb. des Fr. v. Stein. T. III, прил. XI, с. 613–614.

[21] Записки С.Н. Глинки о 1812 годе, СПб., 1836, с. 13–14; его же Русские Анекдоты, Ч. II, с. 7–10.

[22] Записки графа Комаровского, *Русский Архив*, 1867, № 5–6, с. 775; Pertz. Das Leben v. Stein. T. III, с. 104–105; Записки Шишкова, Т. I, с. 151.

[23] И.М. Снегирёв. Очерки жизни Московского архиепископа Августина, М., 1848, с. 19–21.

[24] Письмо митрополита Платона из Вифании от 14 июля, ответ Государя из Твери 19 июля; Записки Шишкова. Т. I, с. 429, прилож. VIII; И. М. Снегирёв. Жизнь Московского митрополита Платона, Т. II, М., 1856, с. 42, примеч. 19.

[25] Записки о 1812 годе, СПб., 1836, с. 17–19.

[26] Записки графа Комаровского, *Русский Архив*, 1867, № 5–6,

с. 776 и 777; передавая речи Государя в собрании, он прибавляет: «весь сей разговор остался у меня в совершенной памяти». Записки о 1812 г. С. Н. Глинки, с. 20–21; Записки А. С. Шишкова. Т. I, с. 151; А. Д. Бестужев-Рюмин. Записки. Кратк. описание... с. 74; Записки Д. Б. Мертвого, *Русский Архив*, 1867, № 8–9, стб. 313; Записки Ф. П. Лубяновского, *Русский Архив*, 1872, № 3–4, с. 509–511; Р. Вильсон. Geheime Geschichte des Feldzugs v. 1812 г. с. 70–71; Пертц. Das Leben des Freih. v. Stein, Т. III, с. 104 и след.; Статья Нелединского-Мелецкого в *Московских Ведомостях*, 1812, № 58; Письмо графа Ростопчина к князю Горчакову 17 июля 1812 г., *Русский Архив*, 1871, № 1, стб. 152–153.

[27] Записки о 1812 годе, с. 17.

[28] А. Д. Бестужев-Рюмин. Записки. Краткое описание и пр., с. 75–76.

[29] Mémoires de m-me de Staël, dix ans d'exil, Paris, 1861, гл. XIII, с. 418*.

[30] Письмо императора от 15 июля 1812 г. из Москвы.

[31] *Московские Ведомости*, 1812, № 58, июля 20; письмо Балашёва к Нелединскому-Мелецкому 16-го июля 1812 г., в котором он объявляет ему волю Государя, чтобы он написал статью для печати о собрании сословий 15 июля в Слободском дворце.

[32] Полн. Собр. Зак., 1812 г., № 25174; Французские подлинники двух писем великой княгини напечатаны в сочинении: А. Языков. Батальон Е. И. В. великой княгини Екатерины Павловны. СПб., 1868, с. 43–45, 52–54; Русские переводы в *Архиве истор. и практ. сведений, относящихся до России* Н. В. Калачева, 1860–1861, кн. 2-я. Первое письмо без обозначения времени, второе от 7 июля 1812 г.

[33] Манифест 18 июля 1812 г., подписан в Москве; Полн. Собр. Законов, № 25188; рескрипт графу Ростопчину 19 июля, подписан в Твери. Оба писаны адмиралом Шишковым, см. *Записки*, Т. I, с. 151 и прилож. VI и VII. Из Петербурга император отправил следующее повеление графу Ростопчину: «предоставя образовать внутренние военные силы по губерниям Тверской и Ярославской Его Императорскому

---

* Отрывок из более позднего издания воспоминаний г-жи де Сталь: Staël A.-L. de. Dix années d'exil. Edition nouvelle d'aprés les manuscrits avec une introduction, des notes et un appendice par P. Gautier, Paris, 1904 в переводе с франц. Н. Ржиги и под названием: «1812-й год. Госпожа Сталь в России. Её воспоминания» опубликован в *Русском Архиве*, 1912, кн. 2, № 8, с. 539–579; наконец, см. современное издание мемуаров Ж. де Сталь, весьма добротно сделанное и очень подробно (порой даже излишне) откомментированное, в переводе с последнего французского издания 1996 года: Жермена де Сталь. Десять лет в изгнании. М., 2003 *(прим. ред.)*.

Высочеству принцу Георгию Ольденбургскому, предписываю вам, кроме движения их на назначенные мною пункты, во внутреннее их формирование не касаться. Июля 1812 г. ». В Архиве графа Аракчеева находится сборник под заглавием: «Исходящий журнал именным высочайшим указам и рескриптам, за собственноручным Его Императорского Величества подписанием, с 27 июня 1812 г. ». В этом сборнике 467 указов и рескриптов. Приведённый указ на имя графа Ростопчина не помечен числом; но помещается в числе указов от 28 июля.

[34] Письмо императора 17 июля 1812 г. из Москвы.

[35] Донесения Барклая де Толли от 14 июля из Витебска и Багратиона от 13 июля из Нового Быхова. Оттуда же и от того же числа письмо Сен-При.

[36] Предписание генералу Воронову 17 июля 1812 г. в Москве; указ графу Ростопчину от того же числа о выдаче денег Воронову (Аракчеевский сборник).

[37] А. И. Михайловский-Данилевский. Полное собр. соч. Т. IV. СПб., 1850, гл. XII, с. 177–178.

[38] Предписание Милорадовичу 5 июля; князю Лобанову-Ростовскому 27 июля; к нему приложены исполнительные бумаги, последовавшие вследствие этого самого предписания, помеченные 18 июля, а именно: указ графу Ростопчину из «строющегося в Москве вольными мастеровыми военного обоза отпустить на 12 полков 144 сухарных фуры и 144 патронных ящика генерал-лейтенанту князю Лобанову-Ростовскому»; указ управлявшему военным министерством князю Горчакову об ускорении высылки пороха; ему же указ Оренбургскому военному губернатору князю Волконскому: «избрать от вверенных вам линейных батальонов сколь возможно более исправных обер и унтер-офицеров, также и рядовых, достойных быть в армии унтер-офицерами, только из таких, кои не женаты» и прислать их во Владимир князю Лобанову-Ростовскому. Очевидно, ещё в Москве дано было ему приказание, т. е. в одно время с исполнительными бумагами, а потом только письменно изложено в Петербурге и помечено 27 июля 1812.

[39] Письмо императора к адмиралу Чичагову 18 июля 1812 г. из Москвы*

* Полный перевод письма к Чичагову от 18 июля 1812 года был опубликован в *Русской Старине*, 1901, № 1, с. 222; отметим, что оба перевода моментами существенно разнятся, например, у А. Н. Попова указано, что Смоленск дал 15 тысяч ополченцев, а в переводе *Русской Старины* указана цифра 1500 человек, т. е. в 10 раз меньше; впоследствии, когда в *Военно-историческом сборнике* (1912, № 3, с. 204–206) это письмо было

[40] Письмо императора к графу Салтыкову 5 июля 1812 г. из Белковщины.

[41] Письмо графа Салтыкова к императору 7 июля 1812 г. из Петербурга.

[42] Письмо графа Салтыкова от 12 июля из Петербурга; донесение ему Эссена от 9 июля из Риги следующее: «Имею честь вашему сиятельству донести, что неприятель после упорного сражения при селении Экау с генерал-лейтенантом Левизом, превосходившими силами принудил оного отступить к Риге. Митава занята вчерашнего числа, и сейчас я получил уведомление, что неприятель при Юнфергофе переправляется через Двину. Здешние форштаты сожигаются и частью сожжены. Всякая коммуникация, стало, скоро будет пресечена, и я свои донесения не иначе буду чинить, как морем через Пернов. Все присутственные места вывезены, где будет иметь пребывание Лифляндский гражданский губернатор. Я писал к министру морских сил о высылке для коммуникации лёгких морских судов в Пернов. У неприятеля осадной артиллерии нет; но пленные утверждают, что таковая из Динабурга имеет быть привезена». Ср. А. И. Михайловский-Данилевский. Полное собр. соч. Т. IV, СПб., 1850, гл. XVIII; Skizzen zu einer Geschichte des russisch-französischen Krieges im Jahre 1812, с. 53 и след.

[43] Письмо императора к графу Салтыкову 18 июля из Москвы.

[44] Полн. Собр. Зак., № 25178, ратификации этого договора были разменены в Петербурге 17 октября 1812 г.

[45] Полн. Собр. Зак., № 25177, ратификации этого договора состоялись 1 августа 1812; а 4 августа последовал указ об открытии портов и возобновлении торговли с Англиею; Там же, № 25197.

[46] Полн. Собр. Зак., № 25186; положение 15 июля 1812 г., которым предписывалось: остановить все постройки в империи, не выдавать ссуд частным лицам, а поступающие от них уплаты по займам обращать в государственное казначейство, а равно и все капиталы городов, оставив им, сколько нужно лишь для необходимых расходов.

[47] Письмо Бернадота к императору 15 (27) июня 1812 г. из Эребру.

[48] Письмо Бернадота из Эребру от 1 (13) июля 1812 г.

[49] Это известие было послано через адмирала Бентинка, командовавшего английскою эскадрою в Балтийском море, и пришло в Стокгольм около 20-х чисел июля. Депеша Сухтелена 22 июля (3 августа) 1812 г.

[50] Письмо императора к Бернадоту из Москвы 17 июля 1812 г.

опубликовано не только в переводе, но и его французский оригинал, оказалось, что А. Н. Попов привёл правильную цифру Смоленских ополченцев (прим. ред.

Глава 3

[1] Граф Ростопчин в *Записках* о 1812 г. говорит: «Во время пребывания Императора в Москве постоянно приходили известия об отступлении войск к Смоленску, прибытии их в этот город, соединении Барклая с Багратионом. Неприятель уже занял Минск, Могилёв и Витебск. Страх распространялся в Москве, но пребывание Государя привлекло всеобщее внимание. Курьер из Петербурга привёз известие, что наследный принц Шведский (Бернадот) прибудет в Або, для свидания с Императором и что приехал новый английский посланник лорд Каткарт». Очевидно, память изменила графу Ростопчину в то время, когда он писал эти строки; у него утратилась последовательность происшествий, и происшествия разных времён приурочены к одному. Во время пребывания Государя в Москве никто не знал, что наши войска будут отступать до Смоленска, и сам он этого не предполагал. Напротив, Государь думал, что будет дано генеральное сражение под Витебском и ожидал о нём известий, которые поручил привезти к себе генерал-адъютанту Кутузову. Император выехал из Москвы в Петербург с 18 на 19 июля, а обе наши армии соединились в Смоленске 22 июля; следовательно, известие об этом событии не могло прийти в Москву во время его пребывания в ней. Письмо от наследного Шведского принца, в котором он изъявлял согласие иметь личное свидание с Императором, было получено им уже в Петербурге, чрез несколько дней по возвращении из Москвы. Что же касается до лорда Каткарта, то Император мог узнать в Москве только о назначении его чрезвычайным послом к нашему двору. *Северная Почта*, 1812, № 62, августа 3-го, в числе известий из Лондона от 21 августа н. ст. сообщала, что: «вчера лорд Каткарт откланивался, будучи назначен послом к *одному* из знатнейших дворов в Европе. Он немедленно отсюда отправится». Письмом их в Або, лорд Каткарт 27 августа н. ст. извещал графа Румянцева, что он туда прибыл и ожидает распоряжения нашего правительства. Он же письмом от 23 августа (4 сентября) уведомил канцлера, что приехал в Петербург.

[2] Шницлер. Rostopchine et Koutouzof, ou la Russie en 1812. Paris, 1869, c. 108.

[3] Chambray G. de. Histoire de l'expédition de Russie, Vol. I, Paris, 1823, c. 365; Fain A. de. Manuscrit de l'an 1812, Paris, 1827, Vol. I, c. 313; C-te Segur. Histoire de Napoleon et de la Grand Armée pendant l'annee 1812. Paris, 1824, Vol. II, кн. VIII, гл. 2, c. 18.

[4] Armand Domergue. La Russie pendant les guerres de L'Empire (1805–1812). Paris, 1835, Vol. I, c. 230.

[5] С.Н. Глинка. Записки о 1812 годе, СПб., 1836, с. 28–29.

[6] Там же.

[7] Адмирал Чичагов (Mémoires Biblioth. russe, nouv. série, T. VII, Leipzig, 1862, с. 209), говоря о Московском пожаре, замечает: «Пожар, по моему мнению, не был делом народного патриотизма. Патриотизм есть чувство слишком возвышенное, чтобы он мог в значительной степени развиться в деспотическом государстве. В инстинктивной любви к своему очагу нельзя отказать Русским; но её нельзя смешивать с просвещённой любовью к Отечеству свободных народов». Сравни: граф де М е с т р. Correspondance diplomatique. T. I, с. 153.

[8] Неизвестно, на какое своё предложение о вооружениях указывает граф Ростопчин. Может быть, это объяснит следующее его письмо к Императору 29 декабря 1806: «Государь! Присяга, которую я вам приносил, может ручаться за мою верность. Я исполняю долг христианина, верного подданного, говоря о современных обстоятельствах Вашему Величеству, зная людей и будучи одушевлён ревностию к славе Отечества и сохранению дворянства, которое вы сами считаете опорою престола.

Это знаменитое сословие, исполненное духа Пожарского и Минина, жертвует всем для Отечества и гордится Русским именем. Составляемые ополчения сделаются необоримою преградою врагу всего мира и положат конец его желанию проникнуть в страну, хранимую Богом и которой не смела в продолжении ста лет касаться нога неприятеля.

Но все меры, все вооружения, невиданные до сих пор, мгновенно исчезнут, если желание получить так называемую свободу возмутит народ к погибели дворянства, единственной цели, к которой чернь (la populace) стремилась при всяких смутах и восстаниях. Такого рода людям служит поощрением пример Франции, подготовленный тем гибельным просвещением (funeste Lumière), которое влечёт за собою уничтожение законов и властей.

Меры, принятые для удаления иностранцев из империи, привели к дурным последствиям, потому что едва ли по одному из сорока оставили страну, где их уважают и обогащают. Если Французы приняли наше подданство, то это из страха или жадности, нисколько не изменив своего образа мыслей. Они вредны для России, чт доказывается их влиянием на некоторых людей, которые только и ожидали Наполеона, чтобы получить свободу. Очистите Россию, Государь, и оставив только одних священников, отправьте за границы толпу негодяев, которых гибельное влияние развращает умы и души наших заблуждающихся подданных.

Мой долг, моя присяга, моя совесть заставляют меня исполнить священную обязанность — открыть вам истину в том виде,

как я представлял её вам в то время, когда ваше сердце отдавало справедливость моей искренней преданности. Я умоляю вас, Государь, именем Всемогущего, подумать о прошедшем и настоящем, об измене Степанова (?), о расположении умов, о философах, Мартинистах, об избрании начальника Московского ополчения. Приезжайте на несколько дней в Москву, и ваше присутствие оживит любовь, заглушённую разномыслием, забвением законов и презрением к министрам». Это письмо, как и все письма графа Ростопчина к Императору, писанное по-французски, найдено было в 1812 году французами в его Московском доме вместе с другими бумагами и по распоряжению Наполеона напечатано в *Монитёре* 1 декабря 1812 года (Перепечатано у Шницлера. Rostopchine et Koutouzof, с. 66–68). Едва ли возможно это письмо считать подложным; как по изложению, так и образу мыслей оно обличает сочинителя. Но, кажется, некоторые выражения ошибочно прочтены в черновой, вероятно, рукописи, писанной не всегда разборчивою рукою графа Ростопчина, и по которой оно было напечатано в *Монитёре.* Считая, собранные в то время значительные ополчения «непреодолимою преградою» для Наполеона, если бы он возымел намерение вторгнуться в Россию, вероятно, после заключения Тильзитского мира, граф предлагал не распускать его окончательно, но приберегать как запас на случай новой войны с Франциею. Граф Ростопчин, как и большая часть образованного общества того времени, смотрели на Тильзитский мир как на временное перемирие и были уверены, что возгорится снова война*.

[9] С.Н. Глинка. Записки о 1812 годе, с. 32; Полн. Собр. Зак. № 25193; *Северная Почта*, 1812, № 62.

[10] Михайловский-Данилевский. Полн. собр. соч., Т. IV, с. 292; но граф Ростопчин (La vérité sur l'incendie de Moscou) говорит: «1600 починенных ружей в арсенале были выданы Московскому ополчению»..

[11] *Русский Архив*, 1869, № 1, стб. 193.

[12] Письмо графа Ростопчина к императору 23 июля 1812 г..

---

* В публикации «Письма графа Ф.В. Ростопчина к императору Александру Павловичу» (*Русский Архив*, 1892, кн. 2, № 8, 9, с. 419–565) это письмо публикуется первым с датой написания 17 декабря 1806, что очевидно вызвано разницей нового и старого календарных стилей. В отличие от других писем в публикации французский текст этого письма не приводится. Перевод А.Н. Попова значительно отличается от перевода публикации *Русского Архива.* К тому месту письма, где речь идёт об измене Степанова, П.И. Бартенев сделал примечание: «Лицо нам неизвестное». *(прим. ред.).*

[13] Б о г д а н о в и ч. История Отечественной войны 1812 года, по достоверным источникам. Т. II, СПб., 1859, с. 35 и 36.

[14] А. Д. Б е с т у ж е в-Р ю м и н. Записки. Краткое описание... с. 76.

[15] С н е г и р ё в. Очерки жизни архиепископа Московского Августина. М., 1848, с. 25; Его же — «Жизнь Московского митрополита Платона»: «Итак, Московское ополчение, за неимением знамён, выступило в поход с благословением митрополита Платона и с хоругвями из церкви Спаса во Спасской, известной иерарху с детских его лет: при ней хранился прах отца его. Услышав об этом, митрополит со слезами воскликнул: "С нами Бог!"», Т. II, с. 44.

[16] Письмо графа Ростопчина к графу Толстому от 31 июля 1812 г.

[17] Его же письмо от 4 августа 1812 г.

[18] Его же письмо к императору от 23 июля 1812 г.*

[19] Его же письмо к императору от 26 июля 1812 г.

[20] Его же письмо к императору от 4 августа 1812 г.

[21] Его же письмо к императору от 6 августа 1812 г.**

[22] Его же письмо к императору от 10 августа 1812 г.

[23] Донесение управлявшего Министерством Внутренних Дел императору из Петербурга в Або от 17 августа 1812 г.

[24] Донесение Государю Балашёва в Або от 14 августа 1812 г.

[25] Письма М. А. Волковой от 22 июля и 5 августа 1812 г., *Русский Архив*, 1872, № 12; *Вестник Европы*, 1874, кн. 8.

[26] Письмо графа Ростопчина к императору 25 июля 1812 г.

[27] Его же письмо от 26 июля 1812 г.

[28] В Москве 1-го июля появилась, в роде лубочных, картинка, представляющая кабак, с двуглавым орлом над дверями; за прилавком целовальник, в дверях стоит Корнюшка, вокруг него толпа крестьян, а под картинкою надпись: «Московский мещанин, бывший в ратниках, Корнюшка Чихирин, выпив лишний крючок на Тычке, услышал, будто Бонапарт хочет идти в Москву, рассердился и разругал скверными словами всех Французов; вышед из питейного дому, заговорил под орлом так: "Как! К нам? Милости просим, хоть на святках, хоть на масляницу; да и тут жгутами девки так припопонят, что спина

---

* Последняя фраза переведена А. Н. Поповым весьма неточно. См. французский текст этого письма и перевод в *Русском Архиве* (1892, кн. 2, № 8, с. 433–436) *(прим. ред.)*.

** Любопытно, что этот абзац из письма графа Ростопчина к императору от 6 августа 1812 в публикации *Русского Архива* 1892 года приведён с купюрами: о самом слухе наказания за убийство Павла I и о том, кто, по мнению Ростопчина, распространял этот слух — нет ни слова, в том числе и во французском оригинале (см. *Русский Архив*, 1892, кн. 2, № 8, с. 443–444); *прим. ред.*

вздуется горой. Полно демоном-то наряжаться: молитву сотворим, так до петухов сгинешь! Сиди-ка дома, да играй в жмурки, либо в гулючки. Полно тебе фиглярить: вишь солдаты-то твои карлики, да щёгольки; ни тулупа, ни рукавиц, ни малахая, ни онучь не наденут. Ну, где им Русское житьё-бытьё вынести? От капусты раздуются, от каши перелопаются, от щей задохнутся, а которые в зиму-то и останутся, так крещенские морозы поморят; право так! Будут у ворот замерзать, на дворе околевать, в сенях зазябать, в избе задыхаться, на печи обжигаться. Да что и говорить! Повадился кувшин по воду ходить, там ему и голову сломить. Карл-то Шведский пожилистей тебя был, да и чистой царской крови, да уходился под Полтавой, ушёл без возврату. Да и при тебе будущих-то мало будет. Побойчей Французов твоих были Поляки, Татары и Шведы, да и тех старики наши так отпотчевали, что и по сю пору круг Москвы курганы, как грибы, а под грибами-то их кости. Ну, и матушка Москва! Ведь это не город, а царство. У тебя дома-то слепой да хромой, старухи да ребятишки остались, а на Немцах не выедешь: они тебя с маху оседлают. А на Руси что, знаешь ли ты, забубенная голова? Выведено 600.000, да забритых 300.000, да старых рекрут 200.000. А всюду молодцы: одному Богу веруют, одному царю служат, одним крестом молятся, все братья родные. Да коли понадобится, скажи нам батюшка Александр Павлович: сила христианская, выходи, и высыпит бессчётная, и свету Божьева не увидишь! Ну, передних бей пожалуй: тебе это по сердцу; зато остальные тебя доканают на веки веков. Ну, как же тебе к нам забраться? Не токмо что Ивана Великого, да и Поклонной во сне не увидишь. Белорусцев возьмём, да тебя в Польше и погребём. Ну, поминай как звали! Посему и прочее разумевай, не наступай, не начинай, а направо кругом домой ступай и знай, из роду в род, каков Русский народ".

Потом Чихирин пошёл бодро и запел: "Во поле берёзынька стояла", а народ, смотря на него, говорил: "откуда берётся? А что, говорит дело, то уж дело"».

[29] Вот это объявление: «2 августа. Вчерашнего числа главнокомандующий в Москве получил чрез нарочного курьера от его высокопревосходительства военного министра от мызы Мощинки, следующие известия: 26 числа 1 и 2 армии, снабдившись продовольствием, выступили из Смоленска, 1-я в Выдры, а 2-я в Катань. 27-го авангард 1-й армии, под начальством генерала Платова и генерал-майора графа Палена, разбил корпус неприятельской кавалерии. Большое число войск, оный составляющих, совершенно истреблено, и взято в плен нами около 1000 человек, в числе коих один полковник и много штаб и обер-офицеров; также взят обоз командующего оным генерала Мал-

брюна*. 27 же числа армии перешли 1-я в Мощинку на Пореченскую дорогу, а 2-я в Выдру». *Библиографические Записки,* 1859, Т. 2, с. 48.

[30] Граф Ростопчин печатал свои объявления или в *Московских Ведомостях* или отдельными листками, которые разносились по домам как театральные афиши, и потому они сделались известными под названием Ростопчинских афиш. «Всех таких афишек,— говорит М. Н. Лонгинов,— известно нам 16, хотя вероятно их было и более; но они легко могли истребиться» (*Русский Архив,* 1868, № 4 и 5, с. 857). К сожалению, это последнее замечание совершенно верно, и желание собрать все афишки графа Ростопчина, несмотря на все старания, приведёт к сомнению: все ли их удалось собрать? потому что, по свидетельству современника, «граф Ростопчин, по отъезде Государя из Москвы, редкий день не выдавал афишек как о действиях наших армий, так и особенно от себя в народное известие» (А. Д. Б е с т у ж е в-Р ю м и н. Краткое описание... с. 77). Было несколько попыток издать эти афишки. Впервые, сколько мне известно, появилось их собрание в *Историч. географич. и статистич. журнале,* 1812 г., в числе 15, под заглавием: «Дружеские послания от главнокомандующего в Москве к жителям её». Потом издал их И. М. Снегирёв в приложениях к «Очеркам жизни архиепископа Московского Августина», в числе 9 (прилож. 16, с. 116–122), в 1841 г. Затем, в 1853 г., в Смирдинском издании сочинений графа Ростопчина их помещено 12, и сверх того, лубочная картинка с Корнюшкою Чихириным и его речью к народу 1-го июля, и воззвание к крестьянам Московской губернии (с. 163–182). Наконец, третье собрание издано генералом Богдановичем (История царствования Александра I-го, Т. III, гл. 35, прилож., с. 69–73), в числе десяти. Это перепечатка с Смирдинского издания с пропуском двух афишек, №№ 3 и 4, без объяснения, почему они исключены. Не помещены также изданные самим генералом Богдановичем объявления о сражении под Смоленском и о потерях неприятеля 27 августа (История Отечественной войны 1812 года, по достоверным источникам, Т. III, гл. XXV, с. 259 и 262). Обо всех этих изданиях можно сказать то, что́ М. Н. Лонгинов говорит об издании Смирдина: «знаменитые Ростопчинские афишки 1812 г. напечатаны в беспорядке, многие без означения чисел; некоторые, уже известные, вовсе не вошли в собрание». Он насчитывает 16 афиш и делает довольно удачный опыт приурочить каждую из них к числам месяцев. Он прямо ставит под № 1 афишку от 1-го июля о Корнюшке Чихирине в числе Ростопчин-

* Речь идёт о командире 2-го кавалерийского корпуса генерале Монбрёне *(прим. ред.).*

ских, хотя Снегирёв и Богданович пропустили её в своих собраниях, а у Смирдина она напечатана отдельно от них (с. 163–165). Очевидно, издатели этих афиш или не приписывали её графу Ростопчину вовсе, или сомневались, им ли она написана. Но я совершенно разделяю взгляд г. Лонгинова и не вижу никаких поводов сомневаться в её сочинителе. Приведённые строки из его *Записок* о 1812 годе, я «отбросил в сторону (mis de côté) сказки и рисунки и пр.», составляют косвенное признание, что он сочинитель этой афишки, в чём были уверены все современники. Послание к Московским жителям г. Лонгинов приурочивает к 9 августа, кажется, вернее, нежели Шнитцлер, который обозначает его 24-м числом августа н. ст., т.е. 11-го августа нашего, что повторяет за ним и граф Сегюр (S c h n i t z l e r. Rostopchine et Kotouzof, с. 128; C-te S e g u r. Vie du c-te Rostopchine, с. 191). Ср. примеч. 8-е к следующей главе.

[31] Письмо М.А. Волковой от 29 июля 1812 г.

[32] *Русский Вестник*, 1812, кн. 10, с. 86..

[33] D o m e r g u e. A. La Russie pendant les guerres de L'Empire (1805–1812). Vol. I, Paris, 1835, с. 237 и след.

[34] А.И. М и х а й л о в с к и й-Д а н и л е в с к и й. Полн. собр. соч. Т. IV, СПб., 1850, с. 482.

[35] И.Т. Р а д о ж и ц к и й. Походные записки артиллериста с 1812 по 1816 год. Ч. 1. 1812-й год. Война в России. М., 1835, с. 18–20.

[36] Письмо к военному министру из Полангена 10 декабря 1811 г. подписано: de Laizew.

[37] Депеша графа Штакельберга из Вены графу Румянцеву (6 июля) 1812 г. Вот этот список:

«Margot, о котором я уже упоминал в прежних депешах, начальник 40 человек; им поручено действовать на направление общественного мнения, и они состоят большею частью из вышедших из Парижской академии восточных языков. Они отправились в Константинополь и должны пробраться в Россию чрез Белград и Виддин. Предполагают, что вероятно Венский двор об этом не знает. Chopius, из Доля близ Безансона, был секретарём Французского посланника при Регенсбургском сейме; употреблялся для тайных поручений в Швейцарии. В марте месяце он был в Париже и исчез, чтоб появиться при Французском посланнике в Берлине. Duminick, 40 лет, сын министра Трирского электора, с юности употреблявшийся для тайных поручений, прошедший безопасно все мытарства Французской революции; говорит на всех языках, хороший географ, торговый человек, очень забавен и чрезвычайно скрытен. Около 7 лет он состоял при Французском посольстве. Он не получает определённого

жалованья, но всем Французским посольствам вменено в обязанность выдавать ему денег, сколько он потребует. Как только дела принимают тревожное направление, он начинает путешествовать под именем Христиана Кохендорфера. У него имеются всякие паспорты. Его бумаги стоят исследования. В половине марта он находился в Страсбурге и был нездоров, но имел поручение отправиться в Берлин или Петербург к Французским посольствам. В его распоряжении состоят следующие евреи: Parckas из Гамбурга; Isaac Sterbnitscher; Joseph Hofweiler, оба из Вормса; Rudolf Legé, Саксонец, опасный; Auguste Mutsdorf, прежде бывший секретарём герцога Курляндского; Louis de Fermin, Мальтийский кавалер, игрок, не совсем подозрительный, имеет знакомство в нашем посольстве в Париже и, кажется, был в России в войсках принца Конде; le c-te de Dorreville или Dorville, из Парижа, большой пройдоха; надо удалять его от лица Императора: всё готов сделать из-за денег. Последние двое находятся уже в Берлине. Le prince Henri de Reusse-Plauen, был капитаном в Австрийской службе, в гусарах Бланкенштейна, племянник Австрийского артиллерийского генерала князя Рейсса. Совершенно предан Франции. Хочет вступить в русскую службу. Имеет деньги. Вероятно, он находится в Берлине, Вильне или Петербурге. Iohann Friederich von Norck, из Гамбурга, известный шпион Французского правительства, наблюдавший за эмигрантами в Брюсселе; бывает то в Берлине, то в Петербурге. Gherardi, Итальянец, неважный. Sir Viscombet, Ирландец, находился в связи с графинею de Vares, теперь княгинею Salm-Salm, авантюрист и интриган; собирается ехать в Петербург. Многие Греки, приезжающие по торговым делам, участвуют также и в подобных делах. На иезуитов следует обращать внимание».

[38] Письмо графа Ростопчина к графу Аракчееву: «М.г. граф Алексей Андреевич! На отношение ко мне вашего сиятельства, коим требовать изволите сведения о причинах, по которым иностранцы, купцы Каспар Вебер и Гейдер, удалены были из Москвы в Нижний Новгород, я честь имею ответствовать вам, что генерал от кавалерии Тормасов, до открытия ещё кампании против Французов, уведомлял предшественника моего, что Французское правительство намеревалось прислать в Российские города тайных агентов, и что в числе их прибыли сюда вышеописанные Швейцарские уроженцы, Каспар Вебер и Гейдер. Сия причина была достаточным поводом к обращению на них полицейского надзора и ещё более к высылке их из Москвы при смутных обстоятельствах, впоследствии времени столицу сию постигших. Генваря 13 дня 1813 г. Москва».

[39] Сочинения графа Ростопчина, изд. Смирдина, с. 185–186.

[40] Главным поваром графа Ростопчина был Арнольд Турне (Arnold Tournay); бельгиец, род. в г. Спа. Любопытные известия о его судьбе находятся в примечаниях к рассказу кавалера Д'Изарна (Francois-Joseph D'Ysarn) о пребывании французов в Москве в 1812 г. (Relation du séjour des Francais à Moscou en 1812, ed. de Gadaruel, Bruxelles, 1871; сначала помещено в *Русском Архиве* 1869 года, № 9). Турне был русским подданным, вероятно вступившим в наше подданство вследствие распоряжений об иностранцах в 1806 г. Семь лет он пробыл в ссылке, в Перми, и потом получил разрешение поселиться в Казани, куда было дозволено переехать из Москвы и его жене с детьми. В Казани он открыл кондитерскую лавку, торговал удачно и умер там 72-х лет, в 1841 г. Он не любил вспоминать о позорном наказании, претерпённом им по распоряжению графа Ростопчина в 1812 г. в Москве, и когда заходила об этом речь, то слёзы текли из его глаз. По его рассказам дело происходило так. «Незадолго до вступления французов, Турне заботился приготовить завтрак для графа. Один из его помощников неохотно и небрежно исполнял свои обязанности и рассердил его (чт очень легко было сделать, так как он и в старости не утратил своей вспыльчивости). Он в это время рубил ножом говядину. "Вот погоди, закричал он на поварёнка, пусть только придёт наш император, вот что он с вами сделает", и продолжал знаменательное занятие. Один из лакеев, всегда готовых подслуживаться своим господам, потворствуя их страстям, пошёл тотчас же сделать донос грозному губернатору, украсив рассказ самыми недоброжелательными толкованиями. Когда немедленно затем Турне был позван к графу, который спросить его о словах, которые он произнёс и о жестах, то он отвечал ему следующее: "Граф, я сказал наш император, подразумевая императора Александра". Его сиятельство не обратил никакого внимания на такое объяснение, сурово упрекнул его в измене своему новому отечеству и велел подождать в передней распоряжения, которое и не замедлил сделать. По приказанию графа, Турне вывели на двор, посадили в тележку, привезли на Красную площадь перед Гостиным Двором, положили на позорную скамью и дали 25 ударов розгами. По окончании наказания его бросили полумёртвого в тележку и, не позволив даже заехать домой, чтобы взять некоторые необходимые вещи, отправили прямо по дороге в Сибирь, в белой холстинной куртке, в которой он исправлял свои обязанности в кухне». Очень возможно, что слова вспыльчивого Турне, в минуту гнева сказанные поварёнку, и действительно относились к императора Наполеону; но чтó касается до быстроты суда и расправы над ним, то его рассказ кажется правдоподобным, потому что совершенно соответствует

характеру и взглядам на правосудие графа Ростопчина, предлагавшем Императору совершить такой же скорый суд над Верещагиным. Но почему же такая ничтожная выходка его повара-бельгийца послужила поводом к такому странному наказанию? Неужели его можно объяснить, следуя многим иностранным писателям, *слепою ненавистью* графа Ростопчина к французам? Один из них, Арман Домерг, бывший в это время режиссёром Московского Французского театра, рассказывает, что на обеде у графа Апраксина, на котором он сам присутствовал, граф Ростопчин, заспорив с князем Хованским, устремил сверкающий взгляд на него, Домерга, и сказал: «я тогда только успокоюсь, когда искупаюсь в крови Французов (je ne serai satisfait que lorsque j'aurai pris le bain dans le sang des Français)». Заносчивый граф Ростопчин, видя в это время в обществе русских француза, конечно, мог произнести такие слова, которые, вероятно, относились во всяком случае к тем французам, которые с оружием в руках шли разорять и губить Россию; но за что же сечь публично и ссылать в Сибирь мирных иностранцев, как его повар Турне? Поручая народу «брать за хохол да на съезжую», всякого, кто бы вздумал хвалить Наполеона, он хотел дать правильное направление *народной ненависти к иностранцам*: карая виновных и оправдывая невинных, предупредить возможность волнений. Но это поручение, по словам того же Домерга, не произвело «на народ почти никакого влияния; только подверглись публичным оскорблениям, вызванным полицейскими агентами (par des agens-provocateurs) несколько мирных французов и немцев. Видя спокойное отношение народа к иностранцам и опасаясь, чтобы все эти постыдные меры не были вменены ему, губернатор пытался покровом человеколюбия прикрыть свои жестокости вменить народу те увлечения, в которые его вовлекали его же подстрекатели. По этому поводу он издал новое объявление, в таком же роде, как и первое, в котором говорил: "зачем бить тощего француза или толстого немца в парике?"» и пр. (La Russie pendant les guerres de L'Empire, vol. I, c. 237–240). Другой иностранец, бывший офицер нашей службы, проживавший в это время в отставке в Москве, говорит: «В каждом иностранце правительство (т. е. Московское) подозревало неприятельского шпиона и окружало их действительными шпионами, получавшими жалованье от полиции, которые беспрерывно ходили по кофейным и пивным. Один из них был особенно страшен иностранцам, он говорил на всех языках; это был итальянец Тигри. Низшие агенты понимали только русский язык и по своим соображениям доносили то, чего не понимали; так что опасно было вести самые обыкновенные разговоры. Например, в одном трактире говорили о скором прибытии Наполео-

на и говорили с ужасом. Один немец портной, желая выказать свою храбрость, сказал: "чего ж бояться этого чудака (ce drôle-là)? Если он придёт ко мне, я приглашу его обедать". Полиция усмотрела в этих словах приверженность к Наполеону. Портного взяли, жестоко наказали плетьми и сослали в Сибирь» (Hist. de la destruction de Moscou en 1812, par A. F. B... ch, с. 52 и 53). Иностранцы не обвиняли русской народ в слепой к ним ненависти, конечно, некоторые и потому, что считали его слишком грубою силою для того, чтобы быть способным как любить Отечество, так и ненавидеть врагов. Но едва ли они были правы, объясняя также слепою ненавистью некоторые поступки графа Ростопчина против иностранцев. Один из русских свидетелей событий говорит: «Надобно ли было графу Ростопчину опасаться в общей тревоге восстания черни и успел ли бы он, как провозглашали, отвести её от того прибаутками, – он про то не знал; а по-видимому ни у кого не было ничего похожего на то и в помышлении. Скорее можно было бы ожидать от черни своевольства от подстрекательств теми же колкими шутками, если здравый смысл народный не сознавал и не уважал общего бедствия» (Записки Ф. П. Лубяновского, *Русский Архив*, 1872, № 3–4, стб. 511). В этих уклончивых словах и заключается, по моему мнению, разгадка образа действий графа Ростопчина, как в отношении к народу, так и французам, проживавшим в Москве. Так же как опасался он измены и возмущения со стороны Мартинистов, он опасался и *восстания* черни, как выразился г. Лубяновский. Он опасался, что находившийся в *крепостной зависимости* народ способен ценою измены Отечеству принять *освобождение* из рук его врага, и поэтому всеми способами старался восстановить его против иностранцев вообще и против французов в особенности.

[41] Записки о 1812 г., с. 33, 42.

[42] Там же, с. 34; С. Н. Глинка. Русское Чтение, Ч. I, с. 305–306.

[43] Mémoires de m-me de Staël, dix ans d'exil. Paris, 1821, ч. 2, гл. X, с. 394 и след., гл. XI, с. 418. Un homme de beaucoup d'esprit disait que la Russie ressemblait aux pièces de Shakspeare, où tout ce qui n'est pas faute est sublime, où tout ce qui n'est pas sublime est faute. Rien de plus juste que cette observation; mais dans la grande crise où se trouvait la Russie quand ja l'ai traversée, l'on ne pouvait qu'admirer l'enérgie de résistance et de la résignation aux sacrifices qui manifestait cette nation; et l'on n'osait presque pas, en voyant de telles vertus, se permettre de remarquer ce qu'on aurait blâmé dans d'autres tems*

---

* Сравн. с современным изданием: Жермена де Сталь. Десять лет в изгнании. М., 2003, с. 203, 210 *(прим. ред.)*.

[44] Письмо графа Ростопчина к императору от 26 июля 1812 г.

[45] Mémoires, dix ans d'éxil, гл. XIV, с. 426. Г-жа де Сталь говорит, конечно, о даче Ростопчина в Сокольниках (ныне Митькова). Дом его в Воронове был сожжён им позднее *(прим. П. И. Бартенева).*

[46] Русское Чтение С. Н. Глинки, Ч. I, с. 241–242.

[47] Домерг говорит: Dans les hautes sociétés on voyait le général Rostopchine contrefaisant la démarche chancelante et les prétentions caduques du vieillard (фельдмаршала графа Гудовича). Il excellait surtout dans un salon à représenter le vieux gouverneur passant la revue de ses soldats et toute la société de rire de bouffonnes attitudes du général Rostopchine (La Russie pendant les guerres de L'Empire, T. I, с. 242).

[48] Записки о Москве и о заграничных происшествиях от исхода 1812 и до половины 1815 года... СПб., 1837, с. 43–44.

Глава 4

[1] Письмо графа Ростопчина к императору от 23 июля 1812 г.

[2] Письмо графа Ростопчина к императору от 6-го августа 1812 г.

[3] Письма графа Ростопчина к князю Багратиону от 6 и 12 августа 1812 г. Они напечатаны у Богдановича, но с изменениями (История царствования Александра I, Т. III, прилож., с. 64–65).

[4] Письмо князя Багратиона к графу Аракчееву от 7-го августа 1812 г. из Михайловки*.

[5] Письмо графа Ростопчина от 10 августа 1812 г. и прежде указанное от 6 августа.

[6] С. Н. Глинка. Записки о 1812 годе. СПб., 1836, с. 32.

[7] Письмо М. А. Волковой от 15 августа 1812 г. (*Вестник Европы*, 1874, № 8, с. 590–591).

[8] Граф Ростопчин говорит, что 8-го августа, в 6 часов утра, ему привезено было нарочным из армии известие об оставлении Смоленска и в то же утро он написал это объявление. Следовательно, оно должно было появиться в печати в тот же день или не позднее следующего, т. е. 9 августа. В таком случае его обнародование совпало бы с обнародованием *дружеского послания* к жителям Москвы, чтó весьма сомнительно. Самое содержание этого послания показывает, что оно писано прежде получения известия о занятии Смоленска неприятелем. Едва ли после этого известия граф Ростопчин написал бы: «не бойтесь ничего, нашла туча, — мы её отдуем». Граф Сегюр положительно

* См. М. Богданович. История Отечественной войны 1812 года. Т. II, СПб., 1860, с. 504–505 *(прим. ред.).*

говорит, что послание было обнародовано «прежде, нежели пришло в Москву известие о взятии Смоленска» (Vie du c-t Rostopschine, с. 191). В Записках о 1812 годе граф Ростопчин, в порядке рассказа о происшествиях, упоминает о послании прежде, и потом уже об известии об отступлении наших войск от Смоленска. Ввиду этих соображений следует заключить, что или послание было написано и обнародовано ранее 9 августа, или известие об оставлении Смоленска позднее этого числа. — В *Записках* графа Ростопчина, писанных долго спустя после 1812 года, смешаны часто самые происшествия, а число дня легко могло быть забыто и обозначено неверно. Если граф Ростопчин получил известие из армии рано утром 8-го августа, то оно писано было в Главной квартире и отправлено не позднее 6-го августа (от Смоленска до Москвы 390 вёрст). 6-го августа ещё продолжалась битва под Смоленском на правом берегу Днепра: в 9 часов вечера в этот день только началось отступление 1-й армии к Соловьёвой переправе; вся ночь прошла в передвижении войск; а на следующий день произошло сражение при Лубине, и 8 числа войска пришли к Соловьёвой переправе (Военный журнал полковника Толя). Только в этот день, достигнув Соловьёвой переправы и снова соединившись со 2-ю армией, мог уведомить Барклай де Толли графа Ростопчина об оставлении Смоленска. Это число отправления известия из Главной квартиры граф Ростопчин смешал, вероятно, с числом получения им этого известия. Но получить его мог он 10-го или 11-го августа, смотря по тому, в какое время дня 8-го августа оно было отправлено из Главной квартиры. Это подтверждает и самое известие, обнародованное графом Ростопчиным, в котором он говорит о расположении армии при деревне Пневой, т.е. близ Соловьёвой переправы, что́ и могло быть только 8 августа. Поэтому известие графа Ростопчина могло быть обнародовано не ранее 11-го или 12-го августа.

[9] А. Т ь е р. Histoire du Consulat et de L'Empire, кн. XXVI.

[10] Письмо графа Ростопчина к министру полиции от 30 июля 1812 г..

[11] Письмо графа Ростопчина к князю Багратиону от 12 августа 1812 г.

[12] С. Н. Г л и н к а. Записки о Москве..., СПб., 1837, с. 43..

[13] В этом случае граф Ростопчин совершенно сошёлся во взглядах с одним из тех лиц, которых наиболее ненавидел и преследовал, с известным масоном О.А. Поздеевым. Этот *истинный* Христианин (как называли себя наши масоны) и филантроп, в письме к С.С. Ланскому из Вологды от 19-го сентября 1812 года, говорит: «Одни дворяне и их прикащики побуждают к повиновению Государю, дабы

подати, подводы и прочие налоги давать. А дворяне к мужикам остужены рассеянием слухов от времён Пугачёва о вольности, и всё это поддерживалось головами Французскими и из Русских, а ныне и паче Французами, знающими, что оная связь содержала, укрепляла и распространяла Россию, а именно связь Государя с дворянами, поддерживающими его власть над крестьянами, кои теперь крайне отягощены набором рекрут, милицией и так называемым ополчением ныне, и особливо в Московской губернии, которая теперь уже не наша. И слышу, пишут из подмосковной дворовые, что уже мужики выгнали дворовых всех в одних рубашках вон теперь; а ныне уже зима: куда идти без хлеба и одежды? В леса? замёрзнуть и погибнуть с голоду? Вот состояние России! А сердце государства, Москва взята, сожжена. Войска мало, предводители пятятся назад; научились на разводах только, а далее не смыслят; войска потеряли прежний дух, а Французы распространяются всюду и проповедуют о вольности крестьян, — то и ожидай всеобщего (восстания). При этаком частом и строгом рекрутстве и наборах ожидай всеобщего *бунта* против Государя и дворян и *прикащиков*, кои власть Государя подкрепляют». Эти строки не заслуживали бы ни малейшего внимания, если бы они не были написаны одним из корифеев наших масонов, *вольных каменщиков*, обладавших якобы таинственными преданиями едва не с сотворения мира, строителями Соломонова храма, знатоками его премудрости, благодетелями бедных, сирых и убогих, ревнителями народного просвещения. «Где теперь безопасность? — писал Поздеев к графу Разумовскому несколько дней спустя, 21-го сентября, — потому что и мужики наши, по вкоренённому Пугачёвым и другими молодыми головами желанию, ожидают какой-то вольности, хотя и видят разорение совершённое; но очаровательное слово вольность кружит их, ибо мало смыслящих; а прочее всё число, так как и во всех состояниях, глупые и невежды». Чем же объяснить это тождество взглядов таких противуположных один другому людей? Всего естественнее конечно тем, что оба принадлежали к числу усердных защитников крепостного права, весьма ещё многочисленных в это время. Но к их числу принадлежал и А. С. Шишков; а между тем в проекте манифеста об ополчении он написал: «Каждый из военачальников и воинов, при новом своём звании, сохраняет *прежнее*, даже не принуждается к перемене одежды и, по прошествии надобности, т. е. по изгнании неприятеля из земли нашей, всяк *возвратится*, с честью и славою, в *первобытное своё состояние и к прежним обязанностям*, — следовательно, крепостные люди на том же праве возвратятся к своим помещикам. Мог ли бы написать эти строки Государственный секретарь, если бы

он также опасался, что народ может быть вовлечён в измену обещанием освобождения со стороны врага Отечества? Очевидно, такая мысль и в голову ему не приходила. Император Александр, постоянно желавший уничтожения крепостного права на людей, подписав манифест, не исключил этих строк и тем самым показал, что верит своему народу, его любви к Отечеству и преданности ему самому. Ещё в первые дни по вторжении французов в Россию, намереваясь возбудить народную войну, он писал Барклаю де Толли: «Я надеюсь, что мы выкажем такую же энергию в этом случае, как Испанцы» (j'espère que nous aurons autant d'énergie, que les Espagnols en déployent). Письмо из лагеря при Дриссе от 27 июня. Не отношения к вопросу о крепостном праве на людей сблизили мнения таких противуположных один другому людей, как граф Ростопчин и Поздеев; но одинаковый взгляд на народ. «Россия не то, чтó Пруссия и Немецкие земли, не то, что Польша ещё; Россия всё Татарщина», писал Поздеев (*Русский Архив*, 1872, № 10, стб. 1869, № 3, статья де Пуле; Записки Шишкова, Т. II, с. 109 и след.).

[14] Письмо императора из Петербурга от 8 августа 1812 г.

[15] Письма графа Ростопчина к императору от 13 и 14 августа 1812 г.

[16] Эти слова приведены выше из письма императора от 8 августа; но этих слов нет и, конечно, быть не могло, ни в рескрипте Кутузову, ни в известии, напечатанном в газетах (*Северная Почта*, № 64). Рескрипт князю Кутузову был следующий: «Михайло Ларионович! Настоящее положение военных обстоятельств наших действующих армий, хотя и предшествуемо было начальными успехами; но последствия оных не открывают мне той быстрой деятельности, с каковою надлежало бы действовать на поражение неприятеля. Соображая сии последствия и извлекая истинные тому причины, нахожу нужным назначение над всеми действующими армиями одного общего главнокомандующего, которого избрание, сверх воинских дарований, основывалось бы и на самом старшинстве. Известные военные достоинства ваши, любовь к Отечеству и неоднократные опыты отличных подвигов приобретают вам истинное право на сию мою доверенность. Избирая вас для сего важного дела, я прошу всемогущего Бога, да благословит деяния ваши к славе Российского оружия и да оправдаются тем счастливые надежды, которые Отечество на вас возлагает. 8-го августа 1812 г. ». От того же числа дан был указ Сенату о новом назначении князя Кутузова..

[17] Вместо: из Або, надо бы сказать: из Москвы. В Або император выехал из Петербурга 9-го августа, т. е. на другой день после назначения князя Кутузова главнокомандующим всеми армиями.

[18] Письма графа Ростопчина к императору от 23 июля и 10 августа 1812 г.

[19] А. Д. Бестужев-Рюмин. Записки. Краткое описание... с. 75.

[20] Там же, с. 80..

[21] И. И. Дмитриев. Взгляд на мою жизнь. М., 1866: «Неприятель уже подходил к Смоленску. При всём напряжении патриотизма, можно было ожидать худых последствий. На всякий случай я заготовил проект секретного ордера всем Московским обер-прокурорам, чтобы собраны были, без малейшей огласки, нужнейшие и важнейшие бумаги как по Сенату, так и по Вотчинному департаменту и Государственному Архиву, дабы, в случае опасности Москвы, они могли быть тотчас отправлены, куда будет назначено. По *новости предприятия* и уважения моего к комитету (министров), я внёс мой проект на его утверждение; но председатель оного, без *сомнения по внушению* г. Молчанова (статс-секретаря, управлявшего делами комитета), не хотел согласиться даже и на то, чтобы проект мой хотя прочтён был в заседании комитета, сказав мне, что я хозяин в моём министерстве, следовательно, могу предписывать подчинённым местам без ведома комитета. И что же? Около того же времени принимается от министра просвещения записка о разрешении на перекрышку на Аптекарском острове согнившей кровли на прачешном дворе. Жалкое противоречие!» (с. 205). Такие канцелярские расчёты заставили министра юстиции отложить свои распоряжения, хотя граф Салтыков, облечённый в это время обширною властью, уполномочивал его на это.

[22] Граф Ростопчин. Правда о пожаре Москвы, изд. Смирдина, с. 284. Михайловский-Данилевский полагает, что оставлено в Москве до 10 тысяч раненых. Собр. Соч. Т. IV, с. 504.— Отчёт о действиях интендантского управления в войне против Французов в 1812, 1813 и 1814 гг. Канкрина, изд. в общем «Отчёте за войну 1812–1815 г. », вероятно, Барклаем де Толли, без обозначения года (190 с.). Под отчётом Канкрина подписано: Варшава, марта 3-го дня 1815 г.; под рапортами Барклая Государю, при которых он представлял этот отчёт: 24 и 25 марта 1815 г. Вероятно эта книга и напечатана в этом году и, может быть, в Варшаве. Канкрин говорит: «В Москву, где больные должны были поступать во внутреннее ведомство, были посланы предуведомления о прибытии их и прошено было собрать повозки, на коих они туда и приехали. По приезде моём в Москву (перед самым её оставлением), видно было, что раненые, особенно пешие, впускаемы были прямо в столицу, без билетов на госпитали и без всякого препровождения, так что они, рассыпаясь по улицам, тревожили жителей зрелищем несчастного положения, в каком нахо-

дятся раненые при ретираде. Тут нужны были для соблюдения возможного порядка приличные меры; но тогдашнее время, способы, вообщий упадок духа и обстоятельства всем распоряжениям были противны. Против ожидания решилось 2-го сентября вечером оставление столицы. Через ночь, сколько можно было посадить раненых на повозки — посажено; а поутру уже все комиссионеры и прислуга Московских госпиталей рассыпались, и *много кажется* оставалось больных, которых поднять уже не было возможности». с. 110–111. Едва ли и можно было наверное определить число раненых, оставленных в Москве.

[23] А.Д. Бестужев-Рюмин. Краткое описание... с. 80.

[24] Письма императрицы к Н.И. Баранову от 19 и 26 августа 1812 г.; *Русский Архив*, 1870, № 8–9, стб. 1499–1503.

[25] Подлинники этих писем находятся в домашнем архиве Н.Ф. Самарина, которому приношу искреннюю благодарность за дозволение их обнародовать. См. ниже в Приложениях к этой главе.

[26] С.П. Шевырёв. История Московского университета, с. 414–415.

[27] Письма графа Ростопчина к императору от 13 августа, к князю Багратиону от 12 августа, к графу П.А. Толстому от 24 августа 1812 г.

[28] Письма Н.М. Карамзина от 29 июля и 27 августа 1812 г. (*Атеней*, 1858, Т. III, с. 485 и след.)..

[29] Письма Н.М. Карамзина к И.И. Дмитриеву. СПб., 1866, № 151, с. 164–165.

[30] А.Д. Бестужев-Рюмин. Записки. Краткое описание... с. 78–79..

[31] С.Н. Глинка. Записки о 1812 годе, с. 41; *Русский Вестник*, 1814, кн. 9. Состояние Москвы от отъезда Государя до Бородинского сражения.

[32] С.Н. Глинка. Записки о 1812 годе... с. 48–49.

[33] Письмо графа Ростопчина к императору от 13 августа 1812 г..

[34] Письмо его же от 14 августа 1812 г.

[35] La vérité sur l'incendie de Moscou, в изд. Смирдина, с. 286..

[36] А.И. Михайловский-Данилевский. Полное собр. соч., Т. IV, с. 503.

[37] La vérité sur l'incendie de Moscou, с. 206 и 261..

[38] Бюллетени Великой армии 20-й и 21-й.

[39] Minerva, ein Journal für Geschichte, Politik etc.v.F. Bron, 1848, Jena, февраль, с. 274–300, статья профессора Гессельбаха из Вюрцбурга. Рассказав жизнь Леппиха, учёный немецкий профессор заключил глубокомысленно: «Пожар Москвы не есть дело графа Ростопчина,

ни жителей, ни Французов, но дело одного Немца. Леппих дал первую мысль о сожжении Москвы императору Александру.

[40] *Moniteur Westphalien*, прилож. к № 146.

[41] Нота Алопеуса 22 марта (3 апреля) 1812 г. Ответ канцлера графа Румянцева. См. в Приложениях к этой главе.

[42] Письмо Шрёдера из Луцка от 1 мая 1812 г.

[43] Рескрипт императора Обрезкову из Вильны 10 мая 1812 г.; донесения Обрезкова Александру I от 27 мая и 6 июня 1812 г.

[44] Письмо Государя из Вильны к графу Ростопчину от 24 мая 1812 г.

[45] La vérité sur l'incendie de Moscou, c. 260–261.

[46] Письмо графа Ростопчина к императору от 7 мая 1812 г.

[47] Его же письмо от 11 июня 1812 г.

[48] Sire! Ayant surmonté plusieurs difficultés et comme mes ouvriers du pays étranger sont arrivés heureusement, je suis enfin tant avancé dans l'entreprise, que je travaille avec succès.

Il y a des matériaux nécessaires qui manquent ici, donc j'étais forcé de prendre des mesures qui m'ont empêchés dans mes progrès; mais je me suis pourtant fourni plusieurs articles et j'ai ordonné tout ce que est nécessaire.

Je me suis supposé que la somme pour la machine ne surmontera vingt milles roubles en argent; mais puisque les prix des matériaux et surtout de taffetas et de l'huile de vitriol, ne ce comparent point avec ceux des pays étrangers, c'est pourquoi la machine coûtera bien quarante milles roubles en argent.

Je supplie donc V. M. de me vouloir bien mettre en état, que je pourrai toucher sans délai les fonds nécessaires, d'autant plus puisque j'étais quelquefois fort en peine à cet égard et je dois bon gré à s. ex. m-r le gouverneur Obreskof qui non seulement m'a fourni de ses propres fonds la somme de dix neuf mille roubles, mais en tout cas où il faut d'argent contant, il donna caution; sans cela je serai fort empêché dans mes progrès.

Comme l'entreprise s'avance, j'ai trouvé nécessaire à établir une chancellerie et j'ai choisi pour secretaire un sujet bien attesté de sa probité. Outre celui je supplie V.M. de m'accorder comme directeur des objets physiques et chimiques le docteur Schäffer, lequel j'ai trouvé ici au service de la couronne. J'ai passé la jeunesse avec lui et dans les cours de quelques années, je n'entends pas autre de lui, que de bonne renommé et par conséquence je l'ai choisi comme aide dans des objets physiques et chimiques. Dans l'intervalle que tous sera terminé, il me peut être très utile, sans savoir à quelle destination et il est tant modeste, qu'il ne tâche pas savoir d'avantage. Il m'a déjà rendu des services considérables, quoiqu'il n'est pas encore instruit dans le mystère. Je joins avec soumission l'attestat de ses services ici, et plusieurs autres se trouvent dans l'expédition

de médecine à Pétersbourg. Il est connu comme auteur aux pays étrangers et bien estimé des létteraires distingués. Juin 1812 г. Это письмо Леппиха печатается верно с подлинным.

[49] Письмо графа Ростопчина к императору от 30 июня 1812 г.

[50] Его же письмо от 4 июля 1812 г.

[51] Заслуженный профессор Петербургского университета, В.В. Шнейдер в 1812 г. был студентом Московского университета и репетитором при двух других студентах (моложе его), знаменитом потом Грибоедове и Панине. Он много рассказывал об этом времени любопытных подробностей. Один из его рассказов о Леппихе помещается в Приложениях к этой главе.

[52] Письмо императора к графу Ростопчину из Петербурга от 8 августа 1812 г.

[53] Письма графа Ростопчина к императору от 13 и 23 августа 1812 г.

[54] Записки о 1812 годе, с. 43–44.

[55] Письма графа Ростопчина к императору от 29 августа и 1 сентября 1812 г.

Глава 5

[1] Это любопытное послание трудно поддаётся переводу на другой язык, а потому помещаю его во французском подлиннике:

«Français, votre empereur a dit, dans une proclamation à son armée: Français, vous m'avez dit tant de fois que vous m'aimiez; prouvezle moi donc en me suivant dans les regions hyperborées, où regnent l'hiver et la désolation et où le souverain ouvre ses ports aux Anglais, nos éternels ennemis... Français, la Russie vous a donné l'asile, et vous n'avez cessé de faire de voeux contre elle. C'est pour éviter un massacre et ne pas salir les pages de notre histoire par imitation de vos infernales fureurs révolutionnaires que le gouvernement se voit obligé de vous éloigner. Vous irez habiter les bords du Volga, au milieu d'un peuple paisible et fidèle à ses serments, qui vous méprise trop pour vous faire du mal; vous quitterez pour quelque temps l'Europe et vous irez en Asie. Cessez d'être mauvais sujets et devenez bons; métamorphosez vous en bons bourgeors russes de citoyens français que vous étiez; restez tranquilles et soumis, ou craignez un châtimemt rigoureux. Entrez dans la barque, rentrez en vous-mêmes et n'en faites pas une barque à Caron. Salut et bon voyage!» Полторацкий. Rostopchine, notice littéraire et bibliographique. Hamburg, 1854, с. 17; Шнитцлер. Rostopchine et Koutousof, с. 125–126; Armand Domergue. La Russie pendant les guerres de L'Empire, T. I, с. 253–260; Бантыш-Каменский. Словарь достопамятных людей, T. III, с. 134.

[2] С. Н. Г л и н к а. Записки о 1812 годе, с. 42.

[3] Письма графа Ростопчина к Балашёву от 18 и 23 августа 1812 г.

[4] Сосланы были: Алларт (Allart), книгопродавец; Обер-Шальме (Aubert-Chalmet), торговец; Оже (Auger), учитель; Арман (Armand), торговец модными товарами; Арман Домерг (Armand Domergue), режиссёр Французского театра; Бекерс (Beckers), немец, торговец модными товарами; Демонси (Demoncy), тоже; Дюграво (Dugraveau), учитель; Этьен (Estienne), учитель; Файо (Fayot) из Женевы, учитель; Герсони (Guersoni), немецкий еврей; Жилле (Gillet), фабрикант карт; Гутт (Goutte), торговец модными товарами; Гейдер (Heider), швейцарец, фабрикант; Жако (Jacquot), плюмажник; Ламираль (Lamiral), бывший балетмейстер; Латур (Latour), учитель; Лоне (Launay), торговец кружевами; Лаво (Lavaux), живописец; Леруа (Leroy), учитель; Массон (Masson), немец, бас в оркестре Русского театра; Массон (Masson), учитель фехтования; Мейер (Meier), немец, торговец; Монтан (Montagne), бывший торговец; Морисо (Moriceau), учитель Латинского языка; Мортье (Mortier), учитель фехтования; Палу (Palu), учитель; Паоли (Paoli), немец, винный торговец; Пивер (Pivert), бронзовщик; Рено (Renaud), учитель; Рей-Жоли (Rey-Joly), учитель; Роз (Rhoze), помощник режиссёра Французского театра; Сен-Агат (Sainte-Agathe), учитель; Сен-Висен (Saint-Vicent), учитель; Сегюи (Segui), портной; Семен (Semèn), типографщик; Тубо (Toubo), табачный фабрикант; Вебер (Weber), швейцарец, торговый сиделец; Вилуан (Viloing), повар; Ямниц (Yamnitz), немец доктор (Арман Д о м е р г. La Russie pendant les guerres de L'Empire, T. I, с. 256–257; B... ch, Hist. de la destruction de Moscou, с. 60–61).

[5] Арман Д о м е р г, там же. Т. I, гл. VIII, IX, X и XI, с. 244–334.

[6] Письмо графа Ростопчина к министру полиции от 29 августа 1812 г. Этот француз был Мутон, которого граф Ростопчин вывел народу вместе с Верещагиным.

[7] Это сведение основано на записках Вольцогена, который передаёт рассказ князя Меншикова, слышанный им от него уже в 1818 году в Аахене. Но в то время подозрение падало на самого Вольцогена. «В войсках полагали,— говорит он,— что я нахожусь в сношениях с Французами и передаю им предположения главнокомандующего, и не только офицеры, Русские по происхождению, но и простые солдаты смотрели на меня, как на изменника. Но Барклай отклонял мои опасения и уверял, что с своей стороны никогда не сомневался в моей верности; но я не обманывался и когда сделалась известна записка Мюрата, все убедились в этом, и даже великий князь Константин прямо называл меня изменником. Подозревали также и некоторых

польских офицеров, которых Барклай вскоре и удалил из армии». «Впоследствии от барона Штейна я узнал, какой опасности подвергалась моя жизнь, когда известие о записке Мюрата великий князь Константин привёз в Петербург и оно дошло до императора, и что только ему и добрым и благородным чувствам императора я был обязан спасением. При разговоре об этом, в кабинете Государя, присутствовал и граф Толстой, обер-гофмаршал, который сказал: "Если Ваше Величество не прикажите казнить полковника Вольцогена, то разрушится вся армия". Штейн ручался честью за мою невиновность и рассеял подозрения Государя, что̀ доказывается тем, что 4 октября 1812 года я получил орден Св. Анны второй степени. Но что всего удивительнее в этой истории, то это то, что граф Толстой был тестем князя Любомирского, так что он, не зная того, изрекал смертный приговор своему зятю». (Memoiren von Wolzogen, Leipzig, 1857, с. 119–120; Л е в е н ш т е р н. Denkwürdigkeiteneines Livländers (Aus den Jahren 1790–1815). Bd. I, Leipzig-Heidelberg, 1858, Ч. I, с. 187). Но что касается до князя Любомирского, то нельзя не указать на некоторые сомнения. Он привёз в Петербург, между прочими бумагами, письмо к императору Барклая де Толли от 22 июля из Смоленска. На подлинном письме находится помета рукою Аракчеева: «С.-Петербург, 26 июля, с князем Любомирским». Если с письмом, написанным 22 июля, князь Любомирский выехал из Смоленска даже 24, то во всяком случае прежде военного совета, который был 25 июля. Следовательно, он не мог знать, хотя и случайно, принятых на нём решений и не имел повода предостерегать свою мать. Конечно, это сомнение может быть устранено следующим соображением. Главнокомандующие обеими армиями увидались в Смоленске 21 июля и, как видно из этого письма Барклая к императору, согласились между собою насчёт будущих военных действий. Их предположения могли приближённым лицам их штабов немедленно сделаться известными и послужить предметом их разговоров и споров. Один из таких разговоров и мог быть услышан нечаянно Любомирским, до его отъезда в Петербург и до военного совета, который подтвердил только прежние предположения главнокомандующих. Но, во всяком случае, вопрос о том, каким образом Мюрат узнал о них, едва ли можно считать положительно разрешённым.

[8] Письмо Барклая де Толли к графу Ростопчину от 30 июля 1812 г. из Мощинки; ответ ему графа Ростопчина от 6 августа 1812 г.

[9] Письмо графа Ростопчина к императору от 6 августа 1812 г.

[10] Записки А. П. Ермолова, Ч. I, М., 1865, с. 181; см. также «Записки А. П. Ермолова, 1798–1826», М., 1991, с. 176–177 *(прим. ред.)*.

[11] Письмо графа Ростопчина к Барклаю от 15 августа 1812 г. Он говорит в этом письме: *второе поручение ваше*, потому что в тот день, как приехал Левенштерн, привёз ему письмо от Барклая другой курьер, полковник Фёдоров. Оно было ответом на следующее письмо графа Ростопчина от 10 августа: «Получа достоверное известие об отступлении от Смоленска после кровопролитной битвы и что наши армии стоят на Днепре, отправляю нарочного к Вашему высокопревосходительству, испрашивая у вас на следующие пункты решения:

1. Полки, уже сформированные, Московской военной силы, вести ли к Можайску?

2. Не настоит ли надобности в провианте?

3. Здесь ещё слишком миллион заготовленных боевых патронов. Нет ли в них надобности?

4. Также из здешнего арсенала различных калибров пушек, совсем готовых, отправить ли, сколько потребно, к армии?

Ожидаю о сём сообщения». Имею честь и пр.

Получив с полковником Фёдоровым ответ главнокомандующего, в котором он спрашивал его о состоянии ополчения Московского округа, граф отвечал ему: «На почтеннейшие письма Вашего высокопревосходительства, полковником Фёдоровым и адъютантом Левенштерном доставленные, имею честь отвечать, что к 20-му числу сего месяца, в Можайске, в Рузе и Верее будет собрано Московской военной силы до 16.000 человек. Вчера отсюда выступило 6.000, а остальные из разных мест идут к тем же местам, без отдыха. Впрочем, в теперешних обстоятельствах, нет ни усилия, ни действия, ни пожертвования, коими бы жители Москвы не отличились и не поставили себе в священный долг. Столица и войска должны быть единодушны: сим победится враг наш, и мощь его сокрушится перед силою России. С истин. почтен. и пр.». Августа 15 дня 1812 г. Москва.

[12] Левенштерн. Denkwürdigkeiteneines Livländers (Aus den Jahren 1790–1815). Bd. 1–2, Leipzig-Heidelberg, 1858, Ч. I, с. 199–205*

[13] Письмо графа Сен-При к графу Бриону (c-te de Brion) 15 октября 1812 г. «Я только что получил ваше письмо от 11 октября

---

* Книга воспоминаний барона Левенштерна, на которую ссылается А. Н. Попов, была составлена издателем Ф. И. Смитом по дневнику, письмам и рассказам В. И. Левенштерна и в русском переводе публиковалась в *Военном Сборнике* (1865, №№ 5–11; 1866, № 1. Кроме того, в переводе с французской рукописи в *Русской Старине* (1900, №№ 8–12; 1901, №№ 1–8, 11, 12; 1902, № 7) публиковались *Записки* генерала В. И. Левенштерна *(прим. ред.)*..

и немедленно отправил бы его к Государю императору, если б сделанные уже с моей стороны попытки в пользу графа Лезера перед фельдмаршалом Кутузовым не доказали мне, что он вовсе и не знал об этом деле. Фельдмаршал может решить его собственною властью, но повредил бы, быть может, ещё более вашему племяннику, если бы довёл о его деле до сведения Императора, который вероятно о нём не знает. Обратиться в крайнем случае к Государю ещё всегда будет время, испытав наперёд все другие способы вывести графа Лезера из того неприятного положения, в котором он находится. Поэтому, в настоящее время я думаю, что, прежде нежели обращаться к Императору, лучше воспользоваться властью фельдмаршала, и я надеюсь, после моего разговора с ним, что графу Лезеру будет отдана должная справедливость.

Я могу, впрочем, уверить вас, что ваш племянник вовсе не заслужил той печальной участи, которой он подвергся. Без сомнения, это сделалось, как и вы справедливо предполагаете, на основании случайных подозрений; а неосторожная выходка Платова послужила поводом графу Ростопчину, придираясь к тому волнению, в котором находилась в то время Москва, отправить его в Пермь. К несчастью, в то время я был уже ранен, так же, как и князь Багратион; а потом оставление Москвы и занятие её неприятелем не позволяли и думать о несчастьях, постигших частных лиц. Но лишь только я выздоровел, как тотчас же занялся делом графа Лезера, и оно было бы окончено, если б генерал Винцингероде не был взят в плен французами в Москве и фельдмаршал не назначил бы немедленно меня на его место. С того времени я не видал уже фельдмаршала, к которому отправляюсь через несколько дней, с твёрдым намерением напомнить ему о вашем племяннике».

[14] В.И. Левенштерн. Denkwürdigkeiten, Ч. I, с. 209–210.

[15] Письмо князя Кутузова к графу Ростопчину от 19 августа 1812 г. Новая деревня. К нему приложено письмо, обнародованное графом Ростопчиным, которое потом было перепечатано в прокламации от имени Наполеона, объявлявшей приговор военного суда над зажигателями, 12/24 сентября.

[16] С.Н. Глинка. Записки о 1812 годе, с. 44–45.

[17] Письмо графа Ростопчина к императору от 13 августа 1812 г..

[18] С.Н. Глинка. Записки о 1812 годе, с. 45.

[19] Письмо графа Ростопчина к императору от 14 августа 1812 г.

[20] Письмо графа Ростопчина к императору от 23 августа 1812 г.

[21] L'incendie de Moscou etc. par m-me Fusil. 2-е изд. Paris, 1817, с. 3–4.

Глава 6

[1] Рескрипт князю Кутузову был подписан Императором 8-го августа, так же, как и рескрипты Барклаю де Толли, князю Багратиону и Тормасову. Они были одинакового содержания (А. И. Михайловский-Данилевский. Полное собрание соч., Т. IV, с. 394). Князь Багратион отвечал на рескрипт Государя следующим письмом: «Всемилостивейший Государь! Рескрипт В. И. В. от 8 августа о назначении над всеми четырьмя армиями главным начальником генерала от инфантерии князя Кутузова, я сего августа 16-го дня удостоился получить. Приемля с благоговением высочайшую В. И. В. волю, я не перестану всеусерднейше желать, дабы высочайшие намерения ваши сопровождались наилучшим успехом. Стеснённые совершенно обстоятельства, коих ни отвратить, ни улучшить не состояло в моей возможности, поставляли меня до сего безуспешным в исполнении всевысочайше возложенной на меня обязанности защищать Отечество и его пользы. Не мог я, Всемилостивейший Государь, не чувствовать сего во всём пространстве. Всякий шаг земли, предоставляемый отступлением нашим неприятелю, раздирал душу мою. Сии потрясения, действуя сильно, хотя не совершенно расстроили здоровье моё; но настоящее положение, требующее от каждого верноподданного всех усилий к защите всеавгустейшего Престола и Отечества, налагает на меня священнейшую обязанность, несмотря ни на какие обстоятельства и причины, истощить и последние мои силы для пользы Отечества, превыше которой нет ничего для меня в мире. Для сего я готов пролить и всю кровь мою. 19 августа 1812 г., деревня Сельцы, в 4 вёрстах от Гжатска». Как могли быть рескрипты от 8 августа получены только 16-го главнокомандующими, когда даже князь Кутузов прибыл в 6 дней из Петербурга в Царёво-Займище (выехал 11-го, прибыл 17-го августа), без сомнения, ехавши не так скоро, как ездили фельдъегеря в то время? Барклай де Толли писал Императору, отвечая на этот рескрипт, 16-го августа из Вязьмы. Его письмо напечатано у М. И. Богдановича (История Отечественной войны 1812 года, Т. II, гл. XX, с. 121–122); но без следующего начала письма: «Всякий верный подданный и ревностный слуга своего Государя и Отечества должен испытать истинную радость при вести о назначении князя Кутузова главнокомандующим всеми армиями с властью направлять их действия к общей цели. Позвольте выразить вам, Государь, это чувство радости, которым я проникнут. Я молю Провидение, чтобы успех соответствовал Вашим намерениям. Что касается до меня, то я желаю только жертвою моей жизни доказать моё усердие к службе Отечеству, какие бы обязанности ни были на меня возложены и какое бы место я не занимал. Осмеливаюсь

умолять В. И. В. не считать моё почтительнейшее донесение № ..., как выражение испуганного самолюбия, потому что в настоящих обстоятельствах было бы изменою не чувствовать опасности, в какой находится Отечество и необходимости жертвовать для него всем. В.И.В. удостоивали меня своей высокой доверенности, и потому я позволяю себе говорить с полною откровенностью, и т.д.». Из последних слов этой выписки видно, что Барклай де Толли ещё прежде этого письма писал уже Государю, и, как кажется, по тому же поводу. Если верно это предположение, то следовало бы полагать, что Барклай де Толли задержал доставленные рескрипты Государя князю Багратиону, что едва ли вероятно. Скорее можно предполагать, что отправление их из Петербурга было задержано, по каким-либо соображениям, с тою целью, чтобы оба главнокомандующие получили их перед самым приездом князя Кутузова, и Барклай де Толли упоминает в письме о каком-нибудь из своих донесений, не относящемся до назначения нового главнокомандующего.

[2] Письмо 16 августа 1812 г., дер. Максимовка. Помета на письме рукою Барклая де Толли: «Дать тотчас повеление к отступлению, завтра в 4 часа, поутру»; Записки А. П. Ермолова, Ч. I, с. 208–209, прилож.

[3] Письма Барклая де Толли и Ермолова к Милорадовичу от 16 августа из Вязьмы, 1812 г.; Ср. Ф. Н. Глинка. Подвиги графа Милорадовича. М., 1814, с. 1–4; Деяния графа Милорадовича, СПб., 1816, Ч. II, с. 11–13.

[4] Изображение военных действий первой армии, *Чтения в Имп. Обществе истории и древностей Российских*. 1858, кн. 4, с. 14.

[5] Список с этого письма находится в Архиве Главного Штаба, без означения, когда и откуда оно писано; но по его содержанию видно, что оно писано из Петербурга, до отъезда князя Кутузова к войскам, потому что письмо от графа Ростопчина, полученное Кутузовым в Гжатске, было ответом на это письмо. Граф Ростопчин сообщал ему именно те сведения, о которых он просил его в этом письме.

[6] Записки А. П. Ермолова, Т. I, с. 188, см. также «Записки А. П. Ермолова. 1798–1826». М., 1991, с. 183 *(прим. ред.)*.

[7] Письмо князя Кутузова к графу Ростопчину из Гжатска от 17 августа 1812; А. И. Михайловский-Данилевский. Полное собр. соч., Т. IV, с. 402; Н. Ф. Дубровин. Москва и граф Ростопчин в 1812 г., *Военный Сборник*, 1863, № 7, с. 141.

[8] И.Т. Радожицкий. Походные записки артиллериста с 1812 по 1816 год. Ч. I, М., 1835, с. 131–132.

[9] Ф.Н. Глинка. Письма Русского офицера, М., 1870, с. 17–18; Походные записки артиллериста, Ч. I, с. 134.

[10] Письмо князя Кутузова к его супруге от 19 августа при Гжатской пристани, также письмо 22 августа; *Русская Старина*, 1872, № 2, с. 268.

[11] Донесение князя Кутузова императору от 19 августа из Гжатска*

[12] Военный журнал полковника Толя, под 17, 18 и 19 августа.

[13] Записки А. П. Ермолова, Т. I, с. 191, примеч.

[14] Предписания князя Кутузова Тормасову и Чичагову от 20 августа, его же приказы 18 августа; Ф. С и н е л ь н и к о в. Жизнь, военные и политические деяния его светлости генерал-фельдмаршала и князя М. Л. Голенищева-Кутузова-Смоленского с достоверным описанием частной его жизни от самого рождения до славной кончины и погребения. Ч. 1–6. СПб., 1813–1814, Ч. III, с. 33–34**

[15] Письмо Барклая де Толли к императору из Смоленска от 22 июля. С 21-го июля началось соединение армий.

---

* Относительно этого донесения необходимо сделать ряд замечаний. А. Н. Попов приводит текст этого донесения не по подлиннику (в настоящее время находится в РГИА, Ф. 1409, Оп. 1, Д. 710, ч. 1, лл. 218–219 об.), а по А. И. Михайловскому-Данилевскому (Полное собр. соч., Т. IV, СПб., 1850, с. 404–405), в ряде моментов существенно расходящемуся с подлинником. Нами донесение князя Кутузова Александру I от 19 августа 1812 г. из деревни Старой (а не Гжатска, как у Попова) приведено в соответствии с подлинником по: М. И. Кутузов. Сб. документов. Т. IV, Ч. 1 (Июль – октябрь 1812 г.), М., 1954, док. № 113, с. 96–98). Приводим наиболее существенные расхождения: «По прибытии моём в город Гжатск нашёл я войска отступающими от Вязьмы и многие полки от частых сражений весьма в числе людей истощившимися, ибо токмо вчерашний день прошёл без военных действий. Я принял намерение пополнить недостающее число сие приведёнными вчера генералом от инфантерии Милорадовичем и вперёд прибыть имеющими войсками пехоты 14.587, конницы 1002, таким образом, чтобы они были распределены по полкам». Далее у Михайловского-Данилевского следует: «потому что это войско ненадёжно, состоя из рекрутов, и имея большой недостаток в штаб- и обер-офицерах, я предпочёл отправить назад штаб- и обер- и унтер-офицеров, а барабанщиков и всех рядовых обратить к укомплектованию старых полков, потерпевших в сражениях». В подлиннике эта фраза отсутствует, но следующая фраза о мародёрах у Михайловского-Данилевского опущена: «Не могу я также скрыть от Вас, Всемилостивейший Государь, что число мародёров весьма умножилось, так что вчера полковник и адъютант Его Императорского Высочества Шульгин собрал их до 2000 человек; но противу сего зла приняты уже строжайшие меры». «Для ещё удобнейшего укомплектования велел я...» и далее по тексту А. Н. Попова с исправлениями в соответствии с подлинником *(прим. ред.)*

** См. также «М. И. Кутузов. Сборник документов». Т. IV, Ч. 1-я, М., 1954, с. 117–118 *(прим. ред.)*.

[16] Письмо императора к Барклаю де Толли, из Петербурга, от 28 июля 1812 г.

[17] Донесение Барклая де Толли императору из Главной квартиры в селе Семлеве от 14 августа 1812 г.; писано по-русски.

[18] Письмо графа Ростопчина к императору от 23 августа 1812 г.

[19] Предложение атамана Платова Войсковой Канцелярии 22 августа 1812 г. из Москвы.

[20] См. в Приложении.

[21] Письмо графа Ростопчина к министру полиции от 23 августа 1812 г.

[22] Приказ армии. Главная квартира при Колоцком монастыре, № 2, августа 18 дня и приказ августа 21, № 5; М.И. Богданович. История Отечественной войны 1812 года. Т. II, СПб., 1859, гл. XX, примеч. 30.

[23] Письмо графа Ростопчина к князю Кутузову от 19 августа 1812 г.

[24] Его же письмо также от 19 августа 1812 г.

[25] Письмо князя Кутузова к графу Ростопчину от 20 августа 1812 г.

[26] Письма графа Ростопчина к князю Кутузову от 20, 22, 24 и 25 августа 1812 г.

[27] Письмо графа Ростопчина к императору от 23 августа 1812 г.*

[28] Письма князя Кутузова к графу Ростопчину от 20-го августа, 21-го при Колоцком монастыре, 23-го августа, позиция при Бородине, и письмо в августе, но без обозначения числа**.

[29] И.Т. Радожицкий. Походные записки артиллериста с 1812 по 1816 год. Ч. I, М., 1835, с. 128–129.

[30] Письмо князя Кутузова к графу Ростопчину от 21 августа, Колоцкий монастырь, час пополуночи.

[31] Его письмо, также 21 августа, Колоцкий монастырь.

[32] Его же письмо, также 21 августа, Колоцкий монастырь.

[32] Его письмо, также 21 августа, Колоцкий монастырь.

[33] Его же письмо к графу Ростопчину от августа «...» дня 1812 г. Вероятно, 22 августа***.

---

* Приводя отрывок из письма Ростопчина к Александру I, А. Н. Попов не называет имя министра финансов (Гурьев), а фамилии винных откупщиков заменяет первыми буквами (Перетц, Штиглиц), хотя в самом письме они названы полностью. См. *Русский Архив*, 1892, кн. 2, № 9, с. 526 *(прим. ред.)*.

** Это письмо в сборнике «М. И. Кутузов. Сборник документов». Т. IV, Ч. 1, М., 1954, с. 135–136 датируется 24-м августа 1812, хотя и отмечается со ссылкой на подлинник (РГВИА, Ф. 1/л, Оп. 1, Д. 3574, Ч. IV, х. 1), что число не указано *(прим. ред.)*.

*** Предположительно, это письмо написано 24 августа 1812 *(прим. ред.)*.

[34] Его же письмо к графу Ростопчину от 24 августа, позиция при Бородине.

[35] Письма Кайсарова к графу Ростопчину от 25 и 26 августа. Лагерь при Бородине.

[36] А. И. Михайловский-Данилевский. Полное собр. соч., Т. IV, с. 486–487.

[37] И. Снегирёв. Жизнь Московского Митрополита Платона, М., 1856, Т. II, с. 48. «Тогда разнёсся слух, что и сам Платон явится на Три Горы или на Поклонную Гору за Дорогомиловскою заставою благословить Русское воинство к решительному сражению с неприятелем, и что Русские искупят Москву своею кровью, или за неё положат головы. Может статься, что такая мысль народная и таилась в сердце архипастыря, который готов был душу свою положить за паству свою; но память ему изменила, соображение терялось, язык его уже коснел, глаза тускнели, и он едва мог передвигать ноги; скорбел на бессилие своё, и прибытие его в Москву только обнаруживало последний порыв его любви к Отечеству». В числе любопытных «Рассказов очевидцев о 1812 г. », находится следующий (*Московские Ведомости*, 1872, № 52): «Граф Ростопчин боялся мятежа. Кроме того, он не успел ещё принять надлежащих мер и вывезти из города арсенал, которого не хотел оставить в руках неприятеля. Большая часть хранившегося в нём оружия была неудобна для употребления; но разбирать его было некогда. Чтобы выйти из затруднительного положения, генерал-губернатор обратился за помощью к митрополиту Платону, который не отказывался править паствою, но был так стар, что большую часть дел по митрополии вверил архиепископу Августину. Однако, на этот раз он решился, несмотря на свою слабость, действовать по мере сил. За колокольней Ивана Великого был воздвигнут амвон, и прошёл по городу слух, что отслужат на площади соборной молебен, после которого митрополит собирается держать речь народу. В назначенный день, между тем как на амвон выносили иконы из соборов, Москвичи стали сбегаться со всех сторон на Сенатскую площадь. Все ожидали с возрастающим нетерпением появления митрополита. Наконец, его чёрный цуг показался в Никольских воротах. Все сняли шапки. Платон выглянул из окна и благословил народ дрожащею рукою. За ним ехал в коляске граф Ростопчин. Толпа побежала за экипажами. Когда они остановились на Чудовской площади, митрополит вышел из кареты при помощи двух диаконов, которые ввели его на амвон. Генерал-губернатор стал за ним. Платон был в фиолетовой мантии и белом клобуке; его бледное старческое лицо казалось встревожено. По окончании молебна, на котором он присутствовал в качестве молящегося, один из дьяконов

стал рядом с ним, чтобы говорить от его имени, потому что он сам уже был не в силах возвысить свой слабый голос. Пастырь умолял народ не волноваться, покориться воле Божией, доверяться своим начальникам и обещал ему свои молитвы. Митрополит плакал. Его почтенный вид, его слёзы, его речь, переданная устами другого, сильно подействовали на толпу. Рыдания послышались со всех сторон. "Владыка желает знать, продолжал дьякон, на сколько он успел вас убедить. Пускай все те, которые обещают повиноваться, становятся на колена". Все стали на колена. Старец осенил крёстным знамением преклонённые перед ним головы; а граф Ростопчин выступил вперёд и обратился в свою очередь к народу. "Как скоро вы покоряетесь воле Императора и голосу почтенного святителя, сказал он, я объявляю вам милость Государя. В доказательство того, что вас не выдадут безоружными неприятелю, он вам позволяет разбирать арсенал: защита будет в ваших руках". "Много благодарны, дай Бог многие лета царю", загремело в толпе. "Но вы обязаны при разборе его, продолжал граф Ростопчин, соблюдать порядок: входите в Никольские ворота и выходите в Троицкие; я прикажу сию минуту отпереть арсенал". При поданном им знаке, его коляска и карета митрополита подъехали к амвону. Каждый сел в свой экипаж. Толпа, проводив Платона, возвратилась за оружием». Этот рассказ так соответствует обстоятельствам того времени, так согласен с характером и взглядами графа Ростопчина, что я нисколько не сомневаюсь в его верности; но не решился ввести в текст потому только, что мне не удалось найти других свидетельств о вызове графом Ростопчиным митрополита Платона в Москву и постройке этого амвона. Снегирёв («Очерки жизни архиепископа Августина», с. 30) говорит: «Проехав в Чудов монастырь 28-го августа, Платон сел в креслах на главном крыльце и долго со слезами смотрел на Кремль, как будто прощаясь с ним и как будто предчувствуя свою вечную с ним разлуку и его жребий. Благословляя подходящих к нему, он говорил только: простите, прощайте, спаси вас Господи!»

[38] И. Снегирёв. Очерки жизни архиепископа Московского Августина, с. 26–27.

[39] Ф.Н. Глинка. Письма Русского офицера, М., 1870, с. 20.

[40] Ф.Н. Глинка. Очерки Бородинского сражения. М., 1839, Ч. I, с. 39–40. Граф Ростопчин рассказ об орле считает одною из московских небылиц этого времени. Бернгарди, главная цель сочинения которого заключалась в том, чтобы унизить заслуги Кутузова и бранить Данилевского за каждое слово в его пользу, говорит: «По всему обширному государству разнеслась весть, что во время смотра войск, могучий орёл парил над престарелым фельдмаршалом. Печать толковала об этом

на все лады. Данилевский рассказывает этот миф, очевидно, как действительное происшествие. Деловые, прозаические очевидцы не заметили никакого орла, и можно с уверенностью сказать, что между поклажею князя Кутузова не было клетки с орлом, как это случилось при одном новом всемирно-историческом происшествии» (Denkwürdigkeiten aus dem Leben des Grafen von Toll. Лейпциг, 1858, Т. II, с. 9–10.). Хорошо, по крайней мере, что он отрицает возможность подобной проделки; а между тем в наших войсках нашёлся офицер, не русский, конечно, который говорит, что «из заранее приготовленного мешка выпущен был орёл, который поднялся в виду армии, и это обстоятельство ободрило многих малодушных людей» (Из записок покойного генерал-майора Ковальского, *Русский Вестник*, 1871, январь, с. 94.). Если бы даже этот рассказ об орле был создан народною молвою, то и в таком случае он имел бы значение, показывая отношение народа к фельдмаршалу; но есть ли повод сомневаться в нём, как действительном происшествии? Данилевский приурочивает этот случай к первому осмотру войск князем Кутузовым по приезде его в Царёво-Займище; все же другие к кануну Бородинского сражения (Собр. соч. Т. IV, с. 403). Вероятно, «Письма Русского офицера» Ф. Н. Глинки ввели его в ошибку. В них говорится: «Все обстоятельства предвещают сражение, долженствующее решить судьбу отечества. Говорят, что в последний раз, когда светлейший осматривал полки, орёл явился на воздухе и парил над ним. Князь обнажил сединами украшенную голову; всё войско закричало; ура!» Эти слова находятся в письме от 20 августа, следовательно, за 6 дней до Бородинского сражения. Но разве эти письма, в том виде, как появились в печати, писаны именно в те числа, которые на них обозначены, и не составлены после на основании современных заметок? Разве эти слова не могли быть прибавлены впоследствии? Что это действительно так и было, может служить доказательством: во-первых, следующие за ними слова: «в сей же день главнокомандующий приказал служить во всех полках молебны Смоленской Божией Матери и для иконы, находившейся при армии, сделать новый приличный кивот. Всё это восхищает солдат и всякого». Обносили икону по всем войскам и служили молебны накануне Бородинского сражения. Во-вторых, сам же Ф. Н. Глинка объясняет свои слова в другом сочинении (Очерки Бородинского сражения, с. 39), приурочивая этот случай именно к 25 августа. Но Глинка передаёт рассказ других; есть и свидетели-очевидцы. Князь Александр Борисович Голицын (Записка о 1812 г., рукоп.)* говорит: «Когда в первый раз обозревал

* «Записка о войне 1812 года князя А. Б. Голицына» была опубликована в Военном Сборнике, 1910, № 12, с. 12–35 *(прим. ред.)*.

Кутузов позицию при Бородине (это было после обеда), исполинский орёл парил над ним. Куда он, туда и орёл. Анштетт первый это заметил, и толкам не было конца. Орёл этот предвещал всё хорошее». Анштетт написал об этом графу Нессельроде, и его письмо ходило по рукам в Петербурге. Вот это письмо: «Lundi 26. Avant-hier une affaire de héros, hier une escarmouche insignifiante, aujourd'hui combat de héros. La terre tremble à dix-huit verstes. Les Français out été attaqués sur leur flanc droit, étant en marche sur notre gauche et attaquant en outre notre centre. J'espère en Dieu et en nos braves et que demain nous recevrons l'ordre d'avancer; mais tout ceci, les détails de l'armée vous l'apprendrez bien mieux. Quant à moi, je vous racontrai que le premier jour où le prince Koutousof a reconnu la position, un aigle a plané sur sa tête; il le salua, et la troupe dorée cria: Hurrah! Quand les Romains combattent, il faut citer les augures» (ср. граф де Местр. Correspondance diplomatique: 1811–1817, T. I, Paris, 1860, письмо 14 сентября, с. 176–177).

[41] Письма князя Кутузова к графу Ростопчину 26 августа 1812. «От сельца Бородина, в два часа пополудни», и второе тоже 26 августа 1812, «место сражения при селе Бородине».

[42] *Северная Почта*, 1812, № 70, суббота, августа, 31-го.

[43] И. П. Липранди. Война 1812 г., замечания на соч. Богдановича; Пятидесятилетие Бородинской битвы (*Чтения в Имп. Обществе истории и древностей Российских*, 1866, 1868 и 1869 гг.).

[44] Письмо князя Кутузова к его супруге 29 августа 1812, село Кожухово, близ Можайска. *Русская Старина*, 1872, № 2, с. 269.

[45] «Сражение вчерашнего числа, с утра начавшееся и продолжавшееся до самой ночи, было кровопролитнейшее. Урон с обеих сторон велик. Потеря неприятеля, судя по упорным его атакам на укреплённую нашу позицию, должна нашу весьма превосходить. Войска сражались с неимоверною храбростью. Батареи переходили из рук в руки, и кончилось тем, что неприятель нигде не выиграл ни на шаг земли со всеми превосходными силами. Ваше сиятельство согласитесь, что после кровопролитнейшего и 15 часов продолжавшегося сражения наша и неприятельская армии не могли не расстроиться и, за потерею в сей день сделанною, позиция прежде занимаемая, естественно сделалась обширнее и войскам не вместная; потому, когда дело идёт не о славе выигранных только сражений, но вся цель будучи устремлена на истребление Французской армии, то ночевав на месте сражения, я взял намерение отступить 6 вёрст, что̀ будет за Можайском. Собравши войска, освежив мою артиллерию и укрепив себя ополчением Московским, в тёплом уповании на помощь Всевышнего и на оказанную неимоверную храбрость нашего войска, увижу, что́

я могу предпринять против неприятеля. Мы взяли в плен благородного генерала, штаб и обер-офицеров и нижних чинов, также и пушки, чего ещё в ночи разобрать не могу. К несчастью, у нас несколько раненых генералов, между прочим князь П.И. Багратион пулею в ляжку. Чистосердечие и пр. Августа 27 дня 1812 г., позиция при Бородине».

[46] С.Н. Глинка. Записки о 1812 годе... СПб., 1836, с. 52–53.

[47] А.С. Норов. Война и мир. 1805–1812. С исторической точки зрения и по воспоминаниям современника. По поводу сочинения графа Л.Н. Толстого «Война и мир». СПб., 1868, с. 48.

[48] Денье. Itinéraire de l'empereur Napoleon pendant la campagne de 1812. Paris, 1842, с. 82; Сегюр. Histoire de Napoleon et de la Grande Armée pendant l'armee 1812. Paris, 1824, T. I, с. 411.

[49] А.С. Норов, там же, с. 49.

[50] А.Д. Бестужев-Рюмин. Записки. Краткое описание происшествиям в столице Москве в 1812 году/Чтения в Имп. Обществе истории и древностей Российских, с. 81.

[51] И.М. Снегирёв. Очерки жизни архиепископа Московского Августина. М., 1857, с. 27–28.

[51] И. М. Снегирёв. Очерки жизни архиепископа Московского Августина. М., 1857, с. 27–28.

[52] Третий день после Бородинского сражения был 29 августа. Следовательно, это показание не согласно с показанием Бестужева, что раненых при Бородине начали привозить в Москву с 28 августа. Хотя такая ошибка в одном дне возможна и могла случиться; но, кажется, что оба показания верны. За день до Бородинского сражения было сражение при Шевардине, служившее началом Бородинского; раненые в этом деле, а их было много, могли прибыть в Москву 28 августа.

[53] Письмо князя Кутузова от 27 августа 1812 г.

[54] Полное Собр. Законов, 1812, № 24974, ч. 1, гл. 1, § 4, Положение о большой действующей армии.

[55] А.Д. Бестужев-Рюмин. Записки. Краткое описание происшествиям..., с. 81–84.

[56] *Северная Почта*, 1812, 27 июля, № 60.

[57] Письмо графа Ростопчина к императору от 29 августа 1812 г.

[58] Письма князя Кутузова к графу Ростопчину от 27 августа из д. Жуково, 28-го августа из д. Шелковки, 30-го из Вязём, два письма.

[59] Письмо графа Ростопчина к генералу Балашёву от 29 августа 1812 г.

[60] Письмо князя Кутузова к графу Ростопчину от 30 августа из Вязём (третье).

[61] Ср. граф Сегюр. «Au moment du départ, il réunit ses enfants, et

s'agenouillant en leur présence devant sa femme, il leur dit: "mes enfants, peut-être ne nous reverrons-nous plus en ce monde. J'ai voulu, avant de vons dire adieu, vous bénir et demander pardon devant vous à votre mère des peines que j'ai pu lui causer. Cest une sainte et j'aurais dû suivre toujours ses conseils. Souvenez-vous de ce momeut et si je meurs, obéissez-lui comme à moi-même"» La vie du c-te Rostopchine, c. 201.

[62] В.И. Штейнгель, Записки, касательно составления и самого похода Санктпетербургского ополчения против врагов отечества в 1812 и 1813 годах и т.д., Ч. I, СПб., 1814, с. 84*; М.И. Богданович, История Отечественной войны 1812 года по достоверным источникам. Т. II, СПб., 1859, с. 55–56.

[63] Письма князя Кутузова к графу Ростопчину от 21 и 27 августа 1812 г.

[64] Письмо графа Ростопчина к императору от 29 августа 1812 г.

[65] А.Я. Булгаков. Разговор Неаполитанского короля Мюрата с генералом графом М.А. Милорадовичем на аванпостах армии 14 октября 1812 года. *Москвитянин*, 1843, Ч. I, № 2, с. 505.

[66] С.Н. Глинка. Записки о 1812 годе, СПб., 1836, с. 55–56.

[67] А.Д. Бестужев-Рюмин. Записки. Краткое описание происшествиям и пр., *Чтения в Имп. Обществе истории и древностей Российских*, 1859, кн. 2, с. 82.

Глава 7

[1] Ж.-Б. Кроссар. Mémoires militaires et historiques. Т. IV, гл. XLIV, с. 361–336; Записки Ермолова, Т. I, с. 208.

[2] В.И. Левенштерн. Denkwürdigkeiten, Ч. I, с. 212.

[3] Записка о 1812 годе князя А. Б. Голицына.

[4] Записки А.П. Ермолова, Ч. I, с. 209;** Письма Н.М. Карамзина

---

* Полное название книги будущего декабриста барона В.И. Штейнгеля (1783–1862): «Записки, касательно составления и самого похода Санктпетербургского ополчения против врагов отечества в 1812 и 1813 годах, с кратким обозрением всех происшествий, во время бедствия и спасения нашего отечества случившихся, и с подробным описанием осады и взятия Данцига, писанные флота капитан-лейтенантом бароном В. Штейнгелем». Ч. 1. СПб., 1814, Ч. 2. М., 1815 *(прим. ред.)*.

** Действительно, в письмах князя Кутузова к Ростопчину перечисленных А.Н. Поповым слов нет; но А.П. Ермолов в своих *Записках* пишет: «незадолго пред сим [решением оставить Москву без боя] клялся он своими седыми волосами, что неприятелю нет другого пути к Москве, как чрез его тело» (Записки А.П. Ермолова. 1798–1826, М., 1991, с. 202; *прим. ред.*

к И. И. Дмитриеву, СПб., 1866, № 154, с. 167–168: «Ты... удивляешься неосторожности Москвитян; но отцы и деды наши умерли, а мы дожили почти до старости без помышления о том, чтобы неприятель мог добраться до Святыни Кремлёвской: не хотелось думать, не хотелось верить, не хотелось трусить в собственных глазах своих; нас же *уверяли, ободряли, клялись седыми волосами* и пр.». Очевиден намёк на Кутузова; но в письме, которое он прислал для обнародования графу Ростопчину, 21 августа 1812 г., сказано: «прошу уверить Московских жителей *моими сединами*, что ещё *не* было ни одного сражения с передовыми войсками, где бы наши *не одерживали поверхности*, а что не доходило до главного сражения, то это зависело от нас, главнокомандующих». Тот ли смысл заключается в этих словах, какой придал им граф Ростопчин?

[5] Erinnerungen aus dem Feldzuge des Jahres 1812 in Russland. Breslau, 1846, с. 102; Memoiren des Herz. Eugen v. Würtemberg, Франкфурт на Одере, 1862, Ч. 2, с. 160 (русс. пер.: Воспоминания герцога Евгения Вюртембергского о кампании 1812 года в России и пр., *Военный Журнал*, 1847, №№ 3, 4; 1848, №№ 1, 2; 1849, №№ 3, 6; *(прим. ред.)*.

[6] Там же, с. 98.

[7] Записки Ермолова Т. I, с. 209*.

[8] Aus dem Leben des Prinz. Eugen v. Würtemberg, изд. Helldorff, Ч. II, с. 58. Только в этом издании находятся приведённые слова; но оно сделано его адъютантом не только на основании *Записок* самого принца, но и его собственных. Принимая в соображение, что князь Кутузов во время своего генерал-губернаторства в Западных губерниях, отечески ласково относился к принцу, находившемуся в Вильне с своею дивизиею в 1810 году, и принц питал к нему искреннее расположение, можно допустить, что принц мог решиться сказать ему тайно эти слова. Последующее обстоятельство, о котором упоминается уже во всех изданиях воспоминаний принца Евгения, подтверждает это.

[9] Erinnerungen, с. 98–99; Memoiren, Ч. 2, с. 154–155; Helldorff, Ч. II, с. 59.

[10] В. И. Л е в е н ш т е р н. Denkwürdigkeiten eines Livläuders, Ч. I, с. 238–239.

[11] Письмо князя Кутузова к графу Ростопчину от 1-го сентября 1812 г.

---

* Связный разговор графа Ростопчина с А. П. Ермоловым на самом деле сконструирован А. Н. Поповым из различных мест *Записок* Ермолова, в том числе, из примечаний к *Запискам*. И хотя это не меняет сути разговора, обращаем на это внимание читателя. См. Записки А. П. Ермолова. 1798–1826, М., 1991, с. 200–202 *(прим. ред.)*.

[12] Письмо графа Ростопчина к императору от 1 сентября 1812 г.*.

[13] Изображение военных действий первой армии, *Чтения в Имп. Обществе истории и древностей Российских*, 1858, кн. IV, с. 25–26.

[14] «День клонился к вечеру,— говорит А.П. Ермолов,— и ещё не было никаких особенных распоряжений. Военный министр призвал меня к себе, с отличным благоразумием, основательностью истолковал мне причины, по коим полагает он отступление необходимым, пошёл к князю Кутузову, и мне приказал идти за собою. Никому лучше военного министра не могли быть известны способы для продолжения войны и какими из них в настоящее время пользоваться возможно; чтобы употребить более благонадёжные, надобно выиграть время, и для того оставить Москву необходимо». После переговоров с ними князь Кутузов «приказал к осьми часам вечера собрать генералов на военный совет». Барклай де Толли не упоминает о присутствии при этом случае Ермолова может быть случайно; но во всяком случае он вернее определяет время военного совета в 4 часа пополудни, что́ показывает, что распоряжение о его созыве сделано князем Кутузовым прежде этого разговора. Барклай де Толли говорит, что один барон Беннигсен заставил себя ожидать до 6 часов, что́ подтверждает и сам Беннигсен. «Князь Кутузов рассказал мне,— говорит Ермолов,— разговор его с графом Ростопчиным и *со всею простотою души своей и невинностью* уверял меня, что до сего времени он не знал, что неприятель приобретением Москвы не снищет никаких существенных выгод и что нет, конечно, причин удерживать её с чувствительною потерею, и спросил, как я думаю о том? Избегая вторичного испытания моего пульса, я молчал; но когда приказал он мне говорить, подозревая готовность обойтись без драки, я отвечал, что прилично было бы арьергарду нашему, в честь древней столице оказать некоторое сопротивление». Граф Ростопчин, без сомнения, сообщил князю Кутузову, что из Москвы вывезено всё, что́ только желательно было спасти, как он писал самому Императору, и это сообщение, без сомнения, имело важное значение для Кутузова. Он очень мог не знать об этом до того времени, потому что граф Ростопчин не сообщал ему ничего подобного в переписке с ним. Быть может, что в армию доходили слухи о вывозе различных предметов из Москвы; но это были част-

---

* Отрывок из письма графа Ростопчина к Александру I от 1 сентября 1812, который А.Н. Попов приводит в собственном переводе, и публикуемое в *Русском Архиве* то же письмо, перевод которого сделан с копии, расходятся в некоторых существенных деталях. См. *Русский Архив*, 1892, кн. 2, № 9, с. 529–530 *(прим. ред.)*.

ные слухи, которыми едва ли было время заниматься главнокомандующему. Да едва ли и Ермолову было это известно тогда; а разве много позже, когда он писал свои *Записки*. «Князь, конечно, — замечает Ермолов, — не полагал, чтобы известно было суждение насчёт его знаменитого Суворова, который говорил: "Его и Рибас не обманет". Впрочем, *в нынешнее время* многие его угадывают». Но какой же смысл этих слов Суворова? Кажется не тот, который видит в них Ермолов. Суворов *хитрость* приписывал Рибасу, который и действительно отличался ею, а ум Кутузову, и слова его можно перевесть так: как ни хитёр Рибас, но Кутузов так умён, что ему не удастся его обмануть. Ничего нет труднее для людей, погружённых в интриги главных штабов, понять всю простоту действий великого ума. Но сомнительно даже, чтобы князь Кутузов имел такой разговор с Ермоловым перед самым военным советом. Вероятно, в то время, когда он писал *Записки*, память ему несколько изменила, и он приурочил его не к тому времени.

[15] Барклай де Толли. Изображение военных действий 1-й армии, с. 26–28; Военный журнал полковника Толя под 1-м сентября; письмо барона Беннигсена к императору из Вильны от 19 января 1813 г., при котором он приложил выписку из своих записок о военном совете в Филях (Extrait du contenu du conseil de guerre qui a en lieu le 1-r Septembre 1812); А. П. Ермолов. Записки, Т. I, с. 211–213; Письмо Дохтурова к его супруге от 3 сентября 1812 г. (*Русский Архив*, 1874, № 5, стб. 1098); Раевского письмо к Жомини, в котором он излагает и свои воспоминания, под видом разбора и дополнений к сочинению Бутурлина, доставленное потом его сыном А. Н. Раевским г. Михайловскому-Данилевскому. О том, что Н. Н. Раевский сказал в совете стих Озерова «Россия не в Москве, среди сынов она», он сам не говорит; но говорит А. Н. Раевский, который постоянно находился при отце, в письме к Данилевскому.

[16] Граф П. X. Граббе. Из памятных записок, *Русский Архив*, 1873, № 3, стб. 469–471; Михайловский-Данилевский. Полное собр. соч. Т. IV, с. 477.

[17] И. Т. Радожицкий. Походные записки артиллериста, Ч. I, М., 1835, с. 175.

[18] Письмо князя Кутузова от 1 сентября 1812 г., Фили.

[19] Письмо графа Ростопчина к императору от 1 сентября 1812 г.

[20] С. Н. Глинка говорит: «Кутузов сделал следующие распоряжения.

Во-первых: для удаления обывателей из Москвы, Кутузов посылал конных чиновников, которые в вечеру 1-го сентября от Дорогоми-

ловской или Смоленской заставы, мчась вихрем по улицам, кричали: *спасайтесь! спасайтесь!*

Во-вторых: к утаению от неприятеля движений своих в Москве, он вытребовал, не у графа Ростопчина, но у тогдашнего обер-полицмейстера Ивашкина, опытнейших частных приставов, для провождения его дальнейшими дорогами, чтобы коснувшись различных застав, развлечь внимание неприятеля, а войско Русское вывести на предположенную Рязанскую заставу.

В-третьих: к уловлению неприятеля за Москвою, Кутузов остановил на Владимирской дороге войско, вновь устроенное князем Д. И. Лобановым во Владимире. Главный корпус находился в двадцати; авангард в четырёх верстах от Москвы в Новой Деревне. А чтобы показать Наполеону, будто бы и войско и обозы движутся к Казани, Кутузов приказал обер-полицмейстеру (также мимо графа Ростопчина) пустить по Владимирке весь огнегасительный снаряд, к которому прикинул несколько конных отрядов. Я *увидел оба* предписания Кутузова Ивашкину, начертанные карандашом собственною его рукою» (Записки о 1812 годе, с. 65–66). Конечно, Кутузову не представлялось никакой нужды скрывать от неприятеля движения войск по Московским улицам и вообще слова Глинки о военных соображениях, основанные, вероятно, на простой молве, не имеют значения; но его уверение, что он сам видел записки князя Кутузова к Ивашкину, которое он повторил потом в другом своём сочинении (Записки о Москве от исхода 1812 года и до половины 1815-го, с. 41), как свидетеля правдивого, хотя и способного увлекаться, заслуживает внимания. Это обстоятельство показывало бы недоверие князя Кутузова к Ростопчину, которое действительно существовало в это время. При этом же случае рассказывает Глинка, что А. П. Валуев ему говорил: «подите, спросите у моего батюшки (он был вместе с Кутузовым); он вам скажет, как Михаил Илларионович отзывается о Ростопчине» (там же, с. 40). Письмо князя Кутузова к графу Ростопчину, посланное с адъютантом Монтрезором, не опровергает показания Глинки. Обращаясь к графу Ростопчину, он в то же время мог сделать предписания Ивашкину. Но в рапорте Ивашкина исправлявшему должность министра полиции С. К. Вязмитинову, из Владимира от 27 сентября 1812, не упоминается о предписаниях князя Кутузова; между тем, в этом именно рапорте он говорит, что граф Ростопчин приказал ему пожарную команду и трубы отправить во Владимир, перебив наперёд все бочки с вином.

[21] Записки игумена Перервинского монастыря о. Лаврентия (*Маяк*, 1842, Т. II, № 4, с. 54–57); И. М. Снегирёв. Очерки жизни архиепископа Московского Августина. М., 1848, с. 31–34; Жизнь Московского

митрополита Платона, Т. II, с. 48–49.

[22] Бюллетени Великой армии №№ 19 и 20; Ф.В. Р о с т о п ч и н. Правда о пожаре Москвы, М., 1823, с. 232 и 234.

[23] А.С. Н о р о в. Война и Мир. 1805–1812 и пр., СПб., 1868, с. 49.

[24] Биографический словарь профессоров и преподавателей Имп. Московского университета, М., 1855, Ч. I, с. 471.

[25] Ф.В. Р о с т о п ч и н. Правда о пожаре Москвы, М., 1823, с. 220 и 272.

[26] В.И. Л е в е н ш т е р н. Denkwürdigkeiten, Ч. I, с. 239..

[27] С.Н. Г л и н к а. Записки о 1812 годе, с. 64; Ф.Н. Г л и н к а. Письма Русского офицера, М., 1870, с. 27–28.

[28] Записка о 1812 г. князя А.Б. Голицына*

[29] С.Н. Г л и н к а. Записки о 1812 годе, с. 67.

[30] В.И. Л е в е н ш т е р н. Denkwürdigkeiteneines livländers. Leipzig-Heidelberg, 1858, Ч. I, с. 240.

[31] И.Т. Р а д о ж и ц к и й. Походные записки артиллериста с 1812 по 1816 год.М., 1835, Ч. I, с. 169–171; Записки Ермолова.Т. II, с. 213; Б е р н г а р д и. Denkwürdigkeiten aus dem Leben des Gr. Toll.T. II, с. 146–147.

[32] Из записок покойного генерал-майора Н.П. Ковальского, *Русский Вестник*, 1871, № 1, с. 94.

[33] П.Г. К и ч е е в. Из недавней старины. Рассказы и воспоминания.М., 1870, с. 6–13.

[34] Записки Ермолова, Т. I, с. 214–215.

[35] Из записок покойного генерал-майора Н.П. Ковальского, с. 93.

[36] В.И. Л е в е н ш т е р н. Denkwürdigkeiten, Ч. I, с. 241–242.

[37] Ф.В. Р о с т о п ч и н. Правда о пожаре Москвы, М., 1823, с. 253 и 297.

[38] Выражение И.И. Дмитриева//Письма Н.М. Карамзина к И.И. Дмитриеву, № 154, с. 167.

[39] М.И. Б о г д а н о в и ч. История Отечественной войны 1812 года, Т. II, СПб., 1866, гл. XXV, с. 280–281.

[40] Записка, составленная в Московской духовной консистории в 1836 г. о происшествиях 1812 г. и о подвигах духовенства.

[41] С.Н. Г л и н к а. Записки о 1812 годе, с. 69–70; *Русский Архив*, 1871, № 6, стб. 0200.

[42] А.Д. Б е с т у ж е в - Р ю м и н. Записки. Краткое описание происшествиям, с. 87 и след.

---

* (См. А.Б. Г о л и ц ы н. Записки о войне 1812 года/К.А. Военский. Отечественная война 1812 года в записках современников. СПб., 1911, с. 70; *прим. ред.*)

[43] Записка о 1812 г. князя А.Б. Голицына. (К.А. Военский. Отечественная война 1812 года в записках современников. СПб., 1911, с. 70–71; *(прим. ред.)*

Часть IV

Глава 1

[1] G. de Chambray, Histoire de l'expédition de Russie, изд. 2-е, Paris, 1825, T. II, гл. 2, с. 82.

[2] C-te Ph.-P. Segur. Histoire de Napoleon et de la Grande Armée pendant l'annee 1812, T. I, кн. VII, гл. 12, с. 414, Paris, 1824.

[3] L. Celner, Geschichte des Feldzugs in Russland im Jahre 1812. Reutlingen, 1839, с. 86.

[4] L.-F. Bausset, de Mémoires anecdotiques sur l'intérieur du palais et sur quelques événements de l'empire depuis 1805 jusquau 1 mai 1814, Paris, 1827, T. II, с. 99.

[5] C-te M. de Dumas. Souvenirs du lieutenant général comte M. Dumas, de 1770 a 1836. T. III, с. 440, Paris, 1839.

[6] C-te Segur. Histoire de Napoleon et de la Grande Armée. T. I, с. 415, 416.

[7] G. de Chambray. Histoire de l'expédition de Russie, Paris, 1825, T. II, с. 77.

[8] C-te Segur, Histoire et mémoires, Paris, 1873, T. VI, гл. 2, с. 9–18.

[9] 18-me bulletin de la Grande Armée. Mojaisk, 12 Septembre 1812.

[10] Письмо Чернышёва к графу Румянцеву 9 (21) февраля 1811 г. из Парижа.

[11] C-te Segur. Histoire de Napoleon et de la Grande Armée pendant l'annee 1812. Paris, 1824, T. I, с. 415.

[12] M. Saint-Hilaire. Histoire de la campagne de Russie pendant l'annee 1812, T. III, Paris, 1848, гл. 7, с. 31.

[13] A.-F. Fain A. de. Manuscrit de l'an 1812, T. II, с. 44.

[14] Der Krieg der Franzosen gegen Russland 1812 und 1813 von R..., с. 124.

[15] Souvenirs militaires, с. 261.

[16] Der Krieg der Franzosen etc. von R., там же. Сравни сочинение И.П. Липранди «Пятидесятилетие Бородинской битвы», в котором собрано множество свидетельств очевидцев и большею частью иностранцев и последующих историков войны 1812 г. (*Чтения в Имп. Обществе истории и древностей Российских*, 1866).

[17] Segur. Histoire et mémoires, T. VI, гл. 1, с. 11–15; Его же: Histoire

de Napoleon et de la Grande Armée, T. I, гл. 13, с. 243 и след.

[18] Gouvion S a i n t-S y r L. Mémoires pour servir à l'histoire militaire etc. Paris, 1831, T. III, c. 268–271.

[19] Baron D e n n i é e. Itinéraire de l'Empereur Napoleon pendant la campagne de 1812. Paris, 1842, c. 83.

[20] A.-F. F a i n, Manuscrit de 1812, T. II, c. 45, 46.

[21] A.-F. F a i n, Manuscrit de 1812, T. II, c. 74.

[22] Военный журнал полковника Толя под 29 августа; G. de C h a m b r a y. Histoire de l'expédition de Russie, T. II, c. 90; A.-F. F a i n, Manuscrit de 1812, T. II, c. 47.

[23] Предписание маршалу Бертье 9 сентября (28 августа), предписание маршалу Виктору 11 сентября (30 августа), циркуляр французским епископам 10 сентября (29 августа), 18-й бюллетень 12 сентября (31 августа); A.-F. F a i n, Manuscrit, T. II, c. 74. и след.; C h a m b r a y G. de, Histoire de l'expédition en Russie, T. III, прилож., с. 403 и след.

[24] C h a m b r a y G. de, Histoire de l'expédition en Russie, T. III, прилож., с. 404–405..

[25] Записка сенатора Акинфова, составленная им по просьбе Михайловского-Данилевского в 1837 году (рукопись)*; Ф.Н. Г л и н к а. Подвиги графа М.А. Милорадовича, М., 1814, с. 10–11; Деяния графа М.А. Милорадовича, СПб., 1816, Ч. II, с. 23–25; К л а у з е в и ц. Der Feldzug von 1812 in Russland, c. 172; А.И. М и х а й л о в с к и й-Д а н и л е в с к и й. Полное собрание сочинений, Т. IV, гл. XXXV.

[26] Ф.И. К о р б е л е ц к и й, Краткое повествование о вторжении Французов в Москву, СПб., 1813, с. 21–22. (Сочинение это составляет книжную редкость)**.

[27] Роман С о л т ы к. Napoleon en 1812, memoires historiques et militaires sur la campagne de Russie. Paris, 1836, c. 259; F a i n A. de. Manuscrit de 1812, T. II, c. 50 и след.

[28] Baron D e n n i é e. Itinéraire de l'empereur Napoleon, c. 84–86.

[29] C l a u s e w i t z. Der Feldzug von 1812 in Russland, c. 172–173; Д.П. Б у т у р л и н. Histoire militaire de la campagne de Russie en 1812.

---

* Впоследствии воспоминания Ф.В. Акинфова были опубликованы: А к и н ф о в Ф.В. Из воспоминаний//Х а р к е в и ч В.И. 1812 год в дневниках, записках и воспоминаниях современников. Материалы Военно-учёного архива Главного штаба. Вып. 1, Вильна, 1900, с. 205–212 *(прим. ред.)*.

** Полное название этой книжной редкости: «Краткое повествование о вторжении Французов в Москву и о пребывании их в оной, описанное с 31 августа по 27 сентября 1812 года Ф. Корбелецким, с присовокуплением собственного его странствования. СПб., 1813, 87 с., 1 л. портр. *(прим. ред.)*.

Vol. 2. Paris et Petbg., 1824, V. I. c. 394.

[30] C-te S e g u r. Histoire de Napoleon etc. T. II, c. 33–35.

[31] R. S o l t y k. Napoleon en 1812, memoires historiques et militaires sur la campagne de Russie. Paris. 1836, c. 259–260.

[32] Baron D e n n i é e. Itinéraire de l'empereur Napoleon, c. 85–87; S e g u r. Histoire de Napoleon etc., T. III, c. 37; F a i n A. de. Manuscrit etc., T. II, c. 52.

[33] S e g u r. Histoire de Napoleon, T. II, c. 35–36; C h a m b r a y. Histoire de l'expédition en Russie, T. II, c. 114; B e i t z k e. Geschichte des russ. Krieges im Jahre 1812, 2-е изд., Berlin, 1862, c. 264–265.

[34] F a i n, A. de. Manuscrit de 1812, T. II, c. 55.

[35] Ф.И. К о р б е л е ц к и й. Краткое повествование и пр., с. 24–25.

[36] Ф.И. К о р б е л е ц к и й. Краткое повествование, с. 25; Baron D e n n i é e. Itinéraire de l'empereur Napoleon, c. 88–89.

[37] Т. Т о л ы ч е в а. Рассказы очевидцев о двенадцатом годе. М., 1872, с. 30–31; Ф.И. К о р б е л е ц к и й. Краткое повествование и пр., с. 26.

[38] Герцог Бассано писал императору Наполеону следующее письмо:

Vilna, le 5 Septembre (1812).

Lorsque v. m. entrera à Moscou, elle pourrait faire appeler deux hommes sur la fidélité desquels, on m'assure, qu'elle peut compter. L'un se nomme Pataud d'Orflans; il est Francais établi depuis longtems en Russie. M-r de Lesseps et ses prédécesseurs l'ont constament employé comme agent du consulat général. Il y a sur lui dans les archives de mon ministère des rapports trés-favorables. L'autre est un professeur allemand, attaché à l'université de Moscou depuis 1803; il se nomme Reinhard; il est frère du ministre de v. m. à Cassel. Il passe pour un homme de beaucoup de mérite. Но Рейнхарда не нашли в Москве: он умер именно в 1812 г. 7 ноября в Нижнем Новгороде (Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Московского университета, Т. I, с. 166 и Т. II, с. 328 и 329). Подлинное письмо герцога Бассано находится в Архиве Главного Штаба.

[39] D e n n i é e. Itinéraire, c. 89; S e g u r. Histoire de Napoleon, T. II, c. 38; D u m a s. Souvenirs etc. T. III, c. 443 и след.

[40] Так называет Корбелецкий польского офицера, бывшего одним из переводчиков у Наполеона. Роман Солтык называет его *Васович* (*Wasocvicz*, Napoleon en 1812, c. 44); в таблице войск у Сент-Илера он назван *Vauzowitch*, Hist. de la campagne en Russie, T. II, c. 371; Ф.И. К о р б е л е ц к и й. Краткое повествование, с. 26.

[41] Ф.И. К о р б е л е ц к и й. Краткое повествование, с. 27–28.

[42] C h a m b r a y. T. III, приложение, с. 405; F a i n. T. II, c. 76.

[43] Т. Толычева. Рассказы очевидцев о двенадцатом годе. М., 1872, с. 9, 36, 71–72, 120; П. Г. Кичеев. Из недавней старины. М., 1870, с. 7 и след.; *Русский Вестник*, 1856, № 8, с. 277, 281; Граф Солтык. Napoleon en 1812, с. 268 и след.; Chambray. Т. II, с. 115 и след.

[44] Полное Собрание Законов № 16307; П. И. Иванов. Систематическое обозрение поместных прав и пр. М., 1836, с. 87 и след.

[45] Т. Толычева. Рассказы очевидцев о 1812 г., с. 102–103.

[46] *Чтения в Имп. Обществе истории и древностей Российских*, 1859, кн. 2-я, отд. V, с. 163; Ср. M-me Fusil. L'incendie de Moscou, с. 6; L'abbé Surugue. Lettres sur l'incendie de Moscou, с. 12 и 13; B. B... ch. Histoire de la destruction de Moscou, с. 80; Arm. Domergue. Т. II, с. 51 и след.

[47] Бестужев-Рюмин. Записки. Краткое описание происшествиям в столице Москве в 1812 году, с. 80–83; его же донесение министру юстиции 27 февраля 1813 г., с. 164–169. (*Чтения в Имп. Обществе истории и древностей Российских*, 1859, кн. 2, отд. V).

[48] Chev. d'Ysarn. Relation du séjour des Français à Moscou, с. 4–6; Arm. Domergue. La Russie pendant les guerres de L'Empire, т. II, с. 40–43.

[49] В котором часу? В 11 часов утра, пишет Корбелецкий (с. 29); в 8 часов утра, говорит Денье (Itinéraire, с. 90); в 6 часов утра, уверяет Гурго (Examen critique, с. 280); на рассвете, jour venu lui-même y court, повествует Сегюр (Т. II, с. 47); около полудня, говорит Рене-Буржуа (Tableau de la campagne de Moscou, с. 54); Chev. d'Ysarn – в 2 часа пополудни (Relation, с. 8). Так современники и очевидцы, записывая *впоследствии* свои воспоминания, забывали подробности и особенно часы дня и даже дни.

[50] Корбелецкий. с. 29; Lecointe de Laveau. Moscou avant et après l'incendie. Paris, 1814, с. 113; Segur. Т. II, с. 40 и 47; Fain. Manuscrit, Т. II, с. 85; Русские и Наполеон Бонапарте. М., 1813, с. 68 и 69; А. И. Михайловский-Данилевский. Т. IV, с. 510; Saint-Hilaire. Histoire de la campagne de Russie en 1812, Т. III, с. 104.

Глава 2

[1] C-te Segur. Histoire de Napoleon et de la Grande Armée, Т. II, гл. VI, с. 46.

[2] Т. Толычева, Рассказы очевидцев, с. 59. Только что отряд Себастьяни вошёл в Кремль, ограблено было семейство дьякона церкви Николы в Сапожках, бывшей у нынешнего экзерцирсгауза на Моховой. «Многие принялись тут же за грабёж», – говорит очевидец.

[3] C h a m b r a y G. de. Histoire de l'expédition en Russie, T. II, с. 118 и след.

[4] Письмо Максима Сокова к И.Р. Баташёву от 25 сентября 1812 г., *Русский Архив*, 1871, № 6, стб. 0218–0219.

[5] Aus dem Leben des Generals von Brand, 2 тома, 2-е изд., Berlin, 1870, с. 429.

[6] Ныне Глазная больница (L a b a u m e E. Relation compléte de la Campagne de Russie, en 1812, 4-е изд.*, Париж, 1815, с. 195).

[7] C-te D u m a s M. de. Souvenirs du lieutenant général comte M. Dumas, de 1770 a 1836. Vol. 3, Paris, 1839, T. III, с. 445.

[8] Роман С о л т ы к. Napoleon en 1812, гл. IX, с. 273–278.

[9] Aus dem Leben des Generals von Brandt. Berlin, 2-е изд., 1870, с. 427–428.

[10] Письмо Сокова к Баташёву, *Русский Архив*, 1871, № 6, стб. 0219–0220.

[11] E. L a b a u m e. Relation compléte de la Campagne de Russie, en 1812. Paris, 1820, с. 195–200.

[12] И.Т. Р а д о ж и ц к и й. Походные записки артиллериста, Ч. I, М., 1835, с. 172.

[13] M-me F u s i l. L'incendie de Moscou, Paris, 1817, с. 10.

[14] Chev. d'Y s a r n. Relation du séjour des Français à Moscou en 1812, Bruxelles, 1871, с. 9; Т. Т о л ы ч е в а. Рассказы очевидцев о 1812 г., М., 1873, с. 88–94.

[15] Письмо Сокова, *Русский Архив*, 1871, № 6, стб. 0221–0225.

[16] Показание доктора Метивье у графа Сегюра в: Histoire et mémoires etc. Paris, 1873, T. VI, с. 17–18.

[17] Ф.И. К о р б е л е ц к и й. Краткое повествование и пр. с. 31; C-te S e g u r. Histoire de Napoleon et de la Grande Armée, T. II, с. 50; G o u r g a u d. Examen critique, с. 283.

[18] C-te S e g u r. Histoire de Napoleon et de la Grande Armée, T. II, с. 51 и след.

[19] C h a m b r a y G. de. Histoire de l'expédition en Russie en 1812, T. II, с. 121.

[20] Записки графа В.А. Перовского, *Русский Архив*, 1865, изд. 2-е, стб. 1038.

[21] Записки графа В.А. Перовского, *Русский Архив*, 1865, изд. 2-е, стб. 1039.

[22] C-te S e g u r. Histoire de Napoleon et de la Grande Armée, T. II, гл. VII.

---

* Автор по-видимому ошибся в датировке 4-го издания книги воспоминаний Е. Лабома, т.к. 1-е издание вышло в Париже в 1820 году *(прим. ред.)*.

[23] Arm. D o m e r g u e. La Russie pendant les guerres de l'empire, T. II, c. 68–69; С. М. Л ю б е ц к и й. Москва в 1812 г. М., 1872, с. 170.

[24] Ф. И. К о р б е л е ц к и й. Краткое повествование, с. 33.

[25] Воспоминания очевидца (доктора Рязанцева). М., 1862, с. 72, 73, 76–77*.

[26] Abbe S u r u g u e. Lettres etc., c. 29; А. Д. Б е с т у ж е в-Р ю м и н. *Чтения в Имп. Обществе истории и древностей Российских*, 1859, кн. 2, отд. V, с. 170.

[27] Abbe S u r u g u e. Lettres sur l'incendie de Moscou, c. 25.

[28] M-me F u s i l. L'incendie de Moscou, c. 14–15.

[29] Duc de F e z e n z a c. Souvenirs militairs, c. 264.

[30] Abbe S u r u g u e. Lettres sur l'incendie de Moscou, c. 19–20.

[31] C h a m b r a y G. de. Histoire de l'expédition en Russie, T. II, c. 131.

[32] Chev. d'Y s a r n. Relation du séjour des Français à Moscou. Bruxelles, 1871, c. 25–27.

[33] Lecointe de L a v e a u. Moscou avant et après l'incendie, c. 125–127.

[34] Abbe S u r u g u e. Lettres etc., c. 28–29.

[35] Т. Т о л ы ч е в а. Рассказы очевидцев, с. 61–63.

[36] Chev. d'Y s a r n. Relation etc., c. 23.

[37] Т. Т о л ы ч е в а. Рассказы очевидцев, с. 18, 128 и след.

[38] П. Г. К и ч е е в. Из недавней старины, с. 31 и след.

[39] Рассказ Москвича о Москве в 1812 г. (*Чтения в Имп. Обществе истории и древностей Российских*, 1859, кн. 2, отд. V, с. 101–102, 110; B... ch. Histoire de la destruction de Moscou, Paris, 1822, c. 128; С. М. Л ю б е- ц к и й. Москва в 1812 г., с. 185.

---

* «Воспоминания очевидца о пребывании французов в Москве в 1812-м году». С видом пожара Москвы. М., 1862. Имя автора в книге не указано; А. Н. Попов полагал, что автором являлся доктор *Рязанов*. В известном и авторитетном справочнике под ред. П. А. Зайончковского «История дореволюционной России в дневниках и воспоминаниях» также указывается, что автор этих воспоминаний *А. Рязанов*, и приводятся о нём следующие сведения: Рязанов Александр (1798–?), ученик Славяно-греко-латинской академии (Т. 2. Ч. I. 1801-1856. М., 1977, с. 280). На самом деле, фамилия автора этих очень интересных воспоминаний *Рязанцев*, что со всей очевидностью устанавливается следующим образом. В библиотеке Государственного музея Л. Н. Толстого, что на Пречистенке, хранится экземпляр этой книги, ранее принадлежавший К. С. Шохор-Троцкому, с дарственной надписью и отчётливой подписью: *А. Рязанцев. 1 августа 1869 г.*, сделанными старинным каллиграфическим почерком. Некоторые сведения об Александре Кузьмиче Рязанцеве приведены в: А. В. Г у л и н. Один из источников московских сцен 1812 года в «Войне и мире»//*Яснополянский сборник*. 1992, Тула, 1992, с. 26–34 *(прим. ред.)*.

[40] Т. Толычева. Рассказы очевидцев, с. 73–75.

[41] Там же, с. 75–81; ср. *Русский Вестник*, 1872, ноябрь, с. 271 и след.; П.Г. Кичеев. Из недавней старины, с. 21; Abbe Сюрюг. Lettres etc., с. 23.

[42] Т. Толычева. Рассказы очевидцев, с. 18–19.

[43] А.Д. Бестужев-Рюмин. *Чтения в Имп. Обществе истории и древностей Российских*, 1859, кн. II, отд. V, с. 171; Abbe Сюрюг. Lettres etc., с. 29.

[44] Т. Толычева. Рассказы очевидцев, с. 95–96.

[45] Там же, с. 40–42.

Глава 3

[1] В 1817 году, 31 октября, князь А.Н. Голицын писал преосвященному Августину, что Императору угодно иметь верные сведения о происшествиях в Московских монастырях во время пребывания в Москве французов. В исполнение воли Государя, преосвященный собрал сведения от всех настоятелей и настоятельниц и 5 декабря того же года представил составленную из них записку, которая напечатана в *Чтениях в Имп. Обществе истории и древностей Российских*, 1858, кн. 4, отд. II, с. 36–48. Некоторые из подлинных донесений также напечатаны в этих *Чтениях* 1861 года, кн. 1, с. 193–197 и 1871 г., кн. 2, с. 80–85; но большая часть осталась в делах Консистории. Из них составлялись записки частными лицами; одна была издана в *Русском Архиве, 1869*, стб. 1387–1399, другая в «Истории Моск. епархиального управления» г. Розанова, ч. II, пр. с. 19–32. Они различаются лишь некоторыми подробностями и числом монастырей. В 1836 г., по указу Синода 30 мая, для г. Михайловского-Данилевского была составлена, по распоряжению митрополита Филарета, записка о подвигах духовенства в Москве и её уезде в 1812 г. по делам Консистории и вновь собранным сведениям. Она не напечатана. В дополнение к ней из тех же сведений составлено описание храмов и монастырей в Москве при французах и напечатано в *Московских епархиальных ведомостях*, 1871 №№ 14, 31, 37; 1872 №№ 13 и 51. Эти записки составили главные источники для предлагаемого рассказа. Исчисляю их, чтобы избежать частных указаний на одни и те же источники. Но они дополняются многими другими, на которые и указано в своих местах.

[2] А. Рязанцев. Воспоминания очевидца о пребывании Французов в Москве в 1812 году. М., 1862, с. 81–82, 135–136.

[3] Т. Толычева. Рассказы очевидцев, с. 109.

[4] B… ch. Histoire de la destruction de Moscou, c. 149; L e c o i n t e d e L a v e a u, Moscou avant et après l'incendie, c. 122. – В церкви Петра и Павла на Якиманке доселе цела икона, простреленная неприятельскою пулею *(прим. П. И. Бартенева).*

[5] А. Р я з а н ц е в. Воспоминания очевидца, с. 191–192.

[6] Ф. И. К о р б е л е ц к и й. Краткое повествование, с. 43; Baron P e y r u s s e. Mémorial et archives. Carcassone, 1869, c. 107.

[7] А. Р я з а н ц е в. Воспоминания очевидца, с. 144.

[8] Lettres sur l'incendie de Moscou, c. 10–11.

[9] Т. Т о л ы ч е в а. Рассказы очевидцев, с. 18, 37 и др.

[10] B… ch. Histoire de la destruction de Moscou, c. 110–112.

[11] Capitaines adjoints à l'etat-major.; S a i n t-H i l a i r e. Histoire de la campagne de Russie en 1812, Ч. II; Tableau synoptique de la Grande Armée, c. 374.

[12] Т. Т о л ы ч е в а. Рассказы очевидцев о 1812 г., рассказ 1-й, занятие французами Девичьего монастыря, *Русский Архив*, 1864, стб. 843–858.

[13] Т. Т о л ы ч е в а. Рассказы очевидцев о 1812 г., с. 149–155. Имя барона Таулета не находится в списках чинов Великой армии; при корпусе Даву был главным хирургом Паулет (Paulet). Histoire de la campagne de Russie par S a i n t-H i l a i r e. T. II, c. 374.

[14] Т. Т о л ы ч е в а. Рассказы очевидцев, с. 90–92.

[15] Т. Т о л ы ч е в а. Рассказы очевидцев о двенадцатом годе. М., 1872.

[16] Там же, с. 61–63.

[17] А. С. Н о р о в. Война и мир. 1805–1812. С исторической точки зрения и по воспоминаниям современника. По поводу сочинения графа Л. Н. Толстого «Война и мир». СПб., 1868, с. 49–50.

[18] А. Р я з а н ц е в. Воспоминания очевидца о пребывании Французов в Москве в 1812 г. М., 1862, Отд. 2, гл. 17, с. 169–171.

[19] L a n f r e y P. Histoire de Napoléon, Paris, 1875, T. V, c. 342 и след.

[20] *Русский Архив*, 1871, № 6, стб. 0198–0206; Т. Т о л ы ч е в а. Рассказы очевидцев, с. 84, 101 и след.; П. Г. К и ч е е в. Из недавней старины, с. 36.

[21] Письмо Сокова к Баташёву, *Русский Архив*, 1871, № 6, стб. 0221–0223.

[22] Предания о Московских беспоповщинцах, Ч. I. Федосиевцы (рукоп.); Письмо Булгакова из Владимира 19 октября 1812 г., *Русский Архив*, 1866, № 5, стб. 705; Известия из Москвы от 18 сентября 1812 г., *Русский Архив*, 1864, стб. 789; Письмо графа Ростопчина к императору из Владимира 1 октября 1812 г.: Les raskolniks jouissent de sa (т. е. Наполеона) protection, et j'ai la note des maisons qui sont sous la sauve-garde

des Français*.

[23] Воспоминания очевидца (д-ра Рязанцева), отд. 2-й, гл. 8 и 10-я**.

[24]19-me bulletin de la Grand Armée.

[25] Письмо графа Ростопчина к Императору 2-го декабря 1812 г. из Москвы.

[26] La vérité sur l'incendie в соч. графа Ростопчина, изд. Смирдина, с. 237 и 285.

[27] *Русский Архив*, 1864, изд. 2-е, стб. 807 и 816.

[28] D o m e r g u e. La Russie pendant les guerres de l'empire, T. II, с. 33 и след.; S u r u g u e. Lettres sur l'incendie de Moscou, с. 12; B... ch. Histoire de la destruction de Moscou, с. 68 и след.

[29] S u r u g u e. Lettres etc., с. 14–15; M-me F u s i l. L'incendie de Moscou, с. 5–8.

[30] Рапорт ген.-майора Иловайского графу Ростопчину 16 октября 1812 г. из Москвы; Записки Булгакова, *Русский Архив*, 1866, № 5, стб. 696; письмо Лунина 18 сентября 1812 г., *Русская Старина*, 1873, № 12, с. 992.

Глава 4

[1] C-te S e g u r. Histoire de Napoléon et de la Grande Armée, T. II, гл. VII, с. 59.

[2] F a i n A. de. Manuscrit de 1812, T. II, с. 55.

[3] Речь 13 февраля 1813 г. (н. ст.) у Тьера, Histoire du Consulat et de l'Empire, кн. XXIX.

[4] M o n t h o l o n. Mémoires etc. в Bibliothèque militaire, изд. 1840, с. 405; L a s-C a s a s. Mémorial de S-te Hélène, T. II, с. 142–145.

[5] Correspondance et relations de I. Fiévée avec Bonaparte, Paris, 1837, T. III, с. 239–246. Письмо XC, октябрь 1812. Фьеве, в продолжении многих лет, начиная с Консульства, был корреспондентом Наполеона и сообщал ему сведения о направлении общественного мнения.

[6] Помещался между Тверской и Большой Дмитровкой, в Глинищевском переулке, в доме, ныне принадлежащем г-ну Обидину.

[7] Chev. d'Y s a r n. Relation etc., с. 14–15; Arm. D o m e r g u e. La Russie pendant les guerres de l'empire, M. II, с. 73–75. Черновые письма к Напо-

---

* Раскольники пользуются его (т. е. Наполеона) покровительством, и у меня есть перечень домам, состоящим под охраной французов *(прим. ред.)*.

** Предыдущие три страницы представляют собой достаточно вольное изложение с. 89–95, 104–107 книги воспоминаний А. Рязанцева и не являются их точным цитированием *(прим. ред.)*.

леону г-жи Обер-Шальме хранятся в учёном Архиве Главного штаба. В них она просит его о покровительстве по имуществу и об определении сыновей её в Лицей.

[8] F a i n A. de. Manuscrit de 1812, T. II, c. 93–97; C-te S e g u r. Histoire de Napoléon etc., T. II, c. 60–63. Тьер говорит: «Ce projet est rapporté, mais entièrement défiguré dans le récit de m-r Fain. Il est rapporté à une date qui ne peut être la véritable, car m-r Fain prétend que l'empereur le conçut et l'arrêta au château de Petrowskoe, où il séjourna pendant l'incendie de Moscou du 16 au 19 Septembre. Or, il existe dans les archives et dans la correspondance de Napoléon un exposé de ce plan divisé en titres et articles, comme un projet de loi. Ce document porte la date d'Octobre, sans désignation du jour. (Histoire du Consulat et de l'Empire, кн. XXVI)». Конечно, тот план, на который указывает знаменитый историк, выработан гораздо после пребывания Наполеона в Петровском дворце; но он выражал своё намерение идти на Петербург ещё там, о чём свидетельствует не один Fain, но и Сегюр. Этот план доказывает только, что эта мысль занимала долго Наполеона, и весьма понятно, почему. Если нельзя действовать наступательно, то надо было отступать. Ничто так не было противно Наполеону, по свидетельству самого г. Тьера, как мысль об отступлении.

[9] Duc de F e z e n z a c. Souvenirs etc., c. 265.

[10] C-te S e g u r. Histoire de Napoléon etc. T. II, c. 63–64.

[11] Ф.И. К о р б е л е ц к и й. Краткое повествование и пр., с. 37–38.

[12] *Чтения в Имп. Обществе истории и древностей Российских*, 1859, кн. 2, отд. V, с. 171–172.

[13] Это был auditeur du conseil d'état Busch (F a i n A. de. Manuscrit, T. II, c. 98–99; S u r u g u e. Lettres, c. 22; Chev. d'Y s a r n, Relation etc. c. 27–28.

[14] E. L a b a u m e. Relation compléte de la Campagne de Russie, en 1812, Paris, 1820, c. 198.

[15] F a i n A. de. Manuscrit, T. II, c. 89.

[16] Бюллетени от 17 и 20 сентября, а приговор комиссии состоялся 24 сентября н. ст.

[17] Т. Т о л ы ч е в а. Рассказы очевидцев, с. 53; *Русский Вестник*, 1872, ноябрь, с. 269.

[18] B. B... ch, Histoire de la destruction de Moscou, c. 99–100.

[19] Duc de F e z e n z a c. Souvenirs etc., c. 268. Он был в это время полковым командиром в корпусе маршала Нея; L e c o i n t e de L a v e a u. Moscou avant et après l'incendie, c. 126.

[20] Письмо 19 сентября 1812 г.

[21] Письмо из Стокгольма 10 октября н. ст. 1812 г.

[22] Сочинения Д. В. Давыдова, Ч. I, с. 8 (см. также Денис Д а в ы д о в. Военные записки. М., 1982, с. 155; *прим. ред.*).

[23] Князь Н. Б. Голицын, состоявший в штабе князя Багратиона. *Русский Инвалид*, 1846, № 270 и его же: Souvenirs et impressions d'un officier russe, pendant les campagnes de 1812, 1813 et 1814, СПб., 1849, с. 10.

[24] В 1814 году, апреля 28-го, граф Ростопчин писал графу С. Р. Воронцову: On me paye d'ingratitude, parce que Koutousow a insinué, après avoir abandonné la ville de Moscou pendant la nuit, que c'etait à cause de moi et que je lui avais promis 300,000 combattans, tandis qu'il n'a pas voulu employer les 119,000 h. de la milice que j'avais formée aux environs de Moscou et qui pouvaient rejoindre l'armée avant même la bataille de Borodino. (*Архив князя Воронцова*, кн. VIII, с. 319). Известно, что Московские дружины действовали при Бородине.

[25] Helldorff (изд.). Aus dem Leben des Pr. Eugen v. Würtemberg, Ч. II, с. 59.

[26] Записки А. П. Ермолова, Т. I, с. 209.

[27] Рапорт генерал-майора Ивашкина из Владимира 27 сентября 1812 г. Вольцоген рассказывает: «Около 11 часов Барклай проехал с свитою (в которой находился и рассказчик) Рогожскую заставу. Граф Ростопчин присоединился к нам. В некотором расстоянии от Коломенской дороги мы заметили толпу солдат, сопровождавших обоз. Когда обоз приблизился, я увидал, что это были пожарные трубы. Удивлённый, я спросил Ростопчина, зачем их вывезли? «На это я имею свои причины; впрочем, я ничего не взял из Москвы, кроме лошади, на которой еду и одежды, которая на мне», отвечал он». Нельзя не усомниться в этом показании Вольцогена, как и во многих других его свидетельствах. В тот час, на который он указывает, граф Ростопчин ещё находился в Москве, и поезда труб по Владимирской дороге нельзя было видеть с Рязанской, если бы даже он выехал из Москвы и позднее 3-х часов утра, как распорядился граф Ростопчин. Может быть, Вольцоген имел подобный разговор с ним; но едва ли видел, как увозили трубы. V. V o l z o g e n, Mémoiren, с. 156.

[28] Показание его 7 июня 1836 г.

[29] Ф. В. Р о с т о п ч и н. Правда о пожаре Москвы, М., 1823.

[30] Arm. D o m e r g u e, La Russie pendant les guerres de l'empire, T. II, гл. XIV и XV; M-me F u s i l, L'incendie de Moscou, с. 10 и др.; Abbe S u r u g u e. Lettres etc., с. 16; L e c o i n t e de L a v e a u. Moscou avant et après l'incendie, с. 114 и др.; B. B... ch, Histoire de la destruction de Moscou, с. 66–70; L a b a u m e E. Relation compléte de la Campagne de Russie, с. 186 и след.

[31] Ф. В. Р о с т о п ч и н. Правда о пожаре Москвы, в изд. Смирдина, с. 206 и 261.

[32] *Русский Инвалид*, 1846, № 270.

[33] Письмо 13 сентября 1812 г., Пахра, в 35 верстах от Москвы, на Старой Калужской дороге.

[34] Письмо 13 октября 1812 г. из Владимира.

[35] Письмо 8 сентября 1812 г., деревня Кутузово, в 34 верстах от Москвы на Тульской дороге.

[36] *Русский Вестник*, 1813, № 5, с. 65–75, письмо графа Ростопчина к С. Н. Глинке. Это мнение и самим издателем повторялось во многих статьях и во всех журналах того времени. *Русский Вестник*, 1813, № 1, с. 7–15, № 3, с. 6–19, № 4, с. 65–74, № 5, с. 15–26, 1814 г. кн. 10, с. 8; *Северная Почта*, 1812, №№ 69, 76; *Сын Отечества*, 1812, № 1, с. 1–17, № 12, с. 253–258. Ср. Русские и Наполеон Бонапарте, М., 1813, с. 71 и след. Поражение Французов на Севере, М., 1814, Ч. 1. с. 88–95.

[37] Письмо графа Воронцова 7 марта 1813 из Лондона. Ответ графа Ростопчина 28 апреля 1813 из Москвы. *Архив князя Воронцова*, Т. VIII, с. 316, 517.

[38] Histoire militaire de la campagne de Russie en 1812. Paris, 1824, T. 1, с. 369 и след.*.

[39] *British Monitor*, 7 октября 1822 г.

[40] V a r n h a g e n von E n s e, Denkwürdigkeiten und vermischte Schriften, 2 B., Leipzig, 1842, с. 171 и след.

[41] Гр. С е г ю р. Vie du c-te Rostopschine, Paris, 1871, с. 240.

[42] *Gazette de France*, 1823, № 125, lundi 5 мая.

[43] Réponse à la brochure de m-r le c-te Rostopschine intitulée: La vérite sur l'incendie de Moscou (G. de Chambray), Paris, 1823.

[44] Histoire militaire etc. T. I, гл. V, с. 368–369.

[45] Правда и пр. с. 201–203, 208, 254.

[46] Мнение Государственного Совета 7-го мая 1817 г. п. 4. Комиссариатские вещи, вывезенные на 1700 подводах, были спасены; но из «числа полученных комиссариатом барок (23-х), шедшие впереди артиллерийских три барки спасены и находившиеся в них вещи сданы в армию; прочие же барки, следовавшие позади артиллерийских и задержанные ими, коих по сей причине не было никакой воз-

---

* Эта фундаментальная работа об Отечественной войне 1812, впервые изданная в Париже на французском языке в 1824–1825 в 2-х томах, затем была опубликована на русском языке: Д. П. Б у т у р л и н. История нашествия императора Наполеона на Россию в 1812 году. Тт. 1–2, СПб., 1837 и с тех пор ни разу не переиздавалась *(прим. ред.)*.

можности спасти от неприятеля, по повелению покойного генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского, сожжены и потоплены».

[47] И.Т. Радожицкий. Походные записки артиллериста, Ч. I, М., 1835, с. 172–175, 206–209.

[48] Правда о пожаре Москвы, с. 212–213.

[49] Война 1812 г.; замечания на сочинение г. Богдановича, 1869 г., 2-го отдела, с. 167 и его же: Некоторые замечания о гибели Наполеоновых полчищ в 1812 г. СПб., 1855, с. 167–192.

[50] Mémoires militaires et historiques etc., V. IV, Paris, 1829, гл. 44, с. 370.

[51] Правда о пожаре Москвы, с. 213–215.

[52] Воспоминания Вендрамини. Венецианец Vandramini жил в доме князя М. П. Голицына, во флигеле, выходившем на Старую Басманную и гравировал картины его галереи. О нём упоминает г-жа Фюзиль, нашедшая у него приют. Его воспоминания напечатаны в Economiste Belge, 1864, а перевод в *Русском Инвалиде* того же года, №№ 28, 29, 30 и 31.

[53] Т. Толычева. Рассказы очевидцев о 1812 г., с. 60, 92, 103.

[54] Граф П.Х. Граббе. Из памятных записок. М., 1873, с. 85; Записки А. П. Ермолова, Т. I, с. 215.

[55] Arm. Domergue. La Russie etc. T. I, с. 309–310.

Глава 5

[1] Chev. d'Ysarn. Relation du sejour des Français à Moscou, с. 26–27.

[2] Подлинники как этого письма, так и всех других приказов, приводимых далее без особых указаний, находятся в числе отбитых у неприятеля бумаг, в Учёном Архиве Главного штаба.

[3] B... ch. Histoire de la destruction de Moscou, с. 103–104.

[4] *Русский Архив*, 1864, изд. 2, стб. 835–838.

[5] Показания майора Шмидта, там же, стб. 820.

[6] Этот офицер был Брандт, служивший прежде во французских войсках, действовавших в Испании. Aus dem Leben des Generals Heinrich von Brandt., Berlin, 2-е изд., 1870, с. 437–439.

[7] Донесение генерал-майора Дорохова князю Кутузову от 10 сентября. Донесение князя Кутузова императору от 11-го сентября.

[8] Baron Denniée. Itinéraire de l'Empereur Napoleon pendant la campagne de 1812. Paris, 1842, с. 100.

[9] Письмо Бертье к Мюрату 22 сентября н. ст.; Fain, Manuscrit, с. 177.

[10] Fain, Manuscrit, с. 177–183.

[11] Fain, Manuscrit, T. II, c. 112–113; 180–181.

[12] Там же, с. 182–190; Chambray G. de. Histoire de l'expédition de Russie, T. III, прилож., с. 407–417.

[13] Бертье маршалу Бессьеру от 27 сентября н. ст.; Fain A. de. Manuscrit, T. II, c. 185–189.

[14] Chev. d'Ysarn. Relation du séjour des Français à Moscou, c. 28.

[15] Записки Григория Никитича Кольчугина, рукопись, сохранившаяся у внука его, Московского книгопродавца Ивана Ивановича Кольчугина и с просвещённою готовностью сообщённая им в *Русский Архив**.

[16] Armand Domergue, La Russie pendant les guerres de la révolution et de l'empire, T. II, c. 90 и след.; Chev. d'Ysarn. Relation, c. 28 и 29; Дело о лицах, принявших должности от Французского правительства, решённое окончательно Государственным Советом 17 мая 1815 г.

[17] *Чтения в Импер. Обществе истории и древностей Российских*, 1859, кн. II, отд. V, с. 170.

[18] Записки Д'Оррера, рукопись.

[19] Duc de Fezenzac. Souvenirs militaires, c. 268; Labaume. c. 237.

[20] Chambray, Histoire de l'expédition en Russie, T. III, прилож., c. 406 и 424; Fain A. de, Manuscrit de 1812, T. II, c. 135.

[21] 19-ти bulletin de la Grande Armée. Moscou, 17 Sept. 1812.

[22] Intendance générale. – Grande armée.

Tableau par aperçus des ressourses existantes après l'incendie dans la place de Moscou.

Grain-froment	Farine	Gruau	Eau-de-vie		Fourrages		Bois et lumières	
			pentes	rations	sacs d'avoine	rations	stères	rations
18000	8000	4000	4073000	65000000	8000	200000	36000	450000

Nota. Les équipages militaires ont transporté jusqu'à ce jour envers 8000 quintaux de farine du magasin des enfants trouvés au Kremlin.

Un magasin de farine contenant 1000 q. que S.M. a daigné faire connaître s'evacue sur le magasin placé près du lieu où on construit les fours, la quantité qu'il renferme n'est pas comprise dans les huit mille quintaux. Ne sont pas compris non plus 896 q. de farine chargés à Elbing qui viennent d'arriver dans la place; ils seront exposés au magasin de

* Записки Г.Н. Кольчугина были опубликованы в *Русском Архиве* уже после смерти А.Н. Попова (1879, кн. 3, № 9, с. 45–62); отд. изд. Г. Н. Кольчугин. Записка о 1812 годе. Сооб. И.И. Кольчугина. Пред. П.И. Бартенева. М., 1879, 47 с. *(прим. ред.)*.

service courant près des fours.

Moscou, le 27 Sept. 1812.
Le général de division, conseiller d'etat, intendant-général.
C-te Dumas.

[23] C-te B e l l i a r d A. de, Mémoires. T. I, Paris, 1842, Письмо Мюрата от 10 октября, с. 112; Ш а м б р е, Т. II, с. 205–206.

[24] F a i n, Manuscrit de 1812, T. II, с. 141–143.

[25] Воспоминания о 1812 г. Вендрамини. *Русский Инвалид*, 1864, № 30.

[26] *Русский Архив*, 1864, стб. 796, Известия из Москвы, 4.

[27] Ф.И. К о р б е л е ц к и й. Краткое повествование о вторжении Французов в Москву, с. 80.

[28] Baron P e y r u s s e, Mémorial, с. 107. Il a été versé dans une caisse par m. le grand-maréchal un million en roubles. Sa majesté a fixé a I fr. chaque rouble en papier. 1-e Octobre.

[29] Ordre du jour du 21 Sept. 1812. L'empereur voit avec peine que les soldats destinés à la garde de sa personne, qui devraient conséquement donner dans toutes les circonstances l'exemple de l'ordre et du subordination, s'oublient de commettre des pareilles fautes. Il en est qui ont enfoncé des caves et des magasins de farine que fesait garder l'intendant-général.

[30] Ordre du jour du 29 Sept. 1812.

[31] Ordre du jour du 6 Octobre 1812.

[32] L a b a u m e. Relation de la campagne de Russie, с. 239 и др.

[33] R o o s H.-V. von. Ein Jahr aus meinem Leben, Petersb., 1832, с. 148.

[34] Chev. d'Y s a r n. Relation etc., с. 39.

[35] А. Р я з а н ц е в. Воспоминания очевидца о пребывании французов в Москве в 1812 году. М., 1862, с. 205–207.

[36] E. L a b a u m e. Relation de la campagne de Russie en 1812, с. 240.

[37] V i l l e m a i n. Souvenirs contemporains. M-r de Narbonne, Ч. I, с. 223–224.

[38] Lettre de Napoléon au major-général, Mojaisk, le 11 Sept. 1812; Ш а м б р е Г. де. Histoire de l'expédition de Russie, T. III, прил., с. 403–404.

[39] Письмо из Вильны 17 сентября н. ст.; Von W e l d e n F. Der Feldzug der Oesterreicher gegen Russland in 1812. Wien, 1870, прилож. 19, с. 138.

[40] Von W e l d e n F. Der Feldzug der Oesterreicher etc., Vien, 1870, с. 42 и след. прилож. № 20; Ср. F u n c k, Erinnerungen aus dem Feldzuge in Russland im Jahre 1812, с. 120 и след.; L i e b e n s t e i n. Der Krieg Napoleons gegen Russland, II, с. 155 и след.

[41] Предписание Бертье маршалу Виктору, Moscou le 6 Octobre 1812: C h a m b r a y. Histoire de l'expédition, T. III, прилож., с. 420–424.

[42] Gouvion S a i n t-S y r L. Mémoires pour servir a l'histoire militaire sour le Directoire, le Consulat et l'Empire, par le Marechal Gouvion Saint-Syr. Vol. 1–3. Paris, 1831, T. III, гл. 2, с. 55–56.

[43] Предписание маршала Бертье, Mojaisk, le 10 Sept. 1812.

[44] Предписание маршала Бертье, Moscou, le 8 Oct. 1812.

[45] Донесения графа Витгенштейна от 21 и 31 июля; *Северная Почта*, 1812, № 60.

[46] Письмо маршала Гувиона Сен-Сира к маршалу Макдональду из Полоцка 19 сентября 1812.

[47] Письмо маршала Макдональда к маршалу Сен-Сиру, Kalkamen, le 21 Sept. 1812; S a i n t-S y r. Mémoires, T. III, с. 100–111 и прилож.; V ö l d e n d o r f. Kriegsbegebenheiten der Bayern, T. III, с. 101 и след.; М и х а й-л о в с к и й-Д а н и л е в с к и й. Собр. соч., Т. IV, гл. XVI и XVIII.

[48] C h a m b r a y. Histoire de l'expédition etc., T. II, с. 199.

[49] Предписание Бертье маршалу Сер-Сиру из Москвы от 8 октября; письмо герцога Бассано князю Шварценбергу из Вильны от 3 сентября; S a i n t-S y r. Mémoires, T. III, с. 306–307; V. W e l d e n. Der Feldzug der Oesterreicher, с. 131–132.

[50] S e g u r Ph-P. Histoire de Napoléon et de la Grande Armée pendant l'annee 1812, кн. VIII, гл. IX, с. 79 и след.

[51] Т ь е р. Histoire de Consulat et de l'Empire, кн. XXVI.

[52] Mémoires de Napoléon écrits par Montholon, Biblioth. militaire, Paris, 1840, с. 406. План похода предложен был Наполеоном в октябре, но войска сосредоточились бы у Себежа и Великих Лук только к ноябрю.

[53] Граф С е г ю р. Histoire de Napoléon et de la Grande Armée, T. II, с. 81–83.

[54] Chev. d'Y s a r n. Relation etc., с. 32–33; Показания майора Шмидта, *Русский Архив*, 1864, стб. 812; Ф. И. К о р б е л е ц к и й. Краткое повествование, с. 45; Записки д'Оррера, рукопись.

[55] Граф Роман С о л т ы к. Napoleon en 1812 etc., Paris, 1836, с. 311–314. В этот день, т. е. 9 сентября ст. ст., наши войска подходили уже к Красной Пахре. Солтык говорит неопределённо, *vers* le 21 Sept.; поэтому вероятнее, что Сокольницкий доставил это известие в то же время, как и Брандт привёз весть о том, что русских войск уже нет на Рязанской дороге, т. е. 22 сентября. Иначе оно не было бы так неожиданно для Наполеона.

[56] Жданов называет его бароном *Самсоновым*; при штабе Наполеона был c-te Samson, бригадный генерал, charg de la topographie et de l'historique; но едва ли он знал по-русски. Не Вансович ли это, действительно бывший переводчиком Наполеона? Корбелецкий (с. 18) называет его Вельсович.

[57] Памятник Французам или приключения Московского жителя П.Ж., СПб., 1813, с. 30–34; Анекдоты достопамятной войны России с Французами, СПб., 1813, Ч. I, с. 108–115.

[58] Г-жа Бюрсе, почти с детства, получила известность в Париже четверостишием к Вольтеру, на которое он отвечал ей лестным письмом в стихах. 16-ти лет она вышла замуж за актёра Бюрсе, 22-х лет овдовела. Она написала несколько драматических сочинений и перевела драму Коцебу «Ненависть к людям и раскаяние».

[59] Афишка этого представления напечатана (с ошибкою в числе дня) в *Библиографических Записках*, 1859, Т. 2, с. 268.

[60] M-me F u s i l. L'incendie de Moscou etc., с. 22–23; Armand D o m e r g u e. La Russie pendant les querres de l'empire, T. II, с. 96–100; L.-F. B a u s s e t. (ancien préfêt de palais). Mémoires anecdotiques... Paris, 1827, T. II, с. 76 и след.; Baron P e y r u s s e, Memorial, с. 103, 105, 108; F a i n. Manuscrit de 1812, T. II, с. 100. Ср. статью г. Кони в *Пантеоне Русских театров*, 1840.

[61] C-te S e g u r. Histoire de Napoléon et de la Grande Armée, T. II, liv. VIII, глава XI, с. 102–103.

[62] Collection générale des lois, T. XII, с. 257, decret de 15 Oct. 1812.

[63] V i l l e m a i n. M-r de Narbonne, с. 225–230.

[64] C-te S e g u r. T. II, с. 93 и след.

[65] F a i n. Manuscrit de 1812, T. II, с. 147; C-te Mathieu D u m a s. Souvenirs, T. III, с. 456 и 457.

[66] C-te S e g u r, T. II, с. 100–102. Часто ссылаясь на Сегюра, мы не указываем на опровержения его показаний генералом Гурго (Examen critique de l'ouvrage de c-te Segur, Bruxelles, 1825). Officier du palais, как в насмешку называет его Гурго (т.е. maréchal des logis du palais, чем он был) постоянно находясь при Наполеоне, конечно, знал более, что̀ делается в его дворце, чем officier d'ordonnance, чем был Гурго в то время. Впрочем, показания графа Сегюра подкрепляются и многими другими.

[67] А. Р я з а н ц е в. Воспоминания очевидца, с. 185–188.

[68] А. Р я з а н ц е в. Воспоминания очевидца, с. 199–204; Т. Т о л ы ч е в а. Рассказы очевидцев, с. 18–19, 124–126, 155–156; *Русский Архив*, 1871, № 6, стб. 0211; Записка о происшествиях в Московских церкв. и монастырях в 1812 г. Аббат Сюрюг говорит: «On ne rencontrait aucun pope, on ne voyait aucun trace du culte réligieux. Le peuple, au milieu des horreurs de la calamité la plus désastreuse, n'avait pas même la consolation d'épancher ses peines aux pieds des autels et d'implorer la seule ressource qui reste aux malheureux. Les santinelles préposées à la garde d'Israel à la vue du danger s'étaient cachées ou avaient pris la fuite. Un seul pope

me consulta pour savoir s'il pouvait reprendre ses fonctions». Это Гратинский (Lettres sur l'incendie de Moscou, c. 30–31). То же говорит и некий немец B... ch: «Presque tous les monastères et les églises grecques avaient été abandonnées des prêtres et des religieux qui y vivaient. Le clergé catholique et les ministres n'eurent point la même terreur; on ne cite qu'un temple protestant qui fut délaissé». (Histoire de la destruction de Moscou, c. 123). Изложенные в нашем рассказе свидетельства избавляют нас от нужды опровергать показания этих двух свидетелей. О них можно бы и не упоминать, если б некоторые из русских писателей не придавали им веры (История Отечественной войны г. Богдановича, Т. II, с. 329 и *Вестник Европы*, 1872, ноябрь, статья Д. Н. Свербеева).

[69] Донесение протоиерея Гратинского 5 декабря 1812 г., *Русский Архив*, 1866, № 5, с. 731–735.

[70] П. Г. Кичеев. Из недавней старины, с. 36.

[71] А. Рязанцев. Воспоминания очевидца, гл. 21, с. 199–204.

Глава 6

[1] Донесение Тутолмина Императору 7 сентября, императрице Марии Феодоровне 11 ноября 1812 г. /*Чтения в Имп. Обществе истории и древностей Российских*, 1860, кн. 2, отд. V, с. 163 и след.

[2] *Русский Архив*, 1874, № 4, стб. 1062–1066.

[3] Письмо маршала Бертье к Мюрату 4 октября н. ст. Fain. Manuscrit de 1812, Т. II, прилож., с. 192.

[4] C-te Segur. L'histoire Napoléon et de la Grande Armée, T. II, гл. VIII, с. 81–83; Souvenir du duc de Vicence, par Charlotte de Sor, T. I, с. 88–89. Коленкур, по этим рассказам, отрицал намерение Наполеона послать его для открытия мирных переговоров; но г-же Сор случайно удалось часто беседовать с ним в 1826 году в Пломбьере, и из этих разговоров она составила свои воспоминания. Верно ли сохранила их память больной женщины и вполне ли откровенно беседовал с ней Коленкур? А между тем Тьер (Histoire du Consulat et de L'Empire, кн. XXVI) подтверждает, что прежде Лористона Наполеон предлагал Коленкуру ехать к князю Кутузову, но он отказался.

[5] Всеподданнейшее донесение князя Кутузова 23 сентября 1812 г. Село Тарутино.

[6] Baron Peyrusse, Mémorial etc., с. 106, 109.

[7] C-te Mathieu Dumas. Souvenirs, T. III, с. 454–456; G. Rapp. Mémoires... Paris, 1823, с. 212–213.

[8] Est-il possible qu'on fasse une telle chose, quand on a la paix dans sa poche? Souvenirs, T. III, с. 456.

[9] В. Peyrusse, Mémorial etc., с. 170. Донесение Тутолмина императрице Марии Фёдоровне, 11 ноября. 1812 г. *Чтения в Имп. Обществе истории и древностей Российских*, 1860, кн. 2, отд. V, с. 175. Лессепс предлагал Тутолмину взять денег на покупку продовольствия для Воспитательного Дома; но он отказался. Они хотели, писал он, «ссужать меня своими фальшивыми ассигнациями, коих привезли с собою весьма большое число и ими даже, по повелению императора Наполеона, выдавали войскам своим жалованье. По просьбе стоявшего в доме с жандармами полковника, который принёс ко мне кучу сторублёвых фальшивых ассигнаций и просил разменять на двадцатирублёвые, я выбожился, что у меня нет, а такие же сотенные; но принуждён был разменять одну на мелкие 25-рублёвые и намерен был поднести оную Вашему Императорскому Величеству; но в бытность генерал-адъютанта Кутузова, сказывая ему об оной, принуждён был по просьбе его дать ему, для отправления Государю Императору».

[10] Chev. d'Ysarn. Relation etc., с. 40–43; Arm. Domergue. La Russie pendant les guerres de l'empire, T. II, с. 115–119; Т. Толычева. Рассказы очевидцев, с. 64–65.

[11] Тутолмин. Донесение императрице 11 ноября. Там же, с. 177.

[12] Fain. Manuscrit de 1812, T. II, с. 153.

[13] Записки графа Перовского/*Русский Архив*, 1865, стб. 1048–1049; Roos. Ein Jahr aus meinen Leben. СПб., 1832, с. 186–187; Fezenzac. Souvenirs militaires, с. 281–282.

[14] Chambray. Histoire de l'expédition etc., T. III, прилож., с. 424. Приказ 6 октября н. ст.

[15] Донесение в госуд. Коллегию иностранных дел Бантыша-Каменского, 7 ноября 1812, *Русский Архив*, 1875, с. 294–296.

[16] Armand Domergue. La Russie pendant les guerres de l'empire, T. II, с. 44–45.

[17] Записка Д'Оррера, рукопись; Chev. d'Ysarn. Relation etc., с. 34–35.

[18] Шамбре. Histoire de l'expédition etc., T. II, с. 214; Fain. Manuscrit de 1812, T. II, с. 140.

[19] А. Рязанцев. Воспоминания очевидца, гл. 22, с. 205–220.

[20] П.Г. Кичеев. Из недавней старины, с. 43, 46–48.

[21] Письмо императора Наполеона начальнику штаба, Moscou le 6 Octobre 1812; Шамбре, Т. III, прилож., с. 425–426.

[22] Письмо 10 октября 1812 г. Москва. Шамбре, Т. III, с. 428.

[23] Письмо от 10 октября 1812 г. Москва. Шамбре, Т. III, с. 428–430.

[24] Письмо Бертье к Мюрату 14 октября 1812, Москва, в 10 ч. вечера. Шамбре, Т. III, с. 432–433.

[25] C-te S e g u r. Histoire de Napoléon et de la Grande Armée, T. II, c. 83; C h a m b r a y. Histoire de l'expédition, T. II, c. 209.

[26] F e z e n z a c. Souvenirs militaires, c. 271–272.

[27] C-te S e g u r. Histoire de Napoléon et de la Grande Armée, T. II, c. 106 и след.; F a i n. Manuscrit de 1812, T. II, c. 158; C h a m b r a y. Histoire de l'expédition, T. II, c. 212; F e z e n z a c. Souvenirs militaires, c. 272; B a u s s e t. Mémoires, T. II, c. 208 и др.

Глава 7

[1] T h i e r. Histoire de Consulat et de l'Empire, кн. XXVII, Octobre 1812 г.

[2] F e z e n z a c. Souvenirs, c. 276–277.

[3] 25 и 26 бюллетени от 20 и 26 октября н. ст.

[4] Baron P e y r u s s e, Mémorial, c. 110. Je vis beaucoup d'agitation dans le quartier-général et je ne pus me rendre compte, qu'un simple engagement d'avant-poste pût causer autant d'émoi et nécessiter notre départ.

[5] Этот приказ у Шамбре (Histoire de l'expédition, T. III, c. 451) и Фена (Manuscrit, T. II, c. 205–206) обозначен 13-м октября, что совершенно не согласно с его содержанием; но у Тьера он верно помечен 18 октября 1812 г. н. ст. (Histoire du Consulat et de l'Empire, кн. XXVII).

[6] F a i n. Manuscrit de 1812, T. II, c. 160.

[7] C h a m b r a y G. de, T. III, прилож. c. 433–435; F a i n. Manuscrit, T. II, c. 208–212. Приказы 18 октября 1812 г. н. ст.

[8] 26-й бюллетень от 26 октября; Мортье занимал Кремль тремя тысячами человек.

[9] Histoire de l'expédition en Russie, T. III, c. 317.

[10] Т. Т о л ы ч е в а. Рассказы очевидцев, с. 86–87, 99–100; *Русский Вестник*, 1872, ноябрь, с. 273, 285; П. Г. К и ч е е в. Из недавней старины, с. 41.

[11] C-te S e g u r. Histoire de Napoléon et de la Grande Armée, T. II, c. 112–114; F e z e n z a c. Souvenirs, c. 277–278; C h a m b r a y. Histoire de l'expédition, T. II, c. 316 и след.; F a i n. Manuscrit, T. II, c. 261; P a i x h a n s. Rétraite de Moscou, отд. III, c. 36 и след.

[12] G. R a p p. Mémoires du Général Rapp, aidede camp de Napoléon, écrits par lui méme et publies par sa famille. Paris, 1823, c. 221–222.

[13] Приказ 20 октября н. ст. C h a m b r a y, T. III, прилож., c. 436–437.

[14] C h a m b r a y G. de. Histoire de l'expédition, T. II, c. 319-321; F a i n. Manuscrit de 1812, T. II, c. 221–223.

[15] Приказ из Фоминского, 23 октября н. ст. Ш а м б р е. T. III, при-

лож., с. 439–440.

[16] 26-й бюллетень, помеченный: Боровск, 26 октября н. ст.

[17] Т. Толычева. Рассказы очевидцев, с. 137.

[18] 26-й бюллетень Великой армии.

[19] *Чтения в Имп. Обществе истории и древностей Российских*, 1859, кн. 2, отд. V, с. 176; солдата звали Сабле.

[20] Chev. d'Yzarn. Relation etc., с. 46.

[21] Т. Толычева. Рассказы очевидцев, с. 23–26, 65, 134–136.

[22] П. Г. Кичеев. Из недавней старины, с. 76.

[23] А. Рязанцев. Воспоминания очевидца, с. 228–229.

[24] Воспоминания князя Шаховского о Москве после французов изложены в письме к Михайловскому-Данилевскому. С некоторыми сокращениями, они напечатаны в *Военном Сборнике*, 1864, № 5, с. 69–99. Константин Бенкендорф, командовавший частью конницы в корпусе барона Винцингероде, в донесении Императору о его плене, говорит, что он не имел намерения входить в переговоры с маршалом Мортье, что эта мысль пришла ему тогда, как он приблизился к французским аванпостам, стоявшим по Московским бульварам. Son zèle et son caractère fougeux pour le service de V. M. l'a emporté; on faisait feu sur lui, et il ne se serait probablement pas avancé si près, si tous ceux qui l'entouraient ne l'engageaient continuellement à se ménager. Il dit avec humeur: qui a peur, n'a qu'à ne pas me suivre, et renvoya les casaques (письмо от 11 октября из Москвы). Л. А. Нарышкин говорит, что его цель состояла в том, чтобы договориться с маршалом Мортье, что он не нападёт на него, если он сам не будет действовать против него; а намеревался он действовать во фланг отступавшим неприятелям (письмо к Михайловскому-Данилевскому 3 августа 1836 г., при котором он сообщил ему свою записку о плене его и Винцингероде). Но, если не принять в основание свидетельство князя Шаховского, то, конечно, поступок барона Винцингероде был бы самым неблагоразумным (письмо князя Кутузова к его супруге от 23 октября из Вязьмы), на который он едва ли бы решился, при всей заносчивости характера.

[25] B...ch. Histoire de la destruction de Moscou, с. 156.

[26] Приказ 9 (21) октября. Fain. Manuscrit, T. II, с. 214–215.

[27] Т. Толычева. Рассказы очевидцев, с. 42, 54, 100.

[28] П. Г. Кичеев. Из недавней старины, с. 52–54; Chev. d'Ysarn, Relation, с. 46; B...ch. Histoire de la destruction de Moscou, с. 147–150.

[29] Ответы майора Шмидта на вопросы графа Ростопчина, отв. 46. *Русский Архив*, 1864, стб. 824; Fezenzac. Souvenirs militaires, с. 276.

[30] Fain. Manuscrit de 1812, T. II, с. 155–157.

[31] Fain. Manuscrit de 1812, T. II, с. 243.

Указатель имён

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

Клингель (Кленгель, Klengel) Генрих-Христиан Магнус фон (1761–1814), саксонский генерал-майор (1810); участник кампаний 1806–1807 и 1809; в 1812 командир 1-й бригады 22-й пех. дивизии в составе 7-й пех. корпуса графа Ренье; в июле был послан с отрядом 3 тыс. человек (4 батальона пехоты, 3 эскадрона с 8 орудиями) для прикрытия Брест-Литовска и Кобрина, 15 июля 1812 отрядом генерал-майора Чаплица (кав. корпус графа Ламберта) был разбит, окружён, взят в плен вместе с 76 офицерами и 2382 нижними чинами — это была первая победа русских войск в 1812 (Тормасов за неё получил орден Св. Георгия 2 ст., граф Ламберт — золотую саблю «за храбрость» с алмазами); в плену содержался в Киеве, по окончании войны вернулся на родину *431*

Ключарёв Фёдор Петрович (1751–1822), действ. тайный советник, сенатор (1816), писатель, масон с 1780, московский почт-директор; в 1812 графом Ростопчиным был необоснованно снят, арестован и выслан в Воронежскую губернию; обстоятельства дела не вполне ясны — он был обвинён в сношениях с французами, но по-видимому в глазах Ростопчина его главная вина состояла в том, что он масон, к тому же отказался выдать своего сослуживца М. Н. Верещагина; невиновность Ф. П. Ключарёва была удостоверена указом Александра I от 28 июня 1816 *361, 367, 372, 374, 419–420, 433–437*

Кнорринг Отто Фёдорович (1754–1812), генерал-майор (1799); участник русско-турецких войн 1768–1774 и 1787–1791, кампаний 1806–1807; с 1808 шеф л.-гв. Кирасирского Его Величества полка; в 1812 командовал 2-й кирасирской дивизией во 2-й Западной армии *340*

Козодавлев Осип Петрович (1754–1819), действ. тайный советник (1818), Министр внутренних дел (1810–1819), сенатор (1799), член Гос. Совета (1810), писатель и переводчик, действительный член Российской Академии (1783), ближайший сотрудник княгини Е. Р. Дашковой *369, 435–436*

Коленкур Арман-Огюстен-Луи, маркиз де (1773–1827), герцог Виченцский (1808); происходил из старинной аристократической семьи, служил в королевской армии, затем в революционных войсках; в 1801 направлен с дипломатической миссией в Петербург (для поздравления Александра I с восшествием на престол и заключения мира с Россией); с 1802 адъютант Наполеона, с 1804 обер-шталмейстер; участвовал в аресте герцога Энгиенского; бригадный (1803) и дивизионный (1805) генерал; после Тильзитского мира (июнь 1807) и недолгого пребывания послом в Петербурге генерала Савари был назначен (ноябрь 1807) послом Франции в России, выступал за укрепление франко-русского союза, против войны с Россией, был в 1811 заменён Лористоном, в 1812 сопровождал Наполеона во время похода в Россию и вернулся из России в одной карете с Наполеоном; в 1813–1814 вёл переговоры с союзниками о заключении мира, но безуспешно из-за неуступчиво-

Л

М

Н

О

в отпуске, в 1822–1833 жил во Флоренции, где и умер *34–35, 49–50, 54, 56–59, 100, 136, 225, 228–229, 232, 810*

Одоевский Владимир Фёдорович (1803–1869), князь, сенатор, гофмейстер, писатель, философ, музыкант, последний представитель княжеского рода Одоевских, угасшего с его смертью 27 февраля 1869; с 1826 служил в МВД, в Петербурге, далее в II-м Отделении С.Е.И. В. канцелярии (1840–1846), помощником директора Имп. Публичной библиотеки и заведующим Румянцевским музеем (с 1846), затем снова в Москве — в Московском департаменте Сената (с 1861) *713*

Ожаровский Адам Петрович (1776–1855), граф, генерал от кавалерии (1832), генерал-адъютант (1807); внебрачный сын кастеляна Варшавского королевского замка графа Петра Юрьевича Враницкого, убитого мятежниками за приверженность России в апреле 1794; на военной службе с 1793 (вахмистр л.-гв. Конного полка, с 1796 корнет); полковник (1802); отличился при Аустерлице (орден Св. Георгия 4 ст.), в кампании 1807 (орден Св. Георгия 3 ст., чин генерал-майора); в 1812 состоял при Главной квартире 1-й Зап. армии, отличился в Бородинском сражении (золотая шпага с алмазами); командовал отдельным отрядом из казаков и ополченцев, сражался при Тарутине, Малоярославце, Красном; участник кампаний 1813–1814 (чин генерал-лейтенанта, орден Св. Александра Невского); в 1827 командир отдельного Литовского корпуса, участвовал в подавлении Польского восстания *277, 280*

Ожеро Пьер-Франсуа-Шарль (1757–1816), маршал Франции (1804), герцог Кастильоне (1806); на военной службе с 1774 — во французской, прусской, неаполитанской армиях, с 1792 во франц. революционной армии; бригадный (1793), дивизионный (1795) генерал; командуя дивизией, отличился в Итальянском походе 1796–1797; командовал армией в Голландии (1801–1803), с 1805 — корпусом; в кампаниях 1805–1807, в 1809–1810 в Испании корпусом; в 1812 командовал 11-м пех. (резервным) корпусом, находившимся в Пруссии; участвовал в кампании 1813, в 1814 перешёл на сторону Бурбонов, в 1815 в период «ста дней» безуспешно пытался восстановить доверие к себе Наполеона *329*

Озеров Семён Николаевич (1775–1844), сенатор, тайный советник (1832), в 1811–1817 обер-прокурор 7-го департамента Сената, в 1832–1840 обер-прокурор Общего собрания Московских департаментов Сената, в 1840–1844 первоприсутствующий в 8-м департаменте Сената *646*

Оленин Евгений Иванович (1766–1828), генерал-майор (1808); на военной службе с 1778 в л.-гв. Конном полку, с 1793 ротмистр Харьковского лёгкоконного полка, с 1797 в Смоленском мушкетёрском полку, полковник (1800); участник Итальянского и Швейцарского походов Суворова; отличился при Аустерлице (орден Св. Георгия 4 ст.); в 1808–1812 в увольнении

П

Ростопчина Екатерина Петровна (рожд. Протасова, 1775–1859), графиня, супруга (с 10 февраля 1794) Ф. В. Ростопчина; дочь генерал-поручика, сенатора П. С. Протасова и А. И. Протасовой; потеряв мать в младенчестве, воспитывалась сестрой отца, камер-фрейлиной и доверенным лицом имп. Екатерины II графиней А. С. Протасовой; с 1791 фрейлина Екатерины II; в 1806 граф Ж. де Местр и аббат Сюрюг склонили её к переходу в католическую веру, что внесло резкий и тяжёлый разлад в семейную жизнь графа Ф. В. Ростопчина (умирая, граф отстранил её от воспитания младшего сына Андрея и управления громадным состоянием); фанатичная католичка, не присутствовала даже на похоронах мужа, холодно относилась к детям и мало ими интересовалась *361–362, 452*

Ростопчин Сергей Фёдорович (1795–1835), граф, старший сын Ф. В. Ростопчина; камер-паж (1809), поручик в Ахтырском гусарском полку (март 1812), в качестве адъютанта Барклая де Толли принимал участие в сражениях под Смоленском, при Бородино; с марта 1813 в Кавалергардском полку (с апреля 1814 штабс-ротмистр); участник битвы под Лейпцигом (орден Св. Анны 1 ст. с алмазами); с 1815 за границей для лечения, в Париже вёл легкомысленный образ жизни, наделал долгов (посажен в тюрьму для несостоятельных должников); с октября 1820 в отставке; прощён отцом, который назначил ему крупное содержание, что позволило графу С. Ф. вернуться в Россию, где он до смерти продолжал вести праздную жизнь, проматывая свою долю наследства; был женат на вдове графа Филиппи, рожд. княжне Марии Круа де Сольж, итальянке, католичке, от которой ещё до брака имел сына; масон *4, 458, 595–596*

Ростопчин Андрей Фёдорович (1813–1892), граф, младший сын Ф. В. Ростопчина, писатель, библиограф, почётный член Имп. Публичной библиотеки; тайный советник (1881), шталмейстер (1864), муж известной поэтессы Евдокии Ростопчиной, рожд. Сушковой; учился в Пажеском корпусе, выпущен (1830) корнетом в л.-гв. Кирасирский Её Величества полк; участник подавления польского мятежа; в 1833–1840 в отставке, с февраля 1840 корнет в Гусарском Е. И. В. герцога Максимилиана Лейхтенбергского полку (поручик), в марте 1843 уволен с военной службы с чином штабс-ротмистра; в дальнейшем на придворной и статской службе; библиофил и коллекционер, унаследовал от отца его архив, картинную галерею и библиотеку, которые значительно обогатил новыми приобретениями: открытая в 1850 для публики его первоклассная картинная галерея содержала, согласно каталогу, 282 картины и портрета и 26 мраморных скульптур 133 таких мастеров как Веласкес, Дюрер, Рембрандт, Рубенс, Тициан, Кипренский, Лампи *439, 578*

Румянцев Николай Петрович (1754–1826), граф; сын генерал-фельдмаршала П. А. Румянцева-Задунайского; действ. тайный советник (1796), Министр

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Э

да Гама обогнул Африку и открыл путь в Индию, Кабраль открыл Бразилию, Америго Веспуччи утвердил владычество португальцев в Южной Америке и т.д.), Португалия стала могущественной морской державой и значительно расширила свои владения, а столица страны Лиссабон — первым торговым городом Европы *98*

Эртель Фёдор Фёдорович (1768–1825), генерал от инфантерии (1823); из прусских дворян, на русской службе с 1785; участвовал в русско-шведской войне 1788–1790 (тяжело ранен в голову и лишился правого глаза); в 1793–1798 занимался формированием и обучением войсковых частей (чин генерал-майора в 1798); с 1798 обер-полицийместер в Москве, в 1801–1807 — в Петербурге; с 1810 генерал-провиантмейстер в Молдавской армии (чин генерал-лейтенанта); в 1812 командир 2-го резервного корпуса, с октября включённого в состав Дунайской армии; с декабря 1812 генерал-полицийместер всех действующих армий (орден Св. Александра Невского); после войны долго оставался без должности и лишь в 1823 назначен генерал-полицийместером 1-й армии *257, 430, 536*

Эссен 1-й (von Essen) Иван (Магнус-Густав) Николаевич (1759–1813), генерал-лейтенант (1799); из эстляндских дворян; с 1772 рядовой в л.-гв. Измайловском полку; в 1783–1785 воевал в Польше, участвовал в русско-шведской войне 1788–1790, затем в боях в Польше (1792, 1794, полковник с 1794, орден Св. Георгия 4 ст.); генерал-майор и шеф Черниговского мушкетёрского полка (октябрь 1797): в 1799 командир дивизии в корпусе, предназначенном для экспедиции в Голландию; с июня 1802 Смоленский военный губернатор, с октября 1803 — Каменец-Подольский; в 1806–1807 командовал корпусом против турок, затем против французов под Фридландом, где тяжело ранен; командир резервного корпуса в Молдавской армии (1809); с сентября 1809 военный губернатор Риги и Лифляндский генерал-губернатор; в 1812 после неудачных боёв дивизии Левиза под Экау и Олоем приказал сжечь Московское, Митавское и Задвинское предместья Риги, чем причинил большой вред жителям, и в октябре 1812 был сменён маркизом Ф.О. Паулуччи; утонул летом 1813 во время лечения на Балдонских серных водах около Риги (по одной из версий — покончил жизнь самоубийством в годовщину пожара рижских предместий) *268, 413–414, 823*

Эссен 3-й (von Essen) Пётр Кириллович (1772–1844), граф (1833), генерал от инфантерии (1819), член Гос. Совета (1829), Петербургский генерал-губернатор (1829–1842); на службе с 1791; полковник л.-гв. Измайловского полка (1796); генерал-майор и шеф Выборгского мушкетёрского полка (1798, орден Св. Анны 2 ст.); участник Швейцарского похода в составе корпуса А.М. Римского-Корсакова (за отличие чин генерал-лейтенанта в 1800 и орден Св. Анны 1 ст.); Выборгский военный губернатор (1800); с 1806 командир 8-й пех. дивизии, с которой участвовал в кампаниях

Ю

Я

Оглавление

Оглавление

А.Н. Попов

Отечественная война 1812 года

Том второй

Нашествие Наполеона на Россию

Редактор
С.А. Никитин

Художники
А.А. Зубченко
К.А. Зубченко

Иллюстрации предоставлены
И.Е. Домбровским

Набор
Т.Ю. Удачина
Е.Ю. Радина

Верстка
К.А. Зубченко

scan waleriy

А. Н. Попов. Отечественная война 1812 года. Т. II. Нашествие Наполеона на Россию./Сост., предисловие, примечания С.А. Никитина.— М.: «Минувшее», 2009 — XIV, 1002 с., 32 с. илл. (Русская историческая библиотека)

Второй том монографии А. Н. Попова «Отечественная война 1812 года» посвящён непосредственно боевым эпизодам: первому этапу войны — от Немана до взятия Москвы армией Наполеона и пребывания в ней французов, а так же событиям в России в этот период.

Том написан на основе изучения огромного количества источников и материалов: официальных документов, писем, дневников, мемуаров, многие из которых не опубликованы до настоящего времени.

В виде отдельной книги этот том монографии издается впервые: состав тома включает главы и части, публиковавшиеся только в журналах « Русский Архив» и «Русская Старина» в 1870-х — 1890-х годах. В частности, том включает две части: «Москва в 1812 году» и «Французы в Москве в 1812 году», за которые автор получил Уваровскую премию 1877 года.

Сдано в набор 15.01.2009
Подписано к печати 30.11.2009
Формат 60 x 90/16
Бумага офсетная, мелованная
Печ. л. 65,5
Заказ № 1098
Тираж 1000

Лицензия ИД № 06244 от 12.11.2001

ISBN 978-5902073703



Издательство «Минувшее»
1117292, Москва, Профсоюзная ул., д.12
Адрес для переписки:
109387, Москва, Кубанская ул., 22-31
Тел. (495) 350-59-73, (499) 268-51-20
E-mail: trivek@mail.ru
Интернет: www.triv.narod.ru
Отпечатано в типографии ОАО «Можайский полиграфкомбинат»
143200, Московская область, г. Можайск, ул.Мира, 93



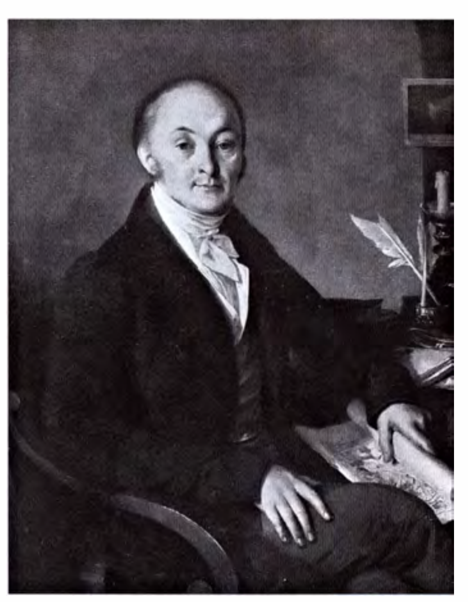
Император Александр I

Гравюра Т. Райта с оригинала Д. Доу



Генерал-фельдмаршал светлейший князь М. И. Голенищев-Кутузов-Смоленский

Гравюра Г. Доу с оригинала Д. Доу



М. И. Сперанский
Художник В. А. Тропинин



А. Д. Балашёв
Гравюра Г. Доу с оригинала Д. Доу



Граф А. А. Аракчеев
Гравюра Н. И. Уткина
с оригинала Г. Вагнера



А. С. Шишков
Гравюра Н. И. Уткина
с оригинала Д. Доу



Князь П. И. Багратион
Гравюра С. Карделли
с оригинала Н. И. Тончи



М. Б. Барклай де Толли
Гравюра К. Зенфа
с его же оригинала



К. Ф. Багговут
Литография В. Доле
с оригинала из мастерской Д. Доу



Граф (впоследствии светлейший князь)
П. Х. Витгенштейн
Художник Л. де Сент-Обен



А. П. Ермолов
Гравюра А. Г. Ухтомского
с оригинала В. И. Машкова



Граф Э. Ф. Сен-При
Гравюра И. А. Клюквина
с оригинала Д. Доу



А. П. Тормасов
Художник Л. де Сент-Обен



Н. А. Тучков 1-й
Гравюра А. Г. Ухтомского
с оригинала Д. Б. Дамона-Ортолани



Граф А. И. Остерман-Толстой
Гравюра неизвестного автора



Цесаревич Константин Павлович
Художник Л. де Сент-Обен



Граф П. П. фон дер Пален
Неизвестный художник



Д. С. Дохтуров
Гравюра А. А. Осипова



Граф М. И. Платов
Художник Л. де Сент-Обен



Барон Ф. К. Корф
Литография И. Песоцкого
с оригинала из мастерской Д. Доу



Н. Н. Раевский
Художник П. Росси



Ф. П. Уваров
Гравюра Т. Райта
с оригинала из мастерской Д. Доу



Барон Ф. В. фон дер Остен-Сакен
Гравюра Г. Доу с оригинала Д. Доу



Граф К. К. Сиверс
Художник Д. Доу



Граф К. О. Ламберт
Художник Л. де Сент-Обен



Граф П. А. Строганов
Художник Л. де Сент-Обен



Граф А. И. Кутайсов
Гравюра С. Карделли



Принц Карл-Август
Мекленбург-Шверинский



Ф. Ф. Довре
Художник Л. де Сент-Обен



Принц Евгений Вюртембергский
Художник Л. де Сент-Обен



Граф (впоследствии светлейший князь) М.С. Воронцов
Гравюра Г. Доу с оригинала Д. Доу



Я.П. Кульнев
Художник Л. де Сент-Обен



Д.П. Неверовский
Литография И.А. Клюквина с оригинала Д. Доу



Барон (впоследствии граф) К.Ф. Толь
Гравюра Т. Райта с оригинала Д. Доу

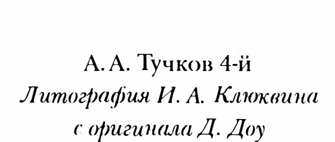


Князь Д. В. Голицын
Художник Л. де Сент-Обен



Барон Ф. Ф. Винцингероде
Художник Д. Доу





А. А. Тучков 4-й
Литография И. А. Клюквина
с оригинала Д. Доу



П. А. Тучков 3-й
Художник Д. Доу

Подвиг генерал-лейтенанта Неверовского под Красным
Художник П. Хесс



Принц Георг Ольденбургский
Художник Л. де Сент-Обен



Князь А. И. Горчаков
Художник Л. де Сент-Обен



Сражение под Смоленском
Художник Ж.-Ш. Ланглуа



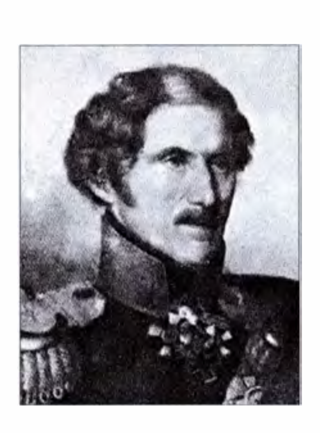
Граф Жозеф де Местр



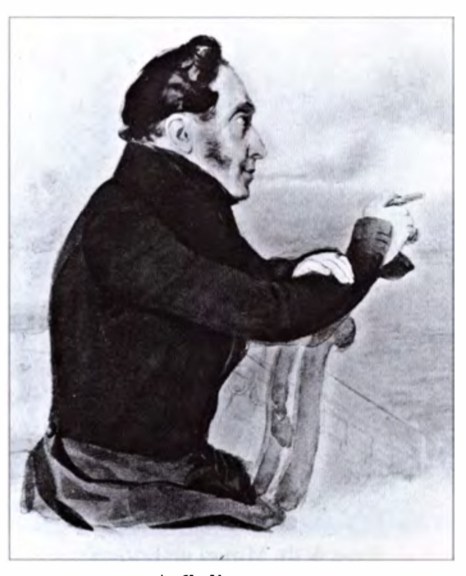
Князь Адам Чарторыйский


С. Н. Глинка

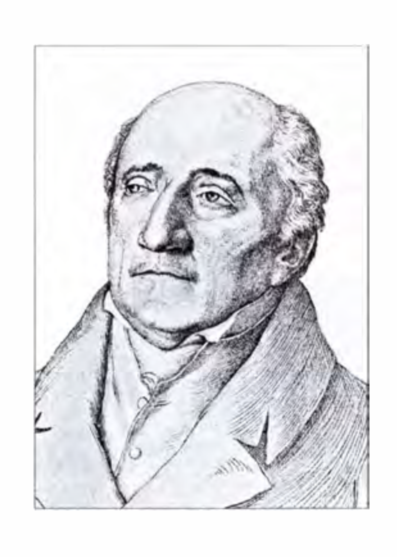

Граф М. (К.) А. Огинский


Барон Карл-Людвиг-Август Фуль


А. И. Михайловский-Данилевский
Гравюра неизвестного художника

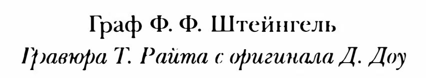


А. Я. Булгаков
Художник К. А. Горбунов



Барон Генрих-Фридрих-Карл Штейн





Граф Ф. Ф. Штейнгель
Гравюра Т. Райта с оригинала Д. Доу



Граф Н. А. Толстой



Граф В. В. Орлов-Денисов
Художник Л. де Сент-Обен



Граф А. Ф. Мишо де Боретур



Барон В. И. фон Левенштерн
Литография И. Песоцкого
с оригинала Д. Доу



Граф П. П. Коновницын
Художник Л. де Сент-Обен



Граф М. А. Милорадович
Художник Д. Доу



П. С. Кайсаров
Гравюра И. В. Ческого



Князь И. В. Васильчиков
Художник Л. де Сент-Обен



А. А. Писарев
Художник Л. де Сент-Обен



Граф Ж.-Б. Бруссье
Гравюра Бовине по рисунку Вотьера



Барон А.-Ж. Дельзон
Гравюра неизвестного художника. I-я половина XIX века



Граф Жан Рапп



Граф Ж.-Л.-Э. Ренье

